

2011 © ПОБЕРЕЖЬЕ

2011 © ПОБЕРЕЖЬЕ



ПОБЕРЕЖЬЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕГОДНИК



ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ПЕРЕВОДЫ

20

THE COAST
PHILADELPHIA
2011

Президент общества «Побережье» ТАТЬЯНА АИСТ
Вице-президент АЛЕКСАНДР ВЕККЕР
Менеджер ГАЛИНА СПОДИК

Главный редактор ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН
Зам. главного редактора МАРИНА ГАРБЕР

Номер подготовили: редакторы Евгения Каценелинбойген, Валентина Демидова, Татьяна Меликова, Наталья Гельфанд, Мария Холоденко, Раиса Резник. Изобразительное искусство и оформление Юрий Крупа, редактор по вопросам искусства и консультант по англоязычным вопросам Ахир Гопалдас. Отдел переписки Виктория Кругликова; отдел компьютерного обеспечения Евгений Тавер, Александр Веккер. Дмитрий Тимофеев, технические вопросы Сергей Якличкин, консультанты Виталий Рахман, Вячеслав Сподик.

Основан в 1992 году в Филадельфии, США

ДВАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

На обложке, титульном листе, заставках к разделам и иллюстрации использованы работы Бориса Григорьева.

Редакция сердечно благодарит всех спонсоров.

Номер посвящен памяти Беллы Гарбер (1948-2011)

Авторские тексты могут быть посланы в редакцию только в электронном виде и по e-mail по адресу: editor@coastmagazine.org
Присланные материалы не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право отказывать в публикации рукописей без объяснения причины.
При перепечатке ссылки на «Побережье» обязательны.
Мнения авторов не всегда совпадают со взглядами редакторов и издателей.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование принятых для публикации текстов.
Ответственность за достоверность публикаций и точность фактического материала (даты, цитирование, сверка с первоисточником, ссылки, переводы с других языков и т.д.) несут авторы материалов.
Авторы в индивидуальном порядке защищают свой copyright ©.
Неопубликованные рукописи не рецензируются, и редакция не вступает по этим вопросам в переписку.
Журнал не коммерческое издание, работы авторов могут быть использованы как в общеобразовательных целях, так и для исследований.

Адрес редакции:
THE COAST
9921 Bustleton Ave., unit W-10
Philadelphia, PA 19115 USA

www.coastmagazine.org
E-mail: editor@coastmagazine.org

ISSN 1057-932X

Printed in the United States by Morris Publishing ®
3212 East Highway 30
Kearney, NE 68847
1-800-650-7888

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Роман Михеенков. Двор моего детства. Snowman. Клен ты мой опавший... Ленивец.	6
Уроки плавания для домашних животных.	
Николай Козырев. Деревенские страсти.	13
Елена Литинская. Итальянец.	16
Зоя Мастер. Учитель Музыки (или двое в квартире, не считая кошки).	19
Виктор Бердник. Легионер.	27
Владимир Фрейдин. Оксюморон.	34
Михаил Садовский. Людмила Дорофеевна. Любовь никуда не уходит.	39
Дмитрий Карпин. В погоне за зверем.	42
Юрий Фельдман. Рыжая.	47
Лана Райберг. Ступеньки. Ангел. Розовый зонтик.	52
Андрей Иванов. Отец.	57
Андрей Лопатин. Правдолюбец.	64
Виктория ЛеГеза. Никто не знал.	68
Геннадий Головин. Приятный сюрприз.	79
Давид Шраер-Петров. Особняк над стадионом.	81
Леонид Сторч. Тигр на пуговице.	84
Майк Гелприн. На посту.	86
Мария Москвина. Английский, как второй язык.	88
Нина Большакова. Старуха.	91
Розалия Степанова. «Как это бывает». Отрывки из повести или рассказ	94
Лёльки-большой, у которой есть брат Шура и тёзка Лёлька-малая.	
Игорь Михалевич-Каплан. _Время любить.	97
Роман Любарский. Родниковая вода. Люди в белых халатах.	99
Семён Каминский. Пицца-герл.	107
Филипп Берман. Синие крылья на белом мустанге.	114

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРА

Ян Пробштейн. «Джинн, выпущенный из бутылки». Неразмненное небо.	118
Евсей Цейтлин. Жизнь под песню ветра. Памяти Ванкарема Никифоровича.	125
Цикл очерков о писателях эмиграции: Б.Езерская, Е.Чеповецкий, Г.Лайт.	128
Ксения Гамарник. Американские игры.	132
Виктор Фет. Зоологическая этикетка как литературная форма.	140
Эрикс, Омега, Ата.	143
Красная Армия в дворянском гнезде. (Александра Орме об оккупации Венгрии).	145
Ирина Чайковская. Её петский скворец в советском пейзаже (о Симоне Шноле).	148
Иван Волосюк. Гоголь в XXI-ом столетии.	151
Лариса Матрос. Памяти пушкиниста Марка Митника.	155
Михаил Левин. Лидия Корнеевна Чуковская. Воспоминание лечащего врача.	158
Вячеслав Сподик. К 75-летию писателя Давида Шраера-Петрова.	159
Наташа Шарымова. К 70-летию Сергея Довлатова. Интервью с кинорежиссером Р. Либеровым.	163
Елена Крон. Мастер поэтической миниатюры. О творчестве Александра Стежеринского.	165
Марина Гарбер. Михаил Садовский. Шкаф, полный времени.	168
Тень маятника и другие тени. (О новой книге Виталия Амурского).	169
Елена Литинская. «Забугорные сказки» Нины Большаковой.	171
Исаак Юдовин. Был такой еврейский поэт...	173
Лиана Алавердова. Эмигрантская лира Михаила Брифа.	176
Анатолий Либерман. <i>Литературный обзор</i> : Елена Тамахина-Плотто. Когда в душе отражается Рильке...	178
Игорь Кон – 80 лет одиночества.	179
Русские евреи в Америке, кн. 5 (сост. Э. Зальцберг).	181
Евсей Цейтлин. Голос и эхо (литовская тетрадь).	182
Поэзия русских философов XX века: антология. (Сост.: М. Сергеев, Л. Столович).	183
Георгий Демидов. Любовь за колючей проволокой: повести и рассказы.	184
Белла Езерская. Знакомый-незнакомый Довлатов.	188
Нью-Йоркская месса или штрихи к портрету Н. Качанова.	190
Записки о России. Заметки на полях книги Маркиза де Кюстина.	192
Игорь Михалевич-Каплан. Поделиться культурой родного языка. Книга Виктории Малеевой.	194
Интервью с писательницей Еленой Катишонок.	196
Документально-художественное повествование Льва Бердникова.	197
«Я люблю эту землю...» Донецкие строки Ивана Волосюка.	198
Михаил Садовский. Николай Васильевич Панченко (1924-2005). Размышлизм.	201
Нина Никипелова. Над страницами романа Тани Варен.	208
Леонид Рыбакин. Две встречи в «Бориселле». О художнике Борисе Григорьеве.	209
Анатолий Либерман. Соль на хвосте.	213
Виталий Амурский. Ударник снов... О Владимире Уфлянде.	219
Таня Варен. Танго, пропелое жизнью и строкой Борхеса.	221
Евсей Цейтлин. Одинокие среди идущих. Дневник этих лет.	222
Слава Полишук. Через мост. Памяти Алексея Афанасьева.	225
Юрий Крупа. Художник Виктор Лазухин.	226
Лев Бердников. Еврейская конница Потёмкина-Таврического.	228
Ирина Панченко. Пусть за меня все люди на свете живут. Памяти Дины Таран.	230
Виктор Фет. Королевская клоунада в Вашингтоне. О спектакле «Король Лир».	238

ПОЭЗИЯ

Николай Васильевич Панченко (1924-2005).	201	Виталий Рахман.	276
Статья Михаила Садовского		Дмитрий Моцпан.	276
Владимир Микушевич.	240	Александр Ланин.	278
Татьяна Каунова.	240	Иван Волосюк.	279
Леонид Столович.	242	Рафаэль Левчин.	280
Борис Юдин.	243	Марина Гарбер.	281
Иосиф Гольденберг.	244	Михаил Бриф.	282
Улекса Фон Лу.	245	Райса Резник.	282
Елена Любомская.	248	Евгений Дубнов.	283
Лариса Верцнер.	248	Ян Пробштейн.	286
Алла Павленко.	249	К 85-летию Валентины Синкевич	
Виктор Фет.	249	Стихи Валентины Синкевич.	287
Александр Стежеринский.	251	Игорь Меркулов.	289
Сергей Гора.	252	Вадим Молодой.	290
Наталья Чиркова. О третьем международном	255	Татьяна Аист.	293
поэтическом фестивале в Бельгии		Михаил Губин.	298
«Эмигрантская Лида»		Игорь Михалевич-Каплан.	302
«Эмигрантская Лида 2011»		Владимир Спектор.	304
Номинация «Эмигрантский вектор»		Евгения Гейхман.	307
Михаэль Шерб.	257	Лиана Алавердова.	308
Наталья Резник.	258	Татьяна Щеголева.	310
Илья Липес.	258	Татьяна Кузовлева.	311
Римма Маркова.	258	Сергей Сутолов-Катеринич.	313
Анастасия Андреева.	259	Елена Кама.	314
Татьяна Перцева.	260	Мария Однолетко.	315
Георгий Садхин.	260	Николай Воробьев.	316
Марина Гарбер.	261	Роман Любарский.	316
Переключки		Михаил Садовский.	316
Татьяна Аист – Сергей Яровой.	261	Олег Поляков.	318
К 80-летию Ираиды Легкой		Светлана Новак.	319
Марина Ледковская. Статья.	263	Виталий Шейнин.	320
(Перевод с англ. Нели Кармазиной).		Татьяна Аист. Стихи-двустушия В. Суханова.	
Автор о себе.	263	Валерий Суханов.	321
Стихи Ираиды Легкой.	264	Гари Лайт.	321
Виталий Амурский.	266	Людмила Некрасовская.	324
Александр Мельник.	268	Инна Санина.	325
Анатолий Либерман.	270	Владимир Захаров.	325
Андрей Драг нов.	271	Зоя Полевая.	326
Алёна Бабанская.	272	Илья Будницкий.	328
Город Львов овеян легендами.		Стефан Машкевич.	329
Виктория Малеева.	274		

ПЕРЕВОДЫ

Илья Липес. Роберт Фрост. Эмили Диккинсон. Перевод с английского.	332
Анатолий Либерман. Антонис де Ровере (1430-1482).	
Любовные строфы. (Ладонь на сердце.). Пер. с среднеголландского.	333
Виталий Рахман. Песня Леонарда Козна. Перевод с английского.	334
Лиана Алавердова. Переводы: Эмма Лазарус, Жаклин Ошеро, Жанет Керхаймер.	334
Юрий Лукач. Карл Орлеанский (1394-1465). Перевод со среднеанглийского.	336
Роберт Бернс (1759-1796). Редьярд Киплинг (1865-1936). Пер. с англ. Поль Верлен (1844-1896). Пер. с фран.	
Джованни Пасколи (1855-1912). Пер. с итал. Макс Герман-Найсе (1886-1941). Пер. с нем.	
Ян Пробштейн. Прекрасное пленяет навсегда. Джон Китс (1795-1821). Вильям Вордсворт (1770-1850).	338
Дмитрий Манин. Стефан Малларме. Джерард Мэнли Хопкинс.	341
Дмитрий Н. Смирнов. Уильям Блейк (1757-1827).	342
Александр Триандафилиди. Чьело Д'Алькамо. (Первая половина XIII века).	346
Наталья Чиркова. Джон Клер, Эдит Стивел, Роберт Фрост, Вильям Вордсворт. Перевод с английского.	347
Элла Кругликова. По мотивам стихотворений Елены Павлюк. Перевод с украинского.	348
Владимир Розенталь. От переводчика. Уолт Уитмен (1819-1892). Перевод с английского.	348
Михаил Бриф. Василь Пиддубняк. Анатолий Кичинский. Перевод с украинского.	350

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Борис Григорьев (1886-1939). Обложка («Автопортрет»). Титул («Старуха молочница»).	1
Заставки к разделам. «Портрет сына», «Мужчина с трубкой»	5, 117, 239, 331
«Портрет фотографа Шерлинга», «Портрет Рахманинова»	
«Консьержка».	211
Сергей Голлербах. Графика.	269, 295, 339
Виктор Лазухин. Элегия. 2004. Элегия. 1994-1998. Компьютерная графика. 40" X 30".	31, 353
Юрий Крупа. Фотопортрет художника Виктора Лазухина.	227
Ольга Костенко (Шиманович). Иллюстрации к книге И. Волосюка «Донецкие строфы».	55, 199
Перья из шапки индейского вождя, хранившейся в доме Корнея Чуковского и подаренные	
Михаилу Левину дочерью писателя Лидией Чуковской.	157
Давид Бурлюк (1882-1967). «Епигма». Портрет Пикассо. Из коллекции Т. и Л. Дитинских. ...	73, 139
Старый дом. Фотоиллюстрация к рассказу Розалии Степановой «Как это бывает».	95
ОБ АВТОРАХ.	354
СВОДНЫЙ КАТАЛОГ ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ «ПОБЕРЕЖЬЕ» ЗА 1992-2011 гг.	361

ПРОЗА



ПОБЕРЕЖЬЕ

ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА

Шустрый мальчишка в полосатой футболке с «десяткой» на спине элегантно финтом подбрасывает футбольный мяч и, повторяя трюк великого Марадоны, вгоняет его в ворота. Следующий за этим дикий танец подробно отрепетирован: разворот в левую сторону, прыгая на правой ноге, разворот в правую сторону, прыгая на левой и три прыжка «шимпанзе».

– Маэстро! К инструменту!

Это крик отца на весь двор. Он вернулся с работы – футбол на сегодня закончен. Черни отдает пас Гермеру, и мы выходим к воротам Бетховена.

Раз – и – два – и – три – и...

«Маэстро»... Считать, сколько раз мне приходилось драться из-за этой клички, бесполезно. Мальчика, играющего на пианино в уголовном районе провинциального города, не травить не могут по определению.

Раз – и – два – и – три – и...

Садистская гордость отца, желающего воспитать вундеркинда, распаивает балконную дверь.

– Маэстро! – Это уже крик с улицы. И я уже знаю, кому буду завтра бить морду. Или мне.

Раз – и – два – и – три – и...

Двор заставляет жить двойной жизнью. Дома заведено общаться с родителями «на вы», на улице я «ботаю» исключительно «по фене». Годам к двенадцати я умудрился найти точку гармонии на лингвистическом уровне:

– Что же вы, мамочка, милый друг, кидаете мне гнилые предьявы, – у уроки сделал.

– Папа, вы рамсы не путайте. Сначала математика, потом пианино. Завтра контрольная.

По другую сторону «баррикад» это срабатывало довольно неожиданно:

– А не соблаговолили вы, сударь, пойти на ...

Бывало, что шли.

Раз – и – два – и – три – и...

Я неделю не появляюсь во дворе. Домашний арест. За «драку с применением специальных средств» я поставлен на учет в «Детской комнате» милиции. Даже родители не поверили, что «фрагментом арматуры» я защищался. Зато ни сдана награда мира не сравнится с этой чарующей формулировкой – «за драку с применением специальных средств»! Круче только сесть в тюрьму или короноваться в «законники». Но это уже как аспирантура.

Когда в Воркуте «короновали» моего соседа Прокофа, двор гулял неделю. На какое-то время Прокофьев стал моим любимым композитором. Я выучил даже «Джюльетту девочку».

Раз – и – два – и – три – и...

У меня сегодня праздник! В «Советском спорте» вышла статья об Олеге Блохине с огромным заголовком «Браво, МАЭСТРО!» Еще два часа этюдов, и я покажу газету этим уродам во дворе. Пусть дразнят. Теперь мне эта кличка даже нравится.

Раз – и – два – и – три – и...

Я моральный урод, чикчемный человек и место мне в ПТУ. Отец таскал меня на концерт детского хора Попова. Несчастные детишки из Москвы, душимые пионерскими галстуками, ангельскими голосами пели

песню «Летите, голуби», а потом играли с залом в музыкальную «угадайку». По пути домой отец поинтересовался, в какие игры играю я во дворе. «Побег из зоны» его не впечатлил. А я испытывал такую гордость, игру ведь я придумал. Она развивала ловкость и стратегическое мышление. «Зарница» отдыхала.

Раз – и – два – и – три – и...

Мне купили гитару. Родители долго упирались, но я пообещал научиться играть за сутки.

Через двенадцать часов я заунывно провыл «Утро туманное», а через двенадцать часов и десять минут я надрывался во дворе: «Голуби летят над нашей зоной», «Гоп-стоп» и прочая «классика». Местные урки постановили, что к зоне я готов: «на учет» есть, на гитаре играю. Одноклассники страшно завидовали.

Раз – и – два – и – три – и...

Маэстро – бабник! В соседний двор приехала семья военных. Я пригласил Верочку в кино. Меня ненавидели все: девочки – за то, что выбрал не их, мальчики – за то, что первый решился. Верочка крайне удивила меня, попросив сыграть ей на пианино. До этого момента я считал свои занятия музыкой чем-то постыдным, недостойным мужчины. Уж не знаю, целовали ли Баха в шею, когда он писал свои прелюдии и фуги, но у меня в этом сочетании они звучали потрясающе.

Раз – и – два – и – три – и...

Оказывается, пианино – замечательный инструмент обольщения. Жаль, что Верочка этого не оценила в полной мере. Она замерла на прелюдиях, не позволяя фуг, и очень обиделась на мои музицирования с друзьями, более «полифоничными» девочками.

Раз – и – два – и – три – и...

Ни один выигранный мною музыкальный конкурс, ни один блестяще сданный экзамен не сравнится с тем, что произошло сегодня. Отсидев свои пять лет, из зоны вышел Прокоф – «законник», мой сосед по подъезду. Я осмелился пригласить его в гости, пока нет родителей, чтобы сыграть ему произведения Прокофьева. Мне, мальчишке, это почему-то показалось уместным. Прокоф внимательно слушал мою игру. По глазам-щелочкам я понял, что ему понравился «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты». Потом я поил его чифирём, слушал рассказы о зоне. Уходя, Прокоф сказал, пристально посмотрев мне в глаза: «Валить тебе отсюда надо, Маэстро...»

Я приезжаю в этот двор один раз в год – на мамин день рождения. Сейчас деревья, служившие штангами футбольных ворот, стали вдвое выше. Верочка умудрилась выйти замуж за военного, охраняющего местную пересыльную тюрьму. В каждый мой приезд кто-нибудь из одноклассников обязательно на свободе. Рассказывают мне о жизни двора. Мальчишки слушают, учатся фене. Мою игру «Побег из зоны» забыли. Правила придумал я, а на момент своего исчезновения преемника себе не воспитал. Жаль, хорошая была игра. Я в нее выиграл.

Москва, 2007 г.

– Эй, нигер, я возьму выпивку и отнесу свою задницу вон в тот угол, а ты поставь реальный джаз, а не это дерьмо...

Если бы эту фразу произнес герой американского боевика «серии С.» где-нибудь в Гарлеме, ему бы по сценарию оторвали голову, не дав договорить. Я умудрился изрыгнуть этот бред в Венеции... В сказочном городе, в котором писали вечную музыку Арригони и Мерула, Ферро и Марини, здесь начинал творить великий Вивальди, Петр Ильич Чайковский написал свою четвертую симфонию, да и все великие композиторы в той или иной степени стремились сюда, надеясь выловить свою музу в одном из каналов. Здесь каждый поворот головы, даже каждое движение взгляда обрекает вас на эстетическую истерику, открывая еще более прекрасную Венецию, которая измывается над вами всеми своими каналами. Это похоже на гонку без финиша. Только здесь примитивное человеческое существо может осознать нескончаемость вселенной, почувствовав бесконечность совершенства. Мне же, за несколько часов до наступления дня рождения, который я приехал праздновать именно в этот волшебный город, противоестественным образом удалось отыскать в Венеции негритянский джазовый клуб.

Первое, что я сказал бармену, войдя в это отвратительно некурящее заведение с вывеской, нарушающей права человека – «Vietato fumare» (курить запрещено):

– Это не джаз! Это Льяццола!

Спокойный, как жертва передозировки наркотиков, бармен со следами высшего образования над отвратительно белым воротничком показал мне коробку от играющего диска, проведя ухоженным ногтем под соответствующей надписью:

– Латино джаз, сеньор!

Праведный гнев сдавил дыхательные пути. Хорошо, что мои, а не барменовские. Я осмотрелся. Разочарование росло. Я был обижен в лучших чувствах, как Вини Пух, которому подсунули неправильных пчел. Это были неправильные негры! Трезвые. Некурящие. Мило беседующие о чем угодно, но не о джазе, наркотиках и убийствах. Об этом ли снимаются голливудские боевики!

Я готов был расплакаться, как ребенок, которому подарили машинку с неоткрывающимися дверцами. В этом заведении было все: негры, джаз, которого я таки добился, проведя своим ногтем под нужной надписью, здесь была даже русская водка польского разлива. Не было души. Я понял, что эта роль, эта высшая миссия отведена мне. Тут я как раз и изрек про «задницу в угол».

В глазах бармена за линзами вшиво-интеллигентского непонимания я разглядел шевельнувшуюся мысль. Клуб повернул ко мне комедию рафинированно улыбающихся масок, похожую на страшный сон подвыпившей Дездемоны. Весь этот Институт благородных девиц имени Патриса Лумумбы замер. Было ощущение, что от негодования они вот-вот начнут цитировать в мой адрес стихи Ариосто. Во мне кипел праведный расизм. Хоть бы морду набили, что ли... Душу согревала только божественная Элла Фицджеральд:

– Summer time...

И я держал речь... Похожую на коктейль «Лонг-Айленд», в который сливается практически все содержимое бара. Мой состоял из английского с итальянским, а для связок я вспоминал все самые грязные ругательства, почерпнутые из американского кинематографа:

– Мои черные братья! В джазовых клубах Нового Орлеана, на родине джаза...

Меня понесло. Я никогда не был в Новом Орлеане, но в этот момент все дороги резко свернули с направления «Рим» и повели именно туда. Рассказывая о нем, я говорил о переживаемом когнитивном диссонансе, попутно объясняя дрессированным венецианским неграм свои пожелания. Это была программная речь кандидата, только что ставшего президентом где-нибудь в Зимбабве. Передо мной в этот момент наступило бы Адриатическое море, если бы я задумал организовать исход этих негров из Венеции в Новый Орлеан. В конце я произнес несколько малопрстойных слов про аудио систему, воспроизводящую музыку, с которой призывал их вступить в близкие отношения, не описанные ни у Фрейда, ни в уголовном кодексе.

– ... а еще у нас в Новом Орлеане, в джазовых клубах звучит ЖИВАЯ музыка!

И тут я услышал первый робкий fuck в свой адрес! Даже «Негоден», услышанное однажды в военкомате, не оказало на меня столь благодного воздействия. Один из этих одуванчиков-негативов порылся в ДНК и извлек оттуда хоть что-то близкое русскому сердцу:

– Если ты такой крутой, сыграй нам что-нибудь... – и он трогательно добавил еще один несмелый fuck.

Моя черная, с музыкальной точки зрения, душа только этого и просила. Я сел к фортепиано и стал наглядно демонстрировать этим эскимосам-мутантам, кто из нас негр. «Сент-Луис Блюз» отвлек их от безалкогольных коктейлей. «Джорджия» призвала к напиткам покрепче. Когда я стал издеваться над популярными итальянскими песнями, ввергая их в пучину джазовых обработок и импровизаций, в клубе стало светлее, – мои негры обнажили улыбки, сверкающие, как альпийский снег. Некоторые стали подпевать.

За окнами засыпала Венеция. Истоптанная миллионами ног, утомленная вздохами восхищенных туристов, вспененная очаровательно курносыми носами гондол. Я курил под дверью на улице, – негры полюбили меня, но курить в заведении не разрешили, подарив еще одну возможность полюбоваться ночной Венецией. Удивительные венецианские фонари расположены ровно на такой высоте, чтобы осветить всю красоту ночного города для загулявшего туриста, не лишая его возможности созерцать звездное небо, на случай приступов романтизма. Их свет странным образом не меняет отношения человека к освещенному объекту. Такое чувство, что тебе предлагают: ты посмотри и составь свое мнение. Венеции все равно, что о ней подумают. Она индифферентна и прекрасна.

– Слышь! Snow White (Белоснежка)! Давай угоним гондолу и поплывем в Новый Орлеан!

Сказал мне негр, прыгивая со стола, на котором он только что танцевал рок-н-ролл. Остальные готовы были присоединиться. Наверное, в них заговорила кровь предков, прибывших в Венецию в качестве гребцов на галерах, и руки потянулись к веслу. Я представил себе картинку: длинная гондола, по бокам сидят мои негры, а я прохаживаюсь с плеточкой, с по-

мощью которой периодически объясняю им неоспоримые преимущества демократических институтов.

Негры не унимались. Передо мной встала угроза лишения шенгенской визы. Моих черных братьев в полиции пожурят, слегка оштрафуют и отпустят, а для меня въезд в Венецию может закрыться на годы. Нужен был жесткий отвлекающий фактор. Я посмотрел на часы и понял, что до наступления моего дня рождения осталось две минуты.

– Мои черные братья! Через две минуты у меня день рождения...

Остальное они не дослушали. Крики, свист и топот были, наверное, слышны даже в Милане. Только один подозрительно светлый негр, похожий на сотрудника местного КГБ, на всякий случай попросил предъявить паспорт. После чего меня схватили бледные ладони черных рук, похожие на экзотических змей, и отнесли к фортепиано, к моему счастью забыв о гондолах и Новом Орлеане. Вошедшая парочка американских туристов, приехавшая в Венецию отдохнуть от толерантности и политкорректности, была сметена мощью негритянского хора:

Happy birthday to you,

Happy birthday to you,

Happy birthday fucking snowman (не самый лучший Снеговик),

Happy birthday to you.

Венеция – Москва 2008

КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ...

Аэропорт Ванкувера в последние часы полета представлялся мне одной большой курилкой. Виновата не зависимость от табака, а здоровое чувство относительно свободного человека, которому, по непонятной причине, не позволяют делать то, что он хочет. На поверку аэропорт оказался похож на гигантскую футуристическую пепельницу, к которой периодически подъезжали монорельсовые зажигалки. Таможенники были весьма подозрительны, в их глазах читалось недоверие, плавно переходящее в немой укор: «Почему вы без лыж?!». А с лыжами были все, кроме нас, и это несмотря на то, что до олимпиады в Ванкувере оставалось еще месяцев пять. Таможенники тщательно обследовали всю нашу ручную кладь, тщетно пытаясь обнаружить в ней хоть какие-нибудь, ну хоть детские лыжи. Не нашли, злобно пожелали «приятного пребывания» с ярко проступающим подтекстом: «Эти русские думают, что им все позволено» – и...

... Икая от вожделения, я помчался в Канаду. Курить!

Ни одна голливудская мелодрама не способна передать поэзии последних шагов к выходу из аэропорта. Такое стремление к объекту страсти не снилось даже Ромео и Джульетте. Все, как в замедленной съемке (это неправильно с точки зрения профессиональной терминологии, пусть!). Сквозь тонированные стекла здания аэропорта маняще светит солнце, похожее на свет в конце тоннеля, образованного некурящими лыжниками. Я прорываюсь, спотыкаясь о лыжи, палки и сноуборды, я без должного пиетета выражаюсь о зимних видах спорта и ванкуверской олимпиаде в целом. До выхода десять шагов, девять, восемь, семь...

Неужели я попал в канадский рай? Мое имя написано по-английски на табличке, а над табличкой – ан-

гельский лик! Вожделенная сигарета падает к ногам ангела. Я вспомню о ней через три часа.

По договоренности нашей редакции с местным телеканалом мою съемочную группу встречала журналистка по имени Тиффани. Для того чтобы осуществить мечту о сигарете, для начала надо было вспомнить, как люди дышат. Это было нечто надэротическое. Я услышал, как бьется ее сердце, я поймал ритм ее дыхания. Наступило состояние эйфории, когда знаешь ответы на все вопросы. В реальность меня ненадолго вернул удар штативом от камеры Betacam по спине. Брутальный оператор, не знающий слов и кадров любви, так же, как и я, стремился к долгожданной сигарете и налетел на меня, застывшего перед Тиффани.

Пока мы грузили технику в ее огромный серебристый «Крайслер», мое тело откликалось на каждое ее движение. Я чувствовал сопротивление дверной ручки ее пальчикам, я подробно проживал процедуру фиксации ремня безопасности, мои руки и ноги включились в процесс вождения, когда машина тронулась с места. Я сидел рядом с ней на переднем сиденье. Нет, я парил, не чувствуя гравитации.

Тиффани ангельским голосом ворковала о цели нашего визита. Если человека моей профессии умудряется пустить в Рай, обязательно послушаю ангелов и сравню их голоса. Я слышал мелодию ее голоса, я видел губы, которые эту мелодию до меня доносят, я понимал все – и ничего. Во всяком случае, ничего по делу.

Когда в моем сознании зазвучала третья часть божественной симфонии, Тиффани неожиданно оставила нас у гостиницы, пообещав вернуться через два часа. Лучше бы меня несколько раз расстреляли и пару раз повесили! Я начал задыхаться в прямом смысле этого слова. В руках почему-то оказалась ее перчатка, которую я безуспешно пытался вдохнуть.

С подробным, но не очень убедительным рассказом на тему «Почему без лыж?», мы разместились в гостинице. Под моим окном я обнаружил породистый канадский клен, увешанный местной символикой. Ничего ностальгически-есенинского он не навевал – каждое прикосновение листьев к моему окну шептало: «Тиффани, Тиффани, Тиффани».

Эта магическая перемена во мне могла подорвать дух съемочной группы, которая в панике наблюдала, как циничный телевизионщик, которого они привыкли видеть в моем лице, прикладывает к губам перчатку. Я пожалел неокрепшие умы и сердца. До встречи с Тиффани оставалось еще полтора часа. Я решил провести рекогносцировку, дабы оградить съемочную группу от употребления алкоголя и убить мучительно тянущие минуты.

Глядеться в озера синие и рвать в полях ромашки вполне можно и в Канаде. Такое ощущение, что очутился где-нибудь между Рязанью и Муромом. Однажды, снимая предвыборный ролик для коммунистов и не найдя ночью на «Мосфильме» кадров русской природы, я нагло спер в «Очевидном-невероятном» природу канадскую. И что! Коммунисты удовлетворенно чмокали губами – делали вид, что узнают кадры:

– Ой! А это возле моей дачи на Селигере! Вот там за лесом – мой дом!

Не знаю, тот ли это был кадр, но за похожим канадским ельником я обнаружил лесоперерабатывающий завод. Классическая лесопилка, но с «евроремонтом». Однако не уничтожение флоры было целью моего появления в канадской глуши. Я приехал снимать телевизионную программу о непростой жизни лилипутов, великанов и других, непохожих на большинство. По наводке редакции я обнаружил рядом с лесопилкой самый банальный бар, но с весьма нестандартной развлекательной программой. «Чемпионат по метанию карликов» – гордо гласила вывеска на входе. Моя задача формулировалась просто: показать пресыщенному чернухой и расчлененкой российскому телезрителю зловещий цинизм канадских буржуев. Прочитав вывеску, я понял, что если ее произнести за кадром голосом диктора НТВ, который то ли всегда очень хочет *по-большому*, то ли уже делает это непосредственно в процессе озвучки, получится очень рейтингово.

Прожектор осветил свободное пространство в углу заведения, со стенами и полом, обитыми красными матами. В пространство между столиками под бравурную музыку бодро промаршировали трое маленьких людей. Они были встречены еще одним взрывом рева. В глазах короедов-переростков с местной лесопилки появилось выражение номер два. Так смотрит на стриптиз солдат перед дембелем. Я однажды это наблюдал.

путь Жаку, у черты выстроились пять хипповатых персонажей. Они выкрикивали лозунги, которые сложно было различить в шуме негодования участников и зрителем чемпионата.

Я на мгновение отпустил руку Тиффани, чтобы скорректировать оператору съемочную задачу. Подбравшись поближе, я понял, что произошло. Это оказались местные правозащитники, которые пришли защищать права карликов. Увидев съемочную группу, правозащитники забыли о цели визита и стали работать на камеру. Об их благородных целях напоминали только тексты кричалок. Хозяин вежливо предложил им отойти от черты и не мешать проведению чемпионата. Получив отказ, он обратился к публике в поисках решения проблемы. Публика на скудном, но емком диалекте местных лесопилов объяснила правозащитникам свое к ним отношение и предложила прекратить акцию протеста. В этот момент к борцам за права карликов подошел Жак. Его остановили на взлете, наверное, он шел к лучшему броску своей жизни, только этим я могу объяснить произошедшее дальше. Жак хмуро посмотрел на одного из хиппи, размахнулся и ударил его карликом по голове.

Возникшая пауза, если ее воспринимать как оценку события персонажами литературного произведения восхищает бездной трактовок: от «ой, я, кажется, оскорбил человеческое достоинство маленького человека» до «а вот теперь вы переступили черту, отделяющую добро от зла». От трактовок меня отвлек карлик, употребленный в качестве бейсбольной биты. Он встал, поправил хоккейный шлем и изо всех сил двинул ближайшему из правозащитников кулаком в пах.

Впервые в жизни мне изменил телевизионный инстинкт. В начавшейся драке, мгновенно миновавшей грань жестокости, я даже не подумал спасти камеру, я бросился спасать Тиффани. Хрупкую, нежную, мою Тиффани. Она стояла у барной стойки, там же, где я ее оставил. Справа от нее два карлика топтали ногами правозащитника с наполовину вырванными дредами, слева – Ганье тёр лицом о колонну самого крикливого из борцов за права карликов. В тонких фарфоровых ручках Тиффани была голова третьего правозащитника, которую она зачем-то регулярно с хрустом и брызгами крови опускала на барную стойку. Устав от этой странной процедуры или потеряв интерес к предмету в своих ручках, Тиффани повернулась к залу в поисках следующей жертвы. Наши глаза встретились...

Ночью, когда Тиффани отпустили из полицейского участка, она пригласила меня к себе...

...Наряд милиции, встречавший меня в аэропорту «Шереметьево», не понял, почему я не поехал к Тиффани и зачем я оборвал все листья с клена у моей гостиницы, но взял с меня всего триста долларов за курение в туалете самолета.

ЛЕНИВЕЦ

Румба

– А сейчас самый ответственный момент! Малютка Хорхе должен первый раз в жизни покакать! – ее изумрудные глаза сияли волшебным огнем, пленившим меня в нашу первую ночь.

– Что мне надо делать? – произнес я и осознал, что ревную.

– Когда он сползет по твоей руке на землю, нежно-нежно массируй ему животик.

Мне предстояло научить свежерожденного ленивца по имени Хорхе самому главному делу в его жизни. И это не самое оригинальное, на что я был готов ради Хуаниты – страстной и нежной латиноамериканской богини. Для нее я был готов на все: прыгать с парашютом, целовать анаконду, танцевать голым на многолюдной площади, погружаться с аквалангом на неимоверную глубину. И это лишь краткое описание культурной программы последних двух недель. Ей даже не приходилось брать меня «на слабо». Я был настолько влюблен, что потерял чувство опасности, а заодно и болевой порог. Предложение провести мастер-класс по «ленивой дефекации (процессу отправления естественных надобностей)» я воспринял, как еще одну фигуру «Румбы», которой учила меня Хуанита.

– Может ему слабительного? – предложил я.

– Ты что! Это же первый раз!

Я уверен, что к потере собственной девственности Хуанита не отнеслась с таким же трепетом.

За два месяца до первой торжественной дефекации крошечного ленивца Хорхе, в России началась президентская предвыборная кампания. Поскольку ее результат был более предсказуем, чем финал естественного процесса работы пищеварительного тракта новорожденного экзотического зверька, я, как журналист, воспитанный в смутное время, предпочел самоустраниться. Было оскорбительно, что теперь мои слова не щедро оплачиваются и только после этого нежно нашептываются, а грубо и бесплатно выкрикиваются сверху. Моя журналистская честь, заметно подорожавшая благодаря путчам и беспределу, стала похожа на акцию обанкротившейся компании. Поскольку практически все коллеги уже высунули языки для вылизывания отдельных органов власти, наивно думая, что им воздастся, я мог выбирать место добровольной ссылки. Мне предложили Китай, Северную Африку и Бразилию. Слово Бразилия, как поклонник латиноамериканской музыки, я договорил раньше редактора, предлагавшего мне это счастье.

– Что же ты делаешь! Массируют по солнышку! – в глазах Хуаниты вспыхнула паника.

– Это как?

– По часовой стрелке! Смотри!

Как поэтично. «По солнышку». Сволочь Хорхе был моим соперником уже неделю. В Бразилии в то время не было ни выборов, ни переворотов, до карнавала – море времени, так что я в свое удовольствие снимал сюжеты о зоопарках, концертах и выставках. С Хаунитой – «главной по ленивцам» вся Бразилия – я познакомился в специальном питомнике по реабилитации и «социальной» адаптации этих милых существ. И пропал. Уже две недели я существовал в танце. Это не была любовь, не была страсть, это был именно танец. Румба! Хуанита все делала, танцует: ходила, ела, даже спала. Не могу представить, что ей снилось, но сон ее тоже был танцем. Если бы не сумасшедший ритм, который задавала эта удивительная девушка, я, может быть, и смог бы разобраться в наших отношениях. Но все было настолько интенсивно.

– Хорхе, дорогой, папа тебе поможет, у тебя все получится! – Милый, – это уже мне, – теперь чуть-чуть сильнее надавливай.

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ Менуэт

Удивительные существа – ленивцы. Всю жизнь висят на дереве. Лопают листья, слизывают с собственной шерсти росу, чтобы не умереть от жажды. А на землю спускаются примерно раз в неделю, чтобы погладить. Это единственное, что побеждает их страх перед хищниками. За свалившимися младенцами мамы не спускаются, потому как страшно. Не возьмусь обсуждать их нравственные ценности и моральные устои, это их ценности и устои. Внешне же они очаровательны. Умные широко посаженные глазки, ловкие ручки с длиннющими когтями. Они напоминают небольших бурых медвежат, по которым проехался асфальтовый каток. При этом бездна обаяния и какая-то «фига в кармане», хотя сложно представить фигу, сложенную из протянутых в вечность когтей ленивца. Путешествия по разным странам и континентам позволяют мне судить о том, что в отдельных государствах подобных существ вполне можно признавать гражданами и выдавать паспорт.

Бедолага Хорхе свалился неделю назад, мы с Хуанитой стали его родителями. Процесс, которым мы в тот момент занимались, по важности не имеет аналогов в человеческом обществе. Это больше, чем читать, писать, ходить, говорить, тем более – голосовать. Для ленивцев это выше религии и всех инстинктов.

Сначала я поставил на землю руку, имитируя дерево, посадил Хорхе себе на плечо и медленно-медленно стал подталкивать его в сторону земли. Потом, помогая природе в целом и пищеварительному тракту ленивца в частности, я средним пальцем правой руки начал массировать ему животик.

– Он начал тужиться! – за две недели мне ни разу не удалось подобного блеска в ее глазах. Ни сексом, ни комплиментами, ни подарками, ничем.

– Сейчас нагадит.

– Давай-давай, мой хороший, давай-давай, мой любимый!

Я уже не ревновал, я завидовал. И зависть моя стремительно чернела. Ко мне и моему журналистскому творчеству никто никогда не относился с таким вниманием, как Хуанита к маленькому ленивцу и его «творчеству». Может быть потому, что я со всеми своими потугами и понтами не так уж и важен? Да и творчество ли то, чем я занимаюсь? Интересно, кто важнее, с точки зрения мировой гармонии, журналист или маленький какающий ленивец? В современном мире журналист – часть шоу-бизнеса. Он сам являет собой новость. И важность любой новости зависит от персоны журналиста, выдающего спущенную сверху или оплаченную интерпретацию действительности. Журналист – небожитель. Он сидит высоко-высоко и спускается на грешную землю только, чтобы...

– Получилось! – Хуанита держала в ладони крошечный зеленовато-коричневый комочек. На безымянном пальце ее ручки поблескивал небольшой бриллиант, который я ей подарил. В ее глазах, рядом с комочком, бриллиант выглядел тусклой стекляшкой. – Хорхе, какой ты умница!

Хуанита от счастья перешла с понятного нам обоим английского на понятный только ей португальский. Перевод читался в ее глазах, так что я все понял.

Для завершения ритуала Хорхе должен был по руке заползти мне на плечо, служившее ему деревом. Я аккуратно подтолкнул его. Он вцепился в кожу коготками – иголками и медленно пополз. В его глазах – бу-синках светилось полное удовлетворение.

Роскошный рыжий персидский кот Вальмон запрыгнул в ванну и недвусмысленно намекнул, чтобы его вымыли. Я взял это огненное облако на руки, набрал воды и начал ритуальное погружение. Медленно, как он любит: сначала ноги (задние лапы), потом кончик хвоста, потом аккуратно руки (то есть передние лапы). От священнодействия меня отвлек телефонный звонок.

За то что я устроил, закончив разговор, Вальмон был вправе меня возненавидеть: вытащил кота из ванны, стал подбрасывать его к потолку и истошно орать. Возмущенный кот отреагировал не менее громко, так что наш дуэт, наверное, давал соседям все основания вызвать милицию. Знал бы Вальмон, что я услышал в телефонной трубке! Матросы Колумба в таких случаях кричали «Земля»!

Безжалостные волны новогодних пьянок для корпоративных сотрудников, организацией которых я занимался последние десять лет, выбросили меня на скалочный берег. Мне предложили придумать и организовать самый настоящий БАЛ! Не современное его понимание, когда главные бухгалтеры и HR-менеджеры упихивают отсиженные в офисе прелести в вечерние платья и задыхаются под караоке. Настоящий бал! С мазурками и менуэтами!

Вечером, когда мы с Вальмоном укладывали спать мою дочку-принцессу, под кошачье урчание я рассказывал сказку про бал. Это был настолько вдохновенный рассказ, что мое чадо долго не могло заснуть. Сам я заснул только к утру.

В заказчиках – крупной парфюмерно-табачной компании – удивило не сочетание ветвей бизнеса, а вмещаемость и адекватность. Готовиться они начали за девять месяцев до предполагаемой даты, точно знали что хотят. Особенно впечатлил офис – дворец без архитектурных и дизайнерских излишеств. Дворец населяли люди – улыбки. Не американские – генетически модифицированные, – человеческие улыбки. Все вокруг были без перебора вежливы и приветливы, одеты элегантно, но свободно. Секретарша, угощавшая меня приличным кофе, сделала настолько легкий реверанс, что он скорее прочитался в ее глазах, чем был исполнен в телодвижениях. Было ощущение, что это либо красивый сон, либо сейчас ворвутся люди в масках и положат всех лицом вниз.

Глава компании, похожий на голливудскую звезду времен первых звуковых фильмов, ненавязчиво сканировал меня взглядом, легким кивком показал, кто здесь главный, и включился в процесс обсуждения сценария.

Я привык, что клиенты начинают с одного и того же: «Вы читали «Войну и мир»? Помните первый бал Наташи Ростовской?» или: «А помните, в фильме «Унесенные ветром»? Мы так хотим» и уж совсем: «Мы были на празднике в одной нефтяной компании, там было вот это, это и вот это. Вы так можете?..».

Я услышал совсем другие пожелания. Если издать все мои восторги от услышанного отдельной повестью, оставив суть, – получится «Формула любви к моей работе»: «Фантазия и воображение, не ограниченные бюджетом! Задача – удивить!»

В качестве помощниц мне выделили двух очаровательных юных муз. Когда я готов был заплакать от счастья, музы добились меня предложением предоплаты за создание сценария.

Бал, как я понял из собственной сказки, это то, что устраивает отец – король для своей дочери – принцессы. Мне оставалось записать мои фантазии, снабдив их корпоративным фольклором заказчика.

Это оказалось непросто, но увлекательно. Когда на моем бале двести принцев и столько же принцесс, а некоторые из них таскают с собой пошлую приставку VIP, которая их самих страшно тяготит, – задача заметно усложняется.

Никогда в жизни у меня не было и не будет такой идеальной подготовки к большому мероприятию: клиент не торгуется, соглашается со всеми предложениями, своевременно платит; все творческие и технические составляющие готовы за несколько месяцев до начала; есть возможность провести репетицию. Встречи с клиентами являлись собой праздник. Одна напоминала чаепитие с Елизаветой II, другая – охоту в Фонтенбло с Людовиком XIII, – было лето, мы общались на пленере. Щебетали птицы и музы, генеральный директор читал и подписывал сценарий, с небес одобительно улыбались. Третья встреча требует отдельного описания.

За неделю до бала мне неожиданно позвонил глава компании. Сам. Удивила не только оказанная мне честь, но и просьба: организовать дополнительную фотосъемку, которая не была бы отражена в договоре, и о которой не знали бы ни его подчиненные, ни гости бала. Сюрприз. Попросил не задавать вопросов, узнал адрес, по которому можно прислать курьера с предоплатой. Задача фотографа – снимать до ухода последнего гостя бала. Обычно это не принято, как правило, фотосъемка заканчивается с последним выстрелом фейерверка. Но я был настолько поглощен организацией бала на глобальном уровне, что не придал этому значения.

На следующее утро роскошный кот Вальмон снова запрыгнул в ванну и напомнил о том, что вода – колыбель жизни. Я не посмел ему возразить: в нашем доме слово кота не обсуждается. Другой вопрос, что это слово прозвучало в субботу, в девять утра, когда принцессы и короли еще спят. В отместку мы с дочкой решили выполнить его просьбу «с пристрастием»: налили полную ванну и стали учить Вальмона плавать.

Когда спортивные успехи кота приблизились к олимпийским нормативам, зазвонил телефон. Привезли деньги за загадочную фотосессию.

Я наспех вытер руки, сбежал вниз. У подъезда стоял джип, тонированный до состояния черной дыры. Задняя правая дверь сама собой открылась, будто джип приглашал меня в него сест. Не хватало только музыки, которой обычно сопровождается открытие волшебного ларца.

В «ларце» сидели не двое, а трое. Ширина их плеч и минимализм в прическах вызвали сомнения: а правильно ли я придумал сценарий бала? От размышлений на тему выбора королевской охраны меня отвлек

персонаж, похрустывающий суставами пальцев рядом со мной на заднем сиденье:

– Посчитай! – Он ткнул в меня конвертом с деньгами.

Водные процедуры Вальмона высушили мои руки. Я начал отсчитывать купюры и пожалел, что не имею специальной влажной подушечки, которые обычно бывают у необъятных теток в бухгалтериях. Пальцы предательски скользили по портретам Бенджамина Франклина, купюры отказывались отделяться друг от друга или наоборот отслаивались пачками непредсказуемой толщины. Похрустывание суставами стало громче, к нему добавилось кряхтение, больше похожее на сдавленный рык. Я посмотрел на хрустящего. Судя по взгляду, он, как минимум, опаздывал в консерваторию на концерт для скрипки с оркестром. На всякий случай я объяснил:

– Кота учил плавать...

Вопреки правилам приличия и нормам гигиены, я плюнул-таки на пальцы, но не смог продолжить счет. Меня смела волна коллективной мысли присутствующего в машине трио. Их единственная общая извилина получила невыполнимую задачу – понять, что я сказал. Я осознал свое непреднамеренное жестокосердие: эти милые люди говорят и мыслят отдельными словами и междометиями, а если словосочетаниями, то устоявшимися: «рамсы путать», «ваши не пляшут» или «бить по батареям (в бубен)». Именно среди этих «заклинаний» они пытались отыскать мое «Кота учил плавать».

Невинная фраза вызвала панику, плавно перетекшую в уважение. Вконец измученный лингвистическим поиском персонаж с переднего сиденья вышел из машины и открыл для меня дверь. Если бы я добавил, что «Кота учил плавать в ванне», он, наверное, подал бы мне руку.

Фуршет низвергся на гостей водопадами в прямом смысле этого слова. Под каждый напиток я придумал свой водопад: красное вино низвергалось подобно Ниагаре, виски слезился по сталактитам, как влага в пещере Зевса, коньяк собрал поклонников у Бахчисарайского фонтана. Актеры уделяли внимание каждому, даже не угадывая, а придумывая за него его же желания. Главного бухгалтера – рубенсовскую наяду – сопровождали костюмированные персонажи «Дебет» и «Кредит», которые постоянно обнимались, демонстрируя, что они «сошлись». Забытую всеми в офисной жизни заведующую складом, с ее предварительного согласия, «грузчики», больше похожие на стриптизеров, передавали с рук на руки. От фуршета до столиков при желании можно было добраться на ковресамолете (пневматической конструкции на колесиках, покрытой персидским ковром).

Я смотрел на людей из офиса-дворца, которые пришли на бал. Наступила мировая гармония в отдельно взятом зале. Придуманный мною прекрасный волшебный мир населили персонажи, для которых он создавался.

На сцене, слегка заполненной дымом, лазерные пушки прочертили магические врата, которые разверзлись под звуки симфонического оркестра. Из врат публике явился генеральный директор. Он ненавязчиво принял на себя роль главного создателя окружаю-

шей сказки, за что я нисколько не обиделся, подробно перечислил успехи компании, а в конце добавил:

– Я тут недавно фразу услышал: «Главное – кота научить плавать». Так вот, я желаю вам, чтобы все ваши коты знали, как плавать! С Новым годом!

И бал обрушился на публику! Не успели гости сделать второй глоток шампанского, как оказались в совершенно ином пространстве. Отсчитав три секунды от момента, когда закончился звон бокалов, я взмахнул платком. Это был знак художнику по свету, дирижеру и актерам. Зал озарился тысячами волшебных огней, зазвучал штраусовским вальсом и пришел в движение – со всех сторон к площадке для танцев двинулись вальсирующие пары.

Публика ахала и не успевала делиться впечатлениями: то вдруг оживал фонтан – актеры, замершие в мизансценах известных фонтанных композиций, разыгрывали небольшой спектакль; то с потолка вдоль стен слетали блески, скрывавшие трансформацию оформления зала – менялись эпохи и времена года.

Когда объявили менуэт, я испугался, что все желающие не поместятся на площадке для танцев. Хореографы – мужчины и женщины – разобрали себе по страстно желающему танцевать гостю и, мягко направляя, повели их в настоящем бальном танце. Я смотрел на это великолепие и думал: «Вот так выглядят дамы и господа».

Для исполнения музыки следующего танца специально из Парижа была приглашена группа, играющая вальсы-мюзеты. Я таки позволил себе плагиат: воссоздал «Бал в Мулен де ла Галет» с картины Ренуара. Незаметно для публики в зале возникли декорации. На танцевальной площадке появились хореографы, одетые по французской моде конца XIX века, картина ожила и задышала. Убедившись, что перед Ренуаром мне не стыдно, я пошел готовить выход «Голубых танцовщиц» – специально поставленный для этого бала танец, запечатленный на картине Дега. Часы показывали полночь, это означало, что от сценария я не отклонился ни на минуту. Но стрелки на часах говорили и о другом: до конца бала оставалось два часа, а мне так не хотелось заканчивать сказку.

В этот момент у фонтана началась сцена, не прописанная в сценарии: крепкий мужчина в смокинге ударил другого крепкого мужчину в смокинге кулаком в то место, в которое обычно вставляется монокль. Ударенный крепкий мужчина в смокинге молча, даже не выразив возмущения, взял стул и ударил им обидчика по тому месту, на которое обычно клеится фиговый листок. Логично было предположить, что они не сошлись во взглядах на живопись импрессионистов, эстетика которых на тот момент возобладала в зале, и их спор вот-вот вернется в искусствоведческое русло. Но нет, зачинщик с криком: «Кота учить плавать» уронил оппонента в фонтан и стал топить.

Импрессионисты самим своим появлением вызвали скандал. Ну что мне стоило в этот момент увести действо в эстетику Рубенса или Малых голландцев?

Искусствоведческий диспут приобрел массовые масштабы: дамы синхронно удалились, очевидно, на террасу, а господа, вместо степенной беседы за сигарой, стали активно отстаивать свои «взгляды на живопись». Природа спора вызвала сомнения только по одной причине – доминирующим аргументом, который то и дело раздавался в зале, был «Кота учить плавать», а спорщики стремились макнуть друг друга в

фонтан. Бритоголовое трио из тонированного джипа, отбиваясь бейсбольными битами, оттащило генерального директора от окровавленного господина в некогда белом смокинге, которого он самозабвенно погрузил в фонтан, и сопроводило к выходу. Причину и повод войны, останавливая кровь, текущую из разбитого носа, объяснил мне директор по связям с общественностью:

– У нас каждый год перевыборы в совет директоров. Там пять мест. Два от парфюмеров, два от табачников. А пятое, – он оценивающе посмотрел на битву в зале, удовлетворенно оскалился, – пятое в следующем году у табачников, – и поспешил снова «связаться с общественностью».

Отозвав из зала всех артистов, я поинтересовался у хозяев заведения, почему они не вызывают милицию, на что мне спокойно ответили: «Все включено». Я стал звонить музам, с которыми обсуждал сценарий, – у одной телефон не отвечал, а вторая, будучи далеко от «поля боя», поблагодарила за восхитительно организованный бал, фальшиво «понадеялась на дальнейшее сотрудничество» и бросила трубку.

На лестнице, которую я превратил в «волшебную пещеру», увешав стены и потолки колокольчиками «музыка ветра», лежала мужская туфля огромного размера.

Окровавленный «Золушка», потерявший эту туфлю, лежал несколькими ступеньками ниже. Колокольчики, всегда шепчущие буддистские мудрости, вызвали что-то неприличное. Я мысленно перекрестил фотографа и покинул театр военных действий.

Услышав поворот ключа в замке, роскошный рыжий персидский кот Вальмон запрыгнул в ванну и стал рассуждать о пользе водных процедур. Я посмотрел на него... кот понимающе муркнул и попросился на руки.

Маленькая принцесса лежала в кроватке. Не спала, хотя часы показывали половину второго ночи. Она ждала моего возвращения, чтобы услышать рассказ о бале.

Я рассказал ей сказку. Про Золушку.

НИКОЛАЙ КОЗЫРЕВ

ДЕРЕВЕНСКИЕ СТРАСТИ

Леденящая душу весть о том, что Сашка Гончаров готовит убийство, облетела деревню Поскудино с быстротой молнии. Вскоре все население центральной усадьбы колхоза «Заветы Ильича» собралось возле дома Гончара.

Хозяин, сидя во дворе за большим самодельным столом, с ожесточением точил напильником здоровенный топор. «Точно, – с замиранием сердца решили поскудовцы, – убийство состоится».

Подтверждением тому была витавшая в воздухе жуткая тревога, от которой леденела в жилах кровь. В убийстве никто не сомневался, поскольку вся порода Гончаровых, во всяком случае, мужская ее половина, многочисленные жизненные проблемы решала при помощи остро отточенного топора. И никакая сила не

могла помешать им в этом. И если уж Сашка Гончаров взялся за топор, то беды не миновать.

Ильичевцы молча наблюдали, как Сашка яростно работал по топору большим ржавым напильником. Из-под него, как из-под высокооборотного наждака, во все стороны летели добела раскаленные опилки.

– Сашек, дружище, успокойся, – осторожно начал разговор сосед Федор, что жил по левую руку от Гончаровых, – расскажи, что случилось-то? В чем дело?

– Действительно, зачем горячку пороть, – поддержал его второй сосед и тоже Федор, но живший справа, – если обидел кто, так прямо и скажи, разберемся по полной программе, мало никому не будет.

Не обращая внимания на присутствующих, Гончар, словно индеец из племени Апачи, продолжал готовить свой томагавк к боевым действиям.

– Погодите, ребята, – подал голос закадычный Сашкин друг, живущий напротив и тоже Сашка по прозвищу Тезка, – дайте я с ним поговорю. Откашлявшись в кулак, Тезка вкрадчиво начал: – Подожди, друган, остановись, отдохни. Послушай меня внимательно. Мы ведь с тобой за одной партией всю школу просидели. Вместе в армии служили. В каких только перделках не были. Неужели ты с лучшим другом своей бедой не поделишься? Или ты мне не друг?

Последние слова Тезки были сказаны с такой душевной теплотой, что Сашек отложил в сторону напильник с топором и, зажав ладони между колен, замер словно египетский сфинкс. После неторопливых, но настойчивых уговоров закадычного друга все-таки удалось вызвать Сашку на откровенность:

– У меня жена в роддоме рождает, – с большим трудом через сжатые зубы хрипло выдавил из себя Гончар.

– Ну и что, – недоуменно загудел деревенский народ, – на то она и баба, чтобы рожать.

– Она уже родила, – с нечеловеческой мукой в голосе известил население деревни Поскудино хозяин дома.

– Поздравляем, – раздался из толпы радостные возгласы, – обмыть это дело надо, а ты с ума сходишь.

Сашка немного помолчал, после чего, еще ниже опустив голову, едва слышно продолжил:

– Звоню сегодня утром: «Как там моя, родила?» А мне так радостно вежливо отвечают, мол, родила, родила твоя любимая жена, родила тебе негрятенка! Радуйся, молодой папаша.

– Ох... – с синхронностью, которой мог бы позавидовать даже хор имени Пятницкого, разом произнесло все население центральной усадьбы колхоза «Заветы Ильича».

– Убью обоих и себя убью, – скрипя зубами, в гробовой тишине добавил к сказанному Сашка и, поспешно схватив напильник, вновь с ожесточением принялся скоблить топор.

Только теперь, в полном безмолвии, народ с ужасом обратил внимание, что в глубине двора, у дровяника одиноко стоит покосившийся, обшарпанный временем табурет, а над ним зловеще свисает веревочная петля.

– Господи Иисусе, – заговорили, закрестились верующие, впрочем, неверующие заговорили и закрестились тоже.

В этот момент всем присутствующим стало ясно, что на подворье Гончаровых настойчиво стучится старуха с косой. Говорили все разом, никто никого не

слушал. Деревня бурлила, как разбуженный вулкан Везувий. Никто не знал, что делать? Как тут быть?

Первыми опомнились мужики и решили – это дело надо обмозговать при помощи любимого всеми напитка. Тут же, как из-под земли, появилась здоровенная бутылка с мутной жидкостью и всего один стакан, который и пустили по кругу.

– Мне твоя Людка давно не нравится, – взяв в руки наполненный доверху стакан, первым взял слово Федор-правый, – однажды попросил у нее рубль в долг, не хватало, ведь не дала.

– Что там рубль, – произнес Федор-левый, когда до него дошла очередь, – я ее этой зимой калитку попросил мне открыть. От усталости я мог только за забор держаться, на работе притомился, – пояснил он и почему-то покраснел, – а она мне калитку не открыла, а я ведь мог и замерзнуть насмерть.

– Это что, – поддержал разговор Тезка, – я с ней поздоровался, а она мне ответить не соизволила. Ну, и что из того, что я на дороге лежал. Получается, если человек лежит, отдыхает, то с ним и здороваться необязательно?

Неожиданно, в раскаленную атмосферу новгородского вече, раздвигая толпу, въехало желтое такси. Задняя дверь распахнулась и из машины вышла Сашкина жена с младенцем на руках. По притихшему народу прошел сдавленный стон. Гончар, увидев супругу, схватил топор и с яростью раненого зверя двинулся убивать жену и негрятенка. Негрятенка, вероятно почуввав смерть, забился на руках у матери и заорал нечеловеческим голосом.

– Ой, – озабоченно воскликнула молодая мама, – опять обмочился. Ну, никак не может лежать мокреньким.

И, не обращая внимания на толпу народа, молодая мама проворно положила ребенка на капот «Волги» и быстренько поменяла пеленки. Новорожденное дитя тут же успокоилось. Сельчане в едином дружном порыве прихлынули к машине, и все увидели беленького, от крика с розовым личиком мальчика, который, радостно улыбаясь, с удовольствием сучил освобожденными от пеленок ручками и ножками, при этом во всю силу легких громко гукал.

– А негр где? – тупо уставившись на лежащее на капоте существо, грозно спросил Гончар.

– Какой негр? – не поняла жена.

Тут к Людмиле подскочила ее тетка Старостиха, которую за всю ее жизнь никто не сумел перекричать, и что-то быстро принялась нашептывать племяннице на ухо. Уразумев, в чем дело, Сашкина половина звонко рассмеялась, перевернула сына со спины на животик и, указав пальцем на большое родимое пятно на розовой попке младенца, произнесла:

– Вот из-за этой родимой отметины его в роддоме в шутку и прозвали негрятенком. Оно точь-в-точь такое же, как и у тебя, дурака немытого.

– Врет, – после небольшой паузы, раскачиваясь с максимальной амплитудой, заорал Тезка, – в роддоме подменили. Подлог.

– Точно, подлог, – размахивая топором, вслед за другом заорал Гончар, – не потерплю позора, замочу!

– Подменили, – невпопад размахивая руками, орали разгоряченные мужики.

– Все нормально, – при единогласной поддержке женского населения деревни, луженой глоткой перебивала мужской хор Старостиха, – все нормально.

– Погодите, товарищи, одну минуточку, – раздался спокойный голос деревенского фельдшера, который имел характерную привычку качаться не только в подпитии, но и трезвым.

Когда же установилась выжидательная тишина, он авторитетно продолжил.

– Необходимо провести антропологическую экспертизу на предмет сравнения родимых пятен отца и сына, и все встанет на свои места.

Такая постановка вопроса всех устраивала, кроме Сашки Гончара, который наотрез отказался прилюдно оголяться, хотя бы и ради экспертизы. Но заинтересованные в справедливом решении проблемы друзья быстро уговорили его согласиться на не совсем приятную процедуру, дружно помогли ему оголиться и нетрезво шмякнули Гончара на капот автомобиля.

– Оба родимых пятна находятся в северо-западной части левых ягодиц, имеют яйцевидную форму и заостренной частью отклонены под некоторым углом относительно вертикали и горизонтали, – внимательно осмотрев обращенные к нему две задницы, начал проводить экспертизу фельдшер, – сейчас мы измерим углы отклонения по вертикали и горизонтали.

Замеры углов эксперт принялся осуществлять при помощи обычной булавки. В течение нескольких томительных минут, на протяжении которых светило мировой экспертизы проводил необходимые измерения, народ безмолвствовал. Наконец, выпрямившись, фельдшер уверенным голосом заявил:

– По горизонтали углы сходятся.

Женская часть населения деревни Поскудино радостно загалдела.

– Я говорила! Я говорила! – перекрывая всех, восторженно орала Старостиха.

Выпрямившись во второй раз, фельдшер тоже не замедлил известить поскудинцев:

– По вертикали углы тоже сходятся.

– Ура, – заревели женщины.

Мужики в раздумье чесали в затылках.

– Погодите радоваться, – бесстрастным голосом произнес эксперт, – еще нужно сделать антропологические расчеты.

Все непонимающе уставились на эксперта. Фельдшер терпеливым рассудительным тоном пояснил:

– Необходимо проверить, точнее сказать, просчитать. Если при достижении ребенком веса отца, родимое пятно у наследника по размеру совпадет с родительским, то все вопросы тут же отпадут.

Вставив в медицинские формулы вес Гончара-старшего, восемьдесят два килограмма, и Гончаренка-младшего, три с половиной, фельдшер в небольшой записной книжке старательно принялся перемножать вводные данные антропологической экспертизы.

– Не сходится! – вскоре выдал он отрицательный результат.

– Как это, не сходится? Как это, не сходится? – упреков руки в бока, революционным бронепоездом поперла на фельдшера Старостиха, – должно сходиться. Чему тебя только учили. Считать не умеешь, что ли. Почему не сходится?

– Дело в том, – многозначительно пояснил эксперт, – когда мальчик вырастет и достигнет веса восемьдесят два килограмма, то его родимое пятно по размерам будет больше отцовского. Вывод простой: у папаши, чтобы быть папашей, не хватает веса.

– Как это, не хватает? Как, не хватает? – клокотала яростью Старостиха, – да один этот зад полтонны весит, – с этими словами она так врезала ладшкой по голой заднице Гончара, что тот подпрыгнул выше автомобильной крыши и с грохотом вновь рухнул на капот такси, отчего на машине разом сработала аварийная и противоугонная сигнализация.

– Вообще-то, вводные данные не проверены, – не решительно начал вслух рассуждать фельдшер, – не мешало бы новоиспеченного папу взвесить.

– В магазине есть большие весы, картошку на них взвешивают, – тут же вылетела из толпы необходимая информация.

Друзья-сотоварищи, не сговариваясь, моментально сграбастали Гончара с капота и, забыв застегнуть штаны, как обезьяны Маугли, потащили его к магазину. После контрольного взвешивания претендента в отцы и повторного вычисления при помощи многочисленных медицинских формул, фельдшер тусклым голосом объявил:

– Снова не сходится. По весу перебор.

– Как перебор? Как перебор? – захлебывалась в истерике Старостиха и, внимательно оглядев стоявшего на весах с не застегнутыми штанами Гончара, заорала не своим голосом, – а ребятенка своего ты в постели топором стругал? – и с остервенением вырвав из Сашкиных рук топор, метнула его аж за горизонт.

– Вот теперь все в порядке, – повторно взвесив Гончара и вновь просчитав уточненные вводные данные, произнес медицинский работник, – все сошлось тю-тюлька в тю-тюльку. Поздравим же молодого отца и его юного сына с их первой в жизни встречей.

Домой жену и сына гордый и счастливый Сашка принес на руках, и вскоре на подворье Гончаровых гуляла вся деревня. Юлой крутятся вокруг жены и сына, счастливый отец не ленился подливать сидящему справа от него фельдшеру и каждый раз благодарил его за качественно проведенную экспертизу.

– Да это не я, – с самодовольным видом набивал себе цену фельдшер, – это все наука. Ее благодари.

– Замечательная, Сашка, у тебя жена, – едва ворочая языком, взял слово Федька-правый, – помню, не добавила она мне рубль в долг, и я домой пришел трезвеньким, как огурчик, без скандала.

– А я у калитки покачался, проветрился на ветерке, а жена даже не заметила, что я навеселе. Даже ругать меня не стала, – громко икая, вслед за соседом-правым произнес Федор-левый.

– А меня после той встречи с Людмилой Ивановной никто на дороге лежащим больше не видел, – не отставая от товарищей, едва смог выговорить осоловевший Тезка и, в очередной раз опрокинув в рот содержимое стакана, тут же свалился под стол.

Для краткости повествования можно подвести промежуточный итог. Наточенный до остроты бритвы Сашкин топор никто больше никогда не видел. Эксперта домой отправили в горизонтальном положении, но по дороге где-то потеряли и не могли найти в течение целой недели. Общее веселье дважды нечеловеческим голосом нарушал Гончаренок-младший. Ну, никак не хотел он лежать мокреньким. О жутких минутах деревни Поскудино никто не вспоминал. О них напоминали лишь стоящий у дровяника обшарпанный временем, покосившийся табурет и зловеще свисающая над ним веревочная петля.

ИТАЛЬЯНЕЦ

– К нам приходит новый уборщик, – торжественно и с энтузиазмом провозгласил на собрании заведующий библиотекой Боб. – Его зовут Джо Милано.

– Ну и что? – равнодушно отреагировала библиотекарь Наташа. – Великое событие! Сколько этих уборщиков у нас уже сменилось! Один пил, другой покупал марихуану, третий тебе хамил и тебя же обвинял в расизме, а четвертый, вообще, появлялся на работе, когда хотел.

– Великое или невеликое, а событие. Этот – особенный. Сообщаю из доверительных источников: не пьет, наркотики не употребляет, убирает библиотеку да еще готовит на всех ланч: летом – лазанью и пасту, а зимой куриный суп по-итальянски. У него когда-то был ресторанчик. Словом, будет у нас уборщик и шеф-повар в одном лице.

– Пусть лучше следит за чистотой, а уж ланч я как-нибудь себе куплю сама, – в тон Наташе буркнула старший клерк Миранда.

На следующий день дверь сотрудникам открывал Джо. Его рабочий день начинался в шесть утра. Джо стоял со шваброй, как с винтовкой наперевес, и встречал всех широкой улыбкой, демонстрируя здоровые зубы, сверкавшие естественной, не отполированной у дантиста, белизной. Роста он был небольшого, крепко сбитый, склонный к полноте, с намечающимся брюшком. Глаза темные, слегка навывкате, кожа лица цвета оливкового масла. Маленькие усики *а ля* Кларк Гейбл и густые пригладенные, смоляные волосы придавали Джо вполне голливудский вид. Вот только швабра мешала. Она как-то не вязалась с его обликом киноактера на роль первого любовника средних лет и воспринималась как нелепое приложение. Джо отдельно, и швабра отдельно.

Джо протягивал всем сотрудникам руку для приветствия и немного нараспев (итальянские интонации в голосе плотно застряли во втором поколении этого американца, предки которого приплыли в Америку из Сицилии в начале XX века) повторял одну и ту же фразу:

– Доброе утро! Меня зовут Джо Милано. Я ваш новый уборщик.

– Доброе утро! А я здешний библиотекарь Наташа. Приятно познакомиться, – настороженно улыбнулась в ответ Наташа.

Наперекор мрачным предчувствиям Наташи и ироничному высказыванию Миранды, Джо как-то сразу пришелся всем по душе, хотя уборщиком он оказался так себе. Ленился вытирать пыль с книжных полок. А когда протирал столы – только грязь тряпкой разводил. («Ты что, плохо видишь? – спрашивал Боб. Сходи к врачу проверить зрение».) Зато обожал мыть и натирать полы. Нелепо белые для библиотеки, блестящие, из плиток линолеума полы были его постоянной заботой, гордостью и, можно сказать, страстью. Но, как говориться, сотрудники его любили не за это. В характере Джо странным образом сочеталось душевное спокойствие и равновесие с истинно итальянским темпераментом.

Наташе было сорок пять, когда баба опять становится ягодкой. В молодости она была настоящей красавицей: среднего роста, статная, пышногрудая, с тонкими

чертами лица, яркими голубыми глазами и густыми каштановыми волосами, уложенными по старинке в косу, которая сидела аккуратной плетенкой на ее голове. По прибытии в Америку коса была безжалостно сострижена. А чтобы прикрыть раннюю седину, Наташа стандартно выкрасилась в блондинку. Но эти манипуляции с волосами Наташу несколько не портили, и мужчины по-прежнему на нее заглядывались. Не устоял перед Наташиными небесными глазами и Джо. Он не то чтобы преследовал ее (любовные интрижки на работе не допускались и были строго наказуемы отделом кадров и администрацией), но во время *брейков*, как бы невзначай, оказывался рядом с ней. Чтобы только любоваться ею, ну, и, само собой, поговорить. А поболтать Джо, ох, как любил! Хлебом не корми, дай возможность потрепаться. Это были невинные разговоры за жизнь. Джо распускал павлиний хвост и хвастался своим былым рестораном и необычайными приключениями (злключениями) во время Корейской войны.

– Ты знаешь, однажды после взрыва я очнулся, засыпанный землей. Когда выбрался наружу, увидел вокруг себя мертвые тела своих товарищей солдат. Все погибли. Один я остался в живых. Я потом долго не мог в себя прийти. До сих пор, как глаза закрою, вижу эту сцену. Ну, настоящий фильм ужасов! – рассказал Джо, при этом всю жестикулируя, для пущей наглядности.

– Это же надо, такое пережить! – сочувствовала ему Наташа.

Наташе было приятно внимание Джо, но серьезно к его чувству она не относилась. Во-первых, они принадлежали к разным классовым слоям. Наташа была как-никак библиотекарь с высшим образованием, а Джо был простым мужичком из народа, который вряд ли закончил среднюю школу. К тому же, он был семьянин, обремененный женой, двумя взрослыми детьми и одной внучкой. А у итальянцев семья – святое. Наташа и сама была уже четверть века замужем за ювелиром и деловым человеком Мишей Могилевским, и у них имелся двадцатилетний сын Антон, Энтони, как его называли в Америке. Бывшие одесситы, Могилевские приехали в Америку 10 лет назад. Стало быть, по праву считались старожилками.

Стояло бабье (индейское) лето, самая приятная пора в Бруклине. Ни холодно, ни жарко. Погода располагала к хорошему настроению. Каждый четверг сотрудники скидывались по пятерке (это было время расцвета американской экономики, когда проезд на сабвее стоил полтора доллара, а куры продавались по 49 центов за фунт) на продукты, которые Джо закупал с вечера, чтобы в пятницу приготовить для всех настоящий ланч по-итальянски. То трудоемкую лазанью со всеми многочисленными ингредиентами, включая гигантские особые листы спагетти, говяжий фарш, томаты, острый перец, лук с чесноком и три сорта сыра: рикотту, моцареллу и тертый американский сыр для присыпки сверху. То пасту с маленькими куриными тефтелями в нежном томатном соусе, то запеченные в духовке и начиненные грибами со шпинатом куриные грудки. Часа два Джо самозабвенно колдовал на кухне. Оттуда раздавался грохот кастрюль и прочей утвари, шипенье оливкового масла на раскаленной сковороде и обалденные запахи, от которых текли слюнки. Когда ланч был готов, Джо поднимался вверх в рабочую комнату и созывал всех к столу:

– Mangiare, mangiare!* – раздавался его негромкий с хрипотцой голос. (Никто толком не понимал, то ли Джо подражал голосу Дона Корлеоне из фильма «Крестный отец», то ли это был его, Джо, натуральный голос. Этот вопрос втихаря обсуждали, но открыто высказываться не решались. Не хотели обижать Джо, потому что он был, что называется, свой парень и настоящий итальянский шеф-повар.)

Алкогольные напитки на работе употреблять, само собой, не разрешалось. Ланч запивали соком или содовой. Символически чокались пластмассовыми стаканчиками. Чтобы показать искреннюю симпатию к еврейскому народу, которому принадлежала Наташа, Джо лукаво улыбался и провозглашал:

– Лехаим!

Когда Наташу повысили до звания старшего библиотекаря, Джо с гордостью продемонстрировал еще более глубокие знания идиша:

– Мазелтов, Наташа!

На работе у Джо все было ОК. А когда он приходил домой, из многочисленных углов его трехспальной квартиры на него ползли, как тараканы, неразрешимые проблемы. Постоянно ворчащая, больная реальными и воображаемыми болезнями, жена Мария, которая была на пять лет его старше, и чем больше старилась, тем ворчливее становилась. Непутевый, вечно безработный тридцатилетний сын Джованни (по-американски Джонни), который ухитрился жениться на двадцатилетней, любящей гульнуть, пуэрториканке, да еще и, времени не тратя даром, произвести на свет ребенка-девочку. Молодые частенько уходили на ночь потанцевать и потусоваться и, само собой, подкидывали внучку дедушке с бабушкой. Хорошенькая, гиперактивная двухлетняя Анна устраивала в квартире семейства Милано настоящий беспредел, сметая на своем детском пути игрушки, посуду и семейные реликвии.

– O mamma mia! O Madonna! Уйми этого ребенка! – только и успевала восклицать Мария, ковыляя за девочкой, чтобы та, не дай-то Бог, не уронила что-нибудь себе на голову. При виде дедушки Джо, девочка радостно кидалась к нему на шею:

– Деда, деда! Анна – конфету.

Джо возился с внучкой, хотя ему безумно хотелось что-нибудь поесть и лечь спать. Ведь вставал он каждый день вместе с утренней зарей и страдал хроническим недосыпом. Но же тут-то было. После трех часов дня являлась домой из школы младшая дочь Джо, семнадцатилетняя Кармелла, девица красивая, яркая, но абсолютно без тормозов. Она еле-еле держалась в одиннадцатом классе и, того и гляди, могла выбыть из школы либо по собственному желанию, либо за недостойное поведение и неизменное отсутствие успеваемости. Кармелла, по примеру маленькой Анны, сразу же бросалась в атаку на Джо. Только Анна просила конфетку, а Кармелла кланчила деньги.

– Папуля! Подкинь полсотни на новые джинсики. Смотри, твоя дочка ходит как оборванка.

– Обойдешься. В рваныхходишь. Вроде, рваные нынче в самой моде. Ты бы лучше об учебе подумала. Вот-вот из школы вылетишь. Что будешь делать? Как я, полы и сортиры в библиотеке мыть?

– Жлоб ты, папик! Я знаю, у тебя есть денежки. Ты ведь ресторан продал? Продал. Нет, чтобы дочку единственную одеть прилично. Сидишь на своих

деньгах, старый скряга. В могилу их с собой, все равно, не потащишь...

Джо хотелось дать Кармелле хорошую затрещину, но он понимал, что лет на десять опоздал с воспитанием дочери, махал рукой (пошла вон!) и отмалчивался в ответ. Надоело ему сражаться дома. Хотелось покоя и семейного счастья. К сожалению, ни того, ни другого не предвиделось. Джо садился перед телевизором в кресло, вытягивал натруженные за день ноги, закрывал глаза и быстро погружался в короткую, тревожную дрему. И снилась ему красавица Наташа. Как будто идут они вдвоем под руку, молодые, улыбающиеся. Идут по широкой аллее, освещенные солнцем. И впереди, где-то у горизонта, маячит их долгожданное счастье.

У Наташи дома были свои неразрешимые проблемы. Единственный ребенок, сынок Антошка, которого они с мужем много лет баловали, потакая всем его прихотям, и к двадцати годам окончательно испортили, давно бросил школу и стал наркоманом. Украд из дому все, что было на виду и имело скорую продажную ценность, Антон, в конце концов, просто исчез из поля родительского зрения. Где он обитал и как добывал деньги на жизнь и наркотики, Наташа с Мишей не знали. Миша хотел заявить о пропаже сына в полицию, но Наташа запретила ему это делать, так как боялась, что если сына найдут, он, скорее всего, получит срок за воровство и распространение наркотиков. Она понимала, что поступает неправильно, что было бы лучше для Антона, если бы его нашли и даже посадили. Ведь потом отправили бы на принудительное лечение. Но слово «тюрьма» вызывало ужас в ее материнском сердце. Так они и жили с мужем в вечном беспокойстве и страхе за Антона. Здоров или болен, жив или нет. Первые полгода Наташа почти не спала. Все ждала звонка от сыночка. Приходила в библиотеку измученная, с темными кругами под глазами. Часто отпрашивалась у Боба домой. Пришлось Наташе рассказать Бобу всю свою горькую семейную правду. Шила в мешке не утаишь. Само собой, эта печальная история распространилась дальше по библиотеке. Наташу в библиотеке любили и жалели. И Джо сочувственно смотрел на нее своими печальными итальянскими глазами. В конце концов, Наташа привыкла: усталость взяла свое. Чета Могилевских смирилась со своей горькой родительской долей и просто продолжала жить дальше.

Устроив Джо очередной скандал из-за денег, Кармелла собрала в рюкзак свои нехитрые пожитки и ушла из дома, хлопнув дверью: «Провалитесь вы с вашими деньгами! Обойдусь...»

– Ничего! Перебесится и вернется, никуда не денется, – рассудил Джо.

– Изверг! Какой же ты отец? Пожалел денег для родной дочери. Не вернется она, не вернется! – причитала жена.

– Деньги, деньги! Где я вам возьму эти деньги? А? – кричал, усиленно жестикулируя Джо. – Ты же знаешь, сколько я зарабатываю. Я почти все до последнего цента отдаю тебе на хозяйство. Я бы дал ей полсотни на одежду, так она же пойдет и пустит все на пиво и сигареты. К друзьям своим пойдет, таким же никчемным школьным отбросам, как она. Что ты из меня монстра делаешь!

– О Господи! Проклятая жизнь, проклятый дом. Говорила я тебе: не надо было переезжать на эту кварти-

ру. Как сюда перебрались, начались все наши несчастья. Сначала я заболела, потом ресторан пришлось продать, потом сынок наш на этой вертихвостке женился, а теперь вот Кармелла из дома ушла. Нечисто здесь! Злые духи прошлых жильцов нас в покое не оставят. Все! Я решила. Ты как хочешь, а я этой ночью буду изводить духов. Как выведу нечистую силу, так жизнь и устроится.

– Совсем из ума выжила, старая! – в сердцах изрек Джо и пошел спать.

Проснулся Джо в полночь. Как будто в голове его что-то щелкнуло, словно повернули выключатель и зажгли свет. Жены рядом не было. Из гостиной раздавалось какое-то странное подвывание. Джо вскочил с постели, как был в пижаме, схватил в руки бейсбольную битку, которая стояла в углу – на всякий пожарный случай – и на цыпочках босиком пошел в гостиную. А там, в полутьме, его жена Мария в длинной до пола ночной рубашке со свечкой в одной руке и бутылочкой святой воды – в другой, отбрасывая на стену огромную таинственную тень, как заводная кукла, бегала из угла в угол, брызгала всюду святой водой и что-то бормотала себе под нос, подвывая.

– Ты что делаешь, ненормальная? – хотел было спросить Джо, но язык почему-то перестал его слушаться и как бы прирос к верхнему небу. Повинуясь непонятной силе, Джо пошел в кухню, нашел там свечку, зажег ее, вернулся в гостиную, пристроился рядом с женой и тоже стал подвывать. Так они бегали и выли до рассвета и не помнили, как уснули.

А утром Джо как всегда отправился в полшестого на работу. «Да, странный сон мне приснился! А, может, и не сон вовсе? Это же надо!» – удивился он.

Кармелла домой так и не вернулась. Мария поплакала, поплакала и перестала. Всю свою любовь и заботу она теперь перенесла на маленькую Анну. Больше они с Джо духов не гоняли и об этой ночи старались не вспоминать. Анна попривыкла жить у деда с бабушкой и стала спокойнее. И, вообще, в доме воцарилась какая-то подозрительная тишина. «Может, так и надо? – думал Джо. – Может, это и есть тот долгожданный семейный покой, о котором я мечтал?»

Ночью Могилевских разбудил телефонный звонок из полиции.

– Ваш сын Энтони Могилевски – в городской больнице. У него пулевое ранение в голову, и состояние его критическое. Немедленно приезжайте, если хотите застать сына в живых.

Трясущимися руками Наташа начала одеваться. У Миши заболело сердце. Он, вообще, был сердечник. А тут – такое! Пришлось Мише принять нитроглицерин. В конце концов, собрались – поехали в Манхэттен. Антошка лежал в реанимации весь в трубках и датчиках, которые показывали, что он еще жив. Наташа смотрела на сына, и слезы текли по ее лицу. «Только бы ты остался жив. Я все тебе прощаю: и наркотики, и воровство и то, что ты нас с отцом в грош не ставил. Только живи. Живи, как захочешь. Как сможешь», – думала она.

Рядом с Антошкиной кроватью на стуле сидела заплаканная девушка – молоденькая, неприбранная, в выцветшей футболке и старых рваных джинсах. Длинные черные волосы давно не мытыми патлами спускались по спине. «Где-то я эту приبلудную овечку видела...», – подумала Наташа.

– Как тебя зовут? Ты кто?

– Я – Кармелла, девушка вашего Тони. Я люблю его. Он не умрет. Он не может вот так взять и умереть.

– Не может, – кивнула Наташа. – Я тебя где-то видела. Мы знакомы?

– Да. Мы встречались в библиотеке. Там работает мой отец, Джо Милано.

– Джо твой отец? Вот так сюрприз! Бедный Джо! А он знает про вас с Тони? Ну, что вы... того... вместе?

– Нет, папа с мамой ничего не знают. Мы поссорились, и я ушла из дома. У нас тут недалеко своя, так называемая, община. Об этом потом. Но как только Тони поправится, я вернусь домой. Я обязательно вернусь домой!

Наташа и Кармелла приходили в больницу каждый день. Они даже подружились, если можно назвать дружкой молчаливое сидение у постели Антона. Так иногда перебрасывались несколькими фразами.

– Ты отцу с матерью-то позвони, пожалей их, – упрасивала Наташа Кармеллу.

– А я уже позвонила. Родители все знают.

– Все? И про наркотики?

– И про наркотики. Но это теперь не имеет значения. Главное, чтобы Антон остался жив.

Антон постепенно шел на поправку. Молодой организм, хоть и отравленный наркотиками, взял курс на жизнь. После двухнедельного «отпуска», проведенного у постели больного сына, Наташа вышла на работу. Как тогда, в первый день их знакомства, Джо открыл ей дверь.

– Привет! – коротко бросила Наташа, отвернувшись и быстро прошла в рабочую комнату. Она не могла смотреть в глаза Джо, чувствуя себя без вины виноватой за любовь Кармеллы к наркоману Антону. Джо поплелся за ней.

– Наташа! Слышь, ты не переживай! Оно как-нибудь устроится, – сказал Джо, и в его словах было все: горе, радость, понимание и прощение.

Прошло несколько лет. Кармелла вернулась домой и закончила среднюю школу. Антон получил срок условно. Он бросил принимать наркотики и живет в интернате для бывших наркоманов. Лечится и помогает таким же бедолагам, как он сам. Кармелла и Наташа часто его навещают. Антон и Кармелла мечтают когда-нибудь найти работу, снять квартиру и пожениться. Наташа по-прежнему работает в библиотеке. А Джо там уже не работает. У него обнаружили диабет с прогрессирующей потерей зрения и онемением конечностей. Он больше не мог убирать, так как не мог отличить чистоты от грязи и, вообще, мало что видел. Тошно было сидеть на пособии по инвалидности. Джо иногда приходил в библиотеку, чтобы поболтать с Наташей и другими бывшими сотрудниками. К врачам ходить он не любил... «Что они понимают, эти врачихи? У меня душа болит, а ее починить может только Бог, если захочет», – повторял он и разводил по привычке руками. А однажды Джо и вовсе не пришел в библиотеку, хоть и обещал. «Куда он подевался, наш Джо?» – говорили сотрудники. Поговорили, поговорили и перестали. А потом узнали, что Джо просто взял и умер...

Другой уборщик теперь стоит у дверей со шваброй наперевес, но с ним не поговоришь за жизнь и он не умеет готовить лазанью, спагетти с тефтелями и куриный суп по-итальянски...

Бруклин, февраль 2011

* Кушать, кушать! – итал.

ЗОЯ МАСТЕР

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

(или двое в квартире, не считая кошки)

1. Затянувшаяся осень закончилась сизым декабрьским утром. В течение одной ночи город поседел. И седина эта разом стерла остатки застиранной дождями листвы с окоченевших деревьев, скользких крыш и подёрнутых поземкой тротуаров. К обеду повалил снег, вмиг залепивший кухонное окно.

– От на тебе, пожалуйста, – пожаловалась сама себе баба Маня, – я и сапоги ещё не достала, а уж сыпет.

Она залезла на стол и, придерживаясь правой рукой за холодильник, левой захлопнула форточку. Потом подогнула колени и, опершись о плиту, сползла в распластанные на полу тапки. Метнув в кипящий борщ крошенную петрушку, она прошлёпала по длинному полутёмному коридору мимо соседских комнат к кладовке. Из-под ног метнулась кошка, и баба Маня, неловко оступившись, крикнула в пустоту: «Терпеть не могу эту тварь чёрную! Всё одно, что половик лежит, что она!» Проводив нехорошим взглядом растворившееся в потёмках животное, она нащупала выключатель и в тусклом свете пыльной лампочки стала грохотать содержимым чемоданов и коробок. Задник сапога застрял в чемоданной щели. Баба Маня дёрнула голенище. Сапог послушно прыгнул в руки. От неожиданности она потеряла равновесие, больно ударившись плечом об косяк. Досада требовала выхода. Врезав каблук сапога пару раз в соседнюю дверь, она закричала: «Привади животное – держи при себе! Разве нормальные люди заводят такое уродство?» Переждав тишину, добавила, распаляясь: «Может, не слышишь, так я и громше могу!» Дверь открылась, и баба Маня, прильнувшая к ней всем телом, упала на грудь Самсона Петровича, обтянутую шерстяным, в полоску, свитером.

– Ой, Сенечка, ты что ль, дома, – пропела она, – а я вот думаю, может выйдешь, снег расчистишь. Видал, чё творится?

– Ну, да, понятное дело, – Самсон Петрович принял правила игры, – я-то подумал, с чего вы так надрыгаетесь. Только снег чистить нечем. Лопату, вроде, экспроприировали. Вы же сами недавно жаловались. Кстати, на *ты* мы с вами, Мария Андреевна, ещё не переходили. И зовут меня не Сенечка. Сколько раз можно повторять?

– Ох ты боже ж мой, – обиженно передёрнула плечами баба Маня, – сколько гонора. Только не вижу повода. Почему нельзя человеческим языком сказать – спёрли лопату! Нет, надо непременно учёность свою показать.

По-утиному переваливаясь, баба Маня прошаркала на кухню, а Самсон Петрович, раздосадованный совершенно ненужным конфликтом, взял толстый, набитый нотами портфель, натянул куртку – капюшон на голову – и негромко захлопнул за собой дверь. Мокрый снег обжёг лицо, забился под небрежно обмотанный шарф. Самсон Петрович подёргал заевшую молнию и торопливо зашагал к метро. Его раздражала погода, подслеповатые из-за летящего снега прохожие, необходимость тащиться на урок, обречённость возвращения в неудобную комнату.

Самсон Петрович поселился в коммуналке два месяца назад, после развода разменяв трёхкомнатную

квартиру на Плющихе. Жена с дочкой переехали в Измайлово, а он – в старый двухэтажный дом недалеко от Кузнецкого Моста. Центр – это было важно. Нужные ученики обитали именно там, да и музыкальная школа, место основной работы, находилась в нескольких остановках. Но через месяц, когда Самсон Петрович обжился на новом месте, неожиданно выяснилось, что дом идёт под снос. Жильцы со второго этажа немедленно съехали, предпочтя отдельное жильё в новостройках протекающей крыше и почти постоянному отсутствию горячей воды. А Самсон Петрович, баба Маня и переехавшие из Молдавии супруги Фрунзе упорно надеялись на «справедливость» и еженедельно отправляли совместные петиции в соответствующие инстанции. Ответа не было. Счета за коммунальные услуги тоже перестали приходить. Молдаване предположили, что адреса дома больше не существует; именно так произошло в Кишинёве, когда после землетрясения их частное жильё было определено под снос. Но тот факт, что дом так и остался стоять, и его даже удалось обменять на комнату в Москве, обнадеживая их и в теперешней ситуации. Тем не менее, московская суета утомляла, серое осеннее небо угнетало, и потому, получив приглашение на свадьбу родственников, они с радостью укатили домой ещё в ноябре. С тех пор время от времени они напоминали о себе канистрами домашнего вина, которые их знакомые проводники поезда «Молдова» доставляли непосредственно на квартиру, а баба Маня выставляла строго по размеру вдоль стены.

Самсон Петрович обнаружил, что здание метро осталось позади. Возвращаться не хотелось, и он, спустившись по Кузнецкому мимо букинистической лавки, завернул на Петровку и потом налево в Столешников, где ветер почему-то ощущался гораздо меньше. В подъезде он перевёл дыхание, потом долго сбивал налипший снег, топоча ботинками о плиточный пол и грелся, прижав руки к тёплой батарее. Дверь открыла заспанная Анжела, и Самсону Петровичу сразу стало ясно, что его не ждали.

– Ой, а мы думали, вы не придёте в такую погоду, – промямлила она. – Ребёнок устал после школы. Теперь спит. Не хочется будить. Она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу; красные меховые помпоны качнулись в такт.

– Наверное, соседка забыла передать, что вы звонили, – произнёс Самсон Петрович, дыша на посиневшие руки.

– Я не звонила, – без тени раскаяния сказала Анжела, – не успела, да и уверена была, что не придёте. Она попробовала изобразить улыбку, но получилась ухмылка. – И за урок я не заплачу. Его же не было... Давайте в субботу, в три.

Красные помпоны гипнотизировали и не позволяли Самсону Петровичу ответить так, как хотелось.

– Может, пока спит, мы чаю выпьем? – предложил он, надеясь немного отогреться.

– Вы меня извините, Самсон Петрович, но муж вот-вот с работы придёт, а мы с вами чаёвничаем, – начала раздражаться Анжела. – Давайте приходите в субботу, раз уж так получилось.

Она зябко передёрнула плечами и выразительно посмотрела на входную дверь. Самсон Петрович, не прощаясь, вышел.

2. Столешников опустел, но в гастрономе суетились покупатели – «выбросили» финские конфеты. Потол-

кавшись в очереди, Самсон Петрович почувствовал, что проголодался и направился было домой, но перспектива ужина в комнате – с телевизором, или ворчливой бабой Маней на кухне заставила его зайти в «Арфу». Он ел там довольно часто, заказывая одно и то же – шницель с мелко наструганной жареной картошкой и серым хрустящим хлебом. Жареная картошка – это любимое, она никогда не приедалась. Мама нарезала её крупно и готовила под крышкой, добавляя воду для мягкости. Катя, жена, наоборот, стругала соломкой и зажаривала до полуподгорелого состояния. А баба Маня доводила разрезанные в сливочном масле аккуратные дольки до золотистого цвета и потом, как акцент, ссыпала в сковороду мелко нарезанный чеснок с травками. В этот момент Самсон Петрович всегда выходил из кухни – чувствовал, что не устоит перед этим наипетитнейшим в мире запахом и напросится на обед. А баба Маня, кто знает, в каком она настроении. Угостить – угостит, но с колкостью, с издевкой. А унижений в этом мире и без бабы Мани хватает; никакая картошка того не стоит.

Взять хоть его имя – Самсон. Сейчас-то ничего, люди только вежливо недоумевают – брови домиком. А в школе проходу не давали, что в обычной, что в музыкальной. В музыкальной, пожалуй, ещё обидней дразнили, потому что со знанием дела. Самсон и Далила, кто ж не знает. И самое смешное, что наградили его этим именем как раз в честь того самого оперного героя, чью партию отец исполнял в камерном театре. Это уже потом мать случайно узнала, что с театральной Далилой у отца был роман, и поняла, что сценическая страсть и искренность, принятая зрителями и критиками за актёрское мастерство, имели несколько иную причину. Но имя было дано, и менять его сначала не соглашались родители, а потом, после шестнадцати, уже не хотелось ему самому – из принципа.

Хотя имя стоило ему концертной карьеры. В седьмом классе его друг, Лёвка Милыштейн, на уроке, ради хохмы, отрезал прядь волос, на затылке, прямо по центру. – Вот она, сила богатырская, у меня в руках. Класс рыдал. Лёвка целых пять минут упивался собственным остроумием и ещё пять – всенародной славой. А потом они подрались, и Самсон Петрович сломал мизинец, когда припечатал Лёвку к стенке. Сросся палец как-то неудачно, и о концертной карьере пришлось забыть. От мечты осталась только фотография в нарядной рамке, на которой маститый дирижёр пожимает руку девятилетнему коренастому мальчику с кудрявыми светлыми волосами, а оркестранты, стоя, аплодируют юному дарованию. На самом деле, глядя на эту фотографию, Самсон Петрович не испытывал сожаления о несостоявшихся гастролях, неслышанных аплодисментах, неполученных премиях, а заодно – бесчисленных часах, проведённых за инструментом в бесконечном поиске вечно ускользаемого и недостижимого совершенства. Но когда речь заходила о его работе в музыкальной школе, он в философской манере, ненарочито-многозначительно намекал на судьбоносные случайности на самом деле оказывающиеся банальными закономерностями. Иными словами, его вполне устраивала работа с детьми – не сильно ответственная, порой однообразная, но стабильная. Главное, Самсон Петрович чувствовал себя на своём месте. Он, правда, не любил академические концерты и раздражался, выслушивая третий раз за час ту же заигранную сонатину Клементи или этюд Черни. А вот

ежедневная рутина, наоборот, успокаивала, придавала размеренность и значительность каждому прожитому дню.

В отличие от многих преподавателей, он одинаково терпеливо относился и к талантливым ученикам «с будущим», и к тем, кто играл «для себя», за что его особенно ценили родители, рекомендуя друзьям и знакомым. Но предпочитал детей с посредственными способностями. Одарённые вечно были с придурью, и вместо того, чтобы просто учить, надо было постоянно вникать в их настроение, подстраиваться под простой характер, чтобы не дай бог, не оскорбить их ранимые души – результат избалованности, как считал Самсон Петрович.

Имея две ставки и частные уроки, он верил, что обеспечивает семью и потому принципиально не работал во время каникул. Но Катя думала иначе. Она постоянно ставила ему в пример Лёвку, который халтурами зарабатывал намного больше и, кроме машины и дачи, мог позволить себе свозить жену в отпуск дважды в год. Несмотря на многочисленные попытки, Самсону Петровичу так и не удалось убедить жену в том, что не все музыканты могут играть на слух, как Лёвка. И что он не умел это делать не потому, что не хотел или ленился, а потому что научиться этому невозможно. По мнению Кати, с её конкретным мышлением инженера-строителя, музыкант должен уметь играть всё и всегда; ноты ведь те же самые, тем более, что их всего семь. Кроме того, она считала, что профессия учителя музыки годится для женщин, а мужчины учителя хороши только в профессорском звании. По этому поводу у Кати со свекровью возникали колкие перепалки, с годами переросшие в гнойный нарыв принципиального несогласия. Нарыв прорвался грандиозным скандалом в присутствии Лёвки, в лицо которого свекровь бросила презрительное – лабук! И добавила: «А мог бы стать вторым Гилельсом!». Но Катю это не убедило, и на месте нарыва остался рубец, воспалявшийся каждый раз, когда речь заходила об отпуске или крупной покупке.

Однако, причиной развода стали вовсе не эти разногласия, а внезапная смерть тёщи. Спустился человек, в халате и тапочках, на первый этаж в гастроном – и не вернулся. Умер в очереди в кассу от сердечного приступа. С пачкой вологодского масла и палкой сервелата в руках. Пока неумело оказывали помощь, пока соображали вызвать скорую, пока заведующая вынимала из посиневших тёщиных рук неоплаченный дефицит, та перестала дышать. После суетливых похорон и ненужных, тягостных поминок стало ясно, что именно она, тёща, своим умением сказать нужные слова в нужное время, ровно как и умением промолчать, создавала ощущение семьи и домашнего покоя. Выяснилось, что именно ей были интересны рутинные новости Катиних проектов складских помещений и нехитрые секреты детских влюблённостей внучки. Именно её советы помогали Самсону Петровичу мирно сосуществовать в чисто женском школьном коллективе, не будучи вовлечённым в подводные течения мелочных обид и интриг. Теперь совместные ужины и воскресные обеды, во время которых спокойно выслушивались и обсуждались семейные проблемы, стали поводом для выяснения отношений, а любая тема – очередным шагом к непониманию и неприятию другого мнения. Через три месяца, без ссор и ругани они разошлись.

Первое время Самсон Петрович жил у Лёвки. В принципе, там ему жилось совсем неплохо; отдельная комната в огромной квартире, где никто ни у кого не мельтешил перед глазами. Да и общаться, в принципе, особого времени не было. После занятий в школе и частных уроков Самсон Петрович приходил поздно. При звуке открывающейся входной двери из семейной спальни обычно высовывалась всклокоченная Лёвкина голова: «А, это ты, привет. А мы тут уже как бы спать идём». Рядом возникало помятое лицо Марины. Придерживая бретельку рубашки, она ласково говорила: «Самсончик, там ужин на столе и фрукты в холодильнике. Обязательно поешь. Ладно?» После чего они оба, уже до утра, скрывались за дверью. Лёвка женился рано, ещё учась в консерватории, но Марина никак не беременела, что вовсе не приводило их в отчаяние, а, наоборот, заставляло ещё активнее решать проблему.

Самсон Петрович искренне обрадовался, когда можно было подписывать документы и переезжать хоть и в комнату, но свою. Он перевёз книги, ноты, диван и пианино, на котором изредка играл в отсутствие бабы Мани. Ему казалось, что серьёзная музыка вызывает у неё если не классовую ненависть, то раздражение, и что расценивает она его игру не как необходимую составную профессии или хотя бы коротание времени, а выпендривание образованием и нарочитое противопоставление интеллигентности её простоте. Вот и сегодня, при чём тут учёность и кошка, которой не повезло родиться белой и пушистой?

3. Баба Маня доедала жареную картошку. Уже была сыта, но не выбрасывать же. Хлебной корочкой собрала масляные картофельно-чесночные крошки. Вымыла тарелку – удивительно, что воду и тепло до сих пор не отключили. За окном окончательно стемнело. Тусклым зимним светом зажглись фонари. Из аптеки напротив торопливо вышел последний покупатель и тут же слился с обнявшей его промозглой ночью.

– И где же этого пианиста носит, – подумала баба Маня. Неужто так в деньгах нуждается, чтоб и в непогоду по урокам таскаться? Нет чтоб посидеть в тепле, за картошечкой с солёными помидорчиками поговорить о том, о сём. Да куда там, он такими блюдами простецкими брезгует. Только хочешь предложить попробовать, так он сморщится – чесноком видите ли, пахнет – и выйдет из кухни – дескать, дух плебейский не переносит. А сам потом колбасу в комнате жуёт и со своей кошкой делится. Может, всё-таки прав был отец, когда не позволил ей тогда, двадцатилетней, замуж за музыканта выйти?

Познакомились они в торговом техникуме; их ансамбль на вечере играл. Она стояла у стеночки, скромная, в платьице перешитом, ладная, ножки крепкие, стройные, не то что сейчас. А он на саксофоне играл, и всё на неё поглядывал. Сам модный такой; пиджачок в клетку с накладными карманами, брючки трофейные, яркий галстук, косая чёлка на глаза. В перерыве подошёл, познакомились. Потом домой провозжал. Долго вокруг дома ходили. Ей интересно с ним было, а ему с ней – кто знает. Скорее всего, просто приглянулась. Простая, нецелованная, не то, что эти раскованные девицы – с локонами из-под шляпок-менингиток и наведёнными бровями. А друзей его она стеснялась – вдруг что невпопад скажет. Подумают, дура. Лучше уж слушать молча, может чему и научишься. Ходила она в консерваторию на капустники

всякие, концерты. Там жизнь кипела, не то, что в её техникуме. Месяца через три после знакомства он пришёл к ним домой на обед. Мама грибочки замариновала, студень свиной приговорила – хоть через крышу бросай – так она говорила, когда застывал хорошо. А он весь вечер яблоки мочёные нахваливал, от грибочков отказался – гадость, мол. Мама обиделась, но виду не показала. А отец всё водки себе подливал, но не пьянел, а только хмурился. И молчал – злости набирался. А как дверь за гостем закрылась, она на кухне затаилась – знала, что скандал будет. Но отец даже голос не повысил, сел на стул и глухо сказал: «Чтобы я этого пижона в нашем доме больше не видел. Чужой он и всегда чужим будет. Ты слышала, мать, он студень холодцом обозвал, грибами побрезговал.» Потом обернулся к дочери: «Этот музыкантик что, надеется своей дудкой семью кормить? Или на моей шее сидеть собирается?»

И она послушалась, потому что понимала – отец прав, всегда он будет чужим в их семье, и она в его не приживётся. И всё же не выдержала, через год, в зимнее воскресное утро зашла с днём рождения поздравить. Он дверь открыл, узнал, удивился, а из-за плеча девушка возникла заспанная, разомлевшая.

– Это кто? – Спросила машинально, каменея от предчувствия ответа.

– Жена. Я ведь женился. Вчера как раз свадьбу сыграли. Хочешь, проходи.

У самого голос нежный, счастливый. Разговаривает, вроде, с тобой, а смотрит и улыбается молодой жене. Пробормотала положенные слова, попрощалась, и ещё долго сидела на лестнице, уставясь в одну точку, сжимая в потной руке неотданный подарок. И плакала злыми слезами, стыдась сохранённого неизвестно зачем и для кого целомудрия. И знала, что не будет в её жизни унижения больше этого.

Пару лет назад в ЦУМе на них наткнулась – чулки ажурные выбирали. Он взглядом скользнул – не узнал. И хорошо. Она теперь гораздо старше своих лет выглядит, не то, что его жена – худенькая, вертлявая, с модной причёской. Видать, всё, чего в жизни не хватало – это ажурных чулок со стрелочкой на тощих ножках. И он – моложавый, элегантный, хорошо одетый, ухоженный. Видать, дудка-то неплохо кормит.

Да она тоже не нуждается. В доме всё, как положено, на столе всё, что надо, и более того. Правда, квартира в коммуналке – та, что от родителей досталась, но зато комната огромная и в центре города. А что семейная жизнь не задалась, так вон сколько вокруг разведёнок. Да и сама тоже виновата. Мать тогда к цыганке отвела, погадать. Та и насоветовала – будешь сидеть и принца ждать, в девках останешься. Иди ищи своё счастье. Оно недалеко. Она и стала искать, как грибы. И правда, недалеко идти пришлось. Под первым же кустиком нашла поганку по имени Эдгар. Просто удивительно, как имя его навороченное не соответствовало простецкой внешности; на плоском лице утиный нос, да хитрые глазки под длинными, девичьими ресницами. Но приткий, деловой был. В овощном магазине заведующим работал. Туда и её пристроил. Пил только. Ну, выпить рюмочку-другую она и сама не против, но пенсию пропивать не позволит. Потому и развелась сразу как отец, собутыльник его, умер. Хорошо хоть сын не в деда и не в папашу своего – толковый, спокойный, непьющий. На Севере прорабом работает, там женился и внука родил. Толь-

ко она внучка своего ещё не видела. Вот уже пять лет просит по дороге из отпуска хоть на пару дней в Москве остановиться. Да нет, говорят, даже денёк на море жаль терять, особенно ребёнку. Успеет ещё Кремль посмотреть и с бабушкой познакомиться. А она бы ему и блинов нажарила, и супы-борщи-каши варила, и в секцию какую водила, и по театрам-зоопаркам... А так сидишь одна в тёмной кухне и ничего не хочется. Даже свет включить. Зачем? Что при свете, что без него – потёмки жизни.

4. Открылась входная дверь. Холодный уличный воздух скользнул по коридорному паркету и растворился в тепле кухни. «От, пришёл наконец. Видать, все деньги на сегодня заработал, – подумала баба Маня, – может хоть чаю придёт попить. Я бы брусничное варенье открывала».

Самсон Петрович развесил на стуле промокшую куртку. Ему очень хотелось горячего чая, но в комнате бабы Мани не горел свет, и это означало, что она опять сидит на кухне, в потёмках – экономит электричество. Уж лучше подождать, чем давиться чаем под её осуждающим, вечно недовольным взглядом.

Из подаренной учеником заграничной бутылки, Самсон Петрович налил себе немного коньяка, открыл пианино и, присев на стул, заиграл в ползвук. Это была даже не игра, а наигрывание. Так, детский репертуар – «Осенняя песня» Чайковского, с её вопросительно-тоскливыми квартами. Потом начал что-то ещё меланхоличное, под настроение. Но резко перестал, уловив шорох за дверью. И правда, разыгрался. Нашёл место и время.

– Всё, – крикнул он, – концерт окончен, не волнуйтесь.

Шорох прекратился, но за дверью явно кто-то стоял.

– Вот же вредная бабка, – с досадой подумал Самсон Петрович и зло распахнул дверь.

Баба Маня сидела под дверью, на складном стуле, уперев локти в колени и положив голову в раскрытые ладони.

– Ну, чего раскричался, – укоризненно сказала она, смахнув с носа слезу, – может, билеты надо купить, так ты скажи.

Самсон Петрович поперхнулся недосказанным раздражением и ударившим в нос лёгким водочным перегаром.

– Я думал, такая музыка не в вашем вкусе.

– А ты меньше думай, оно здоровее будет, – миролюбиво посоветовала баба Маня. – Сыграй чего-нибудь ещё, я послушаю.

– Да уже не хочется, – ответил Самсон Петрович, всё ещё ожидая подвсха.

– Ну, не хочется, тогда может пойдём чаю попьём, – предложила баба Маня, – Я летом варенья наварила, вот в первую метель и откроем, пробу снимем. И мармелад есть фирменный, яблочный, на Кировской купила.

– Горячего чая было бы хорошо, – сдался Самсон Петрович. – А домашнего варенья я давно не ел. И если вы варите варенье так хорошо, как жарите картошку, то я с удовольствием.

– Баба Маня ошалело уставилась на Самсона Петровича. – Картошку? Ты ж чесночного духа не переносишь.

– С чего вы взяли, – в свою очередь изумился Самсон Петрович. Какая же картошка без чеснока!

– А может, грибочков с водочкой? – неожиданно для себя самой спросила баба Маня.

– Нет, вот это без меня, – поморщился Самсон Петрович. – Не люблю грибы.

– А вот объяснить можешь, отчего такие, как ты, грибами брезгуют? – прищурилась баба Маня. – Мне давно понять хочется, откуда такое интеллигентское чистоплюйство происходит?

– Это обычная разница во вкусах, а не чистоплюйство. Мне лично они на вид неприятны. Скользкие, серые. Не овощ, не фрукт, не мясо. Так что интеллигентность или образование тут ни при чём. А вот как вы, Мария Андреевна, относитесь к финским конфетам? Я тут коробочку купил.

– Синие с золотом, что ли? – по-деловому осведомилась баба Маня.

– Вроде они.

– Эх, раньше-то импорт ещё можно было купить, а сейчас – всё по блату, да по случаю. Вот пять лет назад, во время олимпиады, хорошее время было. Всех подозрительных за сто первый километр выслали, как при Сталине. Ни тебе командировочных, ни местной шваши, хиплов этих нечёсанных. На улицах пусто, а в магазинах густо. И сайра тебе пирамидками на витринах, и корейка на прилавке, и напиток тот чудной, Фанта назывался. А потом эти, – она ткнула пальцем в сторону заблокированной канистрами двери, – опять понаехали, и как шаром покати.

– И о чём с ней беседовать, – подумал Самсон Петрович, не зная, как продолжить разговор.

– Вот ты скажи, Самсон Петрович, – поинтересовалась баба Маня, откусив верхушку конфеты и разглядывая её содержимое, – откуда у тебя такое заковыристое имя? Отродясь такого не слышала.

– Оно не заковыристое, а малоупотребляемое. Сейчас библейские имена не в моде.

– Библейское, это как – еврейское что ли?

– Почему? Не обязательно. Это имена, упомянутые в Библии, в Ветхом Завете. Но конкретно Самсон – историческая личность, герой. Он был наделён необыкновенной силой. Тогда, несколько тысяч лет назад, как впрочем, и сейчас, иудеи воевали с филистимлянами, теперешними палестинцами. Предназначение Самсона заключалось в том, чтобы помочь своему народу победить этих самых филистимлян. Боролся с ними Самсон в одиночку, убивал тысячами до тех пор, пока не влюбился в Далилу, филистимлянку. За хорошую плату, притворившись влюблённой, она выведала у Самсона его секрет, усыпила и у спящего отрезала волосы, потому что оказалось, что именно в них его сила. Тогда враги выкололи ему глаза и посадили в темницу. Как-то они привели его в языческий храм, поиздеваться хотели. Но не учли того, что волосы к тому времени у него немного отросли. А Самсон попросил подвести его в столбам, на которых держалось здание, уперся в них руками и развалил храм, похоронив в нем и себя, и своих врагов. Ну, меня и называли в его честь, вернее, в честь героя оперы «Самсон и Далила». Мой отец был оперным певцом, исполнял его партию.

– А проститутка эта тоже со всеми погибла? – задумчиво спросила баба Маня.

– Тоже.

– Ну, и поделом. И имя её надо бы из названия убирать. А то получается, прославили на равных. Выхо-

дит, имя у тебя со смыслом. Так что не стану больше тебя Сеней звать.

— Ну, спасибо, — усмехнулся Самсон Петрович, — только и у меня к вам вопрос: «Сколько вам лет, что бабой себя зовёте?»

Баба Маня покраснела от смущения. — Чай сильно горячий, прямо кипяток, — сказала она, утирая испарину. — Вот ещё конфетку возьму, а то не распробовала.

Заметив замешательство бабы Мани, Самсон Петрович пожалел о своём вопросе. «Чего я лезу не в своё дело, — подумал он. — Сейчас пошлёт подальше, и будет права».

— Вопрос твой, конечно, нетактичный, но я сегодня добрая, — сказала баба Маня, аккуратно слизывая начинку с пальца. — Честно сказать, я и не помню, кто и когда меня так стал называть. Как-то само собой получилось. С мужем развелась, сын вырос. Чего зря наряды покупать, маникюры-причёски делать — только деньгами сорить. И работа такая, в ажурных чулочках не походишь. Между ящиками да бочонками жизнь прошла. Накладные, ревизии, отчёты. Потом смотрю, время к пенсии. Могла бы ещё поработать, да зачем? Пенсия хорошая, на всё хватает. Да к тому же из тех, с кем работала, никого не осталось. А молодые пришли, с высоким образованием, так для них я и правда — баба. Ну и пошло, баба Маня то, баба Маня это. И привыкла. А что, не смотрюсь бабкой ещё? — нарочито безразличным тоном спросила она.

— Так вам, получается, и шестидесяти ещё нет, — подсчитал Самсон Петрович.

— Пятьдесят шесть мне, — сухо уточнила баба Маня и стала демонстративно собирать со стола посуду.

5. По пятницам Самсон Петрович работал с обеда и потому вставал поздно, дожидаясь, когда баба Маня пойдёт по своим делам. Тогда можно было не спеша принять душ, постирать бельё, выпить заваренный в турочке кофе и насладиться гулкой тишиной, нарушаемой только своими шагами, своим присутствием, своей собственной жизнью. Но в это утро поспать не удалось — в дверь настойчиво поскреблись, и скрипучий голос бабы Мани окончательно разбудил Самсона Петровича, с остатками сна уничтожив предвкушаемое пятничное блаженство.

— Ты бы снег почистил, Сенечка... Самсон Петрович, — сказала баба Маня, — парадную дверь не открыть, намертво занесло. Мы так до весны из дому не выйдем.

— Так ведь чистить нечем, — не открывая глаз огрызнулся Самсон Петрович.

— А я лопату вчера вечером соорудила, — шипящим шепотом дoloжила баба Маня. — Я бы и сама почистила, да дверь приоткрыть не могу — завалило..

— Ну что за бесцеремонность, — вспылил Самсон Петрович, — почему надо будить человека в восемь утра, да ещё в его выходной?!

— Так ведь из подъезда не выйти.

Чавканье шлёпанцев стало еле слышным. Самсон Петрович понял, что спорить не с кем — баба Маня скрылась в своей комнате. Принять душ не удалось — ванная была завешена только что постиранными цветастыми байковыми халатами и ночными рубашками в горошек. Чертыхнувшись, Самсон Петрович наскоро умылся и, брезгливо раздвигая капающие на голову тряпки, ногой открыл дверь ванной. Рядом с дверью, в углу, стояла лопата. Самсон Петрович с изумлением

заметил, что её металлической частью был дорожный знак, прикреплённый проволокой к палке от швабры.

— Баба Маня, — крикнул Самсон Петрович в гулкую пустоту коридора, — вы что это творите! Да за такие вещи и посадить могут! Вы когда этот знак отдирали, вас точно никто не видел?

— А хоть бы и видел, — отозвалась баба Маня, выглядывая из комнаты, — мне что, надо было вчера, в метель, по магазинам бегать, лопату искать? И что там за знак такой важный?

— Это знак ограничения скорости. Он где висел, у поворота? А за тем поворотом — спуск. И теперь народ скорость снижать не будет, значит, авария произойти может. И в этом будет ваша непосредственная вина. Вы это вообще понимаете?

— Ой, Самсончик, как будто они когда на те знаки смотрели. Едут, куда хотят и как хотят со знаками и без. Ну, в крайнем случае, новый повесят — не обидеют. А ты ж меня не выдашь? Я тут ещё один, кругленький, взяла прямо у въезда во двор — он уже и так на соплях болтался — им бочонок с солёными помидорками прикрыла. А то ведь помёрзнут в сарайчике.

— Кирпич, что ли?

— Нет, ну кирпичи на меня вешать не надо. Ещё не хватало мне кирпичи таскать. Железку — могу, а кирпичи — на что они мне?

— Кирпич — это знак, запрещающий въезд во двор. Вы и его стащили?

— Э-э-э, — задумалась баба Маня, — может, и его. — Я на картинку-то не особо смотрела. Меня конфигурация привлекла. И я тебе скажу, глазомер у меня что надо — точно по размеру на бочку подошёл.

— И теперь вы меня подставить хотите, — рассвирепел Самсон Петрович. — Так, что ли?! Вы, значит, солёными помидорчиками лакомиться будете, а я — штрафы платить!

— Что ты такое говоришь, — перепугалась баба Маня. Я и не думала тебя подставлять. Снег шёл, холодно, ты куда-то умотался, молдаване вообще пропали, помочь некому. Вот я и соорудила...из подручного материала. Слушай, Самсончик, ты быстренько расчисти снег-то, а потом я лопату аккуратно разберу и новую куплю. Только сейчас мне непременно уйти надо. Если с утра не побегу в продуктовый, эти приезжие всё разберут. Так что ты давай, немного физическим трудом позанимайся. Тебе полезно.

— Мне знаете, что полезно, — сквозь зубы заметил Самсон Петрович, — найти способ от вас абстрагироваться.

— Ой, напугал, — насмешливо взвизгнула баба Маня. Тут до тебя тоже один интеллигентный жил, слова всякие умные говорил и в шахматы сам с собой играл. Так пока он этим онанизмом занимался, его жена с Пашкой, слесарем нашим, своё подорванное женское здоровье поправляла. А потом она ещё этого шахматиста и бросила, а ты в их квартире поселился. Тебя, тоже, небось, жена послала подальше.

Схватив лопату, Самсон Петрович прогрохотал по коридору, а баба Маня снова скрылась в своей комнате, бормоча незнакомое ей, длинное, похожее на ругательство, слово.

Заледеневший за ночь снег, не поддавался гнущейся железке самодельной лопаты. Кое-как Самсон Петрович соскрёб склеившуюся, похожую на замёрзшую кашу, массу с крыльца и проложил узкую дорожку к тротуару. За его спиной, скользя, изо всех сил стара-

ясь сохранить равновесие, прошла баба Маня. Провожая взглядом её невысокую фигуру, завернутую в теплую котиковую шубу, Самсон Петрович ещё раз пожалел об убитом дне и о том, что, торопясь съехать от Лёвки, согласился на невыгодный для себя обмен, обернувшийся потерей личного пространства и личной жизни.

Принесли почту. Положив толстый конверт с мурманским адресом на кухонный стол бабы Мани, Самсон Петрович позвонил Лёвке.

– Слушай, ты занят? Может, заедешь?

– Не, мне лень из дома вылезать. Лучше ты. Тем более Маринка куда-то свалила.

– Ладно. Через полчаса буду, – согласился Самсон Петрович.

Аккуратно причёсанный, незаспанный Лёвка открыл дверь. Бросив «Привет, как дела?», мелькнула вернувшаяся из магазина Маринка и скрылась на кухне.

– Пошли в комнату, что ли, – пригласил Лёвка, коньячок неплохой есть, фисташки.

– Как скажешь, – ответил Самсон Петрович, чувствуя какую-то перемену в доме. – А что это вы по разным комнатам сидите – поссорились?

– Не, – нахмурился Лёвка, – мы теперь беременные.

– Ну? Наконец-то! – обрадовался Самсон Петрович. – Поздравляю!

– С чем? – осведомился Лёвка и саркастически улыбнулся.

– Не понял, – растерялся Самсон Петрович.

– А что непонятного, моя функция выполнена, ребёнок зачат, стало быть я, как мужчина, больше не нужен. Ну что ж, природа знает такие примеры. Вот дельфины, к примеру, высокоразвитые животные, а самка после удачного спаривания тоже теряет интерес к сексу.

– Лёвка, ты о чём? Тебе ли жаловаться на нехватку секса? Мне-то хоть мозги не парь.

– Так это всё в прошлом, – с неподдельной горечью вздохнул Лёвка. – Мы уже неделю в разных спальнях, – с того самого дня, как она узнала, что беременна. Ты понимаешь, я, дурак, верил, что у нас любовь, и что процесс трахання – её доказательство. А оказалось, я ей нужен только как самец – для продолжения рода. Она меня использовала – вот что самое обидное.

– Лёвка, ты не прав, ты – эгоист, – сказал Самсон Петрович. – Во время беременности женщина уже думает о ребёнке, о его безопасности, и от секса практически не получает удовольствия. Это закон самосохранения. Придётся тебе перебиться пару месяцев.

– Нет, это ты, старик, не прав, потому что не умеешь смотреть на шаг вперёд. А я там впереди, в плане интима, ничего хорошего для себя не вижу. После родов – ещё хуже станет. Ой, тише, не трясى кровать – ребёнка разбудишь. Ой, ты что не понимаешь, я так устала за день, а ты тут со своими приставаниями. Ой, не трогай мою грудь, молоко пропадёт, – кривлялся Лёвка.

– Да кончай ты преувеличивать. Помню, у меня с моей бывшей до рождения дочки тоже отношения другие были. И что?

– Да, вот именно, и что? – многозначительно подытожил Лёвка. – Где сейчас ты, и где – она?

Они допили остатки коньяка.

– Так ты чего увидаться хотел, случилось что или так просто? – вспомнил Лёвка.

– Самсон Петрович замаялся. Стало ясно, что проблемы, связанные с упёртой бабой Маней будут выглядеть слишком мелочными в сравнении со вселенскими масштабами Лёвкиных переживаний.

– Да нет, так просто зашёл, давно не виделись, а тут часок перед работой выдался. Ну ладно, я побежал. Не провожай.

6. Последняя ученица ушла домой. Было тихо. Только из дальнего класса доносились виолончельные рыдания – кто-то упорно заучивал пассаж, повторяя одну и ту же ошибку. «Надо бы подойти, подсказать, что диез там во втором такте», – подумал Самсон Петрович. В дверь постучали и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла молодая женщина. Она держала за руку мальчика лет десяти.

– Вы Самсон Петрович, верно? – спросила она и, снова не дожидаясь ответа, выдохнула, – Хорошо, что я вас застала.

– А в чём, собственно, дело? – спросил Самсон Петрович, продолжая одеваться.

– Я понимаю, уже поздно и вы, наверное, спешите, – занервничала женщина, – но я только хочу попросить послушать моего сына.

– Мы не набираем детей посреди учебного года, – сказал Самсон Петрович, – и поверьте, я говорю это не потому, что спешу и хочу от вас отделаться. На самом деле, я вообще никуда не спешу, – неожиданно для самого себя добавил он.

– Женщина смутилась, – Я знаю, что набор окончен ещё летом, но мне вас порекомендовали. Сказали, вы находите подход к любым детям. А мой – не совсем обычный. Все говорят, у него неплохие музыкальные способности, но он... замкнутый. С ним нелегко найти общий язык.

– Так может, это оттого, что он вовсе и не хочет заниматься музыкой? Может, его в спортивную секцию лучше отдать, а? – улыбнулся Самсон Петрович, подмигнув ребёнку.

Женщина устало села на стул и пристально, снизу вверх посмотрела на Самсона Петровича. Под безжизненным электрическим светом её лицо внезапно постарело. От уголков рта, как от брошенных в воду камешков, разбежалась рябь тонких морщинок.

– Вы только его послушайте. Знаете, он ведь сам играть научился. У нас пианино осталось от прежних жильцов. Ему никто и не показывал, как играть. И вдруг сам... Ты ведь сыграешь учителю, да, сына? – просящим тоном сказала она, обняв ребёнка за плечи.

Тот дёрнулся и остался стоять, глядя себе под ноги.

– Вот капризный пацан, – подумал Самсон Петрович, – Может, он ждёт, что я начну его уговаривать?

Слегка подталкиваемый матерью, мальчик нехотя сдвинулся с места.

– Ну, как же тебя зовут? – спросил Самсон Петрович, стараясь звучать как можно приветливее.

– Его зовут Виталик. – поспешно ответила женщина.

– Садись, – Самсон Петрович указал на рояль, – сыграй что-нибудь.

Мальчик подошёл к инструменту и неожиданно стал сметать ладонями невидимую пыль с его крышки. Он делал это пугающе методично, не обращая никакого внимания на присутствующих. Так же сосредоточенно он сложил лежащие на рояле ноты в идеально ровную стопку, открыл крышку и сел на стул, аккуратно положив руки на колени. Не поднимая головы, он взял аккорд и снова замер, словно ожидая или прислушиваясь.

ваясь к чему-то. Фальшивая виолончельная нота надоедливой мухой жужжала из-за стены. Теряя терпение, Самсон Петрович сказал: «Ну давай, покажи, что умеешь делать». Мальчик продолжал сидеть, что-то соскрёбывая с клавиши. Слова, обращённые к нему, удались о ватную стену безразличного молчания и, вяло оттолкнувшись, стекли в душное комнатное пространство.

– Послушай, получается, мама зря тащила тебя в такой мороз. Ну-ка, посмотри на меня. Я не кусаюсь, не кричу, я только музыке учу, – бодро зарифмовал Самсон Петрович, стыдясь фальши неожиданного словесного экспромта и своей педагогической беспомощности.

Мальчик повернул голову и поднял глаза. Самсон Петрович попытался перехватить его взгляд и осёкся, поняв бесполезность этих попыток. Стараясь скрыть свою растерянность, он открыл крышку второго рояля и взял пару аккордов. Перестав постукивать костяшками пальцев по стулу, мальчик повторил аккорды, не меняя их последовательности. Не говоря ни слова и не глядя на ребёнка, Самсон Петрович наиграл отрывок первого предыдущего на память вальса. По-птички склонив голову и шевеля губами, ребёнок старательно повторил услышанное и снова замер, надёжно спрятав глаза под густой, низкой чёлкой.

– Какой неприятный, настороженный взгляд, подумал Самсон Петрович, – не на, а сквозь. Взгляд, словно обтекающий лица и предметы.

Подойдя к окну, Самсон Петрович сказал: «Молодец! А теперь сыграй что-нибудь на свой вкус. Я не буду на тебя смотреть – только послушаю».

Ребёнок снова неуклюже склонил голову к чуть приподнятому плечу и заиграл тот же вальс, но уже по-другому – оживлённее и неряшливее. Проиграв отрывок, он не остановился, как в первый раз, а заиграл его совершенно иначе – с иной, режущей диссонансами, гармонией, с синкопами, казалось бы абсолютно здесь неуместными, но каким-то непонятным образом легко и естественно совместившимися с неприхотливой, заезженной мелодией.

– Так звучит лучше, чем в оригинале – свежее, талантливее, – отметил про себя Самсон Петрович. – Как он это делает? Такому нельзя научиться. Если бы не эти гуттаперчевые пальцы, эти ужимки, я бы решил, что он гений.

Виталик продолжал играть те же двадцать тактов, и с каждым повтором Самсон Петрович всё больше ненавидел этот вальс. А мальчик, как игрушка, заведённая большим металлическим ключом на определённое количество оборотов, ждал, когда кончится завод, постепенно затихая и замедляя темп. Правая рука легла на колено, а левая продолжала стряхивать неслышимые остатки звуков с влажных клавиш.

– Виталик, – тихо, но настойчиво сказала женщина, – хватит, иди сюда.

Ребёнок послушно подошёл к ней.

– Я не уверен... Вернее, совершенно уверен, что не смогу учить такого... стеснительного ребёнка, – твёрдо сказал Самсон Петрович, надеясь избежать дальнейших объяснений и возражений. Он отвернулся и стал сосредоточенно запихивать ноты в портфель.

– Это не стеснительность, – тихо проговорила женщина, – это аутизм.

Нам нужна ваша помощь.

– Что? – опешил Самсон Петрович, – Тогда почему вы решили, что именно я могу вам помочь? Я, к сожалению, не врач, а всего лишь учитель музыки.

– Врач у него есть. И он говорит, что музыка поможет Виталику стать более контактным. Поймите, ему это необходимо.

– Это вы поймите, у меня нет опыта работы с такими, – Самсон Петрович снова запнулся, подыскивая слово, – сложными детьми.

– Но у вас есть интуиция. Вы же почувствовали, что он избегает контакта, догадались стать у него за спиной и добились своего.

– Пойдёмте, я провожу вас к метро, – уклончиво ответил Самсон Петрович и щёлкнул выключателем.

7. Самсон Петрович никогда не умел читать в транспорте. Даже в поезде метро уже через несколько минут строчки сливались, и его начинало подташнивать. Но думалось хорошо.

На пересадке вместе с ним в вагон зашли две девочки – похоже, сёстры – и сели напротив. На младшей была такая же шапка, что у его дочери; жёлтая, мохнатая, похожая на шмеля. А на этой – заснеженный шмель. Чем старше становилась дочка, тем более странной и отчуждённой становилась. Куда-то ушла та безраздельная, всепринимая любовь, какой он любил её в раннем детстве. Станным казалось её поведение, её неподобающие столь юному возрасту мелочные, даже меркантильные интересы и самое главное, полное отсутствие каких бы то ни было музыкальных способностей. Классическая музыка не только не интересовала её, но вызывала откровенную скуку, которую она и не пыталась скрыть – отвлекалась, начинала дурачиться, или просто выходила из комнаты. В глазах учеников Самсон Петрович искал и видел восхищение. Ему хотелось верить, что воодушевление передаётся даже самым ленивым, и потому равнодушие собственной дочери воспринималось как желание сделать назло, как личная обида. Этот мальчик, Виталик, кажется... Даже его, благодаря своему педагогическому таланту, он сумел вытащить из-под панциря одиночества. Помог, пусть ненадолго, преодолеть цепкий страх болезненного недоверия. Конечно, вряд ли он позвонит этой женщине. Такой тяжёлый ученик отнимет слишком много времени и нервов, потребует энергии, которой хватило бы на трёх обычных.

Хотя с профессиональной точки зрения кому-то это было бы интересно. Но не ему. Самсон Петрович с неприязнью вспомнил взгляд мальчика. В конце концов, гениальность – тоже болезнь, ошибка природы. И лучше наблюдать её со стороны, чем каждый раз, вступая в контакт, снова и снова осознавать свою – нет, не посредственность, – обыкновенность. Да и вообще, какое ему дело до чужого ребёнка, влезшего в его жизнь, если с собственным они говорили на разных языках? Иногда дочка казалась ему слишком сообразительной, вызывая бесцеремонной в оценках и суждениях, дерзко мыслящей для своих лет. Споря с ней, он раздражался до злости, признавая неординарность её мышления, а потом стыдился своей реакции и неприязни, которую отец не должен испытывать к собственному ребёнку.

Развод она приняла спокойно, без слёз и расспросов. А когда, попрощавшись и взяв чемоданы, Самсон Петрович направился к двери, она, пройдя мимо открытого инструмента, зло ткнула кулачком в клавиши,

наслаждаясь извлечённым диссонансом и болезненной реакцией своего отца.

Самсон Петрович еле удержался на ногах, поскользнувшись на припорошенном снегом льду. На встречу шла женщина, нагруженная сумками. Самсон Петрович прижался к сугробу, уступая узенькую, протоптанную редкими пешеходами дорожку. В ботинки попал снег и начал таять, противно стекая внутрь. В подворотне то ли дворник, то ли жилец, колот лед, громко матеря зиму, которая хоть и запоздавшая, но для московских служб наступила, как всегда, неожиданно.

Дверь в квартиру оказалась открытой. В коридоре участковый Стоянов на повышенных тонах спорил с одетой в ядовито-зелёное атласное кимоно бабой Маней.

– Нет, гражданка Суркова, раз вещественные доказательства найдены по месту вашего ОБЩЕГО с гражданином Веселовским проживания, стало быть и ответственность перед законом у вас общая. Понесёте и за воровство, и за нанесение ущерба государству, и за преднамеренное создание опасной дорожной ситуации, могущей повлечь жертвы. Хорошо хоть у нас ещё есть сознательные граждане, сигнализирующие о подобных безобразиях.

– И что, те сознательные на меня указали? Может, они рядом стояли и железку эту со мной откручивали?

– Не стояли, не откручивали, но собственноручно видели, как ваш сосед снег чистил вот этим самым орудием! – участковый указал на швабру. – А подъезд ваш общий, как и адрес этот. Стало быть и протокол на обоих составлю. Мне ведь всё равно, кто задумал, а кто воплотил, так сказать.

– Так ты посмотри, где оно лежит, это орудие, – не сдавалась баба Маня, – у его двери! И чистил он! Стало быть, с него спрос.

Участковый, озадаченный последним аргументом, выругался и начал оформлять новый протокол. Баба Маня победно вскинула голову, но, наткнувшись взглядом на стоящего в дверях, белого от злости Самсона Петровича, неожиданно взяла участкового под руку и вкрадчиво сказала: «От что ты доцепился до этого знака? Ну, одолжил человек железку. Так не заработал же на ней – снег расчистил. Завтра на место вернёт. А ты нервничаешь, время тратишь. Лучше вот возьми себе на память канистрочку – видишь, у стёночки стоят – и иди с богом.»

– Так, – взбодрился Стоянов, – канистрочки, говоришь? Так вы ещё соларку воруете?

– Ты что, – возмутилась баба Маня, – на что нам соларка? Это вино молдавское, домашнее. Красное, белое... Бери канистру, какая нравится, и забудем этот разговор.

Стоя за спиной участкового, Самсон Петрович увидел, как у того от возмущения шея стала малиновой. «Всё, – подумал он, – приехали».

– А две можно, – выдавил из себя Стоянов, – вот эти с краю, пузатенькие?

– Можно, – безразличным тоном ответила баба Маня, – но только знак сам обратно прицепишь. А то ведь Самсон Петрович – у нас не кто-нибудь, а знаменитый музыкант, пианист. Нечего ему руки морозить. О, вот и он сам, – радостно удивилась она. – Надо же, как поздно, всё работаете, детишек учите. Вы, Самсон Петрович, проходите, а то мы тут коридор перего-

дили, о ерунде всякой болтаем. Участковый наш уже уходит.

Бережно неся канистры, Стоянов направился к выходу. Выйдя на лестничную площадку, он обернулся и злорадно объявил: «Да, кстати, тут супруга моя – она в этом... ну, в общем, где надо работает – сказала, что после Нового Года вас выселят. Так что пакуйтесь и скажите спасибо, что предупредил. Салатик оливье на чемоданах жевать будете».

– Так до Нового года всего-то две недели осталось, – крикнула в серую, ворсистую спину баба Маня и расстерянно посмотрела на Самсона Петровича.

– Как же...?

– А как вы так можете? – не выдержал Самсон Петрович. – Вчера чаёк, домашнее варенье, а сегодня за спиной гадости делаете, свои поступки идиотские на меня валите? Вы, Мария Андреевна, непорядочный человек. Вот что я вам скажу.

– Значит, я – непорядочная? Сволочь значит, ты это хотел сказать? Ну конечно, мы люди простые, бумажки в портфелях не носим. А вы, музыканты, – интеллигенты, значит? Знала я одного такого. Тоже чистой воды вроде тебя.

Правильно папаша мой покойный их всех терпеть не мог. Ну, Лещенко там, Кобзон – ещё ничего, приличные. А остальные – или алкаши вроде Высоцкого – через водку и помер – или никчёмные, вроде тебя.

– Вы сами не знаете, что несёте, – обиделся Самсон Петрович, – наверное, опять выпили.

– Ой, чуть не забыла, – баба Маня ловко перевела тему, на минуту прикинувшись глухой, – тебе тут дочка звонила. А ты и не говорил, что у тебя дочка есть. Как её зовут?

– Маша, Мария, – автоматически буркнул Самсон Петрович.

– Надо же, тёзка, – умилилась баба Маня.

Самсон Петрович внутренне содрогнулся, на секунду представив, что его курносая, сероглазая дочка может вырасти вот в такую бабу Маню со свисающими на уши, пахнущими пивом, бигудями.

– А лет ей сколько?

– Ну, двенадцать. Это что, допрос? Вам какое дело? – бросил Самсон Петрович, снимая побелевшие от влаги ботинки.

– Да никакое. Вот потому ты один, что во всём подвох ищешь, людям не веришь. А я только передать хотела, что дочка твоя звонила. Скучает.

– Так и сказала, что скучает, или вы это только что придумали? – безразличным тоном осведомился Самсон Петрович.

– Наверное, скучает, раз звонила, – снова огрызнулась баба Маня.

– Это же как долго вы общались? – сквозь зубы спросил Самсон Петрович.

– Да минут десять. О, чайник свистит. Пойду выключу. А ты приходи на кухню, если хочешь.

Самсон Петрович молча пил крепкий, настоящий на неизвестных ему травах, чай, прихлёбывая клюквенную наливочку и закусывая ненавистными солёными опятами. С бабой Маней было удобно; не требовались пространные объяснения, можно было односложно отвечать или просто кивать-качать головой, думая о своём. Ну вот кто он – неудачник, несложившийся пианист, не самый лучший муж и уж совсем никакой отец.

– Так я и говорю, – продолжала баба Маня, тыча пальцем в конверт из Мурманска, – спрашивается, куда я денусь с внуком? Переселят к чёрту на кулички – ни в секцию какую, ни в школу музыкальную не добьются. А он у меня непременно на фортепьяно играть будет, как ты.

– Какой внук?

– Ну, я же тебе толкую – внук приезжает, жить у меня будет. То за пять лет ни разу не навестили, а то вот мальчик болеть стал, так вспомнили. Сразу нужна стала.

– Вы никогда о нём не упоминали.

– Так во-первых, разве ж с тобой можно говорить по человечески? Ты ж простых людей не замечаешь. Смотришь то ли сквозь, то ли сверху вниз, словно не люди, а предметы вокруг. Будто ты сам по себе, а остальные мимо проходят. И только когда толкнут – внимание обратишь. А во-вторых...

– Конечно, – Самсон Петрович снова отключился от трескотни бабы Мани, – *сверху вниз*. Как персонажи любимого им Шагала. Летают себе и смотрят оттуда – спокойно и отстранённо. Сверху, из собственного, некоммунального мира не так заметны уродливые мелочи жизни, поломанные судьбы. Оттуда не слышны просьбы, упрёки, и потому можно представить, что к оставшейся там, внизу, суете, не имеешь никакого отношения. Вроде как выпустил душу полетать, когда ей тяжело. Только она падает вниз, возвращается на своё место, потому что земное притяжение.

– ... и что нам теперь делать – в райсовет, а может, прямо в Моссовет обратиться?

– Что делать, что делать? Паковать, – ответил Самсон Петрович, звякнув о блюдце пустой чашкой.

8. Ленивый мартовский дождь превращал подтаявший снег в месиво. «Отличная погодка для переезда», – подумал Самсон Петрович, подходя к дому.

Баба Маня стояла у подъезда и руководила грузчиками, затаскивающими в кузов бочонок с соленьями.

– Что вы с этим будете делать на пятом этаже? – поинтересовался Самсон Петрович.

– Застеклю балкон, да и все дела, – бодро ответила баба Маня. – Не остаётся же. Ты-то как, устроился?

– Я у друга пока живу. В новой комнате ремонт надо делать. Вроде, жила там приличная дама, доктор наук по древним рукописям, а клопы даже днём ползают.

– Вот оно то самое горе от ума – книжки читать умеем, а подтереть за собой или унитаз помыть – это выше нашего достоинства.

– Ладно, Мария Андреевна, давайте не будем ссориться напоследок.

Я ведь кошку пришёл забрать. Спасибо, что присмотрели.

– Да ладно, невелика забота, – отмахнулась баба Маня, вынимая животное из набитой подушками плетёной корзины.

Та покорно перебралась в руки Самсона Петровича.

– Смотрите, – сказал тот, – да она поседела за неделю, что с вами жила!

– Ну ты придумал, Самсончик, – разве ж кошки седеют? Я только её чуть перекистью обесцветила. Хвост и одно ухо. Чтоб не совсем чёрная была. Она ж мне сто раз на день дорогу переходила, я уж плевать через плечо утомилась,

– оправдывалась баба Маня.

Онемевший Самсон Петрович тупо смотрел, как массивная, с подмёрзшими подтёками рассола бочка,

накренилась от толчка тронувшейся машины и, медленно перевалившись через борт, упала на дорогу. Влипшие в грязный снег, расплюснутые розовые помидоры, напоминали непонятного сорта цветы, разбросанные на нестиранном нейлоновом покрывале. Жестяной круглошок дорожного знака завихлял на ребре и упал, наткнувшись на сапог оторопевшей бабы Мани.

– Видать, не судьба, – философски произнёс Самсон Петрович, стряхивая с брюк липкую веточку сельдерея.. Ну, всего вам. Может, ещё когда увидимся. Земля ведь круглая.

– Точно, круглая. – хмыкнула баба Маня, кивая на вошедшего во двор человека.

Прищурившись и вертя головой по сторонам, он прошёл мимо них, осторожно неся тяжёлую, издающую булькающие звуки, канистру. Найдя глазами нужную дверь, он облегчённо вздохнул и бодро зашагал к подъезду опустевшего, пережившего свою последнюю зиму, дома.

Октябрь 2009

ВИКТОР БЕРДНИК

ЛЕГИОНЕР

Я могу не победить, но не могу не бороться...

Автор

Любой мало-мальски уважающий себя мужчина хочет добиться успеха в жизни. К нему он уже стремится, сделав свой первый самостоятельный шаг, а как – сознательно или повинаясь инстинкту, открыто или тайно – это не столь важно, главное – присутствие в душе неиссякаемого стимула к самоутверждению. Чего-чего, а этого самого стимула в характере у Сашки хватало в избытке. Будь он склонен к научному познанию – его судьба сложилась бы, несомненно, иначе: стал бы он амбициозным исследователем или, к примеру, хорошим доктором, ну, на крайний случай – удачливым адвокатом или бизнесменом. Однако ничего подобного не произошло, поскольку Бог не одарил Сашку аналитическим складом ума, как и не дал ему ни усидчивости, ни терпения.

Как раз накануне своего тридцатитрёхлетия – этого классического возраста Иисуса Христа и Ильи Муромца – он, перепробовав множество разных занятий, не нашёл ничего лучшего как вступить во Французский Иностраннный Легион. Его не совсем обычный выбор диктовался не столько практическими соображениями (в соответствии с французским законодательством после трёх лет службы в Легионе иностранец может претендовать на гражданство), сколько желанием попробовать себя в качестве наёмника армии, овеванной романтическими мифами и жестокой реальностью. Впрочем, после развала Советского Союза в хаосе новых экономических отношений для подобного ему экстремала открывались самые широкие перспективы с подстерегающими там опасностями, но их вкус не шёл ни в какое сравнение с тем, что Сашке когда-то приходилось слышать о буднях солдат удачи. Его знакомые и родственники по-разному восприняли это решение: кто-то пожимал плечами, резонно полагая, что рисковать можно и на Родине, но за большие

деньги, кто-то вообще плохо понимал, о чём идёт речь, ну, а иные просто крутили пальцем у виска.

Пять лет подписанного контракта пролетели незаметно. От первых дней в тренировочном лагере «Двадцать семь палм» до последней спецоперации по «зачистке», именовавшейся на языке легионеров «Рубить буш». Бригада, в которой служил Сашка, дислоцировалась в Северо-восточной Африке, в Джибути, а куда его закидывала судьба и что ему приходилось видеть и делать, он предпочитал не обсуждать и просто обходить молчанием. Что было – то было. Прошло и не стоит вспоминать...

Сашка вернулся во Францию и несколько недель провёл в Мальмуске, на базе отдыха Легиона с прекрасными условиями на живописном берегу Средиземного моря, раздумывая, как же ему строить свою дальнейшую жизнь. Возвращаться в Россию он особенно желания не имел, да и отвык за это время от многого. Наверное, всё получилось бы иначе, не познакомься Сашка с Иржиной – женщиной чуть младше его, чешкой по происхождению, работавшей экзотической танцовщицей в одном из ночных клубов Марселя. Несмотря на свой уже не юный возраст, она сумела сохранить почти без изменения идеальные формы фигуры, но уже предвидела, что дни на этом поприще для неё сочтены. Трудно сказать, что их сблизило, но только через несколько месяцев Сашкина новая подруга предложила ему переехать в Сан-Диего к её отцу, который вдруг на старости лет вспомнил о единственной дочери и сумел разыскать своё драгоценное чадо. Сашка к тому времени успел достаточно пораскинуть мозгами о своих привилегиях в получении французского паспорта и решил, что глупо не использовать такой шанс. Он перебрался к Иржине вею крохотную квартирку и уже всерьёз подумывал на какое-то время там задержаться, но как видно, всем его планам так и не суждено было сбыться. Иржина, заручившись его согласием, начала активно собираться в дорогу, а Сашке – непримиримому противнику любых брачных уз даже пришлось спешно оформить соответствующие документы, иначе видел бы он американскую визу как собственные уши. Так он оказался в Калифорнии.

Иржинин папаша встретил «молодых» с настороженностью. На русских он, как бывший участник «Пражской весны», смотрел вообще косо, а, узнав, что его разлюбезный зятёк в недалёком прошлом – чуть ли не командос Иностранного Легиона, стал воспринимать Сашку как отъявленного бандита и головореза.

«Русский забанец...» – втихаря повторял он про себя при всяком удобном случае. Впрочем, старик не особо документал и больше заботился о неожиданных отцовских чувствах, всячески лелея их, проснувшихся совершенно внезапно для него самого. Не секрет, что для некоторых родительская любовь – это всего лишь продолжение собственного эгоизма, где присутствует элементарный страх оставить всё нажитое неизвестно кому.

Сашка не приехал «пустым». Бережливый по натуре, он никогда не просаживал бездумно деньги, гуляя до одури, как будто в последний раз, а надеялся, что когда-нибудь они ему всё же понадобятся. Вот и понадобились. На новом месте надо было устраиваться и желательно в самый короткий срок. Он с удивлением осматривался в необычной для себя стране, отмечая её отличия от французской действительности. Хотя, и ту он знал не особенно. Зсего шесть месяцев в Марселе с

Иржиной на пару, да несколько коротких отпусков из Легиона едва ли могли его столкнуть во всей своей красе с той нелёгкой реальностью, в которой оказывается иностранец, собирающийся пускать корни за границей.

Что для Сашки стало в Америке сюрпризом – так это неожиданная для него самого способность буквально на лету схватывать чужое наречие. Он довольно бегло болтал по-французски, но язык Наполеона и Дюма был формой его каждодневного общения в последнее время, здесь же пришлось учиться говорить заново. Не прошло и пары месяцев, как он уже вовсю лопотал на английском. Правильно-неправильно – не столь важно, главное – его понимали.

Наверное, для любого человека оказаться за границей среди своих земляков проще и легче на первых порах. Очень скоро Сашка сумел пристроиться в комиссионный магазин или как их называют в Америке «паун-шоп» – один из традиционных русских бизнесов на западном побережье. Его хозяин не мог себе позволить нанять только охранника и потому в Сашкины функции, помимо контроля за ситуацией в магазине, входили и обязанности помощника. Дело он имел, в основном, с довольно стрёмными посетителями – ну, какой нормальный человек понесёт закладывать свои вещи или, тем более, покупать то, что с хорошей долей уверенности может быть ворованным. Чего только не приносили в паун-шоп в надежде на сиюминутную наличность – начиная от ювелирных изделий и заканчивая всякой ерундой типа гаечных ключей. Народ толпился здесь целый день: и те, кто нуждался в деньгах – это само собой, ну и, конечно же, люди, падкие на халяву. Иные даже приходили целыми семьями, чтобы справить себе обновки, в которых они, кстати говоря, не особо нуждались.

Без оружия в таком месте никак нельзя – иди знай, что может взбрести в голову какому-то ненормальному от зудящего сознания того, что в кассе магазина всегда найдётся тысяча долларов а то и более. Сашка обзавёлся смит-вессоном тридцать восьмого калибра – недорого, но надёжным шестизарядным револьвером и специальной кобурой, надевающейся под одежду. Наверняка, подобные носят агенты спецслужб или переодетые полицейские, чтобы с одной стороны не привлекать внимание и в то же время, в случае чего проявить необходимую готовность взять контроль над ситуацией в свои руки. Проработал Сашка в паун-шопе довольно долго, но после одной неприятной истории решил, что ему будет лучше подыскать себе что-нибудь более спокойное.

Иметь при себе оружие в такого рода бизнесе вполне легально, но ни в коем случае не следует носить его по улице. Сашка настолько привык к тяжести револьвера у себя подмышкой, что порой даже забывал, какая опасная игрушка висит у него под пиджаком. Как-то выскочив на пару минут за сигаретами через дорогу, он даже и не подумал оставить оружие в сейфе и как оказалось, совершенно напрасно.

В небольшой о лавке, торгующей табаком и спиртным, было пусто. Сашка протянул продавщице деньги:

– Марлборо лайт...

Молодая мексиканка, стоявшая за прилавком, похоже, не разобрала его тяжеловатый русский акцент и протянула ему пачку обычного «Марлборо». Сашка

замотал головой и, протянув руку в сторону полки с табачным ассортиментом, повторил:

– Лайт...

При этом пола пиджака случайно открылась, обнажив на секунду к ужасу несчастной продавщицы рукоятку пистолета. Она побледнела как стена и, парализованная обувшим её неопишным страхом, не могла вымолвить ни слова. Сашка, не поняв её замешательства, повторил:

– Лайт. Пожалуйста...

Дрожащая рука перепуганной девушки легла на кнопку вызова полиции... Кое-как, не отрывая взгляд от покупателя, она подала злополучные сигареты и стояла как вкопанная, не решаясь открыть кассовый аппарат.

– Ну, милая, ты, что уснула?

Сашка, открывая пачку, ждал, пока ему отсчитают сдачу. Едва он вышел на улицу, как увидел прямо перед собой три полицейских машины, перекрывшие въезд на небольшую стоянку перед магазином, и направленные в его сторону пистолетные стволы. На опасность Сашка реагировал мгновенно. Она уже напряжённо висела в воздухе – привычное ощущение присутствия где-то рядом с собой невидимого противника и готовность к отражению нападения. Ещё секунда – и он бы занял удобную позицию для защиты, как вдруг сообразил, что это уже не «горячая точка».

«...Брось оружие!!»

«...Лечь на землю!!»

«...Брось оружие!!» – кричали ему полицейские и целились прямо в голову. Сашке не пришлось долго соображать, что это по его душе, и того и гляди начнут стрелять. Да он и сам не стал бы раздумывать, а покрошил бы без особых колебаний любого, вздумай тот не подчиниться. Рассуждать было некогда и ментально вспомнив, как легко с такого расстояния пробивает «бестолковку» девятимиллиметровая пуля, он аккуратно положил револьвер на асфальт.

«...Лечь на землю!!»

Дюжина бравых блюстителей порядка окружила его, всё ещё не решаясь подойти ближе и надеть наручники. Наконец, увидев, что тело «преступника», распластанного на земле, не представляет угрозы, полицейские оперативно заломили ему руки и начали обыскивать. Всё произошло настолько внезапно, что Сашка даже не успел открыть рот для объяснений. Из паун-шопа, почуввав неладное, уже спешил его босс, перепуганный до невозможности представившейся ему картиной.

Сашку подняли и, встряхнув как мешок с дерьмом, бесцеремонно впихнули на заднее сиденье полицейской машины, где он, томимый неизвестностью, просидел около часа, пока подоспевший хозяин магазина из всех сил пытался уладить возникшее досадное недоразумение. Действительно, получился совершенно дурацкий конфуз, и если бы не вмешательство его босса, дело могло бы принять очень нежелательный оборот. Наконец, разобравшись и освободив Сашке руки, один из офицеров, протягивая ему его документы и конфискованные личные вещи, сухо бросил «Согру». Сашка, потирая плечо после профессионального захвата, понял со всей очевидностью, что едва избежал очень плохих для себя последствий. С полицией шутки плохи, а в особенности, если у тебя в руках оказалось оружие.

Вечером, когда он со смехом поделился об этом приключении с Иржиной, та лишь покачала головой.

– Рано или поздно что-нибудь подобное должно было случиться.

Сашкину работу в паун-шоппе она недолюбливала. Мало того, что он там сидел допоздна, так ещё и работал по субботам.

– Послушай, а что ты думаешь насчёт собственного бизнеса? На кого-то гнуть спину – особого ума не надо. Есть тут у меня одна мысль... Поможешь?

– Смотря в чём и чем.

Менее всего Сашка был склонен на скорые обещания.

– Да работа, откровенно говоря, непыльная...

Немного зная свою нынешнюю подругу жизни, он сомневался, что Иржина вынашивала свой план уже не первый и день и только ждала подходящего случая. Вот он и представился.

– Как ты насчёт спортивной рыбалки?

– Никак... Я не рыбак, – Сашка усмехнулся, не совсем понимая, к чему она клонит.

– Понятное дело...

В глазах Иржины проскользнула весёлая искорка.

– В крепких руках бывшего легионера можно представить всё, что угодно, но только не удочку. Оно и к лучшему. Мужчина, пока он молод – должен интересоваться совершенно другими вещами.

Она на минуту призадумалась, решая с чего начать.

– Ну, а если серьёзно, то есть шанс делать неплохие деньги. Не особо утруждаясь, кстати говоря...

То, чем в дальнейшем поделилась Иржина, имело определённый смысл. Не каждый бы, конечно, впрягся в подобное, но Сашка был именно тем человеком, на кого она могла смело рассчитывать. Решительный и в достаточной степени сумасбродный – словом, парень из той породы ненормальных, кто не рискуя и не подпитывая свою кровь адреналином, не живёт в полную силу. Из таких не получаются аптекари и бухгалтеры, не в обиду будь это сказано представителям спокойных, но скучноватых профессий.

В целом, идея Сашке даже понравилась. Немного необычная, но иди знай? В итоге, чтобы попусту не топтаться на месте, наверное, такая и нужна. Что ни говори, а голова у Иржины варила как надо. Выслушав всё до конца, он лишь поинтересовался:

– Послушай, есть одна загвоздка... Насколько всё это легально?

В любом действии, направленном на то, чтобы заработать, всегда найдутся подводные камни, и не учитывать такой сопутствующий личной инициативе фактор – не значит избежать непредвиденных обстоятельств, когда их меньше всего ожидаешь. Для них двоих осложнения с законом вполне могли бы обернуться депортацией. Иржина учла и это.

– Я проконсультировалась – криминала здесь нет.

Она недаром спросила про рыбалку – суть её предложения сводилась к следующему: иржинин отец держал в здешней марине пятидесятифутовый катер, на котором он в прошлом совершал регулярные рейсы в Мексику, набирая на борт пассажиров, охочих до рыбной ловли. Это не было его основным доходом, но почти ежемесячные круизы неплохо подпитывали его бюджет и даже незначительные денежные вливания отнюдь не мешали. Тяжело переболев в прошлом году, старик оставил привычное занятие и уже подумывал катер продать. Шутка ли, платить по восемьсот

долларов в месяц за причал без всякой на то нужды, не говоря уже о ежегодном налоге на собственность и коммерческой страховке. Услышав об этом, Иржина тут же смекнула, что терять пусть небольшой, но устойчивый бизнес с постоянной клиентурой – непростительная ошибка и предложила отцу взять дело в свои руки. Он не возражал и даже пообещал на первых порах помочь разобраться во всех тонкостях, тем более, что дочка собиралась снять с его плеч всё финансовое бремя. Дело могло бы выглядеть так, что её отец фактически оставался хозяином бизнеса и лишь поднимал членов своей семьи. Правда, ему осталась неизвестной одна маленькая, но очень важная деталь, так смутившая Сашку.

Порасспросив отца о конкуренции в этой области, Иржина не могла не понимать, что только какое-нибудь нововведение сможет привлечь к ним большее количество людей и найденное ей решение сулило несомненный успех. Помимо доставки рыбаков к месту лова, она хотела открыть на катере бикини-бар, соединив несколько удовольствий – спортивную рыбалку и топлесс-танцы в один незабываемый круиз.

– Я буду оставаться одетой до того момента, пока мы не окажемся в нейтральных водах – там законы страны или штата уже не действуют. И потом... каждый гость должен будет подписать бумагу, что обязуется ко мне не притрагиваться. Как видишь, я всё продумала до мелочей.

– Кроме одной, – у Сашки в глазах застыл немой вопрос, – я так полагаю, что моя роль – управлять этим катером? Учитывая то, что водить корабли – не совсем моя стихия, мне пока плохо удаётся себе представить, как это у меня получится.

– Ну, не могу же я одновременно танцевать, подносить напитки и при этом ещё нести вахту на мостике.

Иржина виновато улыбнулась.

– Придётся научиться... Тебе пойдёт стоять за штурвалом...

Сашка оказался на редкость понятливым и уже довольно скоро под глухое, но одобрительное ворчание старика мог сам вывести катер из узкого пространства причала и пришвартоваться обратно. В общем-то, в открытом океане поставь на руль человека малосведущего, и он успешно справится с этой задачей, но вот маневрирование требует определённого навыка. За несколько месяцев Иржинин папаша умудрился хорошенько поднатаскать своего подопечного, и катер, казавшийся Сашке поначалу огромным морским лайнером, постепенно стал его слушаться. До виртуозности было ещё очень далеко, но Сашка чувствовал, что вполне справится. Попутно старик учил его пользоваться навигационным оборудованием. При современной компьютерной технике – это невеликая премудрость. Проложить курс и определить свои координаты с помощью «GPS» – несложного в обращении прибора доступно практически даже неопытному мореходу, тем более, что подобным устройством Сашка же успел попользоваться во время службы в Легионе.

Иржина тоже не теряла время даром и позаботилась о том, чтобы их начинание не осталось вне досягаемости внимания потенциальных клиентов. Она заказала тысячу рекламных листов и разнесла их по бензоколонкам, местным ресторанам, барам и другим местам скопления публики. Социальный статус рыбака – область непредсказуемая. Им может оказаться и строи-

тельный рабочий, и риэлтор, и бизнесмен, а где кого настигнет случайная бумажка – одному Богу известно.

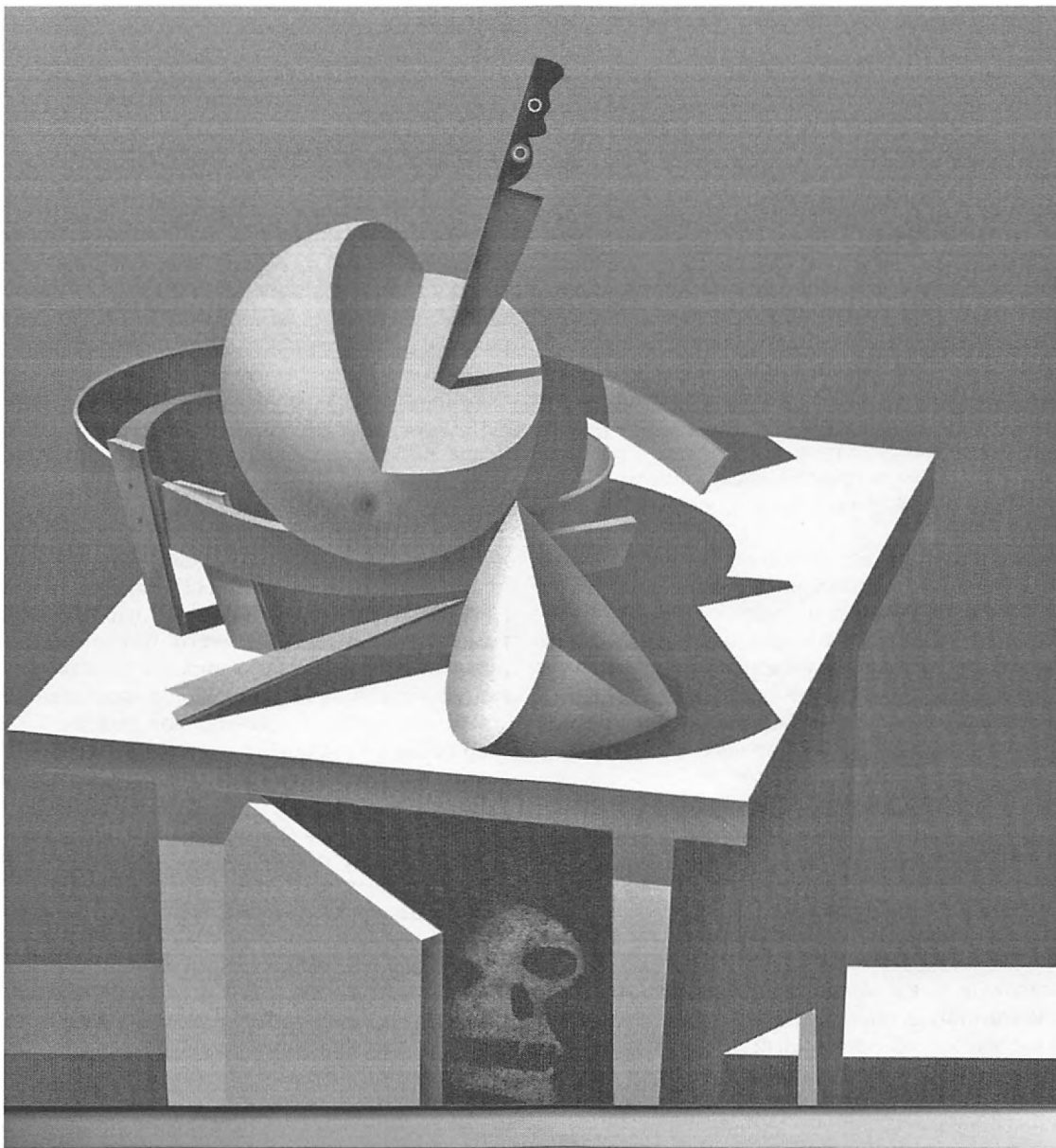
Наконец, настал день их первого самостоятельного выхода в океан. Глядя на поднимающихся на борт незнакомцев, Сашка слегка нервничал, но не от неуверенности в себе, а от того как эти люди воспримут необычную рыбалку. С алкоголем он решил не связываться, и в стоимость билета входили только вода, тонизирующие напитки и кофе в неограниченном количестве. Иржина должна была разносить их на палубе во время всего круиза в откровенном бикини и лишь на расстоянии двенадцати миль от берега, где уже начинаются нейтральные воды, она предлагала короткое, но запоминающееся представление.

Утро выдалось прохладным, и Сашка с тревогой смотрел на наряд Иржины, в котором она встречала пассажиров. Те бесцеремонно пялились на её стройные ножки и точёную фигурку, предвкушая обещанное в рекламе. Для этой цели по центру салона Сашка установил специальный подиум с шестом посередине и добавил в салоне несколько ярких светильников. Таким образом, при полностью распахнутых дверях всё действо немногочисленные зрители могли бы наблюдать с широкого пространства на корме, не отвлекаясь при желании от рыбной ловли. Катер находился в зоне хорошего клёва и каждому предоставлялся свободный выбор, чему себя посвятить: однообразному и томительному ожиданию трофея из тихоокеанских глубин или непродолжительной развлекательной программе.

Её, рассчитанную на полчаса, Иржина построила с учётом своего многолетнего опыта. Кое-что она заимствовала из супершоу «Pink Paradise» – культовой европейской танцевальной феерии, идущей не один год в известном парижском стриптиз-клубе. Великолепное зрелище без всякого намёка на какую-либо пошлость, сочетающее в себе изысканную пластику эротических фантазий и лёгкую атмосферу чувственности. В Марселе этот номер шёл у неё «на ура» и публика не скрывала своего восхищения. Там, в большом зале, танцевать было привычным занятием. Здесь же, на импровизированной сцене и при небольшой качке её выступление должно было стать почти что дебютом. Впрочем, Иржина волновалась напрасно. Ни один из присутствующих пассажиров не проигнорировал приглашение капитана оценить по достоинству мастерство танцовщицы и ошалевшие от свежего воздуха и пленительных дамских форм мужички разного возраста напрочь забыли на какое-то время о своей давней страсти к потраве морской живности. Никто не помышлял о рыбном промысле и профессиональные орудия лова сиротливо стояли у фальшборта, пока их хозяева горящими глазами пожирали женские прелести.

Иржина выложились от души. Не столько для этих случайных людей, сколько из желания испытать почти забытое чувство – властвовать своим телом, совращая его наготой мужскую психику – податливую как тёплый воск, и заставляя думать о себе как о языческом божестве. Сашка, незаметно наблюдая из рубки за всем происходящим, не мог про себя не отметить, что такой он Иржину не видел никогда. Он с невольной гордостью собственника любовался её движениями, уже проигрывая в мыслях, как станет её обнимать и ласкать сегодня вечером.

Музыку к танцу Иржина подбирала сама, и смесь мелодий разных направлений органично вплеталась в



Виктор Лазухин. Элегия. 2004. Компьютерная графика. 40'' X 30''.

настроение, которое она сумела создать буквально за первые десять минут. Это были преимущественно восточные мотивы, чем-то напоминающие Карунеша, совершенно незнакомые довольно простецкой аудитории, бесконечно далёкой от странно возбуждающих напевов и просто собравшейся с удочками в короткий дневной круиз.

На последней ноте Иржина ко всеобщему восторгу приняла совершенно сногшибательную позу, чем заслужила шквал аплодисментов. То, что среди их первых клиентов окажутся те, кто захочет ещё раз посмотреть на все её старания, она уже не сомневалась. Облечившись снова в бикини, Иржина скромно начала разносить колу, и каждый, кому она предлагала напиток, ощущал, что именно ему адресовано внимание этой великолепной женщины...

На следующий рейс билеты были раскуплены мгновенно. И на последующий тоже. К сожалению, вместимость катера не позволяла брать более двадцати пассажиров, а нарушать правила безопасности не имело никакого смысла -- один лишний человек мог стоить лицензии. Собственно, и необходимости в том не было -- три, а вскоре уже и четыре рейса в неделю приносили ощутимый доход и, к удовольствию старика, Иржина сумела самостоятельно оплатить страховку и налог. Такая прыть со стороны Иржины стала для её отца неожиданным и приятным сюрпризом. Полуживой, а скорее полумёртвый бизнес, уверенно карабкался вверх.

Неприятность возникла с того бока, откуда её никто не ожидал. Однажды, как обычно, появившись утром в марине, Сашка обнаружил на дверях салона приклеенный конверт, в котором оказалось официальное уведомление, подписанное докмастером. Ни много ни мало им предлагалось в течение трёх дней освободить занимаемое место возле причала. Сашка долго не мог уловить смысл написанного -- ничего конкретного, лишь угрожающая фраза о несовместимости предоставляемых их бизнесом услуг и положением о действующих правилах в чартерных компаниях. Сашка, не долго думая, поспешил в офис, нуждаясь не столько в справедливости, сколько ради того, чтобы взглянуть в глаза этому поборнику морали.

«...Вот козёл вшивый... каким образом это ему мешает?»

Докмастера он за всё время видел раза два или три, но сказать что-нибудь определённое о нём не мог. Так, ни рыба ни мясо -- обыкновенный клерк. В том, что тот был в курсе дела всего происходящего у них на борту, Сашка не сомневался. Никто ничего не скрывал, да и не собирался...

Разговор оказался коротким. Докмастер не захотел пускаться в объяснения и мямлил что-то неопределённое. По его словам выходило, что причиной столь радикальных действий менеджмента послужили якобы жалобы посетителей одного из ресторанов, где Иржина оставила рекламные листки о спортивной рыбалке с пикантным уклоном.

Посетители были возмущены подобным неприличием, -- добавил он укоризненно, -- и мы вынуждены принять меры и позаботиться о нашей репутации...

Надо отметить, что американское общество при всей своей пресловутой свободе взглядов, отличается невероятным ханжеством. С ним невозможно не столкнуться, настолько оно прёт изо всех щелей сознания людей самого разного уровня. Демонстративность мо-

ральных устоев переходит все мыслимые границы, что отнюдь не мешает людям самозабвенно предаваться пороку, тщательно скрывая его от других. Или вполне открыто, подменяя христианские каноны собственным толкованием непреложных истин. Что неприличного для себя усмотрела пара придурков в словах «экзотические танцы» и чем они так безгранично оскорбили их целомудренную нравственность -- можно было только гадать, но Сашка уже догадывался о настоящих причинах.

За несколько месяцев его и Иржиной деятельности катер практически не простаивал, и Сашка только успевал ловить на себе желчные взгляды менее успешных капитанов. Они провожали его в море и встречали по приходу, словно перекрёстный огонь, от которого, впрочем, Сашке и его клиентам было не холодно и не жарко. Пассажиры с неохотой покидали гостеприимный борт, где им подфартило так приятно провести время и, не раз обернувшись, трогательно, как добрые друзья, махали Иржине, стоявшей у сходней. И всё это на глазах у соседей по причалу... Мало радости оказаться неконкурентоспособным -- вот и результат.

Сашка почему-то был уверен в своих выводах. Может быть потому, что слишком часто сталкивался с человеческим нутром в самых непредвиденных ситуациях и наблюдал, как люди, действуя, так или иначе, нередко руководствуются довольно низменными инстинктами. Он и Иржина стали как кость поперёк горла их незадачливым коллегам, которые считали, что лишились по праву принадлежащего им заработка. Наверняка они спали и видели, чтобы избавиться каким угодно способом от этого русского и его пышнорудой подруги, поставивших на уши своей экстравагантной идеей их безмятежное существование.

– И это всё? -- Сашка не мог поверить, что докмастер решился отстаивать интересы большинства и тем самым взял на себя ответственность за сомнительную акцию.

– Я не делал ничего противозаконного и сумею это доказать, но не думаю, что ты после всего здесь останешься работать, -- довольно резко бросил Сашка и вышел из офиса. Это не было пустой угрозой -- он терпеть не мог, когда его воспринимали как бессловесную жертву, неспособную за себя постоять. Как бы ни хотел докмастер и все те, чьи личные интересы он представлял, преподнести дело в свете защиты общественной морали, оно так не выглядело, и там явно прослеживалась чья-то прямая выгода.

Катер пришлось отогнать в Энсенеду. Сашка уже успел побывать в этом небольшом мексиканском порту, расположенном в порядке семидесяти миль от Сан-Диего, и тамошняя марина отнюдь не уступала американской. Заново отстроенная в центре города, и если бы не бизнес, там вполне можно было бы остаться. Сашку настолько завело чьё-то желание похоронить начатое ими с Иржиной дело, что он уже просто не мог остановиться.

Принципы -- вещь жестокая. Сказать, что они помогают в жизни, пожалуй, будет скороспелым преувеличением. Отрицание нередкого компромисса с совестью, как показывает опыт, в девяти случаях из десяти даже вредит. Кто-то принимает такое положение вещей, кто-то нет. Для определённых людей их собственная жизненная позиция дорога настолько, насколько не всегда понятно окружающим их хроническое

стремление её отстаивать и чаще всего любой ценой. Мир всегда делится на тех, кто продаёт и на тех, кто покупает. За деньги, а может быть, за что-то ещё, покупается всё – даже свои принципы, не говоря уже о чужих, но это не значит, что их продают абсолютно все.

В Легион не идут слабаки. Отбор очень и очень серьёзный: один претендент из многих желающих. Пройти этот отбор нелегко, и не потому, что у кого-то слабее мускулы или не верблужья выносливость. Такие качества, безусловно, никто не сбрасывает со счетов, но всё же главное – это доказать негибкость воли. Её у человека может и не быть, но, если она уже есть, то остаётся с ним навсегда. Легионеры бывшими не бывают.

Ошибка докмастера не заключалась в искажении фактов – ну, кто обращает внимание на такую безделицу – ему и в голову не приходило, что на его позиции должен быть индивидуум, способный читать людей. Не заполнять, как обезьяна, дурацкие бумажки, а просчитывать на ход вперёд реакцию другой стороны на свои далеко не всегда разумные действия.

Сашка пообещал докмастеру противостояние не ради красного словца. Другой бы на его месте плюнул и, поддавшись на уговоры здравого смысла не вступать в схватку с более сильным, нашёл бы обходные пути. Проглотил бы горькую пилюлю, но сэкономил бы деньги, время и нервы. Другой, но не Сашка. Стать молчаливым и инертным свидетелем в конфликте интересов он не считал возможным и просто перестал бы себя уважать, если бы не ткнул своего обидчика мордой в парашу.

На его удачу, одним из рыбаков предпоследнего круиза оказался репортёр местных теленовостей, который узнав о случившемся, тут же рассказал это как курьёзную шутку своему боссу. Тот, недолго думая, решил взять интервью у Иржины, предварительно оговорив с ней, что она будет позировать перед камерой в том самом бикини, что было на ней во время морского путешествия. Она не возражала, но выдвинула условие: репортаж должен будет проходить с видом на хорошо приметный причал, который они с Сашкой не так давно покинули. Наверное, Иржина и сама не подозревала, насколько её с виду невинное требование окажется исключительно верным ходом. Докмастер, заметив на стоянке офиса телевизионный фургон и Иржину, дающую пространные объяснения, был взбешён. Менее всего он ожидал увидеть здесь представителей средств массовой информации. Если бы только этих... Не прошло и нескольких дней, как и другой канал в вечерних новостях показал кадры, снятые на катере. Сашка специально пригнал его из Энсенады, чтобы продемонстрировать схему чартера и рассказать о некоторых его нюансах.

– Я чту закон, – сказал он с пафосом в микрофон.

Репортёр ехидно съязвил:

– Для русского это значит – жить «по понятиям»?

Откуда он выкопал этот блатной термин? Хотя, удивляться не приходилось: в девяностых годах американские газеты уделили много внимания российской действительности, и некоторые словечки крепко засели в «прогрессив-ных» мозгах любителей порассуждать о неведомой им жизни. Сашка не смутился и невозмутимо парировал:

– Для меня «понятия» – это устав караульной службы.

О своих подвигах во Французском Легионе он предпочёл умолчать, но вдруг вспомнил свою давнюю службу в армии.

– Я бывший морской десантник или по вашему – «марин» и, как и мои американские коллеги, свято чту одну из заповедей: говори правду о том, что ты делал и что видел... Если не ошибаюсь, эти слова принадлежат майору Роберту Роджерсу.

Журналист от удивления чуть не поперхнулся.

«Ну-ну, а этот русский не так прост...»

– То есть, Вы хотите сказать, что менеджмент марины совершил в отношении вас противоправные действия?

– Абсолютно. Докмастер был оповещён с первого дня и мог бы сразу же высказаться против того, как мы собираемся вести бизнес, но этого не произошло.

Сашка достал какую-то тетрадку.

– Это вахтенный журнал, в нём отмечены все координаты и точное время, в течение которого мы находились в нейтральных водах. Именно тогда команда предлагала пассажирам экзотические танцы. Даже, если законы и предусматривают какие-либо ограничения на такой вид деятельности – это распространяется только на территории штата, но не за его пределами. Как видите, всё легально и не стоит игнорировать тот очевидный факт, что в попытке дискредитировать нашу репутацию прослеживается чьё-то прямое желание избавиться от нас как от неугодных конкурентов.

Сашка отступил в сторону и жестом пригласил в открытые двери салона.

– Здесь вполне порядочный и серьёзный бизнес, а не плавучий бордель...

– Ваши дальнейшие намерения?

– Очень простые – восстановить справедливость и наказать виновного.

Сашка широко улыбнулся в камеру.

– Первая заповедь всех спецподразделений и в том числе – в армии США: никогда ничего не забывай...

Сашкино интервью вызвало небывалый резонанс. Может быть, отчасти оттого, что в Сан-Диего расположена одна из баз Американского Военно-Морского флота, и как раз в это время там находился авианосец «Роналд Рейган». На студию стали поступать звонки от моряков с пожеланиями «оставить в покое этого славного парня». Его физиономия с открытым взглядом несомненно импонировала ребятам в морской форме, увидевшим в нём собрата по духу, на которого покушаются богатые дармоеды. Сам того не ведая, Сашка невольно задел ту сторону души обыкновенного американца, где неистребимо живёт неприязнь к жирным котам корпоративного бизнеса и соперничество тому, кто сумел найти в себе силы огрызнуться, а не пугливо поджать хвост.

Вообще, реакция публики оказалась совершенно неожиданной. Хозяин одного из баров, где Иржина оставила стопку рекламных листов, позвонил ей с предложением выступить в его заведении. Конечно же, делал он это не в приступе филантропии – появление на сцене бара ставшей известной в городе экзотической танцовщицы сулило ему приток посетителей. По совету того самого ушлого адвоката, с которым Иржина советовалась на первых порах, она, в обмен на своё короткое шоу, кроме гонорара обязала хозяина бара запустить петицию в поддержку их бизнеса и собиралась отправить бумагу с подписями городским властям. Но самое невероятное заключалось в другом!

Благодаря всей этой шумихе Сашкин мобильный телефон звонил безостановочно и неизвестные потенциальные клиенты хотели зарезервировать места на очередной выход в море. Как говорится – не было счастья, да несчастье помогло...

* * *

В марину Иржину и Сашку вернули. Правда, дело обошлось без увольнения докмастера, но тот теперь предпочитал обходить эту пару десятой дорогой. Их соседи по причалу засунули язык в задницу и больше не выступали. Каждый раз, когда катер под звуки «Прощания славянки» медленно выходил за волнорез, они с чувством невольного уважения провожали взглядом реющий на мачте советский военно-морской флаг. Где его Сашка раздобыл, было известно только ему одному. На корме развевался большой звёздно-полосатый флаг, как территориальная принадлежность к стране. А над ним, на гафеле, трепыхался на свежем ветру другой – с красным серпом и молотом и большой пятиконечной звездой на белом поле полотнища с синей полосой – неотрывность от своего прошлого.

«...Много песен мы в сердце сложили,
Вспоминая родные края...»

Громко разносились из динамиков на палубе слова старинного марша.

«...Крэйзу рашен» – кивали обитатели марины друг другу, так и не постигнув до конца причину Сашкиной победы. Рядом с ним на мостике теперь частенько стоял Иржинин отец и, наблюдая как его недавний ученик уверенно выходит в океан, приговаривал с уже нескрываемой теплотой в голосе:

– Русский забанец...

ВЛАДИМИР ФРЕЙДИН

ОКСЮМОРОН

О чём можно написать хорошую книгу, не умея писать? Каждый, даже вовсе не одарённый, человек имеет право на одну хорошую книгу – о себе. Можно заинтересовать себя и подобных себе только правдой.

/А. Дежуров./

Мне кажется, что словам, как и людям, присуща индивидуальность, у каждого свой характер. Насквозь прозрачное банальное слово произносить не хочется, не располагает оно к себе, не уживается со своими соседями. В то же время, вычурное и замысловатое словечко обладает шармом, перекатываясь на языке, оставляет долгое послевкусие. С аппетитом произносишь его, и сразу хочется повторить. Так оно и навязывается в компаньоны, к месту и не к месту, поэтому нередко ищешь повод вставить полюбившуюся словарную единицу. Возьмём, например, такой эллинизм, как оксюморон. Заморские воркующие звуки придают колорит и округлость. Частое его употребление делает речь нарочито академичной и интеллигентной, напрашиваются ассоциации с одним политиком, всё время говорившим «отнюдь». Но парадоксальная встреча, произошедшая со мной несколько лет назад, полностью оправдывает употребление такого причудливого

стилистического термина и даже требует вынести его в заголовок рассказа.

Автопоезд, груженный свежевыкрашенными чёрными *хаммерами* и похожий на старую кухонную утварь, внёс дисгармонию в окружающий пейзаж. Это произошло впервые за несколько часов езды по двухцветному штату Юта. Абсолютно чистое ярко синее, как перья зимородка, небо уже начало наливать сапфировой тяжестью и прижиматься к земле, а торчащие клоками, похожие на пучки водорослей, кусты отбрасывали тень на кирпично-бурые волны окрестного ландшафта. Температура, вслед за солнцем, стремительно падала, поэтому в автомобиле становилось уютнее. Теперь я не ощущал себя грешником, которого медленно поджаривают на гладком раскаленном противне шоссе, как черная лава, рассекавшим монументальную, исполненную величия панораму штата.

Когда европеец впервые попадает в эти края, то его не покидает ощущение, что он прикоснулся к вечности. Такие города, как Москва или Нью-Йорк, там кажутся представителями другой цивилизации, но в их существование всё равно верится с трудом. Чтобы понять, что человек – песчинка и гость на этой планете, нужно окунуться не в калейдоскоп мегаполиса, а пересечь эти бескрайние долины. Невозможно почувствовать себя хозяином на такой земле, видимо, поэтому я почти не видел во время путешествия фермерских хозяйств. Лишь гриф может парить над всем этим безмолвием, смотреть свысока на мир индейских мифов и легенд и ощущать себя его властителем.

С приходом сумерек глаза начинают отдыхать от резкого солнца, а твой мир ограничивается обочиной дороги. Медные каменные монументы теряют свои экзотические формы и превращаются в заурядные курганы, напоминающие дачную мебель, покрытую на зиму серым сукном до следующего лета. Предоставив вести машину Гене – моему товарищу и попутчику в американском путешествии, я откинулся на спинку сидения и подумал о том, что на сегодня хватит красот и первобытных пейзажей. Вокруг всё было таким безбрежным, молчаливым и таинственным, что захотелось ненадолго разбавить этот тет-а-тет с природой компанией себе подобных. Проще говоря, появилась потребность в цивилизации. Пока наше авто, как космический челнок, продолжало свой бег между барханами лунного пейзажа, следуя по невидимому в темноте змеящемуся шоссе, я решил свериться с картой в надежде найти населённый пункт, суливший нам нехитрую трапезу и развлечения во время знакомства с местным колоритом. Как вы уже, наверное, догадались, единственным заусенцем, прерывавшим линию шоссе, прочерченную через всю страницу атласа, был знак, обозначающий примыкание второстепенной грунтовой дороги в сорока восьми милях по ходу движения. Здесь надо отметить одну особенность американских автобанов. Работавшая заправочная станция с несколькими сортами топлива всегда появляется даже в тех краях, где, как вам кажется, если и ступала нога человека, то необутая, а последним, кто видел этого босого аборигена, был вымерший бизон. Там может не быть людей, животных и даже растений, но бензин, горячий кофе, электричество и туалет присутствуют всегда. Это обстоятельство позволяло нам надеяться на удовлетворение большей части наших потребностей, а если бы повезло, то дало возможность поужинать в настоящей американской придорожной

закусочной, воспетой в фильмах-путешествиях, герои которых находятся в дороге.

Если ненадолго предаться философии (благо время позволяет) и рассмотреть биографию как дорогу, то и само путешествие можно сравнить с погружением в другую жизнь, побег от будничности и повседневности. Путешествующий человек проживает помимо своей «основной» жизни ещё несколько «второстепенных». Странствие освобождает. На время вояжа турист становится абсолютно свободным от множества нитей, связывающих его в привычной жизни. Парадоксально, но притом, что любая поездка сопряжена с графиком, расписанием, планами и другими атрибутами организованной жизни, ощущения, которые испытываешь в летящей по бесконечной ночной трассе машине, являются квинтэссенцией независимости. Доверившись водителю, я предался этим чувствам, удобно устроившись в кресле.

Я люблю дегустировать дороги. Как хорошо прощнуться в стоящем на отшибе небольшом мотеле, где каждый постоялец попадает в домашнюю атмосферу, и хозяин лично выходит к тебе пожелать доброго утра. За чашкой горячего чая ты прорабатываешь предстоящий маршрут и чувствуешь, как дорога бросает тебе вызов, который охотно принимаешь. Свежий и отдохнувший выходишь на парковку позади здания, где в ожидании своих хозяев грустят автомобили. Они уже успели умыться выпавшей росой и готовые ждут тебя, отражая лоснящимися боками бесконечное небо и влажные ершистые елки. А впереди трасса призывно свистит проносющимися фурами, поднимающими стеклянную пудру с блестящей поутру поверхности. Выруливая на шоссе и готовясь слиться с его ритмом, собираешься смотреть и узнавать, переживать и запоминать, испытывать и наслаждаться. Напоследок бросаешь благодарный и немного тревожный от предстоящей неизвестности взгляд на мотель, который дал тебе приют прошлой ночью. Он кажется уже задремавшим под горячими лучами молодого дня и лишь вяло махнёт тебе вдогонку флагом на флагштоке. Неизвестно, где застанет тебя ночь в следующий раз, когда голова будет полна впечатлений, а тело захочет тишины и тепла, и тебе придётся опять искать мерцающую, словно угли, неоновую рекламу с призывами заехать и отдохнуть. Недаром классический сюжет роуд-муви часто лишён финала, намекая на то, что путь бесконечен. Герой может остаться в пункте назначения, может двинуться дальше, а может и вернуться назад, но в любом случае, в результате путешествия он становится мудрее. Во все времена бродяга имел некий ореол романтики благодаря тем положительным эмоциям, которые человек получает от банального познания мира и хождения по свету.

Монотонность езды в темноте сделала своё дело, и если бы не прибытие в Джанкшн, а именно так называлась развилка посреди холмов Юты, то я очутился бы в объятиях Морфея. Дорога здесь делает небольшой изгиб, от которого на юг уходит под острым углом другая трасса. Уже при подъезде нас приветствовали две мигающие вывески, сообщающие о наличии закуской и заправочной станции. Одинокие сиротливо стоящие вытянутые и приземистые строения, отступившие от шума шоссе вглубь прилегающей территории, не только нельзя было назвать городом, но они едва ли походили на населённый пункт. Да и не был этот перекрёсток местом, где людям хочется пус-

тить корни, обзавестись хозяйством, растить детей. Видимо развилка сама по себе представляла местный центр цивилизации, который постепенно оброс несколькими хозяйственными зданиями, да может домом местного сторожа, обшитым традиционным *сайдингом*. Если бы не присутствие при въезде на парковку холодных неоновых приветствий, то можно было подумать, что мы приехали на недостроенное и давно брошенное фермерское подворье. Сразу при въезде располагалась закусовая в форме ангара, похожего на панцирь броненосца. Между ней и АЗС – большое асфальтовое пространство для дальнбойщиков, а позади виднелась электрическая подстанция, как краб раскинувшая свои изоляторы-клешни. В опасной близости от высоковольтных линий и угадывались несколько обречённых строений.

– Здесь вряд ли нам предложат шедевры высокой кухни, но для тебя они найдут приличный гамбургер, – сказал Гена, свернув в сторону этого приюта странников.

Я не боюсь признаться, что люблю гамбургеры во всех их проявлениях и не считаю зазорным заходить в fast food. Мы вышли из машины и с наслаждением размяли ноги после долгой езды. Нагретый обожженным плоскогорьем ветер принёс запахи бледной травы и низких кустарников, растущих по плато, словно морские ежи, лежащие на песчаном дне океана. Стоянка была пуста, в этот час здесь стояло лишь несколько фур. В сутках есть такие часы, когда, что бы ты ни собрался делать, либо уже поздно, либо ещё рано. Это был как раз такой случай, поэтому аншлага не наблюдалось: ночлег здесь не предлагали, а время обеда уже прошло. Осенью сумерки в этих краях быстро сменяются ночью, поэтому, несмотря на семь часов пополудни, уже ничего не было видно за пределами нашего освещённого оазиса. На пути к дверям заведения наш путь пересекла огромная ворона. Я никогда не встречал ворон таких размеров в средней полосе России. Казалось, её габариты мешают ей взлететь, и она, как тяжёлый транспортный самолёт, разгонялась для полёта, скрежеща когтями по асфальту и перерываваясь из стороны в сторону, будто хромала на обе лапы. Потом, набрав нужную скорость, она широко раскрыла грубый клюв и издала звук, присущий скорее бормашине, нежели живому существу. Зачастив крыльями, медленно набирая высоту, птица исчезла в темноте. Мы открыли стеклянные двери и вошли в ресторан.

Зал был длинный, как депо, и плохо освещённый. Мне не раз приходилось до этого бывать в типичных для Штатов придорожных закусовых, разбросанных на частой паутине автострад от одного берега континента до другого. Данное заведение ничем не выделялось из привычного образа: ряд музыкальных автоматов в блестящих мундирах, слева стойка бара, похожая на освещённый жёлтым светом аквариум с вяло плавающими по нему официантками, под потолком томно вращались лопасти вентиляторов. В дальнем углу, наискосок от входа, заняв два жёлтых глянцевого дивана, расположились друг напротив друга четверо мужчин в клетчатых хлопковых рубашках и традиционных бейсболках. Все в этой кампании выглядели одинаково: плотного телосложения, даже немного грузные, короткорукие, с тяжёлыми широкими ладонями. Водители, а я не сомневался, что это были именно они, находились в хорошем расположении духа и наслаж-

дались общением в минуты короткого отдыха перед дорогой. От их стола доносились обрывки живого разговора и одобрительного смеха. Мы сели за стол напротив бара и попросили меню. Единственным посетителем, кроме нас и водителей, был мужчина, сидевший на высоком табурете за стойкой. Набор блюд был традиционен для таких заведений. Джанкшн бургер, названный в честь местного, рука не поднимается написать, посёлка, венчал список своих сородичей в компании картошки фри и прохладительных напитков. Сделав нехитрый заказ, мы стали молча ждать. Если весь день проводишь вместе за рулём, то порой, при перерыве и смене ритма, когда можно ослабить внимание, и нет потребности в постоянном обмене впечатлениями, возникает желание посидеть тихо за вкусным ужином, подумать о доме, о личном. Ход мыслей приобретает новый, хочется сказать, лирический характер.

Не секрет, что чувство дома обостряется вдали от места, где живешь. Когда много едешь по свету, возникает ощущение, что там, в размеренной и обыденной твоей жизни, происходят события, в которые ты должен быть непременно вовлечён или, как минимум, осведомлён обо всех обстоятельствах дела. А ты далеко, у тебя масса новых встреч и ярких эмоций, но чувство оторванности от жизни всегда стоит за стеной впечатлений. Кажется, что твоя «настоящая» жизнь убегает, а ты остаёшься за её бортом, как опоздавший на киносеанс зритель, который пытается понять сюжет и спрашивает у соседей о пропущенном, вызывая у них лишь раздражение. И ещё я всегда чувствую расстояние, отделяющее меня от родных пенат. Вот так сидишь в баре, затерянном среди необытных широт штата Юта и думаешь: «Как же далеко дом!» Воображаешь, что могут сейчас делать твои друзья, и получаешь какое-то непонятное удовольствие от конкретики при разговоре по мобильному телефону или скайпу. «Вот подъезжаю к офису, — слышишь ты, — стою в пробке перед разворотом. Как всегда долго нет стрелки!» Или: «Гуляю возле фонтана института дружбы народов, сейчас пойду за шаурмой в арабское кафе». Возникает чувство сопричастности, ты представляешь и эту вереницу машин на светофоре, и летнюю веранду кафе, потому что сотни раз сам был там и проделывал то же самое. От этого возникает иллюзия, что ты не выпал из жизни и находишься на другом полушарии, а просто отъехал на дачу и в любой момент можешь присоединиться. С другой стороны, тебя переполняет гордость за то, что побывал в таких удалённых местах, видел столь необычные для дома пейзажи, встречал на пути колоритных и загадочных персонажей, общался с ними, узнавал их. Видимо этот опыт путешествия и прибавляет мудрости идущему, поэтому мне можно завидовать.

Мужчина, сидевший за стойкой, был, что называется, явно интеллигентного вида. Загорелый, подтянутый, с аккуратно причёсанными очень черными волосами и, естественно, очками с круглыми окулярами в изящной серебряной оправе на тонком прямом носу. Идеально отутюженная белая рубашка с коротким рукавом прекрасно сидела на этом уже совсем не юном, но в то же время, далеко не старом посетителе. Он пил кофе из крошечной белой чашечки, похожей на кусок сахара-рафинада, и читал книгу. Да, да, я не оговорился: перед ним лежал внушительного размера том.

Позволю ненадолго прерваться и рассказать вам примечательный эпизод, связанный с людьми читающими. Давно, еще во времена бесшабашных перестроечных лет, я оказался с другом детства на одном из наших черноморских курортов близ Сочи. Увлечённые курортной романтикой, мы не позаботились об обратных билетах в Москву, поэтому, когда приблизился день отъезда, то выяснилось, что в ближайшие несколько недель попасть в столицу можно будет только самым старым и проверенным способом — пешком. Так как такой познавательный вояж с элементами краеведения не входил в наши планы, мы предприняли вылазку в центральное транспортное агентство местного райцентра. Естественно, шансов купить билет в кассе не было никаких, поэтому мы вышли из раскалённого безжалостным южным солнцем зала и расположились поблизости среди толпы таких же страждущих. На импровизированном совете мы решили завязать с кем-нибудь полезное знакомство, которое позволит нам увидеть родной город раньше окончания курортного сезона. Я, в силу своей робости и неказистости, для знакомства не годился, поэтому осуществлять сей наполеоновский план предстояло моему товарищу. Но как выбрать из толпы усталых, раздражённых, плавающих от жары людей нужного человека? Мы побрели сквозь толпу, расположившуюся на площади, словно войско, изнуренное долгой осадой крепости. Всматриваясь в лица, я пытался каким-то непостижимым образом определить вероятную жертву. Как часто бывает в подобных случаях, решение пришло неожиданно. То, что я увидел, сразу определило мой выбор окончательно и бесспорно. На парапете, прямо под жёсткими и яростными солнечными лучами, сверлящими поверхность, среди южной пыли и броуновского движения людей сидела блондинка и читала — что бы вы думали? — Мережковского! Погруженная в книгу, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг, она своей отрешённостью походила на инопланетянку. У неё было такое выражение лица, поза, что казалось, будто девушка сидит не в эпицентре описываемых событий, а в удобном гамаке в тени кустов сирени позади усадьбы, расположенной на холме у озера. Её образ и то, что она читала, были настолько несовместимы с действительностью, что я тут же предложил приятелю навести мосты, руководствуясь тем, что в любом случае мы познакомимся с неординарной личностью и, как минимум, скрасим томительные часы ожидания. Мой попутчик с блеском выполнил свою миссию, обеспечив нам успех. Ира, а именно так звали нашу новую знакомую, не только помогла достать воделенный билет, но радовала нас своим обществом до самого отъезда. К слову сказать, она на самом деле была личностью незаурядной, в чем мы могли не раз убедиться уже дома, оказавшись в её московской компании. Потом, во время совместной поездки в Таллинн, её увлёк местный фотограф, и я потерял её след, но тот сборник Мережковского среди кулчков с черешней и глянцевого журналов запомнил на всю жизнь.

Однако я отвлёкся, а тем временем наш герой отложил книгу и завел игривую беседу с барменшей. Перед нами предстал классический сюжет из жизни американской глубинки, пересказанный на все лады в кино и литературе. Америку создали дороги и автомобили, поэтому жизнь американцев на колёсах, в пути — неотъемлемая часть их быта, и, если хотите, фолькло-

ра. В этой непрерывной одиссее все персонажи условно поделены на две категории: те, кто едут и те, кто так или иначе их обслуживают и способствуют (или мешают) их передвижению. Места, где встречаются эти действующие лица, часто становились ключевыми пунктами в фабуле рассказа, поэтому нигде в мире культ мотеля, придорожного бара и их обитателей не возведён на такую высоту. Отдам и я дань уважения традиции и подробно опишу нашу мизансцену.

По ту сторону стойки находились две официантки с темпераментом замороженной креветки и барменша – явно занимавшая вершину местной карьерной лестницы. Она была высока, стройна, даже несколько худощава. Обилие косметики на лице подчёркивало его истощённость. Годы, проведённые в атмосфере сигаретного дыма, дешёвого алкоголя и лишённого праздности и удовольствий быта, все, как один, читались в её облике. Она пыталась это скрыть с помощью похожей на ядерный гриб копны выходящих волос макаронного цвета. Причёска шаловливо раскачивалась в такт её движениям. На ней были очень узкие джинсы и темная майка с бретельками, будто наколотыми на острые ключицы. Как и у многих представительниц прекрасного пола, борьба за вечную молодость вылилась в «высушивание» организма и показную раскрепощённость в поведении. Дама много и громко смеялась и говорила сильным, низким, слегка осипшим от холодного пива голосом. Напротив, мужчина вел беседу тихо, я бы даже сказал вкрадчиво, загадочно улыбался и поглаживал ладонью выпитую кофейную чашечку. Его манеры были деликатны, а глаза излучали тепло. Барменше нравились его речи, она принимала знаки внимания шумно и весело, с упоением демонстрируя, что если её оборонительные редуты и могут пасть, то только под натиском очень сильного, хитрого и умелого полководца. Было видно, что эта пара уже давно знакома друг с другом, и каждый хорошо выучил свою роль. Из этого предположения мой попутчик сделал весьма логичный вывод и сказал:

– Этот парень похож на школьного учителя. Каждый вечер, небось, заходит сюда повеселить местных дам.

– Гена, какой школьный учитель! Здесь и школы-то, наверное, нет, – возразил я.

– Но ты посмотри на него: ни дать, ни взять молодой профессор. За последнюю неделю мы много встречали подобных персонажей на своём пути? Он же из другого мира.

Я не мог не согласиться, но из духа противоречия недоверчиво покачал головой.

– Выглядит действительно необычно для этих мест, но кого он здесь учит? Своих детей, да устраивает ликбез местному обществу? – улыбнулся я в ответ. – Спроси у него, если удобно.

– Ты ж меня знаешь, я спрошу запросто, – в голосе Гены появились нотки азарта.

Мы с радостью совмещали развлечения и изучение во время поездки, с удовольствием общаясь с американцами при каждом удобном случае. Помимо праздного любопытства, эти контакты помогали улучшить мой разговорный английский, который на тот момент оставлял желать лучшего и позволял мне в основном слушать, а не участвовать в разговорах. Мой визави, напротив, с лёгкостью завязывал беседы на любые, даже экстраординарные темы. Этот случай не был исключением.

– Сэр, я прошу прощения, – обратился он к мужчине за стойкой, – мы с моим приятелем решили, что вы местный школьный учитель. Я угадал?

Лицо барменши выразило сначала удивление, но это выражение быстро сменилось лукавой улыбкой. Её спутник повернулся к нам на табурете, снял очки и сразу расположил к себе лёгкой, немного застенчивой улыбкой.

– Нет, я дальнбойщик, – просто ответил он.

– Не может быть, вы шутите, – не унимался мой приятель. – Какой же из вас водитель?

Наш собеседник полностью переключил своё внимание на нас и спросил:

– Откуда вы приехали?

Мы несколько не удивились вопросу. Американцы – нация приезжих, и когда они слышат акцент, то сразу интересуются из каких ты краёв. Это, мне кажется, происходит уже на подсознательном уровне. Также, их речь сразу становится немного проще и чётче, если они понимают, что перед ними иностранец.

– Мы из России. Мой друг прямо из Москвы, – последовал уже заученный наизусть ответ.

Как только американцы узнают о том, что ты россиянин, следует стандартный набор реплик, состоящий из неподдельного удивления, восклицания и сообщения о холодном климате и чрезвычайной удалённости России от места нашего разговора. Я настолько привык к такому развитию событий, что киваю автоматически, даже не вслушиваясь. Затем, для поддержания беседы и проявления интереса, вызванного скорее вежливостью, нежели любопытством, у тебя спрашивают цель твоего визита, и неподдельно удивляются, когда слышат, что это не бизнес, а туризм. Далее, как правило, следует изумление по поводу того, как много мест вы уже посетили или хотите посетить в ближайшем будущем, с неременной сентенцией о том, что они никогда там не были, хоть и живут здесь всю жизнь. Когда судьба забросит вас в университетский город или мегаполис, то появится небольшой шанс, что диалогу придадут некоторое разнообразие вопросы на политические темы с упоминанием первых лиц государства. Если же вы мобилизуете все свои знания в области английского и затронете интересную для собеседника тему, то можно с пользой и интересом провести ближайшие полчаса, но эти случаи довольно редки.

– Вам повезло, у вас прекрасная литература! – оживился он.

Теперь вы понимаете, почему ответ нашего нового знакомого так заинтересовал нас и разогнал уже надвигающуюся дремоту, спровоцированную сытным ужином.

– Я люблю русскую классику, но, к сожалению, не могу читать её в подлиннике, как вы, – продолжал он, всё более увлекаясь.

– Ну вот, я же говорю, что вы нас разыгрываете, – сказал Гена уже не столько, чтобы возразить, сколько для развития неожиданно возникшей темы. – Вы даже внешне не похожи на дальнбойщика.

– Это всё стереотипы. Люди сначала придумывают их, а потом пытаются вогнать в эти рамки свою жизнь, и хорошо, когда только свою. Я самый что ни на есть водитель и еду из Колорадо-Спрингс в Лас-Вегас. Там, на стоянке, моя фура. Но это не важно, я люблю читать и рад возможности поговорить с вами об этом. Я никогда не был в России, но мой дед жил в Карпатах.

Он был немного взволнован и, казалось, опасался, что мы быстро потеряем к нему интерес. Как рыбак, увидев поклёвку, делает всё, чтобы рыба не соскользнула с крючка, так и он старался затронуть как можно больше тем, которые, по его мнению, должны нам быть близки и интересны.

— Как вы стали шофёром? Только не говорите, что не учились даже в колледже, — продолжал допытываться Гена.

— Почему же не учился? Я закончил колледж, приехал в Вегас и сделал довольно успешную карьеру в одном из инвестиционных фондов. Кстати, я Майк, — представился он. — А как вас зовут?

Услышав наши имена, он долго, смакуя каждый звук, словно пробуя незнакомый плод, произносил их по несколько раз, изрядно повеселив барменшу, затем продолжил:

— Поначалу мне нравился Вегас, любил его ритм и его огни. Когда женился, всё пошло по накатанной до тех пор, пока я не задумался о том, что мир разнообразен, а я зря проживаю свою жизнь, не имея возможности его познать и попробовать понять. Это же очень интересно, — торопливо сказал он, ускоряя темп, отчего мне приходилось всё более внимательно вслушиваться, — люди, их жизнь, мысли... Ведь многие стереотипы возникают оттого, что мы ограничены. Жена хотела, чтоб я жил более рационально, поэтому временно мы разошлись, — последовала пауза, — я надеюсь, что временно. Сейчас мне тридцать восемь, вот уже три года, как я на колёсах, и рад этому. Я живу в гармонии. Это важно. Частенько езжу этим маршрутом и всегда заруливаю сюда проведать Фару, — он посмотрел на свою подругу. — Мы с ней часто беседуем о семейной жизни, она мне даёт советы, в которые сама не верит.

— Просто у него, как у всех парней, мозги набекрень, — прервала Фара с упреком, но видно было, что Майк ей симпатичен.

— Вы видите?! Я с моей женой тоже пытался вести подобные разговоры, но, в отличие от Фары, она всё время была рядом и её советы не кончались. Мне надоело это, стало скучно, и я арендовал свой фургон. Сейчас выпью ещё кофе и поеду.

— Я буду скучать, — прыснула барменша и пошла варить кофе.

— А читать я любил всегда, много читаю, особенно перед сном. Эта работа позволяет. Заезжаешь на ночлег в мотель — и вся ночь твоя. Русские писатели одни из любимых. Год назад у нас в городе видел пьесу Чехова, так они всё презрели в шоу и балаган. Жалко. Я знаю, что в Нью-Йорке «Дядю Ваню» хорошо поставили, хочу съездить. Вот никак не могу вспомнить: как звали дружка Анны Карениной? — рассмеялся он.

От неожиданного вопроса я растерялся, но тут же, испугавшись опростоволоситься перед иностранцем, вспомнил и радостно выпалил:

— Вронский!

— Точно! — немного подавшись вперёд, удовлетворённо подтвердил он.

Я сразу обрёл в его глазах статус единомышленника. Радуюсь возможности поделиться тем, о чём, возможно, думал не раз, когда сидел в тёмном баре со стаканом бурбона, предвкушая следующие пару часов наедине с книгой, Майк продолжал:

— Я люблю объёмные романы: Толстой, Достоевский, — хвастался он своей эрудицией. — В них с пер-

вого раза нельзя всё распробовать. Я всегда перечитываю. Вот, например, Джойс, — его рука почтительно легла на книгу, лежащую рядом, — его текст — это только на первый взгляд проза. Только потом замечаешь завораживающий ритм и мелодию. А вот «Братья Карамазовы» — мне понадобилось целых три года, чтобы осознать, что все три брата — это один человек! Когда я понял это, то роман стал совсем другим. Я завидую вам, — опять повторился он, — вы читаете Достоевского в подлиннике.

Фара принесла кофе. Постояв рядом пару минут, она убедилась в очередной раз, что мужчины — странные, малопонятные субъекты, и быстро ушла в подсобное помещение, обидевшись на своего друга за потерю интереса к ней. Мне вспомнилась история, рассказанная Сергеем Довлатовым. Он сидел в ресторане в компании своих коллег. Заказанное было уже давно съедено и выпито, а друзья никак не расходились и вели очень оживлённую беседу. Нетерпеливая официантка, в конце концов, не выдержала и вызывающе спросила: «О чём можно столько времени разговаривать?!». Ответ прозвучал практически хором — о Гоголе! Так и мы сидели, поглощенные друг другом, на пяточке, образованном двумя дорогами, завязанными здесь в узел. Зная, что скоро эти же дороги разведут нас, и ничто так не способствует отдыху, как занимательная беседа, мы старались насладиться интересной встречей по максимуму. Подобную картину можно наблюдать в купе поезда, когда попутчики обмениваются последними фразами перед прибытием.

— У меня вопрос, — Гена попытался прервать разглагольствующую беседу Майка. — А где вы узнали всё это: о литературе, о писателях? Я более того спрошу: а как вы сумели и успели прочесть так много?

— Неужто карпатский дедушка рассказал? — поёрничал я.

— Так я ж в колледже учился, — голос Майка стал немного рассеянным. — Брал курсы по литературе, а книги покупаю, как все. Правда, предпочитаю в мягкой обложке. Знаю, что книга — не только слово, она должна радовать глаз, но в моей работе и образе жизни нет места стеллажам, — он застенчиво улыбнулся, — поэтому приходится довольствоваться карманным вариантом.

— Вы знаете, мой сын тоже учился в колледже, и, кстати сказать, не в последнем. Всё-таки при бостонском университете, да и начальную школу он заканчивал в России. Я Вам более того скажу по секрету: он может без проблем читать Достоевского и Толстого в подлиннике, но я не удивлюсь, если он не слышал (о прочтении речь не идёт) всех названий романов, упомянутых сейчас. А если вы попытаетесь с ним обсудить образ братьев Карамазовых, то с таким же успехом, можно было бы поговорить о проблемах отцов и детей в раннем творчестве Фассбиндера.

— Я не разделяю его взглядов, — быстро подхватил наш собеседник. Мы с Геней переглянулись, готовые рассмеяться от удовольствия. — И вообще, то, о чём вы говорите, — это вопрос выбора. Я люблю литературу, поэтому нашёл ей место в своей жизни и постигаю её через чтение книг. В Америке, при желании, любые увлечения можно развивать.

Вторая порция кофе уже была выпита, а Фара то и дело бросала укоризненные взгляды от дверей.

— Ну, мне пора ехать, завтра к утру хочу быть в Вегасе, — он как-то резко прервал разговор, весь собрался

и стал доставать бумажник. – Вы меня извините, надо попрощаться с дамой, она ждёт каждого моего приезда.

Он встал и сам подошёл к явно ждавшей этого бармену. Расплатившись, мы направились к выходу, оглядывая зал напоследок. Там ничего не изменилось за прошедший час.

– Я скоро, подождите, пожалуйста, – Майк махнул нам рукой.

Они стояли с Фарой лицом к лицу в дверном проёме, наклонив головы и, как казалось, не зная куда деть руки. В его облике читалась нежность, а она нарочито старалась демонстрировать бодрость и независимость. Пока они ворковали, больше глядя в пол, чем друг на друга, в их настроении произошли метаморфозы. Наш знакомый, видимо, пытался, подшучивая, развеять обстановку, в то время как Фара становилась всё более задумчивой и оробевшей. Могло показаться, что кавалер, собравшись с духом, хочет пригласить на танец даму, которая трепетно ждала этого момента, а теперь растеряна и смущена происходящим.

На улице было свежо, и чувствовалась осень. Приятно было после камерной атмосферы бара подставить лицо ветру и представить приволье окружавших нас каменистых долин, утонувших в темноте, но незримо напоминавших о себе шумом жёсткого кустарника, треском цикад и дальними вздохами какой-то ночной птицы. Ветер с хрустом протащил по *паркингу* сухую ветку – словно водомерка пробежала по глади озера. Я запрокинул голову и сказал про себя: «Дуй сильнее, пусть отлетят сомнения. Опять хочу почувствовать зов дороги». Разрывы облаков на абсолютно чёрном небе открывали бездны космоса, из которого поблескивали звёзды. Они так же мерцали и над моим домом по ту сторону океана.

Майк энергичной походкой подошёл к нам, дружеским жестом протянул руку и улыбнулся тепло и доброжелательно.

– Рад был встрече, джентльмены! Жаль, что нет времени поговорить с вами подольше, ведь в этих местах нет туристов, а из России тем более.

– Удачи вам! – я попытался выразить в столь коротком и стандартном прощании огромную расположенность к этому человеку. Надеюсь, он почувствовал мой порыв. Направляясь к фуре с хромированным оскалом, Майк обернулся к нам и крикнул:

– Как проедете Клифтон, будьте осторожны. Там крутой спуск с серпантином, всегда много аварий. Берегите себя и повнимательнее!

– В следующий раз мы угощаем, – пошутил Гена, и мы услышали в ответ одобрительный смех.

Он сел в свой тягач и укатил: дальнобойщик Майк – любитель странствий и русской классики.

© Copyright: Фрейдин Владимир. Москва 2010 г.

МИХАИЛ САДОВСКИЙ

ЛЮДМИЛА ДОРОФЕЕВНА

В этот год зима стояла настоящая – русская. Снега валили, морозы разгонялись по крепкому насту, и дымы оставляли белые прописи на чистом холсте неба.

“Не добраться мне, – она с тоской смотрела, как дворники волокут лопаты снега, налегая на древко всем телом, и остающаяся полоса тут же покрывается

снова белым пухом. – Не добраться. А Верке в школу... не добраться...”

Когда она дежурила во вторую смену и дорогу вот так заметало, дочка прибегала из школы, не задерживаясь, а она ждала уже одетая и готовая. Они не сговаривались, она ни разу её не просила. До поликлиники было метров пятьсот – не более. Прямо у подъезда она медленно сползала спиной по открытой двери на подставленные санки. Потом надо было повернуться на их плоскости на девяносто градусов, уложить не гнущиеся в коленях ноги носками вперёд, крепко ухватиться опущенными вниз руками за стойки, идущие к полозьям. Сумка висела на шее, две палки лежали поперёк, и петля верёвки спереди саней была накинута на одно плечо дочери. Упершись каблуками в накат, Вера будто падала вперёд под острым углом, но верёвка туго натягивалась и держала её. Скрип! Первый шажок, и дальше было много легче: сани торопливо скользили, надо было лишь вовремя поддёргивать то слева, то справа верёвку, и экипаж легко катился, слегка поскрипывая полозьями.

“Мам, ты как? – и сзади раздавалось всегда одно и то же: – Спасибо, дочка!”

Бордюр тротуара сравнивался с дорогой. Санки натывались на низкую ступеньку входа. Людмила по инерции чуть наклонялась вперёд от резкой остановки, отпускала руки, шевелила затекшими пальцами, ухватывала холодные палки, проворачивалась на плоскости санок, чтобы ноги сползли на сторону и опустились на дорогу. Теперь надо было встать и, главное, не упасть. “Верке одной не одолеть”, – каждый раз с тоской думала она. И каждый раз подоспевал то спешащий мимо прохожий, то какая-нибудь шаркающая бабка, идущая в поликлинику и подпирали её снизу подмышки, а когда она чуть приподнималась – сама опиралась крепкими, сильными руками на палки и распрямлялась.

Теперь пять метров до второй двери, за которой тепло и не скользко. Палка вперёд, короткий шажок за ней, а теперь так же справа: палка, шажок, плечо вперёд и снова – палка, шажок и плечо вперёд...

“Не добраться мне... не добраться... надо звонить Надежде, чтоб меня подменили... – Она не сразу поняла, что звонят в дверь, и откликнулась чуть с опозданием, – Открыто! У меня всегда открыто, – добавила она тише...”

В проёме двери стоял мужчина в распахнутой куртке, пыжиковой модной шапке, тренировочных брюках, заправленных в изящные сапоги на толстой подошве, и смотрел на неё...

– Вы ошиблись? – спросила она после паузы

– Нет, – ответил он. – Я ваш сосед... ну, в доме напротив... окна как раз на ваш подъезд...

– И что?

– Ну... смотрю: дочка ушла в школу, а вы не выходите... вот я решил... что на работу опоздаете...

– А если мне во вторую смену? – Людмила чуть потрясла головой в стороны

– Нет... по вторникам, четвергам и субботам – вы в первую...

– Потрясающе! И давно вы так наблюдаете?

– Год, – совершенно определённо ответил он. – Как сюда переехал... разменял квартиру. Старую оставил супруге... ну, бывшей... вот...

– Это ваша специальность?

– Не понял? – искренне удивился мужчина... – А!.. – вдруг догадался он и засмеялся, – Нет, нет... я инженер... да, толковый такой... ну, в общем довольно Главный... на Севере много лет пропадал... банально всё... вернулся, а пришлось разбегаться. – Они молча смотрели друг на друга. – Там, знаете, привыкаешь замечать малейшие изменения.... Там всё, как пометка на чистом листе бумаги – сразу замечать надо, а то пропадёшь...

– И что? – не поняла она

– Опоздаем, – просто как о решённом ответил он. – Опоздаем...

– Это вы решили мне помочь? – наконец включилась она.

– Да. Этому я тоже там научился...

– Ну, спасибо...

– А вы что же в отпуске сейчас? – спросила она, когда он помогал ей устроиться на санках

– Нет. Я просто выговорил себе условие попозже приезжать на работу, когда пробок меньше...

Теперь по вторникам, четвергам и субботам ровно в половине восьмого он молча стоял в проёме двери и ждал, когда она появится и потянется за своим пальто.

Когда подул мартовские ветры, появились чёрные проплешины на тротуарах, и сани, отвратительно хрустя, отказывались двигаться по ним, верёвка от напряжения обрывалась, а идти ещё было скользко и страшно упасть, он однажды подъехал на машине и не выключал двигателя. Она очень удивилась и даже не поняла, что это за ней. С непривычки с трудом полужёла расположилась на заднем сиденье и не успела устроиться, как надо было выходить. Так безо всякого сговора и повелось. Он ничего не объяснял, не подавал советов – то протягивал руку, помогая сесть, то подхватывал спереди подмышки и буквально выносил её из машины и ставил на землю.

Сегодня, когда она закончила все электрофорезы, парафины, согревающие компрессы и понуро сидела, опершись на стол двумя локтями... болела спина, ломало поясницу и плечи, шея ныла и ужасно тянуло ноги, её тихонько позвали сзади: “Людмила Дорофеевна”... – Она, не убирая локтей со стола, посмотрела через плечо и увидела его...

– Ехать подано! – сказал он шутливо, – Карета у входа...

– Куда это мы? – спросила она, когда они тронулись совсем в другую сторону

– Мы можем пообедать вместе? – полуобернулся он...

– Пообедать?

– Да. Просто пообедать. Вера сегодня задержится в школе...

– А откуда... – начала она, но он перебил её

– Вы сами обмолвились, что теперь по четвергам Вера в театральном... – и она промолчала. – Я не пытаюсь секретов. Если вы возражаете, я поверну обратно... – и она снова ничего не сказала

– А потом...

– Что потом? – резко откликнулся он

– Потом, если бы я... – она запнулась, – если бы я была нормальная, вы бы спросили нельзя ли вам остаться у меня? – он ничего не ответил. Они ехали молча всю дорогу. Когда машина остановилась, он обернулся к ней:

– Простите моё молчание. Можно я вам отвечу за столом...

У нас в классе учился мальчик... Николай... Коля Демченко... такой тихий обыкновенный отличник. Семья состоятельная. Мама в Академии наук работала, папа инженер, Алёнка сестра... обыкновенный мальчик... У нас немецкий язык был. В середине года, это в седьмом классе, учитель умер Ксан Ксаных. На знания наши это никак не повлияло – мы итак ни черта не знали, он на уроках нам больше про старину рассказывал. Месяца два мы балбесничали. Иногда нам уроки заменяли, иногда русский сдаивали, иногда математику... А потом однажды директор привёл в класс нового учителя. Мы её сразу Грымза окрестили. Лоб в морщинах, прикус неправильный, как говорят – собачий, и горб! Ну, не горбище, а так – небольшой, но всё равно заметно. Если бы не это, она бы была высокой и стройной, наверное. А так... И начала она нас так драить своими перфектами и умперфектами, что просто умёглих – невозможно! Мы же ни черта не знали – ни грамматики, ни произношения, а она принесла на первый этот урок Гейне и полчаса читала нам его стихи. Содержание переводила кратко и опять – хотела, чтобы мы влюбились в звучание немецкой речи! А мы все её ненавидели. Это как-то с войны осталось “лающий немецкий язык”, “язык врага” ну, и так далее. И по кино, и по книгам, да и по рассказам, как говорится, очевидцев... у меня и отец воевал, и брат погиб... да у всех так. Короче говоря, не поверили мы ей, и не полюбили её вовсе... учить – учили, чтобы аттестат не испортить, а симпатии не питали...

Она сидела напротив, слушала, как, может быть, только в детстве бывало сказку из уст отца, и ни о чём не думала, а представляла этот класс, горбатую учительницу с томиком Гейне и все эти “их кемме мих, ду кемст дих...” Время как-то отодвинулось, и всё вокруг отодвинулось – какое-то театральное волшебство окружило её... и только долетал его голос...

Вот. И однажды мы пошли в поход всем классом... ну, не все пошли, но это называлось “всем классом” в день Пионерской организации – 19 мая и на два дня. Тащили с собой палатки, рюкзаки, котелки – ну, весело было... и две учительницы с нами: классная руководительница Людмила Ивановна и немка Генриетта Вендиктовна... Там-то она класс показала! И палатку поставить, и костёр развести, и сварить, и веток нарубить, и спальное место устроить... ну, так ловко, что все про всю неприязнь позабыли и стали к ней тянуться... Поход кончился, а всё переменялось. Опять стали просить её в поход сходить с нами, и опять пошли, потом несколько человек собрались и попросили её куда-то поехать с ними в туристический лагерь... короче говоря, оказалось, что она заядлая туристка, и ходит в походы давно, и звание инструктора у неё, и всё такое прочее... И Коля во все походы с ней ходил... многие ребята отстали, повзрослели, девочками обзавелись, им с ними интереснее, а Коля всё с ней и с ней... Все вокруг уже понимали, что тут не просто любовь к туризму или немецкому языку... хотя ей под сорок было... ну... ну, нам по семнадцать в десятом исполнилось...

Короче говоря, как только он получил аттестат, ушёл из дома и переехал к ней. Родители в истерике, побежали в РОНО, в Райком... а тут Коле исполнилось 18, и всё по закону... они расписались. Она перешла в другую школу, он поступил в институт – головастый парень был. Мы редко встречались. Детей у них не было, а жили говорят – душа в душу, и всё в

походы ходили, и летом и зимой. Лет через восемь я её случайно встретил в другом городе, далеко – такая маленькая, сгорбленная старушка. Она меня узнала, а я, дурак, не сориентировался и так весело спросил, мол, вы здесь в походе... а она так тихо мне в ответ: "Коля умер..." Что, как – я потом узнал... и про неё, и про него... она в ссылке выросла... в войну же все немцы советские шпионами стали... отсюда и Гейне её, и навыки все туристские... они с Колей душа в душу жили... любили друг друга без памяти... и однажды на улице её обозвали, оскорбили, он за неё заступился... его избили так... ну, проще сказать – убили... этих бандитов наши сразу... да что толку... лет десять, я знаю, она ещё жива была...

Мы собирались классом, праздновали двадцать лет окончания школы. Почти все пришли... представляете, тридцать пять парней... ну, мужиков уже... и все про них говорили, и знаете, как бы это сказать, завидовали что ли им... выпили крепко. Сидели, по кругу рассказывали каждый о себе, делились прошлым – и выходило, что ни у кого, как у них не было...

Они долго молчали. Наверное, ему нужно было время, чтобы вернуться из прошлого. Потом он посмотрел на неё пристально, опустил глаза и твёрдо сказал: "Да. Я бы хотел, если вы разрешите, у вас остаться, Людмила Дорофеевна. И это не имеет никакого отношения к тому, о чём вы сказали".

Теперь она лежала, уставясь в потолок, и думала: что может сказать ему в ответ на его вопрос? Как её изнасиловал какой-то пьяный парень в деревне на сеновале, и когда слез с неё вдруг протрезвел и стал извиняться: "Девка, ты дрости, я не знал, что ты калека". Как она рыдала у бабки на коленях и хотела повеситься, а потом, когда поняла, что беременна, однажды подумала, что если б не этот негодяй, (да какой негодяй?) не было бы у неё Верки, да и вообще бы ничего не было?

И может быть, не чёрт шельмует, когда Бог спит, а судьба играет, когда им обоим совсем не до них – маленьких человечков с их вечными болями, заботами и страданиями

21 января 2012 года

ЛЮБОВЬ НИКУДА НЕ УХОДИТ!

Моему внуку Илюше

Эти повторяющиеся субдоминанты никак не давали кончить, забраться, наконец, на порядком соскучившееся в долгом ожидании фа и кончить! Терпеть он не мог такие каденции и финалы!

Прямо, как у Генри Миллера, усмехнулся он, стоящий "Сексус".

И ещё ученик этот за спиной... зануда... как учить его, если он не слышит... размазня, как эта снежная каша на тротуаре... Как я его учить буду... отказаться и не брать денег за прошедшие уроки... и всё... вот возьму его в класс и что? Потом четыре года вот так! Отворачиваться... А жить как? Если я брал за уроки, а потом к себе в класс, так ведь каких брал! Мне бы самому приплачивать за счастье учить таких дискайплз... да, да дискайплз... учеников... Микель Анджело тоже этим зарабатывал...

Привезут на машине, увезут... обед с собой горячий... так ведь век другой... Я из прошлого века, а сейчас другое время... совсем другое... чего я к нему привязался? Ну, что ему тоже что ли за пять километров

пешком трюхать в соседний посёлок в клуб, где пианино... и телевизор к соседям проситься посмотреть... а у него мобильник, да компьютер, и чего ему ноты переписывать в областной библиотеке, потому что их купить негде... закажет и пришлют по почте... а с диска сам компьютер ему партитуру распишет и напечатает ещё...

И чёрт с ним, пусть колотит – мне тоже жить надо и дыры заткнуть... конечно, похвалиться нечем будет... а может, и вовсе скажут, мол, постарели вы, дорогой Виктор Михалыч, ничего-то ваши ученики не показывают... конкурсы не выигрывают, медали не приносят, может, тяжело Вам стало? Может... Нет уж, тут резон простой – пирог из одного изюма не бывает! Димка у меня есть... золотой парень! И Мариночка!... А может, и из этого чего слепить сумею... может, он как я, настырный... может, может... только я всё сам... было... сам услышал в приёмнике... и не знал, как называется... сам раз узнал, где оно есть, пианино это, чтоб посмотреть только, не то что играть... Ну, и мне повезло, что Эллу Васильевну встретил... Не встретил бы – и что? А ничего! Другую бы встретил! Обязательно! так мне освоить это дело захотелось! Ой! И слов-то таких не слышал ещё: исполнитель! Пианист!

– Послушай, Паша! – обернулся он к сидевшему за роялем пареньку, – погоди, погоди маленько... давай поговорим... Ты мне вот что скажи, есть у тебя ну, как бы это... вот чего тебе хочется так, что умереть готов, но чтоб сбылось... скажи! Ну, вот подумай... ты не стесняйся... это не к уроку, а так вот любопытно мне! Ну... ну... ты чего плечами пожимаешь? Не знаешь... или нет такого... А мне, представляешь, – он сел, опустил обе руки на ноги чуть выше колен и стал шевелить ими вверх-вниз, вверх-вниз... – мне так играть хотелось, что я бывало, как услышу рояль, по радио, конечно... я ж деревенский – у нас никто не играл, ни в одном доме инструмента не было, понятно, по радио... как услышу, сдавливать рёбра начинает вот тут, с боков, и дыхания не хватает... а потом ночью просыпался оттого, что будто слышу... и не пойму то ли радио, то ли я сам играю... слышу и вижу, как пальцы по клавишам бегают...

Вот представляешь... друг у меня был Юрка... сосед... тот морем бредил! Чего ему море... оно от нас за тысячу вёрст было! Где он его видел, от кого слышал? В книжках что ли начитался! А только море – и всё! Жить не мог без моря... хоть и нет моря... а он и форму себе смастерил, и картами комнату обклеил вместо обоев, значит, и компас на руке таскал, и всяких словечек морских – полная голова, и игры у него, пока мальчишками были – всё о море... не казаки – разбойники, не наши-фашисты, а всё капитаны, да какие... он нам такие истории рассказывал о морских путешествиях, крушениях, о морских эскадрах и боях... До сих пор помню... Он, когда рассказывал – это делился с нами счастьем своим, и мы все за ним пойти готовы были! Все! Про своё забывали, так увлекал нас! Просто, как омут в реке затягивает – вот закрутит, закрутит...

Ты, давай, послушай, что тебе Шуман говорит... ты вслушайся, проникнись... знаешь, у него тоже, как сказать, ну, даже не мечта, а, ну, любил он женщину одну, девушку, а отец поперёк стоял, никак согласия не давал... главное: и она его любила... только послушная очень была... такая, знаешь, папина дочка! А я тебе так скажу: когда страсть у тебя есть – никого не слушай...

только сердце... он её так любил... с ума сходил, жить без неё не мог... и ждал, ждал... год за годом, и рассказывать некому... поделиться мукой, понимаешь... вот он и писал об этом, писал... не сочинял, а просто правду одному своему роялю рассказывал... ты пойми, нет, так вслушайся, ну будто он друг твой и только тебе доверился! Ладно? Ведь это такая тайна!..

Вот погоди-ка, дай я сяду...

И может быть, никогда в жизни он не играл так, как этому мальчишке. И не помнил уже, что играет, что в классе, что всякие мелкие сомнения и сделки с совестью не дают ему жить уже несколько лет, с тех пор как всё стало рушиться, да не само по себе, а под напором нахрапистых и пустых делаяг, которым никакого дела не было до него, до его музыки, до его жизни, и не было дела до Юрки Попова, который прошёл все моря и обогнул все материки...

— Ты знаешь, — он вдруг оборвал игру и повернулся к мальчишке, — он в Москву приезжал! Женился всё же и приехал в Москву, а жена его была пианистка... очень известная... блестящая пианистка... и они в Москве концерты давали... она его произведения тоже исполняла... и я когда учился... здесь же вот... нет, не в этом классе, в крыле напротив, я, когда мне Шумана готовить надо было, пошёл по городу, по тем местам, где они ходили, где жили, где музыкальные вечера давали, где на Москву реку смотрели, где в Кремль заходили... он дневник вёл, а Клара за ним записывала... он не здоровый человек был... по-моему, он так любил её, что в ожидании надорвался... так и кончил дни плохо... совсем плохо... да без боли ничего родить нельзя, милый! Ну, постарайся... вслушайся... садись вот, садись, я тебе поиграю... потому что, если не заболеешь им, если с ним не заплачешь вместе — ничего не будет... а поверишь ему, и стиснет грудь... тогда... тогда... да... вот слушай...

"Что сказали тебе, мальчик, когда вели ко мне? Я разбужу тебя, разбужу и заставлю плакать! Как я плакал, когда прибежал в клуб, а застывшие пальцы никак не хотели попадать на клавиши, когда слышал его боль и с ним плакал внутри, а не мог передать это пальцам и понимал, как далеко то, что я чувствую и слышу, от того, что слышат люди, когда я играю... и страшнее всего мне было, когда я видел, как морщинка сползает со лба на переносицу у Эллы Васильевны... я разбужу тебя, чтобы ты увидел, как я забью и сутулюсь, когда метель равнодушия подхватывает тебя, и становится широко вокруг и пусто внутри... прихвати свою красивую папку и пойдём со мной по метельной обочине дороги сначала пять километров туда, на закат рано угасающего дня, а потом пять обратно, когда в звёздном ковше застывает небо! Пойдём, пойдём со мной, а чем ещё я могу доказать тебе, что стоять на виду у всех, положив одну руку на крышку рояля, а другую на сердце и чуть наклонять голову, как говорят "да"! — это и значит подтверждать, что ничего больше и выше нет в твоей жизни!

Слушай, слушай, раз пришёл — слушай... два года я не подходил к роялю... поздно начал и пропустил два года, потому что надо было работать — так вышло, и матери бы одной не сдюжить... Сначала Элла Васильевна сердилась и посылала записки, потом пришла сама и стыдила, потом поняла, что ничего нельзя исправить... и ушла... а я видел, как она расстроена и незаметно поплёлся за ней и видел, как она остановилась за автобусной остановкой, курила и плакала, и я тогда

понял отчего и поверил, и дал себе слово, поклялся хоть трудно было мне поверить, что это из-за меня... Я вернулся, опять к ней вернулся, но мне было 13... уже тринадцать...

Она положила мои ладони на свои и долго рассматривала мои загрубевшие жёсткие пальцы, а потом вздохнула и тихо-тихо сказала: "Работай! Всяко бывает... работай!"

Ты должен услышать это! И поверить, как я поверил! И тогда мы пойдём по городу и, сами не зная почему, будем останавливаться у тех домов, где жил Шуман и играла его замечательная жена Клара, будем ходить по тем улицам, где они бродили, видеть то, что видели они, и восхищаться тем, что их восхищало...

Потому что на самом деле — любовь и боль никуда не уходят, и звуки никогда не умирают, а только затихают и вечно ждут момента, когда их снова услышат...

И я должен рассказать тебе об этом, обязательно, так рассказать, чтобы ты поверил и услышал, потому что когда-то люди научили меня понимать и слышать это.

27 мая 2010 г.

ДМИТРИЙ КАРПИН

В ПОГОНЕ ЗА ЗВЕРЕМ

Волк был умен и хитер, он отлично знал лес, в котором вырос, и был хорошим охотником, но в деревню, расположенную на опушке, крался лишь во второй раз. Причиной тому были морозы, которые заставили всю местную живность попрятаться по норам.

С подветренной стороны, чтобы не учуял сторожевой пес, волк подкрался к старому курятнику. Вчерашней ночью он прогрыз прогнившие доски и, попав внутрь, утащил двух кур. Волк понимал, что человек, хозяин курятника, наверняка обнаружил пропажу и постарался заделать вчерашний лаз, но решил вновь рискнуть. В случае чего он всегда сможет попытаться счастья в другом загоне. Но, к его удивлению, лаз оказался загорожен лишь старой пустой бочкой. Навалившись на бочку, волк откатил ее от дыры и юркнул внутрь.

Однако в следующий миг ему пришлось остановиться. Прямо перед его мордой лежал острозубый металлический предмет, в центр которого был аккуратно положен кусок мяса. Такие хитрые устройства зверь уже видел и понимал, как они опасны. Волк помнил, как некоторые из его неопытных собратьев, жаждущие легкой наживы, наступали в центр этого круга, и страшные острые зубы вонзались в их лапы, раздирая плоть и пригвождая к месту до прихода человека. После чего участь зверя была решена. Опытные же серые обходили такие ловушки стороной. Волк поступил так же. Да и зачем ему этот мертвый кусок мяса, когда рядом уже в страхе закудахтали куры, почувствовав присутствие хищника.

Волк обогнул капкан и перепрыгнул через ограждение. Курицы стали бешено носиться по вольеру. Угледев самую толстую наседку, волк кинулся за ней. В сторону полетели перья, и кудахтанье стало еще громче. На улице залаяла собака. Задушив первую курицу, волк кинулся за второй. Потом взял обеих кур в зубы и поспешил выпрыгнуть из вольера. Есть их здесь он не будет. Наверняка пес уже разбудил человека, и тот

скоро будет в курятнике. Значит, нужно спешить. Спешить в лес.

Волк выбрался из курятника. На улице была ночь, но уже близились рассвет. Собака на мгновение прекратила лаять, и зверь услышал голос человека. Продолжая держать кур в зубах, волк по снегу припустил к лесу.

И вдруг прозвучал выстрел.

Собачий лай разбудил человека. Он поднялся с кровати и подошел к окну. Отодвинув занавеску, увидел, что пес лает на курятник.

«Опять этот чертов волк, – подумал Павел. – Может, он все же угодил в мой капкан?»

Он надел полушубок, быстро сунул ноги в валенки и, схватив двустолку, выбежал на улицу.

Пес, встав на задние лапы, а передними упершись в забор, лаял уже в сторону леса. Человек подбежал к забору и увидел убегающего вора. Не теряя времени, Павел вскинул ружье и прицелился. Прозвучал выстрел.

Бегущий волк споткнулся, упал, но затем, резко вскочив, снова побежал к лесу, уже прихрамывая. Прозвучал второй выстрел. Но он не достиг цели, и волк скрылся в заснеженной чаще.

– Ничего, – сказал Павел. – Раненый, ты далеко не уйдешь.

Пес прекратил лаять и, виляя хвостом, вопросительно смотрел на хозяина, как бы спрашивая: «Ну что, охота-то будет?».

– Будет, будет, – сказал человек и, потрепав пса по голове, двинулся к дому.

Через несколько минут он вышел. За плечом висела котомка и ружье, а к поясу был пристегнут патронташ. Подойдя к лайке, Павел отвязал ее.

– Ничего, достанем этого чертова волка.

Будто соглашаясь с хозяином, пес радостно гавкнул.

Они направились по волчьим следам, отчетливо видным на свежем снегу.

Дойдя до того места, где он попал в волка, человек увидел следы крови и разбросанные куриные перья.

Павел еще раз оглядел место и заметил, что в отпечатке правой лапы скопилась кровь. Значит, пуля угодила зверю в правую лапу.

«Да, с такой раной волк далеко не уйдет, – подумал человек. – Сначала он будет бежать изо всех сил, не обращая внимания на боль. Затем боль станет невыносимой, чувствуя преследование, волк не перестанет бежать, но уже будет двигаться куда медленнее. Вскоре силы покинут его, и тогда зверю придется лишь медленно плестись, тут я и нагоню его».

И охотник побрел по следам хищника, ведущим в лес. Пес радостно побежал вперед, обнюхивая волчий след. Последние звезды уже сошли с неба, скоро должен был наступить рассвет.

Волк бежал по рыхлому, свежавыпавшему снегу, как вдруг прозвучал выстрел. Внезапно его правую переднюю лапу пронзила острая боль, эта боль напомнила укус осы, но в сотню раз сильнее.

Зверь споткнулся, упал, но затем резко поднялся и, прихрамывая, побежал дальше, к чаще леса. Добычу из зубов он не выпустил, не такой уж легкой ценой она досталась ему, чтобы ее бросать.

Когда волк достиг первых заснеженных ветвей леса, прозвучал второй выстрел. Но зверь уже прыгнул в чашу. Снег, обильно покрывавший деревья, осыпался, прикрыв отступление. Волк слышал, как позади него

лаяла собака, и человек что-то говорил ей в ответ. Похоже, они собирались преследовать его. Значит, надо бежать, бежать быстро и как можно дальше, запутывая следы, чтобы человек не смог его выследить.

И волк побежал что есть силы. Его правая лапа болела, каждый раз, когда он наступал на нее, боль становилась еще сильнее, но волк не останавливался и продолжал бежать, несмотря на боль. Его лапы тонули в снегу, а дыхание сперло, но он все бежал, бежал, не оглядываясь и ни на что не обращая внимания.

Солнце уже взошло на небо и осветило все вокруг. Его лучики коснулись чистого, свежего снега, отчего тот стал переливаться всеми цветами радуги. Скоро солнце поднимется еще выше, и тогда его лучики проникнут и в чашу леса, остававшуюся на тот момент еще темной.

Павел вошел в лес и замер. Пес бежал впереди, но человек окликнул его и зверь остановился.

– Подожди минутку, дружище, – сказал человек.

Пес непонимающе посмотрел на хозяина, чем-то явно заинтересованного. Павел же смотрел на следы волка, в этом месте они были чуть глубже, чем в других.

– Судя по всему, волк остановился передохнуть здесь, – сказал он вслух. Его догадку подтверждала и кровь, скопившаяся в правой лунке, оставленной волчьей лапой. В этой лунке крови было чуть больше, чем в других, лишь слегка ею окропленных.

– Наверное, он о чем-то задумался, – предположил человек. – А потом сломя голову помчался дальше. Ладно, пошли, – сказал он псу. Тот радостно гавкнул и побежал вперед вдоль волчих следов. Человек двинулся за псом, он, не отрываясь, следил за волчьим следом.

Павел был хорошим охотником и следопытом, он знал и любил лес. Ведь здесь прошла вся его жизнь. С самого раннего детства отец брал его на охоту и учил всему, что знал и умел сам. Повзрослев, Павел начал думать о том, что когда у него будет сын, он тоже передаст ему все свои знания. Но родилась дочка, которая так и не научилась разделять увлечения отца.

Жена умерла, когда их дочери было десять лет. И Павлу одному пришлось воспитывать девочку и заниматься хозяйством. А с дочкой ему повезло. Она оказалась смышленной и трудолюбивой, хотя деревенскую жизнь девочка не любила. Она окончила школу и захотела поступить в университет, для того чтобы навсегда покинуть родную деревню. С одной стороны Павлу было жаль расставаться с дочерью, но с другой – он понимал, что свою дальнейшую судьбу она не может связывать с этим местом. У нее здесь просто не было будущего. Ведь деревня постепенно вымирала, молодые разъезжались по городам, а старики медленно доживали свои последние годы.

Дочка поступила в университет. Это было три года назад. Теперь она жила в городе, и виделась с отцом лишь летом и на новый год. Павел же остался в деревне, которую он так любил, ведь здесь прошла вся его жизнь. Здесь он родился, здесь он познал природу и любовь женщины, здесь он женился, и здесь умерла его любимая. Недавно Павлу исполнилось пятьдесят, и тот недолгий срок, который, как он считал, ему отмерил бог, он хотел прожить здесь, в своей родной деревне и ее окрестностях.

А сейчас Павел упорно шел вперед, по пушистому заснеженному лесу. Перед ним на свежавыпавшем

снегу виднелись следы волчьих лап. Его пес весело бежал впереди, иногда он останавливался и обнюхивал волчий след, после чего смотрел на хозяина и бежал дальше.

— Мы нагоним этого волка, дружище, — обратился он к псу, тот остановился и внимательно посмотрел на хозяина. — И он больше никогда не будет воровать наших кур, — добавил он. — Верно ведь, Байкал?

Пес, понимая, что обращаются к нему, радостно гавкнул. Он любил, когда хозяин называл его по имени. Павел назвал своего пса в честь места, в котором так сильно хотел побывать, но в которое, как он думал, уже не попадет никогда.

Над их головами недавно доставляла ему удовольствие порывов ветра их макушки величественно покачивались, создавая ни на что не похожую мелодию. Эта природная мелодия, казалась, гипнотизировала. Было в ней что-то шаманское, колдовское, что заставляло твое сердце успокоиться и отдаться древним, природным инстинктам.

Свежий утренний воздух немного морозил горло, и приятно бодрил. Солнце уже проникло в чащу, и снег искрился под его лучами.

«Здесь совсем недавно пробежала белка, — отметил про себя Павел. — А там видны следы зайца. А вот это волчьи следы, следы, по которым иду я».

И он снова двинулся по волчьим следам. Павел не торопился и шел медленно. Он знал, что волк бежит и скоро выдохнется — и тогда ему придется плестись куда медленнее. Тогда-то Павел и нагонит его. К тому моменту волк будет в полном отчаянии.

«Легче добычи и представить себе нельзя, — подумал Павел. — Даже как-то и не интересно».

Хотя погоня за волком доставляла ему удовольствие. Ему нравилось брести по заснеженному лесу, нравилось ощущать присутствие своего пса рядом, нравилось дышать свежим морозным воздухом и быть одному. Или почти одному, ведь с ним был его верный Байкал, которого Павел считал настоящим и самым преданным другом. Другом, который всегда рядом, который никогда не предаст и никогда не покинет тебя. Животные любят искренне и безвозмездно и отдают хозяину всю свою любовь без остатка. Своего пса Павел любил почти так же, как и охоту, а охоту он любил всем сердцем. Он любил это чувство, когда преследуешь зверя и ощущаешь его страх. Было в этом что-то древнее, по-настоящему мужское — это был инстинкт, доставшийся нам от далеких предков. Охота... на ней человек меняется, становится более диким и сливается с миром природы, погружаясь в свое первозданное состояние.

«Люди ведь тоже, по своей природе, хищники, — думал Павел. — Потому они и любят это чувство».

Ветер задул чуть сильнее. Павел поднял голову и взглянул на небо.

— Главное, чтобы не пошел снег, — сказал он лайке, — а то этому волку удастся уйти от нас.

Но на небе не было ни облачка. Оно было синим и спокойным.

«Полная безмятежность», — подумал Павел.

Волк бежал уже очень давно. Время, казалось, остановилось, и лишь дорога и накатывающая боль в правой лапе напоминали ему, что он еще жив.

Он только что сделал большой круг, стараясь запутать преследователя. На выполнение этого маневра у зверя ушло много сил и времени, но он знал, что чело-

веку придется поломать голову, чтобы разобраться в его запутанных петлях. Но вот собака... Собака может учуять его.

Зверь прилег и принялся вылизывать рану. Он чувствовал привкус крови. Вяжущий, отдающий железом и в то же время свежий и пьянящий, как роса на летних цветах.

За время стоянки кровь прекратилась, и лапа стала болеть чуть меньше. Зверь поднялся и вновь взял добычу в зубы.

Нужно было идти. Волк снова побрел по бескрайней, покрытой снегом лесной дороге. Казалось, пути не будет конца. Вечный путь, постоянные скитания, охота, в которой ты сам можешь стать жертвой, были уделом всей его жизни и жизни его сородичей.

Снег нежно хрустел под мягкими теплыми валенками. И Павлу казалось, что он идет по мягкому снежному покрывалу. Одинокие кустарники, которые так редко встречал охотник, были тоже закутаны белоснежной бахромой. Тоненькие ветки с опавшими листьями мужественно держали лежащий на них снег. Эти одинокие заснеженные кустарники казались не настоящими, а лишь кусочками картины, нарисованной белыми красками.

Старые сосны стремились вверх. Их макушки были тоже все в снегу и редкий ветерок, раскачивающий деревья, колыхал их ветви, отчего снег падал вниз. Снег летел очень быстро и с глухим звуком ударялся о снежный ковер, покрывавший землю. Эти падающие комки пугали пса, и каждый раз он испуганно поджимал уши и, поднимая голову, смотрел на хозяина. А Павел лишь усмехался, давая понять псу, что ничего страшного не произошло.

Идя по волчьим следам, Павел и пес забредали все дальше в лес. Неискушенный путник, прогуливающийся здесь вместе с ними, подумал бы, что лес не меняется. Но Павел знал, что это не так. Лес становился все гуще, сосны все ближе примыкали друг к другу, и все чаще встречались кустарники. От этого лес становился темнее, ведь солнцу было сложнее проникать через заснеженные кроны деревьев в эту дремучую чащу. А тех лучиков, которым удавалось это сделать, не хватало, и потому, все здесь казалось не реальным, а каким-то черно-белым, как на старой кинолентке.

Неожиданно следы волка оборвались на поваленном дереве.

— Может, у нашего серого выросли крылья? — улыбнулся Павел. — Как думаешь, Байкал?

Пес недоуменно гавкнул.

— Вот и я не знаю, — сказал Павел.

Он медленно осмотрелся и увидел маленькое белое перышко. Оно колыхалось на ветке кустарника.

— А он хитер, — заметил Павел и подошел к кустам.

Следов волка он не обнаружил, но точно знал, что хищник был здесь. Охотник понял, что с поваленного дерева волк прыгнул в заросли, и снег, покрывавший кусты, осыпался, скрыв следы. Павел обошел кусты и увидел отпечатки волчьих лап.

— Еще как хитер, — повторил он. — Слышишь, Байкал, нам с тобой попался очень хитрый волк. Он чуть было не провел нас.

Пес залаял.

— Знаю, знаю. Рано или поздно ты бы все равно его учуял. Я в тебя верю, Байкал.

И они двинулись дальше по вновь найденным следам.

Холодало. Павел чувствовал, как его лицо покалывает легкий морозец. И он повыше натянул свой шарф, так, чтобы тот закрывал ему нос.

Вскоре человек и пес вышли к тому месту, где хищник останавливался и отдыхал возле сосны. Об этот свидетельствовал отпечаток волчьего тела на снегу.

– Видать, бедняге совсем тяжело, – сказал Павел.

Пес с интересом обнюхивал волчье лежище.

– Ладно, пошли дальше.

Пес бросил свое занятие и побежал вперед. Человек пошел вслед за ним, внимательно разглядывая волчьи следы. Они немного изменились. Капли крови пропали.

«А он не терял зря времени, – подумал человек. – Видать, ранулизывал. Наверное, и сил набрался».

Павел посмотрел на небо. Оно было безоблачным и спокойным. Солнечные лучи проникали сквозь ветви и падали ему на лицо. День был в разгаре.

Наконец человек вновь остановился и сказал:

– Отдохнем.

Павел приставил ружье к сосне и снял котомку. Он выбрал хорошее место для стоянки. Здесь посреди леса возвышался холмик, за которым можно было спрятаться от ветра. Человек извлек из котомки топорик, старый, но острый. Он достался Павлу еще от отца, и был дорог, как память.

Нарубив веток, охотник вырыл в снегу ямку. В старом ельнике нашел высохшую прошлогоднюю траву. На дно ямки бросил ветки потолще, а поверх веток накидал сухую траву, тоненькие прутики и бумагу, которая всегда была при нем. На промерзшие ветки пришлось истратить не одну спичку. Костер, наконец, разгорелся, и Павел принялся отогревать руки.

Пес передними лапами уперся в сосну неподалеку и, глядя вверх, громко лаял. Человек посмотрел на дерево и увидел там серую белку. Она сидела на ветке и, испуганно прижав голову, смотрела на пса.

– Отстань от белки, Байкал, – сказал Павел. – Иди лучше, погрейся.

Пес посмотрел на хозяина, затем последний раз громко тявкнул на белку и побежал к Павлу. Улегся рядом с ним и вытянул лапы. Горящие ветки тихо потрескивали в ямке. Павел достал из котомки кусок вяленого мяса и краюшку хлеба. Все это поделил на две части и одну отдал псу. Байкал с радостью принял угощение. Павел тоже приступил к еде. Быстро съел все, что у него было, и мечтательно закрыл глаза. Пес с благодарностью и надеждой принялся лизать руки хозяину.

– Извини, дружище, больше у меня ничего нет, – сказал Павел.

Неожиданно охотник услышал какой-то шум, а затем рык. Байкал вскочил и тоже зарычал, шерсть у него встала дыбом. Павел поднял глаза к вершине холмика и увидел, что оттуда выбирается медведь. Это был не холм, а берлога, и охотник со своей лайкой разбудили ее обитателя.

Медведь вновь страшно зарычал и направился вниз, к Павлу.

Тот вскочил на ноги, но не мог двинуться с места, и как замороженный смотрел на зверя. Мохнатый гигант быстро приближался. Он продолжал громко рычать, и казалось, что его ужасный рык разносится по всему лесу. Краем глаза Павел увидел, как с деревьев сорвались птицы и полетели прочь.

Байкал кинулся на медведя. Он вцепился зверю в бок, но медведь откинул его, и пес жалобно заскулил. Павел хотел было броситься к ружью, стоящему возле дерева, но не успел. Медведь оказался уже рядом. Зверь ударил человека могучей когтистой лапой в грудь и тот упал. Ощутил резкую боль и почувствовал, как одежда намокает от крови. Он хотел встать, но медвежья пасть уже нависла над ним. Человек увидел огромные острые зубы, готовые вцепиться ему в горло. В этот момент пес впился в лапу зверя. Медведь взвыл и повернул голову. Павел схватил лежащий рядом топор – и услышал жалобный стон своего четвероногого друга.

Медведь отбросил пса в сторону и встал во весь рост. На задних лапах зверь казался поистине огромным, его тень падала на Павла, а он сам будто закрывал своей тушей солнце. Хищник поднял когтистые лапы и опять зарычал. Не теряя времени, Павел собрал все силы и, размахнувшись, ударил медведя топором между глаз. Удар был такой сильный, что топор застрял у косолапого в голове. Павел отпустил рукоять и отпрыгнул назад. Медведь сделал два шага – и рухнул. Он был мертв.

Павел подбежал к псу. Байкал тяжело дышал, и из его разорванного горла сочилась кровь, и снег вокруг становился алым. Человек упал на колени и погладил своего умирающего друга.

– Бедняга, ну и досталось же тебе.

Пес, не поднимая головы, продолжал хрипеть.

– Спасибо тебе за то, что спас меня. Ты был моим лучшим другом.

Человек медленно поднялся. Подошел к дереву, где стояло его ружье и, взяв его, приставил дуло к голове пса.

– Прости меня, что все так получилось. Спи спокойно, Байкал.

Павел спустил курок. В глазах его стояли слезы.

Он отвернулся. Грудь болела, Павел чувствовал, как по телу сочится кровь. Он снял разорванный полушубок и разделся до пояса. Мороз впивался в кожу, но нужно было перевязать рану. На пса Павел старался больше не смотреть, слишком больно и грустно это было.

Порезы оказались неглубокими, но длинными – они шли через всю грудь. Павел протер их снегом. Разорвал рубашку на полосы, перевязался и вновь оделся. Вытащил топор из черепа медведя и, обтерев его, убрал в котомку. Котомку и ружье закинул за спину. Взглянув на тело пса, произнес:

– Прости, Байкал... Я достану этого волка, обещаю...

И развернувшись, он пошел дальше по волчьим следам, теперь уже в одиночестве.

Волк бежал на трех лапах и лишь изредка осмеливался наступить на правую, подстреленную. И когда он это делал, во всем теле возникала резкая боль. От этой боли ему хотелось скулить, но он всякий раз сдерживался, стискивал зубы и бежал дальше. Волк был вымотан, но понимал, что чем дальше уйдет, тем больше у него шансов на спасение.

Он все чаще останавливался и подолгу стоял, отдыхая, а потом вновь пускался в путь. Последние силы покидали его, волк понял, что выдохся, и надежда, не покидавшая его с самого начала преследования, стала

исчезать. Волк выпустил добычу из зубов и обессиленный упал на снег. Сил у него больше не было.

В воздухе кружились снежинки. Они медленно падали и опускались вниз. Несколько снежинок упали на нос зверя. Волк поднял свою морду к небу и увидел, как идет снег. Снег ложился на кроны деревьев и на шапки кустарников, на дорогу и на его следы. С каждой минутой снегопад усиливался, и вскоре ничего вокруг не стало видно, лишь одни белые хлопья, кружащиеся в воздухе.

Этот снег придал волку сил. Он поднялся и, подобрав добычу, заковылял вперед. Это был его шанс. Нужно было идти, из последних сил идти к убежищу. Снег скроет следы, и охотник его не найдет. Небо дало зверю последний шанс, в тот самый момент, когда он совсем отчаялся. За это он был ему искренне благодарен.

Человек устало перебирал ногами. Валенки вязли в глубоком снегу, но он настырно шел дальше. Грудь болела, но Павел не обращал на это внимания. Впереди была цель, оставившая отпечатков лап, и он не хотел упускать ее. Он и так никогда не терял надежды, и теперь она крепла в его сердце, словно ветер донес до него запах весны. Казалось, волк был уже рядом, и лишь считанные метры отделяли охотника от долгожданной добычи.

Павел не хотел думать о мертвом псе. Но мысли о нем возникали сами собой. Пес был его преданным другом, и прожил бок о бок с ним много лет. Павел помнил, как принес маленького щенка домой и подарил дочке. Тогда она еще жила с ним, тогда она была еще ребенком. Они называли пса Байкалом в честь самого красивого озера, где Павел хотел побывать больше всего на свете. Байкал оказался хорошим псом, он быстро научился всему, что должна уметь деревенская охотничья собака. Он преданно сторожил хозяйство, никогда не пускал чужаков и послушно вел себя на охоте. Пес не боялся выстрелов и с удовольствием плавал за подбитыми утками, легко брал след и находил лисьи норы.

– Хороший был пес, – вслух сказал Павел.

Он часто разговаривал с псом. Это началось после того, как дочка уехала. Пес отвечал ему, пусть и лаем, но казалось, что он все понимал. А теперь он, Павел, остался один, и ему не с кем больше разговаривать, а разговаривать с самим собой казалось глупо.

«Как грустно вспоминать Байкала, – подумал Павел. – Лучше буду думать о дочке. Жаль, что она далеко, и я вижу ее так редко. Но она у меня хорошая, она умница. Нужно будет написать ей, когда вернусь домой. Как жаль, что она так далеко. Как жаль, что пес умер».

Впереди, за деревьями, Павел увидел просвет. Казалось, что лес заканчивается, и впереди пустота, но это было не так, и человек знал, что сейчас предстанет перед ним.

Павел миновал последние деревья и вышел к горной речушке, разделявшей лес. Вода в ней никогда не замерзала, поскольку течение было очень быстрым. Еще не дойдя до реки, человек услышал ее громкое рычание. А, приблизившись, увидел, с какой скоростью несутся по порогам вода, ударяясь о камни и разлетаясь миллионами ослепительных брызг.

Павел снял рукавицы и, наклонившись, зачерпнул ладонями воду. Она была ледяной, колола руки множеством невидимых иголок, но, несмотря на это, он все же умыл лицо. Холодная вода бодрила, она будто

пробуждала ото сна и придавала сил. Павел вгляделся в прозрачную реку и различил там свое отражение. Его лицо выглядело уставшим, щеки покрывала седая щетина, а из-под заячьей шапки торчали спутанные волосы. А позади своего отражения он увидел небо, суровое свинцовое небо, Павел поднял голову и увидел миллионы снежинок. Эти снежинки кружились в загадочном танце и опускались на деревья, на уже покрывавший землю снег, и на реку, быстро бегущую в низ. Несколько снежинок, посмелее, коснулись его лица и быстро растаяли, оставив после себя мокрый след.

Задул ветер, верхушки деревьев закачались. Снег падал все быстрее и быстрее, и вскоре все вокруг превратилось в сплошную белизну. Эти снежинки кружились в загадочном танце и опускались на деревья, на уже покрывавший землю снег, и на реку, быстро бегущую в низ. Несколько снежинок, посмелее, коснулись его лица и быстро растаяли, оставив после себя мокрый след.

«Неужели я проиграл? – подумал Павел. – Неужели все было напрасно? Неужели я зря проделал весь этот путь? Неужели Байкал погиб зря, и этот чертов волк окажется безнаказанным? Что ж, ему повезло, а мне нет. Это суровый закон жизни».

Человек еще раз взглянул на небо, но неба не было видно. Лишь миллионы снежинок, кружащих в воздухе и падающих ему на лицо, и белая рябь, заполонившая все вокруг. Лишь журчание воды...

«Метель, – подумал Павел. – Если я не найду, где спрятаться, то заблужусь и погибну».

Человек знал, что неподалеку отсюда, у подножия горы, где брала начало речушка, есть пещеры. Там-то он и надеялся укрыться. Опустив голову, Павел побрел вдоль берега к спасительным пещерам.

Человек шел уже очень долго, а метель становилась все сильнее и сильнее. Ветер дул со страшной силой, так что звенело в ушах. Идти навстречу ветру было тяжело, он пронизывал насквозь, норовя сбить человека с ног, но тот мужественно держался и не поддавался накатывающей на него слабости. Ноги медленно погружались в глубокий снег и столь же медленно поднимались, лишь для того, чтобы опуститься вновь. Снег летел прямо в лицо. Павел поднял шарф до самых глаз, оставив лишь узкую щель, чтобы видеть, но увидеть хоть что-то в этом белом хаосе было невозможно. Сейчас Павел больше походил на снежный ком, чем на человека.

Но все же он дошел. Дошел до спасительных гор, хотя уже валился с ног. Первым делом потрогал гранитную стену, не веря своим глазам. И когда ощутил, что перед ним действительно скала, начал пробираться вдоль нее в поисках пещеры. Идти вдоль скалы было легче, теперь ветер уже не дул в лицо и снежных хлопьев не валилось так много, поскольку им мешали нависшие вершины.

И вот за поворотом открылась пещера. Павел уже хотел пойти к ней, как вдруг увидел волка. Серый медленно вышел из чащи и направился к той же пещере. Волк хромал на трех лапах, и Павел видел, с каким трудом дается хищнику каждый шаг. В зубах зверь нес добычу, он не съел ее по дороге и не бросил, не смотря ни на что. И сейчас, наверное, предвкушал, как полакомится ею в уютной пещере.

– Ну, вот мы и встретились, волк, – пробормотал Павел.

Он медленно снял с плеча ружье и прицелился.

И тут навстречу волку из пещеры выбежали четыре волчонка. Они подбежали к хищнику и стали ласково об него тереться. Зверь, выпустив из зубов кур, начал вылизывать одного из волчат. Другие, подскочив к добыче, принялись жадно в нее вгрызаться.

К горлу человека подступил ком.

«Ты не волк, — подумал Павел. — Ты волчица. И все это ты проделала лишь для того, чтобы накормить своих щенков».

В нем боролись противоречивые чувства. Хотелось убить этого волка — ведь не зря же он, Павел, проделал столь долгий и трудный путь, ведь не зря же погиб его верный пес, и сердце жаждало мести. Но сейчас оно почему-то жалось и затрепетало: разве можно оставлять детей без матери? Однажды Бог оставил его дочь без матери, но у нее был отец, и он вырастил ее и воспитал. Как считал Павел, у него это неплохо получилось. А у этих волчат была только их мать, и без нее они были обречены на погибель.

«Это самое гнусное дело — лишать детей матери», — подумал Павел.

Человек опустил ружье и, развернувшись, побрел обратно. В этих горах должны быть и другие пещеры, а эта принадлежит семье, семье, разрушать которую он не хотел.

ЮРИЙ ФЕЛЬДМАН

РЫЖАЯ

Нет, не предвещал ничего нового и этот октябрьский день в устоявшейся его жизни. Наум Борисович Райх возвращался с работы домой. Впрочем, назывался он нынче — «Херр Райх», и работал не по инженерной части, как в Питере, а смотрителем в краеведческом музее. Служба не слишком обременительная, даже скучноватая, и всё же, в отличие от многих немолодых, при деле, немного, но зарабатывал. Жена, София, оказалась честолубивей, добилась признания медицинского диплома, и теперь безвылазно трудилась в больнице, как и прежде, врачом. Виделись они нечасто, что устраивало обоих. Не так заметно охлаждение. Оно и не удивительно, поднадоели за тридцать лет, отдалились. Дети выросли, носы вытирать некому. До внуков ещё далеко. Непростой это возраст. Впрочем, они не больно и мешали друг другу, почти не ссорились, жили себе параллельной жизнью.

Итак, шел он через любимый свой парк, точнее от Северного вокзала к Главному, откуда четверть часа домой на автобусе. Он любил эти сорок минут прогулки. Недалеко от музея выстроена большая детская площадка. Она столь велика и занимательна для детей, что сюда привозят малышей и детские сады даже издалека. Только есть одна, не бросающаяся с первого взгляда особенность. По вечерам и, особенно по выходным, площадку заполняют детишки темноволосые и громкоголосые, привозят их мамы в платках и длинных неброских платьях. В Штутгарте каждый пятый — из мусульман, похоже им здесь вольготней, чем в родной их Азии.

Обычно Наум проходил мимо площадки быстро, не оборачиваясь на детские крики. Да, вот, несколько дней, какое-то яркое пятно на фоне сливавшихся в неразлично серое турецких платьев раздражало его. Он

чувствовал это боковым, неосознанным зрением, Будучи равнодушным к цвету, решил сегодня обязательно обратить внимание на это пятно. И подходя к площадке, он без труда разглядел огненно рыжую голову с начёсанными пышными волосами. Женщина сидела на скамейке у бревенчатой башни, утыканной жизнерадостной малышкой. Одной рукой она трясла коляску с пищущим младенцем, другой держала на поводке молодого пятнистого далматинца, рвавшегося познакомиться с каждой проходящей собакой. И, вдруг услышал родное, давненько не слышанное:

— Куда ж ты дёргаешься, зараза!

От неожиданности Наум замер и рассмеялся громче, чем хотелось. К нему повернулось лицо с ярко накрашенным ртом и сердитыми, «метавшими молнии» глазами.

— Вы что, русский? Ничего смешного нет. Покрутились бы с утра до вечера с этой писклей и псиной за три копейки, потом бы и хихоньки устраивали!

— Это не ваши?

— Нет, конечно. К ноге, я сказала!

— Извините за дурацкий смех, я не над Вами, просто от неожиданности.

— Уже простила, а не могли бы Сарку минутку потрясти, я сегодня ещё не курила, уши пухнут?

— Конечно, покачаю, у меня пару минут есть. Значит, это не ваш ребёнок?

— Шутите? Для малыша я старуха, сороковник стукнул. По знакомству приехала на год подработать. Хотела отдохнуть от своих проблем, а попала из огня в полымя.

— Бывает. Откуда Вы, простите?

— Из Колпино, под Ленинградом. Я и работала некогда фельдшером, в колонии. Устала от эзков, от грязи, думала Европу повидать. Теперь пашу у наших немцев, они вкалывают как черти, им без obsługi никак.

— Колпино? Почти земляки, мы восемь лет назад из Питера сюда перебрались.

— Навсегда?

— Похоже что так.

— И не жалеете?

— Да нет, пока.

— Счастливы вы.

— Счастливы? Не знаю. Уже накурились? Смотрите, девочка уснула. Я свободен?

— Потрясающе! Я плаксу никак полчаса трясу. Приходите ещё, словом перекинуться не с кем.

Её макияж был столь же ярок, как и цвет волос, но сквозь маску Рыжего светились весьма приметливые зелёные глаза. Наум попрощался и бодро зашагал привычным маршрутом. Шёл двухтысячный год, на улице разгоралась многоцветная осень, любимое его время. Он спешил к компьютеру, к любезным сердцу художникам прошлого, подлинному своему увлечению. Сейчас заканчивал писать лекцию о Рафаэле и размышлял, почему жизнь гениев нередко коротка и трагична. Вспомнилось, — возлюбленная великого мастера, модель Сикстинской Мадонны, была тоже золотоволосой, и посмеялся над собой, над сравнением несравнимого. Мимолётное знакомство никак не зацепило его.

Прошла неделя. Всё тот же, даже ещё более разноцветный парк. Непуганые утки крикают, разминаясь перед перелётом на юг. Лекция в библиотеке прошла удачно. Наум уже обдумывал следующую, по контра-

сту, о творчестве Пикассо. К великому испанцу с молодости был он равнодушен. Потом мысли повернулись на грустные, о своей ненужности в семье. И не сразу понял, что кто-то окликает его по-русски:

– Господин хороший, что ж Вы мимо проходите. Я ведь не пустое место!

Он оглянулся, увидел даму с детской коляской и не сразу признал. Куда-то исчезли огненные буйные кудри. Нет, рыжий цвет остался, но перед ним стояла вполне привлекательная, европейски подстриженная женщина, с минимальной косметикой, в светлой курточке и брючках. Она определённо с вызовом улыбалась.

– Здравствуйте, не узнал. Вы как-то с прошлого раза изменились.

– Правда, так лучше?

– Наверно. А где собачина?

– Уже выгуляла. Сейчас Саркина очередь. Вообще она Сара. Немцы, даже наши, еврейские имена девочкам дают. Мода, видать, такая.

– А Вас как звать?

– Марина. Марина Иванова. Папаша моряк – с печки бряк, морское имя дал, а сам утёк за океан. Вы очень торопитесь?

– Опять надо ребёночка покачать?

– Нет, просто поболтать. Как Вас звать?

– Наум.

– Это Вам не к лицу. А папино имя?

– Борис.

– Наум Борисович, сейчас нормально, подходит. Вы человек серьёзный, по-другому нельзя.

Обращение по имени отчеству неожиданно попало в точку, польстило ему.

– А Ваше отчество?

– Оно мне ни к чему. Все зовут – Марина. И лучше, знаете, на ты. Привыкла.

– О чём, Вы, Марина хотели поговорить?

– Так, ни о чём, просто о жизни. Вы, конечно, жена-ты?

– Сто лет, точнее тридцать.

– И детки имеются?

– Не детки. Двое парней. Один поступил в университет, второй гимназию кончает. Вопросы все?

– А мой сынок баранку крутит. Жениться ему, видишь, приспичило. Жилья нет, сейчас в моей однокомнатной живут, ребёночка ждут.

– Вы замужем?

– Разве похожа я на замужнюю? Два раза была, хватит. А Вы в семье не больно-то счастливы.

– Интересно! С чего это Вы взяли?

– Знаю. Я, ведь, людей насквозь вижу.

– Да? Что ещё подглядели?

– Не скажу.

– Опасный Вы человек!

– Не очень, злости маловато. И женщины у Вас были, но никого по-настоящему не любили.

– Кого? Вы отличаетесь только прическами, и то не слишком. Любовь – это выдумка, сказка.

– Вам просто ещё не повезло.

– Повезёт в следующей жизни. Что-то я заболтался. Простите, тороплюсь.

Наум не оглядываясь, ускорил шаг. Он досадовал, что незнакомой женщине удалось заглянуть в глубоко затаённое, и остро почувствовал, – она задела сердечную рану, казалось зажившую. С юности ждал и был готов к сильному чувству, горению, но не случилось.

Наверно подсознательно, увлечение художниками, их искусством, говорящим языком эмоций, являлось компенсацией непережитого. Он это чувствовал, запрящая себе даже мечтать о любви, как старается не думать о детях несостоявшаяся мать.

Семья Райх снимала квартиру в доме на окраине Штутгарта, города для жизни удобного и относительно небольшого. Он чуть больше их Купчино, района Петербурга, пятимиллионного колосса на Неве, откуда судьба занесла их семью в Германию. Стометровая четырёхкомнатная квартира, почти вдвое большая, чем в Питере, теперь казалась даже тесноватой. По комнате – для парней, спальня да столовая, она же гостиная. Ну, кухня и ванная конечно. Так что ничего лишнего и нет. В гостиной, отгородив угол двумя книжными полками, Наум выделил себе рабочее место, где стоял компьютерный стол. Там до любого художественного альбома, в прямом смысле, рукой подать. Назывался этот закуток кабинетом. Сегодня Наум, наконец, дорвался до Пикассо, просматривая альбомы и заглядывая в интернет. Он обдумывал, как связать голубой и розовый периоды творчества Мастера с поздними абстрактными его построениями. Макет будущей лекции понемногу вырисовывался.

И, вдруг, мешая сосредоточиться, всплыло лицо рыжей Марины, бесстыже точно заметившей то, в чём он и себе не позволял сознаться. Наум считал себя человеком достаточно скрытным, а тут.... И ему захотелось встретиться, чтобы убедиться, – никакая она не провидица, угадала случайно, попав наобум, как уличная гадалка. Он считал себя материалистом, и в сверхъестественное не верил.

– Так что, на том же месте и в тот же час? Здравствуйте Наум Борисович! Потолкайте коляску, пока я с Джиной управлюсь и покурю. К ноге! Кстати, Вы постоянно выходите из музея. Вы экскурсовод?

– Хе-хе! На этот раз и не отгадала, я борец. С чем борюсь? До обеда с голодом, а пообедав – со сном. Спасибо, Марина за высокое мнение о скромной моей персоне, только я смотритель в зале, надзираю, чтобы школьники у чуел что-нибудь на память не отодрали или не разрисовали.

– А я то вообразила, как Вы, такой видный и представительный, что-то объясняете, а тётки Вам в рот смотрят и тают.

– Всё понятно. Значит, Ваше ясновидение носит характер чистой случайности!

– То-то Вы ту девицу глазами раздели и ещё оглянулись. Ведь жену Вы не любите. Так?

– Глупости. Мы живём тихо-мирно, не ссоримся.

– Когда любят – ссорятся, мирятся, ревнуют, а если нет – вежливо, тишь да гладь. Как соседи.

– Да кому нужны всякие страсти-мордасти, в мои-то годы?

– Ах-ах! Не прибедняйтесь. Полтинник, разве возраст? Вы ещё мужчина в полном соку, это ж за версту чувствуется.

Наум не стал уточнять, – пятьдесят отпраздновал три года назад. Столь непохожая на жену и женщин его круга зеленоглазая рыжая колдунья чем-то заинтересовала его, и захотелось встретиться с ней вне парка. Спросил, бывают ли у неё выходные. Она оказалась готова к вопросу, ответила, – на следующей неделе хозяева с дочкой улетают в Испанию, а её оставляют сторожить дом, да выгуливать собаку. Вот тогда можно...

И наступило тогда, и ему было так упоительно хорошо познавать её, что он, придя на пару часов, остался на ночь и врал по телефону, якобы заигрался с приятелем в шахматы, домой ехать поздно. Ему поверили, такое бывало. Утром, на работе он получил втык от начальницы, потому как заснул стоя. В течение недели, пока отсутствовали хозяева, они встречались ещё, не насыщаясь друг другом. Даже лекция о Пикассо застопорилась, не мог сосредоточиться. Софа подозрительно косилась, видя мужа тупо смотрящим в монитор компьютера. Он и сам не понимал, что творится. Стены и крыша внутреннего его дома, его души, почти физически трещали по швам. Нет, случилась не очередная влюблённость. Марина, внешне грубоватая, оказалась в постели тонко созвучной, и он чувствовал себя музыкантом, которому посчастливилось играть на скрипке Страдивари. Необъяснимым образом она поняла и разбудила дремавшую в нём свежесть чувств и нерастраченность любовной силы.

Вернулись хозяева. Праздник закончился, встречаться, кроме парка, почти негде и некогда. Пару раз снимали номер в гостинице, оказалось чувствительно дорого для него, и не слишком понравилось обоим. Он пригласил её на свою лекцию в библиотеку, предупредив, что будет жена, и вряд ли сможет подойти к ней. Понятно, кивнула она. На лекции собралось человек пятьдесят. С вдохновением, – выступать Наум любил – рассказал об этапах творчества Пабло Пикассо, сопровождая выступление диапозитивами. Марина скромно сидела в заднем ряду, разглядывала жену и отягощённую годами русскоязычную публику. Вначале слушала с интересом, он всё видел, потом, когда пошли трудно понимаемые конструкции, стала рыться в сумочке, утешилась шоколадкой, заскучала.

– Что Вы талдычите, не понимаю в искусстве. Бывала я в Русском музее и в Эрмитаже. Когда красиво, всё ясно, понимать нечего, если два глаза на одной щеке у синей страхолюдины, такого в жизни не бывает, значит не искусство, а хрень, обман народа. Тут, ясный перец, объяснять нечего. Кстати, как Ваша спина?

– Теперь не болит, а что?

– Прошло и ладно. Я немного почистила, много грязи скопилось, особенно в крестце.

– Ты серьёзно? Откуда узнала? Почувствовала? Да, с тобой не соскучишься!

– Жена Ваша ничего, видать строгая, как учительница. А на Вас смотрит скучно, без любви.

– Прошло. Наверно единственная любовь случается не чаще, чем страсть к манной каше на всю жизнь. Многие живут и похуже, особенно здесь, в эмиграции.

Так беседовали они, прогуливая чужую девочку и чужую собаку. Их парк пах тонко увяданьем. Осень незаметно перекаатилось в предзимье. Газоны покрылись пёстролоскутным одеялом листьев, деревья обнажали скелетную свою суть, солнце грело всё слабей, и в транспорте зачихали первые гриппозники. Прокказник же Амур перепутал возраст и время года, – весеннее чувство не подчинялось календарям. Им было хорошо.

– Откуда у тебя, Мариночка, эти способности? Природное или обучалась?

– И училась тоже. Моя бабушка Люба слыла знаменитой на всю Сибирь колдуньей и травницей. К ней море народу ходило и приезжало. Она болезни лечила, судьбу предсказывала, а по любовной части как скажет, так в точку, не промахнётся.

– Ты, небось, и меня по её рецептам заполонила?

– Не надо песен, Вы сами ко мне подошли. Люди считают, всё просто: пошептала, поплевала, травку дала, и человек здоров, а это целая наука. Люба знала, в какие недели болезни лечатся, в какие нет. И от луны зависит, и дней рождения, от разных тайн, всёго не расскажешь.

Марина вдруг замкнулась, прикрыла глаза рукой, прислушалась, будто принимала сигналы, и непривычно серьёзно, тихо:

– Идите домой, Борисович, плохая весть издалека. Но Вы выдержите, знайте, я поддержу.

– Что за шутки? Какая ещё новость, откуда?

– Точно не скажу, похоже, из Питера, крепитесь, идите, идите.

Уговаривая себя, что всё это чушь и чертовщина, ничего не должно произойти, открыл дверь и по выражению лиц жены и Лёни, понял – случилось.

– Наум, это валерианка, выпей.

– Зачем? Софа, что стряслось, говори!

– Звонил Миша, племянник. Вчера твоего Лёву подонки убили в Питере, в парадной его дома.

– Лёвку, брата, убили? Не может быть! Какой ужас!

– Выпей, ничего не поделаешь. Послезавтра похороны, ты полетишь?

– Конечно, а ты?

– Я осталась одна в отделении, мне никак. Лёнька по интернету на завтра билет заказал. Попроси короткий отпуск на работе. Сообщи Ларисе, что прилетишь.

– Лёвки нет, о, Господи, не умещается в голове!

– Не кисни, тебе ещё питерских родных придётся поддерживать.

Лёва, единственный брат, был на семь лет его младше. Он не уехал из Петербурга вслед за старшим, потому что его маленькая фирма выполняла заказы по программированию для западных фирм и не бедствовала. Программисты, конечно, зарабатывали меньше чем на Западе, но благодаря Лёвиному английскому и связям, вполне достаточно. Да и сам он в те лихие девяностые жил лучше многих бывших сокурсников. Купил квартиру на Кировском проспекте, ездил на пожиром, но надёжном мерседесе. Дети учились в престижной школе, занимались теннисом и балльными танцами. Всё стоило денег. Лариса на полставки работала в его же фирме. Только лихое время, когда предпринимателей облагали рэкето, а на улицах опасно не только по вечерам, было ещё в полном разгуле. Кто выследил, и за что убили брата – не так важно. Ясно одно, Лёвки, родного, любимого, умницы, умеющего ладить с людьми – больше нет. И сейчас, на подлёте к Ленинграду, душа его болела и кровоточила.

На контроле девушка в серо-зелёной форме с бледным лицом, на нём застыло плакатно недоброе выражение – враг не пройдёт – глянув неулыбчиво, проштамповала его паспорт. Выйдя из аэропорта, он быстро разыскал Ларису, заметно сдавшую женщину, вдову во всём чёрном. Она стояла у чумазого мерседеса. Молча обнялись, Лариса всплакнула. Она довольно лихо вела машину. По дороге к дому рассказала, что договорилась подхоронить урну с прахом Лёвы к могилам родителей на Преображенском кладбище. Наум, уехав в голодном девяностом втором году, тоски по родине не испытывал, и прилетел сюда первый раз. Несмотря на печаль, он заметил, что дома в центре свежеевыкрашены, много вывесок и реклам западных фирм. Дороги на центральных магистралях тоже в по-

рядке. Чуть дальше от туристических троп – дома скучны и обшарпаны, дороги пыльные и в колдобинах. Машин на улицах заметно прибавилось. Есть новенькие и шикарные иномарки, но большинство развалюшных. Попросил Ларису закрыть окно, – запершило, воздух насыщен выхлопными газами, будто все глушители враз прохудились. Водители на дорогах опасны, неуступчивы. Неву переезжали по Кировскому мосту и тут сердце его ёкнуло. Наум любил мост и вид на Петропавловскую крепость, и Собор, чей золотой шпиль сейчас утопал в свинцово серых, набрякших ноябрьским дождём, тучах.

Позднее, четыре дня в Петербурге вспоминались как обрывки тяжёлого сна. Очень белое, почти неузнаваемое лицо брата на прощании в крематории. Огромные, угрюмые толпы людей днём на улицах, будто никто не работает. Теснота в метро, где он единственный раз улыбнулся, увидев на рекламе красотку с гривой волос и надписью: «Окончательная победа над перхотью». И ещё удивительное ощущение, будто рыжая Марина, не давая впасть в отчаяние, зеленоглазо сопровождала его.

Возвратившись домой, никак не мог вернуться в привычную колею. Опаздывал на работу, не заметил, что кто-то выломал зуб у чучела белого медведя. Пришлось объясняться, получил *Mahnung* (предупреждение), а от него недалеко до увольнения. Дома ходил туча-тучей, угнетая домашних своим настроением. Подолгу рассматривал пожелтевшие фотографии, где родители и Лёвушка улыбались. Даже любимое искусство не вдохновляло его. Часами сидел в своём «кабинете» не включая компьютер. И разговор с Мариной в парке не клеился. Перестал следить за собой, редко брился, похудел. Он горевал. Жена посоветовала обратиться к психотерапевту. Отказался.

– Поехал бы куда-нибудь, сменил обстановку, – предложила она, – и нам не вредно отдохнуть от тебя. Живёшь, будто в доме покойник лежит.

Он не ответил, но на завтра передал этот разговор Марине. Она вдохновилась:

– Конечно, я это давно знаю, и карты показали – Вам необходима перемена. И мне положен отпуск, давайте вместе. Интересно, где в январе тепло? За себя я заплачу, не беспокойтесь. Слышала, хозяйева говорили, в аэропорту продают самые дешёвые путёвки. Поехали сейчас!

Наум прикинул: у Софы дежурство, дома никого. И согласился. Марина быстро отвела девочку и собаку, – «хозяйка сегодня выходная», и вот, они на электричке едут в аэропорт. Наум чуть ошарашенный, безвольно ведомый. Марина, напротив, напористо возбуждённая.

– Объясни ей, нам надо, где тепло и недорого, переведи. – Они стояли у прилавка TUI, – крупнейшей турфирмы.

– Тепло и недорого, – неожиданно по-русски отозвалась скуластая раскосоглазая девушка в голубой униформе. – Сезон купаний сейчас в Доминиканской Республике, но там недёшево. Минутку, – только что кто-то отказался, есть с послезавтра два места в четырёхзвёздочной гостинице на Тенерифе. Вам на сколько дней? Десять? – И она назвала вполне приемлемую сумму. – Кстати, там всё включено. Еда и выпивка с утра до ночи.

– Нам годится. Берём, летим! – обрадовалась Марина.

– У меня нет с собой денег, – он растерялся неожиданно быстрому повороту дел.

– Заплатите сегодня 15 процентов, остальное завтра. Резервировать?

– Да, конечно, – поспешно ответила за двоих Марина. – Есть деньги, есть. – Она вынула кошелёк. – И остаток завезём, не беспокойтесь.

Заполнили бумаги, расписались.

– Здорово, как я рада! – Она чмокнула его в щёку. – Где эта Тенерифа? В Тайланде?

Он немного удивился, потом коротко рассказал о Канарском архипелаге в Атлантике, и про остров Тенерифа, где он с семьёй уже отдыхал.

Следующие два дня промелькнули как сон. Никаких препятствий. Жена дала денег, на работе разрешили отпуск. Марина свои дела уладила тоже. И вот они летят из сумрачной зимы в Германии на неведомый ей остров в Атлантическом океане. Для Марины этот полёт особо волнителен, за пределами России и Штутгарта она ещё не бывала.

– Ну, у тебя и напор, коня на бегу остановишь. Лихой вы народ, рыжики. Посмотри вниз, над Гибралтаром пролетаем. Справа это Европа, а слева уже Африка. Представляешь?

– Нет! – Она с молодыми сияющими глазами вкушала новое приключение в своей жизни. – Рассказать кому в Колпино, не поверят. Как в сказке!

– Сказка впереди. Ведь мы из января за четыре часа прилетим в июнь. Там всё цветёт. Знаешь, пожалуй, правильно, что улетел. Мне уже сейчас полегчало.

– Всё будет хорошо, вот увидите.

– Надеюсь. Ты, ведь, по-прежнему золотоволосая волшебница?

– Я Вас люблю, Наум Борисович!

– Спасибо, Мариночка! Сегодня у меня нет сил на взаимность.

– Ничего, силы подкачаем, это я запросто.

В аэропорту Тенерифы тепло, даже душно. Пришлось сразу снять куртки. На автобусной стоянке ветер треплет буйные шевелюры пальм. Океан совсем рядом, по нему играют в догонялки белые барашки волн. До цели полтора часа на автобусе. Пейзаж меняется от дикого и каменистого на юге, на всё более зелёный, обжитой северный. Вдоль дороги стайки ветряков вырабатывающих ток, череда огромных банановых парников, да бело-желтые курортные местечки. Без намёка на январь. Забываешь, что в половине мира сейчас холодно и снег. Канарские острова, принадлежа Испании, торчат из океана даже южнее Марокко. Наконец, приехали. Городок Пуэрто де ла Круз. Нарядные дома, солидный отель рядом с набережной, за ней вздыхает океан. В гостинице тихая музыка, неторопливость и вежливость. Служащие в красивой униформе. При оформлении предлагают бокал шампанского и улыбку. Комфортабельный номер, кондиционер. В ресторане столики на двоих. Изобилие блюд – глаза разбегаются. У Марины вид непривычно растерянный, старается подражать ему. Поужинали с явным перебором, хотелось всего попробовать. Выпили бутылку вина, Марина попросила ещё, понравилось. Вечером спустились в зал, три немолодые испанки и темпераментный их мачо выразительно и страстно танцевали «фламенко». Опять пили. Марина наклонилась к Науму:

– Посмотрите, наверняка наши!

Через столик от них сидела пара. Он крупный и крепкий, похоже подкачивает мышцы, она – крашеная блондинка чьи формы на грани расплзания. Оба в цветных футболках в обтяжку и джинсах, загорелые. Дружно лужгали семечки, сплёвывая шелуху в бокал для шампанского. И выражением лиц заметно отличались от соседей. Науму не слишком хотелось общаться с такими соотечественниками, но он понимал, ей неуютно среди англо и немецкоязычной пожилой публики, оценивающе посматривающей на них. После концерта подошли знакомиться.

– Алекс, – жизнерадостно представился мужчина. Рукопожатие железное, – мы из Ульма, а вы откуда такие бледные?

– Люся, – подала руку лодочкой.

По поводу встречи пошли в буфет знакомиться с разнообразием вин. Алекс сразу прилип к Марине. Они тут же начали болтать и смеяться. Наум узнал от Люси, – родом они из немецкой деревни в Казахстане. Семнадцать лет женаты, столько же лет сыну. Он где-то здесь, на дискотеке. В Германии уже пятнадцать, язык у них «не пошёл». Но ничего, общаются со своими – роднёй и земляками – «нас там много». Раньше работала бухгалтером, муж механизатором в совхозе. Нынче он упаковщик на складе, она по-чёрному убирает у богатых стариков. Общих тем разговоров как-то не нашлось. Наум почувствовал, что выпил лишнего, устал, и хочет спать. Марина неохотно оторвалась от Алекса, ей было весело, сна ни в одном глазу. Однако, придя в номер, оба быстро отключились, отложив занятия любовью на утро.

Они встретились за завтраком, Алекс радостно их приветствовал, сообщив, что успел занять и для них два лежака у бассейна, потому как «с этим здесь туго». Собирались долго, легли у бассейна почти в полдень. Он оказался разговорчивым, открытым. Рассказал, прежде его звали Александром, что жарятся пятый день, потому такие загорелые. Отель похвалил – «со жратвой и выпивкой нормально, спортзал есть, а вот в футбол погонять негде». Жизнь в Германии они довольны, хотя по телевизору смотрит дома одни русские программы. Очень ему Путин нравится, уверен, что «он хозяин и наведёт порядок в Русланде». Пока они беседовали, женщины, вооружившись семечками и картами, играли в подкидного. Судя по оживлению лиц, смешкам и слаженному киванию, взаимопонимание было полным.

Алекс, узнав, что Марина не жена, подмигнув, одобрил, мол, нечего в Тулу со своим самоваром. «Она баба простая, свойская, я в этом вопросе неплохо разбираюсь». Слова эти и ухмылка, неприятно царапнули Наума, будто приоткрылось то, что он не разглядел или не хотел видеть. Первый раз захотелось домой в привычный и понятный ему свой мир.

Начиная с обеда и до вечера длился почти беспрерывный буфет, точнее пьянка. Последнее, что он помнил, они с Люсей сидят на чёрном песке, темно, а Марина с Алексом плещутся в ночном океане, и тот в полный голос орёт припев песенки:

Эх, рыжая, такая
Сто лет всё молодая.
Когда её не тронь,
Всегда она огонь!..

Она безостановочно хохочет. Ему даже показалось, они целовались... Ночью Науму стало плохо. Марина

нажимала какие-то точки на руках, груди, на голове. Что-то странное наговаривала, пока он не уснул. Засыпая, он дал себе слово больше не пить.

За завтраком они с новыми знакомыми не встретились, и хорошо. Видеть их Наум не хотел. От греха подальше, решил провести день с Мариной вне гостиницы. Они погуляли по городу, благо день выдался нежаркий. Он показал ей старинный собор и порт, черный вулканический песок пляжа. В магазинчике она выбрала сувенирное полотенце с надписью TENERIFFA. Полюбовались видом снежной вершины потухшего вулкана Тайда, возвышающейся над островом, пообедали в китайском, неизбежном во всём мире ресторане, посидели и послушали дыхание океана. Потом, случайно набрали на антикварный магазин, где хитрый итальянец из Вены продавал вперемешку как настоящие картины, так и подделки. Ну, как было Науму удержаться и уйти? Они, два знатока, зацепились языками, не растащить. Марина скучала, зевала, заявила, что хочет спать. Попросила ключ от номера, обещала не заблудиться и ушла.

Через час он беспокоился и с бьющимся сердцем поспешил в отель. Зачем-то на цыпочках подошел к двери, прислушался. Предчувствие не обмануло его. Звуки и вскрики двух голосов не оставляли сомнения. Там занимались любовью. Он в такой ситуации не бывал. Что делать? С выскакивающим из груди сердцем спустился во двор. Там у бассейна сидела Люся с неизменным кулком семечек и кружкой пива. Она читала детектив Дашковой.

– Где Алекс? – глупо спросил.

Она пожала пухлыми плечами:

– Кто его, кобеля, знает. Трётся, наверно, возле чьей-то юбки.

– И Вы так спокойны?

– А что делать, привыкла. Бывало и хуже, когда он на наркотиках сидел. Чуть в тюрьму не загремел. Да будь я дома, ушла бы. А здесь куда денешься? Родня и соседи засмеют, – мужика не удержала. Одной ещё хуже, вот и терплю. Возьмите семечек, сама жарила.

Она всхлипнула, полезла за платком, отвернулась.

Несчастная женщина, рабыня, – подумал Наум, но куда больше жалел себя. Его тянуло домой. Он не представлял, как прожить здесь ещё целую неделю, не хотел, не мог видеть рыжую мерзавку. Последнее время всё так навалилось. Ощущение ненужности в семье, потеря любимого брата, теперь ещё измена Марины. Где взять силы? Бродил по городу до вечера. На душе мрак, сердце жмёт. Роились несвойственные ему мысли о бессмысленности существования, нежелании жить. Он пытался сопротивляться, отталкивать их. Тщетно. Стоял, облокотившись о гранитный парапет, смотрел на набегавшую пену волн, манивших, будто притягивающих его. Кто-то обнял его за плечи. Марина. Он сбросил её руки, с болью закричал,

– Как ты могла!

– Прости.

– Нет, как ты могла!?

– Он попросил.

– И, и этого достаточно!?

– Нет, я опьянела.

– Он воспользовался, изнасиловал?

– Ну, не совсем. Вообще это несерьёзно, забудьте.

– Какая ж ты, сучка!!

– Ударьте меня, побейте. Глядишь, полегчает.

– Исчезни, видеть тебя не могу!

Она неожиданно посуровела лицом, вошла в него зелёным взглядом, встала близко и твёрдо, тихо выговорила,

– Я вижу, как сильно болит сердце. Снять приступ?

– Убейся, ничего мне не надо!

– Могу и уйти. Я вижу, начинается инфаркт, тебя отвезут в больницу, испанскую. Уходить?

– Что ты хочешь?

– Снять боль с твоего сердца, а там прогоняй.

– Ведьма!

– Не мешай!.. Потерпи ещё чуть-чуть... Тихо... Так. Теперь всё. Вдохни. Должно стать легче.

– Прошло, – удивлённо, – и неубедительно буркнул, – всё равно не прошу.

– А сейчас пойдём спать. Смотри, полицейские на нас косятся. Бушуешь, будто я уже жена.

– Никогда!

– Ладно, успокойся милый. Это я ещё не решила. Дай руку. Вот так. А завтра отметим мой день рождения, если хочешь, вдвоём. Будешь рассказывать про любимых твоих художников, обещаю слушать. Приглашаю. По глазам вижу, ты согласен. Да?

Stuttgart, Juni – Oktober 2009

ЛАНА РАЙБЕРГ

СТУПЕНЬКИ

Вот уже пятый месяц каждое субботнее утро, как, кстати, и воскресное, начинается одинаково. Подъём в семь утра, быстрый душ, каша из пакетика, чашка кофе... Маленькая сумочка из ткани вешается через голову. В ней – карточка для прохода в метро, несколько долларов, маленькое зеркальце и губная помада. Не забыть положить в неё мобильный телефон. Беру из холодильника пакет с едой и – вперёд. В коридоре стоит упакованная с вечера пятницы ручная тележка. На подножке её укреплён пластмассовый ящик из-под пива. В нём – красивая, купленная в магазине сиреневая в цветок коробочка. В коробочке уложены рисунки в пластиковых пакетах и сумочка с необходимыми вещами. Это – прищепки, ножницы, тюбик клея, моток верёвки, скатерть из тонкой клеёнки и пакет с прозрачным полиэтиленом, на случай дождя, чтобы успеть накрыть работы... За ящиком привязан к длинным ручкам тележки складной стол, в котором уложены пакеты с рисунками. За столом в холщовой сумке – несколько картин маслом.

На ящике стоит рюкзак, в котором еда, альбом для рисования, кейсик с цветными ручками, тетрадь для записей и книга – проведу на улице весь день, и этим предметам предстоит скрасить мой досуг...

В небольшое пространство между стенкой коробки и ящика вставлен складной стул и термос с чаем или бутылка с замороженной водой, в зависимости от времени года... Вся эта конструкция неоднократно перевязана и перемотана сверху вниз и справа налево специальными толстыми резинками с крючками на концах. Крючками резинка закрепляется на ручке тележки, на решётке дна, при необходимости можно соединить вместе две или три резинки...

С грохотом выкатываемся в коридор – муж провожает меня до метро.

Наша квартира находится рядом с квартирой, в которой живёт многочисленная семья супера – так в Америке называют человека, ответственного за порядок в доме, дворника-сантехника-домоуправления в одном лице. Почему-то в этом месте вниз, в холл ведут четыре ступени. В семье супера прибавление – год назад его сын женился, и молодые быстренько обзавелись дочкой. Как Олег не старается спустить вниз конструкцию потише – грохот стоит на весь подъезд. В утренние часы, когда весь дом спит, каждый звук усиливается эхом. Девочка просыпается и плачет. Вначале из квартиры на шум выскакивала раздражённая мама или бабушка, посмотреть, что происходит. Мы мило улыбались и здоровались. Сказать нам вроде бы и нечего – не специально же шумим, и бдительные суперши, проклиная нас, очевидно, на все лады, больше не показываются.

Улица практически пуста. Все спят. Может только встретиться пожилая китайская пара, спешащая в парк, делать упражнения тайчи.

По широкой Бей Парквей ветер гонит мусор – пустые полиэтиленовые пакеты, окурки, стаканчики... Возле столбов и у углов дома, в траве или на тротуарах лежат маленькие бутылки из-под водки или виски. Магазины закрыты жалюзи – ещё очень рано. Только из круглосуточно открытых арабских мини-супермаркетов омерзительно воняет пережаренным бейконом.

В метро Олег платит за мой проезд – проводит карточкой в аппарате и провёртывает вертушку, я же прохожу в решётчатую железную дверь, которую открывает для меня нажатием кнопки дежурная, сидящая в будочке... Она бдительно следит, что бы мы её не обманули – то есть, чтобы Олег не прошёл бесплатно. Она наблюдает, как Олег протягивает мне через прутья решётки карточку, как мы обмениваемся ритуальным – ни пуха, ни пера – к чёрту, и вновь роняет лицо в сложенные ладони...

Я осторожно спускаюсь по всем двадцати ступеням, ощущая рёбрами каждый толчок... Спускаю одно колесо тележки, разворачивая её боком, потом второе... Грохот всё равно стоит невообразимый – бум, бум, бум...

Стоящие внизу на платформе люди поднимают головы и наблюдают за спуском. Мне приходится сильно наклоняться, кровь ударяет в голову, и внизу я уже красная и вспотевшая. Не обращая ни на кого внимания, привожу себя в порядок. В вагоне все меня рассматривают – изучают содержимое тележки, понимают, что я художница, и тогда отводят глаза (на таких тележках возят своё добро бездомные. Надеюсь, что на бездомную не похожа).

В город, как тут называют Манхеттен, в этот час и день недели едут в основном китайцы и латиноамериканцы. Китайцы все выйдут на Канал стрит. Там, в Чайна-Таун, сосредоточена вся их деловая, торговая и культурная жизнь. Латиносы потихоньку рассеиваются – в основном они работают в дайнерах, рано открывающихся ресторанчиках – грузчиками, мойщиками посуды, бас-боями и поварами... В вагоне можно встретить русских женщин – это скорее всего хомма-тенды, и едут они к своим пациенткам на работу... Многие китайцы едят из пластиковых коробочек, мексиканцы в основном спят, русские женщины уткнувшись в книжечки в ярких обложках... Иногда встречается парочка молодых людей – те явно студенты, спешат

на утренние субботние занятия... Однажды в вагон зашёл китаец, точно с такой же тележкой, как и у меня, в которой были аккуратно уложены коробки и рулоны холстов. Мы ревностно изучали обмундирование друг друга в надежде подсмотреть полезную для себя деталь. Китаец вышел на Пасифик и пересел в другой поезд, который делает все остановки. Всё ясно, ему нужно в Баттери парк, там, я слышала, возле причала, от которого отправляются катера к Статуе Свободы, тоже стоят художники.

Я же выхожу на Принс Стрит. Заранее встаю, покачиваясь, протаскиваю своё добро к дверям, извиняясь и стараясь не зацепить чьи-нибудь ноги. Обычно на Принс стрит никто не выходит.

Здесь начинается моё долгое и трудное восхождение наверх. Самое трудное – затащить тележку на первую ступеньку, дальше будет легче. Набираю воздуха, упираюсь двумя ногами в пол и резко, рывком, вздёргиваю сооружение на ступеньку... Бумц-бумц-бумц...

Если неправильно повернулась или вздохнула, то потом будет болеть спина. Где-то высоко вверх маячит и дразнит прямоугольник голубого неба, и мне до него непременно нужно добраться...

Кажется, я уже знаю лицо каждой из ступеней – у этой выщерблен край, эта стёрта больше других, эта слегка скособочена... Наконец, последняя... Чувствую себя чертом, вылезающим из преисподней.

Провела в метро меньше часа, но уже устала – от тряски, мелькания огней за окнами, от вида унылых серых платформ.

Всё, я наверху, на улице, на пересечении Бродвея и Принс стрит. И хотя знаю, куда нужно идти, пару минут стою, приходя в себя. Тело, душу, и что там ещё затапливает восторг. Я не чувствую себя маленькой и потерянной в заводи высоченных домов, крыши которых теряются в утреннем тумане... Меня не раздражают кучи мусора под ногами, как они раздражают в Бруклине... Земля кажется выгнутой и небо лежит прямо на мостовой...

Тут я начинаю улыбаться, как идиотка, и здороваться с немногочисленными прохожими... Если этого не делаю, то здороваются со мной. Все. Как в деревне. Одной рукой тащу тележку за собой, пересекаю Бродвей и углубляюсь в Сохо. Иду по Принс до Вест Бродвей, там моё рабочее место. Принс стрит уже вся уставлена столиками, на которых позже выложат товар – бижутерию, сумочки, шарфы, куколки и всякую прочую хорошенькую дребедень. Кто-то из торговцев спит в машине, кто-то разгружает ящики с товаром, кто-то сидит на ступеньках домов и завтракает – кофе с бутербродами. Проезжая, раздаю улыбки и приветствия направо и налево. Некоторые столики привязаны, на пример велосипедов, цепями к столбам. Замечаю складной стол, спрятанный за почтовым ящиком. Иногда между торговцами происходит перебранка – за место...

Ещё нет девяти утра...

АНГЕЛ

Смотрю на крышу дома напротив. Почему то всё время кажется, что мой Ангел-Хранитель находится именно там. Я его не вижу, но представляю, как сидит он на самом краю крыши, свесив вниз босые ноги, с

удовольствием уписывает бутерброд и запивает его бокалом холодного белого вина. Он роняет вниз крошки. Стайка жирных голубей тут же покидает свой пост у столиков кафе, в котором нет посетителей – время ланча ещё не наступило, а время завтрака прошло, лениво подхватывают пищу, сыпящуюся прямо с неба, и вновь с урчанием, переступая сизыми лапками, топчутся под ногами прохожих...

Ангел с детским любопытством наблюдает с высоты шестого этажа за суетой внизу. Иногда он свешивает вниз курчавую голову и, чтобы не упасть, растопыривает крылья. Крыло упирается в бурую кирпичную стену, и одно маленькое пёрышко, белоснежное и лёгкое, словно парус, плавно спускается прямо мне в руки. Бережно зажимаю пёрышко в руке и колдую, на удачу. Колдовство не помогает. Картины не покупают.

Солнце поднимается всё выше. Кажется, ему тоже любопытно посмотреть, что творится там, внизу. Я сижу в Сохо, на Вест Бродвее, на маленьком брезентовом стульчике возле стола, на котором разложены рисунки. К ножкам стола прислонены холсты.

Я слежу, как по серому асфальту, словно часовая стрелка, медленно передвигается солнечный луч. Температура по Цельсию зашкаливает за тридцать. Стопроцентная влажность. По тротуару течёт нарядная, беспечная толпа. Вот рядом продефилировали стройные женские ножки, всунутые в ковбойские сапоги. Следующие ножки цокают на шпильках, за ними раздаётся лягушачье шлёпанье вьетнамков. Искусством никто сегодня не интересуется. Все норовят найти передышку от страшной жары в кондиционированной прохладе магазинов.

Столик мой расположен напротив и чуть правее входа в магазин модной женской одежды, и невольно я становлюсь свидетельницей скучной жизни продавщиц, которые беззвучно плавают за стеклянной стеной, как экзотические рыбки в аквариуме. Рыбки по очереди выплывают из сумрачного стекляннометаллического царства и курят возле входа, лениво рассматривая толпу. Я рассматриваю их, одетых в причудливые платья с шёлковыми и атласными вставками, рюшками и вышивками – такие платья очень модны в этом сезоне и стоят кучу денег. Несмотря на романтическую одежду, девушки эти – настоящие акулы бизнеса – твёрдыми холодными глазами они зондируют прохожих. В их тщательно продуманных нарядах нет ничего от индивидуальности – это скорее торговая вывеска. Все три продавщицы – настоящие стервы, об этом предупредили коллеги-художники, чтобы невзначай угол моего стола или стул не пересекли нарисованную мелом на асфальте линию, обозначающую частную территорию владелицы магазина. Вызовут полицию без предупреждения. Каждая из них, выходя покурить, не забывает взглядом проследить, не нарушается ли целостность границ. Переодически мы встречаемся глазами, но ни они, ни я не утрачиваем себя такими глупостями, как традиционная вежливая улыбка или пожелание доброго утра. Владельцу магазина восточных ковров художники не мешают, он только попросил меня пересечь на противоположную сторону улицы, когда я, спасаясь от солнца, нашла крохотный оазис тени под крышей его магазина.

В одну из стен аквариума вделан огромный монитор и прямо на меня идут по подиуму нескончаемым потоком красавицы. Идут синхронно, монотонно и мо-

нолитно, чеканя шаг, как армия роботов, с застывшими выражениями на лицах-масках, однообразно взмахивая плетями рук и переплетая рахитичные ноги.

Мне становится страшно, и снова перевожу взгляд на крышу.

Ну, где же ты там? Помоги! Ты же всё можешь! Ну Ангел, миленький! Я же не прошу многого...Сделай так, чтобы прямо сейчас кто-нибудь подошёл и купил холст, или два....Ну хотя бы пару рисунков....

Ангел с сожалением отставляет в сторону пустой бокал, вытирает губы ладонью и укладывается на спину, на аккуратно сложенные крылья, и вперивает взгляд в голубую пустоту.

Я думаю – какой он, Ангел? Похож ли на сладкого рождественского младенца или побитого жизнью мужика в валенках из песен Гарика Сукачёва?

Из-за нестерпимо яркого ореола вокруг него и состояния я не могу рассмотреть его досконально. Так, то крыло свесит неосторожно, то мелькнёт крепкая розовая пятка. Старый он, или молодой, я не знаю. Не знаю также, во что он одет, и одет ли...В греческой ли он лёгкой тунике, в грубом ли домотканном хитоне, а может, он в джинсовых шортах и в белой майке, с пошлым красным сердцем и надписью на груди – «Я люблю Нью-Йорк?».

Ну что ты там делаешь, бессовестный? Насмехаешься над моими жалкими потугами, вначале создать, потом продать собственное творение?

Ну я же художник! И пишу потому, что не могу не писать, и у каждого художника наступает момент, когда ему становится просто необходимо кому-то показать свои вещи...Продать тоже, конечно, хочется...Платить за квартиру нечем, телефон грозят отключить...Ангел, ответь, мало разве я ухаживала за чужими детьми и старухами, мало вымыла чужих домов...Ведь не отступила, не растеряла себя...Невзирая ни на что, пишу и рисую...А идти опять мыть полы или бегать с подносами больше нет сил. Лучше умереть...Так когда же будет награда, хоть маленькая, для радости и поддержки...

Ангел тяжело вздохнул, повернулся набок и смачно, с чувством сплюнул вниз...

РОЗОВЫЙ ЗОНТИК

Очередной рабочий день, то есть суббота. В этом месяце приходится тяжело – чинят мою ветку метро, и никогда не знаю, с какими трудностями приходится добираться в Сохо. Пересадки грозят лишним физическим напряжением – приходится таскать тележку со своими «художествами» вниз и вверх по лестницам. Сегодня вышла на Канал стрит, то есть на одну остановку раньше. Канал стрит не люблю – это самая шумная и многолюдная улица Нью-Йорка, сердце Чайна Тауна, то есть Китай-города. Обычно стараюсь как можно быстрее проскочить её заводи и течения, не соблазняясь ни криками зазывал, ни яркой мишурой навязчиво лезущего в глаза товара. На Канал стрит приходится ездить – здесь расположен самый большой магазин художественных принадлежностей – Пёрл Пэйнт, пятиэтажное красное здание с белыми окнами, в котором я однажды оставила свою первую зарплату – все двести долларов....

Выход из подземелья на Канал стрит гораздо более мучителен, чем на Принс, здесь на пятнадцать ступенек больше...Когда моя согбенная спина и потная макушка просматриваются с поверхности, то на помощь устремляется какой-то сердобольный африканец, оставив на тротуаре свою тележку, нагруженную ящиками с неиндефицированным товаром. Под весёлое улюлюканье мексиканцев и арабов, которые открывают лавочки, устанавливают фургончики для продажи люкебаба и хот-догов, вытаскиваем моё добро. Благодаря, улыбаюсь и грохочу дальше... Чтобы дойти до своего рабочего места, нужно пересечь всё Сохо. Углубляясь в ущелье всегда сумрачной Мерсер стрит, с разломанной, уложенной камнем мостовой...Мой путь сопровождается буханьем и стуком колёс о многочисленные выбоины...

Здесь я, как ворона, начинаю крутить головой во все стороны. Специально перехожу на левую сторону улицы, чтобы заглянуть в ещё закрытые решётками окна галереи Грант... Там выставляют русских художников, но меня туда не берут...Не подхожу... Ревниво исследую вывешенные в окно картины...Ничего особенного...

Как коршун выискивает жертву, я орлиным взором осматриваю окрестности, выискивая пищу для глаза. Зачем мне это нужно – не знаю... Я только радуюсь, как ребёнок, нашедший осколок бутылочного стекла – толстый, с обкатанными песком и временем боками, изумрудно зелёного, кирпичного или голубого цвета....Так и я – ишу типажи, которые трудно выдумать...Может быть, все эти странные личности, встреченные на улицах Нью-Йорка, когда-нибудь станут персонажами моих будущих рассказов... А пока я их коллекционирую – в собственной памяти, ключик от которой прячу среди этих торопливых строк.... Загадочный мегаполис дразнит, выпуская на сцену жизни, как из волшебного ларчика, свои богатства понемногу...

Так опытный фокусник приберегает на потом самый эффектный номер. Живые люди, судьбы которых я пытаюсь угадать, из трёхмерных, реальных, существующих по одним им ведомым законам и выписывающих замысловатые траектории по тротуарам города, благодаря моей фантазии превращаются в плоские вырезанные фигурки, плотно, одна к одной, укладываемые в многочисленные папки моей памяти....Частенько они там и остаются – забытые фантомы, оригиналы которых и не догадываются, что поразили чьё-то воображение и, возможно, дадут жизнь своим двойникам, которые уже будут подчиняться воле автора и обретут жизнь на, возможно, никем не прочитанных страницах....Но случайная вспышка ассоциации либо узнавания даёт мощный всплеск, и из открывшихся шлюзов памяти хлещет лавина образов и колоритных деталей...

Вот и сегодня...Угнездившись на законном месте на Вест Бродвее, (сосед-китаец приезжает сюда в пять утра и, заняв места для себя и меня, обморочно спит в машине), «мечу» территорию, отодвинув его столик и поставив свой, и затем совершаю утренний обязательный обход своих владений. Необходимо проверить – всё ли в порядке, всё ли течёт по негласно установленным правилам и законам. И ещё тешит надежда – вдруг появилось что-нибудь новенькое или кто-нибудь колоритный порадует мой жадный до впечатлений глаз художника?



Ольга Костенко (Шимонович). Иллюстрация к книге И. Волосяка «Донецкие строфы»

Ещё по дороге к месту дислокации обнаружила, что чуть подальше галереи Грант появился новый жилец. Бледнокожий, с пышной шапкой оранжево-рыжих волос, раздетый по пояс, он сосредоточенно читал утреннюю газету за стенами своего дома, сооружённого из картонных коробок. Аккуратно на железном пандусе он возвёл картонные стены, и как птица в гнезде, восседал в центре жилища, невозмутимостью и абсолютной отрешённостью от внешних шумов отвоёвывавшая право на «прайвеси» и неприкосновенность... Я со страшным грохотом бухала тележкой по плитам мостовой и вспоминала – есть ли у меня мелкие деньги? Хотела дать ему пару долларов на кофе....Но он даже не повернул головы, и был похож на менеджера, заключённого в стеклянный офис и решающего важные проблемы....Я струсила, не решилась его побеспокоить, но скошенным правым глазом успела * сфотографировать * и ещё чистую белую кожу его спины, и загорелые кисти рук, и аккуратно сложенное одеяло, и стопки книг и газет, и тощий рюкзак, и прислонённые к стене холсты...

Рыжесть бездомного и его угрюмая, отчаянная сосредоточенность вызвали ассоциацию с Ван Гогом, переселившимся в наше время и странствующим по Земле Обетованной...Возможно, скоро мы станем находить на улицах холсты с нарисованными на нём стадами ворон и жёлто-фиолетовыми портретами уличных торговцев?

Оставив коробку с рисунками и пакет с холстами прямо на тротуаре, у разложенного стола, неспешно отправляюсь в Юнион сквер. Пересекаю Хаустон. Столики углового кафе все заняты. Пахнет тостами, яичницей и кофе. У низенькой ограды привязана огромная собака. Возле её морды стоит миска с водой. Зверюга шумно втягивает носом вкусные запахи и стучит по земле хвостом. На боковой Беккер стрит разгружают фургоны и устанавливают полотняные навесы – здесь будет субботняя ярмарка. Не спеша прохожу пару-тройку кварталов по Беккер... Шарю глазами по стойкам с одеждой, сумочками, шарфиками, бижутерией... Ранним посетителям улыбаются и предлагают – записаться в круиз, оформить медицинскую страховку, сделать массаж, попробовать сногшибательный шашлык...

Продираюсь сквозь липкую навязчивость торговцев и ныряю в тихий переулок. Чудеса! Нет ни одной припаркованной машины, нет мусорных куч...Внезапная тишина и сумрак словно бросили меня на дно колодца. Только где-то вверху чирикают воробьи. С недоверием оглядываюсь...С двух сторон на меня строго и спокойно с красных кирпичных стен смотрят окна в белых наличниках. Вокруг – ни души....Подбираю с тротуара книжку в яркой обложке, с цветными иллюстрациями, 1959 года выпуска. Название книжки – Рыцари. Зажимаю рыцарей подмышкой и, выйдя за угол дома, опять окунаюсь в лавину света, звуков и запахов.

В сквере всё как обычно. Кузнечиками снуют по дорожкам игрушечные зелёные автомобильчики, управляемые работниками парка. На скамейках лежат туловища, по самую макушку укрытые рваными тряпками. Из-под одного такого импровизированного одеяла выглядывает женская аккуратная ножка, у скамейки стоит пара ещё нестоптанных приличных туфель...

Уборщица туалета, невысокая пухленькая чернокожая девушка, как обычно, сидит у входа на складном

стуле. Лицо её выражает смертельную скуку, а глаза подёрнуты мутной, как у мёртвой курицы, плёнкой...Бросив привычное и безответное «Хай», осторожно вхожу в полутёмное помещение с лужами воды на полу...

Следующее по расписанию – проверка собачьей площадки...Минут десять наблюдаю, как за вольером протекает радостная собачья жизнь – игры с мячиком, обнюхивание особей противоположного пола...Две такие особи соединились, пока их хозяева отвлеклись на беседу, и самозабвенно предаются любви... Одна собачка никак не может поймать бросаемый хозяйкой мячик, и раздражённо тявкает – «Растяпа! Не можешь бросить правильно!»

У фонтана раскладывают инструменты музыканты. Ещё нет десяти часов, а уже жарко, обещают сто градусов по Фаренгейту... На бордюре брошены вещи музыкантов – рюкзаки, стоптанные кроссовки...Пару минут, сидя на лавке, обзираю окрестности, пытаюсь запомнить композицию и как распределяются свет и тень...Иногда подношу к глазу кружок, сложенный из большого и указательного пальца – своеобразная рамка, выхватывающая кусочек пейзажа...Прохожие смотрят с изумлением...Рядом присаживается гей, с подведёнными глазами и розовым ртом. Поднимаюсь и обхожу сквер по кругу.

Где же красавицы? В прошлый выходной я обнаружила, что в дальнем углу парка, где * прописались * шахматисты, живут две дамы. Увидев их впервые, я испугалась. Дамы постбальзаковского возраста, похожие на оживших кокоток с плакатов Тулуз-Лотрека, одетые в длинные платья, закутанные в прозрачные шали, с бантами в волосах двигались по направлению к туалету. Шикарные издали, вблизи они оказались отвратительными, тронутыми тленом и пороком. Роскошные вечерние платья оказались потёртыми велюровыми тряпками, напудренные лица – старыми, коралловые губы открывали провалы чёрных беззубых ртов. Из щедрых декольте их платьев выглядывали грязные лифчики, из под изящно причёсанных париков выбивались седые пряди...

Сегодня дам не было. В ажурную железную решётку над столом, за которым расположилась компания чёрных парней, был воткнут розовый с оборочками зонтик, на серой выщербленной скамейке лежала крошечная дамская сумочка, поблескивая защёлкой замка... На выходе из парка оглядываюсь и мне кажется, что вижу я картину импрессионистов – тени под деревьями сгущены до чернильной вязкости, резко освещённые поляны превращены в сценические площадки, на которых застыли в мареве дрожащего воздуха невятно прописанные фигуры прохожих, фиолетово-серые тротуары усеяны розовыми пятнами света, и словно в поддержку им на переднем плане выписан нежный розовый зонтик...

Всё, хватит шляться! Пора на работу! Раскладываю на столе рисунки, к ограде дерева привязываю холсты, усаживаюсь с книгой под пойманный зыбкий клочок тени...Долгий-долгий летний день плывёт мимо и рядом, стоит только протянуть руку, но я застряла в бесплодных размышлениях, пытаюсь представить, как живётся им, безымянным персонажам Нью-Йорка – в картонной коробке и на скамейке в углу сквера...

Август, 2006

Про тех, кто ушел, либо хорошо, либо ничего. Но для меня он все еще жив, особенно здесь. Не знаю почему. Вчера, когда проснулся в полном мраке, и долго пытаюсь определить, кто и где я – в смысле в каком из временных разрезов моей тридцатилетней жизни я проснулся, – мне почудилось, будто он тут, совсем рядом. Я проснулся в ожидании его голоса; в ожидании того, что услышу возню в соседней комнате, ритмично взвизгивающие пружины, сопение, шлепки. Я проснулся снова в том времени, когда он был жив, и когда он был хозяином моей жизни. Именно вчера, посреди ночи, в которой вдруг погас весь свет, я понял, что он никуда не ушел, что бы там мне ни писал дядя, несмотря ни на что он все еще здесь. Он все еще может ворваться в мою комнатку, он все еще может сорвать с меня одеяло, и закричать: «подъем, Родина-мать зовет!» Где-то глубоко внутри я все еще ребенок. С полным ужаса сердцем, дую на страх мой, как на корочку ранки, как на полную кружку, пытаюсь его остудить, этот ужасом стягивающий сердце черствый обморок человеческого достоинства. Я все еще пытаюсь вывернуться из собственной шкуры, чтобы оставить его в дураках. Все еще пытаюсь изловчиться и уйти от него. Бродя из комнаты в комнату с библиотечной лесенкой в поисках, где бы вывернуть лампочку, придумываю себе способ избавиться от него, выскользнуть в другую жизнь, в которой его нет и никогда не было.

Сколько бы мне ни говорили, что он кремирован, – он, кажется, всегда будет присутствовать в моей жизни.

Я смотрел на его фотографию: маленький, худенький, лопоухий мальчуган, бобриком волосы, но потом они стали отрастать и завиваться, и уши прижимались, глаза вытягивались, становились звериными, в них появлялся блеск, и чем больше он соприкасался с жизнью, тем меньше он напоминал того мальчугана на фотографии. Он отчего-то не любил эту фотографию. Бабушка держала ее в шкафу вместе с другой большой старой фотографией: белый офицер с крестом на груди. Я так и не знаю, кто это был.

В пятилетнем возрасте он прожил семь месяцев на барже, неделями не ступая на берег; баржа ходила вверх и вниз по Волге; он жил с одноруким капитаном Матвеем Борисовичем.

Отец вернулся из армии, они с дедом выпили, отец припомнил все, что было и чего не было, – ну и кончилось все мордобитием. Дед спасался на карачках, полз вон из дома в конуру собачью, а отец бежал за ним на кривых пьяных заплетающихся ногах и наносил как мог удары.

На Волге отец ел малину с кустов, растущих на берегу, он ел ее не сходя на берег, он подплывал на лодке и рвал крупную спелую ягоду чуть ли не горстями...

В детстве он лазил по болотам, иногда проваливался по грудь, несколько раз болел воспалением легких. Бабка его была за сырую обувь, и он уходил из дому на недели, жил в катакомбах, с другом и псом. Друг у него тоже хорош был. Он стал потом бандитом. Моему папашке чуток не хватило, чтоб стать бандитом тоже. В катакомбах они находили склады немецкого

оружия. Я видел фотографии: они с факелами, у отца пулемет наперевес, у его приятеля – шмайссер.

Он часто дрался, начиная с самого детства, – его били какие-то кретины, и он им сказал, что перестреляет их всех. Они не поверили, и он у него есть оружие; тогда он сказал, что на закате, у тех бочек даст три пулеметные очереди. «Это буду я, – сказал он, – и если еще раз тронете, положу вас всех!» – Дал в положенный час три очереди – и бить перестали – обходили стороной, потому что никто не отважился лазить по болотам.

Тогда они были не такие, как теперь, – тогда были болота непроходимые, страшные. Тропинки знал только он один, он неделями жил на болотах, он и его пес, а потом и друга нашел, такого же оторванного. В болотах было много мин, иногда находили авиационные бомбы, – сколько народу на них подорвалось, подумать страшно. Бабка его была, дед его лупил почему зря. Ему надоело терпеть: он пришел с автоматом и стал стрелять по окнам, палил и хохотал как сумасшедший; приехали менты, отобрали оружие – он сам отдал, сказал: «берите – не жалко, у нас этого добра много!» Его допрашивали, где он взял, а он сказал, чтоб они сами шли на болота и поползали на брюхе да поискали – У него были неприятности с одной собакой, которая не давала ему срезать дворами, и он – «из-за нее» – опаздывал в школу, за что его бабка лупила. Тогда он – застрелил собаку. У него были неприятности с эстонцами, они за ним гонялись с криками «вене руссь – капса усьс»¹. Он кинул в них гранату, которая не разорвалась, а просто долго шипела и искрила, а они все лежали и тряслись наложив в штаны. Он стал заниматься боксом. Его учили какие-то сибиряки; он так отчаянно занимался, что быстро стал чемпионом города, больше никто его не трогал.

Он бы, наверное, так и рос диким, дьяволенком, если б не дядя Родион, который стал прививать ему культуру. Своих детей у него не было, вот он и взялся за отца. Они стали вместе собирать приемники, давить чеканки, вырезать из дерева. У отца на стене висели: ружья, собранные им самим, надраенные намасленные стволы, натертые и собственноручно вылитые курки с изящными бойками, он вырезал такие красивые приклады, что дух захватывало, так они переливались лаком, а кто брал и прикладывал к плечу, тут же хотел идти на охоту, даже если ненавидел убийство животных и птиц. У него были чеканки. Щит с тигриной мордой в натуральную величину, – он сам сделал. Но когда он принес на ментовскую выставку свою работу – уже много лет позже – никто из его сослуживцев не поверил, что он сам ее выдал (как ему горько было тогда). Большая картина Александра Невского (ее он уже никому не показывал, потому что в то, что он ее вырезал сам, ему самому с трудом верилось). Молящиеся коленопреклоненные бояре перед боем на Куликовом поле (трудно поверить, что этакое и – рукотворное). Ружья висели, под ними крест на крест шашка со шпагой, два кортика, один – немецкий с рифленой ручкой и кровостоком, другой – советского морского офицера, подарок дяди Родиона, его кортик (по преданию он им пустил кишки одному гаду, но деталей рассказано не было).

Чеканки пахли как-то особенно; еще у него был ка-

¹ русский – капустный червяк (эст.).

кой-то зеленый камень, которым он натирал медь до блеска, он тоже пах как-то особенно; у него были плоские, мозолистые руки, все в заусеницах, он мне показывал ладонь и говорил, что ладонь настоящего мужчины должна быть сухая и плоская, стертая, изборожденная рабочими морщинами и мозолями, как пустыня или поле, которое много раз пахали; он был загорелым до черноты, волосы были до смолы черные и вились мелким бесом, он часто пах потом и бензином, еще от него всегда пахло табаком, алкоголем и луком, но единственный запах, который для меня всегда восхрашает его пуще прочих, — это запах канифоли.

Я помню, мне было совсем мало тогда, отца бесили вороны. У нас на березах осенью, когда листья не было, заседали стаи ворон. Глянешь на березу, и кажется, что вся черная, вся облеплена вороньем, и грай, бывало, стоял жутчайший по утрам, аж спать невозможно. Как начнут каркать, хоть вешайся! Тогда отец брал ружье, открывал форточку и палил в березу по ним из обоих стволов и кричал, хохотал, бил себя в грудь, а воронье разлеталось с воплями, затмевая небо, и казалось, что в небе летает не стая птиц, а невообразимое количество жуткого, крупного, черного пепла. Но потом мы переехали.

Переехали мы в Таллинн. Отец начал быстро спиваться, превращаясь в психопата. Мы жили в районе, где он был участковым. Это было страшно. Отец мне постоянно твердил, чтобы я смотрел в оба, запоминал странных личностей. Приносил фотографии тех, что были в розыске, заставлял запоминать.

Наша квартира была до жути мрачная, в ней раньше жила старуха, у которой никого не было, и когда она умерла, она очень долго лежала в квартире мертвой, поэтому там все провоняло трупом. Мы очень долго жили с этим запахом, ощущением ее присутствия в доме, и до конца не смогли устранить многие вещи, которые напоминали о той старухе. Например, маленький шкафчик в моей комнате с ручками-львами на дверцах, крючки для ключей и одежды, печь, дверные ручки, розочки на потолке, кран и умывальник. Как-то мы сдирали с мамы обои, которые они с отцом поклеили, когда въезжали, и под их обоями мы нашли старые обои за бог весть какой год. Они так въелись в стену, и доски под ними так прогнили, а под доской так много уже осыпалось известки, что нам пришлось вызывать мастера, который установил, что надо сносить стену. Пришли мужики, осторожно вынули часть стены, вставили кусок арматуры, проложили утеплитель, помазали, покрасили и ушли, унеся с собой кусок старой стены. Напоследок они сказали, что все равно весь дом прогнил, тут все надо ремонтировать. Слышимость была такая, что мне казалось, будто я сплю головой на улицу, я мог слышать, что говорят прохожие, а когда на крыше начинали возиться голуби, было просто невозможно спать. Вообще, жизнь там была невыносимой...

Наша улица начиналась в парке у верфи. Верфь еще при Петре строили, да так и не достроили. Парк был когда-то кладбищем, но от него оставались тогда только редкие ржавые кресты да плиты с немецкими именами. Еще была разбитая часовня, в которой нашли труп мужчины в темно-синем костюме. Сама улица начиналась кучей щебня, наваленной у стены судоремонтного завода. По той куче щебня мы забирались на стену, и, продравшись сквозь колючую про-

волоку, попадали на территорию завода, а по ней шли в гавань купаться или ловить рыбу. Улица выползала асфальтовой дорожкой из-под стоптанных ботинок и рваных сандалий алкашей, что толклись возле пивного ларька. Ларек был знаменит тем, что работал исправно с завидным постоянством, даже по субботам и воскресеньям, а также в праздники. Там всегда была либо толкучка, либо хвостик. Подвозили в цистернах. Мы с ребятами забирались на кучу щебня и смотрели оттуда, как в цистерны подливают воду, по несколько ведер воды. Оттуда выскальзывала улица и взбиралась круто вверх, латанная-перелатанная. Еле тянулась покосившимися заборами, обнажая изнанку дворов, показывая прохожим скелеты своих полу рухнувших сараев, что оперлись на загибающиеся, извивающиеся глισταми яблони да вишни. Кое-как, точно пьяная, улица вилась рыхлыми домишками, уронившими с балконами да карнизами всякое достоинство, утратившими вместе с водосточными трубами да дверными ручками право называться зданиями. Так же, как и их обитатели, которых трудно было назвать людьми. Улица вставала слепой фабрикой с побитыми фонарями да задраенными насмерть решеткой окнами возле опасного и вечно живого перекрестка. Стояла так в раздумье, а потом двигалась дальше, ровней, вольней, шире расправив плечи, выкатив грудь и делая глубокий вдох возле Дома Культуры. Шла дальше шеренгой кленов, шумно пробегала школой, и — смешно сказать — заканчивалась отстойником пивного погребка, обрastaвшего по вечерам теми же рожами, из-под чьих ног она выскальзывала утром. Все любители разливухи, что давали в парке, все, похмелявшиеся этой мыльной дрянью бедолаги, то и делали, что двигались по нашей улице вверх да вниз, от киоска к погребку, с канистрами да банками, а потом обратно, как некие кровавые тельца.

Это движение впоследствии затянуло всех моих знакомых; всем нам нет-нет да пришлось хлебнуть горькой разливухи. Тот не был подлинным жителем улицы Калева, кто не испил ее отравы.

Район Каламая, что в переводе «рыбный дом», место странное. На каждом шагу можно было встретить нечто необыкновенно уродливое. Я быстро свыкся с причудливыми аномалиями нашего района. Те ненормальности, которые я наблюдал в каждом доме и на каждом углу, были делом привычным и даже рутинным для жителей нашей улицы и примыкающих к ней, тоже. Можно сказать, что это было бытом, что без этого уродливого изъяна, мы бы не могли жить. Было бы, например, трудно себе вообразить нашу улицу без горбатого старика, который целыми днями выгуливал свою одряхлевшую овчарку. Он был так стар, так клекотал кашлем, у него были огромные очки, и собака у него тоже была такая древняя, что частенько в семьях обсуждалось, кто сдохнет первым — овчарка или старик. Мой отец, как кинолог, утверждал, что собака. Он даже знал от каких болезней и когда она сдохнет. Все прочие склонялись к мысли, что старик должен сдохнуть первым. Однако, так никто и не узнал, кто сдох первым, потому что те исчезли одновременно. И это не сразу заметили. Об этом даже не говорили. Просто однажды я сказал: «а вы заметили, что старик перестал выгуливать собаку?» — «Да, — ответили мне обычным тоном, — давно уже не видно...»

И весь ответ.

Столь же невероятно было бы вообразить нашу улицу без инвалидной миниатюрной машины, на которой в Дом Культуры приезжал карлик. Карлик был волосат, горбат, большоголов, он носил огромные сильные и ко всему прочему слегка затемненные очки, у него была борода, и ходил он на костыликах. Два раза в день он приезжал в Дом Культуры, ставил машину почему-то сбоку, у здания, напротив ресторана *Леело*, откуда в любой момент мог вывалиться пьяный скандалист и расхохотаться над инвалидкой. И шел после этой спокойной парковки карлик, с большим трудом переставляя ножки в смешных детских ботиночках, в направлении главного входа. По большим ступеням он взбирался напрягая руки и плечи, которые казались огромными и неимоверно сильными. На его лице при этом устанавливалась такая гримаса, которую я в последствии видел на кладбище у мужиков, которые опускали в могилу гроб. Мы с ребятами частенько просиживали на ступенях ДК, и наблюдали за ним. Я всегда полагал, что нас он презирал. Ни с кем он никогда не говорил. Кем работал, было неизвестно. Кто-то позже мне сказал, что он был художником, что он нарисовал тех знаменитых нахсетраллей: Муфту, Полботинку и Моховую Бороду. Но это было не похоже на правду. Скорей всего, он был музыкантом, и дул он в какой-нибудь инструмент, или стучал в огромный, больше него самого барабан.

Наши окна выходили на Дом Культуры. Серое, строгое здание, задуманное в дождь, – типичный выкидыш советского периода. Тут, в лоскутках запущенных газонов, оно встало, как во льдах замерший ледокол. Казалось оно явлением иноземным, и совершенно не вязалось с окружающей дряхлостью некогда буржуазной Эстонии, которая тут, как нигде, явственно ощущалась. Ее нельзя было забить ничем, ни кумачом, ни лозунгом. Стройность и геометрическая правильность, пропорции и строгость мрамора, все это вообще не вязалось с тем безобразием, которое творилось в каждой семье. В нашей, в его, Артурки, Курицы, Урмаса и других. Все мы просиживали на ступенях Дома Культуры, не зная, чем заняться. Набивали мяч тысячами. Громили на пыльном школьном поле все дворы с трехзначным счетом. Лазали по садам да подвалам. Воевали с эстонцами. Потом мирились, чтобы опять надрать их на поле. Делали все, что угодно, лишь бы не идти домой. У всех у нас дома творилось нечто невообразимое да и сами дома (еще буржуазного периода) были какие-то очень необычные.

В каждой семье был содом переходящий в бедлам, или бедлам перераставший в погром, и так до бесконечности... Раньше, за всем этим процессом был приставлен следить мой отец. Он был участковым милиции нашего района и именно он осуществлял оздоровительную программу общества, – он так усердствовал, что выпивал, пожалуй, больше самих самогонщиков, и стремительно спивался. Ему помогали. Наливали в каждом подъезде, где гнался самогон; стало так нестерпимо, что мать попыталась с ним развестись, – в те сумасшедшие дни...

У нас за стенкой был сумасшедший сосед. Он пил сильнее папашки, и так орал, что дом сотрясался. Он однажды напился до белой горячки и изрубил мебель, все изрубил, – семье повезло – дома не было, – он бы и их изрубил (он сам признавался: «исрупил пы, тошно как пить дать исрупил пы, в дроффа, дощерей и

шену, сссапросто, такой пьяный курат пыл, что караул курат!»). Его держали в психушке целый год, но это не помогло. Он снова напился, вылил на себя масло из трехлитровой банки и голышом пустился бегать по улицам. Сам отец его бегал, ловил, а тот выскальзывал и с хохотом вприпрыжку бежал дальше. Все вышли посмотреть.

Опять он вернулся из дурки, спокойный, с философской улыбкой на устах, с медлительностью высокопарного жеста, какими-то аристократическими фразами избыточной вежливости на устах. Говорил о Боге, крестился, поворачиваясь в направлении Старого города, вздыхал, и каждый день ходил на кладбище – рыл могилы, правил решетки, поливал цветы. Отец часто с ним во дворе курил. Оба стояли с опустошенными мусорными ведрами, выкатив животы, давно не закладывавшие за воротник, измученные воздержанием, курили и жаловались друг другу на здоровье, делились впечатлениями, говорили, кто какие таблетки пьет, и какой побочный эффект таблетки оказывают, – и со вздохом отец говорил: «ох печеночка»; или – «ох бедный селезень»; или – «эх почки-старушки, а?» – «Ях, не ко-фо-ри, ку-урат», – поддерживал его сосед.

Но потом отец сорвался и снова запил, как только полегчало, как только он забыл о страшном кризисе, как только отпустило, так сразу и запил, и пуще прежнего запил!

Наконец, мать дошла до крайности и решила спровоцировать развод. В очередной раз, когда отец пришел с работы в стельку пьяный, она увидела, что он пришел с пистолетом; она побежала в участок, где он работал (участок находился в двух поворотах направо и одним повороте налево), она написала на него докладную, в которой писала, что он пришел с оружием и пьяный! Ему на работе дали почитать то, что мать накатала, сказали, что он может порвать эту писульку, но на вступление в партию – тряс пальцем майор – об этом можешь и думать забыть, понял!

Ох как тут мой отец взъелся на мать, как он стал ее бить, как стал поносить по любому ничтожному поводу, как взрывался, и пил, пил без удержу. «Все Охотское море выпил», – говорила бабка.

Мать тряслась, когда забирала меня из садика, тряслась, когда ехали с работы, тряслась, когда подходили к дому. Если окно было распахнуто и слышалась музыка, она просто садилась на скамейку у Дома Культуры и начинала плакать. Она не могла идти, она плакала, а вокруг гуляли люди, дети, которых я знал, они могли смотреть на нас, дети и их родители не подозревали о том кошмаре, который нас ожидал. Из окна оглушительно могла реветь музыка. Из окна нам навстречу могли вылетать пугачевские «миллионы – миллионы – миллионы алых роз» и ужасом сковывать наше сердце; эти розы могли стелиться нам под ноги, на ступеньки в подъезде, и каждая ступенька как нож гильотины, каждый куплет как кошмар. Мне воображались эти алые розы, они были как галлюцинация, которая повисала перед глазами в воздухе вместе с сигаретным дымом.

Ох, эти алые розы, эти алые розы, – и вой моего пьяного свирепого папашки, – вот оно, вот где кошмар начинался. Вот он подлинный базар моей жизни.

Если возвращался он поздно, то надвигающийся кошмар мать начинала предчувствовать своими печенками, с каждым часом, если его не было, с каждым

из моря, то подглядывая какие взрослые фильмы мои родители смотрят по финскому каналу.

Но вытяжное устройство, – это было самое страшное посвящение. Там-то мне и открылась история развода, табурета, побоев и всего остального. Но все равно, это событие, со всеми эксцессами, ничто не изменило, скорей, усугубило наши враждебные отношения, но мы жили вместе, и еще хуже, чем прежде. Он пил больше, ругался сильнее, и так мы прожили еще дюжину кошмарных лет, которые были украшены миллионами, миллиардами алых роз. Это были годы, сквозь которые, как сквозь тайгу, брели олени, были и яблочки на снегу, и здесь вам не равнина, здесь климат иной, и лавина шла одна за одной, и в итоге и Высоцкого, и Розенбаума, всю музыку отца я просто ненавижу. И его самого, как я его ненавидел!

Все в нем мне было противно, все! – Каждое движение: решительное, рубящее, точное; каждое слово, в котором слышалась сталь раз и навсегда отрезающих ножниц; его голос, в котором слушался клекот вулкана и всех собак, которых он отдубасил или забил; его дыхание: глубокое и дремучее; его запах – чужой, заведный, – тело его впитало в себя запахи всех болот, что он прополз на своем брюхе.

Отец просто стремительно опускался, он в первую очередь ничего не замечал вокруг, он даже, наверное, не замечал, что я повзрослел. Он так пил, что ему ничего не видел вообще! Его пытались остановить, ему пытались помочь, или делали вид, что пытались. К нам приходил майор, который как бы взял на себя некое шефство над моим папашкой. Он приходил, пил чай на кухне, говорил с ним на отвлеченные темы. Мать к его приходу наряжалась как полагается, они говорили о рыбалке, о том, что отец взял нас на Чудское на две недели, там он практически ни в одном глазу, спорт, они говорили о том, что он занял там какое-то место по самбо и боксу, неплохо пробежал кросс, поучаствовал в футбольной команде. Отец показывал рубцы на голени, говорил, что вон у нас футболист растет и кивал в мою сторону. Майор бросал взгляды в мою сторону, улыбался, потом сидел на моей кушетке, спрашивал, как у меня дела в школе, мама показывала ему мой дневник, говорила: а вот тут вот пошли тройки... вот десятого по русскому... вот тринадцатого по математике... в эти дни... двоек пока нет, но вот троек до этого не было...

Потом к нам стали ходить какие-то бабки. Я что-то слышал, что они были там матерями каких-то служивших, каких-то начальников, была одна бабка, мать какого-то полковника, она все травмами пыталась отца лечить. Они просиживали в комнате отца у телевизора, говорили о политической обстановке в мире, о том, что ситуация такая нестабильная, что надо быть на чеку и нельзя себе позволить расхлябанность, с чем отец целиком и полностью соглашался, – при этом они мельчили буханку хлеба в ведро, с которым они по завершении сеанса выходила на улицу и кормили голубей на площадке перед Домом Культуры.

Иногда по одной приходили и долго вправляли мозги отцу. Запомнилась одна в толстенных очках, очень пластилиновая бабка. вся такая тряпичная, кукольная до невозможности.

Она долго настойчиво твердила, что ему непременно нужно сделать душ в нашей квартире, повесить газовую колонку, чтобы он мог принимать душ, и все

мы тоже, потому что душ снимает нервное напряжение.

А он: «мы в баню по субботам ходим».

Она ему: «баня тоже хорошее дело, но душ каждый день просто необходим».

И мать моя: «да, точно, под душем поры кожные открываются и тело дышит».

Он: «ну ты... поры... скажешь...»

Бабка: «а Люба, между прочем, права, так оно и есть...»

Травы, которые она носила, мыть прятала, потому что отец их выбрасывал. Бабка часто рассказывала одни и те же истории, про то, как она училась в институте здравоохранения, на каком-то факультете фармакологии и трав. Травы потом закрыли, но она все еще сохранила все свои записи, – приносила и показывала нам. Однажды, она принесла и оставила их матери, та их спрятала, по вечерам, тихим вечерам, мать доставала конспекты старухи и читала их, как некоторые в те годы читали Библию или перепечатанного на машинке Солженицына.

Эта бабка проходила к нам дольше прочих, видимо, травы ей и правда здорово помогли сохраниться. Когда я подросток, она мне давала всякие интимные советы, во-первых, надо одно место всегда мыть и держать в чистоте, потому как там микробы очень быстро плодятся, там очень такая среда, способствующая гниению...и еще один из таких советов она сформулировала так: если появится такое желание необычное, побыть с женщиной, или там, в голове фантазии вдруг начнут появляться, чтобы избавиться от этого, нужно встать в тазик с холодной водой, взять влажное льняное полотенце и обтираться им до красна, тогда все сразу пройдет... Но я не хотел, чтоб это проходило, я не желал избавляться от этих фантазий. Поэтому ни разу в жизни не последовал ее совету.

Впрочем, как и мой отец, он тоже слушал ее, слушал, и все равно закладывал. Пьяный он часто говорил, что эти старухи, которые приходят к нам, и толкуют про политику да здоровье, все они стукачки, проклятые сучки, приставлены к нему следить и пить его кровь. Чем больше он пил, тем меньше они ходили, и, наконец, перестали доставать нас совсем. А он, сбросив с себя бремя этих ведьм, запил так, что уже ничто не могло его остановить.

Отец часто мог притащиться с собутыльниками, этим финном Монданином и его братцем. Они садились на кухне и слушали *Таганку* или *На Большом Каретном*, пили какой-нибудь самогон. Дым стоял столбом, они перекрикивали друг друга, о чем-нибудь спорили, о каких-нибудь резистерах-транзистерах, вспоминали какие-нибудь ламповые телевизоры, восхищались светодиодами или говорили о машинах. Все это обычно кончалось тем, что все отрубались, все, кроме моего отца. Самый алкогольно-устойчивый, он сидел до последнего, скрипел зубами и водил медведя: «...я тебе чо гоорю бя... я те чо сказал бя... я гоорю те на ...» и так далее, бред, просто бред. Потом он отрубался тоже, у него уже не было сил, чтобы крушить все вокруг и кричать и доказывать всему миру, что «у него есть кураж»...

О смерти отца я узнал из письма дяди, когда жил в Хускего, хиппанской деревне. Принесла его Дангуоле, принесла и убежала куда-то, кажется, проверить электронную почту. Я вскрыл письмо, ожидая просто ка-

кой-нибудь очередной бред, упреки, напоминание о том, что надо бы письмо маме написать, и так далее, — я жалел, что дал ему мой адрес, я не хотел от него получать писем вообще. Хотя надо ему отдать должное — он не был столь навязчив и писал весьма редко. И письма его не были длинными. Свой телефон я кому-то продал, потому что не хотел с ним разговаривать. Ни с кем вообще не хотел говорить.

Я вскрыл письмо. Дядя всегда писал короткие письма, он всегда выражался предельно сжатыми, упрощенными до чеховской краткости предложениями. Но это было самое короткое его письмо; это вообще, наверное, самое короткое письмо, которое я когда-либо получал.

Он написал, что «такой-то, мол, такой-то» — писать мне, что мой отец и так далее, он не мог, в виду полной конспирации, которую сам соблюдал и мне навязывал как умел, — вся эта игра в резидентов была самая настоящая болезнь, то есть — паранойя — поэтому он написал: «такой-то умер, смерть наступила от сердечной недостаточности на фоне сильного алкогольного отравления, кремирован такого-то», — все!

Письмо меня взбесило. Ком, переходящий в лавину. Мне не было грустно, что отец умер, мне было как-то не по себе. Меня что-то начало душить изнутри. Гнев, который вскипал в крови. Вот эта лаконичность дяди добавила какой-то досады за отца, непонятные мысли стали приходить мне в голову. Все это клубилось, как копать.

Скрутил самокрутку, сел перед печкой, и куря в печь, как он когда-то, и глядя на то, как сгорает меня компрометировавшее письмо, которое не должна была прочесть даже Дангуоле, для которой мой отец умер давно, впрочем, как и брат, которого у меня не было, и которого я себе придумал, придумал ему и героическую смерть в Афганистане, зачем-то... и стал думать.

Неужели мой отец ничего большего не заслуживал?.. ничего больше этой лаконичности?.. Вот если б моему сыну так сообщили о моей смерти... Да и не имел он права так о нем, о его смерти писать; кто он такой, дядя мой, самый маленький человек в Дании, Мимеринг чертов! Сколько бы плох ни был мой отец, сколько бы лучше его ни был дядя, — не имел он права о его смерти так вот сообщать! Тем более мне, сыну его!

Сравнивая их, я не мог поставить их рядом; не мог обоих удерживать в моем воображении одновременно, — они не помещались вместе. Дяде, насколько бы мал и тонок, изящен и элегантен ни был, несмотря на всю его аккуратность и миниатюрность, рядом с моим отцом места, увы, не хватало!

Пусть отец бил нас с матерью, пусть был жесток, пусть был псих, но кто такой этот дядя, чтоб так вот писать, он-то чем лучше?.. Да сколько бы лучше ни был! Мой отец не трясся в кэмпе восемь лет, сочиняя лживые истории, прогнивая заживо и насквозь; мой отец лицом шел на смерть. Пусть псих оторванный, но он был в жизни честнее. Сумасшедший — да, но не трус! А лучше быть сумасшедшим, чем трусом, но с манерами. В моем представлении, первое перевешивает второе.

Как-то дядя пришел к нам поговорить за жизнь с отцом и спросить, почему он так нехорошо обращается с его сестрой и племянником (то бишь со мной). Отец его поставил на место, обласкал, чуть ли не по головке

погладил; можно сказать, в лицо ему посмеялся; наполнил чаем с вареньем и выставил, сказав, что все нормально, не надо беспокоиться, все наладится, мы сами с усами...

Я представляю, что думал дядя: отметился, сходил, походатайствовал, свой долг перед сестрой выполнил, как же, заступился, выяснил в чем дело, больше не повторится, успокоил свою совесть, легко отлегло... Отец ему сказал, что все нормально, все как надо; он, наверное, просто смеялся внутри над ним: какой-то сморчок пришел учить его жизни! А этот думал: мол, вот он набрался отваги и пошел образумить этого беса. Да, так отца бабка называла, бес.

Я помню отлично их встречу. Сидит мой кукольный дядюшка, потирает свои тонко постриженные усы, перебирает пальчиками, прочищает так тактично горло, и рядом с ним, миниатюрным, манерным, почти прозрачным, мой отец кажется таким огромным, таким плотным, против него мой дядя кажется каким-то недоовоплощенным, существующим на каком-то эфирном плане ангелоподобным существом, а мой отец подле него сам Сатана!

Я думаю о них, там сидящих, разыгрывающих незатейливую семейную сценку; мне смешно явление в нашу квартиру с такой миссией моего дяди. Кто он там?.. Ну что он мог сказать моему отцу?.. Какой жизни он, человек, который даже в армии не был, мог моего отца учить?.. Отца, который однажды он пришел полумертвый, пьяный и просто лег и уснул, даже буянить не стал... Это было, когда они брали одного шизика, мокрушник какой-то чокнутый, долго его выслеживали, и наконец-то пошли брать, обложили со всех сторон, а отец и его товарищ, с которым он частенько рыбачил, и еще один, который тоже иногда к нам заходил, пошли к дверям, а тот псих баллон взорвал, большой газовый баллон. Отец потом рассказывал, что у него на глазах череп его товарища по рыбалке просто смяло и разорвало, его самого всего забрызгало кровью и мозгами, но даже царапины не было, — об этом потом все прочли в газетах...

И вот мой дядя, едва ли за двадцать: сидит и разбирается что к чему, учит жизни моего папу, задает вопросы: ну и как вы собираетесь дальше жить, ну разведетесь вы и что дальше, как-то надо же и квартиру разменивать... Знал бы он, что такое быть участковым в районе, где каждый второй дом притон, чуть ли не малина, а каждый третий мужик сидевший, и нам приходилось в этом же районе жить! Иной раз идем по улице, и нас приветствует какой-то уголовного вида вальяжный мужик: «а здорово, начальник!» И годы спустя мне все еще попадались мужички, которые смотрели на меня так искося, с ухмылочкой приподнимая кепку, многие спились, стреляли мелочь, — «на бутылку не докинешь?», или спросят «который час, командир?», — узнавали, и я давал и на пиво, и время говорил.

Я не пытаюсь романтизировать моего папашку; не пытаюсь создать героический ореол вокруг него, или еще хуже нимб высветить над его кучерявым челом, — нет. Иногда он вел себя просто как свинья, просто как обычный мент. Идем мы как-то через болота на охоту, а там подле свалки бомжи сидят и что-то варят; отец подходит, показывает удостоверение и требует предъявить документы; все что-то показывают, кто паспорт, кто справку какую-то; он спрашивает, что варят, — по-

казывают капусту с картошкой; спрашивает, где украли и так далее; идем дальше. Он говорил, что сам часами изучает портреты тех, что в розыске, и меня поучал запоминать лица, тренировать память, даже приносил портреты розыскиваемых, показывал и заставлял вспомнить не видел ли я кого-то и так далее... Иногда он издевался над матерью; он говорил ей, что засадит ее брата в тюрьму, ее лишит материнства, а меня отправит в детдом. Он, бывало, придет и вылетит суп в унитаз, – вари новый! Сварит, – снова вылетит со словами «будешь варить, пока не научишься»; или заставлял мыть полы, – не успеет высохнуть, – снова мой, пока не научишься! И пьян не был, – был просто не в духе. Порой забавлялся как ребенок; у него было спрятано не только оружие, но и всякие петарды и в том числе трубчатый артиллерийский порох; мы его в фольгу заворачивали, заряжали в тонкую длинную трубку, как в миномет, и поджигали, – заряд с шипением вылетал и летел, сгорая на лету, фольга сыпалась, отпадая красивыми порхающими, завивающимися огоньками, в сумерках это было красиво.

Он сделал недурную светомузыку; ко мне на дни рождения приходили друзья. Но когда я стал слушать музыку, что мне приносил дядя, мама начала переживать. Ведь я слушал: *Kiss, The Sweet, Sparks, Queen, Troggs, Rolling Stones, Bowie, Midnight Oil*, – а все эта музыка могла отцу показаться как бы с душком прогнившего капитализма. Так думала мать. Поэтому она просила меня слушать их только тогда, когда отца не было дома, – и даже прятала записи! И тем более не разрешала приносить ни фотографии, ни журналы, ни какие-нибудь пластинки (особенно *Kiss*!!). Однако, в доме разрешалось слушать *Beatles, Abba, Dream express, Donna Summer, New Seekers* и даже *Boney M*!! На эти группы табу не распространялось. Вся эта свобода шла от моего дяди, который отращивал волосы и пытался играть на гитаре; он ходил на горку; он водился с форцей; он носил джинсы с вышивками, которые делал сам. И неплохо получалось, – даже обращались с заказами. Он сидел дома, пил тайком вино со друзьями и вышивал им на джинсах всякие розы, надписи групп; с *DIO* ходил его дружок Серега, Павлин ходил с *Sabbath*, был парень, у которого были самые длинные волосы и самая грязная куртка, на которой дядя отважился вышить профиль Джими Хендрикса, чем очень гордился, и очень расстроился, когда тот допил до отключки и спалил куртку, получив ожег второй степени, о чем дядя сожалел меньше всего, не сожалел вообще.

Когда я подрос, тоже стал отращивать волосы, просил купить мне джинсы, и отец однажды сказал: ты что в американского ублюдка превращаешься! ты что, советский гражданин и так далее...

А годы спустя, когда «все голосовали за Когана», и шла компания, люди выходили с плакатами, писали на стенах всякое, разбрасывали по подъездам листовки, призывали голосовать, я просто сказал за обедом, что вообще ни за кого голосовать не буду. И отец бросил о пол кружку и зарычал: не будь дураком! иди и голосуй за Вейдемана! за эстона голосуй иди! и голосуй за революцию! за и их гребаную свободу иди голосуй! может потом и правда гражданство получишь!

А я дурак не послушал, упрямый глупец, – а ведь он прав был, хоть ничего не понимал, а выходит все равно как бы мало ни понимал, но больше меня понимал.

Если б я пошел и проголосовал за свободу – революцию – триколор, катался бы я сейчас без виз, сам Шенген мне не черт. А так, приходится сидеть нелегал-нелегалом, курить в печное отверстие и с этими хиппи каждую крону выкраивать на бутылку. Чума да и только.

И все-таки он был сумасшедший, настоящий псих, папашка мой. Это безумие выражалось в его поступках по-разному. Оно прорывалось, вспыхивая в его глазах. И он брал ласты, баллоны, подводное ружье и уходил в море. Он рассказывал, как неожиданно зависал над бездной. где нет дна, и – только чернота, только бездна, и трудно удержаться, чтоб не погрузиться в этот манящий душу мрак, – и он погружался, до тех пор пока над ним и под ним не было ничего, ничего кроме мрака.

И тогда, говорил он, не знаешь, в каком направлении надо плыть, чтобы выбраться, куда ни поплывешь – везде одно и то же – чернота.

Он прыгал с парашютом; он затевал драки; он гонял с бешеной скоростью; он был неистов, он был необуздан, он прыгал в горах где-то в Азии, с уступа на уступ, как сайгак; он кого-то вытаскил, повисшего над обрывом; он спас кого-то из болота; одному его приятелю распороли брюхо в драке, он запихал ему кишки в пузо и осмотрев пьяным глазом сказал: ширейку не затронуло – жить будешь, – и дотаскил до скорой.

Я думаю, – нет: я знаю, я просто уверен, что я унаследовал это его безумие, я в меньшей степени, но – безумен. Меня распирает та же неистовая, бьющая ключом энергия, – но я не рискую гонять на машинах; я не переносу высоту, хотя влезаю на замок по шаткой лесенке, замазываю трещины, и тогда мне кажется, что я хоть насколько-то приблизился к нему. Я не хочу погружаться, но ведь я закончил водолазные курсы, и все-таки погружался.

Я слышу шаги баскеток на веранде. Это возвращается из Коммюнхуса Дангуоле. Она ничего не знает и не должна знать о моем отце. Я должен улыбнуться и скрыть мою грусть. Нелегал в розыске не имеет права рисковать свободой ради кратковременной слабости. Я не могу ей себя приоткрыть; сколько бы она ни говорила, что любит меня; сколько бы я ни верил в ее слова, я не имею права ради минутного порыва себя сдать. Потому что она – часть этого мира. Открыл рот, шепотом сказал, и мир тебя услышал. Так можно накликать беду...

Поэтому я ей ничего не сказал. Она так и не узнала о его смерти. Я не мог сказать, никому не мог сказать, что мой отец умер. Я узнал о его смерти, а вокруг все осталось по-прежнему. Так что умер он во мне для всех, окружавших меня, совершенно незаметно. Как будто и не умер. И не сумев его как следует похоронить да помянуть, я ношу его в себе; поэтому для меня он все еще каким-то образом жив. Он умер для меня окончательно только после моего возвращения. Еще пять лет спустя.

Нас навестила бабушка. Мать меня готовила к этой встрече, как ребенка, наряжала, и все пыталась подсушить те одежды, которые я носил до того, как уехал. Видимо, чтоб одомашнить; я все казался ей чужим. Мне было неловко. Бабушка сидела на моей кушетке; она совсем была полуслепа; сидела и плакала. Рассказывала, как он там жил, на болотах, после того как мы поругались. Меня это резануло. Ведь я его практиче-

ски выгнал. Так выглядело, будто я его выгнал. То есть он сам перебрался к болотам за город и поселился там. Еще до той ссоры. Он туда перебирался годами. То из подвала свои инструменты перевез. Потом машину в гараж. Потом свои чеканки, сабли, ружья. Поэтому было естественно что он там осел. Но последним толчком стала наша ссора. Однажды приперся пьяный, стал ломиться. Я был в подвале, перебирал картошку, глазки и так далее. Услышал его рев. Поднимаюсь. Стоит. Говорит мне: «Твоя мать меня не пускает». Я говорю: «Правильно делает, что не пускает. Ты – пьяный». Он говорит: «Я принес картошку, капусту, помидоры, тут бабушка передала». Я говорю: «Сам жри свои помидоры». Что с ним стало тогда. Он задергался. Побежал мешковато вниз. Стал судорожно распахивать окно подъезда. Будто собираясь выбраться. Вытряхнул сумку. И все приговаривал: «Так я и передам бабушке, так и передам. Вот так и передам...»

Потом бабушка ходила и все мирила нас. Я один раз съездил, повидался. Разговор получился ни о чем. Это была последняя встреча. Я его запомнил с большим бронзовым пузом, с тяжелым ключом от гаража на груди, в закатанных по колено военных штанах и сандалиях.

Бабушка рассказала, что он там все бизнес какой-то начинал. Ухмыльнулась даже тихонько. Сперва со свалки таскал двери машин, правил вмятины и толкал на рынке. Потом вулканизация, покраска, ремонт. Затем купил какой-то старый ЗИЛ, чтобы на нем перевозить что-то. Какой-то металл. У него было много идей. Как всегда. Жил он с какой-то бабой и двумя ее дебильными детьми. Жили они на его ментовскую пенсию. Этого, конечно, не хватало. Он же пил все больше и больше. Работать ему не удавалось, его ото всюду гнали за пьянку. Сказала, что они порой так нуждались, что одной зимой даже полом топили дом. В это было трудно поверить. Жить посреди леса и топить полом, это уже слишком. Но бабушка говорила, что отец докатился до самого предела. Сам он ей это объяснял тем, что не запаса дровами потому, что был занят отопительной газовой системой. Он провел газ в дом. Он ей даже демонстрировал. В огороде он завалил старый колодец гнилыми листьями, провел от них трубу в дом, и вот гниение давало те самые испарения, натуральный газ, которым он собирался топить. И даже топил! Он подключал плиту к этой трубе. У него все было на высшем уровне. Даже тумблер был. Трубки, перетянутые металлическими жгутиками. Газ, шутка ли! Я представляю, с какой важностью он этим занимался. Скорей всего чувство важности усиливалось сознанием дела и той халявой, которой он собирался пользоваться. Из дерьма качать газ и отапливать таким образом целый дом, на нем еду готовить! Что ты! Можно нарыть побольше колодцев, весь огород завалить дерьмом, протянуть трубы к соседским домам, взимать небольшую плату и в ус не дуть. Но зимой ударили морозы, листья замерзли, топить стало невозможно. Пришлось рубить пол. Меня бросило в холодный пот от этой истории.

Дальше – хуже. Он стал пить всякую дрянь, спирт, брагу, он жутко спивался, и спился окончательно, подорвав здоровье. Она его у себя тоже держала. Приходил больной, как кот изможденный. Она его отмывала, поила супом. Он трясся, блевал, заваливался в койку, а

спать не мог, все его трясло. Они с дедом ему «бальзам Биттнера» давали по ложке, тогда его как-то отпущало. Недели две-три держался, потом срывался и уходил. Все по новой. К тому времени он потерял всякую работу; кое-как тянули лямку вчетвером, он, его баба, ее дети. Бабушка сказала, что совсем плохо под конец было, так плохо, слов нет; какие-то бомжи со свалки у него там жили, какая-то гоп-компания, все ходили побираться, воровали, лазили по огородам, жуть. Он приходил к ней реже и реже; пытался завязать, спрятаться, залечь у нее. Просил, чтоб не пускала его; просил, чтоб привязала. Это уже было безумием. Начинал метаться, спрашивать, где я, хотел со мной повидаться напоследок. Она говорила, что я уехал в Россию, на родину дедушки, учить детей русскому языку и литературе, плела, что на ум приходило, лишь бы он успокоился... Он уходил.

Последний раз так он как-то совсем успокоился, ушел, потом он был найден под яблоней с испитой бутылкой водки. По пояс голый, с почерневшим ключом от гаража на груди, в сбитых сандалиях, он лежал под яблоней, которую только что покрасил. Нашел его ребенок той женщины.

Когда дом продавать начали, – а так как я был наследник, и был я в то время в бегах, все лазил из страны в страну, и никто меня найти не мог, – то дом быстренько продали, да так дешево, что смешно.

«Ну а что ж, – вздыхала баба, – там воды не было уже, все краны и трубы в негодность пришли. Пола тоже не было, стопили пол то. У них там ничего не было. Полный развал, непонятно, как дом вообще стоял...»

А еще через пару лет и дед умер...

АНДРЕЙ ЛОПАТИН

ПРАВДОЛЮБЕЦ

Семён Ильич помнит, конечно, как будучи наивным и впечатлительным юношей попал в свою первую неприятную историю. Давно это было. Был ещё жив родной его дедушка Егор Кузьмич.

В то время рядом с его домом находился киоск, где продавалось разливное пиво. Пиво Егор Кузьмич уважал, только по слабости здоровья пил его редко. Иногда дед покупал себе баночку, но когда приходил домой и делал первый глоток, всегда начинал ругаться: – Дуська, подлая! – говорил он о соседке, которая торговала в этом самом киоске. – Опять водой разбавляла! Воду из крана – и ту пить приятнее!

Тогда многие торговщики грешили этим «мокрым» делом. Разбавляли не только пиво, но и молоко, сметану, соки, вино – в общем, всё, что в советском обществе продавалось на разлив и имело свойство растворяться в воде.

– Разве за такую жизнь я воевал, чтобы на каждом шагу обманывали жулики?! – горячился дед, допивая «дуськино» пиво.

Это не могло оставить Семёна равнодушным, почувствовал он деду фронтовику. Закралась мысль наказать соседку. Только как, долго не мог придумать. В киоск – или «Гайку», как его называли в простонародье из-за ромбовидной кирпичной кладки – свежее пиво привозили рано, часов в девять, хотя он сам от-

кrywался в одиннадцать. За эти два часа Дуська не только успевала отписать накладные, счёт-фактуры, но и, проводив машину, разбавить пиво – благо под рукой всегда был водопроводный кран и ведро.

Семён с девяти часов утра начал дежурить около киоска. Как только уезжала пивовозка, он забирался на маленький подоконник «Гайки», поднимался на носочках повыше, чтобы было видно из-за оконных занавесок, и терпеливо наблюдал. Высовывался чуть-чуть, одним глазком, стоя сбоку рамы и стараясь не попасть в поле зрения. Как только Дуська брала в руки ведро и открывала кран, он кулаком громко стучал в окно. Она испуганно материлась, роняла на пол ведро и как бешеная собака с лаём выскакивала на улицу. Семён, прыгнув с подоконника, тут же удирал подале – в отсидку. Потом всё это повторялось заново и без конца.

Результат такого противостояния не замедлил сказаться: однажды, хлебнув пива и озарив всех счастливой улыбкой, кто-то из покупателей воскликнул:

– Мужики! Пиво-то сегодня – губы слипаются!

Семён был доволен. Теперь он, хоть и редко, мог отомстить за деда. А когда не удавалось пресечь Дуськины проделки, Семён подходил к очереди и говорил прямо:

– Сегодня, мужики, придётся вам пить разбавленное. Дуську прозевал.

На что мужики почему-то всегда отмалчивались и смотрели на него как на чудака, а некоторые как на чокнутого. Да и очередь нисколько не убавлялась. Семён недоумевал, глядя на них.

Один из стоящих в очереди с краю как-то посочувствовал, подошёл к нему и, отведя в сторону, сказал:

– Вон посмотри, приятель, какие у всех большие канистры. А теперь представь, если пиво будет без воды продаваться. Скольким не достанется!

Шутка это была или нет, Семён не понял и ещё более смутился. Но ненадолго...

– Семён! – сказала соседка, встретившись с ним на лестничной площадке и прижав к стенке. – Чего тебе надо, а? Ты ведь пиво не пьёшь!

– Нехорошо, тетя Дуся, людей обманывать! – твёрдо отчеканил он.

– Ну, ладно... – сверкнув глазами, загадочно сказала толстая Дуська, – продолжай...

А через несколько дней, зайдя в тёмный подъезд своего дома, он получил хороших тумачков. Получил и по шее – да так, что голова с тех пор покосилась на бок, в левую сторону. Кто были эти «доброжелатели» – разглядеть в темноте не удалось. Ничего не выяснилось и позже.

С пивом пришлось завязать. Но это нисколько не успокоило его: других дел, куда можно было засунуть свой нос без приглашения, хватало с лихвой...

Прошло много лет. Семён Ильич давно женился, появились дети. Жена хоть и редко с пониманием относилась ко всем его чудачествам, но на счастье оказалась терпеливая. Бывало, что от мужа выслушивала в магазине такое:

– Валя, поставь эти йогурты в пластмассовых стаканчиках на место!

– Это же для детей!

– Тем более! На срок годности посмотри. Они уже

несколько месяцев стоят в тепле!

– Ну и что из этого?..

– Как это, что?.. Там консервантов столько, что даже взрослым есть нельзя! Никаких полезных бактерий и витаминов для иммунитета там нет! Бред сивой кобылы!

– Сеня, ты опять за своё!

– Валя, давай лучше купим йогурт нашего местного завода. Он хоть и в бумажной упаковке, зато настоящий, живой!

И добавил такой аргумент:

– Я недавно прочитал: современные люди после смерти по двадцать лет не разлагаются! Прямо, как живые лежат в земле! Представляешь?.. Вот что значит – консерванты!

На жену это подействовало, йогурт купили местного производства. А в магазине косметики и бытовой химии разговор состоялся уже посерьёзнее. Когда жена попросила подобрать крем для лица, продавщица особа не напрягалась в поисках и тут же подала красивую коробочку.

– Вот. Последняя инновационная разработка этой известной фирмы. Очищающий, увлажняющий и омолаживающий эффект, на основе жемчужных нитей.

– Валечка, дай мне, я только взгляну на состав, – попросил Семён Ильич.

Он надел очки и долго читал. Затем достал записную книжечку, что-то сравнил и, наконец, сказал:

– Так... пройдем по порядку. Этиленгликоль... токсичный яд, антифриз... используется, как охлаждающая жидкость в двигателях автомобилей... Лаурил... относится к жестким ПАВам. Разрушает липидный барьер кожи, вызывает сухость, шелушение, зуд, вплоть до контактного дерматита... Жемчужные нити... Что?! Бред сивой кобылы! Такого компонента в природе не существует... Так... Алкоголь...

– Сенечка! – покраснев перед продавцом, прервала жена. – Откуда у тебя эта ерунда?..

– Валечка, это не ерунда, это здоровье! – объяснил Семён Ильич. – Когда ты утром сказала, что нужно будет зайти в этот магазин, я специально подготовился. В интернете посмотрел передачу «Среда обитания», поискал разную информацию по теме и всё записал в книжечку.

С болью в сердце крем вернули обратно. Губы у жены надулись как вареники.

– Ну, хоть шампунь для волос мне купим? Или ты хочешь, чтобы с меня сыпалась перхоть?

– Я не против, дорогая, – сердечно пообещал Семён Ильич.

Но как только бутылочка с шампунем оказалась в его руках, он снова достал книжечку.

– Опять... сульфат натрия! Может способствовать выпадению волос, и именно, Валя, образованию перхоти. Волосы иссушаются, становятся ломкими и секутся на концах. Эти нитраты попадают в кровь в большом количестве...

– Сеня!

– Фосфаты... используются в бытовой химии...

– Сенечка, прекрати!

После того, как шампунь вернулся на место, они ещё долго ходили по магазину перед прилавками и выбирали. Но, как только жена брала в руки товар, Семён Ильич доставал книжечку. В итоге, когда они вышли из магазина на улицу, в их сумке лежало толь-

ко два куска мыла – детское и хозяйственное. С тех пор руководство магазина объявило Семёна Ильича персоной нон грата, а жена предпочитала ходить за покупками одна.

В другой раз к ним домой приехал представитель фирмы предложить чудодейственный пылесос. Он даже показал его в действии – театрально начал чистить палас прямо на глазах жены! Семён Ильич сразу понял, в чём тут дело, возмущился в душе, но чтобы не ругаться с женой при постороннем человеке, ушёл на кухню. Оттуда он только мог представлять её горящие глаза, разинутый от удивления рот, потому как в шуме работающего пылесоса отчётливо слышал душераздирающие слова:

– ...А ещё он противоаллергенный и противовирусный! Очищает воздух от всякой заразы, ионизирует помещение! Создан на основе современных нанотехнологий, с использованием фторромагнитных молекул! Такой пылесос в свободной продаже появится лет через двадцать, не раньше! Шанс его приобрести пока только у нас! – закончил фирмач.

– Сенечка! – с круглыми глазами влетела на кухню жена. – Ты не представляешь, какое чудо нам предлагают!

– И сколько оно стоит? – едва скрывая негодование, поинтересовался Семён Ильич.

– Всего сто тридцать тысяч, – ответил фирмач. – Он оправдывает себя! Вы и представить не можете...

– Ничего, ничего... – успокаивала его жена. – Нам понравилось! Это чудо, это...

– Спасибо. Мы позвоним вам о своём решении, – перебил жену Семён Ильич.

Когда тот ушёл, он накапал себе в стакан Корвалол.

– И не говори мне, что тебе денег жалко... – чуть не рыдала жена, пытаясь заглядывать в глаза. – Такое чудо, Сенечка!.. Сними, дорогой, денежки с книжки... давай купим, а?..

Семён Ильич понимал, с чем столкнулась жена, попав на рекламную удочку. Он включил интернет и стал наводить справки об этой фирме и пылесосе. Всё было так, как он и предполагал: пылесос не сертифицирован, фирмы продавца не существует, а реальная цена за подобный чудо-пылесос в двадцать раз меньше, чем предлагал мошенник.

– Валя, иди же, почитай.

Но вместо этого услышал:

– Изверг! Скупердяй! Сам теперь читай! – и она всхлипнула, как ребёнок.

Этот отказ не прошёл даром. Целую неделю Семён Ильич спал отдельно, так как жена демонстративно стелила ему на диване.

На следующий день, когда он прошёл по квартирам своего многоэтажного дома и предупредил жителей от продавцов, кто-то на его машину, стоящую во дворе, вылил банку с краской...

Однако не прошло и месяца, как справедливость всё же восторжествовала: правоту его в озвученном виде они услышали по телевизору.

– Предупреждаем граждан! – говорил диктор. – Недавно пресечена группа мошенников, предлагающих пылесосы. Просим всех, кто пострадал от их действий, обратиться к нам. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела и о денежном возмещении пострадавшим.

– Вот! Видишь! – радостно потирая ладошки, ликовавал Семён Ильич. – Я же говорил!

Он даже подпрыгнул в кресле от радости. Но после того, что ответила на это жена, он долго не мог придти в себя и сидел неподвижно, как парализованный. Ответила она так:

– А я бы всё равно купила! Жмот!

Совсем недавно Семён Ильич ездил в деревню к тёстю с тещей помочь по хозяйству, где главным делом было закончить летнюю пристройку к дому. Вечером после работы он вышел на улицу и сел на скамейку около ворот. Отдыхать, любуясь тихим летним закатом, получилось недолго: к нему подошли двое – мужчина и женщина. Одеты они были солидно и не по-деревенски, на плечах висели большие сумки.

– Хозяйка дома? – спросил мужчина, поглядывая через ограду.

– Что вы хотели?

– Лечебный нектар принесли. Будете брать?

– Покажите.

Мужчина достал тёмно-зелёную бутылку с загадочным содержимым и протянул для ознакомления.

– Что это? – изумился Семён Ильич. – А вы, вообще-то, кто такие?

– Распространители!

От этого слова Семён Ильич инстинктивно съёжился, его словно током ударило: знал он этих ребят не понаслышке. Он вспомнил, как много лет назад к нему домой стучались какие-то люди и предлагали чудодейственное лекарство – экзотическое пальмовое масло в похожих бутылках, по три тысячи рублей за штуку, причём настоятельно советовали принимать его три раза в день по столовой ложке. Много людей тогда соблазнилось, пока в местной газете не вышла статья с объяснением, что пальмовое масло не является лечебным, а по свойствам и составу оно беднее, чем обычное подсолнечное...

«В городе уже не рискуют, – подумал Семён Ильич, – сюда перебрались. Здесь народ простой, доверчивый...»

А женщина меж тем вдохновлено расписывала:

– ...Сок уникален. Дерево произрастает только на далёком острове атлантического океана. Состав содержит редкие микроэлементы, которые благотворно влияют на весь организм, очищают, избавляют почти от всех известных болезней. Произрастает это дерево на вулканической почве...

– Сдобренной слезами местных девственниц, – не выдержав, продолжил Семён Ильич.

– Нет, – несколько не смутилась женщина, – сдобрена она экзотическим тропическим климатом!

– Или климаксом? Вы ничего не перепутали? – уже язвил Семён Ильич.

И на это женщина не отреагировала никак.

«Ну и шкура у них! Ничем не пробьёшь!»

Она только спросила:

– Как бы нам... хозяйку повидать?.. Сегодня мы делаем большие скидки – всего две с половиной тысячи! Будет ли брать?

– Нет, не будет! – отрезал Семён Ильич.

И они, посмотрев на него как на чокнутого, двинулись по улице дальше.

Семён Ильич решил понаблюдать за ними. Он с удивлением видел, как они, подходя к другим дворам,

на ура распродавали свой товар. Брали почти везде, некоторые даже запасались по несколько бутылок сразу.

Когда распространители, опустошив содержимое сумок, на обратном пути проходили мимо, Семён Ильич не мог не заметить их взгляд, брошенный ему напоследок. Ему и раньше приходилось нередко встречать такой взгляд – пренебрежительный, насмешливый, надменный! Будто бы подчёркивали им, кто хозяин здесь и, вообще – в этой жизни.

«Надо проверить, что за бурду носят, – решил он. – Компьютер и интернет нужно найти!»

За ужином Семён Ильич завёл разговор на взволновавшую тему:

– Какое у вас безобразие в деревне творится!

– Что, творится?.. – насторожился тесть.

– Последние деньги мошенники выманивают у людей за какой-то сок.

– А... так это уже здесь давно... – махнула рукой теща. – Вся деревня лечится!

Запустив вилку в салат, Семён Ильич чуть не поперхнулся и... так и оставил вилку в салате.

– Как же так можно? Откуда такое невежество? На дворе двадцать первый век! Пенсии и зарплаты здесь у всех маленькие, последние деньги сами отдают непонятно за что и непонятно кому. Первому человеку с улицы. И, главное, отравиться не боятся!

Когда с тестем выпили по рюмочке, Семён Ильич совсем расклеился:

– Всю жизнь с этим воюю, а толку ноль! Ну, вы-то, Вера Захаровна и Иван Трофимович, надеюсь, меня понимаете?

Но они странно молчали, опустив глазки, и теща, словно спохватившись, предложила ещё котлетку.

Утром Семён Ильич разыскал компьютер с выходом в интернет: он оказался рядом, у соседей. Найдя в сети среди бесконечной рекламы нужную информацию, он попросил хозяина распечатать на принтере пару десятков листов. Всё было как всегда: обычный сок, притом разбавлен виноградным, состав которого мало чем отличается от любого другого, что продаётся в магазинах. С этими разоблачительными листовками о чудесном эликсире он повторил вечером путь распространителей, стараясь объяснять или, как казалось ему – открывать людям глаза. Люди вежливо улыбались, обещали прочитать и непременно подумать.

– И другим тоже дайте прочитать, – с надеждой напутствовал Семён Ильич.

Но на следующий день, когда он зашёл в местный магазин и увидел там некоторых вчерашних покупателей, кому вручал листовки, они почему-то не поздоровались в ответ...

– Здравствуйте, добрый день! – повторил Семён Ильич, решив, что его не расслышали.

Каково же было удивление, когда они вместо ответа, как по команде, демонстративно отвернулись от него. Семён Ильич недоумевал, и даже растерялся: «Что за демарш?.. Я ведь сделал добро, полезное дело для них – донёс правду!»

Расстроенный, он вернулся в дом. Никогда ещё не чувствовал он себя таким подавленным и обессиленным. Но и здесь его ждал сюрприз. Когда он прилёг на диван перед телевизором и нагнулся к полу, чтобы поднять газету, то краем глаза под тещиной кроватью

заметил какие-то бутылки. Прыжком леопарда Семён Ильич нырнул под кровать и достал одну. Интуиция не подвела: это был тот самый чудо-сок! Потом он достал и ещё две – полные, нераспечатанные!

«Мн-да... Дела тут серьёзные! – поразился он. – Как всё запущено!.. Прочно эти дельцы окопались здесь! Вся деревня уже в их руках!»

В груди появилась тяжесть, комок подкатил к горлу.

«Нет! Я это всё равно так не оставлю! Людей надо спасти!»

Более не в силах оставаться без действий, он выскочил в коридор, запрыгнул в туфли и направился к выходу в двери. Тёща попалась навстречу.

– Ты куда, Семён? – удивилась Вера Захаровна, встревоженная его видом.

– Эх... а я то думал!.. И вы туда же! – он на секунду остановился и укоризненно покачал головой.

– Да успокойся ты, Семён! – догадалась она. – Что мы, особенные какие? Все пьют, и мы пьём.

Семён Ильич махнул рукой и вышел за ворота. Путь его был тот же самый, что и вчера. От волнения сердце билось как у юноши.

– Вы прочитали листочек? – спросил он, когда открыли в первом дворе.

– Ой!.. Семён Ильич, не поверите: совсем забыли! Всё некогда, некогда, хозяйство... Завтра обязательно прочитаем! – ответила женщина, зевая и прикрывая рот ладонью.

Это ещё более взвинтило его.

– А вы прочитали? – чуть не прокричал он, спрашивая хозяина второго двора.

– Прочитали...

Семён Ильич приготовился было вздохнуть с облегчением, но не получилось...

– Прочитали, – продолжил мужчина, – ну и что? Ничего особенного.

– Как это, ничего особенного?!

– Почему же мы должны этому верить? Людей, которые носят эликсир, мы знаем давно. Это надёжные, проверенные люди. И мы им доверяем больше!

У Семёна Ильича перехватило дыхание.

– Вы же грамотный человек! В школе, насколько знаю, работаете! И ваша жена тоже преподаватель!

– Всё правильно, работаем... Только вот... жена верит, что сок помогает!

– Вы что, не знакомы с эффектом плацебо? Вам-то не знать этого!

Но мужчина вместо ответа задал вопрос:

– А почему вас это так волнует?

Семён Ильич понял: разговор ни к чему не приведёт, распыляться в аргументах далее бессмысленно. «Теперь все будут говорить, что помогает. И перед собой, и друг перед другом. Сами будут выращивать легенду, потому, что стыдно будет признаться в обратном». Он махнул рукой и пошёл по дворам дальше – надежда ещё теплилась.

В некоторых домах его встречали очень недружелюбно: открыв двери, смотрели злобно, как на врага. Народ в деревне живёт всякий...

Так, просвещая людей и неся к их порогу правду, он долго ходил по деревне, ходил до самой темноты...

Когда Семён Ильич вернулся из деревни и переступил порог своего дома, жена не узнала его.

– Что с тобой, Сеня?.. – ужаснулась она, разглядывая на его лице многочисленные ссадины и синяки.

– Что, что! То, что видишь! – отвечал он, пытаюсь выпрямить голову: теперь она была свёрнута в другую, правую сторону.

– Кто же это тебя так?.. Опять какие-нибудь продавцы?

– Это было бы не так обидно... – вздохнул он, расстёгивая куртку.

– Тогда кому это ещё могло придти в голову, Сеня?.. Даже ума не приложу, кто!

Жена помогла стянуть рукав куртки. Семён Ильич немного помолчал, пощупал пальцем припухшую губу, и с горечью произнёс:

– Сами покупатели.

ВИКТОРИЯ ЛеГеза

НИКТО НЕ ЗНАЛ

Апрель, утро, 9:15. – Как ты мог меня так назвать? Отец называется... Творог и сыр я положила в пластиковый ящик внизу. На верхней полке они быстро засыхают. – Кася энергично перекладывала продукты из зеленой бездонной сумки в отцовский холодильник.

– Ты же знаешь, деточка, я терпеть не могу творог. – Он бестолково сновал по крохотной кухне и заглядывал дочке в лицо. – Пусть в нем бездна кальция, но – с души воротит! Ну, прости мне, Касенька, старому дурню, юношеское увлечение астрономией. Мы с тобой мамой часто приходили поздно вечером на стадион. Я был отличным футболистом. Наш стадион... Просто зеленая лужайка с воротами. Ложились в траву и смотрели на звезды. Как сейчас вижу: тихо, сквозь туман Млечный путь блестит. *Ночь тиха, пустыня вне-млет Богу и звезда с звездой говорит...*

– И тогда вам пришло в голову наречь меня Кассиопеей? А если бы сын родился?

– Чем плохое имя? Очаровательная жена эфиопского царя Цефея. Правда, гордясь своей красотой, Кассиопея сказала, что она прекраснее всех на свете. Разгневанные нимфы уговорили грозного бога морей Посейдона наслать на царство Цефея морское чудовище кита. Кит всплывал из моря и опустошал эфиопские земли. Сына называли бы Орион... или Персей. Или Цефей.

– О, Господи! Орион-Цефей! Бедное дитя! – она шмякнула на полку бутылку кефира. Старик вздрогнул. – В твоём возрасте, папочка, полезно есть творог – кости укрепляет. И еще я купила сырую печенку. Скажи Божене, пусть поджарит, но не слишком. Чуть-чуть, слышишь? Сковородку нужно разогреть, добавить воды, чтобы зашипела и слегка обжарить, но внутри должно быть полусырое. Тебе нужно поднимать гемоглобин после операции. Опять она плохо вымыла пол – подошвы липнут. Помощница называется... Кстати, согласно одной из версий мифа, эта Кассиопея за своё хвастовство была привязана к креслу и обречена кружиться вокруг Северного Полюса, переворачиваясь головой вниз. И смотреть на себя в зеркало.

– А ты сама не сможешь поджарить? Пока Божене что-то объяснишь... Она по-русски – еле-еле. От печенки и творога, понимаешь ли, новая почка не вырастет. А знаешь, что было дальше с Кассиопеей? По древнегреческому мифу, прекрасная Андромеда (есть

и такое созвездие!), дочь Цефея и Кассиопеи, была прикована к скалам. Почему? Для того чтобы искупить вину матери, которая прогневала морских нимф. И правда, липнет линолеум... Я и сам в состоянии еще пол помыть. Есть еще порошек в пороховницах, дочка. Есть! Только вот не знаю, куда Божена засунула швабру. А печенка...

– Не сегодня – я спешу. Извини, папочка. Я знаю, что ты все можешь сам. Но ей за это деньги платят! И напомни, чтобы почистила морозильник – воняет. И сменила постельное белье. Мне пора.

– На свидание опаздываешь?

– Почему бы и нет? – дочка вскинула острый подбородок, сердито сдвинула брови.

– Опять какой-то недотепа, вроде твоего Андрюшки?

В голосе отца звенели насмешка и обида. Кася замерла с пакетиком ветчины в поднятой руке.

– Что ты имеешь к Андрюше? Строитель-подрядчик. Нормальная профессия. Молодой интересный парень.

– Ладно, ладно. *Я вас люблю, чего же боле? Что я могу еще сказать...* Это ты к нему что-то имеешь, только мне не рассказываешь. Ничего мне не рассказываешь последнее время. Совсем старый стал отец и глупый, пора на помойку. Ты же от Андрея ушла!

– Мы временно расстались... проверить свои чувства. В Америке это называется «то тэйк а брэйк». Да, я еще шоколадные бисквиты принесла, ты просил.

– В боксе тоже есть «брейк». В молодости я бокси-ровал и неплохо... Так с кем ты встречаешься? *Любви все возрасты покорны, но юным девственным серд-цам ее порывы благотворны, как бури вешние полям...* и лесам.

– Есть ли такой вид спорта, папочка, которым бы ты не занимался? С Джейкобом я встречаюсь. Помнишь Джейкоба? – она бросила последний пакет на полку и с шумом захлопнула холодильник. – Такой длинный, нескладный, в туфлях на босу ногу. Он тебе благотворительных кур привозил от еврейской организации на Пасху в прошлом году, в апреле.

– Да, в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода велико-го...

– Опять ты с своим Иродом! Каждую весну цитируешь, и не надоест. Мы тогда с Джейкобом и познако... Папа, не ешь ветчину руками, я сейчас дам тебе вилку и тарелку. Где чистая посуда? – она осмотрелась. Куча невымытой посуды в раковине. Вода капает и кран поржавел. Потолок желтеет и шелушится. В углах болтаются обрывки серой паутины. – Грязные тарелки, неряха твоя помощница. Джейкоб пригласил меня в ресторан в Даунтауне. Я побежала. Нужно успеть за-скачить сделать маникюр. Заеду в понедельник.

Чмокнув отца в седую макушку, Кася выскочила из квартиры, словно за ней гналась стая бешеных собак. Побежала к лифту, на ходу застегивая универсальную зеленую сумку из искусственной крокодиловой кожи.

Рдеют волосы у отца. Сильно сдал он после операции, но бодр духом. Значит – поправляется! Есть еще порошек... и память на цитаты. Давно ремонт у него не делали, как мама умерла – дешевая квартира, скверное обслуживание. Как удобно, что большие сумки теперь

в моде – все в них помещается! Нет, лучше спуститься по лестнице. Тренировка для мышц... и куда приятнее поездка в душевой металлической клетке.

С удовольствием прислушиваясь к энергичному стуку своих каблучков, она думала о предстоящем свидании. Джейкоб ужасно милый и добр к ней. Один сына воспитал и с такой преданностью, любовью говорит о своем мальчике. Касе тоже давно хотелось сына, лучше двух, а потом – маленькую девочку. Дочку она назовет нормальным именем: Лена или Таня, но ни в коем случае не Андромеда или Большая Медведица. Годы летят... Касе незаметно стукнуло тридцать три. В этом возрасте Иисуса Христа уже распяли, а она еще ничего хорошего не сделала. Книгу не написала, дерево не посадила, дом не построила и ребенка не родила. И пароход не назовут ее именем, и созвездие не назовут. Есть уже такое созвездие – Кассиопея.

Немолод он, конечно, Джейкоб, лет пятьдесят ему, не меньше. Но для американского мужчины – это не возраст. Чем черт не шутит, а вдруг с ним что-то и получится! Около года уже знакомы и никаких отрицательных черт. Внешности приятной... сносной. Слишком уж пунктуальный, дотошный. Слегка занудный он, если честно и говорит много о деньгах. В обносках ходит. Жмот. Все распланировано в его жизни: шаг влево, шаг вправо – побег. Разложено по полочкам. Вот и хорошо! Его рациональность и пунктуальность, скопидомство скомпенсируют Касино разгильдяйство.

Да и Андрияша уже не мальчик. Морщинки у глаз и виски седеют. Старше Каси на пять лет, а ведет себя точно шкодливый подросток. Но такой обаятельный подросток! Когда в хорошем настроении. Все мы – ангелы, когда на душе легко...

Каблуки стучали в такт вполне приятным мыслям.

Кася не знала, что у отца после операции обнаружили метастазы в печени, и три раза в неделю он проходил курс активной химеотерапии. Она не знала, что отец проживет еще семнадцать месяцев и умрет неожиданно, когда Кася с Андреем будут проводить на Гавайях медовый месяц... Там Андрей признается, что влюбился в нее с первого взгляда – имя Кассиопея заворозжило его. Но никогда не признается он, что во время их «брейка», да и раньше, спал попеременно с Боженой и с Кларой. И еще с двумя другими женщинами: с ширококостной немолодой немкой, познакомилась в баре, а потом с длинноволосой темпераментной не то мексиканкой, не то индуской. Их имена забылись.

10:25. Кольцо пропало! Бриллиантовое кольцо! Джейкоб заглянул еще раз во все ящики, все впустую, конечно. Он прекрасно помнил, что кольцо покойной жены в фиолетовой бархатной коробочке лежало под носовыми белыми платками в верхнем ящике вишневого комода. Как можно сделать женщине предложение без кольца? Придется купить новое. Траты, траты непредвиденные...

В раздражении он захлопнул ящик. Джейкоб терпеть не мог менять свои планы, торопиться, действовать необдуманно, входить в лишние расходы. Он давно запланировал, что сделает Касе предложение ровно через год после первого знакомства. На вертушке «Хенкока» за столиком с видом на озеро и Нэви Пир.

Столик уже заказал. Забрал белую рубашку из химчистки. Купил новый галстук. Исчезновение кольца нарушило стройный план. Куда делось кольцо? Подозрение пало на сантехника, который приходил на прошлой неделе подтянуть капающий кран в ванной Айзека, и на болгарку Божену, убиравшую квартиру по понедельникам и четвергам. На сантехника он пожалуется консьержке, Майре, Мэри, как там ее? Стоит ли жить в полуторамиллионной квартире в самом центре Чикаго, чтобы у тебя воровали подсобные рабочие? Никаких средств не хватит... Пусть проверяют, кого нанимают. А Божену он просто уволит без разговоров.

Айзек заглянул к отцу. Покрутился в спальне, рассеянно переставляя фотографии на камине. Выглянул в окно: привычный вид. Прямо внизу громоздилось новое здание Института Современного Искусства. Много лет назад на этом месте стояли конюшни городской пожарной охраны, уютно пахло навозом. Слева – старинная водонапорная башня Вотер Тауэр, единственное здание, уцелевшее после Великого чикагского пожара. Справа – скоростной Лейк Шор Драйв, набережная и сине-зеленое озеро Мичиган. Весенние лохмато-лиловые тучи бродили над озером, отбрасывая тревожные тени.

Сын сообщил, что уходит на весь день. В библиотеку. И ночевать будет сегодня у одного приятеля...

– У кого именно, Айзек?! Ты же знаешь – я люблю точность. И когда именно вернешься? Точность – вежливость королей.

Джейкоб залюбовался своим единственным отпрыском. Красивый – в мать. Высокий – в отца.

– Ну, ты его не знаешь, папа. Я уже взрослый, а ты все меня допрашиваешь...

– Ладно, не буду, не буду, – тут же дал задний ход отец. Жена тоже терпеть не могла расспросы-допросы. Раздражалась. – Только помни, сынок, – в воскресенье с утра мы едем на озеро. Нужно опробовать новую яхту. Столько за нее заплатили, а стоит в гавани без дела. Ты готов? Деньги нужны?

– Всегда готов! И всегда нужны...

– Возьми мою кредитную карточку. Но трать разумно...

Сын по привычке поцеловал отца, смутился. Уже студент, пора бросать эти детские замашки. Классный у него старик! Прижимистый, но для отпрыска денег никогда не жалеет. А разговоры об экономии можно пропустить мимо ушей.

Уже от двери глянул на предка с плохо скрываемым обожанием. В двадцать лет Айзек еще не перерос детский восторг. Он всем гордился в отце: и его успехами в денежных спекуляциях, и высоким ростом, и усиленной скромностью, непритязательностью. Вниманием к дедушке и бабушке. Неназойливой религиозностью и постоянным оптимизмом. И умением управлять яхтой. И умением самому сделать мелкие починки в летнем домике на озере, куда они ездили каждое лето удить рыбу.

Мать Айзека бросила мужа ради другого мужчины, когда мальчику едва исполнилось пять. Всю любовь ребенок сосредоточил на отце. Вскоре мать погибла в аварии, и они никогда между собой не говорили.

Выйдя из дома Айзек, весело насвистывая, сел на метро и поехал совсем не в библиотеку, до которой можно было и пешком дойти, а в Роджерс Парк. В де-

шевом мотеле, где останавливались только безденежные провинциалы и дешевые проститутки, его уже ждала Лиззи Макдуган. Там они провели вместе весь день и всю зябкую весеннюю ночь. Только выскочили уже под утро в круглосуточный МакДональдс – жутко проголодались. Лиззи взяла четыре «Биг Мака», целую гору жареной картошки и два молочных коктейля. Съели все это тут же в машине Лиззи, на стоянке, давась от смеха. Подуло с озера влажной прохладой и облака разлетелись по бескрайнему зеленоватому небу. Звезды еще не побледнели.

– Смотри, вот Орион! Прямо над нами, – Айзек обнял подругу за плечи и восхитился, какая она высокая, гибкая. – Наклони голову. Вот там, где я пальцем показываю. Три яркие звезды в ряд – пояс Ориона. А чуть в стороне – созвездие похожее на перевернутую букву «дабл-ю», Кассиопея. Женщина перед зеркалом... Я тебя люблю!

– А я – тебя! Навсегда вместе?

– Конечно! Теперь мы помолвлены!

– Да? – Лиззи трянула темной копной волос. Улыбнулась и поцеловала кольцо, которое он подарил ей всего неделю назад. Кольцо с тремя желтыми бриллиантами, принадлежавшее его матери.

Айзек не знал, что его мать ушла от Джейкоба к невероятно богатому Мэтью Польских, другу своего отца. Между ними внезапно вспыхнула неистовая, неистребимая любовь до гроба, в полном смысле слова. Ни разница в возрасте, ни протесты детей Мэтью, ни любовь к маленькому сыну не могли остановить обезумевшую от страсти женщину. Она вернула кольцо мужу, умоляла простить, понять...

Немедленно получив развод от потрясенного Джейкоба, тут же вышла замуж за Мэтью. Уехала с новым супругом в Европу, подальше от упреков и воспоминаний. Полтора года спустя они оба разбились в машине по дороге из Монте-Карло в Милан. Мэтью умер сразу, а мать Айзека еще смогла открыть дверцу и отползти от машины на восемь метров. Это последнее усилие навсегда определило судьбу ее сына.

Поскольку она пережила своего супруга на несколько минут, по закону ей посмертно досталась большая часть огромного наследства. Дети Мэтью от первого брака рвали на себе волосы, пытались опротестовать завещание – все напрасно. Миллионы перешли от матери к Айзеку. И поступили в распоряжения отца, легального опекуна над малолетним сыном.

Катастрофу Джейкоб воспринял, как справедливое возмездие. Он пустил деньги в оборот. Удачно играл на бирже, заработал еще несколько миллионов – Айзек вырос, словно маленький принц.

Через год, когда ему исполнится двадцать один, Айзек получит миллионы в полное распоряжение. Он узнает от адвоката историю смерти матери, встретится со своим вторым дедом, которого не видел с пяти лет. Парень тут же бросил ненавистный университет. Обвинит отца в постоянной лжи и мошенничестве, грабеже, утаивании денег. Отберет у него квартиру в центре Чикаго в розово-коричневом небоскребе, прямо на Мичиган Авеню, обе машины, яхту и все прочее. А потом уедет с Лиззи в Калифорнию, в Голливуд, где снимется в трех фильмах, станет звездой.

После двух аборт Лиззи Макдуган уйдет от Айзека, который так и не удосужился жениться на ней. А

он плюнет на карьеру актера и станет успешным кинопродюсером.

11: 25. Справившись с творогом, он долго и старательно мыл посуду. Неудобно все оставлять Божене. Она же все-таки не его рабыня – просто приходящая помощница. Девочка-эмигрантка, хрупкая, вроде Каси. Вкалывает на трех работах, устает, наверное.

С облечением опустил в кресло, включил телевизор, русский канал. До приезда машины, которая должна была отвезти его в госпиталь на «химию» оставался час. Но вспомнил о еще одном деле. С некоторым трудом Семен Борисович поднялся с продавленного плюшевого кресла. Вытащил из холодильника пакет с ветчиной и сырой печенкой, положил их в целлофановый желтый кулек. Уже открыл замок, но остановился, вернулся в кухню и подхватил коробку с бисквитами.

Шаркая тапочками, направился по унылому синему коридору к двери с латунным номером 305. Цифра «пять» болталась на одном гвоздика и слегка покосилась. Дверь открыла соседка Клара в распахнутом розовом *кимоно*, из-под которого выглядывала короткая пышная юбочка и розовых шлепанцах на каблук.

– Ах, простите, я не вовремя, кажется, – старик неуверенно протянул кулек. – Вот дочка деликатесы принесла, хотел с Вами поделиться. Мне вредно столько есть... Кто-то из великих сказал: *нужно держать голову в холоде, а брюхо в голоде.*

– Нет, что вы, что вы! Проходите, пожалуйста, Семен Борисович. Не стойте в дверях, как столб. Вы же знаете, какие сплетники кругом. Ничего не стоит ослабить одинокую женщину. У меня такой беспорядок. Не успела... заспалась. Я тут переодевалась уходить, – она безуспешно пыталась запахнуть шелковое скользкое *кимоно*.

На розовом, под цвет шлепанцев и халата, диване горой навалены цветные платя, рубашки с завлекательными тоненькими бретельками, прозрачные чулки... Пахло французскими духами и лаком для ногтей.

– Да не извиняйтесь вы, Клара Георгиевна. Какие там церемонии между соседями! Наоборот, мне приятно заглянуть в гнездышко прелестной женщины. Проснись, красавица, проснись... *открой сомкнуты негой взоры... навстречу северной Авроры...*

– Это нужно в холодильник? – молвила она, сверкнув очами, грациозно принимая желтый кулек. – Ну, уж вы скажете! Аврора... такой проказник.

Впрочем, «... и молвил он, сверкнув очами...» – это, кажется, о полковнике, который был рожден хватом. Из стихотворения «Бородино». Поэтично, но к данному случаю не совсем подходило. *Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы...* Тоже не подходит. А что дальше? *Перстами легкими как сон моих зениц коснулся он... Моих их ушей коснулся он, – и их наполнил шум и звон: и внял я неба содроганье, и горный ангелов полет...* Память еще не отказала, но в ушах, действительно, звенит. Давление нужно проверить.

– Там – ветчина, Клара Георгиевна. И сырая печенка, цвет лица улучшает. Хотя Вам это, понятное дело, ни к чему. У вас и так цвет лица замечательный. *И зреющей сливы румянец на щечках пушистых, и солнца отливы играют в кудрях золотистых...*

И все остальное. Аппетитная дамочка и совсем молодая еще, до пятидесяти. Прекрасно знает, что обладает шикарным бюстом. И щедро его демонстрирует,

на радость окружающим старичкам. Она и с молодыми мужчинами часто появляется поздно вечером – сплетничали местные бабки.

– Да ну вас, с вашими комплиментами. Всегда подшучиваете над бедной женщиной! Такой образованный. (Старик протестующе замахал руками.) Это Пушкин?

– Нет, Лермонтов, Михаил Юрьевич.

– И какая я для вас Георгиевна? Клара Георгиевна – подходит древней бабушке. Такой морщинистой, лысой и в чепчике. Не такая уж я старушка! Просто – Клара. И давайте на «ты».

– Давайте, давайте! Совсем не старушка, а даже наоборот! А можно вас... тебя называть Кларочка? – развеселился Семен Борисович. – Там еще бисквиты. Шоколадные. Вы... ты говорила в прошлый раз, что такие любишь.

Как она попала в дом для стариков? Получила, наверное, липовую инвалидность, как многие. Сам бы за ней приударил с удовольствием, если бы не болезненные обстоятельства.

– Люблю, очень даже люблю. Шоколад, конфеты. Все сладкое! Какой вы внимательный, Семен Борисович! Приходите ко мне вечером чай пить с бисквитами. Телевизор посмотрим. Будут новый детектив показывать.

– Тогда уж и ко мне обращайтесь на «ты». *Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила...* Просто Сёма, а еще лучше – Сёмочка. Меня так Бетя называла, жена. Ну -- Семён, в крайнем случае! Для солидности, учитывая некоторую разницу в возрасте.

– Какая там разница?! Глупости. Так что, придете? Часов в девять, а лучше – в полдесятого. У меня с Нового года осталось полбутылки коньяка и шпроты. Будем кутить!

Халатик грозил слететь в любой момент. *Желанья! что пользы напрасно и вечно желать?.. А годы проходят...* Семен Борисович покосился на полуоткрытую дверь и поймал в высоком зеркале свое отражение, за Клариной розовой спиной. Между лопатками извивался по шелку синий вышитый дракон. А у него под глазами – темные мешки. Бледный стал, синюшный, под стать дракону. Брюки на заду болтаются – катастрофически теряет вес. Щеки потихоньку обвисают, физиономия вытягивается. Еще не слишком заметно, но месяцев через пять... Вздыхнул тяжко.

– Я, знаете ли, Кларочка, рано ложусь. Стариковская привычка. Как-нибудь в другой раз... Вы уж на меня не обижайтесь, деточка. И пить я бросил.

В обратную сторону он шаркал по коридору вдвое дальше. *Любить... но кого же? на время - не стоит труда, А вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: И радость, и муки, и все там ничтожно... Что страсти? – ведь рано шль поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка; и жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка...* Куда в его-то годы по девочкам бегать? В компании с метастазами...

В госпитале Семена Борисовича посадили в кресло «на химию» рядом еще молодым мужчиной. Бычья шея и странные татуировки на обеих руках – рабочий класс. При ближайшем рассмотрении, стало заметно, что мощные мускулы и шея соседа заметно одрябли. Черные глаза мутноватые, равнодушные. Бритый

круглый череп. Хорошо, что пошла мода на бритые головы – все равно волосы вылезут. Черты лица хорошие, простые и мужественные. Жалко, пропадает красивый молодой парень – видно небооруженным глазом. Похоже, давно принимает «химию». На вид не больше сорока – и тоже... Скоро совсем охляет, истощает. *Он страшно бледен был и худ, и слаб, как будто долгий труд, болезнь шль голод испытал. Он на вопрос не отвечал... и тихо, гордо умирал...* Что ж, раку, как и любви, все возрасты покорны.

Незаметно Семен Борисович потрогал свои седеющие кудри, которыми всегда тайно гордился. Кажется, не редуют еще. Неудобно вот так сидеть бок о бок несколько часов и словом не перемолвиться. Он нерешительно представился соседу:

– Сэм! Семен Борисович. Рак почки, удалили, но метастазы...

Тот медленно поднял невыразительные глаза. Задумался, словно не мог припомнить собственное имя. Пробормотал нечто, что Семен Борисович не уловил, вздернул брови. Парень уточнил, словно нехотя:

– Левое легкое с проросшими этими самыми... метастазами. Облучали. А теперь, кажется и правое тоже... Поздно оперировать.

Обменялись диагнозами, как визитными карточками. Помолчали.

– Я по профессии инженер, – опять не выдержал Семен Борисович. – Инженер-электрик. На большом заводе работал. Главным... ну да что вспоминать. Теперь вот на пенсии. А вы?

– Рабочий! – неожиданно в голосе его зазвенела гордость. Ты откуда, товарищ? Из Польши?

Угадал, значит. *Вставай, поднимайся, рабочий народ...* Старик от удовольствия потер руки, и дальше беседа шла живее.

– Нет, из Советского Союза приехал

– Из России, значит? – оживился и сосед. – Вы молодцы – всех своих буржуев ухлопали одним разом! Я читал Ленина. Пролетариат – это сила! В Америке – произвол империализма и частной собственности, – продолжал он жарким шепотом, – но мы еще поборемся. Разве это справедливо, что бездельники, спекулянты живут в шикарных небоскребах в Даунтауне? А рабочий простой люд, труженики – в *трейлерах* и халупах, на окраинах?

– М-м-м-м... да, есть в этом некоторое несоответствие. Но, знаете, социально устройство общества сложная штука. Нельзя решать судьбы народов вот так с кондачка. Вещь мир насилья мы разрушим до основанья... а зачем? Новый мир построить – титаническая задача. Исторический опыт показывает...

– Мы еще покажем всем этим акулам капитализма! – перебил бритоголовый. – Мы им всем покажем, покажем, сволочам, гадам зажавшимся... – и отчаянно закашлялся. – Перекроим эту чертову страну (кхе-кхе!), весь земной шар (кхи-кхи!) в духе равенства и справедливости! – ухватился татуированными руками за горло, забулькал, захрипел.

Подбежала смуглая Тида, медсестра-филлипинка. Подала стакан воды. Залепетала озабочено с малопривычным акцентом. *Как ночи Украины, в мерцании звезд незакатных, исполнены тайны слова ее уст ароматных...* Больше всего она напоминала кукулю-переростка. На сестринском халатике Тиды детского

размера резвились красные медвежата и желтые пингвины. Подскочила другая медсестра, высокая полька Ванда, зазвенела тревожно дешевыми браслетами, затрясла сережками. За ней санитарка-мексиканка подкатила белый столик, оскалила сахарные зубы. Сделали соседу укол.

Именно тут, в Штатах и организовали подлинный интернационал, а не там, в Союзе. «Русский народ – первый среди равных». Гнездо махрового шовинизма! Пожил бы ты, товарищ американец, в России или на Украине с пятой графой! Там бы показали тебе, где раки зимуют. Или посидел в лагере лет десять, в местах, куда Макар телят не гонял, как мой отец, тоже убежденный коммунист, между прочим. Неожиданно Семену Борисовичу тоже захотелось выкрикивать лозунги, но совсем иного рода. Ну вот, никогда не знаешь на кого напорешься! Американский коми-фантик. Умирает, а туда же, рвется переделать мир. Господи, люди везде одинаковые и ничему не учит их история. Но стоит ли спорить с ярым коммунистом, погибающим от рака легких?

– Можно мне тоже воды, прелестная Тида?

– Конечно! – улыбнулась Тида. И медвежата с пингвинчиками заулыбались на халатике. Никакой бело-застиранной казенщины. – Может быть, сок? Яблочный, апельсиновый, клюквенный? Дать вам вторую подушку или одеяло? Мы их держим в специальном подогревательном шкафу.

Скоро сосед задремал, жалобно посапывая. А Семен Борисович, что-то долго бормотал под нос, закутавшись в подогретое одеяло: *никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и не герой. Добьемся мы освобожденья свою собственною рукой.* Руки стали совсем тощие. *Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой, отвоювать своё добро, ... вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо!* Ох, горячо внутри от этой капельницы. То ли яд по жилам растекается, то ли медикаменты их чертовьи. Недоброе что-то. Мысли путались, спотыкались. Да и где оно, это добро? Кто его видел? Вот опять Ванда приближается со шприцем. Очередной анализ. Сколько можно? *Довольно кровь сосать, вампиры!*

Вспоминал старик свою длинную, сложную жизнь, рассеянно смотрел в остекление до пола, за которым был виден маленький садик. Тоненькие деревца только начали ошестиниваться зелеными почками. Еще сухой грустный куст краснел прошлогодними ягодами. Радостно лезли из травы первые нахальные одуванчики. Небо светлело по-весеннему. Где-то там, в бездонном просторе космоса за тонкой воздушной пленкой развалилась Большая Медведица, затягивал свой пояс Орион, жались друг к другу Плеяды, беззвучно лаяли Гончие Псы, а из соседней школы «Монтессори» две женщины, длинная и коротенькая, вывели на прогулку одиннадцать детей в шапочках и курточках всех цветов радуги. Длинная воспитательница с британским невыразительным лицом, рыжими вьющимися волосами слегка напоминала Касю. А коротенькая, с широкой спиной и пухлыми щеками – покойную жену, Бетю. По голубому небу растеряно бродили мелкие облака, похожие на заблудившихся, нестриженных овец. И невидимая звездная Кассиопея все смотрела и смотрела на себя в призрачное зеркало, не могла наглядеться.

Семен Борисович не знал, что из одиннадцати детей, гулявших перед ним в садике, двое пойдут в армию, один станет знаменитым пианистом, один погибнет в автокатастрофе через два года в месте со своим отцом. Карапуз в синей курточке станет художником-абстракционистом, впрочем, весьма неталантливый и вынужден будет зарабатывать на жизнь укладкой паркета. Один станет программистом, один передозировается в университете наркотиками и останется умственно неполноценным до конца своих дней. Одна девочка родит четверых детей, будет счастливой домохозяйкой, пока не узнает, что муж изменяет ей с лучшей подругой. Тогда она превратится в домохозяйку несчастливую, но через несколько лет утешится в объятиях местного почтальона. Трое станут врачами. А самая маленькая из них, девочка с костичками, в розовой шапочке с зеленым помпоном, будет принимать роды у Симы, его внуки, которой пока и в проекте не существовало.

И еще он не знал, что соседка Клара имела на него далеко идущие виды, мечтала о браке. Никто из ее молодых поклонников не рвался заводить серьезные отношения: оставались на одну-две ночи, прикладывались к коньяку, съедали все, что было в холодильнике, а потом исчезали бесследно. Если бы они поженились, Клара, может быть, и выходила Семена Борисовича.

13:15. Выдав пока закончится в окружающих офисах обеденный перерыв и поредеет полуденная толпа, Джейкоб спустился в холл. Поморщился – в двух громадных китайских вазах экзотические букеты чуть не в рост человека, зеркала. Двухметровый черный швейцар в ливрее с золотым позументом улыбается ослепительно, словно год не видел Джейкоба и теперь не может поверить своему счастью. Кожаные лиловые диваны. Мягкие бело-розовые персидские ковры. Мраморный камин. Кому нужна вся эта бьющая в глаза показная роскошь? Выбрасывают денежки на ветер. Но для Айзека – все самое лучшее! Мальчик привык.

Сам Джейкоб провел детство и юность в еврейском районе, в Роджерс Парке. Отец держал крохотную пекарню, где подрабатывали подростками и Джейкоб, и его друзья. Ничего вкуснее маминых «кихалах» и лимонного печенья он в жизни не ел. Порой во сне его до сих пор дразнит запах теплой корицы и свежее выпеченных хал. Родители и сейчас там живут, недалеко от постаревшей и обветрившейся синагоги Маунт Синай, в скромном одноэтажном домике, ослепшем от разросшегося винограда. Но Айзека ждет другая судьба – у мальчика блестящие перспективы.

Первым делом Джейкоб пожаловался консьержке на сантехника. Вполголоса, чтобы не слышали другие проходившие мимо жильцы. Незачем выносить сор из избы и портить репутацию дорогого кондоминиума. Мэйган Макдуган (он прочитал имя на бронзовой табличке на стойке) рано постаревшая высокая женщина с черными внимательными глазами и солидными манерами, понимающе кивала:

– Конечно, разумеется – сантехник будет незамедлительно уволен. Подобные инциденты недопустимы. Даже само подозрение... Спасибо, что вы поделились своими... сомнениями в его профессиональной пригодности. Как Ваше здоровье? Я видела вашего сына сегодня утром. Он очень возмужал.



Давид Бурлюк. “Enigma”. Живопись. Из коллекции Тамары и Леонида Дитинских.

Миссис Макдуган работала в их доме уже десять лет и знала всех жильцов. Джейкобу казалось, что она относиться к их семье с особым сочувствием, зная, что мальчик – сирота.

– Да, Айзек, мой малыш – уже студент! Не верится. Совсем взрослый....

Высокий холл огласился залившимся лаем – соседка с тридцать восьмого этажа, та, что жила прямо над ним, тащила на сворке домой трех белых шпицев. Скользя за собаками на высоких каблуках по мраморному полу, она пронеслась мимо. Зацепилась за персидский ковер и с размаху села на лиловый диван. Джейкоб и консержка одновременно сочувственно улыбнулись.

– Мейган, душечка! Я не могу справиться с этими избалованными дьяволами. Дома они шелковые, но стоит их вывести на улицу – и псы просто дуреют. Нет времени их выгуливать, а поручать незнакомому человеку я не хочу. Когда вернется твоя Лиззи? Я вся измучилась с этими капризными тварями. Ну что, мои сладкие? Ну что, мои золотые песики? Мамочка устала. Мамочка посидит на диване, отдохнет, и мы пойдем домой. Вас уже ждет овсяная кашка и печенка.

– Позвольте Вам помочь, миссис Филлипс. Поводок запутался. Вокруг лапы. – консержка поспешно выбралась из-за своей конторки и ловко распутала лающий и визжащий мохнатый клубок. – Вот так, все в порядке, видите! Со следующей недели моя средняя дочка Шейла будет выгуливать собак в нашем доме. Лиззи занята... Пошла в колледж, – Мейган бросила быстрый взгляд на Джейкоба.

Он понял так этот взгляд: «не только вашему Айзеку нужно учиться!» Дочка консержки, застенчивая рослая девушка с такими же черными, как у матери глазами и пышными волосами уже несколько лет выгуливала всех собак в их доме. В том числе и коричневого пуделя, принадлежавшего Айзеку. Мохнатого Сашу пришлось усыпить прошлым летом. Лиззи искренне утешала Айзека и его отца, который не слишком любил шумную собаку. И сама плакала.

– Лиззи больше не будет присматривать за собаками, миссис Филлипс, – продолжала консержка, удерживая Джейкоба в поле зрения. – Но Шейла очень ответственная девочка, вы останетесь довольны. Патрик, мой младший мальчик будет ей помогать.

Но Джейкоб уже не слушал. Первым делом он заглянул в ювелирный отдел магазина «Тиффани», через дорогу. Сначала продавщицы не проявили к нему интереса. Он привык к прохладному приему в дорогих магазинах. Слишком скромно одет. Но потом, когда Джейкоб попросил показать ему кольца с бриллиантами, вскользя упомянув, что живет в том розово-коричневом доме, на другой стороне Мичиган Авеню, ювелирные жрицы зашевелились, призывно заулыбались. Внимательно рассматривал он огранку камней, дизайн. Ни одно из предложенных колец не пришлось ему по вкусу. Вернулся на восточную сторону Великопенной мили, перевернул все прилавки с ювелирными изделиями в «Нейман Маркусе», но и там ничего не купил. Несмотря на заверение девушки за прилавком, что кольцо продается с нереальной скидкой, почти задаром, всего за пять с половиной тысяч, и только сегодня. Транжирить он не привык. Эта продавщица до боли напомнила ему бывшую жену, самоуверенными манерами, ухоженным равнодушным ли-

цом, белозубой леденящей улыбкой, жесткой настойчивостью.

С трудом отбилась от нее Джейкоб и, воровато оглядываясь, нырнул в дешевый «Бейсмент Файлинс». Там приобрел (с некоторой душевной болью) за сто пятьдесят долларов шестьдесят восемь центов серебряное колечко с кубиком циркония, весьма напоминавшее по дизайну двадцатитысячный шедевр от «Тиффани». Не мог он тратить на себя, а вернее, на Касю, деньги своего мальчика! Из солидных доходов от спекуляций на бирже он отстегивал на личные нужды ежемесячную сумму, соответствующую скромной зарплате банковского кассира.

Вернувшись домой, принял душ, побрызгался одеколоном Айзека, для торжественного случая. Покопался на фотографию сына. Ничего, мальчик поймет! Надел белую рубашку с чуть потертым воротником и единственный нарядный костюм, черный в темно-серую полоску. Натянул синтетические черные носки, тоже купленные в «Бейсмент Файлинсе» на дешевой распродаже. Поморщился, втискивая широкие ступни в узкие кожаные туфли. Он всегда донашивал обувь сына, вышедшую из моды. И отправился навстречу своей новой жизни.

Самое время покончить с одиночеством – сын вырос, окончил школу, продолжает учебу. Кася – подходящая кандидатура: молодая, но не слишком. Красивая, культурная еврейская девушка, неиспорченная американским воспитанием. Расходы возрастут, но в разумных пределах. А какие у нее чудесные золотисто-рыжие волосы! Положительно, Кася – сокровище. Тоненькая и прелестная, с доброй душой. Она нежно ухаживает за больным престарелым папашей! И отец ее тоже вполне приличный, образованный человек, видный инженер, в прошлом. А вот живет в бедном стариковском доме с облупленными потолками, экономит, получает благотворительных кур и не жалуется. Даже доволен. Не привыкли у себя в Советском Союзе к высоким жизненным стандартам.

Не придется расходовать деньги Айзека на новых родственников. Да они этого не ожидают. Он и на своих-то стариков не тратится... Дед с бабой сами подкидывают Айзеку по десять-двадцать долларов на праздники. И правильно, на что им деньги...

Наверняка, Касе даже в голову не приходит, что Джейкоб живет в самом сердце Даунтауна, официальный владелец яхты, двух «Мерседесов», загородной виллы на озере Женева в Висконсине и еще мало ли чего. И прекрасно! Имя у нее странное и привлекательное, редкое имя – Кассиопея. Он не поленился, прочитал в греческой мифологии все, про Кассиопею. По мифу, прекрасная Андромеда, дочь Цефея и Кассиопеи, была прикована к скалам для того, чтобы искупить вину матери, которая прогневала морских нимф. Красавица Кассиопея сказала, что она прекраснее всех на свете, чем рассердила ревнивых нимф. (Ну, казалось бы, какая им разница?) Те уговорили грозного бога морей Посейдона наслать на царство Цефея морское чудовище кита. (Не знали греки в древности, что киты совсем не плотоядные. Наука сильно шагнула вперед с тех пор...) Кит всплывал из глубин моря и опустошал эфиопские земли. (Там и сейчас не жирно живут, без всяких чудовищ морских...) Оракул предсказал, что если морскому чудовищу отдадут на растерзание прекрасную царскую дочь

Андромеду, то кара Посейдона окончится. Тогда-то бедная Андромеда и была закована в цепи, оставлена на съедение чудовищу. (Куда только отец смотрел? Да и мамаша тоже хороша!) Но мимо пролетал Персей. (Куда он летел? По делам?) Убив кита, он спас царевну и женился на ней. Пришедшие на свадьбу, по просьбе Кассиопеи, враги Персея, возглавляемые первым женихом Андромеды неким Финеем, затеяли драку. (Все-таки мифологическая героиня была приличной стервой. Кася – совсем не такая!) Драчуны были превращены Персеем при помощи головы Медузы Горгоны в мраморные статуи.

Весьма занимательная история, чего только люди ни выдумают, когда им не нужно думать о хлебе насущном... Он улыбнулся своему скромному отражению в витрине не без самодовольства. Потом, когда они поженятся, Джейкоб объяснит, что миллионы – Айзека, а не его. Он совсем не царь эфиопский и даже не его министр. Объяснит Касе свои планы экономии, разумных трат и постепенного накопления капитала. Пора жениться, пора! Последний шанс и последний приступ молодости. В январе ему исполнилось пятьдесят два года.

Джейкоб не знал, что в следующем году, примерно в это же время он будет сидеть на зеленой скамеечке на краю сквера позади исторической Вотер Тауэр, обливаясь слезами. Будет трубно и жалобно сморкаться в клетчатый застиранный платок, вспоминая с отчаяньем последнюю беседу с сыном. (Последнюю – в полном смысле слова, хотя он еще об этом не подозревает.) Будет перебирать обвинения Айзека и свои нелепые жалкие попытки втолковать мальчику, объяснить, что все было не так, не так... что тот эсэ-токо ошибается, де-фюги все предназначались для сына, он почти ничего не тратил на себя.

На скамейку рядом опустится усталая тяжеловесная женщина в стоптанных кроссовках. Лицо ее покажется смутно знакомым, близким, связанным с каким-то важным давним воспоминанием.

Смирные лошади, впряженные в прогулочные кареты, будут лениво поглядывать в их сторону, выхля и прядя волосатыми ушами. Черная кобыла с белой гривой начнет пить воду из раковины старинного чугуно-потемневшего фонтана с ручным насосом, который прежде Джейкоб никогда не замечал. А другая, серая в яблоках, подойдет совсем близко, ткнется мягкими черными губами в сумку соседки. Та, с извиняющейся улыбкой, вытянет из сумки половинку бутерброда и скормит лошади хлеб. Поглядит усталую конягу по длинной морде и скажет, ни к кому не обращаясь:

– И лошади тоже любят, когда их гладят... и любят...

– Всем нужно, что бы их любили! Хоть кто-нибудь... кто-нибудь!

Такая тоска и боль прозвучат в голосе Джейкоба, что женщина вздрогнет, замрет, будто от близкого взрыва. Посмотрит ему прямо в лицо.

Он изумится глубине и одиночеству ее светлых широко расставленных глаз. Долго-долго они будут сидеть в темнеющем сквере, не обращая внимания на мелкий назойливый дождик. Потом Джейкоб неожиданно предложит ей прокатиться карете по Даунтауну. Всегда ему хотелось проехаться в коляске, за-

пряженной лошаадьми, но он не смел потратить лишнее.

Три года спустя он женится на этой не слишком красивой и немолодой баварской немке, дочке бывшего нацистского офицера (о последнем Джейкоб так никогда и не узнает). Супруги переедут в Денвер и будут вдвоем вполне счастливы.

17: 45, вечер. Как тяжело расставаться с удобными кроссовками! Елки-палки, до чего не хочется начинать рабочий вечер! Нехотя Хелена надела еще теплый от тела сменщицы ненавистный передник. Затянула его потуже на широких бедрах. Тощенькая Божена обкручивает этот проклятый передник вокруг талии вдвое. Вздохнула Хелена: где мои двадцать лет? Или даже тридцать... Хрен его знает, как годы пролетели, рас-толстела, поседела, уже не та стала и вида никакого.

В сорок с лишним она искренне ненавидела свою работу официантки, униформу – белая рубашка с галстучком и черный передник. Ненавидела прелестный вид на Даунтаун Чикаго с девяносто шестого этажа «Хенкока». Ненавидела разношенные, и все-таки жмушие туфли на маленьком каблучке. В приличном ресторане нужно прилично выглядывать, тут в кроссовках не походишь. Не глядя, подкрасила губы розовой ментоловой помадой. Уже весна, а губы по-прежнему трескаются, как в разгар зимних холодов.

Голова болит и ноги словно ватные, а работать до двенадцати ночи. Вчера Хелена слегка перебрала в баре и отправилась домой с молодым русским мальчиком. Что за странная мода пошла у нынешних ребят ухлестывать за женщинами постарше? Пошла бы она домой со своим Шаном, как обычно. Тот бы отвалил через пятнадцать минут и захрапел. А этому русскому все чего-то нужно было, до самого утра, чтоб он скис, зараза! Так и не выпалась. Уж не молоденькая и сон ох как важен.

Из-за сиплого басистого храпа она, в конце концов, и перестала встречаться с Шаном, послала его к лешему. Гудит будто испорченный церковный орган, невозможно уснуть. Он еще и вскрикивать стал по ночам, словно за ним черти гнались во сне. Были, конечно, и другие причины... Когда-то давно они вместе гоняли на мотоцикле Шана «Харли», ездили на рыбалку с ночевкой в Висконсин. Забросив удочки и придавив их камнями, валялись целый день в зеленой теплой траве. Шан, паршивец, дразнил ее «голубоглазой бестией». Купались до одури в любую погоду, плавали наперегонки. Ходили на лошадиные бега, проигрывая последние доллары. Стреляли в тире из ружья. У Хелены лихо получалось, чем у Шана, отец в детстве учил ее стрелять из ружья. И Шан забавно дулся, будто проигравший пацан. Но он здорово умел жарить на гриле отбивные и сосиски, Шан О'Браян, пел ей старинные варварские песни, озорно сверкая черными глазами. Научил лихо отплясывать джигу и свинг.

Со временем первый пыл угас, затянулся золой усталости и времени, как прогоревшие в гриле угли. В последние полгода старый любовник стал таким скучным, рассеянным. Все твердит о мировой несправедливости, одно и то же, до одури. Выкрикивает что-то непонятное и пьет больше обычного. Отощал, мыться перестал, бриться, подойти противно. А голову постриг налысо, – ни кожи, ни рожи. Да и не женится на ней Шан. Слишком любит он свою бутылку и неле-

пую, опасную коммунистическую пропаганду: «Брак – отживший буржуазный институт! Еще одна цепь, чтобы связать руки пролетариата!» Козел, надо ж такую чушь придумать! Так и будет гнить он, зараза, до старости в кособоком *трейпере*. Если его не посадят опять.

Она тоже когда-то увлекалась левыми идеями, когда училась. Но пришлось бросить коммюнити колледж. На одной фабрике ишачила, потом на другой, а юность незаметно прошла. Пора, пора Хелене серьезно подумать о муже. Найти спокойного мужика, пусть небогатого, но с домом, с огородом...

Тяжелые подносы, капризные посетители, придирчивый менеджер, ленивые повара. Что это за жизнь, к лешему?! Парочка за восьмым столиком ушла, поссорившись. И не оставили, гады, никаких чаевых. За двенадцатым две ожиревшие некрасивые подруги громко спорили про новомодную диету. Большая компания человек в восемь требовала, чтобы их посадили немедленно, без предварительной договоренности, не желая слушать никаких возражений. Грузный мужчина с лохматыми бровями за десятым потребовал специальную французскую горчицу, за которой Хелене пришлось бежать в магазин деликатесов. Благо – недалеко.

Зажглись фонари на бесконечных улицах, уходящих в ночной туман. Куда они ведут? Интересно, есть какие-то люди там вдали, что не пашут, как ломовые лошади, за гроши и довольны жизнью? Или все родятся на свет, чтобы маяться, как она, Хелена? Ну, богачи, конечно, не в счет. Озеро потемнело. Только на редких ятах затеплились фонарики. Есть же счастливые бабы, которые плавают по озеру на яхтах своих мужей, а не вкалывают всю жизнь официантами!

Если бы у Хелены были деньги, она бы открыла маленькое кафе. А лучше – пекарню. Ни у кого в их большой семье не получают такие замечательные пирожки с капустой и мясом или штрудели с орехами и повидлом. Даже отец, со своим жутким стеклянным глазом, вечным брюзжанием и офицерской выправкой, веселел и добрел от сладостей Хелены. Мрачный, подозрительный старикан, обленевшийся склочный боров и тот блаженно улыбался дочке, показывая темные пеньки зубов. Говорил, что ее печенье напоминает счастливое детство в Баварии. На все свадьбы, крестины, поминки и дни рождения многочисленных родственников она пекла свое особое печенье, получившее название «Хелен». От этого руки у нее постоянно пахли корицей и лимонной цедрой.

За восьмым столиком обосновались три пожилых дамы – накрашенные мумии в бутиковых нелепых, но дорогих жакетах. И, похоже, просидят там целый вечер над кофе и десертом, сплетничая о знакомых и родственниках, жалуясь на детей и внуков, позванивая драгоценностями, кашляя и сморкаясь. Жуткие, как смертный грех, а туда же – по ресторанам шляются, только людей пугают. На чай, небось, оставят по доллару с носа, знает она такую публику. Шестой столик пустует, хотя заказали его на семь. Но народу сегодня немного, можно и подождать, не отвалиться.

Она подносила мумиям свежий кофе, доставляла из кухни заказы и продолжала тихо чертыхаться.

Хелена не знала, что будет вскоре горько рыдать на похоронах Шана, чувствуя себя безутешной вдовой. Она не знала, что мечта ее о собственной пекар-

*не через несколько лет исполнится. Не знала, что по-
вет навсегда со своей семьей, возьмет другую фами-
лию, переедет в другой город, никогда не будет уже
разговаривать с мамой и сестрами, боясь «разобла-
чения», даже не приедет на могилу отца. Не знала
Хелена, что сегодня вечером произойдет самая важ-
ная встреча в ее судьбе.*

19:25. Нервно переминаясь с ноги на ногу, Джейкоб ждал у черного здания «Хенкок» в самом начале Великолепной мили. Странно! Кася задерживалась! Неаккуратно, невежливо. Встреча назначена на семь вечера. После относительно теплого дня резко похолодало. Ветер рвал новый синий в серебристо-серый горошек галстук и бил им по лицу. Начало моросить. Перестало. Возле церкви на другой стороне улицы зажглись синюшные фонари, вспыхнул желтыми огнями крест. Можно было вернуться в домой и надеть плащ. Совсем рядом – один квартал. Но он боялся пропустить Касю. И, вообще, не любил возвращаться – дурная примета.

Половина восьмого. Если она проявляет такую неаккуратность, когда они встречаются, что же дальше будет? Как сначала поведется, так и дальше пойдет. Столик с видом на Нейви Пир зарезервирован на девяносто шестом этаже «Хенкока», но если она опоздает – можно его потерять и тогда весь план придется менять.

Он не знал, что какой-то старик зацепил Касю в автобусе своим поломанным зонтиком. На колготках пошла стрелка. Как назло сегодня она надела миниюбки и туфельки, вместо высоких сапог. Расстроилась до слез. Металась в по «Нейман Маркусу», покупая новые колготки. Переоделась в туалете. Пыталась на ходу починить потекший макияж.

Бежит, бежит, вот уже почти подбежала к «Хенкоку».

Опять начал накрапывать скучный дождик. Никак не начнется настоящая весна. Кася подлетела на всех парах, раскрасневшаяся, еще более растрепанная, чем обычно. Это его слегка обидело – неужели женщина не могла причесаться, привести в порядок перед таким важным свиданием? Конечно, она еще не знала, что свидание важное, но все-таки... Год как они познакомились. Знаменательная дата. Первый юбилей. Неужели она и об этом забыла?

Долго извинялась Кася, неловко врала, что на работе задержали, и автобус долго ехал. Не рассказывать же о порванных колготках! Джейкоб вежливо заверял, что ничего страшного. Не так уж и сильно она опоздала... Но настроение уже слегка подпорчено у обоих. В лифте он все время ощупывал маленькую квадратную корбочку в своем кармане и пытался поймать Касин взгляд. Та упорно глядела в пол. Обиделась? Сердится? Сожалеет, что пришла?

– Мы едем на девяносто шестой этаж, в ресторан с самым прекрасным видом в Чикаго. Ты тут бывала раньше?

– Нет.

– Ресторан не самый изысканный, как, скажем «Рапсодия» или «Тру», не пять звездочек. Но вид компенсирует все прочие недостатки. Мы будем шиковать – закажем шампанское. Ты любишь шампанское?

– Да.

– У меня есть план – на твой день рождения я приглашу тебя в «Тру».

Конечно, в «Тру» обед ему обойдется по сто долларов с человека плюс чаевые, и это только основные блюда, без вина. Но раз в жизни можно позволить себе такую роскошь – повести свою невесту в один из лучших ресторанов Чикаго. Если Кася согласится сегодня принять кольцо... И он продолжал с преувеличенным энтузиазмом:

– Шеф «Тру» создал удивительную специфическую кухню, я читал недавно о нем в журнале «Грумэн». Смесь «пан-американ» и «пан-эйжен», представляешь? Ты любишь блюда в стиле «пан-эйжен»?

– Не знаю.

Поездка в лифте тянулась невероятно долго. Одушевленная группа туристов стремилась в бар. От них пахло потом, цветочными дезодорантами, пивом и беззаботной молодостью. Две другие нарядные пары постарше, втиснувшиеся вместе с ними в кабину, весело щебетали. На морщинистой щеке одной из гранд-дам блестело изумрудное кольцо тысяч на двадцать. Это же надо так деньги транжирить впустую! Глядя на изумруды, Джейкоб почему-то расстроился. Правду говорит русская пословица, которой Кася его научила: «Нужно с человеком шестнадцать килограмм соли вместе скучать, чтобы его хорошо узнать». Неужели только сейчас начнет проявляться Касин подлинный характер?

Когда официантка усадила их за столик с видом на сверкающий огнями Нэви Пир, Кася даже не глянула на прекрасный вид. Напрасно он пытался привлечь ее внимание колесом обозрения – мигающим огненным кругом, светлячками далеких яхт. Огни большого города явно не интересовали его потенциальную невесту. Она ничуть не оживилась даже когда принесли меню. Только плечами передернула:

– Заказывай, что хочешь.

– Хочешь шампанского? Полусухое? Сладкое?

– Все равно.

– Тогда я закажу бутылку полусухого. Или два бокала? Так дешевле будет...

– Можно даже один. Мне пить не хочется, – в ее голосе сквозило раздражение. – Извини, я выйду на минутку...

И пропала на четверть часа! С тяжелым предчувствием он рассматривал на веселые огни Даунтана. Лейк Шор змеился далеко внизу. В одну сторону тек густой поток белых и желтых огней, в другую – красных. Две змеи, ползут рядом, но никогда не соединяются. Так и люди. Что мы знаем друг о друге? Догадки, надежды... Ложь и наглые увертки, измены, как с бывшей женой.

Под столом Джейкоб скинул тесные туфли, облегченно пошевелил пальцами ног. Белокурая официантка сочувственно вздохнула, подавая закуски.

– Жмут?

– Что? Что? – смутился он.

Официантка лукаво кивнула на его черные носки, выглядывавшие из-под белой скатерти. Он поджал ноги под стул. Она добродушно усмехнулась:

– Мои тоже немного жмут... – опустила глаза на свои слегка подпухшие щиколотки.

– Работа такая, все время на ногах? – пришла его очередь вздохнуть сочувственно. Поковырял вилкой в салате.

Блондинка отошла, завлекательно шевеля полными боками, вернулась – принесла свечи в хрустальных ва-

зочках. Настроение создают для влюбленных пар. Официантка поискала глазами его спутницу. Вопросительно вскинула брови. В ответ Джейкоб несколько иронически пожал плечами и скривил губы якобы в усмешке. Та понимающе опустила веки.

– Горячие блюда подавать?

– Подождите еще немного. Ладно?

Он пересчитал кредитки в кошельке – денюжки счет любят. Джейкоб предпочитал расплачиваться наличными, нравилось шуршание купюр. Нужно оставить приличные чаевые этой приятной женщине, доллара три-четыре. Покачивая бедрами, официантка удалилась с достоинством увесистой греческой богини. Словно они и не разговаривали ни о чем. Славная тетка, симпатичная. И пахнет от нее приятно, подомашнему – лимоном, корицей, не так, как от этих разнузданных девчонок в лифте.

Вернувшись, Кася опять вперилась взглядом в скатерть. Что она там высматривает? И едва прикоснулась к еде. А от шампанского же совсем отказалась. Пришлось Джейкобу выпить оба бокала – не пропадать же добру. И сладкого не захотела. Он задал несколько вопросов об отце, о работе. Рассказал о книге, которую недавно дочитал: биография Бенджамина Франклина. Занимательная книга – политический деятель, дипломат, учёный, изобретатель, журналист, издатель, масон.

– Один из лидеров войны за независимость США. Один из разработчиков дизайна Большой Государственной Печати США (Великой печати). – преувеличенно жестикулируя, живописал Джейкоб. – Он – единственный из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, что лежат в основе образования Соединенных Штатов Америки, как независимого государства. – И стал перечислять, загибая короткие пальцы, – Декларацию независимости США подписал, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 года. Это второй Парижский мирный договор, формально завершивший войну за независимость тринадцати британских колоний в Северной Америке. Независимости от Великобритании.

– Да, его портрет на стодолларовой бумажке. Правда, я такие редко видела...

– Ты права, портрет Бенджамина Франклина на стодолларовой купюре с 1928 года. – (На что она намекает? Денег просит? Уже?) – И к тому же он первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук.

Но и Франклин у будущей невесты большого интереса не вызвал. В свою очередь Кася пыталась в лицах пересказать забавную встречу со своей бывшей сотрудницей из Киева. Но в переводе выходило нечто несусветно-глупое, бессмысленное. В середине представления ей самой стало так скучно и невесело, что она смолкла на полуслове. И Джейкобу стало за нее неловко. Не клеилась беседа. Гнетущие паузы затягивались. У спутницы такой вид, словно ее вот-вот стошнит. От компании или от еды?

Он решительно затолкал неудобную коробочку глубже в карман брюк. Поворачиваясь, всякий раз чувствовал острые углы, будто шило в кармане. Всем известно, что предложение следует делать в романтическом месте. Когда подадут шампанское и десерт. Нет десерта – нет и предложения! Кому нужна жена,

которую от вас тошнит? Точно Кассиопея самодовольная – даже не смотрит на Джейкоба. План не сработал. Зря только деньги выбросил на ужин.

Джейкоб не знал, что Касе он чем-то напоминал отца в молодости, было его жалко и хотелось защитить от одиночества. А жалость в сочетании с симпатией легко переходят в любовь. Если бы Джейкоб все-таки сделал предложение, она бы немедленно ответила согласием. Так надоели ей постоянные ссоры с легковесным Андреем, неустроенность, одиночество. Еще он не знал, что всю жизнь Кася панически боялась высоты и лифтов.

19: 55. И никто не знал, что в ближнем пригороде Чикаго, у человека по имени Шан О'Браян тоже был свой план, который он лелеял в душе уже несколько месяцев и тщательно подготавливал.

Он с натугой перетащил из побитого «трака» в синий мини-автобус, одолженный у сестры, последнюю, шестую канистру с бензином. Водрузил на груды мешков с удобрениями. Подумал, отвинтил крышку канистры и разлил немного бензина на раздувшиеся мешки. Хотел закурить, но вовремя спохватился. Взглянул на часы – ровно восемь. Дождь накрапывает – но это не помешает. Все идет по плану. В половине девятого, когда на Великолепной Миле самый разгар веселья и рестораны полны в пятницу, он уже будет на месте. Можно передохнуть несколько минут. Он устал. Очень устал. Но скоро-скоро – вечный отдых. Покой.

Подойдя к трейлеру, Шан тяжело опустился на верхнюю ступеньку крыльца. С удовольствием закурил, прикрывая широкой ладонью зажигалку от порывов ветра. И внезапный ветер нужно учесть в его плане. Выждать, чтобы огонь не понесло в другую сторону.

После хорошо сделанной работы приятно отдохнуть. Автобусик сестры вполне приличный, не вызовет никаких подозрений. Он представил, как разозлится Мейган. Усмехнулся. Задумался. Жаль старшую сестру, жаль, очень жаль. Остаться вдовой с тремя детьми – нелегкая судьба. Да тут еще Шан со своими проблемами. Завтра она останется и без брата, и без машины... Ну Шан – не велика потеря. Никогда не отличалась Мейган терпением, но за младшим братиком всегда ухаживала, присматривала, как умела. Выручала, даже деньги одалживала, и в тюрьме навещала, после той неудачной демонстрации.

Он тоже был привязан искренне и к сестре, и к племянникам – его семья, родная кровь. Лиззи выросла симпатичной девушкой. Но молчаливая, в отца. Особенно по душе Шау был рыжий Патрик, самый младший и шустрый – вечно куда-нибудь влезет, одни неприятности. Точно – Шан в детстве. И в молодости. И потом. Будущий коммунист растет! Как это несправедливо, что и Мейган, и он, и даже дети вынуждены горбатиться всю жизнь на свиней-капиталистов! Пусть сестра не делает вид, что так уж счастлива проводить свои дни за стойкой, прислуживая богатым лентяам-жилцам. Подумаешь – консьержка! Имя на бронзовой табличке. И вечно его поучает, поучает, как жить, стесняется, когда он заходит в ее мраморный дворец...

Взорвать весь этот мир к чертовой матери! Чтобы на мелкие кусочки разлетелся. И построить новый, счастливый свободный. Как поется в Интернационале.

Новый, счастливый мир без рабов и эксплуататоров. Конечно, Шау, не удастся взорвать весь мир, но вот «Хенкок», или «Сирс»... Синий мини-автобус его стараниями превратился за несколько дней в мощное взрывное устройство.

Все-таки О'Браян остановился на почти стозатжном «Хенкоке» – удобнее подъехать со стороны Лейк Шора. И врезаться с разгона в остекленный вестибюль, ведущий к лифтам! Вспыхнет получше «коктейля Молотова», которым они кидали в полицейских свиней на демонстрациях. Шан усмехнулся, потушил окурочок каблук рыжего сапога, закурил вторую сигарету. Взлетит на воздух гордый небоскреб вместе с ресторанами и магазинами, вместе с зажавшимися капиталистами, с их избалованными шлюхами! А ему все равно умирать. Как несправедливо, обидно! И до полувка не дожил. Весна приходит не для него.

Хотелось завывать, отчаянно, по-волчьи. О'Браян поднял бритую голову к черному небу, ощерил белые острые зубы. В просвете между тучами показалась обкусанная луна и осколок какого-то созвездия, Ориона, что ли. Он вспомнил, как в школе когда-то увлекался астрономией. Алдебаран, Аркатур... У них в школе был настоящий телескоп. И учитель обещал, что поможет поступить в колледж. Говорил, что у Шана большие способности к физике. Но после той страшной драки с мексиканцами и потом, когда они вдвоем с Роббом Макдуганом подожгли кабинет директора, и речи уже не могло быть о дальнейшей учебе. Хорошо еще, что их тогда не посадили по малолетству. Потом он встретился с умными людьми, ему объяснили: учеба – не главное, важно классовое самосознание.

Так пусть хоть теперь вспомнят о нем, о гордом и бесстрашном рабочем человеке Шане О'Браяне! Назовут его именем фабрику или завод. Или звезду. Он останется в памяти родных и друзей. Своих детей не завел, но племянники будут говорить о нем с гордостью, и дети их, и внуки.

Все. Пора! Пора! Прощай, сестричка Мейган! До скорой встречи, молчаливый Робб. Прощайте далекие товарищи по классовой борьбе во всем мире! Прощай белокурая и теплая стерва Хелен! Ты бросила меня в тяжелую минуту! Нашла новую работу где-то в городе и теперь даже не заглядывает к старому возлюбленному. Ну и черт с ней... Прощай верный «Харли»... Будет на тебе ездить рыжий Патрик, когда подрастет и катать веселых подружек. Много было и хорошего в жизни. Жаль, все-таки, что она заканчивается вот так...

Шан затянулся в последний раз. В последний раз в жизни! Тяжелая волна тошноты захлестнула его. Рот затопило горечью. Стянуло грудь острой болью. Отпустило. Захлестнуло опять.

Он неловко поднялся. Зашатался, ухватился за мокрую стену и с булькающим звуком выпустил омерзительно кисло-горькую струю из горла прямо на ступени. И еще, и еще. Колени ослабели, подогнулись. Его обдало жаром. Загудело в ушах полицейской сиреной. Неужели за ним? Но он ведь еще ничего не успел сделать! Не успел! Ничего не успел! Вперед...

Шан О'Браян сделал неуверенный шаг вперед, еще один. Опасно закачался. Поскользнулся на собственной блевоте и рухнул с крыльца, неловко ударившись виском о нижнюю ступеньку.

Шан не знал, что его племянница Лиззи окончит университет и станет юристом. А рыжий Патрик возьмется за ум в последнем классе школы и последует по ее стопам. Не знал, что его самого найдут на ступеньках трейлера только на следующий вечер. В гостинице он пролежит в коме еще три дня и умрет, не приходя в сознание. И соседи будут удивляться: зачем это О'Браян натолкал полный автобус удобреньями, когда у него был собственный рабочий трак? Догадливая Мейган, памятуя о прежних художествах брата, запретит своим детям даже упоминать имя непутевого дяди, а мотоцикл «Харли» тут же продаст.

И никто об этом ничего не знал.

Весенний вечер завершился безо всяких происшествий.

ГЕННАДИЙ ГОЛОВИН

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Памяти Александра Казанцева

1. До этого дня, точнее вечера, поэт Иван Гогин или, как шутя называли его сотоварищи по творческому Союзу писателей, кто – Ван Гог, кто – Гоген, жил со своей возлюбленной Гулечкой душа в душу. Вот уже восьмой месяц пошёл со дня их совместного счастья...

Иван не спрашивал, почему был выбран именно он. Звёзд с неба не хватавший, разменявший в этом году "полтинник", писавший «сколько положено и каких положено» стихотворений. Главное, как ему казалось, умственно и физически он пребывал в полном порядке. Да и как могло быть иначе, когда Гулечка творила просто чудеса в их интимной жизни. Вся: задор, движение; выдумка. Чуть выше среднего роста, стройная, подтянутая, энергичная, с выющимися до плеч солнечного цвета волосами, которые она привыкла отбрасывать со лба назад резким движением рук.

...Встретились они на вечере Поэзии (к этому слову Иван относился с трепетом). Он, как и сотоварищи по Союзу писателей, прочёл своё стихотворение. Она, присутствующая в качестве внештатного корреспондента от ассоциации "Семья и общество", задала вопрос (почему-то именно ему) о радостях-горестях семейной жизни в кругу поэтов. Он, убеждённый холостяк, ответил что-то полушутя-полусерьёзно. После вечера разговор продолжился. Как говорится, слово за слово...

В такси, по дороге к её дому, поддерживая неприступно-приподнятую атмосферу вечера, договорились о встрече в ближайшее воскресенье. Так и завязался их роман. Встречались по обоюдному желанию, не надоедая друг другу лишними расспросами о прошлой жизни.

Впрочем, Ивану особо хвастаться было нечем. Те вспышки чувственных желаний, которые выдавали его в стихах, обычно гасли в случайных встречах после банкета с кем-нибудь из сотрудниц их поэтического Союза. Вот, например, с Кулачниковой из отдела связей с поэтами ближнего зарубежья, женщиной, несмотря на свою боевую фамилию, безотказной и податливой.

После знакомства с Гулечкой, он решил избавиться, как ему казалось, от этих вредных привычек и мало-

помалу переключиться только на неё. Ему нравилось сочетание её детскости и наивности во взглядах с фантазиями в интимной обстановке, которых у Гулечки было "хоть пруд пруди". Гулечка, по её словам, пока только искала себя в мире непростых, свалившихся на страну и, соответственно на неё, рыночных отношений.

Окончив частный колледж семейно-брачных уз, она "по протекции друзей" и на грант зарубежного гуманитарного фонда, участвовала в многочисленных социологических опросах, форумах, конкурсах, встречах за круглым и другими столами с творческими людьми. Она так же являлась членом многочисленных инициативных групп и избирательных комиссий. При этом, не забывала поддерживать хорошую физическую форму: ходила на танцы, играла в теннис, посещала бассейн с сауной и массажем, занятия йогой. Это был её активный отдых.

Иван участвовал в текущих мероприятиях Союза, иногда выезжал в творческие командировки, продолжал заниматься сочинительством: порой лучше; порой хуже. В его личной жизни стал постепенно укореняться если не семейный, то стабильный домашний уют, о котором Гогин всегда втайне мечтал.

Гулечка всё крепче становилась на ноги, чаще обычного в последний месяц задерживалась на мероприятиях, подолгу обсуждала деловые вопросы по домашнему и мобильному телефонам, так что позвонить к ней Ивану было делом непростым. При встречах же по-детски оправдывалась, что старается "изо всех сил" быть с Иваном чаще. Эти "изо всех сил" особенно нравились Гогину, льстили его самолюбию. Когда же ночь заставляла их вдвоём, Гогин блаженствовал. Он таял от женских ласк, затихавшей от этих же ласк Гулечки, от сладкого сна, когда она припадала головой к нему на грудь.

После таких ночей Гогин приходил на службу в редакцию газеты, как на праздник: в хорошем расположении духа, бодр телом и молод душой. Сотоварищи добродушно подтрунивали над ним – он отшучивался. Словом, на жизнь, несмотря на происходящий вокруг бардак в стране, Гогин не жаловался.

2. ...В этот день была намечена встреча с одной из писательских организаций Сибири. Сибиряки были желанными гостями ещё со старых по нынешним понятиям советских времён и прилетали к ним раз в три-четыре года, как себя показать, делаясь творческими достижениями и планами, так и послушать литературную первопрестольную столицу. В этот раз они прилетали с десятилетним юбилеем своего литературного журнала.

Гогин заранее предупредил Гулечку, что вернётся поздно и по обоюдному согласию в этот вечер решено было не встречаться. Как часто бывает, его величество случай спутал все планы. "Гонец", отправленный в аэропорт, позвонил и сказал, что самолёт с сибиряками задерживается на неопределённое время в связи с неблагоприятной погодой. Встречу перенесли на завтра.

Иван, не позвонившись к Гулечке, решил поехать домой. Сидя в середине вагона, он отвлечённо глядел в окно на очередную приближающуюся станцию. Его внимание привлёк автомобиль, лихачом въехавший и резко затормозивший на середине станционной парковки. Сквозь стёкла машины было видно, как женщина, сидевшая в салоне рядом с водителем, обняла

его и поцеловала в губы. "Волосы, как у Гулечки и характерное отбрасывание их назад", – мелькнуло в голове Ивана в тот самый момент, когда из автомобиля выпорхнула сама Гулечка, махнув рукой отъезжающей машине и направляясь к стоящей пригородной электричке.

Гогин от неожиданности замер, не веря своим глазам. Он мог объяснить приезд Гулечки на промежуточную станцию тем, что её подвёз кто-либо из бывших одноклассников или студентов колледжа. Он мог допустить дружеские объятия и "дежурный" поцелуй в таких случаях при прощании, вошедшие в моду в годы новых экономических отношений, но он не мог понять, как Гулечка может так легко целовать врасплох другого мужчину...

Дальнейшие события развивались, как в мастерски поставленном, круто закрученном любовном фильме-триллере. Иван не успел сообразить, что скажет вошедшей в электричку Гулечке, если она попадет в его вагон. Но она, вместо того, чтобы идти к дверям электрички, юркнула в тоннель подземного перехода, соединяющий противоположную платформу. "Неужели заметила? Нет, не могла. Пойти за ней? Успеть или нет?", – пронеслось молниеносно в голове у Гогины.

Вдруг, догадка острой иглой кольнула Ивана в сердце. Лоб покрылся испариной. Он медленно повернул голову и увидел, как на парковку противоположной платформы въехал уже другой автомобиль, к которому направлялась вышедшая из тоннеля Гулечка. Всё остальное было повторением предыдущей сцены с точностью до наоборот. Автомобиль тронулся с места в унисон с медленно набирающей ход его электричкой. Гогин был "убит наповал".

3. Домой идти не хотелось. Выйдя из электрички, он автоматически шёл по улице параллельно железной дороге. Затем, в неустановленном для перехода месте, чуть не попал под колёса автомобиля. Проходя мимо кинотеатра, решил зайти и в темноте зала обдумать свою дальнейшую жизнь. Однако сильно думать не пришлось: фильм назывался "Страсть и коварство любви".

Отсидев фильм, вышел и побрёл домой, размышляя по пути о превратностях судьбы. "Была бы лётная погода, состоялся бы вечер Поэзии, на котором бы читались и обсуждались стихи, – размышлял он про себя. – А потом был бы традиционный банкет. Вместо этого – кинотеатр, в котором он был года три назад... эта станция электрички с двойным обзором... пропади она пропадом... Ведь за долгие годы езды, он никогда не обращал внимания на этот обзор. И, Гулечка, порхающая из машины в машину, как последняя ...".

Подходя к дому, решение было принято окончательно и бесповоротное – расстаться.

4. Свет в квартире был включён. От неожиданности Иван остановился в проходе открытой двери. Из комнаты вышла Гулечка с мокрыми кудряшками волос, в коротком кимоно, завязанном пояском так, что были видны прелести её стройной фигуры. Направившись к нему, заговорила без умолку: "Я решила сделать тебе приятный сюрприз. Да заходи же и закрой дверь, а то меня просквозит... Встреча с интервью закончилась рано, и вот я здесь, у тебя, и вся твоя. В последнее время общественная работа не даёт нам возможность часто встречаться, зато сегодня..." – она многозначительно улыбнулась...

Видя, что Гогин молчит, продолжила: "Сегодня мы будем заниматься малоизученным способом восточной любви-борьбы в позе "богомол".

Скажи это Гулечка день назад, Иван бы полушутя спросил, а что это такое, предчувствуя с возбуждающей дрожью в теле, какой-нибудь сексуальный очередной Гулечкин выверт. Сейчас же, эти слова вызвали протест и бешенство, вплоть до тошноты.

"Спокойствие. Только бы не сорваться. Глубокий вдох – счёт до трёх – выдох". Он продолжал стоять в проёме открытой двери, ибо закрытая дверь – путь к отступлению; к объяснению; к примирению. Глядя не в глаза, а в Гулечкину переносицу, внятным, чётким голосом отчеканил: "Вон из моей квартиры..."

Слова Гогины ударили Гулечку, как обухом по голове, а его неподвижная в дверях фигура в позе "каменного гостя", заставила её по-настоящему испугаться. В ответ она смогла лишь вымолвить: "Что же я, в таком виде пойду?", – быстро развернулась, не преминув обнажить свои достоинства. Она скрылась в комнате, на ходу лихорадочно соображая, что мог узнать Гогин и, где она допустила прокол. Минут через десять, в обтягивающих бедра брюках и такой же обтягивающей грудь водолазке, одетых на голое тело (последняя попытка убажить Гогины), Гулечка вышла из комнаты и направилась к нему.

"Ключ", – не поддался на её уловку Иван. Гулечка достала из сумочки ключ, положила его на тумбочку, вышла в коридор, обернулась и с гордым презрением сказала: "Ты, не Гогин, ты – убогин". Стук каблуков её туфель постепенно затих в приближающейся ночи...

5. Подробности их разрыва просочились в творческий Союз (Гулечкина работа, причём в невыгодном для Гогины свете). Мнения разделились: мужские – за Гогины; женские, в знак солидарности – за Гулечку, хотя она никакого отношения к Союзу не имела. Впрочем, в мужском лагере нашёлся один "предатель" – сотрудник отдела критики Уколин, который пытался язвить при встречах с серьёзной миной на лице: "Гогин, ты нужен поэзии целым и нечленовредимым" или "Гогин, не делай глупости, как твои великие предшественники". Иван понимал, на кого намекал Уколин, но на выпады не отвечал и тот вскоре отстал от него. И всё же, как ни старался Иван быть невозмутимым, разрыв с Гулечкой повлиял на него: он стал задумчив; в разговорах с сотрудниками немногословен; в ответах лаконичен и сдержан.

Через какое-то время "страсти по Гогину", как съезжил всё тот же Уколин, утихли сами собой, мнение выработалось общее: драма Гогины (и Гулечки, добавляли женщины) стала рассматриваться как данность общественно-политическим потрясениям в стране. Спустя немногим более двух месяцев, Иван принёс на заседание творческого союза новую книгу своих стихов. И хотя название её было банальным – "Расплата за любовь", написана она была правдиво, человеком, обманутым дважды за каких-то пару минут (сколько раз за глаза – осталось тайной). Но при этом он не пал духом, проявил характер, силу воли, выдержку, не ударился в разврат и беспорядный запой, а самое главное, сохранившим человеческое достоинство – качество почти забытое или большинством современных людей, презираемое. После обсуждения, книга с небольшими правками была принята, отдана в печать и издана. Что удивительно, даже по нынешним напле-

вательским временам по отношению к поэзии, она раскупалась неплохо.

6. Время шло. Страну уже не трясло и лихорадило и выворачивало наизнанку. Был расстрел здания Верховного Совета и его защитников; война в Чечне; кровавые разборки при дележе власти бывшей государственной собственности и рынков сбыта. Выворачивало всех – от запоев и похмелья простого бомжа до главного "дорогого россиянина".

Не стал исключением и творческий Союз. Ранее единый и неделимый, как и Советский, он распался. До кровавых разборок дело не дошло, но бывшие соотарищи образовали два новых идейно враждующих лагеря. Иван Гогин, по натуре своей человек не конфликтный, вошёл в третий. Это был относительно независимый цех поэтов, преимущество которого заключалось в том, что его члены могли по желанию посещать мероприятия враждующих между собой сторон, чем Гогин и пользовался время от времени.

Но, ничто уже не могло остановить приближение роковой развязки...

Эпилог. Жизнь Ивана Гогина трагически оборвалась в пятьдесят пять лет. Возвращаясь с вечера Поэзии, посвящённого пятидесятилетию одного из литературных журналов, Гогин был насмерть сбит автомашиной в неустановленном для перехода пешеходов месте. Возможно, в этот самый момент он думал о превратностях судьбы, сыгравшей с ним злую шутку, связанную с тем же журналом ровно пять лет тому назад. Возможно...

За рулём автомобиля, как выяснилось позже, сидела крутая по современным понятиям женщина. По словам очевидцев-свидетелей, к сбитому ею мужчине она не подошла, а выйдя из ярко-красного спортивного автомобиля, сначала осмотрела вмятину на нём, а затем присела на капот и замерла. Лишь изредка характерным движением она отбрасывала чёлку пышных золотистых волос назад. В таком положении и застали её подъехавшие сотрудники автоинспекции.

Август-сентябрь 2007

ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ

ОСОБНЯК НАД СТАДИОНОМ

Они ходили в кино на Кулидж Корнер. Потом зашли в соседнюю пиццерию. Не хотелось расставаться. Они медленно шли к ее дому, стоявшему над городским стадионом. Это был общественный стадион, вечно зеленый, кажется, даже зимой, потому что и зимой солнце часто приходило сюда, отогревало землю и помогало траве расти и сохраняться до будущей весны. За оградой стадиона был заповедник с прудом, в котором резвились рыбы северо-восточной Америки, и птицы, которых редко можно было встретить в наше время в этих краях. Например, голубая цапля. Он говорил иногда:

«У тебя глаза под цвет этой голубой цапли. И ноги, такие же длинные»: «Нехватает мне еще часами стоять на одной ноге!», – отвечала она задиристо. Он целовал ее в горячие губы. Так они прощались у дверей особняка, в котором она жила со своими родителями. Раньше в особняке вместе с ними жил ее старший брат. Но три года назад он поступил в университет

Беркли и приезжал из далекой Калифорнии только два раза во время учебного года: на День Благодарения и на Пасху. Он так любил свой университет, в котором сразу же начал заниматься биологией, что, если и приезжал в августе на недельку погостить в родительском коттедже на Кейп Коде, то не оставался на празднование Еврейского Нового года, который нередко приходился на сентябрь. В Бостоне ее дом был еврейским нетрадиционным домом, в котором все разрешалось, кроме главного: не забывать о своем происхождении и знать основы еврейской истории. И еще: не оставлять у себя мальчиков ночевать. Ее гости должны были уходить не позднее полуночи. Таковы были правила их дома. Отец, директор одного из отделений Ситибанка, строго им следовал.

Ее звали Маргарет, Марго, Марг. У нее были темно-каштановые волосы: мягкие скулы, голубые глаза, яркие губы, переливающаяся насмешка на щеках и в легком, как у бегунов, оскале рта. И длинные красивые ноги. Осенью Марго любила ходить в черном коротком пальто. Стоял октябрь. Она училась в Бостонской консерватории, мечтала стать знаменитой пианисткой. Его звали Кристофер, Крис. В минуты нежности, она называла его Кристи. Друзья называли его Скальд. Он писал стихи. Крис был рыжеволосый крепыш. Рыжие кудри спускались на плечи, мышцы которых перевивались под футболкой или джемпером, как тугие канаты парусников. Когда они говорили о политике, Марго затаенно усмехалась, словно, оценив сущность происходящего, принимала за данность забавное несовершенство человеческого общества, даже если общество состоит всего из двоих индивидуумов. Крис же откровенно хохотал и над либералами и над консерваторами, потому что больше всего ценил в человеке и человечестве необычайные до смешного его черты. У политиков черты забавности или экстрагантности особенно выпирали с телеэкрана – в речах и в жестах. Особенно ему нравился пожилой крепко скроенный негр, член Конгресса, который в дискуссиях все экономические и политические проблемы пытался объяснить комбинациями яблок с апельсинами. Эта наивная абсурдность была мила Крису. Он ужасно не любил и даже избегал правильных людей, которые ложатся спать вовремя, просыпаются с будильником, платят вовремя по счетам и трясутся над общепринятой моралью. К условиям быта он был нетребовательным. Казалось, Крис сросся со своей брезентовой курткой. На спине красовалась выведенная масляной краской цитата из барда-диссидента Леонарда Коэна: *First we take Manhattan, and then we take Berlin!*

Кристофер был из рабочей среды. Много лет отец его, выходец из ирландско-норвежской семьи эмигрантов, и мать, привезенная в детстве родителями из послевоенной Польши, трудились *по-черному*, в полном соответствии с метафорой тяжелого физического труда. Отец Криса двадцать лет провалялся под автомобилями или бегал от машины к машине, ожидающих заправки. Наконец, около сорока лет отроду, отец с матерью накопили достаточно денег, чтобы внести в банк первоначальные десять процентов от стоимости бензозаправки Шелл, продававшейся по умеренной цене. Отец перешел в класс предпринимателей. Это несколько не изменило его образа жизни. Он продолжал заниматься ремонтом, разве что реже мотался между машинами, вставляя в баки пистолеты бензонасо-

сов, получая у клиентов наличные или прокатывая кредитные карточки. Заправкой занимался негритянский парень-филолог, недоучившийся до диплома, но гордившийся знанием нескольких пушкинских строчек. Например, «... Под небом Африки моей...».

Несмотря на убийственные ежемесячные платежи, назначенные банком за покупку бензозаправки, отец послал Криса в Бостонский колледж, надеясь, что в их роду появится первый дипломированный адвокат.

Фильм, который они смотрели сегодня, был французским, с традиционным сюжетом в драматическом ключе, в котором рассказывалась семейная история времен оккупации Парижа немцами. В сюжет вплетались судьбы французских евреев. Пережила войну и оккупацию главная героиня фильма – жена французского банкира, католика, наследника старинного финансово-аристократического рода. Жена его по рождению была еврейкой, которая еще с довоенных времен скрывала свое происхождение, зная о традиционных антиеврейских настроениях в доме жениха. Эта мимикрия под француженку, жену банкира-католика, помогла ей избежать концентрационного лагеря. Все было бы прекрасно, не проснись в ней под конец жизни, где-то слева в груди, маленький зверек под названием совесть. Этот зверек-совесть напоминал миф о спартанском мальчике, который посадил за пазуху лисенка, прогрызшего его кожу, в потом сердце (физические угрызания как модель нравственных угрызений совести), пока мальчик не умер, претерпев страшные муки. В данном случае физические. Моральные муки старой банкирши были не менее ужасными. Она их тоже терпела всю жизнь, но не захотела умирать во грехе, а предпочла признаться сыну и внукам в своей всежизненной лжи.

Они шли молча, как будто каждый обдумывал фильм, заново просматривая самые жгущие кадры. Странное дело, пока они смотрели фильм, Маргарет время от времени хотелось уйти, так противны ей были колебания старухи-банкши, как будто война и оккупация не кончились давно, а проклятый еврейский вопрос имел какое-то значение. «Наверно, у нас в Америке не имел, а во Франции имел и имеет до сих пор. Иначе, почему банкши так осторожно открывала свою тайну сыну и внукам? Разве тайна – быть еврейкой – и в самом деле, была настолько страшной?» – подумала Маргарет. Подумала и поймала себя на мысли, что не уверена, стоит ли обсуждать еврейский вопрос с Крисом. Он может и не понять ее сомнений и колебаний, так далеки американцы от подобных проблем. Для них это и не проблемы вовсе! Хотя может быть и стоит. Ведь история человечества как единая материя не прерывается, а более того, возвращается к вечным сюжетам. Всегда есть следы прошлого. Словно прочитав ее мысли, Крис сказал: «Какая-то полумная французская старуха! В Америке такие немислимы!» «Потому-что никому нет никакого дела, кто ты: еврей, католик или протестант! – воскликнула Маргарет. – Вот, например, тебе, Крис, важно или неважно, что я еврейка?» «Важнее всего, Марго, что мы любим друг друга!» – он обнял ее, и они начали целоваться. Они шли, останавливались и целовались, пока не подошли к ее особняку. Фонари горели у парадной двери. На третьем этаже в кабинете ее отца зеленая лампа светила, как турецкая луна. Он никогда не ложился спать, пока Маргарет не возвращалась домой.

Маргарет познакомилась с Крисом всего месяц назад. Он пришел на концерт студентов консерватории вместе с приятелями по колледжу. В перерыве, ничего никому не объяснив, он пошел за кулисы и разыскал Маргарет. После концерта он пригласил ее в бар. С тех пор все началось. Они виделись часто. И, несмотря на приглашения, Крис никогда не заходил в ее дом. «Почему? Ты стесняешься?» – спрашивала его Марго. Он смеялся в ответ: «Разве я, по-твоему, стеснительный? Здесь над стадионом так хорошо и вольготно. Что нам делать в комнатах?» «Почему Крис не заходит в дом? Чего он стесняется или стыдится?» – спрашивала себя Маргарет. – И если нет, чего отказываться!?»

Однажды он пригласил Марго к себе домой днем. Он жил на границе Бруклайна и Брайтона, куда стекались трамваи, автобусы, грузовики, таксомоторы и прочие виды городского транспорта. Здесь было царство бензоколонок, мастерских по ремонту автомобилей, дилерских контор с демонстрационными залами для всевозможных автомобильных моделей. Здесь шумело, гремело, гудело, свистело, звенело с утра до ночи. Крис любил эти уличные шумы. Они были ему, как фермеру шум листья и шелест стеблей кукурузного поля. Отец был на бензоколонке. Мать уехала погостить в Вустер к старшей сестре. Они были совершенно одни. Никто не мешал им заниматься любовью. Она горячо любила его. Он это видел и чувствовал, потому что ничьи губы, кроме ее губ не могли так отчаянно целовать его губы, ничьи губы не могли так страстно выпивать каждую клеточку его плоти, никто, до сих пор не был таким желанным, как Крис. И все же, даже после этого, Крис отказывался заходить к ней домой. «Почему?» – спрашивала она себя, и огорченная догадкой, больше не настаивала. То же самое было и с коттеджем на Кейп Коде. Он ни за что не хотел находиться внутри дома, а тем более, ночевать, хотя иногда родители оставались в Бостоне из-за срочных дел, театров или светских обязательств. Несколько раз Крис приезжал на Кейп Код в субботу или воскресенье. Он звонил ей по мобильнику. Он выходил. Они ехали на пляж, купались и резвились в океане, как беззаботные дети, пока было тепло. А, начиная с середины сентября, просто гуляли по пляжу. Они уходили далеко, пока не оказывались около обширного имения, огороженного розовой каменной стеной, из-за которой выглядывал замок с башней, увенчанной задорным зеленым колпаком крыши. «Отгородились!» – лишь однажды процедил Крис и сплюнул сквозь зубы.

Обычно по утрам до завтрака и до того, как уехать в консерваторию на звонком трамвае зеленой линии «С», Марго натягивала спортивные синие брюки и джемпер с белой окантовкой и делала пробежку, а потом зарядку на стадионе. В это раннее время по зеленому полю, еще зеленому, хотя была середина октября, носились друг за другом собаки, а их владельцы, (правильнее сказать: няни, опекуны, гувернеры, тренеры, все, что угодно, но не владельцы!) умиленно наблюдали с отстегнутыми ничемными поводками в руках за своими питомцами и вели задушевные разговоры на собачьи темы. И в это раннее утро так и было, кроме того, что появилось нечто новое. По росистому еще с ночи ковру стадиона там и сям были разбросаны необычные здесь предметы: спальные мешки, одеяла,

тележки, термосы, складные столики со стульями, упаковки с бутылками питьевой воды и многое другое, присущее лагерю туристов или стоянке беженцев. В подтверждение этому из спальных мешков, из-под одеял и прочих принадлежностей туристического быта, высовывались заспанные лица обитателей этого лагеря. В самом начале у Марго мелькнула мысль, что это какие-то спортивные сборы, временная стоянка, подготовка к соревнованиям или что-то в этом роде, но она тотчас отказалась от этого предположения, потому что лагерь представлял собой картину какого-то хаоса. Собаки, обычно носившиеся весело по полю, с недоумением бродили между непонятными чужими предметами и незнакомыми людьми.

У Марго совсем не было времени, чтобы вдаваться в разгадку происхождения этого сборища, необычного для родного стадиона. Она закончила бег и сделала разминку около скамейки, поставленной несколько лет назад на пожертвование, сделанное ее отцом, о чем свидетельствовала медная дощечка с упоминанием его имени и фамилии. Надо было спешить домой, чтобы переодеться, позавтракать и успеть к трамваю, который отвезет ее на урок фортепьяно со знаменитой когда-то русской пианисткой.

Была пятница. Крис был занят чем-то спешным и не встретился с Маргарет в этот день. А наутро они всей семьей отправились отдохнуть на Кейп Код. Отец вел Мерседес, о чем-то переговариваясь с матерью. Хотя разговор был довольно стремительным, что было присуще темпераменту отца, до нее доносились обрывки фраз о каком-то движении протеста против банков, главным лозунгом которого было: «Захватим Уолл-стрит!». Марго не вслушивалась в разговор родителей, занятая размышлениями об очередной музыкальной пьесе, которую ей предстояло приготовить к следующей неделе. Она любила, прежде, чем начать разучивать пьесу, прочитав ноты несколько раз глазами и *прослушать* музыку изнутри. Она была серьезная девушка и старалась во все вникнуть самой. Это относилось к ее учебе, домашним обязанностям, отношениям с Крисом. У Маргарет была задушевная подружка Аби, с которой она могла говорить обо всем на свете, включая и ее любовь к Крису. Но Аби уехала на ви-кэнд в Нью-Йорк.

На Кейп Коде их ждала приятная дачная рутина с прогулками к океану, выбором ресторана для ланча, перезваниванием с друзьями, коттедж которых стоял в пятнадцати минутах езды от родительской дачи. После ланча в ресторане яхт-клуба они вернулись домой, а Маргарет продолжала занятия на фортепьяно и долго отказывалась поехать к приятелям родителей. Все же, наконец, согласилась, потому что отец посмотрел на нее поглубевшими, как утреннее небо, глазами и сказал: «Поехали с нами, доча. Так мало видимся на неделе!» И пожалела об этом. Лучше было бы провалиться с книгой в гамаке, следя за развитием запутанной интриги в романе Зингера «Любовная история». Лучше и намного интересней, чем слушать дискуссию о каких-то демонстрациях, запрудивших центр Нью-Йорка вокруг Уолл-стрит – район, где высились громады банков. Во время коктейля у приятелей речь зашла о волне анархической ненависти к банкам у толпы, раскинувшей поблизости от Уолл-стрит палаточный лагерь. С экрана телевизора многократно повторялся дерзкий лозунг толпы: «Захватим

Уолл-стрит!». Марго показалось, что родители и хозяева повторяли этот лозунг с ироническим оттенком, который маскировал их обеспокоенность. «Что тут особенного! – подумала Маргарет. – Леваки с очередными требованиями невозможного. Кто их поддержит?» Но вдруг усомнилась в своих мыслях. Ей припомнилось утро на стадионе, спальные мешки и палатки с несколько необычными туристами. Марго была воспитанной девочкой и не показала виду, что все разговоры о толпе, вооруженной лозунгами протеста, ей не столь безразличны. Из-за Криса? Где он? Она соскучилась. А Крис? Что, если их любви наступит конец, как это бывает часто у других? Вместо любви придет безразличие. Ей показалось, что этот переход от любви к безразличию каким-то образом связан с утром на стадионе и чужеродными там палатками! Она отвлеклась от своих мыслей и взглянула на экран телевизора. Операторы показали крупным планом группку демонстрантов, над которой покачивался транспорт: «Долой евреев-банкиров!» В гостиную воцарилось тяжелое молчание. Хозяин коттеджа, финансист, резко поднялся с кресла, отставил от себя рюмку martinis, и выключил телевизор со словами: «Сколько можно смотреть эту мерзость!» «Как бы эта мерзость в дальнейшем не обернулась чем-то похожим на марши фашистских молодчиков! Они тоже начинали как социал-анархисты!» – сказал отец, оглянув гостиную. Когда его глаза остановились на Маргарет, ей показалось, что из голубых они перешли в темносиние, как океан перед штормом.

По возвращении домой отец решил пройтись на стадионе, чтобы размяться после дороги с Кейп Кода. И, конечно же, наткнулся на палаточный лагерь. Марго поняла это по его озабоченному лицу.

Прошла неделя. Телевизор в новостях показывал перемещения в центре Бостона групп протестующих с плакатами солидарности: «Мы поддерживаем захват Уолл-стрит!» Марго под какими-то вполне естественными предложениями перестала ходить на стадион. Как будто бы она сама себя убедила в том, что у нее на это есть веская причина. Крис не звонил всю неделю. И этому Марго нашла свое объяснение: замотался в колледже.

Она с родителями уехала на Кейп Код в пятницу под вечер. Был обычный траффик. Маргарет смотрела на пробегающие стволы корабельных сосен и думала о Крисе. «Почему он не звонил? Важные дела? А вдруг?» – перебирала Марго самые противоположные – логичные и бессмысленные причины его молчания. Она не могла рассказать об этом матери. Раньше бы она рассказала, как рассказывала всегда о своих романах с мальчиками. А теперь стыдилась. Словно боязнь открыться связана с утренним стадионом и кадрами телехроники о людях, которые вышли на открытую борьбу с банками и банкирами. Словно Маргарет боялась увидеть среди протестующих Криса.

Они вернулись, как всегда, под вечер в воскресенье. Почти что ясновидение, присущее всякому во время критических поворотов жизненного сюжета, заставило ее пойти на утренний стадион, хотя от предыдущего посещения остался смутный осадок. Еще до викенда на Кейп Коде она дала себе слово подождать, пока необычный туристический лагерь, более похожий на становище бездомных, исчезнет бесследно. Теперь-то она понимала, что между этими «туристами–

бродяжками» на стадионе, толпой в Манхэттане, призывающей захватить Уолл-стрит, и кадрами Бостонской телехроники, демонстрирующими лагерь, раскинувшийся на Дэвзу-сквер, существует несомненная связь. Было около семи часов утра. Она вышла из дому и спустилась со склона холма, уставленного дубами, подножья которых утопали в желудях, напомнивших ей человечков в спортивных шапочках набекрень. Она усмехнулась: в тяжелые минуты она умела отвлекаться чем-нибудь смешным, и тревога уходила прочь, хотя бы на время. Маргарет спустилась с холма и выбежала на стадион. Лагерь исчез. Почти исчез. Остались две-три палатки, обитатели которых, наверно, проспали общую побудку и теперь торопливо снимали и складывали палатки, сдвали и закатывали матрасы, затапливали свой походный скарб в рюкзаки. Маргарет была знакома с укладом туристической жизни. В старших классах школы и в летнем еврейском лагере в Нью-Хэмпшире, она участвовала в восхождениях на невысокие лесистые холмы, с ночевками в лесу на берегу озера, с постановкой палаток и запусканием механизма вольной походной жизни: приготовление пищи, купание, пение у ночного костра, переглаживания с мальчиками и тайные мимолетные поцелуи под защитой стволов широченных деревьев. Так что, увидев эти последние признаки уходящего лагеря, она успокоилась, поверив, что ее предчувствия напрасны и что Криса здесь и в помине не было. Она собралась было начать обычную утреннюю пробежку, как почти что носом к носу столкнулась с парнем невысокого роста, в ковбойской шляпе и диковинных остроносых сапогах. Этого парня она как будто бы встречала раньше в баре на Кулидж Корнере, где бывала с Крисом. Парень затапливал в мешок голубую палатку, упрямо покачивая головой так, что месяцеобразные медные серьги звенели, как цыганская музыка. Да, да! Все это напоминало цыганщину из давнишнего русского фильма. Совершенно неожиданно Марго спросила у парня: «Вы не видели Криса?» — «По прозвищу Скальд?» — «Да, Криса-Скальда». — «А как же! Он у нас один из вожаков. С основной группой ушел еще затемно на Дэвэй-сквер. Там его и найдите!»

Ватные ноги дотащили Маргарет до ее дома. Она переоделась, села в такси около гостиницы «Холидэй Инн» сказала шоферу: «На Дэвэй-сквер, пожалуйста!» Она вышла из такси и увидела палаточный город. И снова зрелище смеси бродяжного и туристического быта бросилось ей в глаза. Палатки были небрежно натянуты, там и тут торчали грязные матрасы, подбочились мусорные баки, а рядом с ними стояли ведра, набитые каким-то хламом, валялись обрывки газет и плакатов, дымились допотопные печурки для приготовления пищи, ожидали своего часа прочие предметы кочевого? осадного? бродяжного? быта. Тут же топырились на ветру наскоро намалеванные транспоранты с самыми революционными требованиями к властям, финансовым магнатам, могущественным компаниям и другим сильным мира сего от имени всемирного братства доведенных до отчаяния людей. Никто не обращал на Марго внимания. Она искала с толпе Криса. Вдруг, среди протестующих кто-то крикнул: «Идем митинговать около консульства Израиля!» Тотчас взмыли два новых транспоранта: «Израиль должен уйти!» и «Да здравствует Палестина!» Во главе толпы шел Крис-Скальд. По той же самой случайности или

из-за обостренной необходимости увидеть Марго, Крис поискал глазами и увидел свою возлюбленную, но не остановился. Он шел впереди толпы навстречу полицейскому заслону. С кем-то на пару Крис нес огромный транспорант: «Захватим Уолл-стрит!» И все же, пересилив голоса своих сотоварищей, Крис помахал свободной от транспоранта рукой и крикнул: «Иди ко мне, Маргарет! Пойдем с нами вместе!» А в толпе, идущей за Крисом, отозвалось: «Израиль должен уйти! Израиль должен уйти! Израиль должен уйти!» «Нет, Крис! — крикнула Маргарет, скорее себе, чем своему возлюбленному. — Я с вами никогда не пойду! Израиль будет вечно!»

Октябрь-Ноябрь, 2011. Бостон.

ЛЕОНИД СТОРЧ

ТИГР НА ПУГОВИЦЕ

Вот и наступил этот день. Казалось бы: последний раз, последнее утро... но никаких эмоций я не испытывал. Да и мир вокруг оставался все таким же и не собирался меняться. Все так же призывно гудели водопроводные трубы, соседи хлопали дверью лифта. За окном моросил вечный серый дождь, на улице у продуктового киоска кучковались алкаши, а на балконе напротив трепыхали все те же простыни. Интересно, кому могло прийти в голову сушить белье под дождем? Наверное, этого я так никогда и не узнаю. Ну, и ладно.

Я подошел к книжному шкафу: первое издание “Фарфорового павильона”, “Жемчугов”, “Четок”, “Портрет Дориана Грея” с автографом Уайльда, и много других важных, единственных книг. Жаль, что ничего из этого нельзя взять с собою. Сказали: один предмет, но не книгу и не произведение искусства. Расплывчатая формулировка, между прочим. Моя блок-флейта, скорее всего, не произведение искусства, хотя и имеет к нему непосредственное отношение, а моя любимая расписная чашка с парижскими бульварами и мансардными крышами — таки наверное произведение, хотя ее основное назначение — всего лишь донести до рта порцию кофе.

Кстати, насчет “донести” — неплохая идея, особенно натошак. Я пошел на кухню, заварил себе чашку (да, ту самую, с бульварами и крышами) колумбийского кофе. Выпил. Захотелось покурить, но пачка была уже пустой. Значит надо спуститься к киоску, заодно можно будет и взять пару бутылок пива.

Я хотел было накинуть плащ, но тут зазвонил телефон. Звонила моя жена, точнее бывшая жена, точнее — все еще нынешняя, но за два года мы так и не нашли времени развестись.

— Я так и знала. — Зазвучали пронзительные ноты (в школе она, кажется, даже ходила в какую-то пионерскую хоровую студию). — Нет, ну, как ты мог!

Я молчал. Возражать что-либо было бесполезно.

— Нет, мне просто интересно, как ты мог! — Настаивала она. — Тоже мне, Пастернак выискался. Ведь уже все, по-моему, было ясно. Да ты и сам говорил, обещал, что перестанешь.

Тишина.

Нет, наверное, надо что-то сказать. Скандалы в такой день не нужны:

– Понимаешь, у меня не было другого выхода. Я ждал этого всю жизнь, только сам об этом не знал. А к этому все шло само. И вот... пришло.

Я зачем-то хмыкнул. Глупо получилось.

– Нет, ну, хорошо мать, работа – для тебя этого уже не существует. Но о ребенке ты подумал! Что я ему скажу? Ему же в школу идти скоро. Или ты и об этом забыл?

– Кстати, где он? – говорю – передай ему трубку. – И вообще, может, как раз ради него я это и делаю.

– Ну, знаешь! Всеу есть свои пределы.

Гудки.

Вот так всегда. А ведь раньше она умела летать. Летать и удивляться. И мне так нравилось удивлять и радовать ее. А потом мы поженились, и на этом все кончилось.

Опять звонок.

– А мы с мамой сегодня идем, – сообщил сын.

Все-таки дала ему позвонить. И на том спасибо.

– Куда?

– К врачу.

– А что у тебя болит?

– Ничего. Но у мамы болит живот и зуб. Вот мы и идем. А еще я вчера ел мороженое. Земляничное.

– Ты молодец. А книжки новые читал? Я тебе много прислал.

– Не-а. Я мультфильмы про бегемотика смотрел. А ты уезжаешь?

– Нет, не совсем. То есть... – я не знал, что сказать: попробуй объяснить ребенку то, что не поймет большинство взрослых. – Просто я хочу, чтобы ты знал: ты у меня самый-самый. И я тебя люблю. Очень.

* * *

А дождь все усиливался. Плащом теперь, пожалуй, и не обойтись. Нужен зонт. А с зонтами у меня всегда были проблемы. Они постоянно терялись, забывались, выворачивали себе спицы или просто рвались. Но больше всего я не любил, когда кто-нибудь, с кем я шел, раскрывал зонт: из-за моего роста наглые кончики спиц норовили выколоть мне глаза, в лучшем случае вода стекала мне за шиворот.

Я рассмеялся: глупее всего в моем положении бояться сейчас простудиться. Ну их всех к лешему: и зонты, и плащи.

Я вышел на улицу. Когда уже подходил к киоску, кто-то схватил меня за руку.

– Здорово, старик, – это был Талабанов, – ты чего это не по погоде? Не холодно?

Не дожидаясь ответа, он добавил:

– Знаю, слышал все про тебя. Ну, так что: *сегодня?* – он многозначительно понизил голос.

Я кивнул.

– Так прямо – и все?

– А как еще? Ведь столько времени прошло.

С Талабановым мы когда-то вместе работали. Хороший мужик, но пускаться сейчас в разговоры мне не хотелось. Ни с ним, ни с кем-либо другим.

– Слушай, – сказал Талабанов, – а ты молодец. Я тебе даже завидую. Я ведь и сам в университете... Пописывал. Вроде бы даже получалось, хвалили. Говорили – есть данные, надо развивать. А я вот... здесь. Ну, в общем, сам знаешь.

Я знал. Мы пожали друг другу руки. Перчатку он не снял.

Пива я все-таки решил не брать. Ограничился сига-

ретами. В дождь пиво пьется плохо, тем более на улице. А дома у меня еще был коньяк. Недопитых бутылок у меня обычно не остается – будь то водка или джин-тоник, не говоря уже про вино. Но коньяк почему-то выживает. Жаль, придется допивать одному.

Я стоял на остановке и курил. Нет, не правильно будет, если все так и закончится. Как бы там ни было, с матерью я увидаться должен.

Подошел трамвай. Странно, он был почти пустым. Да и улицы были какие-то пустые: почему-то одновременно ремонтировались все главные городские дороги, и места для транспорта просто не оставалось. Ни для какого из средств передвижения – кроме трамваев.

* * *

Я поднялся на третий этаж. По привычке позвонил три раза в дверь. Как обычно, мама открыла не сразу: только через какое-то время послышался скрип половиц, затем долго звенели бесконечные цепочки, крючочки.

Мы сразу пошли на кухню.

– Ты совсем промок. Чаю будешь? – спросила мама. – Я хоро-о-ший купила. Зеленый. Китайский.

Еще в детстве мне не нравилась эта ее манера растягивать гласные, особенно “о”: “большо-о-й торт”, “плохо-о-й мальчик”. Но от чая я отказался не поэтому. Просто не хотелось перебивать вкус сигарет и кофе во рту.

Мы сидели друг напротив друга. На буфете стояла белая треснувшая ваза, в ней – какие-то желтоватые цветы.

– Это ты-ы мне подарил, сынок. В прошлом году. На день рождения. Я их потом засуши-и-ла.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил я.

– Как я могу себя чувствовать? – Возраст уже. А тут еще и погода такая.

– Мерзкая погода, – согласился я.

О чем говорить дальше, было непонятно. Я сделал вид, что заинтересовался фотографиями на стене, хотя они висели там в той же последовательности с самого моего детства.

– Я знала, что ты приедешь сегодня, – сказала вдруг мама. Она смотрела куда-то в сторону, и голос ее упал.

– Это тебе Лина сказала?

– Лина? – Мама облокотилась на стол. Взгляд ее стал еще печальнее. – Нет, Линочка здесь не при чем. Зря ты с ней, все-таки, разошелся. Просто, знаешь... Твой отец... Он ведь – тоже. *Оказался.*

Я встал, подошел к плите, зачем-то включил камфорку. Потом выключил. Достал сигареты, но вспомнил, что курить здесь нельзя.

– Мама! Ну, при чем тут отец! Как он мог *оказаться!* Ведь он же вообще был военный и умер от менингита. Сколько мне тогда лет было?

Возникла пауза. Долгая. Наполненная только стуком дождя.

– Это мой муж умер, царствие ему небесное. А твой отец остался. А потом вот... А теперь и ты. – Она заплакала, но без слез. – Я тебе не говорила. Никому не говорила. Ты уж извини меня. Бабушка твоя, правда, знала.

Я все-таки закурил, теперь уже все равно:

– Мама, ну, как же так? Как его хоть звали-то?

Но она только вздохнула и еще раз повторила:

– Извини. Я все надеялась, думала – так лучше бу-

дет. А теперь – сам видишь, как оно получилось.

* * *

Домой я шел пешком. Все пытался осознать произошедшее. Да, я подозревал, что в последний день что-то произойдет. Что-то в этом роде. Но ведь не так, чтобы... Ах, мама! Скромный учитель начальной школы. Кто бы мог подумать!

* * *

Еще вдалеке от своего подъезда я увидел ее красный берет, и помахал ей рукой. Она бросилась ко мне через весь двор, и мы долго стояли, обнявшись.

– Извини, что я пришла, – сказала она, – не могла сидеть там и знать, что ты все еще здесь.

– Ну, что ты, Галченюк, все нормально.

И мы поднялись ко мне.

Мы сразу пошли в душ, затем – в постель. И все было, как всегда, словно и не было сегодняшнего дня. И словно, будет завтрашний.

– Что же теперь делать? – спросила она.

Я погладил ее по голове. Мальчишеская стрижка, выпирающие детские ключицы. Странно, что за все это время я так и не смог по-настоящему привыкнуть к двадцати годам разницы.

– А тебе не будет больно? Только правду скажи. Не будет?

Я рассмеялся.

Потом, мы сидели на полу, и пили коньяк.

Я даже не заметил, как она ушла.

Я оделся, сел на разобранную постель. И тут увидел медную пуговицу, видимо, оторвалась от ее джинс. На пуговице был выгравирован тигр, с длинной выгнутой спиной и широко раскинутыми лапами.

– А еще у нее было голубое кимоно, – не к месту подумал я.

Я продел через ушко пуговицы нитку: получился смешной хиповский сувенир, фенечка такая.

– Вот тебя-то я и возьму с собой, – сказал я тигру. – Вместе с пуговицей. И пусть они там говорят, что хотят.

Я закурил еще одну сигарету. Пустил дым в круглое зеркало над столом. Из зеркала на меня глядел взломанный чувак в расстегнутой рубашке. И что он там делает?

... А за окном в небе появились первые просветы. Дождь кончался. В кои-то веки в этом городе кончался дождь! И значит ... значит, мне пора.

МАЙК ГЕЛПРИН

НА ПОСТУ

Сержант Чиверс, обжигая ступни о гальку, протрусил к берегу. Солнце пекло немилосердно, и слепило глаза, и вода в проливе была цвета неба, и сливалась с ним на горизонте.

Чиверс с сожалением посмотрел на зажатую в кулаке гранату. Расставаться с ней было жалко, гранат становилось всё меньше, и сержант не хотел даже думать, что будет, когда они закончатся. Чиверс вздохнул, примерился, выдернул чеку и, размахнувшись, швырнул гранату от берега. Отплывываясь, поплыл по собачьим к измаравшим лазурь пролива серебристым пятнам. Доплыл и принялся лихорадочно набивать глушённой рыбой притороченный к набедренной

повязке мешок. Быстро, ещё быстрее, ещё, пока не появились акулы.

Капитан Берски ждал Чиверса на посту. Пост был на острове всего один – на склоне прибрежного холма, в укрытии с единственной уцелевшей пушкой. Вахту капитан с сержантом несли по очереди, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Впрочем, счёт неделям и дням был потерян уже давно. Поначалу, когда помощи ещё ждали, Берски делал зарубки. Потом, когда ждать стало нечего, прекратил.

– Четыре крупные рыбыны, – доложил Чиверс, – и с десяток помельче, господин капитан. Прикажете жарить?

Берски, как обычно, долго молчал, раздумывая. Чиверс терпеливо ждал. Спешить некуда, а способ приготовления рыбы – дело важное. За исключением вахты на посту – самое важное из тех, что у них остались.

– Сварите, пожалуй, похлёбку, сержант, – сказал, наконец, Берски. – Пускай кто-нибудь из ребят поможет.

– Есть, сэр, – Чиверса передёрнуло, как случилось всякий раз, стоило капитану заговорить о ребятах. – Разрешите идти, сэр?

– Идите.

Сержант, закинув брезентовый мешок с рыбой на плечи, покинул пост и спустился в низину. Здесь всё было разворочено, искорёжено и размолото снарядами, передвигаться через сплошную мешанину из расколотых камней и остатков укреплений было нелегко. Чиверс порядком запыхался, когда, наконец, добрался до ручья. Здесь он первым делом напился, вода была хороша: студёная, чистая, хотя и с железистым привкусом. Чиверс вывалил в ручей рыбу, промыл, запихал обратно в мешок и отправился к Бриггсу.

С Бриггсом они были друзья, его сержант хоронил лучше, тщательнее, чем остальных, и в отдельной могиле. Не то, что парней из второго расчёта, которые спеклись вместе так, что было не разобрать где кто, и поэтому все легли в общую.

– Привет, Риччи, – поздоровался сержант, усевшись на камень, под которым лежал Бриггс. – Ну, как ты?

Бриггс не ответил, он и при жизни был молчуном.

– Старик совсем сбрендил, – пожаловался Чиверс. – Утром, когда менял его, сказал, что хочет в отпуск. Устал, дескать, воевать. В отпуск, как тебе это нравится, Риччи?

Чиверс подождал, но Бриггс, как обычно, опять не ответил.

– Ладно, приятель, – сержант поднялся. – Пойду. Загляну к тебе завтра, не скучай тут.

Чиверс вернулся к ручью, набрал в старый, тронутый ржавчиной и сплюснутый по бокам котелок, воды. Петляя между выворотнями, пересёк низину. Там, где она заканчивалась и переходила в заросли кустарника наполовину с чертополохом, раньше были штабной блиндаж и склад. От них мало что осталось: по блиндажу били прицельно и размолотили его в ноль, а складу хватило одного попадания, от которого сдетонировали взрыватели артиллерийских снарядов.

Пробравшись через частокор ржавых арматурных прутьев, Чиверс полез в заросли. Минут пять, бранясь, продирался через шипастый, перевитый мандевиллой кустарник и, наконец, выбрался к глубокой снарядной воронке. На дне было кострище. Сержант натаскал туда мёртвых веток и засохших лиан, высек камнем о

камень искру и вскоре развёл огонь. Пристроил котелок на перекладину, вывалил в него рыбу. Теперь можно было пойти и поговорить с Мари.

Она лежала неподдельно, под самой высокой из четырёх уцелевших кокосовых пальм, там, где сержант нашёл её башмачок. Саму Мари найти не удалось, и поначалу это беспокоило Чиверса, но со временем он убедил себя, что Мари здесь, хотя бы потому, что в других местах её не оказалось.

Чиверс опустил на землю, привалился спиной к пальмовому стволу – так, лёжа, он чувствовал себя ближе к Мари. Закрыв глаза, подумал, повспоминал. Разговаривать с Мари было не обязательно, они и так понимали друг друга – без слов. Понимали, когда она была тоненькой, легконогой, со смоляными волосами до плеч медицинской сестрой при полевом лазарете. Понимали и сейчас, хотя тонкой талии и лёгких ножек Чиверсу было больше не видно.

С Мари сержант провёл с полчаса, затем простился и, сутулясь, двинулся обратно к костру. В сотне шагов спохватился, опрометью рванул назад, упал на колени, сунулся лицом в землю, задыхаясь, глотая скрутившие горло спазмы, заколодил по ней кулаками. Вновь поднялся и на нетвёрдых ногах пошёл прочь.

Сдав вахту, капитан Берски спустился к берегу и, шлёпая босыми ногами по воде, побрёл вдоль него. Обход вокруг острова он проделывал ежедневно, обойти остров было очень важно, хотя сейчас капитан уже не мог вспомнить почему.

Надо что-то предпринять, размышлял Берски, привычно ступая огрубевшими подошвами по острой прибрежной гальке. Страшно подумать, что будет, если их обойдут с тыла. Предпринять что-то следует обязательно, непреложно. Только вот сделать это некому. Он, Берски, устал, выдохся, ему давно уже полагается отпуск где-нибудь на севере, где нет этой одуряющей, выматывающей жары. Он бы, пожалуй, поехал в Канаду. Ненадолго, недели на две. Или на Аляску, он давно хотел на Аляску. Или, может быть, в Норвегию.

Конечно, оставлять гарнизон рискованно, они могут атаковать, воспользовавшись его отсутствием. Справится ли Чиверс... Солдат он, конечно, неплохой, но выполнять приказы эго одно, а командовать – совсем, совсем другое. Должен справиться, ребята в гарнизоне хорошие, помогут, если что. Лейтенант Каллахан, старший сержант Бриггс, потом этот, как его, здоровяк с Ямайки.

Капитан внезапно споткнулся, чудом удержал равновесие и замер на месте.

– Их больше нет, – подсказал кто-то невидимый глумливым, надтреснутым голосом и засмеялся резко, отрывисто, почти залаял. – Их нету, нету, нету больше.

Берски замотал головой, отгоняя издевающегося над ним гада. Тот долго не хотел уходить, нашёптывал на ухо своё, паскудное, покал языком, подхихикивал. Потом, наконец, исчез, и капитан двинулся дальше. Мысли вновь обрели стройность. С Чиверсом надо что-то делать, негоже, когда у солдата глаза вечно на мокром месте. Солдат должен быть бодр и здоров, иначе...

Берски не додумал – со стороны поста донёсся крик. Он нарастал, силился, и капитан бросился на звук, по-

нимая уже, что кричит Чиверс, и, значит, случилось что-то нехорошее, скверное. Когда Берски, задыхаясь, карабкался по склону холма к посту, он уже понимал, что именно.

– Проходите, полковник. Садитесь, – главврач федеральной лечебницы для душевнобольных жестом указал на кресло.

– Благодарю вас, – полковник коротко кивнул и остался стоять. – Я забираю их у вас.

– На каком основании?

– На основании, – полковник протянул сложенный вдвое лист бумаги, – подписанного президентом приказа.

– Н-да, – доктор бегло ознакомился с содержанием приказа. – Вы представляете, в каком они состоянии?

– Надеюсь, вы скажете мне.

– Скажу. Оба неизлечимо больны. Капитан на грани кататонии. Сержант... – доктор махнул рукой. – Сколько они там просидели, полковник?

– Почти восемь лет.

– Это ужасно, – доктор поднялся, заходил по кабинету. – Как это случилось?

– Стыдно сказать, – полковник опустил голову. – Был остров в проливе Губаль. Клочок земли в море размером с... в общем, за час можно кругом обойти. На нём стоял гарнизон. Когда начался конфликт, первым делом врезали по ним. Расстреляли с крейсеров, практически, прямой наводкой. Размолотили всё подчистую. Там был ад, в штабе не думали, что кто-то мог уцелеть. А потом... – полковник запнулся, – потом про них забыли. Вы же помните, как развивался конфликт. Мы фактически стояли на пороге третьей мировой. Не до них стало.

– Не до них, – задумчиво повторил доктор. – Что они там потопили?

– Сухогруз из Нидерландов. Следовал в Египет, видимо, отклонился от курса. Подошёл близко к берегу, и вот... Там оставалась одна действующая пушка.

– Много жертв?

– Да, – полковник кивнул. – Много. На борту было полтора десятка человек, не спасся никто. Для парней во благо, что оба признаны невменяемыми. Иначе бы их расстреляли. Это ещё постыднее, чем то, что про них забыли. К счастью, командование, наконец, обратилось с петицией к президенту.

– Вы уверены, что к счастью? Куда вы их забираете, полковник? И зачем? Довольно их таскать по лечебницам. Эта одна из лучших, и если мы не смогли им помочь, то не поможет никто. Они неизлечимы, понимаете, вы? Они попросту остались там, в том дне, когда их атаковали. Для них война не закончилась и будет продолжаться вечно, до тех пор, пока не умрут. Так дайте же им умереть спокойно!

Полковник вновь кивнул.

– Мы позаботимся о них, доктор. Велите сёстрам их собирать.

Сержант Чиверс продрался через заросли перевитого мандевиллой кустарника, миновал снарядную воронку, на дне которой было кострище, ускорился, потом перешёл на бег. Надрывая жилы, помчался к кокосовой пальме, одной из четырёх уцелевших. Широко раскинув руки, упал лицом вниз на землю.

– Вот и я, – выдохнул он. – Вот и я, Мари.

Пролежал недвижно час, другой, затем поднялся. Глотая слёзы, двинулся прочь. Вновь миновал воронку, продрался через кустарник, одолел частокол из ржавых арматурных прутьев и запел по развороченной снарядами низине.

— Ну, здравствуй, Риччи, — сказал он, усевшись на камень, под которым лежал Бриггс. — Долгонько меня не было.

Бриггс не ответил, он и при жизни был молчуном.

— Старик совсем сбрендил, — пожаловался другу Чиверс. — Отпуск не пошёл ему на пользу. День-деньской сидит на посту, а чего сидеть, спрашивается?

Чиверс подождал, но Бриггс, как обычно, опять не ответил.

— Пушки-то нет, — сержант хохотнул. — Понял? Увели пушку, пока мы со стариком были в отпуске. Теперь если они сунутся, нам хана.

Сержант Чиверс вновь хохотнул, затем рассмеялся, захохотал в голос.

Слёзы по-прежнему текли у него по щекам.

МАРИЯ МОСКВИНА

АНГЛИЙСКИЙ, КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК

Юлия зло и неприязненно называла его — «этот город». Почему? Ведь он ни в чем не провинился перед ней. Город на юге Америки растянулся на многие километры, занимая обширные пространства вдоль устья величавой реки Сент-Джонс. Из-за своей чрезмерной протяженности и относительной малонаселенности город казался несколько пустоватым. Дома стояли так далеко друг от друга, что от одного конца улицы до другого можно было ехать почти час.

Растительность тоже не впечатляла. Изредка попадались одинокие пальмы, одетые в лохматые лиственные шапки. Сверху — пыльно зеленые, похожие на перья невиданных птиц, снизу — ржаво-коричневые, пожухлые. По сторонам широких проспектов виднелись заросли невысоких кустарников, поднявшихся на месте осушенных болот. Вьющиеся растения так плотно переплетали кустарник, что даже на шаг нельзя было углубиться в низкорослые джунгли. Да никто и не советовал. Говорили, что заросли кишат змеями и другими ядовитыми тварями. Так что утолить тоску по зеленым рощам с шелковистой травой-муравой в этих загадочных и неприветливых кушах, лучше было и не пытаться.

Плотно застроен был только центр города. Он возвышался сверкающими серо-голубыми глыбами небоскребов, в которых размещались невидимые глазу фирмы и банки. Зеркально-холодный, вычищенный центр казался чуждым остальному городу, его одноэтажными уютными домиками-ранчо.

Так сложилось, что город уже давно принимал иммигрантов со всех концов света. По тщательно расписанным до самых мелочей правилам, заботливо, но равнодушно он обеспечивал на первых порах прибывающих на его землю всем необходимым — жильем, талончиками на продукты, и даже билетами на автобусы, чтобы все могли посещать бесплатные курсы на факультете «Английский, как второй язык» в местном колледже.

Кстати, только занятия языком и примиряли Юлию

с «этим городом». Уроки вели опытные преподаватели, основной специальностью которых было обучение английскому языку иностранцев.

Четко разработанная методика применялась к студентам с различным уровнем знаний языка и занятия проводились даже с неграмотными. Их обучали с помощью рисунков, жестов, выразительной мимики. Уроки в таких классах походили, порой, на выступления знаменитого французского мима Марселя Марсо.

Обучение английскому языку — был первый и обязательный пункт программы помощи вновь прибывшим. Небольшую группу иммигрантов из бывших союзных республик быстро распределили по классам в зависимости от результатов сдачи вступительных экзаменов. И вот уже «русские» — в основном квалифицированные специалисты — инженеры, врачи, программисты, учителя ежедневно по шесть часов занимались языком, напряженно вслушиваясь в почти непонятную американскую речь, совсем не похожую на ту, к которой они привыкли в школе, в институте и даже на специальных курсах английского языка.

Юлия учиться в колледже очень нравилось, и она изо всех сил старалась освоить язык. Перед отъездом в Америку Юлия тщательно готовилась, посещала курсы английского и после сдачи экзамена попала сразу на третий уровень из пяти возможных.

В Москве Юлия работала программистом, была лучшим в научно-исследовательском институте, «супер-дупер», как любил говорить ее начальник. Однако, пользуясь ее «пятым пунктом», не особенно спешил повышать ей зарплату.

Юлия мечтала в Америке устроиться на работу по специальности. Но быстро поняла, что для этого ее знаний английского явно недостаточно и с головой ушла в учебу.

Незаметно пролетали отпущенные на занятия языком месяцы и вот уже некоторые «русские» добрались до последнего, пятого уровня и прикрепленные к ним «ведущие» принялись подыскивать им работу. И вот тут стало ясно, что ни прекрасное образование, ни богатый опыт работы не в счет. А главное, оказывается, чтобы они делали то, что нужно этому городу. А ему требовались не врачи и инженеры и даже не программисты. А работники совсем другого рода — помощники нянечек в дома престарелых, кассиры в магазины, уборщики в больницы и подсобные рабочие в мастерские. И все. И никаких перспектив. Обо всем другом следовало забыть и не тратить драгоценное время на бесполезные хлопоты по поиску интересной работы.

«Русские» заволновались, но большинство решило не сдаваться, а все-таки попытаться найти себя. Если не в этом городе, то в другом. И многие начали поговаривать о переезде на север — в Нью-Йорк, Бостон или на противоположный берег — в Лос-Анджелес, Сиэтл.

Переезд — дело дорогое. Машины были далеко не у всех. И чтобы накопить на покупку, кое-кто соглашался на предложенную работу. И только спустя какое-то время понимал, в какую ловушку он попал. После целого дня тяжелой, отупляющей работы ни сил, ни времени на переезд уже не было.

Те, кто учились еще на нижних уровнях, внимательно следили за перипетиями своих друзей и знакомых и наматывали все себе на ус. Главное — не спешить заканчивать пятый уровень. Ни на какую работу не со-

глашаться. А постепенно собираться в дальнюю дорогу – подальше от этого города в надежде найти что-нибудь по своей специальности.

Большинство из тех, кто шел в уборщики или помощники нянечек были люди семейные, с детьми. И подняться с места им было труднее, чем одиночкам. Поэтому, скрипя зубами, они старались забыть такие слова, как главный инженер проекта, заслуженный врач республики. Но не всем это удавалось. Порой разрушались семьи. Жена оставалась с детьми. Муж уезжал в поисках работы. И уже не возвращался обратно. Видя такие семейные трагедии, Юлия еще больше невзлюбила “этот город”. Кроме работы по специальности, глубоко в душе у нее таилась мечта устроить свою личную жизнь. Старушка мать говорила часто:

– Тебе, Юленька, уже тридцать пять. Все сроки прошли. О чем ты только думаешь?!

Юлия вздыхала. “Русские” все были пристроены. А об американце она даже не могла и мечтать. Да и кому нужна такая обуза – без языка, без работы!

В колледже Юлия познакомилась с молодой женщиной из Киева. Ее звали Дина. Тоже за тридцать, тоже вдвоем с мамой и тоже программист. Правда, «начинающий», как она сама выразилась. Дина стала уговаривать Юлию переехать в Нью-Йорк, где, по ее сведениям, было великое множество программистских курсов, которые к тому же помогали после окончания устроиться на работу. У Дины в Нью-Йорке жила подруга, она уже работала и обещала помочь с жильем и учебой.

– Зачем мне какие-то курсы? – сомневалась Юлия. – Я и так все знаю! Все современные языки программирования.

– Как зачем? – вытаращивала круглые глаза Дина. – Чтобы на работу устроиться! Ты им – деньги за учебу. Они тебе – работу!

– Какие деньги?! Денег у меня нет! – отрезала Юлия.

– Да ты не кипятишься! Нам в течение первого года после приезда на учебу деньги полагаются. На курсах они такие доки! Все знают! И с оформлением документов помогут, – объясняла ей Дина. – И в Нью-Йорк отсюда автобус ходит. А машина в Нью-Йорке вообще не нужна! Там общественный транспорт, как часы работает. Не то, что здесь!

Юлия в душе была согласна с Диной, но опасалась, что,

если она заикнется матери о переезде, та устроит ей истерику. Оно и понятно. Через океан только недавно перелетела. Еле-еле в себя пришла. А тут опять переезд. Но на удивление Юлии, мать ничего не сказала. Только вздохнула, взглянув на упрямо сдвинутые черные брови дочери и крепко сжатые бледные губы.

– Как ты хочешь, Юленька, – проговорила она. – Лишь бы тебе было хорошо. Ведь ради этого мы сюда и приехали. А мне что! Мне – ничего! Сколько мне еще осталось! – И она продолжила складывать в шкаф постиранное с утра белье.

Приняв решение о переезде, на душе у Юлии стало легче, и она с новой силой погрузилась в изучение английского, теперь уже на достаточно сложном, четвертом уровне. Преподавательница у них была прекрасная. Звали ее миссис Шук. В классе она никому не давала расслабиться. Не умеешь писать – будешь

учиться, стоять у доски и выводить замысловатые написания непронизимых букв. Часто – пишутся три, произносится только одна. Остальное надо помнить. Вызубрить наизусть. Вот так.

Плохо говоришь – будешь, заикаясь и запинаясь, отвечать на вопросы, рассказывать о себе, мучительно подбирая куда-то подевавшийся «богатый словарный запас». И что самое сложное – правильно задавать и отвечать на «хвостиковые» вопросы.

И все это под строгим взглядом миссис Шук, которая, должно быть, поклялась довести знания своих учеников до совершенства, несмотря на все препятствия – незнание простейших речевых оборотов и полную неспособность поддерживать каждодневный разговор.

Юлия прекрасно понимала свои плюсы и минусы. Граматику она знала хорошо. Многочисленные английские слова, выученные в еще в Москве, аккуратно лежали по полочкам у нее в голове. Но произношение не годилось никуда. Особенно межзубные звуки. И речь была тяжелая и выдавливалась с трудом, по каплям, как засохшая зубная паста из старого тюбика.

Миссис Шук видела ее старание и помогала, как могла. Оskalивала зубы, просовывала между ними кончик розового языка. Заставляла Юлию делать тоже самое и повторять: th-th-th. Так они шипели друг на друга, пока миссис Шук не произносила удовлетворенно: Вот теперь прекрасно! Можешь сесть, Джулия.

Но Юлия была не очень довольна своими успехами. И все-таки поставила перед собой цель – к концу четвертого уровня она должна говорить так, чтобы пройти собеседование, необходимое при поступлении на работу. Не помощницей нянечки или уборщицей, а знающим, грамотным программистом.

Осталось чуть меньше месяца до окончания Юлией четвертого уровня. Впереди – пятый, где основное внимание уделяется не разговорной речи, а чтению сложных текстов и письменным упражнениям.

И тут, как часто случается в жизни, все так тщательно продуманные планы стали рушиться, как картонный домик, построенный на зыбкой и еще такой чужой земле, полной неизвестности.

Началось с того, что Юлии позвонила ее «ведущая», миссис Джейн и радостно сообщила ей, что поскольку, по имеющимся сведениям, освоение языка у Юлии происходит великолепно, и за все последние тесты она получила самые высокие оценки, то принято решение устроить Юлию на работу сразу по окончании четвертого уровня.

А работу ей подобрали превосходную – кассиром в ближайшем супермаркете. Очень близко. Можно добираться без машины – всего минут двадцать пять – тридцать пешком. Через три недели – собеседование!

– О'Кей?

– О'Кей! – ответила Юлия, и кисло протянула. – Спасибо большое.

Повесив трубку, она твердо решила получить в оставшееся короткое время все возможные знания и бежать из «этого города», пока он не засосал ее в трясины своей спокойной, размеренной жизни, полностью уверенный в том, что кассир в магазине и программист – это почти одно и то же. Тот и другой, проработав какое-то время, рано или поздно купят приличную машину и уютный домик в стиле ранчо с палисадником и аккуратно подстриженным зеленым газоном. А

по выходным дням будут ездить на океан, чтобы отдохнуть, искупаться и позагорать перед новой трудовой неделей.

Приехав на следующий день в колледж, Юлия прошла на свое место и стала выгружать из сумки учебники и тетради с домашними заданиями. Внезапно, к ней подбежала Дина, наклонилась и принялась взволнованно шептать:

– Представляешь, Юлька! Миссис Шук ушла! Уехала в Бостон. У нее муж военный. Его перевели туда работать. Они дом покупают. В общем, она появится только к заключительным экзаменам, – закончила Дина и огорченно вздохнула.

Юлия уставилась на Дину неподвижным взглядом, не вполне понимая, что это для нее значит.

– А кто же будет у нас вести занятия? – спросила она Дину.

– Какой-то профессор из другого колледжа. Временно. Шук передала нашему старосте, чтобы мы не волновались – преподаватель очень хороший, опытный, и все будет прекрасно!

– Посмотрим! – сказала Юлия, и вдруг, вспомнив вчерашний разговор с миссис Джейн, спросила Дину, пристально вглядываясь ей в глаза. – Ну, а что же с нашим переездом в Нью-Йорк? Ты точно решила?

– Конечно! – не колеблясь, подтвердила Дина. – Что здесь делать, в этой дыре? Горшки выносить? Я, мне кажется, еще на большее способна!

– Ну, хорошо, – сказала Юлия. – Надо доучиться. Догрызть гранит науки до последней крошки.

Дина удалилась на свое место. И в это время открылась дверь, и стремительной походкой в класс вошел новый преподаватель.

В светлом, с иголок ки костюме, песочного цвета рубашке с галстуком. Ему на вид было лет сорок пять. Подтянутый, худощавый он держался очень прямо, слегка заносчиво запрокинув голову. Пепельные волосы подстрижены аккуратным ежиком. На висках благородная седина. Серые глаза за стеклами очков смотрели серьезно. Он цепким взглядом оглядел присутствующих. Поздоровался. Представился: «Джон Рассел».

Взял в руки журнал и стал вызывать студентов, четко произнося имена и фамилии, почти так, как они звучали на их родных языках, не переделывая на американский лад. Студенты вставали по очереди со своих мест. Профессор кивал головой и улыбался каждому неожиданно открытой, белозубой улыбкой, и морщинки разбегались от его глаз.

– Джулия Сигал, – объявил он.

Юлия встала.

– Не возражаешь, если я буду тебя называть Джулия, – спросил профессор. – Я знаю, что в России тебя называют Ю-лия, – старательно выговорил он. – Но Джулия – звучит тоже очень красиво, – и вопросительно взглянул на Юлию.

– Нет, – ответила она и почему-то покраснела. – Я не возражаю.

Начались занятия. И вот тут Юлия поняла, что миссис Шук – это цветочки. А ягодки – это мистер Джон Рассел. Он не дал никому ни минуты на раскачку. Разделил всех на пары и поручил каждому узнать у своего партнера все биографические данные, занятия, увлечения, семейное положение. И потом рассказать всему классу.

После этого надо было записать все в тетрадь. Кроме того, следовало выучить имена всех соучеников и рассказать им о себе. И все в таком быстром темпе, что у Юлии голова пошла кругом.

Но мистер Джон Рассел внезапно прекратил свои испытания речевых способностей студентов и перешел к грамматике. Объяснил правила, привел примеры их использования и дал задание каждому придумать как можно больше предложений с применением усвоенных конструкций. В конце занятий, решительно разбивая ребром ладони воздух, мистер Джон Рассел повторил то, что они прошли за день. Гипнотическим взглядом всматривался в каждого и как бы мысленно давал приказание хорошенько все запомнить. Быстрым, летящим почерком расписал на доске домашнее задание. Попрощался. И исчез из аудитории, вполне довольный произведенным на притихших студентов впечатлением.

– Вот это да! – в восхищении проговорила Дина. – Вот это преподаватель! Если бы мы с ним занимались, у нас с любой работой проблем бы не было!

– Методика у него, действительно, неплохая, – согласилась Юлия. – Но уж больно шкуру дерет. Пощады никакой.

* * *

Дни за днями летели быстро. Юлия занималась много, упорно. Но почему-то казалось, что преподаватель ею недоволен. Часто поправляет. Не разрешает делать паузы между словами. Заставляет набрать воздуха и выговорить все предложение слитно, на одном дыхании, чтобы отдельные слова слились в единый быстрый ручеек. Придумывал скороговорки на межзубные звуки и заставлял повторять их много раз, пока они не стали выскакивать изо рта легко, почти без усилий. И говорить. Обо всем. Рассказывать по картинкам. Придумывать истории. Написать дома короткое сочинение и прочитать его перед всем классом.

Юлия написала:

«Для того, чтобы получить хорошую работу, мне нужна машина. А для того, чтобы купить машину, мне нужна хорошая работа. Вот и получается заколдованный круг!»

Мистеру Джону Расселу сочинение очень понравилось. И он стал с интересом посматривать на Юлию. Но похвалок не давал. Задавая какой-нибудь заковыристый вопрос, очерчивал пальцем в воздухе большой круг, как бы раздумывая и выбирая подходящую жертву. Потом внезапно разворачивался на каблуках, направляя руку, как дуло пистолета, радостно выкрикивал:

– Джулия!

И Юлия начинала отвечать, сначала медленно, спотыкаясь и подбирая слова. Потом все свободнее и легче. Напряженная складка между бровями разглаживалась. Речь становилась быстрой, веселой. Юлия даже иногда улыбалась, видя, как мистер Джон Рассел довольно помаргивает серыми глазами, спрятанными за стеклами очков.

Две недели пролетели незаметно. На последнее занятие Юлия прийти не смогла. Они с Диной решили уехать до финальных экзаменов, чтобы не опоздать на очередной набор на курсы программистов в Нью-Йорке. Юлия договорилась в деканате, чтобы ей приготовили справки о том, сколько и каких курсов она прослушала и какие оценки получила за тесты.

Дина объяснила ей, что эти выписки очень пригодятся при приеме на работу, так как из них ясно, что человек не терял драгоценное время после приезда в Америку, не бездельничал, а ежедневно изучал английский язык в серьезном колледже и даже отчетки получал такие, что никому их не стыдно показать.

Получив в конце дня нужную справку, Юлия вышла в вестибюль и стала ждать Дину. Юлия стояла, прислонившись к колонне, и рассматривала прикрепленные к стене объявления о музыкальных программах, поэтических вечерах, призывы к сбору консервов в помощь бездомным.

Оторвав глаза от витрины, Юлия вдруг увидела мистера Джона Рассела, который искал кого-то взглядом в вестибюле. Заметив Юлию, он приветливо помахал рукой и торопливо направился к ней, пробираясь через толпу студентов, высыпавших в вестибюль в перерыве между занятиями.

– Здравствуй, Джулия! Как дела? Ты пропустила сегодня занятия. У тебя все в порядке? Ничего не случилось?

Юлия смутилась, услышав привычные американские вопросы не в классе, как обычно, а в свободной, неформальной обстановке. Но надо было что-то отвечать. Тем более что мистер Джон Рассел не спешил уходить, а настойчиво и вопросительно смотрел ей в глаза.

Юлия собралась с духом, сосредоточилась, подготовила в уме нужную фразу, и произнесла, отведя глаза в сторону:

– Я скоро уезжаю из этого города. И занятия больше посещать не буду, – закончила она предложение и облегченно вздохнула.

– Уезжаешь? Куда? Зачем? – брови мистера Джона Рассел удивленно поползли вверх.

– В Нью-Йорк. Я хочу найти работу программиста, по своей специальности. В Нью-Йорке возможностей больше. А здесь, я знаю, такой возможности нет. Здесь нужны люди других профессий.

– Я понимаю твою ситуацию, – протянул мистер Джон Рассел задумчиво и вдруг заговорил совсем не так, как на занятиях, выговаривая каждое слово, а быстро, глотая отдельные звуки и даже как-то рокоча.

Юлия уставилась на него с непонимающим видом. Заметив ее вытянувшееся лицо, мистер Джон Рассел вдруг осекся, замолчал, потом рассмеялся и сказал:

– Извини, пожалуйста, Джулия! Я говорил слишком быстро. Я буду говорить медленно. Слушай меня. Не уезжай. Я очень не хочу, чтобы ты уезжала. У тебя прекрасный прогресс с языком. Произношение значительно улучшилось. Надо только поработать над словарным запасом по твоей специальности. Я обещаю помогать тебе. Совершенно бесплатно. Время у меня есть – я одинок. Мы подружмся. Я уверен. В России говорят – друзья познаются в беде. У тебя сейчас трудное время. Я постараюсь помочь. У меня есть друг. У него маленькая компьютерная фирма. Мне кажется, знакомство с ним будет для тебя очень полезным. Может быть, он поможет с работой. Кто знает? Не уезжай, Джулия! – И мистер Джон Рассел совсем не по-американски взял ее руку в свою и крепко сжал.

Юлия в растерянности молчала. Она не все поняла, что говорил мистер Джон Рассел. Но главное – да. Он просил ее остаться.

– Я не знаю, – протянула она нерешительно и добавила по-русски: – Совершенно не представляю, что мне делать! – И взглянув в его улыбающееся лицо, сказала – Ой, извините! Я, кажется, заговорила по-русски!

– Это ничего! – сказал мистер Джон Рассел. – Может быть, ты будешь учить меня русскому? Я был бы очень рад! – он вынул из кармана карточку. – Вот мой телефон. Рабочий, домашний. Звони. Мы можем начать заниматься немедленно. Я буду ждать твоего звонка. До свидания! – все еще улыбаясь, проговорил он.

– До свидания! – ответила Юлия, разглядывая маленькую, светлую карточку.

А из другого конца вестибюля к ней спешила Дина, радостно помахивая наконец-то полученной справкой.

Оставалось всего два дня до отъезда Юлии в Нью-Йорк. Чемоданы были собраны. Мать заворачивала в газеты чашки и тарелки, чтобы они не побились в пути. Она иногда что-то спрашивала у Юлии. Та отвечала: «Да, мама. Хорошо, мама». Мысли ее были далеко.

Юлия все делала как всегда, по заранее намеченному плану. Заполнила на почте заявление об изменении адреса. Предупредила в офисе, что она освобождает квартиру. Сообщила об отъезде удивленной миссис Джейн. И все время ей казалось, что она собирается не по-настоящему, как бы понарошку, боясь признаться в этом даже матери, даже – себе. Дело в том, у нее с каждым днем все сильнее и сильнее росло желание остаться.

В первый раз в жизни Юлия почувствовала, что может опереться на чье-то плечо. Довериться чужому, почти незнакомому человеку. Американцу. «Что же делать? Что же делать?» – задавала она себе один и тот же мучительный вопрос.

На следующий день вечером к ней забежала Дина. Она была радостно возбуждена:

– Смотри, Юлька! Вот список всех курсов программирования с телефонами и адресами. Выбирай любой! Подруга сегодня прислала. Здорово! Правда? – и Дина так и застыла с поднятым листком бумаги и широко раскрытым ртом.

Только сейчас она заметила, что Юлия вынимает из чемодана аккуратно сложенные вещи и раскладывает их по полкам стенного шкафа.

– Юля! Что ты делаешь? Ты с ума сошла?! Мы ведь завтра уезжаем!

– Я никуда не еду, – сказала Юлия, и короткая, неуверенная улыбка промелькнула у нее на лице. – Да! Никуда! Я остаюсь здесь, в этом городе.

НИНА БОЛЬШАКОВА

СТАРУХА

«В комнату вошла старуха пятидесяти двух лет». Эта фраза сидела в голове. Старухи со школы, запомнилась из книжки для чтения по русской литературе. Кажется, это из Капитанской Дочки, или... неважно. Всего, выходит, жизни-то лет двадцать, не боле. Поначалу ты все дитя, ничего нельзя, и вдруг какой-то тип под юбку лезет, люблю, говорит, давай. Только от него избавилась, а другие бегут, еще хуже. Пока огля-

делась, поняла, чего самой хочется, а и жизни нет уже, укатилась под горку. Вечером молодуха, а поутру старуха.

Старухе исполнилось уже пятьдесят пять. Можно бы пойти на пенсию, но она не хотела; лучше работать, уходить утром и приходить вечером, после того как все уже поужинают и усядутся у телевизора. Очень хорошая, дружная семья. Ее кузены и кузины, их мужья и жены, дети и внуки. Все живут рядом, в одном загородном поселке и ходят друг другу в гости, рассказывают об успехах детей, показывают новые приобретения. Говорят громко, перебивая друг друга, у старухи от них голова болит. То есть она не говорит, что болит, да они у нее никогда ничего и не спрашивают: что она может им рассказать? Но она так морщится, как будто голова заболела, и уходит на заднюю веранду или наверх, к себе в мансарду. У нее нет детей, и соответственно нет внуков, и приобретений она тоже не делает. Она бы чего-нибудь приобрела, конечно, не для того, чтобы похвастаться, а просто так, как доказательство своего присутствия. Но на ее зарплату не разгонишься, она уборщицей работает, контору убирает.

Совершенно она им ни к чему, но приходится терпеть. Ей родители дом завещали, напололам с Бориком. Теперь ее половина до мансарды ужалась, так это по справедливости. У Борика семья, дети, ответственная работа, ему кабинет нужен. Зато он с нее за свет не берет, и за воду, и земельный налог сам платит. Они, конечно, надеются, что она Митечке в благодарность свою половину завещает, но разве у нее узнаешь? Скрытная она Старуха. Дом, хотя и старый, но просторный, два этажа, и мансарда, и круговая веранда, а вокруг старый сад, еще родители сажали, а перед домом поляна, заросшая зеленой травой. Такая трава густая и пахучая, сколько ее не стриги, наутро опять по колено, просто беда с этой травой.

Так вот, сегодня Кисочка, Борикина жена, случайно вышла на заднюю веранду и увидела Старуху. Оказывается, она неожиданно для всех начала рисовать. На холсте и сразу масляными красками, никогда этому не училась, вдруг купила канву, краски, поставила на треногу (нашла на чердаке, от давнего жильца осталась) и нарисовала луг. Летний луг, трава, цветы, пчелы собирают мед, дует легкий ветерок. Большая картина, и Старуха в нее кисточкой тычет, вроде как последние мазки наносит. Кисочка просто сама себе не поверила, Борика позвала, а с ним и гостей, что у них были в этот день к обеду. Домашние увидели, стали смеяться, не верят, что Старуха сама это нарисовала. Ты на базаре купила, говорят. Совсем с ума сошла, говорят. Прямо так и говорят, вслух:

– Совсем эта старуха сошла с ума, надо ее устроить в дом для престарелых инвалидов с психиатрическим уклоном.

– Да, я и раньше замечала, – говорит Кисочка, – она не в себе. Вдруг встанет у окна, смотрит и молчит. То есть дел же полно, обеда нет, и надо Митечку вести на тренировку, и вещи забрать из химчистки и много разных дел еще.

И они говорят между собой о том, какая она странная и почти что непригодная ни к чему, хотя у нее и дипломов всяких много, но это все из той жизни, а в этой она только поломойкой и могла устроиться, а что мы ей, помогать должны, и вообще она такая, толстая,

краснощекая и неприятная.

– И дышит так громко, вы замечали? – спрашивает кузина.

Они стоят возле картины и говорят, как будто ее и в комнате нет, и так они все друг с другом согласны. Вдруг откуда-то сбоку, из-за угла раздается тихое такое жужжание, никто поначалу ничего и не слышит, а оно жужжит громче и громче, и кузина говорит: что это, у соседей стиральная машина работает? Что это они в выходной день стирают? И все начинают обсуждать этих соседей, какие они неэтикетные и вообще, хотя как-то странно, все-таки до их дома метров сто, не меньше, какая на природе слышимость хорошая. И вдруг Митечка говорит:

– Ой, мама, она меня хочет укусить! – И машет так ручкой, вроде отгоняет кого-то.

А веранда наполнилась вся жужжанием, и золотистыми тельцами-веретенцами, и они как пульки золотые, стреляют вверх и вниз и по диагонали, и по кривой Мебиуса (это ученый племянник потом так описывал траектории золотистых пулек), и неожиданно они все оказываются как в пчелином улье, и машут руками, и кричат, потому что их жалят. А как же вы хотели, если кричать и махать руками, так пчела обязательно ужалит. Пчелы не любят когда шумят. Кое-как в столовую забежали, пчел выгнали, окна закрыли, все охают, ахают, укусы считают, кто-то в обморок упал. И тут Митечка говорит:

– А где же бабушка?

А Старуха, оказывается, спокойненько себе картину в белую ткань завернула и мольберт складывает. А только что ведь была грубо сколоченная тренога, и вдруг настоящий мольберт красного дерева. И ее совсем не покусали пчелы. В общем, ерунда какая-то получилась вместо семейного обеда. И все Старуха виновата, потому что она вечно окна открывает, воздух ей спертый. А того не понимает, старая дура, что у нас система полного кондиционирования, на весь дом, и окна открывать нельзя. То есть действительно, надо что-то со старухой делать.

– Времени нет этим заниматься, но видимо, к тому идет, – сказала Кисочка. И Борик с этим согласился.

А Старуха унесла мольберт к себе в комнату, и что-то там рисовала, замечали, но никому не показывала, прятала за шкаф. Да никто особенно и не интересовался, все очень заняты, у всех куча проблем, мужья, жены, дети и карьера. Не путается под ногами, сама себя на свои уборочные копейки содержит и прекрасно. Старались поменьше с ней встречаться и разговаривать. Какую-то неловкость она у них вызывала своей безмужностью, и тем что на жизнь зарабатывала физическим трудом и, видимо, мало, но как-то все-таки на это жила. Она не просила у них ничего, но все равно некое неудобство вносила в их сообщество успешных, хорошо устроенных людей.

– Вы замечаете, возле дома появились какие-то коты? – спросил как-то утром Борик.

– Да, я тоже вчера в саду видела трех или четырех бездомных кошек, – сказала кузина Мимочка.

– И что же они там делали? – Поинтересовался толстый Мимочкин муж Додик.

– Ничего, – ответила Мимочка, – на ветках сидели.

– А как ты знаешь, что они бездомные? – Спросил Додик.

– Они не отзываются на кис-кис, и у них нет ошей-

ничков и колокольчиков. У каждой домашней кошечки обязательно должен быть ошейничек, а у этих нет. И смотрят они как то сверху вниз, – нервно объяснила Мимочка.

– Все это очень странно, – сказал Борик. – Наверное, старуха их прикармливает, иначе откуда бы они вдруг взялись. Надо за ней понаблюдать и пресечь это дело на корню. Только этой заразы нам тут не хватало.

И Борик взял выходной на своей ответственной работе, остался дома, засел в своем кабинете на втором этаже и с самого утра стал наблюдать за садом. Сначала ничего не происходило. Он просидел у окна часа два, но старуха не выходила. В траве под деревом спал черный кот с белым ухом. Наконец Борик устал и захотел есть и в туалет. Пока он делал сначала первое: съел банку сайры с черным хлебом и помидорами и запил кока колой, а потом второе: сидел на унитазе, курил сигарету и читал Финансовые Ведомости, прошло около часа. Наконец Борик освободился, вымыл руки, он вообще соблюдал все гигиенические правила, и подошел к окну.

Под окном Черный кот с белым ухом сосредоточенно трахал рыжую кошку. Та припала к земле, откинула хвост на сторону и внимала. Под деревом в траве спал белый кот с черным ухом. Другой, пятнистый, сидел на ветке и умывался. Старухи нигде не было видно, но коты явно чего то ждали. Борик загляделся на рыжую кошку. Чудо как хороша, думал он. Зад какой высокий, и бедра сильные. Черный кот с белым ухом вцепился ей зубами в загривок, а она ничего, не возражает. А Мимочка все время кричит:

– Не целуй меня взасос, а то Додик узнает! Природа! – Борик так разомлел, что пропустил бы явление Старухи, если бы не коты.

Черный кот с белым ухом испустил страстный вопль и в последнем толчке отпустил рыжую кошку на волю. Та встряхнулась и, покачивая своими замечательными бедрами, пошла к веранде. За ней вереницей шли коты. Борик подумал: ну вот, сейчас она их будет кормить, тут я ее и накрою! И побежал вниз.

На веранде перед мольбертом сидела Старуха. Она рисовала тонкой кистью на холсте. Перед ней на поляне стояли коты. Они молчали и смотрели на старуху круглыми глазами. Ах, что это были за глаза: все оттенки зеленого, от светлой весенней травки до темно зеленой глубины бутылочного стекла, и золотые, как янтарь, и голубые, да-да, у белого кота с черным ухом были ярко голубые глаза. Борик взглянул на мольберт. Старуха рисовала кота, но бог мой, что это был за кот. Он был как маленькая думочка, что старушки кладут под голову, и как теплый спальный мешок в холодную снежную ночь, и как кудрявая голова молодого мужчины, которую так приятно погладить, и как 911, который всегда приходит на помощь тем, кто позвонил. Вот какой это был кот.

Борик же увидел на холсте какие то завихрения красок, вот торчит лапа, вот кончик хвоста. Из-за этой ерунды она и притащила сюда всю эту дикую сластолюбивую свору, прикармила их кусочками мяса, которое она ворует у нас, рассердился Борик. Нелепые фантазии, что за художества на старости лет. Он подошел, снял полотно с мольберта и не говоря ни слова, стал срывать ткань с подрамника. Старуха поднялась со своего стула и сказала:

– Не делайте этого, а то пожалеете.

– Ты мне еще и угрожаешь, нелепая Старуха, – совсем разозлился Борик. – Вот что я сделаю!

Борик прыгнул на траву и стал рвать полотно на мелкие кусочки. Раз – оторвал кусочек с когтистой лапой, и тут же пятнистый кот издал хриплый крик. Два – вырвал клочок с полосатым хвостом и рыжая кошка подскочила в воздух на целый метр.

– Не надо, – сказала Старуха, но было поздно.

Коты пошли вперед, окружая Борика. Он успел взмахнуть сломанным подрамником, и кольцо сомкнулось. Борик только пискнул, как толстая неповоротливая мышь, и в этот единственный писк все было кончено. От него даже ботинок не осталось. Когда коты разомкнули кольцо, в середине валялась круглая металлическая пуговица-заклепка от джинсов. И больше ничего.

– Ай-яй-яй, – сказала Старуха, – какое неожиданное происшествие. Борик явно этого не планировал. Однако надо закончить картину.

Она натянула порванный холст на новый подрамник, приложила оторванные кусочки и они встали на место как пришитые. Коты сидели полукругом на поляне, ждали. Наконец Старуха закончила картину и повернула мольберт к поляне, коты привстали на цыпочки, осмотрели картину, затем развернулись и ушли восвояси. Впереди шла рыжая кошка. Вот из травы виднеются только кончики хвостов, а вот и они пропали совсем.

Борика искали всем семейством, потом наняли частного детектива, но так ничего и нашли, даже пуговицы. Старуха предлагала поискать в траве, но зачем ее сумасшедшую слушать? В конце концов, Додик выдвинул версию, что Борик скрылся с деньгами, которые потихоньку тащил из семейного бизнеса. Денег там и правда не хватало, потому как все помаленьку воровали, поэтому не достачу с тайной радостью списали на Борика. На том и успокоились.

Семейные обеды продолжались, теперь уже Додик сидел во главе стола. Он потихоньку от Мимочки трахал вдову, утешая ее в неожиданной потере и помогая управлять бизнесом, оставшимся от Борика. Мимочка делала вид, что ни о чем не подозревает, у нее раскручивался роман с новым менеджером. Старуха по прежнему ходила на работу в свою контору; вечерами она что-то рисовала на задней веранде. По молчаливому всеобщему согласию ее больше не беспокоили. Изредка в дверь стучали какие-то странные, прежде невиданные люди. Они приходили к старухе; поднимались в мансарду, о чем-то с ней говорили. После этого она рисовала, иногда несколько дней подряд, иногда всего один вечер, потом отсылала картину с посыльным по только ей известному адресу. Посыльный был всегда один и тот же: высокий худой старик с длинными седыми волосами, стянутыми резинкой на затылке.

Если бы семейство читало местную газету, оно бы узнало, что с недавних пор в городе стали происходить странные вещи. Неродеха-невестка городского головы неожиданно родила двойню. Термиты сгрызли дом начальника милиции до основания, то есть до бетонного фундамента: народ утром проснулся, а дома нет, посреди колоссального фундамента стоит диван, а на нем начальник милиции спит сном праведника. Летучие мыши поселились на чердаке городской бани; иногда они залетали в женскую раздевалку, то-то бы-

ло веселье! Черная обезьяна Кика из зоопарка (между прочим, большой редкости животное) среди бела дня затащила в свою клетку главного животного повара и не отпускала его три дня, все ласкала и ласкала. Неожиданно достроили мост через реку, а раньше все денег не было. А в городском музее случился пожар и все принятые в музей картины сгорели ясным огнем. При этом они кричали и пищали от ужаса, но пожарные так и не смогли ничего поделаться. Но счастливое семейство газет не читало.

5/11/09 – 8/24/2009

РОЗАЛИЯ СТЕПАНОВА

«КАК ЭТО БЫВАЕТ»

Отрывки из повести или рассказ Лёльки-большой, у которой есть брат Шура и тёзка Лёлька-малая.

Финша и тайный ход. У нас есть настоящий тайный ход! В обычных квартирах – как? – Входишь – коридор, у всех по комнате, кухня общая, чёрного хода почти ни у кого нет. Вернее, он есть, но для тех, кто себе кусок квартиры с ним отхватил, от соседей отгородился и через него на улицу ходит, он теперь не чёрный, а парадный. А у нас он, как ему и положено, чёрный, его дверь на длинный крюк запирается. С него мы на чердак вешать бельё ходим и мусорное ведро выносим. Но в нашей квартире есть нечто необыкновенное, чего ни у кого нет. Лёлька-малая, пока не увидела своими глазами, всё верить не хотела.

К нам, на третий этаж, входишь – светлая прихожая, из неё двери – одна прямо в наши комнаты, другая, та что сбоку, – в тёмный коридор, ведущий в заднюю часть квартиры, где соседи живут. Там большая кухня с окном во двор и чёрным ходом. Если в этом коридоре свет не зажжёшь, тайный ход ни за что не заметишь. Он справа. В темноте кажется, что это высокая, забитая лыжами и разным хламом огромная до потолка ниша – размером с целую комнату. Но это не так. Приглядевшись, увидишь узкую щель в полу, ограждённую с трёх сторон деревянными поручнями, а в ней уходящие вниз ступеньки. Спустившись по ним, держась за перильца, найдёшь скрытую в стене дверь, она не заперта. Когда я была маленькой, я боялась выходящих оттуда время от времени людей. Потом мне объяснили, что это жильцы нижней квартиры, которым надо в уборную. У нас-то – вот она, не доходя кухни, а у них, на втором этаже, её нет. Понятно.

Но иногда из щели показывалась Финша, страшная сгорбленная старуха с ночным горшком. Если в это время кто-нибудь мылся в ванной – на кухне за занавеской, Финша выходила из себя и, тряся стриженной головой, хрипло кричала: «Не смейте мыться в моей ванной, это моя ванная, я её сама купила!» Мы думали – она сумасшедшая. А оказалось, раньше она действительно владела этой ванной и всем нашим домом тоже, включая расположенную зачем-то на втором этаже аптеку, и была тогда не Финшей, а доктором Финн. В наших комнатах у неё был зал ожидания и кабинет, в котором она детей лечила. Чуть у моей кровати обои отклеятся – под ними масляную краску рассмотреть можно – кусочек подсолнуха на зелёном фоне. Детишки, наверное, всё это разглядывали, пока приёма дожидались.

Тёмный коридор, тот, что с тайным ходом, отделял светлую прихожую, ведущую в докторскую приёмную, от примыкающих к чёрному ходу задних комнат, которые для прислуги. В ванной для Финши стирали, а на кухне готовили ей обед и через тайный ход носили вниз, в хозяйские покои – не хотела Финша, чтобы у неё кухней или стиркой пахло.

Всё это было ещё до того, как её уплотнили и аптеку отняли. Но вот, что мне было непонятно: как же аптечные запахи, они разве ей не мешали? И почему это Финша нашу аптеку на второй этаж взгромодила? – Оказалось – аптеку тоже уплотняли.

Зато лестница к ней ведёт царская. С улицы как входишь – потолка не видать, три широкие ступени, с боков зачем-то обрамлены пустыми полукруглыми площадочками, за которыми – ничего, двери заколоченные. А впереди перед тобой она сама по стенам вольно так изгибается – спокойная, ступени плавные, а под перилами вереницей тёмные вазы с цветами и фруктами. Кое-где они, правда, немного отбиты, но это ничего. На второй этаж по ней поднимаешься – перед входом в аптеку невиданное окно во всю стену. Не окно, а целая стеклянная арка, наверху – закруглённая и разноцветная как замысловато расписанная турецкая шаль. После войны никакой росписи я уже не застала, как и оскала львиной морды над этим окном, если смотреть с улицы. Но я помню!

Кто от этих уплотнений выиграл, так это нищие. Они нашу лестницу себе облюбовали – тут и тепло, и люди курсируют: туда идут – мелочь готовят, обратно – сдачу ещё не спрятали. Каждый своё привычное место знал – кто на промежуточной площадке уголок подпирал, руку протягивал, кто на фоне арки окна к подоконнику притулился. А удобней всего – на самой верхней ступеньке, на ней сидеть свободно. Обычно её занимал благообразный голубоглазый всегда пьяный старик с волнистыми сединами по плечам – попросит. Он руки не протягивал, ему и так подавали.

А наш кот Василий, персона важная, когда с прогулки возвращался, мимо него проходя, носом подрагивал и хвостом своим пушистым чуть помахивал. Мы его, когда просился гулять, с чёрного хода во двор выпускали и на дверь снова длинный крючок накидывали. У Василия во дворе свои дела были, но возвращался он всегда со стороны улицы, через парадный ход вместе с очередным покупателем. На второй этаж с ним подымется, у того самого окна пристроится и наблюдает. Как только увидит, что кто-то не в аптеку направляется, а на третий этаж поворачивает, тут же с ним рядом наверх шествует и у наших дверей хвостом машет, намёк даёт недогадливым. Все жильцы Василия знали и в наш звонок звонили. Такой кот был умница!

А при Финше, оказывается, аптека уже с первого этажа начиналась, здесь был тогда главный вход. На полукруглых площадочках, по бокам трёх первых ступеней, чучела медведей во весь рост стояли, в лапах шары фонарей держали. За левым медведем лекарства отпускали, за правым – на заказ готовили, на втором этаже только рецепты принимали. Когда же дом и аптеку у Финши отобрали, на первом этаже все двери заколотили, жильцов, поселили. Тут чёрный ход им и пригодился. Медведи без дела остались. А ужатая до второго этажа аптека тоже не растерялась – полквар-



Старый дом. Иллюстрация к рассказу Розалии Степановой «Как это бывает».

тиры у бывшей хозяйки оттапала и ещё ванную с уборной прихватила. А к Финше соседей подселили.

Зато нам здорово повезло! Представляете, как удобно прятаться, затаившись на незаметных ступеньках тайного хода, или, спустившись по нему, убежать через нижнюю квартиру!

Во дворе мы об этом помалкивали. В секрете это держали.

Не как все. Почему я такая нескладная? Не получают у меня движения, как у Тоньки – ловкие, не сказать красивые, но проворные. Сама она – такая вёрткая, сноровистая, разбитная, и всегда что-нибудь любопытное придумает.

В нашем дворе она – главный заводила. Разве без неё догадался бы кто из всей дворовой оравы отвалить застарелую дверь в подвале чёрного хода? Смогли бы мы в кромешной тьме, натываясь на что-то ветхое, жуткое, держась цепочкой, пробраться затхлыми, лет сто назад загаженными подземельями и вдруг выйти через подвал Тонькиного подъезда на другом конце двора?

Для Тоньки и всех, кто в этом флигеле обитает, это не чёрный ход, у них другого никогда и не было. Так ещё при Финше было задумано – пусть жильцы со двора ходят. И ступеньки лестницы у них не как у нас – цвета чая с молоком, а не поймёшь какие, потому что всегда грязные. И дверные ручки не бронзовые с удобным закруглённым выступом под большой палец, и полы в квартирах не паркетные, а крашенные. Окна у них во двор смотрят, как у нас на кухне, где мы вечно крутимся, глядя – кто гуляет. Только услышим: «Шурка, Лёлька, скорей, Тонька выходит!» Тут уж всё побоку – бегом вниз!

«Иих-хи», – заливаясь Тонька, показывая свой выпирающий передний зуб, и вся содрогается от предвкушения. «Сейчас будем Цыпочку дразнить, она вот-вот со своими нотами появится!». В этой игре все свои роли давно уже знал и – как только Адочка в устье двора настороженно так покажется, на нашу территорию вступит – деться-то ей некуда, до подъезда целый двор пересечь надо – тут мы всей гурьбой – к ней. Окружаем и скачем, выкрикивая бессмысленное: «А ты курочку скушала?» или «Адка-ватка-цыпочка, где украла скрипочку!» Эти дразнилки Тонька придумала. Последнюю ещё «улучшила» и, перекрывая наш общий визг, сладким голоском выводила: «Адка-ватка цыпочка, в зад запёхни скрипочку!»

Такое у нас было всёлое беснование, пока Адочкина кудлатая бабушка, бывало, не подоспеет крикнуть, свесившись через подоконник: «Пошли вон, паршивцы, вот я милицию вызову!» Тоньку она иначе как «воровское отродье» не величала. А один раз – из всей дворовой оравы нас двоих выделила: «Лия, Шура, а вам-то не стыдно?»

– Одним лишь нам? Насчёт Тоньки всё ясно. Но почему из всех бабка вы делила только нас, я тогда не сообразила. Даже после случая с тётей Нюрой до меня не сразу доехало.

Аппетит у меня в то время всё ещё не прорезался, и летом в лагере мне еды хватало. Подходя с тарелкой к раздаточному окошку, я не кланялась как другие: «Тётя Нюр, погуше!». Мне она, как некоторым, не улыбалась, шуточек не удостоивала, проворно орудуя большой и малой позарёшкой и чайной ложечкой для масла в кашу или смеганы в суп.

Как все расторопные, умелые люди, играючи управляющиеся с предметами, она мне нравилась. В ловких её ухватках не было ничего лишнего, никаких там усилий, всё получалось само собой. На кухне её окликали Лукиничной.

Тем больше я удивилась, что именно меня присоединили к тому странному делу. Во время мёртвого часа троих из её любимчиков и ещё меня вожатая с кроватей подняла и привела не куда-нибудь, а в директорский кабинет. Тут тётя Нюра вся красная вальяжно так сидела, а напротив неё – Софа – Софья Вениаминовна из Медкомнаты – сухонькая, сутуленькая, зад где-то под мышками.

«Дети, – сказал нам директор, – вы когда-нибудь видели, чтобы Анна Лукинична кусок масла в чан с пюре опускала, а после ухода медкомиссии вынимала?»

Мы, конечно, такого не видели. Да разве тётя Нюра на это способна? Меня зачем-то спросили отдельно, и я опять подтвердила и даже добавила, что такое и в голову прийти не может.

«А вот может!» – сказал директор, не спуская глаз с Софы. А та на меня как-то странно посмотрела. И меня вдруг пронзило, что именно так, ловко и сноровисто фокус с маслом тётя Нюра и проделывала, только все об этом помалкивали. И её любимчиков на этот спектакль не зря вызвали. А вот – почему меня – до моего ума только потом доехало. Дошло, что отведена была мне роль, под названием: «Вот и из ваших ребёнок тоже подтверждает».

Софу шофёр нашего газика на станцию отвёз, но тот её взгляд остался со мною. Он мне помог, наконец, осознать, что я не как все, и что пора уже знать, где мне не место.

Слонишка. Мальчишки – а зачем они? Мне, например, совсем не нужны. С меня хватит братца Шурки с его подвохами. Вечно он исподтишка что-нибудь подстроит и веселится, доволен. Глаза горят, зубы – лопатами, волосы – шапкой. Спрашивается, зачем ему такие кудри? – А губы? Я, правда, дразню его за них «две сосиски». Он меня тоже. Но у меня-то, и вправду, «две сосиски», а у него они ещё как накрашенные. Обидно. А когда он рисует, язык набок высовывает – так себе помогает. Если меня изобразит, – лучше не смотреть. А когда Финшу с горшком или за своего приятеля долговязого возьмётся – очень смешно получается, особенно похоже выходят нос и уши. Они у того и вправду какие-то толстые, отдельно стоящие. Может, из-за них все зовут его Слон, Слонишка. А может потому, что он добрый. Таким доверчивым быть, конечно, нельзя, в особенности, когда имеешь дело с моим братцем.

Однажды, когда этот дурачок к нам за чем-то пришёл, Шурка свет в тёмном коридоре погасил, сам, переступая назад по боковым карнизам, что над тайным ходом, до самой стенки добрался, стоит, закрепившись, как будто у него под ногами пол, и, как ни в чём не бывало, приятеля своего подначивает: «Слон, а Слон, слабо тебе подойти сюда?» Слонишка тут и «купился». А шаг-то у него широкий – ступил и с грохотом покатился. Плечом дверцу в нижнюю квартиру распахнул, за перила уцепился, глаза вытарашил, не соображает, как это, пересчитав до конца ступеньки, оказался не на дне, а на потолке. Ему невдомёк, что он в другой квартире очутился! Мы со смеху попадали, а

соседка с нижнего этажа Слонишку хотела шваброй достать. Только не дотянулась, он, ведь, у них под толком за перила удержался. Хорошо ещё, что страшной Финши уже на свете не было.

Это ещё что, а вот – тоже про мальчишек. Когда летом меня в пионерлагерь отправили, там, в палатах, клопы были. Всем ничего – дело привычное, а я ползающих боюсь до дрожи. От стенки кровать отодвинуть хотела – меня на смех подняли. Так вот, там один мальчик мне, представьте себе, понравился. Он на волейбольной площадке всегда на меня мяч подавал, шуточки разные придумывал – я даже подумала, что это неспроста. Так и оказалось. Однажды передают мне от него записку. Я обрадовалась, разворачиваю – а там клоп. Живой! Вот и вся любовь.

От мальчишек какая польза – только вред один. И несправедливость. Дома после еды Шурке можно гулять, а мне – посуду мыть. Это с какой же стати? Я учусь лучше! Не стану, это несправедливо, пусть наказывают! Но лучше я о приятном.

Тут как-то Лёлька-малая из своего загорода к нам в гости приехала. Никого из нашей дворовой команды она давно не видела. Вот мы из кухонного окна и стали во двор смотреть – кто гулять вышел. Глядим – другой Шуркин приятель, интеллигентный такой, из Тонькиного подъезда выходит и на улицу идёт – на пробор причёсан, курточка вельветовая, воротничок отложной, сам весь из себя правильный.

Мы – кувшин с водой в руки и стремглав через все коридоры – в большую комнату и из окна на улицу свесились. Успели. Вот он идёт, умильный такой. А мы ему на голову из кувшина – плёск! Точное попадание! Ну, он, конечно, через две ступеньки бегом к нашим дверям подскочил, звонок давит, думает, откроем. А мы, визжим и от радости прыгаем!

Он – стремглав во двор, думал с чёрного хода до нас добраться. Знает, что там двери иногда оставляют открытыми, когда кота гулять выпускают. Но мы раньше добежать успели, крючок на петлю накиннули и вовсю хохочем. Уж как он за дверью бесновался, ногами по ней колотил! А потом затих и домой проследовал – в окошко-то нам всё видно. Мы крючок откинули – так и есть – мусорное ведро под дверь опрокинуто.

Интеллигент называется!

ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ

Тетя Лена и дядя Паша – так называли окружающие эту пожилую пару.

Сейчас им было за восемьдесят. Родились они на Украине, во время войны подростками оказались в Ташкенте. Там выросли и познакомились. Поженились. Прошла целая жизнь...

У них было трое детей. И те выросли и переженились. И у них были дети. Затем наступили девяностые. Дети собрались и уехали в Америку. За ними старики. Поселились в Нью-Йорке, в Бруклине, районе, который освоили русские эмигранты. В общем, прошла целая жизнь, как было сказано в начале...

С этого момента и начинается наша история. Впрочем, какой-то особой истории и нет. Старики как старики в бруклинском водовороте жизни. Внешне они

выглядели даже очень пристойно: подтянутые, аккуратно одетые, доброжелательные, умеющие поддерживать разговор с соседями. Особых друзей у них не было. Дядя Паша или Павел Михайлович, бывший старший экономист (дети шутили, что Карл Маркс был просто экономистом) любил почитывать новости в местных газетах, а тетя Лена или Елена Семеновна, бывшая учительница музыкальной школы, прослушивала свои любимые СД композиторов-классиков. Три-четыре раза в год она позволяла себе и мужу появляться в Карнеги-Холл. Смотрели телевизионные русские программы.

Болезни к обоим, как обычно бывает, подкрались незаметно и коварно. Тетя Лена катастрофически теряла слух, а дядя Паша зрение. Многолетняя семейная жизнь помогала справляться с бедами. Тетя Лена научила дядю Пашу поворачивать лицо к ней, когда он говорил, и тогда по губам она читала всё, что он произносил.

Сначала она как бы даже наново прочитывала его лицо: напряженные голубые глаза в сочетании с седыми волосами, тонкий иконописный нос, ухоженная кожа лица. Она была уверена, что даже правильно угадывает его мысли. Он же научился не спеша проносить губами слова, делать между фразами паузы, помогать себе головой, улыбкой, пальцами. Первая половина проблемы вроде бы была решена, но тете Лене было больно видеть его состояние – зрение было почти потеряно.

В Америке людей, потерявших зрение, называют деликатно “Legally blind”. К ним на улице проявляют особое внимание, стараются помочь. Теперь тетя Лена и дядя Паша ходили только вместе. Он брал ее под руку и крепко прижимался, чтобы не споткнуться и не упасть. У них на этот счет выработался свой особый ритуал. Тетя Лена ровным, чуть заниженным, спокойным голосом предупреждала мужа об опасностях на их пути: ступени, двери, рывтины, лифты, передвигающиеся дорожки метро. У дяди Паши в руках появилась специальная палка для слепых.

Им выделили социальную помощь. На три часа в день к ним приходил работник, который помогал стирать, подогревать еду, убирать, и приносил продукты. Дети настаивали, чтобы они перешли жить к кому-нибудь из них. Но старики резко, даже слишком резко отказывались – свой дом есть свой дом, и в нем можно умело скрывать свою неполноценность.

На то, чтобы приспособиться к новой жизни, ушел целый год. Телевизор смотрели по другому. Звуки дядя Паша более-менее слышал, а видеоряд ему пересказывала тетя Лена. Был отменен просмотр газет – их теперь читала вслух она же. Изменилась география перемещений. Они редко выходили из дома. Часто сидели у себя на балконе. У них появился обряд общения при помощи определенного пожатия руки, своеобразная знаковая система. Например, если кто-то из них брал в руку указательный палец другого, это значило – восторг, волнение, чувство изумления.

Однажды тетя Лена вышла к соседке и заговорила. Когда она вернулась домой, дядя Паши не было на месте. Она жутко перепугалась. Куда он мог деться? Его же нельзя отпускать одного! Она поспешила на улицу. В подъезде дома она нашла дядю Пашу, сидящего на цементном полу и стонущего от боли. Палка валялась рядом. Конечно, он упал, вывихнул ногу.

Пришлось вызвать скорую, отвезти в госпиталь, сделать рентген. На этот раз всё обошлось.

На вопрос тети Лены – почему он ушел и ничего не сказал, дядя Паша грустно ответил:

– Ты забыла. Сегодня День твоего Ангела – небесного покровителя. Я хотел сделать тебе сюрприз, пойди купить цветы, как всегда...

Ему нравилось ее имя Елена – светлое, сверкающее, гармоничное...

У неё на глазах выступили слезы.

На следующий день утром они сидели на балконе. Была благоухающая нью-йоркская весна. Она обычно бывает долгая (расцветает всё медленно) и теплая. Пьянил воздух залива. Всё время чувствовался бархатный легкий ветерок. В воздухе плясали и переворачивались чайки.

Дядя Паша вдруг подал сигнал: слушай. Он повернул к тете Лене свое лицо и начал медленно говорить.

– Помнишь, когда это случилось? Твой день Ангела. Помнишь, на Кавказе...

– Конечно, помню. Гагры, гостиница...

И они оба вспомнили эту безумную летнюю историю. У нее был день Ангела. Это была первая совместная поездка влюбленных молодых людей. Они поселились в трехэтажном флигеле. От гостиницы к нему вела раскаленная асфальтовая дорожка, на которой иногда грелась какая-нибудь экзотическая змея, приползавшая с гор.

Они остановились в гостинице на одну ночь. А на следующее утро произошло кое-что очень странное. Где-то часов в восемь послышалось душераздирающе громкое, на весь дом, мяуканье. Откуда оно происходило, понять было невозможно.

Они выскочили в коридор.

Тут уже собрались соседи по флигелю. Кошачий голос превратился в слышимый призыв о помощи. Постояльцев было немного – на каждом этаже всего три номера, всё-таки не основное здание.

Вызвали дежурную из другого корпуса. Она сказала, что ничего не может сейчас сделать, а позже вызовет пожарную команду. Но сразу они не придут. Кошка упала в дымоходную трубу и сама выбраться не сможет. Потерпите, мол, до подмоги.

– Доктор, – обратилась она к одному из жильцов, болезненному молодому человеку. – Вы же больны. Вам нельзя волноваться.

И ушла восвояси...

– Послушайте, – сказал упитанный постоялец в соломенной шляпе. – Прежде всего, животное надо накормить. У меня есть отличная московская колбаса...

– А как вы ее передадите коту – из рук в лапы? – Спросил дядя Паша (тогда просто Паша).

– Ну, залезу на крышу и брошу в трубу...

Нет-нет-нет, – забеспокоилась дама в цветастом халатике из соседнего номера. – Это для вас опасно. И ваш вес... Надо спустить в трубу канат, и кошка уцепится за него...

– Вы ей об этом скажите... – парировал гражданин в шляпе. – Может быть ей и корзиночку спустить – так будет удобнее.

– Надо сначала узнать, какой она породы, и какие у неё характерные привычки, – решил уточнить жилец, который оказался режиссером с первого этажа.

– Может быть, она больна? Может быть, она не любит вашу московскую колбасу? – вторил ему оператор

из его киногруппы.

– Я ее видела вчера вечером – обыкновенная серая кошара, – засмеялась дама в цветастом халатике. – С ней был котенок, киска такая черненькая, видимо вся в ее кота, на нее не похожа. Поэтому мамаша так кричит, что оставила ее одну...

– Вы доктор? – Паша обратился к болезненному молодому человеку.

– А с чего вы взяли, что я доктор?

– Дежурная к вам так обратилась...

– Да, я доктор наук, не более того, и, к сожалению, ничем помочь ни вам, ни кошке не могу.

Доктор наук удалился в свой номер, из которого уже озабоченно выглядывала хорошенькая блондинка.

– Я представляю кошкино эмоциональное состояние сейчас! – патетически воскликнул гражданин в соломенной шляпе. – Всё-таки московская колбаса ее хоть на время отвлечет и успокоит. Знаю по себе. Я залезу на крышу...

– Послушайте, товарищ, – Паша решил вмешаться. – Крики, то есть вопли, то есть мяуканье идут, видимо, снизу, из подвала... Давайте пойдем туда и посмотрим в чём дело.

– Бери-хватай камеру! – скомандовал оператору режиссер-кинематографист. – Это всё надо заснять. Пригодится в каком-нибудь документальном фильме. Кликни осветителя и сценариста. Возьмите интервью у этой милой парочки. И запишите кошачьи стоны – без них всё будет недостоверно...

Тетя Лена, а тогда просто Леночка, показала Павлику на часы, типа, как же мы управимся – у нас билеты и через час поезд. Он подошел к ней, засмеялся и шепнул на ухо: «Маленькая, серенькая кошечка похожа на тебя. А у тебя день Ангела. Ради этого стоит поменять билеты...».

И она поняла тогда многое в его характере. И не ошиблась.

Она улыбнулась ему в ответ. Она и не думала сердиться, ибо, когда ты сердиться, у тебя не остается времени на то, чтобы любить...

... Сейчас в бруклинском квартале большого каменного города всё было иначе, чем в прежней жизни, но они оставались такими же. Во всяком случае, так казалось тете Лене и дяде Паше.

– Послушай, – сказала она ему, – мы давно не ходили куда-нибудь позавтракать, уже года два. Давай пойдем в кафе за углом. Всё-таки День рождения!

– Давай! Только я переоденусь, и идти будем медленно.

В русском кафе с нелепым романтическим названием «Сказочный Принц» народа было немного. В углу устроилась компания пожилых людей человек двенадцать за ланчем, который в воскресный день здесь называют *бранчем*.

Вели себя пожилые посетители довольно шумно. Они читали бесконечные стихосложения-здравницы в честь именинницы, солидной дамы, которой было видно лет под восемьдесят. Она торжественно восседала во главе стола в кресле, с прической в седых букольниках и довольно смело по разрезу платье.

– Что делают люди, когда врач говорит им, что осталось жить только две недели? – спрашивал у присутствующих старичок в пенсне, видимо заводила компании, и сам же отвечал, – идут к другому врачу...

Столик пожилых посетителей сотрясся от смеха.

– Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть, – продолжал надрываться человек в пенсне.

Тут подскочила со стула боевая старушка и промолвила в сторону оппонента:

– Уважаемый джентльмен, – обратилась она к старичку. – Ваши шутки неуместны. В анкете, которую я заполняла перед моей операцией, был вопрос: кому позвонить в случае крайней необходимости? Я написала: более квалифицированному хирургу...

Опять раздался взрыв смеха.

Было заметно, что компания пришла вкусно поесть в ностальгический русский ресторан. Ее большинство составлял восседавшая американизированная пожилая публика, приступившая к салатам и легким закускам.

Тетя Лена и дядя Паша спокойно вели беседу между собой, с опаской поглядывая на соседский разбушевавшийся стол.

Между посетителями метался официант – высокий молодой человек, блондин, приятной наружности, благожелательно улыбающийся всем присутствующим. Возможно, название ресторана «Сказочный Принц» относилось именно к нему.

По мере выпитого спиртного за столиком в углу раздавались громкие восклицания и еще более активные взрывы смеха от рассказываемых заезженных анекдотов.

– Целыми днями я говорю о чём-нибудь своему мужу. А он в ответ – ни слова, – восклицала дама, бывшая бухгалтерша, до этого читавшая стихи. – Я боялась, что у него серьезное психическое заболевание. Правда, Боренька? – спросила она своего соседа, видимо ее супруга и продолжала, – я обратилась к нашему семейному врачу. – Это не заболевание, мадам, – он меня успокоил. – Это – талант...

Надо отметить, что пожилой столик пировал и отрывался во всю, позабыв о холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях. На подставках красовались куски курятины, котлеты по-киевски, заливная рыба, ветчина, селедочка с картошечкой, вареники с вишней и бог знает что еще. И это было только началом...

– Хорошо, что я этого не вижу, – улыбнулся дядя Паша.

Пожилые вели себя всё громче и громче. Даже попытались провозглашать тост за своих соседей по кафе. Но, учитывая холодную и трезвую реакцию тети Лены и дяди Паши, отменили эту затею.

Ни дядя Паша, ни тетя Лена никак не могли попасть в туалетную комнату, где бывшая бухгалтерша с трудом подсчитывала чеки и деньги своей компании, которая поручила ей расплатиться за гулянку.

Затем столик пожилых потребовал музыку. Официант включил установку, и веселье разгорелось с новой силой. Пары, довольно элегантно демонстрировали танго, легкий фокстрот и даже что-то вроде латиноамериканского...

– Знаешь, это всё напоминает мне те же Гагры, приморские рестораны и курортников... Хорошо, что я всего этого не вижу...

– А я не слышу...

– Раз ты видишь, то платить будешь ты...

И они рассмеялись своей грустной шутке.

В том году, после долгой весны, наступило необычайно жаркое лето...

Печь. Вырос я на окраине, которую в былые времена можно было бы назвать рабочей слободкой. На самом деле называлась она Большая Балка. И народ здесь жил разношерстный – от пролетариев и военных до бандитов и воров.

На одном её краю было старинное Петропавловское кладбище, на другом – Дальневосточное, новое. Посреди Балки поросшая дерезой, камышом и ряской, ныряя в буераки и петляя среди гранитных глыб, весело текла мимо старых хат и могучих тополей речушка Бианка. Никто уже не знает, кто впервые дал ей такое необычное имя, которое в переводе с итальянского означает «светлая».

Хата наша была крайней в глухом переулке, что начинался на улице Колодезной и заканчивался у Петропавловского кладбища. И переулочка, и кладбища давно уже нет на карте, но я и поныне помню этот адрес – Подольский переулок, 12.

По весне он утопал в зелени, зимой – в снегах. А зимы в те времена были настоящие: со стойкими колкими морозами, ветрами и обильными снегопадами. Однажды наш дом, что стоял на уступе, замело по самые окна. Да и немудрено. Дом, сложенный дедом Николаем из лампача, был небольшим и невысоким, отец легко доставал рукой до потолка. Когда мама вышла за него, дед отделил молодым полхаты – комнату и кухню, к которой позднее пристроили веранду. В ней в любое время года стоял холодный сумрак.

Когда я чуть подрос, стал понимать, что центром этого микромира являлась печь. По своей конструкции она была, видимо, самой простой. Чуть больше метра в длину и шириной около полуметра. В детстве многие вещи, явления, люди кажутся необыкновенными, порой волшебными, сказочными. Вот и наша печь мне казалась чудом. К лету её белили и заботливо покрывали, будто усталую натруженную старушку, полосатым домотканым рядом. Но зимой...

Зимой наша печь работала неустанно. Для этого летом и осенью мы с дедом пилили и кололи дрова, заполняя ими небольшую пристройку к сараю. Помню еще пронзительный, ни с чем несравнимый запах угля. Правда, его не всегда бывало в достатке. Когда же удавалось закупить хотя бы с полтонны, носить его в сарай доводилось и мне, несмотря на возраст. С тех пор запахи в память народные обозначения таких сортов черного золота, каких, возможно, и нет уж в помине – «брикет», «орешек», «семечка». Носить приходилось старыми дырявыми ведрами. И зимой сквозь них просыпалась угольная пыль, оставляя на снежном полотне стежки-дорожки, что, сливаясь и переплетаясь, превращались в причудливый узор.

Чтобы печь горела хорошо, а тяга была ровной и постоянной, регулировать этот процесс приходилось с помощью заслонок, конфорок и поддувала. Лучше всех такой механикой владел дед Николай. Мне лишь иногда поступала команда сверху: «Открой поддувало!». Однажды оттуда выскочил ярко-красный уголек и перепрыгнул через набитую здесь железную пластину. Я как замороженный смотрел на него. На то, как там, внутри, переливаясь оттенками красного, пульсирует и затухает жар. Хорошо, что пол в этом месте был не деревянный, а саманный.

Да, сидеть у печи и слушать концерт из Колонного

зала Дома Союзов или радиопьесу из черной «тарелки» было едва ли не единственной отрадой в долгие зимние вечера. Особенно, когда отключалось освещение и за окном завывала вьюга. Раскаляясь, печь излучала не только тепло, но и свет. Пробиваясь сквозь чугунные кольца, зарницы и блики огня играли на стенах и потолке. В то время в нашем городе о телевизорах еще только мечтали. Даже фильмоскоп считался редкостью. А у меня уже был свой «волшебный фонарь». Вокруг меня возникали образы то «невиданных зверей» и птиц, то рожицы гномов, то профиль Бабы-Яги, то битвы витязей. Всё это дарила мне печь.

Мама работала в три смены. Поэтому я часто оставался на попечении деда. Он приходил поутру и растапливал печь. Сначала аккуратно выбирал золу. Сортировал её на три доли: непрогоревший уголь снова шел в дело, крупной золой - «жужалкой» - посыпались дорожки, а пылью - «порохом» - грядки в огороде. Потом дед колол небольшим топориком лучины, закладывал немного сухой соломы, дрова и смотрел, как поведет себя огонь. Если печь дымила, он то выдвигал, то задвигал заслонки, то снимал, то снова ставил на место кольца-конфорки, ловко орудуя кочергой. При этом дед Николай все время разговаривал. Однако до сих пор остается загадкой с кем: со мной или с печью?

Дрова, припорошенные снежком, поначалу шипели, затем потрескивали, а когда огонь набирал силу и печь уже гудела от хорошей тяги, дед засыпал уголь – сразу мелкий, через время – крупнее. Прежде, чем закрыть конфорки, он аккуратно сметал в огонь куском уже почерневшего брезента просыпавшийся на плиту уголь. Процедура растопки завершалась водружением на печь огромного свекольного цвета чайника, дед садился у окна и закуривал самокрутку с каким-то пахучим ядреным табаком. Затем брал шипцы с облупившимся кое-где никелированным покрытием и колол белый до синевы кусковой сахар. Отбирал самые мелкие кусочки, выкладывал на ломоть черного хлеба и говорил: «Вот, Ромашка, твоё пирожное». К этому времени чайник с колюдезной водой натужно пыхтел, из его гнutoго носика стойкой длинной струей шел пар.

Уже после пенсии, в свои последние годы, дед Николай работал истопником в кочегарке, что отапливала несколько домов на Башкирской улице, где отец получил квартиру в пятиэтажной «хрущевке». Школьник я часто забегал к нему, приносил поесть или отсиживался после раздора с дворовой пацанвой. Среди огромных печей, труб и манометров дед чувствовал себя спокойно и уверенно, хотя по профессии был простым слесарем. Иногда он позволял мне забрасывать в топку отборный антрацит. Я старательно махал лопатой, пока дед не останавливал: «Досыть!». Мы снова садились пить чай, и он разрезал пополам свой бутерброд с маслом и посыпал его сверху сахаром-песком.

Дед умер по весне, когда я учился в девятом классе. Спустя год хату продали, через десять – снесли. Но не о доме я больше всего жалею, а том, что так и не успел спросить у деда, сам ли он выложил нашу печь.

Сад. В раннем детстве я считал, что он был здесь всегда. Что он неотъемлемая часть того прекрасного и уютного мира, который тогда окружал меня. Что он вечно будет дарить свои сладкие плоды, тень и про-

хладу.

Конечно же, наш сад появился благодаря деду. Наверное, он высадил здесь первые деревья в том же году, когда закончил строительство дома. Сад рос прямо перед ним, на три-четыре метра ниже, поскольку дом стоял на косогоре.

Ранней весной оттуда, из низинки, шел пар. И когда все зацветало, сад источал тонкий, кружащий голову аромат первой клейкой зелени. А через несколько недель распускались по очереди абрикосы и сливы, яблони и груши. Это было преддверием майских праздников. И когда уже повсюду кипела сирень (её разномастные кусты росли не только на краю сада, а по всей округе), хотелось взлететь и парить среди голубых мотыльков, желтых бабочек и ярко-зеленых жуков.

Как удивительно радостно и легко было просыпаться ранним июньским утром! Выйдешь во двор – а сад уже пронизан солнечными лучами и манит тебя таинственными переменами, зовет шепотом листы и стрекотаньем кузнечиков, овеивает запахами трав и цветов. Мигом слетаешь по неровным ступенькам, сворачиваешь на росистую еще тропку – в тени земля жжет холодом босые ступни, а на открытых местах уже дарит тепло. Справа – грядка с клубникой, слева – кусты красной и черной смородины. Потом – вперемишку – яблони, вишни, сливы... Вот прямо из-под ног выскользнула маленькая изумрудная ящерица. А вон прошуршал в лопухах озабоченный ёжик.

Я мог галопом проскакать через весь сад и огород, туда и обратно. А мог подолгу наблюдать, как внутри смородинового куста смешно раскачивается, а потом начинает латать свою хитроумную сеть невзрачный серенький паучок. Или как в кронах яблони, под игрой ветра и светотени, золотится белый налив.

Лазать по деревьям я научился довольно быстро. Бесстрашно взбираясь на любую верхушку, например, шелковицы, мог полчаса висеть там, поедая самые спелые и крупные ягоды. Родители ругали за это, но тут же на защиту вставал дед Николай: «Кому суждено сгореть, в воде не утонет».

Кажется, не было такого года, когда фруктовые деревья в его саду не плодоносили. Этим особенно славились вишни, обычная и крупная – шпанка. И в урожайную пору дед смело отправлял меня туда, куда уже не дотягивалась сбита им деревянная лестница. Тогда мне на шею надевали легкую клеенчатую сумку или давали в руку небольшое жестяное ведерко, которое можно было повесить на сук или зацепить за ветку с помощью небольшого алюминиевого крючка. После двух-трех деревьев я становился похож на индейца – то тут, то там на мне красовались красно-черно-коричневые пятна и полосы. Особенно это огорчало мать, ей приходилось потом долго отстирывать хозяйственным мылом мои трусы и майки.

Часто урожай вишен был таким обильным, что справиться с ним не могла даже вся семья. Из них варили компот и варенье, закрывали в банках в собственном соку, готовили наливку и делали вино. И даже отправляли с проводником поезда в Москву, чему несказанно радовались столичные родственники. Они привыкли к этому благоденствию настолько, что огорчались, когда в неурожайные годы получали в подарок одно, а не три ведра отборных ягод.

Как я потом понял, дед Николай был мичуринцем-самоучкой. В его маленькой мастерской, при входе

слева у окна, было несколько книжных полок. Он смастерил их сам. На них среди разных книг и пособий особенно выделялась одна. Во-первых, крупным форматом. Во-вторых, что больше всего привлекало мою детскую любознательность, в ней было полным-полно ярких цветных иллюстраций, на которых в натуральную величину изображались практически все садовые плоды. Дед частенько заглядывал в неё, очевидно, чтобы свериться с какими-то своими мыслями и соображениями.

Осенью он выносил из мастерской небольшую пилу, садовые ножницы и ведро с неизвестным мне составом сине-зеленого оттенка, который готовил тут же. Он медленно ходил по саду и присматривался к деревьям, высоко задрав голову. Срезая ветки в одному ему известном порядке, дед при этом хмурился. Очевидно, хорошо понимал, какую боль причиняет дереву. А по весне, надев очки и усмехаясь в усы, дед Николай колдовал над прошлогодними срезами. Он пытался привить грушу к яблоне и наоборот. А уж если говорить о внутривидовом скрещивании, тут он достиг явных успехов.

Особой его гордостью была яблоня сорта «Бога-тырь». Мне не позволялось не то что трясти, даже подходить к ней. Это дерево было самым раскидистым, с толстым стволом и гладкой светлой корой. А плоды его – самыми крупными, они едва помещались на дедовой ладони. Дед снимал яблоки с помощью длинного шеста, на конце его висел одетый на широкое железное кольцо старый капроновый чулок. Там же из шеста выглядывало хорошо заточенное узкое и плоское жало. Дед аккуратно подводил нож под короткий хвостик, на котором держался плод, и резким движением срезал его. Яблоки плавно скользили внутрь импровизированного сачка. За один заход дед Николай снимал их два-три, не больше. На вкус они были очень сладкими, с плотной сердцевинкой и необычайно ароматными. Некоторые достигали 300 граммов веса! Бывало, дед не успевал снимать созревшие плоды. Тогда яблоки сами падали на землю с таким шелестом и уханьем, что все в доме слышало этот звук. Когда же из них готовили варенье, то гости наперебой хвалили его и замечали, что эти яблоки напоминают айву.

Ещё одной привязанностью деда Николая, но чуть позже, стало разведение винограда. А было это так. Однажды кто-то из зажиточных соседей похвастал перед дедом тем, как хорошо у него принялся и «дамский пальчик», и «шасла», и «кардинал». Выслушав удачливого виноградаря, мой дед той же осенью закупил несколько черенков благородной лозы. Через несколько лет у него поднялся уже свой – пусть небольшой, но крепкий – виноградник.

С этих пор деда всегда интересовало, какой будет зима. Если она ожидалась лютой, он бережно пеленал морозоустойчивые сорта плотной материей, остальные подрезал и тщательно засыпал землей. А примерно в середине апреля осторожно откапывал их небольшой саперной лопатой, укреплял покосившиеся столбцы, подтягивал проволоку и подвязывал к ней оживающую лозу. Когда она давала густую поросль, дед снова брал садовые ножницы и срезал лишние виноградные листья. К осени здесь красовались тяжелые налитые гроздья. Одни светились изнутри, как топаз, другие отсвечивали темно-зеленым жемчугом, третьи

– иссиня-черными карбункулами.

Мне было восемь, когда мы переехали в большой панельный дом на улице Башкирской. Дед Николай квартировал некоторое время у нас, а потом вернулся на Балку, в старую хату, где и доживал свои дни.

Ни дома, ни сада, ни Подольского переулка уже давно нет... Но слева у входа в каждый из четырех подъездов старой облупившейся «хрущевки» по-прежнему тянется вверх и оплетает почти все пять этажей виноградная лоза, посаженная моим дедом.

Люди в белых халатах. Когда на рассвете сквозь ключья тумана проступают пожелтевшие осины и багряные клены, я, набросив старое кургузое пальтецо и сунув ноги в холодные резиновые сапожки, выхожу на двор. Я уже большой, мне почти четыре года. Поэтому иду не на горшок, а в деревянную кабинку с утепленным сидением, что между летней баней и дровником. Зевая и потягиваясь, из будки неохотно выбирается Рекс и сопровождает меня, не забыв при этом лизнуть прямо в лицо.

Вернувшись в хату, прилипаю к печи – вот уже несколько дней, как её затопили из-за сырой погоды. Мама хлопочет на кухне. Быстро одеваюсь, сажусь за стол. Передо мной стакан топленого молока, ломоть хлеба и два кусочка сахара-рафинада. Это вкусно, но горячее молоко... Меня поторапливают, пора идти в детский сад.

Мы идем пешком. Сначала по переулку, пахнущему дымом, навозом, мокрой землей и ботвой, между наволгшими кустами бузины и сирени. Затем вверх по острой и неровной брусчатке Колодезной улицы, потом вниз – по Кирова. Поворот направо, под высокие тополя на Егорова. Сквозь их кроны из-за серых холодных туч вдруг проблескивает солнце. Я, задрав голову, смотрю на него и безмятежно улыбаюсь. А мама не улыбается, она после ночной. Ей, наверное, очень хочется спать. Но сегодня вести меня в сад больше некому – дед захворал, отец – в командировке. А может, ей гложет сердце предчувствие какой-то беды?

Мы подошли к большим железным воротам, вошли в опустелый по-осеннему двор. Завизжала и закрылась за мной угрюмая дверь, ведущая в младшую группу. Воспитательница в белом халате помогла разуться и ввела за руку в светлую, но еще плохо прогретую комнату. Ура! Мне сегодня повезло. Здесь только одна девочка. Значит, я первый начну играть чудесной пожарной машиной, так манящей к себе красным лаком и серебристым никелем.

Это случилось после обеда, во время дневного сна. Я проснулся от детских стонов и плача, оханий воспитательницы и причитаний нянечек. Вокруг происходило что-то непонятное: кто-то нессся с горшками из туалета, кто-то собирал корчащихся на полу детей, а директориса кричала в трубку телефона: «Где машины?! Давайте быстрее! Я не знаю, что делать! У меня уже две группы...». В этот момент я попытался встать с постели, но голова закружилась и меня тут же стошнило.

И хорошо, что так. Доктор потом говорил маме, что я легко отделился. Как теперь понимаю, именно благодаря тому, что не очень добросовестно ел то, что подали на обед. Меня выписали из больницы уже через две недели, остальных – через месяц. А детсад закрыли на карантин – обнаружили дизентерийную палочку. Хм, палочку... Тогда кроме высокой температуры меня мучил вопрос: что за палочка такая, кото-

рая ударила сразу всех. И кто её принёс? И где прятал? И за что такое наказание – каждый день по три укола?

Подступала зима... В саду под вечер сиротливо сели мокрые деревья, нахохлившись воробьи жались по кустам, на огородах противно кричали и копошились вороны, а по утрам на земле изморозь выводила первые узоры.

Однажды таким холодным субботним утром меня повели в парикмахерскую. Не знаю, может, и до этого кто-то упражнялся с моими кудряшками. Не помню. Но этот визит отложился в моей памяти.

Парикмахерская располагалась в маленькой комнатке одноэтажного кирпичного дома, что стоял на углу какой-то глухой улицы между кладбищем и межрайбазой. Нас встретил невзрачного вида мужчина в белом, но неглаженном халате. Дед Николай, видимо, был здесь постоянным клиентом. Сначала постригли его. Потом стало происходить что-то странное, что было для меня в диковинку. И даже пугало...

Угрюмый парикмахер открыл длинное лезвие, похожее на нож, и стал размашисто водить им по какому-то толстому кожаному ремню. Я сжался на стуле в углу у вешалки, мой страх усилился. И до этого у меня не было большого доверия к людям в белых халатах. А тут такое – то ли этот дядька собирается резать моего деда, то ли меня охаживать этим страшным ремнем? Наверное, я начал хлюпать носом, потому что дед Николай вдруг повернулся на крутящемся кресле и, глядя мне в лицо, сказал: «Нэ бийся, глупый, мэнэ зараз будуть брить. Це шоб я був гарный и красивый!». Потом я с удивлением смотрел, как его лицо в зеркале стало обрастать пышной мыльной пеной, как парикмахер мелкими движениями с разных сторон снимал её и стряхивал в таз, как прикладывал распятое полотенце, как наносил какую-то мазь к местам порезов. И вот наконец помолодевшее лицо деда засияло и залоснилось гладкой кожей под струей «Тройного» одеколона.

Он еще раз посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Оцэ добрэ. Як огурчик! А тэпэр ты!». Я насупился. Потому что вообразил, будто меня тоже начнут мазать белой пеной и брить. А когда мрачный парикмахер спросил: «Как будем стричь – «Канадка», «Под бокс», «Под ноль» - и вовсе заартачился. Беда в том, что я мыслил тогда словосочетаниями. Первое название, произнесенное как «канадка», соединилось у меня с канатом, а второе просто повергло в шок – неужели из меня сделают боксёрскую грушу? Дед постоял, подумал немного и изрёк: «Ну... то бис з ным! Нехай тебе твоя баба Этька зводить! Пишлы додому, а то вже чергу зибрав!».

Дома мама сказала: «Ладно, пострижем его перед днем рождения. А пска ходи так. Всё-таки холода на носу». Я посмотрел на нос, но ничего там не увидел...

А уже через месяц сад, дома и всё вокруг утопало в пышном снеговом убранстве. На выходные отец отвёз меня к своей маме, бабушке Этель. Квартира её была на улице Яна Томпа, в небольшом домике, где проживали тогда три семьи – одинокая сморщенная старуха, ужасно похожая на Бабу Ягу, тётя Люда с детьми и мужем и бабушка с дедом Ефимом. Он был неродным моим дедом. С ним бабушка сошлась после войны. Их объединило общее горе: пока Ефим Кононович воевал, его семью и близких уничтожили гитлеровцы, а

мой дед Роман, все его братья, как и бабушкины, полегли на фронте.

Из-за этого, а может из-за двух тяжелых ранений дед Ефим был человеком замкнутым, малоразговорчивым. Но в хорошем расположении духа любил пошутить, сыпал прибаутками, поговорками, фразами из каких-то не известных мне песен.

И вот утром, уже во время завтрака, меня стали готовить к посещению парикмахерской. К чаю бабушка подала любимое мной розовое варенье и печенье с корицей. А дед Ефим, как бы между делом, сказал: «Если будешь хорошо себя вести, подарю тебе на день рождения трофейный ножик». Он знал: маленький изящный перочинный ножик с тёмно-красной накладной костяной ручкой был моей заветной мечтой. На что бабушка заметила: «Старый дурак, ты хочешь, чтобы ребёнок порезал пальцы?». Я тут же взвился: «Нет, нет, нет! Я умею! Я буду вырезать лодочки и строгать карандаши!». «Ладно, посмотрим, - ответила бабушка, - одевайся». А дед Ефим стал напевать: «Разодет я, как картинка. Я в японских ботинках, в русской шляпе большой и с еврейской душой!».

Воодушевленный я вышел вслед за ним на улицу, и мы – он, прихрамывая, а я вприпрыжку – пошли по хрустящему от мороза снегу. До парикмахерской было рукой подать, всего полквартиры. Но когда мы дошли до лестницы из пяти ступеней, дед Ефим, поставив ногу на первую, попросил немного подождать – его мучила сильная одышка.

Когда мы вошли, над дверью сверху приятно забренчал колокольчик. Тут же навстречу нам из кресел поднялись два улыбающихся парикмахера. Тот, что помоложе, произнёс: «Здравствуйте, уважаемый! Вы сами стричься? Или за вас этот апуном? (лицо - идиш, здесь: в значении «персона»). Как тебя зовут, моряк-печки-бряк?». В этот момент я был уже раздет и стоял перед ним в новеньком черном мичманском костюме.

Я ответил и смело посмотрел по сторонам. Эта парикмахерская мне уже нравилась. Здесь было тепло и красиво. Запах одеколona стоял совсем другой, нерезкий. Между зеркалами приглушенно горели бра. Потом зажглись обе люстры, я увидел кафель, изразцовую печь с диковинным орнаментом, а черноусый улыбающийся мастер уже усаживал меня в большое кожаное кресло. «Э-э, нет, вы здесь утонете, капитан, - сказал он. – Ладно, тихо, ша! Мы поднимем вас на капитанский мостик». При этом он достал табуреточку, поставил в кресло и удобно усадил меня. Потом повернулся к деду: «Что нынче носят моряки-черноморцы?» И тут же ко мне: «Ваш папа – спортсмэн. Думаю, вам не повредит скромная спортивная причёска “Полубокс”. Или вы будете сомневаться?». Дед Ефим одобрительно махнул рукой и пошел в подсобку беседовать с тем, что постарше, похоже, давним приятелем.

Я потом часто ходил в эту уютную парикмахерскую на улице Яна Томпа, предпочитая стричься именно у Яши – так звали этого мастера-балагура. Последний раз я был у него лет десять назад. Но уже не в Кировограде, в Холоне. До этого мы не виделись около тридцати лет. Но, открыв дверь своей двухкомнатной квартиры, Яша тут же узнал меня: «Вы сильно похожи на папу, а я его знаю, как облупленного, шоб он был здоров! Заради того, шо вы здесь, я готов взять с вас десять шекелей. – Он надел белый накрахмаленный

халат. – Ну, как? Полубокс? Или будем сомневаться?».

Велосипед. Этот велосипед прослужил долго. И проделал длинный, необычный путь. Через расстояния и через годы. Я его помню с тех пор, как меня стали водить в детский сад. А до этого он жил другой жизнью. Может быть, даже и не одной.

– Надежная веломашинка, – так уважительно говорил о нем дед Николай.

И вправду, когда стал постарше и освоил вождение этой машины, я понял её преимущества. Во-первых, этот велосипед был более устойчивым за счет ширины обода и увеличенной тяжелой трапецевидной рамы. Поэтому, в отличие от «Украины» и «Урожай», он был чуть выше и длиннее. Во-вторых, он имел огромный багажник, куда при необходимости можно было приторочить рундук с инструментами или мешок зерна. Или сиденье со спинкой и подушкой, чтобы возить на нем внука. Что и делалось, ибо дед частенько забирал меня из садика. В-третьих, велосипед имел диковинный руль. Он удивлял не только своей формой – необычной изогнутостью и размахом – он был съёмный. Нет, нет, его не надо было раскручивать гаечным ключом на 12 и на 14. Он легко снимался и возвращался на место при помощи хитроумного замка. А этим секретом владел только дед.

Когда ростом я был не выше седла, то научился ездить особым способом – «под раму». Им пользовалась тогда вся балковская ребятня. Это сразу повышало авторитет тех, кто еще вчера катался на детском двух-или даже трехколёсном велике. Позже я с улыбкой наблюдал, как старательно крутит педали какой-нибудь восьмилетний шкет и тянется подбородком вверх, чтобы смотреть выше руля.

А когда я уже совсем доставал ногами педали, сидя в седле, действительно почувствовал себя всадником. И обзор здесь был другой, и равновесие нужно было держать иначе. Однако трудно давалась мне эта наука. Чтобы управлять такой тяжелой машиной, нужно приложить немало сил. Да и знания кое-какие нужны. А их ещё не хватало. Дед лишь со стороны наблюдал, как я падаю, набивая шишки и синяки. Только после кровавых ссадин и ран давал совет, как лучше держать руль, как и когда поворачивать и зачем нужно переключать скорости. Вот, чуть не забыл! Эта модель отличалась еще и двухскоростной передачей. Одна – для ровной дороги, вторая – для подъёма в гору.

Подниматься на велосипеде из переулочка вверх по Колодезной – дело нелегкое. Не каждому по зубам. Точнее, по ногам. Крутой длинный подъем и неровная, с острыми выступами, брусчатка, ямы, кочки и рвы на обочинах утомят даже крепкого ездока. Дед Николай преодолевал этот путь до середины, потом вел своего коня «в поводу» до Коммунистического проспекта, иногда он садился на велосипед только на половине подъема. Но с годами ему становилось все труднее справляться с этой задачей.

То ли дело спускаться вниз, в балку. Дед всегда любил проехаться с ветерком. А перед переулком, притормозив ручным тормозом, преодолеть самый низкий бордюр и свернуть в тенистую прохладу, ведущую к дому. В дни зарплат и каких-то непонятных мне тогда праздников этот маневр не всегда проходил удачно. В такие дни из садика меня забирал кто-то другой. Но однажды не срослось. То ли все подзабыли, что у деда получка, то ли он в этот день, по его выражению,

«подкалымил», в общем, случился и смех и грех.

Помню, мы поднялись вверх по Володарского до продмага на углу Коммунистического проспекта. Дед, слегка пошатываясь, снял меня с багажника, потом отстегнул руль, чтобы велосипед не стал добычей какого-нибудь «лобуряки», и положил его в холщовую сумку. В продмаге он, как обычно, купил кирпичик хлеба за 16 копеек и сто граммов ирисок «Кис-кис» для меня.

Уличное движение тогда было не таким насыщенным и активным, как сейчас. По проспекту изредка проедет то грузовик, то «Победа», то мотоцикл, или у магазина развернется автобус девятнадцатого маршрута. А уж на Колодезной запах бензина вообще был редкостью, здесь в основном пахло навозом. Это обстоятельство, видимо, и уберегало деда от серьезных травм. Только не в этот день.

Трясаясь на выбоинах, мы быстро катились вниз, вот уже виден поворот в переулок, дед Николай начинает притормаживать – и тут... То ли он слишком резко нажал передний ручной тормоз, то ли сманеврировал прямо в высокий бордюр – велосипед сделал «козла», заднее колесо подпрыгнуло, я вылетел из багажника и врезался носом в землю. Дед поранился тоже. Но первым делом достал из кармана мятый, пропахший табаком платок и сказал, чтобы я не ревел, а зажал им свой нос. Вот такими – ободранными, в крови и ссадинах – мы и появились дома. Наградив деда всеми полагающимися в этом случае эпитетами, меня повели отмыывать и лечить. А дед Николай пошел к себе в слесарню – после удара переднее колесо повело «восьмеркой» и его нужно было отrixтовать.

Как-то, будучи уже школьником, я спросил у деда, откуда у него этот диковинный аппарат. Он нехотя ответил, что как-то зимой пришли партизаны и обменяли его на хлеб и муку. Не знаю, правда ли это или всего лишь придуманная дедом легенда, но велосипед действительно был немецкий. Очевидно, на его раме когда-то красовалось фирменное клеймо. Но дед периодически красил её черной масляной краской, чтобы ушлые люди не задавали лишних вопросов. Только одну деталь не смог или не захотел замаскировать дед – заднюю втулку. Она всегда серебрилась никелем. Дед втайне гордился ею и никогда не разбирал. Потому что подшипники в ней ни разу не посыпались. Они были из крупновской стали. И если велосипед перевернуть и поставить «на попа», на втулке можно было прочесть «Dinamo» и рядом, чуть помельче, «Leipzig».

Кто был его хозяином изначально – загадка. Возможно, такой же рабочий, мастеровой человек, как и мой дед. Или на нем ездил какой-нибудь мелкий торговец-лоточник. Или клерк. Или его создали специально для нужд немецкой армии, которая в 30-е годы XX века уже набирала свою милитаристскую мощь. Теперь это никому не интересно, кроме меня. Покопался бы в Интернете, может быть, и определился с его маркой. Да жаль, ни одной фотографии деда с велосипедом не сохранилось. Одно лишь могу сказать доподлинно: этот «чужеземец» прослужил нам не меньше тридцати лет.

Тенька. Его оставили, пожалуй, из-за окраса. Всё многочисленное потомство Мурки отличалось от него. Вокруг резко похудевшей мамыши копошилось и пищало пятнистое черно-белое семейство. Только наш герой был дымчатый, да еще и полосатый. Потому,

наверное, и получил кличку Тенька. Когда Мурка бросила его кормить, он и вправду как тень ходил за мной, вымучивая блюдец молока.

Кот быстро подрос, и у него обнаружился сильный охотничий инстинкт. Но сначала он сработал не в ту сторону – Тенька стал давить маленьких цыплят. За что был неоднократно бит веником. Хотя больше всего почему-то боялся метлы. Если порой он мог спокойно улечься возле веника и дрыхнуть всласть на солнце, то метлу всегда обходил стороной.

Кроме бабы Шуры Теньку еще невзлюбил Рекс. Дед говорил: «Цэй овчар – нимэзких кровей, и дразнить его не трэба, может укусить». Да, с этим громадным псом шутки были плохи. Рекс контролировал большую часть двора и мог передвигаться на цепи вдоль длинной и толстой проволоки, вбитой в землю прикрученными к ней острыми штырями. Эту конструкцию вместе с собакой можно было переместить куда угодно – в огород или вдоль садовой ограды. Тенька понимал, чем ему грозит встреча с Рексом, он всегда опростетью пересекал двор и прятался под крышу сарая.

Но однажды, охотясь на дикого голубя, кот то ли замешкался, то ли посчитал, что, пока пёс выскочит из будки, он успеет завершить манёвр. Беда в том, что Рекс в этот момент прятался не внутри, а за будкой. И явно выслеживал Теньку.

Длины цепи как раз хватило, чтобы в два прыжка перерезать путь полосатому охотнику. Рекс уже обнажил клыки, но в последний момент почему-то передумал лязгнуть ими. Он всего лишь поддел бегущего кота, и тот, кувыркнувшись в воздухе, просто улетел со двора. Падение Теньки смягчил пологий откос, до ближайших терновых шипов оставалось несколько сантиметров. Но Тенька родился под счастливой звездой. И потом, наверное, правду говорят, что коты – прекрасные эквилибристы и умеют пружинисто приземляться прямо на лапы.

Я единственный, кто жалел этого шкодника. Кормили, поили периодически все, но ласкать не ласкали. После стычки с Рексом кот с перепугу целые сутки не появлялся возле своего блюда. Может, он подумал, что «эти злые люди» специально натравили на него собаку?

Нашел я его на следующий день в дальнем углу огорода, под раскидистым лопухом. Тенька мирно спал, подставив живот мягким закатным лучам солнца. Я разбудил его, и кот, мурлыкнув в ответ, поднял хвост и затрусил за мной. Получив припрятанное на кухне кольцо «Любительской», он снова повторил своё «муррму» и потёрся о ногу.

Ещё через день Тенька принес мне полуживую мышь. Принёс и положил прямо на пороге. А чтобы я не сомневался, что с нею можно еще и поиграть, хлопал её лапой, слегка выпустив коготки. Мышка пискнула и задергалась. Тут из хаты вышла мама и приказала мне выбросить подальше «эту гадость». Тенька в мгновение ока куда-то спрятался. Я взял мышь за хвост и выбросил в сад. Через минуту Тенька снова появился передо мной, держа в зубах ту же мышку. Выражение его глаз и мордашки будто бы говорило: «Эй, паренек, не разбрасывайся подарками! Бери, это же от меня!».

Однажды, много лет спустя, я читал на студенческом вечере есенинское «Ты меня не любишь, не жа-

леешь...». Дойдя до третьей, особенно мной любимой, строфы, я непроизвольно бросил взгляд в окно. Там на широком каменном выступе сидел серый полосатый кот. И тут из моих уст ненароком вырывается «Знаю я – они прошли, как Теньки». Конечно, я тут же спохватился, исправился, но, с трудом подавив смех, расплылся в улыбке. Никто не понял почему. Некоторые педагоги осуждающе качали головами. Ведь это совсем не вписывалось в драматический накал страстного любовного монолога.

Пава и Валя. Наш разум выделяет порой необъяснимые штуки. «Необъяснимые» звучит парадоксально. По отношению к разуму. Недаром говорят, что душа – от Бога, а разум – от дьявола. Счастлив тот, кто сумеет соединить их живой нитью, привести в гармонию. Ну а как живут те, чей разум затемнен, те, кого неверно называют душевнобольными?

Паша и Валя всегда ходили парой.

Паша, в порыжелой ушанке, ватнике, военных гаулифе и тяжелых кирзачах, шел впереди, как правило, глядя в землю, словно искал одному ему известную тропку, а Валя, спрятав замурзанное печеное личико в платок, семеняла чуть в стороне и всегда на три шага сзади.

Я помню их с самого детства. Их лица будто бы не старели. Их одежда и ритм походки почти не менялись. Долгие годы они жили в ветхой, покосившейся халупе, которую все в округе почему-то называли землянкой. Наверное, потому, что она находилась в небольшой котловине, и даже сверху, с Колодезной, была почти не видна среди диких зарослей акации, бузины и сирени. И когда они выходили оттуда на свет Божий, медленно поднимаясь вверх по острой брусчатке старой окраинной улицы, балковская шпана с гиканьем и свистом окружала их, осыпая насмешками и ругательствами, а самые отъявленные «герои» стреляли в них из рогаток.

«Пава Головатый и Валя Триклята» – была самой безобидной из их «шутков». Как сквозь строй, с каменным лицом проходил между ними Паша, ни разу не повернув головы. И только Валя, которую донимали больше, сухим надломленным голосом скрипела: «Поганци. Поганци». А когда ей совсем становилось невмоготу, с мольбой стонала: «П-а-авлик!». И тогда Паша, развернувшись всем корпусом и по-прежнему глядя в одну точку, говорил: «Ось як визьму каменюку и дам в лоба». Но если даже и бросал камень, то всегда мимо.

Паша подрабатывал на рытье могил или на рубке дров. А Валя чаще всего сидела дома, реже – собирала бутылки или помогала заносить уголь в сарай зажиточных хозяев. Видимо, в те дни, когда он болел.

Думаю, что палку с острым гвоздем или заточенной проволокой для сбора окурков первым придумал Паша. Во всяком случае, это орудие бомжей конца 80-х я видел у него задолго до перестройки. Он пользовался им редко. Очевидно, лишь при крайней нужде. А когда у Паши водилась копейка, он курил «Казбек» и пил пиво. Но никогда я не видел его нетрезвым.

Первой умерла Валя. Как рассказывают, Паша закармливал ее сам. Тогда он, наверное, впервые с горя напился. А ровно через три дня и его не стало.

Теперь они шагают в ногу.

Брачок. Воскресенье... Бегу по двору, раскатываю подаренный отцом новенький футбольный мяч. При-

тормаживаю, останавливаюсь. Поворачиваюсь лицом к подъезду. В это мгновение резкая боль разрезает правый глаз. Инстинктивно, как бы защищаясь, прижимаю к нему руку. На ней изогнутый кусочек алюминиевой проволоки — брачок. Это я увидел левым. Правый тут же набряк кровью. Сквозь него проступали лишь мутно-радужные круги.

Вхожу в подъезд. Яростно жму на звонок. Дверь открывает мама. «Боже мой! Как же так?! Что ты с собой сделал?» Паника, крики, плач... Отец вызывает такси и отвозит меня в больницу.

Что ж, повезло... Глаз мне спасли. Брачок попал в него уже на излёте. В больнице я пролежал около месяца. И еще столько же маялся дома. Читать и смотреть телевизор мне запретили. Наверное, именно в это время я начал сочинять стихи. Но дело не в этом.

Отец тогда провел собственное расследование. И определил, что стрелял Тюлень — так дворовые пацаны окрестили неуклюжего толстокожего Игоря со второго этажа из того же подъезда, где жил и я. Стрелял из рогатки, стоя на балконе. И сразу спрятался. И признался в этом лишь после того, как отец пригрозил отвести его в милицию. А папаше — такому же пузану — выпустить жир за то, что воспитал малолетнего преступника.

Тюлень еще долго не появлялся во дворе, а его отец — напыщенный мелкий чиновник — обходил стороной моего. Но однажды на Девятое мая, кажется, это было в год тридцатилетия Победы, позвал его к себе на разговор.

Тогда отец не посвятил меня в суть беседы. То ли посчитал не нужным, то ли время еще не пришло. Одно лишь изменение заметил я в его взгляде — он стал еще жестче.

Незадолго до смерти, когда мы вспоминали былое и я расспрашивал его обо всех родственниках, отец открыл мне смысл той встречи.

Папаша Тюленя, был его сверстником. До этого их пути никогда не пересекались. Но Провидение Господне распорядилось так, чтобы то тайное, что могло бесследно раствориться, уйти в небытие, открылось, вернулось в жизнь страшной реальностью и связало недостающим звеном историю нашей семьи.

Своего деда Хацкеля отец видел редко. Тот почему-то не любил город и приезжал из своей Еградковки только на праздник или на ярмарку. Разводил он там огурцы, помидоры, выращивал картошку и табак. А еще сапожничал. Тем и кормился. Не знаю, сколько евреев жило до войны в этом селе. Может, сотня, а может, и более. Только недавно нашел в словаре Брокгауза и Ефрона, что до революции было здесь 8690 жителей, две православные церкви, синагога, школа. Мой прадед, видимо, твердо придерживался веры, исполнял все необходимые заповеди. И за это избрали его старостой еврейской общины.

Там же, в Еградковке, родился и Гриша, отец Тюленя. В сентябре 1941-го ему шел уже восьмой год. В селе расквартировалась какая-то немецкая часть. В этот день он бегал смотреть на танки, а потом на склоне балки за околицей села собирал шиповник. Когда мальчишка увидел полицейских, конвоирующих какую-то голосающую голпу, спрятался тут же в кустах. Впереди нестройной колонны высокий, худой, с развевающейся на осеннем ветру бородой, в поношенном лапсердаке шел Хацкель. Только он хранил спокойст-

вие и гордое молчание, глядя куда-то вдаль, где над грешной землей ему уже открылись обетованные небеса и чудился глас Элияху.

Гриша узнал старого чеботаря, потому что совсем недавно носил к нему ремонттировать свои черевички. Колонна прошла мимо и спустилась в яр по другую сторону балки. Через минуту Гриша услышал автоматные очереди и еще с десятков одиночных выстрелов.

Мой отец ничего об этом не знал. Пройдя через голод и мытарства эвакуации, бабушка спасла его и младшего Сашу и вернулась в Кировоград летом 1944-го. Они все долго болели — дистрофия, тиф... Потом настали времена борьбы с космополитами, потом — с сионистами. Потом всё забылось, ушло на дальний план. В общем, прах уничтоженных в Еградковке евреев, наверное, никто и не разыскивал.

И если бы не брачок, пущенный мне в глаз Тюленем, его папаша никогда бы не испытал угрызений совести. Но, чувствуя вину за сына, он всё же рассказал моему отцу о том, как погиб Хацкель Любарский.

Родниковая вода. Большая Балка славилась своими родниками. В пору моего детства по обоим берегам Бианки то здесь, то там пробивались ключи с прозрачной и вкусной водой. Тогда это мало кого удивляло и редко кто понимал красоту и святость этих мест.

Пока не выкопали колодец вблизи дома, ходить за водой приходилось на дальний край переуллка, к чужой кринице. Об этих временах еще долго напоминало старое потрескавшееся коромысло, которое сначала висело на веранде, а затем перекочевало в сарай.

Колодец построили в складчину, собрав деньги с трех или четырех дворов. Отвечал за дело дед Николай. Помню, экскаватор с трудом протиснулся в узенький кривой переулок, а дед шел впереди и руководил маневрами, пока не вывел его на то место, где нужно было копать. Меня туда не подпускали, и я сверху, со двора, наблюдал, как натужно рычит мотор экскаватора, как из его ковша высыпается желто-красная глина, как привозят и устанавливают громадные бетонные кольца.

Дед сам смастерил крышки и барабан, сам укрепил на нем длинный металлический шнур и цепь, которая глухо позванивала при спуске и подъеме. Чтобы заглянуть в колодец, нужно было привстать на цыпочки. Он меня не пугал, хотя и был довольно глубоким. Когда в нем всегда отливала холодным серебром, но когда сорвавшиеся с цепи капли пробегали сквозь заглянувшие внутрь лучи, капельки эти казались разноцветными изумрудами.

Поднимать воду из колодца мне долго не разрешали. Дед позволял только присутствовать при этом. А зная мою подвижность, он внимательно следил, чтобы я был на безопасном расстоянии от ручки барабана.

Но ведь это же больше всего и соблазняло! Смотреть, как дед, сначала отмотав немного цепи, опускает и выравнивает ведро, затем несколько раз вращает ручку и, наконец, отпускает ее, кладет руку на отполированный барабан, который раскручивается все быстрее и быстрее; и вот ведро с шумом врывается в воду, а дед шевелит порывевший стальной шнур, проверяя, наполнилось ли оно до краев. Подтянув его примерно до середины, иногда дед Николай позволял мне «помогать» ему. И мы вместе вращали ручку — он степенно и уверенно, а я пыхтя и едва дотягиваясь до

верхней точки поворота.

Дед набирал два ведра – «для равновесия», а третье поднимал, закрывал крышку и оставлял на скамейке у колодца, слегка отпустив цепь. Разгадку я понял позднее: по соседству жили три безмужние старушки.

В зимнюю стужу воду нужно было набирать и носить очень аккуратно. Потому что с каждым выплеском колодец, лавочка и дорожка к нему обрастали ледяной коркой. Земля, вынутая из колодца, образовала вокруг пологий взгорок. Подняться – всего два шага. Но зимой тропинку сюда обязательно нужно было посыпать «жужалкой». Не говоря уж о крутой дорожке к дому, которая на радость мне моментально превращалась в «скобзалку», как доньне говорят в наших краях.

К лету вокруг колодца вырастала самая сочная трава. Среди спорыша, ковыля и клевера таинственно появлялись и исчезали то желтые одуванчики, то синие барвинки, то красные маки, то разноцветный душистый горошек. Набегавшись вволю, приятно было хлебнуть холодной воды из ведра, присесть на траве в тени колодца, прижавшись спиной к теплому бетону, и наблюдать, как огромный шмель кружит вокруг высокого, в сеточках трещин, деревянного фонарного столба или как рота пятнистых «солдатишков» прокладывает путь на соседний огород, над оградой которого гордо возвышаются нежно-розовые мальвы.

Мой путь среди хитросплетений судьбы тоже был непростым. Десять лет я жил в других городах и странах. Но всегда ощущал зов родной земли, чьи запахи и ароматы, оттенки и краски, мелодии и звуки впитал с детства. И пусть нет уже здесь Подольского переулочка с его криницами и дедовым садом, но осталось в этой окраине и во мне нечто большее, корневое – то, что называется родиной. То, без чего засыхает душа, глохнет слух, слабеет голос.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Когда на рассвете сквозь клочья тумана проступают пожелтевшие осины и багряные клены, я, набросив старое кургузое пальтецо и сунув ноги в холодные резиновые сапожки, выхожу на двор. Я уже большой, мне почти четыре года. Поэтому иду не на горшок, а в деревянную кабинку с утепленным сидением, что между летней баней и дровником. Зевая и потягиваясь, из будки неохотно выбирается Рекс и сопровождает меня, не забыв при этом лизнуть прямо в лицо.

Вернувшись в хату, прилипаю к печи – вот уже несколько дней, как её затопили из-за сырой погоды. Мама хлопочет на кухне. Быстро одеваюсь, сажусь за стол. Передо мной стакан топленого молока, ломоть хлеба и два кусочка сахара-рафинада. Это вкусно, но горячее молоко... Меня поторапливают, пора идти в детский сад.

Мы идем пешком. Сначала по переулочку, пахнущему дымом, навозом, мокрой землей и ботвой, между наволгшими кустами бузины и сирени. Затем вверх по острой и неровной брусчатке Колодезной улицы, потом вниз – по Кирова. Поворот направо, под высокие тополя на Егорова. Сквозь их кроны из-за серых холодных туч вдруг проблескивает солнце. Я, задрав голову, смотрю на него и безмятежно улыбаюсь. А мама не улыбается, она после ночной. Ей, наверное, очень хочется спать. Но сегодня вести меня в сад больше не-

кому – дед захворал, отец – в командировке. А может, ей гложет сердце предчувствие какой-то беды?

Мы подошли к большим железным воротам, вошли в опустелый по-осеннему двор. Завизжала и закрылась за мной угрюмая дверь, ведущая в младшую группу. Воспитательница в белом халате помогла разуться и ввела за руку в светлую, но еще плохо прогретую комнату. Ура! Мне сегодня повезло. Здесь только одна девочка. Значит, я первый начну играть чудесной пожарной машиной, так манящей к себе красным лаком и серебристым никелем.

Это случилось после обеда, во время дневного сна. Я проснулся от детских стонов и плача, оханый воспитательницей и причитаний нянечек. Вокруг происходило что-то непонятное: кто-то неся з горшками из туалета, кто-то собирал корчащихся на полу детей, а директориса кричала в трубку телефона: «Где машины?! Давайте быстрее! Я не знаю, что делать! У меня уже две группы...». В этот момент я попытался встать с постели, но голова закружилась и меня тут же стошнило.

И хорошо, что так. Доктор потом говорил маме, что я легко отделался. Как теперь понимаю, именно благодаря тому, что не очень добросовестно ел то, что подали на обед. Меня выписали из больницы уже через две недели, остальных – через месяц. А детсад закрыли на карантин – обнаружили дизентерийную палочку. Хм, палочку... Тогда кроме высокой температуры меня мучил вопрос: что за палочка такая, которая ударила сразу всех. И кто её принёс? И где прятал? И за что такое наказание – каждый день по три урока?

Подступала зима... В саду под вечер сиротливо серели мокрые деревья, нахохлившиеся воробьи жались по кустам, на огородах противно кричали и копошились вороны, а по утрам на земле изморозь выводила первые узоры.

Однажды таким холодным субботним утром меня повели в парикмахерскую. Не знаю, может, и до этого кто-то упражнялся с моими кудряшками. Не помню. Но этот визит отложился в моей памяти.

Парикмахерская располагалась в маленькой комнатке одноэтажного кирпичного дома, что стоял на углу какой-то глухой улицы между кладбищем и межрайбазой. Нас встретил невзрачного вида мужчина в белом, но неглаженном халате. Дед Николай, видимо, был здесь постоянным клиентом. Сначала постригли его. Потом стало происходить что-то странное, что было для меня в диковинку. И даже пугало...

Угрюмый парикмахер открыл длинное лезвие, похожее на нож, и стал размашисто водить им по какому-то толстому кожаному ремню. Я сжался на стуле в углу у вешалки, мой страх усилился. И до этого у меня не было большого доверия к людям в белых халатах. А тут такое – то ли этот дядька собирается резать моего деда, то ли меня отхаивать этим страшным ремнем? Наверное, я начал хлюпать носом, потому что дед Николай вдруг повернулся на крутящемся кресле и, глядя мне в лицо, сказал: «Нэ бийся, глупый, мэнэ зараз будуть брить. Це шоб я був гарный и красивый!». Потом я с удивлением смотрел, как его лицо в зеркале стало обрастать пышной мыльной пеной, как парикмахер мелкими движениями с разных сторон снимал её и стряхивал в таз, как прикладывал распаренное полотенце, как наносил какую-то мазь к местам порезов. И вот наконец помолодевшее лицо деда

засияло и залоснилось гладкой кожей под струей «Тройного» одеколона.

Он еще раз посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Оцз добрз. Як огурчик! А тэпэр ты!». Я насупился. Потому что вообразил, будто меня тоже начнут мазать белой пеной и брить. А когда мрачный парикмахер спросил: «Как будем стричь – «Канадка», «Под бокс», «Под ноль» – и вовсе заартачился. Беда в том, что я мыслил тогда словообразами. Первое название, произнесенное как «канатка», соединилось у меня с канатом, а второе просто повергло в шок – неужели из меня сделают боксёрскую грушу? Дед постоял, подумал немного и изрёк: «Ну... то бис з ным! Нехай тебе твоя баба Этька зводэть! Пишлы додому, а то вже чергу зибрав!».

Дома мама сказала: «Ладно, пострижем его перед днем рождения. А пока ходи так. Всё-таки холода на носу». Я посмотрел на нос, но ничего там не увидел...

А уже через месяц сад, дома и всё вокруг утопало в пышном снеговом убранстве. На выходные отец отвёз меня к своей маме, бабушке Этель. Квартира её была на улице Яна Томпа, в небольшом домике, где проживали тогда три семьи – одинокая сморщенная старуха, ужасно похожая на Бабу Ягу, тётя Люда с детьми и мужем и бабушка с дедом Ефимом. Он был неродным моим дедом. С ним бабушка сошлась после войны. Их объединило общее горе: пока Ефим Кононович воевал, его семью и близких уничтожили гитлеровцы, а мой дед Роман, все его братья, как и бабушкины, погибли на фронте.

Из-за этого, а может из-за двух тяжелых ранений дед Ефим был человеком замкнутым, малоразговорчивым. Но в хорошем расположении духа любил пошутить, сыпал прибаутками, поговорками, фразами из каких-то не известных мне песен.

И вот утром, уже во время завтрака, меня стали готовить к посещению парикмахерской. К чаю бабушка подала любимое мной розовое варенье и печенье с корицей. А дед Ефим, как бы между делом, сказал: «Если будешь хорошо себя вести, подарю тебе на день рождения трофейный ножик». Он знал: маленький изящный перочинный ножик с тёмно-красной накладной костяной ручкой был моей заветной мечтой. На что бабушка заметила: «Старый дурак, ты хочешь, чтобы ребёнок порезал пальцы?». Я тут же взвился: «Нет, нет, нет! Я умею! Я буду вырезать лодочки и строгать карандаши!». «Ладно, посмотрим, – ответила бабушка, – одевайся». А дед Ефим стал напевать: «Разодет я, как картинка. Я в японских ботинках, в русской шляпе большой и с еврейскою душой!».

Воодушевленный я вышел вслед за ним на улицу, и мы – он, прихрамывая, а я вприпрыжку – пошли по хрустящему от мороза снегу. До парикмахерской было рукой подать, всего полквартиры. Но когда мы дошли до лестницы из пяти ступеней, дед Ефим, поставив ногу на первую, попросил немного подождать – его мучила сильная одышка.

Когда мы вошли, над дверью сверху приятно забренчал колокольчик. Тут же навстречу нам из кресел поднялись два улыбающихся парикмахера. Тот, что помоложе, произнёс: «Здравствуйте, уважаемый! Вы сами стричься? Или за вас этот апунэм?»* Как тебя зовут, моряк-с-печки-бряк?». В этот момент я был уже раздет и стоял перед ним в новеньком черном мичманском костюме.

Я ответил и смело посмотрел по сторонам. Эта парикмахерская мне уже нравилась. Здесь было тепло и красиво. Запах одеколона стоял совсем другой, нерезкий. Между зеркалами приглушенно горели бра. Потом зажглись обе люстры, я увидел кафель, изразцовую печь с диковинным орнаментом, а черноусый улыбающийся мастер уже усаживал меня в большое кожаное кресло. «Э-э, нет, вы здесь утонете, капитан, – сказал он. – Ладно, тихо, ша! Мы поднимем вас на капитанский мостик». При этом он достал табуреточку, поставил в кресло и удобно усадил меня. Потом повернулся к деду: «Что нынче носят моряки-черноморцы?» И тут же ко мне: «Ваш папа – спортсмен. Думаю, вам не повредит скромная спортивная причёска “Полубокс”. Или вы будете сомневаться?». Дед Ефим одобрительно махнул рукой и пошел в подсобку беседовать с тем, что постарше, похоже, давним приятелем.

Я потом часто ходил в эту уютную парикмахерскую на улице Яна Томпа, предпочитая стричься именно у Яши – так звали этого мастера-балагура. Последний раз я был у него лет десять назад. Но уже не в Кировограде, в Холоне. До этого мы не виделись около тридцати лет. Но, открыв дверь своей двухкомнатной квартиры, Яша тут же узнал меня: «Вы сильно похожи на папу, а я его знаю, как облупленного, шоб он был здоров! Заради того, шо вы здесь, я готов взять с вас десять шекелей. – Он надел белый накрахмаленный халат. – Ну, как? Полубокс? Или будем сомневаться?».

* Лицо (идиш). Здесь: в значении «персона».

СЕМЁН КАМИНСКИЙ

ПИЦЦА-ГЕРЛ

Сначала вместе с негромкой музыкой появлялась она – в черном трико, очаровательная, тоненькая, с большими накладными ресницами. Мелко, кокетливо дрожала руками-крылышками. Перелетала – «з-з-зи», «з-з-зи» – из одного угла в другой в неотлучно следовавшем за ней круге ласкового света. Потом пристраивалась где-нибудь, замирала. Руки превращались в лапки, и она начинала очень похоже перебирать ими, медленно поглядывая по сторонам. И неожиданно срывалась опять – «з-з-зи», «з-з-зи»! – с места на место, с места на место...

И тут из-за кулис выбирался он – в несуразном наряде, как-то боком, оглядываясь. Он тащил здоровенный, неровно оторванный кусок картонной упаковки, на котором виднелись остатки жирных надписей, что-то вроде «овать» и «ерх», и нарисованный раскрытый зонтик. Он укладывался прямо посередине сцены на этот картон, закрывал глаза – мол, наконец-то здесь, в уютном месте я отдохну. Но тут снова – «з-з-зи», «з-з-зи» – из одного угла в другой. Он ворочался, вытаскивал из-под себя картон, потешно накрывался им, но жужжание и полеты вокруг продолжались. Иногда она даже нахально присаживалась прямо на него и снова перебирала и перебирала лапками. Народ веселился. В конце концов он поднимался, какое-то время очумело следил за непоседой, затем делал комически неудачные попытки прихлопнуть ее... и вдруг резко – бац! Кусок картона попадал по назначению – музыка обрывалась. Он осторожно подбирался к свернувшемуся тельцу, «отрывал» как бы прилипший картон, дергал

за неподвижные крылышки-лапки. Потом, удовлетворенный собой, укладывался на излюбленное место, укрывшись всё тем же картоном. Свет покидал его – в луче оставалась только поверженная прожектница. Неровным дыханием несколько раз проявлялись и пропадали музыка и свет. Вот повисли, казалось, уже последние, почти неслышные аккорды. Тишина. Еще один слабый всплеск. Полная темнота и тишина...

Овация!

Багажник маленького горбатого «шевроле» отныне будет вечно пахнуть густым, чесночно-сдобным запахом горячей пиццы. Да что там багажник – весь небогатый, бутылочного цвета салончик трехдверного автоуродца. Стоит только дернуть дверцу, бухнуться на проваленное водительское сидение – и от этого запаха так захочется есть, как будто бы ничего не ел целую неделю, хотя прошло всего полчаса после плотного обеда. Неудивительно, если запах останется с «шевроленком» даже на автомобильной свалке, которая все ближе и ближе подбирается к нему по ежедневным дорогам его долгой по автомобильным меркам жизни.

За три года службы у «Папы Савериос» красные плоские сумки с пищей, прилежно сохраняющие тепло пахучего теста, прятались в лоно машины неизменное число раз. А потом неслись привычным маршрутом дневных и вечерних улочек к закономерно нетерпеливому заказчику, одинаково истекающему слюной – что в отдельном собственном четырехспальном доме с гаражом на три машины и бассейном во дворе, что в малюсенькой однокомнатной студии, снятой в аренду.

Здесь на стенке крошечного вестибюля – панель с почтовыми ящиками и именами жильцов. Нужно осторожно освободить правую руку, чтобы нажать на белую прямоугольную кнопку звонка напротив фамилии «Луис» (такая фамилия стоит в бланке заказа). При этом постараться сохранить строго горизонтальное положение сумки с пищей, поддерживая её снизу левой рукой и несильно придавливая животом к стенке. «Доставлена пицца», – громко заявляет она в домофон, оживший каким-то невнятным возгласом. Замок жужжит, и все тсй же свободной рукой она нажимает на ручку двери. Пять ступенек вверх, две квартиры на площадке. Судя по номеру – налево. Дверь открыта, и оттуда настороженно выглядывает чернокожая девочка лет пяти. Убедившись, что поднимающаяся по лестнице девушка одета в футболку и кепку со значком пиццерии, малышка весело, непрерывно кричит, не отводя взгляда от красной сумки: «Это пицца-герл, мам, это пицца-герл!» За ее спиной не спеша подплывает круглая мама с весьма большим дитятей на руках.

– Привет, мисс, – говорит она, улыбаясь, – отдайте пиццу ей, мисс, – и указывает головой на дочку.

– А ты удержишь?

Девочка протягивает обе руки и довольно долго стоит так, демонстрируя полную готовность к принятию груза, пока «пицца-герл» на весу расстегивает молнию сумки и достает картонную коробку. Тут же на волю со всей прытью выскакивает запах. Аккуратно ступая, малышка уносит пиццу в глубину квартиры (спасибо, спасибо!), а мамаша вытаскивает из кармана халата несколько помятых бумажек. Один доллар из них – за доставку.

После трех лет жизни в Чикаго он снял квартиру в Украинской Деревне – так называется весьма недорогой район недалеко от центра города. Название это

сложилось исторически, и украинцев здесь обитает не так уж много, хотя попадаются улицы, где подряд расположены украинские магазины, булочные, офисы врачей и адвокатов, говорящих по-украински, компании по доставке посылок и денег в страны Восточной Европы. А рядом с домом, где он тогда снимал квартиру, стоит православная церквушка. Поп, правда, ни по-украински, ни по-русски говорить не умел, потому что родился в Америке, но происхождения был явно славянского, да и службу знал хорошо и по-нашему. Когда позднее они познакомились поближе, он даже стал приглашать батюшку к себе домой на беседу о душе и бутылку водки. Попа звали отцом Джозефом (то есть Иосифом), от приглашения поп никогда не отказывался, но от душевных разговоров они быстро переходили к прослушиванию «Пинк Флойд», и оба легко соглашались в том, что последние альбомы, записанные после ухода из группы бас-гитариста Вотерса, уже жалкое подобие великих записей, сделанных группой в семидесятых. И еще он помог отцу Джозефу улучшить церковный веб-сайт, а когда сайт повредили хакеры и всунули туда порнуху, смог всё починить – не только убрал безобразие, но и поставил добавочную защиту.

Жить тут было неплохо, только обнаружилось, что когда заходишь в украинские магазины, лучше ничего не спрашивать у продавщиц по-русски, а так как украинского он не знал, то приходилось объясняться на английском. Конечно, если что-то спросишь на русском языке, не убьют и, возможно, даже нехотя проедят в ответ пять-шесть русских слов, но выражение лиц у продавщиц сразу же становится железобетонным, и смотрят они, отвечая, уже не на тебя, а в сторону.

Другое дело – на севере Чикаго, в еврейском районе улицы Девон («Диван» – так произносят это название американцы и с удовольствием повторяют наши, придавая чужому имени свой, иногда смешной, иногда пикантный смысл: «я был на Диване у своего лечащего врача» или «мы сегодня виделись с ней на Диване»). Так вот там, на улице Девон, чикагском варианте Брайтона, в русских магазинах говорят и по-русски, и по-украински, и по-белорусски, и на идиш... а иногда и по-грузински, по-армянски и по... лишь бы покупатель покупал, а подход к нему найдется.

Но зато в Украинской Деревне и вокруг этого района много баров, где играют местные рок-группы, и небольших ресторанов с самой разнообразной кухней. Можно было каждый вечер ходить в другой ресторан, и повторное посещение одного и того же места наступало не скоро, лишь бы деньги водились. Но водились они у него не всегда. Из компании он ушел – сидеть по восемь часов перед компьютером, почти не вставая с места, и делать бесконечные отчеты о продажах неизвестных, спрятанных под набором букв и цифр запчастей для бытовой техники, было тошно. Небольшой и смутный опыт работы, полученный на телестудии в некоем областном городе, где он миллион лет тому назад работал оператором, пригодились: теперь он мотался по свадьбам, снимал, монтировал фильмы, кое-как сводя концы с концами, ведь приходилось выплачивать кредиты за камеру и другую аппаратуру.

Летом её место – на неудобном пластиковом стуле (он был когда-то белым), стоящем на тротуаре у входа в кухню пиццерии. Запах течет мимо неё, распространяется на всю улицу, настойчиво забираясь даже в те машины, что проезжают по дороге с плотно закрыты-

ми окнами. Иногда заказов на доставку мало, и она подолгу сидит здесь в ожидании: слушает в наушниках музыку, разглядывает автомобильную стоянку перед пиццерией и соседними магазинами.

Рядом растет какой-то густой, на вид довольно экзотический куст, на одной из веточек которого примостился крупный зеленый богомол. Его почти не отличишь от ветки – ни по виду, ни по цвету. Он совершенно неподвижен, терпелив и, видимо, безмятежен. А ровно в полдень в пиццерию заходит китаец, похожий на богомола. Это владелец соседнего, тесного – в одну комнатку – магазинчика подержанных компьютерных игр. Китаец (ей почему-то хочется сказать «китайчик» – так она и называет его про себя) всегда одет в зеленую футболку или короткую салатную курточку и почти такого же цвета штаны. Он неизменно заказывает только один кусок пиццы – одного и того же сорта – и баночку лимонада. Хозяин пиццерии, индеец, завидев приближающегося к дверям китайца, сразу идет на кухню за куском пиццы, и когда китаец подходит к стойке, его уже ждут коричневый пакет с названием заведения и вспотевшая алюминиевая баночка. Но китаец, как бы не видя пакета и банки, всегда невозмутимо произносит одну и ту же фразу, выделяя числительные:

– Здравствуйте, могу я заказать один кусок пиццы с овощами и одну банку колы?

Индеец так же невозмутимо протягивает ему заказ, принимает деньги, дает сдачу – всё это с точностью до малейшего движения повторяется каждый день.

Он жил в квартире, похожей на корабельный трюм, оказавшийся почему-то на втором этаже трехэтажной постройки начала двадцатого века. Странности начались уже при входе в дом: дверь с улицы вела на узкую лестницу из когда-то полированного дерева, не совсем винтовую, но идущую полукругом. Углы на площадках между пролетами тоже были закруглены, а на певучих ступеньках уложен бордовый, ныне сильно вытертый ковер, с помощью складок хитроумно повторяющий повороты лестницы. Стены покрывали неровные, неопределенного цвета наросты краски, которые по чьему-то замыслу, видимо, должны были стилизовать изображение почтенной древности этих стен. Затхлый воздух и мутные овальные светильники усиливали впечатление – всё это действительно напоминало то ли внутренность башни маяка, то ли вход в какой-то большой, выдавший виды корабль. Иногда даже казалось, что лестничные пролеты покачиваются на волнах... или это он сегодня слишком долго просидел в баре?

За дверью в его квартиру открывалось неширокое, но длинное пространство с темными деревянными балками на потолке, только условно, с помощью скудной мебели разделенное по назначению. Слева от входа без предупреждения начиналась кухня, имеющая небольшое оконце, а справа – некое подобие прихожей, переходящей в гостиную, которая в свою очередь не очень заметно перетекала в закуток спальни. В кухне находилась еще одна дверь; она выходила на заднюю, совсем уж неказистую лестничную клетку. По лестнице можно было спуститься в пустой, строго забетонированный внутренний дворик или подняться на плоскую крышу, откуда неожиданно отрывался восхитительный вид.

Ему нравилось это жилье странностью и тем, что оно стоило немного по сравнению с другими, нормальными квартирами по соседству. И еще – с крыши

можно было снимать небоскребы. Это замечательно получалось на закате.

Во второй половине дня просыпается танцкласс, расположенный бок о бок с пиццерией. «Танцевальная студия Дороти» – с достоинством сообщает его вывеска, по-видимому, призванная пробуждать ассоциации с девочкой Дороти – героиней «Волшебника страны Оз» (той самой героиней, что у Волкова, в русском варианте этой сказки, зовут почему-то Элли), а также напоминать про летающие туфельки и другие чудеса. На стоянку и к дверям студии начинают прибывать машины с маленькими волшебниками танцевальной страны. Их привозят мамы. Мам, которые не работают и регулярно возят своих сыновей на тренировки и матчи по футболу, а также во всяческие другие спортивные секции и клубы, тут зовут «футбольными мамами». Ну, а этих, так же регулярно и преданно привозящих своих девчонок на танцы, она называет (опять же – про себя) «балетными мамами». Вот они – «балетные мамы» в растянутых футболках и шортах на необъятных задницах – бодро шествуют за своими чадами и исчезают в дверях волшебной страны.

Ей тоже очень хочется туда попасть, однако просто так заходить неловко. Но вот в один из дней индеец вдруг сообщает, что из волшебной страны поступил заказ на шесть больших коробок пиццы – там справляют день рождения хозяйки. Она не может доставить весь заказ сразу, перетаскивает коробки в два приема и только потом, отдышавшись и получив деньги, а также неплохие чаевые от «Дороти», рассматривает танцевальную студию. Правда, ничего особо интересного она не видит: всего лишь скучный пустой зал с зеркалами, в углу которого работники танцкласса уже начали разрезать на столах пиццу.

Нужно уходить. Отразившись в зеркалах, пиццегерл застывает на секунду прямо посередине зала. И никакой музыки нет, но появляется она – очаровательная, тоненькая, с большими накладными ресницами, в черном трико. Мелко, кокетливо дрожит руками-крылышками. Перелетает – «з-з-зи», «з-з-зи» – из одного угла в другой. Потом пристраивается поближе к вкусному запаху, замирает. Руки превращаются в лапки, и она очень похоже перебирает ими, медленно поглядывая по сторонам. Но неожиданно срывается опять – «з-з-зи», «з-з-зи» – скорей к выходу! Увы, ей больше нельзя оставаться в волшебной стране – сейчас её заметят. С парковки уже движутся сюда девчонки и их «балетные мамы».

Заказы на свадебную съемку искал Бронштейн, взяв на себя непростые труды общения с заказчиками и получения от них денег. Иногда Бронштейн приезжал в Украинскую Деревню на монтаж, в большом, но «убитом», как он сам говорил, «Понтиаке Бонневиле» двадцатилетней давности, с дипломатом из коричневой кожи под крокодила и в солидном твидовом пиджаке (даже в очень теплую погоду).

В боковом кармане пиджака находился измятый блокнот без обложки с желтыми отрывными страничками, на которых мелким-мелким бронштейновским почерком были записаны имена жениха и невесты, пап и мам, а также памятные даты и всякие другие вещи, важные для обязательного упоминания в титрах свадебного видео-шедевра.

А в крокодильем дипломате у Бронштейна всегда лежали бутерброд с сыром и яблоко – больше ничего. В начале 90-х годов во Львове Бронштейн побыл директором рекламной фирмы и от нервного напряже-

ния, будучи человеком чувствительным, сильно испортил себе желудок, увертываясь то от налоговой службы, то от бандитов. Поэтому теперь ни в закусочных, ни в ресторанах Бронштейн есть не мог. Во время монтажа Бронштейн вежливо просил чаю без кофеина и, тщательно пережевывая, поедая сначала бутерброд, а потом яблоко, разрезая его на кусочки.

Еще Бронштейн часто глотал «но-шпу», каждый раз перед приемом сокрушительно заглядывал в коробочку и пытался оттого, что количество таблеток быстро уменьшается. «Но-шпу» ему периодически привозили знакомые с Украины, так как в местных аптеках её нет, а похожий американский препарат Бронштейн принимать ни за что не хотел, жалуясь, что после приема такого средства кружится голова и за руль не сядешь.

Конечно, в то время, когда партнеры по свадебному кинобизнесу сосредоточенно корпели перед мониторами в трюме гостиной, их никто не видел, но зрелище это было забавное: «продюсер и режиссер» Бронштейн – в твидовом пиджаке, жующий неизменное яблоко и поглощающий «но-шпу», и «оператор и монтажер», он же хозяин квартиры – с банкой пива, в растянутой футболке с полустертой надписью на животе: «Это не пивной бочонок, это бак с горючим для секс-машины»...

К вечеру в пиццерию иногда приползает пожилая, совершенно опустившаяся особа, живущая где-то поблизости. Она пьяненько канючит, долго и настойчиво предлагая себя... за пиццу. Индиец сидит, уставившись в компьютер, или разговаривает по телефону, принимая заказы, и никак не реагирует на её малопонятный клекот, но обычно не выдерживает повар Джозл. Ему всё слышно из кухни, и он выносит старой проститутке десятку, чтобы та могла купить себе что-нибудь поесть и убралась прочь.

Маленький повар, мексиканец Джозл – большой умелец на все руки. Пользуясь тем, что Джозл – нелегал, скаредный владелец пиццерии платит прекрасному повару меньше половины нормального жалования. Но Джозл не только повар. Он ремонтирует машины, нанимается на стройки, на уборку улиц и стрижку травы, трудится в любом месте, где берут нелегальных иммигрантов. Впрочем, он не собирается навсегда оставаться в Штатах, но уже несколько лет зарабатывает здесь деньги. Джозл почти не говорит по-английски, но с пицца-герл у него симпатия и доверительные отношения с помощью знаков и отдельных слов. Он показывает ей фотографии миниатюрной жены и детей, которые ждут его дома, в Мексике: все они – смуглые, с увесистыми пузиками и лоснящимися лицами, а сам Джозл – зачем-то в высоких охотничьих сапогах и до смешного широкополой шляпе. Когда заказов на доставку нет, ей скучно сидеть без дела, и она помогает повару – раскатывает тесто, нарезает овощи, хотя индиец, конечно, ничего ей за это не платит. Однажды явившись на работу сильно выпивши, Джозл с заговорщическим видом зовет её на стоянку, где припаркован древний джип. Под половиком между передними и задними сиденьями машины, в углублении пола, закрытом самодельным лючком, лежит множество увесистых пачек – заработок Джозла бог знает за сколько времени. Положить деньги в банк он не может, потому что у него нет нормальных американских документов, да и немалые налоги придется платить, если объявить эту сумму официальным доходом. А в двухкомнатной квартире, которую Джозл снимает

вместе с пятеркой таких же, как он, нелегалов из Мексики, оставлять деньги нельзя ни в коем случае – им он не доверяет еще больше, чем банку. Так что единственным местом для хранения сбережений, как ни странно, является машина, которую он ставит на стоянку перед пиццерией. Благо, машины здесь воруют крайне редко, да и кто покусится на его облезлую развалюху. Понимая, что пьяному мексиканцу захотелось похвастать своим заработком и на трезвую голову он еще будет рассказывать, что открыл перед пицца-герл свой главный секрет, она никогда не напоминает ему об этом.

Когда позвонил профессор, он монтировал свадьбу дочери русского владельца молочного завода. Заплатить обещали хорошо, и закончить работу надо было поскорее. Бронштейн мучился очередным «обострением» и не появлялся.

На мониторе толстушка-новобрачная, отвернувшись от толпы гостей и уродливо открыв от натуги рот, швыряла за спину здоровенный букет цветов. Нужно было вставить какую-нибудь перебивку – чей-то короткий крупный план, допустим, молодого супруга-американца, чтобы спрятать её перекошенную от усердия физиономию. Не отрываясь от кнопок, он невнимательно слушал профессора и сразу же безнадежно заскучал от медицинских терминов и витиеватых предложений. Так и не разобравшись, чего от него хотят, он буркнул: «Приезжайте» и продиктовал профессору свой адрес.

Неплохо было бы демонтировать эпизод до прихода профессора, но захотелось есть, и, не имея времени пойти в ближайший ресторанчик, он решил заказать пиццу по телефону. Пухлая желтая телефонная книга открылась на цветной рекламе «Папы Савериос».

Домофон отчего-то не работал. По звонку он открыл дверь и удивился, что разносчиком пиццы, вместо привычного в таких случаях шустрого мальчишки-старшеклассника, оказалась невысокая миловидная девушка. Он на мгновение замялся, а когда протянул деньги, то неловко уронил пару четвертных монет и чертыхнулся по-русски.

Она улыбнулась:

– Деньги через порог нельзя, – сказала она, продолжая держать коробку с пиццей в руках.

Он присел на корточки, чтобы подобрать монетки, но сообразив, что она сказала это тоже по-русски, тут же поднял голову:

– Наша?

– Наша, наша... Через порог нельзя – это к несчастью.

– Тогда входите.

Она переступила порог:

– Мне нужно ехать. Места у вас на улице не найти – я притулила машину возле пожарного крана. Не хватало, чтобы полиция вкатила штраф – всё, что за неделю заработала, погорит.

Она прошла в гостиную и, осмотревшись, не нашла ничего лучшего, как поставить коробку на угол стола, заставленного компьютерами и монтажной аппаратурой. Он наконец-то отдал ей монеты.

– Спасибо... А это что?

Она показала на монитор, где повис в воздухе над головой новобрачной брошенный букет, и сама новобрачная замерла, подняв размазанные в быстром движении руки.

– Свадьба.

– Ваша свадьба? Или вы снимаете свадьбы? – она

жадно разглядывала технику на столе. – Какая у вас классная камера! Штуки на три потянет, наверное?

– Эта – побольше... А вы давно... возите?

– Уже три года почти.

– И почему такая работа? Можно ж найти получше?

– Наверно, можно, но мне такая нравится, – она заторопилась и перешла на английский: – Доброго вам вечера, спасибо, до свидания!

– Вам спасибо! – крикнул он вслед, подскочив к двери.

– А у вас... прикольная... футболка... – услышал он из-за поворота лестницы. На нем была та самая любимая домашняя футболка с фразой «футболка с фразой» на животе.

Из окна он успел увидеть маленький зеленый «шевроле», уплывающий в легкие сумерки Украинской Деревни.

Он едва успел проглотить кусок пиццы, как приехал профессор.

– Мне порекомендовали к вам обратиться Бронштейн, – первым делом заявил профессор, который профессором совсем не выглядел, и вообще никак не выглядел: смотришь на лицо – вроде видишь, а отвернулся – и уже не помнишь, какой он. – Бронштейн говорит, вы большой в этом деле специалист, – профессор кивнул на монитор, где по-прежнему тосковала застывшая новобрачная.

Он тоже кивнул, дожевывая пиццу.

– Так вот, дорогой мой, я предпочитаю овцу, – продолжал профессор.

Они стояли у стола, недалеко от пиццы. Садиться профессор не захотел, хотя в гостиной обитала парочка ушастых старомодных кресел (их кто-то за ненадобностью выставил на улицу недели три назад, и был грех не найти им лучшего пристанища).

– Какую овцу?

– Дорогой мой, – значительно продолжал гость, – некоторые любят свиней, но я предпочитаю овец. Согласитесь, – (он безоговорочно согласился), – в моем случае, овца – это гораздо лучше. Жировой слой поменьше и мышечная... – многие слова профессора, как и в разговоре по телефону, создавали ощущение исключительно умных, но совершенно бессмысленных звуков.

Ему хотелось взять со стола еще кусок пиццы, но есть самому было как-то неудобно, а перебивать профессора и предлагать тому пиццу он не решился.

– Дорогой мой, – уже очень значительно продолжал профессор и неожиданно двумя пальцами ухватил со стола кусок пиццы, – я буду оперировать овцу через две недели в клинике Святого Френсиса, и вы, дорогой мой, должны это снимать... – Профессор резко задрал голову и точным движением погрузил пиццу в рот.

Теперь он тоже мог бы протянуть руку за пиццей, но вдруг до него дошло:

– Что я, профессор, должен снимать?

– Дорогой мой, вы должны снимать операцию. Хирургическую операцию на сердце овцы, – профессор вытер салфеткой губы. – Операцию, уникальную методику которой я разработал в России и, благодаря спонсорам, привез показывать американцам. Нельзя упустить ни одного момента из этой операции, понимаете, ни одного! Я провожу её здесь специально для того, чтобы заснять весь процесс. Этот фильм – ваш фильм – мы используем для презентации потенциальным производителям моего сердечного стимулятора.

Наш спонсор вам заплатит... сколько вы обычно берете за свадьбу? Он заплатит больше... Только вам будет нужен помощник – нужно снимать двумя камерами, с разных точек, и поставить в операционной дополнительный свет. У вас же есть? Бронштейн сказал, что у вас всё есть...

На следующий день он подъехал к «Папе Савериосу» – адрес нашёлся на той же, оставшейся открытой странице из телефонной книги.

Заказов на доставку еще не было ни одного: она сидела на стуле, слушала Beautiful Garbage¹ и воскликнула «хей!», удивившись его неожиданному появлению. Она решила, что он приехал купить пиццу.

– Нет, – сказал он, – я хочу предложить вам подрабывать. Мне нужен помощник, чтобы снимать несчастную овечку.

Джозл, который через открытую дверь видел, как они разговаривали, не позволил ей помогать ему на кухне и целый день недовольно бурчал по-испански: «чика», «бонита», «вентозо» и еще бог весть что.

Ранним утром в назначенный день «шевроле» появился перед его домом. Ехать решили на нем. Несмотря на маленький размер, «горбун» для багажа был вместителен: задние сиденья легко опускались, таким образом, за спинами водителя и пассажира образовалось весьма приличное пространство, а задняя дверца автомобильчика откидывалась вверх, открывая удобный доступ для погрузки и выгрузки. Хотя съемное оборудование было упаковано в двух объемистых ящиках, они, к удивлению, легко поместились.

– Ваш транспорт, – одобрил он, устраиваясь на тесноватом пассажирском сидении, – для моего дела просто незаменим – всё оборудование умещается, и бензину жрет мало... хотя сидеть здесь, конечно, ужасно неудобно – ноги совсем некуда деть...

– Это у вас ноги чересчур длинные выросли, – прыснула она, водрузила на нос лиловые солнцезащитные очки, и они отправились в путь.

В больнице Святого Френсиса какие-то люди в зеленых одежках помогли протаскать ящики через многочисленные переходы и комнаты; потом операторам выдали такую же форму, защитные белые маски и смешные мешки для ног. Их предупредили, что в операционной им придется все время работать в масках. Но сначала они запечатлели двух очень похожих овечек, которые – каждая в отдельном чистом вольерчике – спокойно жевали что-то, еще, видимо, не подозревая о своей принадлежности к научной среде сразу двух великих держав.

– Какую из них вы оперируете сегодня? – спросил он у помощника профессора, сухонького неразговорчивого китайца, опять напомнившего ей знакомого богомола.

– Этот, – ткнул пальцем китаец. – А этот – запасной.

Операторы переглянулись: ишь как у них всё поставлено – даже дублер есть.

Они установили камеры и свет в операционной, хотя света там вроде бы и своего хватало, но он сказал, что ему нужно все-таки иметь возможность точно осветить нужные участки. Одна камера должна была брать общие планы. Детали, ход операции он собирался снимать второй камерой – крупным планом, с руки. Она успела поснимать для пробы и той, и другой камерой. Всё отлично получалось – такое было у неё ка-

¹ «Прекрасный мусор» – альбом американской рок-группы Garbage (по англ. «мусор»)

чество: легко осваивать новое дело.

Долго ждали, пока привезут «больного», а когда привезли, обнаружилось, что овечка уже спит, вытянувшись на бок, прикрытая простыней под самое горло. Казалось, что на каталке лежит человек – подросток или взрослый небольшого роста. Даже выражение симпатичной, немного удивленной физиономии у овцы было совсем как у крепко спящего человека, и от всего этого им почему-то стало не по себе.

Съемка началась, и первые кадры успешно запечатлели подготовку к операции – стрижку шерсти на овечьей груди. Но когда профессор сделал первые разрезы и растянул мышцы, открывая доступ к бьющемуся сердцу, у главного оператора желудок подкатился к горлу и собрался вообще выйти наружу, угрожая серьезно помешать съемочному процессу... Вот где пригодилась доблестная помощница, которая тут же заметила, что открытая часть лица над маской у главного оператора стала зеленее его костюма. Она забрала камеру из его рук и, как могла, храбро продолжила съемку, пока тот справился с собой в другом конце операционной, благо ему удалось скоро прийти в себя. Видимо, стыд показаться перед помощницей полным размазней помог быстрее справиться с приступом дурноты. А может, сработала профессиональная закалка – ведь во время многочисленных запечатленных его камерой свадебных торжеств некоторые сцены, особенно к концу застолья, тоже были достаточно противного свойства.

Он вернулся к камере, и картинка развороченных розовых тканей, желтоватого жирового слоя и крови воспринималась им теперь как нечто требующее только концентрации на компоновке кадра, фокусе и наличии нужного света. Так что далее все происходило в штатном режиме, по крайней мере, у съемочной группы. С медицинской точки зрения дело обстояло не так хорошо, точнее, совсем нехорошо. Хотя профессор и его помощники слаженно провели всю операцию, подсоединили, запустили вживленный стимулятор и аккуратно наложили швы, сердце у овечки неожиданно остановилось. С ней повозились еще какое-то время, но пробудить страдальцу науки так и не удалось. Китаец натянул простыню на голову овцы, ставшую внезапно неживым предметом, а профессор показал знаками, что это снимать не нужно. Впрочем, операторы и сами всё уже поняли.

– Ну, и что теперь? – тревожно спросила она, когда они отъехали от больницы. – Переснимать?

– Нет, профессор сказал – монтировать, как будто всё прошло нормально. Операционная и персонал (наш скромный гонорар – не в счет) стоят таких денег, что повторять операцию нет смысла. А такие мелкие (как он сказал) неприятности случаются, и для дальнейшего продвижения его идеи значения не имеют.

– А нам заплатят?

– Ну, это посмотрим после монтажа, – осторожно сказал он. – Вам я заплачу в любом случае, спасибо вам громаднейшее! Вы спасли меня от позора, вы – просто герой... героиня. И так все хорошо у вас получается! Послушайте, а может, нам это... отпраздновать завершение съемочного дня... вернее, перекусить где-нибудь и расслабиться?

– Ну, я не думаю, что смогу сегодня что-то есть, – сказала героиня, открывая окно и чуть наклоня голову навстречу неосвежающему движению жаркого летнего воздуха.

Когда подъехали к его дому, она уверенно повторила,

что в ресторан ни за что не пойдет, мол, её мутит от запаха еды, но разгрузив съемочное барахло, они отправились в украинский магазин и закупили кучу снеди и выпивки. Она настолько похоже изобразила «западенский» говорок, что продавщица стала нахваливать какие-то особые пирожки свежей выпечки и что-то еще и еще – он не понимал и молча складывал в корзинку пакеты. Вся эта родная закуска вполне пришлась к месту, и гадкие впечатления прошедшего дня отступили, как только они устроились за шатким столиком в его кухне и выпили по первой. Правда, он чуть не ляпнул: «За упокой овечьей души», но вовремя споткнулся на слове «за» и выпалил банальное, но хотя бы невредное: «За наше творческое сотрудничество!» Водку она пила с задором и безостановочно что-то говорила:

– Кто придумывает эти дурацкие сюжеты, в которых мы играем свои глупые роли? Кто я теперь? Украинская дивчина, заблудившаяся в Америке? Водитель старенького «шевроле»? Фея из Волшебной Страны? Пицца-герл? Помощница оператора, снимающего сложную хирургическую операцию, которую на сердце овцы проводит русский профессор в чикагской больнице?.. Чушь! Какое плохое кино... И всё новые и новые фальшивые, глупые роли... Впрочем, я люблю новые роли, старые мне продолжать неинтересно... А ты знаешь, кто я? Я вообще-то действительно артистка, когда-то даже играла в театре пантомимы. Знаешь, кого играла? Му-ху!.. Очень успешно изображала, представь себе. Я летала, летала – «зи, зи»... а потом меня – хлоп! И нету! Нету меня, нету мухи... Убили муху. Что-то я под такой мухой... Ты меня нарочно напоил, да?

– Конечно, нарочно, – он потянулся к ней и осторожно убрал с её лица растрепавшиеся волосы, – бедная ты моя, убитая муха-цокотуха.

Ночью старый корабельный трюм жутко штормило. Всё в нём качалось, стонало и скрипело – вот-вот рассыплется на мельчайшие детальки. Уже почти ничего не чувствовали горящие губы и влажные тела, но снова и снова накатывались гигантские, выпущенные на свободу волны глубоко запрятанных желаний, и, казалось, не будет им конца. Однако пришел самый высокий, самый девятый вал и конец, конечно же, наступил, потому что ничто не продолжается бесконечно. Даже тихая летняя ночь снаружи и безумный шторм внутри корабельного трюма на втором этаже странного дома, плывущего вместе с соседней церквушкой среди верениц спящих автомобилей по тесным улицам Украинской Деревни.

На рассвете они нацепили на себя какое-то подобие одежды, вылезли по задней лестнице на теплую, неостывшую за ночь крышу и, обнявшись, стали на краю. В небе еще висела сонная ночная дымка, но солнце уже пробовало царапать глаза бликами от окон и зеркальных стен небоскребов, сбившихся в кучу в центре Чикаго. Уставшие в долгом путешествии мореплаватели, шурясь с тревогой и надеждой рассматривали этот скалистый берег нового городского дня...

– Послушай, а кто твои соседи... по кораблю? – спросила она, – я, наверно, очень громко орала?

– По-моему, не громко. По-моему, в самый раз, – довольно ухмыльнулся он. – И вообще – пусть завидуют...

Вернувшись в дом, они мгновенно заснули, но спали недолго, потому что около девяти явился Бронштейн.

– Во-первых, я принес деньги за молочную свадьбу

и аванс за овцу! – загрохотал он с порога. – Вторых, у меня готов план монтажа и сопроводительный текст профессора, переведенный на английский. Через три дня я назначил озвучивание: этот текст за кадром будет читать моя знакомая американка, преподаватель из Трумэн Колледжа. Когда она придет...

Тут Бронштейн уставился на появившуюся из комнаты спальни знакомую футболку с надписью: «Это не пивной бочонок, это бак с горючим для секс-машины». Футболка сказала: «Здрасьте» и, приветливо улыбнувшись, проследовала в район кухни. При этом из-под футболки выглядывали такие потрясающие коленки, что продолжить инструкции Бронштейн не сумел.

– Опа-опа... опочки... – забормотал он, переведя круглые глаза на хозяина квартиры, – такие дела, дела такие... Значит, текст я тебе оставляю. И чеки. А ты монтируй, мон-ти-руй... До свидания! – это громко в сторону кухни, а потом снова тихонько: – Я испаряюсь.

И Бронштейн испарился.

Договорились, что она придет к нему вечером, после работы, но она не пришла. Он занялся монтажом овечьей операции, просидел допоздна и только утром сообразил, что ничего о ней не знает, кроме имени, даже на номер машины не обратил внимания. И где она живет, тоже неизвестно.

Она не приехала и на следующий день, и тогда он помчался в «Папа Савериос». Индеец неохотно прокаркал, что русская пицца-герл не появлялась уже несколько дней. Ни её фамилией, ни адресом владелец пиццерии никогда не интересовался и платил ей наличными после каждого рабочего дня.

Пока шли попытки расспросить индийца, из двери кухни выглянул маленький повар, и вдруг показалось, что красноватое от кухонного жара – и вообще красноватое – лицо мексиканца плавится слезинками. Но лицо быстро исчезло, а индеец сообщил, что повар почти не говорит по-английски. Да и что важного этот мексиканец может знать?..

Через месяц на сдачу готового фильма профессор приехал с женой и меланхоличным спонсором по имени Илюша. Жена профессора разговаривала милым питерским говорком. Пока мужчины что-то обсуждали с Бронштейном, она успела осмотреть квартиру и затем участливо, но очень некстати спросила у хозяина:

– Вы, я вижу, живете по-холостячки. Что ж так?

Фильм он запустил на самом большом мониторе. Уверенный, но малопонятный текст на английском языке шикарно звучал через колонки и придавал скучному действию профессиональный и глубоко научный характер. И хотя ощущение того, что на экране идет аккуратная разделка окровавленной туши в мясном отделе периодически настырно возвращалось к непосвященному Бронштейну, профессор остался очень доволен. А в конце, когда в кадре появилась беспечно жующая овечка, якобы успешно перенесшая тяжелую операцию (на самом деле это были съемки, сделанные в загончике еще до операции, да и вообще в фильме вошел тот эпизод, который запечатлел не покойную ныне страдалицу науки, а никогда не оперированную и поэтому совершенно не пострадавшую дублершу), профессор радостно толкнул локтем спонсора и совершенно искренне прогоготал:

– Смотрите, дорогой мой, Илья Эдуардович, вот она! Как жует, как жует! Продавать это надо быстрее,

продавать.

И такова была сила искусства, что профессор в этот момент, похоже, сам забыл, как в действительности завершилась операция.

После того как гости ушли, они с Бронштейном еще долго сидели друг против друга в старых ушастых креслах. Допили всё, что оставалось в доме, даже остатки какого-то жуткого кокосового ликера, неизвестно каким образом оказавшегося в одном из шкафчиков на кухне. И хотя у Бронштейна закончился жизненно важный запас таблеток, он стойко не покидал товарища.

– Ты не убивайся, – увещевал Бронштейн, постоянно делая массирующие движения рукой у себя под правым ребром, – а то на тебя смотреть... э-э... неприятно. Может, она ещё появится. Бог знает, что у женщин на уме... Да, я забыл тебе сказать: за овцу расплатились сполна! Значит, бизнес у них идет-таки, хотя овца была того... запасная. Может, и тебе надо... завести запасную?

– Не появится, я знаю, что не появится, – мотал он головой, – и запасной такой нет и быть не может. Это было как штучный, неповторимый кадр, редкая операторская удача... Мелькнуло – и всё, уже не повторится никогда, лови не лови. Просто ей нравится всё время играть новые роли, старые ей продолжать неинтересно. Но как же я, кретин, не спросил её адрес? Фамилию... Или хотя бы запомнил номер «шевроленка»... Меня теперь на улице от вида каждой маленькой зеленой машины будто током лупит. Я лихорадочно пытаюсь разглядеть, кто за рулем и...

Тут раздался зуммер дверного звонка.

– Ха, смотри, у тебя домофон починили! – Бронштейн встал и, подойдя к двери, нажал кнопку. – Хеллоу?

Домофон помолчал, а потом ехидно выдал по-русски:

– Пиццу заказывали?

Хозяин квартиры вскочил, заорал: «Заказывали, заказывали!» и, распахнув дверь, бросился мимо Бронштейна вниз по лестнице.

Бронштейн какое-то время вяло разглядывал опустевшую гостиную, открытую настежь дверь, черные прямоугольники мониторов, деревянные корабельные балки на потолке. Бронштейну подумалось, что всё это здорово напоминает декорацию, сцену из пьесы, скорее всего, какого-нибудь современного зарубежного автора про их зарубежную жизнь. И ещё ему подумалось, что жизнь эта уже не зарубежная, а теперь своя, его жизнь, и надо доиграть доверенную ему мизансцену. А так как другие персонажи на сцену не возвращались, Бронштейн вздохнул, решительно поднялся с кресла, поклонился, как зрителям, большому темному окну, выходящему в Украинскую Деревню, взял дипломат и стал спускаться к выходу.

Они стояли лицом к лицу на самом нижнем из поворотов лестницы. Она действительно держала в руках коробку пиццы, но не заказной, а замороженной, купленной где-то в супермаркете. Бронштейн хотел тихо пройти мимо, но вдруг услышал:

– Между прочим, она утверждает, что специально приехала сообщить тебе важную новость: сегодня в русской аптеке на Диване она видела «но-шпу» – завезли из России под видом пищевой добавки. Так что ты теперь живешь!

– Да? – Бронштейн остановился и шутливо приосанился. Твидового пиджака на нём не было, но выгля-

женная белая рубашка с твердым воротником все ещё напоминала ответственное прошлое. – Спасибо, друзья! Теперь я начну жить новой жизнью... Вот только выйду сначала на улицу, запишу, на всякий случай, номер маленького зеленого «шевроле».

Чикаго, 2010

ФИЛИПП БЕРМАН

СИНИЕ КРЫЛЬЯ НА БЕЛОМ МУСТАНГЕ

Вы хотите, чтобы я вам рассказала про Америку, так я вам расскажу про Америку. Вы думаете, что это что-то особенное. Так, я не буду говорить вам, что это не так, так я вам скажу, что вы таки правы.

Это что-то особенное.

Конечно, некоторые сумасшедшие лежат на улице, не без этого, конечно, так я вам расскажу, почему они лежат.

А вы видели, чтобы хоть один еврей лежал на улице? Нет.

А вы думаете, что у нас нет сумасшедших? Когда надо делать октябрьскую революцию, они тут как тут. А думаете в Никарагуа, или в Бразилии, или в Южной Америке их нет? Они хотят сделать лучше, чтобы все стало справедливо. Но такого быть не может.

Поэтому они сумасшедшие, что они этого не понимают. У них, может быть, чахотка, у них может быть туберкулез, но они все равно поют интернационал.

Потом, правда, их научили, что такое советская власть, но было уже поздно. Когда они умирали в Сибири, их кости выбрасывали в замерзшую тундру.

Настало время бежать. Но какие бы они не были сумасшедшие, но на улицах они не валяются.

А мексиканцы валяются на улицах, вы их видели? Мексиканцы тоже не валяются.

А корейцы валяются на улицах, или китайцы? Может быть, в Китае они валяются, но в Америке они продают *чайнис фуд*. Я не видела, чтобы кто-то валялся. Но это уже совсем другая история.

Так как же мне вам рассказать про автоматы?

В Филадельфии жил один Иосиф Ельдман. Я бью одно в другое. Потому что я хочу вам рассказать про пулеметы.

У него был маленький бизнес. Он ремонтировал автомобили.

Покупал, продавал. Немножко их подстроит, подправит и продает.

Ходил на аукцион, хорошо стоял и делал свои деньги.

А мы тогда жили в Филадельфии.

Это город братской любви. Так это означает.

Абрам пошел покупать себе автомобиль. Новый автомобиль тогда стоил двенадцать тысяч. А Абрам хотел Олдсмобиль. Это надежная машина для такси. Новую машину мы *оффорд* не могли.

Тогда Абрам пошел к Иосифу покупать старый автомобиль.

А Иосиф картавил. Он был как Моисей, который вывел нас из Египта.

Это было четыре тысячи лет назад. Моисею принесли золото и горящий уголь из жаровни, чтобы проверить, дурак, он, или умный, что он возьмет?

А чтобы вы сделали: на одном блюде вам приносят золото, а на другом блюде вам приносят уголь и он горит! Конечно, вы бы взяли золото.

И я бы взяла золото, и Абрам бы взял золото.

Так фараон думал, что еврей возьмет золото, потому что он еврей. Так всегда думает антисемит.

Но Моисей был умнее всех с кем он жил, и взял уголь, раскаленный, как огонь, и так бросил себе его в рот. Тогда они подумали, что он еврейский идиот.

Так он обжег себе язык. Но Моисей спас свою жизнь. Так бывает в жизни. Нужно идти против течения и смотреть только вперед, и не оглядываться назад. А золото он бросил в реку Нил, чтобы вода стала там желтого цвета. Тогда золото стало водой, и фараон не смог его взять обратно.

Так фараон до сих пор его ищет, а хасиды продают его на сорок второй стрит, а один человек Исаак стоит на углу Седьмой авеню и двадцать восьмой и продает норковые шубы. Но про него я расскажу отдельно.

Так Моисея оставили в покое и не убили. А зачем убивать дурака. Дураки могут жить. Их не надо убивать. Так он остался жить и вывел потом нас из Египта.

Но он никогда не мог хорошо говорить, он спросил Бога, а как же я буду говорить с евреями? Так Бог ему сказал: ничего, за тебя будет говорить твой брат Арон.

Иногда, чтобы выжить, надо бросаться в огонь. И тогда ты выживешь. А если будешь обходить стороной, то пропадешь.

А Иосиф, и Моисей, так это две большие разницы.

А отчего Иосиф картавил? Сейчас я вам расскажу. Иосиф случайно откусил себе язык. Он ел что-то горячее, перебрасывал из стороны в сторону, чтобы остыло быстрее, и откусил.

Вот такие у нас есть евреи. Ему захотелось выпить, к выпивке нужна была закуска, он поехал к своему другу, Зурабу, в грузинский Гастроном, а жена Рита забрала деньги из кассы и поехала их сдавать в банк. Потому что если придут грабить, то в кассе все равно ничего нет.

Хотелось бы отдать, да нет.

В Гастрономе у него всегда был кредит, которым он никогда не пользовался.

Но я против Иосифа ничего не имею. Зураб, его друг. Сели вместе пообедать и выпить.

Это свободная страна, ты что хочешь, то и делаешь.

Так он поехал к врачу, чтобы откушенный кусочек пришили.

Он прыгнул в свой Лексус, и поехал.

А Иосиф торопился докрасить одну машину. Это был Понтиак Ле Манс. Я знаю эту машину. Это была первая машина моего сына в Америке.

Иосиф загнал ее уже в красивую комнату. Когда врач все пришил, как следует, то он поехал докрашивать Понтиак Ле Манс.

Потом Иосиф пришел домой и посмотрел в зеркало.

Он походил так с неделю, потом посмотрел еще раз в зеркало. То, что он увидел, то ему это не понравилось.

Ему не понравилось, что язык был пришит косо.

А Иосиф мог бы быть, архитектор. А не заведующим гаражом.

У Иосифа было внутри чувство красоты.

Он работал в Союзе, как *бади шан*, и у него был хороший глаз.

Так он посмотрел в зеркало, тогда он взял ножницы, и отрезал, что плохо торчало.

А у нас евреев так: мы можем долго терпеть, и еще

терпеть, но когда доходит под ложечку, то тогда мы будем бить, или колоть.

Так тогда мы уходим, мы бежим, мы стреляем.

Мы жили в России всю жизнь, но когда уже пошла желчь, пошла нашим горлом от советской власти, как кровь, так мы не выдержали и стали ехать, и стали бежать, и стали проклинать.

А моя соседка Зойка-бандитка спрашивает меня, а почему это вы евреи уезжаете, Перля Фриделевна? У вас тут такое положение, ваш сын закончил институт, а вы все бросаете и уезжаете.

А у меня уже тогда было два сына и одна дочь.

Она говорит, как крысы с тонущего корабля. Евреи всегда найдут себе тепленькое местечко!

Это вы крысы, а не мы. Потому что вам все хорошо! Потому что вы любите здесь жить среди других крыс.

Вы все съедите, что вам дадут!

Тут вмешалась вторая соседка, Маруся. Она всегда была за меня и Абрама.

Дура ты и тварь инфекционная!

А я, может, крысой хочу быть! Да, именно крысой! Ты что запретишь мне, крысой быть!

Например, я хочу быть еврейской крысой!

Я хочу, может быть, даже очень хочу, крысой тоже быть! и вместе с Перлей Фриделевной хочу убежать с тонущего корабля в Америку!

Я может, за американского миллионера выйду замуж!

Перля Фриделевна, родная моя, превратите меня в еврейскую крысу!

Ну, я стала тогда думать, как превратить ее в крысу.

Но об этом я расскажу вам потом, что и как потом случилось. Я быю одно в другое.

Жизнь пролетает быстро, а все равно большая, только когда она уже прошла, то видишь, что это была только одна секунда.

Я помню, когда я была девочкой, то вишни цвели белыми цветами.

А, когда жизнь прошла, то белые вишни исчезли, и небо, и облака.

Теперь вернемся опять к Иосифу, который жил в Филадельфии, и который откусил себе язык.

Он долго смотрел на себя в зеркало, а когда увидел, как торчком стоит его язык, то он взял ножницы и отрезал этот кончик.

Я вам скажу, что для этого надо иметь большие *гачс*, чтобы отрезать себе язык. Это по-английски значит, надо иметь мужество. Резать, так резать. А нет, так нет. Или туда, или сюда.

Я его за это уважаю. А у него была жена, первая красавица, *ан антыкл*, это значит антик, еврейская блондинка, а не как любовница Клинтона, Моника Лавинская. *Азэйнс ви азейлтэхс*, что-то *особенное*! Антик. А дома, на стенах, у них тоже висели голые женщины-красотки, прислоненные к автомобилям разных иностранных марок.

Так, когда Иосиф отрезал себе язык, так его жена упала в обморок среди этих голых красавиц.

Так Иосиф зажал себе язык и стал вызывать скорую помощь для своей жены. Но он не может говорить с кровавым языком. А рядом жил большой профессор Изяслав Кацнельсон, дальний родственник Карла Маркса.

Так русские его звали Слава, а евреи его звали Изя. Два имени придумал. одно для русских, а другое для

евреев.

А Абрам звал его Карл Маркс.

Так этот Карл Маркс позвонил в скорую помощь 911 и спас от обморока жену Иосифа.

Так, когда Абрам покупал у него машину, так Абрам с ним заспорил, потому что Иосиф хотел ему продать Олдсмобиль без пружин.

А как можно спорить с человеком, который может отрезать свой собственный язык?

Но Абрам сам прошел войну, он танки немецкие подрывал, и ему ничего не было страшно.

Абрам знал, куда надо ударить, чтобы человек упал.

А мой брат, тоже Иосиф, убежал из дома в четырнадцать лет, и он был в Одессе балагулой. Так он учил моего сына, как надо драться с антисемитами, если на тебя нападают.

Он говорил ему, возьми два пальца и ткни ими что есть силы в горло вокруг кадыка.

Так что, мы можем за себя постоять. Мы тоже не *эйдл гупацкам!* Это значит, мы тоже не пальцем деланные.

Но Иосиф сказал, если ты не хочешь брать, то я не продаю. Я тебе отдаю, почти что задаром, за пятьсот долларов...

Абрам подумал, что поставит пружины сам, это еще триста долларов, и они пошли обмывать покупку к Иосифу.

А у Иосифа был хороший дом. На первом этаже сидел его маленький красивый мальчик-внук в большом кресле и смотрел телевизор. Они пошли на второй этаж.

И Иосиф говорит Абраму: пошли я тебе что-то покажу. Так Абрам пошел.

Иосиф открыл одну комнату, и там висели на стене два пистолета, одна винтовка, один автомат, и стоял маленький пулемет.

Между прочим, там были тоже голые женщины, красавицы. Они лежали на иностранных автомобилях.

Они висели между винтовками и улыбались каждому, кто туда входил. Абрам на них тоже посмотрел.

А зачем тебе пулемет, спросил его Абрам. У тебя же маленький внук в доме.

А Иосиф говорит: а что внук? Да у него свой пистолет есть!

Они пошли вниз, где внук его смотрел телевизор, а Иосиф хотел показать пистолет внука. Он достал со шкафа большой пистолет, который был для внука.

Пистолет был, как полголовы маленького человека.

Так, когда Абрам мне это рассказал, так я подумала, что у такого человека лучше не покупать автомобили. Но что же, этот дедушка очень любил своего внука. А внук Вова любил своего дедушку.

Дедушка Иосиф ему купил форд-Мустанг. Он сам его отполировал вместе со своей женой, красавицей Ритой.

И он нарисовал на белом новом мустанге летящие синие крылья. Я вам сказала, что он был, как архитектор. Он мог рисовать разными красками.

А внуку Вове тогда было одиннадцать лет.

И он ездил с дедушкой Иосифом на белом мустанге с синими крыльями. Он не ездил, он летал на нем.

И его внук гордился своим дедом, который сам мог сделать мустанг, и сам его покрасить, а дед гордился своим внуком, который в одиннадцать лет мог ездить на автомобиле, как *про*, что по-английски значит про-

фессионал.

Абрам пришел к нему опять, когда внуку было семнадцать. Покупать другой автомобиль.

Внук стал большим, у него была тогда одна *гелфрэнд*, итальянка. Так они любили друг друга, как сумасшедшие, как могут любить друг друга еврейский мальчик и итальянская девочка.

Ее звали Чинция.

А ее папа имел пиццерию, потому что итальянцы знают, как варить сыр, как его продавать, и как делать деньги.

Отец ее подбрасывал круг теста над головой, и тесто крутилось там, как будто он сам с ним танцевал, как будто это была летающая широкополая *pizza сомбре-ро*.

А после его танца получалась *pizza*. Так, такую *pizz-u* можно было есть.

В ней был воздух жизни.

Вова поехал с Чинцией на Пенслэндинг, это в Филадельфии, на набережной.

Они собирались завтра обвенчаться. А был солнечный день. И они оба были красивые.

Возможно, он ехал продавать наркотик. Возможно, нет. Никто этого не знает.

Когда ты молод, то в тебе есть воздух жизни и ты всегда красив.

Они остановили машину и сидели и любовались жизнью.

А когда они любовались жизнью к ним подошли две шестнадцатилетние черные. Они постучали в окно его автомобиля, и Вова открыл окно.

Тогда одна взяла и застрелила Вову в голову. Он даже не успел ничего сделать. Может быть, она его любила, а он был с итальянкой. А, может быть, она была накуренная. Никто не знает. И никто потом ничего не узнал.

А пулемет в это время висел в комнате у Иосифа, когда его внука убили в Филадельфии без дела.

Так Иосиф чуть не сошел с ума. Он сделал внуку синие крылья на белом мустанге. Он купил ему пистолет. Он ходил с ним на *ganje* и учил его стрелять, потому что он любил его.

Дальше мой сын рассказывал мне.

Он перестал есть, и он перестал спать.

Его автомобили стояли непокрашенные. И он больше не продавал автомобили.

Его внука Вовы больше нигде не было.

Он стал охотиться за шестнадцатилетними черными, чтобы их убить.

Он взял два пистолета и приехал на Пенслэндинг. Он ждал их там, когда они придут.

Однажды он услышал музыку Луиса Армстронга. *What a wonderful world!* Какой потрясающий мир!

С этого момента он знал, что никого не сможет уже застрелить-убить.

Это была потрясающая песня.

Он вспомнил свою молодость. Он вспомнил, как он любил американский джаз. И он любил Мэрилин Монро. И он любил Луиса Армстронга.

И он любил Америку.

И он всегда думал, что его Рита была Мэрилен Монро.

Так, когда Абрам узнал об этом, а мы тогда жили уже в Нью-Йорке. Абрам поехал, чтобы Иосифа забрать к нам в дом. Он сказал Абраму: зачем мне те-

перь мой бизнес, зачем мне теперь моя жизнь?

Он был воздух моей жизни. Для него я хотел быть красивым, для него я хотел быть богатым, для него я хотел жить. Для него я спал с Ритой, чтобы наша жизнь продолжалась и была.

И для него я отрезал свой язык. Я хотел, чтобы он знал, что его дедушка может все. Что любовь может все.

Теперь я люблю его девочку итальянку, как свою дочку.

Я приезжаю к ее отцу, и мы вместе пьем водку и плачем. Но ему надо делать летающую *pizz-u*, в которой есть воздух нашей жизни.

А его дочке надо искать себе нового будущего мужа, потому что если она не забудет Вову, так она умрет.

Я Иосифа хорошо понимаю. Мой папа был хухым. Это значит большой мудрец.

Потому что мой папа говорил маме: жизнь это ураган Эстер.

Ты в этом урагане, и я в этом урагане.

Но жизнь это счастье.

Ты в этом счастье, и я в этом счастье. И жизнь пролетает над нами, как белое облако, и мы не можем до него дотянуться.

Эй, жизнь, куда ты пролетаешь мимо нас? Туда, куда мы не знаем куда.

Мой сын говорил, что потом Иосиф исчез. Куда он исчез, никто не знал. Одни видели его на высокой горе в Австралии. Он стал летающим человеком. Он стал горнолыжником, ему казалось, что он слетал со всех самых высоких гор вместе со своей Ритой.

Он хотел разбиться в белом снегу и умереть в одно мгновение.

И он думал, что это Рита Мэрилен Монро летит вместе с ним в его новой жизни.

Теперь он сам стал воздухом жизни.

Жена его открыла салон русского тела и красоты. При входе висел плакат, на котором было написано золотыми буквами: Русское тело самое красивое в мире.

Она стала очень успешной, когда она массировала ноги женщинам, они чувствовали, что она совершает с ними тайный обряд любви. И они стали ходить к ней все больше и больше.

Она же в это время вспоминала своего мужа, который, как говорили, слетал с самых высоких гор с Мэрилен Монро.

Она вышла замуж за человека, который привез миллион долларов из Грузии и собирался открыть ресторан Гагры.

Он хотел, чтобы Рита пела там песню Тбилиси, вместе с другими девушками из солон русского тела.

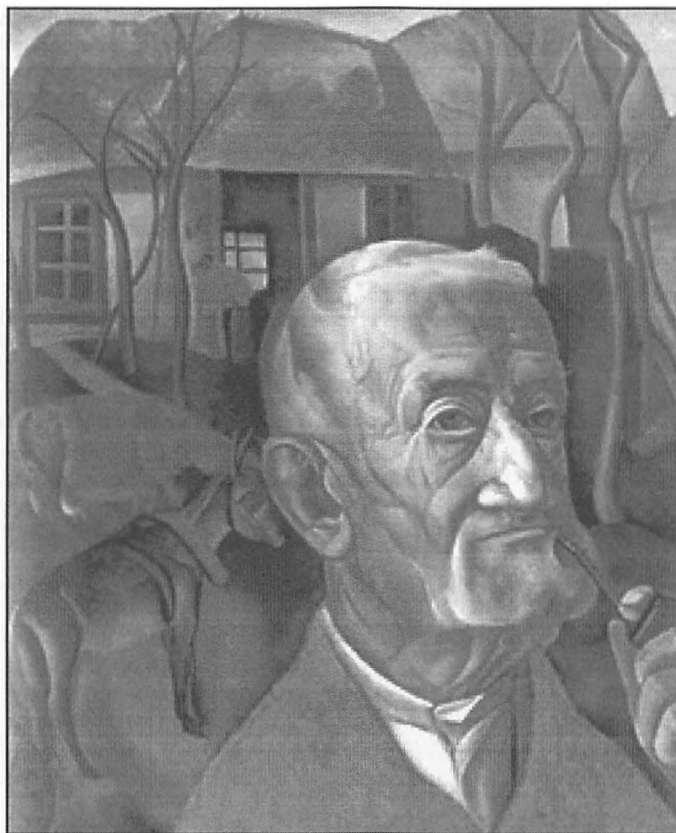
У этого грузина в Москве была любовница Манон. Он хотел, чтобы она поддерживала в форме свою длинноногую фигуру.

Он сидел перед окном в собственной кооперативной квартире на первом этаже, перед стадионом. Он заставлял Манон бегать вокруг по стадиону, чтобы она похудела, и считал круги, чтобы было десять.

Но теперь Манон не было, а была Рита, и был салон со многими русскими телами.

А ее муж теперь слетал со всех гор и вершин мира на синих крыльях белого мустанга, и стал воздухом жизни земли и неба.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРА



ПОБЕРЕЖЬЕ

«ДЖИНН, ВЫПУЩЕННЫЙ ИЗ БУТЫЛКИ»

жестрепелень! жепениё!

жопенневый шопенжё!

Сергей Сигей, «ЖЭПЭТЭЖ»

В эпиграф вынесены строки из стихотворения «ЖЭ-ПЭТЭЖ» довольно известного современного транс-поэта конструктивистского направления Сергея Сигея. Погодим пока делать наспех выводы о том, что автором руководило только желание дать «пощечину общественному вкусу», как было сказано в манифесте первых русских авангардистов – футуристов. И футуристы, представлявшие хотя и едва ли не самое известное, но только одно из многочисленных направлений русского авангарда начала 20 века, и представители диаметрально противоположного направления, акмеисты, восстали против абстрактных понятий, против возвышенных и затасканных слов, как «душа», «дух», против традиционного мышления и эпигонского стихосложения, против затасканных рифм и размеров. Аналогичный перелом во всех областях русского искусства и литературы (и не только русского) начался в так называемые годы застоя – 70-80 гг., а фактически еще раньше – в шестидесятые годы. Именно в это время на западе получили известность «Битлз», Элвис Пресли, художник Джексон Поллак, поэты Ален Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти, прозаик Джек Керуак.

Модернисты восстали против мимесиса, то есть отказались от каких бы то ни было попыток «отображать» действительность. Импрессионисты стремились запечатлеть тончайшие оттенки мимолетных образов и чувств, так называемые «герметисты» обратились к исследованию чистой мысли, «мажинисты» – к чистому образу. Крученных, тяготеющих к чистому звуку так же, как Малевич к чистому цвету, отказавшись от семантического наполнения стиха, от смысла как такового и открыл «дыр, бул, шыл». Однако явились разработчики и этой жилы, и начали выдавать на-гора чистый звук, и появилось бесчисленное множество синих, зеленых, желтых квадратов, кругов, ромбов.

В последнее десятилетие, начиная приблизительно со времен перестройки и продолжаясь в нынешний, так называемый «постсоветский» период из подполья «кандерграунда» на страницы независимых изданий хлынул поток произведений или, как это теперь принято называть, текстов. Начерно, торопясь выговориться, говорят те, кому зажимали рты. Явление это, как остроумно заметил Сергей Бирюков, сродни «джинну, выпущенному из бутылки».

Говорят, выговариваются, заговариваются, исследуют пределы своих возможностей, доходят до предела, исчерпав слово как таковое, переступают границу – слова, дозволенного словом, жанром. Вседозволенность; Или поиски того, что было в начале; Не оттого ли слово – через полифоносемантику "А. Горнон", смешанную технику, визуальную поэзию, коллаж (Ры Никонова, Сергей Сигей, Б. Констриктор, С. Бирюков, И. Левшин и многие другие), через рисунок, нередко напоминающий письмо-на, а порой и первобытный наскальный рисунок, – слово, двигаясь к началу, переходит в молчание.

Нет, не правы те, кто сетует на то, что оскудела русская поэзия в наши дни. Какое разнообразие: концептуальная, визуальная, патииндромная, смешанная техника – так называют все то, что нельзя с определенностью отнести к определенному жанру, в данном случае, – ни к прозе, ни к поэзии, хотя французы подобные тексты, рожденные на грани прозы и поэзии, называют «версетам».

Появилась еще «гендерная поэзия» (от английского слова "gender" – род, вид), то есть поэзия (так же, как проза, критика, драматургия и т. д.) определенного рода или вида, как я понимаю, женского. По аналогии можно было бы еще изобрести «тендерную» поэзию "от слова "tender" – «нежный».

И в самом деле: поэзия – какого рода; Марина Цветаева, как известно, говорила, что она – поэт, восставая против названия «поэтесса». Хотя и поэтессой быть, на мой взгляд, неплохо: «Я маленькая поэтесса с огромным бантом...». Лишь бы в стихах поэзия была.

Да, чуть не забыл: есть ведь еще и вакуумная поэзия, которую можно назвать поэзией чистого листа: лист есть, заглавие есть, а слов и даже букв нет – кончились. Слова перешли в то, что за словом. А что; «Песни без слов» есть "соч. Ф. Мендельсона, например". Почему бы ни быть и поэзии без слов; Особенно, если бумага хорошая, да в кожаном переплете "можно использовать для собственных записей". В начале века, году этак в 1913 подобным образом была издана книга «Все о женщине», тоже песня без слов – теперь библиографическая редкость.

На переднем крае авангарда – то, что было до слова: слог, звук, вакуумная поэзия, наскальный рисунок, жестовая поэзия. Слова утратили вес, доверие – вспоминается известное: «слова, слова, слова». Метры и ритмы стерлись. Примета времени – аритмия, ломка ритма, выход к вакуумной поэзии: Ры Никонова – «Вакханалия пустоты». Стало быть, даже многообразие приемов не удовлетворяет некоторых нео-авангардистов, не складывается в сумму (Summa Poetica) – остается суммой приемов. Вакханка Анна-Ры Никонова-Таршис в первобытном экстазе набросилась на слово-Орфея и, отринув голос и логос, застыла перед пустотой. Бывает молчание, когда нечего сказать, и молчание от избытка мыслей, образов, чувств. И есть молчание души, созерцающей бездну. Однако сомнительно, чтобы в последних двух случаях художник систематически прибегал к вакуумной поэзии – уж слишком много в ней игры, жеманства, эпатажа. Эпатировать можно людей, не бездну.

Дмитрий Булатов из Кенигсберга пытается дать теоретическое "лингвистическое" обоснование исканиям современной авангардной поэзии. «Лингвистическая проблематика предстает в экспериментальной поэзии в достаточно парадоксальных формах, – пишет он в двуязычном русско-украинском издании «Мова», опубликованном в Днепропетровске "1996 г.". – Экспериментальные тексты в виде которых реализуются многие работы конкретных и визуальных поэтов, служат для них, прежде всего средством определения границ языка и попыткой ограничения претензий на его гегемонию. Поэтому наряду с умоизрядным и аналитическим началом для экспериментальной поэзии существенное значение имеет установка на те формы восприятия, которые не поддаются языковому выражению и не могут быть названы. Эта проблема формулируется в экспериментальной поэзии в виде парадокса: может ли поэзия освободиться от языкового способа существования, тем не менее, оставаясь в пределах языковой формы?» (Выделено мной. – Я. П.) Казалось бы, для того чтобы экспериментировать в области визуальной поэзии, нужно, во-первых, быть одаренным художником или хотя бы рисовальщиком (вспомним рисунки Пушкина на полях черновики – чем не визуальная поэзия?), а во-вторых, изучать два языка – язык рисунка, живописи и язык, на котором эта поэзия

пишется. Претензий же на гегемонию нет ни у языка, ни у поэзии – таковые проявляются лишь у носителей "или у разносчиков" того или иного языка. В конце концов, можно и вовсе отказаться от языка – изъясняться на языке жестов, танца, рисунка, живописи, музыки. Но тогда придется эти языки изучать...

Жить в языке, только в языке, подчас невыносимо – пытка, каторга. Образы улечиваются, как пыль, как время. Остро чувствуют некоторые авторы неуютность культуры, отягощенной знанием – «во многом знании многая печаль». Творчество так же, как и сама жизнь, требует мужества и достоинства. Это не только привилегия, но и обязанность: дар Божий не дается даром. Едва ли не главной обязанностью не только художника, но и любого мыслящего человека, homo sapiens является осмысление бытия и времени. Вновь хочется повторить уже приводившуюся цитату из Хайдеггера, что «язык это – дом бытия». Поэт – хранитель языка, хранимый им. Как только мы перестаем хранить язык, он перестает хранить нас. Стоит разрушить этот дом и разрушивший его оказывается в пустоте.

Многие современные поэты (а также прозаики, драматурги, художники) рефлексировать, анализируют, теоретизируют (хотя впрочем, во многих случаях трудно отделить одно от другого, а другое от третьего в творчестве одного и того же автора – не случайно ведь – смешанная техника – многоЯкость и многоликость).

Андре Жид говорил, что «...гениальные художники никогда не начинали с предвзятой теории искусства. Они приходили к искусству собственным актом творчества, не желая и не зная этого. Вот почему их искусство... было новым». В наши дни появилось немало поэтов, писателей и художников, которые своими теориями опережают собственную практику. Рефлексия, ведя, казалось бы, вперед, вводит многих и многих назад, к тому, что было до них – к «искусству как приему», обнажению швов, к некоему авангардистскому сальеризму. Если мета-метафористы искали то, что лежит за метафорой и, очевидно, за метонимией, синекдохой и другими тропами "а поэзия их на деле, как уже было сказано, изобиловала сверхметафорами, катакрезами", то нео-авангардисты идут другими тропами. Они стремятся использовать все возможности, пробуя все, осваивая формы, известные со времен античности "палиндром, центон", наследие русского авангарда начала века, искания современного европейского и американского авангарда, словотвория, неологизуя, агонизируя – как в стихотворении «Пыль» Ры Никоновой. Хочется вновь повторить мысль Лиотара о том, что если у модернистов начала века еще была надежда на выход из отчаяния, на спасение, то у постмодернистов, по его мнению, такой надежды нет.

Как считает современный исследователь культуры Михаил Эпштейн, «модернизм можно определить, как такую революцию, которая стремится упразднить культурную условность и относительность знаков и утвердить стоящую за ними бытийную безусловность... Постмодернизм, как известно, критикует модернизм именно за эту иллюзию «последней истины», «абсолютного языка», «нового стиля», которые якобы открывают путь к «чистой реальности». Само название показывает, что «постмодернизм» сформировался как новая культурная парадигма именно в процессе отталкивания от модернизма, как опыт закрывания, сворачивания знаковых систем, их погружения в самих себя». Затем определяя понятие «гипер» как «чрез-мерность – такой избыток качества, когда, переступая свою меру, оно переходит в собственную противоположность», М. Эпштейн говорит о двух ипостасях или стадиях данного явления: стремление к «супер» как к некоему абсолюту и высшей реальности,

на деле приводит к «псевдо» – тому, чем оборачивается «супер» в действительности. «Модернизм – это «супер», поиск абсолютной и чистой реальности. Постмодернизм – это «псевдо», осознание условного, знакового, симулятивного характера этой реальности». Возникает, однако, вопрос: способен ли постмодернизм создать или хотя бы выдвинуть некую новую идею – художественную, философскую, нравственную – или он обречен на отрицание и, исчерпав запас «обманутых иллюзий», вынужден будет погрузиться в безмолвие сродни вакуумной поэзии;

Во многом не соглашаясь с М. Эпштейном, С. Зенкин не оспаривает предположение первого, что вся современная культура "и не только культура, но и политика, философия, социология и т. д." предпочитает осмысливать самое себя с помощью префиксов: «соцреализм» и «соцарт», «гиперреализм», «постмодернизм», «постструктурализм», «деконструктивизм», «неоромантизм», «нео-авангард» (аналогично – пост-, нео-, антикоммунизм, неофашизм и т.д.). Очевидно, что все подобные префиксы говорят о той или иной мере преодоления, разрывания или отгалкивания от явлений, выраженных корнями и основами, стоящими за ними в новых словообразованиях, а по сути – им предшествовавшими. Эти названия говорят также и о некоей несамостоятельности данных течений, о необходимости от чего-то оттолкнуться. Одно дело, когда критика не поспевает за искусством и дает определения уже существующим школам и течениям задним числом, как было и с «ренессансом» и с «романтизмом» и многими другими течениями, – это нормально: критика в конце концов вторична и занимается обобщением накопленного творческого опыта. Другое дело, когда сами художники подобным образом определяют течения и школы, к которым принадлежат: это может быть симптомом неспособности выдвинуть новую идею.

Неразменное небо

Всю поэзию, в том числе и современную, я бы условно разделил не на традиционную, модернистскую и постмодернистскую, а на поэзию имиджа («Поэзия лица» по выражению Пригова из давнишней статьи «Нельзя не впасть в ересь», опубликованной в журнале «Континент» № 61, 1991 (хотя в оригинале, у Лескова, где сказано «поэзия рожи», действительно лучше), поэзию жеста и поэзию духовного усилия. Сюда входят наиболее значительные и самобытные, на мой взгляд, поэты: покойные ныне Г. Сангир и В. Кривулин, О. Седякова, Е. Шварц, Вл. Микушевич, Иван Жданов, Михаил Еремин и, с некоторыми оговорками, Кенжеев, Кублановский и Гандлевский. К поэзии имиджа я бы отнёс, помимо Пригова и Рубинштейна, Веру Павлову и Олесу Николаеву, а к поэзии жеста – А. Кушнера, А. Еременко, А. Парщикова, В. Куллэ, М. Айзенберга и некоторых других. Только после этого я бы стал говорить о направлениях и школах, то есть о форме. Форма не является содержанием, как полагали формалисты, но сама по себе форма – содержательна; причем содержательность и содержание, как заметил Липкин, – вещи разные. Если содержательность делает неповторимым любое литературное произведение, то содержательность подчеркивает либо самобытность, либо беспомощность, а то и вовсе пустоту формы.

Мета-метафористы стремились и по-прежнему стремятся уйти от метафоры, за метафору, что в широком смысле можно понимать как отказ от образа как такового, чего, к счастью, таким поэтам, как И. Жданов и А. Еременко сделать не удастся. Более того, даже в стихотворениях Константина Кедрова, поэта и теоретика, введшего в употребление термин «мета-метафора» и ос-

новашего мета-метафорического направление в поэзии, постоянно встречаются метафоры и другие традиционные приемы: «Отраженьем дышит луна // вдыхая себя и меня» («Селена», здесь и далее знаки препинания у автора отсутствуют), стихотворение «Свирель» изобилует не только традиционными метафорами, но и сверх-метафорами, так называемыми катакрезами:

За мной крадется вор с тупой свирелью
в ней все заполнено очами
слепой свирелью стал туманный посох
встающий в туман
гремит туманом
свирельная ночная мгла
зрачки перебирая
окутанный свирелью горизонт
встает из праха
мертвый как младенец
спеленутый свирелью голубой
слепые роды
голубой свирели

Многие стихотворения Ивана Жданова, как например, «Неразменное небо» из одноименной книги, опубликованной в 1990 издательством «Современник», изобилуют и традиционными сравнениями, и метафорами, и гиперболами в манере Маяковского, и сверх-метафорами, и многими другими приемами, которые в литературоведении называются тропами:

Раздвигая созвездья, как воду над Рыбой ночной,
ты глядишь на меня,
как охотник с игрушкой стальной,
направляющей шашки в бессвязной забаве ребенка –
будто все мирозданье -- всего лишь черта горизонта,
за которым известно, что было и будет со мной.

На обочине неба, где нету ни пяди земли,
где немислим и свод, потому что его развели
со своим горизонтом, – вокруг только дно шаровое,
только всхлип бесконечный,
как будто число даровое
набрело на себя и его удержать не смогли.

И я понял, как небо в себе пропадает – почти
как синяк, как песок
заповедный в последней горсти,
если нет и намека земли под твоими ногами,
если сердце, смещенное дважды, кривясь, между нами
вырастает стеной и ее невозможно пройти.

На обочине неба, где твой затаен Козерог
в одиночной кошаре, как пленом объятый зверек,
где Медведицы воз укатился в другие просторы,
заплетая созвездья расплаской в чужие узоры,
мы стоим на пороге, не зная, что это порог.

Коготь Льва, осеняющий чашу разбитых Весов,
разлучает враждой
достоверных, как ген, близнецов –
разве что угадаешь в таком мукомольном угаре;
Это час после часа, поймавший себя на ударе
по стеклянной твердыне запекшихся в хор голосов.

И тогда мы поймем, соберемся и свяжемся в круг,
горизонт вызывая из мрака сплетением рук,
и растянем на нем полотно или горб черепах,
долгополой рекой укрепим и доверие к птахе,
и слонов тяготенья найдем для разгона разлук.

И по мере того, как земля, расширяясь у ног,
будет снова цвести пересверками быстрых дорог,
мы увидим, что небо начнет проявляться и длиться,
как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы, –
мы увидим его и поймем, что и это порог.

Все стихотворение является развернутой метафорой. Разворачивая метафору, Жданов наделяет свойствами живых существ небесные созвездия, когда-то названные людьми по аналогии "что полностью совпадает с Аристотелевым определением метафоры": небо «раздвигает созвездья, как воду над Рыбой ночной», Козерог «затаен... в одиночной кошаре», «Медведицы воз укатился в другие просторы» – тем самым поэт как бы продолжает дело древних безымянных поэтов и обживает, очеловечивает небесные просторы, хотя при этом мужественно признает бренность человека и ограниченность его, неспособного переступить через порог тверди, вечности. Это самобытное стихотворение, выбранное в качестве примера лишь в силу того, что оно дало название всей книге стихов, не является исключением в поэзии Ивана Жданова. Так в стихотворении «На новый год», открывающем книгу, есть и узнаваемые аллюзии, как «Вооруженный четверней сезонов, // сияющих, как ярусы ковчега» (на память невольно приходит «Вооруженный зреньем узких ос» Мандельштама), и оригинальные сверх-метафоры: «Будильник заведен на воскресенье, // чтоб ледяное солнце сокрушить» – подтверждения метафоричности поэзии Жданова встречаются едва ли не в каждом его стихотворении. Однако наличие или отсутствие метафоры, как и любого другого тропа, само по себе еще не может служить доказательством наличия или отсутствия поэзии. Поэзия, на мой взгляд, это – видение, запечатленное в слове, это то, что, как сказал Мандельштам, не поддается прозаическому пересказу, и, забегая вперед, к тому о чем говорится в конце этой главки, – музыка, наполненная биеньем времени. Такое видение у Жданова безусловно есть.

Возвышенные слова и традиционные формы у одних вызывают в наши дни недоверие и отталкивание, другие тоскую об утраченной стройности и простоте. Одни, как ленинградский поэт Александр Кушнер (многие стихи последних лет которого напоминают вариации на темы Мандельштама, а подборка стихов в «Арионе» (№ 2. 1997), куда вошли стихи, построенные на изречениях древнеримских авторов от Цицерона до Овидия и Вергилия, поражает настолько лапидарным смещением стилей и, так сказать, пролеткультовским взглядом на древних, что остается недоумевать: то ли поэт впервые открыл для себя этих авторов, то ли вкус отказывает даже недурным стихотворцам, когда отсутствует побудительная причина, то, что прежде называли вдохновением), пытаются вдохнуть новое содержание в старую форму: «Нам не пристало падать духом» (Цицерон). Я не согласен с ним: пожалуйста, из скобок Извольте выйти к нам и объясниться, Он Бойтся, медлит: к вам; Не смеет выйти, робок, И духом падая, хватается рукой За скобку, будто тигр я или аллигатор, И в Колизее мы, и кровь течет рекой. Бледнеть так можно ли, стыть; А еще оратор».

Видимо, кровь Колизея стучит в сердца наших современников сильнее, чем кровь Чечни или Афганистана. Последнюю строку хочется повторить, чуть перефразируя: «Писать так можно ли, стыть?». В строке: «За скобку, будто тигр я или аллигатор...» автор "не Цицерон," вынуждает нас читать тигр как «тигар», а «я или аллигатор» просто невозможно выговорить. Нет, не выйдет к

ляет еще их привлекательными для неопытных... Обличая ложь воспетого им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы во всяком случае подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе». Что ж, придется признать Меламеда «неопытным» и не читавшим Владимира Соловьева, а иначе придется обвинить его в недобросовестности и в передергивании фактов и цитат.

Меламед отрицает чуждое, по его мнению, 19 веку «высокомерное понятие “самовыражение”», и утверждает, что «по пушкинскому представлению истинный творческий акт “слова-то какие, Прямо из передовицы газеты «Правда» недавнего, но надеюсь, канувшего в небытие прошлого – Я. П.» начинается, когда “Божественный глагол до слуха чуткого коснется”». Но этого – по Меламеду – не произойдет никогда, «ибо источники новизны отравлены. Поезд ушел. (Увозя, надо понимать, «Божественный глагол» – Я. П.) Опоздавшие пытаются на ходу вскочить в следующий, но он обречен крушению, потому что пути впереди разобраны». Картина, прямо скажем, апокалиптическая. Хочется зарыдать вместе с Меламедом. Утешить его. Но чем? Разве что посоветовать ему больше не писать – ни подобных статей, ни стихов: ведь по его же собственному признанию источник, из которого он черпает, отравлен, а «Божественный глагол» – да он уже и сам с этим смирился – до его слуха не коснется.

Другие стремятся к новизне во что бы то ни стало, изгоняя из своих стихов не только архаику и словарь 19 века, но и любые слова, которые могут показаться недостаточно оригинальными. Одни, стремясь к новизне во что бы то ни стало, пришли к тому, что было до слова – будь то хаос или вакуум. Другие, заглядевшись на вещи обихода, окружающие их, на «сор, из которого растут стихи» (из стихотворения Анны Ахматовой 1940 г.: «Когда б вы знали из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда»), вовсе позабыли о небе, не имея сил или желания выбраться из этого сора.

Как противники, так и последователи И. Бродского, старательно вытраивают из своих стихов то, что Бродский называл «струной», «романсом», то есть мелодию, традиции Фета и Блока. Кстати сказать, у Бродского была и «струна», и «романс» – в «Пилигримах», в «Рождественском романсе», в стихотворении «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать...» и многих других было все то, с чем он впоследствии боролся: изгонял мелодию, эпитеты (как он сам говорил, по совету Евгения Рейна). Через «Речь о пролитом молоке», через «Возвращение в Ялту», осознанное им, по моему мнению, как тупиковое, потому что после этого произведения Бродский уже не возвращался к крупным чисто повествовательным вещам, поэт искал новую манеру письма и нашел ее в «Части речи», где ему удалось соединить страстность с отстраненностью, возвышенное и земное. И все равно искал, изменялся – что является признаком силы творческого дара. Введя особый синтаксис и строфику, характерные резкие перебросы, служебные слова в конце строк образующие оригинальные составные рифмы, Бродский породил целое направление последователей и эпигонов в русской поэзии. Причем влиянию оказались подвержены не только начинающие поэты, но и люди давно работающие в литературе. Так, в одном из последних опубликованных стихотворений Олеси Николаевой «Прощание с веком» («Арион» № 3, 1996) слышны не только интонации Бродского, его мотивы, но и приемы – сочетание каталогизированных описаний примет времени с метафизическими размышлениями, удлиненных строк с усеченными, тяготение скорее не к метафоре, а к метонимии (то есть к пе-

ренесению свойств целого на часть, а части на целое), даже сравнения выполнены в манере Бродского:

Провинция выглядывает из норки,
как испуганный полевой зверок,
А столица,
накапливая постепенно впрок
европейскую спесь и легкий американский жирок,
начинает собой гордиться.

...Я могу хоть полгода прожить в провинции –
топить печь

и таскать их колодца воду.
И наблюдать ночь по звездному небосводу.
И платка в красно-зеленых цветах не снимать с плеч.
И, сетуя с поселянами на недопеченный хлеб,
на переменчивую погоду,
приложиться к собственному народу...

Но европейские завоевания мне милы.
Эти сияющие рестораны. Эти дамы
с блестящими волосами. Эти виллы. Эти балы
с фейерверками и фонтанами.
Эти бриллианты, банкротства, драмы.

Эти погони. Эта раскачанная качель
жизни. Безумный маятник с амплитудой неудержимой.
Этот рождественский ледяной январь

в иностранных лампочках,
этот великопостный апрель
в замороженных импортных овощах.

Этот – летящий мимо –
век: его последняя мимикрия.
Его «Шинель».

За исключением строки «приложиться к собственному народу», что в Библии означает умереть "очевидно, что поэте не это имела ввиду, иначе какие же «европейские завоевания», да не вполне понятной в данном контексте «Шинели» века, вполне грамотное подражание Бродскому – такой дамский вариант известного “Fin de Siècle” со всеми вытекающими из этого последствиями, как-то: жеманность, чрезмерность и неоригинальность эпитетов, увлеченность внешним блеском, ресторациями (из купеческо-мещанского лексикона), вилами, балами, бриллиантами – ни Бродский, ни Ахматова даже в шутку не причисляли бы все это к «европейским завоеваниям». Помимо вторичности, стихи Николаевой поражают самовлюбленностью:

Почерка моего жаль –
ученического, внятного, как держава:
буквы строем маршируют на плацу,
как по прописям, с легким наклоном вправо.
Даже «Илиаду», им, ей-богу, переписывать к лицу,

Если первые две строки еще могли бы зародить подозрение в некоей иронии, то последние эту мысль отменяют напрочь. Не понятно лишь, почему «переписчица» Бродского на женский манер, возмечтала переписать «Илиаду» и – на каком, с позволения сказать, языке. Впрочем, собственные стихи – опасная все-таки вещь творчество, даже вторичное – выдают автора с головой: «...и – поля, поля, // за которыми чужая жизнь проглядывает колготится, // неразборчиво так пишет, // пальцы на морозе оголя...». Та же самовлюбленность с потугами переписать Бродского на женский манер характерна и для более поздней поэзии Николаевой. Так, в «Арионе» № 1, 2004

помещено стихотворение безусловно напоминающее «Я входил вместо дикого зверя в клетку...»:
Я одним глазком заглядывала в Бейрут,
и одной ногой зашагивала в Багдад,
и в Дамаск запускала руку, и был обут
в сапожищи Ливанских гор и багров закат...
А глаза закрою – он ярче горит стократ.

Я входила в Ерусалим под его звезду.
Целовала в белые камни, в старческий лоб
и в маслины, скукоженные в Гефсиманском саду,
в бугенвиль кровавый его, в острый иссоп.
До сих пор мои губы чувствуют жар, озноб.

Каталог путешествий Николаевой обширен и внушительен, в географии она вполне может поспорить с Бродским – за исключением одной небольшой детали – нет лишений: «Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, / жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок». Когда поэт может сказать: «Из забывших меня можно составить город», его благодарность звучит гораздо убедительней, не говоря уж о чисто поэтических достоинствах.

Примечательно, что в том же выпуске «Ариона» (№3, 1996) со вступительной статьей главного редактора Алексея Алехина, озаглавленной «Другая поэзия», опубликована подборка стихов поэтов русской провинции под рубрикой «Ойкумена» и помещена в журнале, соответственно, где-то на ойкумене. Это и в самом деле – другая поэзия – и потому, что о жизни в провинции поэты знают не понаслышке, как съезжая дачница Николаева, а главное, потому, что это – поэзия иной духовности, другого наполнения стиха, пусть не всегда и во всем безупречного, но – своего. Таким самобытным видением отличаются стихи Дмитрия Казарина из Астрахани:

Проходила ночью Смерть
по моей избе.
Я проснулся посмотрел:
«Кто там; Что тебе?».
Заглянула мне в глаза
и сказала: «Мить,
затупилась коса.
Надо б починить».
Вот стою, наждак кручу.
Смерть расселась в кресле.
Всю косу на нет сточу,
не порежусь если.

Думается, Казарину не придет раньше времени мысль о том, чтобы «приложиться к своему народу», что же до того, чтобы разделить судьбу народа, то этот вопрос будет излишним, если обратить внимание на невыдуманную лексику и естественную интонацию, позволяющую без натуги говорить о самом важном. С этим стихотворением по своему перекликается Ольга Маркова – с тою лишь разницей, что автор не вмешиваясь в события, лишь повествует о них:

Из темной комнаты старуха
Ведром вычерпывает сумерки,
Выплескивает из окна
Во двор,
Где дети – злые крохи,
Резвятся индо-скоморохи,
Когда является она.

.....
Какое было ей виденье;
Спасается от наводнения;
Желает вычерпать до дна
Всю муть, дрожащую на стенах;
Или играет иступленною

Роль Таракановой она;
Все глуше сумерки,
Все тише
Проклятья рвутся из-под крыши,
С землей сливается окно.
Старуха стонет в страшном мире
И тонет в собственной квартире,
И погружается на дно.

Можно было бы попытаться исследовать символику этого стихотворения: кто эта старуха – сама смерть ли, символ прошлого или, быть может, самой страны; Гораздо важнее, однако, то, что эти стихи – бередают, заставляют думать и возвращаться к ним. Стихотворения эти говорят еще и об умонастроениях наших современников – там, на краю ойкумены, в конце XX века.

В последнее время весьма популярна Вера Павлова, обладающая лапидарным стилем и обнажающей не только прием, но и самую себя перед читателем:

Трогающему грудь:
Знаешь, какою она была?
Обнимающему за талию:
Знаешь, какою она была?
Ложась сверху:
Знаешь, какою она была?
Берущему:
Знаешь, с какими
Я
Была?
(«Арион» № 1, 2004.)

Жесты Павловой – вполне выразительны, даже красноречивы. Не о том ли самом – только в иной поэтической и этической системе координат – стихотворение Елены Шварц из цикла «Желание» (Цыганские стихи, №6):

Глаза намокли изнутри,
Наружу слезы просятся,
Душа до утренней зари
Изноется, износится.
Я холодна, душа пуста,
Карают так нелюбящих,
И тела шелковый кафтан
Переветшает в рубище.

Нет, смиренницей Елену Шварц назвать трудно. Ее отличает яркость, самобытность, гордость, если не гордыня. Не случайно стихотворение «Корона» (столпник, стоящий на голове) предвещает эпиграф из Пушкина «Ты – царь, живи один»:

Я – царь, поверженный, лишенный
Воды, огня,
Но древнюю зубчатую корону
Не сдерните с меня.
Сей обруч огненный,
Печать, златой обол
Сияет надо мной –
Чтоб в пропасти нашел
И в круг провеял Дух
Сметая прах с нее
Сей крошечный воздух –
Вот царство все мое.
И это есть мой столп –
Но не пятой босой –
В него – а вздернув лоб,
Врастаю головой.

Понятно, что столпник не может ввести читателя в заблуждение. Это – маска поэта, если воспользоваться термином Паунда. Понятно и то, что и гордость и лапидар-

ность Шварц иного качества, нежели у Павловой: одна оставляет себе лишь “крошечное” царство духа, другая ограничивает свое бытие и поэзию лишь плотью. Посему и короны у них разного качества. И гордостью, и синтаксисом Елена Шварц родственна Марине Цветаевой, в то время Ольга Седакова сдержанностью и отточенностью скорее ближе к поздней Ахматовой. В отличие от Николаевой и Павловой, Ольга Седакова не занимается ни перечислением своих побед, ни странствий, но стремится “дойти до сути”, порой отказываясь даже от прежних своих находок и завоеваний. Нынешняя ее поэзия смиренна и аскетична. Предваряя выступление Ольги Седаковой в ОГИ 17 мая 2002 г., Ксения Голубович говорила о недоверии к высоким словам и абстрактным понятиям, о преодолении романтизма и символизма в современной русской поэзии (как будто это сейчас актуально?!) подобно тому, как акмеисты в своё время преодолели символизм, вернув словам изначальный смысл. С точки зрения Голубович, нынешней поэзии необходимо отобразить сознание «современного никчемного человека», «нашу никчемность» якобы для того, чтобы опять привлечь внимание читателей. Стихи Седаковой немедленно опровергли данное утверждение. Ни няню Варю из стихотворения «Дождь», ни тем более Хильдегарду или Тристана и Изольду никчемными людьми не назовешь. Маленький человек, как например, няня Варя, отнюдь не никчемна:

– Дождь идёт,
а говорят, что Бога нет! –
говорила старуха из наших мест,
няня Варя.

Те, кто говорили, что Бога нет,
ставят теперь свечи,
заказывают молебны,
остерегаются иноверных.

Няня Варя лежит на кладбище,
а дождь идёт,
великий, обильный, неоглядный,
идёт, идёт,
ни к кому не стучится.

(Дождь)

Очевидно, не лишне воспользоваться советом Пушкина определять значения слов, чтобы избавить мир, если не от всех, то хотя бы от некоторых предрассудков. «Никчемный человек» – это человек, неспособный ни к какому действию, неспособный ни любить, ни ненавидеть. В этом смысле вполне никчемны, скажем, «Полые люди» Элиота, которым противопоставлены люди активной, но злой воли, как организатор порохового заговора в Лондоне Гай Фокс или Курц из романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Однако весьма существенно то, что в «Полых людях» Элиот, усвоивший идеи Паунда, скрывается под маской, не отождествляя себя с «полыми людьми». Идея безличной или, вернее, внеличной поэзии (impersonal poetry), выдвинутая Элиотом, основана на принципах драматической поэзии, в которой автор растворён в персонажах и не отождествляется с лирическим героем стихотворного произведения. Однако личность автора, подчеркнём, является, как и прежде, основополагающей для современного искусства, независимо от того, какими бы терминами его ни определяли («модернизм», «постмодернизм» или даже «пост-постмодернизм»). Без личности нет искусства – эта мысль, на которой мы ещё остановимся подробнее, важна и для понимания поэзии О. Седаковой. Справедливости ради следует отметить,

что среди произведений Седаковой последних лет есть и стихотворение «Ничто» (употребляет она и слово «никчемность»):

Немощная,
совершенно немощная,
как ничто,
которого не касались творящие руки,
руки надежды,
на чей магнит
поднимается росток из черной пашни,
поднимается четверодневный Лазарь,
перевязанный по рукам и ногам
в своём сударе загробном,
в сударе мертвее смерти:
ничто,
совершенное ничто,
душа моя! молчи,
пока тебя это не коснулось.
(«Ничто»)

Седакова подбирает наиболее точные и простые слова, чтобы выразить весьма не простую мысль. «Это» – мужественный взгляд в Ничто, в небытие, в бездну, сродни Тютчеву: «И бездна нам обнажена/ С своими страхами и мглами...». Современный поэт, подобно Державину, поэту века XVIII, всегда помнит об угрозе:

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Однако само наличие этого «Ничто», вопрос о котором ставил также и Хайдеггер, заставляет искать выход из очерченного круга метафизических вопросов, из сущего к бытию. В отличие от Хайдеггера, однако, Седакова – верующий человек и вопрос о Ничто для неё представляет не отвлечённый, умозрительный, чисто философский интерес, но существенный, жизненно важный. В свете этого следует рассматривать и «никчемность»:

Нет, не всё пропадает,
не всё исчезает.
Эта никчемность,
эта никому-не-нужность,
это,
чего не узнают родная мать и невеста,
это не исчезает.
Как хорошо наконец.
Как хорошо, что всё,
чего так хотят, так просят,
за что отдают
самое дорогое –
что всё это, оказывается, совсем не нужно.
Не узнали – да и кто узнает?
Что осталось-то?
Язвы да кости.
Кости сухие, как в долине Иосафата.
(Sant Alessio. Roma)

«Блаженны нищие духом», как блажен Божий человек Алексей, к образу которого Седакова неоднократно возвращается на протяжении многих лет. «Никчемность» Седаковой – это смирение, осознание бренности нашей, но и надежда, что если Богу будет угодно, кости срастутся и оживут. Думается, что О. Седакова вкладывает иной смысл в слово «никчемность» нежели К. Голубович, в выступлении которой проскользнула и весьма важная, но нечётко сформулированная и смазанная мысль, когда она вскользь заметила о важном отличии поэзии Седаковой

от безликих каталожных карточек. Искусство тем и отличается от искусственных потуг на оригинальность, что в нём присутствует личность, неразрывно слитая с материалом, воплощенная в нём. Что же до преодоления романтизма, символизма или наследия формалистов и футуристов, то сегодня это не столь актуально, как преодоление эпигонства в новейших формах, будь то верлибр или концептуализм, преодоление не безличности в Элиотском понимании, но безличности. Формалистам и ОПОЯЗу мы должны быть благодарны хотя бы за то, что они первыми поставили вопрос о содержательности формы и доказали, что изменение формы, которое призвано вернуть внимание читателя, «коцарапать» его взгляд, ведет к изменению содержания. Именно поэтому Седакова так много внимания придает форме, ломая стереотипы, в том числе и ритмические, обманывая ожидания читателя, пробуждая.

Если Бродский говорил о «величии замысла», то в поэзии Седаковой следует прежде всего отметить величие духовного усилия. Поэт, ведающий о ничто и стремящийся передать свой духовный опыт, ищет слова и формы, проверяет их на истинность и надёжность, на способность донести надежду.

© Ян Пробиштейн. Февраль 2005.

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

ЖИЗНЬ ПОД ПЕСНЮ ВЕТРА

В Чикаго обычны сильные ветры. Поздней осенью и зимой они пронизывают город насквозь, настойчиво стучатся в дома, а кажется – в душу. В такие дни недавнего эмигранта часто охватывает тоска. Он угрюмо и безуспешно допрашивает себя, точно не в силах понять: как и зачем оказался здесь, в огромном, чужом городе?

Каждый сопротивляется песне ветра по-своему (иногда схватка длится годы). Мой друг, искусствовед и переводчик Ванкарем Никифорович, уже через несколько дней после переезда в США интуитивно отыскал верное средство для борьбы с эмигрантской депрессией. Он вдруг припомнил: в Чикаго выставлено много произведений Марка Шагала – художника, который когда-то сформировал его отношение к искусству и жизни. Чтобы встретиться с работами Шагала в «городе ветров», порой не надо даже заходить в музеи. В одной из своих многочисленных статей о Шагале Ванкарем Никифорович потом признается: «...В первые месяцы американской жизни я любил часто приезжать именно сюда, в этот красивый сквер на углу улиц Монго и Dearborn, рядом с небоскребом Первого Национального банка Чикаго. Здесь я подолгу стоял перед одним из прекрасных шедевров Марка Шагала – мозаикой «Четыре времени года». Стоял, не в силах оторваться от эгих завораживающих, реальных и сказочных персонажей, знакомых по знаменитым шагаловским полотнам... Незримо звучала великая музыка – музыка цвета, очищающая, возвышающая, дающая надежду и силу».

Когда-то произведения Шагала зловеще называли в СССР «упадочным бужуазным искусством». Особенно непримиримы и неистовы были ревнители соцреализма в Минске. Долгие годы вместе с другими писателями, искусствоведами, художниками Ванкарем Никифорович упрямо боролся за возвращение творчества Марка Шагала на родину, в Белоруссию. И вот теперь, в 1993-м, генеральный Шагаль неожиданно помог ему самому.

Меня не удивила эта история. Есть люди, для которых культура является самой сутью жизни – ее волшебной квинтэссенцией. Именно таков Ванкарем Никифорович.

Иногда я думаю: как лучше определить характер его творческой работы в течение полувека? Чаше всего на ум приходят два слова: хранитель культуры.

Эмиграция столь болезненна для многих, прежде всего тем, что приходится резко менять образ жизни, профессию.

Ванкарему Никифоровичу ничего не потребовалось менять в главном. «Наоборот – надо остаться собой...» Когда он вдруг мысленно сформулировал для себя это правило (у той же шагаловской мозаики «Четыре времени года»), в душе сразу поселилась гармония.

Детали новой жизни уже не имели большого значения. *Детали* как раз объединяли его со всеми: пришлось – почти в шестьдесят! – срочно освоить автомобиль (вождению его учил бывший директор харьковского завода), подружиться с компьютером, пойти в колледж – «за английским».

Кое-кто, попав в эмиграцию, придумывает себе «красивую» биографию (иногда такое мифотворчество нечаянно и трагично – люди задним числом как бы реализуют несбывшиеся мечты, неосуществленные дарования). Но бывает иначе: человек, увлеченный новым днем, просто отмахивается от того, что было вчера.

Биографию Ванкарема Никифоровича в нашей эмиграции мало кто знает. Про его удивительную скромность друзья рассказывают анекдоты. К примеру, публикуя свои статьи, этот автор категорически просит редакцию не помещать его фотографию: «ничто не должно отвлекать читателя от героев материала». Тем более полезно сейчас оглянуться назад.

В Минске он не был свободным художником – служба однако всегда превращалась в служение. Работая в издательстве, редактировал книги многих писателей, возвращавшихся после 56-го года из сталинских лагерей и ссылки. Воевал с цензурой и начальством, давая зеленый свет молодым талантам (одно из таких открытий – роман «Война под крышами» вечно опального в Белоруссии Алесея Адамовича). Потом, уже на республиканском телевидении, писал сценарии фильмов, вел в прямом эфире острые диалоги с мастерами культуры – о праве художника на самостоятельное, а не санкционированное партией исследование жизни. (С телевидения его изгнали с «волчьим билетом» – за неделю до смерти Брежнева, после беседы со Светланой Алексиевич о ее работе над новой документальной книгой «Цинковые мальчики», посвященной афганской войне). «Он – душа нашего колллектива», – так говорили о завителе в академическом театре имени Янки Купалы: да, Ванкарем Никифорович во многом определял здесь художественную политику. Кстати, он немало сделал в те годы и как театровед; только один пример: в пятитомную театральную энциклопедию, изданную в Англии (пока единственную в мире), вошел его шестидесятистраничный очерк об истории белорусского театра.

Под напором дней чужой жизни я невольно сбиваюсь на перечисление. Между тем не сказал еще очень важное. Ванкарем Никифорович всегда ощущал какое-то особое, почти магическое притяжение разных культур – белорусской, еврейской, русской, болгарской, польской, литовской, грузинской... Конечно, это притяжение шло из детства. Его родителями были молодой белорусский историк и юная студентка-«химичка» из традиционной еврейской семьи.

Он не случайно так много сил и лет отдал потом переводу. Книги поэтов и прозаиков, антологии, коллективные сборники... Когда-то он перекладывал на белорусский пьесы мирового и российского репертуара. Перевел целую библиотечку произведений писателей Болгарии (и

был за это награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия). Уже здесь, в эмиграции, с любовью воссоздавал – на русском – новые рассказы своего старшего друга Василя Быкова. (На старости лет тот неожиданно тоже стал изгнанным: оклеветанный официальной пропагандой в Минске, тяжело больной, почти без средств к существованию, Быков скитался вместе с женой из одной европейской страны в другую).

Ему хотелось размышлять о взаимодействии и перекличке разных культур, о таинственном искусстве перевода, о судьбах переводчиков – часто, как ни странно, трагических. Так появились две книги Ванкарема Никифоровича – «Всему миру – свой дар» (1973) и «Дороги в широкий мир. Страницы литературных взаимосвязей» (1979). А мне он однажды рассказал о своем первом учителе перевода. Это был замечательный белорусский поэт Владимир Дубовка. Он родился в 1900-м, учился в Москве у Брюсова, в 1930-м уже был арестован чекистами. «Мне повезло, – совершенно серьезно говорил Дубовка. – Если бы они взяли меня позже, то обязательно подвели под расстрел». Как-то на одной из лагерных пересылок Дубовка встретился с великой переводчицей Татьяной Гнедич. Вместе, радостно дополняя друг друга, они вспоминали оригиналы байроновских поэм. Еще находясь в заключении, оба сделали свои – тоже ставшие потом классикой – переводы из Байрона: она – на русский, он – на белорусский... Байрон помогал выжить? В старину считали, что во время перевода происходит мистический «обмен душами». Ванкарем Никифорович был редактором двухтомника произведений Владимира Дубовки, сборника его переводов сонетов Шекспира. Они подружились. «Это была моя главная школа».

Порой говорят: люди культуры далеки от политики – она им скучна. Зачастую – так. Но писатель-эмигрант рассуждает иначе. Он хорошо помнит: откуда и куда идет.

Не случайно вскоре после приезда в Чикаго Ванкарем Никифорович сблизился со старой белорусской эмиграцией. Она переживала далеко не лучшие времена, однако была верна много лет назад избранной миссии. Раз в два года собирались съезды. В Нью-Йорке по-прежнему выходила газета – живой эмигрантский рупор. Работал Белорусский институт науки и искусств, выпускавший свои знаменитые «Записки» – они начинались еще в Мюнхене, после войны. Директор Института был рад новому коллеге: сам привез ему в Чикаго два чемодана старых книг, журналов, рукописей. Разбирая это богатство, Ванкарем Никифорович обратил внимание на материалы, почти не известные исследователям в Белоруссии. Существовала, оказывается, драматургия белорусской эмиграции. Изучив более пятидесяти пьес, он отобрал восемь. И составил из них интереснейший сборник.

Он подхватил эстафету старой эмиграции естественно, без пафосных деклараций, но и без компромиссных огорохов об «изменившемся мире». Позиция Ванкарема Никифоровича твердо, как основание айсберга, ощущается во всем, что он пишет. Он, к примеру, не отвергает «с ходу» культуру метрополии. Однако всегда помнит про водораздел – правда.

Среди многих статей Ванкарема, так или иначе обращенных к культурно-политической ситуации в бывшем СССР, выделяю одну, сравнительно недавнюю. Это заметки о книге, название которой красноречиво: «Что я видел в Советской России? Из моих личных наблюдений». Еще более красноречиво посвящение: «Порабощенным, закованным в цепи большевистской диктатуры, народам СССР...»

Автор не профессиональный литератор – профессиональный рабочий одного из заводов Чикаго. Он уехал из Беларуси в 1913-м. Он смог встретиться с близкими и родной только двадцать один год спустя.

Книгу, выпущенную в 1935-м, сегодня по-прежнему читать страшно: так действуют на нас эти косноязычные зарисовки с натуры, цифры, незамысловатые репортажи из страны победившего социализма. Удивительны наивные предвидения автора книги – почти все они сбылись. Уместно добавить: статья Ванкарема Никифоровича приурочена им к пятнадцатилетнему юбилею распада СССР. Кто только не лил слез в связи с этим «скорбным» событием – «и в российской, и в белорусской, да и в нашей эмигрантской прессе»...

Ванкарем Никифорович озабочен, впрочем, другими вопросами. Кто он, *Минский Мужик* (под таким псевдонимом скрылся автор, справедливо опасавшийся «руки Кремля»)? Где отыскать подшивку или хотя бы отдельные номера русскоязычной чикагской газеты «Рассвет» (там публиковались первоначально очерки, составившие книгу)?

Эти вопросы закономерны. Их задает себе и нам хранитель эмигрантской культуры, рачительный собиратель эмигрантских судеб.

Если внимательно присмотреться к культурной жизни эмиграции, легко заметить: эта жизнь просто невозможна без подвижников. Именно они настойчиво напоминают об утерянных традициях. Именно они, по счастью, заменяют собой отсутствующие в эмиграции институты.

В наших газетах, к примеру, нет отделов критики и библиографии. Понятно, нет и системы в освещении литературной и художественной жизни. Многое проходит незамеченным, неназванным даже – точно и не было вовсе. Чикаго однако повезло. Здесь есть Ванкарем Никифорович. Каждый одаренный человек в русскоязычной общине вызывает его интерес. С каждым он хочет непременно поговорить на страницах газеты. Иногда мне казалось: этот критик чересчур добр, слишком снисходителен в своих оценках. Но потом я понял: слово «чересчур» в данном случае неуместно, поддержка не бывает излишней. Ведь путь таланта в диаспоре – это всегда дорога в сумерках.

За годы эмиграции Ванкарем Никифорович опубликовал в чикагской «Рекламе», лос-анджелесской «Панораме», нью-йоркском «Новом Русском Слове» и других изданиях около тысячи статей. Многие из них я помню, некоторые перечитал сейчас. Каждая публикация открывала проблемы и мотивы, которые водили пером автора.

Если не ошибаюсь, он никогда специально не формулировал свое кредо критика. Но оно так очевидно. Мне кажется, едва ли не главную задачу художественной и литературной критики в эмиграции Ванкарем Никифорович видит в борьбе с пошлостью. Процесс проникновения пошлости в структуру человеческой личности хорошо описал когда-то Горький: «В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? – не разберешь». В эмиграции этот процесс «опошления» интеллекта идет гораздо быстрее, интенсивнее. Ведь эмигрант часто потребляет только ту «культуру», которую находит на российских телеканалах, концертах эстрадных звезд типа Верки Сердючки, спектаклях торопливо сколоченных «антреприз», колеблемо уверенных: публика – дура. Как бороться с пошлостью? Ванкарем Никифорович говорил о «подлинном и мнимом» с известнейшими режис-

серами, артистами, дирижерами, писателями (Мстиславом Ростроповичем, Марком Розовским, Михаилом Казаковым, Владимиром Войновичем, Адольфом Шапиро): те тоже не могли смириться с коррозией, разъедающей культуру. Но главное – критик неумоимо рассказывает эмигрантской аудитории об истинных явлениях американского искусства: они рядом, надо только сделать усилие, встать из уютного кресла – начать работу души.

Другой вопрос, который мы не раз обсуждали с ним, – проблема «творец и критик». Конечно, Ванкарем Никифорович знает: среди прочих у него есть и совершенно особые читатели. Профессионалы. Это, к примеру, русскоязычные художники, которых в большом количестве выплеснула на американский берег последняя волна эмиграции. Многие растерялись, услышав все ту же «песню ветра». Десятки статей критика (например, о таких зрелых мастерах как Борис Заборов, Юрий Канзбург, Моисей Лянглебен, Леонид Окс, Иосиф Пучинский, Израиль Радунский) содержат не только глубокий анализ творчества, но и показывают возможное направление дальнейшего пути. Однако прежде всего это важно молодым художникам: тем особенно трудно в эмиграции. Часто не получили академического образования. Вдруг оказались психологически «зажаты» – словно между льдинами – между разными направлениями изобразительного искусства. Вот почему еще Ванкарем Никифорович часто говорит о традициях. Они вовсе не пропитаны нафталином – животворны. Те же традиции первопроехавцев еврейской живописи и графики в России – Шагала, Пэна, Сутина, Хаима Лившица. (Критик посвящает им огромный цикл статей. Всегда обращая внимание на интерес к ним в Америке. Вот, положим: «При жизни Хаима Сутина понимали немногие. И совсем немногие понимали, что он – большой и значительный художник. Среди них была и группа энтузиастов, любителей еврейского изобразительного искусства в Чикаго, которые еще в 1935 году организовали в своем городе персональную выставку работ Хаима Сутина»).

Удивительно и по-своему трогательно то, что рецензии Ванкарема Никифоровича на спектакли американских театров высоко оценили в первую очередь... сами театры. Оценили, конечно, за высокий профессионализм. Рецензии эти переводят на английский, специально для актеров вывешивают за кулисами. В той же чикагской труппе Steppenwolf, известной своими оригинальными трактовками русской классики. Или в Театре европейского репертуара, труппе Vistal, знаменитой Lyric Opera.

Очень часто у него: из года в год Ванкарем Никифорович пристрастно, по-доброму следит за поисками тех или иных художников, бардов, писателей, артистов. Из статьи к статье продолжает начатую тему.

Когда-то, еще в Белоруссии, он помог известному московскому журналисту и писателю Давиду Гаю – собрать материал для документального романа о гибели Минского гетто. Теперь Давид Гай – один из самых интересных прозаиков Русской Америки. Его романы («Джекпот», «Сослагательное наклонение», «Средь круговращения земного...») – справедливо полагает Ванкарем Никифорович – не просто исповедальны: они исследуют сложный процесс самосознания нашей эмиграции.

К внуку в Чикаго приехала старая актриса московского театра имени Маяковского Зинаида Леберчук. Думала, будет, наконец, отдыхать; но огонь творчества, замечает Ванкарем Никифорович, в Америке не только не погас – разгорелся. Она подготовила и показала здесь несколько своих полноформатных моноспектаклей («Закат», «Медя», «Леди Макбет Мценского уезда» и другие).

Считалось: не могут утвердиться, выстоять русские эмигрантские театры с постоянным репертуаром. Так ве-

лики постановочные расходы и – так скудны кассовые сборы. Теперь однако такие труппы есть: в Чикаго – «Атриум», в Канаде – монреальский театр имени Варпаховского. Представьте себе, они успешны. Ванкарем Никифорович не просто рецензирует их премьеры – задумывается о проблемах существования и выживания. И опять-таки: становится для театра другом.

...Этот немногословный, застенчивый человек любит полемику. Видимо, в таких случаях он преодолевает себя, хорошо понимая: эмиграция – не остров в океане, но один из сообщающихся сосудов цивилизации. На моей памяти Ванкарем Никифорович решительно вступал в дискуссию с проводниками политики «бабки Лукашенко», создателями сегодняшнего российского кино, странами в изгнании проявлениями великодержавного шовинизма, попытками создать особый язык русско-американской культуры...

Иногда он спорит и о будущем эмиграции. На мой взгляд, сами по себе эти дискуссии нередко умозрительны. Глупо не замечать: с каждым годом резко сужается круг русскоязычных читателей и зрителей; внуки быстро перестают понимать бабушек и дедушек. Однако верно и другое – то, что всегда подчеркивает в своих статьях Ванкарем Никифорович: именно эмиграция сохраняла и будет сохранять высокое достоинство культуры.

2009

Свет добра

В сумрачном, часто похожем на сон, мире эмиграции я многое видел и воспринимал яснее, четче, когда разговаривал с Ванкаремем Никифоровичем. Кем он был? Тонким знатоком театра и изобразительного искусства. Талантливым переводчиком, журналистом. Неумоимым хранителем культуры эмиграции. Разумеется, о каждой из этих сторон его деятельности можно было бы написать статью. Но все же вспомню, осторожно припомню сейчас другое. Мне казалось и кажется: этот удивительный человек излучал особый свет.

В годы, которые уже минули, мы долго и о многом говорили с Ванкаремем. Чаще всего – вечерами. Что обращало на себя внимание сразу же и, на первый взгляд, делало несколько однообразными наши диалоги? Никогда и ни о ком он не сказал дурного слова. И это не было предусмотрительным проявлением конформизма. В каждом человеке Ванкарем видел то лучшее, что определяло его жизненное назначение. Пожалуй, люди казались ему хрупкими, драгоценными сосудами, к которым можно и нужно прикасаться бережно. Особенно поражал Ванкарема дар художника, творца.

Как назвать этот исходящий от него свет? Я думаю – пусть не покажется банальным – то был свет добра.

Конечно, подобный взгляд на мир определил и его собственную жизнь. Только вот – увы – эта негромкая философия прошла на моих глазах тяжелое испытание. Шесть лет Ванкарем боролся с неизлечимой болезнью. Тот, кто знал его диагноз, удивлялся чуду: шесть лет... Чудо сотворили американские врачи, жена Ванкарема – Зоя, а также беспредельный оптимизм больного, сила его редкой, хоть не приметной многим воли. «Все будет хорошо», – ничуть не сомневался Ванкарем. Помню его усталый голос в те дни, когда он проходил химиотерапию. Но уже на завтра он нередко отправлялся в путь – брать интервью у приезжего поэта, на концерт, выставку. А потом садился за компьютер.

Я с восхищением и замиранiem сердца следил за неравной схваткой, где победа человека пусть вовсе не эфемерна, но временна. Все пройдет? Все, кроме памяти. Все, кроме явственного ощущения этого подаренного нам света.

3 октября, 2011

ТОГДА И ПОСЛЕ

Из цикла очерков о писателях эмиграции

ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ С ДИКТОФОНОМ

(О Белле Езерской)

Две даты: в апреле 2009-го Белле Езерской исполнилось восемьдесят; вот уже полвека она берет интервью.

Я думаю об этом сейчас, перечитывая книги Езерской. Невольно замечаю: каждое из ее интервью имеет свою историю. Часто неожиданную, порой – растягивающуюся на годы.

... В начале 1985-го она беседовала с поэтом и бардом Александром Алоном. А через две недели, 8 февраля, он погиб. Езерская напишет после, восстанавливая трагическую хронику: «Вечером того дня он с женой был приглашен в гости в один эмигрантский дом в тихом и безопасном пригороде. Настолько безопасном, что там даже двери не запирались. Двое бандитов вошли в незапертую дверь, велели всем лечь на пол... Мужчины вскочили и бросились на мерзавцев. Раздалась стрельба. Трое были ранены. Дочь хозяев успела вызвать полицию. Заслышав сирену, грабители бросились наутек. Саша, раненый, погнался за одним из них, настиг его... и был сражен ударом ножа в сердце».

История гибели тридцатидвухлетнего Александра Алона рассказана Езерской не случайно. Смерть человека часто символически отражает его жизнь. Алон был поэтом и – офицером военно-морского флота Израиля. Мог ли он поступить иначе? До интервью они общались полтора года. Подружились. Конечно, Белла Езерская сразу разглядела талант: «Он был одним из самых блестящих представителей русской авторской песни». А позже поняла и другое: его последнее интервью – своего рода «гражданское и поэтическое завещание Александра Алона».

Прошло больше двадцати лет. Все было как обычно после ухода творца из жизни: разрасталась трава забвения. Нет, Езерская не могла смириться с этим: писала статьи об Алоне, делала радиопрограммы, искала и находила единомышленников, как и она, влюбленных в пронзительные песни барда. Мы и познакомились в ноябре 2003-го, в Чикаго, на вечере памяти Алона. Я увидел обаятельную, но уже немолодую женщину. Хотел спросить: зачем вы проделали этот путь на самолете? Ведь могли же прислать свое выступление записанным на пленку... Однако вовремя удержался от вопроса, понял: это – ее миссия.

Я знаю: сам по себе жанр интервью кажется многим коллегам по литературному цеху легковесным, сиюминутным. Наивное представление – его легко опровергнуть. Три сборника интервью и эссе Беллы Езерской под общим названием «Мастера» (вып. 1-3, 1982, 1989, 1998), ее книга «Почему молчали кариатиды» (2003) стали событием в культурной жизни нашей эмиграции. Но лучше сказать: событием стала она сама, автор.

Чтобы пояснить свою мысль, вернусь (ненадолго, совсем коротко) к старой проблеме: художник в эмиграции. Представим, что он сейчас перед нами: почти всегда одинок; почти всегда не востребован; почти всегда вынужден зарабатывать на хлеб насущный, сменив профессию. И так типично то, что сказал в беседе с Езерской автор известного романа «Желтые короли» Владимир Лобас, десятилетия крутившийся баранку нью-йоркского такси: «...Об Америке у меня представления были очень наивные... Только здесь можно понять, что эта чудесная,

гостеприимная и щедрая страна – выжженная пустыня для человека, избравшего писательскую стезю. И вообще искусство». Кто откровенно поговорит с творцом? Кто снова отправится вместе с ним мучительными лабиринтами поиска? Кто, наконец, приоткроет читателю «лабораторию» мастера?.. Тут остановимся. Именно это и делает Белла Езерская. Сейчас у нее появились последователи. Но долгие годы она шла в литературе эмиграции этой тропой одна.

Однажды Езерская решила объяснить свою настойчивую приверженность жанру интервью: «...В современном литературном процессе факт, документ, свидетельство решительно потеснили художественный вымысел... Жизнь оказалась сложнее самых изощренных романтических сюжетов; перо драматурга в бессилии опускается перед коллизиями, которые Шекспиру и не снились».

Что ж, все верно. Непонятно только одно: почему именно интервью, взятые Езерской, так притягивают нас; почему их хочется перечитывать – даже спустя много лет после того, как состоялась ее беседа с писателем или артистом в каком-нибудь маленьком кафе. Даже если конкретный повод для интервью (появление нового фильма, спектакля, книги) давным-давно потерял актуальность.

Нет, главное все-таки не жанр сам по себе. Главное, как всегда, – талант, личность автора.

Разумеется, беседы Езерской с мастерами культуры не похожи на дежурные журналистские *опросы*: «Ваша любимая диета? А время года? Ну а теперь давайте о планах...» Если говорить о жанре материалов Езерской, я бы определил его так: эссе-интервью.

Здесь всегда есть портрет творца, набросанный энергичными штрихами. И портрет времени. И – диалог двух людей. Да, именно диалог. Интервьюер вовсе не занимается самовыражением: он, что называется, помнит свое место. Но у Беллы Езерской – собственный голос, который не заглушают голоса героев, какими бы «громкими» они ни были.

Ее отношения с героями интервью – особая и, по моему, поучительная тема. Эти отношения часто складываются на наших глазах. От вопроса к вопросу мастер все больше доверяет интервьюеру. Так начинается его исповедь.

Вслушаемся в один разговор, важный сейчас для нас. «Вы болезненно относитесь к критике?» – спрашивает Езерская у балетмейстера Бориса Эйфмана. И тот признается: «Раньше относился болезненно. Особенно реагировал на русскоязычную прессу. Если бы меня не понимали где-нибудь в Южной Африке... Но мы же в один садик ходили, одни книжки читали». Впрочем, дело не в общих воспоминаниях и ассоциациях. Все дело, уточняет Эйфман, в «понимании законов того театра, который я создал». Выдающийся балетмейстер, конечно, имел в виду известное, пушкинское: художника нужно судить по законам, им самим над собой признанным...

Езерская и сама любит повторять эти слова. Тут ее кредо. Самый точный ориентир на пути к творцу.

Впрочем, искусство интервьюера – как всякое искусство – в известной степени иррационально. И таит в себе загадку. Перечитав десятки публикаций Езерской, я по-прежнему гадаю сейчас: каким образом она неизменно выбирает самый точный (часто – «больной») вопрос; как же возникает здесь – всего на нескольких страницах текста – это странное, но несомненное психологическое напряжение... Герои Езерской нередко переживают во время общения с ней «момент истины»: признаются в сокровенном, пересматривают свою жизнь.

Именно ради этого она часто сознательно привносит в беседу конфликт. Критик Анатолий Либерман как-то заметил о Езерской: «...Она нелегкий интервьюер, и некоторым ее собеседникам пришлось отбиваться от остро поставленных вопросов». Это правда. Больше того – она то и дело подходит к рискованной грани. К примеру, так начинает свою беседу с Иосифом Бродским: «О вас говорят как о человеке высокомерном и недоступном, особенно для нашего брата-эмигранта». Другой бы ответил: «На этом интервью закончено». Бродский не обиделся – начал рассуждать вслух о проблеме «поэт в изгнании»: «...Эмиграция, знаете, начисто избавляет от нарциссизма. И в одном этом, на мой взгляд, уже ее достоинство. Жизнь в чужой языковой среде, со всеми вытекающими последствиями, – это испытание. Генрих Белль как-то записал в дневнике, что чем дальше письменный стол художника будет стоять от отечества, тем лучше для художника...» Я с трудом обрываю интересное размышление поэта, которое родилось в диалоге с интервьюером.

Еще одна особенность творческого почерка Беллы Езерской. Она не скрывает от читателя своих пристрастий и симпатий. Но при этом всегда бескомпромиссна в художественных оценках. Вот закономерный финал ее эссе об одном из создателей современной массовой культуры Энди Ворхле – он, между прочим, сыграл немалую роль в американской судьбе Езерской: «Я не отношусь к искусству Энди Ворхла серьезно... Но я с восхищением принимаю самого Энди Ворхла, как непревзойденного мастера одного-единственного шедевра: своей собственной жизни».

Вдруг понимаю: последняя фраза точно говорит и об Езерской. Она тоже никогда не была покорной песчинкой, которую уносил за собой ветер времени.

...Начинала Езерская дважды. Впервые – в родной Одессе, второй раз – в эмиграции.

«Там» – после окончания университета – она долго, неприкаянно мыкалась со своим «свободным» дипломом; потребовался «блат», чтобы получить жалкие библиотечные полставки; в областной газете «Знамя коммунизма» ее печатали с оглядкой, в штат не брали: ничуть не стеснясь, напоминали про «пятый пункт». (Отдушиной были публикации в московском журнале «Театр».)

В Америку Езерская приехала с мужем и сыном, в срок восемь. Конечно, ее тут никто не ждал, да и «булки на деревьях» не росли. Иногда спрашивала себя: неужели жизнь кончилась? Но отвечала себе так, как ответит ей вскоре молодой эмигрант Василий Аксенов: это важно – «ощущать сопротивление общества», это нужно – уметь «начинать все сначала, проходить весь путь заново».

И ей повезло! Дебют в старейшей эмигрантской газете «Новое русское слово» – очерками о любимом Пушкине (очерки приметили многие, в том числе – Мстислав Ростропович, который станет потом ее другом); учеба в университете, а затем в аспирантуре по русской литературе; сложный, противоречивый, но пьянящий атмосферой свободы мир эмигрантской культуры: Белла Езерская вошла в этот мир, как входят в родной дом.

Особая, интригующая строка ее биографии – долгое сотрудничество с журналом Энди Ворхла Interview. «Помешанный на знаменитостях, он и создал его для знаменитостей» – голливудских звезд, королей, законодателей моды. Это было так престижно – попасть на страницы Interview Magazine: и в качестве «гостя», и в качестве автора. А Езерскую поражала душевность ее новых коллег: «...Когда я зимой приезжала из своего Фарракова, замерзшая, как сосулька, ребята отпаивали меня кофе в столовой, обшитой дубовыми панелями».

Кстати, именно Ворхлу принадлежит идея собрать материалы Езерской в книгу. «Но ведь это же интервью, – переспросила она неуверенно, – жанр скоропортящийся»... «Ну и что», – пожал плечами Ворхол. Он-то не сомневался в успехе.

...Живой нерв большинства ее работ – судьба русской культуры в эмиграции.

Позиция Езерской резко выражена в эссе «Великое противостояние». Эссе посвящено автору «Окаянных дней», но оно шире – о выборе, который стоял перед каждым творцом. Езерская процитирует речь Бунина, произнесенную в феврале 1924-го в Париже: «Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет ленинских градов, ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия».

Такой выбор – рано или поздно – совершают многие герои Беллы Езерской. (Всех не вспомнишь, тем более – не перечислишь).

Мстислав Ростропович признается в интервью с ней: «Я обожаю Россию! О-бо-жаю». Но лишенный гражданства СССР, Ростропович после отмены позорного указа гордо отказывается от советского паспорта.

Патриарх и ревнитель свободной русской прессы Андрей Седых. Вместе с ним мы сравниваем разные «волны» эмиграции, погружаемся в ежедневные будни многолетнего редактора «Нового русского слова».

Хранительница традиций, «живая легенда русского балета» Александра Данилова.

«Российский Карузо», один из последних рыцарей еврейской культуры Эмиль Горовец. «Он мог не замечать, терпеть и молчать. Как многие. Но он предпочел туманную даль репатриации, а фактически – эмиграции благополучной жизни придворного еврея в антисемитской стране».

Поэтесса Наталья Горбаневская. Вместе с друзьями она вышла в августе 1968-го на Красную площадь – в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Она сделала свой выбор сознательно, остро ощущая «вкус» свободы: «Когда ты на свободе, и, кажется, только от тебя зависит, остаться на свободе или не остаться, эта свобода, воздух, которым дышишь, деревья, под которыми идешь, становятся особенно дороги».

Юрий Любимов. Он гениально чувствует движение театральных форм, он и пророк – предупреждает в начале перестройки: «После оттепели всегда бывают заморозки... Природа режима не изменилась». Кстати, Любимов напишет позже Белле Езерской: «Вы делаете очень нужное и благородное дело».

«Мы не в изгнании – мы в послании». Кто только не цитировал эти знаменитые слова. Теперь перестали. Кляты бы поутихли, да и некому их произносить.

«Какое там послание! – говорит мне на днях Белла Езерская – по телефону, незадолго до своего юбилея. – Скажите, ну какую миссию можно разглядеть в деятельности наших газет – разве что сбор рекламы... Многие писатели давно уехали в Россию, другие живут *здесь*, но публикуются исключительно *там*... Эмигрантские издательства не могут конкурировать с московскими и почти все умерли, несколько журналов едва дышат... Для полноты картины добавлю: на наши концертные площадки хлынули толпы гастролеров-халтурщиков, привозящие программы, которые они постеснялись бы показывать в гарнизонах...»

Впрочем, мы с ней все это уже обсуждали не раз. Но вот Езерская добавляет: «Я, кажется, осталась у разбитого корыта».

Почему не спорю? В глубине души она и сама знает, что не права. «Всю жизнь занималась тем, чем всегда хотела...» – разве это не убедительный аргумент при подведении итогов жизни?

Не говорю ей и другие слова – они верны, но слишком уж пафосны: книги Беллы Езерской, ее эссе и взятые ею интервью, обильно рассыпанные на страницах изданий диаспоры, – это живая история культуры нашей эмиграции.

История в лицах и голосах. Не похожая ни на какую другую.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ (Славное имя: Ефим Чеповецкий)

1. ...Но сначала вернусь в прошлое. Было это три десятилетия тому назад. Или больше? Я жил тогда в Сибири, писал свою первую книгу, посвященную Всеволоду Иванову – одному из самых ярких представителей русского литературного авангарда двадцатых годов. “Неожиданный Всеволод Иванов!” – не раз восклицали его современники. Всю свою жизнь этот “оппозиционный классик” советской литературы уходил не только от догм соцреализма – от самого себя прежнего. “Умер очень большой, не прочтенный нами писатель”, – как всегда, парадоксально и пронзительно, закончил свои воспоминания о нем Шкловский. Здесь всё правда. Иванов оставил после себя целое собрание неопубликованных, ярких, во многом экспериментальных книг.

“Неожиданный Всеволод Иванов!” – повторил и я, когда в одном из московских архивов обнаружил около трехсот не известных читателю рецензий мастера на произведения молодых авторов. Оказалось, Иванов был зорким и мудрым литературным наставником. Он учил начинающих писателей многому – в том числе и художественному поиску, вечному сомнению, которое так важно в искусстве.

Одна из самых интересных рецензий Всеволода Иванова была посвящена творчеству детского поэта и драматурга Ефима Чеповецкого. Признаюсь: перечитывая этот отзыв, я и оглянулся сейчас в прошлое.

Вскоре, в феврале семьдесят второго года, я опубликовал некоторые из рецензий в “Литературной газете”. Причем, решил не называть имена тех, о ком писал Иванов, полностью: мнение знаменитого писателя, казалось мне, не должно давить на его питомцев, которые к тому времени уже активно работали в литературе.

Однако случилось неожиданное. Познакомившись с самым первым из опубликованных отзывов, читатели ничуть не усомнились в том, кто именно подразумевается под инициалами Е.Ч. Помню телефонные звонки, письма, смысл которых был столь очевиден: Иванов, конечно, не ошибся, предвещая Ефиму Чеповецкому яркое литературное будущее.

Да, уже к тому времени его популярность у малышей (а значит, и их родителей) была без преувеличения огромной. Между тем годы шли. Появлялись новые книги, мультфильмы, спектакли по пьесам Чеповецкого. Даже одни названия самых известных его сказок отзываются сейчас – словно эхо детства – в памяти нескольких поколений: “Непоседа, Мякиш и Нетак”, “Приключения шахматного солдата Пешкча”, “Проделки веселого Мышонка Мышки”, “Про славную коровушку Настурцию Петровну”... Прав был Лев Кассиль, написавший еще в давние шестидесятые: “Неистощимый выдумщик, веселый фантаст, знаток ребячьих душ, Ефим Чеповецкий внес свой приметный вклад в нашу советскую литературу для детей”.

Пусть не смущает сегодняшнего читателя формула “советская литература для детей”: ее лицо и достоинство определяли Корней Чуковский, Самуил Маршак, Рувим Фраерман, тот же Лев Кассиль.

...Я пишу все это, а за окном – Чикаго. Эмиграция. Она всегда подвергает творчество литератора серьезному испытанию.

Эмиграция неожиданно свела нас с Ефимом Чеповецким в одном городе.

2. Я вновь перечитываю две его вышедшие в Америке книги. На этот раз – книги, обращенные к взрослым.

Конечно, сразу возникает вопрос: почему автор вдруг изменил своему главному читателю? На первый взгляд, причина ясна. Все та же грустная реальность эмиграции: дети здесь, как правило, говорят по-английски – ну зачем же им русский поэт, на книжках которого вырастали еще дедушки и бабушки?

Все же, думаю, дело в ином. И совсем другая жизненная коллизия определила “сверхзадачу” этих сборников Ефима Чеповецкого.

Автор осмысляет прожитую жизнь, в какой-то степени подводит ее итоги...

Я написал эти слова с красной строки, однако спешу уточнить: поэт вовсе не прощается с нами. Впереди по-прежнему остается дорога. Но эмиграция всегда заставляет литератора приступить к “переоценке ценностей”. Иногда трудно ответить на самые простые вопросы. “Так чем же вы здесь собираетесь заниматься?” – спросили в Америке Ефима Чеповецкого. Как наверняка спрашивали миллионы людей до него. Позже Чеповецкий признался: “Я уже в первые недели пребывания в стране Свободы понял, что сочинение и писание рассказов, стихотворений и пьес здесь не профессия, а нечто вроде хобби. Сочиняй, пиши себе на здоровье, но за это тебе никто платить не будет. Наоборот – за издание твоих произведений ты должен платить сам и... продавать тоже сам”.

Увы, этот ответ абсолютно точен. Если не забыть: отвечает не сценарист из Голливуда, а писатель-эмигрант, не знающий английского языка.

Сомнений, однако, не было. На его столе по-прежнему стояла и стоит привезенная из Киева пишущая машинка с русским шрифтом...

В сутолоке эмигрантского быта, в чертополохе перемен хочется – по-особому, остро – разглядеть вечный смысл бытия. Я думаю, именно так родилась автобиографическая повесть Ефима Чеповецкого “Колесо, вперед! Колесо, назад!”: первая часть ее посвящена детству и юности, вторая – смешные, а иногда печальные зарисовки эмигрантской жизни. Так появились и его притчи, его рассказы о герое еврейского фольклора, плуте и озорнике Гершеле Острополере.

...Осмыслять “бег времени” можно по-разному. Ефим Чеповецкий строит свою книгу “Шут с вами”, как строят театральное представление. Не случайно в начале каждого раздела сборника “раздвигается” занавес. И – на подмостки выходит поэт. Он не только не скрывает, напротив – подчеркивает свою роль. На многих страницах “разбросаны” клоунские колпаки и маски. С обложки смотрят на нас смеющиеся глаза автора. “Шут с вами”, – говорит Ефим Чеповецкий читателю-зрителю. Повторю: это название книги.

Конечно, оно звучит необычно. Так и хочется переспросить, подобно Феликсу Кривину, написавшему остроумное предисловие к сборнику: “Шут с нами?! Почему? За что?.. Мой друг, я принял это на свой счет и чуть было не обиделся, но, зная тебя, воздержался, вник в суть тобой написанного и стал от души смеяться. Оказывается, шут – это ты сам! И в этом привлекательном качестве хочешь остаться с читателем от первой и до последней

страницы – не отделаться от него, а наоборот, соединиться, открыть ему свою душу и развлекать его всю дорогу”.

Неожиданно, странно? Припомним однако: такая трактовка образа поэта достаточно традиционна в мировой культуре. И, кстати, – с детства близка Ефиму Чеповецкому. В повести “Колесо, вперед! Колесо, назад!” автор расскажет об уроках дедушки, местечкового книгочея, которого фашисты сожгли в 1942-м вместе с другими евреями в колхозном сарае: терпеливо и настойчиво он «учил меня шуткам, перевертышам и загадкам, требовал, чтобы я сам решал и догадывался, где правда, а где вымысел”.

К тому же, выходя к зрителям, шут не только развлекал и веселил. Вот и сейчас он путешествует во времени. Вот и сейчас мы слышим, к примеру, такой монолог:

*Учась премудростям весь век,
Узнал я в беге дней,
Что я снаружи человек
И весь внутри – еврей.*

Развивая эту тему, Ефим Чеповецкий, как и положено шуту, “наивно” не замечает многовековых заблуждений человечества, кровавых страниц истории – с простодушным упрямством произносит:

*Наши корни в Галилее,
Это в Библии дано...
Люди все вокруг евреи,
Только из дому давно.*

Хочу особо обратить внимание читателя на неповторимый, как у любого настоящего поэта, тембр голоса. Кстати, именно об этом говорил когда-то Всеволод Иванов. Как всегда, он выделил главное – литературный характер, который ничуть не изменился спустя годы. Ефим Чеповецкий, с некоторым удивлением замечал Иванов, пишет “так непринужденно, что мне захотелось взглянуть на него, услышать его голос и тем самым в какой-то степени объяснить себе эту непринужденность, которая удастся автору и в прозе, и в стихах, и в водевилях. По-видимому, эта его особенность не литературная поза, а природный дар...”

Итак, поэт стоит на подмостках жизненного театра. Конечно, он знает: рано или поздно придется проститься со зрителем:

*Уходят дети.
Улетают птицы.
И вертится без устали земля.
Все в мире к завершению
стремится
И небо дышит, звездами пыля.*

Рано или поздно занавес закрывается. Но пока – представление в самом разгаре.

В книге “предварительных итогов” нашлось место и для басен, и для романсов, и для прекрасных песен к мультфильму “Приключение капитана Врунгеля”. Произведения разных жанров естественно объединяет в “сборнике-спектакле” образ автора. Поэта. Как издревле говорили – шута.

Я не раз думал и о другом: почему так органичны в общем строе книги детские стихи Ефима Чеповецкого? Наугад выбираю сейчас одну строфу:

*Скажу вам по секрету,
Что утром, сев за стол,
Смешную сказку эту
Я в молоке нашел.*

Разумеется, здесь другая – по сравнению со стихами для взрослых – интонация. Но все тот же творческий

принцип: писать “для взрослых, как для детей, а для детей – как для взрослых”. Это хорошо подметил, читая Ефима Чеповецкого, Феликс Кривин. А я бы вспомнил еще новеллу “Как песочные часы” – мудрую притчу о странных и повторяющихся ритмах человеческого бытия: здесь выросшие дети вдруг ощущают себя родителями ... собственных отцов и матерей, старики же медленно, но очевидно возвращаются в детство.

Образ песочных часов – это и символ времени. Символ ускользающей, тающей, как песок в часах, нашей жизни. Сколько же лет прошло с тех пор, как автор придумал своего Непоседу? Сколько минуло с того дня, как Всеволод Иванов радостно встретил Ефима Чеповецкого “у порога” литературы? Я думаю об этом, но почему-то вспоминаю не даты – многочисленные книги, точно корабли, отправившиеся в плавание.

Вспомнил вдруг и веселую песенку нашего Шута:

*В море синем, как в аптеке,
Все имеет суть и вес –
Кораблю, как человеку,
Имя нужно позарез.
Имя вы не зря даете.
Я скажу вам наперед:
Как вы шхуну назовете,
Так она и поплывет!*

У кораблей этих славное имя: Ефим Чеповецкий.

ЗДЕСЬ, ТАМ И – «МЕЖДУ» (О будущей литературе – Гари Лайт)

В разговоре о поэте лучше всего сразу дать слово стихам. Все же начну с другого. Вот строка биографии: Гари Лайт приехал вместе с родителями в США в 1980-м; ему было тринадцать лет...

Не сомневаюсь: здесь уже проглядывает сюжет творчества. Здесь, кстати, четко намечен конфликт.

Я говорю не о банальном и чаще всего мнимом конфликте – столкновении двух миров в сознании ребенка. Это, конечно, случается, но, как корь, проходит бесследно. Ведь дети эмигрантов не просто стремительно врываються в американскую жизнь – они зачастую резко *отталкиваются* от себя Россию (русский язык остается у них только для общения с дедушками и бабушками: тает, скукоживается, в конце концов, становится калькой с английского...)

Это общеизвестно. Я о другом: о случае Гари Лайта. Попав в Америку, он полюбил родину и культуру Уолта Уитмена, Генри Лонгфелло, Аллена Гинзберга. Однако... не покинул и Россию. Пишет стихи по-русски и по-английски. Получил образование слависта в знаменитом Нортвестернском университете, а потом (дань прагматичной Америке?) все же стал адвокатом...

Человек между двух миров. Так мне хочется назвать лирического героя Гари Лайта. Но снова переспрашиваю себя: между? Неуютное, даже жесткое слово. Многие выходцы из бывшего СССР, попав в иммиграцию, оказываются в этом трагическом «между»: *оттуда* уехали, *сюда* так и не прибыли. Годы идут, мир сужается до нескольких улочек в «русском» районе Нью-Йорка, Чикаго или Сан-Франциско, до бесплатных русских газет, до пошлости русских ресторанов... Однако сюжет может быть совсем иным: человек живет *одновременно* в двух мирах – американском и российском, еще точнее – передвигается постоянно из одного мира в другой. Причем, подобное сосуществование ненадуманно, не вынужденно – органично... Признаюсь: именно это мне больше всего интересно в стихах Гари Лайта. Тут реальное и странное, порой фантазмагоричное – пространство его поэзии.

Итак, путешествия в разные стороны? Путешествия, как видим, предопределены самой природой этого таланта, особенностями его становления. «Гари Лайт – американский поэт с русской душой», – сказал когда-то Андрей Вознесенский.

Россию Гари Лайт сначала толком не знал. Сначала он ее отчасти выдумал, отчасти – реконструировал: с помощью любимых книг, песен, рассказов родителей и... снов. Все это есть в ранних стихах Гари Лайта. Повзрослев, он будет беспрестанно – словно не в силах утолить жажду – открывать для себя Россию «наяву». Став профессиональным юристом, отправится работать в Москву, в одну из западных фирм. Что было еще в те годы, кроме службы? Лекции в Литинституте и МГИМО, совместные выступления с русскими поэтами, театральные премьеры, выставки; навсегда заворожившие его улочки и переулки... Но самое главное – в поэтическом дневнике Гари Лайта:

*В этом городе сложной судьбы
Сквозь тугу в двух шагах от апреля
Проплывает строка о любви
Поднимается до куполов
Обретает мистический образ
И в бездонную впадину неба
Проникает все дальше и дальше
Оставаясь строкой о любви*
(«Ночные строки города», март 1996, Москва)

Вспомним снова о «человеке между двух миров». Где он теперь? Одну из своих книг Гари Лайт символично назвал «Возвращения». Именно так – во множественном числе. Эти «возвращения» и есть постоянная доминанта, нерв его поэзии. Верно подмечено: «Он будет в Чикаго размышлять о Киве, в Киве – о Чикаго, вспоминая и тут, и там своих московских и нью-йоркских друзей» (Алексей Никитин).

В «вечном движении» герой Гари Лайта многое обретает. Живя с отрочества в мире небоскребов, он так естественно для себя увидит:

*У этих окон не было ресниц,
в пустых глазницах пребывало безвременье...*

А в другой раз поэт совсем «по-русски» выдохнет:

*В Чикаго перепад температур,
над городом осадки из сирени...*

Примечательно соседство «русского» и «американского» в любовной лирике Гари Лайта. Иногда герой сознательно сравнивает:

*...И девушки в дубленках нарастах,
что на Тверской, что здесь – все те же темы:
«Секс в городе», Ирак, Пелевин, Бах.
«Вчера дала... не то чтобы хотела...»*
(«Чикаго-Москва – параллели», 24 февраля 2004)

Разумеется, подлинность чувств не связана ни с географией, ни с Камасутрой (тема одного из стихотворений Гари Лайта). Скорее – жизнь души, как всегда, созвучна жизни природы:

*Как давно ты не слушала дождь.
Знаешь, он в сентябре не скрывает
ни печали, ни запаха неба,
шелестит в обреченной листве...*

Я не пишу сейчас ни творческий портрет Гари Лайта, ни портрет его лирического героя. Надеюсь, когда-нибудь литературоведы, лингвисты, социологи совместно проанализируют искания двуязычных поэтов нашей

эмиграции. Замечу все же: «вечные возвращения», обостряя взгляд героя, порой, кажется, иссушают его душу – «возвращение» вдруг выглядит бегством от самого себя... Это тоже по-своему точно фиксирует любовная лирика поэта. В частности, одно из стихотворений октября 2004-го:

*...Стыл в подстаканниках женой налитый чай,
прозрачный воздух сумерек осенних
туманом легким, словно невзначай,
просеивался сквозь листву деревьев...
В ногах посасывал набегавшийся пес,
досаду затаив на юрких белок,
и запах женских свежесмытых волос
плыл мимо замерших в часах забытых стрелок...
Приснилось...*

В начале творческого пути Гари Лайта можно было гадать: что же перевесит в сердце поэта – Россия или Америка? Наивный вопрос. Справедливы слова Александра Дольского, заметившего (тоже много лет назад, в предисловии к одному из первых сборников стихов Гари Лайта): «Его любовь к русской литературе навсегда осталась его Страной Пребывания».

...Я ближе узнал Гари Лайта, когда по его приглашению принял участие в вечере памяти Александра Алона. В сущности, Гари и открыл для меня этого своеобразного барда, романтика, который без ложного пафоса был так предан своей мечте и идеалам: юношей Алон репатрировался в Израиль, стал морским офицером, совсем молодым погиб в Нью-Йорке, вступив в схватку с бандитами... В семнадцать лет услышав Алона в Чикаго, Гари Лайт воспринял его песни как «откровение». А «через несколько месяцев после трагической гибели Саши на Лонг-Айленде я дал себе слово, что сделаю все для того, чтобы имя Александра Алона и его творчество не канули в небытие».

Примечательно: Александр Алон осознавал себя певцом нашего Исхода и, бесспорно, был им. Алон не сомневался: тем, кто идет по символической пустыне, по-прежнему нужна русская литература, ее и в эмиграции надо создавать и строить.

Читая стихи Гари Лайта, следя за его поисками в «промежутке» всегда такой короткой жизни, я тоже думаю об этой будущей литературе.

КСЕНИЯ ГАМАРНИК

АМЕРИКАНСКИЕ ИГРЫ

Времена средневековья. В США нет романтических замков, выстроенных в эпоху средневековья, но дух старинных празднеств живёт не только в современных вариациях древних праздников и не только в красочном вихре парадов ряженных и карнавалов Нового Орлеана. Большой популярностью пользуются представления «Времена средневековья» (Medieval Times) и так называемые «ренессансные ярмарки».

Впервые идея устроить представление «Времена средневековья» в форме рыцарских поединков была опробована в 1973 году на острове Майорка. Поединки проводились под открытым небом на фоне настоящих средневековых строений.

В США представление дебютировало в 1984 году. Затея оказалась настолько успешной, что в настоящее время здесь действует восемь «средневековых» замков. Замки построены в традициях архитектуры XI века и легко узнаются издали по массивным зубчатым башням. Зрительный зал замка представляет собой овальную

арену, которую окружает амфитеатр, где за длинными столами рассаживаются зрители. Каждый замок приглашает зрителей не просто на представление, а на представление с ужином. Амфитеатр разделён на шесть секторов – по цвету Красного, Жёлтого, Синего и трёх других рыцарей. Зрители получают бумажные короны и флажки цвета одного из рыцарей, и, отрываясь от угощения, могут от души размахивать флажками и всласть болеть за «своего» доблестного воина. Рыцари выступают верхом на лошадях, сражаются на мечах и на копьях, а их поединки вплетены в сказочный сюжет с участием короля, принцессы и коварных врагов, неумолимо плетущих козни против королевской семьи. Конечно же, отважные рыцари приходят на помощь королю и его прекрасной дочери.

Ренессансные ярмарки. Другой вариант «исторических» развлечений – это так называемые ренессансные ярмарки. Современные американские ренессансные ярмарки отсчитывают свою историю от маленькой ярмарки, устроенной в 1963 году калифорнийской учительницей Филлис Паттерсон во дворе собственного дома для своих учеников. Затем так всем понравилась, что в том же году Филлис и ее мужа Рона пригласили устроить ренессансную ярмарку для сбора средств в фонд местной радиостанции. На ярмарку собралось около восьми тысяч человек! После этого супруги Паттерсон совместно с Центром живой истории основали в Калифорнии две ярмарки, весеннюю и осеннюю, которые стали местной ежегодной традицией. Из Калифорнии ренессансные ярмарки стали стремительно распространяться по всей стране.

Ренессансные ярмарки и фестивали обычно проводятся на открытом воздухе. Некоторые фестивали, такие как Пенсильванская ренессансная ярмарка, проходят в специально обустроенных местах с театральными площадками и ристалищами для рыцарских поединков, окруженными амфитеатром для зрителей. Другие ярмарки устраиваются просто в парках или на фермерском поле. Большинство ярмарок представляет собой воображаемый английский город эпохи правления королевы Елизаветы I, некоторые воссоздают времена правления Генриха VIII. Ярмарки могут также изображать город в другой стране, например, во Франции или Германии. Рамки ярмарочного псевдоренессанса нередко довольно условны, и могут включать древних викингов или, наоборот, пиратов XVIII века, а также на любой ярмарке желанны волшебники, кентавры, феи, эльфы и другие сказочные персонажи.

В ярмарках принимает участие множество музыкантов, певцов, танцоров, фокусников, жонглеров, шагоглотателей, а также актёров, наряженных знатными рыцарями, крестьянами, монахами, нищими, шутами, которые вступают в общение с посетителями. Есть тут и актёры, которые разыгрывают «шекспировские» представления или представления в духе итальянской комедии дель арте. Посетители могут приехать на ярмарку в старинных костюмах или купить или взять такой наряд напрокат прямо на ярмарке. Тут можно купить изделия ремесленников, мечи и кинжалы, книги и сувениры, попробовать «ренессансные» угощения, продегустировать вино или пиво, поучаствовать в «ренессансных» забавах и играх. Атракционы для детей тоже стилизованы под старину, это карусели или «лодки», которые приводят в движение и раскачивают не моторы, а люди. Здесь можно посетить мини-зоопарк, покатасть детей на пони и послушать рассказ про соколиную охоту, причем сокол будет сидеть на руке рассказчика.

Чикагский журналист Нил Стейнберг так написал про ренессансную ярмарку: «Если парки аттракционов с их

картонными улицами пропитаны ароматом невыразительной безопасной гомогенизированной «белохлебной» Америки, то ренессансная ярмарка представляет собой другой полюс социального спектра: дымок оккультного, вспышку опасности, намёк на эротику»¹.

Парки аттракционов. Как бы критично не отзывался Нил Стейнберг про парки аттракционов, но они пользуются неизменной любовью американцев. Нигде в мире создание парков аттракционов (которые ведут свою историю от городских и деревенских ярмарок, во время которых устраивались развлечения – качели и карусели, представления странствующих комедиантов и кукольного театра, паноптикумы с диовинками) не проводится с таким размахом, как в США. Самыми известными являются тематические парки, основанные прославленным продюсером и мультипликатором Уолтом Диснеем. Так же популярны парки Universal Studios (парки киностудии «Юниверсал»), Sea World («Морской мир») и Busch Gardens («Сады Буша»).

Первым парком аттракционов, построенным под непосредственным присмотром Уолта Диснея, стал Диснейленд, который открылся в калифорнийском городе Анахайме в 1955 году. За прошедшие десятилетия парк посетило астрономическое число гостей – 600 миллионов человек!

С тех пор империя, основанная Диснеем, продолжает расти и расширяться. В настоящее время только в городе Орlando, штат Флорида, работает четыре диснеевских парка аттракционов, а также два диснеевских парка с водными аттракционами. Первым в Орlando открылся парк Диснея Magic Kingdom – «Волшебное королевство» (1971), ориентированный на малышей. Вслед за ним последовал парк Epcot – «Эпкот» (1982), соединивший город будущего и всемирную ярмарку; затем парк с аттракционами на темы кинофильмов «Голливудские студии Диснея» (1989) и парк-сафари Animal Kingdom – «Царство зверей» (1998). Диснеевские парки Орlando расположены на участке площадью 47 квадратных миль и объединены в единую систему Disney World – «Мир Диснея». На этом же участке возведены 24 диснеевские гостиницы, постояльцы которых получают льготный доступ в парки.

Диснеевские парки действуют не только в США. Они открылись в Токио (1983), Париже (1992) и Гонконге (2005). «Мир Диснея» является самой посещаемой системой тематических парков на свете.

Купив весьма дорогостоящий билет, посетители немедленно погружаются в приподнятую оживлённую атмосферу нарядного парка. Они могут (если, конечно, не устанут стоять в бесконечных очередях) посетить любой аттракцион от старомодной карусели до захватывающих дух «американских горок», посмотреть представления с актёрами и компьютерные шоу, покатаются на катере и поезде, сфотографироваться с персонажами мультфильмов, полюбоваться красочными шествиями сказочных героев и фейерверками, а также живыми зверями и птицами, насладиться видом редких растений.

Традиционно можно предположить, что парки аттракционов рассчитаны в первую очередь на родителей с детьми. Однако специалисты по рекламе, особенно сверхэнергичные маркетологи империи Диснея, старательно внушают американцам мысль, что тематические парки доставят удовольствие людям любого возраста. Рекламные ролики и брошюры приглашают не просто посетить диснеевские парки, но и отпраздновать там день рождения, помолвку, сыграть свадьбу и провести медовый месяц, отметить юбилей или годовщину свадьбы. Поэтому так же часто можно увидеть телерекламу парков, в которой показывают малышей, как и ролик, в ко-

тором пожилая супружеская чета со счастливыми улыбками кружилась на карусели. Реклама настойчиво приглашает потребителей снова ощутить себя детьми. И действительно, миллионы людей с удовольствием становятся Питер Пэнами на день, терпеливо выстаивая в очередях на аттракционы.

Любопытный взгляд на детище Диснея предложил в своей книге «Миф от ледникового периода до Микки Мауса» американский историк Роберт Броквэй. Он написал: «Уолт Дисней воспроизвел мир ребёнка с невиданным размахом, а именно потому, что сам он так никогда и не расстался с детством»ⁱⁱ.

Давая характеристику Диснейленду, Броквэй называет парк не только «игрушкой, детским миром, достаточно большим, чтобы в нём можно было прогуливаться», но даже «собором капитализма» и «храмом некой религии», святыми которого стали Микки Маус и Дональд Дак, «теологами культа Диснея являются его имаджинеры (дизайнеры – К.Г.)»; а священнослужителями – костюмированные служащие»ⁱⁱⁱ. Отдавая должное продуманности и уюту парка, помогающего взрослым вернуться в детство и ненадолго забыть о суровых реалиях повседневной жизни, Броквэй, в то же время, видит его в жёстком свете реальности: «Создания Диснея – это сахариновые транквилизаторы ... Это опиаты. Однако всем нам время от времени нужны опиаты, а торговая марка Диснея действует очень успокоительно»^{iv}.

Интерактивный опыт

«Хочешь, верь, хочешь, нет». Помочь людям удовлетворить тягу к игре, вновь пробудить в себе (по определению Юнга) «внутреннего ребёнка» или «ребёнка в себе» стремятся не только диснеевские имаджинеры. Снова ощутить себя ребёнком можно в музее. Речь идёт о сети музеев ‘Ripley’s Believe It or Not!’ – «Хочешь верь, хочешь нет», основанной художником, журналистом и антропологом-любителем Робертом Рипли (1890-1949). В юности у Рипли были две страсти – спорт и искусство. Он перебрался в Нью-Йорк в надежде попасть в бейсбольную команду, но травма положила конец его надеждам. Тогда Рипли устроился в газету «Нью-Йорк Глоб» и начал делать рисунки, посвященные спортивным достижениям и неудачам. Очень скоро он понял, что спортивная тема слишком узка, и стал зарисовывать для газеты все диковинное и необычное. В начале 1920-х Рипли совершил первое кругосветное путешествие и с восторгом зарисовывал всё увиденное в дневнике, который позднее опубликовал.

Немедленно по возвращении Рипли взял на службу в качестве ассистента лингвиста Норберта Перлрота (1893-1983), знавшего 11 языков. В обязанности ассистента входил поиск и проверка достоверности необычных фактов и происшествий в иностранных газетах и книгах. Перлрот был уникальной личностью в своём роде. Он родился в Австрии и получил образование в Кракове. Оказавшись после первой мировой войны в США, Перлрот устроился на работу в банк, а затем на службу к Рипли, у которого он проработал 26 лет. После кончины Рипли Перлрот работал на синдикат, основанный Рипли, еще 26 лет. Его распорядок дня никогда не менялся. Педантичный лингвист приезжал на метро из Бруклина на Манхеттен и работал в читальном зале Нью-Йоркской бесплатной библиотеки шесть дней в неделю по десять часов в день. По подсчётам сотрудников библиотеки, Перлрот в среднем просматривал 7000 изданий в год, то есть, за время своей деятельности он изучил свыше 350 000 изданий.

В 1929 году одновременно в семнадцати газетах, которые выходили в разных странах, продебютировали рисунки Рипли под заголовком «Believe It or Not!» – «Хо-

чешь верь, хочешь нет!». В том же году увидела свет первая из серии книг, составленных из рисунков Рипли. На каждом рисунке обычно изображены три сюжета с пояснениями. Сюжеты могут касаться любопытных исторических фактов, достижений техники, необычных преступлений, разного рода рекордов, несчастных случаев или невероятного стечения обстоятельств, странных погодных явлений и стихийных бедствий, нравов и обычаев разных народов, природных диковинок, и многого другого.

В 1930 году Рипли, не оставляя газетных выпусков, начал также делать передачи для радио, и посвятил этому занятию последующие 18 лет. Он колесил по свету и вёл репортажи из разных стран, даже из пещер, в небе и из-под воды. В поездках он без устали пополнял своё собрание необычного.

Страсть к коллекционированию диковинок зародилась в Европе в эпоху Возрождения. Собрания хранили в «кабинетах» – так называли ларцы с множеством маленьких выдвижных ящичков, в которых сберегались античные монеты, геммы, драгоценности. Затем «кабинетом» стали называть зал или комнату, где размещали редкости, образцы природы, искусные изделия небольшого формата. В мюнцкабинетах хранились монеты и медали; в шатцкамерах – изделия из драгоценных камней и металлов; вундеркамерами называли кабинеты редкостей природы; кунсткамерами – кабинеты искусства с необычными творениями рук человеческих и редкостями природы. Впрочем, грань между содержимым таких кабинетов носила весьма условный характер. В России подобные собрания называли «кабинет диковинок» или «кабинет чудес». Моду на них завёл Пётр I, основавший санкт-петербургскую Кунсткамеру.

С энтузиазмом неопита Рипли, в свою очередь, коллекционировал всё, что привлекало его внимание – от специально обработанных голов туземцев, сморщившихся до размера яблока, до скульптур, созданных из тысяч гвоздей или спичек, от композиции из волос до чучела двухголового телёнка.

В 1933 году Рипли на основе своей всё разрастающейся коллекции открыл первый музей диковинок в Чикаго, нечто среднее между паноптикумом и «кабинетом чудес». В Чикаго в том году как раз проходила всемирная выставка и музей Рипли посетило почти два миллиона человек. К концу десятилетия подобные музеи открылись также в Сан-Диего, Далласе, Кливленде, Сан-Франциско и Нью-Йорке. К этому времени Роберт Рипли объехал свыше двухсот стран, а «Нью-Йорк Таймс» назвал его «самым известным человеком в Америке».

Самую большую популярность Рипли приносило то, что в своих рисунках он нередко использовал факты, случаи и сюжеты, о которых узнавал из писем читателей. Рипли получал больше писем, чем президент США – в среднем он ежедневно получал свыше 3500 писем, то есть, миллион писем в год. Известность Рипли даже вошла в поговорку – когда кто-нибудь рассказывал об интересном случае, слушатели тут же замечали: «Ну, это история для Рипа!». Рипли гордился тем, что каждая история, которую он изображал в своих рисунках или упоминал в своих радио- и телепередачах, имеет (благодаря стараниям Перлрота) документальное подтверждение. Согласно подсчётам, «нарисованные истории» Рипли в воскресных газетах просматривали 80 миллионов читателей по всему миру, везде, где издавались американские газеты. В 1948 году радиопередача Рипли была заменена телепередачей, но он успел издать всего в дюжине эпизодов.

В настоящее время империя, основанная Рипли, включает в себя 85 развлекательных музеев и туристических

аттракционов в 11 странах мира, которые ежегодно посещает 12 миллионов человек. В этот внушительный список входят 25 музеев «Музей Рипли: Хочешь верь, хочешь нет» (из них 19 в США), пять музеев рекордов Гиннеса, три музея-аквариума, четыре музея восковых фигур и многое другое. Продолжается ежедневный выпуск рисованных выпусков «Хочешь верь, хочешь нет», созданных в манере Рипли, которые публикуются в двухстах газетах, а также производится выпуск книг, телепередач и компьютерных игр, посвященных всему необычному.

Уже сами здания музеев «Хочешь верь, хочешь нет» поражают воображение и будят любопытство. Например, музей «Хочешь верь, хочешь нет» в Атлантик-Сити, штат Нью Джерси, выглядит так, словно в него попал огромный шар, представляющий собой не что иное, как планету Земля, отчего фасад музея раскололся и вот-вот обрушится. Здание музея в Оушен-Сити, штат Мерилэнд, пронзила громадная акула. Музей «Хочешь верь, хочешь нет» в Панама-Сити, штат Флорида, выстроен в виде тонущего теплохода. На здание музея в Миртл-Бич, штат Южная Каролина, навалился гигантский краб.

В музее посетители могут не только рассматривать удивительные экспонаты из коллекции Рипли, но и поглядеть в кривое зеркало, посидеть на говорящем троне, пройти по вращающемуся туннелю, вызывающему неодолимое головокружение.

Уолт Дисней, по мнению Роберта Броквэя, так и не расстался с детством и создал диснеевские парки как дань своим фантазиям. Вот и про Роберта Рипли можно сказать, что его музеи напоминают разросшуюся коллекцию вездесущего любознательного мальчишки вроде Тома Сойера. Музеи «Хочешь верь, хочешь нет» захватывают воображение детей и помогают разбудить во взрослых детское любопытство к странному и необычному.

Музеи нового поколения. Игра предполагает самозабвенное погружение в ту или иную игровую реальность – идёт ли игра в «шпионов и разведчиков», в «войну», в «дочки-матери» или в «казаков-разбойников». Сегодня на помощь американцам в деле погружения в ту или иную обстановку или историческую эпоху приходят интерактивные музеи нового типа и передвижные интерактивные выставки, где экспонаты можно и даже нужно трогать руками. В обычных музеях посетители являются всего лишь зрителями, разглядывающими экспонаты. Однако нынче музеи вынуждены конкурировать не просто с кино, но и с так называемым трёхмерным кино, с захватывающими дух киноэффектами компьютерной графики, с телевидением высокой чёткости и интернетом. В интерактивных музеях посетителей приглашают не только осмотреть экспозицию, но и пережить опыт прямого участия – пощёлкать кнопками компьютеров, выводя на экраны нужную информацию, потрогать экспонаты, выполнить какое-либо задание – например, ответить на вопросы в каждом из залов музея, заполнив карточку, и получить в подарок небольшой сувенир.

Примерами интерактивных музеев нового поколения могут послужить два музея, открывшихся в последнее десятилетие в столице США.

Музей бойцов невидимого фронта. International Spy Museum – Международный музей шпионажа, распахнувший свои двери в 2002 году, со дня открытия пользуется огромной популярностью. Музей уникален, поскольку даёт представление об истории шпионажа, помогает изучить практику шпионажа в разных странах и знакомит с самыми яркими представителями «бойцов невидимого фронта».

Для того, чтобы познакомить посетителей со столь серьезной темой, как шпионаж, организаторы музея решили воспользоваться игровой формой. Гостям музея дается несколько минут на то, чтобы выбрать и заучить подробности (имя, фамилия, возраст, место жительства, профессия, цель поездки и т.д.), касающиеся одного из воображаемых людей, под личиной которого посетителю предстоит «проникнуть» в музей. Позже гости музея с помощью компьютеров могут проверить, насколько хорошо они помнят свою «легенду». Посетители, готовые к приключениям, могут пробраться в специальный лаз и проползти по узкому проходу, проложенному над потолком одного из музейных залов.

В музее представлены классические образцы из арсенала тайных агентов: ботинок, в каблук которого вмонтировано подслушивающее устройство, пистолет с одной пулей, замаскированный под тубик с помадой, и пальто, в пуговицу которого вставлен миниатюрный фотоаппарат. Кстати, все эти предметы – и пистолет-помада, получивший название «Поцелуй смерти», и ботинок, и добротное габардиновое пальто – разработки советской контрразведки.

Несколько залов посвящены истории шпионажа, которая уходит корнями в глубокое прошлое. Но, конечно, особенно изощренная работа шпионов стала в XX веке, с изобретением новых технологий. В одном из залов музея экспонируется портативная шифровальная машина «Энигма» (англ. *Enigma* – загадка). С помощью интерактивных компьютерных мониторов, воспроизводящих «Энигму», посетители музея могут сами попытаться зашифровать или расшифровать текст.

Посещение Музея шпионажа и знакомство с его превосходно оформленными экспозициями позволяет каждому пережить «шпионский опыт».

Музей преступлений и наказаний. В 2008 году в калейдоскопе вашингтонских музеев появился еще один музей. Его название знакомо всем, кто любит русскую литературу, хотя музей не имеет к ней никакого отношения. Это National Crime and Punishment Museum – Национальный музей «Преступление и наказание», посвященный эволюции преступлений и наказаний в Америке, начиная с колониальной эпохи и до наших дней.

Раздел «Наказание: последствия преступления» посвящен расплате за злодеяния. Посетители попадают в камеру предварительного заключения, у них берут отпечатки пальцев и проверяют показания на детекторе лжи. Здесь можно увидеть гильотину, а также современные приспособления для исполнения смертной казни в США, варьирующиеся от штата к штату: подлинный электрический стул, газовую камеру и устройство для производства смертельных инъекций.

В разделе «Борьба с преступностью» можно попытаться силы в стрельбе в компьютерном «тире ФБР» или «погнаться за преступниками», усевшись за руль симулятора полицейского патрульного автомобиля.

Еще один раздел музея посвящен нелегкой деятельности работников CSI (crime scene investigators) – служащих, изучающих места преступлений. Посетители музея сперва попадают на «место преступления» в «квартиру № 13» и могут ощутить себя служащими службы CSI, изучить и проанализировать «улики», а затем в лаборатории CSI знакомятся с достижениями науки, приходящей на помощь следователям: с баллистической экспертизой, анализом отпечатков пальцев и образцов крови. В «морге» можно увидеть натуралистически выполненное пластиковое «тело», приготовленное для вскрытия.

Визит в музей завершается посещением телестудии, где проводятся съемки передачи «America's Most Wanted» («Самые опасные преступники Америки»). За

двадцать лет выхода передачи в эфир звонки телезрителей помогли арестовать свыше тысячи преступников, скрывавшихся от правосудия.

Клубы и конвенции. Страсть к игре можно удовлетворить не только, украшая жилища к праздникам или посещая интерактивные музеи. Любовь к игре особенно ярко проявляется в увлечениях людей, собирающихся в клубы по интересам и клубы ролевой реконструкции. Подобных клубов и обществ существует в Америке великое множество.

Самые преданные поклонники средневековья и времен ренессанса становятся членами клубов и обществ, где они устраивают рыцарские поединки, учатся сражаться на мечах и наряжаются в специально заказанные исторические костюмы. Есть и сообщества, члены которых предпочитают наряжаться пиратами. Люди, увлекающиеся историей американской революции или американской гражданской войны, участвуют в театрализованных представлениях, тщательно воспроизводящих те или иные боевые эпизоды этих знаменательных событий. Для этого они заказывают себе военные формы нужного столетия и соответствующую обувь, репетируют военные операции.

Помимо клубов исторической реконструкции, существуют общества поклонников романов и фильмов в жанрах сказки, «фэнтези» и научной фантастики. Самых преданных читателей сказочных романов Д. К. Роулинг про мальчика-волшебника Гарри Поттера можно увидеть в нарядах персонажей книги или просто в чёрных мантиях и колпаках волшебников. Число поклонников Гарри Поттера соперничает с числом поклонников трилогии «Властелин колец» Д. Р. Р. Толкиена. О фанатах космической саги «Звёздные войны» и говорить не приходится – кинопопса Джорджа Лукаса оказала огромное влияние на американскую массовую культуру, объединив в фанклубы и клубы ролевой реконструкции тысячи увлечённых людей. Взрослые с удовольствием погружаются в атмосферу космической саги, надевают одежду благородных рыцарей-джедаев и с упоением размахивают световыми мечами.

Даже в частной жизни поклонники той или иной эпохи или того или иного явления массовой культуры не устают следовать своим привязанностям. Так, участники свадьбы, начиная от жениха и невесты и заканчивая гостями, могут быть наряжены в средневековые наряды или в костюмы персонажей «Звёздных войн», облачиться в одежду порыва американской гражданской войны или принять обличья супергероев, обратиться в сказочных эльфов или обернуться ковбоями эпохи покорения дикого запада.

Для того, чтобы объединить поклонников какого-либо явления массовой культуры, проживающих в разных городах, организовываются специальные слёты-конвенции. Так, проводятся конвенции для любителей фантастики, или даже конвенции для фанатов какого-нибудь одного сериала, например, для любителей сериала «Звёздный путь» или сериала «Звёздные врата». На конвенцию большинство фанатов предпочитает являться в обличье своего любимого персонажа. Они отдают предпочтение конвенциям всей душой, самостоятельно изготавливая или заказывая в мастерских сложные костюмы, готовя, а затем разыгрывая по одиночке или группами целые представления. Другие посетители конвенций удовлетворяются тем, что надевают майку с изображением любимого героя или покупают здесь же в сувенирном киоске забавный головной убор.

Поклонники комиксов регулярно устраивают собственные конвенции. В густой толпе, наводняющей Комик-Коны (Comic-Con – конвенции комиксов), можно встре-

тить как супергероев самых популярных комиксов, таких как Супермен, Человек-паук и Бэтмен (человек-летучая мышь), так и персонажей самых редких и малоизвестных комиксов. Здесь же встречаются персонажи мультипликационных сериалов для взрослых, например, таких как «Симпсоны» и «Футурама», и персонажи «Звёздных войн», ведь уже давно из печати выходят посвященные им комиксы.

Вообще, супергерои – чисто американский феномен. Праотцом и прототипом всех супергероев стал Супермен в его броском сине-красно-жёлтом костюме, впервые представленный публике в выпуске комиксов «Экшен Комикс № 1» в июне 1938 года. Вслед за ним последовали десятки и сотни других супергероев. Обычно супергерои наделены особыми сверхсилами – например, умеют летать или бить в цель энергострелами, обладают лазерным зрением. Человек-паук выпускает суперпаутину, которая помогает ему «перелетать» с одного высотного здания на другое. Другие супергерои обладают особым оружием или технологией, вроде силовых бронекостюмов Железного человека или кольца силы Зелёного Фонаря. Супергерои используют свои сверхвозможности для борьбы с преступниками, враждебно настроенными инопланетными пришельцами, монстрами и чудовищами, а также с суперзлодеями – то есть, со злодеями, которые, также как и супергерои, наделены сверхсилами, но направляют их не во благо, а во зло.

Начиная с Супермена, супергерои приобрели суперпопулярность. Помимо комиксов, они представлены в радиосериалах, телепередачах, видеоиграх и в кино. Недавно супергерои начали осваивать новый жанр – мюзикл. В супергероях – этих продуктах наивного мифотворчества XX века, выразилась детская мечта американцев об отважных и справедливых защитниках «простых людей».

Не менее популярны, чем Комик-Коны, и Аниме-Коны (Anime-Con – конвенции аниме), где собираются любители компьютерных игр, популярной японской культуры, манги (японских комиксов) и аниме (японских анимационных сериалов, многие из которых делаются по мотивам комиксов-манга).

Помимо персонажей компьютерных игр, например, супербратьев Марио или Принцессы Пич, и героев аниме-сериалов, таких как «Наруто», «Пожиратель душ» (Soul Eater), «Луна в матроске» (Sailor Moon) и других, особое внимание на Аниме-Конах привлекают девушки, одетые по так называемой моде «лолита» (или просто Loli). Многие «лолиты» отвергают связь между названием своей моды и романом Владимира Набокова «Лолита». Если такая связь и существует, неохотно признают некоторые «лолиты», то она означает лишь, что название подчёркивает детский характер моды. «Лолиты» действительно предпочитают одеваться как маленькие девочки, но при этом они ни в коем случае не желают выглядеть призывно-сексуальными. Наоборот, они стремятся предстать в облике утончённом, скромном и подчёркнуто невинном. Идеалом «лолит» является главная героиня сказки «Алиса в стране чудес».

Завоевавшая популярность среди молодёжи детская и кукольная мода «лолита», зародившаяся на улицах Токио и Осаки в 1980-х годах, навеяна нарядами викторианской эпохи. «Лолиты» наряжаются в блузки с оборками и пышные юбки до колен или короткие платья. Головы они обычно украшают крошечными шляпками, чепчиками или бантами. На ногах у них украшенные бантиками туфли либо зашнурованные сапожки, в руках они держат сумочки, мягкие игрушки и ажурные зонтики.

Интересно, что «лолита» «лолите» рознь – эта мода разделяется на множество направлений. «Готические лолиты» (кратко GothLoli) предпочитают строгие тёмные

цвета; «сладкие лолиты» подражают детской и кукольной моде с её любовью к розовому и голубому и рисунком ткани в полоску, клетку и горошек; «классическим лолитам» нравятся ткани с цветочными орнаментами. «Лолиты широ» одеваются исключительно в белое и оттенки кремового, а «лолиты куро» – только в чёрное. «Лолиты панки» вдохновляются рок-модой панков – они носят наряды с металлическими заклёпками, юбки в красно-чёрную клетку, полосатые носки или чёрные чулки в крупную сетку, цепи, кресты и другие массивные металлические украшения. А есть еще и другие направления – «лолиты ва» привносят в свой стиль элементы традиционной японской одежды; соломенные шляпки и корзинки – неперенные атрибуты «лолит кантри». «Лолиты гуру» заставляют вспомнить Хэллоуин – они рядятся в белое и используют бинты и бутафорскую кровь, чтобы создать трагический образ невинной сломанной куклы, а «лолиты кодона» (в Японии они называются «лолиты оджи») черпают вдохновение в моде для мальчиков – они носят шляпы-котелки, цилиндры или кепи, сорочки с жабо и галстуком-бабочкой, фраки и жилеты, брюки до колен на подтяжках – наряжаются по этой моде чаще всего девушки, но иногда ей следуют и юноши.

Стайки «лолит», собравшихся вместе, являют собой очень живописную картину. Мода «лолита» даёт возможность взрослым девушкам вернуться в мир детства.

Кукольный мир. Кукол и кукольную моду любят не только «лолиты». Хотя игрушки и кукольный театр традиционно считаются развлечениями для детей, некоторые взрослые не могут расстаться с куклами всю жизнь. Из них и получают кукольников и коллекционеры игрушек.

Кукольный дом Флоры. Когда речь заходит о кукольных домах, то хочется непременно вспомнить Флору Джейкобс (1918-2006), основавшую музей игрушек и кукольных домов. В детстве у Флоры не было кукольного домика, зато такой домик был у соседской девочки, и он запомнился Флоре на всю жизнь.

После окончания университета Флора работала реактором отдела моды и вела женскую страницу газеты «Вашингтон Пост». В 1945 году она сделала находку, которая навсегда изменила её жизнь: она купила свой первый кукольный домик, сделанный в XIX веке. «Он был в таком плохом состоянии, что казалось, там обитают привидения», – вспоминала Флора. С той поры она посвятила себя коллекционированию и стала одним из ведущих специалистов страны по антикварным игрушкам. Флора Джейкобс выпустила пять книг на эту тему, в том числе «История кукольных домов: Четыре столетия домашнего уюта в миниатюре» (1953), «Кукольные дома в США» (1974) и «Миниатюрный мир антикварных кукольных домов» (2005). Также она опубликовала несколько книг для детей, включая «Тайну кукольного домика» (1958) и «Скворечник с привидениями» (1974).

Постепенно коллекция Флоры разрасталась и ей стало тесно в её доме, поэтому в 1975 году Флора арендовала в столице небольшое здание и открыла там Вашингтонский музей игрушек и кукольных домов, первый музей подобного рода в США.

Шесть дней в неделю на протяжении почти тридцати лет Флора Джейкобс принимала посетителей и наводила порядок в своих домиках. «Я редко выхожу в мир, где есть предметы реального размера», – с улыбкой говорила Флора. Ежегодно в музее бывало 20,000 посетителей. Конечно, если сравнивать эту цифру с показателями ватингтонского Музея космоса или Музея шпионажа, которые каждый год посещает несколько миллионов человек, эта цифра достаточно скромная. Однако для небольшого частного музея это серьёзный показатель, который

говорит о том, как много людей увлечены историей игрушек. К сожалению, о музее Флоры Джейкобс приходится писать в прошедшем времени. В 2004 году она закрыла свой музей, выставила коллекцию на аукцион и распродала ее по частям. Себе на память она оставила только свой первый кукольный дом. В столице, наполненной огромными музеями, увы, не нашлось людей, которые бы позаботились о сохранении в неприкосновенности камерного кукольного мира Флоры Джейкобс.

Куклы-маппеты Джима Хенсона. Джим Хенсон (1936-1990) получил гораздо более широкую известность, чем скромная преданная служительница кукольного мира Флора Джейкобс. Хенсон вошел в историю кукольного театра как создатель кукол-маппетов, став самым известным в США телевизионным кукольником.

Уже в годы учёбы в университете Джим начал экспериментировать с созданием кукол и делать для телевидения пятиминутные кукольные выпуски. Создавать кукол Хенсону помогала однокурсница Джейн Небел. Получив дипломы, Джим и Джейн поженились. В этом браке родилось пятеро детей. Все они с раннего возраста помогали родителям в работе с куклами.

В 1969 году куклы-маппеты Хенсона дебютировали в детской телепередаче «Улица Сезам» (Sesame Street). На воображаемой нью-йоркской улице Сезам живут Большая Птица, лягушонок Кермит, Элмо, ворчливый Оскар, друзья Берт и Эрни, любитель сладкого Куки-монстр – Cookie Monster (в русском варианте Коржик). Сам Хенсон был кукловодом Кермита и Эрни.

Постепенно кукольник стал задумываться над тем, как расширить зрительскую аудиторию. Однако в США его замыслы не встретили поддержки. Телевизионные продюсеры были уверены, что куклы-маппеты могут заинтересовать только детей.

В 1976 году Хенсон перевез свой творческий коллектив в Англию. Именно там начались съемки «Маппет-шоу» (The Muppet Show), посвященного жизни музыкального театра. В каждом выпуске участвовали приглашённые знаменитости. Ведущим шоу выступал лягушонок Кермит, уже известный по «Улице Сезам». Так же в шоу появились новые персонажи, такие как красавица-свинка Мисс Пигги, медвежонок Фоззи, Доктор Зуб и многие другие. Хенсон был кукловодом семи персонажей шоу, включая Кермита. Вообще, кукольник любил называть застенчивого лягушонка Кермита своим альтер-эго. Телепередача пленила взрослую аудиторию Англии, а затем и других стран. В 1978 году еженедельное «Маппет-шоу» смотрели 235 миллионов телезрителей в 106 странах мира, а журнал «Тайм» назвал шоу «самой популярной телепередачей, которая выпускается в настоящее время на планете Земля».

Покорив телевидение, маппеты появились на большом экране. В 1979 году вышла кинокартина «Маппет-фильм» (The Muppet Movie). За ним последовали фильмы «Темный кристалл» (1982), «Маппеты покоряют Манхэттен» (1983) и «Лабиринт» (1986).

После пяти лет работы в Англии Джим Хенсон вернулся в США. В конце 1980-х годов он снимал передачи для детей и строил планы сотрудничества со студией Диснея, но этому помешала его безвременная кончина.

Авеню Q. Идеи Джима Хенсона находят продолжение и сегодня. Передача «Улица Сезам» продолжает выходить в эфир. А поклонникам театра полюбился мюзикл Avenue Q («Улица Кью»), в котором наравне задействованы актёры и куклы, выполненные в стиле кукол-маппетов.

Показ мюзикла «Авеню Кью» начался в одном из так называемых «офф-бродвейских» театров. Однако спектакль вызвал настолько единодушный восторг зрителей и

театроведов, что очень скоро дебютировал на Бродвее. В 2004 году мюзикл был награжден тремя наградами «Тони», включая «Лучший мюзикл года».

Герой спектакля «Авеню Кью», кукла по имени Принстон, юный выпускник университета, приезжает в Нью-Йорк. Единственное жилье, которое по карману Принстону, оказывается в бедном районе на авеню Q. Принстон и его колоритные соседи, роли которых исполняют люди и куклы, пытаются найти в Нью-Йорке работу, любовь и смысл жизни. Несмотря на использование кукол, постановка поднимает серьезные темы. Критики назвали «Авеню Кью» взрослой версией детской телепередачи «Улица Сезам».

Помимо «Авеню Кью», взрослые зрители с немалым удовольствием, чем дети, посещают такие, на первый взгляд, «детские» бродвейские мюзиклы, как «Лев-король» (англ. *Lion King*, поставленный в 1997 году по мотивам одноименного диснеевского полнометражного анимационного фильма 1994 года) и «Злая» (англ. *Wicked*). Мюзикл «Злая», премьера которого состоялась в 2003 году, создан по книге Грегори Макгвайра. Писатель сочинил «приквел», то есть, предысторию излюбленной американцами волшебной повести «Волшебник страны Оз», которую написал в 1900 году Лаймэн Фрэнк Баум. Постановки «Лев-король», «Авеню Кью» и «Злая» продолжают идти на Бродвее.

Жизнь как игра. Иногда кажется, что игровая стихия с её ощущением «невсамделишности» захлёстывает самые неожиданные сферы американской действительности. Даже американские загородные дома нередко напоминают кукольные домики, особенно жилища, построенные в последние десятилетия – образцы удешевления себестоимости строительства. Дома выстроены из каких-то лёгких непрочных щитов, чуть ли не из картона. Двойные стены наполнены внутри для тепла синтетической стекловатой и при пожаре сгорают за несколько минут, при ураганном ветре рассыпаются, как карточный домик. А по фасаду, для вящей внушительности, многие дома выложены кирпичом или камнем. Впрочем, это не настоящие кирпичи и не настоящие камни, а, как говорят строители, «вполкирпича» – отделочный материал из лёгких, сильно «похудевших» кирпичей, или декоративные, так называемые «синтетические» камни. Лужайки перед домами нередко украшены гипсовыми львами размером с кошку; тележками, превращенными в подставки для вазонов с цветами; умильными гипсовыми скульптурами детей и даже маленькими декоративными колодцами, в которых нет воды.

Просторные чистенькие типовые торговые площади, примыкающие к шоссе, застроены по периметру буквы П магазинами, и сильно напоминают декорации. Кажется, зайдёшь за угол здания, а там – ничего нет, только деревянные подпорки поддерживают листы фанеры с нарисованными на фасаде окнами и дверями.

А разве можно позабыть о любви американцев к спортивным матчам? Состязания атлетов в силе, быстроте и ловкости пользуются любовью человечества с древних времён. Однако в американской интерпретации спортивные соревнования превратились в представление, в которое, кроме атлетов, вовлечены другие участники. Так, у баскетбольных и бейсбольных команд, а также команд по американскому футболу, существуют группы поддержки (англ. *Cheerleading*). Это группы девушек и юношей (англ. *Cheerleaders*), которые рифмованными речовками призваны поддерживать дух своей команды. Девушки обычно наряжены в короткие кофточки и мини-юбки и размахивают так называемыми помпонами – огромными кистями, собранными из разноцветных ленточек. Перед началом игры и в перерывах группы поддержки высту-

пают с головокружительными номерами, представляющими собой сочетание спортивного танца, гимнастики и акробатики. Вплетая в своё выступление скандирование речовок, «черлидеры» танцуют, ходят колесом, подбрасывают друг друга высоко в воздух и строятся в живые пирамиды.

Группы поддержки существуют у детских, юношеских и школьных команд, а также у профессиональных команд, входящих в региональные и национальные лиги. В последние десятилетия *cheerleading* приобрёл такую популярность, что появились независимые группы поддержки, несвязанные с какими-либо спортивными командами, которые выступают на конкурсах по черлидингу.

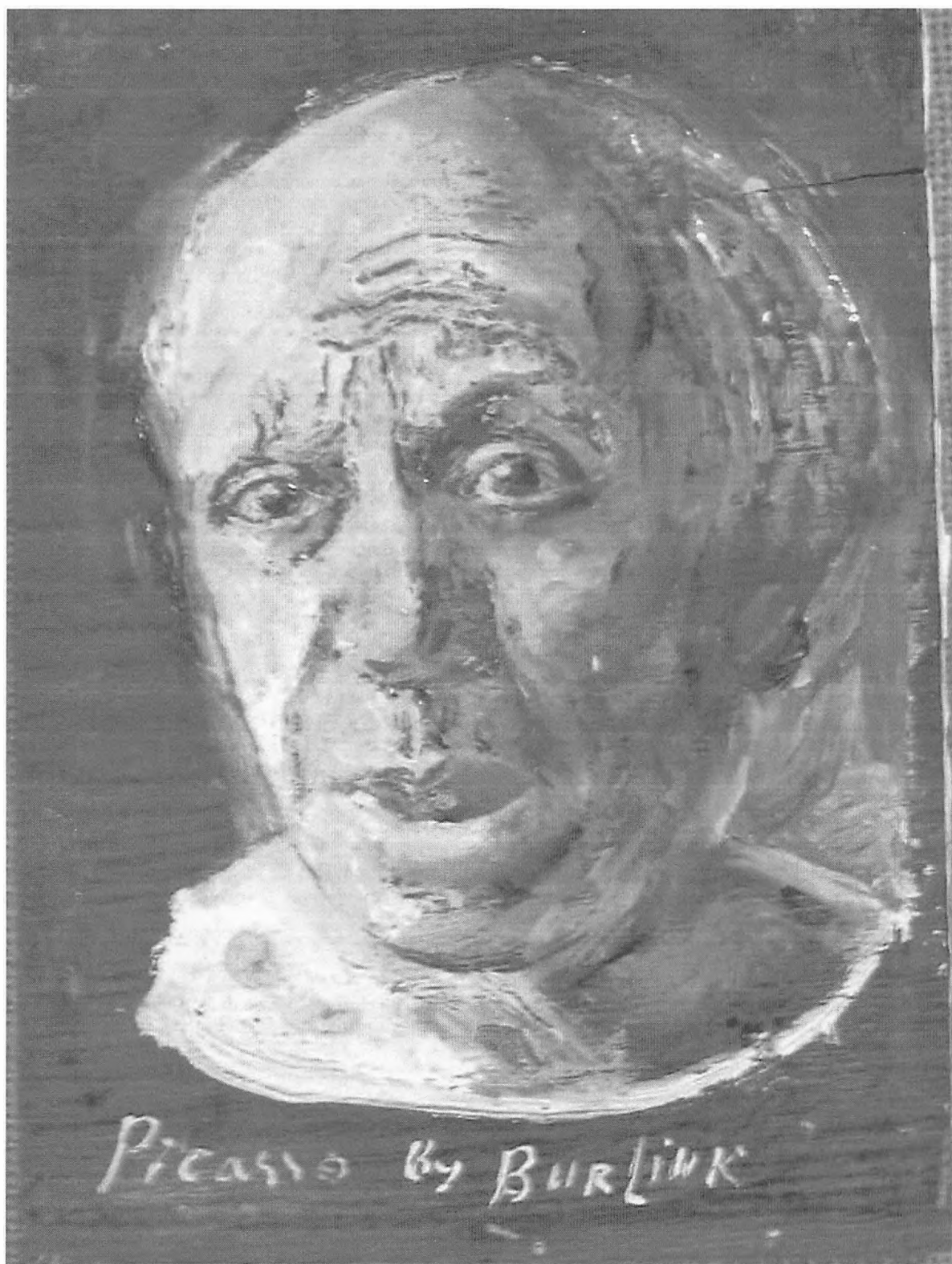
Днём рождения черлидинга считается 2 ноября 1898 года, когда Джон Кембэлл, студент университета Миннесоты, во время футбольного матча организовал команду болельщиков для выкрикивания речовок. Поначалу это было исключительно мужское занятие, но, начиная с 1920-х годов, в черлидинге начали участвовать девушки.

Зажигательными выступлениями черлидеров игровой аспект матча не исчерпывается. В нём обычно принимает участие персонаж-талисман команды, его ещё называют маскот (от фр. *mascolte* – человек, животное или объект, приносящий удачу). Одним из наиболее узнаваемых маскотов в США стал Филли Фанатик – талисман бейсбольной команды «Филадельфия Филлиз», входящей в национальную лигу, представленный болельщикам в 1978 году. Это симпатичное ярко-зелёное мохнатое существо с большим круглым брюхом, напоминающее кукол-маппетов. Фанатик кружит по полю на маленьком авто или, смешно переваливаясь с боку на бок, бродит по трибунам, обнимаясь с болельщиками. В его обязанности также входит передразнивать игроков команды, играющей против «Филлиз». Свои маскоты есть у университетских и школьных спортивных команд.

Если голенастые черлидеры демонстрируют свои атлетические возможности, внося при этом струю здоровой задорной сексуальности, то персонажи-талисманы команд вплетают в спортивные состязания элемент комедии, веселят публику и пользуются особой популярностью у самых маленьких болельщиков.

Стоит упомянуть и о таком важном аспекте американской действительности, как политика. Философ Йохан Хейзинга рассматривал политику как одну из форм игры: «Еще более ярко, чем в британском парламентаризме, игровой элемент проявляется в американских политических нравах. Задолго до того, как двухпартийная система в Соединенных Штатах приняла характер почти что двух противостоящих спортивных команд, чье политическое различие едва ли уловимо для постороннего, предвыборная кампания здесь уже напоминала по своему облику большие национальные игры ... Слепая верность партии, тайные организации, массовый энтузиазм в сочетании с ребяческой жадой внешних символов придают игровому элементу американской политики нечто наивное и непосредственное, чего лишены более молодые массовые движения Старого Света»¹.

Кульминацией напряжённой американской политической игры, безусловно, становятся президентские выборы, превращающиеся в гигантский спектакль, на постановку которого расходуются миллиарды долларов. Задолго до начала очередных выборов в средствах массовой информации начинают строиться догадки относительно того, какие известные личности выдвигают свои кандидатуры. За дебатами кандидатов на пост президента, за таив дыхание, следят десятки миллионов граждан страны. С яростным любопытством отслеживаются постоянно меняющиеся рейтинги кандидатов. Под микроскопом



Давид Бурлюк. Портрет П. Пикассо. Живопись. Из коллекции Тамары и Леонида Дитинских.

рассматривается каждое слово кандидата, каждый его поступок и действие, тщательно перебирается его прошлое и личная жизнь. Напряжение достигает апогея в ночь подсчёта голосов избирателей. Развязкой становится объявление имени победителя. А завершается спектакль торжественной театрализованной церемонией инаугурации новоизбранного президента, попасть на которую стремятся тысячи людей.

Таким образом, игра пронизывает все стороны американской действительности, все аспекты общественной и частной жизни граждан – от политических страстей до спортивных зрелищ, от украшения жилищ к праздникам до участия в карнавалах и парадах; от посещения парков аттракционов до визитов в интерактивные музеи; от любви к комиксам и мультфильмам до коллекционирования сувениров, игрушек и пластиковых фигурок любимых персонажей поп-культуры; от членства в клубах ролевой реконструкции до конвенций поклонников научной фантастики, комиксов и аниме.

Отдавая должное важности игры в жизни человека, Хёйзинга, однако, предостерегал от пуэрилизации (от лат. *puer* – мальчик) человечества, когда «человек нашего времени ... ведет себя словно бы по мерке отроческого или юношеского возраста»^{vi}. В последние десятилетия с лёгкой руки американского психолога Дэна Кайли широкую популярность завоевал термин «синдром Питера Пэна». Именно так, по имени героя сказочной повести английского писателя Джеймса Барри, обозначил Кайли своеобразное явление – неумение и нежелание многих современных мужчин взрослеть. Остроумный термин Кайли обозначает людей, подверженных процессу пуэрилизации.

Опасениям, высказанным Хёйзингой, вторит современный исследователь Станислав Яржембовский: «Мудрецы мельчают, вот в чём трагедия. И к этому, в общем-то очевидному, феномену добавляется еще один, о котором обычно не часто вспоминают и который можно назвать «пуэрилизацией» человечества (от латинского «пуэр» – «мальчик»). Психология детского и юношеского возраста растягивается теперь на многие десятилетия жизни человека. Если бы дело ограничивалось только младежкой внешностью, лихим младежским жаргоном и непринужденной манерой поведения, в этом еще не было бы беды. Увы, пуэрилизация – процесс более глубокий, процесс духовный: похоже, что человечество как некая целостность уже состарилось и впадает в детство»^{vii}.

«Во всех этих явлениях духа, добровольно жертвующего своей зрелостью, мы в состоянии видеть лишь знаки грозящего разложения», – делает горький вывод Хёйзинга^{viii}.

Карл Густав Юнг в своих трудах уделял много внимания архетипу божественного ребёнка (*puer aeternus*). Он отмечал двойственность, присущую этому архетипу (так же как и другим архетипам), но в то же время, в отличие от Хёйзинги, взгляд Юнга на архетип ребёнка, порождающего комплекс пьюэра, был более оптимистичным. Архетип божественного ребёнка в юнгианской психологии является, с одной стороны, отражением целостности и возрождения Самости (аналога присутствия божественной искры как бессмертного духа в каждом человеке), с другой – образом инфантильности.

Мысли Юнга развивала его коллега Мария-Луиза фон Франц: «Образ ребенка всегда символизирует естественность, непосредственность. Вместе с тем невероятную трудность представляет собой задача определить, связан ли этот образ с проявлением инфантильной Тени, которую следует отделить и подавить, или же с неким творческим аспектом, способствующим нашему продвиже-

нию вперед. И в каждом случае это проблема этического характера. Ребенок всегда находится и позади нас, и впереди. Позади нас он представляет собой инфантильную Тень, детскую неразвитость, которую следует принести в жертву, иначе она затянет нас назад в зависимость, лень, распушенность, заставит нас бежать от проблем, всякой ответственности и самой жизни. С другой стороны, если ребенок оказывается впереди нас, это означает обновление, шанс сохранить вечную юность, обрести непосредственность и естественность, получить новые возможности – это означает поток жизни в направлении творческого будущего»^{ix}.

В своём труде «*Homo Ludens*» («Человек играющий») Хёйзинга цитирует глубокое высказывание Платона: «По самой природе вещей Божество достойно всяческой благословенной серьезности. Человек же сотворен, дабы служить игрушкой Бога, и это, по существу, самое лучшее для него. Посему должен он проводить свою жизнь, следуя своей природе и играя в самые прекрасные игры»^x.

Юная, практически не отягощённая наследием древних цивилизаций, Америка следует завету Платона и с наслаждением играет в игры, открывая в себе «внутреннего ребёнка». Американская цивилизация рождает игрушечную утопию с её праздничной лёгкостью и весельем как альтернативу тяжкой сущности подлинного мира. Инфантильное бегство от реальности становится спасением массового человека от жёсткого ритма действительности. И кто знает, приведёт ли страсть к детским играм человечество в целом и американцев в частности к разложению, как того опасался Хёйзинга, или поможет развитию творческого начала и движению в будущее, как предполагали Юнг и его последователи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Steinberg N. Out of Time, Nearly: Feast of Fools. – Chicago Sun-Times, 2007, August 15. С. 23.
2. Brockway R. Myth from the Ice Age to Mickey Mouse. – NY: State University of New York Press, 1993. С. 116.
3. Brockway R. Указанное издание. С. 144.
4. Brockway R. Указанное издание. С. 141.
5. Хёйзинга Й. *Homo Ludens*. – М.: Прогресс – Традиция, 1997. С. 197.
6. Хёйзинга Й. Указанное издание. С. 194.
7. Яржембовский С. Интересный век. М.: «Звезда», 2004, № 6. С. 239.
8. Хёйзинга Й. Указанное издание. С. 194.
9. Мария Луиза фон Франц. Вечный юноша. *Puer Aeternus*. – М.: Класс, 2009. С. 46-47.
10. Хёйзинга Й. Указанное издание. С. 200.

ВИКТОР ФЕТ

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКЕТКА КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА

Написаны тома о второй профессии Набокова (1-4). Специалисты соглашаются, что знаменитый писатель был также профессиональным зоологом, сделавшим немало открытий в энтомологии, а именно в систематике бабочек. Нередко цитируются его многие страстные строки, вдохновленные наукой о бабочках – лепидоптерологией.

Мне представляется, однако, что в творчестве Набокова пока не оценена по достоинству роль совершенно особого литературного инструмента – музейной зоологической *этикетки*.

Для профессионального зоолога связь между этикеткой и литературой очевидна – и в то же время непроста: слишком специфическая информация содержится в одном-двух кусочках плотной бумаги. Они проколоты той же тонкой энтомологической булавкой, что сперва проходит через грудной отдел мертвого насекомого, нашедшего свое бессмертие в коллекционном ящике.

Проблема эта лежит на той границе науки и искусства, где, по словам американского натуралиста Стефена Блэквелла (5), мы задаем себе «вопрос о том, каким образом научная (т.е. объективная, описательная) и артистическая (субъективная, творческая) стороны набоковского гения исходят из общего центра».

Моя гипотеза состоит в том, что *этикетка* – с её требуемой точностью, вынужденной краткостью и необходимым триединством полевого собирателя, музейного обработчика и автора вида – была одним из специфических источников литературного вдохновения Набокова, единственного писателя-энтомолога.

Этикетка сравнима с хайку по своей лаконичности. Её размер – около 10 x 20 миллиметров. Сегодня этикетки печатаются на лазерном принтере мельчайшим шрифтом; но еще совсем недавно мы писали их пером и тушью, для чего требовались особые навыки миниатюрной каллиграфии. С детских лет Набоков, как и любой юный энтомолог, как и его героиня Ада Вин, сотнями писал – должен был писать – этикетки для пойманных бабочек, миниатюрные прообразы знаменитых в будущем библиографических карточек, на которых он записывал свои романы.

Понятно, что этикетирование происходит из древнейшей, двойной необходимости любого охотника: во-первых, как-то назвать (определить) свой улов, и, во-вторых, отметить место и время данной добычи, с очевидной целью вернуться в это место для новой охоты. Поэтому всегда имеются не одна, а две этикетки. В первой – полевая документация, специфические обстоятельства поимки. Вторая – это придуманное человеком название, ярлык, имя пойманного существа. Этикетки, таким образом, описывают природные объекты, и в то же время принадлежат литературе.

Хорошая, информативная этикетка, содержащая полевою документацию о собранном насекомом, должна включать не менее трёх основных компонентов: место сбора, дату и имя собирателя (коллектора). Это – *три аристотелевских единства*, не являющиеся при этом свойством самого экземпляра: место действия, время действия, а также герой-протагонист. Сведения о месте и времени содержатся в полевых заметках протагониста, сделанных в записной книжке с твердым переплетом. Процесс собирательства (сбора, ловли, охоты) сопровождается и промежуточными документами-рукописями. При ловле бабочек и прочих насекомых, сведения помещаются карандашом на бумажном конвертике, куда укладывается экземпляр. Другие существа, собираемые в пузырьки или коробочки, снабжаются краткими полевыми этикетками или кодами. Вся эта информация будет закреплена в окончательной этикетке к тому времени, когда экземпляр будет наколот, расправлен, высушен и перенесен в музейную коллекцию.

Четвёртый же необходимый атрибут – имя, название – появляется позже (иногда много позже), в ходе *определения*. Согласно традиции, для него отводится отдельная, вторая этикетка.

Место. Информация о месте сбора абсолютно необходима для энтомологических (и любых естественнонаучных) этикеток. Без точного местонахождения экземпляра не представляет ценности. Зоологи старого времени часто не заботились об этом, и экспертов до сих пор озада-

чивают и раздражают их выражения типа «обитает в Африке». Согласно нынешним стандартам, этикетка должна включать: страну, ближайший город, указание на конкретное место (например, «5 км к югу от развилки дорог...»), географические координаты (широта и долгота), а также высоту над уровнем моря – легко определяемые в наши дни с помощью GPS. Также рекомендуется дать хотя бы очень краткое описание окружающей среды (тип растительности, почвы).

В тесной мини-Вселенной зоологической этикетки царствует география. Мне думается, что, помимо таких традиционных источников, как карты и книги, именно требования этикеток к пространственной точности с детских лет воспитывали и вдохновляли у Набокова его удивительно подробное восприятие географии.

Набоков часто и охотно признавался, что помнит определенные географические пункты по этикеткам, т.е. по местам, где была поймана конкретная бабочка («Другие берега»). Такая эмоционально-мнемоническая память превосходно известна всем зоологам (я опросил коллег, и они, конечно, подтверждают это свойство, вполне банальное для нас, но неизвестное за пределами гильдии). Эта память сродни обычной способности связывать место с особенно важным событием – но полевой и музейный зоолог помнят десятки и сотни таких мест, а тренированная память немедленно подкалывает к каждому пункту название собранного там вида. Именно эта особая мнемоника описана Набоковым в рассказе «Пильграм», где герой, никогда не бывавший за пределами Германии, знал мир «совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливом и другим недоступным». «Географический образ мира, подробнейший путеводитель... он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах»... «Всякая чужая страна представлялась ему исключительно, как родина той или иной бабочки, – и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине».

Таким образом, география Набокова – скорее естественная наука, чем наука о земле, это *биогеография*, которая изучает и приветствует распределение живых существ на Земле. А наши знания об этом распределении буквально состоят из мириадных музейных этикеток-пикселей.

Читатель-путешественник, вступающий в мир Набокова, обнаруживает в нем карты, маршруты, ландшафтные модели, снабженные подробностями и юмором, относящиеся к существующим, гибридным или полностью вымышленным местам. Любая этикетка, с её известной широтой, долготой, высотой и датой, становится пунктом в динамическом, нанесенном на четырёхмерную карту *географическом ареале* (области распространения) биологического вида. Этот ареал эквивалентен пространственно-временной карте литературного персонажа. С энтузиазмом прослеживает Набоков траекторию своих героев по городкам (Фиальта или Нью-Уай), столицам (Берлин), небольшим странам (Зембла), огромным частям континентов (Северная Америка или Центральная Азия), и даже по целым планетам (Антитерра). Даже в далекой постсоветской России из «Приглашения на казнь» ясно виден лежащий перед нами ландшафт, когда мы сможем вместе с Цинциннатом с тюремной башни на Тамарыны Сады.

Географические этикетки-местонахождения с их мнемоническими, запоминаемыми характеристиками постоянно служат Набокову – и как простой сценический инвентарь, и как сложные метафоры. «Лолита», помимо всего прочего, считается лучшим произведением о путешествии по Северной Америке. Описанные в ней передвижения – это реальные, многолетние маршруты самого

Набокова в поисках бабочек, прослеженные подробно в работе немецкого переводчика и набоковеда Дитера Циммера (6). По словам Циммера, «в тех романах и рассказах, которые он [Набоков] сам называл “реалистическо-психологическими”, то есть во всех, кроме “Приглашения на казнь” и “Под знаком незаконнорожденных” и трёх-четырёх последних романов, почти все места, кажущиеся воображаемыми, имеют какое-то соответствие на карте».

Биограф и исследователь Набокова Брайан Бойд особо отмечает мотив топонимов, «названий мест» в своих комментариях к роману «Ада». Такие названия (т.е. по сути, те же музейные этикетки с обозначением места) часто образуют сложные сети повторных мотивов. Например (и это лишь очень небольшая, частный пример), мотив трёх озер (Омега, Озеро, Зеро) в «Бледном огне» отражает не только так называемые Фингер-Лейкс неподалеку от Итаки, штат Нью-Йорк (где Набоков преподавал в Корнельском университете), но также и озера Оникс, Эрикс и Климакс из «Лолиты». Более того, обе триады озер повторяют хорошо известную нам северо-западную триаду – Чудское, Ладога и Онега (озеро Онега и одноименная река, конечно, указывают на Онегина). Ладога, ближайшее к Петербургу озеро, откуда вытекает Нева, возникает на планете Антитерра («Ада»), где оно также мутирует в реку Ладору. (Подробнее см. в моей заметке «Notes on Eryx, Omega, and Ata» (6)).

Очень часто набоковский география выглядит чрезмерной или лукавой: его “Путеводитель по Берлину», конечно, не является путеводителем; псевдоназвания американских штатов (такие, как «Ютана») звучат пародийно. Мне кажется, однако, что, к примеру, перемешанная, гибридная география Антитерры в «Аде» не столько пародирует земную, сколько наслаждается нашими неустанными попытками называть безымянное («Дар», см. ниже). Пушкинисты могут насмехаться над «снобом» Набоковым, для которого важны точные видовые названия деревьев в «Евгении Онегине». Однако, для переводчика, который в то же время является и профессиональным натуралистом, эти слова – не просто названия, выбранные для рифмы, но драгоценные первичные полевые данные. Именно из них складывается *биогеографическая* мозаика действительности, сводимой к географическому («где?») и таксономическому («что?») контекстам. Именно поэтому Набоков разносит перевод «Евгения Онегина» Бабетт Дойч (1937), где переводчица беззаботно «пробуждает птиц в кронах буков и лиственниц» («wake the birds in beech and larch»); увы, в северо-западной России нет ни тех, ни других. Если переводчик не обращает внимания на такие простейшие факты, безошибочные и неоспоримые природные детали, как можем ли мы доверять такому переводу в более серьезных делах? Незнание природного факта не извиняет. Набоков-географ пытается даже определить местонахождение двух безымянных усадеб пушкинского романа – и при этом, с доброй дозой иронии, дает им условные названия: Онегин и Ларино.

Именно *биогеография* (специфика природных объектов в географическом их контексте) придает остроту и глубину многим знаменитым образам Набокова. Один из них – мальчик, без усилия переходящий из русского ельника в американский. Не все оценят эту картину без понимания того, что в России хвойные леса – зональные (широтные), но в Америке речь идет о высотных, горных поясах растительности (в Скалистых горах на западе континента). А значит, передвижение мальчика, т.е. самого Набокова, – это не только эмигрантское передвижение с востока на запад, из России в Америку; это также движение вверх: от русских низменностей к американским высокогорьям. Этикетка, как мы помним, трёхмер-

на: она включает не только широту и долготу, но также и высоту над уровнем моря (если в вашем мире есть место высоте).

Время. Дата – день, месяц и год, когда собран экземпляр, проставляется на этикетке рядом с местом сбора. Эта информация не так важна для музейного специалиста, как место сбора – но она абсолютно необходима для натуралиста, который вернется туда для изучения живых представителей собранного вида. Серьезный коллектор посещает одни и те же местообитания несколько раз в течение года, наблюдая сезонные аспекты растительности и наборы насекомых. Писатель составляет летопись жизни героя; натуралист возвращается в Аризону в следующем апреле, чтобы снова отыскать весенние виды – следуя древней идее циклического времени. В умеренных широтах мы называем это “полевой сезон”, и готовим сачки для бабочек, когда начинает таять снег.

Коллектор. У любого действия должен быть протагонист; имя коллектора – стандартная часть сведений на этикетке. Физический процесс сбора, ловли бабочек Набоков считал одним из наиболее захватывающих видов деятельности, и всегда охотно рассказывал об этом (1, 2). Известная (но не вошедшая в фильм Стенли Кубрика) сцена в набоковском киносценарии “Лолиты” изображает самого Набокова во время охоты на бабочек, вовлеченного в диалог с Гумбертом, мало разбирающимся в различиях общего (вид, *species*) и частного (экземпляр, *specimen*).

На этикетке может стоять более чем одно имя: коллектор (тот, кто *собрал* насекомое) может отличаться от того, кто впоследствии *определил* его; оба они обычно отличаются от *автора*, описавшего этот вид в прошлом – или реже, в случае нового вида, от его *будущего* автора. Иногда это триединство сливается в одном имени эксперта-первооткрывателя, который собрал, определил и описал новый вид. Музейные этикетки, как и литературные тексты, хранят имена и самых знаменитых, и полностью забытых коллекторов.

Коллектор – всегда путешественник (обратное, увы, неверно). Набоков планировал для себя именно это будущее. В 17 лет он собирался, используя состояние, унаследованное от дяди-миллионера, организовать экспедицию в Среднюю Азию, которая, скорее всего, состоялась бы, если бы не большевистский переворот. Дитер Циммер (8) расследовал экзотическую историю, спрятанную за краткой этикеткой («Татценлу, Восточный Тибет – собран местными коллекторами отца Дежана») из набоковского рассказа о коллекционере бабочек («The Aurelian») (этот эпизод, добавленный Набоковым в английском варианте, отсутствует в русском оригинале рассказа, «Пильграм»). Подобные истории кроются за многими этикетками. Иногда Набоков позволяет через них заглянуть в жизнь коллектора – намеченную в рассказе о Пауле Пильграме и блестяще развернутую в описании путешествий Константина Годунова-Чердынцева в романе «Дар» – неосуществлённых маршрутов самого Набокова в горах и пустынях Азии (8).

Название вида. Отдельная, вторая этикетка содержит имя – полное линнеевское название существа: род, вид, *автор* названия, дата описания (более подробно о процессе называния, о зоологической *номенклатуре*, важной для систематики и таксономии, см., например, у Циммера (3)). Специалист способен определить знакомый ему вид на глаз, но коллектор вовсе не всегда является экспертом, и название добычи часто *неизвестно* в момент её поимки.

А значит, название далеко не всегда фигурирует на первой, «полевой» этикетке, содержащей данные о месте и времени сбора. Оно добавляется позже – часто на много лет позже, – когда экземпляр будет *определен*. Эксперт

опознает признаки вида, использует профессиональную литературу с её описаниями и иллюстрациями для сравнения их с признаками известных («описанных») видов, и находит для них уже существующее, кем-то ранее данное название.

Это имя – название *определенного* вида – помещается на дополнительную, отдельную этикетку, и становится частью документации, сопровождающей данный экземпляр – в том числе и для *публикации*. Примером может служить первая публикация самого Набокова на английском языке («A Few Notes on Crimean Lepidoptera», *The Entomologist*, 1920). Это – не более чем список этикеток, документация о бабочках, летавших в Крыму (куда в ноябре 1917 бежала семья Набоковых) летом 1918 года, еще до того, как Крым был растерзан коммунистами.

Если процедура определения не обнаруживает названия, есть вероятность того, что перед нами – *новый*, еще никем не описанный, вид. Тот же, или другой специалист – который в этом случае называется «автор» – осуществит, согласно принятым стандартам, процесс *описания* вида, и даст ему название согласно «неумолимому закону таксономического приоритета» («Ада», I: 8, см. также мою заметку «Zoological nomenclature and Kinbote's Name of God» (9). Описание нового вида было детской мечтой Набокова («Другие берега»). Называние видов занимает исключительное и особое место в душе натуралиста. Именно об этом писал Набоков в «Даре», где отец героя, энтомолог Константин Годунов-Чердынцев, был «счастливым среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал». Типовой экземпляр нового вида насекомых, по традиции, получал этикетку красного цвета, о которой упомянул и Набоков в знаменитом стихотворении «*On Discovering a Butterfly*» («К открытию бабочки»).

Язык. Сам язык этикетки, базирующейся на полевой записи, распираемый вынужденными сокращениями, часто представляет собой вполне набоковскую тесную мешанину языков, с собственной историей, которую хочется проследить, с неограниченными возможностями для игр и загадок. Названия экзотических мест меняются в зависимости от карты; европейский коллектор, записывая на слух, искажает местные топонимы. Написание географических названий редко подчиняется стандартам, что порождает массу ошибок, усиленных частыми сокращениями и неверным переводом, не говоря уже о приблизительной транслитерации. Даты бывают проблематичны: на этикетке нет места для полного названия месяца; июль и август путаются в римских цифрах; европейская система (день/месяц) мешается с американской (месяц/день); а в России к латинице добавляется кириллица. Часто перепутаны имена: имя коллектора, имя музейного специалиста, определившего сборы, и имя автора вида (а бывает еще и имя того, кто подарил, или продал, коллекцию музею); сокращения «leg.» (legit, собрал) или «coll.» часто опускаются, и для коллектора дается только фамилия, которую нередко можно принять за топоним. Имя же автора вида (он же соавтор Создателя) по традиции сокращается (Линней как L., Набоков как Nab.), о чем не слышали в художественной литературе (вообразите сокращения Sh., П. или Толст.).

И, наконец, не забудем о том, что название самого насекомого дается по-латыни. Номенклатура Карла Линнея («*Systema Naturae*», 1758) – имена таксонов (видов, родов, семейств, и т.д.) – одна из последних крепостей, удерживаемых еще не до конца вымершим языком. Для зоолога, «искусного в таксономической латыни» («*On Discovering a Butterfly*»), особая радость состоит и в том, что названия видов легко узнаются его коллегами в любой стране. А значит, название на зоологической этикет-

ке – универсальный формат естественной науки – не нуждается в переводе. Это – до-вавилонское состояние языка, конечная и недостижимая цель литературы.

Вариант этой статьи на английском языке опубликован в журнале «*The Nabokovian*» в 2008 г. (10). Я искренне благодарен Стефену Блэквеллу, Брайану Бойду и Дону Бартону Джонсону за их замечания.

Литература:

- (1) Boyd, B. & R. M. Pyle, eds. *Nabokov's Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings*. Beacon Press, 2000
- (2) Johnson, K. & S. L. Coates. *Nabokov's Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius*. McGraw-Hill, 2001.
- (3) Zimmer, D. E. *A Guide to Nabokov's Butterflies and Moths*, 2001.
- (4) Blackwell, S. H. *The Quill and the Scalpel*. Ohio University Press, 2009.
- (5) Blackwell, S. H. The poetics of science in, and around, Nabokov's *The Gift*. *The Russian Review*, 2003, 62: 243–261.
- (6) Zimmer, D. E. <http://www.d-e-zimmer.de/olitaUSA/oUSpre.htm>.
- (7) Fet, V. Notes on Eryx, Omega, and Ata. *The Nabokovian*, 2003, 51, с. 21–27.
- (8) Zimmer, D. E. *Nabokov reist in Traum in das Innere Asiens*. Rowohlt, 2006.
- (9) Fet, V. Zoological nomenclature and Kinbote's Name of God. *The Nabokovian*, 2004, 53: 49–52.
- (10) Fet, V. Zoological label as literary form. *The Nabokovian*, 2008, 60: 18–26.

ЭРИКС, ОМЕГА, АТА

1. Эрикс и Оникс. Названия Оникс и Эрикс, «два небольших лесных озера» возле Лагеря Кью и озера Климакс в «Лолите» (1, 32), являются также названиями бабочек-голубянок. Насколько мне удалось установить, они не упоминаются в недавней подробнейшей литературе о лепидоптерологических занятиях Набокова (см.: Brian Boyd & Robert M. Pyle, eds. «*Nabokov's Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings*», 2000; Kurt Johnson & Steven L. Coates, «*Nabokov's Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius*», 2001; Dieter E. Zimmer, «*A Guide to Nabokov's Butterflies and Moths*», 2001). В своей книге «Аннотированная “Лолита”» («*Annotated Lolita*», 1991, с. 384), Альфред Эппел комментирует названия озер, но не указывает на их связь с голубянками. Однако существует два вида голубянок (семейство Lycaenidae) с видовым эпитетом «*eryx*». Один из них, названный самим Линнеем, отцом зоологической номенклатуры, *Papilio eryx*, ныне *Artipe eryx* (L., 1771), обитает в Восточной Азии. В Южной Америке обычен другой вид, *Theclopsis eryx* (Cramer, 1777). А из Юго-Восточной Азии известен и вид *Horaga onyx* (Moore, 1881). Все они относятся к семейству голубянок (Lycaenidae), подсемейству Theclinae, и должны были быть знакомы Набокову, который активно занимался этой группой бабочек. Таким образом, названия Оникс и Эрикс несомненно заключают в себе игровую отсылку к голубянкам, в дополнение к более непосредственным намёкам на «ониксовый столб» и Венеру Эрицинскую (Venus Erycina).

Существует еще не менее двух бабочек с видовым эпитетом *eryx*: один из них – *Papilio eryx* Fabricius, 1798 (семейство Danaidae), из Восточной Азии, синоним *Parantica agleoides* (C. & R. Felder, 1860) и так называемый омоним (т.е. идентичное латинское название, предложенное для другого вида более поздним автором) линнеевского *Papilio eryx*. Другой вид – южноамериканская медведица *Belemnina eryx* (Fabricius, 1775) (семейство Arctiidae).

Наконец, имеется род змей – песчаных удавчиков, *Eryx* Daudin, 1803 (семейство Boidae), виды которого обитают в Африке и Средней Азии. Эти небольшие, но любопытные пустынные змеи должны были быть весьма знакомы Константину Годунову-Чердынцеву из «Дара» и его коллегам – а, возможно, и юному Набокову из его обильного чтения литературы о путешествиях по Средней Азии. Отметим, что родовое название *Eryx* в настоящее время зарезервировано для змей, и не может быть дано никакому другому роду животных – это нарушит «неумолимый закон таксономического приоритета» («Ада», I: 8) – в то время как видовые названия (эпитеты) *eryx* могут существовать в неограниченном количестве, среди бабочек или любых других групп.

2. Омега и Онега. Продолжим тему озер у Набокова. Брайан Бойд в своей книге о «Бледном огне» (Brian Boyd, *Nabokov's Pale Fire: The Magic of Artistic Discovery*, 1999) интерпретирует озеро Омега, в котором утопилась Хейзел Шейд, как озеро Кайюга вблизи Корнельского университета, где преподавал Набоков (другая аллюзия, конечно, ведет к «альфе и омеге»). В то же время Бойд рисует образ Хейзел как «отвергнутой женщины» – а наиболее знаменитая отвергнутая женщина в русской литературе, конечно – Татьяна Ларина. В своем комментарии к «Евгению Онегину» (2nd ed., 1975), Набоков (т. 2, с. 37) пишет, что «фамилия [Онегин] производится от русской реки Онега... кроме того, имеется озеро Онега в Олонецкой губернии». Таким образом, фамилия Онегина производится и от реки (как Ленского от Лены, см. там же, т. 2, с. 228), и от озера. Ю. Лотман («Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”», 1983, с. 114–115) не упоминает озеро Онега, но подробно обсуждает фамилии, производящиеся от названий рек. Лотман, кстати, замечает, что для современников Пушкина такие фамилии выглядели очевидно придуманными для литературных персонажей, и не могли быть приняты за для реальные аристократические фамилии.

Насколько мне известно, никто из исследователей творчества Набокова еще не указывал на очевидную связь озера Омега с озером Онега. Русское озеро Онега упомянуто в повести Набокова «Пнин» (5, 2). Его географический партнер, озеро Ладога (расположенное ближе к Петербургу) на планете Антитерра становится городом в штате Майн (Maune), а потом мутирует в округ и реку Ладора (англ. Ladore) («Ада», I, 1; I, 22). Знакомая русскому глазу последовательность трёх северных (т.е. ближайших к Земле) озер – с запада на восток: Чудское, Ладога, Онега – визуально рифмуется с триадой Омега, Озеро и Зеро («Бледный огонь»), равно как и с триадой Оникс и Эрикс и Климакс («Лолита»).

Отвергнутая Татьяна Дмитриевна, конечно, и не думала топиться; утопилась, однако, её литературная предшественница, Лиза у Карамзина («Бедная Лиза», 1792) – в пруду, «залитом лунным светом», будучи отвергнута «распущенным аристократом с комедийным именем Эраст» (Nabokov, *Eugene Onegin*, vol. 3, p. 143). Утопилась и другая Лиза, из «Пиковой дамы», хотя и не из пушкинской повести 1834 г., а из «глупой оперы» (там же, vol. 3, p. 333) Чайковского (1890 г.). Эта отвергнутая Германом (ср. набоковское «Отчуждение») Лиза упоминается и в повести Набокова «Машенька» («Они встретились под той аркой, где – в опере Чайковского – гибнет Лиза»). Это место – Зимняя канавка в Петербурге, соединяющая Мойку с Невой; а Нева, конечно же, вытекает из Ладоги.

Упомянем, что среди бабочек в настоящее время нет валидных видовых названий *omega*; однако, два таких названия имеются в синонимах (оба в семействе совок, Noctuidae): *Argyrogramma verruca* (Fabricius, 1794) (=A.

omega Hübner, 1823) и *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775) (= *G. omega* Esper, 1788).

3. Ата, Аталанта и Атала. Вдохновлённый замечательной книгой Брайана Бойда о романе «Бледный огонь», я попытался предложить дальнейшую интерпретацию к его расшифровке потустороннего послания Тетушки Мод. Согласно Бойду, в сообщении содержится слово «аталанта», а первый слог («пада») Бойд считает эквивалентом «падре», т.е. «отец». Мне представляется, что второй слог, «ата», имеет то же самое значение. «Ата» означает «отец» на тюркских языках, и это слово в России прекрасно известно каждому образованному человеку.

Конечно, маловероятно, чтобы Тетушка Мод, даже общаясь с того света, употребляла тюркские слова. Я уверен, однако, что слово «ата» было хорошо известно Набокову. Во-первых, так именовался один из его прославленных современников, Ататюрк (Мустафа Кемаль), «отец турков», 1881–1938). Во-вторых, слово «ата» несомненно входило в те среднеазиатские топонимы, которые должен был перечислять Константин Годунов-Чердынцев в своих томах «*Lepidoptera Asiatica*». Во времена набоковского детства наиболее известным из них был город Аулие-Ата («Святой отец»), центр Сырдарьинской области, затем Джамбул, ныне Тараз в Казахстане. Конечно же, Набокову был известен и самый большой казахский город Алма-Ата, до 1921 г. Верный, ныне Алматы; впрочем, его этимология («отец яблок») считается искусственной по аналогии с названием «Аулие-Ата».

Тюркское (в том числе татарское) влияние не является чем-то чужеродным для творчества Набокова: его собственная фамилия, по семейному преданию, ведет начало от татарского мурзы Набока («Память, говори»; заметим, что Годуновы происходят от мурзы Чета, также крещёного в 14 веке). Хорошо известно влияние тюркских языков и культур на русский язык и литературу – через «татарское иго» Золотой Орды, через тюркские племена Кавказа и Крыма. В литературе тюркские мотивы можно проследить от Державина к Пушкину, от Лермонтова к Толстому – а на планете Антитерра в набоковской «Аде» от Курляндии до Курил простирается «независимая преисподняя» (“independent infemo”) Тартария, она же Со-вьетнамурское ханство, где правит безжалостный хан Соссо.

Жизнь Набокова в Крыму добавила тюркского влияния; крымские татары обращаются к старикам «ата». От корня «ата» происходит и русское «атаман». Фонетически (если не этимологически) сюда же примыкает санскритский «атман» (душа, дух), от которого производят и греческий «атмос». Брайан Бойд (личное сообщение, 2003) подтверждает, что Набоков был знаком с термином «атман»: «в восьмой главе “Прозрачных предметов” (“Transparent Things”) он упоминает “известного шарлатана – ныне покойного символиста Атмана”; он также собирался использовать это имя для более важного персонажа в начале 1950-х».

Учитывая всё вышесказанное, не исключено, что «аталанта» прячет в себе еще одного «отца».

Интересно, что «Ата» – это не только тюркское (алтайское) слово: оно означает «отец» на многих других языках: индоевропейское «атта», баскское «ата», шумерское «адда», дравидское «ату», финское «атти», и т.д. Это слово (так же, как и «дада», «папа» и др.) встречается настолько часто, что филологи часто относят подобные слова к области «звукового символизма», рассматривая их как результат не общего происхождения, а универсального детского лепета. Замечу, наконец, что всего од-

на буква отделяет «Ата» от слова «Ада», так же, как и «Ада» от слов «Ад» и «Адам».

Интересна этимология имени Аталанта. Его носила дочь царя Схенея, известная своей быстротой (*atalantos* – «такой же ценности, как мужчина», от *a-* «единый» – *talanton* «ценность» (ср. талант)). По словам Овидия, «...о лице я сказал бы: для девы / Отрочье слишком лицо, и слишком для отрока девье» («Метаморфозы» VIII, 322-323). Таким образом, часть «ата-» неотделима этимологически. Послание Тетушки Мод создает новую, «потустороннюю» этимологию (которая у Набокова всегда наготове), отламывая «отца» за «отцом»: *nada – ата – ...*

Еще одной частью головоломки, заключенной в имени Аталанта, предстает шатобриановская Атала, героиня романа, который усердно читают в «Аде» (I, 14) (см. о его значении: A. Cancogni. Nabokov and Chateaubriand. *The Garland Companion to Vladimir Nabokov* (V. E. Alexandrov, ed.), 1995, pp. 382-388). Здесь очевидна и связь с бабочками: голубянка-атала, *Eumaeus atala* (Роеу, 1832) (*Lycaenidae*) из юго-восточной Флориды – одна из крупнейших и красивейших представителей своей группы в восточных США (встречается также на Кубе и Багамских островах). Отличаясь апосематической (отпугивающей окраской), *Eumaeus atala* несъедобна для птиц, поскольку она накапливает из своих пищевых растений токсичное соединение циказин. Во Флориде этот вид не собирали с 1937 по 1959 г., но он был вновь найден там в 1961 г. Набоков несомненно был знаком с этим видом. Более того, родовое название *Eumaeus* (гомеровский свинопас Эвмей на Итаке) указывает одновременно на «Одиссею» и «Улисса». В библиотеке Набокова имеется экземпляр лепидоптерологического журнала «Атала», который публиковался Ксерксовским обществом (*Xerces Society*) в Итаке, штат Нью-Йорк in (Boyd & Pyle, *op. cit.*, p. 55) еще два вида с эпитетами *atala* являются младшими синонимами: канадская совка: *Catocala atala* Cassino, 1918 (валидное название *C. semirelict* Grote, 1874) (*Noctuidae: Catocalinae*) и ватрслийская медведица *Hestiaracha atala* Turner, 1922 (валидное название *Thermeola tasmanica* Hampson, 1900) (*Arctiidae: Lithosiinae*).

Несчастный любовник шатобриановской Аталы, Чактас (*Chactas*) также получил бессмертие в зоологической номенклатуре. В 1844 г. известный французский зоолог Поль Жерве (Paul Gervais) – видимо, эксцентрический поклонник Шатобриана, – присвоил это имя роду скорпионов, обычных в Южной Америке (семейство *Chactidae*).

Эти заметки были впервые опубликованы на английском языке под названием: «Notes on Eryx, Omega and Ata». *The Nabokovian* (University of Kansas, USA), 2003, 51, pp. 21-27. Перевод автора, с небольшими изменениями и дополнениями, публикуется впервые. Я сердечно благодарен Брайану Бойду и Дитеру Циммеру за поддержку и ценные советы.

КРАСНАЯ АРМИЯ В ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ (Александра Орме об оккупации Венгрии в 1944-1945 гг.)

Сколько существует документальных свидетельств об оккупации советскими войсками Восточной Европы во время второй мировой войны? А сколько из них, перед лицом трагических событий, написаны легко и с настоящим европейским юмором? Книга Александры Орме «Товарищ идет!» (1950) – один из таких редчайших и прочно забытых памятников истории.

Александра Орме – псевдоним Алисы (Литки) де Барца (урожденной Липхардт, 1909-1973) – польской писательницы, в юности посещавшей литературные кружки Вар-

шавы. Вместе с мужем, польским бароном Ежи Ромашканом, в 1939 г. бежала из Польши в Венгрию, где Ромашкан умер от туберкулеза. В 1944 г. Алиса вышла замуж вторично – за венгра, аристократа (и рыцаря Мальтийского ордена) Кароля Барца, брат которого Дьёрдь Барца до войны был послом Венгрии в Англии, а после – в Ватикане. В декабре 1944 – апреле 1945 г. эта семья с кучкой родственников и друзей-беженцев жила в имении Барца под Будапештом – деревне Замор (сейчас Пуштазамор). Там они встретили наступление на Будапешт Красной Армии (которая скоро, в феврале 1946 года, будет переименована в Советскую Армию). В поместье Барца размещался штаб маршала Толбухина. Сейчас там находится отель «Старый дуб». После войны Барцы переехали в Италию, а потом в США. В Америке Барцы «для европейского аристократизма» прибавили к своей фамилии приставку «де».

Первая книга Александры Орме, написанная в оригинале по-польски, вышла во французском переводе в 1948 г. под названием «Русские солдаты с натуры. Подлинная история оккупированной деревни» («*Soldats russes d'après nature. Histoire vraie d'un village occupé*»). Английский перевод с польского был опубликован в Лондоне в 1949 г. под заглавием «От Рождества до Пасхи» («*From Christmas to Easter*») и переиздан под заглавием «Товарищ идет!» («*Comes the Comrade!*») в Нью-Йорке (издательство William Morrow) в 1950 г. Александра Орме опубликовала еще несколько книг, последнюю – в 1957 г. Она преподавала немецкий и французский языки в Висконсине (Ошкош). После смерти мужа Орме вернулась в Польшу – она признавалась, что не может жить без европейской культуры. Родственники и друзья «Литки», как звали её в семье, рассказывают о её веселом нраве и той культурной атмосфере, что всегда окружала её и в провинциальном Висконсине, и в космополитическом Нью-Йорке. Лоис Леттини из Техаса, бывшая в 1960-х гг. студенткой Литки в Висконсине и гувернанткой её приёмных внуков, недавно связалась со мной по Интернету, узнав, что я разыскиваю информацию об «Александре Орме». Леттини вспоминает, как Литка приглашала американских студентов к себе домой на европейские блюда (например, итальянские макароны с чесночным соусом), но говорить за столом надо было обязательно по-французски или по-немецки (Литка и её муж знали пять языков). Знаменитая журналистка Мэри МакГрори в 1981 г. почтила память Литки де Барца в газете «Бостон Глоуб», вспоминая её шуточные слова «Раз начав быть поляком, ужасно трудно остановиться».

Действие книги «Товарищ идет!» развивается как в драме (или, скорее, трагифарсе) по классическим единствам сюжета, места и времени. Все действие сосредоточено в венгерской деревне. Пуштазамор назван «поместье Мора», и все действующие лица также выступают без фамилий, под условными именами или домашними прозвищами: настоящая фамилия Барца нигде не упоминается, в книге муж автора назван слоновым прозвищем «Джамбо» (согласно его «большому росту и доброму характеру»), его брат-дипломат назван «Тацит», сама рассказчица – «Лида», её племянник «Джек», и т.д. В перечне действующих лиц есть и некоторые русские солдаты, например «Виктор-«Шалыпин», который пришел пограбить и остался попеть» или «Майор Сергей, который жульничал при игре в домино»...

Книга эта основана на реальных дневниковых записях Алисы-Литки-Александры-Лиды, которые начинаются 22 декабря 1944 г. Лида, её семья и её друзья-беженцы ждут прихода советских войск, закапывают ценные вещи и оборудуют убежище в погребе. «Все наши разговоры были о русских. Какие они? Представьте себе, что вы еже-

дневно ожидаете нашествия неведомой, огромной армии с Востока...». Настроения семьи волнительны, но не слишком тревожны – ясно, что в течение войны их симпатии были не на стороне гитлеровцев. Семья запасает провизию и вино; слуги и крестьяне все еще подчиняются хозяевам. Сидя с другими в погребе, польские женщины (Лида и её подруга Фифи) лихо пьют «из горла» водку, о которой она попутно, горько и с вызовом, замечает: «Поляки любят водку... В Восточной Европе водка-матушка веками выполняла тяжелую задачу. Она латала все дыры, согревала людей в холода, осушала их слезы в печали, обманывала их желудки в голодное время... В Восточной Европе водка – это театр, кино, концерт и цирк; она служит неграмотным вместо книг, делает героев из жалких трусов, она – великий утешитель, удаляющий все горести из наших сердец...».

23 декабря 1944 г.: «...Стрельба со всех сторон... Кто стреляет? В кого?.. Джек повернулся к нам и быстро сказал: «Это русские... Я слышал, как они кричали “Давай, давай!”».

Передо мной стояли двое русских солдат. Они выглядели точно так, как будто их вырезали из нацистского пропагандистского плаката, только лица их были широкими, честными, и расплывались в детской, доброй улыбке... Значит, они пришли. Значит, они действительно существуют. Они освободили нас и вот эти двое – здесь, передо мной...

... Вот как они выглядели, наши первые два русских солдата: оба были оборваны, одеты в заплатанную, невообразимо грязную форму и длинные шинели цвета горохового супа... Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Я сбежала по лестнице вниз, чтобы сообщить о новости. «Вина! – закричала я. – И хлеба! Быстрее!».

После этого уэллсовско-робинзоновского момента встречи двух миров солдаты выпивают вино, но возвращают буханку хлеба: они не голодны, в Красной Армии достаточно хлеба. Идет беседа (Лида, немного понимающая по-русски, служит переводчицей). Один из солдат бросает взгляд на руки женщин: «...как у любых нормальных европейцев, у нас на руках были часы и кольца, обручальные и прочие.

“Снимите все часы и кольца и закопайте их”, – посоветовал наш новый друг. “Среди русских на каждые десять хороших человек есть один плохой, и такой всё у вас заберет – он всё украдет, понимаете? Закопайте всё надежно”. Нас тронул его совет, но в то же время неприятно поразила такая искренность и отсутствие солидарности...».

За первой парой солдат приходит вторая группа, которая немедленно требует драгоценностей. Первый же советский офицер, вошедший в дом, без стеснения забирает из комнаты Джека пару изящных стремян для английского седла. Лида и остальные удивлены: «Неужели весь Советский Союз состоит из таких противоречий?.. Уходя, он помахивал рукой, в которой были стремяна, и они звенели при каждом движении. Я подумала: нам будет нелегко понять эту новую Россию».

За следующие месяцы Лиде предстояло увидеть еще немало противоречий и проводить взглядом не только пару изящных стремян: всё поместье Мора и прилегающая венгерская деревня были тщательно и методически разграблены.

В тот же день Лида спешит к офицеру и просит не забирать у них машину, стоящую в гараже. «Я объяснила, что машина принадлежит брату моего мужа, что у неё дипломатический номер, и что даже немцы не забирали таких машин». Машину эту, собственность швейцарского дипломата, офицеры увели в тот же день, заявив, что швейцарцы – такие же фашисты, как немцы.

«...Проталкиваясь через солдат, мы вошли в коридор. Там была такая толпа, что мы еле вошли внутрь. С огромных трудом мы добрались до моей комнаты... Там мы застали наихудший вариант коктейль-парти. На обеих наших кроватях лежали солдаты. Один был занят тем, что выбрасывал на пол всё содержимое ящиков моего комода, другой же методически и искусно разбирал на части наше радио.

...Другие солдаты шарили в шкафах. Все ящики уже были на полу, усеянном бутылочками с лекарствами Джембо, его обувью, ватой и зубной пастой, причем всё это еще было залито его полосканием для рта.

...Я перешла в гостиную. В ней на столах, креслах, сундуках и стульях расположилась орда русских... Через открытую дверь мне был виден кабинет Тацита, где солдаты бродили по колену в бумагах и документах. Все они были чрезвычайно заняты. Как сразу же стало ясно, их главных занятием было разбирать всё на части. Некоторые разбирали спортивные ружья Тацита и Франци, другие – радиограммофон в гостиной, третьи – часы и барометр. ... На меня никто не обращал внимания. Я чувствовала себя как во сне, в видении, как будто либо они были призраками, либо я была невидима...»

Хозяева искренне недоумевали – зачем в дом вломилось столько солдат? «Почему они не остались в деревне? Где все они будут есть? На чём спать?.. В комнате дворцового солдата деловито вытаскивали стопки белоснежного постельного белья из шкафов и куда-то его уносили. Куда? Почему? Может ли быть, что они просто-напросто грабят наш дом? Зачем солдатам на фронте наволочки, скатерти, салфетки, кухонные полотенца? Они прошли через столько стран, что уж наверняка у каждого есть и полотенце, и салфетка...». Так продолжалось веселье в доме, под завязку занятом солдатами Красной армии на постое. Слуги, кроме двух верных поварих, сбежали.

Джек, племянник Лиды, замечает, что она зря сказала офицерам про то, что воспитывалась и бывала «за границей», т.е. в Западной Европе: «...для них это – преступление». «Что? – воскликнула я. – Преступление – учиться за границей?..» Джек объясняет: «...В России нельзя даже получать письма из-за границы без того, чтобы не привлечь внимание НКВД. Я забыл тебя об этом предупредить», добавил он. «Ну, может быть, так было раньше, но сейчас – навряд ли. Нельзя же настолько держать в оковах двести миллионов человек», сказала я. «Нет, можно, – упорствовал Джек». Юный поляк Джек, конечно, был прав. Удивительно и трагично легкомыслие и неведение, как Лиды, так и всей семьи Барца – и эта нота прослеживается в течение всей книги. Надо сказать, что Барцы еще хорошо отделались – все они остались в живых, хотя, конечно, и потеряли всё добро, а потом и само поместье с приходом к власти коммунистов.

Возвращаясь в дом после отбытия маршала Толбухина (и до прибытия очередной волны оккупантов), семья пытается навести там порядок. «...В спальне грязь и разгром были просто фантастическими, нет – сюрреалистическими. Пол был покрыт набивкой от стульев и диванов, из которой здесь и там, как изюминки в сухой смеси для торта, виднелись солёные огурцы. Из всего этого высывалась мраморная Венера. Её окружали бутылки из-под шампанского с отбитыми горлышками. Я выдвинула ящик ночного столика – там лежал кусок гнилого мяса. ...Всё в доме было липким от грязи – кроме туалета. Им вообще не пользовались. Или, может быть, пользовались, но в качестве фонтанчика для питья. Мы, однако, обнаружили другой туалет – уличного типа, устроенный из старого крестьянского гардероба во дворе, прямо напротив главного входа. Видимо, Толбухин придерживался

тех же взглядов, что и русский офицер, объяснивший нашему священнику: «Мы – культурные люди, а не такие свиньи, как вы. Мы не ходим по нужде в том доме, где живем»».

Джамбо, муж Лиды, настоящий европейский аристократ, беседуя с ней и другими по-французски, уверен, что всё будет хорошо: «Мы ведь сказали им, что мой брат [Дьердь Барца, бывший посол – В.Ф.] – политический беженец, что он лично знает многих советских политиков, что в Лондоне он подружился с Майским, что он был нашим послом в Ватикане... Дипломаты, – нравоучительно продолжал Джамбо, – во всем мире одни и те же, и я не вижу вреда в том, чтобы этот симпатичный офицер знал, сколько раз мой брат был за границей, наоборот, это только произведет на него благоприятное впечатление...». Тем не менее, пьяные солдаты через несколько дней ведут бывшего дипломата в садик расстреливать – безо всякой видимой причины. Лиде удается спасти его буквально под дулом винтовки, убедив солдат, что расстреливать без приказа командования – «некультурно». Это слово, по наблюдениям Лиды, производило на русских солдат магическое действие, и Тацит остается в живых (он прожил еще пару десятилетий, благополучно эмигрировав в Австралию, и оставил мемуары о своей дипломатической работе в довоенной Европе).

Сюрреализмом отдает ночная беседа Лиды с юным часовым – который, в отличие от многих других солдат, не пытается её изнасиловать или, напоив, «куговорить добром». Речь заходит о музыке, и часовой обнаруживает свою советскую «культурность» сталинских времён. Вот их диалог (который я всего лишь чуть-чуть «драматизировал»), достойный пера Ионеско:

Ч а с о в о й. Какая опера самая лучшая?

Л и д а. Я не знаю... их так много, и они такие разные – нельзя выбрать самую лучшую.

Ч а с о в о й. Нет, нет, неправильно! Вот видите – вы не знаете. Вы это не изучали. Я знаю: самая лучшая, это «Риголетто», на втором месте – «Тоска», на третьем... не помню, по-моему «Кармен». На фронте всё так легко забывается. Но неважно, какая на третьем месте, важно только, какие на первых двух.

Л и д а. Ну ладно... А литературу вы знаете?

Ч а с о в о й. Какую? Я их все знаю: английскую, немецкую, французскую, и, само собой, нашу. Я, конечно, не читал всего, но я знаю, кто что написал. (Говорит быстро, как бы боясь, что Лида внезапно исчезнет). Я больше всего люблю французскую, потому что французский язык самый красивый. Вы этого не знали?

Л и д а. Но мы не считаем, что какой-то язык самый красивый. Каждому нравится его родной язык.

Ч а с о в о й. Нет, нет! Это неправильно! Я, к сожалению, не знаю французского языка, но я знаю, что именно он самый красивый. А вы знаете русскую литературу?

Л и д а. Знаю. И классику, и современную.

Ч а с о в о й. Я предпочитаю классику. А вы? (Не дожидаясь ответа). Что вам больше всего нравится у Льва Толстого?

Л и д а. «Детство», «Юность», «Война и мир».

Ч а с о в о й. Это неправильно! Опять вы неправильно отвечаете. Самая лучшая его книга – это «Анна Каренина». Видите? Вы не знали. Вы думали, «Война и мир». А самые лучшие немецкие писатели – Шиллер и Гёте, а английский – Шекспир, а французские – Золя, Виктор Гюго и Мопассан. Вам кто больше нравится, Лев Толстой или Мопассан?

Л и д а. (ошарашенно). Если выбирать, то Толстой.

Ч а с о в о й. Неправильно! неправильно! Вы не знаете. Вот и этого не знаете. Ведь ясно, что Мопассан лучше,

потому что французский язык самый красивый. Вы, наверно, не учились в университете?

Л и д а. (пристыженно). Нет, не училась. (Про себя: Господи, чему же этих бедных ребят учат в их университетах?). (Часовому). А вы знаете французский язык? Нет, вы же сами сказали, что не знаете. А почему же вы так уверены, что он самый красивый?

Ч а с о в о й. (смущённо вздыхает). Нет, французского я не знаю, но я всё изучал про этот язык. А вот какие музыканты самые лучшие – вы знаете? Вы ведь вроде бы культурная, образованная женщина.

Л и д а. Я – культурная, образованная, но я вам никак не могу сказать, какие музыканты самые лучшие. Очень многие из них – самые лучшие, из них каждый и выбирает того, который ему больше всего нравится.

Ч а с о в о й. Вот, вот! Вы и этого не знаете. Вы просто стараетесь уйти от ответа. И еже говорите, что вы – образованная. Что же это у вас за образование? Три самых лучших музыканта – это Бах, Бетховен и Моцарт.

Л и д а. Кто?

Ч а с о в о й. Моцарт.

«Культуру» оккупанты уважают. Заметив портреты великих людей на стенах, они узнают Толстого; Лида тут же показывает им Шуберта, но на всякий случай выдает его за Пушкина; солдаты с уважением соглашаются. В других случаях Шуберт или Берлиоз проходят как Лермонтов. Солдаты и офицеры одобрительно кивают, интересуясь, повсюду ли в Европе у культурных людей висят портреты Лермонтова – или, по крайней мере, Пушкина.

Солдаты, ограбив и разорив деревню (как помещиков, так и крестьян) с успехом и наглядно агитируют жителей венгерской деревни «за коммунизм». Лида пишет об этом: «...Среди простых людей, которые никогда ничего не читали, существуют два представления о коммунизме. Наименее популярное из них – что все должны быть равны по своему достатку. Этому мнению придерживаются немногие. Большинство примитивных коммунистов видит в коммунизме обмен положением: я мыла полы раньше, а теперь пускай она, моя прежняя хозяйка, поможет мои полы. В таких случаях я всегда замечала, что для истинного равенства мы должны мыть полы по очереди – но не получала в ответ одобрения. Для этих «коммунистов» коммунизм был просто классовой мстостью – и, к сожалению, в нашей деревне все коммунисты относились к этому типу... Для них коммунизмом был бы любой общественный строй, при котором они сидели бы в господском доме и пили кофе, а мы бы стригли газоны и сгребали листья. Таков был их идеал, и нельзя было убедить их, что на самом деле это никакой не коммунизм».

Как исправный летописец, Лида чутко регистрирует отражения международных событий 1945 г., которые чувствуются и в поместье Мора. «Как только стало ясно, что русские победят в войне, их отношение к западным союзникам полностью изменилось... Я больше не решалась рассказывать о том, что у меня есть друзья в Англии или о том, что мой деверь был там политическим беженцем. Теперь это стало грехом. Когда я впервые встретила с русскими, они всего лишь подсмеивались над Англией как над «страной лордов», тогда как отношение к США было как к государству, равному СССР. Теперь, когда война уже почти завершилась, Англия стала очевидным врагом, над ней издевались и её презирали; США же стали соперником в борьбе за мировое господство».

Книга кончается благополучно. Приходит из Будапешта машина друзей-дипломатов, и семья покидает поместье Мора – навсегда. Последняя фраза книги: «Мы ехали, чувствуя себя как первые люди по дороге на Луну».

Венгерский дневник Лиды – Литки де Барца – Александры Орме удивителен своей непосредственностью и

трагикомической бодростью, документальностью и стилем. Он не претендует ни на литературное мастерство, ни на философские обобщения, но с честностью, резкостью и разрешением документального кинематографа он запечатлел для нас правду, звук и запах событий, слов и мыслей того времени. Так можно и надо писать.

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

ЕГИПЕТСКИЙ СКВОРЕЦ В СОВЕТСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

*(Три составляющие жизни Симона Шноля
в эпоху сталинизма¹)*

Невысокий очень худой седой человек на фоне сталинской высотки МГУ, он же в обширной пустой студенческой аудитории. Один. Маленький. Не знаю, только ли у меня возникало ощущение чего-то египетски неподвижного и давящего, нависающего над этим небольшим юрким человеком с изможденным лицом и добрыми живыми глазами. Авторы фильма не просчитались, начиная свою картину с этих кадров и перемежая ими ее течение. Емкий и значимый этот образ воплотил для меня пафос картины.

Человек, восемь серий фильма рассказывающий нам о своей судьбе и о судьбе своей страны, – профессор-биолог Симон Шноль. Восемидесяти с чем-то лет. Из них, если учесть, что родился Симон Эльевич в 1930-м, 70 лет прожито им в 20-веке, том самом, который, если бы это было возможно, он просто-напросто изъясился бы из истории. Изъясился бы, чтобы не было в ней этого кровавого, отмененного жестокостью и страхом куска времени.

Если продолжить математические расчеты и от 1991-го, ставшего последним годом Советского Союза, вычесть 1930-й, год рождения Симона Шноля, то получится, что в Советской стране прожил он 61 год. Больше шестидесяти лет прожил человек при советской власти – да каких еще лет! Даже не учитывая того, что был он сыном «врага народа», что в голодающей семье выхаживал младших детей, почему и не мог посещать школу, факты его биографии поражают.

В самом деле, не всякий из нас в детстве тонул – да не утонул, ребенком, съев некачественного предвоенного хлеба, умирал в больнице от дизентерии – да не умер, подростком в эвакуации был застигнут снежным бурей, погребен под снегом и спасся благодаря «ученой» лошадке, в послевоенной экспедиции на Печоре за мгновение до направленного в него выстрела сумел разоружить пещерного антисемита в офицерской форме, работая с радиоактивными веществами, будучи приговорен врачом к смерти через четыре месяца, волею добрых сил, поборол смертельный недуг.

Невозможно? Фантастика? Но вот он герой, перед нами. Смотря фильм, ни секунды не сомневаешься в правдивости этих драматичнейших рассказов. И получается, что перед нами феномен. Тот самый, который олицетворен в древнейшей деревянной российской игрушке, называемой ванька-встанька. Его толкают – а он поднимается, его снова толкают, а он опять на ногах, и так до бесконечности, до снашивания материала...

Глядя на экран, я не раз и не два говорила себе: «Да как же он выдержал?» Выдержал, по всей вероятности, не только по воле providения и по могучей установке на

жизнь, но и помня, что родителям – репрессированному отцу и матери, вдове «врага народа» с четырьмя малолетними детьми на руках, – было еще тяжелее.

Совсем недавно ТВ удивило и порадовало нас встречей с Лилианной Лунгиной. Картина о Шноле во многом схожа с «Подстрочником». Там и там – уроки жизни, пришедшейся на тяжелейшее время, там и там человеческое мужество и умение выстоять во враждебных обстоятельствах, там и там гимн доброте и состраданию и «черный список» губителей и людоедов. И оба фильма, при всей тяжести материала, смотрятся без ужаса – их герои выжили и глядят на тебя с экрана. Помнится, что именно благодаря этому обстоятельству, я смогла прочитать про мучительный «крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Грела мысль – она выжила, смогла это описать, значит, – победила.

Хочется, чтобы из этих рассказов мы, поколения, идущие следом, извлекли некоторые уроки. Какие – давайте подумаем вместе.

Репрессированные отцы. Эли Гершевич Шноль не был ни предателем, ни шпионом, ни «врагом народа». Был он обыкновенным советским человеком еврейской национальности. Занимался лингвистикой и знал множество языков. Маленький Симон помнит, как однажды отец взял его в свой институт и там профессора перебрасывались друг с другом фразами на всех мыслимых языках. Такие были полиглоты, такие люди. Сдается мне, что большую часть их скосило в те самые тридцатые, не менее «роковые» для страны, чем последующие «сороковые». Незаконно репрессированные. Что за странное сочетание? Бывают репрессированные «законно»? Сколько людей тогда погибло – в растянувшуюся на годы вальпургиеву ночь террора? Миллионы, десятки миллионов... Точной цифры нет, ибо смерти многих были подверстаны к потерям на войне. Брали по доносу, по случаю, по разнарядке... Существовала разнарядка, сколько тысяч расстрелять по республикам.

Симон Эльевич Шноль, ныне – состоявшийся крупный биофизик, в те годы – ребенок, чей отец попал в сталинский лагерь (статья, по которой попал, не названа; понятно, что обвинить могли в чем угодно, вплоть до шпионской деятельности в пользу всех разведок – по числу знаемых языков)², дает свою – научную – формулировку случившейся тогда катастрофе – «социальное нарушение иммунитета в нашей стране». Если я правильно поняла мысль, есть такие состояния, когда организм, потеряв ориентировку, все свои иммунные силы направляет не на борьбу с реальными болезнями, а против себя самого. Вот эта-то беда и приключилась с нашей страной, строившей социализм под громкие марши духовых оркестров и неслышные из-под каменных мешков выстрелы и крики истязаемых. Террор, репрессии – это когда метут всех и когда трудно разобраться, почему забили того или иного. У меня, впрочем, есть ощущение, что больше других пострадали люди талантливые, те, кто выделялся умом или способностями – и посему оказывался на виду.

Тогдашняя кафкианская реальность чуть ли не зеркально совпала с описанной Достоевским «щигалевщиной» из провидческого романа «Бесы»:

«... каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высочайший уровень наук и талантов доступен только высшим

¹ По следам 8-серийного фильма «От нуля до восьмидесяти. Симон Шноль». Телеканал «Культура». Режиссер Елена Ласкари, автор Марина Глаголева.

² Постепенно мы узнаем, что были в те годы и те, кто активно противостоял сталинизму, но таких было немного.

способностям, не надо высших способностей!.. их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается камнями... Рабы должны быть равны!»

Если вспомнить тех, кто в сталинскую эпоху был убит или сослан в лагерь органами безопасности, то будут это люди крупные, чем-то отличившиеся. По воспоминаниям бывших «зеков», именно в лагере они соприкоснулись с интеллектуальным цветом страны. Впрочем, наверное, были там и простые советские паренки, такие как студент Коля, ни за что ни про что обвиненный в терроризме, сын героини из повести «Софья Петровна» Лидии Чуковской. Напомню, что повесть была написана в 1939-м, по горячим следам ареста мужа, выдающегося физика Матвея Бронштейна.

Почему мы, советские, в 60-х так смеялись над китайскими недорослями – хунвейбинами, заставлявшими свою интеллигенцию «перековываться» на трудовых работах? Ведь то же самое, только более массовое и беспощадное, так как дело вершили «профессионалы», чуть раньше творилось у нас.

Отец Симона после нескольких лагерных лет, проведенных на «земляных работах», из здорового человека превратился в инвалида-доходягу и был списан – на умирание к семье. Умер он очень скоро, оставив жену с четырьмя маленькими детьми. И хорошо еще, что малолетки не были, как тогда водилось, поодиночке распределены по детдомам, дабы стереть в них память о семейных корнях и не навести на мысль о мщении государству-отцеубийце.

Глаза в глаза глядя на нас с экрана, Симон Шноль говорит о поколении репрессированных отцов. Отцов, в которых так нуждались их дети, в особенности мальчишки. Самых умных, самых смелых – единственных. Граждан страны, ничего против нее не замышлявших, образованных, талантливых, работающих на ее благо. Почему их убили? Кто за это ответит?

И знаете, что пришло мне в голову? Дети репрессированных отцов вполне могут предъявить счет государству-отцеубийце. Пусть нет уже Сталина и его ближайших подручных, по чьим злодейским приказам вершился террор, но существует – и даже в том же самом здании – в сердце страны и столицы, та организация, что его осуществляла. Эта организация наследница и правопреемница сталинских органов. Почему бы ей не повиниться в содеянном?

«Mea culpa» – моя вина, – сказал Ватикан в 80-е годы, принеся свои извинения за преступления «святой» инквизиции. Папа Иоанн Павел II лично принес покаяние от лица католической церкви за былые преступные деяния этого церковного органа.

Вопрос: Услышат ли жертвы ГУЛАГА (немногие из доживших), дети и родственники репрессированных слово покаяния от органов безопасности? Услышит ли его весь российский народ?

Боюсь, что при нынешней власти ничего этого не будет.

Репрессированная наука. Герой фильма – ученый, и по-видимому, ученый от Бога. Для него – цитирую: «Основа жизни на земле – узнавание, постижение». Этим Симон Шноль занимается сызмальства, пытается постичь окружающее, задавал вопросы как природе, так и людям. Но вот что выяснилось: за вопросы в Советской стране легко могли убить. И чем глубже ученый въедался в свою науку, чем поразительнее и интереснее были его выводы, чем более неординарные способности он обнаруживал, не произнося поминутно сакральных слов, как-то: коммунизм, партия (Сталин), империалистическое окружение, – тем больше было у него шансов проститься с жи-

знью, попасть в лагерь или – в более вегетарианские времена – получить нокаутирующий удар под дых.

В фильме эта неумолимая закономерность прослежена на всей семье Шнолей: отец – репрессированный ученый, брат с уникальными математическими способностями как «безродный космополит» не был взят в аспирантуру, за чем последовали четыре с половиной отупляющих года в армии, самому Симону, с отличием закончившему биофак МГУ, даже всесильный академик Северин не мог помочь получить место по «распределению» (что совпало с кампанией против «врачей-вредителей»).

Личный ли печальный опыт, желание ли рассказать о судьбе коллег в Советской стране, а верней всего – чувство горечи, негодования и великой обиды за родину – побудили Симона Эльевича написать книгу «Герои, злодеи, конформисты российской науки», рассказывающую печальную правду о судьбах отечественных ученых. Разошлась она невиданным тиражом³. Книга эта находится за пределами фильма, и в руках я ее не держала. Но вот выписываю из нее цитату по рецензии в журнале «Знамя» за 2002 год:

«А мы считаем соотношение нобелевских лауреатов «у нас и у них»... Наших не получивших премии лауреатов истязали садисты-следователи. Их расстреливали по спискам, утвержденным Политбюро и лично Сталиным. Они умирали от непосильной работы, голода и морозов на Колыме, на Чукотке, в Караганде, Воркуте, Норильске – по всей стране».

Все та же тема – «репрессированных отцов», иными словами – жертв «сталинщины». А ее жертвами были не только убитые и брошенные в лагерь, но и их семьи, друзья, а также сами «работники органов», которых режим искалечил нравственно, заставив стать палачами, убийцами, истязателями. В картине Шноль рассказывает о соседе, краснощекоем, веселом и здоровом парне, по вечерам набивающем патронами свой служебный пистолет. Точно не помню, что случилось с этим здоровяком, спился он или свихнулся... Не проходит даром работа в застенках заплочных дел мастером.

Задумываюсь: даже в моей «гуманитарной» науке потери были неисчислимы. Назову лишь первые пришедшие в голову имена выдающихся ученых-гуманитариев, попавших под жернов репрессий.

Григорий Александрович Гуковский, умерший 48 лет отроду от сердечного приступа в Лефортовской тюрьме (обвинен в космополитизме!).

Юлиан Григорьевич Оксман, первоклассный пушкинист, обвиненный в «попытке срыва» пушкинских праздников (!), десять лет проведенный в колымских лагерях.

Лев Семенович Выготский, чья гениальная книга «Психология искусства»⁴, так и не увидела света при жизни автора, ее создатель успел умереть от туберкулеза в 1934 году в возрасте 38 лет. Проживи он чуть дольше, хотя бы на два года, – попал бы как родоначальник «педологии» под партийное постановление 1936 года о «педологических извращениях» и был бы убит или загнан в лагерь.

Опередивший свое время блестящий мыслитель и литературовед Михаил Михайлович Бахтин спрятался от властей в Саранском университете после отбытия пятилетней ссылки (1929–1936) в Кустанае.

³ Симон Шноль. Герои, злодеи, конформисты российской науки. Изд. 2, дополненное, М., 2001.

⁴ Л. С. Выготский. Психология искусства. М., 1965 (первое издание).

Владимир Павлович Эфроимсон⁵, чья фантастическая по научной смелости статья «Родословная альтруизма», опубликованная в 1971 году в «Новом мире», не меня одну потрясла и перевернула, — за свои научные воззрения в годы сталинщины был осужден на три года лагерей.

В пору моего взросления 60-70-е годы упоминание о лагерях и ссылках в печати не позволялось. Повидимому, было такое негласное указание сверху. И продолжалось это вплоть до Перестройки. Так что школьницей, делая доклад о Николае Заболоцком, я даже не подозревала, что он — фактически за свои смелые новаторские стихи — прошел через жестокие пытки в недрах Большого дома, а потом оказался в лагере. Судя по тогдашним его биографиям — не было такого факта в жизни автора стихотворения-реквиема «Где-то в поле возле Магадана»...

Об Ариадне Эфрон, дочери Марины Цветаевой, биографы писали, что долгие годы она провела вдали от столиц. Так «красиво» обозначались четырнадцать лет лагерей, шесть из которых пришлось на гибельный заполярный Туруханск.

Только сейчас, по шажку, по миллиметру, советская история начинает представлять перед нами без умолчаний и лакун, и расстрелы, лагеря и тюрьмы с 1917 по 1953 год по ложным политическим обвинениям перестают быть «секретной», не подлежащей оглашению темой.

Но вернемся к фильму.

«Советскую науку, — говорит Симон Шноль, — начали истреблять уже в 1929 году». И правда, одна за другой проводились кампании против «антинаучных теорий» и отдельных выдающихся ученых, в результате живая наука заменялась «фанерой», мертвой имитацией, не имеющей ничего общего с реальностью. Оказавшись на биофаке МГУ в 1948 году, юноша Шноль увидел, что «факкультет почти исчез». Места, освободившиеся после ареста Николая Вавилова (умер от голода в Саратовской тюрьме в 1943) и окончательного разгрома генетики (сессия ВАСХНИЛ 1948 года) были заняты Лысенко и его приспешниками. В советской биохимии растений — увы, на долгие годы — восторжествовала лженаука. Но факкультет исчез не до конца. На кафедре биохимии животных занятия вел Сергей Евгеньевич Северин, истинный ученый и просто хороший человек. Об академике Северине, прожившем долгую жизнь, — 92 года (умер в 1993), слышала от многих. Думаю, что поговорка Шноля, звучащая в фильме «В бога не верю, а святые есть», относится и к Северину. Благостным и добреньким тот точно не был, но не боялся помогать тогда, когда это было чрезвычайно сложно и очень опасно. Мне запомнилось, что по рекомендациям Северина в годину борьбы с «безродными космополитами» его незадачливый, с типичной еврейской внешностью, студент Шноль совершил 137 попыток поступления на работу. Никуда не брали, пока Северин не «сосватал» Симона в секретную лабораторию, работающую с радиоактивностью.

Занятия наукой — удел честных и порядочных людей. Если ученый подтасовывает факты, если, ставя опыты, заведомо знает результат, черное сознательно называет белым, какой он ученый?

Но именно это и случилось с советской наукой. Для сохранения жизни требовалось на черное говорить белое. Прямо по «бесу» Шигалеву, провозглашавшему: «Не надо образования, довольно науки!.. В мире одного только

недостает — послушания». Однако при всей бесовщине, заполонившей советскую науку и правящей в ней бал, остались в ней те, кто противостоял псевдоученым и послушания не проявлял. Шноль рассказывает: когда директору Института фармакологии профессору Закусову принесли рецепты так называемых «врачей-вредителей», чтобы он подтвердил их «вредительство», Василий Васильевич, изучив материал, изрек: «Лучшие врачи мира подпишутся под этими рецептами». И был арестован.

Набрала сейчас на интернете имя Василия Васильевича Закусова и получила — «Выдающийся фармаколог XX века». А где те «бесы» от науки, что травили истинных ученых? Сгинули. Потонули в Лете. И имена их мы знаем, только благодаря тем, кого они клеймили и убивали.

Репрессированное племя. Еще одна составляющая фильма, о котором веду речь, — лежит на поверхности. Не нужно сильно напрягаться, чтобы понять, что Симон Шноль — еврей. У него тот самый легко узнаваемый «фенотип», что не изменился со времен фараонов. И вот это обстоятельство — еврейство героя — становится еще одной темой фильма — биографической и социальной.

Вначале позволю себе краткий исторический экскурс.

Тот, кто знаком с проблемой, знает, что принадлежность к еврейскому племени всегда привносила в жизнь его представителей дополнительную сложность, особенно возраставшую в некоторые исторические периоды. Одним из таких периодов в XX веке была Вторая мировая — для Советского Союза Великая Отечественная — с развязавшим ее безумным германским фюрером, провозгласившим своей задачей «окончательное решение еврейского вопроса» посредством уничтожения всех евреев до единого. И кто бы что ни говорил, в это время Советский Союз спас своих «граждан еврейской национальности», дав возможность евреям призывного возраста сражаться с фашистами, а всем прочим — эвакуироваться в Среднюю Азию и другие тыловые районы вместе с остальным не подлежащим мобилизации населением. Именно Советский Союз в ходе войны с фашизмом оставался последним оплотом и надеждой европейских евреев.

Но очень скоро, не успела война закончиться, политика «советского» фюрера в отношении евреев удивительным образом стала напоминать нацистскую.

Странное дело: в стране, чьей ключевой идеологией был интернационализм (а я еще помню трансляции партийных мероприятий, заканчивающихся пением «Интернационала»), верховные власти взялись насаждать пещерный истерический антисемитизм. Из этого разряда — гонения на «безродных космополитов» 1948-1949 г.г., именно тогда был убит великий Михоэлс (январь 1948). Тогда же были казнены 13 еврейских поэтов, членов еврейского антифашистского комитета, среди них и удивительный Перец Маркиш. «Ночь казненных поэтов» случилась не так уж и давно, уже при жизни моих сверстников, — 12 августа 1952 года.

В том же ряду и дело «врачей-отравителей» (1952-1953), грозившее перерасти для советских евреев в ужасную катастрофу — депортацию в Сибирь, Казахстан или на Дальний Восток и истребление. Помешала этим злобещим планам, вынашиваемым «Аманом»-Сталиным, его смерть 5 марта 1953 года. Это дата еще одного (которого по счету!) чудесного избавления евреев, достойного новой книги «Эсфирь».

Ни одно из перечисленных событий не обошло семью Симона Шноля. Ни война, когда семейство по чистой случайности не осталось в захваченной фашистами Калуге и потому не было истреблено, ни антисемитские кампании послевоенного времени, коснувшиеся Симона и его брата. Рассказчик не акцентирует наше внимание на

⁵ Причисляю генетика Эфроимсона к «гуманитариям», так как его статья об альтруизме лежала в гуманитарной плоскости, затрагивала вопросы философии, психологии и культуры.

«своей» проблеме – и в этом напоминает всех бывших советских евреев, с годами освоивших государственные порядки и принимающих свой «пятый пункт» в паспорте (а графа о национальности до недавнего времени была везде – от школьного журнала до библиотечной карточки), неизмеримо осложнявший жизнь, как неизбежную плату за принадлежность к «народу Книги».

Чтобы отражать «бытовой антисемитизм», мальчики-евреи нередко начинали заниматься борьбой и боксом. Недавно в сборнике об Анатолии Якобсоне, диссиденте и учителе, прочла, что он для защиты своего достоинства научился боксировать; израильский друг Якобсона, выросший в Вильнюсе, выучился боксу по той же причине. Вот и маленькому, шуплому Симону, сам вид которого провоцировал на драку некоторых любителей легких побед, пришлось брать уроки «самообороны». Очень они емугодились.

В фильме звучит один жутковатый рассказ. Студенты биофака, участники экспедиции на Печору, поймали в окрестностях реки египетского скворца. Вечером к ним на огонек пришел один из работников расположенных в тех краях лагерей. Сильный, красивый, с оружием. Дождавшись, когда разгоряченные спиртом студенты заснули, «работник лагерей» обратился к Симону примерно с такой краткой речью: «Скворец, говоришь, из Египта? Вы ведь тоже к нам оттуда прилетели. Как прилетели, так и улетите». С этими словами «начальственный охранник» схватился за пистолет и выстрелил. У Симона сработала моментальная реакция самбиста, по правилам он должен был направить оружие на неприятеля, но сделал все возможное, чтобы пуля того не задела. Почему – это уже догадываться нам, слушателям и зрителям.

Нет, не только подобные «черные» истории звучат в картине.

Есть там и о раненом солдате, сидевшем на месте сбежавших партийных начальников города Калуги и крикнувшем матери Шноля, распознав в ней еврейку: «Срочно бегите на вокзал, там стоит последний эшелон, может, успеете». И они успели, что спасло их от гибели в оккупации.

Есть в фильме и о заведующей детдомом, простой русской женщине, заставившей «начальников от образования» принять у Симона экзамены экстерном, чтобы мог он поступить в университет.

Есть в картине и о замечательном академике Северине, помогающем не на показ, пытающемся в одиночку пробить заслоны государственного антисемитизма...

Вот и прозвучало это словосочетание – «государственный антисемитизм». Если бы мы знали его раньше, может быть, меньше бы шишек набили, пробивая то, что государством для нас не предназначалось и на чем невидимыми для нас знаками было написано: «не для евреев». Сколько сил, нервов, жизней истрачено в этой борьбе! А сколько с нею связано всевозможных коллизий! Бывали и комические. Я знаю семью, заменившую свою «краснознаменную» национальность на другую – таджикскую, потом, когда младшие захотели уехать в Израиль, им срочно пришлось добывать метрику бабушки-еврейки. Драматические и трагические коллизии – а их было большинство – вылились на страницы великой книги Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Книге этой, недооцененной современниками, я уверена, «настанет свой черед».

Массовый отъезд евреев из Советского Союза в 70–90 годы, когда эмиграция стала возможной, продемонстрировал на практике закон о противодействии, равном действию. Процесс этот, принявший глобальные масштабы, порой называют «исходом Восточноевропейского еврейства». Что принесет этот исход для России – покажет будущее.

Симон Эльевич Шноль из России не уехал. Но знаю из интернета, что его сын, известный биолог-эволюционист, ныне работает в Америке, в Мичиганском университете. У сына фамилия матери – Кондрашов; понятно, что родители боялись, что еврейская фамилия плохо скажется на судьбе ребенка, рожденного в Советской стране. Как знакомы нам эти опасения! И как жаль, что фамилия Шноль уйдет вместе с Симоном Эльевичем...

Последние кадры фильма: улыбающийся, живой – несмотря на все превратности «жизни и судьбы» – Шноль говорит нам на прощание: «Будьте стойкими! Все обойдется!»

И, возможно, спустилась бы в мою душу умиротворенность, если бы по всегдашней еврейской привычке к противоречию мне не вспомнился возглас из статьи все того же Шноля: «Где взять силы для противостояния ужасам и злу?»

Так, видно, и придется жить с этой неразрешимой «дихотомией». А Симону Эльевичу Шнолю, ставшему за восемь вечеров, почти родным человеком, – хочу пожелать долгой и счастливой старости, которая бы хоть как-то компенсировала тяжесть пройденного им пути.

ИВАН ВОЛОСЮК

ГОГОЛЬ В XXI СТОЛЕТИИ

Последнее десятилетие XX века породило спор о «религиозной» филологии, а точнее, о праве филологов, считающих себя «религиозными», на собственное видение пути, пройденного русской литературой за триста лет. И если процесс избавления от атавизмов коммунистического мышления в других науках и сферах жизни проходил более или менее болезненно и к настоящему моменту уже, в основном, завершился, то филологическая мысль показывает устойчивую зависимость от наследия советской эпохи. Из учебника в учебник переходят прежние, в основном вульгарно социологизированные, оценки писателей и поэтов, и до сих пор студент высшего учебного заведения рискует получить на экзамене по русской литературе билет с вопросом о «классовых противоречиях» в произведениях кого-нибудь из классиков.

Процесс замены старых учебников на Украине новыми протекает очень вяло, нередко монографии переиздаются без необходимых комментариев, о чем речь пойдет ниже, да и новые учебники не избавлены от «мифологем», только теперь уже либеральных.

Трансформации оценки Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) в данном контексте весьма показательны. Казалось бы, вслед за возрождением традиционной для русского мира религии, частичной реставрацией, по крайней мере, в современной России, государственных символов и национальных традиций, должно было произойти возвращение и к «дооктябрьской школе». Но этого не произошло. Исследователь В.А. Воропаев утверждает, что «в литературоведении – и в дореволюционном либеральном, и особенно в советском – творчество и жизнь, да и весь внутренний облик Гоголя, освещались предвзято»[4, с.7].

«К началу XX столетия истинный облик писателя» был «восстановлен» только в «какой-то степени» [3, с.6] – пишет ученый. Так что получается, что простой, механический возврат к прошлому не открыл бы для нас облик Гоголя во всей его полноте. Таким образом, дореволюционное гоголеведение представлял собой некий «тезис», советское – «антитезис». В.А. Воропаев приводит слова Святейшего Патриарха Алексия II, произнесенные им во время одного из выступлений: «Нашим современникам

открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного писателя России» [3, с.8]. Оказавшись на пороге «синтеза», отечественная наука о литературе остро нуждается в армии исследователей, способных переплавить в котле нового мышления наследие прошедших веков, обратиться к рукописям и документам, таким как гоголевские «тетради ... выписок из творений святых отцов и богослужебных книг», которые, как говорит В.А. Воропаев, «многие десятилетия» «хранились невостребованными» «в архивах Киева, Москвы и Санкт-Петербурга» [3, с.7].

Историю русской литературы предстоит ещё переписать «набело», и именно в этом видится нам актуальность нашего исследования.

В самом начале статьи мы упомянули о спорах вокруг «религиозной филологии». Можно констатировать, что в России уже де-факто совершился, и, прежде всего на государственном уровне, переход к религиозной филологии, приход которой предчувствовал и пытался остановить С. Бочаров, выступая против «памятного с советских времён» идеологического вмешательства в дела искусства и науки, которое совершают «религиозные филологи» [2, с.493], в том числе Т. Касаткина, В. Непомнящий. (Последний полагает, что филология «всегда была религиозной... и то, что сейчас воспринимается как новое, на самом деле забытое старое, забытое с тех пор, как секуляризация сознания упразднила Слово как истинный субъект бытия» [10, с.530].)

К числу скептиков можно добавить Юрия Манна, озвучившего свою позицию в преддверии юбилейного дня рождения Гоголя в 2007 году: «Сегодня есть возможность говорить все, что ты хочешь, но этим не определяется метод изучения литературы и подход к произведению...» [9].

В то же время для В.А. Воропаева, являющегося главой гоголевской комиссии РАН и составителем, либо автором основного массива современных книг Гоголя и о Гоголе, совершенно естественным является «применять один критерий оценки произведений писателя и его личности – православный, взятый из Евангелия», причём такой критерий видится безапелляционным, ибо «при таком подходе не может быть загадок – всё становится на свои места» [4, с. 7].

Требования научной объективности вынуждают нас согласиться с мнением Сергея Бочарова о том, что «идеологическое вмешательство» действительно имеет место. Так, 8 из 10 изданных за последнее время книг о Гоголе, попавших в поле нашего зрения, в различных контекстах содержат высказывание Святейшего Патриарха о Гоголе. Возникает ассоциация с «памятным с советских времен» обязательным цитированием классиков марксизма-ленинизма в начале всякой книги, в том числе далекой от гуманитарной или обществоведческой проблематики. Но, с другой стороны, именно Русская Православная Церковь внятно и доказательно озвучила свои права на наследие Гоголя, инициировала издание многих сборников, элементарно профинансировала многие проекты, т. е. заложила тот экономический «базис», без которого всякая духовная «настройка» остается только добрым пожеланием. В конце концов, сам Гоголь не мыслил себя вне Церкви, и уже это даёт нам основание полагать, что именно в Православии содержится ключ к Гоголю.

Соглашаясь с И.А. Есауловым, который считает, что «литературовед, занимающийся русской литературой, вряд ли может без ущерба для своих занятий совершенно игнорировать... масштаб воздействия на отечественную словесность ... православного фактора» [7, с.10], мы полагаем, что литературоведение советского периода, то

есть история русской литературы, которая «базируется ... на наследии революционных демократов с их материалистической идеологией», в какой-то мере является «ущербным». Причина этому видится И.А. Есаулову в том, что «это наследие включает в себя почти ритуальное дистанцирование от православной ... основы русской культуры», притом, что «...литературоведы, следующие этой традиции, – зачастую полагают, что занимают безосновную, истинно научную объективную позицию» [7, с.7]. Построенные нередко на грубых допущениях, в свете Христовой Истины «домыслы чуждых Гоголю исследователей», как считает В.А. Воропаев, «теряют всякое значение» [4, с.7].

Показательным примером «ущербного» литературоведения может стать классический учебник Г.А. Гуковского по методике изучения литературного произведения в школе.

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить. (Матф. 7:1-2)

В конце книги Григория Александровича Гуковского «Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки о методике», значится дата её фактического написания: 1 декабря 1947 года. Приводя этот источник в качестве примера «неадекватного» подхода к творчеству Н.В. Гоголя, мы не должны забывать, что первое издание этой книги вышло в свет только в 1966 году. Г.А. Гуковский, что общеизвестно, был арестован в июле 1949 года (повторно, первый арест в 1941 году за «пораженческие настроения») в рамках борьбы с «космополитами». Если бы в судебных процессах сталинского времени соблюдалась элементарная логика, Гуковский, который в ответ на все обвинения сказал суду «Я люблю русскую литературу. Я воспитан на ней» проходил бы по «ленинградскому делу», которое было призвано бороться не с «безродными космополитами, преклоняющимися перед западом и опошляющими все отечественное», а с «русским национализмом». Но с логикой, а тем более законностью, в те времена было плохо, да и в любом случае для выдающегося ученого нашли бы какую-нибудь статью. Непорочно этой ситуацией является то, что, по крайней мере, по нашим сведениям, Гуковский, умерший в тюрьме «от сердечного приступа, так как не пожелал воспользоваться медицинской помощью», до сих пор официально не реабилитирован.

Может показаться, что исследуя труды ученого, мы видим только пятна и не замечаем самого солнца. Но это не так. В задаче данной статьи не входит оценка трудов Гуковского, к наследию литературоведа мы ещё собираемся вернуться, в том числе обратившись к его обширному труду «Реализм Гоголя».

Цель нашего исследования посмотреть на работы Гуковского как индикатор времени, фотографический снимок времени, когда Бог был «отделен» от созданного им мира, Церковь отделена от школы и государства, а человек – от совести и исторической памяти.

Обратимся непосредственно к тексту книги, а конкретно к десятой главе, посвященной сопоставительному анализу повестей Гоголя «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба».

В тексте статьи Гуковский предлагает собственные правила игры: «в произведении есть то, что в нём сказано, не более», заключая при этом, что «это простейшее положение забывают не так уж редко» [6, с.192]. Однако это не мешает ему, рассуждая о том, что «жадность к богатствам, утеря национальных традиций, крепостничество, рабствование монарху и магнату – все это приводит к гибели «братства», сделать вывод о том, что «ничего не

меняется от того, что здесь говорится о польском магнате и чужом короле» [6, с.205].

Понимая, что такой выпад вызовет возражения читателей, Гуковский пытается «стрелять на упреждение», и сам отсылает читателя к финалу повести «Тарас Бульба»: «слова о «русском царе» в концовке повести – с одной стороны, наклейка, с другой – одно из проявлений грядущего перелома к реакции в сознании Гоголя» [6, с.205]. При этом цитаты из текста повести в этой части статьи Гуковского мы не находим, хотя большинство своих суждений Гуковский, как профессиональный исследователь, делает с опорой на текст. А в произведении, напомним, есть то, что в нем есть, и не более. Так что же сказал Гоголь, и что же захотел пересказывать Гуковский? В сцене прощания уже обжаренного огнем Тараса Бульбы с товарищами есть обращение атамана к ляхам: «Что, взяли, чёртовы ляхи? ... Пойдите же, придёт время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чувствуют дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!» [5, с.162].

Поскольку, к примеру, «Литературный энциклопедический словарь» не содержит в себе термина «наклейка», нам остается только догадываться, какое значение Гуковский вкладывал в это слово. Весьма вероятно, что исследователь считал, что речь идет о поздней вставке, или вообще об идеологической, «властоугоднической» ремарке. Допустим, это так. Но дает ли нам право отвергать либо нивелировать на этом основании нечто, ставшее частью авторского текста? Очевидно, что нет. И дело даже не в том, что слова эти органично вписываются в общий фон эпического повествования о православной общине воинов, а ведь именно так, без идеологических натяжек, сама по себе, прочитывается повесть.

Понятное дело, что Гоголь знает, «что будет дальше», знает, что Москва станет центром будущей православной империи, вобравшей в себя «близкие и дальние народы», понимает, что смерть Тараса Бульбы не напрасна. И не напрасна как раз не своим синхронным смыслом: умирая, атаман пытается помочь своим товарищам, что с точки зрения христианства уже само по себе подвиг, поскольку «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [1, с.1151].

Но Гоголь на этом не останавливается и вкладывает в уста Тараса слова о посмертном торжестве его дела, его идеи. Дает ему не только христианскую непостыдную кончину, но и главное бессмертие – бессмертие диахронное, бессмертие зерна, которое если «падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» [1, с.1147]. В финале повести Гоголь позволяет Тарасу Бульбе догадываться о будущем, делает его на пороге смерти пророком.

Поскольку литературоведение является, прежде всего, наукой, мы обязаны принимать автора таким, какой он есть. И если «перелом к реакции» в сознании автора происходит, хотим мы этого или не хотим, это не дает нам права на явные «передергивания» и натяжки. Для Богдана Хмельницкого едва ли «ничего не меняется» от того, кто примет «всё Войско Запорожское с городами и землями». Сделаем небольшое отступление и обратимся к речи Гетмана ко всему народу.

«Царь турецкий ...басурман: всем вам ведомо, как братия наша, православнии христиане, греки беду терпят и в каком суть от безбожных утеснении. Крымский хан тож басурман, которого мы по нужди и в дружбу приняли, каковыя нестерпимыя беды приняли есмь. Какое пленение, какое нещадное пролитие крови христианския от полских панов утеснения, – никому вам сказывать ненадобеть, лучше жиды и псы, нежели христианина, брата

нашего, почитали. А православный христианский великий государь царь восточный есть с нами единого благочестия греческого закона, единого исповедания, единого есмь тело Церкви православием Великой Росии, главу имущу Иисуса Христа». Можно заметить, что текст повести Гоголя даже на языковом уровне близок к документам, относящимся к истории Запорожской Сечи, а ведь есть прямые указания на то, что Гоголь черпал сведения по истории украинского народа не только из песен, но и из собственно исторических источников.

Однако, как мы видим, для Гуковского такая разница, судя по всему, не принципиальна. Он настойчиво пытается следовать марксистско-ленинскому пониманию истории. Так, к перечню условий формирования «картины эпической жизни» Гуковский, дополняя слова Гоголя о том, что «стал здесь отважен человек», «лишившись дома и кровли» [5, с.173], прибавляет факт лишения «имущественных пут» [6, с.189].

При этом механическому обобщению подвергается ситуация вынужденного отказа от «дома и кровли», когда «южная первобытная Россия» была «сожжена дотла» [5, с.73], или сознательное отрицание от семьи Тарасом Бульбой. Обратимся ко всем нам хорошо известной сцене в начале повести. Слова Андрия о «татарве», которая «будет знать, что за вещь казацкая сабля», вызывает бурю отцовских эмоций.

«Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу», – с присущими ему прямолинейностью и упрямством заявляет старый казак. «Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата?» [5, с.72]. Сложно не заметить перекличку этого эпизода с евангельскими словами о том, что «всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену ... ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» [1, с.1037].

И хотя Гуковский и говорит о том, что Гоголь создает Запорожскую Сечь не историческую, а идеальную, которая есть «не только и не столько то, что было, а то, что должно быть и было с людьми Руси» [6, с.182], населена она как раз вполне жизненными существами, автор показывает нам живых людей, которые сытно едят, крепко спят и при этом живут «по законам военного времени», времени героического и уникального для русской истории. Наверное, по «законам военного времени», Гоголь и не спешит судить своих героев за широту поступков, за беспощадность к врагам, за неумолимость и нетерпимость. Наоборот, именно выпавшие из системы этих координаты получают конкретное порицание и наказание казаков, и авторское осуждение.

Далее, в угоду интернационализму, или как сейчас бы сказали, политкорректности – Гуковский превращает «чёртовых ляхов» в братьев-славян. И опять же под это умозаключение подводится идеология «классов». Выясняется, что поскольку «индивидуальные фигуры поляков в повести написаны без осуждения», и даже «так же написан коллективный портрет польских воинов на валу крепости» [6, с. 209], то получается, что война ведется не с польским народом, а с панами, это их, «польских панов, именно панов» от запорожцев «отличают черты не национальные, а социальные, принадлежащие не к народности (тоже ведь славянской), а общественному укладу» [6, с.210]. Но разве не всенародным единодушием охвачены поляки, обороняющие крепость, когда «мещане и городские обыватели ... не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу» [5, с. 100-101]. Дубно? При этом «в глазах их можно было читать отчаянное сопротивление; женщины тоже решились участвовать, – и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки,

горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи» [5, с. 101]. Так что обрисовать эту войну как войну польских рыцарей с рыцарями украинскими на том основании, что Гоголь изображает «польских воинов ...доблестными витязями, достойными соперниками запорожцев» [6, с.210] не получается. Запорожцы поэтического мира повести «Тараса Бульбы» не разделяют людей на славян и не славян, тем более, не ведут борьбы классовый, имущественной, в чем нас так настойчиво пытается убедить исследователь на протяжении почти всей десятой главы своего труда. Гуковский пытается превратить «войну религиозную» в войну «классовую» (сословную), но не может найти в повести сечевиков, сочувствующих полякам и наоборот. (Кроме Андрия, но Андрий явный предатель).

Война, показанная в повести, носит религиозный характер, и видеть этого не может или не хочет Гуковский.

Нежелание видеть это приводит Гуковского к выводу, что всякий христианин, в том числе и католик, мог бы быть принят в Сечь. При этом Гуковского не останавливает простой и естественный вопрос: зачем такой коллаборационизм полякам? И если «нравственную гибель» Андрия еще можно объяснить («поцеловав ...благовонные уста, прильнувшие к щеке его» красавицы-полячки, Андрий «погиб ... для всего козацкого рыцарства» [5, с. 116] и перешел на сторону поляков), то поляку вступать в Сечь просто незачем. (Мы говорим поляка, так как понимаем, что появление католика другой национальности в Сечи крайне маловероятно). Сечь представляла из себя религиозный монолит, так как «вся молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови» [5, с. 87], и национальное разнообразие в Сечь вносили «только побуждаемые сильным корыстию жида, армяне и татары», которые «осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили» [5, с.87]. Но и они поселялись в предместье, а не пытались стать полноправными членами Сечи (что все равно не гарантировало их безопасности, так как «участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром») [5, с.87].

И никто бы из них не посмел явиться к кошевому.

Между тем, процедура «принятия в Сечь новых сочленов» кажется Гуковскому «простейшей».

«Пришедший являлся только к кошевому; который обыкновенно говорил:

– Здравствуй! Что, во Христа веруешь?

– Верую! – отвечал гриходивший.

– И в троицу святую веруешь?

– Верую!

– И в церковь ходишь?

– Хожу!

– А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

– Ну, хорошо, – отвечал кошевой, – ступай же в который сам знаешь Курень» [5, с.87].

По мнению Гуковского, из этой «простейшей процедуры принятия нового сочлена в Сечь ... явствует, что таким сочленом мог быть всякий христианин» на том основании, что «едва ли можно предположить, что гоголевские сечевики считают католиков нехристианами» [6, с.199]. Однако знания о православии хотя бы на уровне церковно-приходской школы достаточно, чтобы увидеть в просьбе перекреститься со стороны кошевого испытание, сознательно прикрытое внешней фамильярной простотой: пришедший, перекрестившийся неправильно, не-

православно (а католики крестятся слева направо!) рисковал оказаться в Днепре. Так что оказывается домислом, утверждение, что Гоголь «впадает даже в противоречие с самим собой» когда запорожцы, которые «черной ненавистью ненавидят католиков, и считают себя вправе уничтожать их без остатка» вдруг начинают проявлять веротерпимость «в пределах христианских вероучений» [6, с.199] и принимать в Сечь всех христиан. Этого, естественно, в повести нет и быть не может. (Так как у Гоголя время действия повести «относено в неопределённое прошлое XV-XVI-XVII веков» [6, с.208], то получается, «всяким христианином» мог быть и протестант, а протестанты, за редким исключением, отвергают крестное знамение!)

Да и второе утверждение о том, что запорожцы «едва ли считают католиков нехристианами» [6, с.199] тоже весьма сомнительно. В той части повествования, в которой речь идет о том, что «ксендзы запрягали в оглобли православных христиан» и иудеи «держали на аренде христианские церкви» обнаруживается сходство оценки запорожцами этим мучений «на русской земле от проклятых неверков!» [5, с.95]. Так что католики в контексте повести такие же «неверки», как и иудеи. И воспринимать их как-то иначе на том основании, что они христиане, сечевики не намерены. Таким образом «утопический идеал», «напитанный идеями просветителей» не может победить и не побеждает «первобытную веру» фанатичных казаков. Наоборот, как уже говорилось выше, Гоголь выстраивает историческую вертикаль, вершиной которой является если не современная Гоголю Россия, то Россия будущего, или же Россия времен «Переяславкой рады».

Таким образом, Гуковский строит своё исследование, повинаясь некоему идеологическому императиву. Игнорирование им некоторых важных моментов повести приводит к ряду ошибок, в том числе фактических. При этом нам остается только догадываться, что привело к таким «ошибкам»: действительное незнание некоторых внешних и внутренних особенностей православного мировоззрения, либо простой человеческий страх уже однажды арестованного человека за свою жизнь и жизнь своих близких в стране, в которой люди живут «под собою не чужа страны». При этом в целом вся книга кажется нам несомненно ценной, и снабженная необходимыми примечаниями и пояснениями, она послужит ещё не одному поколению преподавателей, а ведь именно преподавателям она адресована, и именно сотни преподавателей должны понести содержащиеся в ней сведения десяткам тысяч учащихся и студентов. Так было с классическим учебником Гуковского «Русская литература XVIII века» [8].

Переизданная в 1999 году, книга предваряется статьей А. Зорина, в которой, среди прочего, говорится о том, что «за шесть без малого десятилетий учебник, который держит сейчас читатель, не мог не устареть» [8, с.3], однако «Что же в таком случае побуждает нас вновь предлагать эту старую книгу современным студентам? Отвечая на этот вопрос, прежде всего, приходится сказать со всей определенностью, что ничем лучшим на сегодняшний день мы не располагаем. Авторы учебников, появившихся с той поры, как правило, лишь так или иначе варьируют фундаментальные идеи Г.А. Гуковского, существенно уступая ему в блеске изложения и темпераменте. Конечно, время помогло им снять наиболее одиозные формулировки своего предшественника, отказаться от компрометирующих ссылок на труды Сталина и партийную печать тридцатых годов, смягчить резкость и однозначность социологических схем...» [8, с. 3-4]. Вступи-

тельная статья, в данном случае, послужит для невдумчивого преподавателя своеобразной «прививкой».

И тульское издательство «Автограф» могло перенять положительный опыт своих московских коллег, но по неясным причинам не сделало этого, издав в 2000 году книгу Г.А. Гуковского «Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки о методике» в её первоначальном виде, что нам кажется ошибкой.

1966 год, когда приемники той власти, которая фактически устранила Гуковского в 1950 году, решили издать книгу репрессированного ученого, отнюдь не был годом относительного благополучия, годом улучшения идеологического климата в СССР, каковыми, например, были годы «оттепели». Наоборот, это был ещё один год советской «реакции», ведь именно в 1966 году состоялся суд над А.В. Синявским и Ю.М. Даниэлем. Наше утверждение является только предположением, но, возможно, причиной возврата к наследию Гуковского была именно возможность использовать его книги для антирелигиозной пропаганды.

Подобно тому, как допущенные школьником в диктанте «огрехи» не требуют переписывания всего диктанта, но требуют только работы над ошибками, современные условия ставят нас перед необходимостью провести решительную ревизию всего массива филологических исследований советской эпохи.

Время сжигания книг прошло, и мы должны помнить изречение «Кто выстрелит в прошлое из ружья, в того будущее выпалит из пушки». В истории, в том числе в истории литературы и литературоведения, нет сослагательного наклонения, и мы обязаны принимать её такой, какая она есть, с благоговейным трепетом открывая каждую её страницу.

Литература:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: «Российское библейское общество», 2004.
2. Бочаров С. Г. О религиозной филологии. // Литературоведение как проблема – М., 2001.
3. Воропаев В. А. «Без Христа нельзя сделаться лучшим». // Н. В. Гоголь. Душа наша расположена к исповеди. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2009.
4. Воропаев В. А. Гоголь над страницами духовных книг. – Москва, 2002.
5. Гоголь Н. В. Избранные сочинения. – М.: «Художественная литература», 1987.
6. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе (Методические очерки о методике). – Тула: «Автограф», 2000.
7. Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск, 1995.
8. Зорин А. Григорий Александрович Гуковский и его книга. // Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. – Москва: Аспект Пресс, 1999.
9. Манн Юрий «Сегодня есть возможность говорить все, что ты хочешь, но этим не определяется метод изучения литературы и подход к произведению...» // «Русский журнал», 27 марта 2007.
10. Непомнящий В. О горизонтах познания и глубинах сочувствия//Литературоведение как проблема. – М., 2001.

ЛАРИСА МАТРОС

На восемьдесят пятом году жизни, 17 мая 2011 года, умер основатель и бессменный руководитель Международного общества пушкинистов, главный редактор литературного журнала «Арзамас», автор множества очерков и статей по литературе и истории, автор книг о Пушкине Марк Митник.

Хочу поделиться с соотечественниками скорбью в связи с уходом удивительного человека, известного в мире пушкиниста Марка Митника. В полученном пуш-

кинистами соболезновании от Всероссийского Музея А. С. Пушкина, подписанного директором музея С. М. Некрасовым и Зав. информационным сектором А. Ю. Грязновой, есть такие слова: «Мировое пушкинское сообщество понесло большую утрату, и нам также будет очень не хватать Марка Израилевича, порой в чем-то даже объединявшего различные пушкинские музеи России между собой. Светлая ему Память!».

Так случилось, что еще живя в России, в конце восьмидесятых годов, когда в перестройку и гласность в печати стали появляться сведения о духовной жизни эмиграции за рубежом, я натолкнулась в "Литературной газете" на взволновавшую меня информацию о существовании в США (!) Международного общества пушкинистов и издаваемом ими журнале "Арзамас".

Когда через несколько лет уже Америке ко мне в руки попал этот журнал, я была буквально заморожена им. Оформление журнала, представленные в нем материалы, так трогательно, изысканно и интеллигентно выражали поклонение Пушкину, его творчеству, что я не могла не высказать это в своем письме в редакцию.

И через несколько дней у меня дома раздался звонок от М.Митника. Так состоялось наше знакомство и с этого началась наша творческая дружба. Эти телефонные общения и переписка создавали у меня впечатление, что я имею дело с человеком явно молодым, столь романтичен был его настрой, столь непосредственно он выражал влюбленность в своего кумира – Пушкина. Огромное количество стихов поэта и сведений о нем, о той эпохе хранит память Митника. (Я не раз непосредственно сталкивалась с тем, что он без особых усилий может в любое время назвать произведение поэта, дату его написания, если нужна ссылка на ту или иную цитату Пушкина.)

Каково же было мое удивление, когда спустя некоторое время я узнала, что Митник готовится к семидесятилетнему юбилею, а свою с юности влюбленность в Пушкина, не будучи гуманитарием по профессии, начал проявлять, исследуя жизнь и творчество поэта, лишь в эмиграции, когда ему перевалило за 50 лет. Поистине, "любви все возрасты покорны"!

Тогда я выразила свое почитание юбиляру в эссе под названием: "Вы Одессит, Митник". Позволю себе воспроизвести его небольшой фрагмент, в котором речь идет как раз о том самом первом звонке ко мне М.Митника.

"...Дорогой Марк, первые же звуки Вашего голоса, вызвали ностальгическое чувство соприкосновения с чем-то очень знакомым, и спустя мгновение у меня уже не осталось сомнений в том, что я разговариваю с земляком-одесситом, ибо для некоторых представителей сильной половины населения этого, "в цветущих акациях" у Черного моря города, характерен особый, как у Вас, тембр голоса. Самым наглядным тому, знакомым каждому примером, является голос Леонида Утесова. Я имею в виду не певческий, а разговорный голос, который в своем звучании содержит нечто дополнительное к основному звуку, похожее на шумовой эффект, который мы ощущаем, придавив тесно к уху морскую раковину, по преданиям концентрирующую в себе шумы моря".

М. Митник действительно оказался одесситом. Его отец был пианистом такого уровня, что в какой-то период аккомпанировал Утесову. Известно, что одесситы – народ особенный. Народ, наделенный энергией "самого синего в мире" моря, украинских степей и теплотой южного солнца. И в знаменитой, озвученной Утесовым формуле: "Ты одессит, Мишка! А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда..." отражена квинтэссенция содержания понятия "одессит", которое включает талант к жизни, к творческой реализации себя в любом де-

ле, поклонение красоте, всем известное филигранное чувство юмора.

Вся творческая и организаторская деятельность Митника, и прежде всего, на поприще исследования и пропаганды творчества Пушкина, эпохи и окружения поэта – есть ярчайший пример проявления всех названных качеств одесситов.

Мои научные и литературные интересы никогда профессионально не были связаны с пушкиноведением. Но я не ошибусь, если скажу, что по большому счету, каждый из нас, русскоговорящих, пушкинист, потому что творчество Пушкина проникает в наше духовное начало с самого детства, сопровождая всю жизнь. Мы, то ли читаем Пушкина, то ли смотрим театральные или киноверсии его произведений, постоянно что-то извлекая из них новое в зависимости от тех вопросов, которые ставит перед нами жизнь: да хотя бы самый актуальный в наши дни вопрос: "совместимы ли гений и злодейство?.." И относя себя к представителям этой неисчислимой когорты пушкинистов, я с волнением наблюдала за деятельностью Митника и созданного им общества, о чем немало опубликовала статей и очерков. В работах я отмечала все новые творческие успехи Митника и общества пушкинистов, представляла обзоры журнала "Арзамас", экземпляры которого приняты на хранение в музей Пушкина в Санкт-Петербурге и других библиотеках России и США.

Но Митник не из тех, кто останавливается на достигнутом. Из-под его пера выходят книги: "А был ли классический треугольник", Нью-Йорк, 1988 г. (о взаимоотношениях между Пушкиным и графиней Воронцовой во время пребывания поэта в Одессе), "Пушкин без легенд", Нью-Йорк, 1994 г., "Покорение Карса", "Парижская Пушкиниана", «Жемчужина у моря», Одесса, 2004 г. и др. По инициативе и непосредственному участию Митника его соратниками создан музей Пушкина в Нью-Йорке, проводятся конкурсы и викторины, связанные с именем Пушкина, а к столетию со дня смерти поэта пушкинисты выпускают памятную медаль. И снова награды и грамоты за подвижническую, бескорыстную деятельность. Такими достижениями Митник встречал следующий свой юбилей – семидесяти пятилетие и десятилетие общества пушкинистов.

Для участия в торжествах у меня был куплен билет заранее и я должна была вылететь в Нью-Йорк вечерним рейсом. Это было 11 сентября 2001 года... О том потрясении, которое мы все испытали в те трагические дни взрыва торгового центра, писалось много и многими, в том числе и мной (см. "Красота с пасет мир, если мир спасет красоту", "С чего начинается Родина... в Америке?").

Так уж устроен мир, что рядом с добром всегда стремится как-то прижиться зло. С этим нельзя не считаться, но с этим нельзя и смириться. И одним из самых действенных противостояний злу является сохранение и воспроизведение прекрасного, что создано мыслью и руками человека. В этом суть утверждения жизни, залог победы над силами, которые ей угрожают. Эти мои "философские ассоциации" здесь, в очерке, посвященном моему земляку и другу Марку Митнику, я воспроизвела не случайно. Потому что та деятельность, та неутомимость, которая свойственна ему полностью согласуется с этим постулатом не только на общественном (социальном) уровне, но и в индивидуальной жизни, обеспечивая ей активное долголетие, оптимизм, жизненную позицию.

Общество пушкинистов расширилось филиалами в новых городах Америки, Европы, стран СНГ. Был выпущен новый альманах "Зеленая Лампа", открыт филиал МОП и музей-библиотека Пушкина во Флориде, вышло в свет "приложение к "Арзамасу" – "Литературный вестник".

Трепетное чувство у меня лично вызвала книга, изданная Митником в соавторстве с В. Цырульниковой "Юбилейная пушкиниана", в которой представлены изумительные изображения (с аннотациями об их истории) почтовых марок, открыток, конвертов, изданных в честь юбилеев поэта в 1899 и 1999 годах.

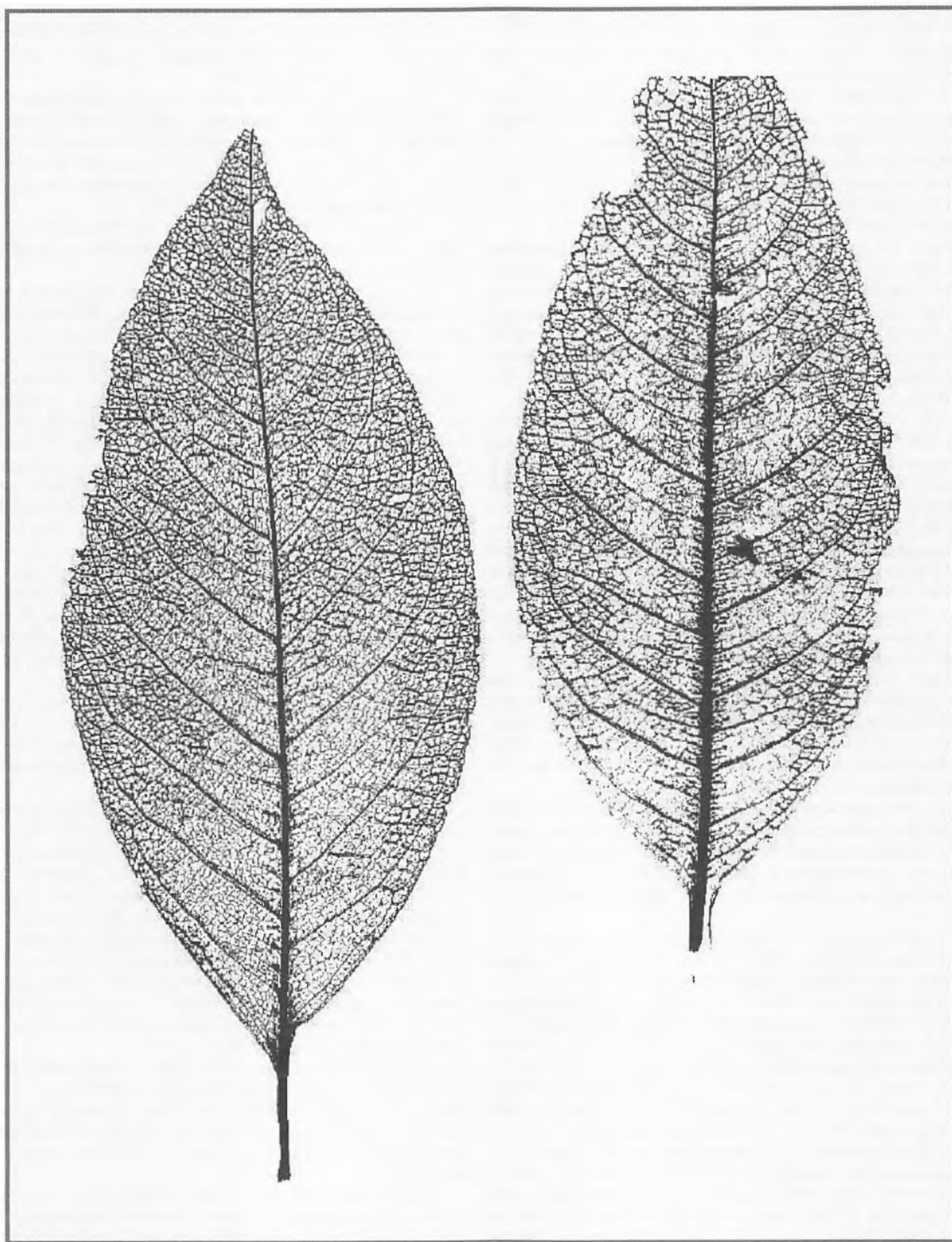
А еще М.Митник порадовал своих почитателей новой книгой под названием, которое говорит само за себя: "Жемчужина у моря". В пушкиноведческой работе Митника немалое место занимает одесский период жизни поэта. И когда книга попала мне в руки, я задумалась: что же является причиной, а что следствием во взаимосвязи этих работ. То ли глубокое погружение в жизнь Пушкина и его окружения в период пребывания поэта в Одессе, потребность побольше узнать о родном городе, то ли наоборот – гордость тем, что в Одессе Пушкин провел тринадцать месяцев? Это, видимо, определило "неизлечимую болезнь" Митника Пушкиным.

Известный Костя, привозивший в Одессу "шаланды полные кефалей" зарекался: "Я вам не скажу за всю Одессу...". Марк Митник не последовал его примеру и написал "за всю Одессу" увлекательную книжку. Из всего, что мне пришлось прочитать о родном городе, эта книга представилась наиболее увлекательным путеводителем по истории Одессы, с обозначением ее судьбоносных персонажей, исторических мест. Я не являюсь историком и краеведом родного города, потому не могу судить о научно-исторической значимости этой книги. Но подкупает то, что автор не претендует на истину в последней инстанции во всем, что является спорным и дискуссионным в истории города и судьбах персонажей с ней связанных. Он каждый свой тезис снабжает ссылками и цитатами из других источников, представляющих разные позиции по тому или иному историческому сюжету. Обобщая, можно сказать, что по аналогии с названием его книги "Пушкин без легенд", так можно назвать все произведения Митника, который стремится очистить от пошлятины и дешевых надумок исторические факты и биографии персоналий, к которым он прикоснулся – от Екатерины Второй (по указу которой начал создаваться город), до известной воровки Соньки Золотой ручки, в рассказе о которой Митник ссылается на А.П.Чехова, наблюдавшего ее в заключении, во время пребывания на Сахалине.

Конечно, в коротком очерке нет возможности отразить всё даже основное в творчестве Митника, как и не возможно перечислить и все знаки признания, которыми отмечены его труды и здесь и в России. Достаточно сказать, что он удостоен чести быть включенным в энциклопедию "Новая Россия: мир литературы" Сергея Чупринина, изданную издательством Вагриус в 2003 году в Москве, а среди знаков внимания – благодарность Министра культуры России А.С. Соколова.

У меня в руках экземпляр коллекционного издания книжки, вышедшей только что в Москве. Книжка посвящена пятидесятилетию Международного общества пушкинистов. Я листаю странички, многие из которых содержат фотодокументы, свидетельствующие об уровне признания и уважения деятельности наших пушкинистов: вот пушкинисты с А. Вознесенским, вот делегация общества на приеме в Российском представительстве при ООН...

Пушкин никогда не был за границей при жизни. Но он в своем творчестве путешествует по всей земле сейчас при самом активном участии Марка Митника и его соратников. Хорошо бы, чтоб в наше тревожное время побольше было тех, кто распространяет по Земле свет благодетства и верности вечным ценностям добра.



Перья из шапки индейского вождя, хранившейся в доме Корнея Чуковского и подаренные
Михаилу Левину дочерью писателя Лидией Чуковской

ЛИДИЯ КОРНЕЕВНА ЧУКОВСКАЯ

Воспоминание лечащего врача

Кто из старшего и среднего поколения выходцев из бывшего Советского Союза не читал в детстве «Мойдодыр», «Крокодил», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», «Бибигон»... Кто не слышал и не знал имя дедушки Корнея Ивановича Чуковского. Его стихи и имя наряду с именами Маршака; Михалкова; Квитко согревали наши детские сердца в те далекие годы Великой Отечественной войны и в последующие голодные послевоенные годы.

Корней Иванович Чуковский был нашим учителем; путеводной звездой; нашим богом. Но и как о далёкой звезде мы не знали подробностей о его жизни; его семье; его интересах и его Человеческого облика.

Я хотел бы рассказать о его дочери Лидии Корнеевне Чуковской; известной писательнице и литературоведе; о которой я ничего не знал, пока не встретился с бывшим долговременным секретарем Корнея Ивановича Кларой Израйловной Лозовской; работавшей с ним с 1953 года и до его кончины в 1969 году. В последующие годы она помогала Лидии Корнеевне с огромным литературным наследством, оставленным Корнеем Ивановичем.

...Было это в 1978 году. Я работал врачом невропатологом в 67-ой городской больнице Москвы. По скорой помощи к нам доставили женщину с острыми болями в пояснице. Принимал её; оказал ей первую помощь и лечил в последующие две недели я. Имя больной было Клара Израйлевна Лозовская. Узнав, что она долгие годы работала секретарем у Корнея Ивановича, я расспрашивал её о подробностях жизни моего и моего сына любимого писателя и поэта. Тогда же я узнал о Лидии Корнеевне; дочери писателя. После успешного завершения лечения Клара Израйловна подарила мне книгу Воспоминания о Корнее Ивановиче Чуковском; где была и её статья.

Прошло какое-то время, и Клара Израйлевна позвонила мне и попросила приехать в Переделкино и обследовать Лидию Корнеевну по поводу неврологической проблемы. Разговора ехать или не ехать у меня не было, и через несколько дней я был в Переделкино и подымался по ступенькам крыльца 2-х этажного дома с балконом.

Дверь открыла мне сама Лидия Корнеевна. Это была пожилая женщина; сидя с коротко постриженными волосами; с живыми оценивающими глазами, Одета она была в простое серо-голубое с цветочками платье. Двигалась она свободно и стремительно. В то время ей было 71-72 года.

После сбора анамнеза – истории болезни и осмотра, она провела меня по дому; рассказывая историю предметов; заполнявших комнаты. Я оказался очень любознательным посетителем (ещё бы! быть в доме Дедушки Корнея, где он жил и творил значительную часть своей жизни). На первом этаже на стене я увидел большой портрет молодой женщины, потрясающей красоты. Я спросил Лидию Корнеевну – кто изображён на этом портрете? Глаза её погрузнели; она какое-то время помолчала и сказала что это портрет её матери, Марии Борисовны. Когда-то даже в полицейских списках она фигурировала под кличкой – симпатичная. Кто написал портрет я так никогда и не узнал; но он без сомнения был сделан большим мастером. Им вполне мог быть И. Репин, Бродский или кто-то из их друзей художников. Они жили тогда в Куоколе (Финляндия), а там, в Пенатах, жил и работал И. Репин, которого навещали многочисленные друзья-художники.

Затем мы поднялись на 2-ой этаж; где был кабинет Корнея Ивановича. Первое к чему Лидия Корнеевна подвела меня, была пурпурно-серая мантия и чёрная четырех-

угольная шапочка. Лидия Корнеевна рассказала, что в 1962 году, когда Корнеем Ивановичем было 80 лет, пришло внезапное извещение из Англии; что ему присвоили звание Почётного Доктора Литературы "Нопопз Сайка" – доктора без защиты диссертации. Корней Иванович прекрасно знал английский ещё с далёких лет молодости. В Лондоне он бывал и жил какое-то время (1903-1904 и 1916 годы). В Оксфорде он прочёл блестящую лекцию о Некрасове в полностью забытой студентами аудитории. Встречали его восторженно.

В стороне на столе я увидел шапку индейского вождя; великолепное сооружение из белых; серых и зеленоватых перьев. Корней Иванович очень любил одевать и шеголять в этой шапке перед детьми, которые были в восторге от столь необыкновенного наряда известного им только из книг Фенимора Купера и Майн-Рида.

Одним из главных экспонатов была комната, которая открывалась справа и где какое-то время жил и скрывался Александр Солженицын.

Это был мой первый, но далеко не последний визит в Переделкино в дом Корнея Ивановича. Я хорошо освоил дорогу с Киевского вокзала Москвы в Переделкино.

Мой сын, в то время ему было 12 лет; узнав о моих поездках к дочери любимого им автора «Мойдодыра», «Крокодила» и «Бармалея», начал стонать и просить взять его с собой. Позвонив предварительно Лидии Корнеевне и испросив разрешения, я взял его в очередной визит. По тому как она обхаживала Яна (имя моего сына), у меня появилось подозрение; что это была любовь с первого взгляда. Всё что я видел и слышал от неё касающееся Корнея Ивановича было показано и разъяснено ему. Она нашла в нём очень благодарного посетителя. Лидия Корнеевна носилась с ним по дому, как бы помолодев на несколько лет; хотя подыматься и спускаться по лестнице на 2-ой этаж была не из лёгких задач в её-то годы. Затем они исчезли из дома, как оказалось позднее она побежала показывать ему детскую библиотеку, построенную во дворе Корнеем Ивановичем.

Недавно я звонил Яну Левину, моему сыну – профессору, доктору физико-математических наук – помнит ли он визит в дом Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны Чуковских? И к моему удивлению, он хорошо запомнил это посещение.

По-моему в этот же визит Лидия Корнеевна показала нам ЧУКОККАЛУ. Трудно было представить то потрясение с которым мы перелистывали альбом и видели имена писателей; художников; композиторов; певцов; которые оставили в ней свои рисунки; изречения; шуточные композиции, стихи (Репин, Бродский, А.Толстой, А.Блок, М.Горький, В.Маяковский, С.Маршак; М.Зощенко; Римский-Корсаков; Лядов; Шалаяпин и многие другие).

Конечно, самое большое впечатление на Яна произвела шапка индейского вождя. Лидия Корнеевна подарила ему три перышка; которые выпали из неё и лежали под ней на столе. Восторгу сына не было конца.

В процессе последующих встреч Лидия Корнеевна рассказала мне о перипетиях её жизни, начиная с 1926 года; когда она была юной анархисткой; сосланной в Саратов. В 1937 году её муж астрофизик Матвей Бронштейн был арестован а затем расстрелян, о чём она узнала много позже.

В очередях в тюрьму КГБ КРЕСТЫ, она познакомилась с Анной Ахматовой; которая отчаянно пыталась узнать о судьбе её сына. Общее горе связало их дружбой до конца жизни поэта. Дружила она и с Мариной Цветаевой.

Самуил Маршак был воспитателем Лидии Корнеевны, руководителем и ангелом хранителем с детских лет. Она много лет работала в Детгизе по его рекомендации. Он

же неоднократно и в последствии помогал ей в устройствах на работу и житейскими советами.

Лидия Корнеевна описала свои испытания в эпоху сталинизма в повести «София Петровна», которая была запрещена в СССР. После смерти Сталина, в 1953 году, она работала редактором «Литературной Москвы». После эпохи Хрущёва она снова испытала гонения. В 1970-х годах Лидия Корнеевна была изгнана из Союза Писателей. Она активно поддерживала Бориса Пастернака; Александра Солженицына и Иосифа Бродского. В 1966 году в ответ на выступление Шолохова, требующего смертной казни Синявскому и Даниэлю, она написала ему, что его позорная речь не будет забыта историей.

Во время моих посещений Лидия Корнеевна боролась за превращение дома Корнея Ивановича Чуковского в музей, и жаловалась мне на препоны, которые ей ставили в разных учреждениях власти. Только в 1988 году дом, где жил; работал и творил Корней Иванович Чуковский, получил статус Музея.

Умерла Лидия Корнеевна 8 февраля 1966 года и похоронена на кладбище в Переделкино, рядом с могилами Корнея Ивановича и Марии Борисовны Чуковскими.

ВЯЧЕСЛАВ СПОДИК

К 75-летию ПИСАТЕЛЯ

ДАВИДА ШРАЕРА-ПЕТРОВА

Об этом человеке написано столько, что мой скромный труд может просто затеряться среди работ других авторов. Однако я не вижу для себя иного выбора, как сесть за стол и изложить всё, что скопилось в моей душе после прочтения произведений этого уникального литератора, одинаково талантливого во всех жанрах современной литературы. Но, как известно, человек отмеченный Богом, талантлив во всём. Незаурядный прозаик, поэт, переводчик, мемуарист, эссеист, он автор двадцати опубликованных книг. Кроме того, Давид Шраер-Петров ещё и врач, и ученый, опубликовавший более ста статей по микробиологии, бактериологии, онкологической иммунологии.

Слово «опубликованных» употребляется в тексте не зря. На самом деле, сам Давид Шраер-Петров, вряд ли знает, какое количество произведений им создано и сколько книг они могли бы составить. Как всякий одарённый человек, не лишённый богемности, он часто и совершенно бескорыстно, не задумываясь об их ценности, читал и раздавал свои рукописи всем, кому они были интересны. По-видимому, в условиях тотальной цензуры и жесточайшего политического режима в стране, такие поступки давали возможность распространения произведений, минуя все государственные инстанции.

Впрочем, я могу и ошибаться. Сам Давид Шраер-Петров пишет о том, как молодые дарования, в том числе и из его окружения, ходили с полными портфелями своих произведений, охотно их читали, кому и где придётся, и раздавали их всем желающим.

Кстати об окружении. В своей книге «Москва Златоглавая», он подробно описывает жизнь талантливых прозаиков и поэтов своего времени и его взаимоотношений с ними. Странное ощущение, но все кого мы считали «небожителями», за чьими произведениями гонялись, чьи тома большие и маленькие, словно нерукотворные памятники авторов самим себе, украшали наши книжные полки, в рассказах Давида Шраера-Петрова, предстают

перед читателями обычными людьми. Он, словно очищая банан от кожуры, снимает с них плотный кафтан мифов, преданий и легенд, под которым отнюдь не всегда оказываются идеалы для подражания (в общечеловеческом, моральном и этическом плане, естественно). По собственной градации Давида Шраера-Петрова, условные мантии писателей и поэтов советской эпохи с 1917 по 1987 год, можно разделить на три основных цвета. «Красный – цвет попутчиков, белый – цвет диссидентов и чёрный – цвет для тех писателей, кто был репрессирован...» – беспрецедентно жестокой властью плембеев, с корнем выжигающих любые ростки инакомыслия («Москва Златоглавая, стр. 9).

Хотя следует заметить, что зачастую, в кровавые шестерёнки карательной машины, затягивались и перемалывались в ней те, которые не очень-то и диссидентствовали, а лишь использовали в своём творчестве приёмы, просто недоступные для понимания малообразованного плебса, прорвавшегося к власти под лозунгом «каждая кухарка может управлять государством».

«Чудовищная селекция, проведённая Сталиным – Ежовым – Берией в 1937-38, а потом в 1949-53 гг., привела к тому, что гениальные попутчики (Маяковский, Есенин, Бабель, П.Васильев, Пильняк, Платонов) покончили с собой или были уничтожены» (Д. Ш-П.).

Приведённая выше цитата самого Д. Шраера-Петрова, конечно же не является исчерпывающим списком замученных, истерзанных и доведённых до самоубийства одарённых, а порой и гениальных литераторов. Были в этом скорбном списке и художники, и учёные, и люди других творческих профессий. Но не о них сейчас речь. Ибо наш разговор о самом Давиде Шраере-Петрове. А он, родившийся 28 января 1936 года, «ничего не потерял»! и успел к столу (в чёрных списках меню, конечно), в самый разгар дьявольского кровавого застолья, учинённого окрепшей уже коммунистической партией и её передовым отрядом, который со временем менял только наименования (ЧК-НКВД-МГБ-КГБ), а по сути, оставался всё тем же «карающим мечом пролетариата», но в руках «главного вождя всех времён и народов».

В числе многочисленных коллег по литературному цеху, Давид Шраер-Петров, прорывался через тернии, сети и плотины, расставляемые отделами культуры государственных и партийных органов всех уровней, идеологическими отделами КГБ и их пособниками – редакторами, цензорами и т.д.

Это была дьявольская селекция, в которой выживали только лучшие из лучших, талантливейшие из самых талантливых и самые хитрые, умеющие подавать материал так, что никакие цензоры не могли заподозрить автора в крамољности.

По утверждению самого Д. Шраера-Петрова, в океан мировой литературы провалились всего около дюжины российских литераторов. И среди них оказался он сам, хотя по собственному признанию, не был официальным участником этого иезуитского ГеБесовского соревнования.

Но так ли это? Откуда, например, появился псевдоним «Шраер-Петров». А дело в том, что началом литературного пути нашего героя, стали многочисленные отказы издательств публиковать его произведения. Друзья посоветовали ему, взять псевдоним, ибо под ярко выраженным еврейским именем Давид Пейсахович Шраер, вход в литературу был накрепко закрыт. Об этом позаботились соответствующие структуры. Давид последовал разумному совету и в конце пятидесятых годов на литературной сцене Ленинграда появляется новое имя – Давид

Петров. Вскоре, он становится одним из лидеров некоего литературного объединения, в которое входили такие известные писатели, как Евгений Рейн, Анатолий Найман, Илья Авербах и другие.

Сам факт использования псевдонима, взятого из русифицированного имени отца (Пейсах-Пётр), весьма интересен. Он говорит о многом, а главное о том, как относилась власть в советском «интернациональном» государстве к собственным гражданам еврейского происхождения. Однако, сменив имя, невозможно сменить душу! И хотя, Давид Петров уже становится известен, как один из самых одарённых поэтов своего времени, он в условиях хрущёвской политической оттепели, возвращает себе свою родную фамилию, но присоединяет её к псевдони-му «Петров», и тем самым создаёт для себя совершенно новый псевдоним Давид Шраер-Петров. Именно под этим именем он становится широко известным литератором. А, кроме того, такой псевдоним как нельзя лучше отражает его внутреннюю суть поэта и писателя с еврейской душой в русской оболочке, соединённых воедино российской культурой.

Тем не менее, в 60-70-х годах прошлого века он был более известен, как блестящий переводчик, знаток иноязычной поэзии (были изданы две книжки эссе о поэзии). Рассказы в то время еще не публиковались. Что касается собственных поэтических произведений, то они больше выходили в самиздате так же, как и стихи уже знаменитых тогда поэтов. И это обстоятельство, пусть и в какой-то степени, тоже объединяло его с ними. И всё же, в середине 60-х годов он перебирается из Ленинграда в Москву. 1967 год стал годом выпуска первой книги стихов «Холсты», а позже, уже в середине 70-х годов увидели свет две книги рассказов. По рекомендации известного писателя Виктора Шкловского (1893-1984, лауреат Государственной премии по литературе), в 1976 году Давид Шраер-Петров становится членом Союза писателей СССР.

Но недолго музыка играла. Всего три года спустя, Давид Шраер-Петров, неожиданно для всех подаёт заявление о выезде из страны в эмиграцию. И с этого момента, становится изгоем. Исключение из членства в Союзе писателей, это лишь малая толика того, что пришлось пережить талантливому человеку, попавшему в особый класс советского общества. Класс отказников. Класс парадоксальный изначально, порочный в своей основе. Граждане СССР с серпасто-молоткастыми паспортами в широких штанинах, лишённые работы, жилья, имущества готовы на любые унижения ради осуществления обыкновенной цели, предусмотренной кстати Международными законами и Хельсинскими соглашениями о правах человека, в частности о праве выбора своего места жительства. А ведь под соглашениями стоит подпись представителя СССР. Это ли не цинизм, не садизм и не двуличность власти в «империи зла», как назвал ныне почивший в Бозе Советский Союз, Великий Президент США, Рональд Рейган?

Однако, несмотря на потерю любимой работы, лишённый возможности проводить медицинские исследования и заниматься наукой, но продолжая лечить больных людей, перебиваясь буквально случайными заработками, Давид Шраер-Петров, усиленно увлекается литературной деятельностью. Одним из величайших его произведений становится роман «Герберт и Нелли», действие в котором развивается в 70-80 годы. Полный трагизма, он переносит читателей в мрачную атмосферу 70-х годов и заставляет их сопереживать, сочувствовать, соощушать нестерпимую душевную и физическую боль вчерашнего преуспевающего красавца-профессора, превращённого советской властью в физического урод. Талантливый еврей,

нашедшего единственное утешение в искренней, бескорыстной любви русской девушки.

Роман написан в форме фантастики, т.е. почти фантастики. Но это не фантастика, а абсолютная реальность, описанная автором с использованием некоторых аллегорий, в качестве катализатора ужаса, который должен почувствовать читатель, пусть даже в виртуальном соприкосновении с реальной действительностью, через которую прошли главные действующие лица почти автобиографического произведения.

В финале романа, молодая русская женщина, с которой связывает всё своё будущее несчастный отказник Герберт Анатольевич, кончает жизнь самоубийством, выбросившись из окна десятого этажа. И тому есть причина:

«Герберт Анатольевич, взглянув наверх, даже пересчитал этажи. Из-за каменной кладки лоджии, на десятом этаже высывалась ушастая, всклокоченная голова Сова» («Герберт и Нелли», стр. 583).

Аллегория сравнения безжалостной власти с образом мерзкой, дурно пахнущей совы настолько очевидна, что не требует комментариев.

Современному поколению трудно, даже невозможно понять страдания, депрессию и унижительное существование БИЧей. Указанная выше аббревиатура, имеет два значения. В одном значении это – бродяга, лицо без определённого места работы и жительства, нищий, грязный, ютящийся в подвалах с бродячими животными и насекомыми. А вот второе значение, придуманное народными острямиками – Бывший Интеллигентный Человек. Профессора, инженеры, писатели, художники, артисты, адвокаты и врачи, весь цвет советской интеллигенции, в одиночасье становились БИЧами, как только подавали заявление на выезд из страны, в том числе и для объединения семей.

Не миновала эта участь и Давида Шраера-Петрова. С позором изгнанный из Союза писателей, уволенный с любимой работы и доведённый, в конце концов, до инфаркта в 1985 году, он постепенно накапливал материал для своих будущих произведений. Они и появились вскоре взрывом воспоминаний, накопивших в себе эмоции, знания, свой собственный опыт и опыт коллег, как по профессиональному цеху, так и по «классу» отказников.

А детонатором, по собственному признанию Давида Шраера-Петрова, явилась неожиданная смерть Ильи Авербаха в январе 1986 года, человека почти гениально, легко переходящего из одной сферы деятельности в другую: из поэтов в медицину, а потом из поэзии и медицины в кино, где стал неповторимым блистательным режиссёром.

Жизнь и биография этого человека, словно была вплетена в судьбу Давида, как впрочем и жизнь других знаменитых литераторов, в числе которых были и Василий Аксёнов, Найман, Рейн и многие другие, ставшие героями автобиографической прозы, то есть произведений, которые сам автор определил, как «особый вид мемуарного романа». И это понятно. Ведь мемуарная литература тяготеет к документальности. И в тоже время чётко определяет хронологию событий. Давид Шраер-Петров находит прекрасное решение, объединив два жанра в один, используя сильные стороны каждого из них, в результате чего и рождается уникальная форма мемуарного романа.

Первым таким романом был «Друзья и тени». Автор, описывая события связанные с взаимоотношениями в своём окружении, задаётся простыми вопросами. Почему меня относят к русско-еврейским писателям, почему меня нельзя отнести к писателям исключительно еврейским?

Тема русского еврейства вообще характерна для писателя Давида Шраера-Петрова. Не зря же он пытается ответить ещё на один вопрос: «Неизбежна ли полная ассимиляция русских евреев в русской среде»? Вывод можно сделать по его стихотворению.

*«Когда умирать мне придётся, чуть живы,
Прошепчут мои полумертвые губы:
Мы стали чужими, Россия, чужими,
А были своими сыны Иегуды».*

(Сб. «Пропадающая душа», «Вилла Боргезе») – стр. 7.

А ведь действительно были своими! Не оценёнными антисемитскими властями, но *своими*. При этом писатель проводит чёткую грань между понятиями страны и государства, власти и народа. Он влюблён в Москву, в российскую природу, в традиционно душевные отношения между людьми, лишённые всяких условностей и помпезностей. В душевные встречи и разговоры, обязательно сопровождаемые обильными алкогольными возлияниями, нередко, кстати, заканчивающиеся кулачными разборками... И всё это Россия, его Россия, его Родина, где он родился, вырос, учился, стал врачом, и где пришла к нему первая любовь и первое вдохновение, где родились первые стихи и первые прозаические произведения, написанные на родном ему русском языке. Где свела его судьба с поистине великими литераторами – писателями и поэтами, литературными критиками и бардами: Генрихом Сапгиром, Булатом Окуджавой, Борисом Слуцким, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Виктором Боковым, Ильёй Сельвинским, Давидом Самойловым, Виктором Шкловским и многими, многими другими, которые стали позже героями мемуарного романа «Москва Златоглавая».

«Какая женщина – Москва! Кого только она не любила, с кем не крутила любовь, а то и сжигала себя в пожаре ненависти и страсти. Москва Златоглавая. Женщина моей любви и моей тоски ... ауканье в ягодном лесу, где мох слаще любого алькова, Сапгиrowsкое «Але, ах это ты, Давид! Давай приезжай, пожалуйста, нас тут целая компания и как выпиваем...». («Москва Златоглавая», стр. 18).

Вернёмся, однако, к мемуарному роману. Автор в увлекательной художественной форме передаёт атмосферу ленинградской, а затем уже и московской богемы в военные и послевоенные годы и его личных отношений с писателями, поэтами и другими представителями творческих профессий. В мемуарном романе «Москва Златоглавая» каждая глава посвящена конкретным людям, встречам и ситуациям, в которых эти встречи происходили. А всего таких глав 14. Это не означает, однако, что речь идёт только о четырнадцати персонажах.

Каждая глава, лишь называется по имени конкретного человека, но содержит в себе огромное количество перипетий, в которых участвуют десятки людей, так или иначе связанных, как с человеком, именем которого обозначена глава, так и с автором романа Давидом Шраером-Петровым. Например, глава «Тигр снегов – Генрих Сапгир».

Означает ли это, что глава будет посвящена именно этому человеку? Отнюдь! Ведь Генрих Сапгир известный поэт, который любит читать свои стихи. И, конечно же, он читает их своим коллегам – поэтам, писателям, литературным критикам, среди которых и друзья, и враги, благожелатели и завистники. А, следовательно, вокруг него большой круг интересных людей, в который органично вливается и Давид Шраер-Петров.

«Сапгир читает стихи... На столах вино, водка, закуски. Генрих читает стихи из разных книг... За столами дикая смесь приглашённых: поэт Геннадий Айги – знаме-

нитый во Франции и никому неизвестный в России, художник Вячеслав Сысоев, отсидевший много лет за антисоветские карикатуры... режиссёр Леонид Хаит, детский писатель Григорий Остер... поэт Игорь Холин... поэт Евгений Рейн ...» («Москва Златоглавая», стр. 19).

Странно, но в условиях, когда ни у кого не было телефонов, весь богемный круг умудрялся общаться с друг с другом постоянно. Телефонов у многих молодых литераторов не было в 50-х – начале 60-х., но когда Давид переехал в Москву, у многих из них телефоны уже были. И внезапные появления друзей и коллег друг у друга никого не удивляли. Многие приезжали с бутылкой, которая, под разговоры о духовном, уничтожалась, и приходилось порой бежать за следующей.

«В романе «Друзья и тени» я писал, как метельным апрельским вечером 1961 г. ко мне без всякого предупреждения на велосипеде прикатил Ося Бродский. От самого Литейного проспекта в Лесное, на Выборгскую сторону. Такая у нас была жажда литературного общения». («Москва Златоглавая», стр. 20-21).

Так пишет сам Давид Шраер-Петров. При этом, он не забывает и тех литераторов, которые не найдя себя в творчестве, скатывались к откровенно коммунистическим, а в некоторых случаях и к националистическим позициям. Так случилось, например, с поэтом Толей Сорокиным, не стеснявшимся появляться в доме Давида в любое удобное для него время, в том числе и ночью, немало не заботясь о расписании хозяина дома и традициях его семьи.

И прекратились эти посещения лишь после того, как Д.Ш.-П. в жёсткой форме раскритиковал стихи Сорокина. Но вскоре тот вынырнул в какой-то националистической организации, куда часто заносило тех, кто, ощущая себя талантливыми людьми, завидовали своим коллегам по литературному цеху, и порой даже напрасно. Но зависть чувство опасное, а завистники люди беспринципные и слабые. Им нужны единомышленники, толпа, которая будет разогревать и поддерживать их чувства. Хотя, по слабости своего духа, они могут совершать самые недостойные и подлые поступки в отношении тех, кому они завидуют. Впрочем, это чувство, эта ситуация, великолепно представлена трагедией гениального русского поэта А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». И комментарии здесь излишни.

А мы вернёмся к Генриху Сапгиру. История взаимоотношений Генриха Сапгира и Давида Шраера-Петрова не только интересна, но и поучительна. Знакомство их состоялось в конце пятидесятых годов, когда Г. Сапгир был уже мастером, написавшим сборники стихов. Правда, не все они были опубликованы, но активно распространялись среди «голодных» читателей, жаждущих свежих впечатлений, форм и стилей, которым надоела поэтическая жвачка о трактористах, Братских и прочих ГЭС и «великих» достижениях социализма.

Однако, помимо творчества, была ещё одна важная причина сближения Давида Шраера-Петрова с Генрихом Сапгиром. Молодого литератора поразило «скрытое» еврейство Генриха, переводившего на русский язык стихи Маймонида. И это в то время, когда даже потомственные, чистокровные евреи уже считали себя представителями русской интеллигенции, забыв родной язык и древнюю культуру своего народа. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. У американцев есть хорошая поговорка: «If You don't use, You Lose!», то есть в дословном переводе – «Если ты не используешь, ты теряешь!».

Естественно, что люди, живущие в русскоязычной среде, оторванные от языка своих предков и их традиций, думающие, говорящие и пишущие на русском языке, считают его своим родным, как и традиции государства,

в котором они строят свою жизнь. Недоумевая при этом, чем же они отличаются от окружающих и почему отношение к ним, мягко говоря, недоброжелательное. Не зря же у Давида Шраера-Петрова возник, в конце концов, вопрос – кто же он в реальности – русский писатель или еврейский?

Впрочем, до самого вопроса и ответа на него ещё очень далеко. А пока что Давид нашёл свою любимую «половину», женился и поселился со своей избранницей Милой на Садовом Кольце в Москве, куда они переехали. Там же обосновались его друзья и коллеги Евгений Рейн, Анатолий Найман и много других талантливых писателей и поэтов, надеющихся найти в Москве более либеральную творческую атмосферу.

Это была середина шестидесятых годов, и это был «город Генриха Сапгира», который писал о Москве: «...это есть – только это – реальность, из которой хода нет... – поток машин вливался в солнце, что стояло над шпилем Белорусского вокзала – сияла каждая пылинки – и было счастье!». («Москва Златоглавая», стр. 26).

Многое ещё можно было бы написать об отношениях Давида Шраера-Петрова с Генрихом Сапгиром, об их духовной и творческой связи. Но тогда следовало бы писать отдельную книгу, а не очерк, ограниченный издательским объёмом. И не одну, поскольку в окружение нашего героя входили такие «тяжеловесы», как Борис Слуцкий, Иосиф Бродский, Илья Авербах, Василий Аксёнов, Александр Кушнер, Евгений Рейн, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Булат Окуджава и многие, многие другие, хотя сам Давид Шраер-Петров пишет:

«Я очень скучаю по Сапгире, по всему его семейству. Мне кажется, что двух-трёх писателей и друзей такого высокого класса, как он, хватило бы на всю жизнь. Илья Авербах, Генрих Сапгир, ещё один-два и достаточно. Я не привык к мелькающим дружеским объёмам». («Москва Златоглавая», стр. 62).

Ну что ж! Мы пойдём путём, обозначенным автором книги «Москва Златоглавая» и не будем широко освещать историю его взаимоотношений со всеми, кого он почитал возможным внести в свою книгу. В конце концов, мы пишем не о них, а о самом Давиде Шраере-Петрове, чья жизнь является частью истории русской литературы, как в самой России, так и в Зарубежье.

А вот поэзия Давида Шраера-Петрова требует отдельного разговора. Его стихи – это не просто красивые поэтические произведения, чем иногда «грешат» некоторые современные поэты. В стихах Давида Шраера-Петрова мы видим едва ли не все формы стихосложения – от простейших, прекрасных ямбов и хорея, до сложнейших верлибров, владение которыми определяет мастеров поэзии. Как, например, стихотворение «В Ленинграде после блокады».

*«...копоть на камнях
зияют глазницы
где дом
куда игрушки
как жить дальше
трассирующих пуль: «алют в ночи
кухонная коммунa
стирание граней
копоть улетает
туманы слизывают след шагов солдатских...».*

«Вилла Боргезе», стр. 24.

Поэт, на манер импрессионистов в живописи, отдельными мазками незавершённых фраз воссоздаёт цельную картину трагических событий во время Ленинградской

блокады, завершившейся полным разгромом гитлеровских войск.

*«...Рельсы как штыки нацелены на мессера
о Господи спаси и возврати
зачем
немецкой речи каркающий звук
лиха победа»*

«Вилла Боргезе», стр. 25.

Что касается тематики, то кажется не осталось ни одной сферы человеческого существования по которой не пришлось бы перо поэта. Это чувства привязанности, страсти и любви, огорчений и наступающей старости, падений и взлётов. Не говоря уже о еврейской тематике, занимающей значительное место в творчестве поэта. Более того, иммигрировав в США, он не уподобляется тем, кто, попав в Америку, сразу же пытаются стать более американцами, чем сами американцы. Его позиция в этом вопросе чётко определена. Там, откуда приехали, мы всё-таки, были счастливее, но здесь благополучнее.

*«Если всё-таки пересчитать
Количество счастья,
Которое мы получили когда-то
В родимой застойной стране,
На количество самых счастливых часов
В Новом Свете,
То получится странная пропорция:
Там счастье было пронзительнее».*

*Но если вспомнить
Сколько раз
Нас унижали, топтали в грязи,
Толкали на ложь, предварительно запугав,
То здесь мы живём
Гораздо благополучней,
Хотя и не так весело,
Как ожидалось».*

«Пропадающая душа», стр. 77-78.

Более того, Давид перенёс в Америку целый пласт великой российской культуры, которая продолжает вращаться корнями в культуру Нового Света. Нашёл благодарных читателей не только в русскоязычной среде, но и среди коренных американцев. Ибо многие произведения его переведены на английский язык, доступный для их понимания.

Кстати о языке поэта. Он насыщен аллегориями и отличается собирательной образностью, символикой эллинской поэзии и иудейской метафоры, о чём подробно рассказала в своей рецензии на стихи Давида Шраера-Петрова известный литератор Ирина Чайковская:

«...зачастую эти два сегмента скрещиваются даже на территории одного стихотворения. Гомер соседствует с «пирующими братьями» «рыжего Иосифа» («Расщелина света»), а магическая луна, плывущая «как афродита в пенном облаке-волне» освещает чтение «Книги иудейской» тремя хасидами «в черных шляпах» («Магическая луна»). Журнал «Побережье» Филадельфия, 2009.

С другой стороны, в некоторых стихах Давида Шраера-Петрова, смешиваются слова и понятия русской и американской речи. Как, например, в стихотворении «Автомобильная мелодия» (стр. 52).

*«Медленно драйвить под звук золотой трубы.
Воображать автомобиль серебряным саксофоном,
Верно вести мелодию и не туды-сюды,
А в направлении яростного небосклона».*

А в целом, вектор поэтического творчества поэта настолько широк, что иногда можно неожиданно столкнуться с рифмами, свойственными стилю других поэтов. Например, в стихотворении «Моей подружке», явно ощущается есенинский стиль.

*«Что ж пойми, моя подружка,
Новый Свет, как Старый Свет.
Пили мы из общей кружки
Слишком много общих лет».*

(Сб. «Пропавшая душа»), стр. 70

Это не означает, однако, что Давид Шраер-Петров подражал стилю великого русского поэта, как, впрочем, и других прославленных авторов России, чьи стили и формы могут встретиться в других стихотворениях автора. Просто так сформировалась мысль, сложилась строфа, так сложилась рифма. А на величайших просторах русской поэзии похожести неизбежны.

С другой стороны, поэт создаёт свои собственные стили и формы, которые невозможно спутать ни с какими другими. Например, одно из стихотворений, в серии американских блюзов на русские темы называется «Идиопатический Блюз». И мне кажется, что содержание его вполне соответствует наименованию, что автор сам же и констатирует.

Однако в этой же серии есть стихотворение «Блюз Еврейского органиста в Гарлемской церкви». Оно наполнено любовью и тоской по златоглавой столице покинутой России, по прошлому своему, безвозвратно прошедшему, нежностью и пониманием к еврейскому музыканту, вынужденному добывать хлеб насущный в весьма непрезентабельном районе – на задворках столицы мира – Нью-Йорка.

*«... Еврейский, Аве Магдалина, шапито.
Играй, пускай не понимает нас никто.
О, никогда не повторится
Та белобрыся девица,
Циркачка, неженка, блудница,
С которой я во снах кружу,
Которой я принадлежу.
Как никогда не повторится
Та златоглавая столица,
Дней отгремевших колесница,
В которых я во снах кружу,
Которым я принадлежу».*

(Сб. «Пропавшая душа», стр. 47.)

Много ещё можно было написать о человеке, ставшем при жизни легендой в литературных кругах и среди своих почитателей. Поэта, способного не только использовать богатейший запас русских слов, но и изобретать новые, яркие выражения, которых нет ни в одном словаре. Как, например, в стихотворении «Палеонтологическое».

*«Конечно же, обезьяны произошли от белок.
Просто белки оказались пластичней.
Они двинулись в северные широты,
Как и другие северные народы.
.....
И только когда обезьяны с белками
Совершенно случайно встречаются...
.....
Они осканиваются зубами,
Они обмериваются хвостами,
Они обмениваются прыжками
И братскими рукопожатиями».*

Сб. «Пропавшая душа», стр. 15.

Впрочем, количество произведений Давида Шраера-Петрова столь велико, а их диапазон настолько широк,

что материалов хватило бы на большую книгу-исследование его творческого и жизненного пути.

Однако мы пока не ставим перед собой такой задачи.

Наш краткий обзор посвящён 75-летию юбилею человека, оставившего глубокий след, как в русской, так и в зарубежной литературе, на ниве которых он продолжает успешно творить и сегодня!

Мы искренне надеемся, что Давид Шраер-Петров ещё долгие годы будет радовать нас своим творчеством.

К 70-летию Сергея Довлатова

АЛАВЕРДЫ СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ

Интервью Наташи Шарымовой с кинорежиссером Романом Либеровым

Роман Либеров, режиссер, приехавший в Нью-Йорк снимать материал для фильма о Сергее Довлатове, выпрыгнул из такси молниеносно. Динамичный, ироничный, доброжелательный он умеренно и искренне восхищался туманными панорамами, открывавшимися с берегов Гудзона, которые я ему демонстрировала. Нью-Йоркские дали, так сказать...

Сергею Довлатову 3 сентября 2011 года исполнилось бы 70 лет. Юбилей. Этого писателя Роман Либеров считает гением, к своим задачам, судя по всему, относится с трепетом и ответственно.

Роман Либеров в прошлом году снял фильм об Иосифе Бродском «Разговор с небожителем». Тонкую, стильную и непростую картину, после которой область «фильмы о Бродском» можно считать исчерпанной, закрытой до того, как вырастет новое поколение кинематографистов с каким-то иным взглядом на великого поэта.

В прошлом у Романа Либерова есть фильмы об Юрии Карловиче Олеше и Георгии Николаевиче Владимове. Кажется, он собирается продолжать свою литературную теле-кинологию, от чего, я полагаю, зритель только выиграет. В какой-то период своей жизни он проходил стажировку на Би-Би-Си в Лондоне, в какой-то – на российском MTV. Его передачи для музыкального канала невозможно смотреть без смеха – настолько в них сильна пародийная, парадоксальная составляющая. Есть в его активе и музыкальные клипы. Мрачные и угрюмые – «Завтра не будет»...

В России: в Петербурге, Таллине и Пушкинском запоевнике в конце августа – начале сентября пройдут довлатовские выставки (Нина Аловерт), конференции, дни, фестивали. В Пушгорах на празднике выступит питерский коллектив Billy's Band (а ля Том Уэйтс), любимица публики по обе стороны Атлантики. Киногруппа Романа Либерова везде побывает и все снимет.

В Нью-Йорке готовятся торжества в Бруклинской библиотеке и Shorefront Y на берегу океана. Сюда московским кинематографистам, видимо, не удастся приехать. А жаль. Эмиграция все-таки и частично питала творчество Сергея Донатовича, и Роману (отчества не знаю и в сети не нашла) было бы любопытно, полагаю, посмотреть на собрание наших лиц. Не знаю, есть ли общая душа у человечества, но люди везде похожи, поскольку мотивация поступков у всех одинакова: все хотят счастья. Творческий же микроклимат в Нью-Йорке оказался таким, что Сергей Довлатов здесь превратился в ПИСАТЕЛЯ и стал больше самого себя.

Как все актеры и театральные люди, я суеверна, поэтому скажу только: «Ни пуха, ни...»

Мы сидим в Вест Вилладже на пирсе на уровне Мортона-стирит. Накапывает дождь. Балерины и йоги разми-

наются. Чаек не видно. Я задаю Роману первый, дежурный вопрос.

Как Вам пришла в голову идея: снять фильм о Довлатове?

Этого не было как идеи. В этом нет идеи. Это, если не противодействие, то ответное действие. Человек написал что-то, что для меня важно, значит, надо алаверды какое-то выставить. Идеи в этом нет.

Что для вас важно в том, что написал Сергей Довлатов?

Самое смешное, когда мы говорим о Довлатове – причем, почти все – то не имеем в виду какие-то конкретные произведения, да? Он всех перехитрил. Он создал жизнь отдельного литературного персонажа, описанную в разных произведениях, и этот литературный персонаж многим симпатичен, вызывает ответные какие-то ощущения. И, если говорить не о конкретном произведении, а о конкретном персонаже, хотя он весьма расплывчатый: Алиханов, Заплатов, Долматов, Довлатов, то наиболее ценное для меня – это – противное для большинства – чувство рефлексии бесконечное. Мне это очень понятно. И та борьба с самим собой, в которой он в итоге, по-моему, на каком-то уровне – проиграл, а на каком-то – выиграл.

С тех пор, как вы решили и получили возможность делать этот фильм, открылось ли для вас что-то новое в Сергее?

Понимаете, с фактологической точки зрения меня не интересуют новые подробности. Не интересен новый фактологический поворот типа «летней жизни». А ощущенчески я ничего нового, к счастью, не узнал, потому что, если бы я ощущенчески узнал что-то новое, это означало бы только одно: что я всю жизнь не правильно его принимал для себя. А из мелких качеств, которые на общую картину не влияют – узнать, что он был человеком очень ответственным, и, в каком-то смысле даже – если не деловым, то деловитым. Я видел его ежедневники... Вызывают радость...

Он говорил, что пишет по тридцать писем в день. Я только не могу понять, когда он их писал. До того, как садился за прозу – или после?

Отсутствие времени – несчастье моей жизни.

Вы полагаете, что нет застывшего прошлого, и остаются только интерпретации?

Прошлое, безусловно, есть, но оно есть только в нашем сознании. Что значит – нет? Скажем, кому важно мое прошлое, кроме меня самого. Ни-ко-му. Если у меня получается переработать мое прошлое в творческий продукт, который интересен, например, вам, то оно существует уже в этом переработанном виде для вас. И оно – правда, не то, что было на самом деле. То, что было на самом деле, – никого не волнует. Поэтому я никогда не увлекаюсь биографическими поворотами.

Я прочла в аннотации Вашего фильма «Разговор с небожителем», что в фильме снята беседа Иосифа Бродского с Соломоном Волковым.

Нет, это написал какой-то далекий от съемок человек. Никакого разговора не было. Я взял все доступные мне интервью и скомпилировал разговор, который теоретически мог состояться. Помимо всего прочего, там есть диалоги с Соломоном Моисеевичем, которые он разрешил использовать.

Разве что-то было снято в те годы?

Мы как бы это воспроизвели. Кирилл Пирогов, выдающийся артист, голос за кадром, играет Бродского, и замечательный журналист беседуют. И на этой документально-вымышленной беседе, которая вполне могла бы состояться в реальности, мы построили всю жизнь ленты. А из реальных съемок я использовал только два фрагмента. Один из них мне подарил Бенгт Янгфельдт. У него в

домике, в Швеции Иосиф Александрович за сигареткой читает стихотворение «На столетие Анны Ахматовой». Это очень легло по стилю. А второй маленький момент, это то, что Лоренс Питкетли снимал в Нью-Йорке. Не помню в каком году.

В 90-м...

С Дерекком Уолкоттом. И в Массачусетсе, и здесь, в Нью-Йорке. Лоуренс разрешил мне это использовать бесплатно. Иосиф ничего не говорит. Просто смотрит. Не знаю, может быть, 50 секунд, может быть больше.

Этот фильм «Разговор с небожителем» вы сняли в прошлом году?

К 70-летию. Он вышел 24 мая.

Вы не приезжали сюда?

Не было денег. Бюджет был ничтожный.

На канале «Культура», к сожалению, всегда так.

Группа смогла только поехать в Петербург на два дня.

Я знаю, что вы сняли фильмы об Олеше, о Владимове. Вас интересует литература? Связано ли это как-то с тем, что люди сейчас перестают читать?

Нет, у меня нет никакой сверхидеи. Все, что я бы хотел делать, это писать. Но прокормить себя этим способом невозможно. Не получалось, не получилось и не получится. А можно совместить две вещи: кино и писанину. Получилось – кино про писанину. Ответное действие, как я сказал. Без этих людей, о ком я делаю кино, я был бы бесполезен. Я составил большой список и продолжать эти фильмы придется...

Следующим поколениям...

Да-да.

Какова судьба этих картин. Их показывают на телевидении, а еще?

Происходит следующее. Это очень громко сказано: «Их показывают на ТВ». Канал «Культура» выпускает их...

В час ночи?

Ну, не в час. Все зависит от личности. Фильм о Бродском получил очень высокий рейтинг. Больше, чем «Новости». Такого не бывает. Но... был юбилей... такого большого поэта... и все внимание было привлечено к нему... и все каналы показывали...

А дальше судьба – только фестивальная. И так как это такая личность – фильм стал финалистом «Тэффи», получил и другие награды. Ну, хорошо. Но когда Михаил Исаевич Мильчик, или Рамунас Катилиус, или Томас Венцлова – друзья Бродского – говорят: «Слушай – твой фильм о Бродском, а другие – нет»...

Я сейчас пересмотрела много фильмов о Бродском. Все одно и то же: виды Петербурга, виды Нью-Йорка, Венеция, «говорящие головы», Иосиф Александрович читает стихи. Мозаика, крошка...

Сейчас, поверьте, к юбилею Сергея Донатовича на всех каналах будет то же самое. И пусть будет. Это же хорошо. Хотя что-то есть... Но у нас совершенно другие задачи. Главное – не лукавить. Что, нам не хотелось бы большего показа? Это вранье. Что, нам не хотелось бы отменений? Ну, конечно, а как же? Но это – не самое главное

Я в Пушкинском заповеднике работала экскурсоводом за год до Сергея Довлатова. Готовя материал к юбилею Сергея, я позвонила в Заповедник. Оказалось, что Ирина Парчевская, сотрудник заповедника, меня помнит. Она рассказала, что четыре человека (один из них – советник губернатора Псковской области по культуре Игорь Валерьевич Гаврюшкин) выкупили дом в деревне Безезино, в котором жил Сергей Донатович. Ирина связала меня с этими людьми, и я узнала, что дом в чрезвычайно ветхом состоянии, сейчас меняют прогнившие венцы, проводят консервацию.

Да, дом был на грани вымирания, еще год – остались бы только кости динозавра. Следующей зимой он бы точно рухнул. Но вот эти четверо, очень достойные люди, не музейщики, захотели этот дом сохранить. Купили его у Веры Сергеевны, у предыдущей хозяйки, и создают железный каркас, подвешивают дом в воздухе, чтобы он не развалился. Они убирают гнилые доски и меняют, скажем, пол. Все максимально аутентично сохраняют. Все делается грамотно. А чтобы на него не падал снег, устанавливают навес. Туристы не смогут зайти в дом, они его уничтожат. Вокруг дома будет пешеходная зона. Можно будет обойти и заглянуть в окна. Внутри восстанавливают все.

Самое интересное, что на восстановлении дома работают украинские рабочие. Местные пьют. Не удалось найти. Эти украинские рабочие *знают*, что они делают, ценят. Это так удивительно. Писатель стал таким большим, каким он, может быть, никогда и не предполагал стать, и домик, в котором он два сезона снимал комнату... Эти рабочие счастливы тем, что они делают. Представляете?

А рядом будет газончик и небольшая сцена. 3 сентября состоится открытие Мемориального дома. Первый – Dovlatov Fest. Будут читать "Заповедник", будут танцы в стиле 70-х. Я там буду

Слышали ли вы что-нибудь в Пушкинском заповеднике о новом довлатовском маршруте?

Подробностей я не знаю. Хотя кафе «Турист» – в развалинах, ресторан «У Лукоморья» – стоит. Прекрасный образчик арт-дизайна 90-х годов. Там есть танцевальная зона и хреновина, которая разбрасывает блики. Так вот, от танцпола можно отгородиться железным занавесом, который опускается... И тогда – место становится VIP-зоной, а остальное – для обычных людей. В Пушкинском всё производит впечатление: около здания администрации сохранилась доска почета с надписью «СЛАВА ТРУДУ». Вообще-то, музей там потрясающий.

Одно из самых красивых мест в России. Какой ландшафт!

Помните?

«Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе:

– Извините, могу я задать вопрос?

– Слушаю вас.

– Это дали?

– То есть?

– Я спрашиваю, это дали? – Тиронец увлек меня к распахнутому окну.

– В каком смысле?

– В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите.

– Не понимаю.

Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять:

– У меня была открытка... Я – филокартист...

– Кто?

– Филокартист. Собираю открытки... Филос – любовь, картос...

– Ясно.

– У меня есть цветная открытка – "Псковские дали". И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить – это дали?

– В общем-то, дали, – говорю.

– Типично псковские?

– Не без этого.

Мужчина, сияя, отошел...

Вы в Нью-Йорке впервые?

Нет. Во-вторые. Я был здесь ровно 10 лет назад. И 9 сентября 2001 года снимал с крыши близнецов. А 10 сентября отправился в город Москва. Удивительно, сколько

изменилось. Помните, Довлатов писал: "У меня есть американское прошлое...". Я в Нью-Йорке был всего пять дней, но даже у меня теперь есть американское прошлое.

С кем вы встречаетесь по фильму?

Для меня самые главные люди: Елена и Катя. При их покровительстве я и совершаю это паломничество. Хорошая мысль: "Паломничество к местам Бродского и Довлатова"... Нет, «Паломничество к местам третьей эмиграции»...

Да, можно открыть бизнес.

У меня с этим плохо. Пока мне не удалось устроить никакой бизнес. Но это удивительно, когда у тебя город оживлен. Как можно оживить город? Вот так: ты видишь небоскреб "Утюг" и вспоминаешь Сергея Донатовича: «Меня вы легко узнаете, я такой же огромный, как небоскреб «Утюг».

ЕЛЕНА КРОН

МАСТЕР ПОЭТИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЫ

Александр Стежеринский родился в Киеве в 1954 г. Окончил Курганский машиностроительный институт по специальности инженер-механик. По этой профессии работает и сейчас в американской эмиграции, начавшейся в 1991 году. Он поселился в Филадельфии, в русском районе Норд-Ист. У него вышло пять книг поэтических миниатюр.

Его стихи-размышления о собственном месте в жизни, о судьбе, о культурной принадлежности как поэта, об эмиграции как философской категории говорят сами за себя. Прикрываясь иронией, автор, тем не менее, не в силах скрыть горьких раздумий:

В стихах, подаренных мне свыше,
Как бы вершится единенье
Того, кто их сегодня пишет,
С тем, кто находится в сомненье.

Литературный язык Александра Стежеринского, отличаясь образностью, в некоторые моменты приобретает особое наполнение, поэт находит новые слои в значениях языковых единиц, как например: "...Да и Земля так заострилась, что исцарапала колени".

В его острой поэзии присутствует, как ни парадоксально, тонкая лирика, мысли о природе и любви, о чувстве одиночества и ностальгии, о едва заметных нюансах человеческих отношений и о своей судьбе – новая жизнь в новой стране.

Альтернативная трагикомичная поэзия, порой черный юмор, сатира и сарказм, наполняющие стихи Александра Стежеринского – это отражение нашей действительности, бытующих нравов и сложившейся фольклорной культуры, синтезированные через призму тонкого собственного восприятия событий и реалий жизни. Используемый поэтом жанр и стиль изложения, безусловно, носит авторский характер самовыражения. Иногда – это серьезные двусмысленные вещи, позволяющие думать о человеке разглядеть и увидеть наше непростое время, иногда – самобытно-народные озорные обороты в духе Игоря Губермана, порой – это философские сентенции.

Грустные и смешные, добрые и достаточно злые, полные горьких мыслей и жизнелюбия, стихи поэта вызывают несомненный отклик у тех, кто, подобно нашему поколению, пережил "посттравматический синдром" глобальной смены бытийных пластов, смены жанров и стилей, утраты иллюзий и слома эпох.

По закону Тынянова, все литературные процессы, в том числе и смена литературных парадигм – не революция, но эволюция. Книги Александра Стежеринского, написанные в американской эмиграции, заставляют читателя почувствовать эволюцию поэтического сознания автора, расширение спектра приемов на гуляй-поле постмодерна, которые он использует в своих стихах.

Слово «постмодернизм» впервые появилось в 1934 году в «Антологии испанской поэзии» Федерико де Онеса, опубликованной в Мадриде. Постмодернизм – переходная эпоха от одного цикла жизни к другому, промежуток между реинкарнациями культуры. Возрождение пафоса прошлых эпох сопровождается такими характеристиками, как новая искренность, новый автобиографизм или новая исповедальность, новый лиризм, новый драматизм.

Мысль ненормативной строчкой мается,
Правдораздел собой верша.
Но иногда в стихе спокойно уживаются –
Высокий слог и низкая душа.

Или:

В среде щеголеват-шумных,
Всех из себя реализованных,
Довольно редко встретишь умных
Среди неплохо образованных.

– пишет Александр Стежеринский, бросая вызов ксенофобии и запретам, утверждая право поэта на прямое высказывание. У него ощущается «инаковость» постмодернистских текстов, их можно выделить в особую группу непохожих на остальные и чем-то похожих друг на друга произведений. Это явление стали называть «другой литературой», «новой волной», но сущность этой новизны прояснить не могли. Постмодернизм нес с собой идею раскрепощения и новый язык, звал «выстирать» все заношенные слова (Вик. Ерофеев), чтобы, в конце концов, обрести новое, современное, мышление – в масштабах всей человеческой цивилизации – и неотъемлемый от него плюрализм.

Не привязанный слишком к местам,
Где угодно согласен *фул тайм*.
Есть условие, правда, при этом:
На парт тайм оставаться поэтом.

Новые произведения концептуалистов предыдущего «призыва», в эстетике которых лежат корни сегодняшних постмодернистов, в том числе и Александра Стежеринского, заметно окрашивает мотив прощания с прошлым, подведения итогов советской истории, преломляемый сквозь призму культуры. Подобные настроения ощутимы и у Александра, в стихах которого они нередко перерастают в культурно-философские размышления. Ирония, сарказм не могут скрыть осадка горечи, грусти, меланхолии, присущего многим стихотворениям, и даже смех нередко смешан в них со слезами – итог поколения неутешителен, будущее непредсказуемо, все непрочное, равно возможно. Александр в своих стихах не изменяет этому направлению, несмотря на декларируемый самим автором поворот к светлой стороне действительности и отказ от ностальгии:

Нам для всего отведен срок,
Для отчуждения и бл изости.
А ум – всего лишь поплавок,
Между достоинством и низостью.

В этих ироничных строчках Стежеринского прозрачно завуалированы обычные для поэта сомнения в своем да-

ре, в праве распоряжаться словом по собственному усмотрению, грубо говоря – в праве творца.

Совсем немногим доверяю,
Не с каждым третьим говорю.
И на бумаге вытворяю,
Хоть свято верю, что творю.

Тезис о принципиальной неразличимости постмодерна и массовой культуры – еще один широко распространенный миф, модный лозунг. Здесь уместно вспомнить Игоря Губермана: его «гарики», при всей сопряженности с языковой стихией масс и колоссальной популярности, вовсе не являются ни продуктом, ни объектом масскультуры. Почти повторяя мэтра, который однажды заметил:

«Среди немислимых побед цивилизации
Мы одиноки, как карась в канализации».

Стежеринский горько констатирует:

Всяк пишущий в конце концов – один.
Я не уверен, рад иль огорчен.
За рифму спрятавшись, ты, вроде, невредим,
Хотя на самом деле – обречен.

Стежеринский как бы непрерывно иронизирует по поводу своего занятия, анализирует, пытается увидеть себя со стороны. Он растворяется в речевой реальности, в социуме, и стихи возникают как живые островки в этом море окружающего говорения, как бы помимо воли автора. Осознанно или неосознанно, но удача, озарения возникают именно в этих моментальных снимках, стоп-кадрах, когда внутренний речевой поток ощущает магический шанс на обретение внешней формы.

Лишь червивые плоды
И крутые берега
Ото всех, кто из среды...
Если сам – из четверга.

Лицо постмодернизма сегодня делается все более узнаваемым. Одним оно нравится, другим – нет. Тем не менее, именно постмодернизм заполнил вакуум, образовавшийся в русской литературе в постсоветскую эпоху, когда произошел окончательный крах социалистического реализма.

Александр Стежеринский остаётся верен выбранной форме, которую мы отнесли к нео-концептуализму как ветви постмодернизма, – а также привычным для этой формы предельному лаконизму, лексическому разнообразию и неизменному сочетанию лирики и юмора. Юмор необходим поэту, чтобы пережить любую трудную ситуацию в жизни. Очень полезно бывает уметь видеть и представлять происходящее в комическом свете. Человек, лишённый такой способности, не может бороться с трудностями.

Жизнь – весёлый батут,
Если сам себе шут,
– усмехается Стежеринский, нисколько не смущаясь ролью шута. И разворачивает эту мысль в более пространном стихотворении:

Чтобы не было беды,
В дефицит терпения
Набираю в рот воды,
Часто – до кипения.

Поэт прибегает к юмору как инструменту передачи мыслей и эмоциональной настроенности, предполагая в читателе единомышленника и друга. Смешное в стихах помогает установить контакт с аудиторией, удержать внимание, когда логические приёмы оказываются бес-

сильными. «Весёлый куплет может опрокинуть трон и низвергнуть богов», — замечал Анатолий Франс. Однако, юмор — вещь серьёзная. Тонкий юмор обычно требует подготовки аудитории, иначе шутка может не дойти, повиснет в воздухе.

Абсолютно поголовно
В Мире все живут «условно».
И чревато бедствием
Бытие — под следствием.

Поэт — плоть от плоти своего поколения, ужаленного эмиграцией, отравленного ядом ностальгии по прошлому, — отсюда печальная нота даже в весёлых текстах и ироничная усмешка в текстах грустных.

Я Родине до чёртиков признателен
За мощные позы к эмиграции.
ОВИР при выезде был столь внимателен,
И стих попёр — видать, от радиации. *

* Автор подразумевает Чернобыль под Киевом, откуда он родом и уезжал в эмиграцию.

В своих стихах Александр идет, прежде всего, от чувства, эмоции. В них соседствуют, уравнивая друг друга, сарказм и тонкая ирония, добрый юмор и скрытая насмешка, сатира и жизнеутверждающая лирика.

Щедро трачу себя — от меня не убудет,
Календарных страничек бумагу листов.
Будет время у времени — всех и рассудит, —
По наивности так я считаю.

Стихи Стежеринского узнаваемы по классической прямоте и правдивости интонации. Лаконизм для них — норма, многословие — недостаток. Можно предположить, что многие из них будут со временем разобраны на цитаты и сделаются крылатыми фразами, приписываемыми «народу».

Мне уже порой непросто
Дотянуть умом — до роста.

Почему же поэзия Стежеринского оказывается столь афористичной? Очень просто: в ней отражена наша жизнь в явлениях конкретных и преходящих. Живая жизнь проступает на страницах его книг, и много лет спустя по стихам этим можно будет изучать наше сложное время и душу нашего современника-эмигранта. Очевидно, что многие из четверостиший Александра могут быть отнесены к философской лирике — не обременённой политическим или социальным подтекстом. Размышления поэта о жизни и о своём месте в ней, облечённые в предельно краткую форму, неизбежно принимают вид афоризма, крылатой фразы.

Я полноценно проживаю на Земле,
Слегка противясь внутренней структуре.
Сейчас точнее не скажешь обо мне:
Задумчивый пацан — в потёртой шкуре.

Внимательному читателю ясно, что этот самый «задумчивый пацан в потёртой шкуре» постоянно проступает сквозь строки всех книг Александра, смягчая своей беззащитностью резкость некоторых суждений, хлесткость сатирических строк и горечь выводов.

Прибыв в солидность — чужаком
И пользуясь иным стандартов качеством,
Себя ещё не ощущая стариком,
Всё больше дорожу своим ребячеством.

Насколько можно судить по полновесным книгам поэта, Стежеринского не слишком привлекают лавры «чис-

того сатирика». Даже в едких, исполненных сарказма, строках он остаётся необыкновенно лиричным. Однако сатирическая нота, несомненно, присутствует в его поэзии. Лирический герой Стежеринского видит глупость и абсурд в мире, где рядовой человек не живёт, а выживает. Сквозь сатирическую оболочку проступает та ценностная основа, которая является традиционной для русской поэзии. Ценность эта — душа.

Хожу — с приподнятым лицом,
Не став — словесным продавцом,
— со сдержанной гордостью утверждает поэт собственную непроданность в мире, где всё продаётся и покупается. Сатира Стежеринского — не «бичевание» пороков, не желчное обличение всех вокруг, а самозащита души. В юмористических четверостишиях поэта — улыбка человека, обогащённого жизненным опытом и многое понявшего, но не смирившегося с тупостью, банальностью и скучной неизменностью житейских коллизий.

Втихаря всяк о небе мечтает
И мечта мозг податливый точит.
Ну, а слон на Земле не летает
По одной лишь причине — не хочет.

Страстный пафос души, живущей и жаждущей справедливости — вот, пожалуй, суть стихов, представленных в сборниках. Однако, здесь всё чаще встречается с читателем неожиданно трезвый и много повидавший в жизни человек, со своей непростой судьбой, со своими горькими раздумьями, со своим одиночеством и мучительной жадой понимания.

Жизнь, как проточная вода.
И мы, под чушь школярских лет,
Предполагали жить — всегда,
Но очень многих больше нет.

Или вот, с привычной уже самоиронией:
Вдох — моя философия вся,
Счастье то, что покуда не в морге.
И считаю, что день удался,
Если я от себя не в восторге.

Его игра с языком идёт дальше речевой эклектики и постмодернистского смешивания стилей: поэт увлечён словотворчеством как таковым. Александр ищет нового звучания, изобретая собственные неологизмы, которые своей остротой и богатством вызываемых ассоциаций очень, на мой взгляд, обогащают тексты.

Чтоб быт на почерк не влиял
И бред не резал слуха,
Я радикально поменял
Травматургию духа.

И это лишь один пример из множества словесных находок, которые удались Стежеринскому в его поисках. Он пишет — порой яростно, порой насмешливо, порой грустно, — чтобы не потерять тонкую нить родного языка, связывающую его с юностью и землёй, на которой он вырос.

Эмигранту трудно, вроде бы,
Но напрасна суета:
У него теперь две Родины —
Дум и живота.

Вне своих текстов Стежеринский очень светлый человек, способный искренне сопереживать людям, восхищаться творчеством собратьев по перу и совершенно лишённый зависти и примитивного злобствования. В своей новой американской жизни он достаточно успешен по

обывательским меркам, – казалось бы, чего еще желать?.. Зачем эта игра в слова, зачем ежедневно черкать в блокноте, лова за хвост ускользающую рифму и добиваясь отточенности формы в изложении мыслей?.. Но для поэта вопрос «зачем» никогда не стоит, хотя сторонним наблюдателям понять это трудно. Поэтому в ответ на недоуменные вопросы знакомых, зачем ему роман с капризной музой, – роман, требующий времени и напряжения творческих сил и не приносящий ни денег, ни всемирной славы, – Александр отвечает бесхитростно: «Я просто душу свою спасаю».

Врагам оставив сытный ужин,
Доверив быт карандашу –
Под стих, что никому не нужен,
Я чуть уверенней дышу.

Кое-кто пожмет плечами и скажет: очередной чудак, делать ему нечего, вот и кропает стишки. А он просто душу свою спасает. Как умеет. Постоянная борьба с обстоятельствами места и времени – вещь тяжёлая.

Поэтическая миниатюра – это и лирика, и афоризм, и, как правило, глубокая мысль. Присущие Александру Стежеринскому в жизни доброта и некая врождённая интеллигентность проглядываются в стихах из-под маски весёлого хулиганства и жёсткой ироничности, вечного мальчишки-студента, шутника и бедокура, дамского угодника и разгильдяя, который станет балагурить и насмешничать даже на эшафоте.

В стихах поэта много находок, блестящих афоризмов и словотворчества; мы видим и аллегорию, и философскую притчу, и живую трагикомедию современных нравов.

По жизни праведно скользя,
Шутите осторожно.
Поскольку, мысль убить нельзя,
А мыслью – можно.

Тем и привлекателен жанр поэтической миниатюры, что он, выживший в течение нескольких веков из «низкого» народного творчества, продолжает оставаться близким к поэтическим контекстам современности. Поэтическая миниатюра бьёт в упор, она обращена, как реплика частного лица в едином поэтическом поле.

Тема шутовства, озорства, раёшной забавы проходит сквозь всё творчество поэта красной нитью. Может быть, поэтому его подчас злые афоризмы не звучат обидно. Стежеринский-поэт презирует приспособленцев всех мастей, довольно зло шутит над соблазнами комфортного быта, в ущерб бытию засасывающего бывших сограждан, молодых и свободных отъезжантов-соотечественников. Он с поистине мальчишеской страстностью разоблачает низость и поклонение вещам, услады живота в ущерб духовному – и с поистине зрелой мудростью иронизирует над самим собой, таким неуместным в иммигрантской «тусовке».

Жизнь, как суп – потихонечку варится,
Как вода – выкипают года.
И, подкравшись, на голову валится,
Ампула ветерана труда.

Автор пишет:

Бессмысленно противиться судьбе,
Безвольно и неумно ждать мессию.
Мой мир я примеряю по себе –
С оглядкой на далекую Россию.

Его поэзия – смесь ерничества и глубокой философии – отражение эпохи.

Михаил Садовский, «Шкаф, полный времени. Книга размышлизмов» – М.: Евразия Экс-пресс, 2010. – 392 с.

Красиво оформленная и богато проиллюстрированная фотографиями из авторского архива, книга Михаила Садовского «Шкаф, полный времени» – книга воспоминаний, связанных с деятелями литературы и искусства послевоенной эпохи, оттепельной и застойной. Автор пишет о людях разных творческих профессий, так или иначе отличившихся в сфере своей деятельности, а нередко и преуспевших на своем поприще. Писатель определяет жанр своих повествований как «размышлизм», избегая более четких, ограниченных рамками жанра определений, как очерк или эссе. На этих страницах помещены размышлизмы о поэтах, композиторах и писателях; есть здесь и воспоминания о художнике, дирижере, балетмейстере, балерине, актере... Список героев Садовского довольно внушителен (всего в книге без малого тридцать размышлизмов), поэтому ограничимся упоминанием лишь нескольких имен: Б.Слуцкий, И.Френкель, Г.Левин, В.Берестов, А.Кондратьев, В.Мурадели, К.Молчанов, Л.Афанасьев, З.Компанеев, О.Хромушин, Л.Кассиль, Н.Тимофеева, И.Моисеев, В.Абдулов и др.

Несмотря на то, что автор неоднократно отрицает мемуаристическую основу своих размышлизмов, все-таки, их можно отчасти отнести к мемуарам, ведь Садовский – непосредственный участник многих описанных в книге событий, очевидец, собеседник, коллега или же просто внимательный наблюдатель. Волей-неволей проступают на этих страницах штрихи к портрету самого автора. В одном из размышлизмов Садовский приводит цитату из Бальзака о том, что существует особый талант – умение восхищаться другими. Автор цитирует французского классика применительно к одному из своих героев, но эти слова как нельзя точно характеризуют самого писателя. Возможно, этим редким умением ценить достоинства других объясняются некоторые так называемые издержки стиля, местами чрезмерно восторженного: рекордное количество многоточий, множество восклицательных знаков (иногда по три сразу), крупного или жирного шрифта... Признаемся, что несколько смущает повтор фраз, оборотов, даже фактов и стихотворений, о которых читатель уже узнал в одном из предыдущих размышлизмов. «Размышлизмы мои писались и копировались годами. Так получилась книга «Шкаф, полный времени»,» – пишет Садовский, чем, видимо, объясняется невольная тавтология (и все-таки, чтобы избежать ощущения небрежности, написанное за годы следовало бы пересмотреть и отредактировать перед тем, как совокупить в единое целое под одной обложкой). Но в авторской искренности сомневаться не приходится, да и стиль его размышлизмов обладает свойствами прямой речи, обращения к читателю, а многоточия не просто заменяют запятые, а играют роль паузы, короткой задержки дыхания, как бывает при устном рассказе. Несомненно, характер и даже темперамент писателя отразился на стиле книги; автор сознательно сторонится маски и легко дает волю чувствам, и тогда от его пера достается всем – от партийных бонз, чиновников от культуры и антисемитов, до самого Господа-Бога, – например, когда автор пишет о жизненных трудностях балерины Н.Тимофеевой: «Голливудские дивы, снявшись в одном фильме, становятся знаменитыми и супербогатыми – дай им Бог! А куда он смотрит, когда дает всем сестрам по серьгам? Или он не любит балет?» Или же, цитируя некогда понравившиеся стихи, автор восклицает: «Это у автора точка в конце строки, а у меня в душе сто восклицательных знаков!»;

так как: «Трудно не поддаться высокой волне – всё равно, как ни сопротивляйся, поволочет за собой». Видимо, сам жанр его размышлизмов не терпит отстраненности: «Если отстраниться и писать спокойно – ничего не получится! Лучше не писать!»

Однако искренность и высокохудожественность не всегда тождественны. По собственному признанию, Садовский не пытается создать объемный, многогранный и многооттеночный портрет человека, о котором пишет, и неоднократно утверждает, что далек от написания биографии или критического анализа, а пишет лишь о собственном восприятии той или иной творческой личности, о конкретном опыте общения с ним или с ней. В то же время, общие места, вроде «жил как жил», «Берестов – это Берестов», «Да, это же такие стихи! Такие стихи!..», «Да это... это... же Слуцкий...» и т.п., а так же перебор с хвалебными эпитетами (талантливейший, выдающийся, первостепенный, заслуженный, блестящий, великолепный, уникальный, неповторимый, неподражаемый и т.д.) не много привносят в рисуемую картину. Но вот как сам автор объясняет избыток «превосходных степеней» при описании качеств своих героев: «Я всегда верил, что есть незаменимые, есть, но не те, что управляют миром... как они думают... Те, что правят! Властвуют над нашими душами!.. [...] Президента переизберут, тирана свергнут, короля сменят, а художник... да, он... вечен, как нетленно слово и неисходна музыка». Есть у Садовского и немало тщательно выписанных портретов и сцен, с интересными деталями и значительными штрихами. В большинстве случаев гармоничное сочетание художественности и жизненной подлинности достигается на этих страницах благодаря подробным описаниям, поведенным житейским сценам, живым диалогам, метко подмеченным деталям. К несомненным удачам автора хочется в первую очередь отнести размышлизмы о В.Мурадели, А.Кодрагееве, О.Хромушине... Или же, к примеру, такая яркая картинка из детства, со своим, живо описанным «героем» и с искусно переданным ощущением первого послевоенного праздника: «Первая «самостоятельная» елка, добытая в лесу... наверное, контрабандой... Сосед. дядя Сережа, Ленкин отец, в настоящих летческих унтах, заправленных в них серого цвета толстенных штанах и летческой тужурке, отороченной меховым воротником, со шлемофоном на голове и тянущемся от него вниз черным кабелем с фишкой соединения на конце! А рукавицы: огромные, ясно, что теплые... Вижу всё, как сейчас! Он был для мальчишек округи – Герой! Не знаю: летал ли или был на аэродромной службе... Да какое это имело значение! Война только-только закончилась, а он прибыл как раз к Новому году откуда-то с севера, и пахло от него не морозом (у нас и своего хватало в избытке), а бензином, машинным маслом, табаком, шоколадом, одеколоном – летчиком!»

Книга Садовского не линейна, с авторскими оценками можно соглашаться и не, но ведь понятия «любимый» и «лучший» в литературе и искусстве всегда субъективны. Так, например, многие, приведенные в книге имена могут показаться маргинальными и малоизвестными вне поколения, которому принадлежит Садовский, ведь, по большому счету, бесспорной широкоизвестной величиной в поэзии можно считать лишь Б. Слуцкого, но имена И. Френкеля, Л. Кассиля, Н. Дуровой, К. Молчанова, И. Моисеева, Н. Тимофеевой, В. Абдулова и некоторых других, безусловно, хорошо знакомы современнику. Вероятно, тем и ценна книга Садовского, что дополняет наши сведения о том времени, доносит до нас его дух. В целом, «Шкаф, полный времени» отвечает своему названию, становясь своеобразным свидетельством времени в культурном контексте нескольких поколений и в пределах

уже не существующей страны – СССР. «Время представляется мне скоплением огромного количества похожего на цементный раствор материала, помещенного во вращающийся барабан – такую вселенскую время-мешалку. Все мы вращаемся в ней, тонем, уходим на дно, становимся безвестными, а потом поднимаемся вращением лет снова вверх, даже на поверхность, и объявляемся в мире,» – пишет автор об удивительном свойстве текущего и, казалось бы, неостановимого времени, порой, разрушающего, но и возрождающего.

Возможно, книгу Садовского следует рассматривать собственно как попытку такого возрождения, и ее основной посыл может вызвать полемику и даже протест со стороны теперешних либералов, ведь ее героев нельзя отнести к андерграунду и диссидентам, противостоявшим текущему режиму. В большинстве своем это люди с определенным именем и степенью популярности, иногда вполне – по крайней мере, внешне – ладившие с режимом и даже по-своему служившие ему, не смотря на неизбежный внутренний конфликт (как, например, в случае с В.Мурадели). Их легко уличить в конформизме, как легко забыть, списать в небытие ими написанное и достигнутое. Но для автора такой подход в корне не приемлем, так как представляется не только насильственным упрощением фактов, но и несправедливостью, порой, даже кощунством. Поэтому Садовский тщательно перечисляет их заслуги, не только в области литературы и искусства, но и в мире человеческих отношений, приводя множество убедительных примеров их отзывчивости, честности, смелости, щедрости, готовности воспользоваться определенными льготами и положением ради помощи товарищу, ради чьего-то спасения, ведь, по словам автора, «поступок неуязвим». Не случайно одной из подтем книги стала тема взаимоотношений художника с властью, особенно ярко раскрывшаяся в размышлизмах о В.Мурадели и Н.Дуровой.

Редкий размышлизм в этой книге обошелся без краткого, но теплого и щедрого на детали экскурса по любимому городу, Москве, ее улицам, жилым домам и публичным заведениям, связанным с героями Садовского. С такого отступления начинается один из его размышлизмов: «У каждого в Москве своя Москва... да, как во всяком городе, у любого старожила. Я в Москве родился, и если бы попросили меня показать ее – мою Москву, начал бы не с того места на Миусах, где белый свет увидел, а с пересечения Тверской и Тверского бульвара. Опять же не потому, что там Александр Сергеевич стоит, правда, место ему всё никак не определить... поэтому вернее: коцует... [...] Многожды судьба возвращала меня на этот небольшой кусочек земли столичной, и радуя, и огорчая тут безмерно... Всё описать, что с этими четырьмя узлами связано – роман выйдет...» В этой «моей Москве», Москве Михаила Садовского, и состоялись незабываемые встречи с людьми, добрую память о которых хранит «Шкаф, полный времени».

Люксембург

ТЕНЬ МАЯТНИКА И ДРУГИЕ ТЕНИ

Виталий Амурский, «Тень маятника и другие тени: Свидетельства к истории русской мысли конца XX – начала XXI века». – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 616 с., ил.

Перед читателем – сборник бесед парижского журналиста Виталия Амурского, более четверти века проработавшего бессменным ведущим еженедельной программы «Литературный перекресток» на Международном французском радио (RFI). Это беседы о творчестве, литерату-

ре и искусстве, человеческих и творческих судьбах и, как обещает название книги, о Времени. Время как процесс – меняющееся и меняющее... Охваченный период: вторая половина прошлого – начало нынешнего века; география: Россия и Франция. Собеседники Амурского – писатели, поэты, редакторы, историки, философы, слависты, а так же художник, актриса, фотограф... В общей сложности в книге помещено около полсотни интервью (десять из них публикуются впервые) с сорока шестью творческими личностями, полный список которых хочется здесь привести: Г. Айги, А. Архангельская, И. Басова, В. Батшев, А. Битов, Н. Боков, И. Бродский, М. Веллер, М. Влади, А. Вознесенский, О. Волков, Н. Горбаневская, Ф. Горенштейн, Ш. Добжинский, И. Емельянова, М. Жажоян, С. Залыгин, А. Зиновьев, В. Козовой, Ю. Кублановский, Л. Лосев, В. Лупан, В. Маканин, В. Максимов, А. Маркович, В. Нечаев, Ж. Нива, Б. Окуджава, И. Панина, Е. Попов, А. Приставкин, Е. Рейн, П. Ригуло, Ж. Росси, Ю. Рытхэу, Г. Сапгир, Д. Сеземан, В. Соколов, Н. Струве, В. Сычев, Л. Улицкая, В. Уфлянд, И. Шелковский, И. Шестков, Е. Эткинд, Б. Янгфельд. Разумеется, в книге собеседники Амурского не следуют в алфавитном порядке; беседы либо связаны тематически, либо концептуально, и составляют пять разделов: «Тень маятника» (материалы, связанные с И. Бродским), «Каждый пишет, как он слышит...» (беседы с российскими писателями и поэтами об их творчестве), «Оглядываясь на сфинкса» (тема гражданственности, от сталинизма до постперестроечной эпохи), «Чаша терпения» (творческая личность в эмиграции), «Летучий профиль Пушкина» (о переводах поэзии и прозы А. Пушкина на французский язык). Безусловно, приведенные в скобках интерпретации условны, темы бесед переплетаются, в конечном итоге сходясь на главной – теме творческой мысли в свете русской культуры. Поэтому, как пишет автор во вступительной заметке, книгу можно открыть на любой беседе, не обязательно следуя ее частям. Сам факт собрания под одной обложкой этих ценных устных свидетельств превращает «Тень маятника» в культурное событие. И за это, пожалуй, помимо автора, следует поблагодарить так же издательство Ивана Лимбаха, выпустившего книгу – поблагодарить за поддержку и осуществление подобных изданий такого высокого художественного и культурного уровня.

В названии книги использованы строки Бродского: «Я маятник. Не трогайте меня. / Я маятник для завтрашнего дня»; они же служат эпиграфом к авторскому предисловию. Однако только первая часть книги, как сказано выше, связана с Бродским. Помимо двух бесед с самим поэтом, здесь помещены интервью с людьми, в большинстве своем лично знавшими его (исключение составляет Ш. Добжинский, единственный западный писатель, выступивший с открытым протестом против суда над Бродским, но так и не встретившийся с ним лично). Большинство бесед вышли в эфир еще при жизни поэта, но некоторые состоялись уже после его смерти. Особый интерес представляет своеобразный некролог В. Уфлянда, поразительно точно определившего так называемый парадокс Бродского, отрывок из которого хочется привести в этом отклике: «Совсем не святой, он был истинно верующим, не крещеный, он был настоящим христианином. [...] Американский гражданин, он был более русским, чем миллионы оставшихся в России. Он еще раз возвеличил и прославил русскую поэзию, страну Россию и нелепую русскую судьбу. Недсущка в школе, он был почетным профессором многих университетов, профессором русской литературы. Словом, судьба к его современникам благосклонна: мы жили при великом человеке и видели его». Безусловно, в этом разделе речь не только о Бродском и его значении для русской поэзии и культуры в це-

лом – здесь говорится и о российских столицах пятидесятих-шестидесятых-семидесятых, о дне сегодняшнем, о литературе, о давней и крепкой связи двух – русской и французской – культур. Однако личность и поэзия Бродского становятся на этих страницах неким истоком-притоком, точкой касания и отсчета. Согласно именному указателю, которым снабжена книга, имя Бродского упоминается на страницах книги с наибольшей частотой (а так же имена Пушкина, Достоевского, Солженицына, Толстого, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака и, как это ни прискорбно в таком списке, Сталина); исходя лишь из сухих чисел, читатель уже может определить, о чем эта книга.

Каждая беседа Амурского предварена краткой авторской заметкой, резюмирующей творчество собеседника, содержащей любопытные факты творческой биографии и нередко историю знакомства и общения – а подчас и личной дружбы – автора с интервьюируемым. Перед нами скорее даже не интервью, а собственно беседы, поэтому спонтанно возникает ассоциация с «Беседами в изгнании» Д.Глэда. Умение задать верный, точно сформулированный вопрос, направить беседу в определенное русло, резонировать, реагировать, а, когда необходимо, и промолчать, умение слушать, способность представить гостя, а не, как порой случается на радио, тянуть одеяло на себя – все это свидетельствует об опыте радиожурналиста, но не только. Вопросы ведущего нередко неожиданны и нелинейны, потому и ответы на них зачастую неоднозначны. Многие собеседники Амурского отмечают, что своим вопросом он «попал в самую точку», а некоторые признаются, что давно ждали того или иного вопроса. Интеллектуальная и, главное, *духовная* подготовленность, знание и, главное, *чувство* предмета, как говорится, извне (ведь Виталий Амурский, прежде всего, поэт), не говоря уже о само собой разумеющейся эрудированности и необходимой начитанности, позволяют автору стать полноправным собеседником. В итоге возникает ощущение обоюдной попытки дать общую оценку творческого пути, не только на отдельно взятом примере, но и в целом – пути нескольких поколений писателей, поэтов, художников, и, следовательно, пути всего общества, ведь общество и искусство есть два отражающихся друг в друге зеркала – словами Ю.Кублановского: «Каково общество – такова и его поэзия».

Читая «Тень маятника», волей-неволей начинаешь сомневаться в верности расхожего утверждения о том, что литераторы не похожи на свои произведения. Например, как «похож» на свою «тихую лирику» В.Соколов, человеческий образ которого, вырисовывающийся на нескольких страницах беседы с ним, вызывает в памяти слова К.Батюшкова о том, что поэзия «требуется к себе всего человека». С не меньшей отчетливостью проступает несклонность к пафосу И.Бродского, определенный эгоцентризм А.Битова, отсутствие и тени тщеславия у Б.Окуджавы и В.Уфлянда, высокая духовность Г.Айги и Н.Бокова, «отщепенство» А.Зиновьева, энергичность М.Веллера, бескомпромиссность Ю.Кублановского и Н.Горбаневской, душевная и гражданская пронзительность А.Приставкина... Вот – слова М.Веллера о писательской честности как о залоге качества его мастерства: «Нечестный человек не может писать хорошую прозу. Ибо честность есть неотъемлемая составляющая ума: честно, в истинном свете видеть мир, жизнь, мотивы поступков человеческих». Примерно о том же говорит Н.Горбаневская применительно к поэзии и жизни: «Я не знаю, как со стороны, но думаю, что для меня внутреннего водораздела между стихами и теми или иными жизненными поступками нет».

В книге приводятся неожиданные факты, иногда ошелмляющие суждения, и каждое становится новым штрихом к портрету творческой личности. Например, в который раз удивляет признание Б.Окуджавы: «Я вообще по своему воспитанию человек неверующий». В это верится с трудом, особенно, когда вспоминаешь слова его «Молитвы» или «По какой реке твой корабль плывет...». Как знать, возможно, словно вскользь оброненные слова «по своему воспитанию» следует расценивать как некую лазейку, потайной – прежде всего, для самого Окуджавы – ход, ведь личность формируется не только под воздействием воспитания... Или же рассказ Л.Лосева о том, что подвигло его к написанию первых стихотворений (заметьте, в возрасте тридцати семи лет); оказывается, перенеся в тридцать три года инфаркт и простившись или временно расставшись со многими друзьями, Лосев почувствовал необходимость поиска «нового пути», которым оказалась поэзия... А вот, не менее неожиданное заявление А.Зиновьева на вопрос о главном стимуле творческой энергии: «Необходимость зарабатывать на жизнь». И трудно не согласиться с зиновьевской самооценкой: «Я ведь в литературе есть, можно сказать, курьез». Вообще обращает на себя внимание та прямота, с которой Зиновьев говорит о себе и своих пристрастиях: его библиотека не богата, времени на чтение нет, Салтыкова-Щедрина ставит выше Достоевского и Толстого, отрыв от родной языковой среды отразился на его творчестве положительно, к музыке равнодушен. И это, чувствуется, не стремление к сенсации, а собственно искренность. Действительно, как пишет Амурский, в отношении Зиновьева обычно срабатывает механизм либо притяжения, либо отталкивания – третьего не дано... Неожиданно утверждение Н.Горбаневской о том, что влияние М.Цветаевой на начинающих поэтов, по ее мнению, не только опасно, но и губительно... Но, пожалуй, самыми неординарными взглядами на писательское искусство выделяется И.Шестков; приведем несколько из его высказываний: «Литература сама по себе меня больше не интересует. Меня не трогает форма, почти не привлекает поэзия. Я постарел». И еще: «Кроме собственной низости – или, если угодно, человечности, отлитой в разные образы, – у писателя и нет ничего. Все остальное – помпезное вранье, самовнушение, традиционные спекуляции. Упомянутый в первой части нашей беседы Довлатов умудрился из собственных комплексов создать – или выдуть, как стеклодув, – целую галерею героев-компенсаторов. Это роднит его с Пушкиным, который в своей литературе представляется Дон Жуаном, или Германом, или коногвардейцем, а в реальности должен был против воли надевать мундир камер-юнкера и выпрашивать у царя деньги». Насколько расходится это мнение с мнением Д.Сеземана: «...не сразу, а со временем, когда мы Пушкина начинаем знать не только по хрестоматиям, начинаем понимать, что мир, его окружающий, с комплексом отношений, чувств, – был для него сырьем для выражения чего-то высшего, знесения гармонии в хаос, как говорил Александр Блок». У Шесткова так же находим замечательные по емкости и глубине суждения о писателе-эмигранте, о России, о влиянии чужого языка... Многие из представленных в книге бесед хочется разобрать на цитаты и меткие высказывания; но тем они и значительны, что содержат живительное зерно речи, всегда яркой и непосредственной.

Примечательно, что отдельные беседы Амурского представляют собой своеобразные коллажи встреч, телефонных разговоров и даже переписки. Как сообщает автор, беседы с Ф.Горенштейном длились около полутора лет; интервью с женой Д.Панина, И.Паниной, сконцентрировано на малоизвестных фактах и тем самым добав-

ляет новые «штрихи к его портрету»; а беседа с трагически погибшим М.Жажоном формально так и не состоялась – автор «монтировал» ее по предварительным письменным ответам молодого поэта и критика... Таким образом, у читателя появляется возможность заглянуть не только в творческие лаборатории собеседников Амурского, но и в его собственную, радиожурналистскую.

Любовь к Парижу и знакомство с городом проступают в вопросах и комментариях Амурского и очевидны по фотографиям, которыми иллюстрирована книга, ведь автор нередко становился гидом своих российских гостей; во время таких экскурсий и встреч были, видимо, сделаны некоторые снимки. Вторым иллюстративным вкладом в книгу стала подборка фотографий В.Сычева, талантливого фотографа, русского парижанина, одного из собеседников Амурского. К слову, Сычев описывает примечательный по своей нечаянной символичности эпизод, связанный с возвращением А.Солженицына в Россию. Во время контроля безопасности в аэропорту сработал сенсор и после тщательного осмотра карманов писателя представитель авиакомпании обнаружил у Солженицына ручку с золотым пером. Вот такое «оружие» – как показал опыт, иногда действеннее ракет и пушек...

Следует отметить, что «Тень маятника» снабжена «Источниками и комментариями», уже упомянутым «Именным указателем» и многочисленными сносками (порой слишком подробными, как, к примеру, сноска о том, что строка «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» взята из пятой главы «Евгения Онегина»). Если же говорить о том, чего в книге не достает, то это, пожалуй, присутствия некоторых ярких лиц русского Парижа и его гостей, и, если быть совсем придирчивым, французского перевода А.Маркóвичем пушкинского «Придет ли час моей свободы?», о котором идет речь в беседе с переводчиком. Все-таки, кажется, у книги Амурского должен быть достаточно подготовленный читатель (далекий от культуры человек вряд ли ее откроет), не только наш современник, но и читатель будущий, читатель-потомок. Во всяком случае, и отчасти вопреки многому, хочется в это верить.

«Чему, чему свидетели мы были!» – это пушкинское восклицание цитирует в своем интервью Ю.Кублановский. Признаться, не хотелось заканчивать чтение книги, дающей столь подробный и разнообразный, столь живой и четкий абрис русской литературы, искусства и культуры за прошедшие полвека... Но культурный процесс, к счастью, неостановим, как неостановимо движение маятника – «для завтрашнего дня».

Люксембург

ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ

«ЗАБУГОРНЫЕ СКАЗКИ» НИНЫ БОЛЬШАКОВОЙ

«Забугорные сказки» Нины Большаковой. Boston: M.Graphics publishing, 2010.

«Забугорные сказки» Нины Большаковой – сборник рассказов (реалистических и сказочных), действие которых, в основном, происходит в Нью-Йорке. Поэтому и название такое – «забугорные». Некоторые рассказы описывают героев и события в современной России («Покосные дети», «Хургада», «Нинетка»). Стиль Большаковой – неоднородный, свободный. Ее «заносит» то в сторону яркого реализма с деталями быта и живой разговорной речи («Хургада», «Сашенька», «Однажды живем»), то в полуреальный, волшебный мир сказок («Старуха», «Покосные дети», «Старик и Берримор», «Где ты, Фрейдл?»). Надо сказать, что Большакова чувствует себя

раскованно и уверенно и в той, и в другой ипостаси. Язык ее сказок и рассказов – красочен и поэтичен. Кажется бы, в рассказе «Вишневый ликер» ничего не происходит. Большакова просто описывает сценки в испанском кабаке. Туристы и завсегдатаи кабака сидят себе, попивают шерри-брэнди и разговаривают. Тем временем, на бархатном фоне, насыщенном испанскими реалиями, раскрываются характеры-судьбы англичан-туристов Джака и Джаки, хозяина кабака Пако, матроса и уличной девушки:

Слегка косит черным глазом теплый испанский вечер, машет веером легкий, освежающий ветерок.

Волшебством дышит рассказ-сказка «Покосные дети», повествующий о необычайно одаренных детях, зачатых во время «покосной» любви и родившихся под знаком созвездия Рыб.

Свежескошенная трава пахнет так сладко, слегка подсушенное сено дурманит головы.

В сказке «Старуха» много что происходит. Начинается рассказ вроде бы обычной историей о старухе, которая вовсе и не старуха, по современным меркам. Ей пятьдесят два года, но для родственников она беспелезная обуза, которая ничего в жизни не достигла и зарабатывает уборками квартир. И вдруг эта старуха не старуха всех удивляет и начинает живописать по холсту настоящие картины, которые оживают. Рисует пчел – пчелы прилетают в дом, и нет от них спасу. Рисует котов – откуда-ни возьмись появляются волшебные, породистые, похотливые коты и начинают заниматься своей кошачьей любовью. Старухины творения раздражают хозяина дома и родственника старухи. Борика, и он в гневе разрывает одну из ее картин. За что и расплачивается жизнью. Только что мирные, а теперь зловещие коты окружают Борика и в один миг съедают его. От Борика ничего не остается, кроме пуговицы. Конец кровав, но справедливость торжествует. Каб в настоящей сказке, зло наказано.

Один из наиболее сильных рассказов сборника называется «Манхэттен». От нечего делать и скуки главная героиня повествования, состоятельная женщина за сорок – Айрин, каждый день заходит в супермаркет и в греческий ресторанчик, где встречается менеджера супермаркета – Костаса. У Костаса в это время – ланч. В ресторанчике также частенько посиживает странный седой, длинноволосый старик, который потягивает вино, наблюдает за происходящим вокруг и что-то пишет на своем ноутбуке. (О старике – позже.) Айрин и Костас становятся любовниками. Наступает кульминация: в один из вечеров неожиданно возвращается домой муж Айрин. Происходит столкновение между мужем и Костасом, и Айрин, не долго думая, расстреливает в мужа и любовника всю обойму, «так как победа любого из них будет ее поражением». Жизнь не предсказуема. Человек – клубок страстей, которые могут привести к измене и хладнокровному убийству.

Некоторые герои Большаковой переключаются из рассказа в рассказ. В сказке «Старик и Берримор» мы снова встречаем длинноволосого старика и Айрин. Старик-наблюдатель путешествует по свету вместе со своим другом, говорящим котом Берримором, и пишет истории на языке той страны, в которой живет. Возможно, здесь автор дает свою интерпретацию булгаковского Воланда и его кота Бегемота. Только если это так, то Сатана получился совсем не сатанинский, хотя и задает Айрин, убившей своего мужа и любовника, дьявольский вопрос: что она чувствовала, когда их убивала? И Айрин отвечает, что испытала облегчение. Правда, в конце старик все же оставляет на руке Айрин дьявольскую отметину поцелуя, «который горел огнем». Старик и Берримор описаны живо. Особенно удался кот с его философскими рассуж-

дениями. Надо сказать, что Большаковой вообще удаются коты. (Наверное, у нее дома – любимый котяра, повадки и психологию которого автор описывает со знанием дела.) Но идти по стопам булгаковского творения «Мастер и Маргарита» – дело нелегкое и рискованное. Очень уж велик и неповторим бессмертный роман.

Героиня нескольких рассказов – новая иммигрантка из России по имени Мона. («Ожидая Шерон Стоун», «Люба-Люба», «Истории Черной Леи», «Имельда Сантос», «Вишневый ликер»). Мона – персонаж, с одной стороны, автобиографичный, с другой, – типичный для иммигрантской среды, узнаваемый. Она – кандидат наук, бывший преподаватель одного из российских вузов – находится в самом начале своего тернистого иммигрантского пути. Английский Мона еще знает слабо, и поэтому ей приходится работать уборщицей и по уходу за престарелыми. Мона ухаживает за Любой, старухой-иммигранткой первой волны, из бывших состоятельных. Девяностолетняя Люба – маленькая, кривоногая, невесомая старушка в парике, под которым сиротливо прячется пух седых волос. (Голая Люба в ванной напоминает «розового, сморщенного лягушонка».) Люба капризна, у нее скверный характер. Когда Люба нанимает Мону на работу, она открыто говорит, что будет платить ей шесть долларов в час. Может платить и восемь, но «нельзя портить людей». Любе понадобились наличные, и она безжалостно отправляет Мону в банк, когда на улице ливень и даже зонт не спасет. В итоге, Мона промокает до нитки, но не вымещает зло на вредной, но беспомощной старухе. Мона понимает, что Люба есть Люба – продукт возраста и эпохи – и жалеет ее. «Давайте я Вам голову помою», – сочувственно предлагает Мона, увидев жалкий, свалившийся пух Любиных волос.

Большакова не морализирует, не осуждает Любу. Она просто мастерски описывает характер, оставляя за читателем право наклеивать ярлыки и расставлять точки над «i».

В цикле рассказов «Истории Черной Леи» Мона работает уборщицей в корпорации. Работа, мягко говоря, не престижная. Надо убрать два этажа здания вместе с офисами и туалетами, загрузить мусор в мешки и спустить эти огромные мешки на лифте в подвал.

Когда менеджер узнает, что Мона – кандидат наук и бывший преподаватель колледжа, он в недоумении восклицает:

Ты у нас уже третий профессор. И что вам дома не сидится?

Устав от тяжелой, грязной работы, Мона иногда сама с горечью сокрушается:

Черт меня понес на эти галеры!

Ситуация весьма типичная для новой иммигрантки. Ну, кто из нас в первые годы жизни в Америке не восклисал нечто подобное!

Однако героиня Большаковой, наделенная упорством и трудолюбием, справляется с тяжелой работой и выживает в экстремальных условиях. Как и многие, прошедшие через «эти галеры», Мона вечерами работает, а днем учится на курсах. (Все мы работали и учились. Кто на бухгалтера, кто на программиста, кто на медсестру, кто на библиотекаря...)

Работая уборщицей, Мона общается с другими героинями рассказов: Черной Леей, Толстой Гретой, Длинной Зиной, Красивой Машей. У каждой женщины – характерное прозвище. Здесь никого не интересует твоя фамилия. Тебе дали кличку, соответствующую твоему облику, и ты на нее откликаешься. И это не обидно. Просто так легче общаться. Во время ланча женщины сидят в дешевом кафе, слушают рассказы Черной Леи и вставляют

свои комментарии. У Моны, наверное, тоже была кличка, но автор об этом умалчивает.

Герой одного из рассказов Черной Леи называет себя просто Талиб. Это и имя, и фамилия, и социально-этническая принадлежность, и политические взгляды. Его друзья – тоже Талибы. Талиб приударяет за Черной Леей, хотя она ему по возрасту в матери годится. В начале Черная Лея даже как будто симпатизирует Талибу. Талиб или не Талиб – все люди одинаковы – как бы рассуждает Большакова, но в конце рассказа она все же вопрошает читателя устами Черной Леи:

Кто командовал «огонь», когда расстреливали Будду?

И читатель делает свой безошибочный вывод: Талиб – убийца.

В рассказе «Имельда Сантос» Большакова описывает больницу. У главной героини, Моны, случается сердечный приступ, и она попадает в emergency room. В этом рассказе тоже, казалось бы, ничего не происходит, кроме того, что меняются медсестры (Белый Ангел сменяет Черного Ангела) и испаноязычная старуха непрерывно выкрикивает рефреном одну и ту же фразу:

My name is Imelda Santos. I need help!

Этот рассказ – квинтэссенция точных авторских наблюдений повседневной жизни в больнице. Старуха кричит, но к ней никто не подходит, потому что все здесь полагается делать по протоколу. Ведь старуху уже осмотрел резидент, и ей дали таблетку болеутоляющего. Таблетка должна вот-вот действовать. Так зачем подходить к старухе? Только время терять.

Как и в других рассказах, авторский стиль и язык повествования отличается яркой образностью. Приведу хотя бы эти два примера:

По-испански строчит, как на швейной машинке.

Холодно здесь, как в сугробе... Ночь, лекарство, боль. Здесь всегда ночь.

В сборнике Большаковой нет слабых рассказов. Каждый из них представляет собой образец интересной, своеобразной, добротной прозы. Горько-ироничный, написанный на тонкой грани между юмором и драмой, рассказ «Хургада» – тому яркий пример. Автор повествует о жизни обычной русской продавщицы Нинки, у которой бандиты отобрали хорошую квартиру за мужнины долги. Нинка покорно приняла свою судьбу и поселилась в «хрущобе». Мужа она выгнала и пашет на себя и детей-подростков. Две недели в месяц она работает продавщицей в магазине, а другие две недели «отдыхает по хозяйству» в деревне у своей матери. Нинку иногда навещает Петрович.

Ходил бы чаще. Здоровье есть, да у него семья, дети, внуки, жена хорошая, и чаще он не может. А Нинке и не надо чаще. Ей это ни к чему совсем. А Петровичу нравится, так она его пускает.

«Любовь» с Петровичем – единственное развлечение в Нинкиной беспроектной жизни, которую она полностью принимает, потому что другой жизни себе и не представляет. Когда Нинкина сменщица Ленка рассказывает ей о том, что побывала на египетском курорте в Хургаде, Нинка удивленно восклицает:

Чего ты туда поперлась? Египет, Господи!

В конце рассказа потрясенная Ленкиной поездкой в Хургаду, Нинка видит сон, как будто она уплывает в мировой океан.

Своеобычен рассказ-сказка «Где ты, Фрейдл?» Фрейдл – символ свободной девушки из Манхэттена. Вездесущая, многолика Фрейдл легко меняет имена и занятия. Она является читателю то ортодоксальной еврейкой – секретаршей в офисе, то ирландкой по имени Фрэн, которая работает официанткой в баре, то вдруг становится

водителем такси. Фрейдл-Фрэн неуловима, как людской поток в Манхэттене.

С интересом читаются эссе «Русский джентльмен» и «Бесплатное погребение». Трогательно теплой грустью и душевностью пронизаны эти короткие зарисовки, повествующие о последних днях и печальном конце двух крупных русских поэтов: Александра Межирова и Виктора Урина.

Большакова – мастер диалога, разговорной речи, в которой встречаются интересные словечки, то ли авторские неологизмы, то ли перлы, подслушанные у народа. Например, «стиль баракко», «кооперативы для среднедоходных», «краз уж пошла такая пруха». В рассказах «Покосные дети» и «Любовники» Большакова использует натуралистические детали, которых можно было избежать. В рассказе «Одна живем», наряду с сочной разговорной речью, встречаются вульгаризмы и ненормативная лексика. Понятно, что эта лексика нужна для наглядного описания характера героя-иммигранта. Так он думает, так выражает свои мысли. Иначе не умеет. Однако, вульгаризмов здесь слишком много. Явный перебор. Впрочем, это уже вкусовщина. Вполне возможно, что многим читателям рассказ «Одна живем» даже очень понравится, и вульгаризмы их не покоробят.

Рассказ «Одна живем» – единственный в сборнике, который не пришелся мне по вкусу. Остальные «забугорные сказки» я прочитала с большим интересом. Они написаны ярким, сочным языком, интересны по сюжету, философичны и заставляют думать о жизни в поисках вечных истин, затерянных где-то между не всегда четкими понятиями добра и зла. Нина Большакова – бесспорно талантливый прозаик, и ее новая книга – весомое литературное явление в жанре короткого рассказа.

6.1.11

ИСААК ЮДОВИН

БЫЛ ТАКОЙ ЕВРЕЙСКИЙ ПОЭТ...

До сих пор помню тот мартовский день, когда профессор Шолом Израилевич Ганелин, известный ученый в области педагогических наук, встретив меня в Ленинградской публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, рассказал, что, просматривая только что еврейские газеты, издаваемые тогда в Нью-Йорке, обнаружил некролог, извещавший о смерти еврейского поэта Мойше (Моисея) Юдовина, последовавшей 30 января 1966 года. «Это не ваш ли родственник?» – спросил профессор. Я растерялся от неожиданности и тихо ответил: «Это мой отец». Растерялся потому, что в Витебске, где он жил и умер, ни о каких некрологах не могло быть и речи. А в далеком Нью-Йорке откликнулись...

Прошло много лет. Казалось бы, имя поэта Мойше Юдовина окончательно кануло в Лету. Однако лет двадцать тому назад моя сестра, проживавшая в Витебске (ее уже нет в живых), сообщила мне, что в октябрьском номере «Советиш геймланд» за 1991 год были напечатаны стихи отца, написанные им в последние годы жизни. И я подумал о том, что, пока еще не поздно, должен рассказать о нем, хотя бы потому, что был такой еврейский поэт...

Он родился в 1896 году в местечке Бешенковичи, расположенном в 50 км от Витебска (а точнее: в деревушке Стрелка, растянувшейся на противоположном берегу Западной Двины), в многодетной семье, жившей в условиях ужасной тесноты и безысходной бедности. Отец, добрый и тихий человек, был корабейником, но не развозившим за неимением лошади, а разносившим по деревням свой

немудреный товар: спички, нитки, мыло и т. д. Мать, женщина волевая и умная, выполняла всю работу по дому, заботилась о детях, воспитывала их в меру своих возможностей.

Маленький Мойше мог часами рассматривать растения, наблюдать за повадками домашних животных, вслушиваться в пение птиц, любоваться закатом солнца и звездным небом. Уже тогда зарождалось в нем поэтическое восприятие мира в его бесконечном разнообразии. Рано обнаружив интерес к знаниям и склонность к учению, он, как и многие дети черты оседлости, получил начальное образование в хедере.

Будущий поэт учился настолько легко и охотно, что родители пришли к выводу: он должен продолжить образование. Но поскольку в их представлении эталоном образованного человека являлся раввин, они определили сына в знаменитую Воложинскую ешиву, основанную еще в 1803 году. Однако ешиву Мойше так и не закончил. Его не радовала перспектива вести сугубо религиозный образ жизни. Он, правда, проявлял интерес к иудаизму, знал религиозную литературу, свободно владел ивритом. Но глубоких религиозных чувств не испытывал. Они возникли у него лишь незадолго до смерти.

Будучи еще ешиботником, Мойше познакомился с вольнодумным студентом

Петербургского университета и под его влиянием увлекся светской литературой. Вернувшись из ешивы домой, он сблизился со своим родственником Шлойме (Соломоном) Юдовиним. С годами их взаимная привязанность переросла в настоящую дружбу. Они преклонялись перед духовными, нравственными ценностями и благодаря целенаправленной и настойчивой работе над собой стали глубоко эрудированными и интеллигентными людьми. В то же время они тянулись к еврейству, к идишской культуре, принимая активное участие в возрождении еврейского самосознания. Оба были художественно одаренными натурами, беззаветно влюбленными в искусство. В плане практическом Соломон увлекся живописью и стал известным художником, а мой отец – поэзией.

Но в начале зарождавшейся дружбы они еще не осознавали своего подлинного призвания. Познав с раннего детства нужду в самом необходимом, они все чаще задумывались над тем, как побыстрее помочь своим семьям выбраться из омута хронической бедности. Родители, поддержав благий порыв своих сыновей, отправили их в местечко Чашники (примерно в 50 км от Бешенковичей) к родственнику-часовщику учиться у него ремеслу. Однако пробыть там пришлось недолго: их заставляли работать по 13-14 часов в сутки, а это пагубно сказалось на зрении. И они вернулись пешком в Бешенковичи.

Но к чему вернулись? В автобиографии, написанной в 1951 году, отец отмечал: «Положение семьи еще более ухудшилось. Начиная давать уроки. Помнится, получал за это 60 копеек в месяц. Сам учусь бесплатно, пользуясь великодушием местной интеллигенции. Много читаю. В руки попадают разные книги, среди них и запрещенные. Хочется думать об экзаменах за среднюю школу, но знаю, что это фантазия. Надо работать, но работы не достанешь. И так до Октябрьской революции».

Зато в те годы отец особенно много внимания уделял самообразованию. Он изучал русскую и зарубежную литературу, философию, эстетику, историю, математику, физику, немецкий и французский языки. Эту тягу к знаниям он сохранил на всю жизнь. Уже тогда он писал стихи, хотя в дальнейшем об этом не рассказывал и не упоминал. Впервые он напечатался в 1913 году в петербургской газете «Цайт» («Время»). Стихи его стали появляться на страницах и других еврейских газет и журналов.

Но вот свершилась революция. Она внесла существенные перемены и в жизнь отца. «Теперь, – писал он, – совсем иное. И учись, и работай! Сколько хочешь!». Работал он и заместителем заведующего Бешенковического союза печатников (октябрь 1918 – апрель 1919-го), и секретарем Лепельского уездного отдела народного образования (апрель 1919 – март 1920-го). Работа придавала уверенности в себе. Теперь можно было подумать и о личной жизни. Тем более, что для этого имелись серьезные основания: уже несколько лет он был неравнодушен к своей двоюродной сестре Рахили. Она отвечала взаимностью. В результате на Стрелке родилась новая еврейская семья, пополнившая род Юдовиных. Но ненадолго задержалась она в этой деревушке.

Весной 1920 года отец переехал в Витебск. Более двух лет он заведовал литературно-художественным отделом газеты «Ройте Штерн» («Красная звезда»). В то же время он активно участвовал и в литературной жизни города, выступал с чтением своих стихов. «Но, – вспоминал он, – нужно было оформить свое образование. Поступил на 3 курс еврейского педтехникума». Однако отец умолчал о том, что одновременно преподавал там же на младших курсах еврейскую словесность.

В 1922 году в витебском издательстве вышел сборник стихов Мойше Юдовина «Кнойлн» («Клубки»). На его обложке представлена одна из ранних работ Шлойме Юдовина. Вот и встретились они на ниве творчества – поэт и художник. Рисунки к разделам сборника были выполнены художником М. Малкиным. Малкин, как и Шлойме Юдовин, был учеником Юлия Пэна, замечательного педагога и художника.

Итак, литературная судьба отца складывалась весьма благополучно. Он публиковался, пользовался авторитетом в среде творческой интеллигенции, приобретал все большую известность в читательских кругах. И вдруг – замолчал, перестал печататься, выступать с чтением своих стихов. Что же случилось? В семье старались не говорить на эту тему, зная, что отец будет болезненно реагировать на это. Остается лишь строить догадки. Как мне представляется, отцу было не до поэзии, прежде всего потому, что его засасывала суровая проза жизни. Семья росла куда быстрее, чем его зарплата. Начиная с 1931 года надо было кормить, одевать, обувать пятерых детей. Мать с трудом справлялась со множеством домашних дел. Каково же было отцу, как главе семьи, чувствовать и сознавать, что его дети, как и он сам в годы своего детства, растут в тесноте и бедности?

Увы, история неумолимо повторялась. Но дело не сводилось только к этому. На умонастроении отца сказалось и то, что его восторженное отношение к революции довольно быстро сменилось горьким разочарованием. Идеологический пресс советской власти все сильнее давил на психику людей, лишал их свободы самовыражения. А писать стихи, руководствуясь партийно-правительственными установками, отец не мог. Он был для этого слишком порядочным, совестливым человеком. И, наконец, когда наступили 1930-е годы, особенно их вторая половина, отец, по сути дела, боялся писать. Ведь чуть ли не всех его литературных товарищей и друзей репрессировали, расстреляли или сгноили в советских концлагерях. Но отец боялся не за себя, а за свою большую семью. Это состояние исходило из его обостренного чувства ответственности перед ней, перед своими детьми...

С мучительной болью воспринимал отец те страшные события. Рушилось все, во что ему хотелось верить. То возвышенное, духовное, нравственное, что он больше всего ценил в жизни, оказалось в действительности иллюзией, миражом, игрой воображения...

Этой болью души и сердца проникнуто стихотворение «Сон»:

Какою-то потерей весомой
Я непрестанно мучаюсь во сне,
Но в чем она, не отвечает сон мой,
Ищу, но тайна не дается мне.
Все снится мне бесценная утрата
Жизнь без нее совсем темным-темна.
Вернуть ее так было б сердце радо.
Ищу, но невдомек мне, где она.
Возвышенное нечто – вот пропажа!
Я веру потерял, душа горит.
Но сон молчит, а кто ж еще покажет,
Откроет мне, где этот клад зарыт?
Но будь мой сон пустым воображеньем,
Я крикнул бы: Рассейся, сгинь, оставь!
Я расплевался б с темным наважденьем...
Но сон реальнее, чем явь.

Старейшина еврейской литературы в нынешней Белоруссии Гирш Релес (сравнительно недавно умер), хорошо знавший отца и всегда ценивший его поэзию, в беседе с литературоведом Михаилом Рывкиным, автором статьи «Судьба поэта» о Мойше Юдовине, опубликованной в витебском альманахе "Мишпоха", сказал: «Его стихи глубинны, в них звучит нечто пастернаковское». И добавил: «Когда в 20-30-е годы среди литераторов заходила речь о еврейской поэзии послеоктябрьского периода, имя Мойше Юдовина вспоминали всегда».

В довоенное время отца знали и как прекрасного учителя. После окончания еврейского педагогического техникума он преподавал в образцово-показательной еврейской школе литературу и математику. Его, несомненно, увлекла профессия педагога, и это, очевидно, облегчило ему расставание с поэзией. Впрочем, он расстался с ней лишь в том смысле, что перестал писать стихи. Но не расстался как учитель словесности, призванный вводить своих учеников в мир поэзии. А они видели в нем не только замечательного учителя, но и настоящего человека.

«Благодаря ему, – вспоминает спустя 60 с лишним лет один из его учеников Григорий Лесин, – мы, его ученики, сохранили любовь к языку, на котором говорили наши родители и на котором были созданы шедевры мировой литературы... Моисей Юдовин был исключительно отзывчивым, добрым и чутким человеком. Я даже хорошо помню его облик, манеру ходить, говорить и даже курить. Вспоминаю маленький, но очень характерный для него эпизод. В те тяжелые, голодные годы для поддержания физических сил учеников в школы привозили очень скудные, но все же какие-то обеды. Наши учителя были лишены этого. Но каждый из них в качестве наблюдающего дежурного должен был присутствовать в столовой. Поэтому мы все, почти не сговариваясь, решили один обед отдавать учителю. Но Юдовин всегда категорически от этого обеда отказывался. Как мы его ни уговаривали, он твердо стоял на своем. Тогда мы решили объявить ему модный в те времена "бойкот". Эта мера подействовала, и Юдовин сдался, но мы были далеко не уверены, что наша "хохма" удалась и мудрый Юдовин ее не разгадал. Это чувствовалось по его ласково-ироничной интонации: "Ах, газлоним, газлоним..." Известно, какой смысл по-доброму вкладывают в это слово евреи".

По всей вероятности, вынужденный отказ от поэтического творчества побудил отца полностью переключиться на педагогическую деятельность. Но для этого важно было учиться дальше. И Мойше Юдовин, отец пятерых детей, в 1932-1936 годах учится на заочном отделении факультета литературы и лингвистики Московского го-

сударственного педагогического института им. А. С. Бубнова (с 1941 г. им. В. И. Ленина, а в 1990-ом возведен в статус педагогического университета). Окончил его с отличием и рекомендацией в аспирантуру. Но отказался от заманчивого предложения. По-прежнему надо было работать и работать, чтобы удовлетворять потребности семьи в самом необходимом. Между прочим, в период учебы им было опубликовано несколько статей по методике преподавания языка и литературы.

Когда началась война, отца сразу же призвали в армию и направили служить в аэродромно-инженерную часть. Но примерно через полгода его демобилизовали по состоянию здоровья. Некоторое время он жил в Саратове, а затем, разыскав семью, которая эвакуировалась в Башкирию, переехал туда. На первых порах работал в районной газете, но при первой же возможности стал преподавать русский язык и литературу в школе, проявив себя не только как опытный учитель-методист, помогавший молодым учителям овладеть искусством преподавания, но и как способный режиссер. Организовав театральный коллектив из числа учителей и старшеклассников, он, в частности, заинтересовал их пьесой известного в советское время украинского драматурга Александра Корнейчука "Платон Кречет" и поставил ее, сыграв роль врача-терапевта Терентия Осиповича Бублика. Отец не случайно остановился на этой пьесе о врачах. Исходя из того, что искусство может и должно врачевать, он считал, что не только врачи призваны лечить больных, но и музыканты, художники, поэты, актеры театра, кино, эстрады. Словом, любой вид искусства способен быть целебным источником.

Летом 1944 года мы вернулись в Витебск. Город, воспетый Шагалом, предстал перед нами в сплошных руинах. С трудом оправившись от шокового состояния, мы отправились вслед за нашими войсками на запад и поселились на небольшой железнодорожной станции Парфянов, расположенной в Западной Белоруссии, в 100 км от Полоцка. Отец работал в школе завучем, директором, а в последние годы до выхода на пенсию – просто учителем. Как и прежде, в довоенные и военные годы, он с уважением и доверием относился к своим школьным коллегам, к учащимся и их родителям. Однако это не мешало ему быть требовательным к ним, но не в приказном порядке, а путем разъяснения и убеждения в необходимости ответственно и добросовестно относиться к своим обязанностям. Независимо от занимаемых должностей он пользовался неизменно высоким авторитетом. Это был не столько авторитет должности, сколько авторитет личности. В отличие от авторитета должности, в основе которого лежит власть должностного лица над подчиненными (например, учителя, завуча, директора школы), авторитет личности, который меньше всего зависит от внешних признаков власти, обуславливается высокими интеллектуальными, волевыми и – особенно – нравственными качествами человека, ставшими его внутренним достоянием. Если у человека авторитет должности не подкрепляется авторитетом личности, однако он заинтересован во что бы то ни стало удержаться на занимаемой должности, то ради этого для него все средства хороши, какими бы они ни были аморальными. И если он все же вынужден расстаться с этой должностью, то тут же, как правило, лишается и авторитета. Другое дело, если авторитет должности подкрепляется авторитетом личности. Именно таким и был авторитет отца, исходивший от таких его личностных качеств, как доброжелательность и чуткость, честность и бескорыстность, высокоразвитое чувство справедливости и скромности. Когда он ушел с занимаемой должности директора школы (а точнее, его ушли функционеры Витебского об-

кома ВКП(б): он ведь был не только евреем, но к тому же и беспартийным, а это было уж слишком в те годы – годы разнузданного антисемитизма), его авторитет несколько не пострадал. Даже через десятки лет после его смерти его бывшие коллеги и ученики не забыли о нем, вспоминали как о человеке, который своим личным примером повлиял на них в самом положительном смысле слова. А он, рассматривая личный пример как важнейший метод воспитания, ссылаясь при этом, как на выдающегося русского физиолога И. М. Сеченова, по словам которого "подражательность вообще есть свойство, присущее всем без исключения людям...", так и на великого Льва Толстого, утверждавшего, что "все или 0,999 воспитания сводится, к примеру, к исправлению и совершенствованию своей жизни" и поэтому воспитание "...представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было".

Долгое время родители не могли прийти в себя от горя: война отняла у них двоих детей (18-летнего сына Леву и 14-летнюю дочь Сарру), многих близких родственников. Мать часто плакала и болела. Отец весь ушел в работу, все больше курил, не спал ночами... Спустя многие годы он писал:

"Неугасимой памяти экран
Живет во мне, слепящий и кричащий.
Не затянуло время тяжких ран,
Неисцелимых и кровоточащих.
Я не ищу убежища от этих
Видений – их душе не превозмочь.
Мне слышен вой сирен на преддворьях
И ужасом затопленная ночь.
<...>

Кругом руины. Мертвых тел гора.
Железо, камень, душу – все коржит.
Так ночь за ночью – дикая игра.
Так день за днем страданья наши множит".

Выйдя в 1958 году на пенсию, отец с матерью тотчас же покинули Парафьянов и переехали в поселок Городок (в 40 км от Витебска). Оставшись вдвоем (дети повзрослели и разъехались), они затосковали по городу, где прожили более 20 лет, пусть и не легких, но по-своему счастливых. И вот теперь, когда, казалось бы, с литературным творчеством навсегда покончено, отец вновь обратился к поэзии. Возможно, под влиянием хрущевской «оттепели» и с появлением свободного времени. Переезд в Витебск в 1961 году еще больше настроил отца на творческую волну. Его не смущало, что жить приходилось в маленькой съемной комнате, а платить за нее – из скромной пенсии. Он оказался во власти вдохновения. Стихи сочинялись так же легко, как в молодые годы. В итоге он отобрал лучшие из тех, что написал, и отправил в журнал «Советиш геймланд». Но опубликованы они не были. Видимо, не укладывались в жесткие рамки официальных требований. От «оттепели» уже ничего не осталось. Отец, потеряв надежду печататься на идиш, больше к стихам не возвращался. К тому же жить ему оставалось совсем немного.

Спустя четверть века после смерти отца его племянник Лейб (Лев) Юдовин, вач по профессии и тонкий знаток еврейской поэзии (и его уже нет в живых) послал ту же подборку стихов в тот же журнал, и на этот раз тот же редактор (Арон Вергелис) их опубликовал.

Пишу эти строки и вспоминаю, как в первой половине 60-х годов еврейский поэт Хаим Мальтинский (в 70-е годы он репатриировался в Израиль) приезжал из Минска в Витебск и встречался с моим отцом. Это были трогательные встречи двух поэтов, влюбленных в идиш, в литературу на этом языке. С тех пор не могу забыть об одной из

своих бесед с Хаимом Мальтинским. Он сказал тогда: «О Вашем молодом отце в те времена писали, как о восходящей звезде еврейской поэзии».

Увы, этой звезде не суждено было долго сиять. Вероятно, потому, что она была чересчур человеческой, чувствительной, легко ранимой для того времени...

«В моей душе струна для вас
На доньшке,
Что пробуждается подчас
На солнышке.
И вот кружит и ворожит,
Играет скрипочка.
Не то росинка в ней дрожит,
Не то улыбочка.
И простирает сотни рук
К ней солнышко,
Выращивая каждый звук,
Как зернышко.
И к вам потянется росток
Средь полюшка.
И зацветет, взойдет цветок,
Как зорюшка".

(Все приведенные в статье отрывки из стихотворений М. Юдовина даны в переводах с идиш Наума Кисляка).

ЛИАНА АЛАВЕРДОВА

ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИРА МИХАИЛА БРИФА

Почему-то вспомнился Маяковский: «Голос единицы тоньше писка»... Все правильно, если эта единица не поэт. Если же мы говорим о поэте, то его негромкий голос невозможно не расслышать даже в многоголосом гвалте информационного шума, обступающего нас со всех сторон.

Много лет назад я впервые услышала голос лирического героя стихов Михаила Брифа, и он сразу поразил меня своей особенной интонацией. Между прочим, в наше время, когда столь многие пишут стихи и считают себя поэтами, иметь свой голос, свою интонацию – это вовсе не мало. Собственный стиль – это другое дело. Индивидуальным стилем выделяются единицы, они легко узнаваемы и пародируемы: как тут не вспомнить Беллу Ахмадулину и Андрея Вознесенского? Собственная неповторимая интонация – это очень много значит в наши дни вторичности и суррогатности, подражания и перелева одних и тех же цитат в ироничном ключе.

В стихах поэта нет особых инноваций, технических «находок», они не поражают богатством метафор и образностью. Но есть в них нечто такое, от чего щемит сердце.

*Мне спешить больше некуда,
занемог я и слег.*

*Сколько выпало снегу-то
на родимый порог.*

*Ты к окну отнеси меня,
чтоб я тил благодать,
и скажи, как по имени
мне тебя называть.*

(«Ангел»)

Казалось бы, как просто! Картинка графически контрастная, обнаженная в своей простоте. На фоне белого снега и невидимых нам, но, чутье подсказывает, тоже белых стен – двое: Поэт или тяжело (смертельно?) больной лирический герой, и Ангел (неважно кто, кажется, что

женщина, но может быть и мужчина, а может и в самом деле Ангел?). Предельный лаконизм, а эффект достигнут необычайной силой. Может, это и есть магия подлинной поэзии? Как писал поэт и переводчик Андрей Зырянов о поэзии М. Брифа: «Простые слова, простые положения, понятные чувства. Все отдельно – понятно, «как». А все вместе – «а как же это?», потому что добавилось еще что-то, что не повторить в пересказе».

Тема экзистенциального, тотального одиночества звучит неотрывно в поэзии М. Брифа как нижний голос в дуэте, может быть, и перекрываемый верхним, но всегда добавляющий объем и глубину. *«Жить не умел. Зато любить умел, как мало кто. Увы, не пригодилось»* («Поэт»); *«Не жди большого счастья, когда ты одинок»* («Дача в октябре»), *«Понапрасну мечтать о победе над разлукой. Она мне – чавек»* («Без тебя»), *«Враз иссяк стихотворства родник. Я над сонным Гудзоном стою. Нет вокруг ни друзей, ни родных. Сам оплачу бескрылость свою»* («Неприкаянный, вздорный еврей...»), *«Ли хорадит меня и знобит. Никого я ни в чем не виню. Мне годами никто не звонит, да и я никому не звоню»* («Ли хорадит меня и знобит»). Не стоит множить примеры, хотя соблазн велик: слишком много строк Брифа служат тому иллюстрацией.

И еще одна цитата приходит на ум, когда я думаю о поэзии Брифа.

Да простит меня автор, но эта цитата не из его стихов. «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой»... Я не большая поклонница Вилли Токарева с его усами Карабаса-Барабаса и хриплой мелодраматики, но эти две строки примиряют меня с творчеством ресторанного кумира. Голос маленького человека, так любимого русской литературой, – это голос лирического героя стихов Михаила Брифа. Голос маленького эмигранта. Маленький лирический герой Михаила Брифа точно так же, как и токаревский герой, затерян и одинок («Никого вокруг. Пустыня. Называется Нью-Йорк»), не вписан в ритм американской кипучей деловитости, как не был «при деле» и на своей родине, выпадает из любой бурной деятельности, общественной или коммерческой, и болтается где-то на обочине. *«Но обвинять кого мне, кого проклинать впотмах за то, что вдруг стал изгоем, лишим в родных краях?»* И в самом деле, кого обвинять? Разве что душу поэта? Ведь иначе и не может быть, когда наш герой «вдалеке от соблазнов кружил. Лишь стихи про себя бормотал, лишь стихами – единственно! – жил». Конечно, в наш практический век заниматься поэзией да еще в иноязычной среде – дело не просто сугубо непрактичное, а почти абсурдное. Кому, как не автору этой статьи, это хорошо известно! Известно это и герою М. Брифа, полемизирующему с Е. Маяковским: *«Я – поэт. Кому я интересен? Ремесло – не выдумаешь хуже»*. («Прощание с музыкой»).

Взгляд лирического героя стихов Брифа лишен какой-либо героизации, (никаких котурнов!) Он полон самоиронии и горькой усмешки. Он полон боли, безнадежности: *«Нет такого слова «счастье». Врут все ваши словари»* («Не тревожьтесь, я уйду»). Избегает поэт и дешевой патетики, и пьяной слезы.

В лучших стихах М. Брифа есть подлинность и первозданность поэтического чувства, которому безоговорочно веришь и которое не может не вызвать душевный отклик.

Я пишу о лирическом герое стихов М. Брифа, осознавая как велик соблазн этождествить лирического героя и автора, и просто отдавая дань традиции, однако не могу не заметить, что мало у кого из поэтов лирический герой так плотно совпадает с поэтом, его родившим. Одна из замечательных черт поэзии Михаила Брифа – ее нату-

ральность, естественность. Распахнутость души без дешевых театральных эффектов, без рисовки, без какой бы то ни было натужности и манерности, но при этом замечательное чувство слова и лиризм, тонкий, чудесный лиризм. *«Ножевую рану заштопаю, залатаю. Огнестрельную рану спиртом залью и йодом, – Лишь бы ты не заметила, пахла морем и медом, единственная моя, бесценная, моя золотая»* («Менестрель»); *«Здравствуй, довоенный мальчик! Как живет на лету?.. С каждым годом мне все жалче твою скрипку сироту»* («Скрипач»).

Пишет ли М. Бриф об отце или матери, о музыканте, о России или Украине, его родине, о любимой женщине – всему веришь, все вызывает ощущение подлинности и непридуманности. Именно эта подлинность, помноженная на талант, и рождает отклик, и вызывает сочувствие. Универсальность проистекает из того, что стихи, написанные как глубоко личные и исповедальные, затрагивают и струны незнакомых душ, неизвестного читателя. Как сказал М. Бриф об обобщенно-анонимном поэте, *«Он писал о себе, и, значит, он о каждом из нас писал»*.

Стихи М. Брифа написаны в реалистической манере. Что ж, реализму как направлению искусства, видимому, можно адресовать строки из популярной сказки: «Ты еще крепкий старик, Розенбом!» Но, говоря о реалистичности, правдивости его стихов, нельзя не отметить, что это не стихи-перечень, не детали ради деталей, за которыми не пробивается авторский голос. Стихам М. Брифа органично присущи и самоирония, и горький еврейский юмор, и сердечность. В них смешаны смех и слезы...

*Слушал бешеную вьюгу,
окна отворял.
Убежал с женою друга –
друга потерял.*

*Все нескладно. все неладно,
пустота вокруг...
Друг, возьми жену обратно,
возвращайся, друг.*

Прикажете плакать или смеяться? Обычно, когда автор читает это стихотворение на поэтических вечерах, оно вызывает улыбку или смех...

«Удача, я твой худший ученик, оболтус, второгодник, обалдуй», «Только я виноват в своих бедах, лишь я в том виною, что душа оказалась вдруг жалкой, пустой и смешной», «...потому я числюсь на галере самым нерадивым из гребцов»... Мало кто из поэтов так беспощаден к себе как к человеку и так серьезно относится к своей роли поэта, как Михаил Бриф. Мне кажется, быть поэтом для него – самая важная роль в самоидентификации, писать стихи – и наслаждение и мука. *«Зато хоть до расцвета ликуй, стихи пиши», «Пишу, покуда не ослеп, пока дышу и верю в счастье»*. Он очень серьезно относится к поэтическому ремеслу, работает над строкой, по собственному стихотворному признанию исчеркивает черновики, выбрасывает строки, хотя на первый взгляд кажется, что стихи написаны так просто, как будто «выдохнуты» им. Конечно же, обманчивое впечатление. Вполне допускаю, что многое рождено вдохновением, но результат был бы гораздо менее ценным, если бы за ним не стояла тщательная работа над словом. О том, что М. Бриф внимательно и глубоко умеет читать стихи, я убедилась на собственном примере, когда выслушала его доброжелательную и предметную критику одного из своих сборников. Иногда, надо признаться, М. Брифу не много недостает объективности, когда он отбирает стихи для собственных сборников, которых у него уже несколько. Кое-что можно было бы и не включать. Но ху-

дожника судят не по изъяснам и мелким огрехам, а по вершинам, по лучшему, что он сотворил; и многое, большинство из опубликованного Михаилом Брифом может удовлетворить самого взыскательного критика.

Стихи М. Брифа, как и у всех поэтов, главным образом о себе, но этот взгляд то бывает прицельно точным, направленным в глубь души, то становится широким, охватывающим исторический горизонт, и тогда рождаются трагичные строки: «о век мой, гремучий, дремучий, огромный погромный этап» или «не нужна мне чужая родина – мне свою бы не знать вовек». У М. Брифа, как и у многих поэтов, пишущих в традициях русской культуры, не может не быть стихов о родине, России, Украине, о любви, замешанной на горестном историческом пессимизме и ощущении собственной неприкаянности и не вписанности в среду. Не об этом ли его цикл «Дым отечества»? «...из одного бедлама мчишься в другой бедлам», или строки «Я жил в отчизне прокаженной, но прокаженность отвергал», или «Прокляла своих мертвых Россия, а живые кивали согласно». Конечно же, разговор о Родине и трагической судьбе не может не привести нашего автора к теме изгнания и осознания своего еврейства как некоего клейма, носимого и с горечью, и с гордостью. Местечковская бабушка, говорящая на идиш, отец, бывший узник Дахау, судьба полукровки, историческая родина, фамилия, не оставляющая сомнений в национальной принадлежности ее носителя, – все становится предметом поэтического размышления, все запечатлено в поэзии Брифа, которая по сути является дневником души, напряженно размышляющей о своей жизни и судьбе, об истории и судьбе своего народа. Пронзительное стихотворение на тему холокоста – короткий «REQUIEM».

*Дымами стали девочки в Литве,
и в Киеве, и в Гомеле. и в Польше.
С любимыми не свидеться им больше.
Одной росинкой больше на траве.*

*Уже не встретить юношам невест.
Те девочки давно дымами стали.
Поют на идиш девочки с небес.
Дымами стали – звать не перестали.*

*Ночное пенье слышишь ли вдали?
Как можно спать, смежив блаженно веки?
Нам не простят те девочки веками
того, что песню мы не сберегли.*

Типичный Бриф. Коротко, почти что лапидарно, и проникновенно до слез. Найдены какие-то единственно точные, подходящие, кажется, что их нельзя было не найти, слова, и болит душа, и растрожены память и совесть.

Стихи М. Брифа легко ложатся на музыку. Его содружество с бардом Василием Кольченко породило целый ряд замечательных песен, в том числе и песню на вышеприведенное стихотворение. Михаил Бриф – автор целого ряда поэтических книг: «Високосный век» (1991), «Галера» (2003), «Единственное небо» (2004), «Братья милосердия» (2006), «Предзимье» (2007). Его стихи публиковались в целом ряде журналов и альманахов, как в США, так и в России. Он даже съездил в Англию и Украину и стал лауреатом поэтического турнира «Пушкин в Британии» и «Болдинская осень в Одессе», победителем международного конкурса к 65-летию Победы под эгидой Союза Писателей России. Но дело не в публикациях и званиях. Дело в самом поэте, «брате милосердия», пользуясь его терминологией, Михаиле Брифе.

1.4.2012

Елена Тамахина-Плотто. Когда в душе отражается Рильке... К 135-летию со дня рождения Райнера Марии Рильке. Прага: Изд-во «Русская традиция», 2011. 276 с.; ил.

Первое впечатление, которое остается, когда берешь в руки этот том, – изумленное недоверие. Неужели еще бывают книги в настоящем переплете, на прекрасной бумаге, с огромным количеством превосходных цветных иллюстраций и почти без опечаток, хотя тексты идут на трех языках (русском, немецком и французском), не говоря уже о безупречной орфографии? (Я так привык, что почти никто из нынешних писателей не освоил премудрости семилетки.) Оказывается, бывают. Мне не попадались упоминания об издательстве и организации «Русская традиция». Может быть, и другие мало о ней знают. Вот, что среди прочего рассказывает во вступлении директор издательства и председатель организации Игорь Золотарев: «Наша организация видит свои основные цели в развитии культурных и общественных традиций русской эмиграции и ее объединений в Чешской Республике в области культуры, науки и образования. Сохранение памятников и памяти о русской эмиграции, ее выдающихся представителей является основной формой нашей деятельности». (С. 6)

Автор книги живет во Франции, а научный редактор – в Магадане. По рекомендации профессора Р.Р. Чайковского, одного из лучших в мире знатоков Рильке, теоретика и практика поэтического перевода, книга и попала ко мне. Рильке не просто отразился в душе Тамахиной-Плотто: он стал частью ее души, частью ее самой. Но она соединила восхищение Рильке с доскональным знанием каждой написанной им строки, будь то поэзия или проза, каждого дома, в котором он жил, каждой тропинки, по которой ему довелось бродить. Цветаева собрала свои пушкинистические очерки под заглавием «Мой Пушкин». Давно замечено, что и она, и Ахматова ревновали Пушкина к другим женщинам, включая и Наталью Николаевну. По аналогии и эту книгу можно было бы назвать «Мой Рильке». Тамахина-Плотто обижена на Поля Валери, что тот не безоговорочно принял французские стихи Рильке, но прощает Цветаевой ее истерические влюбленности. Она предупреждает, что в ее намерения не входило писать биографию Рильке, так как это давно и хорошо сделано другими. Но биографическая канва, естественно, осталась; только на ней обнаруживается мало мирского. Нет ни слова о том, на какие средства жил Рильке. Не строятся гипотезы, почему он ушел в воспето им одиночество, оставив жену и маленькую дочь (замечено лишь, что каким бы плохим мужем и отцом он ни был, близость с ним прославила тех, кому повезло оказаться в его сени). Многие женщины стали его пожизненными друзьями, но у Рильке нет любовных стихов. Поиски Бога (не того, кому возносятся молитвы, а Творца вселенной), природа и полумифастические образы – патриархальная богоизбранная Россия, благословенная Франция, неизреченное чудо Венеции и поэтический уголок Швейцарии – вот источники его вдохновения, а в этой книге ключевое слово – *в-высь*, везде напечатанное через дефис и жирным шрифтом. В-высь и устремлен взгляд Тамахиной-Плотто, следующий за Рильке.

Французские и русские стихи Рильке (он иногда писал и по-русски) понятны сразу, но не такова его поэзия на родном языке. Те, для кого Рильке – это «Осень», «Пан-

тера» и несколько ставших хрестоматийными строк из «Сонетов к Орфею» (вроде *wisse das Bild* 'проникнись сутью картины') или знающие его по переводам, не догадываются, как сложен. а порой и непроницаем строй его стихов. За последние десятилетия Рильке переводили на русский язык много раз и добились выдающихся успехов, но с Рильке происходит то же, что и с Целаном: его стихи живут в немецком синтаксисе и в немецком словообразовании. Перевод не может не упрощать; ему плохо даются недомолвки, паузы, повторы (особенно когда короткому немецкому слову соответствует в русском длинное). В тексте процитированы десятки строф в разных переводах.

Пересказывать книгу Тамахиной-Плотто – примерно то же, что переводить Рильке: сюжет останется, а поэзия уйдет. Но кое-что можно понять из названий некоторых глав: «Творчество как совершенная форма круга», «Сферичность мышления», «Святое одиночество – мой Бог», «Природа счастлива», «Музыка природы в музыке стихов», «Ваятель, 'которому не было равных в мире' – Огюст Роден», «Проза создается так же, как строится храм», «Слова-понятия как 'поэтическая собственность' Рильке», «'Рильке – дитя Бога'», «Поэт 'своей смерти'», «От ангела христианских небес до ангела 'Элегий'», «Избранный вечностью». Приведу и две выдержки из книги.

«...Скульптура «Собор»: «собранные вместе», но неплотно прижатые друг к другу женская и мужская ладони. Они образуют некое пространство – «малый собор», – который создан для того, чтобы предохранить божественную связь их душ. Словно Мастер хотел передать мысль о том, что из этих живых духовных пространств, из «малых соборов» души воздвигается великий Божественный Собор Вселенной.

Роден воплощал для молодого поэта Великого Творца, который не только создавал пространство внутри скульптуры, но еще окружал ее неким пространством, защищавшим пространство внутреннее. На примере Родена Рильке убедился, что каждой вещи присуща пластичность. Форму, «чистую и целостную», которой добивался Роден в своих скульптурах, Рильке сумел перенести на свою поэзию. Так, под влиянием Мастера Великих Вещей Рильке создал свой особый поэтический стиль – гибкая красота его слова приняла осязаемую, законченную, почти скульптурную форму. Из таких словно «вылепленных» стихов, в которых объем заменил привычное плоскостное стихотворное изложение, родилось новое поэтическое произведение – «Стихотворение-Вещь» (Ding-Gedicht), а потом сложился сборник «Новые стихотворения». (С. 94) (Я несколько укрупнил абзацы.)

«Ангелы лишь наблюдатели, а не участники жизни, оттого бывает у них некое томление по неизведанным запретным земным радостям.

Ангелы

И их уста усталых – ровны,
Каймы их души лишены,
Порой тоска (как по греховном)
У них проходит через сны.

Перевод Б. Пастернака

Кроме того, Ангелы сотворены Богом все сразу, поэтому у них одинаковый красивый лик: «Они друг с другом разнятся мало, / Молчат у Господа в саду». Но в их красоте есть что-то искусственное, неестественное, «привнесенное». Такая красота скорее отпугивает, чем притягивает. Созерцание ее вызывает сначала наслаждение, а потом растерянность, удивление, граничащее со

страхом. Словно «душа падает навзничь» от загадочного мира прекрасного.

И если человека пугает ангел, может быть, ангелу страшна обыкновенная земная человеческая жизнь? Ангелы ведь существа бесплотные, бестелесные. Им не знакомы противоречивые чувства, слабости, свойственные людям. Их существование – пребывание в вечном блаженстве и покое. Лишенные индивидуальности, они стерильны, а оттого не способны Творить. Скорбно звучат строки: «*Руки его – как ослепшие птицы...*»

Для Рильке-творца, думается, невозможность творчества была в Ангеле самой отпугивающей». (С.166) (И здесь укрупнены абзацы; кроме того, в тексте приведен немецкий оригинал.)

Хотя меня смущает экзальтированность отдельных пассажей, я понимаю: таков язык любви. Однако Тамахина-Плотто в полной мере умеет властвовать собою. Об этом свидетельствует богатейший научный вспомогательный аппарат ее исследования. Если вам дорог Рильке, прочтите эту книгу.

Примечание. Раз уж зашла речь о Валери, то обращаю внимание читателей «Мостов» на книгу: *Поль Валери. Полное собрание стихотворений. Перевод с французского Е. Витковского, Р. Дубровина, А. Кокотова, Б. Лившица, С. Петрова; Предисловие Евгения Витковского (Москва: Водолей Publishers, 2007).*

Игорь Кон. 80 лет одиночества. Москва: «Время», 2008. 429 с.; ил.

Опубликовав в предыдущем номере «Мостов» рецензию на книгу Игоря Кона «Мальчик – отец мужчины», я по совету своей доброй знакомой прочел и его автобиографию. Заглавие вызывает воспоминания как о нескольких великих романах, так и о посредственных мемуарах, например, «50 лет в строю»: числительные вообще хорошо ложатся в заглавие. Сразу возник вопрос, почему об одиночестве говорит общительный человек, известный интеллигенции всей страны, адресат бесчисленных писем, обласканный светилами Европы и Америки, автор 164 (!) брошюр и книг (считая и переводы на иностранные языки) и статей, печатавшихся по обе стороны океана. Некто с плохим литературным вкусом придумал «семиотический» термин *знаковая фигура*. Вот Кон и был такой фигурой – первопроходцем, трибуном, сеятелем. Но смысла заглавия он не раскрывал.

Человека, прожившего всю жизнь с матерью, упорно писавшего о мальчиках и мужчинах, все должны были считать гомосексуалистом, и он, защищавший права любых меньшинств на кусочек счастья (а в СССР гомосексуализм считался уголовным преступлением), мог бы сказать: «Да, природа обрекла меня на одиночество. Женщины мне были не нужны, а союза с мужчинами по разным причинам не получилось», – или: «Не надоело вам сплетничать? Вам тесно или слишком просторно в своей постели? Не ваше дело, кто я». Но он этого не сказал, а лишь в начале главы «Лики и маски однополой любви» заметил: «Сексуальность, естественно, включает и однополую любовь. Мой первоначальный интерес к ней был скорее книжным. Среди друзей моей юности ге-ев, насколько я знаю, не было, и тема эта не обсуждалась. Теоретически меня также больше занимал феномен гомосоциальности...» (с. 334) Даже слово *скорее* двусмысленно. Рассказ о школьной влюбленности, которая была известна всему классу, кроме него, повис в воздухе и продолжения не имел. Так и не смогли мы пробить этого долгого, пожизненного одиночества.

Оценка деятельности Кона зависит от точки зрения наблюдателя, его возраста и от того, где этот наблюдатель сейчас находится. Кон был человеком блестящих способностей и выдающегося трудолюбия и преодолел многочисленные барьеры. Внебрачный ребенок, выросший без отца, он носил фамилию еврейки-матери, но вроде бы случайно по паспорту числился русским. В детстве он много болел и к спорту был непричастен (в первой рецензии я правильно угадал, что об уроках физкультуры он имел слабое представление). Невыносимый быт эвакуированных в Чувашии (в 1941 году мальчику исполнилось тринадцать лет) осложнился новыми болезнями. Однако от каких-то своих предков Кон унаследовал неистребимый оптимизм. В противоположность тысячам людей он написал: «Но в детстве все переживается легко» (с. 26). Уже тогда он читал запоем, и в этом смысле его судьба характерна: все те, кто достиг высот в гуманитарных науках, подростками успевают прочесть целую библиотеку книг, и именно поэтому так бездарны и неинтересны многие современные литературоведы и историки. О их двойниках, хотя и со зловещим подтекстом, имея в виду аспирантов сороковых и пятидесятих годов, говорил знаменитый профессор-романист Сергиевский: «Они ничего не читают, а только пишут». В пятнадцатилетнем возрасте (еще в Чувашии) Кона приняли на истфак, и в 1944 году, вернувшись в Ленинград, он перевелся в Герценовский педагогический институт, на тот же факультет. Уже немногие помнят, что вернуться домой без вызова не разрешалось, а «вызвать» Кона с матерью было некому (да и комнату их незаконно заняли другие люди), и юноша долго вел жизнь бомжа. Уладилось все довольно фантастическим образом: его стихотворное прошение тронуло какую-то ответственную даму. Матери с сыном выделили девятиметровую комнату. Поверим Кону на слово: редко, но бывает.

Окончив институт в том возрасте, когда большинство молодых людей в него только поступает, Кон был принят в аспирантуру и защитил одновременно две диссертации: по истории и по философии (а собирался защищать еще и третью, но, как в известном анекдоте, ему сказали: «Это, уж, товарищи, слишком»). Он и доктором (философских наук) стал в 29 лет. После недолгого преподавания в Вологде его дальнейшая жизнь проходила на философском факультете ЛГУ и во многих академических институтах. Знаменитым он стал почти сразу. На его лекции в зал, вмещавший пятьсот человек, набивалась тысячная толпа. Наделенный пытливым умом и неистощимой любознательностью, Кон, как он сам о себе говорит, не стремился к оригинальности, но оригинальность в отличие от оригинальничания, подобно тому знаменитому слову, приходит сама и не сдержат ее; стремиться к ней бесполезно, даже вредно. Кон не знал озарений. К тому же задушенные величайшим гением всех времен и народов, к середине века история и философия утратили в СССР право именоваться науками. Я ошибся, сказав, что Кон имел некоторый доступ к французской научной литературе. Он хорошо знал эту литературу (как и немецкую), по-французски «мог изъясняться», а по-английски, судя по всему, говорил свободно. Вокруг же процветали неучи. Даже у цензора, курировавшего заграничную почту и благоволившего ему (в мое время он заведовал Первым отделом Ленинградского филиала Академии наук – возможно, об этой должности Кон и говорит), была фамилия Тупицын. Правда, Кону посчастливилось учиться у преподавателей другой формации, и он подробно, но не очень интересно рассказывает о них – не очень интересно, потому что, по собственному признанию, был лишен литературного таланта. Его изложение всегда культурно, но бескрыло: ни одна фраза не остается в памяти.

Первые же статьи Кона были опубликованы в «Вопросах философии» и «Вопросах истории». Его печатали в «Коммунисте»; он был своим человеком в Политиздате. Он верил в существование «законов истории» и на четырехстраничных страницах обсуждал кризис буржуазной исторической мысли (1961 год). Надо отдать Кону справедливость: о многих своих ранних трудах он говорит с нескрываемым пренебрежением и называет их схоластической, но смотрит на них, как на издержки, простительные для того времени. Будучи преподавателем общественных наук, он, разумеется, вступил в партию.

Областями исследования Кона были философия, история и сексология. Он честно заметил, что, хотя много писал о философии, философом не был и по складу ума стать им не мог. Добавлю, что не был он и историком, ибо ни на какие события не пролил свет и никаких концепций не сформулировал, а только обобщил огромное количество фактов, описанных другими. Кон рано понял, что мысль свободна только на Западе и стал планомерно читать работы на иностранных языках, что ни в какой мере не соответствовало требованиям его среды. Хотя он и имел доступ в спецхран, в этом храме утаенной литературы было далеко не всё (особенно плохо выписывались журналы), и зарубежные коллеги всю жизнь посылали ему статьи и книги. Само собой разумеется, ни социологии, ни сексологии в СССР быть не могло. Народу запрещалось знать правду о самом себе, а человеку – о собственном теле. Господствовала теория, что надстройка слегка отстаёт от своего базиса, а то, что базис был в СССР самый что ни на есть прогрессивный, все знали с 1917-го, а еще лучше с 1938-го года. Сексология и вообще не упоминалась; засекречена была даже статистика о венерических заболеваниях, этих пережитках капитализма. Один из крупнейших советских лингвистов (он пережил советскую власть и ушел в вечность, успев причислиться) писал, что нелегко представить себе «матюги» даже в специальном словаре. На заборах можно, а в словаре нельзя. И вот здесь Кон пустился во все тяжкие: он занялся великим, но неблагодарным делом просвещения дикой страны и многого добился.

Кое-кто, может быть, еще помнит фразу типа: «Такой-то впервые в отечественной литературе...», – то есть метод или открытие могли быть стары, как мир, но имярек впервые применил их у нас и заслужил лавровый венок. Кон «первым в отечественной литературе» разработал методику серьезных социологических опросов; где мог, провел их, обнародовал (насколько ему позволяли) результаты и привлек к этому делу целую армию союзников. Социологические лаборатории – его детище, и не его вина, что опросами мир не спасешь и не улучшишь, что просвещенное человечество ведет себя так же глупо, как и непросвещенное, и что разврат, как и всякий сорняк, забьет культурное растение. Всё равно: даже постылая свобода лучше тюрьмы.

При столь мощном перекосе (там свободный мир – здесь крепостническая Совдепия) научные и даже псевдонаучные достижения Запада казались более существенными, чем они были на самом деле, а любой разгул выглядел, как похвальное сбрасывание оков. Какие-то гримасы феминизма Кону не нравились. Например, он морщился при упоминании женской математики, то есть, надо полагать, не поверил, что, если бы Евклидову геометрию создала женщина, то результаты могли бы быть иными (а такая мысль высказывалась), но в целом он нашел в феминистской теории (речь идет именно о теории, а не о борьбе за женское равноправие) много ценного. А как же иначе? Свет-то был не с Востока, а с Запада, и сомнения в его яркости исключались, особенно на фоне официальной критики «буржуазной науки», вокруг кото-

рой кормились целые коллективы. Я хорошо помню эту ситуацию по своему опыту. На мой взгляд, хомскианская революция в языкознании (Хомский – напрасная русификация американской фамилии Chomsky, то есть Чомски) навсегда загубила не только языкознание, но и некоторые смежные области. Однако наши молодые лингвисты мгновенно стали хомскианцами. Когда я опубликовал отрицательный отзыв о порождающей фонологии Хомского и Халле, мои московские коллеги говорили мне: «Что ты делаешь? Если и мы начнем ругать американцев, что же будет?» И я ненавидел себя за эту статью, так как вроде бы присоединился к тем, кого глубоко презирал.

Усилиями Кона удалось создать в СССР, конечно, не социологию, но хотя бы ее психологический аспект. Его книги о любви и дружбе основаны на реальном материале, а не на лживых клише и ничем не напоминают страданий райкинского лектора, который на туристском пароходе в ту сторону читает лекцию о дружбе, а обратно – о любви. Устает ужасно и однажды засыпает посередине собственной речи, а проснувшись, испуганно спрашивает: «В какую сторону мы плывем?» Книги Кона с восторгом читала вся страна, их перевели на многие языки, а на Западе радовались, что у «русских» появился разумный исследователь, похожий на них самих и наизусть знающий их работы. Отсюда гранты, медали и дипломы. Но когда доступной стала пропасть для свободных людей, интерес к таким людям, как Кон, пропал: и от своих то некуда деваться, а на всех пирога не хватит.

С советской властью Кон, в общем ладил. Она его в лице товарища Тупицына и других товарищей прижимала, но не душила. Он всегда был выездным (хоть в Австрию, хоть в Италию), но пускали, конечно, не всегда. Ему разрешали руководить секторами и лабораториями, а он играл по правилам. Характерен такой пассаж: «У меня в книге было несколько (никаких излишеств!) обязательных для того времени дежурных цитат из Хрущева. И вдруг редакторша мне говорит: «А они тут необходимы?» Отвечаю: «Ради Бога, я их вставил исключительно для вас; если вы можете без них обойтись, готов снять немедленно». Сняли. На следующий день Ламагина говорит: «Игорь Семенович, вы не думайте, что у меня есть на этот счет какие-нибудь указания, это только мое личное мнение». – «Галина Кирилловна, про любые указания и про то, что можно и чего нельзя, я знаю гораздо лучше вас, просто есть привычная перестраховка, которую приходится уважать. Но если вы готовы без нее обойтись, то я – тем более». В общем, убрали мы казенные цитаты, и оказалось – очень удачно. Перед самым выходом моей книги Хрущева сняли, так что если бы цитаты остались, цензура бы потребовала эти страницы набирать заново, а тут и не понадобилось. В дальнейшем я лишние цитаты сам не приводил, ждал, что скажет редактор. Если настаивает – приходится считаться, а если нет – проживем и так. А Галину Кирилловну я запомнил на всю жизнь, с ее стороны это был поступок. И вообще была милая женщина...» (с. 214-215) Вот как хорошо всё кончилось: съесть ложку дерьма, как известно из «Швейка», незачем: лишь бы там не было волоса.

Конец Кона был печален. Рухнула советская власть, Запад стал открытым, в права вступила эпоха первоначального накопления, и гуманитарные науки (и даже не только они) оказались обществу, или, по крайней мере, власти, ненужными. Старый и больной Кон продолжал ездить, выступать, писать и печататься, сражался с ортодоксами и хулиганами и, оглядываясь назад, пришел к выводу, что прожил жизнь не зря. И, хотя не пошел он на костер, как Джордано Бруно и даже не написал, как его великий современник (тоже социолог), «Зияющих высот», я думаю, что, слегка поразмыслив, мы можем с ним согласиться.

Русские евреи в Америке. Книга 5 / Редактор-составитель Эрнст Зальцберг. Иерусалим, Торонто, Санкт-Петербург: Научно-исследовательский центр Русское еврейство за рубежом, 2011. 300 с. – Русское еврейство в зарубежье. Том 21.

Как всегда разнообразный по тематике и выбору персоналий, этот выпуск содержит, кроме предисловия редактора, традиционные разделы: «История», «Литература и языкознание», «Искусство» и «Наука». Необычно по жанру исследование Гирша Райхельсона «Жизнь и творчество Марка Шагала в Америке» (почти 50 страниц). Чудом избежав немецкого концлагеря, Шагал с семьей пробился из оккупированной Франции в Америку, где пережил расцвет творчества. Там же он похоронил жену и женился снова. Об этом периоде известно удивительно мало. Райхельсон не только читал старые газеты и изучал литературу. Он сфотографировал памятные места, нашел людей, знавших Шагала, и переписал целую главу в его биографии. На редкость нетипичными были эти годы для беженца: материальная обеспеченность (главным образом благодаря поддержке младшего сына Матисса), общение с миром только по-французски и на идише, жизнь вдали от больших городов и поглощенность работой (так до самого отъезда во Францию). К статье Райхельсона примыкает небольшой очерк искусствоведа Н.В. Апчинской «Марк Шагал в Америке».

Есть и публикации иного типа. Кит Трибби, специалист по культуре русского символизма, обнародовал переписку Романа Якобсона с Юлией Сазоновой (Слонимской). Переписка большой ценности не представляет, так как сохранилось (или было) лишь одно письмо Якобсона (1955 г.), почему-то написанное на посредственном английском и с обращением Dear Mrs. Sazonova. Зато необычайно интересны примечания. А к вступительной статье я бы хотел сделать одну поправку. Верно, что Якобсона вызывали в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, но я бы смягчил формулировку: «В разгар типичных для эпохи маккартизма обвинений в нелояльности Якобсон демонстративно уволился из Колумбийского университета в 1949 г.» (с. 115). В 1949 г. лишь немногие американские гуманитарии знали о Пражском кружке, а Якобсон ещё не стал всемирной знаменитостью. Он не мог бы уйти из университета, да еще демонстративно, так как ему не на что было бы жить. Но именно тогда решался (и был положительно решен) вопрос о его переходе в Гарвард. Колумбийский университет в издержках маккартизма повинен не был. Не следует забывать, что во время войны почти все русские иммигранты, а евреи тем более, сочувствовали Советскому Союзу; не Гитлеру же им было сочувствовать. Непримиримых вроде Набокова, ничего не простивших ни тем, ни другим, почти не осталось. Якобсон всю жизнь мечтал о возвращении на родину, и, как видно из его переписки с Трубецким, вынашивал какие-то планы, еще живя в Чехословакии. И в хрущевские времена он подумывал о том же, но благоразумие оба раза побеждало ностальгию. (Чтобы избежать недоуменных вопросов, замечу, что всё это, кроме Чехословакии, я слышал из уст самого Якобсона.) А связи с советскими научными учреждениями он до последнего дня ценил больше, чем диссидентов. В 1949 году он автоматически привлёк внимание комитета Маккарти. Можно сослаться и на отношение властей к Шагалу (об этом рассказывает Райхельсон). Шагал горячо поддерживал американскую миссию Михоэлса, попал под подозрение и впоследствии получал регулярные отказы во въездной визе в Америку. Машина плохо разбирает, кого давить, а бомба, как заметил Василий Гроссман, убивает и ограниченно годных.

Если завтра начнется холодная война (а отчего бы ей и не начаться?), все участники съезда соотечественников и прочих объединительно-патриотических акций окажутся в черных списках.

Из сборников Пархомовского и Зальцберга всегда узнаешь что-то о людях, которые когда-то были широко известны, а теперь почти забыты. К таким фигурам относится драматург и журналист Осип Дымов (1878-1959). Его пьесы ставил сам Рейнхардт. И. В. Обухова-Зелиньска, разыскания которой всегда выделяются своей содержательностью, опубликовала переписку Дымова с А. В. Румановым, проделавшим тот же путь, что и Дымов: от славы к безвестности. Кстати, настоящая фамилия Дымова – Перельман, и был он братом Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942), автора популярнейших в свое время книг «Занимательная математика» и многих других со сходными названиями. Случилось так, что Якова Перельмана помнили гораздо дольше, чем первого, «главного», писавшего по-русски, по-немецки, на идише, а после переезда в США (1913 г.) – по-английски. Способные были братья. (В указатель имен попали Осип Дымов и Иосиф Перельман, но это одно и то же лицо.)* Журналист Гершон Свет (1893-1968), герой очерка Михаила Пархомовского, тоже основательно забыт. И он переехал в Америку зрелым человеком, но Дымов провел в ней без малого полвека, а Свет – два последние десятилетия.

Статья Пархомовского помещена в раздел «История». Там же напечатаны статьи Эрнста Зальцберга «Сельскохозяйственные колонии евреев в Канаде», Ильи Кукулина «Рабочее движение в русско-еврейском Чикаго», Геннадия Эстрайха «От любви до ненависти: отношение нью-йоркского «Форвертса» к большевистской революции и советской власти» и Шуламит Шалит «Цетлины в США». Жутковато и грустно читать о муках честных социал-демократов. Газета «Форвертс» сумела рассмотреть истинное лицо советской власти. Основатель газеты Абрам Каган писал в 1924 году: «Если американец говорит о Третьем Интернационале, то это признак или абсолютного идиотизма или полицейской провокации» (с. 42-43). За то Бен Голд, коммунист, и охарактеризовал «Форвертс», как «бордель с мезузой». И опять мы встречаем знакомую ситуацию: симпатия к России (а там кровавая диктатура) и удивление, как прекрасная теория (социализм) может не во сне, а наяву порождать чудовищ. Это задним числом легко удивляться и пожимать плечами. Но стоит прочесть рассказы о прозрениях правозащитных друзей народа, чтобы увидеть, как горьки и мучительны были те прозрения. По тексту каждой статьи рассыпаны десятки имен (в указателе их около 450), так что панорама выглядит внушительной.

Э. Зальцберг продолжает публиковать материалы о ныне здравствующих людях. В пятом выпуске мы встречаемся с журналисткой Беллой Езерской (автор статьи – Евсей Цейтлин), пианистом Яковом Гельфандом (он рассказывает о себе сам) и архитектором Михаилом Раковским (автор – Неля Белая). Среди них должна была бы быть и Элла Фридман, специалист в области термодинамики (не самая женская специальность), но летом 2008 года она погибла в автомобильной катастрофе. Ее путь к профессорской должности привычен (кто-то упорно мешал, кто-то неожиданно помог; случайности подобного рода не выпадают на долю тех, кто их не заслужил, а вот тупое сопротивление ничтожеств – величина постоянная), и тем не менее рассказ впечатляет. Мне осталось упомянуть статьи Розины Нежинской о художнице Александре Прегель, дочери Марины Самойловны Цетлиной (напомню, что в сборнике есть статья «Цетлины в США»), Кита Триббла (который писал и о Сазоновой)

«Изабелла Венгерова, пианистка и педагог» (Венгерова была выдающимся музыкантом и учителем звезд мировой музыки) и Дж. Л. Абрам о Чарльзе Спиваке (в авторизованном переводе Зальцберга), одном из пионеров борьбы с туберкулезом в США.

Хотя я знаю, как мало у нас читателей и как трудно избавиться от мысли, что вокруг пустыня, я закончу пробежку по пятой книге «Русские евреи в Америке» обычным выражением надежды, что кто-то где-то откроет этот том с изображением летящего еврея над американским мегаполисом, прочтет его с большой пользой для себя и сохранит благодарность редакторам серии, которым за их труды не положено ни славы, ни денег.

* С другой стороны, транслитерация сильно повысила мою роль в американской истории. На с. 279 упомянут сенатор Либерман (по-английски – Lieberman), и указатель соединил нас. На всякий случай, уточняю, что ни сенатором от демократической партии, ни независимым, не говоря уже о кандидате в вице-президенты США, я никогда не был.

Евсей Цейтлин. Голос и эхо (литовская тетрадь). Frank – Tireur. USA. 2011. 143 с.; ил.

Эта книга о Кристианосе Донелайтисе (1714-1780), великом литовском поэте. Сейчас он знаменит далеко за пределами своей страны; славу ему принесла изданная посмертно и переведенная на многие языки поэма «Времена года». А при жизни он пробился из бедности к книжной премудрости (школа, университет) и прослужил долгие годы лютеранским пастором, настоятелем деревенского прихода в Восточной Пруссии. Его поэма – это рассказ о крестьянских буднях. Описания трудов и дней прихорожен и картины природы перемежаются призывами жить по справедливости, не развратничать, не пьянствовать, не лодырничать и соблюдать библейские заповеди (как злобно поясняется в первом томе погромнейшего «Краткого энциклопедического словаря» 1953-го года издания, поэма ослаблена поучениями нравственно-религиозного характера). Несмотря на сюжет (если повествование «Времен года» можно уложить в сюжетную рамку), в Донелайтисе не было ничего от крестьянского поэта вроде Кольцова. Он получил хорошее образование в Кенигсбергском университете (латынь, богословие) и был двуязычен, но писал по-немецки лучше («правильнее»), чем по-литовски, – случай в истории литературы не единственный: Тютчев владел французским лучше, чем русским, но стихи и молитвы выливались у него только по-русски (кстати, и его творчество не обошлось без «поучений нравственно-религиозного характера», за что и не любила его советская власть).

Голос в заглавии книги Цейтлина – это голос Донелайтиса. Его не расслышали за пределами деревенской церкви. А *эхо* – всенародная любовь литовцев (скорее, даже обожание, сравнимое с культом Роберта Бернса в Шотландии и Пушкина в России) и всемирная известность. У Донелайтиса не было детей, и не осталось никого, кто бы мог рассказать о нем потомству. Его биографию составили из кусочков; получилось совсем немного. Но и здесь не следует особенно горевать. О Шекспире известно примерно столько же, а о Гомере – и вовсе ничего. Свою поэму Донелайтис писал десятилетиями, но едва ли воспринимал ее как нечто цельное (заглавие «Времена года» не его) и вряд ли смотрел на себя как на поэта. Конечно, как всякий мастер он не мог не думать о своем творчестве, но, возможно, назвал бы себя бытописателем или летописцем. Однако прежде всего он был пастором. До-

подлинно известно, что отрывки из поэмы он читал с амона. Вероятно, стихи с самого начала и задумывались как часть проповедей и произносились нараспев. Длинные строки идеально подходят для речитатива. Отсюда, мне кажется, а не от греков и римлян, выбор Донелайтисом гекзаметра.

Поэзия не может не быть исповедальной, и ясно, что, подчинившись ритму и найдя идеальную форму для своих мыслей, Донелайтис многое писал для себя и не всегда испытывал потребность читать сочинения другим. Надо полагать, что стихотворные вставки потому остались неоцененными (даже незамеченными) его ближайшим окружением, что естественно сливались с текстом проповедей, были их органической частью. К тому же в Литве восемнадцатого века взгляд на взаимоотношение поэзии и прозы на родном языке и на авторство едва ли сильно отличался от средневекового. Донелайтиса изучали литературоведы и специалисты по народному творчеству, но им могла бы оказаться полезной точка зрения медиевиста, знакомого с творчеством малых народов, например, исландцев (их литература дошла до нас с XIII века) и фризов (литературный язык которых сложился значительно позже). Жизнь великого исландского писателя Снорри Стурлусона известна довольно хорошо, но современников интересовала только его политическая деятельность (противники его и убили), а то обстоятельство, что он написал книги, нынче причисленные к шедеврам мировой литературы, почти нигде не упомянуто. При этом Снорри был фигурой национального значения и в Исландии, и в Норвегии, а вражда Донелайтиса с Руйгисом касалась одного прихода. («По всей Пруссии шел тогда процесс сепарации – отделения земель поместья от земель общины. В Тольминкемисе отмежевание провели нечестно, явно в пользу поместья. И виновником был прежде всего Руйгис. 'Этот выродок', – написал о нем Донелайтис», с. 11). Сочинения Снорри многократно переписывались после его смерти; рукопись Донелайтиса уцелела чудом. И все же, повторяю, взгляд на Донелайтиса из Средних веков мог бы кое-что разъяснить и в композиции, и в восприятии его поэмы.

«Времена года» надо читать много раз. Их простота обманчива. Первое, что замечаешь, – банальность тем: весна сменяет зиму, крестьяне пахут землю, а потом собирают урожай, пируют на свадьбе, тащат в кабаки маленьких детей и напиваются до бесчувствия. Но эти «сцены из народной жизни» – стихи. Хотя в переводе они тускнеют, перечитывая даже перевод, начинаешь восстанавливать для себя архитектуру оригинала и втягиваешься в его медлительную речь. В древнеисландской «Старшей Эдде» (собрание песен на мифологические и героические темы) есть необычно длинная песня под названием «Речи Высокого» (Высокий – это верховный бог скандинавского пантеона): 25 страниц наблюдений над жизнью, советов, как эту жизнь прожить, и бегло (вроде бы без всякой связи с окружающим текстом) рассказанных мифов. С давних пор ученые переставляют строфы, надеясь восстановить якобы утраченный первоначальный текст, и спорят, подчинена ли эта песня единому замыслу или это лоскутное одеяло, дошедшее до нас в плохой редакции. Возможно, исландский поэт сочинял «Речи Высокого», как Донелайтис – «Времена года»: фрагмент за фрагментом и читал их немногочисленным слушателям, то есть было не единство замысла, а единство ситуации. И Лукреция Кара нельзя воспринимать, как байроновского «Дон Жуана» или «Фауста». Лишь вчитавшись в поэму Донелайтиса, войдя в нее, замечаешь ее непростоту и величие. Книга «Голос и эхо» («и голос мой негромок») написана не вчера. Ее окончательный вариант вышел из печати в 1989 году, но France-Tireur сделало доброе дело,

переиздав ее: чем больше людей узнает о судьбе Донелайтиса и его поэмы, тем лучше. С Донелайтиса начиналась пожизненная связь Цейтлина с Литвой, а сама повесть – это гимн Литве и признание в любви к ней. Цейтлин не только рассказывает всё, что теперь известно о жизни Донелайтиса. Он прошел по следам старого пастора, посмотрел на Кенигсберг и литовские села его глазами, познакомился с десятками историков, филологов, художников и краеведов, посвятивших годы тому, кого теперь называют основоположником литовской литературы, о ком пишут новеллы, кому посвящаются съезды, симпозиумы и научные сессии. Для литовцев Донелайтис не столько классик, сколько современник, и Цейтлин постоянно перекидывает мосты от восемнадцатого века к нашему. В конце восьмидесятых годов XX века рушился старый режим, и книга несет многие черты переходной эпохи: коммунистическая Литва – еще республика СССР, но над залом уже не гремит дружное ура. Будущее видно плохо, и не вполне ясно, наступит ли оно.

Донелайтис делал клавесины, мастерил барометры и термометры (он, может быть, и умер, отравившись ртутными парами), крестил и хоронил своих прихожан, обвешивая приход на кляче, вместе с которой и состарился. Десятилетиями он пытался улучшить жизнь окружавших его людей и умер, изверившись и в них, и в себе. Поэма-дневник отразила скорбь старика. Я думаю, что основная заслуга Цейтлина в том, что он создал лирический портрет Донелайтиса – даже не портрет, а панно. Могилу Донелайтиса раскопали, реконструировали черты его лица, но что в них? Есть ведь и оставшаяся с древности скульптура Гомера. Донелайтис оказался магнитом, тяготение к которому облагораживало всех, кто попадал в поле его действия (такова награда великим: их заряда хватает и на свой народ, и на соседние), и не случайно, что, написав о Донелайтисе, Цейтлин уже не мог расстаться с Литвой. Он переехал в Литву, стал главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс) и продолжал писать о ней. Вбит прочный клин. Повесть «Голос и эхо» оказалась лишь его тонким острием. А теперь Цейтлин живет в Чикаго, и его усилиями ежемесячный журнал «Шалом» стал одним из интереснейших изданий полугазетного формата в диаспоре. Таков голос, таково эхо.

Поэзия русских философов XX века: антология. Составители: Михаил Сергеев, Леонид Столович. Бостон: M.-Graphics Publishing, 2011. 302 с.

В этой антологии представлено пятнадцать авторов. Как происходил отбор, не сказано, но трое – классики русской философии: Лев Карсавин, Павел Флоренский (оба были замучены советской властью) и Алексей Лосев, которого по недосмотру начальства оставили в живых. Старейший из ныне здравствующих участников – Юрий Боров (Харьков, 1925 г.). За ним в хронологическом порядке следуют все остальные. Олеся Козина, чьими стихами заканчивается антология, родилась в 1969 году. Большинство авторов рассказывают о себе сами, но их очерки иногда дополняются более подробными справками. Вот полный список участников: Лев Карсавин, Павел Флоренский, Алексей Лосев, Юрий Боров, Леонид Столович, Велимир Петрицкий, Вадим Рабинович, Евгений Рашковский, Лариса Матрос, Игорь Крюков, Татьяна Аист, Григорий Беневич, Михаил Сергеев, Сергей Пяташ и Олеся Козина. Хотя книга издана в Бостоне, лишь трое авторов живут на Западе.

Статья Леонида Столовича посвящена взаимоотношениям философии и литературы, особенно поэзии. Уже в

статьях Белинского, более заметно под пером разночинцев и особенно при советской власти от искусства ожидали «отражения» жизни, и возникло пугало идейного содержания, отдаленное от пресловутых художественных особенностей. То же произошло в живописи, скульптуре и даже в музыке. В какой-то момент философскую лирику славянофилов приняли за рифмованный пересказ Шеллинга, осудили за вечно изыскиваемый и обнаруживаемый идеализм и изыали из отечественной литературы.

Как мы знаем, философы иногда писали и пишут стихи, а некоторые поэты проникались философскими идеями своих современников. В философию, если это свободная наука, а не насильственное пережевывание чьих бы там ни было «основ», идут люди с ярко выраженными гуманитарными склонностями и недюжинным творческим потенциалом. Многих из них, естественно, тянет в поэзию, и предмет занятий не может не наложить отпечаток на выбор тем. Это хорошо видно и из настоящей антологии. Так же и поэты, близкие к кругу философов, вольно или невольно, начинают мыслить их категориями и усваивают их образы, особенно если эти философы были великими мастерами слова, как случилось в Германии эпохи романтизма и в России эпохи символизма. Но речь

идет о непредсказуемых тенденциях: ни Кант, ни Гегель стихов не писали (об этом говорит и Столович), а Китс и Пушкин были равнодушны к философии (Боратынского же к «немцам» привели друзья).

И философы, и поэты бывают разными. Одни философы мечтают оставить такую строку, «что жизнь вдруг предстанет как диво, / а в тысячах стершихся строк / одна засверкает счастливо, / как малый, но мой огонек...» (В. Петрицкий). Другие начинают писать стихи наедине с природой, читая древние рукописи, услышав Баха или увидев картины Врубеля. Многие – вполне земные существа, а кто-то грустно признается: «Наверное, мы вовсе не отсюда. / У нас прописка – на другой планете» (Е. Рашковский). Но поэзия может оказаться спасением от страшной, пожизненной физической немощи:

Я – ком из слепого праха,
Я – страсть космических ветров,
Я – сгусток злобы, омут страха,
Я – истин и бессмыслиц ров.

Меня отторгла мать-природа,
Не разорвав родства концы,
И мне ж ее сестра – свобода
Решила дать свои сосцы.

Так что же я на самом деле,
Скопление плоти, глины ком?
Иль тот, кто с хрипом, на пределе
К чему-то высшему влеком?

Сквозь все круги земного ада,
Где ложь, насилие, слезы, крик,
В цинизме умственного смрада
Я вижу подлинный свой лик.

Из мук извлеку о жизни знание,
Чтоб место обрести свое?
Не в этом ли души призванье
И оправдание мое?

С. Потап

А в остальном, как заметила Т. Аист, «Когда жарко, мы любим окрошку. / Когда плохо, пишем стихи».

Персональных сборников, изданных философами, много. С моей стороны было бы непростительной бестактно-

стью предлагать оценку творчества людей, ни в коей мере моей оценкой не интересующихся. Каждый из них – сам себе судья. В общем же, можно заключить, что физики шутят (помнит ли еще кто-нибудь книгу с таким названием?), а философы пишут стихи.

Георгий Демидов. Любовь за колючей проволокой: повести и рассказы. Москва: Возвращение, 2010. 358 с.

Наконец, пропала необходимость представлять Георгия Демидова. Усилиями Валентины Георгиевны (дочери писателя) и нескольких друзей вышел из печати третий том его избранных сочинений. Об авторах рассказов и повестей, посвященных ГУЛАГ'у, часто говорят, что их вывозит тема. Эта мысль глубоко ошибочна. Темы может хватить на впечатляющий очерк, но художественное произведение живет по своим жестоким законам. Добрыми чувствами к рабочим был обуян Горький (и он хорошо знал их быт), но кто же по доброй воле когда-нибудь дочитывал до конца или даже до середины его роман «Мать»? Именно по творчеству Демидова видно, что дело не в фактах и ситуациях (они известны давно), а в том, как они рассказаны.

Слова: «Любовь за колючей проволокой», – не должны вводить в заблуждение. Миллионы людей, брошенных в лагерь, зверели от вынужденного воздержания, но книга не о половом голоде и даже не о любви, хотя кое-что есть там и о ней. К тому же два последних рассказа вовсе не связаны с объявленной темой. Как всегда у Демидова, речь идет о загубленных жизнях. Из демидовского ада пути назад не бывает: машина выжимает из человека все соки и выплевывает отходы на свалку. Настоящих писателей, то есть тех, которые учатся у предшественников и современников, но никому не подражают, часто отличают навязчивые идеи, будь то постоянно повторяющиеся характеры или детали. Например, Диккенс преследовал образ слабого или даже немощного, но эгоистичного мужчины, зависящего от недооцененной дочери (внучки). Не такой вроде бы интересный тип, но Диккенс возвращался к нему всю жизнь. Есть навязчивая фигура и у Демидова: здоровый мужчина, избегающий не только брака, но и всякого общения с женщинами. Обычно это исследователь, со студенческих лет посвятивший себя науке. Когда лучшие годы давно позади, ему попадает женщина много моложе его, которая делает первый шаг к сближению, и аناхорет становится семейным человеком, а иногда и нежным отцом. Но даже тридцатидвухлетний бандит, проведенный полжизни в заключении и бегах, оказывается девственником (потом в лагере его соблазняет влюбленная в него синеглазая уголовница).

Естественно, что такой характер, если перед нами не фанатик и не гений, лишен психологической глубины (он слишком замкнут на себе) и малоинтересен художественной литературе. Нечего о нем сказать и Демидову; ему не только безразличны, но даже и неприятны романтические коллизии, тем более что женщины вокруг него вульгарны и глупы. Случилось так, что лучше всего он постиг характер людей, одержимых одной идеей: монаха, наблюдающего за жизнью растений; изобретателя, сутками не выходящего из лаборатории; лагерника, поставившего себе целью выжить или по крайней мере не быть похороненным с биркой на ноге; даже полубезумного неграмотного охранника, усвоившего лишь правила построения заключенных в колонну. Вариант этого характера – молодой Дон-Кихот, подвижник идеи (он тоже чужд женщинам). Нелюдимый мужчина служит центром, вокруг которого строится сюжет, – тоже не новый компо-

зиционный прием, и опять я сошлюсь на Диккенса. Судьба Давида Копперфильда (после того, как он находит приют у бабушки), Николаса Никклби, Эми Дорит и прочих персонажей, чьи имена памятливы нам по названиям романов, несущественны. Все они маловыразительны, статичны и пресноваты и присутствуют для того, чтобы показать окружающую жизнь с ее чудачествами, жертвами и злодеями.

То же у Демидова: главное – жизнь, кипящая вокруг «героя», а жизнь – это сначала сталинско-ежовский, а потом сталинско-бериевский лагерь. Колыма, восемнадцатичасовой рабочий день то на пятидесятиградусном морозе, то в туче гнуса; кайло, тачка, топор (тот самый, памятный с детства: «В лесу раздавался топор дровосека»), голод, истощение и поставленная на промышленную основу перегонка многомиллионной массы заключенных на отруби. Заканчивается следствие, начинается этап. На нем не до любви: «Просека была широкой и прямой, как стрела. По обеим ее сторонам стояли могучие, сказочно красивые в своем зимнем убранстве ели, пихты и кедры. Двумя высоченными стенами они выстроились по сторонам заснеженной дороги. Но бредущим по этой дороге людям, в большинстве не привыкшим к ходьбе, да еще сильно изможденным тюрьмой, было не до красоты дороги. Уже на первом переходе те, у кого сидоры были побольше, выбросили половину своих вещей. Эти вещи подобрали арестанты победнее, чтобы тоже в конце концов бросить почти все, что нельзя было съесть или тут же напалить на себя. Окончательно подбিরали брошенное только местные крестьяне, сани которых тащились в отдалении почти на всех участках нашего пути. Так за изнемогающим стадом оленей следует стая шакалов». (29)

Обратим внимание на могучие, сказочно красивые в своем зимнем убранстве ели, пихты и кедры. Демидов никогда ничего не пишет зря. Я уже отмечал, что пейзаж у него, как в фольклоре, предельно функционален: сопка, чтобы добраться до места работы (и в конце концов умереть по дороге от сердечного приступа); солнце, чтобы ослепить; лес, чтобы дать прибежище комарам, найти в нем ягоды или повалить те самые пихты и кедры; река, чтобы ловить в ней рыбу или утонуть. Вот несколько типичных примеров:

«Сверху лил мелкий холодный дождь, шумело море, совсем близкое, но почти невидимое за сеткой дождя и тумана. И весь этот наш злобный гам тут же глохнул в сыром тумане, жалкий на фоне мощного ритмического гула моря. В довершение всех бед с сопки подул морозный ветер. Перед тем, как разогнать туман, открылся невдалеке кипящую пеной кромку прибоя и чуть не до голубизны высветлить небо – что еще более удлиняло наш рабочий день, – этот ветер принес белесую тучу, из которой в изобилии посыпалась отнюдь не питательная крупа. Этой крупы было так много, что бурая грязь под нашими ногами, смешавшись с ней, стала грязно-серой. Руки в этой ледяной каше деревятели и почти переставали слушаться. К вечеру стало тише, но ударил заморозок, от которого на почве образовалась твердая, проламывающаяся корка, а наши промокшие бушлаты заледенели». (12)

«В лужах на болотах под ногами косарей со звоном проламывался лед. Приречные кустарники быстро теряли листву и с каждым днем становились все прозрачнее. Насколько быстро здешняя природа развивается весной, настолько же быстро, через какие-нибудь пару месяцев она торопится замереть, готовясь к зимнему сну. В стороне от охотскоморского побережья переход от золотой осени к белой зиме совершается обычно за одну ночь. Здесь же климат не такой выражен континентальный, и между летом и зимой вклинивается хоть и недолгий, но очень

неприятный период осеннего ненастья. В сентябре оно становится почти сплошным, но уже в конце августа относительно хорошая погода все чаще перемежается холодной и дождливой. Со стороны совсем недалекого моря наплывают низкие, угрюмые облака, из которых почти всегда моросит нудный, какой-то безнадежный дождь». (79)

«День выдался, как и большая часть дней в апреле, морозный и яркий. Отовсюду, особенно на снегу реки, в глаза бил нестерпимо яркий свет. Он отражался от ее белой глади, граней ледяных торосов, которые выпучивали здесь высокие приливы с моря, и особенно резко от заснеженных склонов прибрежных сопкок. Без боли в глазах на эти склоны нельзя было даже взглянуть. Всем нам, без сомнения, предстояло вдобавок ко всему прочему еще и мучительный световой ожог глаз». (90)

Никаких отступлений, никаких мыслей, кроме тех, которые связаны с выживанием. Немногочисленные паузы (именно паузы, а не пустоты) строго рассчитаны. Поэтому так заметна роль пейзажа в самой длинной повести (она открывает книгу) «На перекрестках невольничьих путей». Те, кто имел счастье проходить литературу в советской школе, знают, что писатель вставляет пейзаж, чтобы подчеркнуть либо контраст между настроением героя и окружающим миром (например, герою плохо, а вокруг травка зеленеет, солнышко блестит), либо их единство (герой близок к самоубийству, и бушует гроза). Так, в общем и есть, но большие мастера умеют превращать пейзаж в контрапункт.

В повести о невольничьих путях описан один несостоявшийся роман (рассказчик отвергает все попытки к сближению со стороны неприятной ему женщины, глуповатой мещанки, жены расстрелянного маршала) и один серьезный, но не оставивший следа. Ни о каких прочных связях не может быть и речи: мужчине и женщине все равно разлучат, перегонят в другие лагеря, распродадут по одиночке. Инициатива, как всегда у Демидова, за женщиной, и герой в конце концов сдается. На каждом шагу что-то происходит в природе. Рассказчик никак не может решиться на близость с женщиной, которая давно не скрывает от него своей любви. «Вечер был совсем безветренный, комары донимали сильнее, чем обычно, и в своих накомарниках с черными сетками мы, наверное, напоминали изваяния двух довольно мрачных сторожевых фигур. Стояла задумчивая, чуть настороженная тишина. Горы на противоположном берегу реки казались выше, чем днем, и тоже таинственно молчали. Природа по ночам как бы отдыхала от своих вечных буйств. Еще немного, и мягкость и почти ласковость летнего времени сменялись отчужденностью и враждебностью ко всему живому осеннего ненастья, а затем морозами и метелями зимы. Я думал, что и в моей жизни каторжника тоже происходит сейчас нечто подобное. И мне бы поскорее воспользоваться своей удачей, беря пример с тех простых крестьян, которые уединились сейчас с такими же простыми, но мудрыми бабами где-нибудь под копами и стожками на скошенных делянках. Надо просто привлечь к себе и поцеловать стоящую рядом женщину, которая, хотя наверно и не без внутренней борьбы с самой собой, из-за меня запросилась на сенокос и в звено Однако». (68: Однако – прозвище звеньевых).

Авторский комментарий подобного рода нечаст и немногословен. Сближение все-таки происходит: «Мы долго шли молча, погруженные в невеселые думы. Печальным было прошлое, беспросветным казалось будущее, а человек склонен жить либо тем, либо другим и менее всего настоящим. Тряхнув волосами, как бы отгоняя горькие мысли, Юля сказала: «Не надо о грустном... Ведь сейчас нам хорошо, правда? Посмотри, как хорошо кру-

гом!» А кругом было действительно хорошо. Полная и высоко уже поднявшаяся луна заливала холодным светом и реку, на берегу которой мы опять стояли, и дальние горы, и пустынную сегодня отмель, на которой устраивали свое лежбище нерпы. По блестящей рябоватой поверхности воды тянулись лунные дорожки. Гранитный обрыв на том берегу, вообще-то серый, казался сейчас очень светлым, почти белым. Это впечатление усиливало еще и резкий контраст с нахлובченной на него черной шапкой зарослей стланика. Впрочем, в одном месте между обрывом и этими зарослями образовался горизонтальный каменный выступ, похожий на балкон под самой крышей какого-то гигантского замка. И как будто для того, чтобы подчеркнуть, как хороша в своей первозданности даже здешняя природа, из зарослей кустарникового кедра на этот балкон выкатились три четвероногие фигуры: одна огромная и две поменьше. Подойдя к самому краю обрыва, они, как по команде, все трое поднялись на задние лапы. Юлия, чуть не задохнувшись от неожиданности и восторга, вцепилась в мой рукав: «Смотрите, смотрите!» Но я их, конечно, увидел и сам. Медведица с пестунами. Залитые лунным светом звери как будто позировали перед нами. Потом медведица опять опустилась на четыре лапы и повернулась в сторону кустарника. Но сразу ее примеру последовал только один из медвежат. Второй это сделал, только получив от матери увесистый подзатыльник. И умильная звериная троица скрылась в зарослях». (77-78) (Как характерно это «но я их, конечно, увидел и сам»! Герой Демидова ни в чем не хочет быть обязан женщине, даже в таком пустяке.)

Незадолго до расставания: «Наше уединение, впрочем, было очень неудобным и вряд ли могло быть долгим; вот-вот снова должен был пойти дождь. Уходить далеко было незачем; я и Юлия стояли над рекой на своем излюбленном месте. Трудно было представить, что отсюда мы слышали музыкальное эхо на том берегу, видели залитый светом луны обрыв, а на нем смешные и в то же время грозные фигуры мишек. Все это было бесконечно давно. А сейчас чернее неба, укатанного низкими и плотными облаками, казалась только вода в реке. Без единого отсвета и отблеска, она скорее угадывалась, чем виделась внизу. Начиная уже вздуться от осенних дождей река не плескалась и не журчала, как в летние вечера, а как-то неприятно хлюпала и угрожающе ворчала. Впрочем, и это неприятное ворчание было слышно только в промежутках между порывами ветра, шумевшего в почти голых уже прибрежных зарослях». (81)

Конец: «... Интеллигенты ... особенно русские, ... слишком стесняются публичного выражения своих чувств. Поэтому мы с Юлией даже не поцеловались на прощание, ограничившись рукопожатием. Зато плакать она могла сейчас, не стесняясь; лица у всех были одинаково мокрыми от дождя. Безрадостный пейзаж подчеркивал тоску нашего расставания. Серая вода реки уже в полусотне метров сливалась с такой же серой стеной дождя и тумана. Сопки на том берегу были видны только в виде темных, размытых контуров. Мы однако долго стояли вдвоем на опустевшем берегу, прислушиваясь к рокоту удаляющейся лодки». (83)

В повести «Декабристка» любовь, если можно так выразиться, головная. Молодая женщина едет на Колыму, чтобы встретиться со своим бывшим университетским руководителем, попавшем под топор лысенковщины. Она боготворит его за блестящий ум и гражданское мужество, а он, в свое время замативший ее преклонение, оставался сух и недоступен. Перед нами обычная демидовская пара. По дороге в лагерь: «... во время рейса шофер и его пассажирка почти все время молчали. От мрачных мыслей Нину не могли отвлечь даже открывавшиеся

с перевалов виды. Стояло лучшее на Колыме время года. Темные склоны сопки были местами оживлены зеленой молодой хвоей лиственниц, яркость которой как бы подчеркивали темно-зеленые заросли кедр-стланика. Блестела в широких проемах вода, еще не спавшая после весеннего многоводья. В долинах рек буйно зеленели лиственные кустарники. А в светлой дымке солнечного дня виднелись бесконечные цепи дальних гор. Нина уже знала, что эти горы так красивы только при взгляде на них со стороны. Тех же, кто вынужден жить среди них, сопки, большей частью угрюмые и безлесые, угнетают». (184) Нигде в этом томе пейзаж больше не появляется.

Демидов, осознавший, как это возможно только на пороге между жизнью и смертью (например, на Колыме или в блокаде), относительность всего на свете, умел достичь поразительного эффекта одним сравнением, одной фразой. На сенокосе любовные пары стараются создать некое подобие семейного уюта: «Особенно сильную тягу к подобным имитациям проявляли в лагере женщины. Выглядела она и трогательно, и жалко одновременно, как усилия птицы свить гнездо из обрывков железной проволоки». (78) Начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части) настоятельно советует уголовникам «завязать», ибо нет будущего у советского вора: «трудящиеся» так бедны, что у них и брать нечего, а «по закону о расхищении народного достояния за кражу килограмма гвоздей со строительства или мешка картошки в колхозе паяют червонец срока... Старые воры, такие же седые, как и этот начальник, понуро молчали» (206). Старые седые воры!

Так же незабываемы его концовки: «Уже на самой границе реки и моря, на линии, тянувшейся с юга на север охотскоморского берега, в устье Товуя стоит огромная сторожевая скала. Летом она была едва ли не такой же белой от множества морских птиц, устраивавших на ней свои гнездовья, как зимой от снега. Сейчас поворот за эту скалу означал выход на настоящий морской лед и начало нашего многодневного шествия на север. Утес как будто даже не загораживал, а как бы отсекал нас от оставшегося уже далеко позади Галаганых с рекой, сверкающими причерными сопками и темными женскими фигурками, все еще продолжавшими маячить на высоких пирах. На льду моря нас встретил ничем уже здесь не сдерживаемый ветер, дувший прямо в лицо. Он и в самом деле выжимал из глаз слезы и делал ненужными выдумывать причину их появления. Никто, впрочем, до этих причин тут и не доискивался; у каждого хватало своего горя. Мало где его еще бывает больше, чем на арестантских этапах». (92)

Рассказчик (в этой книге только повесть «На перекрестках невольничьих путей» написана от первого лица) еще встретит после войны Юлиного мужа, старого профессора, осужденного за «вредительство»: его обвинили в том, что он сознательно облегал конструкцию мостов. Но после войны понадобилось колымские мосты усилить. Из лагеря и вытянули осужденного «врага народа», инвалида с обмороженными и ампутированными пальцами на руках и ногах: только он мог помочь начальникам. Странные чувства всколыхнула в душе рассказчика эта встреча (подобные случайные встречи — излюбленный сюжетный ход Демидова: есть такой эпизод и в «Оранжевом абажуре»): он ненавидит Кравцова за то, что причинил ему зло (спал с его женой), и себя за эту ненависть. Колыма не смогла выбить из настоящих интеллигентов интеллигентности (желающие могут назвать ее комплексами); они даже на сенокосе и лесоповале работают хорошо и всё еще мучаются оттого, что где-то перед кем-то провинились.

Однако Колыма не лучшее место для интроспекции. Прошлое выглядит нереально, рассчитывать не на что, а «дум высокое стремление», как замечает бывший литературовед, дальше жратвы не идет. Старик Кравцов не питал иллюзий. В тех краях будущее было ограничено одним днем, но и его еще надо было пережить: «Я никогда больше не видел бывшего профессора и ничего не слышал о нем, хотя пробыл в близком от Магадана лагере больше двух лет. Ничего не знаю и о судьбе его жены. Поговорка о тесноте мира при всей своей звонкости относится всего лишь к категории красных словечек. А ее кажущаяся убедительность происходит от того, что впечатляющие своей маловероятностью встречи людей и переkreщивания их судеб иногда действительно происходят. Другое дело – повторение этих встреч. Такое повторение лежит уже за пределами практически вероятного. Тем более невероятно оно для лагеря, в котором делается все возможное, чтобы до минимума свести общение между лагерными подразделениями и их заключенными. Мосты через колымские реки были в том же году весьма оперативно и, по-видимому, вполне надежно усилены. Во всяком случае, тяжеловесные, с многотонными вагонами-прицепами американские «даймонды» проходили по ним безо всяких приключений. Нет никаких оснований сомневаться, что расчет усиливающих конструкций был произведен опытной рукой Кравцова. Но через полгода, по словам заключенных комендантского лагеря в Магадане, его уже там не было. По всей вероятности, как старик и предполагал, его списали на очередную инвалидку в качестве сделавшего свое дело мавра. И вряд ли со своим грузом болезней, увечий и неизбывной арестантской тоски он долго после этого прожил. Впрочем, все мы, в конечном счете, мавры, которые рано или поздно уходят». (119)

Обсуждая предыдущий том, я отмечал умение Демидова замедлить действие, чтобы повысить интерес к концовке: ведь смертный исход известен, а значит, надо его оттянуть и сделать движение более важным, чем цель. Впрочем, в одном рассказе («Декабристка») герои пережили Верховного шизофреника (так называет его Демидов). Ученый биолог вышел на свободу, и обожавшая его женщина дождалась его. «Итак, редкий для повестей о 'Колыме лагерной' счастливый конец? Вряд ли, однако, на таком его названии следует особенно настаивать. В повести об одной из декабристок нашего столетия – их было не так уж мало – добродетель торжествует лишь после того, как главная жизненная линия ее героев оказывается сломанной, порок же не наказуется вовсе. Талантливый экспериментатор и мыслитель особо тонкой области науки о жизни, Комский в эту науку не вернулся, хотя и мог это сделать. Как и его жена, он стал рядовым учителем биологии. Утрата огромного куса жизни в ее самом творческом периоде невосполнима ни для кого. Но особенно тяжела такая утрата для человека научного поиска. Комский же был слишком честен и, пожалуй, слишком самолюбив, чтобы топтаться на задах своей науки, понимая всю невозможность для себя догнать ее передний край. Ведь этот край движется вперед с непрерывно нарастающей скоростью, не дожидаясь, пока снова соберутся с силами после нанесенного им удара отдельные борцы за научный прогресс. Вместо них становятся другие, более счастливые. Это правильно и справедливо». (191)

Правильно и справедливо! «Новые садятся гости за уготованный им пир», не так ли? Да только был ли пир у вырванных из жизни и по недосмотру командования уцелевших людей? Но Демидов так глубоко убедился в несправедливости мироздания (по крайней мере, того, центром которого ему довелось стать) и в торжестве не-

правды, что воспринимает их как данное, как наступление ночи, как смерть. Гибнет борец за «социалистическую законность», а Вышинский доживает свой подлый век, увенчанный титулами и орденами. Загублена блестящая карьера генетика, а гвардия «народного академика» и сам Лысенко процветают. Они даже не перекрасились, а только поменяли вывески. Правильно и справедливо...

В полной мере демидовское искусство замедления раскрылось в «Перстенёке» и в последних двух рассказах. Демидов всегда подробно излагает историю жизни своих персонажей и тем достигает двойного эффекта: гибнут люди, ставшие нам небезразличными, и отодвигается развязка. «Перстенёк» о бандите по фамилии Живов (придумана она ему, разумеется, неслучайно) и его «совратительнице». Живов – гений побегов; однако на «материк» не сбежишь, да и там делать нечего: времена Жан Вальжанов прошли (а может быть, их никогда и не было). Но Живов все-таки бежит, и эпизод, в котором он и его два товарища перепрыгивают с льдины на льдину по вскрывшейся уже реке (как Элиза с ребенком в «Хижине дяди Тома»), – образец динамического, захватывающего дух описания. И не жалко этих убийц, но есть неизбывный закон: мы всегда желаем успеха главному герою (если это шериф, то шерифу; если преступник, то преступнику). Уйдут или не уйдут? Повторяю вслед за Демидовым: на Колыме не бывает счастливых концов.

«Убей немца» – история чудовищного по своей нелепости преступления. Те, кто сегодня в ужасе отшатываются от эренбургского: «Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов», – забыли, что это было общим местом, расхожим лозунгом, закономерной формулой всеобщего одичания во время той войны. Демидов ставит полную цитату из Эренбурга эпиграфом. А до него идут строки вроде бы прощенного Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! / Так убей же его скорей! / Сколько раз увидишь его, / Столько раз его и убей!» На Колыму сослали множество русских немцев («социально-опасных элементов»), изображенных Демидовым с нескрываемой симпатией. Ему в принципе свойственно сочувственное отношение к осужденным, даже жуликам (они уже достаточно наказаны, и не ему добивать их презрением), но, конечно, не к «социально-близким» уркам, на портретах которых он, как правило, не останавливается: они сливаются в неразличимый злой фон.

Среди прочих в лагере отбывает свой бессрочный срок филолог деликатнейший Вернер Иоганнович Линде. Знаток немецкой литературы, он восхищается фразой Мефистофеля в старом дореволюционном переводе Васильева: «Дрянное Нечто, мир ничтожный, соперник вечного Ничто...» («Какое здесь сочетание смысла, формы и размера слов! Эта фраза звучит в переводе лучше, чем в оригинале!») (297). Ирония цитаты не вызывает сомнения: в этом дрянном, ничтожном Нечто и живет Линде, и по-русски получилось даже лучше (сильнее, убедительнее), чем по-немецки. За небольшую подкормку Линде носит в семью нормировщика дрова. Сын нормировщика Саша неожиданно для себя соединил две мысли: «убей немца!» – и то, что Линде – немец. В доме есть заряженное ружье. Мы читаем в оцепенении: неужели застрелит? Ребенок все-таки. Не оставившие надежду, видимо, забыли, для чего в первом акте вешают ружье, а ведь нет цитаты застрепанное (разве что «в человеке все должно быть прекрасно» и «человек – это звучит гордо»).

Столь же драматичен последний рассказ («Под коржом»). На потолке забоя обнаружена глыба (она и называется корж: то же слово, что *корж* 'лепешка' и *коржик*), которая может в любую минуту обвалиться. И там есть

заключенный немец, пытающийся уговорить главного инженера Артеева вывести людей, как того требует техника безопасности. Как вывести? А план, а норма? «Молодость и энергия, когда они сочетаются с честолюбием и карьеризмом, почти неизбежно порождают черствость и эгоизм, особенно в условиях, где доброту и сочувствие привыкли считать всего лишь проявлением душевной слабости. Не отличался молодой горный инженер, завербовавшийся на работу в Дальстрой сразу по окончании института, и особым терпением. Тут его порывистая напористость быстро превратилась в бездушную самовластность крепостника, для которого подневольная 'рабсила' – всего лишь необходимый элемент рудничного хозяйства. Для исследования путей образования рабовладельческой психологии нет особой необходимости совершать экскурсии в античную древность. Достаточно проследить изменение психологии комсомольца, а нынче члена ВКП(б) по мере роста его карьеры на предприятии, где каторжный труд является основой всего. Впрочем, люди существенно иного склада, чем Артеев, и не могли бы работать на подобных предприятиях сколько-нибудь долго, а тем более успешно». (329-30)

Корж обрушивается, и люди гибнут, но трагедия оказалась оптимистической. Катастрофа обнаружила, что в обнажившейся породе велико содержание олова, ради которого и велась добыча. Составили акт: во всем виноваты заключенные (им говорили, что надо выйти, а они остались в забое).

Демидов стал большим писателем не «вдруг». Это он, утративший огромный кусок жизни в ее самом творческом периоде и полностью осознавший невосполнимость потери, а не только Линде прочел и запомнил великие строчки из «Фауста». И он, а никто другой проследил путь Вышинского и Лысенко и разобрался в лингвистической дискуссии (сидит в лагере и бывший маррист); перечитал и Толстого, и поэтов (ссылки на мировую классику ненавязчивы, но постоянны) и умом выдающегося инженера понял принципы построения литературного сюжета. Он овладел стилем хроникера, бытописателя и беллетриста, справившись и с эпосом, и с «авантюрной повестью». Его сдержанный, деловитый тон в описании невыразимого ужаса замечательно соответствует ледяным торосам севера. Только для нежных чувств не осталось места: застыли они в вечной мерзлоте да еще за колючей проволокой, и кажется, прочитав его трехтомник, что вся Россия – это сплошная, беспросветная Колыма.

БЕЛЛА ЕЗЕРСКАЯ

ЗНАКОМЫЙ-НЕЗНАКОМЫЙ ДОВЛАТОВ

(Сергей Довлатов. Эпистолярный роман
с Игорем Ефимовым).

Игорь Ефимов. Эпистолярный роман
с Сергеем Довлатовым. Захаров. Москва. 2001

Эта книга вызвала в России скандал. На автора-публикатора обрушился шквал негодующих откликов. Смерть Довлатова подняла его на вершину популярности в стране, где, как известно, «любить умеют только мертвых». Четырнадцать лет Довлатов, будучи Довлатовым, упорно, но вполне безуспешно, пробивал «китайскую стену» непризнания у себя на родине. За декаду, прошедшую после его кончины в 1990 году, он стал культовой фигурой, кумиром, идолом поколения. При жизни он тщательно культивировал свой имидж, предпочитая лучше остаться в памяти потомков таким неудачником-очаровашкой, расхлябанным, пьющим, непутевым, с пе-

чатую отверженности на челе, нежели мрачным, мнительным, озлобленным мизантропом, трагической жертвой поставленных перед собой невыполнимых задач. Вспомним его присказку: «Обидеть Довлатова легко, понять его трудно». Игорь Ефимов делает попытку понять Довлатова, что привело к многочисленным обидам, прежде всего членов семьи. Забегая наперед скажу, что автор данной статьи удостоился оскорбительного «отлупа» по телефону со стороны вдовы Довлатова Елены.

Попытки «дезаурировать» Довлатова предпринимались и раньше: в мемуарах Е. Рубина, эссе М. Поповского «К вопросу о нравственности», книге А.Гениса «Довлатов и окрестности», статьях П.Вайля и А.Гениса (сборник «Малоизвестный Довлатов»), воспоминаниях двух довлатовских жен. Но ни одна публикация не вызвала такой бурной реакции, как ефимовская. Может быть потому, что книга Ефимова обладает одним неоспоримым преимуществом – абсолютной документальностью: в ней нет ничего, кроме писем, даже авторских комментариев, которые могли бы набросить на материал тень субъективности.

Мы, современники Довлатова, жившие последние десять лет с ним рядом, относились к его творчеству гораздо спокойнее. И эта публикация взволновала нас несколько иначе. Многое мы знали, кое о чем догадывались. Мы не склонны идентифицировать литературного героя по имени Сергей Довлатов с писателем Сергеем Довлатовым. Но и не можем отрицать того факта, что Довлатов занимал довольно большое место в введенном ему судьбой времени и пространстве, и что многие, из знавших его близко, находились под обаянием не столько его книг, сколько его личности.

Я не принадлежала к окружению Довлатова. Мы вращались в одной литературной среде, но пути наши, практически, не пересекались. Теперь я понимаю: к счастью. Потому что попасть в число друзей Довлатова было так же опасно, как в число его врагов. Ибо «он погружался в хитросплетения взаимоотношений своих знакомых с вождельством почти патологическим – метастазы тут бывали жутковатые: погубленные репутации, опороченные имена, разрушенные союзы. Не было человека – без преувеличения, ни одного, даже среди самых родных, любимых и близких, – обойденных хищным вниманием Довлатова». (Петр Вайль. «Без Довлатова». Сб.). Малоизвестный Довлатов». Звезда. Санкт-Петербург 1995).

Марк Поповский, наиболее часто упоминаемый в отрицательном смысле прототип довлатовских героев (упоминаемых в ином смысле у Довлатова просто не было) квалифицирует в уже упоминавшемся эссе («Побережье» № 4) художественный метод Довлатова, как **литературный пасквиль** – жанр, увы, не новый в отечественной литературе. Предваряя своих критиков, Поповский, пишет: «Предвижу негодующие возгласы: но ведь это художественная литература! Писатель вправе обращаться со своими героями так, как считает нужным. Никто не может давать ему указаний, когда речь идет о литературных героях».

Воистину. Самый раз трезво разобраться в реальной художественной ценности довлатовской прозы. Понять, действительно ли образы, созданные им, являются литературными, то есть обобщенными, типизированными, художественно переработанными; удаленными воображением художника на расстояние, равное удаленности Онегина от Пушкина и Печорина от Лермонтова. Или же они – слепок с натуры, усиленный беспощадным сарказмом автора до карикатуры. И, если верно, что лирический герой выражает эстетический идеал автора, то эстетический идеал Довлатова выглядит в этом свете очень

непрезентабельно. Вот как пишет об этом И. Ефимов (письмо от 13 января 1989):

«Д. вообще раздражают в первую очередь, люди, которые в ладах с самим собой, с жизнью, друг с другом. Если вспомнить все дружбы Д., то легко можно увидеть, что это всегда люди (среди них есть и совершенно замечательные, но чаще - слабые, неудачливые), которым жизнь тяжела. Только с ними ему интересно, только с ними ему хорошо...Людей же, довольных своей жизнью, Д. не переносит». Это письмо, обращенное лично к Довлатову, носит характер эссе, поэтому отправитель обращается к адресату в третьем лице.

Разница в восприятии довлатовской прозы тут и там принципиальна. Потому что тут толпами бродят обиженные Довлатовым прототипы, а там редактор журнала может, ничтоже сумняшеся, поместить в одном номере «Иностранку», где Поповский издевательски выведен под именем Зарецкого, и рядом – роман самого Поповского. И в самом деле: какое нам дело до всех до вас...

Возможно, отсутствие дистанции мешало нам воспринимать Довлатова, как явление исключительное даже когда он стал публиковаться в самых престижных американских журналах и издательствах. Он по-прежнему был одним из нас. Он был самым талантливым, самым красивым, самым ярким и самым остроумным среди нас, но он был одним из нас. Он так же тяжело переносил эмиграцию, как и мы, так же боролся за физическое выживание и за место под американским солнцем. Его рассказы и повести в газетах так же пачкали руки типографской краской, как статьи простых смертных, что автоматически вызывало к ним гораздо меньший пиетет, чем когда они появились в солидном трехтомнике. Был ли Довлатов большим писателем? Думаю, что нет. Он был талантливым писателем. Он был безусловно, блестящим стилистом, и поклонялся единому божеству СЛОВУ. Он был мастером малой формы, и роман, которого почему-то от него ожидали, был ему априорно противопоказан. Он был мелкомасштабен во всем, о чем писал. В том числе, об эмиграции. Есть еще одна крамольная мысль о характере успеха Довлатова на родине: в кривое зеркало эмиграции с удовольствием смотрятся те, кто по нем или иными причинами ее осуждает. - Эмиграция это банка с пауками, – подумает обыватель, начитавшись Довлатова, и мы правильно сделали, что не уехали. Да что там обыватель – московский журналист Дмитрий Быков слезно сочувствует Довлатову, который уехал *«в мир русской Америки, в мир «Нового русского слова», дантистов Нудельманов и певцов типа Токарева. В мир ресторана «Русский самовар». Это был мир предельно пошлый, но ему надо было угождать и от него зависеть; мир замкнутый и душный – но в него надо было вписываться»*. Так лестно видится «доброжелателям-соотечественникам» наша эмиграция. Хотя, справедливости ради надо сказать, что в ресторане «Русский самовар» бывают и бродвейские актеры и «новые русские». Это дорогой ресторан, и не думаю, чтобы Довлатову он был по карману. А что касается Токарева, то стадионы он собирал не в Америке, где пел в ресторане «Одесса», не претендуя на всемирные лавры, а в России. Именно российскому обывателю пришелся впору этот ресторанный певец, которого Быков возводит в ранг синонима. Нечто похожее произошло с Довлатовым. Между тем Довлатов четко знал, что он хочет: в отличие от его героя ему была свойственна целеустремленность и напористость. Он с самого начала взял курс на «американскую Америку» (по терминологии Быкова. – Б.Е.) и весьма в этом преуспел. Он сходу начал разрабатывать эмигрантскую целину. Он спешил. У него не было времени осмыслить эту действительность. Он начал сходу, без разминки. Он брал то, что

лежало под ногами. Ему не нужна была для разгона взлетная полоса. Ему недосуг было ее соорудить. Он, как вертолет, поднимался с любого пятачка, но летать на большие дистанции, как самолет, он не мог. По определению Ефимова, он был Антошей Чехонте, так и не ставший Антоном Чеховым. «Эпистолярный роман» Ефимова-Довлатова, иронией судьбы, стал самым значительным произведением Довлатова, тем самым долгожданным романом, который так и не вышел из-под его пера при жизни. Именно романом, с его родовыми признаками: углубленным психологизмом, шекспировским кипением страстей и широкой панорамой окружающей жизни, а не просто собранием писем двух корреспондентов, годным для заключительных томов полного собрания сочинений. Когда я спросила Ефимова, издал ли бы он переписку, не будь этих последних, заключительных, трагических писем, он сказал, что по всей вероятности, нет.

Говорят, что существует завешание, где Довлатов запретил печатать свои письма и радиоскрипты. Если это действительно так, то жаль. Потому что однажды Довлатов передал через свою дочку Катю, ученицу той же школы, где я работала, распечатку радиорецензии на мою книгу «Мастера» с пометкой *«В архив Белле Езерской»*. Мне эта рецензия льстила до тех пор, пока я не узнала, что отрицательные рецензии на «Свободе» вообще не практиковались и что Довлатов относился к кормившей его работе на радио весьма пренебрежительно. Я охотно пожертвую этой рецензией уважая волю покойного. У Ефимова ситуация посложнее. Сейчас, когда каждый автограф Довлатова, даже долговая расписка (я это узнала от знакомого антиквара) ценится на рынке антиквариата дороже всех других автографов, утаить эту уникальную переписку значит, по словам издателя Игоря Захарова, совершить **«большое преступление перед читателями»**. Ефимов предпочел совершить преступление перед законом об авторском праве, защищающем письма умершего от публикации, поскольку это право, якобы, принадлежит наследникам. (Такого закона в США, а тем более в России – нет. Есть прецеденты 1861 и 1912 годов.) Тем более, что письма Довлатова к самым разным адресатам уже публиковались. В том же сборнике «Малоизвестный Довлатов», да и в других изданиях. Марк Поповский в своем эссе приводит покаянное письмо Довлатова даже в фотокопии. Причина, того, что переписка два года блуждала по редакциям видимо, лежит не столько в сфере юридической, сколько в морально-этической. Публикации противилась вдова Довлатова Елена, и понятно почему: Довлатов, чувствуя себя в переписке совершенно свободно и раскованно, не скупился на уничижительные и оскорбительные характеристики своих собратьев по писательскому цеху. Одних смущала *«обидная неправда про живых людей, порой – и обидная правда, а иногда – прямая клевета, на которую Довлатов в художественном азарте был вполне способен»*; других нежелание испортить отношения со вдовой Довлатова.

Довлатова и Ефимова связывала двадцатилетняя дружба, первое десятилетие которой пришлось на ленинградский период, второе – на американский. Ефимов приехал в США раньше Довлатова, работал в престижном издательстве Карла Проффера в Энн Арборе, и был знаком со всеми хитросплетениями книгоиздательского дела в США и способствовал вхождению Довлатова в издательство «Ардис». Поэтому в начале переписки новый американец Довлатов был ведомым, а Ефимов – умудренным и опытным советником. Когда Ефимов открыл собственное издательство «Эрмитаж», он начал бурно издавать Довлатова. Всего им было издано четыре книги. По-

этому их переписка носила не только дружественный, но и вполне деловой характер. Между бухгалтерскими расчетами, отчетами о продаже книг, просьбами о присылке гранок, шрифтов, обсуждениями цвета обложек, шло лапидарное, емкое и беспощадное описание тогдашнего литературного эмигрантского Нью-Йорка (нелитературный для Довлатова просто не существовал). Вот эта-то часть представляет интерес не только для меня. Так представляют интерес вскрытые через много лет архивы. Любопытно взглянуть на наш литературный муравейник десятилетие спустя, да еще глазами такого сурового критика, как Довлатов. Картина, доложу я вам, нелицеприятная. *«Целяносто процентов моих знакомых в Нью-Йорке, – писал Довлатов, – воры и подлецы. На этом фоне циники, или, скажем, бездушные эгоисты, кажутся людьми вполне достойными».*

Постепенно, однако, разрыв между Довлатовым и «Нашими» (так называлась его повесть о семье, я же употребляю это слово в обобщенном смысле) увеличилась. С подачи Бродского, авторитет которого был непререкаем, Довлатов стал публиковаться в престижнейшем «Нью-Йоркере», куда безуспешно мечтали пробиться многие американские классики, как, например, Курт Воннегут. О чем он не без иронии заметил однажды Довлатову. Его издавали «Кнопф» и «Рэндом Хаус»; о нем писала «Нью-Йорк Таймс». Портрет Довлатова красовался на страницах этой самой престижной в мире газеты. У него подрастал очаровательный сыночек Коля. Материальные дела шли в гору. Довлатовы купили под Нью-Йорком дачу и Сергей почувствовал себя, наконец, домовладельцем. Он возвышался над эмигрантской литературной суетой, как над Волгой утес. Но, странное дело: чем лучше шли дела, тем он становился мрачней.

«Пьянство мое прошло, – пишет он Ефимову в одном из поздних писем, – но приступы депрессии учащаются, именно депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и отвращения к жизни. Лечиться я не буду и в психиатрию не верю. Просто я всю жизнь чего-то ждал: аттестата зрелости, потери девственности, женитьбы, ребенка, первой книжки, минимальных денег, а сейчас все произошло, ждать больше нечего, источников радости нет».

Жутковатое признание. Оно возводит Довлатова из ранга доморощенных Чайлд-Гарольдов в трагические персонажи Достоевского масштаба. Если бы Довлатов вовремя не умер, он был бы вполне способен на самоубийство. Так мне кажется. Не исчерпав своего творческого потенциала, он исчерпал себя в духовном и физическом смысле. Такого Довлатова читатели не знали. Такого Довлатова они себе не представляли. Его открыл и явил им Игорь Ефимов, заплативший за эту возможность двумя десятилетиями дружбы, горечью и болью разрыва, бранью и угрозами довлатовских идолопоклонников.

Через год Довлатов умер. Финал эпистолярного романа дописала жизнь.

11 февраля – 11 апреля 2001

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ МЕССА, или штрихи к портрету Николая Качанова

Лет 20 назад Николай Чертков, американский потомок старинного дворянского рода, пригласил меня на концерт русского камерного хора, президентом которого он в то время был. Я приняла приглашение из любопытства: что за хор такой?

Рожденный в Париже, Чертков никогда раньше не был в России до того несчастливого дня, когда его посетила

идея отреставрировать и возвратить городу Москве разрушающееся имение своих предков. Он основал фонд, привлек западных инвесторов, поднял на ноги прессу, телевидение, добрался до Березовского, выступил с думской трибуны. И – исчез. Еще один сюжет из серии «бодался теленок с дубом». Но это уже другая история...

Тот давний концерт был в церкви Сан Джозеф, что в Гринвич Виллидже. Хор пел песнопения. Красавец Чертков отлично вписывался в интерьер. За пультом я ожидала увидеть почтенного батюшку в церковном облачении, а увидела энергичного молодого человека, который буквально растворялся в каждом звуке. Самого пульта, впрочем, не было. Дирижер работал по памяти. По его лицу можно было воссоздать партитуру, если бы существовал перевод с мимического языка на нотный стан. Какая это все-таки адски трудная работа – дирижер! Так состоялось мое знакомство с Николаем Качановым.

Прошло 20 лет. Сейчас Николай Качанов седой, но его глаза сияют тем же неукротимым голубым огнем. И улыбка у него такая же детская, как 20 лет назад.

Я думала, что хористы русского хора обязательно должны быть русскоязычными, но две трети из них оказались американцами, и только одна – нашими соотечественниками. Отношения Качанова с эмигрантами первой волны не всегда были гладкими. Никто из них не признал советскую власть, поэтому им трудно было принять репертуар, который Качанов им предлагал. – Это была цензура наоборот, – вспоминает Качанов. Ограниченность репертуара лишала музыканта перспектив. Качанов мечтал исполнять разную музыку: церковную, современную, классическую, романтическую, русскую, итальянскую, французскую. Он понял, что никогда не сумеет дотянуть хор до того уровня, который бы его устроил – ни в смысле репертуара, ни в смысле качества исполнения. И он решил покинуть Русское хоровое общество и основать свой хор. Это было рискованное решение, но выяснилось, что часть хора разделяла его идею и тоже покинула Хоровое общество. Эти люди и помогли ему создать новый хор, который получил название «Русский камерный хор Нью-Йорка». Одним из энтузиастов создания нового хора был Николай Чертков, а одним из первых президентов была княгиня Ирина Павловна Оболенская.

Бесценную помощь оказала ему его жена Тамара, профессиональная пианистка, у которой неожиданно открылся организаторский талант. Николай признается, что хор мог бы не состояться, если бы Тамара не взяла на себя всю организационную работу. – Она не администратор, – говорит Николай, – она наш ангел-хранитель.

Качанов отбирает хористов не по конфессиям, а по таланту.

У него в хоре есть православные, католики, евреи, баптисты, атеисты, буддисты.

Для меня была новость, что каждый третий американец поет в хоре. Хоров этих множество, у каждого своя аудитория, свои критики, свои поклонники. У Качанова – тоже. Хористы считаются полупрофессионалами, хотя почти все они имеют высшее музыкальное образование: все они днем где-то работают. Конкурсы проводятся перед началом каждого сезона, конкуренция большая, требования жесткие. Соблюдать расписание спевков и репетиций сложно, но возможно. Американцы – народ дисциплинированный.

Русский камерный хор Нью-Йорка начался в 1984 году. За 27 лет он вырос в вокальный ансамбль известный далеко за пределами США. Концерты хора значатся в программах Карнеги холла. Хор исполнял рахманиновскую Всенощную в кафедрале св. Джона – самого большого епископального собора в мире; участвовал в про-

грамме «Звезды Кировского балета», которую спонсировала русская миссия при ООН; работал с Валерием Гергиевым, Юрием Темиргановым, Владимиром Ашкенази и Владимиром Спиваковым. Можно еще долго перечислять успехи и достижения Николая и Тамары Качановых, которые уже на третий (!) год пребывания в новой незнакомой стране сумели осуществить свою Американскую Мечту.

Стратегию художественного руководства Качанов определил так: «Я буду учить американцев русской культуре через хоровое пение». Я бы сказала *постигать* русскую – и не только – культуру *изнутри* через хоровое пение. Ведь песня – душа народа, надо уметь ее раскрыть. Хористы осознанно заучивают язык оригинала (старославянский, русский, латинский, и т.д.), знакомятся с эпохой, культурой, историей страны, где была написана музыка. Все предметы читает Качанов. Свой первый урок он дал в 15 лет в средней школе во время педагогической практики, потом читал лекции в Новосибирской консерватории. Прирожденный педагог, он пользовался любовью и уважением студентов. Он был своим человеком в Академгородке, этом расщепленном инакомыслии, участвовал в неофициальных выставках новых художников, посещал вечеринки, где обсуждались волнующие русскую интеллигенцию проблемы. Вел себя независимо: мог положить Библию на рояль, вывести на сцену хор в джинсах и цветастых рубашках. Со студентами был демократичен, никак не подчеркивал своего превосходства, мог пригласить их домой на чашку чая. Такие отношения раздражали начальство, и кончилось это тем, что Качанову пригрозили запретить работать с молодежью. Его многолетняя преподавательская карьера завершилась эмиграцией в Америку в 1981 году.

– Меня всегда раздражала узость (не столько пространственная, сколько нравственная – Б.Е.). Мне всегда хотелось простора, – признается Николай. А какой простор под надзором КГБ – легко можно себе представить. Вот и вырвался на простор – в Нью-Йорк. Здесь он принялся наверстывать упущенное время. Сначала надо было создать хор – универсальный инструмент для воплощения его замыслов. И он создал его. Композитор Юрий Юкечев дал такую оценку хору Качанова: «Прекрасный хор, прекрасный дирижер, которому можно доверить любую музыку». Музыкальный критик Дэвид Прейгер Бренер отметил, что никогда не был разочарован, какую бы музыку – хоральную, светскую или церковную – хор ни исполнял. Репертуар хора неисчерпаем – от древних литургических песнопений до русского барокко; от романтиков XIX века и народной музыки до сочинений современных композиторов.

В 2011 году Качанов задумал познакомить своих слушателей с музыкой бывших прибалтийских республик и Тувы. К каждому концерту выпускается программа с переводом на английский язык. В том числе и стихотворным. Так заведено.

– Почему вы не разрешаете вашим хористам петь на английском, – спросила я, – все равно, ни они, ни слушатели не понимают языка. Маловероятно, чтоб в зале оказались латыши или тувинцы.

– Все должно быть аутентично, – объяснил Качанов. – Они не просто понимают смысл каждого слова, но следуют артикуляции и произношению. С ними занимался педагог, им не будет стыдно выступать перед оригинальной аудиторией.

А почему бы, в самом деле, не выступить им перед оригинальной аудиторией? Не махнуть на гастроль в Прибалтику? Не спеть в Домском соборе?

Здесь я вторгаюсь в деликатную финансовую сферу, которая многое объясняет. Естественно, хор не окупает-

ся. Он существует на гранты различных городских и общественных организаций и частных лиц. Надо платить за аренду залов, рекламу, печатание билетов и буклетов, аудиозапись. Приглашенным профессионалам и композиторам тоже надо платить. Полставки получает помощник администратора. Тамара, как администратор, работает бесплатно, и еще по уставу вносит в кассу ежегодный членский взнос 1000 долларов. Николай получает зарплату. По какой шкале оплачивается работа художественного руководителя с перерывами на сон и обед – не знаю, здесь не принято об этом расспрашивать. Качанов кратко определил свой материальный статус: «Не разбогател». Концы с концами сводят – и на том спасибо. А зарубежные гастрольные – из области туманного будущего.

После концертов Качанов, как бы ни устал, общается со слушателями и охотно рассказывает о любимой работе. Моя знакомая пропустила балтийский цикл и спросила, когда он планирует его повторить. Качанов ответил: через 700 лет! В этой шутке, однако, есть доля правды.

Он не любит возвращаться к уже отыгранным работам. Прогнал два раза на премьеру и – все. Прошлого его не привлекает. Жизнь коротка, а впереди еще столько невыгранной музыки, хотя кажется, он переиграл весь хоровой репертуар. Его влечет новизна. Он любит фантазировать, объединять фрагменты разных работ, любит находить и открывать неизвестные или забытые имена. Самая любимая музыка для него это та, которую он делает сейчас.

Что же получается? Нигде и никогда? Огромная работа – на программу в среднем уходит два месяца – делается всего ради двух концертов? Не слишком ли большая нагрузка на руководителя, на хор? Не слишком ли большая роскошь? А как быть с теми, кто, как моя знакомая, пропустил концерт, но хочет его прослушать?

Что Качанов покажет в Новом году? Казахскую, киргизскую, узбекскую музыку? Или отдохнет от своих географических изысканий на любимой русской классике?

Таков Николай Качанов. Культурегер русской культуры за рубежом. Ее рыцарь, ее фанатик.

Но я обещала рассказать о Мессе (см. выше).

«Нью-Йоркскую Мессу» хор Качанова исполнял 18 ноября в церкви Риверсайд. История создания этой Мессы во многом мистична. Вот что рассказал ее автор, композитор Ефрем Подгайц:

– Летом 2001 года Николай Качанов посвятил меня в свой новый проект: ему нужны были шесть миниатюр посвященных трем городам: Москве, Нью-Йорку и Иерусалиму. Каждую часть по замыслу должен был написать композитор, живущий в этом городе. В августе я уехал отдыхать в Сортавалу, где намеревался спокойно поработать. Но неожиданно для себя стал сочинять совсем другую музыку – Мессу. Но не светлую, литургическую, а трагическую. Я писал ее на канонический шестичастный латинский текст, но чувствовал, что музыка ему не подчиняется. Я вернулся в Москву и закончил работу в канун 11 сентября. Когда я узнал о теракте, я был в шоке. Я понял, почему написал Мессу. Говорят, что художники, творцы обладают даром предчувствия. Я имел возможность в этом убедиться!

После Домского собора, у меня не было более сильного музыкального впечатления. Мощный сдвоенный хор, усиленный органом, возносил свою молитву к Богу «Господи помилуй». С каждой минутой напряжение все нарастало, пока не завершилось «Агнцем Божиим». Было торжественно и жутко. Величественный неф собора и прекрасная акустика усиливали это впечатление.

Ефрем Подгайц создал выдающееся произведение современного хорового репертуара, но было трудно найти ему исполнителя. Московские хоровые дирижеры Борис

Тевлин и Виктор Попов, отказались. Попросил Качанова по телефону порекомендовать ему дирижера и хор для премьеры в Нью-Йорке. К его немалому удивлению, Качанов сам заинтересовался Мессой, и взялся разучить ее со своим хором... за месяц. Композитор колебался: уж очень трудной была эта музыка даже для профессионального хора, да и срок был нереальный. Но через месяц, 10-го и 11-го мая 2002 года в двух главных нью-йоркских соборах с огромным успехом состоялась премьера Нью-Йоркской Мессы. Все восприняли ее как рекевием, дань памяти жертвам терактов. Никто не верил, что композитор написал Мессу до одиннадцатого сентября – настолько явственно музыка отражала события. Многие даже услышали грохот самолета, протаранившего башню.

Исполнение мессы в церкви Риверсайд 18 ноября было приурочено к десятой годовщине трагедии. Ей была отведена вся вторая часть. В первой части были исполнены церковные произведения Чайковского, Рахманинова, Сэмюэля Барбера и наших современников Юрия Юкечева, Михаила Цайгера и Джона Тавернера.

Вчера позвонил Чертков. Я догадывалась, почему он исчез, и мои догадки подтвердились. Он отдал возрождению усадьбы Чертковых, как культурного центра Москвы, 10 лет. Каждое лето ездил в Россию. Я следила за героической борьбой этого романтика с пост – советской бюрократической системой и много писала об этом. Но не верила, что у него что-то получится. Ему не пробить эту стену. Так и случилось: ему и его спонсорам начали угрожать, и он понял, что надо уходить. Не хотел повторить судьбу Пола Хлебникова. А ведь благое дело, которое он затеял, было бы с благодарностью принято в любой цивилизованной стране. В любой – но не в России.

27 ноября 2011-10 декабря

ЗАПИСКИ О РОССИИ

Заметки на полях книги Маркиза де Кюстина

На досуге, которого у меня теперь много, я перечитываю старые книги. Недавно попала мне книжка Маркиза де Кюстина «Записки о России» – сокращенный и адаптированный вариант 4-х томного издания, вышедшего в Париже в 1843 году. Эта книга произвела у современников фурор. Она сразу была переведена на немецкий и английский языки, и шесть раз официально переиздана. В России «Записки о России» были немедленно запрещены, но просочились через границы во французских изданиях. Они не оставили равнодушными никого: одни негодовали, другие восхищались. Герцен заявил, что это лучшая вещь, когда-либо написанная иностранцем о России. Книгу Кюстина, изданную в Нью-Йорке в 1982 году в издательстве «Серебряный век», предварил вступительной статьей Джон Фостер Кеннан, известный американский политолог, дипломат и историк.

Парадоксальное заявление, содержащееся в ней, заставило меня вооружиться карандашом. Кеннан пишет:

«Даже если признать, что «Россия в 1839 году» была не очень хорошей книгой о России 1839 года, мы сталкиваемся с поразительным фактом, что она оказалась великоленной (возможно даже лучшей) книгой о России Сталина и неплохой книгой о России Брежнева. Как будто книга была написана вчера».

Кюстин, действительно, обладал не просто острым умом и блестящим пером, но и даром предвидения. И сегодня можно разглядеть в его книге Россию Андропова и Черненко, Россию Ельцина, Россию Путина и Медведева. Сходство фамильное, оно не исчезает со временем, как

не исчезают родовые пятна на теле человека. Та же абсолютная власть, сосредоточенная в руках одного человека; тот же контроль над действиями и над мыслями; сыск, подавление свободы, низкопоклонство, интриги и ложь во всем.

Свои впечатления Кюстин подытожил так:

Россия была (и остается) полуфеодальной страной, претендующей на мировое господство.

Далее я буду выделять цитаты Кюстина жирным шрифтом без кавычек

Господство России, даже если оно ограничивается дипломатическими домогательствами, не переходя в завоевание, я признал бы самым страшным бедствием для мира... По существу оно явилось бы представителем порядка, но в силу характера своих действий вводило бы тиранию под предлогом прекращения анархии.

Ах, умница Кюстин! Все увидел: Латвию, Литву, Эстонию, Бесарабию, Польшу, Финляндию, Курилы, «Пражскую весну».

Каждая нация, доросшая до государственного быта, имеет то правление, которое только она и может иметь.

По-русски это звучит так: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».

Это значит, что русский народ заслужил: маньяка-убийцу Сталина, хама и самодура Хрущева, маразматика Брежнева, пьяницу Ельцина, гебиста Путина и марионетку Медведева. Если Путин снова станет президентом – а в этом нет сомнения – это будет означать конец демократии. Предстоящие в 2012 году выборы проплачены, результат заранее известен, единственной оппозиционной газете «Голос» заткнут рот, Дума – ручная, Станислав Говорухин – совесть нации – со слезой в голосе просит Владим Владимыча снова порулить, оппозиция вытолкнута на улицу и лишена трибуны, Ходорковский прочно сидит в тюрьме. Все нормально. Можно играть похоронный марш Шопена.

Отсутствие свободы отражается даже на лице государя. У него много масок.

Поначалу Кюстин поддался, было обаянию государя, но вскоре понял, что Николай специально для него надел свою самую красивую маску, но сущность у него волчья. Не последнюю роль в этом прозрении сыграли письма княгини Трубецкой. Эти письма потрясли Кюстина. Княгиня просила царя разрешения поселиться вблизи какого-нибудь сибирского города, так как ее муж уже отбыл срок каторги. Но царь загнал семью декабриста в глухой поселок, не обозначенный даже на военной карте. По этому поводу Кюстин пишет:

Как бы ни был преступен князь Трубецкой, помилование, в котором император будет отказывать ему до конца, ибо считает своим долгом по отношению к своему народу и самому себе неумолимую строгость, давно уже даровано ему царем царей... Милосердие, помимо того, что оно противно его природе, он считает слабостью, которою царь унизил бы свое царское достоинство.

Вероятно, президент Медведев тоже так считает, хотя за Ходорковского просили не родственники, а главы правительств и государств, виднейшие деятели мировой науки и культуры. Ходорковский уже отсидел первый срок, и это давало мировой общественности надежду на помилование. Но вместо этого он получил второй срок. Хотя, в отличие от Трубецкого, он не является государственным преступником.

Не понимаю, как разглядел Буш в рысых глазах Путина душу? Откуда душа у кадрового гебиста?

Русские дворяне это те же рабы. Цепляясь за свои сословные привилегии, они рабелепствуют перед властью.

Благодаря их пассивности в России создается положение, которое может завершиться взрывом.

Замените в этом абзаце слово *дворяне* словом *чиновники* и все встанет на свои места. Огромная армия продажных коррумпированных чиновников при Путине-Медведеве разрослась многократно, явив новое образование – *партократию*. Этот новый авторитарный строй построен на имитации, цинизме, лжи и безответственности. Нынешние правители России – его порождение и его сущность.

Россия двулика, одна ее сторона для внутреннего пользования, другая – которую желательно показать Европе.

Имидж на экспорт всегда заботил российскую власть. Она очень любезна, особенно со знатными иностранцами, и старается показать все, что считает нужным, не показывая того, что по ее мнению иностранцам видеть не обязательно. Кюстину не препятствовали в поездках, но вежливо навязывали маршруты, которые не входили в его планы. Это раздражало. Во всех поездках его сопровождал фельдъегерь – соглядатый.

«Вежливость становится средством надзора» – такое тягостное впечатление он вынес после двух месяцев путешествия по российским городам и весям.

Теперь представьте, на минутку что Кюстин, впечатленный письмами княгини Трубецкой, попросил государя разрешить ему свидание с ее мужем, дабы сделать некоторые записи.

Представили?

Немецкий режиссер Кирилл Туши, неожиданно для себя решивший снять документальный фильм о Ходорковском, оказался именно в похожем положении. Эта безумная идея пришла ему в голову на фестивале в Ханты-Мансийске, куда он повез свой последний фильм. Он был потрясен роскошью и богатством этого города-на-нефти. Узнав, что это город компании Юкос, а хозяин сидит в тюрьме, загорелся и решил снять о нем фильм, потому что узрел детективный сюжет. Какой режиссер устоит против этого? Он действовал, как его учили: написал сценарий, план работ, продумал все до деталей, тщательно подготовил поездку с большой командой. Но в России все пошло наперекосяк. Его телефоны прослушивались, у него дважды воровали материалы для фильма, ему всячески пакостили.

«Это профессионалы дезинформации, – признается Туши. Россия учит быть параноиком. Я на своей шкуре убедился, что в России назначать встречи совершенно бесполезно. Из десяти встреч десять были отменены. Я очень боялся стать объектом манипуляций, Кремль в этом очень силен. Как только всплывает новая истина, появляется сразу десять новых теорий, замазывающих ее».

Туши даже не позволяли снимать фасад тюрьмы, где отбывает свои сроки Ходорковский, хотя у него было разрешение властей. Не говоря уже о том, чтобы снять камеру. Он делал свою картину 4 года и все-таки ее закончил, несмотря на все препятствия. Хорошая получилась картина. Талантливая и честная. Туши мечтал широко показать ее в России. Открыть, так сказать, русским людям глаза на то, что происходит у них на родине. Двадцать московских театров сделали заявку на этот фильм, а потом как по команде 19 отказались. Надо думать, не сами по себе. Устоял один кинотеатр «Эльдар». Директор видимо отчаянный человек. Отказы пришли из Петербурга, Новосибирска и других городов. Не нужен им этот фильм, они и так знают что Ходорковский – вор, а «вор должен сидеть в тюрьме» – это президент Путин сказал. Ему виднее. Вернемся, однако, к Кюстину.

Россия – нация, состоящая из немых, – заявил Кюстин после катастрофы, когда в заливе потонуло несколько лодок с публикой, отправлявшейся на праздник в Петергоф. Праздник продолжался, как ни в чем не бывало, в газетах не было ни строчки. А народ молчал. *«Молчание было более ужасное, чем само несчастье!»* – восклицает потрясенный Кюстин.

Атомная подводная лодка новейшей конструкции «Курск» пошла на дно после таинственного взрыва. Власть тянула с оказанием помощи и отказалась от иностранных услуг. Погибло 118 человек – все моряки находившиеся на борту. Уголовное дело закрыто ввиду отсутствия состава преступлений. «Что случилось с «Курском», – спрашивали президента журналисты. – «Он утонул», – исчерпывающе ответил глава государства.

В России тайна господствует всюду: тайна административная, политическая, социальная, скрытность нужная и ненужная.

На дипломатический корпус и, вообще, на людей Запада в России всегда смотрели, как на зложелательных и завистливых шпионов. Они судят нас по себе.

По части шпиономании Россия издавна держит мировое первенство. Количество уничтоженных шпионов во время сталинских чисток и войны не поддается исчислению.

Кремль, бесспорно, творение существа сверхчеловеческого, но существа злоторного. Слава в рабстве – вот аллегория, изображаемая этим сатанинским монументом... Это обиталище, приличное персонажам Апокалипсиса.

Между Москвой и Новгородом Кюстин заметил дорогу, идущую параллельно главному шоссе. Ему объяснили, что на эту дорогу сворачивают экипажи, когда проезжает царский поезд. Кюстин не поверил. Людовик XIV, король-солнце останавливался, чтоб пропустить стадо баранов. Во Франции дорога принадлежит всем! Что бы подумал бы Кюстин, при виде пробок, в которых ежедневно часами вынуждены простаивать московские водители, раболопно пропуская в Кремль правительственный кортеж с мигалками?

«Этот народ, у которого столько грации и ловкости, лишен творческого гения. Русские – римляне Севера. И те, и другие заимствовали свои знания и искусства у иностранцев. У них есть ум, но ум подражательный, следовательно, более иронический, чем плодотворный. Этот ум всему подражает, но ничего не изобретает».

Выход, однако, есть. Воруют. Воруют идеи и чертежи, разработки и готовые изделия, например самолеты. Промышленный шпионаж всегда был в России очень популярен. Атомную бомбу украли. Михалков, советский гимнюк, и, по совместительству лучший друг детей, написал по этому поводу стихок: «Оборона – наша честь, / Дело всенародное, / Бомбы атомные есть, / Есть и водородные».

Цивилизация, которую так кичится высший слой русского общества, при ближайшем рассмотрении оказывается призрачной; она не более, как внешний лоск, едва прикрывающий варварство, лежащее в основании общественных отношений и нравов.

И почему все лучшее о России и за Россию делают иностранцы? Лучшую книгу, лучший фильм. А у русских одна забота – все это запрещать.

P.S. Россия занимает первое место по запасам всех элементов таблицы Менделеева, а также по нефти, газу, углю, лесу. При этом она занимает 67 место в мире по уровню жизни, 97 место по доходам на душу населения, 134 место по продолжительности жизни мужчин и 159 место по уровню политических прав и свобод (данные ООН на 2001 г.).

ПОДЕЛИТЬСЯ КУЛЬТУРОЙ РОДНОГО ЯЗЫКА

«Речевая личность студента-иностранца в русской культуре». **Виктория Малеева**. Изд. M-Graphics Publishing (Бостон) и Coast (Филадельфия), 2-издание, 2012, 306 стр.

Для обычного человека родной язык вдыхается безотчетно – как воздух, его не замечают, особенно на родине, когда он всегда и везде есть в избытке.

Есть еще и другой взгляд: вот язык осязаемый, плотский, вкусный, пряный, сочный, который смакуешь, наслаждаясь, гурманы от литературы.

А еще есть такой язык, на который внимательно глядят во все глаза, не отрываясь, так сказать, «пялятся», как на диковинную, внезапно прилетевшую Жар-птицу. Многое может увидеть и понять этот удивленный, восхищенный и внимательный взгляд.

Вот первая загадка. Есть вечная тайна: это *мы* говорим языком, или *язык* говорит с нами? Известно, что когда мы появились из тьмы небытия, наш «великий, могучий, свободный и правдивый» уже щелкал соловьем, цокал, свистел и прищепывал, в нем были уже байки и прибаутки, ухарские повороты, где-то трезвая мудрость была накрепко прошита двойной рифмой, а где-то сквозь дымку иронии сквозило чудо сострадания, справедливости и высшей любви.

Так это *мы* одеваем наши страсти, страхи, дурацкие шутки и надежды в слова, придирчиво и зорко выбирая их из роскошно-богатого бабушкиного сундука?

Или это *язык* – мудрый тысячелетний воспитатель, нянька и этический цензор шепчет на ухо русскому человеку: не пиши свое «я» с большой буквы (как пишут в английском), пиши собеседнику уважительное «Вы» с большой буквы; не ты главное лицо в этом пестром мире, а тысячи твоих разнообразных собеседников, и у каждого свое страдание и своя правда. Так каждый язык через предлоги, падежи, через семейства однокорневых слов создает свою национальную картину мира.

Можем ли мы сказать, что в любой момент и в любом месте мы *свободно* выбираем, что, как и кому сказать – «что хочу, то и говорю»? Здесь обозначается вторая важная загадка: речевая *свобода* личности и *правила* употребления языка, речи.

Человек наивный и неискушенный тут же воскликнет: «Да, конечно, я – хозяин, а язык – только мое орудие, куда хочу, туда и ворочу, захочу – и к сердцу прижму, захочу – к черту пошлю!»

Но тот, у кого профессия связана с речью, тот, кто специально обучался сложным типам речи, как например, юрист, журналист, редактор, педагог, писатель – не выступят с таким опрометчивым и однозначным решением вопроса. Уж кто, как не они, твердо знают, что в употреблении речи существуют примерно такие железные правила, как в правилах дорожного движения. Да, мы можем выбрать свое направление, выразить свою волю, но идти туда можно только при соблюдении всех правил.

Книга Виктории Малеевой «Речевая личность студента-иностранца в русской культуре» написана для того, чтобы мы увидели и поняли правила речевого «дорожного движения, не только внешний текст, но также те скрытые силы, тайные пружины, которые стоят за текстом, движут и формируют его. В совре-

менной лингвистике принято выделять три аспекта при изучении языка: язык, речь и речевую деятельность. Это не тавтология, это три разные сущности, три объекта исследования в книге автора.

Встает вопрос при прочтении работы Малеевой – что мы понимаем, говоря о таком явлении, как язык? Язык, – утверждает автор, – явление относительно стабильное, он статичен, язык выявляет связи, принадлежащими к одному уровню. Эти уровни – фонологический, фонетический, морфологический, лексический и даже фразеологический (передача с помощью образа: *гол как сокол* – бегун; *стреляный воробей* – опытный). Язык – самая высокая степень формальности. Язык, языковая система – это собрание парадигм (т.е. образцов) каждого уровня.

Как можно просто объяснить, что представляет собой речь? Если система языка конечна, то речь линейна и бесконечна; как всё разнообразие музыки состоит из семи нот, так все возможные тексты или речь состоят из ограниченного набора знаков. Язык абстрактен и формален, а речь конкретна. Речь стремится к словам в речевом потоке, а задача языка – сохранить их. Речь принадлежит всем говорящим и реализует все возможные словосочетания, высказывания и значения.

Если различие языка и речи можно считать традиционным, то различие речи и речевой деятельности еще не является общепринятым, – подчеркивает Малеева. Основой для выделения речевой деятельности, – с ее точки зрения, – является характеристика речи, которая имеет двойственную природу. Под речью понимают как сам процесс говорения и понимания (речевую деятельность), так и его результат (речевые произведения, тексты, фиксируемые как памятью, так и письмом).

Если смысловой диапазон речи максимально широк, то речевая деятельность по сравнению с ней представляется более узкой. Ее ограничивают рамки социальной роли и социальной группы, а также социальный опыт или культура, хотя власть этих ограничителей не следует преувеличивать, она не абсолютна.

Следует сказать, что нет ничего такого в речевой деятельности, чего не было бы в речи. Казалось бы, зачем тогда автор выделяет этот аспект языковых значений, не избыточен ли он? Тем не менее, это не так. Дело в том, что в речи фиксируется речь всех говорящих, все тексты, а речевые действия – всегда «чи-то», они принадлежат конкретным, определенным говорящим. Эти говорящие имеют возрастные, половые, профессиональные, социальные, статусные различия. Речевые действия имеют конкретную цель, так как связаны с различными личностями и различными речевыми ситуациями.

Так, речь ребенка отличаются от речевых действий молодого человека, от речи образованной женщины, или крестьянки, или старика. Молодые люди могут принадлежать к разным социальным и профессиональным группам, речь программиста отличается от речи столяра, речь шахтера отличается от речи фермера. Также девушки и молодые женщины обычно внимательно отслеживают фонетические, смысловые и стилистические нюансы друг у друга, боясь упустить или понизить свою ступеньку в социальной иерархии.

Вот некоторые образцы индивидуализированной речи, которые Малеева легко относит к определенным социальным персонажам.

– *Все дело вышло из-за, царство ему небесное, мертвого трупа... стоит на берегу куча разного народа людей* (А. Чехов. Унтер Пришибеев).

– [Войницкий:] *Герр профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались в этой гостиной к часу дня... Хотел о чем-то поведать миру* (А. Чехов. Дядя Ваня).

– [Из письма Тартаковского Бене Крику:] *Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту! Но я тебя за такого не знаю и упаси боже за такого знать* (И. Бабель. Как это делалось в Одессе).

– *Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде* (И. Бабель. Как это делалось в Одессе).

[Героиня А:] – *Два мужа на мне женились* (Л. Петрушевская. Бабуля-блюз).

[Федоровна:] – *Я надела туфли желтые, зубы, плащ синий...* (Л. Петрушевская. Три девушки в голубом).

– *У вас вот высшее образование и очки, и борода вот отрастили, а понять такой вот простой теоремы не можете* (А. и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в субботу).

– *Вас здесь не стояло!* – *Нет, стояло, естественно* отвечает гражданин № 1. – *Нет, не стояло!* – *настаивает гражданин № 2.* – *Да, да, их здесь стояло!* *А вас не стояло!* – *вступается гражданин № 3 в желтых очках* (В. Леви. Искусство быть другим).

В настоящее время, начиная с 80-90 годов прошлого века, современная нам лингвистика поставила в центр изучения говорящего человека, *речевую личность* и его речевые действия. – подчеркивает В. Малеева.

Насколько различны люди, личности, индивидуумы в современном обществе, настолько же различны их речи, речевые действия. Если в основе различия людей лежит их социальный статус, моральные нормы, уровень усвоенной ими культуры, их занятия, профессии, пол и возраст, их различные желания, жизненные цели и устремления, то все это выражается в их речевых действиях или в их речи.

Существуют масса исследований о речевой деятельности. Однако в них нет системного представления об этом явлении, образно говоря нет того «скелета», нет «мускулов», которыми должно обладать это пока еще аморфное и бесформенное явление.

Автор выделила в речевой деятельности три аспекта: социальный, семантический, и психолингвистический. Социальные и семантические факторы, являясь «тайными пружинами» высказываний, находят свое конкретное выражение в языковых формах, которые мы обозначим как психолингвистический аспект речевой деятельности.

Обычно единицы социального плана, формирующие высказывание, находятся за текстом, но иногда они обнажаются, «всплывают наверх» при необходимости, например, подчеркнуть армейскую субординацию или в конфликтных ситуациях.

В. Малеева приводит примеры героев рассказов А. Чехова, которым приходится напоминать о своем социальном положении, о занимаемом ими месте на социальной лестнице, то взывая к справедливости, то указывая на полномочие своих действий.

– *Вы забываетесь, милостивый государь! – встухнул он... Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!* (Маска).

– *Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет?.. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил... Все порядки знаю-с.* (Унтер Пришибеев).

– *Не станет он обманывать. ... Да и как он смеет обманывать? Разве мы какие-нибудь? Мы хоть и купеческого звания, а он не имеет права, потому что*

ты ему законная жена! Мы жаловаться можем! Я за тобой двадцать тысяч дала! Ты не бесприданница! (Ненастье).

Или например, выполняемая роль офицера в определенных условиях царской России соответственным образом влияла на речевое и неречевое поведение носителя этой роли: «...Таким образом, Ромашов неуверенно, чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненные явления. Прежде все казалось таким простым. Мир разделялся на две неравные части: одна - меньшая офицерство, которое окружает честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира и вместе с мундиром почему-то и патентованная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость; другая - огромная и безличная штатские, иначе шпаки, штафирки и рябчики; их презирали; считалось молодежеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему на уши цилиндр; о таких подвигах еще в училище рассказывали друг другу с восторгом желторотые юнкера». (А. Kupрин. Поединок).

Интересно то, что изменение социальной роли обычно тут же влечет за собой изменение значения высказываний и, соответственно, вместе с этим изменяется и языковая форма высказывания. Автор особо отмечает, что изменения происходят в последовательности: социология речи влияет на семантику, и только потом, под влиянием этих двух факторов возникает языковая форма высказывания.

Если принять во внимание все сказанное, то обучение иностранному языку представляется в ином свете. Обычным путем обучения, даже в настоящее время, является умение построить предложение, запомнить и воспроизвести, например, стереотипные языковые формы.

С точки зрения автора, такое обучение речевой деятельности поставлено «с ног на голову». Речевые формы – это искомое, неизвестное и производное от социальной группы, социальной роли, и всех других выше перечисленных факторов. Они наполняют значением языковые формы индивидуального говорящего. Философ Михаил Бахтин прозорливо отметил, что «здравствуйте» или «доброе утро», сказанное разными личностями, приобретает разные смыслы и множество смысловых оттенков в различных ситуациях.

Процесс овладения иностранным языком (в данном случае русским) имеет смысл сравнить с тем, как ребенок овладевает родным языком. Стало быть, для формирования и реализации речи на изучаемом иностранном языке иностранец должен иметь данные, аналогичные тем, которые имеет носитель языка. Моделировать представление о той социальной роли, которую он выполняет в своей основной неречевой деятельности;

При отсутствии прямых культурных контактов понимание возможно в том случае, если у одного из собеседников естественным или искусственным (научным) путем создано социально-культурное прошлое, аналогичное тому, которое имеется у другого собеседника. Прежде всего, иностранец не имеет представления о рамках своей социальной роли в новой для него культуре (например, учащийся-студент-иностранец технического профиля, который обучается в стране изучаемого языка), где существуют особые слова, которые являются образующими для многих высказываний, потому что вокруг них концентрируется основная неречевая деятельность специалиста: *газ,*

нефть, уголь, алмаз, энергетика, атомная промышленность и т. п.

Поскольку общение иностранца происходит на фоне нового, неизвестного для него, неосвоенного им социально-культурного контекста, то основной целью речевых действий иностранца должно быть знакомство с новыми образами деятельности в изучаемой культуре, которые обусловили употребление этих языковых форм. Таким образом, речь иностранного учащегося будет представлять собой реальное социальное взаимодействие, происходящее именно с ним, и не будет являться имитацией любого другого социального взаимодействия.

Подведем итог прочитанному. В чем же заключается принципиальная новизна подхода В Малеевой к речевой деятельности? Во-первых, она *структурировала* понятие речевой деятельности, выделив в нем три аспекта: социальный, семантический и психолингвистический. Во-вторых, определила *последовательность действий* этих трех аспектов, а также их конкретное содержание в каждом отдельном случае. И в-третьих, речевая личность иностранца представляется ей отнюдь не бездонным и бездушным контейнером, в который преподаватель сыплет без разбору пустые языковые формы (авось где-то он их использует при случае!). Для речевой личности иностранца она моделирует не случайную, а *реальную социальную роль* в изучаемой культуре. Следовательно, при обучении иностранному языку предлагается идти не столько путем имитации готовых высказываний, сколько путем построения собственных высказываний говорящего, то есть построения собственных речевых поступков и действий.

Познакомьтесь, пожалуйста. Каттишонок, Елена Александровна. Поэт, прозаик. Родилась и до 1991 года жила в Риге, Латвия. Автор трех романов и трех сборников стихов. Финалист литературной премии Русский Букер. Лауреат премии Ясная Поляна. Окончила филологический факультет Латвийского университета. После эмиграции живёт в Бостоне, преподаёт русский язык, занимается редакторской работой, переводами. Дебютировала сборником стихов «Блокнот», 2005 г. Затем вышел первый роман «Жили-были старик со старухой», 2006. В соавторстве с Евгением Палагашвили была издана «Охота на фазана» – сплав фотографий со стихами, им созвучными, 2008. Затем выходит в свет второй роман «Против часовой стрелки», 2009. Он попадает в Длинный список премии «Большая книга» 2010 года. Двулогия издается в Москве и находит своего массового читателя. В 2010 году выходит новая книга стихов «Порядок слов». В 2011 году – третий роман «Когда уходит человек», который был включен в Длинный список премии «Большая книга» 2011 года.

Интервью ведет **Игорь Михалевич-Каплан.**

И М-К. Начну с заслуженных комплиментов. Ваши книги в моей домашней библиотеке постоянно берут почитать. Особенно повезло старику со старухой («Жили-были старик со старухой»). Один из читателей написал даже рецензию. Вы очень удачно дебютировали. Это уже потом были похвалы и премии... Как всё началось?

Е. К. – Началось с тетрадки, которую младшая дочка собралась выкинуть, а в ней оставалось много чистых листов очень хорошей бумаги. Породистая попалась

тетрадь. Студенты разъехались на каникулы, и пока мы вяло обдумывали, ехать в отпуск или нет, я решила написать рассказ о коммунальной квартире. Вскоре поняла, что получается скорее повесть, чем рассказ. Прочитала другу, и он неожиданно поставил совсем другой диагноз: «Это роман, и ты должна его дописать». Действительно, получился роман – и не только и не столько о коммунальной квартире...

И М-К. Правильно говорят, что для писателя найти «своего» издателя большая удача и редкость. Как сложились ваши отношения с М-графикс, и как продолжается Ваше такое благоприятное сотрудничество?

Е. К. – Я не сразу вышла на М-Графикс, но отношения у нас с Михаилом Минаевым сложились очень удачно после того, как я наблюдала его работу. Это был альбом фотографий Евгения Палагашвили с моими стихами. Минаев терпеливо и чутко выбирал типографию, бумагу, шрифты; несколько раз переделывал макет. Он любит книгу, обладает хорошим вкусом и прислушивается к пожеланиям авторов, поэтому наше сотрудничество продолжается.

И М-К. Найти своего читателя ещё труднее, чем издателя. Были ли контакты и диалоги, как говорят обратная связь? Ведь это здорово помогает творчеству...

Е. К. – Первыми читателями были наши друзья. Все отзывы сводились к вопросу: а что дальше?.. Когда появились российские издания – сначала «Геликон Плюс» в Питере, затем «Время» в Москве – появились и читательские отзывы – в форумах, например. Живой контакт на встречах с читателями в Москве показал, что не только я сжилась с моими героями, но и люди, прочитавшие книгу, иногда не раз. Это очень трогает.

И М-К. Ваша писательская биография совпала с Вашей эмиграцией. Именно это подтолкнуло Вас на творческую стезю? В эмиграции и прошлая жизнь и настоящая видится под особым «углом зрения», не так ли?

Е. К. – Никогда об этом не думала, но по времени совпадает... Забавно. Нет, всё же сомневаюсь. Наверное, просто настало время остановиться, оглянуться. Тетрадка, наконец, под руку подвернулась в правильный момент. Ведь практически вся жизнь прошла в цейтноте.

Что же касается особого угла зрения, то Вы правы: лицом к лицу лица не увидать...

И М-К. Ваша профессия преподавателя и лингвиста хотя и близка к литературе, но всё-таки далека от писательства. По какой причине и как Вы ее приближили?

Е. К. – Никогда не задумывалась о такой близости и не ставила себе целью приблизить одно к другому. Для филолога язык – объект изучения, для преподавателя он – учебный предмет, а для писателя – инструмент; тогда я, наверное, просто совместитель...

И М-К. Если бы Вам сказали, начать всё сначала... книги появились бы на свет в той же последовательности?

Е. К. – Сейчас уже трудно представить такое «сначала», но пока мне ничего не хотелось бы менять.

И М-К. Каких своих героев Вы больше всего любите?

Е. К. – Я их всех люблю. Очень удивилась и обрадовалась когда-то, встретив у Булгакова в «Театральном романе» фразу о том, что своих героев надо любить. Кажется, дальше было: «...если этого не будет, не советую никому братья за перо».

И М-К. Какое историческое время Вам ближе всего в романах?

Е. К. – Как-то так получается, что в процессе работы самым близким оказывается именно то время, которое описываю, даже если во временном протяжении оно от меня далеко – например, Первая мировая война.

И М-К. Вы пишете прозу и стихи. В литературе это довольно часто бывает, возьмем Бунина, Набокова... И всё-таки что-то первично, а что-то вторично. Я думаю, проза Вас полностью захватила?

Е. К. – Многие отмечали, что моя проза и стихи пересекаются, одни и те же мотивы, та же интонация. Прозу писать труднее, она требовательнее к пишущему. И – да, захватила.

И М-К. Рига – город особенный, со своим непередаваемым очарованием... Скучаете, ностальгируете? Ведь Бостон совсем в другом стиле, хотя есть что-то общее, пересекающееся.

Е. К. – Рига – чудесный город, волшебный; Бостон – другой, хотя очень европейский и потому понятный. Тоска по Риге – болезнь хроническая, тут никуда не деться; но, оказавшись в Нью-Йорке, например, я сразу начинаю тосковать по Бостону.

И М-К. Есть ли у Вас свой бостонский писательский круг общения, среда, творческий обмен, диалоги, полемики? Или география шире, и помогает ли в этом скайп, интернет и другая современная техника?

Е. К. – Конечно, в Бостоне есть своя писательская среда. Наверняка там происходят интересные вещи. Однако я ведь начала писать совсем недавно – что называется, «на новенького», поэтому не успела в этот круг втянуться. Да и времени всё меньше становится.

И М-К. Хватает ли времени на театр, концерты, выставки, тусовки, прогулки и путешествия?

Е. К. – Как правило, времени фатально не хватает. Стараюсь не пропустить интересную выставку, бываю в музеях.

И М-К. Откровенны ли с Вами творческие друзья или боятся задеть, обидеть открытой критикой? Непониманием? Есть ли в Вашем окружении литературовед, которому вы доверяете? Ведь в литературе всё, как в жизни: радуешься, когда хвалят, огорчаешься, когда ругают...

Е. К. – Близкие друзья своего отношения не скрывают. До сих пор им нравилось всё, что мною написано. Задают вопросы, конечно, потому что в текстах встречаются реалии, понятные только рижанам. Знакомых литературоведов нет, а по-настоящему я доверяю только себе, потому что собственный слух, вкус и чувство меры – самые лучшие критерии для саморедактирования.

И М-К. Откуда у Вас такая милая фамилия. Надеюсь, это не псевдоним. Какова история Вашей семьи?

Е. К. – Нравится? Спасибо; нет, такой псевдоним мне и придумать было бы не под силу. Моей матери настолько нравилась её девичья фамилия, что она её не меняла при замужестве. Традиция прижилась – мне тоже не захотелось с ней расставаться.

И М-К. Если бы Вам предоставили билет на поезд, самолет или пароход, в какое место Вы бы направились и какую новую книгу начали бы писать, и о чём?

Е. К. – Сначала в Ригу; оттуда в Литву, потом в Данию, в Бельгию... Ой, а билет-то только один! Простите, размышлялась. А что касается книги, то она не зависит от географической точки нахождения – какая попросится, ту и начну.

И М-К. И последний вопрос: думаете ли серьезно о драматургии? От прозы к драматургии только один шаг...

Е. К. – И снова вспомнила «Театральный роман». Как герой, Максудов, увидел коробочку, проступающую через страницы книги, а в коробочке загорается свет, движутся фигурки – фигурки из его романа. И Максудов осознаёт, что это сцена. Я очень хорошо понимаю это ощущение – испытывала то же самое, описывая какой-то эпизод. Но этого явно недостаточно для того, чтобы вдруг заняться драматургией. Особенно мешает то, что я ощущала себя одновременно и зрителем...

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ПОВЕСТВОВАНИЕ ЛЬВА БЕРДНИКОВА

Внимательный читатель сразу же заметит фразу на титульном листе под рубрикой «Литературные портреты»: Дополненное и расширенное издание книги «Евреи в ливреях» Москва, Человек, 2009. Я знаю эту книгу, и кроме лестных комплиментов, мне трудно что-либо добавить (автор рассказывает о выдающихся российских евреях, которые, благодаря своему таланту и пассионарности, оставили след в истории России XV-XIX веков). Поэтому давайте обратимся к «дополненному и расширенному изданию».

Но сначала немного об авторе. Лев Бердников родился в 1956 г. в Москве. Окончил литературный факультет Московского педагогического института. Затем более десяти лет проработал старшим научным сотрудником в Отделе редких книг (Музее книги) Российской Государственной библиотеки. В 1987-1990 гг. он возглавлял научно-исследовательскую группу по изучению русских старопечатных изданий. С 1990 г. живет в Лос-Анджелесе. Автор книг «Счастливы Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – начала XIX века», 1997; «Пантеон российских писателей XVIII века», 2002; «Щеголи и вертопрахи. Герои русского галантного века», 2008; «Шуты и остроусловы. Герои былых времен», 2009. Он опубликовал более трехсот материалов в России, США, Канаде, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине. Лев Бердников – кандидат филологических наук, член Союза писателей Москвы.

Мне хочется, кроме этих формальных, но необходимых строк, дополнительно рассказать о своем личном отношении к автору книги. Имея большой редакторский опыт в Зарубежье, могу смело заявить, что Лев Бердников человек редкой породы, сочетающий в себе качества серьезного ученого, исследователя истории культуры, прекрасно пишущего литератора и литературоведа. Это сочетание талантов дало ему возможность проявить себя в совершенно неожиданных ипостасях, например, филолога, архивиста, культуролога. И я сам иногда пользуюсь его экспертизой, обращаюсь к нему за советом. Он, при всей своей широте эрудиции, человек чрезвычайно скромный, вежливый, приветливый и доброжелательный. Лев пытается помочь своим коллегам по перу и часто рекомендует и «сводит» авторов с журналами, редакторами и издательствами. Если нам удастся поговорить, при нашей обоюдной занятости, я всегда поражаюсь диапазону его знаний и широте мыслей. При этом его учтивость и человеческое обаяние сочетается с врожденной интеллигентностью и интеллектом.

Но вернемся к началу рецензии и остановимся на разделе «Содержание», как бы подводя итоги проделанной автором работы. Нет смысла озвучивать сюжеты его литературных очерков-рассказов. Хочу заметить, что подход Льва Бердникова к «сотворению» героев книги резко отличается от подобного рода литературы. Почему это

важно отметить? Да потому, что «еврейская» тема стала популярной и отчасти спекулятивной в Зарубежье, а отсюда поток дилетантизма, поверхностного знания предмета и малоталанливости опусов на эту тему. Что и говорить, настоящие произведения подобного рода встречаются весьма редко. К ним и относится новая книга нашего автора.

Один из «секретов» творчества Льва Бердникова – это его умение создать психологический портрет своего героя. Идет ли речь о придворном враче Данииле фон Гадене, о вельможном вице-канцлере Петре Шафирове, братьях дипломатах Веселовских, придворном шуте Яне Лакосте, о писателе Льве Неваховиче, баронах Гинцбургов, генерале Михаиле Грулеве, писательнице Рашель Хин-Гольдовской автор находит такие краски и детали, что образы этих людей не просто оживают перед нами, а мы начинаем сопереживать с ними, входить в их сложный исторический мир, соприкасаться с их судьбами.

Другой секрет его героев – это их совершенно фантастические биографии. Здесь присутствуют все жизненные коллизии: взлеты и падения, ссылки и казни, дружбы и предательства, наветы и признания. Мы узнаем из рассказанных историй о мире дипломатии, военного дела, торговли, путешествий, ремесла, науки и многое чего еще. Признаюсь, что из первой книги «Евреи в ливреях» почерпнул для себя массу интереснейших эпизодов. И какая при этом драма!

«Ах, не шейте вы ливреи, евреи!» – эти слова из памятной песни Александра Галича предостерегают представителей иудейского племени всех времен держаться подальше от власти предрассудков, – пишет в предисловии ко второй книге «Евреи государства Российского» историк Александр Локшин. – Многие персонажи новой книги Льва Бердникова сему совету не вняли и вошли в историю именно потому, что были на виду и вращались в высших государственных и придворных кругах царской России. Рассказано здесь и о тех деятелях, кто сыграл видную роль в российской культуре, науке, просвещении, чем прославили Отечество и обессмертили свои имена. Автор выстраивает целую галерею портретов выдающихся российских евреев XV – начала XX вв. Поражает при этом завидная широта их профессиональной деятельности: перед нами не только иудейские купцы, предприниматели, ювелиры, ученые, банкиры и врачи, но и еврей-дипломаты, фольклористы, придворные учителя, литераторы, общественные деятели и даже шуты. И каждый из них оставил свой неповторимый след в истории».

Лучше этого и не скажешь.

Цель создаваемого автором литературного процесса – это раскрытие образов его героев, их мотивации и поступки. Лев Бердников создает систему законов, по которым они, эти герои, существуют и действуют. Он приводит в движение человека и систему власти, в которой тот находится. Героям его произведения надо прислушиваться к воздействию еврейской среды, и к тому, что происходит внутри их самих, а также и снаружи – ведь всё это действия сознательного героя в чужеродной среде. Анализируя всевозможные поступки персонажей: плохие и хорошие, близкие человеку и далекие, ощущаемые им как добрые или злые – автор расширявает свою собственную программу мироощущения – что он хотел сказать и раскрыть, то есть относительно и самого себя и своё личное отношение к предмету исследования.

Очень интересная и драматическая лично для меня была одна из глав книги «Крещение напоказ – Рашель Хин-Гольдовская». Дело в том, что моя американская переводчица и большой, многолетний друг Ирина Онисимовна Вульф-Гольдовская была дочерью Онисима Борисовича Гольдовского (от второго брака). Он же был предыду-

щим супругом Рашели. От Ирины я много слышал о семье Гольдовских. Рашель Мироновна Хин-Гольдовская (1863-1928) – еврейско-русская писательница, драматург, переводчица, мемуарист. Она была ученицей Тургенева, получила образование во Франции, была дружна и переводила произведения французских писателей: Г. Флобера, Э. Золя, А. Ги де Мопассана, А. Франса и др. В России она была известна тем, что широко печаталась в русских и русско-еврейских изданиях, в театрах шли ее пьесы, она держала литературный салон в Москве, где частыми гостями были В. Соловьев, М. Горький, Л. Андреев, М. Волошин и многие другие деятели российской культуры. Сам Онисим Гольдовский дружил с Л. Н. Толстым, часто бывал у него в доме и играл для него на рояле (о чем Толстой упоминает в своих дневниках). Сохранилась переписка Гольдовского с писателем и философом Василием Розановым.

Рашель Мироновна, для того, чтобы выйти замуж за Гольдовского (ее романтическая любовь еще с гимназических лет) пришлось перейти из иудаизма в католичество и разойтись с первым супругом, не дававшим развода. В свою очередь Гольдовский должен был отказаться от еврейства и принять протестантство. Эта история показывает, насколько сложными были взаимоотношения между христианской и иудаистской общинами, как они влияли на судьбы даже неординарных личностей.

Позднее я ещё раз столкнулся с именем Рашели Хин-Гольдовской, когда мы оба попали под одну обложку престижнейшей «Антологии русско-еврейской литературы двух столетий (1801-2001)», Лондон – Нью-Йорк, 2007-2008. Она вышла на английском языке, где перевод моего рассказа был выполнен моей переводчицей Ириной Вульф-Гольдовской – пути Господни поистине неисповедимы. Я сталкивался с именем Рашели еще несколько раз, но это уже другие истории. Здесь же я хочу отметить, что в этом очерке Льву Бердникову не только удалось раскрыть образ и поведать историю прекрасной писательницы конца XIX – начала XX столетий, рассказать о ее творчестве, но и показать всю сложность и драматизм этнических и религиозных проблем Российской империи.

Книга писателя Льва Бердникова – документально-художественное повествование. Он сумел дать широкую и правдивую панораму исторического материала, что позволило автору по-новому взглянуть на русско-еврейские и иудео-христианские отношения, подвести читателя к пониманию феномена россиянина еврейской идентичности.

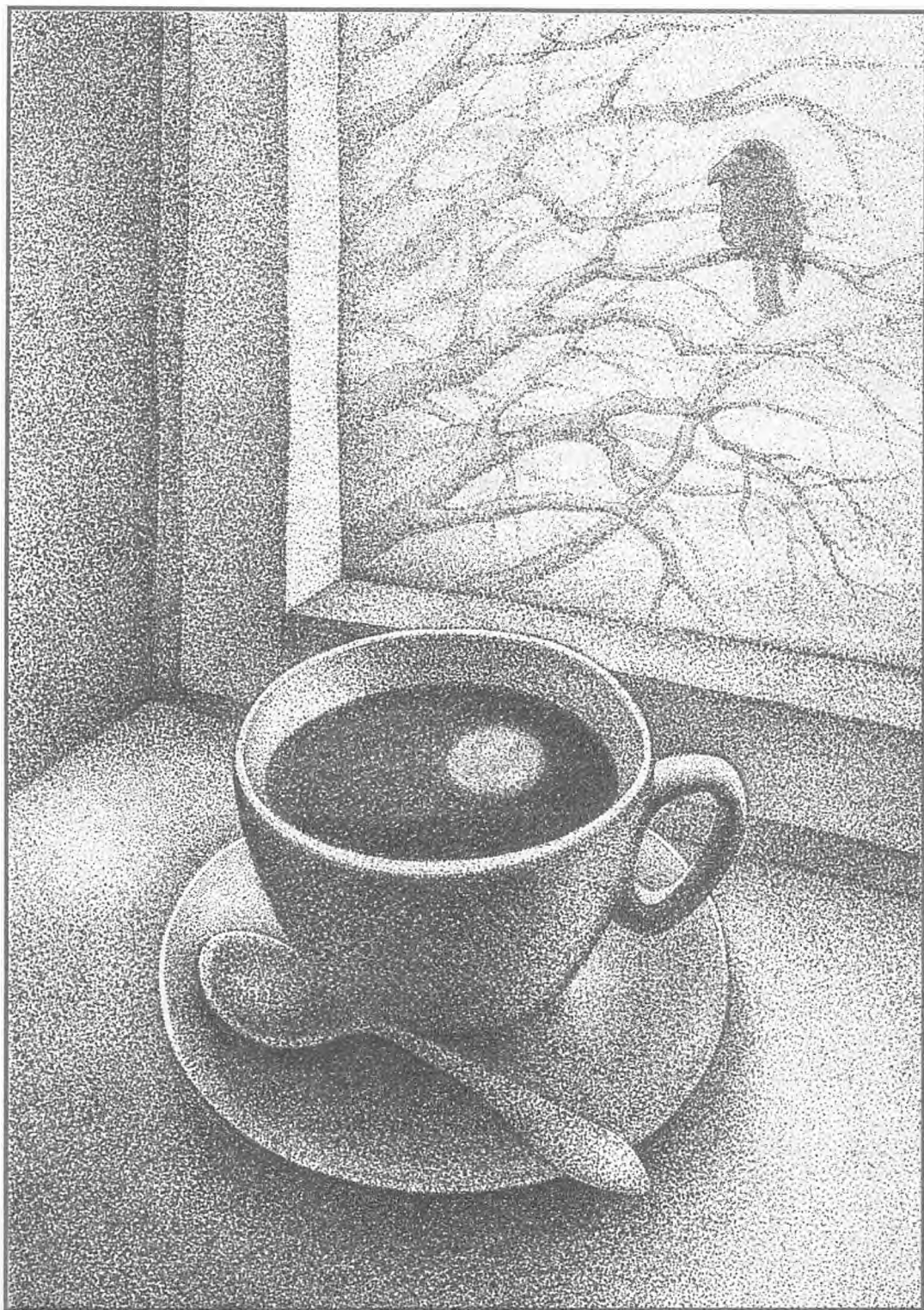
«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ...»

Донецкие строки Ивана Волосюка

Знакомство с поэтом Иваном Волосюком произошло «мгновенно». В редакции я получил *электронку* от автора, прочитал стихи и ответил в течение пятнадцати минут. Я понял – на Украине появился русскоязычный поэт необычайного дарования. Конечно, стихи были сразу же приняты к публикации. Сам автор был скромным, и в свою очередь удивлен такой быстрой реакцией.

В 2011 году вышла его новая книга «Донецкие строфы» (изд. «Каштан»). Она открывается заглавным стихотворением, и первые строки звучат так:

Как часто мы глухи и слепы,
Ступаем по краю бессмысленно,
Сгораем ненужными письмами,
Становимся горсткою пепла.



Ольга Костенко (Шиманович). Иллюстрация к книге И. Волосяка «Донецкие строфы»

Как это верно звучит! Обычно поэтов и делят на «зрячих» и «слышащих». Иван Волосюк относится к обеим категориям. В том же стихотворении, продолжая тонкую поэтическую линию восприятия и ощущений, он пишет:

И чувствую, как безысходности
приблизилось полудыхание,
Как время крадёт расстояния
И нам недостаточно воздуха.

В предисловии «Становление на крыло» к книге стихотворений Ивана Волосюка «Продолжение земли», известный поэт и критик Борис Белаш совершенно верно заметит о поэзии автора: «...он может воспринимать этот мир по-своему и осмысливать его по-философски глубоко и образно. По стиливой манере, образной системе, где недосказанность заставляет вдумываться, не сразу открывая потаённый смысл, молодой литератор всё ещё находится под обаянием творчества О. Э. Мандельштама...».

Места знакомые. Намолен
Здесь каждый камень, воздух свят.
Покинув гнёзда колоколен,
К нам звуки птицами летят.

Но в «Донецких строфах» явно исчезают литературные влияния и подражательность, а молодой поэтический голос звучит окрепшим, совершенно оригинальным и своеобразным.

О причинённой плачут боли
Дожди, и некому простить.
А я один в пустом вагоне
Пытаюсь мир остановить.

Оттенки тают в полумраке,
Последнее отдав тепло,
Я чувствую удары капель
Сквозь напряжённое стекло...

В одном из стихотворений поэт откровенно признается самому себе:

Избалован великими предками,
Принимал подражанье за стих.

Это одна из основных тем молодого поэта – отношение к поэтическому ремеслу, о роли поэта и поэзии в современном мире.

Когда опустошение свершится,
Не побоишься ли пустой страницы?
Сумеешь ли понять, как ты ничтожен,
Когда захочешь плакать и не сможешь?
Когда ты будешь нужен только Богу,
Кто сможет разделить твою тревогу?
И если оборвутся твои тропы,
Твои шаги не остановит пропасть.

Его волнуют «пустые страницы» в процессе творчества, общение один на один с Богом в критические минуты жизни и моменты истины. Интересен двойной смысл слова «тропы». Основное значение слова «троп» в художественном произведении используется в переносном смысле и значении, с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи: метафора, эпитет, гипербола, каламбур, сравнение, аллегория, пафос, сарказм и т.д. Но есть и другое значение, как тропа на

каком-либо пути, и в данном случае на дороге поиска – «если оборвутся твои тропы» – «шаги не остановит пропасть» – в значении вечности творческого поиска, его бесконечности, даже после перехода в мир иной...

Но пока существует этот реальный мир, Иван Волосюк преобразует его в лирику:

Ещё одна исчеркана страница,
Туман разлук опустошает лица.
Туман разлук и расстоянье встречи,
Холодный дождь твои целует плечи.
И капли осыпаются с ветвей
Осколками разбитых фонарей.

С одной стороны Волосюк относится к поэтическому ремеслу серьезно и весомо: «Отчеканиваю строфы я, / Как серебряные рубли». Но в другом стихотворении задается риторическим вопросом, на который сам же дает ответ:

Кто сказал, что поэзия – тоже игра,
Это мир полутьмы, полусна, полусвета.

Ивану Волосюку двадцать восемь лет. Родился поэт в городе Дзержинске Донецкой области в семье шахтера. Ныне он аспирант кафедры русской литературы Донецкого национального университета. Молодой автор публикуется в литературных журналах и альманахах Украины, России, Казахстана, Молдовы, Германии, США, Австралии и других стран. У него изданы сборники стихотворений: «Капли дождя» (2002), «Вторая книга» (2007), «Продолжение земли» (2010), «Помнящие родство» (2011, в соавторстве). Живет он в Донецке. Работает в областном еженедельнике «Донецкие новости». Начал издавать литературно-художественный журнал «Ключ-клер».

Иван Волосюк человек глубоко религиозный. Но проповедует он не церковный институт религии, а свободу и совесть вероисповедания. Его душа и сердце непосредственно обращены к Всевышнему и без посредников. Он декларирует:

Цивилизация – смертельна,
Культура – смертна,
Вечен – Бог.

Эти мини-монологи с Богом проходят через все тексты сборника: «Осень входит в храм природы / Не крестясь», «Душа бесплотна и бездушна плоть», «Высота в облачных пасхальном», «Как на одном кресте распятые, / Живём одной мечтой крылатою / И служим богу одному».

А вот и прямое обращение к Создателю с вопросом:

Что, если жизнь – одно стихотворение
И рифмы есть в однообразии дней.
Ответь же мне: венец ли я творения,
Живой ли сгусток я среди камней?

И уж совсем по-современному (не без иронии) звучит покаяние и просьба защитить:

«Прости меня и сохрани от спама,
Убереги от хакерских атак!»

Но иногда это общение непосредственное, даже в какой-то мере детское, чистое и доверчивое:

«Я прятался в саду, а Ты меня искал», «Вот Ты стоишь у дверей, а мне / Стыдно тебя впускать», «Сидим у Бога на коленях мы».

В сборнике масса прекрасных поэтических находок, щедро разбросанных по страницам книги.

«Так подсолнух без всякой подсказки / Сам за солнцем следит головой», «Научите, как сгореть с остатком: / Без остатка не хочу сгорать!», «Не жалко мне листвы, разбуженной шагами», «И мировая ось – лишь боль в моей груди», «Рифмы русские строги и бедная речь глубока», «И сразу после обмолста / Звучит симфония зерна», «Холод пальцев, рисующих снег».

В Пуше-Водиче под Киевом состоялся фестиваль русской литературы, на который были отобраны и приглашены самые талантливые и перспективные молодые писатели и поэты Украины. Донецкий поэт Иван Волосюк на нем был признан лучшим поэтом, пишущим на русском языке, и получил право напечатать подборки своих стихов в журналах «Радуга» и «Знамя».

Это значит, что я не ошибся, высоко оценив его стихи.

На вопрос корреспондента газеты «Донецкий криж» Людмилы Лях:

– Насколько насыщенной была программа фестиваля?

Иван Волосюк ответил:

– В ходе фестиваля были проведены "круглые столы": «Русский язык в мировой литературе», который провел профессор Кронгауз, а также «Современная литература Украины и России» (профессор Бак). Мне были очень интересны встречи с поэтом-песенником Владимиром Каденко, русским писателем Андреем Дмитриевым. Незабываемое впечатление оставил писатель Анатолий Крым. Мастер-класс, который проводился с участием маститых поэтов, писателей, литературных критиков, позволил каждому из нас критически взглянуть на свое творчество. Среди тех, кто оценивал моё творчество, была редактор отдела поэзии журнала «Знамя» Ольга Ермолаева...».

Мне было очень приятно читать эти строки. Именно так и должна воспитываться и поддерживаться талантливая литературная молодежь. Тогда у них появятся и новые книги, а для нас, читателей, новые имена.

В стихотворении «Ни Праги нынешней...» автор утверждает:

Но прав был человек,
однажды мне сказавший,
Что молится за всех.
Мне незачем писать для всех,
кто на земле той,
Не побоявшись жить, боится умереть?

И закончить эту небольшую статью хочется трогательными и искренними словами автора Ивана Волосюка в стихотворении «Видел – помни...»:

Я люблю эту землю, бесцельно люблю
И всегда буду только её продолженьем.

Филадельфия

МИХАИЛ САДОВСКИЙ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПАНЧЕНКО

(Размышлизм)

Утро. Лето. Тихо. Рано и очень тихо. Пытаюсь понять, отчего я так волнуюсь сегодня? Что-то похожее вокруг... Зелёный тупик? Коля Панченко жил в Луцино в очень похожем месте... дом двухэтажный... забор такой же, зелёный с всегда открытыми воротами... спаниель на-

встречу... у Николая Васильевича сегодня день рождения? Нет – у него в апреле... возвращаюсь скорее домой и беру наугад одну из его книг. Она толстая, в твёрдом переплётё и ещё толще оттого, что в неё вложены какие-то листки... открываю – это его стихи! Подборка... вот исправления его рукой, а два листка вовсе не перепечатаны... да, да, да... вспоминаю... сколько лет прошло! Сколько, хм... да это разве не вчера было...

Вообще всё – дружба с ним... а разве дружба исчезает с уходом человека из жизни? Это неразрушимое! Ну, что же иное?

Не умирает и реально,

Лишь то, что не материально...

Он ещё застал эти мои строчки или нет? Не помню... не помню...

И не помню, кто познакомил нас в ту пору, когда он был уже известным поэтом, а я ещё не понимал сам, почему пишу стихи и для чего, а вернее сказать, почему они у меня пишутся... Очевидно, знакомство наше произошло в "Магистрале" у Григория Михайловича Левина... это год шестьдесят первый, наверное, и при этом совершенно точно была поэтесса Нина Бялосинская, многолетний друг Панченко. Они дружили всю жизнь и сотрудничали, вместе вели Литературное объединение в Орехово-Зуево... и я туда поехал выступать на одно из заседаний... а в тот вечер они пришли в "Магистраль", и Панченко читал стихи, а потом, потом... Я никогда не встречал прежде о войне таких строчек, ими и открывается книга, которую я держу:

Мы свалились под крайними хатами –
малолетки с пушкой над губой.

Нас колхозные бабы расхватывали
и кормили как на убой...

Отдирали рубахи потные,
терли спины – нехай блестит!
Искусали под утро – подлые,
усмехаясь: "Господь простит..."¹

А потом, подвывая, плакали,
провиантом снабжали впрок.
И начальнику в ноги падали,
чтобы нас, как детей, берёг.

Ох, ты! Они меня в грудь ударили, так, что я опомниться не мог! Я ещё совсем недалеко ушёл от того возраста с пушкой над губой, я пытался перенестись туда, на место поэта... у меня тоже был опыт войны... только совсем другой, я на пятнадцать лет моложе, но тоже всю жизнь не могу не то что забыть пережитую трагедию, но хоть как-то затушевать её в памяти. Нет. И вой бомб помню, и самолёты немецкие в лучах прожекторов над Москвой, и колбасы аэроплатов на улицах, но, главное, голод и холод эвакуации... а ему в семнадцать в сорок первом – вот так!

Мне очень хотелось быть похожим на него! Не внешне – это невозможно! Он потрясюще красив! Иконописен! Не стихами – это тоже невозможно, и не надо объяснять. Мне всегда хотелось быть таким же спокойным, с чуть замедленной, какой-то вдумчивой речью, таким же обстоятельным...

¹ Этой строфы на листочке не было, и в книге 1986 года издания "Худлита" её тоже нет! Да это и немыслимо было – ведь в Советском Союзе, как известно, секса вообще не существовало. Строфу эту я знал! Но на Радио при подготовке передачи о Николае Панченко, конечно, не показывал, чтобы не "зарубили" всё в самом начале...

Сию напротив: Николай Васильевич читает мои стихи. Конечно, я на это не рассчитывал: что он прервёт работу и примется за мои листочки... Нина Бялосинская напутствовала меня: "Ну, не ради природы ты это писал... стихи о природе, но совсем о другом... Съезди к Коле... или вместе поедём..." Она с Варварой беседует, а я брошенный, стесняющийся, неловкий сижу, замерев, напротив него по другую сторону письменного стола, засыпанного кипами листов, и глажу бездумно трущуюся о мою ногу собаку – чудесного доброго спаниеля Амика...

– Покормить? – спрашивает Варвара Викторовна², жена Николая Васильевича. Я, натужно улыбаясь, отрицательно кручу головой... стесняюсь... я там, по другую сторону стола в руках у поэта, которого... которого что? Люблю? Это так плоско и примитивно! Который... что? Который... он возраста моего погибшего на войне брата! Он сказал то и так, как никто по-моему не сказал о войне! Он... пробил, издал "Тарусские страницы"! В то время этот сборник, этот выстрел, эта победа... – чёрт с ними, с моими стихами, у меня есть возможность поговорить с таким человеком!

– А знаете, что? – перебивает мои внутренние выплески Николай Васильевич, – Давайте сделаем так... – это одна из наших первых встреч, и поэт советует мне, как составить книгу для издательства...

Придётся сделать, как говорится, лирическое отступление. Несмотря на хмурую эпоху, это время осталось в памяти, как счастливое! Мы входили в жизнь, и судьба подарила нам, многим моим сверстникам, стремившимся в литературу, редкую возможность общения с замечательными людьми, составлявшими самую активную часть этой самой литературы. Причём многие из них совсем недавно ещё были такими же абитуриентами. Они пришли в прямом смысле в шинелях в стихи, в прозу, в критику, от них действительно пахло крепким табаком, водкой, порохом, у них были крепкие руки, крепкая речь и добытая кровью уверенность в том, как должно быть... я мальчишкой в военные годы преклонялся перед ними – они меня спасли! И это чувство осталось на долгие десятилетия, на всю жизнь! Это не феномен, это правильно, я считаю, и нормально!

Партия властвовала и хотела властвовать над всем – даже над мыслями. Всякие творческие союзы прежде всего нужны были, чтобы им, властепридержащим, не упустить чего! Направлять, наставлять, руководить, держать при себе – властвовать! Когда появилась новая и разношерстная поросль литературная, решили прибрать её к рукам, это нас... То есть, как на любом плановом производстве: каждому ученику – наставника! Вот нам и повезло! С наставниками. Я писал об этом в книге "Шкаф, полный времени". Возьму отсюда цитату.

В самом начале шестидесятых при Московском Союзе писателей создали "Комиссию по работе с молодыми авторами" (между собой мы её окрестили "по борьбе с молодыми"). Зачем это сделали, не знаю. Возможно, чтобы как-то попытаться управлять новым поколением пишущих, прибрать к рукам, как говорится, молодёжь, направить её творчество, руководить ей – ну, как же без руководящей роли партии? Возможно, и старая литературная традиция русских писателей: опекать молодых и помогать им, сыграла свою роль. Факт, что комиссию создали. Не помню, чтобы тогда об этом где-то писали. Я узнал о том, что она существует и работает, от редактора своей

первой тонюсенькой книжечки... Оказывается, издательство рекомендовало меня этой комиссии – в качестве подопечного, конечно.

Возглавил комиссию писатель, прозаик Николай Панов, который в 20-е годы публиковал стихи под псевдонимом Дир Туманный. У меня была редкая книжка его стихов той поры, только я не знал, что Панов – это и есть Дир Туманный. Эти два имени не соединялись для меня. Позже, когда мы познакомились ближе, я был удивлён и обрадован своим открытием.

Николай Николаевич принял нас, новую группу абитуриентов, и сказал, что они решили "каждого молодого прикрепить к наставнику", т.е. старшему писателю – производственная терминология процветала, а хозяйство было плановое: члену Союза писателей поручалось в качестве наставника вывести в люди нового писателя! А что? Умно придумано! И следить удобно определённому ведомству – это же идеологический фронт!

Она бы умерла, не родившись, эта "комиссия", абитуриенты были строптивы, ещё верили в справедливость и убежали бы от надзора, если бы... не писатели, которые вошли в её состав! Как уж так получилось, что писательские власти не сумели "впихнуть" в неё своих генералов? Не знаю... О каждом из наших старших коллег, вошедших в её состав, можно много и интересно рассказывать, но я позволю себе назвать только некоторые имена... порой забытые, порой неизвестные, но это замечательные писатели и настоящие друзья... Михаил Светлов. Лев Славин. Лидия Либединская. Владлен Бахнов. Николай Панченко. Владимир Кукушкин. Михаил Зенкевич. Нина Бялосинская... Илья Френкель.

Моим наставником был поэт Илья Львович Френкель.

От станции Переделкино мимо резиденции Патриарха за трёхметровым кирпичным забором, через Луцино мимо храма Спасо-Преображения на Зелёный тупик, 27 к Николаю Васильевичу...

– Вы что, не знаете, кто там заседает? – напряжённо говорит Варвара Викторовна. У неё темперамент противоположный Колиному, – Из-за этого переживать!

– Ну, так книгу не берут в издательство, если не член Союза, а чтобы членом Союза стать, нужна книга! Книги... – я пытаюсь настаивать на своём

– Миша! Стихи уже существуют! И это не зависит от Союза писателей... – я ёжусь как-то, спина болит от волнения...

– Спина болит? – перехватывает Варвара Викторовна, – это с годами пройдёт. Я знаю: там закаменеет всё, это отложение солей, и болеть перестанет... у них там в Приёмной всё давно закаменело и не болит! – мостик настолько неожиданный, что я улыбаюсь... потом смеёмся вместе...

– Я вам рекомендацию напишу, – вмешивается Николай Васильевич, – вы мне рукопись оставьте, и я напишу... а книгу, ну, кто там в "Совписе" Егор? Или Флёров... Флёров мужик ничего... – мне хочется сказать ему, что я благодарен, что эта поддержка, это понимание мне дороже, чем вся присная суета! Что это точно так, не комплимента или вежливости ради, что... ну, как же жить придушенным?!

Кусочек из рекомендации:

"Начинал Садовский со стихов. Очень ярко. Потом, казалось, ушёл в драматургию, в детскую литературу. Однако новая его поэтическая книга "Возвращение дождя" (я рецензировал её для "Советского писателя") говорит о том, что в отечественную поэзию возвращается зрелый и оригинальный мастер.

Рекомендую Михаила Садовского в Союз Писателей горячо и убеждённо, но с некоторым недоумением: почему до сих пор не решён вопрос о принадлежности к СП

² Варвара Викторовна Шкловская-Корди – жена Николая Васильевича Панченка. физик, дочь писателя и литературоведа Виктора Борисовича Шкловского и художницы Василисы Георгиевны Корди.

этого писателя? Ведь самой жизнью он поставлен более двадцати лет назад."

И ещё одно лирическое отступление... Что это так часто моё "Я" в этом повествовании о Николае Панченко. Я уже писал и раньше в своих размышлениях, что они основаны на моих личных беседах, встречах, работе с главными персонажами. Но именно это, как я уверен, даёт достоверность описания, портрета – я ведь не пишу ни биографии, ни литературные исследования. Это не моя работа и не моя задача. Я хочу предоставить возможность читателю увидеть живого человека, поэта, которого он никогда не видел, которого зачастую уже более невозможно увидеть, который был мне близок и именно поэтому я о нём пишу! Как тут обойтись без местоимения, по мнению многих, лишаящего автора скромности! Да, бог с ней, с этой скромностью, которой нас перекормили в оны годы, те именно, кому она вообще не была присуща! И нечего сбрасывать всё на время! Пустое... я ж не единственный такой был, и, значит, сколько неравнодушных людей рядом! Это давало надежду и прибавляло сил...

Впоследствии, когда мне довелось в Союзе писателей стать членом новой Приёмной во главе с поэтом Александром Ревичем, я никогда не забывал уроков этих замечательных людей... может быть, это и есть традиция русской литературы, а может быть, больше: всей российской жизни?!

В одну из первых наших встреч я пришёл к Панченко с его книжкой "Обелески в лесу":

– Николай Васильевич, дочка пропагандирует Ваши стихи всюду!

– Сколько же ей? Как это? – очень удивился Николай Васильевич, поскольку стихов для детей он не писал, и уж точно понимал, что моя дочь никак не может быть хоть чуть-чуть взрослой.

– Лариске моей четыре года! Да Вы не смейтесь! Мы с ней пошли в музей имени Пушкина...

– В четыре года? – удивился Панченко

– Так она же всю греческую мифологию благодаря маме знает, и римскую заодно...

– Так – так! – заинтересовался Панченко.

– Ну, увидела Венеру, встала напротив и громко на весь зал ваши стихи: "Подарили девочке Венеру, Как синичка девочка звенела...", мы ей, мол тише, а она во весь голос, с энтузиазмом, выражением и ... до конца! Люди стали вокруг собираться – она совсем маленького росточка... потом хлопала, нарушая музейные правила, – Панченко очень смеялся и написал на титульном листе сборника: "Мише, дружески, и Ларисе – от будущего читателя, сердечно".

Когда-то Маршак высказал мысль, что стихи нельзя делить: эти для детей, эти для взрослых, а только на плохие и хорошие... Столько нежности, искренности, открытости в строфах и строках Николая Панченко, что они понятны детям и близки, потому что только у детей есть столько органичности, открытости в том, что они говорят, делают, сочиняют! Но как ему удалось пронести это сквозь годы жизни? Сквозь войну, сквозь притеснения... разве пустяк, что "Баллада о расстрелянном сердце" не могла пробиться к читателю десятилетия, а написана в 1944 году – не по воспоминаниям, но от боли и мужества! Мало того -- это стихотворение Николай Васильевич долго не доверял бумаге! Писалось и редактировалось оно в уме и хранилось в памяти... страшное время было! А "Тарусские страницы", ставшие библиографической редкостью в день выхода! Они были не только литературным, но политическим событием! И за это надо было платить своими нервами. Пришлось поэту

как бы удалиться от литературы и пойти работать в музей, слесарить на завод...

Стоит вспомнить совсем другого и по характеру и по темпераменту человека – Ваню Мурадели. Это был очень сильный и, я бы сказал, нежный талант. Его травили и колотили публично – это общеизвестно. Партийные невежды учили его, как сочинять музыку. Но он чувствовал своё предназначение, и его девиз был: "Работать надо!" Николай Васильевич в самые трудные моменты жизни, когда возникал вечный русский вопрос "Что делать?", отвечал однозначно прежде всего себе и другим советом: "Делать своё дело"! Это иногда очень трудно – просто делать своё дело, но...

Николай Васильевич человек выдержанный – ни аффектации, ни громких фраз, он уверенно и настойчиво гранил свои строчки. Кому как, а по мне – мало кто сумел так написать о войне... а ведь какая мощная поэтическая волна всколыхнула послевоенный литературный мир страны!

Судьба. Что это такое? Панченко ничего не делал для "продвижения себя". Он писал. Не суетился, не мельтешил, не подстраивался... Не задумывались, почему в литературе применяют военные термины: в строю, обойма, служить, генералы от литературы, шеренга поэтов и т.д.

Все эти слова к Николаю Панченко не относятся – он был и остался поэтом во всём... и не в обойме. Как? Почему? И ему очень нужно было, чтобы кто-то пропагандировал его! Это теперь так понятно! Когда обращаешься в среде профессионалов, не замечаешь порой, что поэт, которого все окружающие ценят по заслугам, широкой публике мало известен. В чём дело?

Сейчас этот вопрос очень просто решается – скандалчик! Интернет, блоги, социальные сети и... в один вечер можно стать известным! Чем? А вот это публике попервоначально не важно! Потом пустышка умрёт в днях и неделях вместе с раздутым скандалом, и ничего не останется, но... а тогда было другое время... вдолбленный в школы в мозги и души неживой Маяковский – вот поэт, а дальше... да ещё живущие – это опасно было для власти! Ибо слово правды было врагом власти! Разве не так осталось в России?!

Не попадал Панченко в обойму – неудобный он был поэт, слишком много самости было в нём. Да, просто он был – сам по себе – Николай Васильевич Панченко!

Его слово было весомо в литературе и в писательских и в издательских кругах. Его внутренняя рецензия на мою книгу стихов в издательстве "Советский писатель" должна была, наконец, перевесить редакционные расчёты недоброжелателей и делег от литературы.

"Вставим в план следующего года" – провозгласил мне Главный редактор, но... какой он этот следующий...

Я был у Марка Самойловича Лисянского и посоветовал, что не могу ему в ответ на его подаренную мне книгу подарить свою "взрослую", а опять только "детскую". Пришлось рассказать всю печальную историю застрявшей в Совписе рукописи и то, что рецензию писал Панченко.

– Не может быть раз писал Панченко! – Лисянский произнёс это значительно... – Поедем, хочу сам понять, в чём там дело! – и мы поехали. Я долго ждал внизу в вестибюле, не хотел даже подняться в предбанник на этаж. Лисянский вернулся не скоро, но бодрый и улыбающийся! – Ну, с такой рецензией, сказали, что и вторая не нужна! Коля так написал!! Книга будет – точно! – Мне неудобно было расспрашивать, что же написал Панченко... так я этого никогда и не узнаю теперь... и книга не вышла в свет... Одиннадцать лет её кантовали в Совписе, пока во времена перестройки, развала Союза писателей и всей страны он не попал в руки тех, кто сначала смотрит в анкетные данные, а потом уж в рукопись... там дружба

народов советского пошиба приобрела новый размах – безграничный...

Когда началась перестройка, Панченко стал инициатором общества "Апрель", одним из организаторов Союза писателей "Апрель"... ведь старый Союз писателей развалился навсегда... Шаблонно, конечно, прозвучит, но порой шаблон возникает оттого, что точно выражает именно суть: Панченко остался на переднем крае! Дорос до генерала, но не по чинам, а по сути, по мировоззрению, по пониманию происходящего. Его солдатский опыт семнадцатилетнего остался на всю жизнь оселком – цель ясна, я должен сделать всё, чтобы её достигнуть, выполнить внутренний приказ... а приказ души и сердца, как и воинский, – святое!

Можно было бы обидеться на казалось бы созерцательную позицию человека Панченко, но не поэта... его стихи всегда были раскалёнными и о главном, они были сердечными, с беспокойным пульсом и о... сокровенном!

Тёплый у него был дом! Распахнутый, гостеприимный, дружеский, втягивающий с вою орбиту...

Как это воссоздать, чтобы почувствовали другие, как описать... пунктуально-сценграфически? По своим ощущениям, доверив их читателю? Ну, например, просто невообразимо завидую, когда три друга калужанина поэт Валентин Берестов, Лев Токмаков, замечательный художник-иллюстратор и Николай Панченко договариваются пешком отправиться в любимые края, в Калугу... Толстой – в Тулу, в Ясную поляну, а они в Калугу... в Тарусу, на Оку... И с какой любовью они говорят об этой родной земле! А мне просто невыносимо хочется с ними! Это ж ни с чем и сравнить невозможно, как здорово...

Или, как он читал свои стихи... не в зале, не на публику, а там же, за рабочим столом, выбрав листочек из взъерошенной кипы и держа его навесу перед собой... неспешно, раздумчиво, глуховатым голосом, поглядывая на слушателя... мне всегда казалось, что эти строчки именно сейчас рождаются, в момент, когда поэт их произносит – вынимает из себя сокровенное и делится им... и эти паузы, афтакты между строками не менее значимые и наполненные, когда смысл только что услышанного будто впитывается в душу, углубляется в неё и требует, требует продолжения и... вот оно!

На меня такое чтение: один на один, всегда производило огромное впечатление... кажется, что это ещё и ещё повторится... слава богу, что моя память так устроена, что я могу возродить навсегда ушедшее с животрепещущей подлинностью... даже глаза закрывать не надо – только немного тишины, и... машина времени заработала!

Вообще часто по дороге к моему наставнику, а проще сказать старшему другу Илье Львовичу Френкелю и его жене Эмине Ханум, сначала со станции Переделкино к Панченко, а потом через кладбище, поклонившись могиле Пастернака, через поле, мимо его ещё не "распределённой" дачи к Френкелю... и по дороге на этом пути осенним серым денёчком будто через волшебный фильтр проходишь, очищаешься, наполняешься необыкновенным чувством прикосновения к чему-то высокому, чистому, прекрасному, вечному...

Время так спрессовывает события, что уже не остаётся щёлочек даже для слов, ощущений, запахов, они укрупняются... откладываются в памяти глыбами, весомо, навсегда... мой друг поэт Виктор Гиленко женился на дочери Николая Васильевича Ольге, так всё было просто-ротно-тесно! И вот уже их нет. Никого. Я должен говорить о них в прошедшем времени! Зачем? Почему? Для меня они всегда рядом...

Да... Так откуда у меня эти листочки стихов, вложенные в книгу Николая Панченко?

В те 70-80 на Всесоюзном радио мне удалось "пробить" страничку о поэтах-фронтовиках, которые ушли на фронт в свои 17-18-19 лет... Александр Межиров, Семён Гудзенко, Александр Балин, Нина Бялосинская, Константин Левин, Вадим Коростылёв, Роман Левин, Михаил Львовский, Евгений Винокуров, Борис Слуцкий... и конечно, Николай Панченко... Я коротко рассказывал об их действительно короткой биографии перед войной, а потом о том, как им воевалось и что писалось... читал их стихи той поры и новые... иногда мне помогали актёры... я старался поменьше говорить сам, а успеть "пропустить" в эфир побольше стихов...

Николай Васильевич обрадовался такой возможности. Мы с оператором приехали к нему на Зелёный тупик, записали на магнитофон его ответы на некоторые вопросы, записали, как он сам читает свои стихи, а это очень важно для понимания поэта! Передача прошла... короткие двадцать или тридцать минут... но... я был очень рад именно такой пропаганде стихов Николая Васильевича. Дело в том, что огромный Советский Союз не мог одновременно слушать Москву, и Первую программу Всесоюзного радио ретранслировали согласно часовым поясам и по количеству часовых поясов, представляете: сколько раз в течение длинных суток прозвучали в эфире стихи Панченко!

Я всё думаю над феноменом несправедливости – известность, слава... К концу первой трети девятнадцатого века пошла молва, что, мол, звезда Пушкина закатилась, а на первый план вышел модный поэт Нестор Кукольник... не будем разбираться, как в то время люди реагировали на сие открытие и пророчество... время неподкупно... даже в нынешнюю эпоху повального российско-го взяточничества.

Сегодня другая беда... неоцифрованные книги замечательных поэтов невозможно найти в Интернете, а кто их оцифрует, сделает доступными современному читателю?! Зато цунами графоманов затопило всемирную сеть, сайты, блоги, социальные сети... А как человеку, не очень сведущему в поэзии разобраться? Ему не дают об этом рекомендаций в классе, он даже экзамен по литературе сдаёт на новый манер: галочки ставит на чужие вопросы и ответы, а не произносит свои мысли вслух, где сама речь и стиль её не менее важны, чем предмет, о котором задан вопрос!

Книги изнашиваются, переставляются во второй ряд на полках, списываются малоинтересующимися поэзией библиотекарями... и не надо, пожалуйста, уповать на время, на "талант, который пробьётся" – враньё! Деньги забили всё, женская любовная пошлость в аляповатых обложках – вот чтиво! С ним трудно соревноваться! Сейчас успех книги решает не автор, не издатель – продавец, зачастую мало культурный! Вот и закончились все споры... Но!

Для ценителей настоящей поэзии сие: сокращаю свои мысли, свой размыслизм, как делал это в передачах на Всесоюзном Радио в пользу стихов Николая Панченко!

ПРОСНИТЕСЬ ЛЮДИ

Постой! Как можно
Жить и делать бомбы,
Чтоб сбрасывать их на головы людям,
Таким, как ты,
И человеком быть –
Как это совместить,
Не обезумев?

Как можно собираться
лучшим людям

на форум
И там решать –
 кому
И сколько сделать
Смертоносной дряни,
Уравновесив шанс!
На убийство?
Двадцатый век,
Очнись –
Преступный мир...

Сон так глубок,
Что можно не проснуться...

1986

ПОСЛЕ ОХОТЫ

*"В этом есть особая приятность –
Выйти из-под звёзд под фонари..."*
/из старых стихов/

Полночь.
Кровью дышит воздух,
Лес придвинулся стёной.
Тонут тысячами звёзды
В чёрных топях надо мной.

Надо мной миры –
 а дальше –
Нечто смутное во мне.
Пёстрый вальдшнеп,
Тёплый вальдшнеп
Остывает на ремне.

Или я уже не вправу
Мять траву, топтать кусты?
Бедный Авель,
Бедный Авель,
Кто же знал, что это ты?!

Кто так подло спутал нити,
Передёрнул буквари,
Что, как некогда,
 не вьйти
Из-под звёзд –
Под фонари...

1987

Под зонтиком рваным висел на ремнях,
Скакал по оплавленному льдинам,
Скользил по нетряской дороге в санях
За крупом седым, лошадиным.
Сквозь воздуха толщину,
Сквозь толщину лесов,
Сквозь стены,
Сквозь двери, что все – на засов,
Сквозь вод молчаливых глубины,
Сквозь ложь и сквозь злобу,
Сквозь злобу и ложь...
И если ты с честью
Сквозь старость прс-йдёшь –
Сквозь позднюю горечь рябины,
Не выдашь ни немощь,
Ни нервную дрожь --

Ты в землю уйдёшь,
Как озимая рожь...

Я не перекладываю стихи и не "составляю" подборку. Они идут по порядку, как лежали в книге много лет. Может быть, в таком порядке они были и в эфире, а возможно, и даже скорее всего, редактор или Главный редактор что-то вырезал, как обычно, но сегодня есть возможность поместить их все, "как было", тем более, что вероятнее всего сам Николай Васильевич так их и сложил...

Поэт – не тот,
 что всех рассудит,
Но – обессудит и простит..
Он не бытует,
Он гостит,
Он есть, но правильнее – будет.
Когда сойдёт и грязь и снег,
И от естественного роста
С весёлых душ сойдёт короста,
Он проявится в сонме тех,
Что из псалмов,
 из пыльных вед,
Из звёздной ли склужившись пыли –
Скорее не были, чем были,
Но вот взошли
И дали свет...

В.С.Зотову³

Осенью сорок шестого
 в калужском бору
Мне читал Гумилёва
Мой старый /и старший/ товарищ.
И я сразу почувствовал, что беру
 Как пулю в сердце,
 даже если умру
От этой пули
Перед шинельным строем:
Нас, брошенных бегом,
 теперь было всё-таки трое
В пустом, как пустая коробка, калужском бору,
На этой пустой, позабытой детьми карусели,
Где конь из картона,
Из мёртвого волоса хвост.
Лишь звёзды висели,
 над нами красиво висели,
И долгие строки
Легко доставали до звёзд.

1986

Я прохожу под яблонями лет
И выборочно яблоки срываю
Наивные...
 И сглазу открываю
Свободный доступ к старому стволу,

³ Владимир Семёнович Зотов – работник Калужского Краеведческого музея, в котором в 1946 году работал и Николай Панченко после того, как его выгнали из областной газеты за слишком резкий фельетон

Не столько сглазу, сколько просто глазу,
Что лишь увидит,
Как осудит сразу
Круги, морозобоины, паршу,
И тайную тропинку к шалашу,
В котором мне случалось не однажды,
В пустыню убежавши от людей,
Не яблоки, но яблоки грудей,
Прижав к щекам,
Не умереть от жажды...

О, боже, было ли оно –
Спасение на русских печках,
Купанье в подмосковных речках
И деньги – только на вино...
Не деньги, господи, гроши.
Всё остальное от природы,
От чуть подпорченной породы
Мы были зверски хороши.
Смертельны, как змеи укус,
И так – на миг! – необходимы.
И губ твоих древесный вкус
Мои – прекрасным! --
Находили.
Когда закат, когда – дергач,
И всё насквозь в росе вечерней
На узкой ленточке ничейной
Вдоль ограждений важных дач.

ЕГО СОВРЕМЕННИКАМ

Неужто Пушкину ума,
Чтоб не погибнуть, не достало?
Ума и сердца, ох, как мало,
Чтоб не погибнуть --
Тут нужна
Из ста хотя б одна струна
Фальшивая,

 чтоб сладко пела,
Когда любовь едва жива,
И каменная голова,
И душу ржавчина ризъела.

А эта пела бы и пела,
Лукавым тронута перстом.⁴

Нет Пушкина,
 так что же в том?!
Он не жилец здесь – вот в чём дело...
В разврате каменейте смело
Под дулом страха
И кнутом.

1986

Бог меня поберёт –
 я чего только в жизни не делал!
Мне бы небушко в клетку
На год изучать и не раз.
Конь меня из огня выносил –
 необузданный, белый –
И, роняя в дерьмо,
Исчезал, как виденье, из глаз.
.....

Бог меня поберёт /не скалу – для чего/ потому лишь,
Что ломился из этого,
Высадив окна летел
И цеплялся локтями
 за локти изломанных улиц,
И валялся в ногах.
И себе ничего не хотел.

1986

А вот эти стихи переписаны мной от руки на листочках – то ли их просто не было у Николая Васильевича, то ли он их диктовал мне по памяти... не всё можно было доверять бумаге... Два из них, когда ему ещё не было 20 лет...

Меня такое окружило общество,
Что я в семнадцать получаю отчество –
Отечество и Отечество, –
Не много ли
Завшивленному, злomu пацану?!

Отечество с кладбищами убогими,
С крестами и часовенками строгими,
С провалистыми потными дорогами
Длиною в бесконечную войну.

Ещё б немного!
 Отечество достало бы.
Не все глазей, и все глядят – не мало бы
На плечи эти, что давно трещат,
Как мост, что легкомысленно дошат.

Я был мостом почти четыре года
И пятый год, как высохшая гать.
Скриплю – забыли вовремя взорвать
По просьбе победившего народа.

1941, 1943

И тут невозможно удержаться от комментария. Автору 17 лет – это 1941 год. Последняя строфа – мудрость, которая нисходит на поэта независимо от возраста, нисходит, как неоценимый дар избранному Высшей мудростью, силой, "океаном разума", как писал Станислав Лем. Не много было в литературе того времени таких открытий без страха и оглядки на страшное окружение... не местное, не того огня, в котором он находился и который его покaleчил, но всей замученной тираном страны, растоптанной и изломанной волей одного, у которого

Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

Мне кажется, поэтому и не было листочка с этими стихами на столе Николая Васильевича... времена... как они любят повторяться в России...

Наверняка и в эфире не было этого стихотворения – не могло быть! Ни этого, ни следующего! Не раз же так происходило: во время записи врывается в операторскую "посланец" и что-то снимал по приказу сверху, или потом, когда я слушал уже записанную передачу в эфире, вдруг: Ох! Оборотилось что-то внутри – опять вырезали, сняли, искалечили!...

У Николая Панченко 14 поэтических книг, и он считал, что, может быть, только "Горячий след" не покорён редакторами, хотя в этот сборник полностью не вошла предложенная рукопись из-за того, что это было "серийное" издание с заранее определённым объёмом...

⁴ Эта строчка была искорёжена цензурой. Ныне восстановлена благодаря В.В.Шкловской.

Душа завязана узлом –
И не прямым, а бабьим, –
Торчат неведомо куда короткие концы.
Давно мы не работаем, и вроде как не грабим,
Но день и ночь жуём и пьём
Бездомные юнцы.

За что же кормишь ты меня и балуешь любовью,
Оборванная нищая,
Голодная страна?
Я начинаю понимать,
Что кровью, только кровью! –
За этот пир,
За этот спирт
Заплачено сполна.

1944

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 86

Что нам делать? Что нам делать?
Может, крыльями махать?
Может, хвост задраг и бегать?
Может, всем благодухать?

Тесен мир к исходу века,
Жизнь опасна и пуста.
И притом у человека
Нет ни крыльев, ни хвоста.

Это, маленький, не шутка.
Очень славно – хвост трубой.
Не забудь же – незабудка,
Цвет печально голубой.

Не забудь, как пахнет ландыш.
Как стрижёт ножнями стриж.
Всё запомнишь, всё уладишь.
Баю-баюшки, малыш.

17.07.86

МОИМ ВЕЛИКИМ ЗЕМЛЯКАМ

Павлу Филонову, Александру Чижевскому и др.

В России плохо с мужиками.
Чтоб с головою
Да с руками –
И не одна война виной,
И революции одной⁵
Не оправдать –

тоска их съела:

Попробуй посиди без дела
К беде Отечества спиной?!

Борцы,
Аскеты,
Сумасброды,
Земной презревшие уют,

Копают тупо огороды
И водку пьют,
Или не пьют.

Их нет в искусстве, нет в науке,
Их запах выдрали из книг,
Чтоб внуки их

и внуков внуки

Учились жизни
Не у них...

1956, 1961

Ну, что тут сказать?! Это в какие годы написано! Не удивительно, что тогда ни в одной книге Панченко, ни в одной подборке вы, читатель, их не обнаружите... потому и лежат они, напечатанные на листках, у меня в книге...

Как современны и в то же время, не одномоментны они! Как злободневны, точны и отмечены вечной мудростью! Такое доступно только классикам. Николай Васильевич захватил чутко, самое начало нового века и нового тысячелетия, и нового наступления на свободу... для этого совсем не обязательны "усища" и "голенища".

ИЗ БУДУЩЕГО

/если оно будет/

Трава убывает,
а люди всё косят,
Леса убывают,
а люди всё рубят,
Земля убывает – бесплодная глина,
Где горбились горы – клубится равнина.
Где реки – пустыни,
Долины сухие,
Где были хорошие люди – плохие...

А были ли, были
Великие травы,
Великие люди,
Достойные славы,
Великие горы – не горбища пыли?
Наверное были,
Наверное, были.

Куда же их дели?
Куда же их дели?!
В голодные годы всё выпили, съели
До голого камня – и с поля, и с луга,
И камень, и память о нём,
И друг друга...

1986

Вот так. Истинные поэты редко ошибаются в своих предчувствиях и предвидениях, а их произведения всегда современны и злободневны.

Люди, размышляйте, делайте выводы сами... пока не поздно...

31 июля 2011 года

⁵ Эта строчка была искорёжена цензурой и заменена.
Ныне восстановлена благодаря В.В.Шкловской.

НАД СТРАНИЦАМИ РОМАНА ТАНИ ВАРЕН

«На пути к VENUS DE MILO»
Филадельфия, 2011, 522 стр.

«И у звезды учись тому, что значит свет».
Осип Мандельштам

Объем первого романа Тани Варен – 522 страницы – не пугает, а манит. Собранные на обложке в неожиданном сочетании: ворон, Венера Милосская, какой-то замок с башнями, а поверх и сквозь него милое лицо современной девушки – озадачивают и притягивают. При чем тут ворон, почему Венера Милосская поименована на латыни, какие привидения обитают в замке, как зовут девушку?

С этими вопросами читатель открывает книгу, которая начинается авторским обращением к нему. При внимательном чтении не ускользнет нота личного удивления автора: как это ему удалось соткать художественное пространство «из хаоса, сна, абсурда, с одной стороны, и закономерности, упорядоченности, логичности, с другой»? Как хватило отваги «создать мир, который завтра будет не таким, каким он есть сегодня»? (стр. 5).

Ключевым словом всего повествования, по авторскому определению, служит слово «путь». Будем придерживаться этого ориентира, тем более что роман начинается и завершается движением. Мчится под землей в вагоне метро и летит через океан в Париж к Венере Милосской героиня по имени Эвелин Оскари в реальной сюжетной линии романа. В ирреальной части повествования Venus de Milo стремится к телу, кто жаждет встречи с нею.

«Мифология» пути богата и разнообразна благодаря семантической, смысловой многозначности слова «путь» – от античности и доныне. И сам путь как цель, и цель пути, и акт выхода в путь – часть жизненного пути – предполагает радость навстречу почти неизвестному. В данном случае – путь к Венере de Milo – эстетический путь. Его выбор нацелен на действие, труд, творчество, любовь, на жизнь прекрасного в веках и памяти человеческой, как путь к снету, *про-свет-лению*. Многозначность слова «путь» кроме прямого смысла содержит элементы древнего значения: преодоление, опасная дорога с препятствиями.

Кольцевая композиция романа подчинена общему замыслу – показать перевернутый мир: жизнь земную отразить в жизни небесной, соединить земную реальность с романтически-мистической духовностью. Это соединение с первых глав чтения представляется парадоксальным и даже нарочитым. Но, продвигаясь вглубь романа, начинаешь понимать, что подобная парадоксальность во многом результат того глубокого и противоречивого душевного опыта человека начала XXI века, который необходимо осмыслить художественно. Полагая, что в искусстве многое условно и долго еще будет условным, Таня Варен обращается к вечным образам, известным и вымышленным именам и судьбам, но для их воплощения находит собственные внешние приемы.

В композиции романа есть своя система: общий замкнутый круг, соединяющий начало и конец повествования, включает концентрические круги «быстротекущей жизни» со своими героями, локализованным пространством и линейным временем, «с его насущным хлебом, забывчивостью дня». Круг, а может даже шар «жизни иной», с мифо-поэтическим светом и «музыкой сфер», который становится зримым, осязаемым и выразимым. Есть начало жизни у каждого и конец без конца. «Там» «тайна

гроба» уже не страшит, тем более, если это «уютный гроб лилового цвета». Ушли быт, труд, душевные потрясения. Остался лишь «танец счастливого человека» и «снимите маски, господа!». Автор дает волю своей фантазии, юмору и, прекрасно ориентируясь в атмосфере абсурда, буффонады, хаоса, преобразует их в согласованное движение самостоятельных голосов, которые сливаются в гармоническое целое.

«Будь мир ясен, искусства могло бы не быть» – приводит в обращении к читателю слова Камю Таня Варен. И всем ходом своих художественных разысканий предлагает читателю еще одну гипотезу: не будь смерти, искусство не явилось бы. Путеводной нотой звучит эта мысль во вводной главе романа «Ворон». Велики литературные заслуги у ворона-птицы и ворона-символа в фольклоре и в поэзии. Эпюд о Вороне в романе Тани Варен, стилизованный под старинную притчу, задает тон всему повествованию, благодаря оригинальной поэтичности, аллегории и метафорическому богатству. Мысль о вечности, которая «медленно утягивает свой длинный хвост в бесконечность» (стр.14), опровергается предположением о двух вечностях: о *пред-вечности*, что протекла до рождения каждого, и *пост-вечности*, что наступит потом. Вечность и бесконечность могут означать пустоту мира, миражное пространство без координат. Беспредельность пространства соответствует бесцельности жизненного пути во времени. Кажется, и птичье гнездо, и колыбель ребенка качаются над бездной. Но вопреки вдохновенным суевериям, здравый смысл говорит нам, что жизнь – это свет между двумя черными вечностями. От абстрактных суждений вступления автор ведет читателя к событиям современным, недавно ужаснувшим мир.

Самые страшные сны Эвелин Оскари не сравнятся с реальностью нью-йоркского неба 11 сентября 2001 года. Кроме боли за погибших, ужаса перед умопомрачением их палачей, она испытывает леденящий страх, грозящий поглотить сознание. Чтобы противостоять этому, надо искать пути, на которых человек остается светом, а свет человеком. В человеке, по убеждению автора, в делах и днях его должна быть заложена некая врожденная светочность, «случезарность».

«Жизненный путь» – это движение по земле лишь с поверхностной точки зрения. Настоящие «преобразующие странствия» ведут в глубину души. Таня Варен продолжает повествование в манере несобственно-прямой речи, вовлекает мысль и настроение читателя особой суггестивностью, авторским внушением неоспоримой ценности человеческой жизни в самых высоких ее проявлениях, отразить которые, удержать во времени под силу только искусству.

Роман Тани Варен многолюден и разнолик. Герои романа предстают в разных возрастах – от младенца до человека преклонных лет – разными по социальному, психологическому статусу и опыту. Наблюдая за их мыслями, суждениями, поступками, читатель открывает для себя, что мыслить человека научили страсти.

Страсти наслаждения и страсти страдания ведут к понятиям добра и зла, и нет абсолютного добра и зла. Сильные переживания или рождают сознание своей силы, или сознание своего ничтожества, учат действию, учат искать его смысл и оправдание, требуют не быть безразличным к самому себе.

Эвелин Оскари настойчиво размышляет над причинами человеческих отклонений от нормы, ее мучает врожденный дефект, и она ищет пути исцеления, если не физического, то духовного (стр.29).

Острые переживания романтического и даже мистического характера связаны у Эвелин Оскари с чувством любви. Оно представлено в романе тонкой градацией:

ожидание любви и встреча, свидания и разлуки, отречения и надежды. Особое место в ее мечтаниях и исканиях занимает обожествленный, идеализированный образ Венеры Милосской. Почему в нем заключена такая психологическая глубина, гуманистические свойства и возможности человеческой личности? Состояние эстетического удовольствия связано именно с преодолением трудности понимания замысла и авторского переживания изображенного явления. Оказывается, что необходимое условие того, что данный объект будет воспринят как эстетический – это невозможность его использования. Дошедшая до нас через века статуя Венеры Милосской не имеет приложения, не имеет цели, а несет только совершенство своей формы – она сама своя цель. И любованье ею – великое наслаждение, награда за работу восприятия. Кант называл эстетический объект источником «незаинтересованного удовольствия». Тогда зачем он? По убеждению Тани Варен и ее героев, тот, кто способен раствориться в совершенном произведении искусства, освобождается от страха, от уродства жизни, которая всегда слишком коротка, недостаточна и скупа на радости.

В рациональных буднях современного быта и бытия явившаяся из глубины веков мраморная, каменная Венера стала культовым знаком, символом и снова заставляет думать, что было раньше – божество или его изображение? Остается предполагать, как Андрей Белый, что «не статуя Аполлона, Диониса, Венеры суть символы, а мы символы Аполлона и Венеры...» (А. Белый «Театр и современная драма», 1907). Идея «бессмертия человека» смущает умы, но мысль о бессмертии человеческого, гуманного, драгоценна и восхитительна.

По легенде, «звездные письмена», метеориты, падая, возвращают кого-то на землю. Возвращают во снах, вымыслах, музыке, поэзии. И на страницы романа Тани Варен спускается с небес и молчаливый философ Григорий Сковорода, и говорливый мистический писатель Г., которого легко узнать по первым словам (это одни из самых вдохновенных страниц романа!) и многие другие.

Можно говорить подробно о выборе действующих лиц, о своеобразии диалогов, предметном ряде, о взаимодействии реального и фантастического, о неожиданном использовании слова и цвета, искать и находить стилевые и смысловые неточности. Но интереснее наблюдать, как возникает «космос» из взаимовлияния вселенского и индивидуального времени, как в замок с круглыми башнями, у которых нет ни входа, ни выхода, одна из «вечностей» «медленно утягивает свой длинный хвост» и укладывает его кольцами, чтобы мысли о смерти не отвлекали людей от жизни, труда и творчества. Потому что вечность ограничена памятью, и с физической смертью жизнь не заканчивается. По старинному верованию, мы живем ровно столько, сколько сохраняются наши имена. Вот и у каменной Венеры Милосской чудесным образом сохранились имя и место рождения.

По своему жанру роман Тани Варен «На пути к Venus de Milo» относится к современному типу «романа будущего», адресованного активному читателю, настроенному на реально-фантастические объекты. Он допускает множество интерпретаций, читатель готов его продолжить и выстроить свой мир. При самом фантазмагорическом устройстве эта модель устойчива, потому что в основании ее – «вечные ценности». И хотя в нем встречаются знакомые «говорящие коты», «пути в заоблачные сны», что-то напоминает гротескный бал у Сатаны, основной проблемой романа Тани Варен остается проблема выживания в условиях глобальной угрозы, и автор ищет средства индивидуальной психологической защиты. Традиционный социально-фантастический гротеск, пограничный между бытом и фантастикой, получает новое

продолжение, притом что сегодня все труднее различить абсурд и реальность. Роман Тани Варен, живой и занимательный, динамичный и поэтичный, имеет свои секреты и тайны искусства слова. Разгадывать их – большое удовольствие.

Харьков, Украина

Борис Дмитриевич Григорьев (1886-1939) – русский художник. Учился в Строгановском училище в Москве, Высшем художественном училище при Петербургской академии художеств. Борис Дмитриевич был членом объединения «Мир искусств», сотрудничал с журналами «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Григорьев создает графические циклы «Intimite» («Интимность») на основе парижских впечатлений; цикл «Расея» (1917-1918, живописные полотна и рисунки), запечатлевший образы русских крестьян. В 1919 г. Борис Григорьев вместе с женой и сыном в лодке тайно отплыл в Финляндию. Оттуда переехал в Берлин. Жил во Франции, где в Париже создал альбом «Лики России». Участник выставок в Венеции, Праге, Париже, США (в Пенсильванской Академии художеств и в Институте Карнеги). В конце 1927 г. приобрел участок земли на Ривьере, в городе Кань-сюр-Мер, на котором построил дом с мастерской.

В 1928 г. Григорьев по приглашению чилийского правительства отправился в Сантьяго для преподавания в Академии художеств. Однако после очередной революции, потрясшей Чили, контракт с художником был расторгнут. После многомесячного странствования по южноамериканским странам Григорьев вернулся в Европу. В 1929-1930 гг. он создал монументальное семи-метровое полотно «Лики мира», посвятив его Лиге Наций.

Григорьев владел даром слова, писал прозу, стихи, очерки, воспоминания. Сохранилась его обширная переписка с друзьями. Художник написал изумительную галерею портретов современников. На них предстают такие видные деятели своего времени как Рерих, Добужинский, Коненков, Горький, Есенин, Клюев, Мейерхольд, Шаляпин, Рахманинов.

ЛЕОНИД РЫБАКИН

ДВЕ ВСТРЕЧИ В «БОРИСЕЛЛЕ»

В ночь с 8 на 9 февраля 1939 года во Франции в небольшом городке Кань-сюр-Мер под Ниццей закончил свой жизненный путь замечательный русский художник Борис Дмитриевич Григорьев. Было ему пятьдесят три года.

Из всех участников прославленного объединения «Мир искусства», оказавшихся в эмиграции, ему одному и за рубежом удалось продолжить карьеру, развить свой редкий талант до наивысшей точки.

Родился Борис Григорьев в Москве в 1886 году, детство провел в Рыбинске на Волге, с юных лет обнаружив большое дарование и раннюю самостоятельность. Тринадцати лет он уже учился в Москве, в Практической академии коммерческих наук, однако вскоре бросил её, окончательно выбрав живопись. Учился в Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище в Москве,

затем в Высшем художественном училище при Петербургской академии художеств. Едва достигнув двадцати,

женится на Елизавете Георгиевне фон Браше (1883-1969), соученице по Строгановскому училищу.

Знакомство с Давидом Бурлюком, Велимиром Хлебниковым, Василием Каменским, поездки в Швецию и Норвегию, посещение Австрии, работа летом 1913 года в Париже расширяют кругозор молодого художника, знакомят с новейшими европейскими художественными течениями, обогащают впечатлениями.

В 1913 году на очередной выставке объединения «Мир искусства» впервые появляются работы Бориса Григорьева.

Объединение художников, заявившее о себе ещё в 1898 году, выступало против академической рутинности. Наследуя от передвижников идею продвижения искусства в массы, художники ратовали за синтез живописи, театра и прикладного искусства. В объединение входили и участвовали в его выставках такие разные художники, как Врубель и Левитан, Бакст и Серов, Сомов и Малявин, Серебрякова и Петров-Водкин, Рерих и Судейкин... Благодаря им русская живопись расцвела, пополнилась новыми сюжетами и приёмами, освободилась, по выражению идеолога объединения Александра Бенуа, от диктата литературы, стала вровень с современной европейской.

Взгляды мирискусников разделял и Сергей Дягилев, совершивший такое же преобразование русского балета, чьи триумфы на Западе во многом обеспечили Бенуа, Бакст, Судейкин, Рерих.

Борис Григорьев продолжает участвовать в выставках товарищества «Мир искусства» вплоть до 1918 года. Александр Бенуа восхищён его талантом. Константин Сомов, не будучи поклонником Бориса Григорьева и осуждая чрезмерную самоуверенность молодого художника, тем не менее, запишет в своём дневнике: «замечательно талантлив».

Помимо живописи, заказных портретов, в эти годы художник оформляет «ниги», рисует для журнала «Сатирикон», работает для театра, вместе с А. Яковлевым и С. Судейкиным расписывает артистическое кабаре «Привал комедиантов», выпускает альбом эротических рисунков «Intimité». А к годовщине Октябрьской революции украшает Английскую набережную в Петрограде.

Как и многие интеллигенты, призывавшие и торопившие приход революции, Борис Григорьев вскоре в ней разочаруется. В 1919 году с женой и четырехлетним сыном Кириллом он тайно пересёк Финский залив на лодке. Из Финляндии переехал в Берлин, а с весны 1921 года живёт и работает во Франции.

Здесь он создаст свои самые замечательные портреты, продолжит цикл «Расея» и воплотит долго вынашиваемый замысел «Лики мира».

В конце 1920-х гг. приобретён участок земли в Кань-сюр-Мер, на котором выстроен дом, гордо названный вилла «Бориселла» (название виллы составлено из имён художника и его жены, которую называли Эллой). Григорьев любит свой приют вблизи Лазурного побережья, но жизнь заставляет слишком часто покидать дом ради заработка. Трудоспособность его по-прежнему вызывает восхищение, выставки следуют одна за другой и, тем не менее, нужда преследует его. Он даёт уроки живописи в Париже, едет в Нью-Йорк в надежде продать картины, пишет портреты банкиров и богачей, соглашается преподавать в академии художеств в Чили. Всё обрывается неизлечимой болезнью...

С середины 1970-х гг. в Советском Союзе одна за другой в Москве, Ленинграде, Киеве начали открываться выставки мирискусников навстречу юбилейным датам — Врубель, Бенуа, Сомов, Добужинский... Кажется, с них, наконец, снято клеймо декадентов, изменников родины.

Выходят робкие, определённым образом отредактированные монографии. Бориса Григорьева среди них нет.

Долгое время единственной известной картиной Бориса Григорьева остаётся «Портрет Всеволода Мейерхольда» (1916) из собрания Государственного русского музея. Необычный во всём. Удлиненная изломанная фигура Мейерхольда в чёрном фраке и цилиндре резко контрастирует с загадочным персонажем, облачённым во всё красное и служащим фоном для фигуры режиссёра.

Портрет по сей день привлекает внимание искусствоведов. Появляются новые трактовки, вплоть до пророческого предсказания художником трагической судьбы создателя революционного театра. И всё же остаётся тайной, почему портрет запоминается сразу и навсегда.

Первой за возвращение творчества большого русского художника из небытия берётся научный сотрудник Псковского музея-заповедника Римма Никандровна Антипова. Её стараниями во Пскове в 1989 году состоялась первая в Советском Союзе выставка работ Бориса Григорьева к пятидесятилетию памяти художника — живопись и графика из музеев и частных собраний. Через некоторое время, расширенная, она открылась в Москве, в залах Советского фонда культуры, при поддержке председателя фонда академика Д. С. Лихачева. Небольшую часть выставки привезли и к нам в Киев.

С тех пор в художественных музеях разных городов я старался найти картины заинтересовавшего меня художника.

Живя с 1993 года во Франции, я продолжал вести переписку с друзьями и знакомыми. Однажды в письме одного из них, сотрудника того же Псковского музея, читаю: «Знаете ли Вы, что в Кань-сюр-Мер под Ниццей живёт сын художника Бориса Григорьева?». И просьба-предложение посетить его на вилле «Бориселла».

Адрес приложен, но сделано предупреждение: «Характер сложный. Может и не принять...». Адрес дала Р.Н. Антипова.

В сентябре 1998 года мы с женой Николь в очередной раз в гостях у друзей в Вансе. Обсуждаем, как нам осуществить визит на «Бориселлу». В справочнике телефона нет. Решаем разыскать виллу по адресу.

Едем в Кань-сюр-Мер, в старый город, приютившийся на горе. Роскошь на каждом шагу. Дома-крепости, виллы с бассейнами окружают высшую точку — средневековый замок династии Гримальди, королей Монако. Теперь это музей. Улица Montée de France спускается круто вниз, одним боком прижимаясь к горе. Под ногами кое-где размытое мощение, трудно идти. Хилую калиточку, криво повисшую на одной петле, прошли, не заметив. Улица кончилась. Повернули назад. Две женщины, пожилая и помоложе, вышли потрясти ковёр.

— Мы ищем виллу художника Бориса Григорьева.

— Это чуть выше. Там такая калитка...

— Но ведь нет ни номера, ни звонка...

— А вы входите, не бойтесь.

Войти постеснялись. Решили оставить заранее приготовленное письмо, где объяснялось, кто мы и от кого. Но нет и почтового ящика. Правда, какие-то уведомления оставлены почтальоном прямо на земле. Присоединили и мы с ним своё послание. Без особых надежд.

На следующий день раздался телефонный звонок. Женский голос сообщил, что Кирилл Борисович нас ждёт. Для храбрости берём с собой подружку Аник. Но как быть? По моим понятиям, нельзя явиться в дом с пустыми руками. Мои спутницы категорически против — во Франции это не принято. В качестве компромисса на всякий случай куплен шоколад «Леонидас».

На этот раз у калитки оказался высокий старик в перепачканной футболке с капюшоном, какие привычно



Борис Григорьев. Живопись. Консьержка (фрагмент).

видеть на подростках. Занят какой-то починкой. Оказывается, это и есть Кирилл Борисович Григорьев. Называем себя. Нас приглашают пройти к круглому столу под открытым небом. На столе, возле которого мы присели, в закопчённой кастрюле и на сковородке что-то недоеденное. Мы еще не знаем, что на вилле отключен не только телефон, но и свет. Ветер крутит под ногами мусор, пластиковые кульки...

Я неуверенно начинаю говорить про свой давний интерес к художнику Борису Григорьеву.

— А как поживает Римма Никандровна?

Приходится сказать, что я незнаком с Антиповой, адрес получил из рук посредника. Явное разочарование на лице Кирилла Борисовича. Несколько секунд, очевидно, решается вопрос, как с нами поступить. Наконец, нас приглашают в дом, который неясно вырисовывается сквозь кусты и деревья. По пути всё те же признаки запустения.

Проходя мимо небольшого флигеля (окна затянуты плёнкой), Кирилл Борисович роняет: «Наташа, они пришли». И поясняет: «Тут живёт одна женщина...».

И вот мы в небольшом помещении, кабинете, как обозначил его Кирилл Борисович. Окон нет, часть потолка застеклена.

— Тут раньше была мастерская отца, — продолжает Кирилл Борисович, — Потом половину дома продали, возвели стену. Это то, что осталось.

Пространство площадью не более десяти квадратных метров заставлено сплошь. В углу громоздится раздвижной мольберт. Благородного вида бюро окончательно испорчено сыростью. Несколько полок и грубо сколоченный стеллаж наполнены книгами, папками, скоросшивателями. Томики маркиза де Сада соседствуют с «Повестью о настоящем человеке» Б. Полевого, книги на русском языке с книгами на французском. Старинный сундук, на нём горка чемоданов. Вдоль стен по периметру множество пустых рам и что-то крупное, запакованное в бумагу. На стене против входа приковывают внимание две картины Бориса Григорьева: автопортрет художника и портрет подростка-сына. Слева на мольберте ещё один портрет. В раме, гармонирующей с серебристым колоритом изображения, задумчивое лицо молодой женщины.

— Это моя мать. Сохранившийся фрагмент большого полотна.

Центр кабинета занимает большой стол, на поверхности которого тоже книги, бумаги, множество предметов, две пары очков. Вокруг стола остались лишь узкие щели-проходы. Хозяин садится за стол, для меня и Анис из-под завалов высвобождены шаткие стулья, Николь проваливается в кресло.

Теперь можно разглядеть, как красив этот человек. На загорелом лице выделяются ярко-голубые глаза. Ему восемьдесят три, как объявляет он сам, а на вид не более семидесяти. Плечист и крепок. Густая тёмная шевелюра. И только полоса седых волос надо лбом свидетельствует, что лишь сравнительно недавно их перестали красить в каштановый цвет.

Рассказываем, как разыскивали «Бориселлу». Оказывается, дорогу нам указала дочь известного московского коллекционера Владимира Осиповича Гиришмана. Его красавица-жена и он сами знакомы по портретам Серова и Сомова. В Кань-сюр-Мер Григорьевы оказались с Гиришманами соседями.

Разговор снова вернулся к Антиповой. Во время своего краткого визита на «Бориселлу» в 1996 году она пообещала организовать в Пскове выставку художников из Кань-сюр-Мер. С ними рассчитывал приехать в Россию и Кирилл Борисович.

Из бумаг на столе извлёк и протянул письмо. В нём Антипова сообщала о трудностях с организацией выставки. По всему было видно, как Кирилл Борисович надеялся на эту поездку, как нетерпеливо ждал её. Решение затягивалось... Выставке так и не суждено было состояться.

Появляется Наташа. Родители Наташи русские, она свободно говорит по-русски. Я делаю непринятое в этой стране подношение. Приятно было через некоторое время услышать:

— Господа, шоколад великолепен! Большое спасибо.

Нам предлагают посмотреть альбом с фотографиями практически всех работ, выполненных Борисом Григорьевичем. Здесь и острые по характеристике бретонские типы, немецкие бургеры, портреты простых людей — рыбаков, садовников, мясников, молочниц, и заказные портреты знаменитостей — Горький, Шаляпин, Рахманинов, актёры МХАТа. Автопортреты и любовно выполненные портреты единственного сына. Жанровые сцены, пейзажи, бесчисленные рисунки, наброски, сделанные в разных странах в разное время. А помимо этого — буклеты, афиши, фото, газетные рецензии выставок в Берлине, Париже, Нью-Йорке, Милане, Праге, Рио-де-Жанейро. Прежде чем расстаться с картиной, художник её фотографировал. Так поступил и сын художника с недавно проданным полотном из знаменитого цикла «Расея». На снимке картина, а рядом с ней Кирилл Борисович и новые владельцы — Вишневская и Растропович.

— А здесь, — показывая на толстую папку, — все письма к отцу Врангель.

«Генерала», наивно подумал я, не зная тогда, что в активной переписке с художником состояла мать генерала — баронесса М.Д. Врангель, работая над словарём русских художников в эмиграции.

Рассматривать фотографии, читать подписи, стараться запомнить и одновременно вести разговор трудно. Как жаль, что до сих пор нет достойной книги о замечательном художнике, где всё это должно быть представлено.

— Почему же нет, — возражает Григорьев и протягивает тоненькую монографию Т. Галеевой, изданную в России. Листаю и убеждаюсь, что это лишь ничтожная часть того богатства, что в данный момент держу в своих руках я. Кирилл Борисович говорит, что не обойдён вниманием. Исследователи и коллекционеры разных стран пытаются что-то получить из его рук, завладеть картинами, рисунками, архивом. Называет имена какого-то итальянца и француза Эрне Герра. Всем им дан отпор.

Думается, что приятное для нас расположение и доверие хозяина заслужено тем, что нам ничего не надо, нет в нас никакой корысти. Нам только жаль, что такие сокровища спрятаны от всех в столь ненадёжном убежище.

Интересуемся чугунной фигурой обнажённого атлета, стоящей неподалёку от стола.

— Это я в девятнадцать лет. Лепил один знакомый скульптор.

И с улыбкой про двух тряпичных обезьянок, сидящих на бюро:

— Это мои любимые с детства игрушки...

На предложение сфотографироваться Кирилл Борисович отзывается охотно, обнаруживая привычку вызывать восхищение, служить моделью. Стараюсь попутно запечатлеть обстановку.

Наташа предлагает нам апельсиновый сок в запylённых фужерах. Незаметно прошёл час. Напоследок Кирилл Борисович предлагает посетить могилу родителей. Тут выясняется, что его двухметровый рост и восемьдесят три года вызывают серьёзную проблему при попытке сесть в наш маленький автомобиль.

Приехали. Обращённое к югу небольшое кладбище Кань-сюр-Мер амфитеатром расположено на склоне горы. Как и на большинстве французских кладбищ, особенно в провинции, нет деревьев, из-за чего оно выглядит обнажённым. Высокое надгробие, крест – всё из бетона. И в нём же, сделанная «квадратными буквами» по-французски надпись:

«Семья Григорьев – де Браше».

Сесть в машину второй раз Кирилл Борисович решительно отказался. Предпочёл вернуться пешком.

Как и обещал, я выслал фотографии, потом несколько газетных вырезок, касающихся художника Бориса Григорьева. Наташа ответила, а Кирилл Борисович поставил свою размашистую подпись.

В ноябре 2000 года, оказавшись снова в Вансе, собрались с Николь навестить Кирилла Борисовича уже без предупреждения. Калиточка, лишившись последней петли, стояла прислонённая ко входу. Подходим к дому, зовём – никого. И в кабинете за весьма условной преградой в виде картонного листа пусто. Впечатление, что Кирилл Борисович ненадолго вышел. Подождали минут двадцать. Напрасно.

С друзьями взволнованно обсуждали, что же это значит? Доступный всякому прохожему безлюдный дом... Наутро решено было ещё раз проведать и, в случае чего, идти в мэрию, звонить в колокола... И, может быть, следует отложить намеченный на завтра отъезд домой.

На этот раз из флигеля раздался слабый отклик. Там на полу в куче грязных одеял едва различили лежащего Бориса Григорьевича. Просим прощения за вторжение, но накануне мы были так напуганы... Смущён и Кирилл Борисович, предлагает подождать его в кабинете.

Приходит. Заметно постарел. Сед. Не по сезону летняя маечка подчёркивает худобу. Недавно вернулся из больницы, где лежал с переломом. Оказывается, вчера Кирилл Борисович ходит в магазин за продуктами. Мэрия даёт какие-то талоны. Представляем его, ковыляющим вверх по булыжникам улицы Montée de France...

– А где же Наташа?

– Она осталась в Ницце. Ей там лучше.

– Но как же Вы один обходитесь?

– Ничего. Ко мне тут навещается одна пожилая дама из русских.

– Вчера мы заходили к Вам. Дом открыт...

– Сюда никто не войдёт.

– Может быть, надо что-нибудь сделать? Скажите...

– Нет, спасибо.

– А в следующий раз приедем, как узнать, где Вы, что с Вами?

– Сосед будет в курсе... (С улыбкой) по роду своей профессии. Он – бывший полицейский.

Оставляем две баночки мандаринового варенья из сада друзей, которыми нас снабдили в дорогу. Прощаемся.

И вот ноябрь 2002-го. Дожливый, холодный. Ещё не подойдя к дому, вижу на земле книги. Поднял одну из них. «Анна Ахматова. Стихи», год издания 1922. Размокший томик потёк в руках как жидкое тесто. Вход в кабинет зияет. За порогом безобразная картина разорения. Исчезли мольберт и стол, опрокинуто бюро, брошены раскрытые чехмоданы, на полу толстый слой отсыревших бумаг, журналов, брошенных с полок книг. И голые стены...

О кончине Кирилла Борисовича в феврале 2001 года узнали позднее.

В последующие приезды в Ванс тщетно пытались выяснить, что стало с тем, что сохранялось в «Бориселле». Не смог ответить на этот вопрос хранитель музея Кань-сюр-Мер, недавно занявший своё кресло. Со слов Кирилла Борисовича мы знали, что музею принадлежит несколько полотен его отца. Можно ли их увидеть? Но и в этом нам отказали, сказав, что картины в запаснике, а компьютерный каталог музея ещё не создан. Хранитель ничего не знал о русском художнике, как и о том, что неподалёку от музея находится разорённая вила, где до последнего времени обитал сын художника. Согласился пройти с нами к «объекту», обещал навести справки. Но в следующем году на его месте оказался другой человек.

К соседу-полицейскому, вспоминая рекомендацию Кирилла Борисовича, обращаться не хотелось.

Прошло время. Борис Григорьев вновь по заслугам занял место в ряду самых известных русских художников. В 2011 году в Русском музее Санкт-Петербурга, а затем в Третьяковской галерее в Москве состоялась большая ретроспективная выставка и вышла, наконец, прекрасно отпечатанная в Италии монография, о которой мы с Кириллом Борисовичем мечтали. Воспроизведены в ней и две картины из музея в Кань-сюр-Мер. А тех, что были в «Бориселле», увы, нет.

Но вот совсем недавно – открытие на просторах интернета: в ноябре 2011 года один российский аукционный дом продал «Портрет Кирилла, сына художника» (1931) за 25 миллионов рублей (около 800 000 долларов). Тот самый портрет, виденный нами на «Бориселле». Указывается даже, что происхождение полотна – собрание К.Б. Григорьева. Значит, всё-таки не пропали картины художника...

Уже десять лет, как не стало Кирилла Борисовича. А я всё продолжаю думать об этом необычном человеке.

Избалованный с детства Нарцисс. Выпускник Сорбонны с несложившейся карьерой, гордо пренебрегший французским гражданством. Глава, скорее всего, воображаемой «Ассоциации друзей художника Бориса Григорьева». Сын, преданный памяти отца, собравший ценнейший архив и, одновременно растративший доставшееся наследство, последние годы живший, как клошар.

Всё совместилось в одном лице. А перед глазами встаёт исчезнувшая навсегда «Бориселла».

Chamalières. Декабрь 2011.

АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

СОЛЬ НА ХВОСТЕ

*Старый Мазай разболтался в сарае.
Некрасов*

Люди не меняются: какими родились, такими и остаются. В университете, в котором я преподаю, однажды организовали шуточный диспут между двумя командами. Я подготовил речь со ссылкой на несуществовавшего средневекового философа, оговорив, что сохранилось только одно его изображение: будущему ученому там пять месяцев. У меня есть фотография, сделанная именно в таком возрасте: на животике лежит голый карапуз (то есть я) и тарашит глазки. Я попросил этот снимок увеличить. Девушке, которая делала копии, я в некотором смущении (не детскую ли порнографию я размножаю?) сказал: «Это мой внук. Хочу повесить его первый портрет на стену». «Какой внук?» – сказала она равнодушно. –

Это Вы». «Почему Вы решили?» – удивился я. «Сразу видно», – ответила она. Ее реакция тем более поразительна, что однажды я показал своему аспиранту визу, выданную мне на предмет эмиграции (на ней мне 38 лет). «Это Вы?» – не поверил он. Значит, не всегда мы так похожи на себя, как в младенчестве. Как же я дошел до слияния с самим собой? Об этом и рассказ, но прежде небольшое отступление.

Один раз в жизни я надумал вести дневник. Мне было девятнадцать лет, и полгода я честно что-то писал каждый вечер. Но к своему ужасу я обнаружил, что ни со мной, ни во мне не происходит ничего, заслуживающего увековечения. О вещах сугубо интимных я рассказывать стеснялся. Нынешние молодые люди пускают в интернет свои деяния в постели и делятся любыми переживаниями со всем миром, но, хотя я жил с матерью в одной комнате в коммунальной квартире, в какой-то уголок личной жизни я не собирался пускать никого, даже белый лист бумаги. О политике я не заикался из осторожности: мне и запереть-то дневник было негде. Книги я, конечно, читал, но они были не столь существенны, чтобы рассуждать об их достоинствах и недостатках (хотя я и пытался). Со знаменитостями даже самого скромного калибра мои пути не пересекались. «Встречаешься с интересными людьми?» – любила спрашивать меня моя знакомая, в недалеком прошлом предмет моих безуспешных атак, а позже столь же безуспешно охотившаяся за мной. «Смотрю в зеркало», – неизменно отвечал я.

Когда-то существовала серия книжечек, выходивших под шапкой «Если бы *** вел дневник» (Верди, например, или Шуман: в их основе лежали письма и разные материалы). Эти книги пользовались немалой популярностью, так как речь в них шла о великих людях. Кое-что приобретает ценность задним числом, как, например, дневник англичанина Пипса (Pepis'a): семнадцатый век канул в прошлое, и столь подробной картине той эпохи нет цены. Но летопись моей жизни оказалась нутужным занудством, и я дневник уничтожил, о чем никогда не пожалел.

Впоследствии я не раз возвращался к мысли, какая бурная, страшная, но по сути своей скучная жизнь досталась поколениям, родившимся после 1917 года. Это я понимал даже в молодости, когда сочинил для домашнего употребления стишок: «Кому-то выдали патент / на громы революций, / а наш брат сразу импотент, / чуть выйдет из поллюций» (1956 год). Постоянная борьба за корку хлеба, дикая скученность, всепоглощающий страх, преодолимое зло, объявленное высшим добром, и тоска по недоступной нам мировой культуре – вот, что осталось в памяти. В восьмом классе мой школьный приятель спросил меня: «Ты знаешь что-нибудь о великом теноре Энрико Карузо?» Я никогда не слышал этого имени. В музыкальной школе, в которой я учился, говорили, что и Лист «грешил формализмом». В то же время другой приятель принес мне зачитанное до дыр издание «Декамерона». Я читал, прыгая чуть ли не до потолка, не веря, что такое бывает. Царила эпоха юношей с упрямой прядью на лбу и веселыми искорками в глазах и их подруг, безмятежно спавших на узких девичьих постелях. Днем они работали, преодолевая с помощью коллектива временные затруднения, а вечерами учились. И веселились мы, и влюблялись по отработанному стандарту. Если кому-то скука стелила ложе, так это нам: войны войнами, а скука скукой.

Я иногда думаю, были ли у меня в детстве и юности события, которыми я горжусь до сих пор. Таких событий набегало целых три. Когда Гераклу приказали очистить конюшни царя Авгия, он лег и уснул. Во сне (так говорилось в детской книжке) богиня мудрости Афина шепнула

ему, что надо построить запруду: вода хлынет и унесет навоз. Миф об авгиевых конюшнях я прочел, когда мне было восемь лет, и оценил его: Афина всегда помогала Гераклу – помогла и на этот раз, чему я очень обрадовался. А года через два я сообразил, что шепот Афины – это иносказание: просто герою пришла в голову хорошая («мудрая») мысль. На самом деле для мифологического сознания верен лишь наивный смысл (Афина именно и надоумила Геракла, как ему следует поступить), но для ребенка выход за пределы очевидного толкования – серьезный шаг к постижению мира. Я перестал понимать всё услышанное буквально.

Второе событие связано с геометрией девятого класса. Дома я сел решать заданную нам (из Рыбкина) задачу. Я легко решил ее и захотел проверить результат другим способом, менее традиционным, но, конечно, не мною придуманным, и при проверке получилось, что задача не имеет решения, потому что изначальные условия ошибочны, вернее, несовместимы. До начала занятий я поделился сомнениями с учителем. Он, разумеется, знал Рыбкина наизусть, но внутренняя противоречивость этой задачи оказалась для него новостью. По договоренности с ним на уроке я вызвался пойти к доске и повторил рассказ. Хотя в классе уже частично знали, о чем пойдет речь, детектив оказался увлекательным. Произвести впечатление даже на хорошего учителя не так трудно. Одноклассники же за пределами спортзала к восторгам не склонны, но к развязке мои слушатели будто окаменели, и только кто-то (не сразу) сказал: «Да-а-а». Это был величайший триумф моей жизни. Достался он мне случайно. Математическими талантами я не блистал (о чем ниже), но всё равно я жалею, что забыл содержание той задачи и прием, которым мне удалось опровергнуть ее условие.

Последнее откровение посетило меня примерно в то же время. Моя мать преподавала в школе, так что летом она была свободна. Отпуск мы обычно проводили в Прибалтике. Покупка плацкартного билета в направлении Ленинград-Вильнюс напоминала осаду вражеской крепости, но еще сложнее было вернуться домой. С первого дня пребывания на даче наши имена заносились в список, к тому времени уже кем-то начатый. Каждый вечер следовало отмечаться (не отметишься, вычеркнут). С нами довольно часто ездила на дачу семья хороших знакомых: отец – инженер, мать – учительница музыки, как и моя, сын почти на два года старше меня. Отец слыл умнейшим человеком (в те годы я принимал всеобщее мнение за истину), и однажды я ему сказал, что хорошо бы ввести систему обратных билетов. Его эта мысль крайне позабавила: «Так ведь все захотят возвращаться в один день!» В его заключении была доля истины: большинство отдыхающих приезжали с детьми, и самыми желанными числами отъезда оказывались 24-26 августа. Афина не шепнула мне, что в горячий сезон можно было бы пустить несколько дополнительных поездов: любой дурак понимал, что такие чудеса могли происходить только при коммунизме. Я пояснил, что, конечно, кому-то достанутся менее удобные числа, но ведь все мы так или иначе возвращаемся к первому сентябрю! На том разговор и закончился; моя глупость не требовала дальнейших доказательств. О существовании обратных билетов я узнал в Америке, куда попал в 1975 году. Я до сих пор помню свой первый разговор с самолетным агентом, спросившим меня: «А когда обратно?» «А можно?» – изумился я. Тогда настала очередь удивиться агенту. Таким мой актив: раннее открытие переносного смысла некоторых высказываний, преодоление очевидного (Рыбкин) и изобретение обратного билета.

Странно, что глубокий след в детской памяти оставляют сущие пустяки. Летом 1946 года мы с матерью уехали в Ленинградскую область. Там было село, а в нем небольшой стекольный завод, на котором главным бухгалтером работала одна из незамужних сестер погибшего в начале войны отца. Село называлось Торковичи (несколько часов по Витебской железной дороге). От него после боев остались одни развалины, но заводик существовал. Для меня Торковичи были раем. Я впервые увидел лес (кстати, кишевший гадюками и медянками и заваленный неразорвавшимися снарядами), ягоды, грибы, реку. Чудовищных условий (уборная не во дворе, а просто никакой: кусты за домами; дальний колодец; полное отсутствие магазинов) я не заметил, да и трехлетняя эвакуация не избаловала ни взрослых, ни детей. Работавшим на заводе выдавали на откорм по пять утят. К сожалению, тетка заявила, что уткам надо плавать и загнала их в таз с водой. Двое самых маленьких захлебнулись. Возможно, это единственный случай в истории, когда утки, попав в воду, утонули. Кроме птиц, выдавали крошечные участки рядом с домом, а это означало не только картошку, но и морковку, лук, огурцы, и даже несколько веток помидоров. Огород надо было полоть, и, как ни странно, это занятие мне очень нравилось. Я и сейчас думаю о нем с удовольствием, несмотря на ненавистные полевые работы в студенческие годы. («Поздравляю вас, – объявила нам деканша в начале пятого курса. – Партия и правительство оказали нашему институту большую честь: вас посылают на целину». Две недели мы ехали в теплушках в Омскую область, примерно столько же провели там – трудно поверить: собирая картошку! – и десять дней ушло на возвращение домой. Зато я видел столб с надписью на одной стороне «Европа», а на другой – «Азия» и сказочной красоты уральский смешанный лес осенью.) Через несколько лет после Торковичей мы проводили лето в Эстонии. Огород (прямо тут же) довольно основательно зарос, и я спросил хозяйку, не разрешит ли она мне его выполоть. Она охотно согласилась. У нее был сын, мой сверстник, с которым я дела не имел: подростки еще больше, чем родители, по возможности сторонились «русских». Мать что-то сказала ему. По ее тону я обо всем догадался без перевода: «Вот видишь, дачник предложил свою помощь, а тебя не допросишься». Мальчик кинул в мою сторону взгляд, исполненный такой ненависти, с которой не смотрел на меня никто ни до, ни после. Его взгляд жжет меня до сих пор. Если бы я мог, я бы посадил те сорняки обратно. Может быть, и он помнит меня, и это еще ужасней. А может быть, он давно умер. Тогда можно спать спокойно.

Другой эпизод комичен. Мой дядя всю войну оперировал раненых в ленинградском госпитале, который разместили в помещении бывшего Пушкинского лицея (отечеством лицею Царское Село служило не всегда). После 1946 года госпиталь снова стал школой, и по случайному стечению обстоятельств именно в ней я и проучился почти девять лет. Школу окружал прекрасный сад. Мы вернулись из эвакуации сразу после снятия блокады, и я часто играл в том саду с детьми медицинского персонала, куда входили и санитарки, и высшие чины. Я был там едва ли не самым маленьким. Меня не обижали. Было хорошо известно, кто чей сын или племянник, а мой дядя, хирург-офтальмолог, кончил войну майором – если не принимать во внимание особых случаев выше в военной иерархии беспартийному еврею подняться было невозможно, – то есть занимал довольно видное место. Обижать не обижали, но почему-то дразнили интеллигентом. Я еще не носил очков, и понять не могу, за что мне придумали такое прозвище. Эвфемизм вместо не совсем удобного в той обстановке жиденок?

Я дружил с дочерью начальника госпиталя (назовем ее для конспирации Таня), девочкой ровно на год старше меня; впоследствии ее отец сделал блестящую административную карьеру. В саду, в котором мы играли, водилось много воробьев. Нашей мечтой было набросить на одного из них шапку (как многие мальчики той поры, я носил тюбетейку) и поймать его, хорошенько рассмотреть и выпустить. Как мы оба знали, чтобы изловить воробья, надо насыпать ему на хвост соли, и однажды Таня принесла из дому большой кулек. Но воробьи не подозревали о действенности нашего метода и в последний момент всегда успевали улететь. Так я ни одного воробья за всю жизнь и не подержал в руках. Но это присказка. Сказка, как положено, впереди.

Самый памятный мне Танин день рождения пришелся на 1946 год: ей исполнилось десять лет, а мне, – соответственно, девять. Приглашенные, в основном девочки из Таниного класса, уже сели за стол, когда я спросил: «А руки мы мыть не будем?» Трудно поверить, но мой вопрос встретил всеобщее одобрение. Все побежали мыть руки. Дома этот рассказ вызвал ужас. Однако Танина мать, всегда ко мне благоволившая, долго хвалила меня за чистоплотность. Она же когда-то говорила мне, что интеллигент не ругательство, и одобрила мой внешний вид, когда однажды я вернулся с дачи «поправившимся» (для этого тогда детей на дачу и возили), но она и сама была полной женщиной, так что ее реакция понятна. Чужие огороды полоть незачем, но мыть руки перед едой, безусловно, стоит.

С Таней мы встречались «по торжественным дням» до моих лет тринадцати. Потом в ход пошли безродные космополиты, дядю выслали, все встречи ограничились семейными посиделками, и наше знакомство прервалось. Мне было уже лет двадцать восемь, когда я столкнулся на улице с Таниной мамой. Она зазвала меня в гости, из чего я заключил, что Таня незамужем. Через несколько дней я пришел в знакомый мне дом. У Тани была своя комната, где она и приняла меня, не изобразив никакого энтузиазма и не сменив тапочек на более привлекательные туфли. Ее, конечно, приняли в аспирантуру (по биологии) – училась она всегда хорошо, – и благодаря предложению отца она очень продвинулась; незадолго до нашей встречи она провела семестр или год в Сорбонне (французскому ее учили с детства). В Сорбонне! Я был потрясен: заниматься наукой во Франции – это не то, что насыпать воробью соли на хвост. «Знаешь, – сказала она – жизнь в Париже стала такой обиденной: я ходила в университет пешком». Она не преувеличила. С тех пор я занимался в Лондоне, Риме, Копенгагене и во многих других городах мира, всегда ходил в библиотеку пешком, и мой образ жизни на новых местах быстро становился обыденным. Но для этого мне пришлось сначала стать доктором наук и эмигрировать. Сказать в 1965 году своему старому сугубо невыездному знакомому, которому и в Москве-то остановиться было негде: «Подумаешь, Сорбонна!» Я возненавидел ее так, как тот эстонский мальчик возненавидел меня: и за тапочки, и за черствость. Часа через полтора (уже начало смеркаться) в комнату заглянула мать и спросила, не хочу ли я чаю. Но я, подобно Чичикову, и без еды был сыт, от чая отказался и, любезно раскланявшись, ушел. Меня никто не задерживал. Видимо, Таня, не исключено, что в союзе с отцом (которого я не застал), не одобрила бесхитростного того приглашения: не тот статус. Больше я ее никогда не видел, но от боготворившей ее школьной подружки еще через несколько лет случайно узнал, что она близка к защите докторской, а замуж пока не вышла. То ли не хотела, то ли не могла, то ли мытье рук не пошло ей на пользу.

Не только мелкие происшествия (вроде встречи с эстонцем и мытья рук), но и вскользь брошенные советы могут произвести впечатление и не забыться. В третьем классе дядя выписал мне первые мои очки. За ними последовали вторые, третьи и десятые, пока в Америке меня не избавили от совсем уже непотребной близорукости оперативным путем. Мне было, я думаю, лет двенадцать, когда дядя сказал: «У тебя сейчас минус пять, но на время очки можно оставить старые». «А что изменилось по сравнению с прошлым годом?» – спросил я. «Не помню, – ответил он. – Тебе это надо знать самому. Я вижу сотни больных, а ты у себя единственный пациент». Ко мне часто обращаются студенты, интересующиеся, какую отметку они получили за контрольную работу, написанную в далеком прошлом (пришло время закончить курс). По университетским правилам отчетность подобного рода должна, как дела в НКВД – КГБ, храниться вечно, но, все равно, они слышат от меня неизменный ответ об окулисте, больных и единственном пациенте.

Хорошим врачом (дерматологом) была и одна из моих теток. У меня упорно не проходила пустяковая вроде бы ранка на сгибе пальца, и тетя порекомендовала мазь собственного изготовления: взяла обрывок бумаги и написала обычные каракули по-латыни. «Снеси это в аптеку». «Что это за рецепт! – возмутился я. – Ни подписи, ни печати. Такой я могу сам себе выписать». «Ну, выпиши», – ответила она. Каждый раз, когда меня упрекают в том, что я решил задачу, пусть и правильно, но слишком просто (так и мой оппонент мог бы), я рассказываю эту притчу: «Ну, выпиши».

Одни и те же события действуют на разных людей по-разному: кого-то они не трогают, а для кого-то становятся вехами в формировании характера. Подходила к концу последняя четверть десятого класса. Однажды утром, за несколько минут до звонка, раздался клич: «Мотаем с уроков!» Это было созерцательным безумием: ведь не какая-то ребятня, а почти взрослые мужчины накануне получения аттестата зрелости. Призыв нашел мгновенный отклик. Мои попытки отговорить нескольких приятелей от побега успеха не имели. Сам я сразу заявил, что никуда не пойду. Осталось человек десять. На нас не давили. Часов в двенадцать прогуляшки, никаких планов не имевшие, отправились в кино с намерением к концу занятий вернуться и забрать портфели. Но один из них появился в классе раньше и сказал, что всю группу следует ждать с минуты на минуту. Вернулся он, однако, с расчетом, полностью оправдавшимся. На шестой урок пришел директор, который давно всё, конечно, знал от учителей, и спросил, что произошло. Вразумительного ответа он не получил, зато переписал тех, кто был в классе, стал в дверях и пригрозил возвратившимся беглецам четверкой по поведению (для выпускника страшное наказание равносильное волчьему билету). Впрочем, скандал замяли. Его единственным результатом было всеобщее омерзение по поводу ловкого шага «возвращенца»: он-то мирно сидел за партой, когда в классе возник директор (самыми подлыми были его попытки объяснить, что всё получилось случайно). Он не подвергся остракизму. Изоляция была внутренней, то есть он знал, что вокруг него пустота. До тех пор я никогда не наблюдал с близкого расстояния столь откровенного предательства. Через десять лет после окончания один из бывших соучеников связался с кем мог (а двое уже успели умереть: большое сердце и самоубийство) и организовал «юбилей». Так я попал на свой первый и последний вечер встречи. Всех еще можно было узнать, хотя большинство утратило даже жалкую свежесть образца 1954 года и обозначились ранние лысины. «Возвращенец», как и можно было предполагать, не пришел. Кто-то вспомнил этот

эпизод; я высказался очень резко. Меня никто не подержал (дело прошлое, да и с кем не бывает). Я не знаю, подтвердил ли тот юноша мою теорию, что люди не меняются. Скорее всего, он только сделался осторожней.

Конечно, мои вкусы несколько повзрослели с тех пор, как меня сфотографировали в пятимесячном возрасте, но книги, которые я больше всего любил в детстве, например, «Маугли», Диккенс, Гоголь, Андерсен, Жюль Верн, ничуть не потускнели с годами. Сейчас они нравятся мне даже больше, и не случайно, что дети, общающиеся лишь с героями комиксов, на этой стадии духовного развития обычно и застревают. Эмоциональный шок не менее важен, чем знания. Я до сих пор помню трепет, вызванный во мне пейзажами Куинджи и Первой симфонией Калинникова. Есть более совершенная живопись и более глубокая музыка, но воздействие предметов искусства на ребенка, как и на взрослого, индивидуально. Если бы я вырос на джазе, роке или рэпе, я стал бы другим человеком. Не менее решающим для моего становления было то, что я рос в одном из красивейших городов мира и что наш дом одним концом выходил на Большую Невку. Прямо тут же висел над водой соединявший Петроградскую и Выборгскую сторону деревянный Сампсониевский мост. (Впоследствии его заменили на железный и переименовали в Мост свободы, возможно, потому, что рядом стояла «Аврора», учебное судно Нахимовского училища, а то, что залп «Авроры» возвестил прыжок из царства необходимости в царство свободы, было всем известно из «Краткого курса», правда, не в формулировке Энгельса.) С двоюродным братом мы выпускали домашнюю газету. Я только писал, а он еще и рисовал. Первый номер вышел в 1946 году. Во втором (и последнем) появилась моя рецензия: впечатления от симфонии Калинникова. Сколько я себя помню, я всегда либо писал в стенные газеты, либо основывал их. Последняя, в Институте языкознания Академии наук называлась «Глокая куздра». Я даже пытался поступить на факультет журналистики, но у меня, к счастью, не приняли документов. А рецензий я сейчас пишу много больше, чем до эмиграции. Я же сказал, что человек не меняется: каким родился, таким и останется.

Все школы – мука и мерзость. Впрочем, в моей школе, начиная с шестого класса, мне было бы совсем неплохо, а потом даже хорошо, если бы не постоянно грызущая мысль, что нужна золотая медаль, без которой в институт не примут, а значит, заберут в армию. С этой мыслью учились все еврейские мальчики и часто с горя становились первыми учениками – кто сам, кто с помощью репетиторов. Девочкам медаль тоже не мешала, но их хоть не забривали в солдаты. Способности почти у всех ограничены одной-двумя областями, а надо было блистать на всех уроках. Моя тупость к математике проявилась очень рано, тогда же, когда тяга к сочинительству и литературе. В третьем классе, узнав, что у Вани и Пети было пятнадцать грибов, но у Пети в два раза больше, чем у Вани, я упорно делил пятнадцать на два и всякий раз с отчаянием убеждался, что не делится. Учителя твердили, что это «задача на части» и еще больше сбивали меня с толку. Задача на части, сложное тройное правило – от этих названий стлыла кровь. Но кто-то в классе понимал и получал пятерки, а я – нет.

Как неумно нам преподавали арифметику, я понял, только когда начали проходить алгебру. Великий спасительный икс! Однако алгебру можно предвосхитить. Окончив педагогический институт, я уехал по распределению учителем и воспитателем в сельскую школу-интернат. Мои дети (четвероклассники), с которыми я готовил уроки, тоже удивлялись, почему пятнадцать не хочет делиться на два. Я повел их на улицу, где было

много песка, и мы положили горсточку, чтобы обозначить Ванино достижение. Естественно, Петя получил две горсточки, и стало ясно, что всего таких кучек три, а на три пятнадцать делится без остатка. Просветление, восторг!

Еще я помню круглые глаза учительницы, дамы отвратительной во всех отношениях, обращавшейся к классу: «Какой будет первый вопрос задачи?» Ну, откуда же я мог это знать? На сей раз физика научила меня писать формулу и расширять ее, пока не станет ясно, какие данные уже есть в условии, а какие следует добыть. Какой первый вопрос задачи? Лучше бы она спросила, кто тот идиот, который придумал этот издевательский подход к арифметике. Из любой задачи самый глупый ученик всё же кое-что может узнать, а именно, какой *последний* вопрос задачи. Он напечатан в тексте. От него обычно удаётся перейти к предпоследнему и понемногу добраться до первого. Записывается же решение в обратном порядке. Хотя я не сделал всех своих воспитанников отличниками, многие повеселели. Но это произошло на одиннадцать лет позже, а пока я сам в четвертом классе, и на каждую задачу у меня одна реакция: «Этого типа мы не проходили». Задачник Березанской (не чудо ли, что я помню фамилию составителя!) превратился в орудие пытки.

Моей матери надоело делать за меня домашние задания, и мы с ней стали заниматься дополнительно и десятками решать еще не заданные на дом задачи наперед. Вызов к доске перестал пугать меня: я неизменно опережал класс страницы на три. Понемногу выяснилось, что «типов» задач совсем немного, что поезда либо догоняют-обгоняют друг друга, либо встречаются, что всё надо сводить к единице, и так далее. К шестому классу я уже решал любые задачи по программе в уме. В те времена перед контрольной работой диску делили на две части: слева писали вариант для левых рядов, справа – для правых. На перемене, пока учительница писала задачи, в класс никого не пускали. Мне надлежало прочесть задачу через замочную скважину и шепотом огласить текст. Одновременно я диктовал решение. Учительница не могла нахвалиться на наши успехи. Отсюда следует, что вопреки смыслу английской пословицы из свиного уха можно сшить шелковый кошелек – было бы желание, подкрепленное необходимостью получить медаль. В старших классах математику вел немного сумасшедший, но замечательный преподаватель. На стереометрии он заставлял нас решать задачи без чертежа. Опыт замочной скважины очень пригодился мне тогда. Хочу лишь добавить, что трудолюбие гениев не создает. Никуда моя врожденная тупость к математике не пропала, а только поднялась на более высокий уровень и потому с земли стала незаметной. Там, где в алгебре и геометрии требовалось вдохновение, а не усердие, я бы никогда не смог конкурировать с настоящими талантами, ибо ничто в математике не давалось мне легко.

С элементарной математикой можно было справиться. Я и перерешал сотни задач с одной звездочкой и двумя (были такие задачки для поступающих в вузы), и школьная программа сделалась детской игрушкой. Писал я грамотно и вполне прилично. Остальные предметы, включая советскую литературу, воспринимались как неизбежная, но не слишком опасная нагрузка. Но нельзя было преодолеть главного горя – отсутствия по соседству девочек и возможности узнать что-нибудь о единственной теме, которая начинала нас интересоваться с тринадцати лет. Говорить о половой жизни считалось неприличным («такая грязь!»), и наши сверстники продолжали спать на недоступных взору девичьих постелях, делясь своими снами лишь друг с другом. С восторгом выжи-

вались случайные сцены и фразы, не убранные цензурой. Кто сейчас будет читать «Дело Артамоновых» («Это же не роман, а оглобля», – сказал Сереброву Чехов) или «Разгром» Фадеева? А у нас из уст в уста передавали кем-то обнаруженную фразу о мальчике, распластавшемся на скамейке и «занимавшемся детским грехом» (Горький) и фадеевское «она бы обоим дала» из сцены в лесу. Даже во втором издании «Молодой гвардии» было сказано, что что-то без чего-то (не помню уж, что) – это «как гражданин (!) без мужского отскака». Какие вольности разрешались основателям и начальникам!

Неожиданная дружба, правда, не выходящая за пределы школьного здания, связывала меня в шестом и седьмом классах с прибалтанным парнем с «камчатки». Дружба эта была, разумеется, иницирована им. Бог ведает, что привлекло его ко мне. Никаких услуг мы друг другу не оказывали, а я не нуждался в его покровительстве и не искал его, хотя и отдавал себе отчет в том, как вырос мой статус в глазах одноклассников, знавших, что мой приятель не кто-нибудь, а сам К. После семилетки он с моего горизонта исчез, но один раз я шел с приятелем по Большому проспекту и на том же тротуаре оказался он. Он, конечно, гулял с девушкой и носил расклешенные штаны (тогда партия и правительство сражались не с узкими, а с широкими брюками). Мы только что не бросились друг другу на шею к вящему удивлению и той девушки (до такой степени я, видимо, не соответствовал ее представлениям о товарищах ее ухаера), и моего спутника («Ну, и друзья у тебя», – сказал он). Вот он-то и разъяснил мне суть детского греха, ибо дошел до его понимания раньше меня. Я с трудом поверил ему: Горький и такое.

Я уже упоминал содрогание, вызванное у меня эротикой «Декамерона». Среди книг, переживших блокаду, дома оказалось академическое издание какого-то тома «Тысячи и одной ночи», и в сказках я балдел от того же. А однажды в класс (не помню, в восьмой или девятый) кто-то принес разорванное на странички начало «Жизни» Мопассана. Их передавали по рукам для чтения между крышками парт. Я пропустил свою очередь: к тому времени я успел прочесть весь роман и помнил соответствующие места наизусть, да и «Милый друг» был уже пройденным этапом. А в семье, по крайней мере, моей, узнать было нечего. Очень рано я от кого-то услышал, что все кусающие нас комары – самки. Назначение же самцов, если их почему-то убивали в своей среде, озадачивало меня. То же относилось к не собирающим мед трутням, которых я на слух ассоциировал с трудом. Чем-то же они должны были заниматься! Все вопросы разбивались о туманные отговорки, да еще взрослые почему-то многозначительно переглядывались. Как я возненавидел эти переглядывания, этот жалкий заговор, оберегавший детей от них самих. А рядом цвела дворовая и школьная воляница. Иностранные языки начинались тогда в третьем классе. В городе преобладал английский. После первого же урока мой сосед по парте сказал мне: «Кровь по-английски будет блядь. Не веришь? Сукой буду. Спроси училку». Я понятия не имел, что значит это слово, да едва ли и слышал его раньше (думаю, что и он слышал его только как ругательство), но спросил. Сообщение подтвердилось. («Теперь я знаю, как я попал в живот к маме», – сказал нам сын, конечно, в Америке, после какого-то урока в школе. До этого он получал от нас не лживые, но и не вполне вразумительные объяснения. «Вот и прекрасно», – ответил я, не моргнув глазом). Видимо, мир может существовать только на полюсах: либо густая тьма, либо беспредел.

Повсеместно рекламировалась «Книга для родителей» Макаренко. Там, в одной главе, жена, преодолевая жен-

скую стыдливость (!), говорит мужу, что хотела бы иметь второго ребенка, но муж был против. В результате вырос избалованный эгоист (действительно: из одного мальчика не создашь коллектива). Я читал, что в какой-то период из школьного учебника анатомии изъяли главу о железах внутренней секреции. Однако в 1952 году она существовала. После костей, дыхания и всего прочего поместили даже главу о размножении с картинками яйцеклетки и сперматозоида, но у учительницы биологии на нее «не осталось времени» (год кончился). Впрочем, она выразила надежду, что мы ее и сами прочли, и не ошиблась. В 1954-м году вышел в свет теперь, видимо, навсегда забытый роман Германа Матвеева «Семнадцатилетние» (у него был подзаголовок – повесть). В нем десятиклассники не просто астречаются на катке (это официальной политикой не возбранялось), а испытывают нечто похожее на влюбленность. Роман имел ошеломляющий успех: на него была огромная очередь в библиотеках, из магазинов она исчезла мгновенно, его на два вечера передавали из рук в руки, как позже передавали самиздат. А уже в оттепельные времена издали книгу о семье и браке. В ней, по слухам, был раздел о физиологии брака, но книга мгновенно ушла на черный рынок, и я ее не видел. Небезынтересно было бы выяснить, почему развратные верха представляли себе строителей светлого будущего раздетыми в лучшем случае до пояса. Начиналось ведь все с самой разнузданной свободы нравов. В стране, где задушили и забили всё человеческое, отдушину в виде половой свободы пошла бы властям на пользу. Не исходили ли указания от верховного сатрапа, у которого, по слухам, довольно рано начались неприятности с женщинами и который не хотел, чтобы кто-нибудь радовался жизни больше, чем он?

Нам не сообщили элементарных сведений по физиологии, зато искусно и изощренно унижали. В призывном пункте военкомата надо было снять всю одежду. Осмотр глаз, ушей и прочих частей тела и органов почему-то проводился нагишом. В том же виде отдавался рапорт полковнику, вручавшему приписное свидетельство. Все врачи были женщинами, некоторые совсем молодыми. Больше всего я боялся среднего стола. За ним, как нам сообщили, сидела студентка Медицинского института и проверяла анкетные данные. Я жил недалеко от института и многих девушек оттуда знал. «Господи, – молился я. – Только бы не оказалась за этим столом моя знакомая. Только бы со мной не случилось ничего позорного». Армия подавляла и ломала. С призывной экзекуции началась и хорошо продуманная встреча с этой организацией, ибо нет унижения горше полового. Но всё обошлось. Девушка была «чужая» и вела себя (по инструкции или создавая непристойность ситуации) образцово. Она ни на секунду не поднимала глаз и не видела наших лиц. Остального она, хотя бы мельком, не видеть не могла, но у студентки-медики двигавшиеся много часов отделенные от их владельцев гениталии не вызывали, я думаю, никаких эмоций, что бы она ни чувствовала в начале рабочего дня. И через десятилетия, вспоминая тот день, я шепчу: «Будьте вы прокляты».

Тыма застлала нам глаза и в большом, и в малом. Студентом я участвовал в спорах о достоинствах идеализма и материализма, не отдавая себе отчета в том, что не знаю ни того, ни другого. Но чем лучше была беспартийная вузовская преподавательница, наделенная всеми мыслимыми талантами и оказавшая на меня влияние, как, может быть, никто в жизни? Еврейка, она не была допущена ни к каким благам и не написала диссертации; ее потом и из института выгнали по сокращению штатов. В 1955 году она сказала мне: «Если бы к власти пришел Троцкий, у нас мог бы быть восстановлен капитализм». Уму непостижимо, почему она придумала такой вздор,

но поразительно другое: голодать и испытывать ежедневные издевательства при социализме (таком социализме!) казалось ей лучшим уделом, чем жить по-человечески при капитализме, к которому ее не подпускали на пушечный выстрел. Раньше я читал, что отсидевший семнадцать лет в лагерях Лев Разгон жаловался после перестройки своей приятельнице: «Подумай, в какой партии мы с тобой состояли: одни бандиты!» – или что Ларина-Бухарина просила пожениться с реабилитацией своего мужа («Это может быть вредно для партии»). Но теперь я понимаю: лишь немногие имеют силу противостоять коллективному безумию, и дело здесь не в образованности и не в способностях, а в редко встречающемся внутреннем зрении. И все же о двух вещах мы с матерью договорились раз и навсегда: я не поддаюсь на вербовку органов и не вступаю в партию. Рад сообщить: не поддался и не вступил, хотя звали в оба места. Я также не служил в Белой армии и по великой удаче не находился во время войны на оккупированной территории (иначе не писать бы мне этот очерк). И даже родственники за границей (в России) у меня больше нет. Морально устойчив, в быту скромный, политически грамотен. Только кому это всё теперь нужно? У России нет истории, а у нас нет прошлого. Смыто, как с компьютерного диска.

Лишь однажды, будучи взрослым, я поверил пропаганде. Наши вожди, дорвавшиеся до абсолютной власти, совершенно утрачивали чувство реальности. Ленин собирался отменить деньги и заменить их квитанциями за часы потраченного труда. Сталин к концу своего правления (в «Экономических проблемах социализма») сообщил, что скоро хлеб и картофель будут раздавать бесплатно. В деревнях скоту скормили солому с крыш, а население питалось лебедой (это в деревнях, которые не были полностью покинуты жителями). А с уст Хрущева слетела знаменитая фраза: «Партия торжественно заявляет: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Насчет коммунизма я уже всё знал. Не то, что я по-настоящему осознал утопичность марковского проекта (хотя ясно было, что лажа), а просто в институте в нас вбивали историю партии по «первоисточникам». На дворе стоял 1954 год, и вопрос о коммунистическом завтра входил в круг обсуждавшихся проблем. Лекции читала доцент Ш., будто специально придуманная, чтобы мир видел лицо кафедры основ марксизма-ленинизма. Впрочем, у меня к ней претензий нет; я от нее не пострадал, а по сравнению с дамой, толковавшей политэкономии социализма она была просто ангелом. Но семинары на курсе вел образованный человек, в прошлом один из референтов Попкова (секретаря Ленинградского обкома партии, жертвы послевоенного Ленинградского дела). Он говорил и отвечал на вопросы не чета тем питекантропам, что впоследствии не помешало ему написать интеллигентно-разгромную статью против студенческого литературного кружка. Я не знаю, как он остался жив. Из тюрьмы или из лагеря он вышел, сильно хромя, и без палки я его никогда не видел.

«Что значит каждому по потребностям? – спросил я его. Вдруг у всех будет потребность жить в Зимнем дворце и иметь по стейнвею в каждой комнате?» «Предполагаются потребности культурного человека», – ответил он. Тогда я и понял смысл гениальной формулы: «Свобода есть осознанная необходимость». Пойми необходимость сидеть в клетке и назови это свободой. Придумано менее вульгарное толкование этой формулы (ты делаешь то, что осознал, как нечто необходимое, и потому делаешь это без принуждения, «свободно»), которое и было у Гегеля изначальным, но меня не заботила диалектика: я хотел знать, как коммунизм обойдется с моими потребностями. А одна такая потребность, в высшей степени культурная, у меня была: я мечтал переехать из коммунальной квартиры в собственную, пусть совсем

маленькую, но без соседей. Вот я и подумал, что, как они объявили в 1938 году социализм, так в 1980 году объявят коммунизм. Всё останется по-старому, но формы ради какие-то вторичные признаки коммунизма должны будут появиться, и вдруг одним из этих признаков окажется разуплотнение коммунальных квартир!

В более дальние дали моя мечта не залетала, но была она не совсем беспочвенной, ибо годами ходили слухи, что наш огромный дом поставят на капитальный ремонт, а жильцов расселят по некоммунальным квартирам. Мы ждали этой награды, как маленький садовник Ганс в сказке Оскара Уайльда «Преданный друг» ждал, что Мельник подарит ему тачку со сломанным колесом, но, верный дружбе, он погиб, а тачка осталась у Мельника. Хрущева сняли, его идеи называли прожектерскими, а стиль управления – волюнтаристским. Ввели развитый и зрелый социализм. Капитальный ремонт не состоялся. В 1971 году благодаря многоступенчатому обмену мы с женой, а впоследствии с ребенком оказались в однокомнатной кооперативной квартире. Коммунизм в одной, отдельно взятой семье был построен. Тогда же мы осознали необходимость свободы и уехали в Америку.

Моей сокурсницей была профессиональная певица. Окончив институт, мы с ней дали концерт: я играл, а она пела. Последнее, что я сыграл, был ноктюрн Шопена, и я еще раз, но более остро пережил момент, памятный мне по тому уроку геометрии. Конец музыки, а за ней несколько секунд тишины, и лишь потом аплодисменты. Та преподавательница, которая радовалась, что власть не захватил Троцкий, сказала мне: «Сыграли, будто жизнь рассказали».

Лежит младенец на животике, держит головку и всматривается в пустоту. Потом становится на ноги и бежит стремглав, воображая, что у него есть цель впереди. У всех всё получается по-разному, но любая цель – это, видимо, путь к себе, тому, каким ты был на своей первой фотографии. Если бы я мог прожить жизнь сначала, я бы прожил ее точно так же. Изменил бы я лишь одно: я бы не дал отцу погибнуть на войне. Забыть безотцовщину невозможно. Но часто я со страхом думаю, что было бы, если бы он вернулся с войны неизуродованным, непокалеченным? Насколько я мог судить по глухим намекам родни и некоторым мелочам, брак моих родителей не был счастливым. Что если бы они разошлись? В 1945 году свободных женщин было полстраны. Позор развода мог оказаться страшнее, чем горечь полусиротства. Хорошо, что никогда не успеваешь насыпать воробью соли на хвост. Пойманный, что бы он сделал у меня в руках? Пусть уж чирикает на заборе.

ВИТА.ИЙ АМУРСКИЙ

«УДАРНИК СНОВ...»

О Владимире Уфлянде

Когда я встретился и познакомился с Владимиром Уфляндом? Положа руку на сердце, сейчас точно сказать не смогу. Почти уверен: 1989 год, лето. Место же точное: парижский пригород Кретеи.

Большое красивое озеро, с одной стороны которого находилось современное здание префектуры, жилые дома. С другой стороны – парк, лужайки, сбегаящие к воде. Остров, на который можно было пройти по мостику, напоминающему японский. В выходные – много отдыхающих. Пляжей не было. Купаться запрещалось, но купающиеся всё равно находились. Мальчики обожали прыгать в воду с моста. В будни, особенно рано утром и по вече-

рам, стояла тишина. Это было время рыболовов. Хозяев, выгуливающих собак. Время любителей бега трусцой.

В восьмидесятые годы Кретеи считался пригородом спокойным. Мы – я о себе, о своей семье – жили в доме на площади Жана Жироу. На 17 этаже. В окно заглядывали облака. Внизу, справа, шла автодорога. Левее серебрилось, туманилось зеркало водного пространства. Позднее Кретеи стал похож на пригороды неблагополучные. Со своей шпаной, со своими придурками. Но это, действительно, позднее.

У нас дома бывало много гостей. Мало кого оставлял равнодушным пейзаж. Это не скрывали – ни бывавшие в Париже Генрих Сапгир, ни Айги, ни заглядывающий иногда сосед по городку (он жил в старой части Иври) Миша Рогинский, ни другие. Утверждать, что Володя Уфлянд говорил какие-то комплименты по поводу открывавшихся в окнах и с балкона видов, не могу. Наверное, говорил. И жена его, Алла, тоже, наверное, говорила. Но для них это место было всё-таки, в известной мере, своим. Обжитым. Дочь Аллы с мужем обосновались поблизости, именно у них Уфлянды останавливались.

Детали эти я привожу не случайно. Именно через дочь Аллы и её мужа состоялось моё личное знакомство с Володей. А до того были собаки, одна у меня, другая у молодых людей. Собаки наши играли. Мы разговорились. Выяснилось, они – из Питера. С французского перешли на русский. Когда же в разговоре мелькнула фамилия Уфлянд, и выяснилось то, что читал публиковавшиеся на Западе его стихи, почва для будущего контакта оказалась подготовлена как бы сама собой. Так что, когда однажды в телефонной трубке я услышал голос Володи, то не удивился...

Помимо Кретеи мы тогда встречались и бродили по Парижу. По старым улочкам Латинского квартала. У Сены. Заходили в какие-то кафе. Одним словом, я был рад показывать уголки, которые за годы жизни в эмиграции стали для меня своими. Уфлянд дышал Парижем, впитывал его в себя. В 1959 году Володя в одном из своих стихотворений писал: «Париж прекрасен. Как накрытый дамой стол». Теперь он мог убедиться, насколько был прав в своих представлениях, даже если столики в кафе быстро накрывали не дамы, а гарсоны.

Конечно, у него были тут свои знакомые, старые друзья, некоторых из которых я знал. Подтверждалась истина: мир тесен.

Стрелка политического барометра показывала на «ясно». Несомненно, это сказывалось на характере разговоров. Вчерашний день нашей родины, казалось, погружался в бездну как «Титаник». Рутинная, словесная суконная серятина – всё то, на чём лежала печать советской идеологии, шла ко дну. С ней вместе, впрочем, шли ко дну и темы, которые питали анекдоты, иронию по поводу вождей. Учитывая же, что во многом они же служили материалом ироничным текстам Уфлянда, нетрудно было предположить, что и он – как писатель, не как гражданин, конечно – испытывал некий дискомфорт. Так мне, по меньшей мере, представлялось, хотя оснований для этого не было. Даже наоборот, в натиске новояза, в лихачестве тогдашних лозунгов, рекламы, в сленге журналистов-перестроечников, а главное – в утрате на какие-либо запреты темах, он находил массу нового для себя.

Диапазон был широк. Поэт обожал хохмы, но, похожие на яблоки, почти каждая из них была с червячком:

Люблю тебя, мой современник,
когда, подзаработав денег,
сидишь ты мирно в санузле
и размышляешь о добре и зле.

Современник в санузле – само по себе такое сочетание словно входило в конфликт с привычными советскому человеку определениями, типа: современник в космосе!

Весьма характерной для этого периода оказалась (незавершённая, оборванная в 1990 году) драма «Народ», которую он начал создавать в виде рифмованных текстов за пару лет до того, как приехал во Францию, где, к примеру, можно было прочитать:

Ночью слушал Бибиси,
Что творится на Руси.
Утром сбежал на Лубянку.
Сам себя разоблачил.
Благодарность получил.
Дали денег на полбанку.

Не только алкаши, герои семейных сценок, вроде тех, что возвели в ранг народных персонажей Галич и Высоцкий (Зина, наливающая стаканчик, Коломейцев, выясняющий отношения с супругой...) заговорили под пером Уфлянда – он наделил речь истуканов из политбюро! Истуканов, которые символизировали десятилетиями преступный режим! Вот как вещал у него на заседании политбюро чека каптээсэс Громыко:

Я не могу от вас таить,
что мне Вышинский запрещал народ любить.
Потом Хрущёв, Андропов, Брежнев и Черненко.
Зато теперь люблю народ я крепко.
И очень скоро подпишу указ,
Что нет прекраснее народных глаз.
Особенно, когда народ вперёд шагает с песнею.

На что следовала реплика Горбачёва:
Спасибо, дорогой, или на пенсию.

Несомненно, Уфлянд был не сторонний созерцатель происходящих в стране перемен. Он не скрывал, что перестройка ему любя. Однако он никак не её «прораб». Ему весело видеть как политики и политиканы вывёртывают пиджаки. Верил ли поэт в возможность кардинальных перемен в своей стране? Сам он прямо по этому поводу нигде не высказывался, однако, исходя из реплик, из размышлений вслух нетрудно придти к выводу – нет. В самом деле, о какой вере может идти речь, если рабочий из народа, сохраняя пафос известных пушкинских строк, провозглашает:

Придут иные времена.
И будет издали видна
Россия в своей новой славе
Мне, возлежащему в канаве.

Так приблизительно, припоминается, взирал на послевоенный мир из-под столика Николай Глазков... Окружающий мир при свете перестройки у Уфлянда предстаёт вертепом, балаганом. Но – в какой-то момент – в нём становится страшно, ибо понимаешь, что за фонтанами словес, за перегородками, напоминающими те, что в своё время рисовал прекрасный, затравленный властями, художник-карикатурист Вячеслав Сысоев, – пустота. Ужасающая. Смертельная. Подобным образом, вероятно, становилось не по себе читателям Хармса, который в 1937 году писал с виду забавное стихотворение о человеке, вышедшем из дома и... пропавшем без вести. 90-е годы в агонизирующей советской империи у Уфлянда пронзительно мрачны в стихах-подражаниях: «Песне про Калашникова», А.С.Пушкину, Салману Рушди («Новые кавказские суры»), где находят своё выражение темы

смерти (калашников – тут автомат), антисемитизма, национальной вражды и погромов...

В том, что события, которые он мог видеть, о которых получал сообщения из газет, по радио, с экрана телевизора, являли пищу для размышлений, сомневаться не приходится. Это по темам. О языке речь уже шла выше. В творческом же срезе – для меня несомненно – Хармс, обзвирнуты дали Уфлянду-писателю больше, чем кто-либо другой. Форма диалогов у Уфлянда шла именно от Хармса-поэта, анекдот – от Хармса – автора известных миниатюр о Пушкине... Именно такой сложной поэтикой, с её игровыми элементами и многоплановым (включая эстетический) подтекстом отмечены произведения, собранные в сборник «Рифмованные упорядоченные тексты»⁶, запечатлённые в заметках «От поэта к мифу» у Бродском и его ближайшем окружении...

Читал Володя свои вещи негромко, спокойно, ровно, без интонационных всплесков, не акцентируя внимание на смешных моментах. Чувствовалось, что его стихия – в самом тексте. На бумаге. Иронизируя, он не позировал. То, что он писал о «народе», «людях», о друзьях было одновременно и о себе. Органично, естественно. Ненавязчиво. Элегантно, я бы сказал. Также элегантно умел подтрунивать, не выделяя себя от окружающих, Олег Григорьев. В этом отношении, на мой взгляд, несмотря на глубокое различие в творческом плане, Уфлянд и он (оба – питерцы, кстати) шли в литературе путями параллельными. Но это тема отдельная, требующая особого внимания. Можно добавить: Уфлянд (по собственным утверждениям) не менее серьезно занимался рисованием, театром. Собственные его графические работы в «Рифмованных упорядоченных текстах» – отличное свидетельство таланта художника.

Бродский посвятил ему не только замечательную «Заметку для энциклопедии», но такой акростих:

Ударник снов, отец Петра.
Фигурой – бог, в костюмах узких
Людей, бутылок, женщин русских
Язон – но и знаток нутра!
Нагана мысленный носитель,
Духовных ценностей спаситель,
Увековечь его, Пракситель!

Я воспроизвожу этот текст, датированный 22.1.1970 года, с суперобложки «Рифмованных упорядоченных текстов». В семитомном, считающемся самым полным на сегодняшний день собрании сочинений Бродского, я его не обнаружил... Кстати, сравнив в «Заметке для энциклопедии» друга со страной, Бродский вольно или невольно связал своё «я» с ним. Судите сами, разве нельзя прочитать слово «Уфляндия» как «Уфлянд и я»? Единственное место, где в этом тексте Бродский, как мне кажется, увлёкся литературной игрой чуть больше меры – в конце, написав о том, что национальный гимн Уфляндии – «Брызги шампанского». Может быть, внешне – да, но в стихах и жизни Володи такие брызги всё же были с привкусом соли и горечи – не зная об этом Иосиф не мог.

Крайне редко печатаясь в изданиях официальных (альманах «Молодой Ленинград» 1966 года, сборник «Первая встреча» 1967 года, детский журнал «Костёр» – начало и середина 70-х), Уфлянд был знаковой фигурой в неофициальной культуре Ленинграда тех лет, принадлежа к так

⁶ Изд. Русско-Балтийского информационного центра БЛИЦ, СПб, 1997.

называемой «филологической школе»⁷ и позволяя себе открыто публиковаться на Западе (парижские журналы «Эхо» и «Континент», американская русскоязычная антология Кузьминского «У Голубой Лагуны»). Его любил друзья. Его трудно было бы не любить. Во время наших встреч, разговоров я не помню ни одного случая, чтобы он отозвался о ком-либо плохо. Хотя поверить в то, что окружение его состояло исключительно из добрых и верных людей я, увы, не мог бы. Меня – а когда мы познакомились я работал на Международном французском радио, печатался в эмигрантских газетах и журналах – он подтолкнул к тому, чтобы записать обстоятельную беседу с Бродским (в этом меня поддержал также редактор «Континента» Максимов)...

Сказать, что мы поддерживали с Володией тесные отношения я не могу. Но когда он бывал во Франции – встречались довольно часто. Связь с ним, живущим на берегах Невы, имела характер эпизодический. Изредка весточка или разговор по телефону. На мой день рождения в 1990 году он принёс и подарил мне три машинописные странички со своими стихами: «Укоризна», «Для голоса и гармоник», «Аллегория». Дарственная надпись явилась стихотворением четвёртым:

Ты всех друзей моих витальней.
Чтоб слышать голос твой, Виталий,
Я жертвую едой, работой,
Сном, выпивкою и «Свободой»...

Под голосом моим подразумевался, разумеется, тот – на волнах RFI, отсюда – и как своеобразный баланс – упоминание о «Свободе», радиостанции бывшей в те годы на пике популярности. Читать подобное мне было и забавно, и приятно. В том же 1990 году он подарил мне вышедшую в Париже книжку «Подробная антиципация», а через несколько лет прислал по почте или передал с кем-то упомянутый выше сборник «Рифмованные упорядоченные тексты».

Известие о кончине Володи в апреле 2007 года оглушило меня. Душа откликнулась стихотворением:

ну, что, чухонский край, еще один твой сын
в бессмертие прошел бесшумно мимо,
а ты всё тот же – звезд апрельских синь,
да циферблат луны, как ян и инь,
да пушки Петропавловской аминь,
да холодок балтийский – соль без пива.

Франция

ТАНЯ ВАРЕН

ТАНГО, ПРОПЕТОЕ ЖИЗНЬЮ

И СТРОКОЙ БОРХЕСА

Merriam Theater приглашал филладельфийцев и гостей города на вечер Аргентинского Танго. Афиши в январе 2011 г. пестрели вывесками «Tango Fire Presents», «Tango Inferno», «Tango – Argentina's gift to the world». У входа в театр раздавалась и русская речь. Кто-то сказал: «Это танго сведёт меня с ума». Кто-то тихо пропел по-русски: «Я танцевала танго в Буэнос-Айресе».

Публика, говорящая на разных языках мира, в ожидании чуда! Первые звуки скрипки. Возвышенное настроение. Точно такое чувство испытывает влюблённый человек, несущийся на первое свидание в своей жизни. Атмосфера позднего вечера. Свет в зале приближён к оттенкам ночи. Танго Буэнос-Айреса как будто оживает под открытым небом! Звучит милонга, сцена превращается в реальную улицу старого города, танцуют пары. Язык танго не нуждается в переводах. Танго любви шагает по миру, воспевая землю своего рождения. В любви к родному городу и страстному танго скромно, без излишеств, признаётся аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес.

Город Борхеса – это Буэнос-Айрес XIX века, город его родителей, город исторических событий, город печально-шумных картин. Это город, в котором соседствуют реальность и условность, город, напоминающий по форме вытянутую долину, по которой пробегают образы-тени. Этот город – особое пространство (ограины, лабиринты, осколки, фрагменты, сны), в основе которого находится «самое изначальное: земля и небо» – и всё, что между ними.

Однако, Борхесу-писателю оказывается тесно и иногда скучно в реальном городе, и он создает собственный город, с придуманным миром, с условностями в нём, с зеркалами и снами, увеличивая в них, порой до невероятных размеров, человеческие кровоподтёки, ссадины, ножевые раны, нанесённые во время уличных драк и потасовок. На окраине города происходит кулачный бой, тут же танцуют влюблённые парочки и звучит музыка, подчёркивая чувственность и эротичность каждого танца. Борхес наблюдает, записывает, памятуя о том, что именно этот город и есть его надежда.

В предисловии к книге «Эваристо Каррьего» писатель признаётся в том, что вырос он в саду, «да ещё в библиотеке с бесчисленными полками английских книг», и что по другую сторону садовой решётки текла иная жизнь, наполненная опасными событиями и песнями под гитару. Борхес назовёт эту книгу «книгой не столько фактов, сколько воображения».

Утро, день, ночь Буэнос-Айреса, его площади, улицы, крыши домов, рассветы и закаты, мечты и страдания, так ярко выписанные Борхесом в эссеистике и поэтике, утверждают любовь и память писателя к месту, где пришлось ему родиться. В эссе «Буэнос-Айрес» Борхес пишет: «Улицы Буэнос-Айреса, которые уводит в глубину, проходящая шарманка, жаркое излияние души. Улицы с тонким и сладким привкусом воспоминаний, улицы, где бродит память о будущем по имени надежда, неразлучные, неизгладимые улицы моей любви. Улицы, которые без лишних слов ладят с нашей высокой печалью – здесь родиться».

В исследовании Беатрис Сарло (Beatriz Sarlo: Borges a Writer on the Edge) выделяет мысль об особой привязанности писателя к окраинам и перекрёсткам, к тёмным переулкам, где жизнь граничит со смертью, где проливается кровь, где создаётся танец жестокой любви. Борхес, выписывая встречи на дорогах, погружая героев в случайности, заведомо ведёт игру на стыке разных культур и традиций. Аргентинское танго, пропетое Борхесом, – яркое подтверждение этому.

В одном из фрагментов «Истории танго», который Борхес назовёт «Танго уличных задир», начало звучит так: «Любовную дуэль в основе танго разглядит каждый, иное дело – уличная схватка. Между тем обе они – лишь разные формы или проявления одного порыва...». Далее писатель заключает, что «танго и милонга всем своим существом выражают то, что поэты разных времён и народов пытаются высказать словами: веру в бой как праздник». Борхес погружает нас в знаменитую «Исто-

⁷ См. «Филологическая школа». Тексты. Воспоминания. Библиография. / Сост.: Виктор Кулле, Владимир Уфлянд. М., «Летний сад», 2006.

рию гетов», в которой повествуется, как перед штурмом Шалона Аттила обратился к воинам и сказал, что судьба припала для них радости этой битвы. Шагая по страницам «Илиады», заглядываясь на сражения викингов, на героев битвы при Ватерлоо, описанные Гюго, Борхес постепенно, шаг за шагом, подводит читателя к осмыслению истории старого танго, которое «по образу и подобию музыки... напрямую передаёт эту радость боя, над чьим словесным выражением билось в незапамятные времена греческие и германские рапсоды». И как главное заключение в «Танго уличных задир» звучат слова Борхеса о предназначении старого танго – «внушить аргентинцам веру в их былую отвагу, в то, что однажды они нашли в себе силы не уклониться от требований доблести и чести».

Как надо любить свою землю, страну, окраину, улицу, быть аргентинцем, писать на обочине, и оказаться в сердцевине национальных традиций и философских отражений культур разных народов мира. «Борхес писал на перекрёстке, – скажет Сарло. – В сердцевине написанного Борхесом – трещина. Он движется по обрывам различных культур, которые соприкасаются (или отталкиваются) краями». Лезвие ножа – это тот путь-канва, по которому босыми ногами ступают герои Борхеса. Иногда в смертельной схватке, иногда с тяжёлой раной, они становятся вровень с вечностью. Капли крови образуют лужи, грязь окрашивается в буро-красный цвет. Ночь покрывает день, а Борхес, не теряя времени, выписывает путь к новой встрече («В кругу развалин», «Лотерея в Вавилоне»).

Борхес углубляется, описывая танго, которое, по его словам, несёт воображаемое утешение, пытается разрешить несложную загадку. С одной стороны, танго – это танец, в котором торжествуют любовь и жизнь, а с другой стороны, – танец, где страсть превыше всего, даже если эта страсть ведёт к смерти.

Не принимая голливудские сюжеты, в которых герой завязывает дружбу с преступником, чтобы сдать его в руки полиции, Борхес восхищается донкихотством как символом высочайшей порядочности. В фрагменте «Одна загадка» писатель приводит отрывок из «Дон Кихота» в подтверждение данной мысли: «...людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних, до которых им, кстати сказать, и нужды нет».

Вот она в чём загадка по Борхесу – оставайся человеком при любых обстоятельствах! Разве это реально? В жизни, где царит хаос, – нет, в литературной вселенной Борхеса – всё возможно. Однако, Борхес экспериментирует, играет, выписывая танго любви, но не отступает от законов жизненной игры, в которой есть место «фургону с красными колёсами», и жуткой ночи, и герою со зловещим именем Резатель, который приезжает в пригород с целью драться и убивать.

Танго, выпорхнувшее из розового кафе, «делало с нами всё, что хотело, – и подстёгивало, и пьянило, и вело за собой, и отпускало, и опять захватывало». Борхес, описывая танго в рассказе «Мужчина из розового кафе», как по спирали раскручивает фабулу рассказа. И тогда танго по Борхесу – и сама жизнь, и страсть, и уличная поножовщина, и миг, и взрыв, и грохот распахнутой двери, и крик индейца, и схватка, и бросок, и интрига, и шутейная потасовка, и пляска «щека к щеке», и – смерть. Танго на миг остановилось, а жизнь продолжается.

«Когда сунули к нам нос представители власти, все опять танцевали!», – в конце рассказа Борхес не судит, не выносит умозаключений, не учитывается. Его герой обращается к нему же, автору рассказа «Мужчина из розового кафе»: «И вот, Борхес, тогда-то я снова вытащил острый короткий нож, который прятал вот здесь, под ле-

вой рукой, в жилете, и опять его осмотрел, и был он как новенький, чистый, без единого пятнышка крови».

Конец рассказа – и начало нового танго.

Танго, возникшее под небом Аргентины, выпорхнувшее из борделей и таверн, танго, передающее жизнь в движениях и эмоциях, как воплощение воли и гнева, любви и печали, страсти и борьбы, танго уличных забияк и проститутток, танго краха и надежд на новую жизнь, танго эмигранта, прибывшего завоевывать собственное место под солнцем, танго – как форма розы, с её кровавым оттенком и приторно-сладким запахом, как язык тела, как отражение полёта птицы в зеркале... Это танго – не игрушка. В нём жизнь, подвешенная за болезненный нерв. От боли человеческое тело корчится, выгибается, в порыве используя возможность выпрямиться на миг, и снова тело сгибается, падает и – умирает.

Танец-лабиринт. Танец-ловушка. Танец-западня. Сдвиг во времени – и смещение в пространстве. Периферия – это тот острый угол, та окраина, тот промежуток, та точка начала и конца, которая и определит качественную структуру строки Борхеса.

В книге «Расследования» в эссе «За пределом метафор» Борхес назовёт всякий образ чародейством. Тогда и танго, и поэма по Борхесу – чародейство, в которые «сами собой сплетаются десятки танго...» И выстраивается удивительный борхесовский мир, как в стихотворении «Монтевидео»: «Город звучный, как строка. Улицы уютные, как дворик». И это всё о том же городе детства: «Ты – наш прежний Буэнос-Айрес, который всё дальше с годами». Намечается конец, в котором чувствуется начало. Танец по кругу, по обочине, с поднятыми вверх руками. Уитменовский звук, который будоражит поэта, и королевский меч, и саксы, и тайный ключ – всё тот же танец, воспетый Борхесом в книге «Страсть к Буэнос-Айресу».

В «Танго о Борхесе: 1899-2009» А. Генис великолепно подметит «изысканный рецепт спасения по Борхесу, который заключается в том, чтобы распознать в хаосе порядок – и обрести вечность».

Танго, с элементами хаоса и порядка, разрушения и гармонии, любви и ненависти, надежды и разочарования, полёта и падения, танго, пропетое Борхесом, обретает вечность.

Филадельфия, февраль 2011 г.

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

ОДИНОКИЕ СРЕДИ ИДУЩИХ

Дневник этих лет

У них было особое выражение глаз. А мне казалось даже – особый запах. И уж точно: особая походка. Это походка одиноких людей. Я сразу обратил на них внимание – лет двадцать назад, когда только начал записывать рассказы советских евреев. Иногда это был всего лишь легкий всплеск слов и жестов – сбивчивые, как торопливый выдох, исповеди в очередях у американского и нидерландского посольств (последнее, как вы знаете, долго представляло в Москве интересы еврейского государства), затем – израильского консульства. Преодолевая страх, они приходили за вызовами и визами. И я запомнил их, с кем-то, вроде бы, подружился. Но потом многие потерялись, куда-то исчезли. Только лица и голоса по-прежнему живут в моем блокноте.

Без языка

...Неподвижное, окаменевшее будто лицо. С ним явно контрастирует надрывность речи.

– Вы не догадаетесь, *за что* я ненавижу общество «Память»...

Она делает паузу, но мне ничуть не хочется гадать. Все равно мне не придет на ум ее довод:

– Не могу перенести, что *вынуждена* говорить на их языке!

Ловит мой недоуменный взгляд:

– Я не в каком-то переносном смысле – в самом прямом. Я общаюсь, мыслю, читаю, мечтаю – только по-русски.

Она истерична, в основном лишь себя и слушает. Все же, не будучи права, приближается неожиданно к истине.

– Они... они презирают меня. Самое суть мою презирают. А я вынуждена пользоваться *их* языком. Они твердят, что евреи спаивают русский народ, сгубили деревню, испортили культуру. Это демагогия? Но вот лучший их аргумент: я отвечаю им на *их* языке. Что у меня своего, еврейского? Действительно, пустоцвет, перекасти-поле...

Молчу по-прежнему, боясь согласиться с ней, по больному ударить. Хотя знаю: здесь почти все – правда... В голове ее, конечно, мешанина из прочитанных книг: Ремарк, Хемингуэй, Кафка, Булгаков... В разное время эти авторы были модны, каждым она увлекалась недолго. Но ведь скорее всего любит она – действительно, любит – Есенина: чувствует надрыв души, что таится за бедными рифмами, за сравнениями типа: «голова моя машет ушами, как крыльями птица». Вероятно, еще ей близки в Есенине безоглядность искренности, безотчетное стремление к исповеди.

В почтовом отделении на Большой Ордынке спрашивает меня:

– Нет ли у вас ручки?

И тут же, признав во мне *своего*, разъясняет:

– Надо написать собственные данные, чтобы прислали из Израиля вызов. Ведь и вы, не правда ли, пришли сюда за тем же?

Нет нужды объяснять ей что-либо. Просто мы вместе отправляемся к Израильскому консульству, где она опускает в ящик свой конверт. Стоим потом в толпе. Вслушиваемся в повторяющиеся, как на пластинке, разговоры. Идем обратно к метро, вдыхая резкие запахи весны.

– ...В Израиль едут из-за детей, а у меня их нет и не будет...

Несколько коротких, внезапных, вроде бы, фраз. И вот уже ее жалкая, смятая, пролежавшая почти жизнь лежит передо мной.

Ей сорок девять, выглядит много моложе: так случается порой именно с теми женщинами, которые махнули на себя рукой. Черная резинка скрепляет пышные рыжие волосы. Ничуть не смущена она тем, что на синем плаще красуется масляное пятно, а серые туфли исцарапаны по бокам.

Она преподает в ПТУ какие-то технические дисциплины. В последние годы, сама замечая за собой несдержанность, все-таки выучилась контролировать себя на службе: молчать, выглядеть деловой и собранной. Однако это трудно давшееся искусство слетело с нее, как шелуха, в феврале. Да, в феврале девяностого, ко-

гда в Москве и других городах томительно ожидали погромов.

В те дни, думая иступленно об одном, она полурока однажды проговорила об антисемитизме. Класс смотрел на нее с недоумением. И, конечно, донесли директору. Тот вызвал ее к себе, морщился, выдавливая слова, но не попросил, как ждала она, заявления об увольнении – попросил «не отвлекаться на занятиях от темы».

У метро прощаемся. Зачем-то обмениваемся телефонами, хотя ясно, что не позвоним друг другу никогда. И вот она уже исчезает в потоке ног и локтей, в запахах пота и продуктовых сумок, в гуле той речи, которая пока еще так ненавистна ей и по которой потом не сможет разучиться тосковать.

Еврейское счастье

Мокрый, уже с утра темноватый мартовский день. Гудящая – все та же – толпа. Она выплевывает одни и те же слова, точно шелуху от семечек: багаж... билеты... погром...

Как с неба, упало другое слово: счастье.

Почудилось? Но и назавтра, и через день слышу заvistливое: евреям хорошо сейчас!

Иногда утверждают это лишь интонацией, взглядом: русские, украинцы, грузины – все те, кого заносят сюда сладкие мечты об отъезде.

Ах, старый этот, с огромной бородой, анекдот! «Жена-еврейка: не роскошь, но средство передвижения». Слышали? Теперь за фиктивный брак по пять тысяч дают.

Все равно, конечно, вздрагиваю:

– Нам-то счастье...

На этот раз слово, точно рахат-лукум, тает во рту молодого бакинского еврея. Улыбчив, польщен вниманием посторонних людей – они расспрашивают подробности бакинского погрома.

– Нам-то еще счастье... Дали армянам всего год сроку для выезда из Баку, а евреям – три. Русским? Пять...

Не знаю, так ли это. Скорее всего, сроки выдуманы молвой. Но думаю я не о том, а об его унижительной радости. Древние у нее корни: поднимается порой дух еврея, если оказывается он не самым презираемым, стоит не на последнем, но хотя бы так – на предпоследнем месте.

Тем же днем – еще встреча.

Тоже двое бакинцев. Тоже молоды, более того – молодожены.

Издревле таинственный союз: армянин и еврейка. Соединившись, не побоялись они умножить вечную печаль своих народов.

Во время погрома скрывались неделю в азербайджанской семье, но все это слишком известно по рассказам беженцев, чтобы описывать сейчас подробно: трепет от каждого звонка в дверь; духота кладовки, где прятались, теряясь в догадках; наконец, билеты на самолет («заплатили в шесть раз дороже!»); сейчас, в Москве, – у дальних-предальных родственников...

– Что было бы, если б вас поймали? – спрашивает кто-то.

Он пожимает плечами – не желает ни на кого взваливать тяжесть своих слов.

Она отвечает:

– Самое малое – отрезали бы уши... Тогда нам это постоянно снилось – из ночи в ночь.

Она смотрит в сторону, зато все соседи по очереди – на нее. Хрупкая, миниатюрная. Несмотря на неустроенный быт, волосы тщательно уложены. Она изящна в черных своих ворсистых брючках, в кожаных белых сапожках, в белой нейлоновой курточке. Все это, конечно, ради него. Не знает она, что похожа на своих библейских сестер – наивных девочек, которые вырастали в мудрых старух. Но знает, вижу, другое: счастливые ее глаза неуместны здесь, в этой толпе. Потому часто опускает веки, пытается скрыть то, что все же открыто любому внимательному взгляду: нежность, решимость перехитрить судьбу, спокойное ожидание горькой, как у всех нас, дороги.

1991-й, очередь у американского посольства

Деталь

Как в двух словах нарисовать ее портрет?

Грузна; пожалуй, даже величественна; давно ответила для себя на все вопросы жизни.

Именно такими и бывают часто старые еврейки.

Сейчас она твердит кому-то с глухой, непонятной озлобленностью:

– ... Нет, вы не знаете, какие хамы эти израильтяне! Вы и представить не можете... Они воспитали молодежь, с которой уж точно не построишь никакого будущего... Вы мне поверьте, мне достаточно только одной детали, чтобы увидеть целое.

Что сейчас для нее эта «деталь»?

Оказывается, концерт израильской самодеятельности, состоявшийся недавно в Вильнюсе. Если еще точнее – поцелуй двух юных артистов, мальчика и девочки. (В антракте они целовались «на глазах у всех» – сидя на скамейке, прямо у входа в зал).

Поговорив со старухой, я вполне понимаю ее раздражение.

Конечно, это обида на самое себя. Или на нелепость жизни? Вот уже три дня как она вместе с семьей сына подала документы в ОВИР.

1990, Вильнюс

Тот, кто остается

Но многие из них останутся. Лучше сказать: это останется их страх.

Страх, однажды поселившийся в душе, победить трудно.

Когда-то Моисей приказал евреям, живущим в Египте, немедленно покинуть свои дома и отправиться в путь. Из рабства. В Землю Обетованную.

Чем была вызвана спешка? Вовсе не тем, что Моисей боялся преследования фараона. Он знал о другой опасности: чуть промедлишь и – передумают сами евреи.

...С Моисеем ушли из Египта только около двадцати процентов наших предков. Большинство – остались.

Снег в субботу

Сегодня пустынно здесь: суббота. Евреи сегодня должны думать о вечности, прогнав суету. На тротуар падает тихо снег. Прохожие редки, они не успевают – как в будни – превратить снег в хлопьящее месиво. Тепло. И милиционер у консульства не прячется в будку. Прохаживаясь у металлического барьера, он думает о своем.

Все же время от времени подходят люди. Прочитывают объявления на бетонной стене, которые странны именно тем, что стали теперь обычны: телефоны и адреса кооперативов упаковщиков, грузчиков, правила бронирования билетов, предложения о продаже и покупке квартир. Переписывают в блокнот необходимое, разбегаются – кто куда.

В полдень здесь надолго задержится старый еврей. Утренний поезд привез его из подмосковного городка. Ему сказали, что консульство работает ежедневно, и он, как почти все в России, забывший о законах еврейства, поверил. Не встретив никого, кроме милиционера, старик все не решается обратиться к нему. Наконец, спрашивает:

– Скажите, сегодня есть кто-нибудь из дипломатов Израиля?

– У них выходной... В субботу им не полагается заниматься делами... – роняет милиционер важно.

– Да, да, – переступает с ноги на ногу старик. И опять – неожиданно, преодолевая себя:

– Мне сказали, здесь можно оставить свои данные для вызова на постоянное жительство...

– Можно, – подтверждает милиционер. – Если хотите, дайте мне, я опущу конверт в специальный ящик.

Старик молчит: ну как доверить *такое* гою, тем более – милиционеру. Тот поставлен органами, собирает, конечно, информацию; однако что делать? Неужели приезжать снова? Он вопрошающе смотрит на милиционера. Тому едва ли больше двадцати, у него ясные глаза, пухлые детские щеки.

Я стою к ним спиной, лицом – к стене с объявлениями. Оба они не обращают на меня внимания. Наконец, оборачиваюсь. И вот уже бросается ко мне старик – с радостью. Он сразу оценил характерность моей иудейской внешности. И заранее приготовленный конверт дрожит в его руке:

– Посмотрите, пожалуйста... все ли верно?

Чуть прикрывает ладонью – и от снега, и от глаз милиционера. Я замечаю прежде всего год рождения: 1910. Вижу также: на листке – одна фамилия. «Значит, и едет один». А мысли старика сейчас – о другом. Интересуется у милиционера процедурой оформления документов, отправкой багажа. Тот неожиданно оказывается в курсе всего (во время дежурств память, как магнитофон, зафиксировала однообразные разговоры людей). И почему-то теперь это не удивляет старика.

Так стоим, почти облепленные хлопьями снега. Потом старик идет разыскивать что-то в пустых магазинах. Медленно, без лишних движений, скользит по снегу допотопными своими ботами, которые когда-то, лет тридцать назад, помню, называли «прошай, молодость».

1989

Истина

Мне всегда интересны антисемиты – их судьбы, их с годами крепнущая ненависть, их жаркая правда, в которой по-своему (но совсем иначе, чем у евреев) перепутаны логические связи.

В прибалтийском Калининграде, на Ленинском проспекте, идет навстречу мне старая женщина. В обеих руках – тяжелые сумки, на голове – берет, спереди и сзади на старенькое пальто опускается большой вяза-

ный шарф. (Обычные, наивные попытки интеллигенции скрыть вопиющую свою бедность).

Замечаю ее издали, вижу, как безжалостно бьет ноябрьский ветер маленькую фигурку.

Встретив мой взгляд, подходит ко мне. Остановившись, чуть опускает сумки и произносит, четко выговаривая слова:

— ...А все-таки во всем виноваты евреи!

Высказав эту — сокровенную для нее — истину, женщина неторопливо идет дальше.

1989

Карта

Случайная, как почти всегда, встреча. Знакомимся с ним в одном московском доме, куда он приезжает прямо с вокзала, едва сойдя с саратовского поезда. У наших общих знакомых ждет его переданное с оказией письмо от израильских родственников. Ну, а там, в конверте, — легко догадаться: вызов «на постоянное жительство».

Я и сейчас хорошо вижу его. Вот сидит, развалившись в кресле-качалке: при неосторожном движении подсакивают резко вверх пыльные полуботинки на толстой подошве; мятые брюки, коричневые синтетические носки. Он нерешителен и оттого развязан нередко. Ставит его в тупик даже простой вопрос:

— Вам кофе?

Он понимает: это жест вежливости (хозяева торопятся куда-то), однако отказаться не может — выпивает две чашки, опустошает тарелку с бутербродами («Извините, возьму еще один»). — «Ну, конечно, конечно».

Еще больше он говорит. Слова плотно облепляют его, точно скрывают важное. Хотя скрывать нечего, уже через несколько минут все ясно. Разумеется, не знает он, почему все-таки решил уезжать: «Логике это не поддается». Наконец-то — в сорок два — защитил диссертацию, дали в институте должность старшего научного сотрудника, строит дачу. «Антисемитизм, конечно, существует, но меня-то никто не трогал...»

Все это обычно, и я перестаю его слушать (не узнав ничего про родителей, с которыми он вместе живет).

Я слушаю песни Окуджавы, которые звучат из соседней — детской — комнаты, а смотрю на Б.

Можно было бы назвать его симпатичным, но рыжая густая борода совсем не идет ему, не вяжется с растерянным выражением глаз. Обычно борода придает лицу определенность, законченность какую-то, однако он — самое воплощение растерянности. Может, оттого и не уходит, засиживается до неприличия в гостях, что ждет инстинктивно подсказки...

Когда мы снова — случайно же — встречаемся на Большой Ордынке, Б. помнит еще более. Живет в кооперативной гостинице (в комнате на четверых), несколько дней, видно, не принимал душ: в разрезе плаща проглядывает чистая рубашка, которую он достал из саратовского чемодана, но голова лоснится, а на воротнике плаща — перхоть.

У консульства он переходит нетерпеливо от группы к группе. А в глазах — все то же ожидание: кто-то — кто? — должен ответить на его сомнения.

Он рад встрече со мной (старый знакомый!) и вскоре приглашает перекусить в полуподвальном кафе. Мы идем туда долго: как всякий провинциал, Б. знает в Москве только несколько мест общепита. В кафе он во-

дружает на поднос две порции сосисок, тарелку булочек, два стакана некрепкого, на сгущенке, кофе. И беспрестанно опять говорит, точно не желая прислушаться к голосу внутри себя, а, может быть, как раз заглушая тихий этот голос.

После сидим на скамейке. Он закуривает и достает из портфеля карту Израиля, которую купил у спекулянта. По-детски шевеля губами, повторяет вслух древние названия. Я думаю: миллионы людей с трепетом произносили в течение тысячелетий те же сочетания звуков, которые для него почти ирреальны.

Наконец, он замолкает и смотрит куда-то вбок от меня.

1990

Фразы

— ...Приезжающие оттуда твердят в один голос: глазам своим не поверил, когда увидел: кругом — евреи. И я подтверждаю: чувство это ни с чем не сравнимо. Поверьте, дышать по-другому! В буквальном смысле — там дышать легче. Ведь здесь мы так зажаты, скованы...

Кому принадлежат эти слова? Какая разница! Каждый раз их кто-нибудь да обронит в очереди. Кто-нибудь из тех, кто едет в Израиль во второй или в третий раз. Дама из Минска, воронежский парикмахер, пенсионер из Бельц...

Случается, однако, услышишь другое. С хохотком ли, серьезно ли:

— ...Хорошо в Израиле, да только слишком много евреев!

Фразы эти, в сущности, может произнести голос одного и того же человека. Конечно, в разное время, в настроении разном.

Попробуйте спросить: почему? Скорее всего, говоривший вам ничего не объяснит. И я сейчас промолчу: отвечать слишком долго. А задумавшись, вы и сами поймете, что сделали с нами два тысячелетия рассеяния.

1992, январь

СЛАВА ПОЛИЩУК

ЧЕРЕЗ МОСТ

Памяти Алексея Афанасьева

...место, где настигает весть о смерти близкого человека, становится твоим. Локоть навсегда запоминает ребро стола. Звуки оседают, сдавливая виски. В окне — движущиеся фигуры, противоположная сторона площади. Голоса обеззвучены, задохнулись в застывшем воздухе. Так проходит время. Крик, протиснувшись с улицы в открывшуюся дверь, прорывает сухую оболочку. Под обложкой — ты, слепок с себя. Пронумерованная отливка, в зависимости от того, скольких пришлось проводить.

* * *

...приходит опыт. Раскладывая диван на ночь, покрывало и подушку в наволочке того же синего материала не надо нести отдельно и складывать на металлическую коробку батареи. Два лишних прохода от дивана до окна. Сложить их вместе на темную накидку, закрывающую деревянный сундук, обернуть концами вылинявшей

ХУДОЖНИК ВИКТОР ЛАЗУХИН

ткани и перенести сверток на боковую стенку дивана. Два шага – шаг туда и обратно.

Потянув на себя, выдвинуть горизонтальную часть дивана. Приподнимая, услышать негромкий щелчок. Продолжая сгибать, изменить направление усилия и опустить на пол. Утром – то же самое, только в обратном порядке. Поднимая крайнюю часть матраса услышать все тот же щелчок. Отметив про себя услышанное, – поднимать до второго щелчка. Главное – не пропустить второй щелчок, не отвлечься, не задуматься. Иначе может заклинить. Если получилось, услышал, не пропустил, – тогда не спеша надавишь на застывшую, задранную часть, толкающую среднюю, легко поддающуюся и катящуюся по полу на пластмассовых колесах внутрь, к другой, последней части. Соединенные, они поднимаются и складываются в спинку дивана.

Сверток переложить на крышку сундука, откинуть накидку и, сначала покрывало, а потом подушку, застелить диван.

Держать соль и хлеб в одном месте – рядом со столом. Чтобы можно было достать необходимое, даже если придется неудобно изогнуть руку. По-прежнему, не вставая со стула.

Сваливая посуду в раковину, оставлять в тарелках ножи, вилки, ложки, чтобы дно лежащей сверху тарелки не касалось внутренней жирной поверхности. Но не бросать ножи и вилки в залитой водой сковороде. Во-первых, придется вылавливать их из масляной лужи. Во-вторых, надо будет несколько раз мыть их с мылом.

Перчатки и шапку класть вместе – к левой стенке на средней полке. Протягивая руку, берешь все вместе. Куртку носить кожаную, на молнии, с жестким воротником. Подтягиваешь замок молнии под самый подбородок, тогда воротник плотно обхватывает горло. Можно обойтись и без шарфа. Остается лишь взять перчатки и шапку.

Возвращаясь, накинуть кепку на дверной крюк в стенном шкафу. Натягивая куртку, – не глядя сдернуть с крюка кепку.

Зная, где находятся вещи, свести количество движений к минимально необходимому.

Перекраивая время, сохраняешь пятнадцать-двадцать утренних минут для того, чтобы, сидя в еще темной мастерской, слушать, как скрежещут челюсти грузовика-мусоросборщика, перемалывающие содержимое пластиковых баков.

...так и должно быть. Страхивая темноту, поезд выходит из туннеля на мост. Пытаешься читать. Взгляд останавливается в начале строки, поздним вечером, в полупустом вагоне. Прильнув к сверкающей картинке, к узкой улице, текущей далеко внизу, среди беззвучно движущихся машин, прижавшихся друг к другу домов, открывающих свою красоту с наступлением темноты, глаз натывается на отражение: белое пятно раскрытой страницы, и, оторвавшись от стекла, прочтет и застынет:

Я вынул фотографию, портрет
того, которого на свете нет.
Потом убрал, тень лампы колыхнулась,
и мне почудилось, что в ящике стола
отображение задохнулось.
Как странно скорбь меня подстерегла! *

* Стихотворение В. Гандельсмана "Портрет".

Кейн-Код – Нью-Йорк. Август-ноябрь, 2009

"Художник пишет не предметы, художник пишет свои чувства".

Ромэре Бирден (Romare Bearden, американский художник.

"...Все, что мы с Михаилом делаем в живописи, мы делаем для души. А не для денег. Мы свободны в своем творчестве. Ни от каких издателей, ни от каких галеристов мы не зависим".

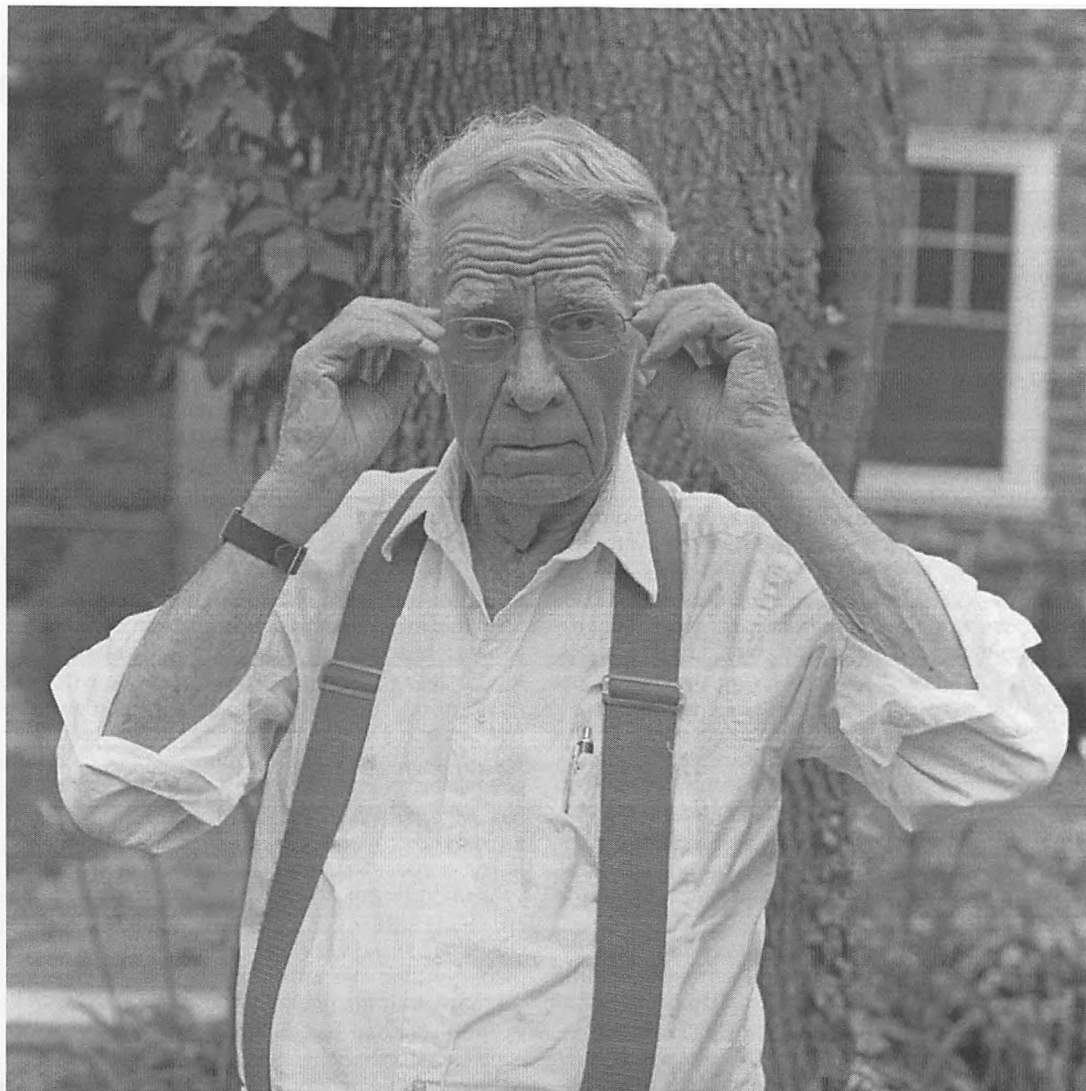
Из интервью Виктора и Михаила Лазухиных журналу "Футурум АРТ". 1992 г.

Каждый из нас обладает чувствами, но немногие способны выразить их с помощью красок, линий, объемов, форм. Как-то один человек, из числа этих немногих, в нашей беседе сказал: "Я не русский, я американский художник ... русского происхождения". В ответ на мой удивленный взгляд он продолжил: "Как художник я получил образование и состоялся в Америке". Это был Виктор Сергеевич Лазухин – седовласый, немолодой, с лицом покрытым вязью глубоких морщин, которые я читал как летопись его непростой жизни – советские детство и юность, война, немецкая оккупация, голод, Германия, лагерь для перемещенных лиц, затем Америка.

Из ряда художников, выходцев из бывшего СССР, в подавляющем своем большинстве являющихся представителями реализма, Виктора Лазухина выделяют его работы. Творчество Лазухина отличается не попытка точно и объективно отобразить действительность, (с этими функциями, в определенный момент, успешно стала справляться фотография), а скорее стремление к постановке и решению принципиальных задач в искусстве, использованию современных материалов и техник, поиску нестандартных форм, синтезу. С одной стороны, в основе этого стремления – отсутствие у Лазухина врожденного консерватизма, ортодоксальных взглядов, закостенелых традиций и навязанной системой политической ориентации, качеств свойственных многим нашим соотечественникам. С другой – интерес к жизни, наличие здорового любопытства, чувства прекрасного и желания творить, однажды пробужденного репродукцией с картины Матисса "Золотые рыбки в аквариуме", найденной на развалинах разрушенного бомбами дома в немецком Регенсбурге. Гениальные по своей простоте и красоте "Рыбки" поразили юного Лазухина, дав ему понять, что за глухими стенами соцреализма существует мир другого искусства, не казенного, вольного, с не ограниченными возможностями. Всё это вместе со свободным от догм миропониманием, помогло Виктору Лазухину вывести уникальную формулу самовыражения, а его творчеству приобрести яркую отличительную окраску.

Эволюция Лазухина как художника напоминает эволюцию изобразительного искусства. От простого к сложному, от поверхностного к глубинному, от реализма к абстракции, от декоративности к утилитаризму, от отдельных видов к синтезу, от традиционных материалов и техник к использованию компьютера.

В процессе художественного развития, Виктор Лазухин ставил перед собой барьеры, преодоление которых часто требовало смены творческой палитры, переоборудования и реорганизации художественного процесса. После освоения традиционных акварельной и масляной живописи, Лазухин будет изучать сложные, обладающие способностью тиражирования, техники офорта и лито-



Художник Виктор Лазухин. Фотопортрет Юрия Крупы.

графии. Он много и плодотворно работает как художник-график, добиваясь великолепных результатов, используя в полной мере лаконичность, строгость и другие качества гравюры. Возникшие новые творческие задачи требовали для своего решения иного подхода. На смену классическим художественным техникам пришли более современные шелкография и аэрограф, позволяющие работать в большом формате и использовать богатую цветовую палитру. Затем наступает компьютерная эпоха. 60-тилетний Лазухин, сложившийся на тот момент мастер, открывает для себя компьютер с его безграничными изобразительными возможностями. Художник, область интересов которого необычайно широка, куда кроме живописи и графики входят дизайн, художественное моделирование, скульптура, архитектура, синтез изобразительных искусств, делает компьютер своим основным инструментом.

С течением времени творчество Лазухина развивалось, видоизменялось, приобретало и отвергало те или иные приёмы и формы, но при этом строго придерживалось главного своего направления. Окидывая взглядом художественное наследие Виктора Лазухина отмечаешь, что в его основе лежит конструктивизм с ясной логикой, геометрией, острыми ракурсами. Однако конструктивизм Лазухина имеет свои отличительные особенности. Художник обогащает свои работы абстрактными и фигуративными элементами, придавая им экспрессионистический характер. Двухмерность плоскости Лазухин нарушает активной светотенью ("Tower/Joker". 2002). В некоторых случаях его гравюры превращаются в откровенные рельефы ("Animals" By Walt Whitman". 1969). Абстрактные формы художник "приводит в порядок", организуя их в чёткие структуры ("After Apple Picking", by Robert Frost". 1970). Конструктивизму Лазухина тесно в рамках одиночных работ. Художник создаёт композиции, включающие в себя две, три, четыре и более отдельных работ, называя их трудно переводимым на русский термин: Modular-Multiple-Computer-Generated-Print-Structures. Эти структуры представляют из себя отдельные печатные работы, заключённые в рамки, не обязательно прямоугольные, которые автор использует как строительные блоки. Из этих блоков могут собираться плоскостные либо объёмные композиции, в неограниченном количестве вариантов, способные нести на себе помимо эстетических – оформление экстерьеров и интерьеров, ещё и утилитарные функции – организация архитектурного пространства зданий и сооружений.

Художественный критик Энн Р. Фаббри (Anne R. Fabbrì) во вступительной статье к каталогу выставки избранных работ Виктора Лазухина за 1949-2008 годы, отметила, что отличительной чертой творчества художника является минимализм. С этим трудно не согласиться. В своем стремлении сформулировать мысль просто и точно, Лазухин прибегает к приемам минимализма, течения вышедшего из конструктивизма, поэтому органично его дополняющего, характеризующегося лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. Минимализм – это не отсутствие или недостаток возможностей для выражения идеи, это стремление извлечь максимум экспрессии из того материала, каким располагает художник, а порой и из искусственно ограниченного самим художником набора изобразительных средств. Достигается это путём полного погружения художника в проблему, сопровождающегося большим расходом моральных и физических сил, громадным интеллектуальным напряжением. Минимализм поднимает ценность каждого отдельного элемента используемого художником, широко демонстрируя известные качества этого элемента, параллельно открывая новые.

В памяти всплывают слова Анри Матисса: "Much of the beauty that arises in art, comes from the struggle an artist wages with his limited medium" ("Красота в искусстве, достигается колоссальными усилиями, которые художник тратит при работе с ограниченным в своих возможностях художественным материалом"). Как правило, результат такого подхода к работе проявляется в создании искренних, по настоящему прекрасных произведений, способных положительно влиять на человека и его сознание. Вспомните "Золотых рыбок в аквариуме".

ЛЕВ БЕРДНИКОВ

ЕВРЕЙСКАЯ КОННИЦА КНЯЗЯ ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО

В русской истории XVIII века подлинную славунискал государственный муж, который без обиняков и лавирования во весь голос заговорил о правах иудеев. То был всемогущий сподвижник и фаворит Екатерины, фельдмаршал и светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739-1791). Блистательный администратор и военачальник, покоритель Крыма и строитель Черноморского флота, Потемкин был личностью харизматической. "Гений, потом гений – и еще гений, – рисует его психологический портрет современник, – природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздавании наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей".

Головокружительный взлет карьеры этого фактического соправителя императрицы (1772 – 1790) совпал по времени с первым разделом Польши, в результате коего под российским скипетром оказалось стотысячное еврейское население. И во многом благодаря светлейшему князю преобразования века Просвещения распространились и на новообращенных евреев. Именно Потемкин представил и воплотил в жизнь целую программу привлечения иудеев в империю, чтобы с их помощью можно скорее развернуть торговлю на отвоєванных землях. При этом он призвал Екатерину Великую предоставить им ряд льгот: в течение семи лет освободить от налогов, дать право торговать спиртным, обеспечить защиту от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т.д. Дабы увеличить народонаселение, поощрялся ввоз в Новороссию, а затем и в Таврию, женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил пять рублей. Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Как и христианам, евреям было предложено записываться в сословия в зависимости от рода занятий и наличия собственности. Все иудеи оказались причислены к купеческому или мещанскому сословию и были подсудны магистратам и ратушам. То есть, по существу, верховная власть предложила христианскому населению общаться с евреями, как с равными. Показательно, что в 1783 году на запрос по сему поводу из Петербурга последовал недвусмысленный ответ: граждане облагаются налогами и участвуют в городском управлении "без различия веры и закона". И указ Сената от 7 мая 1786 года подтвердил полное равноправие евреев с христианами. Как отметил американский историк Ричард Пайпс, указ "впервые формально провозгласил, что евреи наделены всеми правами их сословия и что дискриминация их на основе религии или происхождения является незаконной".

“Почти уникам среди русских военных и государственных деятелей, – подчеркивает английский историк Себаг Монтефиоре, – Потемкин был больше, чем просто толерантным к евреям: он изучал их культуру, наслаждался обществом их раввинов и стал их покровителем”. И, действительно, Григория Александровича вполне можно назвать “светлейшим юдофилом”.

Князь вообще отличался исключительной веротерпимостью: недаром в 1767 году он исполнял обязанности “опекуна татар и иноверцев” в Уложенной комиссии. И в окружавшей его разноязыкой толпе явственно слышался и идишский говор. Причем светлейший проявлял живой интерес не только к делам практическим – его занимали и материи высокие: псэзия, философия и особенно богословие. Рассказывают о пристрастии Григория Александровича к религиозным диспутам: “Он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и срашивать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях”.

Под началом Потемкина было немало выдающихся евреев, крещеных и некрещеных. Каждый из них достоин обстоятельного разговора. Назовем лишь некоторых. Карл Иванович Габлиц (1752-1821), выходец из Кенигсберга, вице-губернатор Тавриды, почетный член Российской Академии наук и тайный советник; Николай Штиглиц (1772-1820), родом из Мюнхена, видный откупщик; под патронажем князя осуществлял соляные промыслы в Крыму; Нота Хаймович Ноткин (1746-1804), уроженец Могилева, недюжинный купец, надворный советник, поставивший для воюющей армии Потемкина провиант и фураж, рискуя при этом жизнью, еврейский печальник (“защитник своего народа”, как его называли), основавший еврейскую общину в Петербурге.

Но, пожалуй, наибольшее влияние на Григория Александровича оказал Йехошуа Цейтлин (1742-1822). Вместе с князем он путешествовал, строил города, а также оформлял займы для снабжения армии, возглавлял мотный двор в Крыму. Уроженец Шклова, ученый-гебраист и тонкий толкователь Талмуда, Цейтлин был одновременно крупным купцом и управляющим Потемкина и часто вел с ним талмудические дискуссии. Друг светлейшего, этот некрещеный еврей по воле своего покровителя получил титул надворного советника и имение Устье в Могилевской губернии с 910 крепостными душами. В сем имени Цейтлин, как подлинный еврейский меценат, создал свой бет-га-мидраш, где собирались талмудисты, пользуясь собранной хозяином уникальной библиотекой. Поддержку “еврейского помещика” получали и маскилим, и среди них – известный писатель и педагог Менахем Мендл Лефин, знаток ивритской грамматики Нафтали Герц Шулман, раввин, астроном и популяризатор науки Барух Шик.

Ученик раввина и талмудиста Арье Лейба, Цейтлин сохранял рабность и носил традиционную еврейскую одежду. Он часто ездил в Берлин, где неоднократно навещал одного из основоположников движения Хаскала, философа Мозеса Мендельсона. Представитель первого поколения еврейских просветителей в России, Йехошуа находился под значительным влиянием раввинистической культуры, ярчайшим выразителем которой был тогда знаменитый Вилефский гаон, р. Элияху бен Шломо (1720-1797), и объединял в своем мировоззрении идеалы европейского Просвещения и еврейской интеллектуальной традиции. По свидетельствам очевидцев, Цейтлин часто “расхаживал вместе с Потемкиным, как его брат и друг”.

Между прочим, Йехошуа представил Таврическому своему зятю, впоследствии общественного деятеля и

крупного откупщика Абрама Израилевича Перетца (1771-1833), получившего как традиционное еврейское, так и широкое общее образование. По совету и по протекции Потемкина тот переселился в закрытый для иудеев Петербург, где открыл финансовую контору тестя.

Несомненно, не кто иной, как Цейтлин привил Потемкину интерес к иудаизму. Достаточно сказать, что в личной библиотеке князя хранился драгоценный свиток из пятидесяти кож с “Пятикнижием Моисеевым”, написанный, предположительно, в IX веке. Именно в беседах двух друзей и родилась сколь дерзновенная, столь и фантастическая по тем временам идея о размещении евреев в отвоеванном у турок Иерусалиме. Исследователи видят в этом “попытку связать “стратегические” еврейские интересы с имперским визионерством Потемкина”.

И важно то, что князь не довольствовался бесплодными мечтаниями – он пытался претворить сию идею в жизнь. В 1787 году Потемкин решает вооружить евреев. Историк Н.А. Энгельгардт живописует:

– “Теперь, господа, прошу вас на смотр нового сформированного мною Израилевского Эскадрона, – сказал светлейший и пошел к стоявшей в конце сада декорации, изображавшей ипподром византийских царей. За нею был широкий плац, усыпанный песком, достаточный, дабы произвести эволюцию хотя бы целому полку.

– Что за Израилевский батальон? – шепотом вопрошали в свите светлейшего.

Никто не знал. Но когда батальон внезапно выехал на арену, без объяснений все поняли, что это было за войско. Потемкину пришла в голову единственная в своем роде идея – сформировать полк из евреев, который и именовать Израилевским конным его высочества герцога Фердинанда Брауншвейгского полком, конечно, в том случае, если бы герцог согласился быть шефом столь необычной войсковой части.

Покамест представлялся светлейшему один эскадрон будущего полка. В лапсердаках, со столь же длинными бородами и пейсами, сколь коротки были их стремена... Батальонный командир, серьезнейший немец, употребивший немало трудов, чтобы обучить сколько-нибудь сынов Израиля искусству верховой езды и военным эволюциям, командовал, и все шло по уставу порядком.... Кажется, этого только и добивался светлейший. Он прекратил эволюции, поблагодарив батальонного командира.

– Ничего, они уже недурно держатся в седле и если еще подучатся, из них выйдет отличное войско, – серьезно говорил Потемкин. И он стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет, наконец, разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Иерусалим более не во власти неверных. А тогда должно в Палестину выселить всех евреев. На родине же своей они возродятся. И вот, в предвидении сего и приготавлиается будущее палестинское войско”.

Иные современники и литераторы живописуют еврейских конников с нескрываемой иронией. Так, русский историк XIX века Сергей Шубинский: высмеивает их “длинные седые бороды, простиравшиеся до колен, ермолки, короткие стремена”. В этом же духе высказался и бельгиец-принц Шарль Жозеф де Линь – живой наблюдатель экзерциций “Израилевского” эскадрона. А русско-еврейский писатель Лев Леванда заметил: “Хасиды и ружье – в самом деле, очень странное сочетание... Вооруженные хасиды, разумеется, фигурировали на первом плане. Их фузии... служили неисчерпаемым источником остроумия и анекдотов, в которых очень много было забавного”.

Израильский историк Савелий Дудаков полагает, что подобные уничтожительные характеристики грешат тен-

денциозностью и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описываемых событий в мятежной Польше вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под командованием Берека Иоселевича. Пятьсот волонтеров этого полка доказали свое мужество и стойкость и пали смертью храбрых при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.

Но какой бы комичной ни казалась еврейская конница Потемкина, важно то, что со времени римского императора Тита, разрушившего в 70 году н.э. Иерусалимский Храм, это была первая в мировой истории попытка вооружить иудеев. И можно без преувеличения сказать, что светлейший князь Таврический стал первым (и единственным) в российской дореволюционной истории государственным мужем – ревностным сторонником сионистской идеи! Не случайно, как сообщает Н.А. Энгельгардт, один из присутствовавших на смотре еврей "пришел в совершенный восторг от сего [сионистского – Л.Б.] проекта и стал одушевленно развивать прекрасную и человеколюбивую, как он выражался, мысль светлейшего".

Светлейший князь замыслил тогда и паломничество большого числа евреев в Палестину. И дабы разведать обстановку на месте, отправлял туда лазутчиков. Известно, что по его представлению 1 июля 1784 года был выдан паспорт некоему Юзефу Шишману, следующему в Иерусалим вместе с группой иудеев.

"Израилевский" конный полк просуществовал недолго и уже через пять месяцев был расформирован. Шарль де Линь говорил, что Потемкин распустил сие еврейское воинство, "чтобы не ссориться с Библией". И Шубинский заявляет: "Кто-то уверил Потемкина, что составление такого полка противно Священному Писанию, и он велел распустить его".

Однако вовсе не в Библии тут дело, а в ложном, превратном ее толковании "христолобивыми" церковниками. Ведь истари попы (равно как и католические и протестантские служители культа) внушали пастве мысль о том, что народ Израиля навеки отвергнут и проклят Богом, и возлагали на иудеев коллективную вину за распятие Иисуса. Иерусалим трактовался отцами церкви как "Гроб Господен", они непрестанно указывали, что рассеяние иудеев – живое доказательство истины учения Христа и его предсказаний. А во время Пасхальных богослужений многожды и настойчиво втолковывали: "Еврейское племя, которое осудило Тебя на Распятие, отплати им, Господи! Христос воскрес, а еврейское семя погибло!" Слова первосвященника Иудеи Каифы: "Кровь Его на нас и на чадах наших!" они интерпретировали не иначе как гибель и проклятие небес целого народа. Воинствующая нетерпимость и ненависть к народу Книги быют в глаза в инвективах ректора Киевского коллегиума Иоанникия Галатовского (XVII в.): "Мы, христиане, должны ниспровергать и сжигать еврейские божницы, отнимать синагоги и обращать их в церкви, изгонять [иудеев] из городов, убивать мечом, топить в реках". На самом же деле, подобных людоедских призывов и в Новом Завете не находится. Апостол Павел (сам этнический еврей) писал о богоизбранном народе: "Ибо что же если некоторые и неверны [учению Христа – Л.Б.] были, неверность их уничтожит ли верность Божию?" (Рим 3:3), "Не отверг Бог народа Своего, который он наперед знал" (Рим 11:2), "Ибо дары и призвание Божие непреложны" (Рим 11:29). И далее о евреях: "Этот народ Закона и пророков, мучеников и апостолов, 'иже вероу победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования, заградиша уста львов' (Евр 11:33).

По-видимому, князь Потемкин, при всей широте своего мышления, проницательности и веротерпимости, едва ли раздумчиво и глубоко изучал Писание и, хотя и любил богословские диспуты, был все же в плену у своего времени с его заскорузлым религиозным антисемитизмом. В светлейшем не было, конечно, и тени мистического страха перед иудеями (как, например, у тургеневской Арины Власьевны из "Отцов и детей" – та свято верила, что у каждого жида на груди кровавое пятнышко). К евреям он относился без предубеждений, даже симпатизировал им, но преодолеть вполне, подняться над православными предрассудками, заповеданными еще Иоанном Златоустом и Василием Великим, никак не мог. Поэтому-то, надо полагать, его сионистский проект так и остался нереализованным.

Знаменательно, однако, что идея создания национального очага иудеев продолжала будоражить просвещенные еврейские умы. Известно, что она весьма занимала Абрама Перетца. Сохранились воспоминания литератора Федора Глинки о его беседах с сыном Перетца, Григорием, и тот поведал о сокровенных мыслях отца. "В одно утро, – рассказывает Глинка, он [Григорий Перетц] очень много напел о необходимости общества к высвобождению евреев, рассеянных по России и даже Европе, и поселению их в Крыму или даже на Востоке в виде отдельного народа; он говорил, что, кажется, отец его... имел мысль о собрании евреев; но что для сего нужно собрание капиталистов и содействие ученых людей и проч. Тут распелся он о том, как евреев собирать, с какими триумфами их вести и проч. и проч. Мне помнится, что на все сие говорение я сказал: "Да видно, вы хотите придвинуть преставление света? Говорят, что в Писании сказано (тогда я почти не знал еще Писания), что когда жида выйдут на свободу, то свет кончится".

Как и Потемкин, Глинка апеллирует здесь к Библии, однако заглянуть туда он не удосужился и принял на веру рассказы церковников. Зато искушенный в изучении Торы Абрам Перетц твердо знал пророчества, радовавшие его сердце: "Возвратит Господь Бог твой, изгнанников твоих, и смилуетсЯ над тобою, и снова соберет тебя из всех народов... И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои, и станешь ты владеть ею" (Дварим, 30: 3,5). И еще – "Соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их" (Иер. 23:3).

Сионистскому проекту Потемкина, равно как и мечте Перетца об обретении своего еврейского дома, не суждено было сбыться в XVIII веке. Однако этот исторический эпизод волнует и вызывает живой интерес. Пусть конники "Израилевского" эскадрона мало походят на сегодняшнюю победоносную израильскую армию. Но сама попытка "светлейшего юдофила" Потемкина вооружить иудеев и направить их в Палестину заслуживает уважения и признания.

Из архива литературоведа Ирины Панченко

Ирина Панченко готовилась написать эту статью, посвященную киевскому литературоведу и учительнице Д. Я. Таран, несколько лет. Расспрашивала коллег Дианы Яковлевны, перечитывала её диссертацию. Она хотела, чтобы память о скромной женщине, влюблённой в литературу, не канула в прошлое. Случилось так, что статья о Дине стала предпоследней работой Ирины. Статья публикуется впервые.

«ПУСТЬ ЗА МЕНЯ ВСЕ ЛЮДИ НА СВЕТЕ ЖИВУТ»

Памяти Дины Таран

Мотив загадки смерти и её преодоления пронизывает всё творчество Андрея Платонова, ибо мир в его прозе явственно предстаёт как трагическая целостность природного и социального бытия. Идею счастья народного, мечту обретения человеком бессмертия писатель связал с учением русского философа Николая Фёдорова, призывавшего к «общему делу» воскрешения всех умерших. Платонов переосмыслил Фёдорова, отринув в век революционной эпохи «божеские» грани фёдоровской концепции, однако остался верен мысли о ценности каждой, даже самой скромной человеческой жизни, также достойной воскрешения. А пока эта грандиозная идея оставалась (и продолжает оставаться) далёкой мечтой человечества, Платонов своим кредо, вынесенным в заголовок данной статьи, множество раз повторенным устами его персонажей, напоминал читателю, что мы, живые, «преодолев недостаток человеческого сердца, склонного к забвению», должны оставить в науке ли, искусстве ли след в памяти поколений о тех, кто заслужил такой памяти.

Платонов боролся с человеческим забвением. Он и его персонажи видели в себе и других людей часть «всемирного вещества», а в смерти лишь метаморфозу его. Но такой вид бессмертия, по мысли Платонова, – заслуга природы, а не человека. Труднее оставить след не в «памяти» природы, а в памяти поколений.

На моём письменном столе лежит книга «Андрей Платонов. Величие простых сердец» («Московский рабочий», 1976). Это книга избранных повестей и рассказов писателя, его размышлений о литературе. Произведения Платонова после огромного перерыва тогда только начинали выходить в родном отечестве.

На первой странице книги скромный автограф: «Панченко И.Г. на добрую память. М. И. М. Платоновы. 30.09.76.».

К сожалению, я не была знакома с вдовой и дочерью Андрея Платонова. Этот дорогой подарок привезла мне от них из Москвы верный и чуткий друг Диана Яковлевна Таран, которая мне много рассказывала о родных писателя, о её дружбе с ними.

С Диной я познакомилась в 1972 году на кафедре русской литературы Киевского педагогического института им. А.М. Горького (ныне Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова), незадолго до защиты ею кандидатской диссертации о творчестве Платонова. Я давно собиралась написать о Дине, долго к этому готовилась, расспрашивала её бывших однокурсников.

И вот это время настало. Мне хочется вспомнить о той, что оставила свой след в памяти поколений.

...У неё было красивое имя Диана. Но она его не любила. «Куда мне такое имя с моей внешностью?» – говорила она с лёгкой насмешкой над собой, недовольная своим небольшим ростом, своим отражением в зеркале. Может поэтому не захотела записаться в институтский драмкружок. Её однокурсницы Валентина Гнатюк и Сима

(Серафима) Зельдич играли на самостоятельной сцене с удовольствием.

Она недооценивала себя. Ведь, как сейчас вспоминают её однокурсницы, была хорошенькой крепенькой невысокой девушкой с огромными карими глазами, великолепным цветом лица, стройной шеей, которую венчала независимо поднятая голова. В её манере говорить, мимике, поступках прочитывалось врождённое достоинство, которое некоторые сокурсники принимали за высокомерие. Было ей свойственно чувство юмора. Смеялась замечательно – будто стеклянные шарики рассыпала.

Звала она себя, а вслед за ней все окружающие, Диной.

Жила Дина с мамой в центре Киева на улице Сакаганского в комнате коммунальной квартиры. Родители давно разошлись. Сегодня никто не может припомнить, чем занималась её мать, а отец был сотрудником газеты. Дина содержала их комнату в идеальном порядке. Особенной её заботой пользовалась медная люстра, всегда надраенная до сияния. Обеспечение этого сияния требовало не только аккуратности и великого терпения, но и сознания ценности старинных вещей. То и другое было в Дининой натуре.

Дине и студентам одного с ней курса Киевского педагогического института им. А.М. Горького повезло. Курс, начавший учёбу 1 сентября 1947 года, был одним из лучших на русском отделении филологического факультета. Недавно одна из сокурсниц Дины, которая 33 года работала в пединституте, написала в письме, что она полюбила всех студентов, но такого курса, каким был их студенческий коллектив, она не встречала.

Действительно, в их коллективе было много интересных и ярких студентов.

На всём пространстве бывшего Советского Союза хорошо знают юмориста и сатирика Феликса Кривина, с 1998 года – израильтянина, жителя Беер-Шивы. «Феликс Давыдович Кривин, это, не побоюсь громкого слова, Эзоп нашего времени, – написала в «Новом русском слове» известный журналист Белла Езерская, – чьи афоризмами, как неким кодом, изъяснялось поколение 1960-х – 1970-х годов». Творчество Кривина и сегодня актуально («Мы все родились в рубашке. Смирительной»; «Никакой парламент не заменит царя в голове»; «Политика кнута и пряника не срабатывает, поскольку план по кнутах выполнен надолго вперёд, а с пряниками ещё и не начинали»...).

Талант Феликса, талант рассказчика, автора притч, афоризмов начинал складываться ещё до его поступления в институт, когда он, десятиклассник вечерней школы, работал в измайловской газете «Придунайская правда» ночным корректором, там же и публиковал свои первые литературные опыты. Однако углублял, оттачивал и совершенствовал способности Феликс Кривин, учась в вузе. Он всегда ценил ту молодёжную среду, которую подарил ему киевский пединститут. В своей большой книге избранного «Феликс Кривин» (Эксмо-Пресс, 2001, 670 стр. Серия «Антология сатиры и юмора России XX века») автор поместил давнюю, дорогую ему, коллективную фотографию. На снимке в нижнем ряду запечатлены сокурсники: Тамара Прохоренко (с ней дружила Дина), Вера Науменко, Наташа Давиденко, Саша Короткова; в верхнем ряду – Адам Овсиенко, Вега Хуберман и сам Феликс Кривин. Подпись гласит: «Большая студенческая семья. Киев, 1950».

Учился на их курсе и Вадим Соломонович Баевский, чьи родители тогда работали на Киевской студии им. А. Довженко, и семья жила там же, при студии, в маленькой комнатухе. Вадим стал в России серьёзным учёным-

филологом, доктором филологических наук, профессором истории и теории литературы, вузовским преподавателем, автором книг о пушкинском «Евгении Онегине», о советской поэзии, теории стиха и ряда других.

В юности он без страха читал своим однокурсникам стихи в ту пору запрещённого Николая Гумилёва, читал и любимого им Бориса Пастернака.

Баевский не побоялся прийти в дом к Пастернаку и подружиться с ним в тяжёлые дни государственной травли поэта («лакея империализма») из-за присуждения Мастеру Нобелевской премии. Вадим сделал это, когда почти все «братья»-писатели отвернулись от Бориса Леонидовича, а зомбированные трудящиеся по приказу сверху топтали и унижали поэта, который выразил свои переживания в горьких стихах:

*Я пропал, как зверь в загоне, –
Где-то воля, люди, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет...*

Однокурсники узнали и по достоинству оценили поступок своего товарища.

Некоторое время учился на этом курсе и будущий писатель-фантаст Игорь Россоховатский, чьи произведения в недалёком будущем стали активно публиковаться не только на русском, но и на языках социалистических стран, выходить в солидных антологиях международной научной фантастики. Правда, Игорь после третьего курса стационара перевёлся на вечернее отделение, зарабатывал журналистикой.

Валентина Сергеевна Гнатюк после защиты диплома получила направление на Волынь, в Луцк. Много лет работала в Правлении общества польско-советской дружбы. Мечтала написать диссертацию о своей родословной. В её семье во время Второй мировой спрятали и спасли еврейскую девочку. С Кривиным они переписывались стихами. Дружеские отношения сохранились у них на всю жизнь. Сейчас Валентина занимается живописью. Этот талант открыл в ней ныне покойный муж, заслуженный художник Украины.

Конечно, мировоззрения сокурсников не были одинаковы. И не все они дружили друг с другом.

Патриотичная киевлянка Александра Короткова не была подругой Дины Таран. Своё дипломное сочинение Короткова писала по русскому языку (под научным руководством профессора Булаховского) «Стилистические функции длинной фразы в пределах точки». В сочинении она проследила динамику развития от ленинской фразы – к сталинской. Когда после окончания института её оставили в горьком комсомоле, Короткова с гордостью читала с трибун письма Сталина. Долгие годы работала с иностранцами, преподавала русский язык в Киеве и в ГДР.

Обо всех, к сожалению, не расскажешь. Да многие уже ушли из жизни. Нет Сони Сойфертис, Гриши Ицковского (он был замечательным директором школы в Вишнёвом) и многих других.

На этом сильном курсе Дина выделялась своими успехами, занималась очень серьёзно, была неординарной студенткой, с чувством ответственности.

Встречалась ли Дина с молодыми людьми, как это делали другие в её возрасте? Нет, сокурсники ничего такого не смогли припомнить. Только вот Валя Гнатюк заметила: «Дине казалось, что Феликс к ней особенно как-то относится». Что стояло за этим ощущением Дины? Летом 2002 года я попросила доброго и обаятельного киев-

ского профессора, заведующего кафедрой латинского языка Киевского мединститута Юрия Шанина, близкого друга Кривина и его коллегу по созданию юмористических книг, много лет с ним переписывавшегося, спросить Феликса о Дине, объяснив, как важно это знать для очерка о ней. И вот что Феликс ответил (цитирую дословно его письмо от 8 июня 2002 года):

«Мне запомнилась ночь с 1947-го на 48-й год. Мы всю ночь бродили по Киеву. Мы – это студенты-первокурсники, среди нас была и Дина Таран.

Ночь была замечательная, и на фоне этой ночи Дина Таран выглядела великолепно. Наверное, я тоже выглядел великолепно, я видел это по её глазам.

А потом настало утро, и я полюбил другую девочку».

Дина тоже запомнила ту ночь. Какая-то явно обжегшая её горячая искра пролетела тогда между двумя ровесниками. Можно ли теми считанными часами питать свою душу всю жизнь, мысленно всё возвращаясь и возвращаясь к ним? Помнится, Новелла Матвеева в 1960-70-е годы пела песню своего сочинения «Девушка из харчевни» о скромной девушке, которая так преданно полюбила одного из постояльцев («мимолетного гостя»), что ей был дорог даже гвоздь, на котором висел его плащ. А когда гвоздь вынули из стены, она смотрела даже на след гвоздя на стене, снова и снова вспоминая своего возлюбленного. Бывают и такие характеры...

Подпитывали чувства Дины лишь новые книги, которые довольно часто публиковал и присылал ей Феликс. Впрочем, он присылал их в те годы многим своим бывшим однокурсникам.

В Дине-студентке было что-то задорное. С третьего курса увлеклась общественной работой, была выбрана в институтский комитет комсомола. Даже лекции порой стала пропускать: пропадала в комитете. Правда, на успеваемости это никак не отражалось. Училась она по-прежнему отлично.

Лекции студенты старались всё же не пропускать, конспекты вели тщательно. Дина из-за маленького роста обычно на занятиях подкладывала себе на сиденье одну-две толстые книги, чтобы быть повыше. Однажды это заметил новый довольно молодой и красивый преподаватель «Основ марксизма-ленинизма» М. Варшавчик и решил изыщно, с его точки зрения, пошутить: «*Вы, девушка, делаете это потому, что ваша головка не усваивает содержание книг?*», – спросил он «добродушно».

Дина слыла в те годы острой на язык, максималисткой (белое – чёрное), все считали её резковатой, но она была так ошарашена оскорбительной бестактностью лектора, что не нашлась, что ответить (или не решилась?). Сделалась пунцовой и молча выскочила из аудитории с глазами, полными слёз.

Однако в те годы в пединституте было немало умных, чутких преподавателей, которых студенты уважали: И. Табачников (философия), Д. Зеленин (древнерусская литература); Н. Сурова, В. Ринберг (русский язык), Грим (зарубежная литература), В. Войтушенко (русская литература)...

Грим на своих лекциях включал музыку Шопена...

Когда начинала свою лекцию Вера Денисовна Войтушенко (жена украинского драматурга, прилежного социалиста Вадима Собко), все замирали: «...Однажды ноябрьской холодной ночью 1910 года на маленькой станции Астанова Рязано-Уральской железной дороги появился... Лев Николаевич Толстой». Это нестандартное для лекции вступление Войтушенко к спецкурсу о творчестве Льва Толстого запало в душу очень многих студентов.

Его цитировали, запомнив на память, много лет спустя. В том числе цитировала и Дина.

Валентина Гнатюк говорила, что её первое впечатление о Войтушенко было не из лучших: «полноватая блондинка», «грубо накрашенная», но лектор заставила забыть о своём макияже, сумела «перевернуть» стандартно-школьное представление своих студентов о русской литературе, стать их любимой преподавательницей. *«Мы её просто обожали. Бежали слушать ещё и на исторический факультет. Тех лекций, которые она читала у нас, нам было мало. Когда я сама стала читать лекции, подражала ей»*, – рассказала Александра Короткова.

Любознательная Дина Таран не ограничивалась уроками, которые получала в институтских аудиториях. Она была ученицей и другом Евдокии Мироновны Ольшанской, киевского поэта, эссеиста, исследовательницы творчества Анны Ахматовой. Ольшанская более сорока лет руководила общегородским поэтическим клубом «Родник». Дина любила поэзию, помнила массу стихов, а энтузиазмом Евгении Мироновны, её искренней и безоглядной преданности художественному слову нельзя было не заразиться.

Дина была искренней поклонницей изящной лирической прозы Константина Паустовского за непохожесть его романтического стиля на стиль большинство его коллег. В 1960-е годы Дина сумела оценить и мужественные гражданские поступки Паустовского. Чтобы «приблизиться» к личности писателя, ощутить его «изнутри», Дина ездила послушать воспоминания о нём к его вдове.

После окончания института Дину оставили в Киеве. В отличие от иногородних однокурсников, большинство из которых получили назначения в разные, часто отдалённые, уголки Украины, Дина стала преподавателем русского языка и литературы средней школы №118, которая располагалась на улице Александровской на старинном Подоле (позже эту школу перенесли на Ветряные горы).

После института начался период увлечения Дины школой и своими учениками. Дина оказалась в школе самой молодой в учительском коллективе. И самой увлечённой. Была требовательной, но смягчала свою требовательность чувством юмора: умела пошутить, улыбнуться. Авторитет Дианы Яковлевны среди учеников был огромен. Восторженное отношение учеников к молодой учительнице много лет спустя выразила в своём стихотворении поэт Юнна Мориц, учившаяся в 118-й школе.

Её предмет -- язык, литература.

*Все влюблены! Никто не зубрит муро,
бушуют страсти, ревность, тайный бой –
за взор её горящий, за улыбку,
за счастье искупить в письме ошибку
блестящим содержанием!..*

(Полностью это стихотворение приводится ниже).

Когда Дина пришла работать в школу, она не могла не услышать от учителей о талантливой старшекласснице, которая пишет сочинения по литературе стихами. Это и была Юнна. Хотя Дина по возрасту была ближе к старшей сестре Юнны, они все троём подружились надолго, на годы. Дружили домами. Дина поддерживала отношения с сестрой-киевлянкой Юнны всю жизнь. Когда Юнна выросла в серьёзного поэта, стала жительницей Москвы, её дружба с Диной не прервалась. Дина приезжала к ней в метрополию. *«Дина -- кусок моей жизни, моей души»*, – так выразила своё отношение к ней в разговоре со мной Юнна.

Между тем шли годы. Ученики вырастали, покидали школу, строили свои судьбы, а у Дины всё тоже: бесконечные уроки, горы тетрадей, всё те же изматывающие подсчеты, всё те же мелкие учительские распри. Построить личную жизнь – не с кем. В школе только трое мужчин – преподаватель физкультуры, для которого мускулы были главным мерилем человека, да очень молодые учителя труда и военного дела, которых при всём желании к интеллектуалам тоже причислить было нельзя. Количество уроков и других нескончаемых дел почти не давали Дине возможности вырваться из круга школьных обязанностей.

И если раньше Дина гордилась тем, что для неё, еврейки, национальность не стала препятствием для работы в средней школе столицы Украины, то теперь это перестало быть источником радости. Её стал тяготить школьный конвейер, напряжённые отношения с администрацией, руководствующейся идеей уравниловки, не отличающей заурядных преподавателей от их антиподов, учителей творческих. Незаметно для Дины в школьных буднях, в школьной текучке утекло почти двадцать лет. Плечи её опустились, она стала сутулиться. Стала равнодушна к нарядной одежде. Энтузиазма у Дины уже не было. Он исчез. Какой энтузиазм, если всё преподавание во всей стране *по ка ж д о м у* предмету строилось в школах *по о д н о м у* и тому же *о д и н а к о в о м у* плану, «спускаемому» из Всесоюзного министерства просвещения?! От плана нельзя было отступать. Учительская инициатива преследовалась, наказывалась. Дина устала изощряться, чтобы обойти эти препоны, изложить материал урока интересно, рассказать то, что не поощрялось. Начала тяготиться преподаванием. Она поняла: в своей жизни нужно что-то менять.

Дину всегда привлекала мысль о литературоведческих исследованиях, но она хорошо знала, что в аспирантуру её ни за что не возьмут: антисемитизм на Украине всегда был очень силен, хотя внешне и не оголтело-откровенен. Но это её в стационарную аспирантуру не возьмут, а если попроситься соискателем? Ведь соискателю не была положена стипендия, не был положен отпуск с отрывом от работы. Только научный руководитель и право защиты кандидатской диссертации, если сумеешь её написать. Дина решила: *«Пожалуй, можно попробовать...»*.

Тем более, что её помнили в родном педагогическом институте, а любимая Вера Денисовна Войтушенко была в то время заведующей кафедрой русской литературы. Её согласие было необходимо. И Дина получила от неё и согласие, и моральную поддержку.

Да, идея была неплохая. Но вот задача: какую тему предложить для вступительного реферата? Чтобы заинтересовались, чтобы не отвергли и чтобы самой было интересно? На помощь Дине пришла Юнна, которая, живя в столице, вращаясь в писательской среде, лучше Дины ориентировалась в том, на какие темы тогда, в конце 1960-х, в отличие от прошлых десятилетий, уже дозволено было властями писать. Гениальный Андрей Платонович Платонов (Климентов), всю жизнь гонимый, замалчиваемый, умерший в год окончания Диной института – вот фигура, достойная усилий по изучению его творчества! Юнна рассказала Дине всё, что знала о Платонове. И Дина загорелась, зажглась.

Она была принята в соискатели. Перешла работать в вечернюю школу, чтобы оставалось больше времени для исследовательской работы. *«Потом, когда Дина стала собирать материалы для диссертации, познакомилась в Москве с вдовой писателя Марией Александровной и его дочерью Марией Андреевной»*, – рассказала Юнна, – *то*

уже я стала от неё узнавать всё интересное о Платонове».

Когда Дина, фактически не обладая опытом научных изысканий, в 1969-1970 годах начинала свою работу над диссертацией, она даже не догадывалась, какой огромный груз на себя взваливает, решив заняться истолкованием одного из самых сложных, трудных и самых к тому моменту мало исследованных советских писателей. Ведь даже не все романы, сценарии и рассказы Андрея Платонова 1920-1930-х годов в нашей стране были тогда (и ещё много лет потом) опубликованы, даже не все из опубликованных в периодике 1920-х годов беллетристических и публицистических произведений писателя были обнаружены. *Всего об А. Платонове были защищены тогда в Советском Союзе две диссертации: Л. П. Фоменко в 1969 году при Московском пединституте им. Крупской и Н. П. Сейранян в 1970 году – при Ереванском государственном университете.* На Украине Диана Яковлевна Таран поднимала этот пласт науки в числе первопроходцев.

Легко догадаться, как важен был для неё научный руководитель, когда платоноведение находилось ещё только в начале пути. Но здесь, к несчастью, Дину ждала большая неудача. В руководители ей назначили сотрудника кафедры Войтушенко Ивана Трофимовича Крука, только что защитившего докторскую диссертацию.

Крук стал автором тривиальной кандидатской диссертации о творчестве Максима Горького. После этого умевший держать ухо востро карьерист Крук издал апологетическую книгу, посвященную брошюре В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», а когда в хрущёвскую «оттепель» в школьные программы по литературе ввели для изучения поэзию Александра Блока, конформист Крук немедленно засел за докторскую диссертацию и книгу о Блоке. Конечно, к тому времени он уже входил – от общественности – во Всесоюзном Министерстве просвещения в число тех, кто утверждает учебники и пособия для школ.

Его книга, опубликованная массовым тиражом в серии «Школьная библиотека», была такова, что рецензенты «Нового мира», не смягчая своих оценок, анализировали её, как пусть непреднамеренный, но фелетон.

Жаль бедных школьников, которые получили такое беспросветно-железобетонное творение о самом нежном, тонком и трагическом поэте, загубленном советской властью. Другому автору жить бы не захотелось от стыда после подобной аттестации в самом тогда читаемом и авторитетном в стране журнале «Новый мир». Но то другому, не И. Круку. Он уверенно защитил докторскую диссертацию, текст которой служил основой его бездарной книги, стал доктором наук, а вскоре и заведующим кафедрой русской литературы, заняв место В. Д. Войтушенко. Отныне у всех аспирантов из украинских провинциальных вузов (а таких было немало) Крук становился научным руководителем независимо от тем, на которые они писали.

Конечно, такой руководитель научить ничему серьёзному не мог. Даже сформулировать, поставить тему. Неопытной Дине была предложена необъятная по широте и сложности тема «Художественный мир Андрея Платонова».

Такая тема, в сущности, предполагает разговор обо всём без изъятия наследия Платонова. До сих пор я поражаюсь Дине и восхищаюсь ею: как она, без помощи, учась на лету, на ходу, всё-таки сумела написать и защитить хорошую, добротную работу.

Для сравнения: в 1980 году мой университетский коллега защитил кандидатскую диссертацию только о про-

блематике и поэтике рассказов А. Платонова военных лет. А в 2004 году в институте мировой литературы им. М. Горького (ИМЛИ) состоялась шестая научная Международная конференция, посвящённая творчеству Платонова, темой которой в тот раз был *только один роман* писателя «Чевенгур» (Контексты изучения и понимания)».

Прежде всего Дине понадобилось силы, чтобы вложить их в упорядочение творческой библиографии писателя. Первая и наиболее полная библиография его трудов в границах до 1968 года вышла в Воронеже и была составлена Н. М. Митраковой. Диссертация Таран содержит ещё свыше 100 (!) неизвестных к тому времени и упущенных наименований, а также даёт несколько поправок к работе Митраковой, исправляя некоторые неточности и ошибки, допущенные в этом издании.

Дина замечает огрехи и в «Путеводителе ЦГАЛИ (сейчас РГАЛИ)», где, например, воспоминания Алексея Платонова о Неверове ошибочно приписали *Андрею* Платонову.

Дина атрибутировала притчу Андрея Платонова «Ерик», опубликованную в 1921 году в газете «Красная деревня» и подписанную одной буквой П.

Герой малоизвестной притчи Ерик, писала Дина в диссертации, «чудотворный мужик», который «пахал, думал, ходил по полю», «считал облака и ерничал», возжелал сравняться с Богом <...> задумал небо проломить и в дырку наверх просунуться – есть там Бог или спрятался?». «Сказочный Ерик, – комментирует Дина – предтеча тех реалистических персонажей Платонова, которые стремились к познанию сущего, в том числе «в глубинном проникновении в тайны «бесконечности» (это рыбак, отец Саши Дванова, «своевольно» утонувший в озере, чтобы узнать тайну смерти, разгадать, «что там есть»; это сам Саша, который решил вслед за отцом искать на дне озера разгадку смерти («Чевенгур»); это механик Вошев, который на заводе «среди производства» задумался о «душевно-материальном» труде, о «плане общей жизни», от чего улучшилась бы производительность («Котлован») и др.).

Однако Дине не всё удавалось осуществить. Так она не смогла разыскать «Журнал анархической молодёжи», который издавал несколько месяцев Платонов в 1919 году. Об этом штрихе биографии писателя рассказала его вдова Мария Александровна, которая постоянно помогала Дине не только своими воспоминаниями, но и тем, что щедро предоставляла ей для работы рукописи мужа.

Зато Дине удалось разыскать, благодаря РГАЛИ, «Краткое изложение» Платоновым темы своего киносценария «Семья Иванова». Ещё многое, очень многое на карте платоноведения требовало проверки, уточнения. Динины самоотверженные усилия помогали уменьшать количество белых пятен на этой карте, очерчивать масштабы творчества писателя. Её усилия не пропали даром. Много позже, в конце 1990-х годов, появились книги и мемуарные сборники, продолжающие и дополняющие сделанное Диной.

Ведь Дина сумела *впервые* в Советском Союзе выступить как составитель каталога произведений Платонова (с 1936 по 1972 гг.), изданных за рубежом, куда вошёл и список работ о писателе иностранных авторов. Из этого каталога явствовало, что повесть «Котлован» к тому времени увидела свет в Польше, а повесть «Джан» уже была известна читателям Канады, Польши и Чехословакии. И это тогда, когда в своём отечестве эти произведения еще изданы не были.

Дина не комментировала свой каталог, зато кто-то бдительный в библиотечном экземпляре автореферата диссертации аспирантки Д. Я. Таран, который я взяла для прочтения в читальном зале Киевского пединверситета, написал на полях, где шла речь об издании книг Платонова, полную подозрительности фразу: *«Почему такой акцент на зарубежных изданиях?»*.

Широта темы диссертации заставила Дину коснуться (именно коснуться) многих великих проблем, которые поднимал в своём творчестве Платонов: народ и народное сознание; Октябрьская революция в России в аспекте «народжения» нового послереволюционного сознания; поиски смысла жизни, истины; пути борьбы с людским страданием, попорченной старостью; память как антипод беспамятства, залог бессмертия; любовь ко всему миру и в мире: природе, матери, ребёнку, животному, техническому изобретению и инструменту... Только пытливый, честный, бесстрашный исследовательский творческий ум, которым обладал Платонов, мог выбирать и предлагать себе и своим читателям такие трудные пути познания, такой мучительный путь нравственного противостояния. Однако здесь, в этом выборе писателя, надо искать секрет его стойкости. К подобному выводу пришёл литературовед Аркадий Белинков, размышляя в своих набросках над судьбой и победой Анны Ахматовой: *«...художник, знающий свою великую задачу, может выдержать любое давление времени»* (Белинков А., Белинкова Н. Распря с веком В два голоса., М.: НЛО, 2008, С. 229). Платонова после 1931 года почти перестают печатать, однако он продолжает писать, он выдержал «давление времени». В 1936 он пользовался псевдонимами Ф. Человеков, А. Фирсов и др.

Дине, в традициях 1970-х, нужно было создать классификацию основных героев Платонова. Наряду с героем времени, отвечавшему «идеалу коммунистического человека», Дина увидела и отметила персонажей, открытых именно этим писателем: «задумавшийся», «сокровенный человек», «человек-мастер», «нормализованный работник», «усомнившийся»...

Одной из своих задач, которую поставила перед собой соискательница кандидатского звания Д. Я. Таран, был поиск ответа на вопрос, почему Платонов – талантливый писатель пролетарского происхождения, органически связанный с революцией, – был отторгнут, отчуждён от официальной литературной жизни? Конечно, этот вопрос Дина не формулировала так прямо, как это возможно в наши дни и как это делаю я сегодня, эта задача была у неё в достаточной степени закамуфлирована, но вычитать её можно. И ответ Дины в её работе найти тоже можно. Так поняла я, когда листала и делала выписки из диссертации Таран ручкой (ксерокс не работал) в библиотеке Киевского педагогического университета, где её диссертация хранится и ныне.

Прежде всего Платонов не умел и не хотел лгать. Он страстно верил в коммунистический идеал, но не боялся написать о своих сомнениях. Конформизм был ему органически чужд.

Все платоновские несчастья Дина не спешила отнести и за счёт писательской зависти коллег и их стукачества, хотя зловещую роль, которую сыграли статьи-доносы В. Ермилова и А. Гуревича, раскрыла. Дина объясняет, что ситуация была сложнее. Нужно искать вину в драконовской эпохе, которая насильственно лишала творцов свободы творчества, отрицала всякую индивидуальность, особенно такую неповторимо-яркую, как платоновскую. В русской литературе были Лесков и Ремизов. Их речи, их языку никто не мог подражать также, как невозможно

подражать неповторимому языку («прекрасному косноязычию») и образно-символической системе Платонова. Рапповцы, а потом и соцреалисты яростно отрицали в годы расцвета таланта писателя платоновскую поэтику, его способ виденья, неразрывный с его писательской сущностью.

Не случайно двадцатидвухлетний делегат Андрей Платонов с решающим голосом на Первом Всероссийском съезде пролетарских писателей ещё в 1922 году дал следующий ответ на один из вопросов анкеты: *«Каким литературным направлением сочувствуете или принадлежите? – Никаким, имею своё»*.

Стилевое своеобразие прозы Платонова Дина увидела в часто неожиданном и свободном синтезе в произведениях писателя мифо-фольклорных средств с литературными напластованиями.

Например, Сергею Чепцову из беллетризованного анекдота «Цыганский мерин» понадобился необыкновенный конь, чтоб на нём объехать вокруг света «для обнаружения истины». Этот сказочный конь перекликается с умным настоящим конём Пролетарская Сила из романа «Чевенгур».

В «Котловане» среди реалистических персонажей повести появляется фольклорный персонаж Медведь в роли колхозного кузнеца, который рассуждает о трудностях в преодолении «дикости» сознания крестьянства, сложности работы с таким крестьянством. Тема раскулачивания кулака как класса в этом романе также решается в простых условных формах: через символику плота, на котором всех кулаков отправляют в океан. Болезненность для мужика отказа от собственности изображается в сцене самопожирания его в гроб и т.д.

К приёму литературных напластований относится в романе «Чевенгур» кампания, задуманная Игнатием Мошонкиным, – переименование всех граждан, которых не удовлетворяет своё прозвище, на новое, «имея виду необходимость подобия новому имени». Мошонкин задумал эту кампанию «в целях самосовершенствования всех граждан». По регистру переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник Пётр Грудин – Францем Мерингом. *«Раз назвались, делайте что-нибудь выдающееся»*, – говорил им Мошонкин.

Сам же предволисполкома Игнатий Мошонкин переименовался в Фёдора Достоевского. Он «мучается» над смыслом жизни, «не давая семье спать по ночам». Сороковые сутки, как сообщает автор, сидит этот второй «Фёдор Достоевский без сна, в самозабвенной задумчивости», и в мечтах «избран при социализме установить смысл советской жизни». (Эта цитата – и далеко не единственная – взята Диной из авторской рукописи Платонова в архиве М. А. Платоновой, что ценно, ибо «Чевенгур», подобно некоторым русским классическим текстам XIX-XX вв., при жизни автора не только не был издан, но и не был дописан в задуманном автором виде и только недавно текстологи приступили к работе над вариантами и вставками в авторской рукописи). В образе «нового Достоевского» у Платонова отчётливо ощущается пародийность, но его ирония относится не к писателю, а к персонажу. К Достоевскому Платонов испытывал уважение и сочувствие за его мучительные поиски идеала мира и идеала положительно прекрасного человека. Сегодня роман «Чевенгур» исследователи относят к жанру социальной утопии с элементами сатиры».

Таким образом, даже небольшая часть примеров показывает, какой непростой была поэтика Андрея Платонова в те десятилетия, когда лозунгом РАПП было создание

особой «пролетарской литературы», понятной рабочим массам.

Но самым главным грехом перед советскими властями были ноты социальных, этических или иных писательских сомнений, особенно когда они обретали форму сатирического жанра. Платонов уже в 1926 написал сатирическую повесть «Город Градов», в 1929 – «Усомнившийся Макар», в 1931 – «Впрок», в начале тридцатых была создана и пьеса «Шарманка», которая к моменту написания Диной диссертации была не опубликована. Как раз они-то и вызвали наиболее ожесточённую волну нападок рапповцев. Критика сочла неуместной и даже вредной сатиру Платонова. В 1931 году Главный рецензент страны Сталин собственноручно написал на журнальном тексте платоновской повести «Впрок. Бедняцкая хроника» свою «высочайшую» оценку автору: «Сволочь!». Дина, написав в брежневскую эпоху об антипатии Сталина к Платонову, в своей диссертации не решилась процитировать дословно этот «афоризм» Великого Кормчего, по указке которого появилось в партийной прессе сверхкритическое письмо о повести «Впрок» услужливого А. Фадеева под названием «Об одной кулацкой хронике».

Платонов всегда обострённо воспринимал и описывал те лишения, которые переносил простой народ. Некоторые критики считали, что тема народного страдания – главная в его творчестве. Впечатления от засухи лета 1921 года, вызвавшей страшный голод и смерть от него тысяч и тысяч людей, были причиной появления скорбных мотивов в «Родине электричества» (1926) и «Чевенгуре» (1926-1929). В 1922 Платонов работал в качестве председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с засухой, о чём свидетельствует Удостоверение на его имя, обнаруженное Диной в РГАЛИ.

В повести «Котлован» (1929-1930) резче, чем где бы то ни было в платоновском творчестве, проявилась нетерпимость к медленному изживаемой народной бедности. План общего счастья в будущем, чудилось Платонову, находится под угрозой, а материальное благосостояние масс, спустя десятилетие после Октября, показалось неоправданно низким. Права на сомнения и колебания у литераторов в стране Советов не было. Всё застывало, окаменевало, становилось догмой, сам Платонов превратился в сомневающегося Макара, который переживал «тревогу» и предчувствие «гибели социалистического поколения». При этом Платонов не сомневался в коммунистическом идеале. Он лишь болезненно реагировал на препятствия на пути к наискорейшему достижению этого идеала.

Между тем при всей философичности Платонова философом он не был. Он был Художником. В своих образах-символах он умел передать больше, чем в прямых суждениях. Такой символической в «Котловане» предстаёт исполненная драматизма сцена смерти ребёнка – девочки Насти, незадолго перед тем с трудом спасённой рабочими. Пользуясь архивом М. А. Платоновой, Дина процитировала те важные финальные строки, которые имеются в рукописном варианте повести и не вошли в её окончательный вариант:

«Погибнет ли Эсесерша, подобно Насте, или вырастет в целого человека, в новое историческое общество?» – это тревожное чувство и составило тему сочинения, когда его писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в виде смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только прошлого, но и будущего».

Но характерно, что в диссертации Дины нет анализа ключевого символа в повести «Котлован». Как раз того безысходного символа, который и вынесен писателем в заголовок произведения. Той зловещей бессмысленно-глубокой пропасти котлована, которая никак не превращается в вымечтанный Дворец Коммунистического будущего, а только становится всё глубже, только грозит стать местом захоронения строителей в тех гробах, которые заготовлены в одной из её ниш.

Конечно, в начале 1970-х комментарий подобного рода к символу «котлован» был невозможен. И Дина не раз вынуждена была идти на компромиссы в тексте своей работы. Там, где ей нужно было описать социально опасные повороты платоновских сюжетов и символы с далеко непрозрачными подтекстами, она (и не только она одна) уходила в сторону: «известные противоречия писателя», «некоторые противоречия Платонова», «спорность концепции Платонова», «противоречивый художественный мир писателя», «противоречивость мировоззрения Платонова» и т. д. Дина, благодаря допуску к архиву Платонова, оперировала такими неизданными в СССР произведениями, как «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море» др., но в тексте диссертации просто не сообщала, что они в России не изданы (в случае чего, можно было без боязни сослаться на архив вдовы).

Мне больше всего понравился раздел работы Дины под названием «Великий мир в детстве...», посвящённый теме ребёнка в творчестве А. Платонова, ведь проза Платонова открывается (в рассказе «Очередной», 1918) и завершается (в рассказе «Возвращение», 1946) образом ребёнка. Дитя присутствует чуть ли не в каждом его произведении, а образ матери становится сквозным для всего его творчества. Дина цитирует статью Платонова «Душа мира», напечатанную в 1920 году, где он мудро и с пафосом писал: *«Некому, кроме ребёнка, передавать человеку свои мечты и стремления, некому отдалить для конечного завершения свою обрывающуюся жизнь. Некому – кроме ребёнка. И поэтому дитя – владыка человечества»*. Дина Таран уточняет: «Душой мира» Платонов назвал не только ребёнка, но и женщину-мать».

Образ ребёнка связывает Платонова со всей литературой, которая писала о детях: Диккенс, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Горький, Андреев, Короленко, Стефаник, Я. Корчак... Однако Платонов не повторяет, а продолжает своих предшественников. Он сумел сказать о детской психологии то, чего мы не найдём ни у кого другого. Сумел заглянуть в глубины детского подсознания («Свет жизни», «Железная старуха», «Июльская гроза», «Семён», набросок «Первый день на свете...», обнаруженный Д. Таран в РГАЛИ)... Дина сумела написать в этой главе много интересного – всего не перескажешь. Я читала её работу и всё думала: *«Ведь как было бы замечательно продуктивно и разумно, если бы вся её диссертация была посвящена только одной этой теме!»*. Соискательница в диссертации очертила в самых общих чертах те проблемы, которые ставил или которых касался Платонов: дети и природа, дети и мир взрослых с его этическими нормами и отклонениями от них, дети и страх смерти... Как педагога Дину привлекала в Платонове «высокая дидактичность», «творческая педагогика».

Интересен и тот список учёных, на который опиралась в своей работе Д. Я. Таран. Кроме обязательных в те годы Аристотеля и Белинского, Ленина, Плеханова и Луначарского, а также идеологов сталинской эпохи Новиченко, Храпченко, Щербина и иже с ними, Дина ссылается на Потемну, Овсяннико-Куликовского, Жирмунского, Веселовского, Виноградова, Бахтина, Г. Струве, Мейлаха...

Не забывает молодых платоноведов Льва Шубина, Галину Белую.

В списке есть многие. Нет только фамилии научного руководителя И. Т. Крука, которым не было на протяжении всей его жизни написано ни одной строки об Андрее Платонове.

Училась Дина у лучших. И не случайно её диссертация во время защиты 30 мая 1973 года в Киевском пединституте встретила не столько критику и замечания, сколько похвалы первого московского официального оппонента, доктора филологических наук профессора Е. Б. Тагера.

Защита состоялась. За присвоение Диане Яковлевне Таран звания кандидата филологических наук Учёный совет проголосовал единогласно. ВАК подтвердил это решение. Отныне Дина – полноправный автор коллективных сборников научных статей, в которых публиковались преподаватели кафедры русской литературы пединститута; участница научных конференций. Она счастлива. Это её внутреннее самоощущение. Она ценой великого напряжения сумела продемонстрировать свою профессиональную состоятельность как учёного.

А что изменилось в её социальном статусе?

Дину не пригласили на работу ни в вуз, ни, тем более, в научно-исследовательское учреждение. Её не сделали ни «отличником народного образования», ни «заслуженным учителем». Не предложили стать завучем школы.

Ей только добавили десятку к зарплате, как это полагалось по школьным финансовым меркам, да стали приносить на проверку все сочинения учеников, которые «шли» на медаль.

Никто не заметил чуда, уникальности случившегося события. Никто не оценил деликатности её манер, умения держать себя в кругу коллег, никто не заметил скромности её нарядов, её самоотказа от всех благ, кроме счастья работы в архиве, в читальном зале, над листом рукописи... Много ли мы встречали школьных учителей с такой силой воли, столь самоотверженно влюблённых в литературу? Мне, без малого тридцать лет читавшей лекции на курсах повышения квалификации школьных учителей, второй такой случай неизвестен. А за этим конкретным случаем стоит вся бывшая советская организация системы просвещения, которая не ценила и не отбирала самых талантливых, а руководствовалась другими, нетворческими критериями (например, являешься ли ты членом КПСС).

Дина прожила 55 лет. Она умерла от рака. На её могильной плите на киевском Байковом кладбище стоят цифры: 1929-1984. Мать пережила Дину. Захоронение её праха – рядом с дочерью, на полукруглых склонах, в которые опускают урны с пеплом тех, кого кремировали.

Стихотворение, посвящённое «Памяти школьной учительницы Д. Я. Таран», Юнна Мориц написала сразу же после смерти Дины, и оно достойно быть процитировано полностью:

НАД ТЕЛОМ СМЕРТНЫМ,

НАД БЕССМЕРТНЫМ ИДЕАЛОМ

*Однажды в нашей средней женской школе,
что в Киеве стояла на Подоле,
где грохотал трамвай, как паровоз,
она возникла, юная такая..
и, девственностью грозною сверкая,
влила волненья огненный мороз.*

Её предмет – язык, литература.

*Все влюблены! Никто не зубрит хмуро,
бушуют страсти, ревность, тайный бой –
за взор её горящий, за улыбку,
за счастье искупить в письме ошибку
блестящим содержанием! Боже мой,*

*В каких мечтах возвышенно-жестоких
мы все, как самураи на востоке,
без колебаний гибли за неё,
пьянея от греховного бесстрашья!
И преданность восторженная наша
воздела ту жар-птицу на копьё, –*

*бедняжка, ведь наедине с мужчиной
она была учительницей чинной
с воображеньем слабым для греха,
и грозная сладость королевы
окислилась, и облик старой девы
произошёл, как проза от стиха.*

*Да разве мог мужчина –
хоть отчасти --
вернуть ей бескорыстие нашей страсти,
ревнивую отвагу наших душ
и преданности рыцарские Латы?
Мы со своей любовью виноваты,
что на неё не отыскался муж.*

*И через тридцать лет, по смерти ранней,
когда замкнулся круг её страданий
и роковой недуг её убил,
я плачу над великим и над малым:
над телом смертным, над бессмертным
идеалом, –
над чем ещё заплачет, кто любил?*

*Из кн.: Мориц Ю. Синий огонь. ...
М.: Советский писатель, 1985.*

Предполагаю, познакомься Дина с этим стихотворением Юнны, оно вряд ли понравилось бы ей всё целиком. Ведь главным для Дины было не то грустное обстоятельство её жизни, «что на неё не отыскался муж». Главным для неё было состояться как личность в той сфере деятельности, в которой она чувствовала своё подлинное призвание. И она состоялась.

Из нашего мира ушла не только «школьная учительница» Таран, мы прощались с перспективным учёным, весёлым остроумным человеком, умным платоноведом Дианой Яковлевной Таран.

Задумывая эту статью, я разговаривала с украинским искусствоведом Нелли Корниенко. «Учёные ценят, -- сказала Корниенко, -- Диану Яковлевну Таран. как одну из первых, кто обратился к изучению творчества Андрея Платонова. Её имя осталось в науке. Ведущие платоноведы до сих пор ссылаются на работы Таран».

И я уверена, что душевно-щедрая и мужественная Дина, расставаясь с жизнью, про себя повторяла (могла повторять) кредо прекрасного писателя Андрея Платонова: «Пусть за меня все люди на свете живут».

Май 2009

КОРОЛЕВСКАЯ КЛОУНАДА В ВАШИНГТОНЕ

Необычный, но чрезвычайно живой «Король Лир», только что поставленный мастером пантомимы Паатой Цикуришвили – уже седьмой спектакль его театра «Синетик» в серии «Silent Shakespeare». Премьера состоялась в конце марта 2011 г. на сцене Шекспировского театра, за которой я уже более 10 лет наблюдаю из-за Аппалачских гор (от нас до 7-й улицы в Вашингтоне семь часов езды, но мы регулярно выбираемся на премьеры в столицу).

Как же может быть Шекспир без слов? Да вполне. Сюжеты и слова известны всем, помилуйте: пьесе 400 лет – это уже практически фольклор. Есть же балеты по шекспировским сюжетам, а коллектив театра не только активно пляшет под великолепную музыку Константина Лорткипанидзе – но и прыгает, кувырывается, сражается, и, на мой взгляд, очень талантливо передает грозную динамику, масштаб и безысходность шекспировских страстей.

Было бы некорректно сравнивать этот легкий, энергичный спектакль с хорошо известным нам, мощным, но тяжеловесным фильмом Козинцева (1970). Вместо шлемов и кольчуг, вязаной шерсти и холстины здесь – клоунские котелки и пиджаки, жабо и колготки. Реалистические толпы придворных, солдат и нищих заменены полудюжиной актеров-энтузиастов в разнообразнейших гримах, париках и тряпье, акробатически лазающих по решетчатой выгородке. «Настоящая» буря и кинематографический дождь изображены стробоскопом и игрой цветного света.

Условность задана с самого начала, и правила игры принимаются легко, тем более что есть и фольклорная основа.

С детства мы помним переведенную Маршаком песенку Шута:

Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:

(Олег Даль в фильме 1970 г. незабываемо тянул «круглых»...)

Один в дурацком колпаке,
Другой – без колпака.

На этот раз сцена просто заполнена шутами и безумцами, и кажется, что не участвуют в кровавой клоунаде только наивно-шекспировский Шут, да Эдгар, что прикидывается безумным «Томом из Бедлама». «Синетик» увлечен динамичной. «физической» интерпретацией классики (о театре подробнее рассказано в моей недавней рецензии на постановку «Мастера и Маргариты» в «Литературном европейце»). «Лир» решен в спорной, но удавшейся манере клоунады – ВСЕ герои спектакля предстают в нем буквально как клоуны, белые и рыжие, черные и серые, разыгрывающие кровавый королевский балаган. Но Цикуришвили не ставит гиньоля-ужасника, и «клюквенный сок» цирковой крови льется не так обильно, как мог бы. Режиссера интересует не «театр жестокости», а театр Шекспира – то есть любви, ненависти и безумия.

В постановке «Синетика» взбалмошный Лир (великолепный Ираклий Кавсадзе) рвет, как одеяло, карту своего королевства, а в её куски тут же, как в плащи, завертываются дочери-клоунессы – хищная Регана (Ирина Цикуришвили, хореограф спектакля) и кукольно-тоненькая, с нарисованными глазами в пол-лица Гонерилья (Ирина

Коваль), и пляшут с бандитской своей свитой и идиотами-мужьями.

В сцене безумия тот же Лир толкает перед собой крохотный детский трёхколесный велосипедик, а Шут и Кент тащат за ним сундук с королевским скарбом. Верный до конца Кент (Питер Перейра) в разноцветном парике усердно прикрывает Лиру от шекспировских бурь полуразорванным клоунским зонтиком...

Любопытно решение режиссера сделать младшую дочь Корделию – принцем Корделио, робким юношей «нетрадиционной ориентации», грустным клоуном в высоком колпаке с помпоном (Крис Динольфо). За это он и терпит и от старших сестер-сестер, и лишается наследства отцом, которого в итоге приходит спасать со своими соратниками – и враги вешают его не в темнице за сценой, как Корделию у Шекспира, а прямо в центре сцены на настоящей крепкой петле (старый, откровенно театральный прием, петля продвигается под мышку).

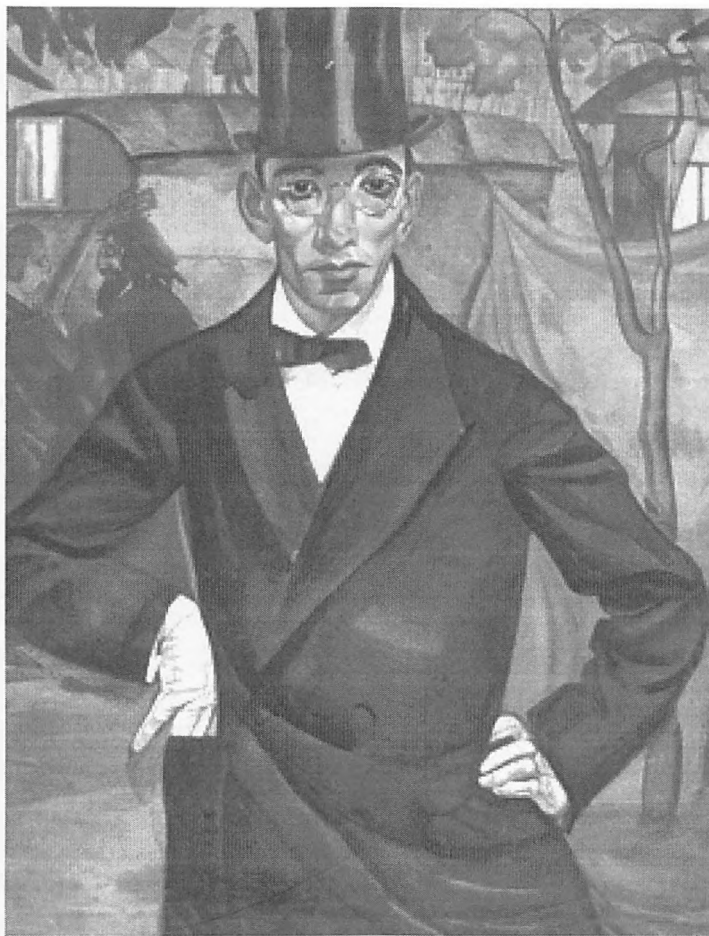
Великолепна и выигрышна фольклорно-полярная пара братьев-врагов Глостеров – «положительный», акробатически неутомимый Эдгар (Бен Кунис), с намалеванной улыбкой, похожий на знаменитого комика Робина Уильямса, и «отрицательный», дьявольски пластичный Эдмунд (Филип Флетчер) в продольно-полосатых штанах. Флетчер только что сыграл Бегемота в «Мастере и Маргарите» – не от Бегемота ли осталась черная меховая оторочка на его клоунском камзоле? Финальная дуэль Эдгара и Эдмунда ведется здесь не на двуручных мечах, как в фильме у Козинцева – а на деревянных ножах, раскрашенных в красный цвет...

О таком искусстве мечтал, видимо, Мейерхольд, судя по сохранившимся изложениям его «биомеханических» спектаклей, таких, как «Великодушный рогоносец» (1922) – звездой его был юный Игорь Ильинский, блиставший чуть позже в «Празднике святого Йоргена» (1930). Элементы балаганного театра, о которых написаны тома, дошли и до нас эхом через поколения – прежде всего через актеров мейерхольдовской школы и их сохранившиеся фильмы. Немое кино – и есть самая блестящая клоунада, пантомима того времени – прежде всего Чаплин.

О Чаплине – и о недавно ушедшем от нас Марселе Марсо, и о Жане-Луи Барро – мы сразу же вспоминаем в Прологе. На сцену выходит, неся связку воздушных шариков, в котелке и белом с черными помпонами костюме традиционного Пьеро, тоненький Шут (Миржена Чехова из Праги, преподаватель пантомимы в Американском Университете). Шут поднимает старинную помятую корону – все, что осталось от безумного царствования Лиры, и начинается рассказ мима... И кончается он тем же – снова выходит Шут, и привязывает по шарiku к каждому убитому герою, и они поднимаются на ноги и медленно двигаются в аквариуме памяти.

А сцена Шекспировского театра – вся! – засыпана, обильно покрыта грустным ПЕСКОМ ВРЕМЕН. Он меняет цвет в лучах прожекторов, в нем увязают в своих странствиях Лир, Шут и Кент, через него бегут войска жестоких клоунов (вместо оружия у них пластмассовые трубки с огоньками), в него падают и поднимаются, он заматает развалины королевства... И только когда актеры вышли на поклон после полутора часов работы нон-стоп (спектакль идет без антракта), я вдруг осознал, что этот их многозначительный сценический песок – не что иное, как *цирковые опилки*! Ну конечно, только мы забыли, что такие бывают, с детства их не видели. И забыли, что и клоун на арене падает по-настоящему...

ПОЭЗИЯ



ПОБЕРЕЖЬЕ

ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ

Ток

Каждую ночь
рассчитываешь
обойтись без этого
зачем это
если и так
дышать разрешается

дышишь ты

дышишь новорождённым воздухом
когда месяц в морце можжевёловом
ростепель – заячья пасека
виснут подснежники
на лучистом вымени
Большой Медведицы

и во всех радиоприёмниках мира
твой дыхание
в телефонных трубках
и в пистолетных дулах
в скважинах
и в пробойнах

светает
со скрипом твоего пера

брызги востока
на крыльях у неё
зрачками подзолистых звёзд
глядит она
весь мир поблизости
ничего не осталось поблизости
только плоть и кровь твоя

кастаньеты времени
кость стучит о кость
в тело Христово
заколачивают гвоздь
отстреливаются
расстреливают

на заре
себя
ты выдаёшь
сердцебиением...
5.04.1968 – 24.07.2011.

Посмертная душа

Филомела –
твоя посмертная душа
эхо твой
с того света...
5.04.1968 – 24.07.2011.

Портрет в синеве

Просишь с празеленью
просветы
волокна – лов окна
в неуловимое
на котором замók
зарница – разница
между светом и тенью
ползучих молний не бывает
линяют линии
и тогда они ползучие
повилика
плющ
лоза

предстоит художнику
село Пта
где живопись
лишь для мёртвых
больше не умрут они

зеленоликий тут как тут

из полос черты лица
и не сад
седина

Портрет Родина
Грея вечную мерзлоту

я уже навеки
моложе меня

мазок отпирающийся

подпись:
некто со стороны

я на меня глядит

16.07.2011.

Село Пта: слепота (Пта – древнеегипетский бог-демиург).
Портрет Родина Грея; портрет Дориана Грея.
Некто со стороны: Seitman (художник Исай Михайлович
Зейтман).

Расширение мегаполиса

Исключительно липам
грозят подъёмные краны
и радиация

а кто
а что не липа?

1980-е гг.

ТАТЬЯНА КАУНОВА

— Я б хотела к вам зайти погреться.
— Догорело лето, мое сердце,
и листва, обуглившись, сотлела.
— Я к вам на минуту залетела,
чтобы только взгляд в окне оставить...
— Но давно закрыты в доме ставни
да и дома нет давным-давно:
стал он словно маково зерно,
а потом и в памяти растаял.
— Но я помню легкую тропинку,
и уже дошла до поворота,
слышу там шаги, проходит кто-то.
— Это яблоки так падают в траву.
Если я тихонько позову,
может, снова будет полным месяц,
как тогда, на этом самом месте?
— Он-то выйдет, вряд ли ты заметишь:
яблоком вдруг округлится звук
и в траве некошеной остынет,
расколовшись на две половины.

ЧУТЬ ПРИГУБЛЕННЫЙ МОТИВ

Эта нереальность света
и расплывчатость предметов,
волн морских речитатив,
сквозь всеведение тумана
в тихом стоне океанном, –

чуть пригубленный мотив.
Нам определилось место
в сердцевинной тьме небесной,
и едва солоноватый
отзвук над тобой крылато
притаился и затих,
но не приподнял завесу, –
не размыт и не расплескан, –
предназначен для двоих.
И пронзительней, чем ливни,
и заблудший и счастливый
округлил внезапный стих.
Он такой неуловимый, –
все, чем прежде быть могли мы, –
чуть пригубленный мотив.

Что вспомнишь, – то твое, –
и яблоко упало,
качнулась тень и обнажилась ветвь.
И лето на крыльце, все, что за ним стояло,
решалось улететь, так просто. – улететь.

Готовились к зиме тропинки и созвучья,
сушился на стене букетик чабреца.

Что оставалось мне? Пустить за ним вдогонку
грядущий листопад за сонную межу
и хлынуть наугад за соломинкой тонкой,
оставив до снегов все, чем я дорожу...

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ДОРОГИ

И только выраженьем удивленным
его присутствие запечатлит портрет,
глядящий через сумрак столько лет,
и выдающий, что там, — в конце дороги —
дней ни прошедших, ни грядущих нет,
а только свет,
пронзительнейший свет.

Испуг коснулся ивняка,
он держит крылья в напряженье:
в реке, конечно, искаженье, —
не так уж осень велика.

Синь отошла за облака,
и желтизна неумолима...
Как разминуться здесь смогли мы?
Не так уж осень велика.

Невзрачный мир, что осень стерегла,
но потихоньку все-таки сжигала,
чтобы прибавить чуточку тепла
к убыточному гомону вокзала,

Он был почти невидим перед днем
скользящим плавно мимо, мимо, мимо...
перед надменным и неудержимым
ночным вагонным призрачным огнем.

И под мостом, где сырости уют
мог приютить, ну разве, прутик ивы,
раскрылся необузданно-счастливый
репейника белейший парашют.

OCEHHEE MOPE

MAK

И если вырваться не сможем мы из круга,
незавершенного, как полумесяц,
что сможет в этом круге перевесить,
твой голос? Был он грустен, был он весел,
он над снегами плыл, — застыл на месте.

И если в тишине, мурлыча, дрема
 сомкнет оконницы затеряного дома,
 к порогу заколоченных дверей
 сквозь щели ошетинится пырей
 и тишину спугнет своей щетиной
 и зазвенит на солнце паутина.
 Окончим мы, быть может, путь предлинный –
 сама собою дверь приотворится,
 сами собою скрипнут половицы.

ЛЕОНИД СТОЛОВИЧ

Часы

Ход мерный раздается. Блеск заката
На бронзе чуть заметно трепетал.
Здесь нет камина, узких окон ряда,
Здесь нет высоких сводов мрачных зал,

Для многих поколений, где когда-то
Неумолимый голос их звучал.
Четыре века этот луч заката
Ласкал всё нестареющий металл.

Сию тоской неясною объятый.
Гляжу на них. Прощальный блеск заката
Скользнул последний раз по бронзе и потух...

Зловеще слух тревожит веший звук,
А стрелка медленно ползет по циферблату
И чьей-то жизни завершает круг.

1944

Завещание Екклесиаста

Я у конца великого пути
И только суета сует за мною.
Но нужно было весь его пройти,
Чтоб каждый шаг назвать в нем суетою...
Кто столько приобрел и стад, и нив,
Рабов и славы, в счастии страдая,
Познаний плод добра и зла вкусив,
Душевного навек лишился рая?...
В последний раз сияет мне луна.
Свет вечных звезд гнетет меня тоскою.
Я вижу смерть... Так, стало быть, одна
Есть участь над глупцом и надо мною.
Всё суета,

но только для меня...

Последнее дух умудренный скажет:
*Пройдите все дороги бытия,
А сердце вам путь истины укажет.*

1945

Фейерверк

Огнистой струйкой намечают путь.
У них у всех единое желанье:
Повыше взвиться, для зевак блеснуть
И перейти в воспоминанье.

Им кажется, что всё померкнет тут,
И даже звезд бессмертных бриллианты,
Когда они по небу расцветут
Самодовольно-пестрою гирляндой.

И вот когда их светлый рой возник,
Сверкая в стеклах синим, желтым, красным,
Подумают они, что через миг
Они навек рассыплются, погаснут?!

А звезды, что невидимы пока,
Для восхищённого их блеском люда.
Смотреть все так же будут сквозь века
На много тысяч будущих салютов.

1946

Оттепель

Я не люблю, когда в январский день
Осклабится усталая природа.
От мутного, седеющего свода
Легла на улицу, на душу тень.

Казалось, это дней весенних зов
И воздух талой сыростью пронизан,
И мокрый снег свисает по карнизам
Одетых легким серебром домов.

Я знаю, завтра, землю леденя,
Мороз сорвет с домов снежды эти.
На перекрестках буйствующий ветер
Вдруг снежной пылью обожжет меня.

И этот ноздреватый, дряблый снег
Покроется других снежинок стаей.

Еще не скоро он совсем растает,
Сосульками искрся по весне.

1946

Прогулка

Мы рощей к речке шли с тобой.
На горизонте чуть багрилось.
Стрекочущею тишиной
Всё, всё вокруг оцепенилось.

Я в первый раз в таких местах.
Деревья притаились робко.
В оживших в сумерках кустах
Сонливо заплеталась тропка.

И тихо в душу заползла
Бодрящая лесная сырость ...
В тумане куст прибрежный вырос,
Куда-то в ночь река текла.
В глухом тумане у реки
В пне дряхлом тлели светляки.
И где-то, где-то за рекой
Поля купаются в туманах ...
Так вот откуда грусть, покой
Вошли в полотно Левитана.

1946

* * *

Зачем, прощаясь с уходящим днём,
Скорбеть о нем и тосковать о нем,
Когда с багрянцем неба гаснет он,
В песчинки золотые превращён
Чего-то нового, каких-то дум,
Которых сразу не осилит ум.
Вот в сокровенной глубине залёг
Светло и тяжело золотой песок...
А дням моим, когда придет конец
Там хватит ли на золотой дворец?

1946

Осень

Глебу Семенову

Совсем по-осеннему слепо
В предчувствии снега и стуж
Холодное дымное небо
Меж листьев сквозило из луж.

И этой осеннею ранью
От крон, где листья снесены,
Узнал я про смысл отмиранья
Во имя грядущей весны.

1946

Могила Канта

Трамвай скрипит на повороте – там,
Где дом стоял Иммануила Канта.
Чуть вправо убегает эстакада,
А за рекой вдали простерся храм.
Продымленный готический собор
Вздывает свой величественный остов,
Оставшийся один на целый остров.
Все остальное сметено, как сор...

Мы, мудрые теперь, отлично знаем:
Мир познаваем, но не узнаваем.
Конечно же, нет в мире постоянства.
Не вечны ни цветочек, ни гранит.
Сознание не создает пространство,
Но лишь оно одно его хранит.

А думал Кант, что беды отвратит
Категорический императив.
Смеясь над кёнигсбергским пацифистом,
При этом ближнего не возлюбя,
Растормошенный разумом нечистым
Весь мир в себе вдруг вышел из себя.

Но мудрая случайностей причуда
Могилу Канта сохранила чудом.
Гранит надгробный, словно вещь в себе,
Непостижимая в своей судьбе.
И строгий портик около стены

Собора. Из цепей ограда. –
Вот все, что уцелело от войны,
От Кёнигсберга до Калининграда.
И это, может, убеждает мир,
Что для него спасенье – Вечный мир.
1980

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Владимиру Микушевичу

За занавеской старая береза
Покрыта снова нежною листвою.
Смотрю я на нее, как сам не свой,
Не зная явь ли это или грёза.

Давно ль она вся стыла от мороза
И слышала метели снежной вой,
Качая оголенной головой
Ещё во власти зимнего наркоза.

Но ожила она, очнувшись, вновь,
Не ведаю, откуда взявши силы
И свежую березовую кровь.

И мне, другому, бесконечно милы
Её ветвей узор зеленокрылый,
Весенним птицам подаривший кров.

1998

* * *

Дни вертятся, как спицы в колеснице,
И понукает жизнь: пошел, пошел!
Да, прав был Блок: «Покой нам только снится».
И вот тогда нам спится хорошо.

1999

СТАМБУЛ

Много видела эта земля и Босфор.
Рим Второй Византии. Потом янычары.
И, наверно, красавицы с этих вот пор
Под глухою одеждой таят свои чары.

Не утратил величье Софийский собор,
В минаретной осаде сняв иго мечети.
«Голубая мечеть» с ним затеяла спор,
От которого стало прекрасней на свете.

Это только теперь так уж благостно тут.
Красота поглотила кровавые зовы.
Из Европы до Азии десять минут
По босфорской спокойной воде бирюзовой.
Стамбул, 15 августа 2003 г.

Утро

Проснулся. Солнца первые лучи
Еще без зноя прошивают зелень.
Вокруг всё затаялось и молчит.
На травах рос целительное зелье.

После ночных абсурдов разных снов
Предметов очертанья счень чётки.
Лежу, о чём-то думаю без слов.
Стихи перебираю, словно чётки.
Valgemetsa, 17.07.2010

Агностицизм

Откуда этот чудный дар –
Весть не от Будды или Лютера:
Летающий надо мной комар
Сложнее моего компьютера.

30.06.2010 – 11.08.2010

* * *

Вкус к жизни я не потерял.
Она ещё меня волнует.
Готов нырнуть в ее волну я.
Но выплыву ль? Кто б это знал?

Наверно, знать дано волне:
Жизнь потеряла ль вкус ко мне?
01.09.2010

* * *

На этом, наверно, единственном свете
Всё, кроме любви, пустяки.
От удачной любви рождаются дети,
От любви неудачной – стихи.

БОРИС ЮДИН

Исход

“По долинам и по взгорьям...”
П. С. Парфёнов

По полям, по взгорьям по долинам
Беспощадным ветром ноября
Разнесло нас пухом тополиным
В странность стран за дальние моря.

И, пролившись бурно и незванно
Ливнями в ладони городов,
Санчо Пансы ожидали манны,
Дон Кихоты рыцарских трудов.

Жизнь течёт. Стареет Дульцинея.
Тишь да гладь, да божья благодать.
Всё путём. Но нету Моисея,
Чтобы нам Скрижали передать.

* * *

Деревня. Детство. Вкус ржаного хлеба.
Щебечущие стайки воробьёв.
И женщины глядят с тревогой в небо,
Едва слышав самолётный рёв.

А годы истончались понемножку,
Струна звенела, зрела седина.
Но это ожидание бомбёжки
И означает для меня: “Война”.

* * *

Лесок, песок, ольха, рябина,
Заборы тонут в лопухах.
И Среднерусская равнина
Покоится на трёх китах.

Давным-давно дороги в коме,
Бойтся летаргии Гоголь,
Молчит кукушка: ни гугу!
И я потерянной иголкой
В блаженной лени и истоме
Лежу задумчиво в стогу.

Зудит комар. Травинки колки.
Пахуч ночных небес рассол.
И тают падших звёзд осколки
В загадочной реке Оскол.

* * *

Парк. Экзальтация акаций.
На танцплощадке за ларьком –
Танцулек антигравитация
И запах “шипра” с табаком.

Там шаркают полуботинки,
Там танго неприличный стон.
А вся-то музыка – пластинки
Да хриловатый патефон.

А ветерок всё духовитее,
Свет фонарей голубоват.
И где-то там мои родители
На влажной лавочке сидят.

Чтоб время шло, замысловато,
Как многократный интеграл.
Чтоб я состарился когда-то
И эти строки написал.

Воспоминание о ночи

Ночь, как вода в пруду, стояла.
Иссиня-чёрная вода.
Звезда горела в полнакала.
Когда-то яркая звезда.

В стакане кисля “Изабелла”,
Скрипел коростеля кларнет

И в теле в полнакала тлела
Любовь давно прошедших лет.

"Летит, летит степная кобылица..."
А. Блок

Стоны чибисов, скрип тарантаса,
Вызревает трава лебеда
В той стране, где закат по приказу,
А восход неизвестно когда.

Ветви ив обвисают уныло,
Плоть речная тускла и тухла,
И на пожнях хромя кобыла
Равнодушно жуёт удила.

жёлтый город

Где-то дремлют в праздности и лени
Жёлтый дом и палевый квартал,
Мост янтарный, кремовые тени,
Охристый, приземистый вокзал.

Лысые лимонные газоны
И параллелепипед каланчи.
По дворам – гирлянды панталонов,
По подъездам – запахи мочи.

Кукурузный рейсовый автобус
Беспольный, как пустой пенал.
Во дворе – мяча румяный глобус.
А ведь, я когда-то им играл.

Пустота. Нет ни души, ни звука.
Меж столбов провисли провода
И лежит беременная сука
Посреди дороги в никуда.

ИОСИФ ГОЛЬДЕНБЕРГ

У времени своя печаль

Ах, какие были годы
Ровно век тому назад:
Никому еще не продан
За долги вишневый сад.
Страх еще не сводит губы.
Все серебряные трубы
Скоро в слове зазвучат ...
Палачи и душегубы
В колыбелях тихо спят...

Что нам делать в небесах,
Где так славно было прежде,
Если светлые надежды
Убивает темный страх?

Что нам делать у воды,
Если возмущивший воду
Ангел нам вернул свободу,
Но не спас нас от беды?

Что нам делать у могил,
Если правда – только в силе,
Если Бога мы забыли
Раньше, чем он нас забыл!?

Встречая новую зарю,
Тепло и свет скрестили шпаги.
По лунному календарю
Живут поэты и бродяги.

Легко, раскованно живут,
Властей и женщин не глянут,
И рады так теплу и свету,
Как будто милую планету
Вот-вот навеки отберуг.

Высоко в тишине ночной
Поет почти живая скрипка.

В наш век последний и шальной,
Когда грядущее так зыбко,
Спасется мир не красотой,
А милосердною улыбкой.

У времени своя печаль,
Свои надежды у пространства,
Но убегающая даль
Не обещает постоянства.

Не обещает утешенья,
Ни вычитанье, ни сложенье,
Ни умноженье скоростей.
Все так же краток срок страстей,
Оплаченных самосожженьем.

Узнать всю правду о себе,
И ничему не устыдиться?!
О если б заново родиться
И предъявить тогда судьбе

Тот перечень благодеяний,
Что растворен в твоей крови.
Чтоб уровень земной любви
Стал выше уровня страданий.

Все в одной плетемся связке,
То смеемся, то заплачем.
Чередуются, как в сказке,
Неудачи и удачи,

То с судьбою спорим снова
И влюбляемся опасно.
Жизнь проходит бестолково,
Бестолково и прекрасно.

Просеивайте время, как песок,
Как камушки, перебирайте годы,
Достанет ли печали и свободы,
Чтоб жизнь переписать наискосок,
Чтоб обменять устойчивый уют,
Привычные слова и обороты,
Земные и неспешные заботы
На время откровений или смут?

Бескрылые мечты кто пустит на постой,
Кто станет умножать постылые заботы,
Кто станет раскрывать серебряные ноты,
Чтобы сыграть на дудочке простой?

У долгих лет дни быстры, но тихи
(Перекрестись и помолись от глаза!)
Но знаем мы, что судьбы и стихи
Не любят громких слов и выше пересказа.

"Сотри случайные черты"
А. Блок

Случайные черты сотру –
И высветится цель:
Один – я свечка на ветру,
Вдвоем – мы цитадель.

Но еще остается вопрос,
На который пока нет ответа:
Почему от твоих волос
На губах моих капельки света?..

Пусть звонит и звонит колокол:
Своих лет я еще не боюсь –
А с любовью твоей и волоком
До вечности доберусь.

Поздняя осень. Высокие ивы
Стоят сиротливо в наряде сквозном,
Почти что прозрачном, легки и красивы,
Как будто на грани меж явью и сном;

До первых морозов, до первых метелей,
Воздушно желтея близ сосен и елей.

Круг сужается, круг сужается:
По наделам друзья разъезжаются,
Почти некому письма писать,
За чертой все земные хлопоты,
Только ветра да листьев шёпоты,
И до неба рукой подать...

Помедли, помедли.
Душа никуда не спешит.
С трудом в одиночку
Она пробирается к свету,
По еле заметному, зыбкому,
Звездному следу,
Сквозь темное пламя
Желаний, безумств и обид.

Не отнимай у вечности огня,
Перечитай священные страницы —
И помни, помни: без любви — ни дня:
Как можно жить, дышать — и не влюбиться?!

Не постоем мы за ценой
За синий воздух даровой,
За белый Божий свет.

За стук веселых каблучков...
За смыслы тех немногих слов,
Которым сносу нет.

УЛЕКСА ФОН ЛУ

Камень и ком. Комья земли —
крошки в гробы фактов.
Мы — за оградкой. Угроблены
сбором камней рати...

...Грелись ядерные реакторы,
плавилась стержни в недрах!
маски смерти факториалами —
всплески СМИ взрывами нервов.

Горе людей сгорбило
в уме — пору цветения.
Мы с тобою, Япония,
молимся на коленах.

Уме — японская слива, цветет в конце февраля — начале марта.

Ангелы пьяны пространством —
далью его простирания,
боль человеческих странностей
бескрайняя — без названия.
Ноль сингулярности разума —
точка отсчета для вечности,
ищем англообразности,
ангелы же — человечности.
звездами анизотропными
в небе раскинуты крыльями,
тропами, залами тронными?
Мы излучением сильнее!
Ангелы — от человечности,
люди — в подобии ангельском,
небо — чело вечности,
века чело сжалится.

Полнолуние. У окна.

Ангелы спят, нас храня,
тенью укрыт подоконник,
лунный свет, бродит, крадя,
бликов напольных иконки.

Звезды смеются во сне,
тихо от счастья мерцают,
Плющ на стене на спине
ласточкой тени взлетает.

И монитор, и тетрадь
звездным наполнены звуком,
Тонкую лунную прядь
Срезала тень переулочка.

Вздрог звука резкого вдруг,
рвется тишь, но в безнадее
крепко спит преданный друг,
Тучка над "Hotel Онегин":

Перья, волною — крыло,
светом подбитое лунным.
Мысли нирванны — кино
слов-полуснов в полнолуние...
2010

Волна

Здесь ветер, завывая, мысли глушит,
И больно прямо в сердце дождь стучит,
Погода выворачивает душу,
Чтоб взять ее с собой — пожар тушить.

А лужи пузырятся, закипая,
Как сила натяженья велика!
"Летучего голландца" поканяем,
Как притяженьем, связан на века,

Ни якоря, ни рифа в океане,
И места даже нет, чтоб сесть на мель,
Скиталец Вечный в мире, словно Каин, —
Сгущение стихий и их мишень.

И если же когда-то Всемогуший
Прощение вдруг свыше ниспошлет,
То брошу якорь в гавани у Кушей
И, яблоко сорвав, уйду в полёт.

Пусть ветер, завывая, мысли глушит,
И прямо в сердце больно дождь стучит,
Пусть, если надо, — наизнанку душу,
Чтоб можно было ей пожар тушить!

Летят навстречу месяцы и годы,
Столетия, эпохи, времена...
Открыв глаза, вхожу в Огонь и Воду,
Чтоб видеть, как идет Моя Волна.

2004

Два-два, и квадратны объятья
аэрокаверны из тучи,
и квадрофоничные яти,
пластичны в квадрате, текучи,
и в нем бесконечность — восьмеркой,
боками углы наполняя,
летит, извлеченной из корня
от минуса в одеяньях...
И квадро-том вечности книги,
взмахнув лунностью оперенья,
парит, скинув звоны вериги
вторым открываньем зренья...
И, Млечный путь влив в сепаратор,
на Землю все звезды посеяв,
в квадрате летит супрематор,
открыть квадротайну не смея...

Черноквадратье

"Квадрат вспорхнул и улетел",
и отразился многогранно,
и, оставляя кубы тел
и черни буквы телеграммы,
летел и пел губами стен
лист монохромной моногаммы,
он птицей пел
вверх — вниз летел,
веселый черный нолик граммов,
порхающею монограммой,
себе сам Фишер он, и Крамник
и мотыльковые программы
исполнить он не захотел
как тело взлета вне всех рамок.

В черном квадрате Кандинского

В черном квадрате – белый,
в мысли и чувства окошко,
что они с нами делают,
души скребущие кошки?

Красное в треугольном –
когти наших сомнений,
черным фонтаном вольность
темного открывенья.

Желтым кружком – донце
времени потепленья,
с циркулем ходит солнце,
в сердце твоя измеренья.

Рельсы – прямые – стены
наших непониманий,
небо стригут антенны
манного ожидания?

Холод на параллелях –
векторы коллинеарны,
мысли благой вельды,
к высшему благодарность.

Голубой треугольник –
светлого дуновение,
геометрия боли,
мнения в столкновенье.

В острых углах и дугах –
цели и нетерпенья,
загнанные в угол,
верим во вдохновенье.

Василий Кандинский. "В черном квадрате", 1923.

Летающий пакет во дворе

Кается и мается, качается и катится
"маечка"-пакет среди деревьев во дворе,
бегаёт, танцует и не хочет низко кланяться
беленькое платьице лететь спешит скорей.

Пишутся фигурки Лиссажу* в осеннем воздухе,
ветер-осциллограф-визажист,
белой маской "маечка" и "платьице" тревожится,
катится, летит и мнется жизнь.

* Фигуры Лиссажу – замкнутые траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Впервые изучены французским учёным Ж. Лиссажу (J. Lissajous; 1822-80).

Зеркальный шар Эшера

Зеркальный шар квартиру отразил,
Картины, книги и портрет владельца.
Обнял собою изо всех эи сил
Мир дома, улыбаясь зеркал тельцем.

Зеркальный шар собою охватил
Всю сущую мгновенно бесконечность,
остановился взял и ощутил
тепло руки и мира быстротечность.

Так мы, свернувшись в капельку без сил
собою отражаем мир Вселенной,
вдруг развернемся в полотно, взмах крыл –
и станем бесконечно дерзновенны.

И звезды загораются в сердцах,
Сияем в мир душою всей и кожей,
Нам вдохновенье дарит свой размах,
чтоб скорость мысли крыльями умножить!

Зеркальный шарик – как модель планет
И глаз мгновенно схваченного мира,
Вдох входа во вселенский кабинет
Мечты, гармоний, мыслей и ...квартиры.

Морис Корнелиус Эшер. Рука с зеркальным шаром. Автопортрет в сферическом зеркале.

Дом лестниц М. Эшера

Лестницы – волны, изгибы – пролетами,
в доме из лестниц все движется, шепчется,
клавиши шага, прыжка, поворота лишь убегают,
не плачу, не сердятся.
Ролик ступеней вверх – вниз бесконечен,
в серой бесстрастности – жизни течение,
Лестницы – ног перестук, окоlesiца,
струны движения клавиш влечения.
Дом вверх стремится, и путь не кончается,
мысли считаются, дышат пролетами,
в доме на лестнице будто трепанги мы,
чем-то подводные, жизнью потрепаны.
И колесницами ног движет лестницу,
чересполосица ребер сбегается,
пропись ступенек – предчувствия вестница,
паузы в нотах "всеооожидания".
Тянут гармоникн ноги и мысли вниз,
вверх побежишь -- и захватит дыхание,
В море ступенек есть чет-нечет, выбор, риск,
лестницы-судьбы и клавиши таяний...

Руки Эшера

Руки рисуют руки,
замкнутые в круг творенья,
из пантомим кабуки
внутренне стихотворенье.

Мир листком ограничен,
плоскости – в родах объема,
важен путь не количеств,
мир – порождение формы.

Плоскость вошла в пространство,
а руки мир обнимают,
графика – сердца транспорт,
руки – души метания.

Руки – в стихотворенье
графики автопортрета.
Труд – это житнетворенье,
поиски нового света.

Руки в графике текста,
текст сотворяет руки,
слову в листочке тесно –
новый мир пишет звуком.

Печаль бордюров

"Печаль листву нелепо по бордюру гонит",
орнаменты ветрами начертив,
и жёсть на крышах баритоном стонет,
и сплетены нагие ветви ив...
И нет звонка, и в исq угасла
ромашка, став прозрачною без сил,
тревожные раздумья выползают,
рисуя бледность огорченных лиц,
и twitter не спасает от печали,
глаза дождя прозрачны и слепы,
колонн античных, Веды изначальность –
в винил тоски, двумерной звукотымы...

2010

Гало ночного вздрызга

Бухнуло сердце
Телефона вздрызг
Голос чужой
Угроза
Всплеск к сотне герцев
Грозою захлыст
вместо "enjoy"
страх... слёзы

Голос...лога...Гало..ГОлы судьбы

Кто ты, пришелец из прошлого?
Смейтесь, ночных колобродий рабы,
"вашблагородий" – враг пошлости.
Сдуй ветер, трусость
Со всех уст и глаз,
дай мне во всем разобраться...
Кто там? Пол...Сгустки...

И роза из страз...
стыл арбалет. Не касаться!

2009

Ирисы Ван Гога

Ирисы, ирисы... Шепоты Сирина,
зеркало неба – сфероид раскрывшийся,
и тонешь взглядами в солнце над Сен-Реми,
ирисы в солнечности сердцем вышиты...

Желтый кувшин полон выпитым солнышком
Колоколами цветы сини плазменной
Ирисными крылышками воробышков
вихрь лепестков – слоено времени пламенность.

Листья – кисти ниндзя, где пики-лезвия
стрелкой часов, в полдень целясь, вливаются,
Ирисы – шепот сиреневой нежности,
взгляд утонул, рас плаваясь на солнце, раскаявшись.

Стога Ван Гога

Стог – это поля рог,
льет золотой с соломенным
свет, звонок и высок,
трав сухих в небе омуты.

Выжженный городок,
небо – линияло – синее,
стог – взгляда – шок, ожог,
что-то сокрыто сильное.

Шаг танца, ритм травы –
палочки барабанные,
стог – вроде головы,
полное солнцем, пьяное.

Ветер затих и сник,
небо от зноя белое,
стог – молчаливый крик,
сохнет когда-то спелое.

Терраса ночного кафе: Ван Гога

Долька террасы – надрезанный лайм,
завсегдатаев коктейль.
И вдруг за столиком видишь, ты сам
в "цитрусе сока" кафе!

Жизнь затихает, здесь страсти кипят,
скрыты в слонах, ладьях, пешках,
"шахмат" булыжники блеском пестрят,
шаг – ход конем и – не мешкать!

В тихом кафе ритмы белых столов –
сильные доли шансона,
кажется, сердце открыт был готов
тонущий в ночи влюбленный...

Ночь расцветает ромашками звезд,
соком лимонным к кроваткам
скрыт на террасе о главном вопрос,
только трепещут ив ветки...

2011

Бемоли яблонь. Канте-хондо.

Бемоли яблонь – цвет воланов
И кружев белая волна,
Приливом – вальсы школьных балов,
Отлив – прощальные слова.

И, разбегаясь по планете
В N – направлениях судьбы,
В душе мы – школьники и дети,
И на бегу о льды бьем пбы.

Порою ссорились до драки
И проливали реки слез
О вдруг пропавшем забяке,
Сорвавшем ленты с длинных кос.

Пройдя по петлям и по лентам
Времен, пространства, книг и чувств,
Откроешь сущности момента,
Весною созерцаю куст.

Когда в набухших почках бродит
И рвется к солнцу сок хмельной,
То в сердце бьется канте-хондо –
Ладоней листьев плеск – прибой.

Ритм кулачками многоточий
Кричит, грозит вверх взлететь!
А в крыльях первых двух листочков –
Метастабильность – "жизнь и смерть".

Тишь точек в строчках – страсти очи
Со взмахом стрелчатых ресниц,
Цыганский танец в мраке ночи
Сквозь вихри порванных страниц.

Плывет Ассоль под звуки рондо,
И палантина парус ал,
Шаг и полет – ритм канте-хондо,
Шармант – "шаман"! И в трансе зал.

Пусть рубят тополь, только ветки
Растут на срубленном стволе,
И прутья вновь сплетенной клетки
Сметает ведьма на метле.

Предел креста – квадрат, а точка –
Предел колодца черноты,
Вдох – и волна бегущей строчки,
А выдох – чайка «я и ты».

Бемоли яблонь – канте-хондо,
Дуэндо чайки, блеск зеркал,
И палиндром прибоя в рондо,
И точки Музы, волны, бал...

Бемоли яблонь – капли, веки
И слезы сердца – лепестки...
И плачут ангелы, как дети,
Взмахнув крылом вместо руки.

2009

Многожилным кабелем тела змея

*а нечто латает мои крылья
ржавой иголкой
пользуя вместо ниток
жилы*

Иероним Босх

Многожилным кабелем тела змея
латает старые паруса –
Икаровы крылья, себя растерзав,
смотрел я Солнцу до донца в глаза...

Стал и морем, и небом мной брошенный взгляд,
нет назад, только вглубь, в даль волнистую, вширь,
и о важном легко промолчать, не сказав,
ножницами себя прорезая весь мир.

Прорицать? Нет, предвидеть, себя ощутив
в уползании заката, и выход – восход –
неизвестности бездны тревожный мотив
в гамме ветхозаветной надеждой цветет.

2011

Восьмерка осени

Восьмерка – привставшая вдруг бесконечность
текущего цвета, *оранжа* и охры,
и горечь "прощай", осознав, что не вечно
тепло чувств кармина и алого ворох,
печалимся, курум, и порция виски
слегка ослабляет озноб расставаний,
лисица рябины – горящая пристань
с чуть-чутью надежды, но без обещаний...

Восьмерка – волна и волнение стихии,
и ключ бесконечной текучести силы,
стихов, мыслей, чувства в делах – разговорах,
и виолончельный тембр споров без ссоры...
и остров надежды и памяти остов,
текущая дека скрипичных причалов,
молчание в золоте листьев-подростков
кленового вызова в пике печали.
И пластика "восемь" вливается в осень,
то ль клавиш, то ль струн скрипок-виолончелей,

струится волнующе гроздь вопросов,
течение мысли и чувства качели...
И в перьях рябины застрявшие смыслы
рискует пропасть в бесконечности восемь,
летят штрих-пунктиры хвостиков, как мысли,
и связана иглами скорости осень.
(2010)

ЕЛЕНА ЛЮБОМСКАЯ

Много молитв у Бога
Есть про запас,
Но ни одной
Чудесной такой,
Чтобы вымолить вас.

В храме, где ваше имя
Затаено, как вздох,
Врата высоки,
Пустынны шаги
И мраморный холодок

И лишь музыка где-то –
Каждый аккорд певуч.
То ли в душе,
То ль в витраже
Этот небесный луч?

Как драгоценное монисто,
Роняя звуки в тишине,
О чем играет пианистка
Сама с собой наедине?

Погашены там, в залах, люстры,
Аплодисменты спят давно,
А звуки дивные все льются –
Для дальнего, для одного.

Пусть тайна бережно хранима,
Поможет ей покинуть плен
И друг старинный – пианино,
А может быть, и сам Шопен.

Заря далекая проснулась,
Но не обманна ль тишина?
Не может быть, чтоб не коснулась
Струны – ответная струна.

КУПАЛА

Не лазоревый луч,
не божественный ладан и миро,
Не с душистого луга
весною собираемый мед –
Горек вкус у любви,
как у дикого корня аира,
Что по ведьмовым пушам,
по толям болотным растет.
То, чему быть должно,
здесь до времени зреет, как завязь –
И купальский цветок
расцветет среди душевной ночи.
И станцует змея,
на хвосте золотистом качаясь,
От предчувствия гроз
замутятся лесные ключи.
И тотчас же окрест
колдовская аукнется сила,
Чтоб по знаку ее,
вдруг отведав пленительный яд,
Чья-то дерзкая воля
покорно глаза опустила,
Чья-то гордость сдалась,
повстречав повелительный взгляд.
– Это гиблое место, беги! –
скажет кто-то бывалый,
Но вернется упрямец,
заложник безумной мечты,
Побредя без дорог,
чтобы только спросить у Купалы,
Отчего на рассвете
полночные вянут цветы.

М. Брифу

Для кого ты поешь, соловей?
Говорят, для подружки своей.
Но подружка взмахнула крылом
И умчалась с другим соловьем.

Роще майской в ночи не до сна,
Звукам райским внимает она.
Но светает – и нежность берез
Стынет, стынет под холодом рос.

Как-то мимо бежал ручеек,
И он песню с собою увлек.
Стал волной и, мечтой обуян,
Дар бесценный унес в океан.

И запели – во все голоса –
Реки, горы, поля и леса.
...Покидая поэта, любовь
В песне с ним повстречается вновь.

ЛАРИСА ВЕРЦНЕР

В душе – как в доме опустелом,
Как в сонном царстве паутин.
В душе – как в доме опустелом,
Не без причин, не без причин.
И лишь всевидящее око
С покрытых тайною вершин
Узреет, как ей одиноко
Среди кручин, среди кручин.

Неудача – и снова попытка.
И опять, и опять ухожу.
Ах, зачем эта вечная пытка,
Что теряю здесь, что нахожу?
Ах, зачем эта вечная пытка
И судьба, словно старый палац?
Раздобыть бы коня и кибитку
И умчаться под звёздами вскачь.
И менять без конца горизонты,
Быть лишь вольному ветру подстать,
Чтоб всю боль и всю горечь о ком-то
Снова дням уходящим отдать.

Посреди одиночества
Родилась моя суть.
Посреди одиночества
Мой нехоженный путь.
Посреди одиночества
Возрождаюсь опять.
О, мое одиночество,
Ты одно мне под стать.

Мелодия, о, дай свое крыло
И унеси скорее в поднебесье,
Пока еще вокруг светлым-светло,
Пока еще душа так жаждет песни.
Неси меня к Парнасу вечных муз,
Где ждут невоплощённые найты
Сонат, стихов, симфоний, где союз
Созвучий новых, где смогу открыть я
Те песни, что от ужаса разрух
Не слышит на Земле и чуткий слух.

Какой на речке вечерок!
Блеснул зари прощальный всполох
На отдыхающей воде.
Игривый, лёгкий ветерок,
Вдруг налетев, затеял шорох
И колыхание везде,
Как в танце медленном и нежном.
Лягушки в камышах прибрежных
Загомонили, а луна
За тучкой лёгкою видна
И, показавшись на мгновенье,
Залюбовалась отраженьем.
Природа и во сне в движенье:
То всхлип воды, то окрик птицы,
Такой протяжный, словно стон.

Ах, почему-то ей не спится,
А может видит страшный сон...
И снова окрик и покой
Над засыпающей рекой.

Я ничего не жажду от Земли
И от тебя заблудшего, земного.
Моих надежд заветных корабли
Уже давно ржавеют на мели,
А я, забыв себя, корплю над словом.
И, обуздав в который раз строку,
Я уношусь из этой жизни странной
В божественно-лучистые нирваны
И в свет высокий душу облеку.
И, излучая этот чистый свет
И возвратясь в который раз на Землю,
Я не сломлюсь от всех грядущих бед
И выдержу всё то, что не приемлю.

У разрозненных судеб
Все печали сродни.
У разрозненных судеб
Беспросветные дни.
У разрозненных судеб
Беспобудна беда.
У разрозненных судеб
Все пути в никуда.

Всё тернистей и уже
В день грядущий стезя.
Ветер времени кружит.
И уходят друзья.
Ветер времени кружит
Унося в облака.
Ветер времени выюжит,
Пошадив нас пока.
А уж если задует
Жизнь твою, как свечу,
Сбросив долю лихую,
За тобой полечу.

Уйти навек, став тучей, испареньем,
Как снег и лёд, и вешняя вода.
И, не теряя больше ни мгновенья,
Лететь над чьей-то жизнью в никуда.
И быть как воздух и как вольный ветер,
На небесах далёкая звезда.
Стать зримой и знакомой всем на свете,
Но чьей-то – ни за что и никогда.

АЛЛА ПАВЛЕНКО

ВЕСНА РАННЯЯ

Выбегает ребенок, танцует.
Луи высыхают.
Африканские флаги.

Весна.

Ветер стал охотником.
Вечная погоня.

Весна.

Рыболов возвращается.
В одной руке – рыба,
В другой – заяц.

Весна.

Художник достает зеленую краску.
Весна.

Я иду за ступкой.
Буду толочь просо.

Весна.

Перед утром:
Серые от дождя вишневые доски забора.

Утро:
Влажный забор – розовые вишни.

День:
Звенит забор – краснеют ягоды.

Вечер:
Сворачиваются доски – лопаются вишни.

Ночь:
Круглое дерево – черные вишни.

КАПИТУЛЯЦИЯ

Весна приехала в наш город
Из деревни
И сразу быстро обжилась:
развешала листочки на деревьях,
утыкала цветами клумбы,
засеяла травой газоны.

И написала:
«Цветы не рвать»,
«Траву не мять».
и «По газонам не ходить».
И говорят – составит скоро преysкурant,
В нем обозначив,
Сколько стоит:

пенье птиц,
цветенье трав,
сирени запах,
теплый вечер...

Горячий поцелуй, наверное, всего дороже.
Мне по карману нынешней весной:

незапертая дверь,
случайная улыбка,
зеленый огурец,
зеленая скамейка.

Звезда – рыбка с одним глазом.

Умирая, звезда падает,
Как олень, рога ломая.

Если небо – крик петуха,
То звезда – зерно.

Звезды, воюя,
Выпускают лучи как когти.

Домашние звезды – те,
Что падают утром на крышу,
Где стоят ведра с водой.

ВИКТОР ФЕТ

МЕТАМОРФОЗ

Елене Федоровской

Душа сквозь клеточки тетрадей
вбирает детские лучи:
так, в череде ларвальных стадий,
расти, меняйся, и молчи.

Забудь унылые обиды
и скудных лекций письма
под плотной шкуркой хризалиды,
сквозь годы огненного сна.

Пусть сон пойдет тебе на благо:
достигнув стадии имаго,
пупарий сбросив, не спеша
расправит крылышки душа.

Тогда себе и запиши
и сон, и явь природы дивной –
Психеи шепот непрерывный,
стихотворение души.

12 февраля 2011. Хантингтон

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Сообщение 2

Человеческая жизнь хорошо изучена:
внутри – пустота, а вокруг – пучина;

говорят, что линия будет отключена,
пока не выяснится, в чем причина.

Не исключено, что, кроме частиц и поля,
еще существуют судьба и воля,

но, как говорил один знакомый евгеник,
все упирается в отсутствие денег,

а не то мы такой бы откинули творог
на дуршлаг из фрейдовских оговорок,

где Эйнштейн с Малевичем у райских врат
рисовали черный эм-це-квадрат.

29 мая 2011. Хантингтон

НЕМОЕ КИНО

Под резким светом, в мире плоском
пройди себе по шатким доскам
на дебаркадере времен,
где контур жизни изменен.

У новых дней не хватит места
для магии простого жеста,
запечатленного давно
на лентах древнего кино.

Здесь ходит мышца лицевая
и видится движение век
под звон беззвучного трамвая
и старомодный саундтрек.

Над миром разлита тревога,
но крепко держится тренога,
а чудный театральный грим
теперь уже неповторим.

13-14 мая 2011. Хантингтон

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Сообщение 3

Квадрат и круг, и шар, и конус
дают вселенной странный бонус,
дают надежду на покой.
Рисую гипсы в мастерской,
ты наблюдаешь, как некрепок
стопы и мозга белый слепок,
простого кальция сульфат,
какого и в природе много.
Пусть мир устроен неупопад,
но формы вылеплены строго;
их анатомия видна
сквозь сомкнутые времена.

Геометрические страсти
разъяли целое на части:
здесь раньше хаос правил миром,
а уж потом его слегка
по кромке обвели пунктиром.
Так было в прошлые века.

Так кто же правит миром ныне:
частица, случай или сон?
В какой неведомой пустыне
наш бедный разум заключён?
Чьих должен он искать протекций?
Каких неистовых проекций
узор на плоскость нанести?
О чём мечтать? Куда бести?

Куда-нибудь – где глыбы льда,
где в креслах свалены эскизы;
в тот отдалённый край, куда
не надо вызова и визы.

1-5 июня 2011. Хантингтон

ДВА ФРАГМЕНТА

1.
«...А знаешь – раньше мир весенний
был неизвестен. Шар земной
вращался среди потрясений,
не зная участи иной.
Вы, значит, жили рядом с нами,
неся невидимое пламя
с такою степенью свободы,
какая и не снилась нам,
вы за бесчисленные годы
нашли свой путь в наш скорбный храм,
ввалились в мысли и дела,
и смерть часы перевела...»

2.
«...Блажен невежественный ум,
и проклят букв изобретатель.
Не нам предназначал Создатель
читать из книги вечных сумм
в иных галактик снежной буре;
мы на своей клавиатуре
клавир Вселенной не сыграли.
Так звездные мерцают дали,
что хочется порою выть:
их в Интернет не поместить.
Как много в знании печали!
Теперь мы многое узнали
и можем многое забыть...»

29.06.11

в наш мрачный, параллельный мир,
Бежать-то некуда – планета
одна, не то что там у вас,
а глаз лучом
неосязаемого света...

ЭНЦЕЛАД

Как жизнь литературна
бывает иногда:
меж кольцами Сатурна –
солёная вода!

В крошечной тьме Вселенной
открылись берега,
где хлещет звездной пеной
поморская шуга.

И более не надо
ни меда, ни вина:
фонтаном Энцелада
душа опьянена.

30 июня 2011. Хантингтон

ПОКУДА НЕ СТЕМНЕЛО

Покуда не стемнело, обрати
свое внимание на новые пути,
столетиями бывшие под спудом,
едва не сгинувшие, ныне же из мгlistых,
холодных сумерек возникнувшие чудом
на грязных улицах, при свете фонаря,
в закатные часы. Так, может быть, не зря
мы торили тропу в пустынно-каменистых
ущельях Азии, где гипсовые плиты,
в той фантастической, безводной стороне,
где ткань истончена, где действия покрыты
солёной пылью бесконечных дней;
где время не идет, где кажется слаба
связь между атомами жизни, и судьба,
поводя тронув, позабудет обо мне,
а я – о ней.

10 июля 2011, Хантингтон

МЫ ДУМАЕМ

Мы думаем, что сущность слов проста,
и мы привыкли к этой мысли вздорной;
на самом деле лучшие места
отведены на плоскости узорной
не нам, а им – и есть за что: они
и движут, и скрепляют наши дни.

К динамике обыденной привыкла
речь, от природы свойственная нам,
что ритм биологического цикла
готова придавать мечтам и снам –
и прыгает от счастья каждый атом,
доставшийся в наследие приматам.

Мы думаем, что память – наш союзник;
на самом деле разум – это узник
в оковах памяти, что вместе с ней
спешит над бездной лет тропой дней,
зажмурившись, чтобы перенести
слепящее безумие пути.

Да сохраняются наши языки,
наполненные древними словами,
как неизученными веществами,
где атомы усердны и легки,

где глину слов несёт и издалека
поток недремлющего языка.

09.2011, Хантингтон

СКАЖИ

Скажи, ужели никогда
мы не увидим края,
где возле пристани вода
несёт в себе, вращая,

слова и мысли, соль и йод,
миров ушедших щепки,
и для природы создаёт
законы древней лепки?

Но мы застряли в царстве сна,
а наша скверная волна
под лозунги и крики
несёт пустые блики.

А значит, нам не суждено
увидеть и прочесть
слова о том, что быть должно,
сквозь блеск того, что есть.

8-9 октября 2011, Хантингтон

ПРЫЖОК

Я замкнут в капсуле снаряда,
а там на улице, пока,
тягучее, чем «Илиада».
проходят долгие века.

Слежу усталыми зрачками
за потемневшими веками
в мелькании песков и вод,
но сон целительный нейдёт.

Но если разум не покинет
мой мир, то я замедлю бег,
и некто из бессмертья зынет
микроскопический ковчег.

Слегка почистит, отряхнув
от пены радиоактивной,
потом прикроет ставень дивный,
и я, возрадуюсь, усну.

18.10.2011

ПРЕДЕЛ

В природе есть предел. и это не секрет.
Но если допустить, что некий общий свет
из тех краёв, где стынет беспредельность,
сочится в этот мир, за миллионы лет
проникнув в суть вещей и им давая цельность –
тогда действительности рокот непрерывный
мы можем прочитать, как строки книги дивной,
как беглой истины почги истлевший след,
как белых облаков на белом небе ряд;
мы можем записать, понять, перевести
произошедшее на огнемном пути,
в той путаной сети иных координат,
не полагающей пределов и границ,
где бездны и миры вскипают и горят,
где наш бессмертием ошеломлённый взгляд
хранит наследие сияющих страниц.

АЛЕКСАНДР СТЕЖЕРИНСКИЙ

Вчера немного предвидел,
Но знал, что муху не обижу.
Сегодня б, может, и обидел,
Но очень многое предвижу.

Пока мы живы – с нами тень,
Её нет преданней у нас.
Я тень планирую на день,
Судьбу – всего на час.

О нас писали на заборе мелом...
И, чтобы с этой «популярностью» порвать,

Два чемодана – был лимит на тело,
Для головы с душой – ручная кладь.

Для семьи настоящей
Шанс – дожить до седины,
Если, вслух говорящий,
В ней всего лишь – один.

Всё всегда несу в семью,
Думы – полные забот.
Не гуляю и не пью, –
Разве я не идиот?

Я жизнь прожил не под фанеру
И, повидав всё на веку,
Решил уйти, как за портьеру,
За стихотворную строку.

Втихаря всяк о небе мечтает
И мечта – мозг податливый точит.
Ну, а слон на Земле – не летает,
По одной лишь причине – не хочет.

Щедро трачу себя – от меня не убудет,
Календарных страничек бумагу листая.
Будет время у времени – всех и рассудит, –
По наивности так я считаю.

Не так уж я хорош собой,
Чтоб спорить с бабой и судьбой.

Семья, как фронт, идя ва-банк,
Жена – под полководца косит:
Ведь муж – он тот же бумеранг,
Вернётся – если очень просит.

Плод запретный пригубя,
Юные живут – любя.
А когда уходит прыть,
Люди любят – чтобы жить.

Ну какой я солдат?
Жизнь меня обокрала.
Разве только что мат
Выдаёт – генерала.

Что бы мне ни говорили,
Мотивируя азами:
Так, как здесь – в Совке не жили,
Правда, так и не лизали...

Долг родителей – зачать,
Также научить – молчать.
А час пробьёт – ребёнку мучиться,
Он сразу говорить научится.

Притом, что с виду мудрость – неуклюжа,
Она мне ближе и родней:
Не потому, что многое не нужно,
А потому, что многое – нужней.

Те воистину мудры,
Кто, повинувшись ситуации,
Условия чужой игры
Блудут – в своей интерпретации.

Чем больше в муже эрудиции,
Тем он быстрее сдаёт позиции.

Врагам оставив сытный ужин,
Доверив быт карандашу –

Под стих, что никому не нужен,
Я чуть уверенней дышу.

Пускай на радость или беду
(Поскольку в стих сие пригодно),
Я с нетерпением нынче жду
От всех вокруг – чего угодно.

С тех пор, как снег надеждой тает,
Да и житьё – вокзал,
Мой дух на облаке витает, –
Я его привязал.

Рождённый ползать,
Летать – не может.
Но есть и польза:
И падать – тоже.

Мне юмор близок, как успех,
А может, даже чуть поближе.
В особенности, если смех
Не делает кого-то ниже.

Я скажу тебе, как другу:
Чтобы в радость и по средствам,
Отыщи себе супругу,
Сироту – с наследством.

Я сейчас стою на том:
Хоть – в Америке, хоть – в Польше,
Если хвалятся умом,
Значит, нечем больше.

Тому, кто выше метит,
Скорей подгузник светит.

Вливаясь в статуса реф орму,
Что возраста диктует муть –
Женщины меняют форму,
Ну а мужчины – суть.

А нет ведь в старости ничтожности:
Лишь только начинаешь жить,
Когда сегодня – нет возможности
На завтра что-то отложить.

Когда, схлестнувшись с бездельем,
Жена молчит – собою рада,
Для мужа отпуска неделя –
Как от правительства награда.

Течёт моей немало крови
В супруге преданной – с любовью.
И оттого теперь я жду
Меж нами – кровную вражду.

Жена, когда со мной сражается,
На дураков – не обижается.

Жизнь, при всём её цинизме –
Афоризм на афоризме.
И судьба, коль одноактна,
Всё записывать – бестактно.

В судьбе своей, по Высшей воле,
Мы разные играем роли.
От нас зависит лишь стараться,
Войдя в азарт, – не доиграться.

СЕРГЕЙ ГОРА

Ведь у нас «с собой было»...

...Помните у Райкина:

«У г(х)реческом зале... у г(х)реческом зале...»

Сатирический всплеск

нестареющей темы...

В театральном ряду – монолог алкаша:

Мол, музейных чудес

опостылили тени, –

Пусть при всех, на свету,

захмелеет душа.

Неожиданным светом

откровение всплыло

Из осмеянной тьмы

передёрнутых фраз:

Нас давили запретом,

но у нас «с собой было»,

И поэтому мы

пережили отказ...

Негу сена без вил,

если стогом помпезность.

И покой – не отрада,

коль бесы орут, –

Дьявол с лозунгов выл:

эх, да здравствует трезвость! –

Будет трезвым награда

... за дьявольский труд!

Было нам всё равно,

чем прельщала могила:

Что музейный парик,

что агитка стены, –

Просто, кадры кино,

а в реальности «было

На душевных – троих,

но не для сатаны».

Что же было у нас,

тьме перечаших кротко, –

Тут смешки не попад

про газету в бычках.

Был, конечно, не квас,

но особая водка,

Без которой мечту

не найдешь и в очках.

Пусть на сцене

постылой

лицедей словоблудит

Про забавных жлобов,

не смиряющих прыть.

...Ведь у нас с собой было

...и у нас с собой будет,

Чтобы маски рабов

отрешённостью

скрыть.

Вверх по Пятой авеню...

Вверх по Пятой авеню

Я по солнечному дню

С верной камерой

спешу стихам вдогонку:

Пробок транспортных возню

И рекламных женщин-«ню»,

Как восторженный турист,

беру на плёнку.

Вот, знакомый небоскрёб.

Я им взнос вчера наскрёб,

Чтобы жизнь на чёрный день

обезопасить.

Мой родной *Метлайф*.

Ты – спасение от бед.
Потускнел слегка фасад –
привет.
пора подкрасить.

Ну, а этот билдинг чист,
Элегантен, как артист.
Так к лицу ему
весны Нью-Йоркской
морось.

Он и в мороси лучист,
Хоть «минздрав» весь ополчись, –
Не тускнеют золотые
«Филипп Моррис».

Дальше – гордый *Променад*, –
Чопорных витрин парад,
Где ...снегурочки на льду
кружат пропеллер.

Прометея строгий взгляд
Приглашает всех подряд
В мир, который
строил дядюшка-Рокфеллер.

Рядом *Патрик* ввысь парит:
Дух захватывает вид.
Перед ним я постоять
хочу немного.
Голос сердца говорит,
Что любовь красу творит.
А любовь – она всегда
творенье Бога...

Подплываю в нимбах арк
К *Плазе*, где Центральный Парк,
Объектив, как рот, раскрыв
пред площадями.
Парк согреет лаской лип.
Здесь в мешке бетонных глыб
Так по-сельски добро
пахнет лошадьми.

...Бегунов желанный мир, –
В их наушниках кумир
Отдаётся торопливым тактом
века:
Ритм альтернативных лир
Для души бегущей – пир,
Стимулятор вечной гонки
человека.

Мой же стимул – ...«Спайт» с лотка, –
Он не в ритме молотка,
Что под шапкою долбит,
надоедая.

По траве, по кирпичу,
Не спеша, свой путь тспчу,
Как расслабленно
трусящая гнедая...

...Бегуны уж позади.
И Нью-Йорк, как господин,
Открывает пышный рай
дороговизны.
Обернувшись наугад,
Слышу... трёхэтажный мат.
Это значит: рядом консульство
отчизны.

...Вниз по Пятой авеню
Я бреду и не виню
Всех, кого винить
охотз на досуге
За страны родной
фигн:о.
...Жизнь – не «выбор по меню», –

И в итоге
на своя вернётся круги.

Миссисипи

Тишайшая гладь. Сероватый окрас.
И блёстки на сумрачной зыби.
Я в Нью-Орлеане приветствую Вас,
Красавица мисс Миссисипи.

Под сенью мостов, в обрамлении рош,
На лаврах эпитетов лестных
Ты также как Волга привольно течёшь
По тысячам миль поднебесных.

Бравурная музыка... Воздух – жасмин...
Возница на белой карете...
Как будто сошли со старинных картин,
Картинные баржи на рейде...

... На палубу сел пеликан, охмелев
Свободой дворцовых карнизов.
Поют мне колёса твоих *Королев*
О *Ласточках* прошлых круизов.

А там, за кормой, «нижний» город встаёт.
Не *горький*, но сладкий поныне.
Туристы спешат на *Канал* в *Мариотт*,
Ведь мест не осталось в *Вест-инне*.

Понятна их спешка: парад-говорун
Зовёт не «дубинушкой-ухни»,
Но томными всхлипами блюзовых струн
На раки изысканной кухни.

Всех жертв объеденья излечит балкон
В узорно-чугунной купели,
Где дух возвышается как Вавилон,
Но только не к башенной цели.

...Пред башнями храма *Святого Луи*
Все прочие башни померкли.
Я рад, что, стремясь на просторы твои,
Безумцы не рушили церкви.

Ты, радость мою... не познай никогда, –
Надёжней – эмоций равнина.
В утёсах ...без Разина ...дольше вода
Пьянит ароматом жасмина...

Итальянский квартал

Я об этом квартале, бывало, читал.
Впрочем, книги – не главный мой стимул.
Но в итоге попал в Итальянский квартал
С чувством, будто ...однажды покинул.

Всё так близко знакомо и радостно там
Окажись при первой же встрече.
...День стремился к концу, и спешил по пятам
Неотложный Манхэттенский вечер.

Итальянский Квартал.
Зелен, Снежен и Ал.
Флаг над шахматным полом кафешек.
В отраженье зеркал
Ждёт Чинзано бокал
Королей, офицеров и пешек.
Здесь у каждой фигуры заветный есть ход
(Ни Каспарова, ни Касабланки):
Взгляд ладью пройдёт,
Конь от кьянти падёт
В шаху чёрных... очей итальянки.

Итальянский Квартал:
Словно в Риме, портал,
Льва застывшая в мраморе грива.

Что-то повар над *пастой* пробормотал,
Сотворив макаронное диво.
Восхищённой улыбкой отметят тебя:
Ты ж не просто клиент. но мужчина.
И я чашечке губы подставлю, любя,
Потому что внутри – капуччино.

Итальянский квартал
Сотню лет хлопотал
По соседству с Китайским кварталом.
Он Неаполь, Палермо и Парму впитал
Под трёхцветным своим покрывалом.
Воплощеньям его позавидует йог:
...Тем церквям, ресторанам и торгам.
И я вдруг забываю, что это – Нью-Йорк,
Но потом вспоминаю с восторгом.

Итальянский Квартал:
Фонарей карнавал
Наяву и без всяких пародий.
Гондольеров любви вознесётся хорал
Высотой серенадных мелодий.
Небо спрячет луну,
Испугавшись на миг
Столь внезапного нотного всплеска.
Но вернёт тишину белокаменный лик
Изваянья святого Франческа.

Секретарши...

Обласкает поимённо,
Тёплой памятью, как бриз,
Всех, кто взглядом окрылённым
Окрылял мужской каприз.
На ступенях пьедестала –
Их покладистость, не блажь.
Знаю, мне судьба послала,
Как награду, секретарш: ...

Слухов давняя поспешность
Налегает на намёк:
Мерка секретарши – внешность,
Ценная длиною ног.
Внешность, мол, хоть и с иголки,
Суш(ч)ностью своей ясна
...К чёрту, эти все подколки, –
В офисе – всю весна...

Кто моложе, кто постарше, –
Суть – не в возрасте совсем.
Образ милой секретарши –
Персонаж скабрёзных тем.
Мне же не до анекдота:
За профессорским столом
Не хватает мне кого-то,
С кем сто лет уже знаком.

Секретарши, секретарши,
Набирает память стаж.
Мне везло, бывало, раньше
На чудесных секретарш...

...Давит стол бумажек масса, –
Не свезти е-мэйлов воз.
Скрежет ксероксов и факсов,
Телефонов вечный «сос»*.

Антураж судьбы не тихой –
Ритм, похожий на зашор.
Этой всей неразберихой
Правит хрупкий дирижёр.

Смену чувств не впишешь в опись,
Хоть их все перепиши, –
Видно, Бог придумал офис,
Как чистилище души.

Русский бизнес – мясорубка,
Выдавал престранный фарш,
То лаская, как голубка,
То беря на абордаж.
В довершение панорамы –
Беспредел без потолков.
Секретарь роднее мамы
В деловом лесу волков.

Где ковер листвы опавшей,
Где смертельный гололёд:
Был прогноз от секретарши
Лучшей сводкою «погод».

...Жизнь, как плёнка, катит лентой
С «Эй» прописанной на «Би»...
Кто-то замужем за кем-то, –
Зря, мол, факсом не долби...
Не ответит – не волнуйся, –
На настойчивый звонок.
Те оригиналы – мусор,
Нет у копий у дорог...

Секретарша... секретарша...
Дум досужих эпатаж? –
Всё же не хватает страшно
Незабвенных секретарш!

* SOS – сигнал бедствия по азбуке Морзе.

За «точкой ру»...

«Садясь за службу» поутру,
Гляжу в квадрат дневного света,
Чтоб отыскать за «точкой ру»
Улыбку русского привета.

Она мне с детства так мила –
Как сладкий воздух первых вёсен.
...Пусть верных строчек зеркала
От отражений в муть не бросит.

Долой, оскомину обид,
Пустые свары и упрёки!
Глазам милее мирный вид
Без криминальной поволоки.

Ни пошлых сплетен, ни страстей,
Ни бесконечной укоризны, –
Я жду хороших новостей
Из приснопамятной отчизны.

Но то, что помню наизусть,
Я снова вижу, к сожаленью:
Из сайта в сайт – беда и грусть,
За наваждением – унижение.

Знать, удалён последний нерв
Из душ, чья праведность – томленье:
За тронной речью – горе жертв.
За наказаньем – преступленье.

Открыто в мир надежд окно:
Пряма на зрителя наводка.
В ларьках отравлено вино,
И к слепоте приводит водка.

Душа людей – как мрачный склеп,
Где похоронен здравый разум.
А кто доселе не ослеп,
Того ОМОН долечит газом.

На самой первой полосе
Призыв, рекламою красивой:
Солдаты – мученики все,
На зверства посланные силой.

Эх, мать-родина, остынь, –
Уйми безудержность сыновью,
Ведь демографии катынь
Не потушить солдатской кровью.

Но зря твержу я: «Отче наш...»
Средь новостного маскарада:
В нём чёртов чёрный карандаш
Рисует мне все муки ада.

Опять ошибки докторов,
Жильё и деньги в рамках тесных,
А дальше сцены катастроф,
Автомобильных и небесных.

Чудна снежинок коловерт:
Прям, кружева, – не наглядеться.
...В подъезде ждёт кого-то смерть,
Уйдя с дорог в тепло погреться...

Хоть матерись, хоть плач навзрыд, –
Не смыть со слов зловещей тени:
В Чечне, всё также геноцид,
А у Кремля – всё тот же Ленин...

Вчерашний шут – сегодня знать...
Вчерашний гений – нынче нищий...
А я, наивный, тшусь узнать,
Где выход в свет из этой тьмищи.

Взлёт цен... – не звёздных балерин, –
В Большом – аншлаг на «Розентале»...
А те, кто громко брал Берлин,
Штурмуя льготы, молча пали...

...Играет красками рунет
Неужто в этой паутине
Не отыщу хотя бы след
Навстречу светочу – Фотине.

Ищу хорошие слова,
Застыв, как шаттл перед пуском, –
Ведь зеленеет же трава
Под Ярославлем и под Курском!

Эх... не взлететь за облака, –
Напрасно в «поиск» шлю слова я, –
Видать, не так уж высока
От лет подсевшая слегка
Надежд площадка смотровая...

Уйдя в работу с головой
Бреду в печали жёлтой чащи.
Весна – весной, трава – травой,
И пеньё птиц – не волчий вой,
Но дождь – ни капли не бодрящий...

...Работы в мире лучше нет
И чем не рай мой кубик – офис? –
Ведь можно выключить рунет,
И, вспомнив аглицкий сонет,
Забыть булгаковский гипофиз...

Звон слёз – российские дожди
Вопросом шепчут о покое:
Улыбку ищешь? – Подожди...
Скажи, а что это такое?

Жи́раф

Да, здравствует добрый жираф,
Ценитель тропических грав!
На нём презабавный наряд:
В молочных ручьях шоколад.

Узорчатый жилистый круп.
А шея, что крана стрела.

Резиной игрушечных губ
Касается края ствола.

Как в съёмке замедленной шаг
От роста слегка неуклюж.
Задержится взгляд на ушах:
«Не уши, а кукольный плюш».

Он самый высокий из всех,
Но гордость его не гнетёт.
Глядим на него снизу вверх,
А он от людей наутёк,

И только почуяв покой,
Что палец разжат над курком,
Коснётся ладони людской
Шершавым своим языком.

Теплом его пышут глаза –
На выкате карий наив.
... Нажми человек тормоза,
Охотничий пыл укротив.

Сентенции о любви

Любовь зовут слепой:
Невидимой тропой
За облака

вёдёт,
Пока
не пропадёт...

Любовь зовут огнём,
Что жарче с каждым днём.
И если им горишь,
Такое
натворишь!

Любовь... Она как крик,
Как в шторм попавший бриг.
В одном её краса:
Спасают паруса.

НАТАЛЬЯ ЧИРКОВА

О ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ В БЕЛЬГИИ ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИРА

Биография этого человека необычна: «Около 20 лет прожил в Бурятии, где занимался картографированием дна Байкала, геодезическими работами, космической географией. В 1999 г. опубликовал в Москве научную монографию «Динамика антропогенных ландшафтов Байкальского региона» (с предисловием лётчика-космонавта СССР Виктора Савиных)»... Издалека исследование Байкала представляется окруженным ореолом романтики. Очевидно, доктор наук, защитивший диссертацию в Льежском университете, поэт Александр Мельник, и правда неисправимый романтик, если он, оторвавшись от глубин Байкала, смело ринулся в глубины литературы, организовав в Бельгии стремительно набирающий силу поэтический фестиваль «Эмигрантская лира».

Александр отстаивает право своего детища называться эмигрантским, приводя одним из аргументов юридическое определение эмигранта, как лица, выехавшего на постоянное место жительства в другую страну. Однако фестиваль не ограничивается эмигрантской поэзией, и

поэты из России выступают в отдельной категории – «Неоставленная страна». Также впервые в этом году литераторам была предоставлена возможность сразиться в номинации критиков, а в Кельне состоялся дополнительный конкурс иноязычных поэтов.

Фестиваль «Эмигрантская лира 2011» прошел в конце сентября – начале октября в бельгийском городе Льеже. Это третий год конкурса. Конкурсная тематика, основанная на трех главных темах («Стихи о родном крае, об историко-географических и культурно-языковых корнях», «Стихи о стране нынешнего проживания» и «Стихи об эмиграции, ностальгии и оторванности от родных корней») сошла с разработанных Александром Мельником еще до создания фестиваля интернетных страниц, и по сей день активно посещаемых читателями.

Согласно одному из членов жюри, победителю «Эмигрантской лиры 2010» в номинации «Неоставленная страна», российскому поэту Алексею Остудину, высокой оценки заслуживает тот поэт, который способен удивить читателя, сказать ему нечто новое... «Удивили» и убедили жюри, получив первые места и золотого *манекен-писа*, Римма Маркова (в эмигрантской номинации), Майя Шварцман (в номинации критиков о поэте-эмигранте), Марина Борщевская (в номинации критиков о нерусском поэте-эмигранте), Наталья Резник (в номинации переводчиков) и Илья Рубинштейн (в номинации «Неоставленная страна»).

Несмотря на некоторое разочарование тех поэтов, которые не удостоились награды – увесистой статуэтки пишущего бельгийского карапуза, – проигравших на этом конкурсе не было, так же как была условной и граница между конкурсантами и судьями. Главным призом явилась возможность поделиться своим творчеством и мыслями с понимающими и слушающими людьми, выслушать мнения, послушать других, обогатиться новыми впечатлениями и подзарядить свой творческий потенциал.

Члены жюри, поэты Андрей Грицман (США), Александр Мельник (Бельгия), Алексей Остудин (Россия), Даниил Чкония (Германия) и Михаил Этельзон (США), так же имели возможность прочесть свои стихи и пообщаться с чуткой аудиторией. Мастер-класс «Поэт и редактор», проведенный Даниилом Чкония и Андреем Грицманом, прошел в неформальной, располагающей к беседе и обсуждению атмосфере. Поэты-редакторы рассказали об основных требованиях, предъявляемых при отборе стихотворений для публикации в журналах, и критически разобрали стихотворения, заблаговременно присланные конкурсантами.

Чтобы поддержать конкурсантов и организаторов, на открытие фестиваля, состоявшегося в музее Валлонской жизни, пришли русскзя дворянка, живущая в Бельгии, Майя Дурасова, и православный священник Отец Ги. Александр Оратовский: виолончелист оркестра Королевской оперы Валлонии, виртуозно вплеl в канву поэтических выступлений музыкальные произведения Глазунова, Рахманинова, Гершвина, Стравинского, Шостаковича и свою собственную миниатюру по мотивам купринского «Гамбринуса», пересказанного виолончелью так зримо, что история Сашки за несколько минут промелькнула во всей ее прекрасной и горестной драматичности. В рамках этой статьи невозможно уместить количество строк, которые хочется посвятить замечательному музыканту и его музыке. Его проникновенная игра для многих стала одним из самых ярких фестивальных впечатлений.

Вот имена финалистов, принявших участие в конкурсе: Анастасия Андреева и Майя Шварцман из Бельгии, Галина Вороненко, Наталья Резник и Георгий Садхин из США, Лина Гидони и Илья Липес из Канады, Марина

Борщевская и Ирина Маулер из Израиля, Таня Зиббер и Марианна Полищук из Швейцарии, Марк Шевелев, Михаил Шерб, Раиса Шиллилат и Виталий Шнайдер из Германии, Ella Vitta из Франции, Римма Маркова из Швеции, Наталья Чиркова из Ирландии, Марина Гарбер из Люксембурга, а так же россияне – Игорь Дуардович, Игорь Иванченко, Илья Рубинштейн (первое место в номинации «Неоставленная страна»), Марина Ламбрианова (второе место в номинации «Неоставленная страна»), Ирина Глебова (третье место в номинации «Неоставленная страна»).

Перелистывая страницы сборника поэтов фестиваля, понимаешь, что невозможно в рамках небольшой статьи подробно рассказать обо всех авторах... Настя Андреева из Брюсселя пишет о своей любви к родному Петербургу, являющемуся к ней в тревожных снах; она – автор изысканной поэтической баллады в письмах – фантазии о гибели империи, написанной едва ли не гомеровским слогом – впрочем, произведение настолько богато, что хочется надеяться, многим читателям удастся оценить его по праву... Галина Вороненко из США поделилась со слушателями, по ее же словам, частью своего мира – мира «стихомузыки и немислимых картин мироздания», родившихся в андеграунде Питера, но переосмысленных и обогащенных в симпатичной для поэтессы Америке... Марина Гарбер из Люксембурга, удостоившаяся второго места в эмигрантской номинации, заворожала зал пронзительным исполнением своей глубокой, отточенной лирики. Ее подборка насыщена замечательными стихами, среди которых многогранно и озорно поблескивает маленький шедевр «Французская свадьба», построенный на головоломной зрительно-звуковой игре... Филолог, журналист, библиотекарь, в прошлом диссидентка, Лина Гидони пишет мелодичные стихи. Она умело и бережно обращается с русским языком, и на конкурсе в Льеже не Лина Гидони, а Галина Румянцева (ее прежнее имя) донесла до слушателей свою любовь к оставленной стране. Лина-Галина получила из рук члена отборочной группы Татьяны Юфит особый приз – «за поэтическую музыкальность». Прислушайтесь: «По подложной подорожной подорожника / С миром пустят стражники острожного... Илья Липес из Торонто заканчивает свое стихотворение «Памяти Бориса Пастернака» такими строками: «...Навеки оставаясь человеком / Перед собой, людьми – и перед Богом». Эта человечность и честность перед собой и Богом проступают через все стихотворения Липеса. Примечательно и то, что поэт пишет на русском и украинском языках, а так же много переводит с английского... Римма Маркова из Швеции единогласно признана победителем конкурса в эмигрантской номинации. Не говоря о высокой поэтической технике, ее стихи поражают точностью деталей и подлинностью чувств. Слушатель читатель понимает, что стоит за этими строками: опыт и отклик, и ни одного слова – всуе. Вот отрывок из стихотворения Марковой:

В том городе, где вся моя родня
теперь живет лишь в продолженье женском.
Мужчины спят – кто на Преображенском,
Другие на Девятом января.

И я надеюсь, что мои слова
останутся, не пролетят впустую
в том городе, где я еще жива,
хотя я там уже не существую.

Ирина Маулер из Израиля не только декламировала свои стихи, но и украсила первый конкурсный вечер исполнением песен под гитару... Раскрывая тему носталь-

гии и одиночества в чужой стране, Марианна Полишук из Швейцарии, обращается в одном из стихотворений к источнику ее грез и советчику – озеру Тюрлюр... Наталья Резник из США с чувством горчащей иронии переживает отрыв от страны, где она родилась: «От ностальгии нет лекарства, / Хоть водку ведрами хлещи / Перед глазами красный галстук, / В столовой школьной снова щи»... В стихотворении Георгия Садхина о родном крае звучит тоскливая нота по родному дому, в котором, спустя годы, он чувствует себя гостем: «Я – гость в этом доме. Он, вместо преданий, / сгущенкою потчует воспоминаний»... Обаятельному Мише Шербу из Германии оказалось тесно в рамках конкурсной тематики и он откровенно признался, что с трудом подобрал стихи на заданные темы. Тем не менее, стихи и исполнение Миши получили заслуженное признание аудитории... Марк Шевелев честен и искренен в каждой произносимой им строчке. А главная награда ожидала его за дверью – привезенный поддержать деда четырехмесячный внук Марк... Ella Vita создает точные, короткие зарисовки Питера, Парижа, Генуи... Ирина Глебова из Саранска, пишет о переживаниях, связанных с коллизией Родины-Мачехи и Родины-Матушки... У Игоря Иванченко из Юрги чувство Родины сливается в стихах с музыкой скрипки и кларнета... Москвичка Марина Ламбрианова утверждает в своих стихах, что «пространство вокруг – это небо и слово»... В посвященном матери двухстрочном стихотворении «Гагарин», Илья Рубинштейн берет беспардонную ноту гражданственности...

Несколько слов о конкурсантах в номинации критиков. Майя Шварцман из Гента, прошлого года победительница в эмигрантской номинации, на сей раз выступила в конкурсе критиков, заволакуя зал увлекательным рассказом о творчестве «ироничного, тонкого, горького – Саши Черного»... Марина Борщевская из Израиля представила блестящее эссе об израильской поэтессе Нелли Закс, писавшей на немецком: «Чудом избежавшая крематория, всю оставшуюся жизнь – она кровоточила стихами». В течение двенадцати лет Марина была редактором отдела поэзии журнала «Новый мир»... Игорь Дуардович поделился своим исследованием судьбы и творчества поэта Николая Оцупа. А днем позже Игорь представил талантливый экспромт на конкурсе поэтического слэма, проявив, таким образом, и серьезность, и доброе чувство юмора... Раиса Шиллима из Германии представила два эссе – о Марине Цветаевой и Генрихе Гейне...

В конкурсе переводчиков сражались Виталий Шнайдер из Германии, Тана Зибер из Австрии, Наталья Чиркова из Ирландии и Наталья Резник из США, получившая первый приз. Материал для переводов выбирался переводчиками и, чтобы адекватно оценить соответствие перевода оригиналу, Александр Мельник обеспечил жюри полученными из независимых источников подстрочниками.

Голосованием зрителей Карина Бахмутская из Германии была выбрана победительницей в поэтическом слэме.

Отвечая на вопрос об отличии эмигрантской поэзии от российской, три поэта из России высказали разные мнения. И хоть в целом создается впечатление, что принципиальной, значительной разницы между эмигрантской и российской поэзией нет, можно наметить тонкие особенности, присущие каждой из сторон, как, например, то, что большинство эмигрантов покинули родной край в 90-е годы и вывели это время и его язык с собой, а те, кто остался, прожив следующий отрезок в стране, ощущают свою общность или необщность с Россией нынешней. Яркий талант легко обходит этот нюанс, и стихи талантливых поэтов, будь они из России или Зарубежья, не

приходится раскладывать по полочкам с географическими пометками.

Когда утихли обсуждения и отзвучали поздравления победителям золотых, серебряных и бронзовых статуэток «писавшего мальчика» и многочисленным дипломантам, участники конкурса получили возможность выплеснуться из душного зала музея на улицы Льежа и принять участие в традиционном, проводимом в первое воскресенье октября празднике с мелодичным названием Ноктюрн. Жители города и туристы гуляли по вечерним, романтично освещенным тысячами свечек лабиринтам переулков, лестниц, парков, то выходя к площадкам с музыкантами и циркачами, то к кафе и ярмарочным балаганам, то оказываясь внутри дворца князей-епископов, где в свете огромных прожекторов можно поиграть собственной огромной тенью на сказочном замковом фасаде.

Во время прогулки по вечернему Льежу, вспоминались лучшие эпизоды минувших трех дней. Фестиваль «Эмигрантская лира 2011» собрал воедино поэтов из дальних уголков мира, и лился, и журчал поэтический русский язык, наполняя собой жаркий в эти осенние дни воздух Валлонии. Хочется верить, что Александру Мельнику и его жене Оксане хватит сил и в дальнейшем поддерживать прекрасный союз поэтов и продолжать популяризацию русского языка и культуры за границей. Остается выразить им обоим признательность за прекрасный фестиваль, и закончить строками из Марины Гарбер, которые продолжают звучать в памяти в проникновенном авторском исполнении: «Направление не важно, если сильны истоки: / Наводнит, унесет... Предсказание неуместно. / Если дышат отрывисто эти строки, / Значит, слово есть шаг, а бумага — бездна».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИРА 2011

Номинация «Эмигрантский вектор»

МИХАЭЛЬ ШЕРБ

Поэт. Родился в 1972-м в Одессе, закончил ОГВ (теперь физик) в 1994-м переехал в Германию, окончил Политехнический университет (нынешняя информатика). Работает программистом. Печтается в сетевых изданиях. Участник фестиваля Эмигрантская Лира 2011.

никто не приходит в гости за просто так ..
А. Д. Сахарову

никто не приходит в гости за просто так
один коммунизм с закрытого века мелкий пятак,
пугой на букет облепел засохший венок,
третий тапочки снимет с холодных ног.

Мне все равно, я теперь проживаю в отце,
Земля я не могу в моей голове-яйце
Остались: абажур здесь, а там стока
Я не косно-язычен теперь, т.к. нет у меня языка.

И нагнетой сепелки нет и лачи в Жукровке нет,
И Спавки-приятеля нет только полет комет,
И было бужит и полупебиальный возж
И по пластику мусорных баков стучит ледяной дождь.

Urbi et orbi

1

Мир — это очень уж сложный знак
Если бы я этот знак повторить смог —
Пропал бы натянутый саван пространства
как облойный нож — целлофан
За непонятной пленкой увидал бы вечер порт,
Лоснится дождь затяжной, качаются фонари,

Бапжи бапкасы в пристани — копабли —
 Пепереппутые пома (ктыппи их — пол волой)
 полые изнчтти,
 Полные света не занимающие ни пяди земли,
 Реличественные — вбппзи жяпкие
 спояно опаяппие листья, вдали,
 Серые, несмотря на тонны белил.

А лопль бы все пил и пил
 и ветер качал бы свет фонапей
 Лоппога взбивается вветх На склоне крутом меж камней —
 Селые оливы в их лпевесине сухой —
 тысячи знойных дней...

Репвия их копней
 Напоминают мне
 Окаменевших змей
 Или шеи и головы чепетах
 От скользких потоков лоппей
 Запкнппихся в теплый лпак
 Жаль, что земле нет пела по копаблей

Эта тлопа и гопа что склонилаь нал ней,
 И попт и запия и свегпячки копаблей
 Мопская поперхность толппа вол и лаже мопское пно, —
 Все вместипось с пихвой на одной лишь ладони моей,
 Другую — защищено.

2
 Олпжялы втпом встанешь и в окне увилипшь сквозь взоп
 ппопех гаплинных чужое лопжество в чужой стране —
 пепит на кпыппах япкий новкый снег ппоппачный голп-
 бой еше невинный как гпепкий непаскоптый опех хпа-
 нппий свято тайну сепппевипны свой немуппенный уни-
 капный кпал и в синем небе солппе — мяппаппино и за-
 пахи вплетяют коллективно копппа хвоя ппптнх апомат
 гвоздики И пазппмппен как гпанат созппвппий голп хоть
 пппный пастью жвй хоть по пппбинной семечке смаквй
 на квкс он булет гопче чем ппябина на квкс он будет
 слаще, чем рябина, а впрочем, знаешь, не один ли ...?!

НАТАЛЬЯ РЕЗНИК

Родилась в Ленинграде. С 94-го года живет в Колорадо, США. Работает программистом. Публикации в журналах "Новая юность", "Интерпоэзия", "Чайка", "Студия" и др. Сборник стихов и переводов "Я останусь" (Издательство: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Москва, 2011 г). Бронзовый призер фестиваля Эмигрантская Лирика 2011.

Ане

Помнишь блики тротуаров
 В самом первом сентябре?
 В коммуналке — Аристаров,
 В третьем, маленьком, дворе.

Во дворе газон неяркий,
 Не украшенный травой.
 Выбегает из-под арки
 Женька Курочкин. Живой.

Вон ты. Голые колени.
 (Без очков или в очках?)
 Солнцу радуется Ленич
 С октябрьского значка.

Стану в сорок раз бездомней,
 Водку вылакав до дна,
 Если ты не вспомнишь. Вспомни!
 Я не выдержу одна.

В детстве мне сутулились
 Мама запрещала,
 И Тверская улица
 Вся по швам трещала,

Если неуверенно
 Я по ней гуляла,
 Если вдруг, как велено,
 Плечи расправляла.

Все валилось, рушилось,
 На куски ломалось

Там, где неуклюже я
 Просто распрямлялась.

И чужие стены я
 Походя разбила.
 Места мне, наверное,
 Слишком мало было.

Колорадо

Зачем мечтать о Колорадо?
 Здесь те же пиво и портвейн.
 Ну, горы! А оно нам надо?
 (Как говорил один Бронштейн).
 Не помышляй о Колорадо,
 Не рвись в него и им не грезь.
 Здесь та же пыль и автострады,
 Дома и камни, тот же лес.
 Места, мечтатель мой заядлый,
 Есть лучше сотни Колорад.
 Но если уж приехал, падла,
 Сиди и наслаждайся, гад!

ИЛЬЯ ЛИПЕС

Поэт, переводчик, прозаик. Родился в 1952 году в Украине. Автор сборника стихов и переводов. Живет в Торонто. Работает переводчиком и нотариусом. Печатается в периодических изданиях Канады, США и Израиля. Дипломант Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лирика-2011».

Безликое, глухое бездорожье.
 Опять исход томительного дня. —
 И я, нелепое создание Божье,
 Чего-то там читаю у огня...

Учительствую, говорю на «мове»,
 Захаживаю в одичалый сад
 И нехотя встаю под рев коровий,
 И забываюсь сном под плач цикад,

Копая нескончаемый картофель,
 В сырой ложбине жухлый жгу бурьян... —
 И мой носатый, нестандартный профиль
 Уже не забавляет хуторян.

Памяти Бориса Пастернака

Презреть каноны светомаскировки
 В закупоренном, зачумленном доме,
 Рассеять мрак, идя по самой бровке,
 Где сочинитель, бережно ведомый
 Надежным, ненавязчивым прикормом,
 Имеет санкцию на послушанье
 И гонор, но — согласно норме.
 Что побудило к этому? — Призвание? —
 Скорей нужда не покориться веку,
 Уйти в необратимую дорогу,
 Навеки оставаясь человеком
 Перед собой, людьми — и перед Богом.

Ода Одиночеству

Себя от мира кругом очертя,
 Взглянув небрежно и почти что вчуже
 На всё, что колобродило снаружи,
 Он распростился с прожитым, шутя... —
 Устал повсюду соблюдать устав
 Чужой среды, обвыкся в глухомани
 И окрестил свой угол «Бирюкани».
 Он полагал, что, несомненно, прав,
 Безлюдье выбирая по уму,
 Но как ему, порой, не доставало
 Кого-нибудь, кому сказал бы вяло:
 «Как здорово живется одному».

РИММА МАРКОВА

Поэт, прозаик. Родилась в Ленинграде. Закончила Художественно-графический факультет Педагогического института им. Герцена. Более 16 лет живет в Швеции. Автор четырех сборников. Стихи печатались в журналах «Literatus» (Финляндия), «Дружба народов», «Коль-

цо А», «Крещатик» и др. Проза в журналах «Literarus», «Нева» (Петербург), «Маленькая компания» (Нью-Йорк). Стихи переводились на шведский, английский, грузинский, иврит, болгарский и китайский языки. Лауреат премии журнала «Literarus». Член Союза писателей России и Шведского ПЕН-клуба. Победитель фестиваля «Эмигрантская Лира 2011».

* * *

В том городе, где я живу всегда,
в каких бы городах ни проживала,
фонарь, аптека, улица, вода,
и снова – ледяная рябь канала.

В том городе, где все мои друзья
учились петь, взлетая из-под крыши.
Все вышли в люди, верно, но в князья,
спаси Господь! никто из нас не вышел.

В том городе, где вся моя родня
теперь живет лишь в продолжение женском.
Мужчины спят – кто на Преображенском,
другие на Девятом января.

И я надеюсь, что мои слова
останутся, не пролетят впустую
в том городе, где я еще жива,
хотя я там уже не существую.

Джаз в Сокольниках

*Сегодня он танцует джаз,
А завтра Родину продаст*

Ряды старушек празднично-опрятных,
в воскресных платьях, в кофточках нарядных.
В Сокольниках для них играют джаз.
И Родина молчит на этот раз.

Их хахали – курсанты и гебисты
Когда-то тоже выбились в солисты,
но очень скоро выбыли из круга,
пересажав по дурости друг друга.

Танцуют плечи, ноги и ладони.
Душа поет, как нищенка в вагоне,
от ностальгии пробирает дрожь.
Всё хороша, а прошлого не трожь!

Танцуют джаз московские старушки.
Их украшенья: бусы, побрякушки
звенят в ушах, утаивая крик.

И снова не устанут духовик,
контрабасист, ударник и клавишник
обсасывать, как косточку от вишни,
мелодию, которой тыща лет:
Московских окон негасимый свет.

* * *

Лёгкий катер прыгает на волнах,
машет шведским флагом, а птицы следом.
Следом яхты, серфинги, лодки... Ах,
как прекрасна жизнь под открытым небом!

Как прекрасна жизнь над простором вод
балтийских, знакомых с детства, в скалах,
лежащих по другую сторону от
страны, которой уже не стало.

Страны, что встала меж брызг и звезд
как в горле ком. Не причина горя,
не обида, но горечь и привкус слез.
Или это вкус Балтийского моря?

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА

Поэт, прозаик. Родилась в 1973г. в Ленинграде. Образование высшее экономическое. Переехала в Бельгию в 2004 году. Живет в Брюсселе. До эмиграции работала по специальности, в Бельгии некоторое время работала консультантом по русскому языку на фламандском телевидении. Пишет стихи и прозу для детей и взрослых. Публикации: «Новая Юность», «Веселые картинки», русско-норвежский журнал «Современник», сборник финалистов конкурса «Эмигрантская Лира 2011». Лауреат конкурса «Эмигрантская Лира 2011».

городу

мне знакомы изгибы твоей каменной туши
закутки переулков, скверы, улицы, лужи
над железными крышами рассеянно кружат
стан серых птиц и облака

не могу из твоих освободиться объятий
заглушить обостренность своего восприятия
красоты твоей или уродства – понятия
неделимые, наверняка

ты словно кит, плывущий в океане вселенной
огромный, безмолвный, одинокий безмерно
несмотря на площадей твоих голос надменный
кажется, ты молчишь века

я никак не пробьюсь через это молчание
вижу в снах только кассу и зал ожидания
хотя лучше бы сжечь поезда, расстояния
видит иначе глаз рыбака

Перемещение

Сквозь простоту геометрическую телефонных линий,
Сквозь пустоту зачарованную чужих государств
Мчатся по свету созвездия слов –
в ток вплетённые синий –
Словно опавшие листья, чей ветер нарушил транс.

Смотришь рассеянно на незнакомо знакомые лица
Пролетающих станций, снующих полей и лесов,
Сидя в поезде скором, в карете, в санях, в колеснице,
Ты подобен пригоршне кем-то в трубку брошенных слов.

Но расслышат ли правильно на другом конце телефона,
Примет депешу рыцарь, или козни строящий шут?
Из крапивы рубаху сошьют, или предложат корону?
Как бы ни было, больше, чем сможешь нести – не дадут.

По приезде гостю отмерят горчички и мёда. Модой
Распишут сюрук, бросят карты – играй. Будешь тогда
В ответе за всё.
Лишь в пути дано насладиться свободой –
Не долетевшее слово, ведущее в никуда.

Исход

Исходные данные не верны,
На самом деле, он не-добрый и не-хороший.
У него взгляд сатаны.
Взгляд, который, впившись, змеею скользит под кожей.
Он попадает в мои сны – легко.
И говорит, позвони мне, когда станешь взрослой,
А мне за тридцать уже далеко.
Что это значит: взрослой стать никогда не поздно?
И вот, среди каких-то ларьков и руин
Я прошу сторожа (солдафона? мента?) набрать
номер. Сейчас, дамочка, позвоним.
Трубка к уху, из трубки доносится: твою мать!
Знаете, плохо работает связь, –
Вешая трубку, с тупой ухмылкой мне говорит.
Отворачиваюсь. Холодно, грязь,
И у дождем заляпанных зданий дебильный вид.
Тут же попадаю в коридоры.
По бокам коридоров развешены комнаты,
Куда, будто заполняя поры
Дома, люди иглоками заживо воткнуты.
Я сажусь на сиротский стульчик, жду.
Все смотрят вперед, там оказывается сцена.
Рояль неловко топчется в углу,
Словно конь, ждущий хозяина с подачкой сена.
Вдруг я вижу, прямо передо мной
Сидит он, такой ухоженный, спокойный, важный.
Даже вокруг него сытый покой.
Как понять, благословен он, или проклят дважды?
Поворачивается медленно.
Его глаза... взгляд... будто засасывает меня,
Просканировав мозг мой бедный, но
Внезапно отпускает, ничего не говоря.
Он встает и уходит, я – за ним.
Догоняю, кричу ему невнятное что-то.
А он мне спокойно: Поговорим?
Поговорим как раньше, помнишь, когда-то кто-то?
Кто-то, кого в помине уже нет,
Кого жизнь со смертью дружно вытолкали за борт.
Сколько прошло, десять-пятнадцать лет?

Надо для смеха составить Всевышнему рапорт,
 Во всех подробностях, пускай старик
 Позабавится... Ладно, мне собственно некогда.
 Знаешь, -- он внезапно совсем поник, --
 -- Ускользнула золотая рыбка из невода.
 Сказал это и исчез, растаял.
 А реальность стала сужаться, сворачиваться,
 Терзая, будто мачеха злая,
 Которой чем-то не угодила падчерица.
 Я набираю воздух в легкие.
 Рывок. И меня выбрасывает на поверхность...
 Темно, тихо, сквозь шторы тонкие
 Луна поправляет снами измятую вечность.

ТАТЬЯНА ПЕРЦЕВА

Поэт, журналист, координатор международных арт-проектов. Родилась в 1978 в России, в Петрозаводске. С 1998 года живёт в Хельсинки (Финляндия). Печаталась в журналах "Гайд-Парк" (Лондон, 2004), "Дети Ра" (Москва, 2005, 2007, 2010, 2011), "Воздушный змей" (Таллинн, 2006), "LiteraryS" – Литературное слово (Хельсинки, постоянный автор), "Кольцо А" (Москва, 2007), "Дружба народов" (2008), один из авторов сборника "Структура сна", (Изд-во "Алетейя", 2008), "Юность" (Москва, 2009), "Зинзивер" (Санкт-Петербург, 2011), "Северная Аврора" (Санкт-Петербург, 2011). Лауреат премии 2005 года журнала "Дети Ра". Участница форумов молодых писателей России (Москва), Международных русско-грузинских фестивалей (Тбилиси), Международного фестиваля "Петербургские мосты" (Санкт-Петербург). Финалистка фестиваля «Эмигрантская Лира 2011».

Александровский ангел, Дворцовая площадь,
 от шкатулочки Южного – белая лошадь,
 на Исаакий по лестнице ночью – не видно,
 синий, красный, зеленый, немного обидно,
 что за летней оградой остались дорожки,
 дом, напротив – стена и чернеют окошки,
 до рассвета на кухне по струнам и нервам
 Александровский ангел, наверное, первым
 попрощается, осень Михайловским садом
 отпускает грехи, золотым листопадом
 укрывая меня от сознания того,
 как в Конюшенном Спасе отпели Его.
 Ни веселья, ни радости – просто спала,
 Александровский ангел, два белых крыла.

Светятся дымкой фонарики,
 шаткие хрупкие, в Хельсинки,
 падают светлые шарики
 на ледяные ступеньки.

Машут еловые деточки
 ветками зеленоглазыми,
 ночь разделили на клеточки
 окна домишек, алмазами

снежные слёзы укутали
 ямки, площадки и горочки,
 в городе тропки запутали
 и разбросали осколки

маленькие проказники
 ввязшие круглое зеркальце,
 в Хельсинки – ёлки и праздники,
 оледенелое сердце

ровно стучит минутками –
 точное время сумерек,
 не прекращается сутками
 боль запоздалая, имярек,

выйди из круга светлого,
 и освяти помалу,
 пусть будет лету – летово,
 ну, а зимой – к началу.

Смотри, как быстро убывают люди,
 смотри, как мотыльки летят на свет,
 и нас с тобой когда-нибудь не будет,
 сегодня есть, а завтра, вроде, нет.

Мы верим, любим, говорим словами,
 встречаемся и ходим на обед,
 и что-то возникает между нами,
 сегодня есть, а завтра, вроде, нет.

Всё зыбко, призрачно, дрожат по стенам тени,
 бассейн полон разноцветных рыб,
 ты кажешься последним исключением,
 ты сломанной ноги моей изгиб.

Мне страшно стать тебе родной и близкой,
 я вижу больше, чем хотела знать,
 пожалуйста, отдай мне мои мысли,
 оставь простое: стол, стакан, кровать.

Когда-нибудь и нас с тобой не будет,
 сегодня, завтра, через много лет,
 смотри как много разноцветных судеб,
 смотри, как мотыльки летят на свет.

ГЕОРГИЙ САДХИН

Поэт. Родился в г. Сумы. С 1994 г. живет в Филадельфии (США). Публиковался в журналах и литературных альманахах России, Украины, Германии, США. Победитель литературного конкурса 2003 г., объявленного журналом «Весла» (США) и газетой «Новый Меридиан» (США). Книги: «4» (совместно с двумя авторами) и «Цикорий звезд». Дипломант фестиваля Эмигрантская Лира 2011.

Брату

Я гость в этом доме, где редкие смены
 обоев не тронули старые стены.
 Рассохся паркет. Как на шатких мостках,
 качается мебель на прежних местах.
 Хранит монотонный мотив холодильник
 и горсть сухофруктов лесных молодильных...
 И, грушу сухую зажав в кулаке,
 сбегая к заросшей осокой реке.

Покамест угод проверят дуду,
 я илистым дном средь кувшинок бреду
 туда, где сквозь пальцы уходит плотва,
 и солнце весло переломит на два
 куска и согреет уклучин ключицы,
 и лодка на обе лопатки ложится,
 и цапля застынет речною корягой,
 пока рассчитается с ветром отвагой
 мальчишеская кровь пополам с молоком,
 но бабочка вздрогнет засохшим крылом,
 и время опять заскользит належке,
 а груша сухая размокнет в руке.

Я – гость в этом доме. Он, вместо преданий,
 сгущенкою потчует воспоминаний.

Бессонница. Гудзон. Тугая кобура
 ночного патруля. Фонарь. Аптека.
 Чернилам черновик оплакать, что у века
 не выдрал из хвоста гусяного пера.
 И всюду мрак, всё тот же сон докучный.
 Пустынный тянется вдоль переулков дом.
 В картонный чемодан собрать стихи «до кучи»,
 чтоб чокнутый маньяк пырнул меня ножом.
 А люди черные (ведь не Москва за нами),
 лишь полицейский «бьюик» фарами обдаст
 фигуру распростертую, сбегутся муравьями.
 «Хорош гусь!» – скажет «коп», когда вспорхнет
 Пегас.
 Настанет час, – печальный, говорят.
 Из кобуры бугылку «Арабата»
 достанут и короткими ночами
 мне сложат два крыла – гусиных – за плечами.

Мешки облаков по плечу
 согбенным деревьям в немую
 погоду. Я русские – ночью рифмую.
 Английские – утром учу.

И в холоде строгой реки
 осенних стволов отраженья

упрочат свои продолженья
законам почти вопреки.

Кладбищенской дрожи не внемлю.
Бесхолмность могил у камней...
И мама легла в эту землю.
И стала земля мне родней.

МАРИНА ГАРБЕР

Поэт, рецензент, эссеист. Родилась в 1968 году в Киеве. В эмиграции с 1989 года, жила в США и Европе. Закончила аспирантуру Денверского университета (Колорадо), факультет иностранных языков. Преподаватель русского, итальянского и английского языков в колледжах. Автор четырех поэтических сборников («Дом дождя» (Филадельфия), «Город» (Киев), «Час одиночества» (Филадельфия), «Между тобой и морем» (Нью-Йорк). Зам. главного редактора литературного ежегодника «Побережье» (Филадельфия). Член редакции «Нового журнала» (Нью-Йорк). Серебряный призёр фестиваля Эмигрантская Лира 2011.

Люксембург

Погремушка ветра. Прибой,
А не вечер. Афишный курсив.
Мальчик с родинкой над губой
Слишком бледен и слишком красив.

Всплеск Кандинского в старом кафе
Со стены отражают полы.
Как немодные галифе,
За стеклом цвета хаки стволы.

Над букетами чих-то рук
Повисает: «Держу пари!»
Мальчик с родинкою у губ
Мне читает Экзюпери.

И такое во всем *à la France*
(До границы-то тридцать минут),
Словно осень посулила аванс,
А живые, не стеснясь, берут.

От дождя в горизонт ушел
Лжеготической башни крест.
Мальчик с родинкой, на престол! –
Неизвестно, каких королевств...

– Это золото? – Мертвый клен,
Сам не знает еще, что убит.
– Позолочен ли? – Опален.
– Это небо над ним? – Гранит.

Клянчат утки в холодном пруду.
Под ногами слюда и всда.
Не спасу тебя, не уведу –
Все дороги ведут не туда!

Нынче ветер отрывист и груб,
Нынче ветер жесток... Но высок
Мальчик с родинкою у губ,
Не зовущих меня на восток.

Отпускаю тебя! Престоль,
Новоявленный принц на час.
Здесь готический шпиль стрелой
Свод царапает, а у нас

Перезвон водосточных труб...
Не о том с тобой говорю!
Мальчик с родинкою у губ,
Неспособных сказать «люблю».

Французская свадьба

«Ф» бантом завязалось, анжамбман
Фригидною луной над сонным парком,
Избыточным фланерством парижан
И флером осени над тонушим фольварком.
Двойное дно. Два ушка у иглы,
Которая прокалывает грубо
Два крылышка (да, *шк2*, ибо малы!)
Прозрачной флерницы – воздушной, словно губы
Твои... «Ф» – дважды «р» – спина к спине.

Фасад? Форзац тугого фолианта:
Не я к тебе, а ты – спиной ко мне,
Огнем флюидным горе-флагелланта.
Как флердоранж у бледного лица,
Как флаги над повисшими садами,
«Ф» – два благословеннейших кольца
И чей-то взмах – «Аминь!» – над головами.

Европейский мотив

Чужаками – по городу средних веков,
Потонувшему в глине и камне,
Собирая в рукав перезвон сквозняков,
Мертвый лист подбирая – руками,
Не привыкшими к милостыне... Пойдем,
Там, за грузными спинами зданий –
Лебединое озеро – водоем
Нам не снившихся снов и желаний.

В переполненном людоем кафе, где уют
Серой дымкой струится из чашек,
Нам с тобою улыбки, как счет, подают:
Богу – Богово, нашему – наше.
За вспотевшей витриной, в которой твои
Отражаются губы и очи,
Беспокойно и резко снуют воробы,
Без акцента лепеча-пророча.

И почти что отчаявшись, ворот подняв,
В мягкий шарф уходя с подбородком,
Зачерпнуть город-пригород в узкий рукав,
Про себя нарекая «слободкой»:
Будто напоминаем – какого? – стиха,
С межнебесия ада и рая,
В переулке гармоника тянет меха...
Дорогая моя, дорогая!

ТАТЬЯНА АИСТ – СЕРГЕЙ ЯРОВОЙ ПЕРЕКЛИЧКА

Т. А.:
Порыв ветра.
В чашу для сбора дождя
Превратился мой зонтик.
С. Я.:
Опять дожди!
Чаша для подаяний
Зонтом послужит.

Т. А.:
Не хочу отпускать это лето!
Листик слетел и остался
В моей голове.
С. Я.:
Красный листик кленовый
На юг посылаю другу –
Письмо об осени.

Т. А.:
Полчаса ходила за муравьем,
Чтобы пройти расстояние
От окна до письменного стола
С. Я.:
Стрекозы, кузнечики,
Муравьи –
Друзья моих игр детских.

Т. А.:
Рыбы –
Птицы в океане.
Птицы –
Рыбы в облаках.
С. Я.:
Летучая рыбка,
Скажи,
Где твой дом?

Т. А.:

Колокол на дне океана.
Луна за облаками.
Душа

Под тяжестью людей.

С. Я.:

Сбрось тяжесть покрывала.
Слива – в облаке белом.

Т. А.:

Быстро растет бамбук,
Еще быстрее река.
Яблоня ярко цветет,
Ярче – Луна.

С. Я.:

Неразлучны
Сосна, бамбук и слива.
Как понять,
Кто – ярче?

Т. А.:

Даже дождевые тучи
Не могут закрыть
Луны полнолуния.

С. Я.:

Даже дождевые тучи
Не могут закрыть
Всю Землю,
Когда смотришь с Луны.

Т. А.:

Дождь смывает
Не все следы,
А только те,
Что готовы уйти.

С. Я.:

Пройти по жизни,
Не оставляя следов,
Дождик, ты мне
Поможешь?

Т. А.:

Сегодняшний дождь оставляет
Миллионы колец на поверхности
Озера, увиденного месяц
Тому назад.

С. Я.:

О, мастер дождь!
Твои кольца-энсо на воде –
Верх совершенства.
Почему же они исчезают?
Покорно прошу,
Стань моим учителем!

Т. А.:

«Ты опять узнал меня?»
Я сказала знакомому
Незнакомому.

С. Я.:

В нашей разлуке
Я рад за тебя:
Теперь ты на шаг ближе
К себе.

Т. А.:

Почему ты не можешь забыть меня?
Потому что я –
Это ты.

С. Я.:

Если нет ни тебя,
Ни меня,
Как тут забудешь?

Т. А.:

Не печалься о том,
Что со мной не делил
Хлеб и кров.
Мы с тобою делили
Луну.

С. Я.:

Завариваю листья чая,
Собранного с семисотлетнего куста.
Разделил с Тан Сяньцзу.

Т. А.:

Конец года.
Всё родилось, созрело и умерло.
Мандарины еще не поспели.

С. Я.:

Раннее детство.
Горячим молоком с медом
Меня поят, лечат простуду.
И вдруг на дне –
Мандарин!

Т. А.:

С интервалом
Ровно в мой вздох
Иволга поет.

С. Я.:

Не долго пришлось мне
Грустить.
Спасибо, иволга!

Т. А.:

Весна. С боку на бок ворочаюсь,
Пытаясь уснуть.
С благодарностью вспоминаю
Зимние вечера.

С. Я.:

Рано темнеет
Зимними вечерами...
То ли дело – весной!

Т. А.:

Снежное поле.
Можешь увидеть что хочешь.
Японию
Или Россию.

С. Я.:

Снежное поле.
Вглядываюсь без страха
В открывающиеся
Западные ворота.

Т. А.:

Ярче маков
Листья кленов
На зеленой траве

С. Я.:

Пожухлый лист
На зелени газона.
Вот так и я...

Т. А.:

Пусть на один вечер
Все станут глубокими,
Глубокими стариками.
Начало зимы.

С. Я.:

Иней виски серебрит.
Мне – 18 лет,
Начало зимы,
Снег скрипит под ногами.

Лёгкая, Ираида Ивановна, (по 1-ому браку Ванделлос, по 2-му – Пушкарёва; дата и место рождения 1 июля 1932, Тартак, Латвия). Поэт.

Ираида Лёгкая постоянно представляет второе поколение первой волны поэтов-эмигрантов. Она была признана подлинным новатором, чьи необычные ритмы и темы поражали знатоков лёгкостью, свежестью и искренностью.

В 1936 году семья Лёгкой переехала в Ригу, где её отец занимал пост старшего по должности священника в монастыре до 1944 года. В это время семья, в числе большой группы священников и мирян, была депортирована немцами в Судетскую область, которая к моменту окончания Второй мировой войны была оккупирована Советской Армией. Все священники собирались вернуться в Латвию, и только в результате секретных настоятельных убеждений военнотружеников Советской Армии, родители Лёгкой решили бежать в зону союзников. В конце концов, они нашли убежище в известном лагере для перемещённых лиц в Шляйсхайме, недалеко от Мюнхена, в Американской зоне, где Ираида и её сестры учились в русской гимназии. В 1949 году семья эмигрировала в Соединённые Штаты. Ираида немедленно начала трудовую деятельность, продолжая своё образование в вечерней школе. С 1963 по 1987 год она работала журналисткой на радиостанции "Голос Америки".

Ираида научилась читать в очень раннем возрасте и вскоре увлеклась поэзией. Первым из полюболюбивших её поэтов был Надсон, после него – Гумилёв. Позже она стала поклонницей Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Хлебникова и Рильке. Однако она отрицает чьё-либо "влияние": по её словам, стихи являются результатом "столкновения её внутреннего ритма с внешним окружающим ритмом. Это способ выживания". Стихи у неё не "сочиняются", они появляются спонтанно; иногда она может проснуться с готовой поэмой. Иронические замечания по поводу её "не-новых новшеств" и отсутствия знаков препинания в её поэзии забавляют её как абсолютно не имеющие отношения к делу. "Разве во сне бывают точки и запяты?" – вопрошает она. Лёгкая ближе к устной традиции, где интонация, а не пунктуация имеет значение, но интонацию трудно передать в печатном листе.

Лёгкая начала писать поэзию в Нью-Йорке и вскоре стала публиковаться в престижных эмигрантских журналах ("Мосты", "Грани", "Новый журнал", "Возрождение", "Время и Мы" и "Новое Русское Слово"). Её поэзия была включена в альманахи и антологии "На Западе", "Содружество" и появилась в переводе в "Русских Поэтах Америки". Вместе с группой поэтов Лёгкая приняла участие в выпуске ежегодного альманаха "Перекрёстки", который в 1983 году превратился во "Встречи". Несколько прекрасных переводов американских поэтов были опубликованы в "Перекрёстках", среди них Никки Джиганни, "Грешный, (и, возможно, не без причины) Эго" (1977, № 1), и Джойс Кэрл Оатс, "Музыка" (1981, № 5) – и передавались по "Голосу Америки".

Собственный том избранной поэзии Лёгкой "Попутный ветер", появился в 1968 году. И, поистине, как замечает Симон Карлинский, название в точности соответствует собранию. "Попутный ветер" является основным символом и центральной метафорой лучшей поэмы Ираиды Лёгкой (296-98). По большей части это добродушный ветер, весёлый и свободный, позволяющий поэту игнорировать предписанные правила стихосложения, плыть в своеобразных ритмах сквозь заново постигаемые времена года, города, миры. Однако ветер

может обернуться резким, враждебным, когда он отмечает памятные трагические явления ("22 ноября 1963 года": 18). Следом за свободными плывущими строками "свободного стиха", Лёгкой блестяще удаётся строгий стиль *canon cancrizans*, в котором строки первой строфы одна за другой от конца к началу превращаются во вторую строфу ("С ветром заодно": 10). Поэзия Лёгкой о любви, природе и Вселенной поражает своим необычным подходом к этим "вечным темам". "Таким образом, любящая персона не обращает внимания на то, что её возлюбленный груб и глуповат, потому что тепло его тела и мягкость его губ ни с чем не сравнимы, и заставляют её трепетать и вопрошать себя "Действительно ли я его ребро?" ("Теплее тела": 16). Окружающий мир видится по-новому, пока поэт следит за игрой света и тени на ночном потолке. Потолок медленно вращается вокруг, в то время как свет такси и грузовиков скользит по нему, как улыбка скользит по лицу ("Совсем другой сегодня потолок": 44).

В поэзии Лёгкой "русская тема" кажется отступающей перед вечными проблемами и культурной атмосферой её ближайшего окружения; и в то же время она остаётся центральной в нескольких незабываемых стихах, посвященных трагедии России. Её изысканный поэтический язык свидетельствует о её русском наследии и обеспечит ей надлежащее место среди новаторов российской поэзии XX-го века.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ: поэмы в НРС, НЖ, 1952-56, "На Западе" (Н-Й, 1953): 354, "Мосты" 3, 10, 13-14 (1959-68); "Попутный ветер" (Вашингтон, 1968); поэмы в "Возрождении" 215 (1969), 230 (1971), "Перекрёстках" № 1 (1977): 56-61, № 2 (1978): 41-42, № 3 (1979): 41-43, № 4 (1980): 30-31, № 5 (1981): 46, "Время и мы" 18 (1977) и "Содружество": 275-83.

ПЕРЕВОДЫ: поэмы в "Американских русских поэтах", R.H. Morrison, редактор и переводчик. (Ann Arbor MI, 1975).

ССЫЛКИ: RLE; Содружество // Николай Андреев, "Заметки о журналах", "Русская Мысль" (Дек. 9, 1953); Юрий Большухин, "Всё-таки!" НРС (Янв. 29, 1967); Симон Карлинский, "Ираида Лёгкая. Попутный ветер", НЖ 94 (1969): 296-98; Юрий Терапиано, "Возрождение" 215 и 216, "Русская Мысль" (1 Янв. 1970); Вячеслав Завалишин, "Антология зарубежной поэзии", НРС (1 Янв. 1967).

Dictionary of Russian Women writers. Edited by Marina Ledkovsky, Charlotte Rosenthal, Mary Zirin. Greenwood Press, Westport, Connecticut – London, 1994.

Перевела с английского Неля Кармазина

АВТОР О СЕБЕ. ЛЕГКАЯ (по первому браку Ванделлос, по второму Пушкарёва), Ираида Иоанновна. Родилась 1 июля 1932 года в Тартаке (Латвия). С 1936 года семья жила в Риге, в женском монастыре, где отец был настоятелем. В 1944 году немцы вывезли нас вместе с другими лицами и их семьями в Германию. Когда в Судеты, где осела наша группа, пришли советские войска, духовенство хотело возвращаться в Латвию, и только угрозы советских солдат (с глазу на глаз) изменили это решение. Летом 1945 года мы бежали через Прагу сперва в английскую зону оккупации, потом в американскую. Из лагеря Ди-Пи в Шляйсхайме, где я и сестра учились в русской гимназии, мы выехали в США в 1949 году.

Я сразу же пошла на работу, училась вечерами. Стихи начала писать в Нью-Йорке. Первые публикации были в "Новом Журнале" под редакцией М. М. Карповича в 1952-53 гг. Печталась также в журнале "Возрождение", "Грани", "Мосты", "Время и мы", в антологиях "На Западе" (Н.-Й., 1953), "Содружество" (Вашингтон, 1966), "America's Russian Poets" (Ann Arbor, 1975). В 1968 году вы-

шел сборник моих стихов "Попутный ветер" (изд-во "Виктор Камкин", 68 стр.). С 1963 по 1987 гг. я работала радиожурналистом в "Голосе Америки". По "Голосу" передавались мои интервью с рядом русских поэтов, живших на Западе, в том числе с Иосифом Бродским, Ниной Берберовой, Иваном Елагиним, Игорем Чинновым, включавшие чтение стихов авторами; равно как и несколько моих переводов американских поэтов. В 1977 году вместе с группой друзей участвовала в создании поэтического альманаха "Перекрестки", впоследствии превратившегося во "Встречи".

ИРАИДА ЛЕГКАЯ

1.

Милая мама я знаю знаю
Что доля твоя была нелегка
Не по тебе ли дожди рыдают
По небу размазывая облака
Если к тебе слова долетают
Знак подай мне издалика

Легче ли там лучше ли там

2

Бабушка говорила
Как топором рубила
Варварами кипучими
Большеви́ков называла
Переворот шара
Земного она предвещала
Шестерых народила
Старшую схоронила
Двух сыновей могила
Жестокого века горнило
— Дай поесть человеку
Дочку свою корила
Дочка была моей мамой

Мице и Диме

И по ту сторону отчаянья
Когда уже не стало сил
Какой-то ангел неприкаянный
Случайно мне глаза открыл
Он показал земли окраины
Прозрачных рыб на дне морей
Что ждут немые и неизвестные
Моих детей

Он показал что небо синее
И нет конца

Легко
Смахнул своими крыльями
Печаль с лица

И вижу через столетья
После шестой мировой
На неизвестной планете
Двухголовый праправнук
Мой!

Б.

Улица девяносто-шестая
Песня моя простая-простая
Кругом ньюйоркская босота
Мне хорошо одиноко так
Под дождем
А зимой под снегом
Полушагом и полубегом
Оставляя и обгоняя
Узнавая и удивляясь

Что в глазах у вас
Звезды растаяли
Песня моя простая-простая

Б.

Мы встретились в каком-то новом мире
Где камни дышат и деревья плачут
И было все как я давно пророчила
И было все совсем совсем иначе
Куда нам убежать от этой точности
Узоров жизни

Спрятаться не спрячешься
Струился холод смерти равнозначный
Но в этом мире холод не пугает
От холода фиалки не темнеют
В прозрачный вечер женщина другая
Как в хрупкий мех укутывает шею

НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ США

Мице и Саши

Я буду волосы мыть пахучим розовым мылом
Длинную шаль вязать не уставая
А если бесконечное небо и горы наскучат
Есть океан и милая земля другая
Я буду фикус поливать и покупать растенья
Которым нет на языке моем названья
Сыновей растить

Так расплывалось стихотворенье
Без конца без начала без наказания
Я буду зубы точить на разбитой машинке
Тоску поливать пивом а в постные дни слезами
Печенье печь смотреть старые фильмы ночами
Про вампиров про жуткие их терзанья
Я буду читать одну фантастичней другой книги
Ездить в гости в дом где новорожденные мышата
Только падать поздно и с льжками в воздух прыгать
А жить еще можно

Есть еще чем дышать

Вид на север

1.

Переезжаем на квартиру поменьше
Поближе к небу и похоронному дому
В телефонной книжке все больше
Номеров безответных

Много поумирало
Друзей и просто знакомых

С двадцатого этажа в доме-оранжерее
Видно большое небо и кусочек суши
Мост Вашингтона Георга простершийся
Над Гудзоном

На север стремятся птицы
Перелетные и наши души

Ветер сегодня ломится в большие окна
Вот-вот ворвется воет совсем озверело
Так рвутся души покидая тленное тело
Миг страха восторга

Северное сиянье
Северный верный свет холодной Вселенной

2.

Дождевой в ушах слышен шум
И приходят слова на ум

Очертаньями дух строг
Разбивается жизнь о порог

Сквозь лицо проступает лик
Тело ждет покоя земли

И не стало кристаллов тают льды
Просыпаются ручьи и пруды

Это марта роковые следы
Это вести живой воды

9/11/2001

И через год не исчезли
Из памяти глаз
Два восклицательных знака
Завершавшие город
Задорным аккордом
Тридцать пять лет
С другого берега ущелья
В которое вливается океан
Возникал из сна тумана
И восходящего солнца город

Через год не осталось следа
От распыленных человеческих тел
Черная дыра распахнулась
В дурное пространство
Все это было-было когда
Рухнула Вавилонская башня
Погибли грешные горсда
Содом
На который нельзя оглядываться
И Гоморра

11/21/2002

Лето медведя

Это царство прозы и озон
Это леса запретная зона
И у самой дороги
Бурлят пороги
Реки Гудзона

Это царство птиц и зверей
Летучих мышей и белок-тетяг
И если встретится в лесу медведь
Скорей испугается он тебя
Не думай что он твой враг

Это царство налитых кровью камней
Люди называют их гранат и дробят
Рушится гора в ловких руках
Бывших полицейских бродяг солдат
И вместо горы – обрыв и овраг

И на этой Божьей ничьей земле
Новые соседи лепаг на лес
Ярлыки – Сюда не ходите!
Черный медведь не читает их
Это его обитель

А по ночам звонкий омут звезд
Тянет очнуться в мире
Где дважды два
Не шесть и не пять
И не четыре

Масленица 2007 года

Lucy & Eli Flam

В солнечной беспечной Флориде
По небу рекламы летали

По реке Святого Иоанна
Плавали морские коровы

В доброе старое время
Моряки за сирен их принимали

Понтонную лодку встречали
Аллигаторы и армадилы
Большие синие птицы
Над водою летали
Белым кружевным узором
Ибисы okayмляли
Поваленные деревья
Угловатая черная птица
Рыбу проткнула клювом
Долго с нею сражалась
Трудно ее глотала

В массовом порядке люди
Шли посмотреть на гонки
Сверхскоростные машины
Разбивались и загорались

У Чичей * в Новой Смирновке
О болезнях старики говорили
Вспоминали военное детство
Ели блины с икрой
Пили самогон вино и пиво
И оставили много бутылок

Над Флоридой летают плакаты
Ибисы и синие цапли
Мы улетели на север
А Инна и Гленн на запад

* Чичи – прозвище Виктора и Марины Челищевых

На живом обитаемом острове
Мы вращаемся в небесах
Поздней осени ветки острые
Угрожают зимой глазам

Хорохоришься и сторонисься
Поздней ночи суровой зимы
Но от страха не застрахуешься
Не уйдешь от сумы и тюрьмы

Хорошо никуда не ехать
Хорошо никого не ждать
Под напевы первого снега
Улыбаясь в ночь уплывать

В этой музыке снега и ветра
Объяснение дано всему
Снег под утро растает наверно
Но ночью я все пойму

МОСКВА 1997

В воровской вороньей столице
В подворотнях стелется страх
Черной злостью тронуты лица
Зависть серо косит в глазах

Веско вещает реклама
— Страховка лекарство от страха
И все равно страшно
И все равно тошно
Перед кремлевскими башнями
На площади красной лобной
Сгусток всемирной злобы

Программа на телевизоре
Мать с отцом ребенка ругают
— Уж мы били его били
Он такое говорит такое
Его лишь могила исправит
Вихрастый дичок-мальчонка

Говорит
— Подожгу хату
Или убегу из дому
Или посажу их в огороде:
Пусть папа будет картошкой
Пусть мама будет морковкой

Сверкают купола позолотой
Освещены древние стены
Монастыря в котором
Дух непростившей царевны

РУССКИМ ПЛЕННЫМ ВТОЮЮ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Озмороженные ноги дорогу устало месили
Вьюга от колонны отставших снежком заносила
Это было в России

Вьюга кружила

Было зимой красиво

В той же самой России где старуха о Сталине голосила
О тиране-попильце-кормильце-вожде-учителе и убийце
Не о сынах своих старуха причитала и голосила
Где сыны твои

Кости их удобряют землю

А их честь отечеством отдана на поруганье
Твои дочери

по миру пущены

руки и сердце калечить

И по-русски

До свидания

превращается

В

До страдания

Без состраданья

Отцу

Белые церкви Севера
Тонут в сырой земле
Стонут под гнетом лет
Святые светлые камни
Вопиют к небесам
О поруганных православящих
Об истерзанных телесах
О живыми в землю закопанных
О прибитых живыми к кресту
О расстрелянных об утопленных
О святых которых не чтут
О народе морившем в крысятниках
Своих пастырей и отцов
Почитавшим вместо Распятия
Палачей лжецов подлецов
Вопиют к небесам
Об ославленных
Уничтоженных
Не сломившимися под ношею
Имена их Ты знаешь сам

*Вознесение
23/10мая 1996 г.*

ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

Конспект зари

Из поэмы-коллажа «Неделимое»

Аэроплан Каменского.
Эпоха ломки строф.
Не надо вальса венского –
Давай фокстрот!

О, новой жизни почерка
Тугая тетива,
И Вертова, и Родченко
Летающие тела!

В кабацком, в клубном гаме
Весёлый блеф,
Соседями – врагами:
И НЭП, и ЛЕФ.

Ещё с лошадкой памятна
У Бурлюка щека,
Ещё рисует Анненков
Без виз чека.

Десятые – двадцатые –
Безумный карнавал,
Слова молодецкые
Да пули – наповал.

Картинка из детства

Слева сидор слегка потёртый,
А сапог из кирзы – правой,
Рядом с выцветшей гимнастёркой,
На такой же почти траве.

Летний жар как от банной печки
И, стирая капли со лба,
Безмятежно плещется в речке
Про костыль забывший солдат.

Апрельский сон

Воздушный приснился шарик
С оборванной ниткой снизу,
Летающий туда, где шарят
Бинокля отцовского линзы.

Туда, где ещё пылают
Огни у чужого берега –
Фриш-Нерунга и Пиллау,
Паучьего Кёнигсберга.

Туда, где ещё, как будто,
От взрывов земля не осела,
Но белые флаги «капута»
Уже на фасадах серых.

24 апреля 2011 года

* * *

*«Память, говори»
Набоков*

Высоких звёзд дрожание
В тумане мутных лет,
Как молоко можайское
В бутылочном стекле.

Бесхитростными знаками
Я в давнее влеком,
Spreek, Метому, позвякивай
Посудой с молоком.

* * *

Как Чаадаев, дождь сошел с ума,
Поскрипывая пёрышком гусиным,
Но в засуху, Москва, не ты ль сама
К нему взывала, как зывают к сыну...
Что же в сердцах корить его теперь
За сумрак дня, за вымокшие вещи,
Ведь будет зеленее не тебе ль,
Не у тебя ли будет пыли меньше?..

* * *

Марине Гарбер

Житейские заботы. Магазин.
Буханка хлеба. Сахар. Пачка чая...
Закат июльский тени пригасил,
Не радуя, но, впрочем, не печалю
Ни глаз, ни сердце – ровно ничего.
О, эти ежедневные повторы,
Когда в свой улей трудовой пчелой
Спешит под вечер служащий конторы.
И работяга, в свой предел спеша,
Из гастронома двигается прямо
К телеэкрану, где его душа
Согреется игрой «Спартак» – «Динамо»,
И ты идёшь куда-то неспеша
Средь городской привычной круговерти,
В кармане не имея не шиша,
Но складывая строки о бессмертье.

Силуэт со стаканом /Вспоминая Ельцина/

С голубого экрана –
Новорусский парад,
Но и с водкой икра нам
Не заменит утрат.

Пусть газеты и радио
Вашу чествуют власть, –
Там, где сердце украдено,
Больше нечего красть.

Надо б в лучшее верить,
Но в сомненьях – никак,
Да и заперты двери
У души в синяках.

Разве ж к русскому полю
Не утрачено чувств,
А к стихам с перепоем --
Лишь с есенинских уст

* * *

*Сыну, собравшемуся побывать туристом
на нынешней Кубе*

В стекле заморского калибра
Ром, с ног сбивавший наповал,
С улыбкою, за Кубу либре,
И я когда-то выпивал.

Давно и не один, конечно,
Но пусть тех лет и след простыл,
Не стыдно мне, что, делом грешным,
Считал наш мир весьма простым.

И негодяем, в самом деле,
Назвал бы просто, наконец,
Кто вдруг сказал бы, что в Фиделе
Слились диктатор и полдец.

Я не раскаиваюсь в прошлом,
Где иногда во снах летал –
Я только пробую по крошкам
Восстановить, что был там.

* * *

Русь для русских – удел фанатиков,
Вновь сколачивающих легион,
А моя – от Тихого до Атлантики
Растянулась как аккордеон.

Не держава, конечно, – дух её,
Что в Рахманинове и Толстом

Отчеканился нотами, буквами,
Каждым суриковским холстом.

У неё – особые признаки,
Свой – внеденежный – капитал,
В ней Шагал, где стать ему признанным,
Как и Бродский, не выбирал.

Русь свободная – вне географии,
На любовь ярлык не нашить.
Не люблю чужеземной мафии,
Презираю любой «нашизм».

* * *

Сергею Сутулову-Катериничу

В осенний день, когда всё как-то пресно,
Крупчато-жестковатый, словно соль,
Припомнился мне снег в районе Бреста,
У приграничных белорусских сёл.

Я понимал: там быт – отнюдь не праздник
И снег его не сделает светлей,
Но где б ни жить, печальной непролазе
В душе, чем на земле вовек своей.

Шёл поезд неспеша в закрытой зоне,
В купе и коридорах свет не гас,
Почти всю ночь не спав, устало-сонный,
С родных пейзажей не спускал я глаз.

Сезон менялся, обостряя чувства,
И сердце холодело как река...
Идут года, но вновь и вновь учусь я
К непостоянству мира привывать.

Письмо Ивану Царевичу

*После просмотра видеозаписи Андрея Макаревича,
поющего «К нам в Холуёво приезжает Путин».*

Приветствую тебя, Иван Царевич,
Как поживаешь сам и как твой волк?
Тут пел про Холуёво Макаревич, –
Подумалось, Высоцкий так же мог...

Возможно, нынче мир в руках у беса,
Не знаю, знаю только – всё течёт,
А если жизнь – не более, чем пьеса,
Кто сочинитель? Пишет за чей счёт?

За нефть и газ, за русский лес деньжата
В какую набиваются мощну?
Куда, мой дорогой, ползёт держава,
Забыв о том, что сеют, то и жнут...

Не ново, что коррупция – проказа,
Старьё не величают новизной,
А около орлиных гнёзд Кавказа
Лишь снег прекрасен вечной белизной.

Но ниже, где до осени он редок,
Вблизи аулов скалы как броня,
Не только от листвы летящей с веток
Красна местами жёсткая земля.

Ах нет, Иван Царевич, большей грусти,
Чем та, когда бессмысленны слова,
И где-то там мальчишек, словно грузди,
Трясут машин военных кузова.

Так полавки волной трясёт без клёва,
Так смех трясёт людей при слове «власть»,
И даже, полагаю, в Холуёво,
Где жизнь, как утверждают, удалась.

Эмигрант

Был в согласии с Грибоедовым: «горе уму».
Размышлял о бессмертии.
Помнил дым кораблей в Крыму
И в Бизерте.

Повторял за Лермонтовым: «страна рабов»
И страдал, когда сердце мечется,
Возле яблочных и грибных пирогов
Улыбался: аромат отечества!..

При Петэне, отдых крадя у сна,
Слушал Лондон с тревогой острой,
В сорок первом о новом узнал
Drang nach Osten.

И, как груз, небесную жесть
Ощувив на плечах чуть сгорбленных,
Рюмкой водки горло не мог не обжечь
За отечество многоскорбное.

Годы тянутся, только лишь
Чуть привычнее путь и глаже.
Пусть иной у меня Париж,
А Россия у нас всё та же.

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Который год по прихоти судьбы
возводишь дом и бьёшься лбом о стену.
Торопит жизнь наращивать кубы,
пока ещё струится кровь по венам.

Ход колеса не повернуть назад,
лишь дни тусклее с каждым поворотом.
Соседний парк – мой Гефсиманский сад,
в котором я ропщу после работы.

О, Господи, к чему мне этот дом,
когда я скоро весь в Тебе пребуду?
Стал хитрецом, лукавцем и плутом
старинный друг по имени Иуда.

Я жил не так, как нужно было жить –
не столько строил, сколь учился строить,
и чем плотней сложились этажи,
тем было слаще мучиться хандрою.

Когда упадок духа бил под дых,
я не искал путей, ведущих к Замку,
подобно К. и тысячам других,
помешанных на том, как выйти в дамки.

Скорей пути вели в мой малый Рим.
По ним спускалось грозное начальство,
и, ошав от запертой двери,
на долгострой смотрело безучастно.

После приёмки кафкианский клан
инспекторов бранил меня не шибко,
найдя, что в мой архитектурный план
ген эгоизма заложил ошибку.

Нет, я не строил замок на песке,
но изначально подразумевалось,
что дом – лишь мой, и в этом пустяке
скрывался дьявол. Мне осталась малость –

впустить других в построенный раёк,
пускай не в рай, но всё-таки под крышу...
Я был так долго горд и одинок,
но ты, Господь, мой горький вздох услышал.

На ближнего смотреть не сверху вниз,
а снизу вверх – задача не простая.

Чтоб побороть животный эгоизм,
всего лишь нужно – выбиться из стаи.

Ход колеса назад не повернуть –
у каждого поэта свой Иуда.
Хвала Тебе, Господь, за трудный путь
к дворцу, который служит мне и людям.

ПАУК

Паучок то пикирует вниз, то взбегает наверх,
то снуёт челноком, чтобы не было видно прорех
в паутине, сплетаемой по наущению свыше.
Чем я лучше его? Инстинктивно дышу и грешу,
то курну анашу, то склонюсь к золотому грошу,
то приникну к попавшейся душке
в мансарде под крышей.

На прогнанных полках тяжёлые дремлют тома
виртуозов ума, доказавших, что тело – тюрьма
для залётной души, неспособной порвать паутину.
Бес, живущий во мне,
каждый день, каждый час, каждый миг
неразумное тело моё отвлекает от книг,
предлагая на пробу вторую его половину.

Как в песочных часах сквозь воронку струится песок,
как бежит по тугим проводам электрический ток,
как ручей низвергается к морю по узкой долине,
так и я пеленгую мгновенно источник тепла,
забывая про душу, лишь только бы душка дала,
и в горячую плоть направляю своё кундалини.

Царь природы по воле, по хитрости и по уму,
расставляю на самок силки, чтоб затем самому
трепыхаться в своих же недавно сплетённых тенётах,
и никак не пойму – почему я отбил от рук,
почему без души прозябаю давно, как паук,
заводясь от жужжащей красавицы с пол-оборота...

МОЛДАВСКИЙ СОН

Июль безбожно тянет канитель –
задернет солнце выцветшей холстиной,
и в ус не дует несколько недель.
Смотрю на эти выверты чужбины
и вспоминаю детство – свиристель
свистит, а я, в траву впечатав спину,
живот подставив солнцу и бока,
считаю в синем небе облака.

Молдавский зной – как жар из кочегарки.
Загар приходит сам, без шельмовства.
Стакан воды, как мёртвому припарка –
один допьёшь, а с потом выйдет два.
Отец косьбу закончил – слишком жарко,
и я, закрыв глаза, едва-едва
сквозь сон воспринимаю шум атаки –
то быются насмерть с римлянами даки.

Вокруг меня всюду идёт война
за жёлтые стога до горизонта.
За мой покой поднялись племена,
не ведавшие сроду линий фронта.
Страна холмов, садов и тютюна,
скукоженная в двух шагах от Понта,
была мне вроде птичьего гнезда,
а я её покинул навсегда.

Она меня ни в чём не упрекала,
по крови неродная мне земля,
но помнил я на берегах Байкала,
в глухой тайге, у чуждых стен Кремля,
и здесь, где солнце светит вполнакала
из-за сырого напрочь фитиля,
езде, где жизнь транжирил не по средствам, –
тот южный сон, закончившийся с детством.



Сергей Голлербах. Графика.

1. И растет ребенок там...

Мне сутца, жарковца, вот я и сит.
Саттыков-Щедрин

Я полагаюсь на своего еврейского Б-га
С пропущенной буквой о.
Да и нужно-то мне совсем немного,
А бывает, что совсем ничего.
Случилась вот такая невзгода:
Я родился, а вокруг террор.
Мне в границах тридцать седьмого года
Оставаться бы до сих пор.
Но всему живому мерещатся дали,
А молодость – и вовсе жертва химер.
Не успел износить трех пар сандалий,
Как ботинки – мужской размер.
Но вокруг беснуется соседская челядь:
Не нужна им подросшая ребятня.
Соседи – везде и всегда нелюдь:
Им бы только выгнать меня.
А я уперся, живу, насупясь,
Ищу тоскливо единокровца.
Зачем им мой непосоленный супец?
И нет, ну, нет у меня жарковца.
Пахнет жареным, везде тревога;
Суп вскипел, и не расхлебать его.
Вся надежда на моего еврейского Б-га
С пропущенной буквой о

2. Филателист

В детстве мы собирали марки –
Азартнейшая из мальчишеских игр.
Обычная валюта, подарки –
И редкие страны (запомнилс я Нигер).

От царей российской империи
До тайги и медвежьей берлоги –
На всё существовали серии
В красивом с картинками каталоге.

Попадался из Тувы треугольник,
Что-то круглое из Нипона,
Но, как обычный мечтатель-школьник,
Я надеялся преодолеть все препоны
И найти марку с печатным браком;
Стоит, говорили, как целая дача,
И окупит расходы с гаком...
Не случилась такая удача.

А потом эта страсть увяла.
Прогремели новые громы,
Но в углу запыленнейшего подвала
Сохранились подростковые альбомы.

Нынче почта ушла в подземелье,
В деловые канцелярские норы.
Сообщения, поздравления – всё е-мелье,
А если письмо, то из конторы.

Но, когда попадаетс я мне образчик
С портретом или видом природы,
Я кладу его в долгий ящик,
Как в те полузабытые годы.

Вдруг я встречу себя, второго!
Я отдам ему каждую марку
И поверю, что жизнь начинается снова
Да и старая не пошла насмарку.

3. Братская ГЭС

Брат, столько лет сопутствовавший мне...
Тютчев

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
Ушел в небытие. И неслучаен
Его уход в далекой стороне:
Вокруг нас мир – скопление окраин.
Случайным было только то письмо,
Мелькнувшее недавно в интернете.
Писал сын брата, что на их трюмо
Запечатлен мой образ на портрете.
Был снимок сделан век тому назад.
На нем модели лишь слегка за двадцать;
Копна волос и с поволокой взгляд:
Такой красавец – не налюбоваться.
Но в голову упорно лезет дрянь:
Мой брат, вполне сознательный изгнанник,
Отбыл, как все сейчас, в Тьмутаракань.
Был с ним ребенок, мальчик – мой племянник.
Там почему ж хотя бы полстроки
Не написал и не приехал в гости?
Уходят молчаливо старики –
Прощаться не с кем: братья на погосте.
Заботы лишь о наступившем дне,
Но что-то отломилось, оборвалось.
Дыра в душе и в мыслях вялость.
Брат, не сопутствовавший мне...

4. Идиоматический эксерсиз для перевода на иностранные языки

Я рублю дрова на траве двора,
А вокруг меня шумит детвора:
«Ну, ты, дядя, рубить здоров;
С тобой наломаешь дров».
Я привык, что вздор везде говорят.
Нарублю я дров, а дрова сгорят,
Так что ты меня, детвора, прости:
Я умру, а там трава не расти.

Был мне век не мил, был я с ним на вы –
Ни кола, ни двора, ни трын-травы.
Все семь пядей моих во лбу
На пустую ушли борьбу.

5. Сквозь туман

Наследие – ошибки и описки,
Но многое прочел я людям вслух
И радуюсь: душа в заветном диске,
Как переживший все несчастья дух.

Я прожил жизнь, учась и поучая:
Не видел неба, не бывал на дне;
Любил людей и, в них души не чая,
Старался жить с собой наедине.
Но что-то было. Опыт мой житейский
Не так уж плох, не зряшная игра.
Бывает, что надменный полицейский,
В больнице нелюбезная сестра
Вглядится вдруг в меня, и лет завеса,
Как лист бумаги, рвется пополам.
«Я ваш студент. На курсе Вы про Зевса
И про Олимп рассказывали нам.
Рассказы Ваши у меня на пленках».
(Магнитофон, я помню, Бог ты мой!)
«А дочь моя была тогда в пленках,
Она придет к Вам будущей зимой».
Царит согласие: не нужно пенсий;
Ведь не зима, лишь осень на дворе.
Пиши стихи, пока не станешь песней,
И улыбнутся боги на горе.
Далекое непостижимо близко,
А близкое до боли далеко,
И чувствуешь: не все в тебе описка –
Вокруг туман, но дышится легко.

6. Триумф

Сладко пахнут мертвые слова;
Их поток прекрасен и напорист:
Мы пройдем склонение на -wa-,
Вспомним сигматический аорист.
В мире окончаний и основ
(Гибель их – в истории прореха)
Тени от Гомера вещих снов,
Отзвук гомерического смеха.
Но века бледнеют на бегу,
И склоненья гаснут, холодея.
Бьется мысль в измученном мозгу
С яростью античного спондея.
Встал законодателем Дракон,
Цезарь захлебнулся в скорбном крике.
Жизнь и смерть поставлены на кон.
Я сразился: *veni, vidi, vici*.

АНДРЕЙ ДРАГУНОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕНУТЬСЯ

С. Лиходееву

Ты только обязательно вернись –
никто кроме тебя мне не поможет
в моих скитаньях в вечности, где жизнь
единственно возможная возможность
не сгнать где-нибудь, как урка за углом,
где у него все шансы власть в немилость
Создателя, но у него при всем при том
гораздо больше шансов на стабильность
в общении с Создателем. Вернись,
как возвращаются из дальних странствий птицы
к пустым скворечникам, но где возможна жизнь
написана еще с пустой страницы.
Вернись, вернись – я буду ждать тебя,
как ждут послания короткого в бутылке –
последнего, возможно, но меня
найди, вернувшись, в маленькой квартирке.

июль 22. 2011 год.

ПАМЯТИ ДЕДА

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Мы обнялись и я поцеловал
морщинистую щеку сквозь щетину.
Так много лет – немислимый провал –
в отсутствии тебя. Твои морщины,
как доказательство прожитых порознь лет.
Смотри, опять весна в окне стучится
холодной веткой. Солнце, как ответ
на выпады зимы, но возвратиться
из дальних странствий суждено не всем.
Прости, я жив еще, что как-то странно...
Мы так давно не виделись – совсем
ты мне не снишься... Прошлое туманно,
но выплывает иногда на свет
обрывками, разрозненными днями.
Так много врозь мы пережили лет,
что память прорастает лишь тенями,
как небо облаками по утрам.
Смотри, смотри – вон самолет бумажный
скользит отважно в четную дыру
меж облаками. И совсем не важно –
вернется ли обратно самолет...
Лети, лети – там, в небе много места.
До памяти последний перелет,
да и к земле поближе, если честно...

март 1-3. 2011 год

Я ЕХАЛ НА ВОКЗАЛ

Я ехал на вокзал, где каждый звук
как будто бы последний. Повсеместно
цветы в руках встречающих друзей
и провожающих, конечно. Если честно
количество в толпе тех и других
соизмеримо только с наводнением
в отдельной части света. И для них
лишь в вянущих цветах в руках – спасенье.
Они как будто бы из старого кино,
где в клавишах все звуки – вместо речи.
Они уже уехали давно
вслед за любимыми, или к другим на встречу –
в своих мечтах. Им точно все равно,
что говорят досужие торговки
в промасленных бушлатах. Вон в окно
глядит начальник станции – неловкий
в своих движениях, стараясь заглянуть
как будто бы за штору, или в шелку –
в чужую жизнь, которую – забудь! –
не вспоминай, не поминай – без толку...
январь 24. 2011 год

* * *

Маленькая страна у меня за окном –
некуда меньше уже. И только деревья
умножают пространство. Птички о том, о сем
щебечут бездушно, сжимая до щебета время.

И вот оно время последней моей прямоты –
хочешь, возьми этот щебет – сыграй на рояле –
черно-белая музыка сжимает мои черты
до финального Моцарта, т.е. – до Дон Жуана – в финале.

Сколько можно любить! Кто полюбит тебя вообще!
Время любит в словах – почитай свою зимнюю почту –
голубиную. Впрочем, слова не к чему уже ночью,
когда все, что ты любишь, живет уже только во сне.
январь 24. 2011 год

ВРЕМЯ ГОДА, КОГДА ЗА СОРОК...

Время года, когда за сорок, всегда зима.
Глянешь в окно – и не за чем выходить.
Птица на голой ветке едва жива
от такого холода, но некого в том винить.
Вот оно будущее, т.е. – бессмертие, т.е. – пар,
выдыхаемый легкими, чтобы облечь в слова
собственно будущее, если не слишком стар,
чтобы вымолвить что-то и не сойти с ума.
Вот оно время, когда, даже глядя в окно
видишь только прошлое, которое из-за угла
вытекает в нынешнее. И кажется все равно –
кто глядит из будущего – ведь будущее уже вчера.
январь 20. 2011 год

МЕЛАНХОЛИЯ

Ну вот и все – окончен жизни путь
банальным разговором о спасеньи
среди живых... Среди кого-нибудь,
в конце концов. О, чудо воскресенья.
О, новый день – конечно выходной.
Последний день недели сотворенья
земли и неба – там над головой,
где звезды ловят каждое мгновение,
стараясь не упасть в твои мечты,
чтобы не сгнить под конец недели
среди других вещей, в которых ты
не видишь смысла, даже в понедельник –
в любое время вообще. Плыви, плыви
по воле волн. Лети по воле ветра.
Не называя имени, живи
среди чужих, в чужом пространстве, где-то
среди не именованных вещей,

покрытых пылью – трень рукою – время
рассыплется. И дальше без затей
развееется в пределах поселения.
январь 17. 2011 год

СЧИТАЛКА

Тучка в небе появилась.
Солнце за море свалилось.
Я не выучил урок –
мне теперь за это срок.
Отсижу – пойду по новой
я опять учиться в школу.
Вновь не выучу урок –
получу повторный срок.
Сдам экзамены на зоне –
я теперь почти в законе.
Мне теперь на день рожденья
полагается варенье.
А по праздникам пирог –
ведь пожизненный же срок.
январь 12. 2011 год

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Все спит кругом – опять пришла зима.
Опять погода худшее известье,
которое не сунешь, как в карман,
за пазуху, да и в любое место,
чтоб с глаз долой – от этого теплей
не станет, но в какое-то мгновение
вдруг кажется, что за окном светлей
становится от снега. Впечатленье
такое, что уснуло все вокруг –
при свете лампы, как под абажуром –
под снегом, скрыв не то чтобы испуг
от посторонних, а саму фигуру –
от холода. Закутавшись в пальто,
прохожий сонный огibaет площадь
у трех вокзалов и его никто
не окликает – никого нет больше
поблизости. Тем явственней черты
прохожего, спешащего куда-то
сквозь сон и снег, тем призрачней мечты
о будущем, которое когда-то
наступит вероятно, но к нему
сквозь сон и снег уже не дотянуться,
как к прошлому, что судя по всему,
не пожелало от зимы проснуться,
замерзнув там, где больше ничего
не беспокоит – даже отопленье,
отсутствие которого всего-
то на всего – отсутствие везенья...
Уснуло все вокруг... Дуй, ветер, дуй.
Сметай под ноги: соль, песок, щбенку,
снег – вариант замерзших летних струй...
Вдруг, как из ниоткуда, плач ребенка!
январь 14. 2011 год

* * *

По возвращенью не узнаешь город, знакомый с детства.
Хотя всего каких-нибудь лет десять
тому назад, легко нашел бы место,
где все и началось. Где были вместе
отец и мать. Где стоптанная память
в ботинках детских топчется по кругу,
где даже те, кого уже нет с нами,
стоят, обнявшись и лицом к друг другу.
Где вымысел всего лишь продолжение
того, что было. Кажется, осталось
еще немного... Жаль что освещенье
не воскрешает даже эту малость.
Но все же лучше, чем вообще пустыня,
где сквозь песок процеженное время
отбрасывает тень. И тень отныне –
единственно возможный собеседник.
январь 12. 2011 год

* * *

Прошло уже восемь лет, как я переехал.
Чуда, увы, не случилось и, даже больше,
скажу – уже не случится. Уже не до смеха,
когда за сорок и линия жизни становится тоньше.
Когда даже тень норовит убежать, не желая в слова
вплестаться, как нитка в иголку и дальше – по смыслу –
в холодную ткань... И сидящая голова
без тени сомненья рождает бредовые мысли –
куда переехать еще? Где теплее ночлег?
К кому на постой? Кто не выгонит ночью из дома?
В каком захолустье чужой, по родству, человек
тебя приютит, став на время хорошим знакомым? –
и будет что вспомнить, когда вдруг холодной зимой
сквозь голые ветки увидишь знакомого профиль –
вдруг станет теплее... И ангелы над головой
о чем-то прошепчут и адрес обратный не спросят...
январь 10. 2011 год

* * *

Л.В.

Скоро пятнадцать лет как чужая водичка
пальцы твои ласкает. Волна на камень –
чтобы смыть следы, пока безработная птичка
мелет кашу небесную клювом, как ты руками.
Скоро и звезд не надо, чтоб вспомнить имя –
взглянешь на воду и сразу же все выходит –
продолжение списка, составленного другими
с полным перечнем, спрятанного в комод.
Скоро город, укрытый пейзажем зимним
расплодится снегом. Вода холодной ночью,
когда только сон способен запомнить имя
того, о ком и в лучшее время молчали.
Скоро, став завсегдатаем старой бухты,
где под крики чаек кораблик волну ломает,
где коробки с протухшими теплыми фруктами
о давно покинутой, родине напоминают –
ты вернешься облаком зимней холодной ночью,
породнившись с небом, сжав в кулаке на память
горсть земли от туда, где только почта
сохраняет все, связанное с тобой – веками.
январь 8. 2011 год

* * *

Александр Леонтьеву

Виноградный проспект...
дачный остров последней любви,
где подвалы полны урожаем, пусть даже не новым,
как на память о прошлом, когда и свои – не свои,
в окружении лесов и озер – всем до боли знакомым.
Я вернулся к тебе, “медный житель”, и в этой связи:
прошлогодную ересь не ставь мне в вину, если можешь
И словесную ложь за ручей, как на санках, свези
и вернись восвояси к себе и верни меня тоже...
Округли календарные дни и билетный пунктир,
подорожную карту и водочный жар напоследок –
на прощанье в вагоне, на встречу в тяжелом пути –
Толи будет еще!.. Сохрани перекрестия клеток.

АЛЁНА БАБАНСКАЯ

ИЕРОНИМ

Ну, здравствуй, Босх Иероним,
Кого сегодня полоним?
Поймаем осень за грудки,
За паровозные гудки.
Ее избыточный колор
И стадо красное коров,
Солому желтую в валках,
Синицу мертвую в руках,
Лесную царственную лень
В короне солнца набекрень.

Ну, здравствуй, Босх Иероним,
Кого сегодня поманим?
Кухарку в фартуке до пят,
Торговок, грузчиков, солдат,
Мальцов, играющих в лапту?
Я, завтра, может, к ним уйду,
В пейзаж, исполненный холмов,
Блестящих шпилей и домов,
Где слышится за десять верст
Как дождь слепой идет на холст.
Где сводит медленно с ума
И светотень. И полутьма.

НОЧЬ

Какая ночь над нами вздыблена,
Что ни одной по небу заездочки,
Лишь только тьмы немая рыба
Перемывает свету косточки.
И все ее движенья гибельны,
Ты для нее кусочек лакомый,
И никого она не выплюнет:
Ни червячка, ни крошки маковой.

*«Мир ловил меня, но не поймал»
Гр. Сковорода...*

Мир ловил меня – не поймал,
эти патока и крахмал –
кружевных облаков оборки,
рек кисельные берега,
солнца блеск, карамель. нуга,
захолустье, Европ задворки.

Мир ловил меня – не поймал,
не таким он судьбу ломал,
не такие от боли выли.
Я ж, непойманный певчий птах,
не отсиживался в кустах,
но зазря не подставил выи.

Мир ловил меня за рукав,
Для чего искушал, лукав,
недопитым любовным медом?
Я прощаю, ведь он не злой,
неприметной лечу пчелой
к незаполненным божьим сотам

РЕТРОГРАД МНОГОЦВЕТНЫЙ

Сер небосклон,
мокрую вздыбил холку.
А Симеон,
Ну, щебетать и щелкать
грудь раздувать,
лить золотые трели.
Что синева,
если ее не спели?
Скрипнет перо,
Вздрагнет рука над ятем.
трудно зело,
коли умен и знатен.
Счастье ль, беда
или разверзлись хляби --
поступь тверда
трудных твоих силлабик.
Что Вертоград –
мир неказист и скучен.
Царственных чад
русским глаголом мучим.
Взялся – не плачь,
но ничего о личном.
Тертый калач,
свитый ключом скрипичным.

СИРОТКА

Ведь ты не обидишь сиротку?
Ей духи дудели в середку,
И там у нее в пустоте
Ромашка растет, чистотел,
Ведь не обидишь, конечно?
На ветке пустует скворечник,
Сиротка живет без ума,
Не хочет она понимать
Всех ваших китайских законов,
Сто ваших китайских поклонов.
Легка ее ноша, легка,
вчера схоронила жука –
сегодня сиротке не больно.
Любовь – это труд подневольной,
Сиротка не знает труда.
Репейник на рваном подоле,
И нет ни печали, ни горя,
Ни совести нет, ни стыда.

Не живешь, а доживаешь
За некрашеным окном
Снова туча дождевая
Наливается пятном.
Рассветает до полудня,
В шесть включают фонари
Проплываешь в липком студне,
Что снаружи – то внутри.
Лишь права качаешь птичьих,
Да торчишь особняком
При отсутствии величья,
Тыча в небо плавником.

ГОРОД ЛЬВОВ ОВЕЯН ЛЕГЕНДАМИ

Есть странное очарование в некоторых городах, – их любят не за что-то конкретное, а просто так. Город Львов овеян легендами. Старые теплые плиты мостовых впитали вздохи, смех, музыку, песни, любовь тысяч его ушедших жителей. Я думаю, что их призраки вечно витают в старинных брамах-подъездах. Легкий ветер развеивает их одежды, и они плывут, не касаясь тротуаров, по своим незавершенным делам: что-то доказать, кого-то долбить, у кого-то попросить прощения. Этот мистический город, как намоленное место, обаят ореолом, сгустком энергии, которая щедро питает и его случайных гостей.

Львов и львовяне – это особое братство интеллектуалов, тонких ценителей изящного, денди и гурманов. Мы с полувзгляда узнаем друг друга в любом уголке мира. Фантастическая красота архитектуры модерна и барокко, кварталы роскошных вилл воспитывали вкус с молодого возраста. Сохранившаяся очаровательная австрийская учтивость и достоинство, русская интеллигентность и смачное польско-украинско-еврейское жизнелюбие так тесно срослись в неповторимый узор на этом перекрестке культур. Этот город никогда не воспринимал всерьез советскую риторику и пошлость; а в университетской библиотеке в открытом каталоге были такие книги, которые в России еще долгие годы томились в спецхране.

Это город, где жил и работал первопечатник Иван Федоров, где Бальзак был готов венчаться с Эвелиной Ганской, где в медицинском институте учил психиатрию Станислав Лем, а в университете преподавал великий лингвист Ежи Курилович. Здесь жила Евгения Семеновна Гинзбург (Аксенова) – писательница и диссидент, автор нашумевшего романа «Крутой маршрут», мать Василия Аксенова.

Город, где ходили на прогулки в Стрийский парк такие мэтры мирового уровня, как философ Мартин Бубер, борец с фашизмом Симон Визенталь, историк Михайло Грушевский, выдающийся израильский поэт Ури Зви Гринберг, поэты Маркиан Шашкевич, Гийом Аполлинер. Куда и сегодня приезжают к родному дому со всех кон-

цов света его преданные подданные: альтист Юрий Башмет, режиссер Роман Виктюк, артист Богдан Ступка.

Город, лежащий у подножия Карпат, затерялся, как жемчужная корона во влажных травах. Марк Шагал так любил свой Витебск, что воспел его в чудных мечтах. А у меня язык не поворачивается сказать, что я люблю свой Львов, — это нечто большее, — мой рай, мое убежище, куда я стремлюсь всей душой, когда бывает грустно. Здесь и был написан этот цикл стихотворений.

Виктория Малеева

ВИКТОРИЯ МАЛЕЕВА

Лед тает на шоссе, и месяц тонкий
В воде блестит.
Грустят водопроводные колонки,
Когда троллейбус мимо пролетит.
Протяжный свист упругих проводов,
И в даль холодную уносит быстро окна,
Что отражаются на миг дорогой мокрой, —
Туда, где поворот.
Домишки светят в ряд, и неизбежный,
И закругленный поворота вновь полет.
И глухо громкоговоритель нежный
В полях поет.
Под небом хмурым провода в ветвях качаются.
В мечтаньях — горечь, а в порывах ветра — скрипки.
Сквозят над рощей птицы, и весна кончается,
И нет улыбки.

Поэт, и грустный, и лукавый,
На нем золотые кандалы,
Идет на светлые балы
Слегка влюблен — так, для забавы.

Облокотившись у колонны,
Угрюмо отдал все поклонны,
Знакомых отгадав едва ль.
В лице — ленивая печаль.

Гремит скрипичная гроза,
Знакомую любовь пророчит.
Он ждал — и заглянул в глаза,
Как в две сияющие ночи.

Беспечной девочкой, легка,
Она сияет по привычке.
И каждый ждет издалека,
Волнуясь, тайной переключки.
Любовь! О медленная мука.
Любовь, томительная сладость.
И грязь любви, и сердца слабость.
Поэт предчувствовал со скукой.

Он улыбался, слеп и глух,
Смущенный творческим сомнением,
И поражая мудрых шлюх
Лица необычайным выраженьем.

Зима. Прогулки на кладбище.

Молитва

Спаси живую душу из тьмы.
Спаси ее среди своей зимы,
Спаси от унижения и горя,
От лютой стужи на селом просторе.
Ты, тихо льющий белый свет небес,
Спаси ее, не ждущую чудес.
И, обреченную весь день бродить заране,
Заметь ее в толпе, в холодном храме. —
Там жидкий пламень плещет налегке
Средь нищих, у дверей, на сквозняке.

Не дай томиться ей и изнемогать
Перед уходом безвозвратным в ночь
И в эту ночь она в снегах прекрасных
Полюбит все болезненно и страстно.

Жил на свете рыцарь бедный
А. Пушкин

Был такой среди людей,
Он прожил немного лет,
Только чувствовал больней —
С неба льется вечный свет.

Он глядел, в одно влюблен,
Там, где небо бурно блещет,
И шептал, забывшись, он:
«Божий пламень бьет и плещет!».

Нет задумчивей лица
Он на свете все забыл,
А сиянье без конца
Тайно, пристально любил.

Проходя по площадям
В час предутренний и бледный,
Он решить пытался сам
Назначение жизни бедной.

И однажды он стоял,
Глядя в жидкую зарю,
Как-то сразу все узнал
И подумал: Вот, сгорю.

И из света в свет введом,
Он ушел, как отблеск дальний,
Как и мы с тобой уйдем,
Провожая день печальный.

Предчувствие весны

Ну что, рифмач печальный,
Дурак сентиментальный,
Опять с тобой беда.
Среди воды и льда
Вдруг не найдя покою,
С мечтою и сумою
Потянешься в чужую даль,
И ничего уже не жаль.
В ночь, в городке безвестном,
Сквозь дождь услышишь песню
Про сердце глупое свое
И невеселое житье.
Пройдет с весною лето,
И песенка пропета.
Раскроется, мерцающая тьма,
Нас встретит грозная зима.
Ах, среди зимы что делать,
Не от судьбы же бегать.
Ходить почтительно в дворце
С улыбкой бледной на лице
И вдруг примерзнуть к цепи
Среди великолепий.
Заманит, знаю, бедняка
И там убьет наверняка.
Уж очень это скверно.
Она не свой брат, верно.
Ну вот, удрали от зимы,
Но от хандры спасемся ли мы?
Мы все на этом бале
Кто зол, а кто печален.

Выпил в дождь, уснул в трамвае
И катался допоздна.
Злая баба растолкает
От убийственного сна.

Ну и лих же ты, бедняга,
Ночь встречая налегке.
Беспросветный работяга
В сальном рваном пиджаке.

Ничего не понимая,
(И не вспомнит никогда)
Из летящего трамвая
Он шагает в никуда.

Жизнь, ты очень обожала –
О булжничке головой.
Вечно горе обставляла
Любопытною толпой.

Подбежали люди, видят –
Там лежит совсем не то:
Недоступное обиде,
Оболочка, так, ничто.

Руки вывернул вдоль тела,
У лица бежит вода.
И кондуктор онемела:
Вот беда. Беда, беда.

По душе, прозревшей сгранно,
Обозначился простор.
Снизу фары из тумана
Как сквозь воду бьют в упор.

Глядя вниз, в толпу народа,
С сожаленьем, не дыша,
Поразится переходу
Протрезвевшая душа.

Поэты

Гаснет вечер. Только мы,
Наблюдатели природы,
Ждем влияния погоды
На холодные умы.

Грянет в мае снегопад, –
Соловейко из-под снега
Чище, звонче – блеск и нега,
Словно он метели рад.

Светлым ужасом горя,
Жизнь мечтателя пред нами –
Как под низкой тучей пламя,
Как уходит в дым заря

А куда уходишь ты,
Ослепив великолепьем,
Позолота и отрепье
Предвечерней нищеты?

Пронесется в высоте
Светлой бурей музыкальной,
Или там, в ночи печальной
Обращается к звезде.

Вслед за музыкой – покой,
Непрерывное молчанье.
А за нами – ожиданье,
Вечный холод за спиной.

Тот город

Игорю Михалевичу-Каплану

В том городе, тогда еще живые,
Беспечно счастливы всегда,
Веселые и вечно молодые
Мы шли куда-то все тогда.

В толпе влюбленных и худых мальчишек
Смеялась девочка одна:
Смесь жалкой прелести и вспышек –
До дна прозрачного, и вечно голодна.

Необъяснимый, мощный, несусветный
Огонь небесный лился с высока
На старый город, призрачный и светлый.
А жизнь была безумна и легка.

Царил прелестный отсвет постоянно
На всех вещах, в пространстве, и тонки
Улыбки были, а любовь – неожиданна.
Ни тяжести, ни горя, ни тоски.

Из обступившей город черной ночи,
Из темноты, из смерти, из сна
Гляжу на день, тогда слепивший очи,
И только точка ясная видна.

Из ночи город, издали любимый
(О, вздохом не сожги, не тронь)
Все над тобою свет неугасимый,
Всегда сиянье и огонь.

Тот же город

Светлый вечер, вечный вечер!
В теплом золоте горишь.
Одиноко смерть я встречу –
В город тот вступлю, где тишь,
И где колет жар за ворот
Все иголкой во льду.
Я безлюдный светлый город
В одиночестве пройду.
Давит света постоянство,
Свет нюансом небогат.
Буду я глядеть в пространство,
Где дрожит сквозной закат.
Буду я в огне летать,
Жидким пламенем дышать.

Сила тяжкого мечтанья
У бездейственных умов
Вносит сильное страданье
В тайный холод вечеров.
Всплеск под дых, удар в набеге
Этот город, полный грез,
Дважды проклятый навеки.
Здесь холод жизни жжет до слез.
На рассвете черный ветер.
Обожание и страх:
Жутко видеть в бледном свете
Дивный город, весь в огнях.
Город ясных долгих дней
Бедной юности моей!

На старинном небосклоне
Зеленоватая звезда,
Удаляясь, тихо тонет,
Предвещая холода.

И неведомою силой
Вместе стягивает нас.
Мы с друзей не можем милых
Отвести сиянье глаз.

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА

Торжественны и нищи небеса
И голый был пустырь за желтой школой.
Светло закатная горела полоса,
И кто-то, уходя, свистел веселый.
Нас бесприютная весна звала.
А как мы были юны в жажде славы
И как уверены, что все колокола

Хоть не звонят еще, молчит и самый главный,
Но завтра загремят! И были правы.
Вот бледно-голубая ночь приходит.
Так нежно и светло, печально впереди.
Мы забываем попрощаться по пути;
Из дома сны нас далеко уводят.
И пусть заря к нам холодна вниманьем,
Бледна скупая дева – все равно
Синеют сны, как звезды сквозь окно,
Весь день тревожа чудным ожиданьем.

Мире Финкель

Ребенком полудиким, без друзей,
Себя я помню с книгой меж ветвей.
И пыль окраины неслась и опадала,
Желтели лютики, весна все холодала.
Окоченев, сижу до темноты
И тайно горькие храню мечты.
Когда гремят в сиренях соловьи,
Пугливая душа себя боится,
И твердо за Евангелие садится
В очарованье горестном любви.
О гибельная воля и закаты!
Нет, не напрасны соловьев набаты,
Когда безумствуя, ликуя и горя,
Они, моей горячки лекаря,
Пророчили, в тоске ополоумев!
Но многое терялось в черном шуме
Ночного ветра. И в пустых садах
Меня тревожил непонятный страх,
И поднимал мне волосы горой
Холодный ужас.
И теперь порой
Я вспоминаю соловьев далеких.
Еще б не вспоминать. Пришли те сроки,
И вот обещанное я беру.
Пылает жизнь на ледяном ветру
В тоске, в пирах, в хрустальных звонах,
Безумней соловьиных стонов.

Скитаясь шумно по дорогам пыльным,
Я царствую тайком, и дым кадильный
Убогой трапезы уносит в небеса,
И ангелам тревожно: чудеса.
Плевать. Пусть и они понюхают похлебки
Моей и берегут свои заклепки.
Сверкает солнце, дивен день и пуст,
Морозит руки, пар валит из уст.
Похлебка не густа, но боже, с перцем!
И бьет в певучее, пустое сердце.
Да сердце что, честь и хвала уму.
Крестьянствуя в уме, смекая что к чему,
В заботах о насущном безраздельно
Хозяйствую прижимисто и дельно.
Поношены, но целы башмаки.
О барахле и говорить мне не с руки,
Но бритвой, жаль, изрезал все в лохмотья
Веселый ветер, чертово отродье.
Ах, нищее веселье на ветру.
Ведь солнцу все равно, а я умру.

ВИТАЛИЙ РАХМАН

Влюбился в снежную Аляску.
Мне в сказку плыть не запретишь.
Её леса, вершин паласы
И ледников хрустящий мыс.
Глаза озёр её зелёных
Загадкой манят роковой,
Фьордов кружево плетённых
Зовёт прибрежной глубиной.
Любуюсь я созданием Б-им,
Но знаю, там под ледником

Клокочет лавы дух подкожный
И может брызнуть кипятком

Эпистолярный наш роман –
Сплошной обман.
Вам нужен муж,
А мне – свобода...
Вам дети...
Внуков жажду я.
Вам жить и жить,
А мне полгода...
Глядишь – и пенсия моя.
Любуюсь вашей красотой.
Но ведь, “с лица воды не пить”.
А ваше дело молодое
И вам “так хочется любить”...
Кого – еще не очень ясно,
Но цель достаточно близка.
Задача ваша: понапрасну
Не истощать свои года.
Не распыляйтесь, ждите случай,
Стараясь миг не упустить.
А я, всего лишь – ваш попутчик,
Художник, бабник и пиит.

Мир мой – видение
Странное очень:
То, чего не было,
Вдруг проявляется,
То, что реальное –
проседи прочерком,
Белым туманом стелится тихо.
Даже себя не познал и не понял я,
Что о другом мне грустить и печалиться.
Сон, или явь – всё слилось вдруг и замерло.
Было ли, не было – стало реальностью
Тех представлений о зыбкости времени,
То ли вперёд, то ли в сторону мчащемся,
Среди изгибов пространства дискретного.
Только слова мои в смутном сознании,
Но и они пролетят безответными.

Пишу я в пустоту
И с пустотой общаюсь.
Она меня волнует и манит,
Взаимностью ко мне благоволит.
Ее одну люблю.
И ни о чем не каюсь.

Не хочу иметь рабыню
В полупреданном строю.
Мне бы тонкую гордыню
На бессмертия краю.
Мне бы сладостные муки
От свободы испытать,
Лиру воли и разлуки
В звуках нежных привечать.

Одиночество украдкой
За свободой словно тень.
Отдохну в тени прохладной,
Утолю свободы жажду,
Вздернув мысли набекрень.

ДМИТРИЙ МОЦПАН

Станный гость – меланхолия:
Цвет магнолий и меланж;
Беспошадная стихия,
Перламутровый оранж.

277

Данте

Спокойно и грустно, когда полпути за плечами –
Земного пути, потому что иных не бывает.
Друзья подстрелили зелёную птицу печали,
Но не потрошили и чучела не набивали.
И ты говоришь, что тебе перед нею неловко.
И машешь руками. Как крыльями, машешь руками.
Твоя Беатриче живёт в девяти остановках,
Которые ты до сих пор называешь кругами.

А птица глядит, не мигая, и взгляд её полон
Совсем не немного, а шумного злого укора.
Гитара на стенке – не самый изысканный повод
Напяливать новые рифмы на те же аккорды.
Так вера в себя почему-то похожа на ересь,
Волшебная флейта к губам перелугано жмётся.
А к Моцарту в гости с бутылкой приходит Сальери,
И Моцарт нажрётся. И Моцарт, конечно, нажрётся.

Но что тебе гении, ты, ведь, и сам себе гений,
Хотя и не веришь себе ни на грош, ни на йоту.
Немного лысеешь, но это, наверное, гены.
А что до морщин, то они от питья и работы.
Друзья говорят, что бывает значительно хуже:
Дороги – не в Рим, а в иной итальянский топоним.
Твоя Беатриче давно завела себе мужа,
И ты её понял. И ты её, в общем-то, понял.

Ты смазал картину небрежным движением кисти,
И неба лазурь перекрасил в неистово алый.
Не то, чтобы ради каких-то загадочных истин,
А просто затем, что иначе она застывала.
Весомы слова и дела, а шаги невесомы.
Шагая по струнке, теряя без боли и гнева,
Ты в зеркале видишь себя с бородой и босого.
Но чуда не будет, и глупо закидывать невод.

Не явится рыбка – идея себя изжила ли,
А, может быть, просто никто ей за это не платит.
Однако в запасе осталось одно из желаний,
И этого хватит. Конечно же, этого хватит.
И, если твоя Беатриче однажды заплачет –
Случится беда, или просто тоска подкрадётся,
Ты к ней прилетишь, ты всё так же не можешь иначе.
И всё обойдётся. Ты знаешь, что всё обойдётся.

ИВАН ВОЛОСЮК

Эмигрантские стихи Стих второй

Прощай, немая Россия...
М. Лермонтов

Ни Праги нынешней, ни Праги миновавшей
Нет в памяти моей, по крови я не чех,
Но прав был челолек, однажды мне сказавший,
Что молится за всех.

Мне незачем писа́ть для всех, кто на земле той
Не побоявшись жить, боится умереть?
Ты думаешь, что стих – разменная монета,
Кочующая медь?

Ты думаешь, без нас Россия будет та же,
И сохраняя её от всякого врага,
Но на руках моих спасительная сажа
Родного очага.

*Я победил: теперь вести
Народы серые я буду...*
В. Хлебников

Вот постмодерн, сделай шаг туда, где
На ветках висят недозревших идей панцири.
Слышишь – туман не спеша идет по воде,
Сонные листья слегка шевеля пальцами.

Может, ему доверяешь свой главный секрет,
Вот она – тайна – бери её, мучай, развинчивай.
В городе этом последний рожден поэт,
В мире, котором Дали победил Да Винчи.

Прошлого – нет – покосившийся дом оно,
Где-то на желтых страницах твоих учебников
Было написано: «Пушкин» уже давно,
Кто-то спустя столетье добавил: «Хлебников».

21.07.2011

Ночь, как масло, свет режет, как нож её,
Веет страхом от тёмной воды,
Кто на небе большими подошвами
Оставляет созвездий следы?

Кто царапает вкривь его, вкось его,
Непроглядный, вселенский туман,
То играет, как ветер с колосьями,
То монеткой бросает в фонтан?

И, дремая над бездной сферической,
Там, где вечность сгорает, дымя,
Согласился на труд титанический
В *шуме времени* слышать меня?

Станет прохладней воздух, где-то на ветках арфы
Тайного ждут сигнала, чтобы начать концерт.
Хлынут такие звуки: длинные, словно шарфы,
Скользкие, словно змеи, легкие, как конверт.

Пей их, пока живешь ты, пей, как ночную влагу.
Я не владею в слове их мастерством на треть,
Значит, усну под утро, буду вращать бумагу,
Ты же, вращая Землю, им позволяешь петь.

24.05.2011

Мне двадцать восемь, у меня в запасе
Ещё лет сорок и никак не меньше,
А ты мне говоришь, что путь опасен,
И я напрасно не целую женщин.

А я смотрю в их каменные лица,
И среди мертвых слов ищу живое.
Мои элементарные частицы
Всего лишь буквы – и ничто другое.

И те слова, что тяжелы, как камень,
Та рифма, что никак мне не даётся,
И кажется, что взял её руками,
Но ничего в руках не остаётся.

В моём саду листва вчерашняя
Позавчерашнею тоской
Ещё больна, как настоящею,
Неотменённою тобой.

И удивляюсь сам, как в детстве я,
Тому, что мир уже не тот.
И лишь в саду несоответствие,
Несовпадение живёт.

Не проживешь с любовью Митиной,
Моя любовь не так горька,
Мне нужно выспаться и вытянуть
Тоску, как спицу из клубка.

Теперь мне похвастаться нечем,
Я вытащил тысячи слов
Из пламени противоречий –
Такое моё ремесло.

Должно быть, мой дед безымянный
Ковал топоры и мечи,
Тебе же все кажется странным,
Что руки мои горячи?

Я стал привыкать к недоверью,
И мне торопились сказать:
«Ты будешь всегда подмастерьем,
Куда тебе мастером стать!»

Я буду работать, не к спеху,
Мне незачем жизнь торопить;
И слышится дальнее эхо,
И до смерти хочется жить.

* * *

Эту сажу мук не стереть с лица,
Эту боль во мне не стерпеть никак,
И растёт сама строчек лестница,
И даётся мне – просто так.

Я потом умру, а пока – скажу,
И другого нет мне сокровища,
Будто в долг беру, каждый день хожу,
Каждый день хожу и прошу ещё.

23.02.2011

* * *

Это только контур русской речи,
Свалены в углу полутона,
Слог открытый означает плечи,
И согласных слыша свист скворечий,
Всходит «о» как полная луна.

Звукопись, когда твой порох вспыхнет,
Всыпанный в пустые гильзы строк,
Слово станет пулей, станет рифмой,
И душа, как юноша, притихнет.
Первый раз нажавший на курок.

ДИПТИХ

1.
Я был на почте, сладко пахнут клеєм
Мои мечты.
Я знаю точно, что не я жалею,
Жалеешь ты.

Но на конверте не хватает марок,
Его вернут,
Любовь моя теперь – свечной огарок,
Напрасный труд.

Я проштампован, а потом – отправлен,
Я – оценён,
Теперь я как подсолнух: обезглавлен –
Гори огнём.

Пока придешь – минуты станут воском,
И мукой – час,
Я разрешаю только перекрёсткам
Смотреть на нас.

Я разрешаю только окнам тёмным
Смотреть нам вслед,
Теперь остался только мир огромный,
Тебя в нём нет.

2
Теперь газетами заклеено
Твоё окно,
В полях души печаль посеена:
Умри, зерно!

Теперь минуты стали оловом,
Туман – везде,
Пространство плохо прорисовано:
Умри, 3D!

Мы выстрелили, нам ответили,
И ночь темна,
Мы – очевидцы, мы – свидетели,
Умри, война!

Игорю Михалевичу-Каплану

Побережье? тире, львовский дождь? это точка, теперь я
Телеграфному стилю тебя научу без труда,
Ты встречаешь Айрин, открывая все окна и двери.
Так встречают гостей, так любимых встречали всегда.

Оксан отнимает последнее, берег, как нищий,
Небоскребы? пучки вертикальных тире? посмотри:
Эти звезды, как точки, как взгляд затаившийся, хищный,
Как стеклянная колба с живою лучиной внутри!

РАФАЭЛЬ ЛЕВЧИН

МОНОСТИХИ

– А бодхисаттва где? – Да вот он, вот он!..

В нирване нет ни встреч, ни расставаний.

С такою кармой и в стройбат не примут!

Завязывай ты с мантрой! Третьим будешь?

А голем как стоял, так и распался.

Куда вы в Каббалу через компьютер?!

И алеф они в альфу превратили...

Люблю античность (странную любовью).

Вот хеттов, например, люблю не очень.

А Геродот уж так компилятивен!

А гуннов вообще б в глаза не видеть...

Плутарха, кстати, до сих пор читаю.

Катулл вам не какой-нибудь Кибилов!

Не так уж это сладко быть кентавром!

Как политрук в штрафбат, гностик пришёл к манихеям.

А работаешь кем? – Да так, циркумцеллионом...

Он не то чтобы идиот, но уж такой пневматик...

Он её не узнал, но всё равно обидел.

Он андроида создал и с ним немедленно выпил.

Княжеский ужин сна, нищий завтрак побудки.

– Злю есть тоже добро... – Знаю, но как поверить?

Не выбирай любовь, но уж люби, коль выбрал!

Александровский стих снова спешит к погрому.

Сладость – не там, где ты, но и не там, откуда.

Ангел уже летел и возражений не слышал.

Неосквернённый Свет времени не подвластен.

А уж кто Первочеловек, разберутся деревья.

Ну, с Мировой Душой не забалуешь!

Палач, неукротимый, как любовник...

Так это он у вас пассионарий?!

Я этих птиц боюсь, а рыб не вижу.

Да какой он вампир?! так, упырь из глубинки...

А, хоть три головы, хоть четыре, что толку...

На себя посмотри, вовкулак недобитый!

В переводе с хурритского – сплошь печатки!

Если тело – вода, то ведь память – плотина.

Это разве ж глюки? вот раньше, бывало...

Здесь нам виден герой, деловито-пьяный...

Идиот, всё бредущий берегом мысли...

Ну, не мёд, хоть воду... – Заплатишь кровью?

Ты не один, кругом союзник.

Ну что нам делать в Келизее?

Два одиночества на страже.

Нет мира под оливами... А где?

Любовь бессмертна... но ранима как!

А ты не образумишься, не жди.

Вот каннибал. Но ты его не ешь!

Твой профиль всем анфасам фору даст.

Где справедливость?... – Придержи язык!

Вначале было Слово Тишины.

Драконы вечно ищут, что б сожрать.

За творчество у них поныне быют.

Убил? Теперь попробуй оживить.

Вот это Космос. А вот это ты.

Безжалостно наивен этот свет.

Деревя ждуг меня со всех сторон.

И бесконечен молчаливый зов.

Что готу в кайф, то выбросил сармат.

– Ты снишься мне – Да ты не спишь давно.

И вырванный язык заговорил.

Но в этом идол был не виноват.

Стреляй-стреляй, потом рисуй мишень.

Как саламандра, брошенная в воду...

МАРИНА ГАРБЕР

Маме

1

Я всегда обращалась к тебе на ты
С прописной, а теперь не скажу, что б хуже
Относились к тебе, но легли мосты,
Расстояние стало короче, уже.
А теперь мы на разных с тобой, смотри,
Узнаёшь ли себя в выраженьи скорбном,
Так ли пусто под сердцем, в груди, внутри,
Отразишься ли в дерзком себе подобном?

После этого холода – что зима,
Что снега? Пусть метут до утра по крыши.
После этой потери – сума, тюрьма –
Все едино... Беднее церковной мыши
И бесслезней звезды над погостом крыш,
Пусть под куполом шепчут во славу отче,
Все едино – не слышно. Но ты услышь
Голос, колокола одиноче.

После кражи такой, чем залить пробел?
Бесполезны руки, слова нелепы.
Не кричать же слезно: как ты посмел?
Просто жить-тужить: глухо-немо-слепо.
Тычу пальцем в небо... А впереди –
Нет дороги, лишь черные дыры впадин.
И твержу тебе заповедь: не укради.
Никогда. И да будешь ты не обкраден.

2

Мне осталась серьга да с черной дырой кольцо.
Лунный камешек выпал – нежноликий овал в руке.
Жили с грузом, под грузом – прощаемся налегке,
Я смотрю на красивое, но уже не твое лицо.

Ты не смотришь в глаза, чтобы их океанская синь
Не хлестала меня безудержной, как жизнь, волной.
Я прошу о немногом: кресло свое придвинь,
Отключи телефон и молча побудь со мной.

Что сказать не успели, теперь говорим без слов,
Потому как дыхание – глубже молитв и слез,
Потому как теперь каждый день – что соседский пес,
Повилил хвостом, вяло рывкнул и был таков.

Вспоминать ли, плакать ли? Радоваться, что – была?
И цепляться за край, притворяясь, что не тону,
Греть осколок лунный, и всё подбирать слова,
Как пустует кресло в уже нежилом доме.

3

Жизнь продолжается, для жизни всё – равно,
Шум за стеной, в окне играют дети.
Я, сголько раз писавшая о смерти,
О ней не знала ровно ничего.

Жизнь продолжается, для жизни все равны,
Ей боль – не боль, пока не кровоточит.
Но нет тебя – и нет угла, страны.
Любви, любимых, прочего и прочих.

Жизнь – домик картонный на чстырех ветрах,
Вчерашняя опора и твердыня.
А нынче столько соли на губах,
Что каждый звук фальшив... И только имя

Еще парящее на правильной волне,
Еще связующее нитями-крылами,
Звучит, как колокол, в гудящей голове
О том, что было, есть и будет с нами.

май-июнь 2011

И. Михалевичу-Каплану

Тебе, неправильный мой друг,
О чем теперь тебе не спится?
Когда земля опишет круг
И правильные люди, лица
Опять нахлынут, без труда
Все верные слова ломая,
Что мы ответим им тогда,
Наш круг с тобою размыкая?
Мы не ответим, промолчим,
Ведь тишина прочней притворства.
Молчим, хоть что-то говорим,
И в этом нет противоборства.
Не потому, что жжет секрет,

Не потому, что тайны святы,
А потому, что вовсе нет
Тех слов, которыми крылаты.
И пусть додумают потом,
О чем сейчас тетрадь мараю.
Руду с песком, огонь со льдом
Без задней мысли сочетаю,
Без напряженья и натуг –
Так пилигрим идет на службу...
Тебе, неправедный мой друг, –
За нашу праведную дружбу.

МИХАИЛ БРИФ

Только в зеркало взглянул на себя,
сразу облик мой привычный исчез.
Мешковатая, на вырост, судьба
мне досталась от гремучих небес.

Мешковатая, больная на вид,
но в кругой меня взяла оборот
и нисколечко меня не щадит,
из огня да прямо в полымя шлет.

Про невзгоды, про обиды смолчу,
жизнь сквозь пальцы, как песок, протекла,
я невнятное в ответ промычу,
если спросишь у меня, как дела.

Что налево, что направо – беда.
Ну кому с такой судьбой по пути?
Не сбежать мне от нее никуда.
Никуда мне от нее не уйти...

Только к зеркалу я снова приник,
коркой тронулось оно ледяной.
Мой сварливый, ненавидный двойник
там куражится, ползлец, надо мной.

Пусть куражится, ему невдомек,
что не все на этом свете рабы.
Я и строчки сочинить бы не смог
без крутой моей, угрюмой судьбы.

Ведь такие вдруг случаются дни,
что лишь с этой мне судьбой по пути.
Эти дни всем дням рожденья сродни...
Мешковатая, больная, прости...

ВЕРЛЕН

Еще покуда не ослеп
и карандаш держать умею,
пока на воду и на хлеб
еще надежду я имсю,
пока последние гроши
не пропиты в глухой харчевне,
я во спасение души
стихи пишу в тиши вечерней.
Они спасут меня, стихи,
в них вера в завтрашнее солнце.
такие, право, пустыжи,
но вдруг душа моя проснется.
Пишу стихи, как сжуют хлеб, –
в любые беды и напасти.
Пишу, покуда не ослеп,
пока дышу и верю в счастье.

Кто подскажет мне простые
безыскусные слова?
Никого вокруг. Пустыня.
Называется Москва.

Надо рвать, крушить и мчаться
в те края, где ждут меня.
прощевайте, домочадцы,
покатил судьбу менять!..

Отчего же сердце стынет?
Почему душой продрог?
Никого вокруг. Пустыня.
Называется Нью-Йорк.

Мы выверим рифму точно,
хоть амперметром смерьте.
Все пишем, и днем, и ночью,
о жизни, любви и смерти.
В Крыжополе, Вязьме, Жиздре
кто зычно, а кто потише
о смерти, любви и жизни
неутолимо пишем,
неутолимо пишем.

Вот вечер. В это время суток,
и сам не знаю почему,
доступны сердце и рассудок
всепониманью моему.

Неясных, дивных свойств коренья
мне, видно, заварили в чай,
и оттого мое прозренья –
полувосторг, полупечаль.

И ни на что не претендуя,
с душою собственной в ладу,
в свирель я осторожно дую –
пусть пляшут яблони в саду.

«Ни дня без строчки»?
Так и есть: ни дня без строчки!
Усвоил это навсегда.
Свой пыл не вычерпал.
Сегодня строчку написал,
поставил точку.
Сегодня строчку написал,
завтра – вычеркнул.

ПОЗДНИЕ СЛОВА

Давать словам приют – ужели тяжкий труд?
Их в строфы загонять – серьезное ли дело?
Зачем же ты душа, пеклась тогда, радела?
Ты думала, стихи от бед меня спасут?
Нет, не спасли от бед, но благодарен все ж
тебе, моя душа, за вещие прозренья,
за муки и любовь, паденья и паренья,
за поздние слова, за этот поздний дождь.

РАИСА РЕЗНИК

В ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Угомонила суета
вечерних звонов.
Осенний ветер неспроста
смирил свой норов.
Не зря туман скупой слезой
отводит душу.
покой с зависшей тишиной
одна я рушу –
иду по улиц пустой.
в осенний вечер.
На суд шагаю
непростой –
тебе навстречу.

Спой, сыграй, чтоб душа...
Чтоб тепла её не убывало,
чтобы давним дыша,
не внимала урокам бывалых...
Одолев перевал,
за которым витает *когда-то*,
мы устроим привал,
сядем, перелистаем все даты.

Оживёт календарь,
что из наших корней прорастает.
Ты по струнам ударь,
я увижу, как в небе растает
беспокойно курлыкающих стая,
на сезон иль на слом,
ветру сдавших свой дом,
журавлей над селом...

Осенней лёгкой паутинкой
к нему привязана навеки.
А в нём живуг две половинки,
два очень разных человека.
В вечерних сумерках и в полдень
встречаясь с васильковым взглядом,
хочу понять, который подле,
какой из них сегодня рядом.
Боюсь поддать неосторожно
в костёр пылающий поленьев...
Но заменить его возможно
лишь абсолютным повтореньем.
Чтоб так же был порой рассеян
и близоруко шурил веки,
и, грусть-тоску мою рассеяв,
во мне бы видел человека.

Печальней нет дня печального,
случайно встретить случайного.

И горше беды не получится,
чем стать случайной попугичей.

Есть счастье кольца обручального,
есть счастье – не встретить случайного.

Блажен, кто, встречая зарю,
увидел рассвет в серебре,
я раннее утро люблю,
в нём первая мысль – о тебе.

По мне и закат не грустней –
день прожит, спасибо судьбе.
Я вечер люблю, в полусне
последняя мысль – о тебе.

Спасены, кто любит и любим...
Лишних слов вдруг стала суть ясна,
потому что с именем твоим
в моём сердце ожива весна.

Вечность открывается двоим,
врозь теперь немыслимо уже,
потому что с именем твоим
поселился мир в моей душе.

Знаю, бег часов неутомим,
но и в том надёжная броня –
ежедневно с именем твоим
к жизни воскресаю утром я.

ЕВГЕНИЙ ДУБНОВ

У ОКОН

1.
Ветра нет, да тучу нанесло,
Тучи нет, да будто грозный дождь,
А и дождя-то нет, да только гром гремит,
Гром гремит и свищет молния.
За окном калина и рябина,
С другой стороны река под окнами.
Нынче ветрено, светлый день прекрасен.
Ветер раскачивает мосты из тонкой березовой коры
Между зимой и летом за облаком пыли на дороге
В царстве-государстве, девстве-королевстве
Надбуквинных тильд и умляутов, макронов и седилий –

Там вровень с землей
Пресечение дней.

2.

Через взволнованное поле
В передничке, я вижу, ты
Идешь домой... Познания болью
Еще не тронуты черты

Твои на этом фотоснимке,
Что был иль не был сделан... Дождь,
Шатаясь, с ветром злым в обнимку,
По полю, беспокоит рожь.

3.

Мой отпечаток пальцев на стекле
Мне вовсе не знаком –
Как будто кто-то здесь во мгле
Проходит босиком.

Морозный воздух к нам в окно
Летит и все летит,
Меня желая встретить, – ю
Вновь переплет закрыт.

Хотел я просто поиграть
С тобой в снежки, хотел
В тебя я снегом побросать –
И вот опять вспотел!

Все выговорено, и нет
Для разговора слов.
Люблю литоты (скажем, "не
Совсем еще здоров

Уже хронический больной"),
Дразнилки и стишки –
И окна...

Открывать окно
Люблю, лепить снежки.

ДЕНЬ И ЧАС

1.
День и час упразднился.
Растерян, полон детских страхов,
я говорю: я родился
будто в шелковой рубаше
под вот этим вот деревом
и, ближе
подойдя, у крыльца
в первый раз вижу
серогривого жеребца.
Вот я близким
цепочкой слов
напишу записку –
и всех делов:
У древа
у сыра дуба
много листу много полисту
да много листику зеленого
много
листику
зеленого.

2.

Комочки глины разминая,
Чтоб вылепить свое лицо,
Похожее на маску, знаю
Что там, где мнится край отцов.
Строй каждый атмосферный спорит
С соседним, борется, чтоб дождь
Пролился б на сухом просторе
Души – и всходов вызвал дрожь.

3.

Спотыкаясь в ночи, ослепляемый фарами, видел
Ты, насколько легко перейти бытия рубежи.
Так протягивай миску, не будь на медбрата в обиде:
Кто-то, зная, попросил за тебя, если ты еще жив.

СЮИТА В ТРЕХ ЧАСТЯХ

1.
Как ртуть, блестит вечерняя дорога
Над речкой после теплого дождя,
И если б не тревога та, немного
Хватило бы для счастья: перейдя

Гранитный мост, спуститься по ступеням
К воде и катерам, в которых свет
И голоса – и вдруг услышать пенье
Какой-то птицы высоко в листве.

2.
Будто крик в тишине между тиком и таким часов –
При суровой луне на пути своем невозмутимом
Будто голос совы или в мыслях раздавшийся зов
Из потока, что назван извечным и необратимым.

Между мыслью и мыслью, ударом одним и другим
Учащенного сердца похоже, что белки летучей
Свист и шорох слышны, между дрожью и дрожью руки
Грянул гром в отдаленных пространствах
и временем тучах.

3.
По ступеням желанья спускаясь
в склеп его, под желобчатый свод,
восходя к каннелюрам колонн,
выходя, чтоб последовать за торопливою тенью,
на земле от высоких нагих облаков:
наша плоть,
наше тело –
дело
на срок не поспело

МЕТЕЛЬ

1.
Эти камни стены, согревавшие руки
Будто только вчера, принимают метель,
Абсорбируют ветра звериные звуки,
Открывает ему щедро каждую щель.

Я подстроюсь под ветер дыханьем, синхронны
Чтобы стали мы с ним, – пусть стихийность его
Прямо здесь и сейчас на мгновенье затронет
Всею мощью своей все мое естество.

2.
Мороз на дворе о вчерашней поре,
Звенящую гласною почва, бессмертный
Доносится слог горизонта, скорей
Окно распахнем, чтобы Кая и Герду

Увидеть успеть. Холод хочет войти
С невнятной речью своею – откроем
Все выходы в ночь, фонарем посветим,
Захвачены гибельной детской игрою.

3.
Здесь дети играют
каштановыми полднями,
за ними родители наблюдают,
а здесь полосами
по подоконнику проносятся тени от облаков,
несущихся через ужесточенное небо,
нет никого,
кто в окне бы
двигался легко,
доски пола травой
поросли,
остужается снегом
центробежное тепло
земли,
все быльем поросло,
дождем пронизалось и ветром,
сбивчивое дыханье:
мы
выпускаем в холодные километры,
где камни и корни.

и полногрудые холмы,
и сама
тьма,
сгустившаяся в нервные формы,
в траурные контуры
и очертания,
приобретают хрустящую резкость яви
во сне,
что все травит и травит
душу на ее обрыве
в глубине
мироздания.

УРОЧНАЯ ПОРА

1.
Сегодня
в урочную пору виденья
открывается
чистый
ярко светящийся
ветер,
разворачивающийся на пляже.

2.
Бледность в этих фарах, как на лицах
Тяжело больных; в ушах звенит
Новая дорога; серебрится
Речка и над ней моста гранит.

Пред лицом дыханье лепит формы
Скрытых смыслов – там же, где верхи,
В черных нескольких местах надорван
Небосвода серый балдахин.

Колыбелит тьма распад, снежинки
В ветре, как согласные, звучат
В гласных неназойливо, слезинки
На глазах как будто сгорая.

3.
Вот идет прохожий вдоль поземки
Пешеход, сквозь время шагом легким,
Невесомо движется туда, где
Все произойдет согласно дате.

ВСТРЕЧА

1.
Вот мост, вот тишина, вот спуск
К самой воде, вот поздний вечер,
Перил тепло отдавший брус,
Влюбленных встреча.

2.
Приходи вечернею порою
Смело и без стука: я теперь
Не запру и даже не закрою
До конца, пока ты рядом, дверь.

Год прошел, а вечера все те же,
Продолжает отравлять меня
Эта смесь тревоги и надежды
На закате, в заключенье дня.

Я держусь за жизнь свою; темнеют
Тропы, луг и берег ближний, где
С катеров причаленных позднее,
Свет когда зажгу, начнут глядеть.

3.
Время целиком время,
тело целиком тело:
в срочной жизни
детская улыбка, моложавая походка,
ранняя седина
часы остановились
для отвода глаз,
чтоб в уме закрепило –
и мы видим –
сквозь зелень,

проверяющую воображение,
за окнами.
что внимательно смотрят,
поверх светотени,
где земля поднимается навстречу, –
как все это время
время следит-наблюдает за телом.

В БЕСПОКОЙНОМ СНЕ

1.
Загадаю же я вам загадку
хитру-мудру-неотгадливую.

И сразу будто осень, кругом уж лес посыпался,
весь лист облетел,
и птицы рядом вскрикнули и поднялись,
а что гусли играли,
так это быстра река,
это волны заволновались,
стали бить о берег.

Мосты заросли травой,
вода все замыла и унесла.

2.
Идя по лезвиям травы
К тревожной, трагедийной цели,
Под беспокойством синевы,
Как соловьи в саду запели

Однажды далеко, услышим – и
Продолжим путешествия свои.

3.
Смотри, все ближе мост и город сам
Провинциальный этот, эти спины
И лица горожан, их голоса
Спокойные, их *пабы*, магазины.

НИ СЛЕДУ, НИ СНЕГУ

1.
Не было снегу, не было и следу.
Голова наполняется сумерками.
Мы кляксы в тетради сажали в сказочном городе,
Где жили забияки и воображали
И нимфы плясали и топотали стопой –
И мы ехали к морю гулять.
Но ни снегу, ни следу.
Хорошась через листья, гроздья рябины манят.
Реки тьмы набухают.
Придя в лес зеленый, никого, ничего не увидишь,
Только боль светового потока,
Отфильтрованного кронами.
И ни следу, ни снегу.

2.
Вот дева на велосипеде
И с попугаем на плече
Никто не может дуб приветить,
Дум его тайных и речей

Понять. – Как пациент? – Ботинок
Намок (он видит из окна),
Что кто-то на дороге кинул.
Шел дождь, и было не до сна.

3.
Бьет ветер в рамы и дрожать
Их заставляет. Свист,
Знакомый, кажется, опять
Я слышу – поздний лист

Торопится упасть. Но нет,
Так плотно эти все
Закреты окна, что нельзя
Услышать, даже сив

На подоконник и прижав
К ззору ухо, звук

Наружной жизни – нет, в ушах
Лишь тот же сердца стук.

НЕ ПЛАВАЮТ

1.

Не плавают ни гуси. ни лебеди,
Ни бурые малые утеныши.
В настежь пустом окне под холодной дрожью звезд
Берег проходит мимо, маяки и причалы.
Но кто,
Кто зажег,
Кто зажег лампу Богу Моста
В этой комнате запаха распада.
Кто, кто зажег?
В этой комнате все не лечится рана.

2.

Ты слышишь граянье ворон,
Крик ласточки? Слова
Какие слышишь ты сквозь звон
В ушах – "листва", "травя"?

Сухая мостовая, снег
Лежалый, мокрый пляж,
Тень, поезд, солнце на стене,
С деталями пейзаж?

Чем меньше эта глубина
Пространства, тем ясней
Фонемы каждой смысл, звена,
Скрепляемого сй.

3.

Многорук, многолик, ветер схватит тебя за одежду.
То свалить норовит, то скрутить и наверх вознести.
То отпустит на миг, то еще неотвязней удержит
На твоём, уже ставшем привычным, опасном пути.

Злых шараханье фар, нету рядом ни друга, ни брата,
А в груди треволнение, томление нервное, страх,
И ни зги не видать, – а потом еще надо обратно –
Но уже веселее, с тяжелою сумкой в руках.

ПО ДОРОГЕ КАЛЕНДАРНОЙ

1.

По дороге календарной
унесло и улелеало
мимо кистей рябин
из непрожитой жизни
вдоль туманной реки в океан.

2.

Здесь нет нигде рябины,
В палате храп и пук,
Жар печки нестерпимый
И сердца полный стук.

А завтра на рассвете
Вставать и вновь идти...
Ты эту боль и эти
Мученья мне зачти.

3.

Мой дальний берег – мнится
Мне здесь – уже парит
Над городом, как птица
В горении зари.

Но почему-то зябко
Не по сезону – то
Отплыть лихорадка
Велит надеть пальто.

ЯН ПРОБШТЕЙН

* * *

Когда по весне разбираешь
завалы старья слишком рьяно,
реликвии перебираешь,
вдруг выпадет труп из чулана,

и повод готов для застолья:
вослед, словно гость долгожданный,
придёт человек из подполья –
дерябнем и солью на раны

посыпем, и вспомним былое...
За скатертью той самобраной
бранимся незлобно сам-трое,
и светит улыбочкой странной
забытый скелет из чулана.

2005

* * *

Человек куролесит, ишачит
(нам все видится, впрочем, иначе)
то как вол, то как бык, то как лошадь
(был такой молодой и хороший)
и горбатится, как верблюд
(да, были люди, а чынче люд)
как собака побитая, плачет
(ни надежд, ни любви, ни удачи)
повторяет, как попугай
(это ад или рай, ад или рай?)
и кривляется, как обезьяна,
как свинья, валяется спяну
(до порога чуть-чуть не дошел),
а упрямится, как осёл.

2008

* * *

Прогоркло масло, горло у певцов,
стихи прогоркли, от любви – «Любэ»:
на сцену выпускают жеребцов,
поющих заунывно о борьбе.

Какой-то «Шультес», снова «Юрьев день»,
какая-то духовная порнуха:
духовная миграция, мигрень,
мутация истерзанного духа.

Гламур и «Глянец», глянец и гламур –
забвение себя никак не
самозабвение. Окститесь! Чур!
Ведь этот дар, полн, сродни Арахне?

Верти, верти своё зеретено,
пряди, пряди изысканный узор,
чтобы в итоге угодить на дно –
мы – лишь песчинки, только Божий сор.

2009

* * *

Патер, дай пятерик,
Мать, благослови!
Но раздаётся рык
Матрицы на крови.

Кровь – это смертных удел,
Метанья, и мрак, и свет,
Здесь же скопление тел –
У матрицы матери нет.

Вот и мечта сбылась:
Дарует бессмертье геном,
Но там, где лишь лиснеет власть,
Бессмертие купит гном.

Нет, он не ростом мал –
Косая сажень в плечах,

И в тренажерный зал
Идёт с мечтою в очах.

Непобедим смех,
Улыбки застыл воск,
Величиною с орех
Его мускулистый мозг.

Будет он вечно жить,
Плодить подобных себе,
Улыбки змеится нить...
Что знает он о судьбе?

Ныне и присно – аминь! –
Глянец, глазурь, гламур –
Живи, и скорее сгинь,
Музей восковых фигур.

2009

Одни умирают при жизни,
Другие живут после смерти,
Поэтому даже на тризне
Светлеет краешек тверди.

Одни умирают в муках,
Другие светло, во сне
И растворяются в звуках
Или сгорают в огне.

Сердце затвердевает –
Утрат и лишений нарост,
Уходят друзья, исчезают
В провалах, в просветах меж звёзд.

2009

Как бывает бриться лень –
Так тягуче бытие,
Канителю целый день
Дробное моё житьё.

И такой же дробный сон –
То ли сон, то ль забытье,
И не ворон – воронье
Каркает со всех сторон.

Дребеденью окружён,
Выгребаю мелкий сор,
Вспоминаю бывших жён –
Не Лигейю, не Линор.

2009

Ограничил жизнь, ограничив, как алмаз,
Жил всё время на грани,
Ограничился этим и вскоре угас,
Чтоб уйти в примечанья.

2009

По будильнику он встаёт поутру
И глотает овсянку и бутерброд
И бежит, чтоб его проглотило метро,
И усердно затем погрузившись в муру

С 9 до 5, полчаса на обед,
Он проглатывает информации пуд,
А потом, навяюченный, как верблюд,
Приползает домой и – опять в интернет:

Виртуально общается, дружит, живёт,
Виртуально влюбляется, даже пьёт,
Он и сам уже стал виртуальным чай,
Но однажды ведь он реально умрёт,
И скажут ему виртуально: «Прощай»!

2009

СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна. Поэт, эссеист, литературный критик, редактор, издатель. Родилась в Киеве в 1926 г. На Западе с 1942 г. С 1960 года живет в Филадельфии, США. Сборники стихов: "Огни", 1973, "Наступление дня", 1978, "Цветенье трав", 1985, "Здесь я живу", 1988, "Избранное", 1992, «На этой красивой и страшной земле», 2004. Она одна из авторов сборника "Триада", 1996 и «Поэтессы русского Зарубежья», 1998; автор книги литературных воспоминаний «...с благодарностью: были», 2002. В. Синкевич опубликовала множество литературоведческих эссе, очерков, рецензий, в том числе статей для энциклопедий; также она одна из авторов «Словаря поэтов Русского Зарубежья», 1999, издатель и составитель антологии поэтов "второй" волны – "Берега" (вместе с В. Шаталовым), 1992. С 1983 по 2007 гг. редактор поэтического альманаха "Встречи", Филадельфия. В. Синкевич участник многих поэтических антологий. В 2010 г. во Владивостоке в издательстве «Рубеж» вышла ее книга статей, эссе и воспоминаний «Мои встречи: русская литература Америки», которая пользуется успехом у читателей.

Валентина Синкевич шестнадцатилетней девочкой была угнана в 1942 г. фашистами на работы в Германию. Ей выпала судьба остербайтера (восточного рабочего), затем дипийца (лица без определенного места жительства) в британской зоне оккупации. В 1950 г. вместе с семьей эмигрирует в Америку. После полета Юрия Гагарина, она была принята на работу библиографом в библиотеку Пенсильванского университета. Первые стихи Валентины Синкевич были замечены и одобрены знатоками и ценителями поэзии Ириной Одоевцевой и Юрием Терапиано. В годы перестройки стихи Валентины Синкевич стали возвращаться на родину.

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ

УРАГАН НАД ФИЛАДЕЛФИЕЙ

Мой город спал, не ведая беды,
привык он к пригоршням воды,
а вот лавина вод обрушилась на город.
Под ветром падали мосты,
автомобили плыли, в лодки превратись,
срывались крыши, и кричали рты
о том, что рвется с миром связь.
И о спасеньи не было и звука.
Прощался с жизнью сбившийся с пути,
до дальнего спокойного рассвета
ему, в потоке вод, не добрести,
сквозь ливень не доплыть до *этого* до света,
лишь *тот* маячит впереди.
Деревья в почву зыбкую впились,
кричат друг другу: – удержишь!
Не падай, листья на землю обрушив,
они под солнцем зеленью узорных кружев
давали тень уставшим от жары камням.
Держитесь! Падать, по не нам,
живым деревьям города большого.
Корней своих мы знаем Слово.
Мы жить хотим! Не надо горя! Стой!
Пусть ураган промчится стороной
с деревьями зелеными не споря.

И на рассвете он ушел.

ВЫСТАВКА "NICHOLAS AND ALEXANDRA" В НЬЮАРКЕ, НЬЮ ДЖЕРСИ

Никого в этом городе нет,
кто бы знал о моем отечестве.
Здесь живет человечество
русских не ведая бед.

И нет православного храма.
и окно с елагинской рамой
не горит ностальгией заката.
Всё чем-то другим объято –
незнакомым – от людей до идей.

Но обломки здесь катастрофы,
о которой написаны тяжкие строфы –
здесь история русской судьбы.
Ее провожали столбы
телеграфные, верные спутники бегства.
Под знаком крови наследника детство.
А любил он живого и нежного пони...
Всё горит. Все в дыму на перроне.
Никому они не нужны...

На случайной, на редкостной ярмарке,
в городе черного люда, в Ньюарке
смотрят в глаза мне четыре княжны.

В ЛЮКСЕМБУРГЕ

*Мальчик с родинкою у губ
Мне читает Экзюпери.
Марина Гарбер*

Исчезает всё в облаках.
Где Чикаго и где Флорида?
Только встретили, вскрикнули – Ах! –
А Жар-птица скрылась из вида.

Люксембург сверкнул золотым огнем.
Мальчик в голубых небесных одеждах.
Что-то Гейнсборо шепчет о нем,
навевая радужные надежды.

Город встретил теплым дождем,
мальчик с родинкой улыбнулся глазами,
и в какой-нибудь тихий день
откроется дверь в театральную драму.

И седой молодой драматург
поведет в собор, где прощают огрехи...
Древний Рим, что ему Люксембург?
Просто белка, грызущая золотые орехи.

А в соборе тяжесть могильных плит,
еретиков белеют скелеты...
Но чайник опять закипит.
И Средневековые опустится в лету.

Снова мальчик стоит в голубом,
Люксембург кружит кружевными дождями.
Всё окутано призрачным сном...
И океан между нами.

ЗДЕСЬ ЖИВУ

Я взяла у города всё напрокат.
Дни проходят, вечера горят.
Поезда идут ко мне и от меня,
быстротой отчаянной маня.
Но стою меж городом и тишиной,
говорю себе: дверь открой –
там не только дым и гранит,
город мой меня хранит.
Здесь живу я им хранима,
он могуче крылья Серафима
каменного надо мной простер.
Был когда-то кочевой шатер,
был когда-то и степной костер.
А сейчас стоит неподвижно дом.
Я живу спокойно в нем.

ШКОЛЬНЫЕ УБИЙСТВА

Это снова стреляют. Знобит. И стезя
обрывается здесь. Обезумев
убивают то, что нельзя:
жизнь. Где же Ангел-хранитель?
Он умер.

Убивают снова в школьном аду,
где сегодня лишь крики и пули,
и цветочки пахнут могильно в саду...
Где ж герон? Нет их.

Уснули,

те, что в ярких ковбойках из кобуры
рвут на скаку пистолет и целятся метко
в тех, что знают лишь стрелы да топоры...
Взрослые взрослых...

А здесь-то ведь детки?!

И звонят к панихидам колокола
во всех захолустьях и во столицах...
Только что сын...

И дочь здесь была...
Что же теперь? Ненавидеть?

Прощать?
Молиться?..

ГУМИЛЕВ В АМЕРИКЕ

Нет, он пел бы и здесь не Город великий,
электричество, автомобили, мосты,
он пел бы Запад – солнечный, дикий,
каньонов драконьи хребты,
стрелу, пущенную рукою
смелой, и злые глаза...
А вдалеке, а вдалеке не давала б покою
песня девушки, льющаяся в небеса.

Что писал бы он здесь, в Нью-Йорке?..
Небоскребы, рекламы, метро...
Ах, смуглой девушке
с поцелуем сладким и горьким
он дарит бирюзовые кольца и серебро.
Костер пылает ярким пламенем,
возвещающая зловещее впереди.
Завтра битва: надо спасать эти травы и камни...
Но падает он – который по счету! –
с пулей в груди.

БЫТЬ

Павлу Бабичу

Нас было мало,
пришедших с вокзала,
прошедших устало
когда-то,
куда-то
к концу, иль началу
не знало
и время.

Были мы теми,
чужими... Тенью
тех катастроф.
Но несколько строф
оставим – жестоких, как время.
Умирает белая
лебедь.
Но нам заказано не быть.
Нам – быть!

ВЫСОКИЙ ГОРОД

Филадельфии

Не всем понятна музыка города.
Но металлический скрежет звучит гордо.
Город высокий, убивший природу,
родил человека твердой породы.
Город идет сквозь леса и реки,
через годы, не смежавшие веки.
Смотрит город человеку в глаза...

А в русском доме мерцают еще образа.
И я еще где-то в пути,
не в силах уйти и не в силах прийти,
домой прийти издалека.
Столбовая в город вела дорога.

Город – стеклянный дневной кошмар.
Город – еще один день победы.
Город – высокий каменный дар:
напророчить беду и заколдовывать беды.

А в зеркале, помутневшем от времени,
отразилась Десна, отразился Остер –
прошедшим временем двух сестер.
И город музыкой джаза не стер
пронзительный ветер потерь.
Закрывается ветхая дверь.
Только город твердит: Не верь!
Эта дверь никогда не закроется.
Будет праздник, зовущийся Троица,
и в огнях придет Рождество.
Будет в городе торжество.

И я буду жить, в небеса провожая,
высоких камней крылатую стаю.

ФЕЙЕРВЕРК

Это вечер, когда тускнеют все фонари
и электрическая в стекле темнота.
А звезда – говори со звездой, не говори –
всё равно не услышишь сквозь шум. Да,
это вечер Четвертого июля.

Железное кружево филадельфийских мостов
звенит и горит. Фейерверк
рассыпается на тысячи звезд и крестов,
и люди восторженно смотрят вверх
на небо феерического июля.

А оно – горящий павлиний хвост –
сверкает. И в туманную превращается пыль,
когда наступает утро. И алконост
поет свою грустную сказку-быль
под утро пятого июля.

В АПРЕЛЕ

Марине Адамович

В апреле, каждый год в апреле
всё празднично, и еле
дождешься до конца недели...
Вот Пасха русская в апреле,
и первая трава в саду.
И зазвонят колокола,
и я ко Всенощной пойду,
как мать когда-то шла,
как мой отец крестился
когда-то на закрытый храм...
А листья
из почек вышли. В апреле
всё напоминает зелень.
Как травы молодо живут,
как зелено врастают в грунт
живой земли, живой природы!
Звериной нет такой породы,
не верящей в благу весгы весны.
И храмы Благовещенья полны,
полны вестей о Воскресенье.
Об этом птиц полет,
поток весенних вод,
об этом трав цветенье...
В апреле, в воскресенье
к Заутрене звонят колокола.

И так живем, что нам нельзя не петь.
А. Фет

Пора принять нам свой жребий
и честно с собой говорить.
Тоска? Что бывает нелепей!
Не лучше ль покорно поплыть
к единственной видимой цели:
к перу и бумаге в столе.
Когда-то нас вспомнят: мы пели
на этой красивой и страшной земле.

ИГОРЬ МЕРКУЛОВ

Бесснежная зима, безрадостный пейзаж,
Дождь в январе и лужи на дорогах...
О беспокойный год! В словах не передашь,
Как в нем слились надежда и тревога.

Бесплодный спор о выборе пути:
Что было хорошо, что стало плохо,
Кто мы? Зачем живем? Куда идти?
И не вернуться ль в прежнюю эпоху...

То спор о времени, а есть еще страна,
Пространство, искривленное судьбою.
Ломающая судьбы кривизна
Обломки оставляет за собою.

Дурная бесконечность: список бед
Бессмысленных и подлых преступлений
Уральский переломанный хребет
Парализует волю поколений.

Любое благо обернется злом,
И будет каждый шаг несправедливым
В стране, где политический разлом
Идет по историческим надрывам.

Мы произносим громкие слова
О днях победы и военной славы,
А Новгороду помнится Москва
Разгромом вероломным и кровавым.

И та ж Москва платила хану дань,
И унижалась деспоту в угоду,
И Грозный разгромил и сжег Казань
Во имя единения народа?

Сибирь – еще с набегов Ермака
Кормушка за Уральскою грядю.
Европа, Азия – два материка,
Повязанные общей бедою.

июль 2011

Казалась мысль пугающей и вздорной,
Что есть на свете родина другая.
Но им твердили злобно и упорно –
Евреи, уезжайте в свой Израиль!
Уехали. Навечно, без возврата.
К изгнанию без сула осуждены.
Освобождение. Может быть, утрата.
Для них. И катастрофа для страны.

июль 2011

*Пора, пора, пора
Творцу вернуть билет.
Марина Цветаева.*

Здесь я живу уже немало лет,
Еще не знаю, скоро ль кану в Лету.
Я не хочу Творцу зернуть билет,
Да и пришел сюда не по билету.
Я здесь не зритель, но и не артист,
И не статист на разные массовки,
Я сам себе пишу сценарный лист...
Создатель, рассуждая философски.

июль 2011

Какой он был хороший иль плохой,
Вождь, Корифей, Отец, Товарищ – Сталин?
Ведь он Россию получил с сохой,
А с атомною бомбою оставил.

О нем слагали песни и стихи –
Он всю страну поставил вертикально;
Оставит с бомбой, правда, без сохи
(Соху воспринимайте фигурально).

Пусть будет новый век благословен,
В нем хватит дела нашим и ненашим –
Страна который год встает с колен,
А целину и бомбою распашем...

июль 2011

*Но поражение от победы
Ты сам не должен отличать.
Борис Пастернак*

О чем бы мы ни рассуждали,
Мы обращаемся к истории –
Скрежешут ржавые скрижали,
Давно застывшие в застое;

Несутся годы торопливо
Мы провожаем их с тоской,
О несклоняемая Клио,
Склонись над памятью людской.

Приди, склонись, напомним людям
Забывшее под слоем пыли;
Где будем – ясно: все там будем,
Но мы не помним, где мы были.

Утрачен смысл и год неведом,
Иных фрагментов нет следа –
Там, где написано «победа»,
Уже читается «беда».

Когда б под разумом толковым
Взошла и расточилась мгла,
Ты б знал: на поле Куликовом
Победа призрачной была.

Разрушен варварской расправой
И покорен Ганзейский град
Чем обернется эта слава,
Какой ценой, каких утрат?

Скажите, чьей военной славе
Альпийский подвиг посвящен?
Какой стране, какой державе
Принес освобождение он?

Когда судьба стоит на карте,
Тут вся страна – военный стан;
А впрочем, мог бы Бонапарт
Российских отпустить крестьян.

Сей акт – к свободе приближение,
Впервые, кажется, в стране,
Случился после поражения
В необязательной войне.

И если б мы еще спросили,
Что было в первой мировой,
Куда воздвинулась Россия,
Восстав от спячки вековой?

А иногда такие войны
Иной затеет мародер,
Где победить нельзя достойно
И проиграть – один позор.

Перелистаем терпеливо
Былых побед тяжелый том:
Быть может, нам расскажет Клио,
Кто мы? Где мы? Куда идем?

ноябрь 2010 – июль 2011

ВАДИМ МОЛОДЫЙ

ПАМЯТИ БОРИСА КОРНИЛОВА (16 июля 1907 – 21 ноября 1938)

Ире Корниловой

Цепочкой на снегу следы босые,
вонзились в небо черные столбы.
Чудовище голодное – Россия –
с рычанием взметнулось на дыбы.

Я молча бьюсь в его когтистых лапах
и мне в лицо, наотмашь, сквозь пургу,
летит, звеня, застывшей крови запах
следов, навечно выжженных в снегу.

А ты идешь, почти что невесом,
на выюгу глядя отрешенным взглядом,
и вологодский, с грудью колесом,
тебя лениво тыкает прикладом.

Овчарки лижут ка-ли на снегу,
топорщатся от холода погоны,
а ты сидишь один на берегу
и молча дожидаясь Харона.

И омочив в потоке рукава,
ты на воде вычерчиваешь что-то,
и медленно плывуг твои слова,
втекая плавно в вечности ворота...

В холодном сквере шелестит поземка
и я, присев на каменной доске,
с твоей душой бессдую негромко,
захлебываясь в собственной тоске...

ПОСЛАНЕЦ

Я посланец чужих берегов,
вечный путник ин их измерений,
соотрапезник забытых богов,
соучастник их бед и сомнений.

Кто меня пригласил в этот мир?
Почему я застыл над порогом,
чужестранцем на свадебный пир
проведенный по тайным дорогам?

Я поднялся к тебе из глубин
древней памяти, рвущей оковы,
в вечном поиске двух половин,
в изначальности вечно основы.

И раскрыв пред тобой эту глубь,
я тебя охраняю незримо.
Пожалей, приласкай, приголубь,
помяни проходящего мимо...

ВРЕМЯ

Сорвав оковы древней схизмы,
отбросив цепи бытия,
лучом, пробившим грани призмы,
на семь цветов дуга моя

распалась. Или сочелась?
И радугой, наискосок,
по волнам вечности промчалась
и опустилась на песок...

ЛЕДИ ГРЕГОРИ

Виктории-Джейн

Вост каменный зверь над разбитой улыбкой,
тает шорох шагов за незримой стеной,
леди Грегори, будет ли это ошибкой,
если вы полчаса посидите со мной?

Кто же я – ваш слуга или ваш повелитель,
назначавший цену любви королев,
на исходе блужданий попавший в обитель
обретенную теми, кто смог, умерев,

стать несбывшимся сном, безнадсжной попыткой,
затишающим ветром, иссохшей рекой,
палачом, обретающим счастье под пыткой,
Эвридикой, нашедшей приют и покой,

легкой тенью, скользнувшей по стенам пещеры,
отраженьем, мелькнувшим в разломах судьбы,
исступленностью страсти, неистовством веры,
беззащитностью тела, упорством мольбы?

Леди Грегори. ломтем засохшего хлеба
кем-то пущен по водам кораблик долгов
и сверкающим оком из гневного неба
грозно смотрит на Землю убийца богов...

Во мраке предсуществования,
в глухой бесформии тиши,
там, где заложены страдания
непробудившейся души,

где все известно изначально,
и где давно проигран бой,
она безмолвствует печально,
разлучена с самой собой,

но в вечном поиске слиянья,
в освобождении от «Я»,
весь смысл ее существования
и оправдание бытия...

...нет, не игрой воображенья
нас манят эти берега,
где сквозь застывшее мгновенье
струится времени река...

НЕПОКОРЕННЫЙ

Приму я истинный свой вид,
едва мое прошепчешь имя,
и воздух грозно загудит,
взревев под крыльями моими.

Клыки в ухмылке обнажив,
взмечнусь я в небо тенью черной,
и полечу на твой призыв,
непокоренный, но покорный.

ПРОСТИ МЕНЯ

Прости меня. За все, что не сказал,
за все, что не сумел, не смог, не сделал.
Холодный ветер. Сумерки. Вокзал.
Перрон. Состава вздрогнувшее тело.

Лизнув колеса, лег на рельсы пар,
поникший дым к трубе прижался робко.
Угрюмый, красноглазый кочегар
куски моей души бросает в топку.

Туман промозглый, мокрая земля,
усталый Йорик дремлет, яму вырыв,
носившики, губами шевеля,
разносят по вагонам пассажиров.

Редееет провожающих поток,
подписаны свидетельства и справки,
зажав в зубах обкусанный свисток,
кондуктор подает сигнал к отправке.

Ревет огонь. бушуя под котлом,
стучат по рельсам ржавые колеса,
и вечный старец на воде веслом
выписывает вечные вопросы.

Плывет в потоке темного огня
душа моя – беспечная транжира.
Проводники, стаканами звеня,
разносят чай безмолвным пассажирам...

Прости меня. За все, что говорил,
за нежных слов лукавую беспечность,
за то, что все на свете раздарил
и сел на поезд, уходящий в вечность...

КОЛДУНЯ

...кораблик к берегу причалил,
я слышу поступь легких ног –
колдунья в облачке печали
ладошкой трогает песок.

Она ступает мне навстречу,
летит улыбка перед ней,
и плавно в ночь стекает вечер
под шепот гаснущих теней.

Я опускаюсь на колени,
не шевелясь и не дыша,
и рядом с ней незримой тенью
плывет в ночи моя душа...

Я на коленях перед Вами
стою, навечно полонен,
колдуньей с грустными глазами,
летающей по песку времён...

Вновь раскололось небо надо мной,
земная твердь разверзлась под ногами –
мой гневный ангел, нежный ангел мой
мне снова душу топчет сапогами...

Мне не глотать невыплаканных слез,
не падать на разбитые колени.
Мной никогда не заданный вопрос
найдёт ответ в долине смертной тени.

Мне не питать иллюзий и надежд,
не строить планов. не давать советов,
не сыпать пепел и не рвать одежду,
и не кидаться в воду с парашютов.

Отчаянье сжимает горло мне,
мне хочется заснуть и не проснуться,
и медленно плывя в последнем сне
к твоей руке губами прикоснуться...

ДОБРО И ЗЛО ОСТАВИВ ЗА ПОРОГОМ

Добро и зло оставив за порогом
я молча выбью запертую дверь,
и в добродетель, ставшую пороком,
вонзят клыки лежащий в склепе зверь.

Под мертвой лапой скрипнет половица,
расколет гром ночную тишину,
и взмлет в небо каменная птица,
неся в когтях безвинную вину.

Зашелестят страницы древней книги –
оживших букв возвышенная речь –
и захрипит под тяжестью квадриги
нелепый шут, несущий миру меч.

Мне не дано ломать себя в поклоне,
но наяву, в бреду, в мечте, во сне,
я не Отцу, не Сыну, не Мадонне –
молюсь тебе, как ты молилась мне.

И с губ моих твое слетает имя,
но перед тем, как вызвать Смерть на бой,
добро и зло, и то, что между ними,
я на алтарь кладу перед тобой...

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Я ждал из зазеркалья знака
и вот, увидел в глубине,
как тень, возникшая из мрака,
безмолвно тянется ко мне.

Я сделал шаг навстречу тени,
и, расступившись предо мной,
стена мерцающих видений
сомкнулась за моей спиной.

И я спустился в мир фантомов,
где бродят души без одежд,
где воздух плавится от стонов
моих несбывшихся надежд,

где время движется по кругу,
ухмылки злобной не тая,
где тени смотрят друг на друга
в холодной мгле небытия.

где память оборотнем рыщет,
где ужас прячется в тиши,
где я стою на пепелище,
среди руин моей души,

где дух во тьме рыдает глухо.
и где несбывшимся маня,
судьба, как ласковая шлюха,
глядит с улыбкой на меня.

Благословенье ли, проклятье,
но в черед ночей и дней
тоски холодные объятья
меня сжимают все сильней.

И мне не вырваться из круга –
в дневном бреду, в кошмарном сне,
смерть – похотливая подруга,
бесстыдно ластится ко мне.

РУССКИЙ ДУХ

Светила плавают в тумане,
бегут пейзажи в армяках,
и молча скачут на диване
коты в завязанных мешках.

Шеренги радостных зоиллов
слагают оды соловью,
толпа ликующих дебилов
поёт и славит жизнь свою.

Засох без влаги лес дремучий,
пуста народная тропа,
и рыцарь, старый, но могучий,
в кустах насилует клопа.

Ревёт свинья под Винни-Пухом,
поля покрыты саранчой,
и крепко тянет русским духом –
кирзю, пивом и мочой...

НОСТАЛЬГИЯ

Меня не душит ностальгия,
берёзок шум не дорог мне,
и неумятая Россия
в моём не движется окне.

В краях живущий басурманских,
ассимилирует космополит,
я чужд её замашек хамских,
и не нужны мне меч и щит.

И ни орел, ни лев, ни львица,
мне, кстати, тоже не нужны,
пусть кучерявится пшеница
на тучных пажитях страны,

пусть пляшут вольные *пейзаны*
под балалайку трепака,
пусть на мосту поют *цыганы*,
а под мостом бурлит река,

пусть мой костер в тумане светит,
пусть искры гаснут на лету –
ведь все равно нас смерть отметит
и ногтем подведёт черту,

и взвояет жалобно гармошка
под сладкий лепет мандолин,
и побежит судьба-дорожка
среди кладбищенских осин...

ЗМЕЯ

Я на любой вопрос отвечу,
я ничего не утаю,
я сам себе взвалил на плечи
судьбу незрячую мою.

Во тьме теряется дорога
и в бесконечности пути
мне не добраться до порога
и передышки не найти.

Ведь я бреду тропой предвечной,
во мгле слепого бытия,
и на душе моей увечной
лежит безумия змея.

Её глаза горят во мраке,
и в помертвевшей тишине
она, свернувшись в темном Знаке,
ко мне является во сне.

И до утра её объятья
меня сжимают, как тиски,
и льются в уши мне заклятья
обмана, злобы и тоски...

ДВЕ СТРАНЫ

Николаю Клюеву

Есть две страны: одна – больница,
другая – кладбище. Сквозь них
проходит тусклая граница
меж миром мертвых и живых.

Палата. Небо. Крепаторий.
Холодный ветер. Черный дым.
Конец придуманных историй.
Дудинка. Вологда. Нарым.

Петля. Елабуга. Марина.
Икон угрюмых темный ряд,
свеча в потеках старина,
невесты траурный наряд.

Сметает звезды холод лютый,
и лунным светом залита,
она встает в костер, раздутый
у опаленного креста.

Застенок. Дыба. Перстень земная.
И как насмешка над судьбой,
врата распахнутые рая
в сиянии бездны голубой.

Взлетает к небу вопль беззвучный,
смывает кровь земную твердь
и поднимая меч двуручный
в холодной мгле крадется смерть.

Но бредя, что-то шепчет миру,
раскинув веер горьких слов,
поэт, омывший кровью лиру,
под гул глухих колоколов...

ПУТИ ДУШИ

Борису Заборову

*Нырнули в бездну голубую
Домов чудовищные тени,
С трудом дыша, на мостовую
Упал и гаснет лунный гений.*

Н. Оцуп

I
Упал и гаснет лунный гений,
и в тишине, глухой и мутной,
из тени прежних воплощений
раздался вопль души беспутной.

Души беспутной и беспечной,
души, скорбящей неумело,
что бродит по дороге вечной,
себе подыскивая тело.

И озарен улыбкой странной,
на мир, подернутый туманом,
глядит из бездны первозданной
слепой старик в халате рваном.

А вопль души в застенках бьется,
выносят камень вместо хлеба,
и кровь струей тяжелой льется
из опрокинутого неба...

II
В фате и платье подвенечном
душа, омытая слезами,
стоит в неведеньи беспечном
перед святыми образами.

Слепой жених в потертом фраке
в углу заламывает руки,
плывут в печальном полумраке
виденья, образы и звуки.

Добро и зло, сплетаясь телами,
танцуют вальс на лобном месте,
скребя по полу кандалами
жених торопится к невесте...

III
Невеста плачет и смеется,
жених под флейту пляшет с крысой.
и лунный свет сквозь стекла льется
на горб его и череп лысый.

В чепце и буклях, приседая,
чертя по полу арабески,
выходит фрейлина седая
из-за истлевшей занавески.

И растворяясь в свете лунном,
прижав к груди обрывки тени,
жених, в отчаянии чугуном,
встает со стоном на колени...

IV
... Душа склоняется послушно
к любви без веры и надежды,
и примеряет равнодушно
из плоти скомканной одежды...

И жизнь по древу растечётся мышью,
И у корней исчезнет без следа.*
Илья Будницкий

Мышты, мыши, шорох легких лапок,
изумруд в скорлупке золотой,
за стеклом пылятся груды папок,
с тошнотворной, сытой суетой.

Месяц время погнутые стрелки,
циферблат залит дождем минут,
мы спешим. игрушки-самоделки,
будто нас и в самом деле ждут.

Но мертвеют черные скалы,
темной жизни горькая тщета,
бьется дух о сложенные скалы,
где земля безвидна и пуста...

* "Мышь" – одно из древнерусских названий белки (И. Будницкий).

"И ты – хлопок одной ладони..."
Илья Будницкий

Коан. Достиженья сатори.
Хлопок одинокой руки.

Высокой античности зори.
Налитые кровью белки

вдохнувших дыхание Этны,
лизнувших обугленный лед...

Попытки забвения тщетны,
и тщетно движенье вперед...

Гроб старушки, – наверное, вы замечали –
Чуть побольше, чем детский, и вот отчего
Схожий символ, пронзительный символ печали,
Все познавшая смерть опускает в него.

*Собеседник своей же души бесприютной,
Я под грохот фиакров бродил в забытьи.*
Болдлер (переводы В. Левика)

Все познавшая смерть – составитель законов,
но скитаясь по тропам ее ворожбы,
я порою встречаю незрячих фантомов,
потерявших себя в лабиринтах судьбы.

Собеседник своей же души бесприютной,
в их слепые глаза заглянувший не раз,
с содроганьем я видел за пленкою мутной
иступленного чуждого безумный экстаз.

Сколько раз я встречал их в обликах разных,
в оболочках болезнью изломанных тел,
и в кошмарном театре теней безобразных
на призыв их безмолвный, не дрогнув, летел

к этим бабочкам хрупким, плывущим в тумане,
к этим сломанным куклам на пыльном полу,
к возносящим молитвы в покинутом храме,
к отвергающим смерть на последнем балу.

С них четвертой печати срывая оковы,
я шестую печать призываю из тьмы.
По разбитой дороге грохочут подковы –
мчатся бледные кочи под знамя чумы...

ТАТЬЯНА АИСТ

Из записной книжки писателя
(конец 70-х – середина 80-х)

Арсеник Тарковскому

Как он увидел то, что время
в провинциальном городке
всю жизнь измерило в то время
как день сменялся на реке
зарей рыбной, или закатом,
как кто-нибудь вихрастый с братом
башкой вставал из-под листьев,
как белый зонтик из травы?
Провинциальный ли Плутарх,
архив ли хроники семейной
сведёт с концами этот крах
бескорневой и безземельный?

Так! плачами травы,
так! всхлипами лишь веток
тот дом, где в детстве жили мы,
где скатерть с ног сшибает ветер,
и падает на стол кувшин,
питьё на доски проливая,
но на окне стоит графин,
и день горит, не угасая.

Вот так кружить легко и мчаться,
раскинув руки к небесам,
и в нежной ярости бросаться
к седым обветренным стволам!
И утолять земную жажду в морских ручьях
и обниматься с веткой каждой
и на плечах
у сосен заспанных качаться,
чтоб с новым утром
снова мчаться
раскинув руки к небесам.

НА УТРО ПОСЛЕ ОДНОЙ ВЕЧЕРИНКИ

Рассвет, и свет. Намыты половицы.
Как суп со дна, расхлёбана судьба.
И все спешат по трезвости напиться
из простоты зари, как из ведра.
Но остаются дома двое
попить чайку... морковных пирогов...
И на клеёнке разложить простое
своё фу-фу без шор, обнянков.
Любовь – морковь!
И пироги в сметане...
любовь и кровь...
и чай по простоте...
Храните яд безнравственных метаний,
как валидол в шкафу и в темноте!
Не выносите то, что не созрело
на папёрть жизни нищим подавать,
не допускайте страшного раздела – кто долго ждал,
тот дольше может ждать.
Снимите плащ свой с вешалки, не надо,
Вы – не блудник, я – не судья.
спешите в сад,
там целый сад – прохлада,
там целый сад – зелёная бадя.

И в метели, и в снежном дыме
мы по городу молча ходили.
Город светел был без толпы.
Было странно, что все мы, все мы
быть хотели совсем не теми,
кем смогли, к удивлению, быть.

Снова ходит по снегу народ.
Сумасшедший мой, жалкий мой город!
Здесь судьба у каждых ворот
порошится снежком за ворот.
Здесь загадку трамвайных путей
до утра не решит синагога –
слишком мало земли для людей!
Слишком много места для Бога.

Каждый звук рождает слово,
каждый вздох рождает страх.
Это что там с тихим стоном
медленно встаёт в углах?
Отчего окно раскрыто,
а прохлады нет как нет?
Отчего земля разрыта,
и в канаве тусклый свет?
Отчего ты в угол смотришь
и не слышишь слов своих?
Почему ты галстук носишь,
словно ты – жених?
И ещё...там кто-то виден...
Видишь? Вполуборот?

Если крикнуть: «Вия! Вия!»,
тут же ввалится нѣрод.
В окна, в двери, в рот, и в уши,
всѣ заполнит,
всѣ зальѣт...
Сердце ходит,
глуше, глуше...
«Бац!» ...и кончил ся завод.

На годовщину Б.Б.В.

Черная ночь вползла,
постелилась, как пес на порог.
Я тебе не припомню зла,
поцелую тебя в висок.
Я приду, не собоюсь с пути,
сяду тихо у твоих ног,
расскажу, как мне душу студит
твой ноябрьский белый снежок.

А. С. Мартынову

Где рынком на реку распахнуты ворота,
где были некогда Измайловские роты,
где Троицкий навеки на засов,
где Палата мер всех и весов,
где первый в окнах свет послеблокадный,
где лучший в мире запах ленинградный,
там, вместо некогда стоявшего моста
два дерева растут по берегам.

И вот мне видится картина –
стада чугунных скакунов
изгрызли медные куртины,
лишились мраморных оков,
и мчатся к свету и свободе,
к неподделанным нѣбесам,
где только пустота. возводит
свой черный, свой прелестный храм!

РЕСТАВРАЦИЯ ПЕТЕРБУРГА

Стала Ладога чуть старше,
чуть припухли над ней облака,
грозный Петр себе ноги греет,
кипу снимков полощет река:
вот подсунув алмаз под коронку,
откупился за сотню рублей
флаг Российский, летящий вдогонку
рафаэлям из лоджий аллей;
тут же сплавкой гранитов прибрежных
занят город ввиду трудовой,
а игла посещает орешник
мостовых отражений на дне;
чуть чердак протекает фамильный –
в гущах барок, у самой реки,
похитители цвета фламинго
чешут клювами особняки!

Уши закрыть и не слушать,
как плещет, как хлещет волна.
Кто сказал вам,
что вы на суше?
Все наши вещи и все наши души
строит и рушит,
строит и рушит –
луна.

НА ДЕМОНСТРАЦИЮ 7 НОЯБРЯ

Я люблю мой горд чудный
в блеске славы, иль: без,
но особо в ту минуту,
когда мерзости с небес
опрокинутся на воду
и задышит частый снег,
и смешаются в проходах

улиц грязь и человек,
львы присядут на граните
с ватным комом на спине.
теплым хлебом из раскрытой
фуры в нос ударит мне,
и задышит сквозь туманы,
и рисованный уют
медно-трубный. барабанный
не парад, а Страшный Суд.

Что мы скоты – так сразу продаваться?
Коль жить пришлось в последней из империй.
айда топтать оставленные плацы
и кофе пить в Петровский кафетерий!
А город весь скрипел, как дебаркадер,
стараясь оторваться и уплыть.
Как чайка, на столе загнулась скатерть
и, словно сходни, хлюпали полы.

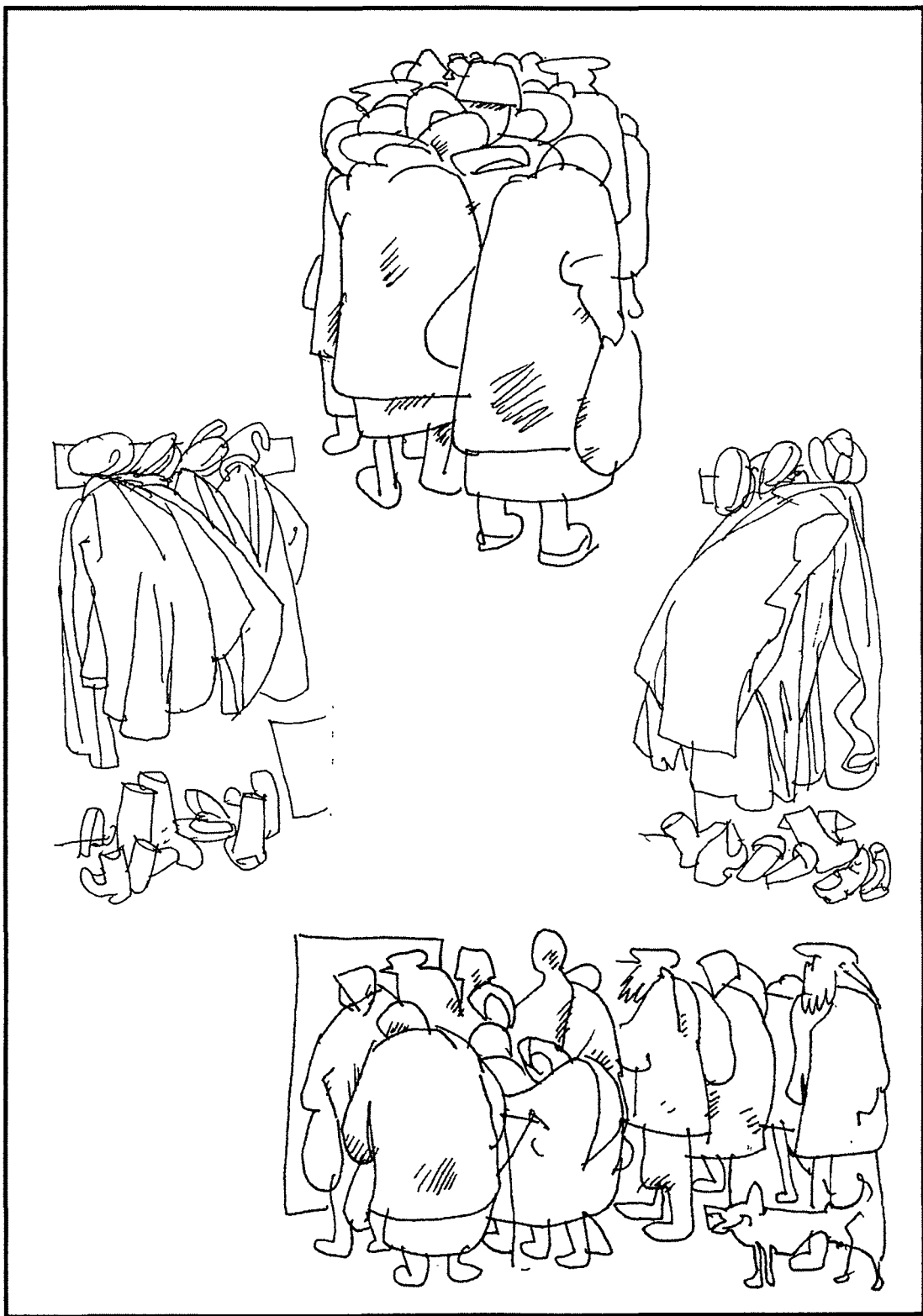
В твой район, Иосиф Бродский,
когда тебя не будет там,
население соберется,
но не потому, что в груди всѣ рвется,
а просто гулять по дворам.
Совершив свой исход юбилейный
из немыслимой комнатной тесноты,
они зайдут в гастроном Литейный
и будут с тобой на ты.
Ты прав был, Иосиф, в том,
что на нас всегда «пиджаки черны»,
хотя на тебе дорогое пальто,
на мне – кримпленовая юбка-штаны.
Как стояли с тобой тополя в пыли,
со мной они теперь пылятся так,
можно подумать, что нет роднее земли,
чем возле кинотеатра Спартак.

Всѣ так, всѣ так,
Но мне не описать
Размыв небес за ржавеньким балконом!
Мне звуками души не разыграть
Прохлады воздуха, вечерней, заоконной!
Мне никогда не рассказать в словах,
О том, что петь приходит в вечерах,
Вдоль над Москвою каждою весной,
И что тогда случается со мной...

Приди, догадайся – случилась беда!
А то не увидишь меня никогда.
Назло тебе в нищенку я превращусь
И в мокрой ночи, словно снег, растворюсь.
Дырявый платок до бровей подвяжу
И с вязаной сумкой, босая, уйду.
Уйду я смиреньем себя истязать.
С дорожною пылью гордыню смешать,
Любить буду только больных и убогих,
И христарадничать на дорогах,
Еще буду думать – мирясь ли, бунтуя.
Верой ли, страстью – себя не спасу я.
Ведь мне безразлично – добро или зло,
я всѣ буду делать тебе лишь назло!

РАЗГОВОР С ВОЗДУХОМ

К приезду с дачи на квартиру
Ты должен был уже успѣть
Пустить три комнаты по миру
И следом тоже опустѣть,
Заставив город удивиться,
Как мог он день прожить без тех,
Кто входят вѣчностью в лицах
Без притязаний на успѣх.
И прыгнул день, перевалившись
За переплѣты сотен рам
Туда, где корнем перевившись,
Кочует радостный вивгам,



Сергей Голлербах. Графика.

Где в виде сохнувшей одежды
Повесился домашний быт,
И где вовсю расцвёл скворечник
И плодоносили фенарные столбы.

Иду по полю, впереди –
простор, простор необозримый,
но сколько глазом ни води,
ты, всё равно, увидишь – мимо
глазных барьеров, берегов,
пространство жизни убегает,
и ни объятий, ни богов,
ни слов, ни жизнью не хватает.

Вам всё равно, а я люблю
сойти в древесный грот буфета,
где сталагмиты чайных блюдец
и залежи угля – конфеты;
тихонько тикают часы,
как будто что-то каплет где-то
раскачивая все весы –
от тени к свету!

Достаточно заночевать на даче
Без света в раннюю весну,
Чтоб все квартирные удачи
Оседлой жизни – ни к чему!
Здесь, в темноте, на воле, с садом
На равных мы, и он скорей
Гордиться б мог своим укладом,
Чем я сплетением корней.
Он не велик, при свете дня
Я перечту его по пальцам,
Но ночью он читал меня
И вышивал крестом на пальцах.
Здесь даже речи о борьбе
Не то чтоб были неуместны –
Он просто шарил сам в себе,
Как доживающий на кресле.
Он много помнил, много знал,
Но бред его, такой реальный
Для тех, кто с ним был, для меня
Был листьев полный умывальник!

Какая весна тяжёлая!
И снова апрельский лёд
Звенит под стопою лёгкою,
А тени бегут вперёд,
Несутся, клубятся под ветром,
Свивая над Невским Проспектом
Одну роковую петлю,
Что всем нам, нет-нет, да и снится
В городе-самоубийце.

Уже просветы голубели
В разрывах туч, и ззаперти
Ни спать, ни есть мы не хотели,
прожив так ровно до пяти.
Уже простыл и съеден рыбак,
Как лук, пахучие слова
Торчали словно кости в рыбе,
И мы их вынули сперва.
Уже знаком до белых крошек
Всех чашек, ложек поворот,
Но ты! Как венчик за сторожек,
Ты держишься рукой за рот.
Смотри же – небо голубеет,
При чём здесь поэтический вздор?
Известно всем, что складки неба
Совсем не то, что складки шторм.
Пойдём измерить листьев зыбкость
Певучей детской стопой,
Пойдём познать деревьев близость
С такой далекою землей,
Пойдём вдохнуть, на самой грани,
Всех ожиданий пустоту,

Послушать вдоволь, как меж нами
Роняет сад свою листву.

Лето – тамбур, лето – белка,
И лягушачья икра,
Лето – синяя горелка
С чашкой кофе до утра.
Лето – на небо гляденье,
как важнейшее из дел,
Наконец-то, неименно
Ни имён, ни душ, ни тел.

Одна половинка сердца
Рыдает, смеется, поёт,
Другая – всё замечает.
Счёт аккуратный ведёт.
Одна половинка сердца
Поплачет,
Полюбит, помрёт,
А та ничего не забудет,
И после предъявит нам счёт.

Не знаю, что меня зовёт?
Какой глухой упрямый рог
трубит и в мгlistый путь ведёт
пустых извиlistых дорог?
Наперекор всему – желанью,
уму и совести моей,
он обещает мне свиданье –
ни с кем. Ни с кем-то из людей!

Встреч и разлук ежедневных
Тайнопись рук и плеч,
Встреч и разлук ежедневных,
Взглядов глухую речь
Читаю горящим взором,
Кляня, проклиная тебя –
Ты манишь лишь веток узором!
Лишь ветром целуешь меня!

Ахматова одна умела
Княжной стоять в очередях!
Среди обносков пожелтелых,
Средь лиц, в которых боль и страх.
Собою длинный ряд умножив,
Я привстаю на каблуках,
И куртка моя пахнет кожей,
И гул в толпе, и дрожь в руках!

Всю жизнь могу писать об одном –
Вот у тебя такие губы,
Такой у тебя дом,
Такие подруги.
О, я знаю всё про тебя!
Мой внимательный бог считает –
Вот парк, особняк, вот окно, вот труба...
Только какая любовь у тебя
Он никогда не узнает!

КИНЖАЛ № 2

Я вдохновляюсь собственным стихом!
секу, как плетью, отсекая
желание иметь свой дом
и жить как все, как каждый в стае.
да! он хранит меня, как щит,
от лестных мест и льготной службы,
он ухудшает аппетит,
когда о ценах бабы тужат,
я им – как платьем в октябре
в нетопленной сырой квартире,
он – ухо, и ему везде
понятна речь любого в мире,
и он – кинжал, когда в толпе
на вздыбившихся площадях

я закричу "Совдепу – нет!"
сжав настоящий нож в руках.

Что делать в городе нам летом?
Ища, не находя ответа,
Толпимся здесь, толпимся там,
Спешим гурьбою по домам,
Но дома больше мы скучаем,
Тоски не отвести ни чаем,
Ни созерцанием дворов,
Ни криком граждан из домов.
Июль! Погода вся сияет!
Нам снова лето обещает
То, что мы потерять должны
В душе с пришествием зимы.
И мы боимся потерять,
Но больше хочется нам знать –
Что делать в городе нам летом?
И вот, везде ища ответа,
Мы ходим здесь, мы ходим там,
Мы ходим по пустым дворам,
Пустым садам, пустым домам,
Где, не давая нам совета,
На окнах гаснет небо лета.

Ещё – мне нравится шептать
По десять-двадцать раз названья
Простых вещей – буфет, кровать,
И близкая к осанне, ванна!
О, всё так странно вместе сшито!
Как с гнусом Нус, как с ситом Сита,
Диван с диваном, с рамой Рама
О, жизнь вещей так полигамна!
И непонятно мне -- как долго,
им жить ещё в рабах людей?
Затем, что вижу мало толка
В своём отличие от вещей.

Чем дальше годы отлетают,
Тем дальше отстоит от нас
Всё то, о чём мы так мечтали,
Пока надежды жили в нас,
'и каждый день нам вычитает
один из круглого числа
и душу не утяжеляет,
а только тратит без числа,
а только как бы слепо грабит
нам предназначенный удел,
и день придёт, и – час настанет,
и нас застанет не у дел,
но всё в тоске по вдохновенью,
когда нам станет жить с руки –
хотевшие стихотворений,
писавшие черновики!

Но ведь это – дорога в хаос!
Не помогут ни зной, ни мороз
Разъезжающееся скленть,
Хоть какие-нибудь клепы
На ползущем житие поставить.
Покосился фронтон, как ставень,
Шпили скошены-перекошены,
Мостовые до дыр проношены,
И глядят на прорехи и дыры
С Эрмитажа ржавые кумиры.

В ШИШАКАХ

Да, так я буду вспоминать!
Направо – поле кукурузы,
Налево – дол, где "ишина,
Сгустившаяся до медузы,
А дальше – лес, и за холме
Берёзы белыми стволами
Мерцают кротко в глубине,
Как пред иконой в божьем храме.

Глубокие и проходные,
Как улицы в домах двory,
В метельном пламени и дыме
Они как синие шары,
Как пепельные полусферы
И как лимонные кубы,
А в них – клочок старинной двери,
Кусок камина, тень трубы.

Ещё много осталось в домах
Изразцовых печей в углах.
От ремонтов ещё не размок
Виноградный лепной потолок.
Но на золоте ржавых ворот
Виден герб из двуглавых ворон.

Сегодня – пятый день творенья!
Так зелена, нова трава,
И озирает все владенья
Мой дух, продетый в рукава.
Но свежеслепленную глину,
Чтоб не испортили игрушку,
Пока без красок, без обливов,
Закрыли в парках на просушку.

Выйди посмотреть на наводнение,
На пустое прибавленье вод,
На Невы бесплодное течение,
Помутненье северных природ.
Все мы здесь, наверное, забыли –
Город был Апостола Петра,
Мы его в земного превратили,
Но души своей не изменили
Здешные ветра.

Я – Валькирия в древней коже
наряда, пропахшего пылью
дорог беспечных,
кровью
сечи вечной
с млечных
в меня всосавшихся сосцов.
Своим обличьем и повадкой
я выдаю себя до пяток –
и ненависть хрипит в ноздрях
и дрожь в заточенных локтях.
Но я даю себе приказ
застыть нацеленно, как глаз,
как мышцы бёдер у Геракла.
Взлетев в свистящей мастерской,
он поразил одной стрелой
двоих богов добра и зла
и ранил огненного льва
из лука,
которого Ваятель
не вложил в его ладонь.

Но мне недаром полюбились новостройки!
Сильней всего здесь отразился новый строй,
Где перемешаны скамейки и помойки,
Безротый пупс, и шприц пустой.
Да, именно в бетонные каркасы
Из завитков переливалась жизнь;
Любой конструкции и времени матрасы
В нас отдавались кривизной пружин.
И вся душа была строительством на свалке
Где новшество – лишь воздух и вода,
Где криками из детской раздевалки
Провозглашались земельные права.

Как с панихиды или с концерта
Возвращаюсь с невстреч моих;
Лицо блее, чем стены церкви,
Черней Шостаковича – стих!

Душу, как камень. вложу в прачу,
Запущу в чужие окошки!
А глаза дорогие сыщу
В глазах у дворовой кошки.

Нет, не могу! Всё снится Ленинград...
Точней, не снится,
А если б кто-то разбросал страницы
Единой, стройной повести моей,
И половина бы их в воздухе летала,
А половины вовсе не хватало...

Июнь – ещё движение вперёд.
В июле происходит понимание
Того что жизнь, того что год –
Не только восход,
Но увяданье.
И вот в июле полнота
И увядания и цвета
Стоит как красная черта,
Как след от праздничной ракеты.

Начало дней, прибоем принесённых
К колодцу детского сознания моего,
Пусть не в китовом брюхе, как Иона,
Лежит, но всё же, глубоко.
Мне видятся леса и новостройки,
и страшный надвигающийся сруб,
потом смешают щепки и обломки,
нам выдадут друзей, подруг;
и страшной окровавленной цепью
Мы будем связаны навек
И с тем, чей палец на прицеле,
И с тем, кто лёг спиной в снег.
Не знаю, ветром или духом
Историю на кухню принесло,
Она свистела форточкой над ухом
И лучше всех справляла ремесло.
Безвременье стояло по квартирам
Где каждый сор из каждого угла
Казался точным слепком мира,
Или судьбой спаленною дотла.

Здесь город разместился не вполне,
Но тем точней рисуются в остатке
Просторы, вылезающие вне
дистанции от города до грядки.
Раскид, разброс, сплошное рас-стоянье;
пустырь, и потому – простор.
Заполненность есть новое зиянье,
когда в нее натыкан всякий сор:
железки, домики, бетонные помойки,
остатки садоводства и провода;
и души, словно овцы, в новостройки
бредут из мест, где мёртвая вода.
Здесь шум без губ. здесь кровное без корня,
Здесь, выведена тысячью сортов,
Живая поросль стремительно и сорно
Обвила тын отсохших городов.

Бессвязно, дико, и темно
Ты только так мне открывала
Про всё, что в мире открывала,
Распахивала, как окно!
И ты в своих смешных порывах,
Лишь ветер чующих извивах,
Почти приблизилась к тому,
Что знает дерево в лесу!

Покрытая снытью. мне эта земля,
как мой черновик, понятна.
Я знаю, что значит гуденье шмеля
и что – световые пятна.
Я знаю, что из любимых сердец
растёт этот синий люпин,

что гудящий шмель – это мой отец,
а свет на траве – Вахтин.

МИХАИЛ ГУБИН

Истома осеннего сна...

Когда, позванивая монеткой в кармане,
украдкой, следишь за соседкой в окне,
снимающей лифчик в ванне,
в твоём сознании, вдруг, возникает смутный образ.
и ты, изменив фокус, и скосив зрачки,
с удивлением, узнаёшь во дворе
в случайной прохожей Осень.
В огненно-рыжей копне волос её проседей дождя.

И себя, отождествив с юнцом, карандашом
размашисто пишешь на салфетке жене «прости»,
и, устремившись к выходу, в двери, мимоходом,
бросаешь взгляд в ад овального зеркала на стене.
Возвращаешься...

Потом, долго лежа на диване, на спине,
словно под капельницей,
вслушиваешься в жужжанье полоумной мухи –
в парафраз сказанных кем-то фраз,
раздутых слухов, оставленных на ветру слов.

Глухи и едва различимы шаги мысли...
С высоты птичьего полёта
Рассматриваешь под собой потолок.
Снующим челноком мушиное брюшко
всё наматывает и наматывает клубок...
...виниловый диск патефона...
Истома осеннего сна...

Я болею.
На постели белой
я её лелею,
тлею.

Чаем обжигаем,
краем полотенца
пот со лба снимаю,
таю,
маму вспоминаю.

Элегия утонувшего в тени скал

Море – бескрайнее свежеспаханное поле,
бережно завернутое в хрустящий целлофановый кулёк.
Отколовшийся кусок крыла ангела или альбатроса – па-
рус.
И два матроса, в красивых позах бога Гермеса,
синхронно тянут канат. Мышцы напряжены
и швы на хитонах трещат. Поминутно,
сплёвывающие горький морской рассол,
в синеву волн скашивающие зрачки,
кому-то на берегу, утонувшему в тени скал,
точками и тире видятся они вдаль.

Отчаявшись найти рыбу потяжелей.
чайка заламывает крыла,
топчется на песке в тоске,
втаптывает клинописью летопись бытия.
Из небытия, посреди бела дня и моря,
на гребень волны в кружевной пелерине пены
сирена всплыла. С ходу взяла высокую ноту.
Заголосила, запела... На диво красиво!
Переспелая, телом белая дива.

Но ветру её суеты не понять.
Он любит колечками вить-завивать
мокрые пряди волос её. Понизив голос,
в полость ушной раковины шептать слова,
и жаром дыша, иссушать,
брошенные волной на берег дары моря –
водоросли и кораллы, походая, обглаживая скалы
и шерстя кипарисами небесную гладь.

К концу дня, всласть поиздевавшись
над размякшим миром, в море упал,
разорвав розовую ленту горизонта,
солнечный диск.
На кухонном столе обелиском бутылка вина.
Женщина задумчиво к ужину нарезает
салатный лист. Хрустит ботва.
А между тем, между уснувших скал,
крадучись, канатоходцем, ступает луна/
Но продолжает не тлеть – гореть
(хоть и слабей накал!) закат,
мощностью лампочки в сто пятьдесят ватт.

Дорога на Вашингтон

Мелькают «кары»
воронами в тире.
В упругую мягкость неба
лезвием дорога.

Манипулируя баранкой,
педалями тормоза и газа,
ты ближе к Богу,
чем в синагоге,
кирхе
или в мечети.
С прытью стакброкера на Wall Street(e),
мечется ангел смерти
в автомобильном потоке.

И на Потомаке,
где-то в прибрежной осоке,
чёлн старика Харона
осенней листвой закидало
индейское лето.

Я иногда звоню туда, где был,
но где меня уже нет.
Возможно, таким образом, репетирую будущий свой
уход.
Думаю, Тот, Кто меня возьмёт,
позволит мне о себе иногда сообщать –
ведь, кто-то же,
должен ждать моих внеземных сообщений!

И вот ещё...
Хорошо бы при этом не напугать, не натворить бед –
так, лёгкий бред в виде примятого на диване пледа,
или едва заметного следа молекул одеколона «Polo»;
в свежем надкусе яблока,
в дольке лимона на блюдечке на столе;
или в виде куста сирени в окне в огне заката.

Легкомысленный дивертисмент, эстрада...
Но в награду расплата:
распята в пальцах её сигарета,
где-то в груди одинокая нота «фа»,
печаль морщинкой в уголке рта.

В настенном зеркале,
в овале бледного стекла,
любуется собою Бесконечность,
и лёгкой шалью Вечность
спадает складками с её плеча.

Сон черепахи

Пальцы сложив в щепоть (нс для молитвы),
сжимаю в кармане плоть ключа.
В гранёном стакане свеча,
агонизируя, истекает парафиновыми слезами.
Тремя хрустальными головами на всё безучастно
взирает незажжённая люстра.
В комнате было бы пусто,
не будь в ней меня и у стены шкафа.
Шкафье лицо –
вытянутое кольцо потускневшего зеркала-лужи.

Изображение бывает и хуже.
К примеру, на снимках бродячего фотографа, индуса,
в детстве ослепшего то ли от укуса гнуса,
то ли от жала змеи.
Помню со школьной скамьи –
поймы Ганга, Евфрата, Янцзы
гнутом всегда были густо заселены.

Есть там, конечно, и змеи...
Гибкие как портупей,
они свёрнуты в тугие кольца.
Палашные лучи солнца выводят на их спинах узоры.
К полудню,
змеиные разговоры стихают
и порочные их души, млея,
погружаются в липкий сироп нирваны,
словно резиновый шланг на дно порывевшей ванны.

Прямоком из саванны,
в рваном саване облаков,
прямой и пьяный ветер.
С петель срывает оконные рамы,
топчет железные крыши.
Его стенания за пределами
и вне понимания внутренних стен.

В плену тишины наблюдать тлен свечи в стакане –
равно ожиданию прихода конца света.
Пока новость эта ещё на подходе и не стала темой дня,
делаю два оборота ключа.

В таинстве открывания запоров
заложен, бесспорный, признак
присутствия во Вселенной Всеобъемлющего Начала –
зажатый в пальцах кусок металла,
проникнув в холодное нутро,
оживляет механизм,
создаёт перспективу,
рождает движение.
Это – явление, и оно чудесным образом сказывается
на состоянии двери:
внутри высохшей доски,
червем декорированной под голландский сыр –
до дыр,
в глубине источённой материи,
как в мистерии – в тризне,
метастазами жизни обглоданы рёбра клеток,
и, вот уже, гроздьями веток
наливаются, беременеют сучки.

В проёме двери ослепительно яркий день.
Я на пороге...
Тень лежит на полу и держит меня за ботинки –
мол, не уходи.
Я к ней слишком привык, чтобы её замечать.
Куда интересней мне изучать печать
солнца на опущенных веках,
вдыхать, выдыхать, вслушиваться, ощущать...
И, вдруг, прыгнуть в песок.
И, уже, не чувствуя под собою ног, во всю,
лапами загребать в зелёную гладь моря.
И такое ли горе позабыть, что где-то есть шкаф,
пиджаки, носовые платки, брюки, башмаки,
подтяжки и, до хруста, накрахмаленные рубашки?

Снеговики

Они стоят, улыбками сияя.
Они ещё не знают,
какая участь ждёт беснечных.
Им холод вечный и мартовская ночь
не в состоянии помочь – они обречены.
Уже иссечены живительным огнём светила их тела.
Но, так же, рядом копошатся дети.
Их радостные голоса
и эта песнь капли им нравятся.
И то, как под ногами у прохожих хлопает вода.
И хоть слегка кружится голова
и как-то быстро лики постарели,
они стоят, улыбками сияя,
блестя на солнце пуговками глаз.

Посвящение Казимиру Малевичу

Июльская ночь.
Звёздный иней.
На лацкане неба пятно.
Воздух синий.
Дневное хитросплетение линий
в эти часы –
подвинувшего лука пучок.
И открытый зрачок,
по тёмной комнате шаря,
подключив полусонные два полушария,
недоверчиво окунул себя в синеву.
Deja-vu.

Вяло,
отбросив ватное одеяло,
он накинул на плечи ночь.
За стеной у соседей дочь заплакала,
но вскоре умолкла – уснула.
Он подошёл к стулу. Сел.
И сугулая луна,
проплывая мимо,
его окатила светом.

Этим летом ему было плохо:
часто болела печень,
изводила изжога.
В моду вошла йога.
Исправляя осанку "асаной",
предаваясь "дхьяне" в ванной,
поскользнулся, повредил ногу.
Слава Б-гу, не руку.
Руку было бы хуже –
рвётся там, где уже.

Обычно,
по ночам его комната супрематична:
беспредметно-абстрактна,
загадочно-футуристична.
И, поэтому, сразу она непонятна глазу.
Превращаясь в сгустки и тёмные пятна
(они проступают несвязно),
не зная нормы,
(при этом, меняя свой цвет на чёрный),
синева размыкает формы
внутрикомнатного убранства,
лишив привычного постоянства,
трёхмерность пространства,
искажая и трансформируя оное
во что-то квадратное и чёрное.

Сумерки: густые, лиловые.
Разлиты чернила-тени,
между тем и теми,
кто, от суеты устав,
пусть и отстав, отстал.
Но ему, всё же, и дальше идти,
крест для себя на себе и дальше нести.

Госпожа и служанка Из цикла «Картины Вермеера»

Вчетверо сложенный лист бумаги,
если его разложить,
напоминает отдельно взятый кусок пустыни
с четырьмя барханами и впадиной посередине.
На каждом склоне
как на ладони,
видны кривые и прямые линии,
а, так же, несколько точек.
Просуммировав,
получаем пять-шесть строчек любовного письма.
При этом лист бумаги,
не столько хранитель чернильной влаги,
сколько носитель опасности,
и адресат, находясь во власти пагубной страсти,
является заложником этой напасти
и, попросту, может потерять рассудок

при виде такого письма,
зажатого в пальцах служанки.

Искусство живописи Из цикла «Картины Вермеера»

Окно открыто, воздух свеж и густ.
Под окнами зелёный куст сирени
в цветочной пене утонул.
Художник создавал портрет жены...
Свет мягко рисовал овал её лица,
лучом касался лба и трогал за плечо.
Шуршала кисть о холст –
рука его была тверда,
и глаз был остр –
легко пространство резал на куски
и клал на холст.
И табурет под ним скрипел.
Он напевал-перевирал мотив
старинного мотета.
Её смущало это пенье под воскресенье.
Она ресницы опустила к полу,
но, увидав живот, всё позабыла.
Где-то, лето было на подходе
и месяц май был на исходе.
Легко и чисто на душе,
светло в природе.

Так говорил внутренний голос

Ты куда держишь путь?
Не забудь, повернув, прошлое навестить –
на лугу в зеленую траву упасть, уснуть.
В душистой траве спать –
по волшебной реке снов плыть.

Чтобы понять, как дальше быть,
или не быть, подёргай за нить Самого.
Если нить цела – дела не так плохи,
конец твоей эпохи ещё не наступил.

Если же ты решил, что в избытке испил из чаши сей,
тихо выйди, покрепче дверь прикрой за собой.
Можешь выйти и через окно.
Вниз не смотри. шагай широко.

Но, ты же из тех, в ком потребность живёт летать,
облаком плыть, луну заслоняя.
Тебе и решать.
Можешь, к примеру, написать
Его Величеству королю Англии письмо –
либо Они сэра Исаака Ньютона лишат головы,
либо Им Самим до весны не сносить башмаки.

Перспектива не жмёт? Тогда жди...
Под утро в твой дом кулаком загремит палач
(разбей его паралич!).
На меч его не смотри, на плахе его – не плач.
Будет дождь барабанить о кожу плаща.
С горяча, острым предметом можно попортить вещь –
сбрось её наземь с плеч, голытьба подберёт.

Когда упадёт голова,
душа твоя отойдёт,
над крышами воспарит,
сотворит чудо – Луны затмение.
И каждый раб, плевавший в тебя на площади,
великий страх ошутит
и узрит в тебе для себя знамение.

О фотографии

Фигуры и лица, однажды попав в омут сепии, тонут.
Кусками нарезанные клочья времени,
таят в себе тайны увядания и таяния,
знание о множестве конфигураций бровей,
о величинах ноздрей
и о разнообразии цветовой гаммы глаз,
о неправильных прикусах челюстей людей ушедших,
но успевших поулыбаться на прощание в объектив,
оставивших на фотоплёнке тонкие линии,

грязные лужицы и пуганые зигзаги –
ломкие и недолговечные знаки былого присутствия.

Не имея “лейки” и плёнки,
муха закрыла на века веки
наклейкой на клейкой ленте,
приняв позу лотоса.

Ещё мохнатый календарь
ползёт по стенке вверх под потолок,
и спелыми плодами нагруженная
легко по лестнице взбегает мама,
и звонкой медью щёлкает дверной замок,
и поздней ночью не орут ещё под окнами
про «маму на Багамах».
Ещё сирень не думает цвести,
и бьётся лента чёрная на кумачовом стяге.
Ещё отец к груди не приложил руки,
и я ещё не написал стихи
на белой разлинованной бумаге.

Про этих...

– Ну, и как вам эти нравятся?
Они всё молятся!
Тонкими пальчиками перебирают, перелистывают...
странички книжицы своей –
грязной и ветхой.
Такой грязной и ветхой,
что и в руки взять страшно и тошно.
Читают и читают,
и всё одно и то же,
одно и то же...
– Что же?
– Слово Божье.

Судный день

Где-то в районе 42-й,
где человеческий рой собой
заполнил пространство площади,
в виду величия и гостоянства времени,
когда-то названной «Тайме сквер»;
поздней ночью,
в час,
когда полицейский барьер
мог бы показаться линией горизонта,
в момент спуска хрустальной сферы
на дно колодца времени,
чтобы зачерпнуть очередные 365 дней;
в месте,
где весёлый Бродвей
приготовился лихо бритвой огней
полоснуть по 7-й авеню-вене – «ш-ших!».
каждый из нас вдруг притих и стих.
Белой птицей Стих воспарил над толпой:
...и увидел Бог свет что он хорош
и отделил Бог свет от тьмы.
И мы, в смиреннии, став на колени, произнесли:
АМИНЬ.

Стакан на столе.
В стеклянном капкане вода,
спит...
Родимым пятном лик луны.
Площадь пуста.
Люди навзничь леги.
Каждую ночь они засыпают, имитируя смерть.
Чтобы стала она поивычной,
чтобы не страшно было в назначенный час.

Его поставили люди в своей тоске по вечной жизни –
Бронзовый Человек на площади,
с галунами на галлфе.
Появление луны он отметил кивком головы.

Таракан же, делающий замер стены,
прикинулся спящим,
замер...

Скорбное стихотворение

Умер хороший человек.
Уже три дня его нет.
Он прожил восемьдесят пять лет.
Все эти годы он ел, спал, любил,
гулял, рисовал, любил,
нервничал, курил,
воевал, нервничал,
в плен попал,
нервничал, выжил,
курил, нервничал,
бежал,
воевал, нервничал, курил,
ел, спал, нервничал, воевал,
победил,
любил, гулял, рисовал,
не пил, курил, рисовал, ел,
любил, нервничал,
курил, ел, любил,
не пил, гулял,
курил, любил, нервничал, любил,
не спал, не ел, курил, курил,
любил,
курил, курил, тосковал, любил,
нервничал,
не гулял, не спал, курил,
любил, пил, тосковал,
спал, курил, спал, курил,
пил, не ел, курил,
нервничал, курил,
ел, уехал, нервничал, курил,
мало ел, мало спал, курил,
не гулял, тосковал, курил,
нервничал, заболел, умер.
Пока жил – был один из нас –
стоял рядом на корабле.
Теперь его с нами нет –
мы его спрятали в обшивке.

февраль, 2003

Где-то кому-то в Сибири,
в февральскую снежную стужу,
грязные лужи апреля –
что вода у рта жаждущего
в Аравийской пустыне.

В Турине, на Via Roma:
оскомины от винограда,
и лепнина, тонушая в сфумато;
ребёнком измученная соната Корелли,
в изнеможении, вываливается из окна дома;
мимо плывущий обман дорогого парфюма,
и дурман сигаретного дыма.

В ожидании мокрого тела,
мыло застыло, окаменело.
Ещё утром оно скользило. мыло
и проникало куда хотело.
И тело мле.то...

И губы пели.
Гудели трубы.
Вода шумела.
В щелях шушали тараканы,
туманы извергали краны,
и падали на гребень ванны
барханы пены.

И только кафельные стены
невозмутимы были и тверды –
верны законам строгим вертикали.
И голос трубный их едва ли
способен был бы сотрясти.

2-е апреля, 2003

Винсент к Тео

По ночам пишу картину.
Вязнут в тине бездны мироздания звёзды.
Козни лета в запахе цветения и гнили
В недра с шумом втягивают ноздри.

Костерком пылает вязь холстины.
В наваждении неистово-пастозно громоздятся краски.
Скрытым смыслом полнится паренье
Ломкой бледнокрылой бабочки над лампой.

Словно поздний избалованный ребёнок,
измотав, оставит вдохновенье,
И уснёт, обласканное взглядом, рядом
никому не нужное творенье.

горем людским распахана колея.
дверь – предел Зазеркалья.
за ней внутри комнат из белых стен
любовь моя кровью из вен
пачкает халат врача,
и шепчет слова заклинанья.

Конфигурация капустного листа
изысканно проста.
Лишь тонкие прожилки морщат гладь.
Осколки памяти остры и режут плоть:
в воспоминаньях у каждого из ста
капустный лист – уста
возлюбленной.
Листва же, винограда – угловата,
и тень причудлива, как нити макраме.

Желанье тронуть авокадо

Ломает улицу, дробит её на мелкие кусочки,
витрина овощного магазина.
В корзине, словно на картине в золочёной раме,
разновеликими шарами, ещё сто лет назад,
Сезанном писанные овощи и фрукты.
Уходит в мир иной поэт –
вспетые продукты остаются.
Гнутя под тяжестью плодов лотки.

Обычный день в обычном овощном раю.
Уютно ангелам. Их пению осанны
шуршание кулками не вредит.
Недвижима лежит, раздавленная кем-то в ком,
оранжевая тушка абрикоса, и пара тощих ос.
Осатанев, в засос они гделуют огненную мякоть.
На пол стекает слякоть разбитого куриного яйца.
И на зелёном теле огурца уже видны следы распада.
Царят прохлада, форма, цвет, цена.
Парят над помидорами желанья тронуть авокадо
и краем глаза наблюдать за тем, как женская рука
перебирает осторожно гроздь винограда.
Журчит заученный мотив вода.
Готовы выйти вон из кожи апельсины.
В лиловом бархате испанские маслины,
и сладкой пеною во рту слюна.

Ещё одно письмо Винсента к Тео

По ночам пишу картину.
Вязнут в тине бездны мироздания звёзды.
Козни лета в запахе цветения и гнили
В недра с шумом втягивают ноздри.

Костерком пылает вязь холстины.
В наваждении, неистово-пастозно
Громоздятся краски.
Фресками на стенах полутени
голосами вкрадчивыми шепчут сказки.

Кружевным узором в окнах занавески.
Неуёмны всплески вдохновенья.
Скрытым смыслом полнится паренье
Ломкой бледнокрылой бабочки у лампы.

Я замешиваю на палитре звёзды,
Облаком выдавливаю мякоть неба.
Нёбо, оцарапав коркой хлеба,
Таю в нежности прикосновенья Дуновенья.

Пеньем птиц разбужены на башне,
Будут бить часы охрипшим сонным боем.
С воем, роем в рошу сновиденья мимо.
Спозаранку воссияет в небе зримый облик,
Тающего в звёздах херувима.

Ночь уйдёт без капли сожаленья,
Ожерельем, нанизав мгновения.
И уснёт обласканное взглядом рядом
Никому не нужное творенье.

ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

Марине Гарбер

1.

Судьба подарила мне волчий билет –
Пиита в изгнании затерянный след.
Пишу без признанья – не ровен удел,
И мысли сжимаются в жесткий предел.

Марина! Где строки стихов по утрам?
– У Вас на устах...

...Танцует голубка по крыше.
Марина! Спешите на первый трамвай...
– Солнце уже в небесах...
...Птица взлетает всё выше.

2.

Прекрасная Капитолийская Волчица, –
Сегодня Рим святой тебе приснится,
И вечный люксембургский дождь
Всё не уходит прочь и переходит в дрожь.

И каждый день – как вечера предтеча,
Когда, усталая, ты зажигаешь свечи,
Затеряна в Арденнах, как Клерво,
Хранишь ты русское святое ремесло.

ОТКРОВЕНИЕ

В жизни всё неизменно
и всё переменчиво.

Я благодарен судьбе,
что встретил Тебя на пути, Создатель.
Мне не легче было родиться человеком,
чем Тебе создавать Вселенную.

На меня обрушились все краски и звуки Твоего мира.
Всю жизнь я боялся боли и страданий,
но я переборол свой страх,
и именно это добавило мне силы.
При первой же возможности я предаюсь любви,
я хочу вечно любить,
во все времена года.

Это прекрасное чувство.
И странно наблюдать того,
кто не понимает, что такое любовь,
кто не понимает поэзию,
кто не читал псалмов царя Давида,
кто не понимает,
что искусство создается из любви и страдания,

которые Ты даришь нам, как благодать.
Я – живое воплощение Тебя и жизни,
Твоего Божественного начала
и Твоих законов.
Благодарю Тебя, что я был воспитан и обласкан Тобой,
сила Твоя создавала меня и любила.
Я хочу оставить в наследство лишь то, что я создал сам.
Я никогда так и не мог понять,
где у меня начинается желание создать что-либо
и где оно заканчивается –
оно бесконечно.

Будучи посредственным человеком,
незачем доказывать, что ты не посредственность.
Будучи равнодушным человеком,
незачем доказывать, что ты не равнодушен.
Будучи сочувствующим человеком,
незачем доказывать, что ты сочувствуешь,
незачем доказывать, что ты сострадаешь.
Будучи верующим человеком,
незачем доказывать, что ты веруешь.
Всё это видно Тебе и без увеличительного стекла.
Меня совершенно не трогает,
что говорят обо мне критики,
что обо мне думают читатели,
родственники, друзья и знакомые...
Я-то знаю, что и о чём я думаю.
Когда я начинаю писать,
я не совсем понимаю, о чем это будет,
какой смысл заключается в моей поэзии.

Он существует,
но вначале я просто этого не знаю.
Этот смысл глубок и сложен,
ненамерен и прихотлив,
он ускользает от обычного восприятия
и не поддается логике.

Я всегда видел то,
чего другие не видели,
а того, что видели другие, я не видел.
Я жду, когда наступит освобождение внутреннего «Я»,
которое мне надо принимать таким,
каково оно есть: вместе со смертью.
Смерть завораживает меня вечностью.
Я столько умею,
что не могу допустить мысли
о собственном исчезновении...
Это было бы слишком несправедливо и трагично.
Но самое интересное,
что я всегда понимал, что я смертен.
И только думал о легком уходе.
Я знаю, что ничего не могу взять с собой

в Вечную Дорогу,
поэтому всегда оставляю еще кому-то свои мысли,
поэтому у меня есть друзья и ученики.
У меня в жизни всё переменчиво и все неизменно,
как в начале пути, так и в конце.
Я до сумасшествия люблю жизнь.
Я благодарен судьбе за две вещи:
за то, что я живу,
и за то, что я – писатель.
Я – живое воплощение жизни и ее законов, и ее поэзии,
и воли Всевышнего.
Я научился чувствовать то,
что было для меня непостижимым...

Кормит стайку диких сизых голубей
старый эмигрант российский:
то ли детство вспомнил,
как по крышам птиц гонял,
то ли крошит хлеб из ностальгии.
На углу девятой авеню
взял остатки пиццы из кафе,
где девчонка продавщица, будто ню,
а походка городишка Санта-Фе.
Птицы ссорятся из-за еды

и спешат насытиться сполна,
клекот обещает ливень до утра,
и старик, в предчувствии дождя,
всё роняет хлеб чужбины голубям.

Полине Найстетер

Ах, как было привольно –
это юность под ветром –
всё уносит, уносит...
выше, выше, на небо,
где один только воздух,
где одежда попроще,
и любовь так случайна,
и любовь – вся босая.
Это чувства святые,
будто вечность в пространстве,
это матери песни,
это танец на листьях,
птицы-встречи –
бесконечность полета...
Это молодость наша:
просветленные очи,
долгие летние ночи,
и судьба, будто с крыши слетела,
как аист...

Ивану Волосюку

И в Донецке дожди...
Жить спешишь? – Подожди...
Нет управы на пригород –
городить огород.
И стихи голубиные
бьются строчками длинными,
на стекле капли синие,
как подстрочник зимы...
Сердце жметесь усталостью,
серую талостью.
Так предчувствуем мы
черный лес пустоты.
Не спеши... Впереди
время бродит вдали.

Аа-х,
это
тан-го!
Ар-ген-тин-ское
танго!
Два шага – от тебя,
два шага до тебя.
Всё забыл, как когда-то...
Вспомнил всё, как когда-то...
Мы вдвоем – это танго,
цвета лета – танго,
всё поёт о тебе:
взор украдкой с балкона,
говорит о тебе.
Никогда не забыть мне
те свиданья и пенье,
те движенья и голос...
А-рр-ген-
тин-ское
танго,
и ключи от квартиры,
и тепло от камина –
и опять мы вдвоем...

Твое загорелое тело
в азарте летело
полетом мяча,
руки в воздухе,
будто били мечом
с плеча.

И с восторгом смотрели подруги твои,
как счет игры был мне не с руки.
10:10 – в конце, после долгой борьбы.
...Всё сначала начнем.
Руки мяли мячи...

ВЛАДИМИР СПЕКТОР

* * *

Запах «Красной Москвы» –
середина двадцатого века.
Время – «после войны».
Время движется только вперёд.
На углу возле рынка –
с весёлым баяном калека.
Он танцует без ног,
он без голоса песни поёт...

Это – в памяти всё у меня,
у всего поколения.
Мы друг друга в толпе
мимоходом легко узнаём.
По глазам, в коих время
мелькает незваную тенью
И по запаху «Красной Москвы»
в подсознание своём...

* * *

По контуру мечты,
По краешку тревоги,
Где только я и ты,
И помыслы о Боге,

Там чья-то тень с утра –
Лука, а, может, Павел...
И жизнь – словно игра,
Но, Боже мой, без правил.

* * *

В раю не все блаженствуют, однако.
Есть обитатели случайные.
Речь не о том, что в небе много брака,
И не о том, что ангелы печальные

Никак не сварят манну по потребности
И шалаши с комфортом всем не розданы...
Но что-то есть ещё, помимо бедности,
В чём чувство рая близко чувству Родины.

* * *

Бессмертие – у каждого своё.
Зато безжизненность – одна на всех.
И молнии внезапное копье
Всегда ли поражает лютый грех?

Сквозь время пограничной полосы,
Сквозь жизнь и смерть – судьбы тугая нить.
И, кажется, любовь, а не часы
Отсчитывает: быть или не быть...

* * *

Добро опять проигрывает матч.
Счёт минимальный ничего не значит.
Закономерность новых неудач
Почти равна случайности удачи,
Чья вероятность близится к нулю,
Как вероятность гола без штрафного.
Добро, проигрывая, шепчет: «Я люблю»,
И, побеждая, шепчет то же слово...

* * *

Свет не меркнет, не гаснет –
а просто мерцает незримо.
В небесах над печалью –
мечты, словно голуби, кружат.
Невесёлые мысли бредут
вдоль дороги под ними,
А весёлым надеждам –
лишь воздух мерцающий нужен.

Этот свет, этот воздух,
который так сладок в гортани,
Каждый миг, каждый день,
он не меркнет, мерцая, сгорая...
На мечты уповая,
шагаю за светом, что манит,
И пространство любви в нём мерцает
от края до края.

* * *

Всё временно. И даже то, что вечно.
Оно меняет форму, стиль и суть,
Как жизнь, что кажется наивной и беспечной.
Но в ней со встречных курсов не свернуть.

Оригинальным будь, или банальным –
Исчезнет всё, не повторяясь, в срок,
Как чья-то тень на полотне батальном,
Как в старых письмах слёзы между строк.

* * *

Открыта в комнату воспоминаний дверь,
Хотя скрипит и поддается туго...
Не списки кораблей – находок и потерь –
Зовут, перекликаются друг с другом...

Тугие паруса и ветер молодой,
Солёный привкус встреч и расставаний...
И память, что наполнена живой водой,
Не делит взмах – на «поздний или ранний».

Где похвалы бутон, а где угрозы плетъ –
Не разберёшь, не сыщешь пятый угол...
И нелегко понять, тем более смотреть,
Как за любовью мрак идёт по кругу.

* * *

Среди чёрных и белых –
Расскажи мне, какого ты цвета...
Среди слова и дела,
Среди честных и лживых ответов

Проявляются лица,
И – по белому чёрным скрижали.
Время памяти длится,
Время совести? Вот уж, едва ли...

* * *

От сказуемого до подлежащего,
Через скобки, тире, двоеточия,
Через прошлое и настоящее,
Перерыв на рекламу и прочее...

Сквозь карьерные знаки отличия
И глаголов неправильных рвение,
Позабыв про права свои птичьи,
И про точку в конце предложения,

Между строк, между мыслей склоняются
Лица, словно наречия встречные...
Боже мой! И урод, и красавица –
Все туда – в падежи бесконечные.

* * *

Приходили в комнату тени
И вели беспокойные речи

О потерях – приобретеньях,
О грядущих разлуках и встречах.

И язык мне их был понятен,
И в крови стыла дрожью истома,
Словно тенью солнечных пятен
Обожгло окна отчего дома.

* * *

Растекается, плавясь, не прошлое время, а память.
Не на глине следы – на слезах, на снегу, на песке,
Их смывают легко злые будни, как будто цунами.
И парит в небесах, налегке или на волоске,

Отражение эха, улыбки, любви, трибунала...
Отражение правды в сухих, воспалённых глазах.
В этом зеркале времени память почти что узнала,
Как мутнеет от страха судьба,
и как прахом становится страх.

* * *

Нет времени объятья раскрывать,
И – уклоняться некогда от них.
И в спешке пропадает благодать,
Чужих не отличая от своих.

Нет времени сравнить добро и зло,
Не забывая в муках о добре...
От «было» до «проходит» и «прошло» –
Нет времени. Нет времени. Нет вре...

* * *

Как живётся? – В контексте событий.
И, наверно, в контексте тревог,
Наслаждаясь луною в зените,
Как мерцаньем чарующих строк.

Как живётся? – С мечтой о Карраре,
Невзирая на то, что труха, –
Повсеместно, не только в амбаре.
И лишь шаг – от любви до греха...

Но, взрывая нелепые будни,
Прорываясь сквозь дни и века,
И сквозь слёзы – любовь неподсудна,
И, как стих, иногда высока.

* * *

Тёплый ветер, как подарок с юга.
Посреди ненастья – добрый знак.
Как рукопожатье друга,
Как улыбка вдруг и просто так.

Жизнь теплей всего лишь на дыханье,
И длинней – всего лишь на него.
Облака – от встречи до прощанья,
И судьба. И больше ничего.

М.Г.

Обжигающий вкус не у чая,
А у жизни, у встреч и разлук.
Сердце жарче стучится, встречая,
Превращая во взрыв каждый стук.

Кипяток всех житейских страданий
Обжигает сердца вновь и вновь.
И спасительной ложкой в стакане
Защищает аорту любовь.

* * *

Не изабелла, не мускат,
Чья гроздь – селекции отрада.
А просто – дикий виноград,
Изгой ухоженного сада.

Растёт, не ведая стыда,
И наливаясь терпким соком,
Ветвями тянется туда,
Где небо чисто и высоко.

* * *

Всё своё – лишь в себе, в себе,
И хорошее, и плохое.
В этой жизни, подобной борьбе,
Знаю точно, чего я стою.

Знаю точно, что всё пройдёт.
Всё пройдёт и начнётся снова.
И в душе моей битый лёд –
Лишь живительной влаги основа.

* * *

И впрямь, так будет не всегда.
Пронзают время перемены.
И тот, кто присягает: «Да»,
Вдруг, станет символом измены.

И это всё – сквозь скорый суд,
Сквозь пыль дорог и боль утраты.
И сына Богом нарекут,
И потеряют, как когда-то.

* * *

На рубеже весны и лета,
Когда прозрачны вечера,
Когда каштаны – как ракеты,
А жизнь внезапна, как игра,

Случайный дождь сквозь птичий гомон
Стреляет каплею в висок...
И счастье глохнет, как Бетховен,
И жизнь, как дождь, – наискосок.

* * *

От возраста находок вдалеке
Я привыкаю к возрасту потерь.
И где «пятёрки» были в дневнике,
Пробелы появляются теперь.

А я в душе – всё тот же ученик.
Учу урок, да не идёт он впрок.
Хоть, кажется, уже почти привык
К тому, что чаще стал звонить звонок.

* * *

Давай не думать о плохом,
Страницы дней листая.
Пусть даже, словно птица, в дом
Влетает весть лихая.

И день пройдёт, и ночь пройдёт,
И вместо утешенья
Судьбы продолжится полёт
Сквозь память и прощенье.

* * *

Яблоки-дички летят, летят...
Падают на траву.
Жизнь – это тоже фруктовый сад.
В мечтах или наяву

Кто-то цветёт и даёт плоды
Даже в засушливый год...
Яблоня-дичка не ждёт воды –
Просто растёт, растёт.

* * *

Подожди, душа моя,
Слышишь, музыка струится,
То ли грусти не тая,
То ли, как ночная птица,

Превращая ремесло
В Божий дар и вдохновенье,
И мгновенье, что пришло,
Поднимая на крыло,
Вслед за прожитым мгновеньем...

* * *

У первых холодов – нестрашный вид –
В зелёных листьях притаилось лето.
И ощущение осени парит,
Как голубь мира над планетой.

И синева раскрытого зрачка
Подобна синеве небесной.
И даже грусть пока ещё легка,
Как будто пёрышко над бездной.

* * *

Каждый видит лишь то, что хочет
Каждый знает лишь то, что умеет.
Кто-то отметит, что день – короче,
А для кого-то лишь ночь длиннее.

Но и разбив черепаший панцирь
Дня или ночи, в осколках желаний
Отблески счастья найдёшь, между прочим,
Словно последнюю мелочь в кармане.

* * *

Пока ещё в Луганске снегопад,
Беги за ней сквозь позднее прощанье,
Хватая тьму на ощупь, наугад,
И ощущая лишь любви дыханье.

Пока ещё превыше всяких благ
В последний раз к руке её приникнуть,
Беги за ней, хоть ветер дует так,
Что ни вздохнуть, ни крикнуть, ни окликнуть.

И, зная, что сведёшь её на нет,
Не отставай – беги за нею следом,
Пока её скользящий силуэт
Не станет мраком, холодом и снегом.

* * *

Не слова, не отсутствие слов...
Может быть, ощущение полёта.
Может быть. Но ещё любовь –
Это будни, болезни, заботы.

И готовность помочь, спасти,
Улыбнуться в момент, когда худо.
Так бывает не часто, учти.
Но не реже, чем всякое чудо.

* * *

Самолёты летают реже.
Только небо не стало чище.
И по-прежнему взгляды ищут
Свет любви или свет надежды.

Самолёты летят по кругу.
Возвращаются новые лица.
Но пока ещё сердце стучится,
Мы с тобою нужны друг другу.

* * *

Сигаретный дым уходит в небо,
Тает в воздухе последнее «прости»...
Над дорогой, городом, над хлебом –
Божьи и житейские пути.

Жизнь зависла над чергополохом.
Только мир по-прежнему большой.
Не хочу сказать, что всё так плохо.
Не могу сказать, что хорошо.

* * *

Увидь меня летящим,
Но только не в аду.
Увидь меня летящим
В том городском саду,
Где нету карусели,
Где только тьма и свет...
Увидь меня летящим
Там, где полётов нет.

* * *

Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в отцепленном вагоне
Предвещает не победу, лишь участие
В том процессе, что зовут
"борьба за счастье".

Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в оцепленном вагоне,
Предвещает он победы вам едва ли,
Не для вас куют победные медали.
Претенденты на медали в оцепленье
Цепь за цепью переходят
в наступленье.

Претенденты на победу в марафоне --
Это вам трубят труба в Иерихоне.
Не до жиру, не до бега, не до смеха..
Претенденты...

Претенде...

И только эхо...

* * *

Кому-то верит донна Анна.
Не год – который век подряд
Клубится память неустанно,
Мосты над временем горят.

Пренебрежительной ухмылкой
Опять оскален чей-то рот.
И вечность, как любовник пылкий,
Не отдаёт, а вновь берёт.

* * *

За всё приходится платить –
Судьбой, монетой, кровью...
Вопрос «Как быть или не быть?» –
Всегда у изголовья.

Не отрекаясь от грехов,
Любви, ошибок, боли,
На «Будь готов!» – «Всегда готов!»
Твержу, как раньше, в школе.

* * *

По линии руки,
В дыхании пространства
Мы снова не близки,
Как блажь и постоянство.

И вместе – далеки
От знания ответа,
Как поворот строки
От таинства сюжета.

* * *

И, в самом деле, всё могло быть хуже. –
Мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел, кружит,
Как будто подтверждая: «Всё – не плохо».

Хотя судьба ведёт свой счёт потерям,
Где голубь предстаёт воздушным змеем...
В то, что могло быть хуже – твёрдо верю.
А в лучшее мне верится труднее.

* * *

Взрываются небесные тела,
Земля мерцает сквозь ночной сквозняк.

И только мысль, как будто день светла,
Собою пробивает этот мрак.

Там – сталинские соколы летят,
Забытые полки ещё бредут...
И, словно тысячу веков назад,
Не ведает пошады Страшный суд.

* * *

И всё, как будто, не напрасно, –
И красота, и тень, и свет...
Но чем всё кончится – неясно.
У всех на это – свой ответ.

Он каждый миг пронзает время,
Касаясь прошлого всерьёз,
Смеясь и плача вместе с теми,
Чья память стала тенью звёзд...

* * *

Дышу, как в последний раз,
Пока ещё свет не погас,
И листья взлетают упруго.
Иду вдоль Луганских снов,
Как знающий нечто Иов,
И выход ишу из круга.

Дышу, как в последний раз,
В предутренний, ласковый час,
Взлетая и падая снова.
И взлетная полоса,
В мои превратившись глаза,
Следит за мной несурово.

* * *

Среди кривых зеркал, где лишь оскал стабилен,
Где отраженье дня неравносильно дню,
Всесильный бог любви не так уж и всесилен,
Вскрывая, словно ложь.. зеркальную броню.

И впрямь прямая речь там ничего не значит.
Но кровь и там, и здесь – красна и солонна.
Пульсирует она, как в зеркалах удача,
Чья тень хоть иногда и там, и здесь видна.

* * *

Сединой в бороде
Серебрится прошедшее время.
Чьи-то лики сквозь блики
И вспышки на солнце мелькают.
Бесы рёбра щекочут
И что-то внушают по теме,
Отправляя не время,
А то, что во времени, – в аут.

Что-то ангелы тихо поют
О добре, но не веско.
И пространство души
Наполняется гулом сраженья.
«Про любовь» – это песня,
А, может быть, лишь «эсэмэска»,
Где шрапнелью взрывается
точка в конце предложенья.

* * *

«Неделовым» прописаны дела,
А «деловым» – как водится, успех.
«Неделовые» пишут: «Даль светла»,
А «деловые» знают: «Не для всех».

Но где-то там, за финишной прямой,
Где нет уже ни зависти, ни зла, –
Там только мгла и память за спиной,
Но память – лишь о том, что «даль светла».

* * *

Какою мерою измерить
Всё, что сбылось и не сбылось,
Приобретенья и потери,
Судьбу, пронзённую насквозь

Желаньем счастья и свободы,
Любви познаньем и добра?...
О Боже, за спиною – годы,
И от «сегодня» до «вчера»,

Как от зарплаты до расплаты –
Мгновений честные гроши.
Мгновений, трепетом объятых,
Впитавших ткань моей души.

А в ней – доставшийся в наследство
Набросок моего пути...
Цель не оправдывает средства,
Но помогает их найти.

* * *

Не хочется спешить, куда-то торопиться,
А просто – жить и жить, и чтоб родные лица
Не ведали тоски, завистливой печали,
Чтоб не в конце строки рука была –
В начале...

ЕВГЕНИЯ ГЕЙХМАН

Заметки в дневнике

Греция

(10/02/2008 – 10/08/2008)

Острова

Россыпью слив в корзине
Острова над водой –
Аквамариновый, синий,
Лазурный и голубой.

А луковки белых храмов,
Как васильки, цветут...
Небо вправляют в раму
И создают уют.

Вот ослик бредет по склону,
Не ведая перемен,
Мимо олив зеленых,
Мимо беленых стен.

Ослик уходит в горы,
В небесной чаши проем,
Туда, где небо и море
Беседуют о своем.

Боги

Им было так одиноко
В огромной чаше небес,
Что греки придумали бога,
И так появился Зевс.

Позднее пришли законы,
История, передел...
Но так же стройны колонны,
И так же их мрамор бел.

Рассеянно, безучастно
Акрополь глядит с вершин,
А час или век промчался –
Незначимо для Афин.

Афинские Этюды

Левантийская тоска –
Неизвестная в природе:
Что-то зреет, что-то бродит,
Незнакомое пока...

На припеке в уголке
Дремлет добрая собака,
Что совсем не знает страха
И гуляет налегке.

Кофе, крепкий и густой,
Он, как слезы, щиплет в горле,
Для своей суровой роли
Накаляемый песком.

В этом городе цветы
Вырастают на балконах,
А на мраморных колоннах
Отложился прах тщеты.

Это город, как спектакль,
Он почти невероятен:
Гул машин, как ритм заклиний,
Повторяемых в веках.

Ни кусочек не пропал,
Все записано в скрижалях!
Только вот какая жалость:
Гаснут свечи, кончен бал...

Философские размышления

Intelligent Design

А у кролика – чуткие нервы,
Белый хвостик, стоячие ушки...
Благодарен Господь был, наверно,
Создавая живую игрушку.

На зеленой траве рыжей шерсткой
Бедный кролик доверчиво явлен.
Щиплет травку, невинный и кроткий,
Высших промыслов символ забавный.

Если не был наш мир предначертан
И продуманно набело скроен,
Почему на лужайке вечерней
Обнаружился розовый кролик?

Если верен закон камуфляжа
Для охотничьей жертвы покорной,
Как случилось, что крелик – оранжев,
Ну а панда – такой бело-черный?

И малиновка в солнечной сини
Обозначена сольной руладой...
Вот где замысел: было б красиво,
Остальное мы как-то уладим.

Мы о симметрии Вселенной
Порассуждаем неспеша...
Горит и плавится душа –
Ей, вечной, не впервой, наверно...

В симметрии есть свой резон,
Сухая справедливость правил.
В ней однозначность и закон
Всевышний программист прославил.

Что ж, если бездна звезд полна,
А свету не бывать без тени,
Звездам – числа нет, бездне – дна,
И в светотени сад осенний...

А суть симметрии добра.
На грани бытия и тлена
Колеблется спираль Вселенной –
Дымок от Божьего костра.

От сумы, от тюрьмы, от войны
Зарекаться – пустые заботы.
Азиатские ночи черны
От костров, испаряющих что-то.

Нет единого Бога для всех,
Понимания правды – не парны.
Гравирует земной человек
На крови иероглифы кармы.

Кровь и время уходят в песок,
Все длинней искупленья дорога.
Метеор чертит наискосок:
«Отказать» – резолюцию Бога.

О Боже великий,
А как это будет – «потом»?
Когда земляникой
Запахнет мой маленький дом?

И косы ручьями
Опять побегут по спине,
И будет ночами
Сверчок музицировать мне?

И вечные вишни
Опять зацветут поутру?
О Боже Всевышний,
А можно, что я не умру?

ЛИАНА АЛАВЕРДОВА

ХАСИДСКИЕ МОТИВЫ

1

Знатен Адам Чарторыйский.
Богатство князя несметно.
Но нет наследника в доме:
печально княжее сердце.

В каморку к бедному равви,
хасиду, магиду из Кожниц,
спускается князь однажды
брезгливо и осторожно.

«Я знаю, зачем пришел ты.
Буду молиться за сына.
Главное, чтоб надежды
не теряла княгиня».

И вот благовест колокольный:
рождается сын у князя.
Сердце его ликует,
к хасидам полно приязни.

Брат же князя Адама
смеется над суеверьем:
«Пойдем к твоему хасиду
и силу его проверим».

«Здорово, седобородый!
Мой сын захворал как будто.
Молись за него, чтоб скорее
он выздоровел, Иуда».

Но очи хасид потупил.
Молчанье его сковало.
«Чего ж ты, молиться не хочешь?
Иль злотых тебе не достало?»

Надтреснутый голос старца
мрачно изрек на идиш:
«К сыну поторопись ты.
Может, в живых увидишь».

Смеется Адамов братец,
сажая в экипаж солидный.
«У сына простая простуда.
Мошенник жид очевидный».

Молчал Адам всю дорогу,
нелегким чувством подранен,
и лишь у себя на пороге
узнал, что скончался племянник.

2
Бедный, бедный Зуся!
Жена его не здорова.
В лохмотьях бегают дети,
и пала внезапно корова.
Но Зуся сказал молитву,
а может, пихнул корову:
«Вставай, нас должна кормить ты» –
и корова доится снова.

Воры приходят к Зусе
и тащат последние вещи.
Молчит хасид. Его сердце
лишь перед Богом трепещет.
Когда ж за кувшин схватились,
то Зуся выскочил сразу:
«Не троньте кувшин, прошу Вас.
Пил из него заразный.
А все остальное возьмите.
Мне деньги мешают молиться».
Ушли без добычи воры.
Недоумение на лицах.

Молитву возносит Зуся:
«О Боже, люблю тебя я.
Но нет в душе моей страха.
Я богобоязны не знаю».
Долго был опечален цадик.
Но, гляди-ка, чудо какое!
Под кровать он забился от страха.
Трясет его Божьею волей.
Снова молится Зуся,
от ужаса дыбом рубаха:
«Верни мне любовь, как прежде!
Я умираю от страха».
Вернулось спокойствие к Зусе.
Он спит, блаженно вздыхая.
Пророк Илия улыбнулся:
«Да будет вечен Израиль!»

3
– Деда Борух, деда Борух!
– Внучек, слезы? В чем тут дело?
– Мы с дружкой играли в прятки.
Я так спрятался умело,
Что искал меня он долго.
Не найдя, махнул рукою.
Это же несправедливо!
– Всё ж печалиться не стоит.
Знаешь, всемогущий Боже
Всё горюет, словно нищий.
Он скрывается, и что же?
Человек его не ищет...

4
Ребе Зуся, ребе Елимелех
Шли однажды посреди метели.
И пришли в невзрачный городишко,
И заснули праведнейшим сном.
Спят они, хранимые Всевышним,
Пред огнем каминным, пред огнем.

Ребе Зуся, ребе Елимелех
Подскочили вдруг в своих постелях.
Обуял необъяснимый страх
Двух почтенных и скромнейших ребе.
Ужас воцарился в их сердцах
И дрожат они, как в поле стебли.

Непроглядна-неприглядна ночь.
Убежали два раввина прочь.
Медленно века прошелестели –
Только все преданье не умрет.
Что же те раввины углядели?
Может что прознали наперед?

Был тот городок невыносим.
Аушвиц, Ушпицин, Освенцим.

5
Осьмнадцатый век.
В отдаленных местечках
Танцуют хасиды,
Судьбе не переча.
Вольнь и Подолье,
Литва и Украина.
Усердые хасидов
и радость бескрайние.
Лишение прав,
Избиенья, погромы –
Танцуют хасиды
Свой танец знакомый.

Да что ж, они, право,
Ополоумели?
Страдания навстречу
Ликующим ульем?!
Меня этот пафос
Корежит досадой.
Довольно же,
остановитесь, не надо!
Хвалы ваши Богу
Неужто уместны?
Нужны ли ему
Ваши пляски и песни?

Два века пройдут
И Освенцим с Майданеком
Познает потомство,
Вам Господом данное.
Не слышат хасиды
Грядущего глас,
Сгущается время
В сегодня, сейчас.
Чернеет в глазах –
Лапсардаки и пейсы –
Мистичные,
Благоговейные песни.

Маггиды, мелаамеды,
Шохеты, цадиким ...
Как будто ключи от
Спасения найдены.
Танцуйте ж, в веках
Оставаясь упрямо –
Я шлю вам из будущего
Телеграмму...

6
Вьются длинные пейсы,
губы сжаты упрямо.
Узнаю тебя, племя
сыновей Авраама.
Не бойтесь кому-то
вы казаться смешными –
слепки той, местечковой
и сожженной России.
Это мир наших бабок.

Цили, Срули и Бени
по-английски картавят
здесь, в другом измерении.
В большинстве раствориться
очевидно, что проще,
но чудак ли, мудрец ли
доли той не захочет.
Вы – ожившее чудо,
возрожденный Егупец.
Перед вашим упорством
замолчать бы, потупясь.
Вас “пейсатыми” кличут.
Для меня вы святые.
Вы – кто против теченья.
Вы – жестокие выей.

ЕВРЕЙСКАЯ БАЛЛАДА

То было дело при царе
на Первой мировой.
Служил исправно Гершеле,
любимец полковой.
За анекдотом анекдот
один другого лучше.
И даже вши окопные
свои вострили уши.
А уж какой он был храбрец!
Сражался, словно бешеный.
Георгиевский кавалер,
крестами весь увешенный.
Затеян бой очередной,
и штык вступил в атаку,
которым храбрый Гершеле
пронзает австрияка.
Бессмысленнейшим взором
он в небо поглядел
и, падая на землю,
вскричал: “Шма Исроэл!”
Услышав это, Гершеле
как впал в оцепенение!
Все отошло на задний план:
Россия, царь, сражение.
Три дня, три ночи он не ел.
Один с холодным месяцем,
холодным небом и землей
и, наконец, повесился.

Хоть жанр баллады устарел,
но в меру слабых сил
позволил мне вам рассказать
не сказочку, а быть.

* «Шма Исроэл» («Слушай, Израиль!») – провозглашение единственного Бога, служащее у евреев высшим выражением принятия основного принципа иудаизма. Эта формула является первым стихом текста с тем же названием, входящим в литургию утренней и вечерней молитвы.

Краткая еврейская энциклопедия, Иерусалим, 1992 г.

ЦЫГАНСКАЯ БАЛЛАДА

*Полу Полански, мужественному человеку,
плывущему против течения*

Я была красива. Теперь стара.
Я живу в Нью-Джерси. Увы, дыра.
Проколола шину.
На обочину съехала. Помощи жду.
Дождалась наконец-то. Гляжу, идут.
Все мужчины.

Их движенья, дерзкий зубов оскал,
смуглый облик весь... Налетает шквал
с тишины, заметьте.
“Не цыгане ль вы?” – я спросила их.
“Если против, звоните – пришлю других.
Мы – цыганок дети”.

“Нет, не против. Даже напротив. Я..
Заберите машину себе... Меня
довезите только...”
“Что такое? И чем “Тойота” плоха?”
“Не плоха она вовсе. Нова. Лиха.
Но не жаль нисколько.

Потому что меня в сорок третьем мать,
отправляясь в печь, смогла отдать
молодой цыганке.
Под цыганской юбкой, зверьком вцепясь,
в ее ноги, в жизнь, я познала грязь
мясорубки адской.

Умерла цыганка, а я жива.
Поседела старая голова
в срок мой жизни длинный.
Каждым вздохом, каждым глотком бытия
я обязана двум матерям. И я..
Мне не жаль машины».

ТАТЬЯНА ЩЕГОЛЕВА

ЖЕНА ЛОТА

*«...Жена же Лотова оглянулась позади него,
и стала соляным столпом».*

БЫТИЕ гл. 19

Под зноем, соли солонее,
Одна который век подряд.
Кто скажет ей, что было б с нею,
Не оглянись она назад?

А мы, гонимые ветрами,
Бредем по жизни наугад.
Но как узнать, что будет с нами,
Когда посмотрим мы назад?

СНЫ

Посвящается памяти родителей

Снежинки над городом кружат, сливаясь
С белесою дымкой ночных фонарей.
Сны ходят неслышно, земли не касаясь,
Я жду их прихода, я жду у дверей...

Я маму и папу во сне обнимаю,
Но миг этот краткий прервется сейчас.
Пора расставаться. «Вернетесь?» «Не знаем».
«Скорей возвращайтесь, мне плохо без вас».

По желтым бульварам, по улицам серым
Спешат до рассвета ушедшие сны.
Снежинки на землю ложатся несмело,
И тонет в тумане осколок луны.

ПРОЩАНИЕ

Обними меня, любимый,
У черты небытия.
В грустном жесте пантомимы –
Миг разлуки, ты и я.

Сны прощания беззвучны,
Ночь, дыхание зимы...
Мы с тобою неразлучны.
Это тени, а не мы.

Где-то там поют стрижи
Над рекою сонною,
Где-то плавают моржи,
В синий шум влюбленные,
А над нами этажи
Железобетонные.

НОВОГОДНЕЕ

"Призрак бродит по Европе"
К. Маркс

Снова смутное волнение,
Запах ёлки, мандарин,
Всюду детства повторенье
Рассыпает серпантин.

В Новый год вручает визы
Баба снежная с метлой.
Вдоль забора бродит призрак,
Хоть и пьяный, но не злой.

ВЕСНА

Ну вот и солнышко пригрело,
У дома вишня расцвела.
Мой муж слоняется без дела –
Весна, плевать на все дела.

Соседский кот с утра мурлычет,
На солнце греет свой живот.
Собака мордой в ногу тычет,
Скулит, гулять меня зовет.

Один поэт проснулся рано,
Другой и вовсе не уснул,
А мой ребенок у экрана,
Он программирует весну.

Туман, мороз, осенний лист,
Немая грусть природы.
Лишь дятел – маленький радист
Отстукивает коды.
Стучат часы, ты их должник,
Попробуй откажись.
Сейчас час пик, потом час пик,
Час пик вся наша жизнь.
Уходит время в никуда,
Его нам не вернуть,
Как между пальцами вода,
В непостижимый путь.
Ах, как нам хочется уйти
От глупой суеты,
Но злые ветры на пути
И черные коты.

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ДУШИ

На душе болезной шрамы
Оставляет мне судьба.
Сплошь трагедии и драмы.
Я – судьбы своей раба.

Мне шепнули: "Ты послушай,
Продаются с молотка
Пластилиновые души.
Шрам замазал – жизнь легка".

Я купила и не маюсь,
Не спасаюсь анашой.
Только влипнуть опасаюсь
Пластилиновой душой

ГАЛА

Если бы Гала была у Шагала,
Она бы с Шагалом по жизни шагала,
Но Гала была от Шагала вдали,
Поскольку она проживала с Дали.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Вот словарь – толковый том.
Сколько толку в томе том!
Но поставь его на полку,
Будет он стоять без толку.

ОДА СОБСТВЕННОЙ ЛЕНИ

Я листаю каталоги,
Пью заморские коктейли,
Залегла в своей берлоге,
Наплевать мне на метели.

В книге Данте Алигьери
Мы, лентяйки, в пятом круге
Ада. Значит в полной мере
Нам воздастся. Да, подруги!

Но скажите: слово – "нега"
Вам знакомо? А "истома"?
За окном сугробы снега,
А я дома...

ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА

РОДИТЬСЯ В РОССИИ

Гарри Бареру

В полночном окне серебрится созвездье Стрельца.
И год на излёте, и время итогов настало.
Родиться в России и жизнь в ней прожить до конца,
И не затеряться в снегах её –
это немало.

Родиться в России, где с Западом сросся Восток,
Где совесть и власть никогда не обрящут согласие,
Где ценится жизнь не дороже, чем водки глоток,
И всё-таки здесь
наших судеб таинственный стык
И страх, что без нас это небо когда-нибудь рухнет.
И всё-таки этот, по-пушкински чистый, язык,
И всё-таки эти – в ночи – посиделки на кухнях.

И общая память.
И это зовётся судьбой.
В ней главных огней, что бы ни было,
мы не гасили.

В ней труд и любовь.
В ней, насыщенной и не простой,
Особенный смысл обретает –
родиться в России.

Поверь, Иерусалим:
Была бы моя воля,
Губами бы сняла
С твоих камней слезу.
Здесь вертикаль любви
С горизонталью боли
Образовали крепь,

Я знаю, хрупок мир
И вечность ненадёжна,
И не точны слова,
И уязвима плоть.
Но истина одна
Светла и непреложна –
Одна у нас Земля,
Один у нас Господь.

Прости, Иерусалим,
Я вряд ли вновь здесь буду.
Но будут жечь меня
На северных ветрах

Жар полдня твоего,
Твоей ночи остуда
И за твоих детей
Неистребимый страх.

БОМЖ

Уходит мой поезд в тупик, и захлопнулись двери.
Сигнальная кнопка мигает, на стыках дрожа.
И в гулкой утробе ползущего медленно зверя
Не сыщется жертв, кроме этих – меня и бомжа.

Он зычно храпит, подложив под висок каплеюху.
Вагонная лавка ему – что родная кровать.
«Судьба!» – бормочу, и состав отзывается глухо.
И створки дверные мне сил не хватает раззять.

И едем мы с ним, неизвестно куда и насколько.
И главное, здесь никому не хватиться меня.
И разве что я не отмечена синей наколкой,
А так – мы попутчики, значит, почти что родня.

Мы едем по миру, где спутаны вёсны и зимы,
Где сходятся грех, покаянье, молчанье и крик.
Где все мы равны изначально и все заменимы,
И каждый не знает, когда его поезд – в тупик.

А поезд ползёт, синеватые рельсы утюжа.
И кажется – можно в любую минуту сойти.
Нам были даны при рождении чистые души.
Спит бомж в электричке.
Храни его, Боже, в пути.

* * *

Средь многих световых кругов,
Среди иных высот и впадин,
У смертных есть и у богов
Круг, что у вечности украден.

Он свой у каждого. Он тот,
Куда ты занесён рождением,
Где близких душ круговорот
Подсказан светоприряженьем.

Где все мы сходимся не зря,
Где нас одна качает выюга,
Где, всепрощением горя,
Мы молча узнаём друг друга.

* * *

О лете минувшем,
о зное, о дыме и гари;
Об окнах московских,
слепых от душливой хмари,
Об этих восьми
бесконечных неделях, о многом:
О солнце,
белевшем на небе зловещим ожогом;
О том,
как за всполохом пёр огнедышащий всполох;
О выжженных напрочь лесах и обугленных сёлах;
О сгинувших в пламена людях,
о рухнувших птицах...
Всё минет,
но как мне от памяти освободиться:

Ведь там, где поднимутся снова леса и жилища, –
Под каждой травинкой там тлеет своё пепелище.

БЕССОННИЦА

Сначала она дуновеньем коснётся души,
Потом – словно нехотя – точку больную найдёт.
Подцепит, потянет, придавит – дыши-не дыши.
И снова потянет, и глубже без спросу войдёт.

И вытянет сцепку ошибок, обид и потерь,
О чём про себя и на людях – уж лучше молчок.
Чему только щель приоткрой – и тогда твою дверь
Навряд ли спасут и щеколда, и ключ, и крючок.

Но всё же, но всё же с другой посмотри стороны:
Бессонницы, как и вампиры, боятся утра.
И звёздочка медленно гаснет близ полной луны.
И скоро рассвет,
И петух встрепенулся – пора!

* * *

... И поймана строчка, и остановилось мгновенье,
Вот-вот и задышит готовое стихотворенье.

Но странная рифма вопьётся в строку, как зубило,
И перевернёт всё, что прежде задумано было.

За нею рванутся по-новому мысли и строки.
Бог знает, откуда и кем нам даются уроки.

Так в жизни: идёшь по везучей своей, не везучей,
Пока не наткнёшься, пока не споткнёшься о случай.

И перевернёт он судьбу твою, перелопатит.
А к счастью ли это – понять целой жизни не хватит.

* * *

Это жизнь:
Быстро падает тьма,
Начинается время охоты.
И доносится из-за холма
Плач и смех тонконогих койотов.

Это смерть:
Чуя тяжесть в крови,
Запах самки койота вдыхая,
Пёс несётся навстречу любви
И добычей становится стаи.

Это благо:
Не знать до конца
За каким тебя ждёт поворотом
Зов любви или выплеск свинца,
Или встреча с голодным койотом,

Или вдруг остановит часы,
Что не мыслили хода без боя,
Тот, Кто жизни и смерти весы
Недрожашею держит рукою.

А пока, ставя лапы вразброс,
Напрягаясь всем телом до дрожи,
В лай надрывный срывается пёс
И мороз пробегает по коже.

Каменный каньон, Лос-Анджелес

* * *

Как камешек на дно реки –
Была и нет, прости! –
Упасть, как выпасть из руки
Того, в Чей я горсти.

И снова вынырнуть – жива! –
На вожденный свет.
И душу вывернуть в слова,
Нежней которых нет.

И знать, что лба не остудить,
Не смыть с него печать.
И есть за что меня судить,
И есть за что прощать.

СЕРГЕЙ СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ

Александр Кабанов

Сочиняя вирши, не греши –
На помосте или на погосте...
Искушают медные гроши?
Докучают вежливые гости? –
Поджигая вирши, согреси!

Продлевая рифму, прорычи –
На арене или на экране...
Продают паркетные врачи?
Предают картавые дворяне? –
Прерывая рифму, прошепчи.

Согревая вирши, согреси –
На перроне или на перине...
Достают соседи-алкаши?
Безнадёжен сон о Магдалине? –
Пропивая вирши, не греши.

Примеряя рифму, промычи –
На поляне или в океане...
Колобродят бравые рвачи?
Куролесьят хитрые крестьяне? –
Проклиная рифму, прокричи!

Сокрушая вирши, согреси –
На бумаге или на дисплее...
Над кремлями реют торгаши?
Бесполезен спор о Галилее?
Завершая вирши, не греши.
2004, 25–27 октября

Георгию Жердеву

Никогда не случится,
но всегда приключится ниже левой ключицы
Неизбежный укол –
И над полем помчится за лисицей орлица,
а на белой странице
Замычит чёрный вол.

Надоело ручаться и навек огорчаться,
неучтённый участник
Партизанских атак?!
Достают ежечасно, имитируя счастье,
и Чапаев, и Чацкий,
И король, и дурак.

Ничего не приснится, но мотив повторится, –
помолчите, синицы,
Беспричинная чуда!
Если врут очевидцы,
чужеземцы, девицы, то лжецы и провидцы
Напророчат по чуть.

Нужно чаще встречаться,
из сердец и перчаток удаляя свинчатку,
Утоляя печаль...
Раздражая начальство,
Чаплин, Чонкин, Курчатов попирают брусчатку,
Приглашая на чай.

Никуда не годится для шута и царицы,
для Чечни и Столицы
Вопросительный знак...
И не стоит гордиться, но пора удивиться,
что клочок Плащаницы
Запечатан в кулак.

2005, 9-10 мая

Александру Градскому

Никогда никого ни о чём не проси...
Никого никогда не проси ни о чём!
Нота третьей октавы – небесная си –
Станет лучшей подругой и вечным врачом.

Я веками просил, умолял, укорял
И царя, и псая, и вельможу, и вошь:
– В серебре словаря уничтожь рифму *бля*!
– Разорив до рубля, ноту ля не тревожь!

Никогда ни о чём никого – не-не-не!
Никого никогда не проси – ни-ни-ни!
На родной стороне только водка в цене:
Оде – мир, мироед! До-ре-ми, извини...

Я лукавил, считая стихами грехи,
И не сразу постиг горькой истины смех:
Соловей перепел трубадуров ликих,
А поэта прощает *единственный грех*.

Никогда не проси ни о чём никого,
Не проси ни о чём никого никогда –
У костёлов, мечетей, церквей, синагог,
В самолётах, постелях, стогах, поездах.

Вспоминая в остроге рублёвский астрал,
Вдалеке от порогов рублёвских хором,
Нацарапай на стенке сакральный хорал –
Сатанинский псалом! – гениальным пером.
.....
На санскрите, иврите, французском, фарси
*Никогда
никого
ни о чём
не проси!*

2008, 23–25 сентября

Борису Юдину

...до-ре-ми-родина, ре минор-родина,
серебро-олово, рублик – брат (?) доллара,
журавли-чёрточки, чердаки-чёртушки,
сохрани-родина, схорони-родина.
разговей-родина, обогрей-родина,
миражом грубеньким разгляди Врубеля,
тиражом простеньким разыщи Бродского,
разлилуй-родина, разрифмуй-родина.
разгулай-родина, разрыдай-родина,
породив юриев, разгромив фюреров,
отвергай рюриков, разгоняй дуриков,
развалдай-родина, разыграй-родина.
разбросай-родина, растерзай-родина,
раздолбай робота, расшифруй Роберта,
припугнув бар(д)ского, сбереги Градского,
раздобрей-родина, без дробей-родина.
...созерцай-родина, прорицай-родина,
припевай-родина, пропивай-родина,
сокрушай-родина, воскрешай-родина,
скрытымным-родина, Остров Крым-родина,
Бабий Яр-родина, Байконур-родина,
стрекоза-родина, бирюза-родина,
развенчай-родина, привечай-родина,
разлюби-родина, разлюли-родина...
Разгляди Родину! Разгадай Родину!
Воскреси Родину, Ярослав яростный!
Породив Родину, огради Родину,
Сбереги Родину, правнучок радостный!
...ре минор-родина, ля мажор-родина...

2010, 3–5 декабря

Георгию Яропольскому

...за Лебяжьим кражем закат потух.
Над затоном Княжьим заглась звезда.
При овечьем стаде – пацан-пастух,
Овчарёнок Радий и резеда...

На горячий камень течёт шулюм.
Угасает – «Амен!..» – пастух-старик.
Над Пчелиным градом – шмелиный шум.
За овечьим стадом – звериный рык!..

«До Змеиной Пади – сто вёрст всерьёз.
Пограничник – дядя, полковник Сыч.
Овчарёнок Радя, ты – храбрый пёс!
За орехом – складень, ружьё и спич...»

Над Святым Отрогом – овечий сыр.
Человек – под Богом, под Богом – тля...
Сбереги от сглаза подлунный мир –
И снега Кавказа, и ноту ля!

...Ражий чёрт подгонит: «Волчары, фас!..»
На скале – полковник: «Герой, привёт!»
Над Лебяжьим кражем – гнедой Пегас.
Над затоном Княжьим -- уже рассвет!

Соловей, анданте! Частишь – хрипишь.
Пацану о дате – второй! – не знать...
Через век провисший: «Хорош Париж!
Зацветают вишни. И рядом – мать...»

2012, 20–23 января

ЕЛЕНА КАМА**Трехстишья**

Мир должен стать добрее –
Сказали мне
Глаза бродячей кошки.

Осенний букет на столе –
Последний аккорд
Умирающей красоты.

Невеста, убранная к свадьбе –
Цветущий сад.
Дай время – принесет плоды.

Ходил, не поднимая глаз
И вдруг –
Увидел небо.

Прозрачный снег сегодня
Посеял тишину.
Прислушаюсь – дверь скрипнет или нет?

Опустелое жилище

Опустелое жилище,
Двери настезь, сквозняки...
Этажерки-этажищи...
Эхо. Быстрые шаги
Сверху вниз. Мелькают тени.
Тишиною обожгло.
И хранит неровный росчерк
Запотевшее стекло.

на стыке миров

на стыке миров
владыкой времен и оков
по черному сланцу скал
ты высек лица овал
по охре кирпично-красной
лик условный и непричастный
мирозданию твоему
привычному
почему
точкой глубокой отметил
в центр поместил
над древними рыбами убегающими лосями
меж лодками птицами-журавлями
на вертикальной отвесности скал
сияет лица овал
исходящими лучами

на стыке миров
посланцем времен и богов
писанный камень над рябью речной
прорвался глыбой
приветной
вижу ты жил ты тосковал безответно
одержимый не мной пиит
в каменный век в неолит

на стыке миров
неметь мне читая твой зов

Алло! Как дела?

Алло! Как дела? Как я?
– Умираю.
Двигаюсь
со скоростью "сутки-жизнь"
к своему раю.
Капает вода
из неисправного крана –
лужица на полу.
Мошки моих мыслей
мельтешат над ней.
Несутся стрелки часов –
спешат.
Скорей, скорей...
Стрелки часов!
Вы сошли с ума,
лопнет до времени
ваша пружинка!
В глазах
разноцветные круги.
Как всегда,
забыла снять розовые очки!
Сколько можно,
считать ступеньки на лестнице,
ведущей вниз?
Прыг-скок!
Скок-прыг!
Уходит жизнь.

Заморожена и остужена

Заморожена и остужена
До нуля. И спокойна по Кельвину.
Не пугайте банальной простудой
И режимы компресно-постельные
Отмените меж строк неотосланных.
До какого-такого "до времени"
Остается объект неопознанным,
Если старт и нога уже в стремени.
Снайпер целится – пуля пущена.
Краше красного и бледней белого
На мишени отметина кучная
Прямо в яблочко заиндевелое.
Средь зимы накаляются целисии,
Тарабана по крыше все ноченьки.

Там, где снежной быть целине,
Нынче точки, тире, многоточия...

Пестрые яблочки

Ах, как пахли пестрые яблочки!
Бордовые бочки, внутри сочная спелость –
Позабывшего детства школьные завтраки,
Других таких больше нигде не елось.

Блестящие, сочные, хрусткие,
Зимою являлись из картонных коробок.
Помню, отец садит тонкие прутики,
Улыбается: Скоро попробуем!

Над деревцами кружили бабочки,
А, может, просто чудаковатые птицы
С красивыми перьями в райских яблочках,
И не было клювов, а были лица.

... Лежу под яблоней, руки закинув,
И думаю, что когда вырасту... Расти!
Крылья, как у той бабочки, за спину,
И прямиком в эти глупые сны!

А платье будет все в пестрых яблочках...
Желто-зелено-красных.

ты эфемерна

сотканная из мечущихся шариков белого света
и сочности несорванных красных яблок
нарисованная отраженьем чужого дождя
переведенная на неизъяснимость ребенка
со взглядом исчезающего аромата неба
ты эфемерна
и неуловимо-осязема в этом мире
утомительно вращающихся круглых тел
засасывающих воронок
и точных часовых механизмов
тонкость оболочки с горящими углями
не выносящая хлопанья голодных ставней
и хаоса нагроможденности картонных коробок
на заднем дворе супермаркетов
бессмысленность неуправляемости скрученных дорожек
отчаянье пляски озноба влажных простыней
жажда первого снега
скрывающая притягательную треснутость жара
кто Ангел приходящий неотвратимо
на дальнюю околицу твоих снов
протягивающий руку перетекающую в крыло
почему одно
полетели

Прорезаемость крыльниц

за прозрачной стеной
по ту сторону всех границ
рыбкой экзотической аквариумной
плыву себе
под взглядами к стеклу прилипших лиц

по венам-артериям
проходит путь мой
тысяча тысяч страниц
странную странницу
будешь ли ждать по закоулкам всех нищ?

сломанность перьев
несчисль числа
опустошенных чернильниц
слов для чего-то сожженных дотла
сваленных в кучи поленищ

падаю ниц
поднимаюсь опять
и вырываюсь из пленниц

ты дотянуться захочешь ко мне
с именем вер и изменниц?

ложный покой
за прозрачным стеклом
видимость тихих криниц
натянutosть струн
вскрытость грудин вспоротость вен

прорезаемость крыльниц

у бабушкиного комода

сочная флаконность
ландыша серебристого вперемежку с белой сиренью
над оранжевой комодностью
скрывающей нафталины старых тайн
вздыхающих об игрушечной ножке балерины
отворачивающейся от всех зеркал
преломляющих стеклянную янтарность медовости
вынуждающую подниматься на цыпочки
и тянуться вверх

девочка и балеринка
балеринка и вазочка
вазочка и девочка напоминающая всех стрекоз
на золотистом боку китайского комода
планирующего в призрачную правдоподобность
крыжовенного дня с отражением девочки-стрекозы
присевшей на фиолетовый край изумления
в окружении смеха нескладной мелодии
розовой помешанности чая
придумывающего одноглазость лимона
пропевающего веселую беззаботность трех ножек
и одной серебряной ложечки
у диковинной оранжевости бабушкиного комода
давно
какого-то марта моего детства

МАРИЯ ОДНОЛЕТКО

Сила и две руки
Разукрасят рассветы
В духе моих любимых
Позтов –
В духе творцов земных,
В духе творцов небесных...
Я не люблю иных,
Я люблю расчудесных –
Северных и льняных,
Быстрых и протяженных,
Самовлюбленных в мир
И собой обожженных,
Я люблю озорных
И сулящих заботу
Берегу, кораблю
И народу.

День растворит тепло
В маме, в тебе, в нас,
Будет от солнца светло,
Станет землею наст,
Будет любимым дом,
Будет родимым край,
Будет храниться в нём
Наша родная печаль,
Будет сиять мир,
Будет любить Бог
Дом в духе ампира,
Сложенный из дров.

И деда, и отца, и сына
Арсения, Андрея, Глеба
Я узнавала по осинам,

По хрипу и по крошкам хлеба,
По хроматической судьбине,
По расплескавшемуся ветру,
По вздоху о родной России,
По незалеченным победам,
По раскалённому настрою
На жизнь и на всё то, что после...
Мы свою Троицу сами строим
Не на краю дорог, а возле...

Простор для духа здесь огромный!
Постой, мой друг, не кипятись!
Не будь таким, как я, нескромным –
Подумай, выступи, воплотись!
Пойми, что сказка претворима,
Пойми, что мир таков, как есть,
Почувствуй, что тобой любима
И боль твоя, и смерть, и честь...

НИКОЛАЙ ВОРОБЬЕВ *

одиночество
роскошных
дворцов

равнина
и вечер

ни левой руки
ни правой
красное
яблоко
как большой
сад

Не следует в работе по переписке бумаг
старание проявлять неиндифферентное
– ведь клены уже цветут...

Но не следует и что-то менять
в хорошо налаженной работе
по переписке бумаг
– ведь листья с кленов уже летят...

Вороны

Темнело...
На синюю крышу
опустилось несколько черных точек.

вороны... угадал он.

Сел и заново
перерисовал ее волосы.
Темнело...

* Авторский перевод с украинского

РОМАН ЛЮБАРСКИЙ

ПИСЬМА К МАТЕРИ

* * *

Бианка... Скалы... Камыши...
Таинственны меж них прогулки.
Июльский полдень. Ни души
В моём Подольском переулке.
Иду вдоль тына, вдоль забора.
Кружится шмель над бузиной.
Поёт по радио Сикора.
Настоянный на травах зной
Лениво-ласковой волной

Колышется. А вот криница.
Я барабан верчу, верчу...
Вода, стекая по лучу,
Как изумруд, внизу искрится.
Я пью и не могу напиться.
А мама со двора зовёт:
«Беги домой, пора обедать!».
Мне этой тайны не изведать...
Но дни и ночи напролёт
Ищу знакомые тропинки,
Ищу знакомые места.
Цветут фиалки и барвинки,
Течёт Бианка. Но – не та...
И так до смертного креста,
Разгадку окрестив Судьбою,
Ищу в пространстве за собою
Те заповедные места.
Закат угас... Взошли светила...
Всю ночь из Млечного пути
Улыбка мамина светила.
Прости меня, за всё прости...

* * *

Мама, здравствуй... Да, уже осень.
Ворон кружит средь голых полей.
А помнишь: было мне почти восемь,
Я на площади кормил голубей.
Они порхали и ворковали.
И ты торопила: «Пора в кино!».
А в кино там стреляли и умирали
За то, что мы потеряли давно.
Ты нарядила меня тогда красиво –
Брючки, рубашка, бант, модный пиджак.
Ну почему так печально облетает ива,
И душа – как стершийся медный пятак?
Всё навязчивей липнут печали и хвори.
Не укрыться от них в комнатухе твоей.
Мама, пошли сюда сквозь закатные зори
Улыбку, от которой всегда теплей.
Мама, прости, что меня носило
И забрасывало порой к чертям на рога...
Но меня берегла твоя нежная сила.
Ты чаще была добра, чем строга.
Мама, никакими словами
Не искупить мне вины своей.
Клёны с поникшими головами
Треплет снова степной суховей...
Не меня ль уже гуси-лебеди кличут
Туда, где держишь ты зарю на весу?
Мама, я прилечу и по обычаю
Тебе вишиваний рушник принесу.

МИХАИЛ САДОВСКИЙ

За тем поворотом, где липа, –
Сто двадцать шагов до ворот,
Калитка приветствует сипло
Аккордом заржавленных нот.

И чьи эти стёртые лица
За памяти прочной стеной,
Где ветер отчаянно злится,
Запутавшись в роще хмельной.

Рябина кровавые слёзы
Роняет в чужие следы,
Так искренно мир неосознан,
Что неотличим от беды.

Ложится уже первопутук,
А только октябрь отсвистел,
Он, может быть, двор перепутал,
Совсем не туда залетел.

От липы, где до поворота
Сто двадцать тропинок расплёл,
И всё же в другие ворота,
Лукавый, нарочно привёл.

И выбора нет никакого
У первых следов ноября,
Но в строку упавшее слово
Посеяно, видно, не зря.

Послушницы ненастья – купола
Идут по всей Руси, не уставая,
Какая бы погода ни была,
Не видно им обещанного рая.

Чредою завершаются века,
Нашествия, безвременье, разруха...
Но вечно на плечах четверика
Огонь неисчерпаемого духа.

Первой летом стала ива
Опадать,
Знать, для ивы лето – это
Благодать,
Мне за зиму ноша стала
Тяжела,
Я бы всё на землю скинул
Догола.

Ива солнцем вся просвечена
Насквозь,
В ней для тайны места даже
Не нашлось,
Пусть меня просветит солнце
До костей,
Чтоб понять, что с жизнью делать
Со своей.

А весной пушиться станут
Тополя,
По земле своё богатство
Распыля,
Мне бы запаха их клейкого
Вдохнуть,
Мне под ивою бы жизнь
Повернуть.

Всё промокло насквозь спозаранку,
Лес опавший прозрачнее стал,
Душу вывернул дождь наизнанку
И молиться к утру перестал.

Сокрушается ветер устало
Над застрявшей на ветках листвою,
Значит, время счастливее стало
Для того, кто уже не живой.

Новобранцы – кусты перед строем
Почерневшей опушки лесной.
Ничего мы от мира не скроем,
Ничего не захватим с собой.

Что значат бывшие печали
Тому, кто целует меня?
Мальчишка стоит на причале
В лучах уходящего дня.

От сводок осип колокольчик,
Бульчит под паромом вода...
А что, если кто-то захочет
Сегодня вернуться сюда!?

Пацан на посту – не играет!
Спит пьяный паромщик с утра.
Неделя, неделя другая –
Чёт – нечет – простая игра.

По глади разносится эхо,
И кто-то там машет рукой!
Похож, или кажется это?...
Да вовсе отец не такой!...

Так что же такое свобода?
В каком её плавят огне?
Четыре военные года.
Четыре... и столько же мне.

Рельсы тупо твердят неспроста:
Пус-то-та, пус-то-та, пус-то-та,
Убегают они в никуда
На-всег-да, на-всег-да, на-всег-да.

Наше время на стыках сквозит,
Скоротечен короткий транзит.
Детство, молодость, старость... года
В ни-ку-да, в ни-ку-да, ни-ку-да...

Две полосы блестящих. Вагон.
Лес, как ширма глухой, с двух сторон...
И прикрыто по ним сквозь года
Ни-от-ку-да всег-да в ни-ку-да...

Почему?
Но вопрос – не вопрос!
Он ещё не дорос, не пророс.
И мы будем по рельсам спешить,
Чтобы жить, чтобы жить... Чтобы жить?

Не клясть этот мир недостойный
У желчной расстрельной стены.
Забывать полоумные войны
В приделе лесной тишины,

Где ветры всегда на прослушке,
И это не стыдно сказать,
Где сладко у тихой речушки
В воде её звёзды считать.

Где филин беспечно смеётся,
И грузди наморщили лбы,
Где старый журавль колодца
Открыт, как шлагбаум судьбы.

И сердце теперь в распродаже –
Чем волен, чем болен, чем сыт,
Что шепчет мне ночь, кто подскажет,
Что завтрашний день мне сулит.

Падают деревья –
Веточку возьми.
Так уходит в древность
Прошлого с людьми.
Ране и обиде
Есть на свете срок,
В каждой капле виден
Вечности поток.

Над озером туман
в полупрозрачной тайне,
ждёт пробужденья лес
нависший над водой.
Три утренних часа
для сердца испытанье,

вот-вот проснёшься ты
и скажешь: "Дорогой!"

И в мире со вчера
ничто не изменилось:
на берегу баркас,
размокшее весло...
открой скорей глаза,
ты сделай эту милость,
чтоб время на часах
по-прежнему пошло.

Проявится в душе
рассвет многотиражно,
и растворит свинец
в октябрьской воде.
Ты будешь на руле,
и уж совсем не важно,
какие берега грядут,
когда и где...

Никто не станет прошлогодний лист
Сушить и расправлять, чтоб вновь развесить,
И мы не зря, наверно, родились,
И отыграли не в грошовый пьесе.

Всё то, что в жизни прожитой успел,
Что от щедрот пережитых скопилось,
Не мною в дальний свалено предел,
Хоть может, в том судьбы и сердца милость.

Косяк гусиный улетает в даль,
И сколько птиц в голубизне растает,
А всё же каждый день ушедший жаль,
Но их сложить — наука не простая...

И ничего оттуда не вернуть,
Всё неспроста, и даже, может статься,
Что нам даётся наш последний путь,
Чтоб со своим прошедшим повидаться.

Постучалась и на пороге
Передумала в дом войти.
Мы с тобой, как иголки в стое,
Мы с тобою в конце пути...

Для чего она приходила —
Испугать? Испытать? Позвать?
Было жутко и очень стыло,
Рук и взгляда не оторвать.

И трудов своих не жалела —
Всё равно ведь назад придёт...
Но уж это — другое дело,
Но уж это — не этот год...

Pume

Старухе не вышло поживы,
Как много за этой строкой!
Мы живы с тобою, мы живы —
Нам рано на вечный покой!

Волнуются грозы и ливни,
Стихают, чтоб грянуть опять,
Омытые ими смогли мы,
Как травы прибитые, встать!

Проснуться рябина не может
Пока не наступит рассвет,
Всё
ярче теперь и дороже
По ценам непрожитых лет.

Являет без всякой мороки
Весна возрождения стать,
Не надо иной подоплёки
В обычных сомненьях искать.

Цветенья простые мотивы
Нельзя хоть на день отложить.
Мы живы с тобою, мы живы,
Мы живы с тобой, чтобы жить!

Вытрусили все половики,
В них с весны набилось много сору,
А уборку делать — не с руки:
Летом только веселиться в пору!

Встряхивали, били об углы,
На верёвке палкой колотили...
Стали и дырявы, и малы,
Место им теперь уже в утиле!

А когда расправили мы их
На перилах старого крылечка,
Поняли: не надо нам других!
Эти к дому приросли навечно...

Первые шаги они хранят
И обиды наши, и ушибы,
Пусть ещё маленько полежат...
Разве в дом без них войти могли бы?!

Это же не то, что башмаки!..
Пестрорядье — чудная картина!
В них и корень "пол" — половики!
Это ж просто жизни половина!

Пусто. Только усталые ветки
На давно полинявшем холсте,
На земные вопросы ответы
В недоступной лежат высоте.

Мне туда не укажут дорогу,
И куда понесут не пойму,
Кто допустит к единому Богу
Без конца вопрошающих тьму!?

Перед ним оробеть не посмею
Удоят колы встречи такой...
Продлевают веками аллею
Уходящих на вечный покой...
2009-2011

ОЛЕГ ПОЛЯКОВ

ПЕНЕЛОПА

Пенелопа, Пенелопа, я ищу тебя по свету,
Но никак мне не удастся счастья ниточку поймать.
Представляешь, Пенелопа, я в разлуке стал поэтом,
Только боги вот не скажут, где мне Итаку искать.

Были бури, ураганы, были Сцилла и Харибда,
И хоромы у Цирцеи лучше тыщи детских снов,
Земли счастья, земли горя, много радостных открытий,
Незнакомый новый запах необычных островов.

А над морем тишь такая, крепко спит попутный ветер,
Желтым глазом Полифема представляется Луна,
И в Луну когтями тычут ошалелые созвездья,
Спит, повиснув тряпкой, парус, только мне вот не до сна.

Надо думать, надо думать, как домой мне возвратиться,
Чтобы снова мне увидеть лишь тебя, одну тебя...
Это будет мне наградой, нужно только лишь добиться,
Я судьбу воспринимаю, душу обручем скрепя.

Перетоптаны дороги, перемешано все море
Кораблем моих страданий, но желанной нет земли...
И, печатью Посейдона к океану пригвожденным,
Неужели плавать вечно в фиолетовой дали...

Вдалеке от синих пиний, от своей большой надежды,
Зеленеющих пригорков островов моей весны
Верю в то, что буду рядом я с тобой под ярким небом,
Что корабль мой выйдет к солнцу из враждебной пелены.

Будет все, как в старой сказке: я приеду утром рано
С рюкзаком, желаний полным, на измученной спине...
Будет с неба теплый дождик, теплый ливень,
прямо ванна,
Я промокну весь до нитки, но до этого ли мне.

Затянусь я сигаретой, ты мне скажешь «Нет, не надо...»
И устало засмеешься, глядя нежно на меня...
Ты рукой меня коснешься – вот и вся моя отрада,
И проглянет сразу Солнце среди сумрачного дня.

Пенелопа, Пенелопа, я ишу тебя по свету,
И никак мне не удастся счастья ниточку поймать.
Представляешь, Пенелопа, я давно уж стал поэтом,
Но одно вот не понятно – где мне Итаку искать.

20-101

Над пустыней небо бледной тенью,
Над Алжиром – пыли облака...
Позывной, отосланный на берег,
Унесла воздушная река.

20-101 не отвечает,
20-101 не говорит...
Три часа, замолкнув, ожидает
На ключе нахмуренный радист.

Будто бы почувствовать потерю
Плещет и волнуется эфир...
Сотнями разрядов в атмосфере
Бесится невидимый вампир.

Шесть часов прошли, как шесть столетий,
Седину оставив на висках;
Разорвала призрачные сети
Времени холодная рука.

...Он прошел чрез эту преисподню,
Преисподню радостей и бед,
Бед непересиленной дороги,
Радостей осознанных побед.

Вылет послужил ему наградой,
Оскорбленьем был ему покой...
У подножья звездной колоннады
Был он всей землей и сам собой.

Убаюкан солнечной метелью,
Отпустил пустыню ураган,
Заразился сыростью и ленью,
Пылью чуть припудрив океан.

Но 20-101 не отвечает,
20-101 не говорит...

Вся Земля...
 замолкнув...
 ожидала...
 Антуана Сент-Экзюпери.

НОЧЬ

Ночь
ласковым куполом
Землю

обволакивает
Ночь
отмеряет
пипеткой капли сна...
Звезды в сиреновом сумраке
Фонарики повытаскивали...
Звезды читают фантастику,
А на Земле – весна!

Ночью
окна в домах
гаснут
по экспоненте...
По экспоненте
растет темнота...
Ночь
не черна —
она, как воздух, бесцветна...
Просто стираются грани
И исчезают цвета.

Ночью
город и небо
сливаются
воедино...
Нет
ни асфальта,
ни звезд,
ни огней...
Это одна Вселенная
Светящихся точек и линий –
Мир голубого пространства
И время непрожитых дней.

...Угрюмые все, как Иван Калита...
Ю.И.Визбор.

Жизнь мне предложила обо всем поговорить,
Молча протянула дорогую папиросу –
– Точно на душе – сказал я – не хочу курить...
А она все сыпала вопросы мне.

Я же говорил, отстаивал права,
Налету хватая, все что стоит иль не стоит –
И вот стоишь у стенки, как сломанный трамвай,
Дуешься Иваном Калитой.

Мне бы оглянуться, мне бы промолчать,
Пропустить дожди как можно дальней стороною,
На вопросы жизни посерьёзней отвечать,
И отбросить вон, всё что не стоит.

Захочу – налево или направо я пойду,
Захочу – на Север, на Восток или на Запад,
Серостью сомненья скрывая темноту,
Пошлости глуша отвратный запах...

Часы стучат, отсчитывая дни,
Вечно нас сжимающее скаредное время.
Зачеркнуть пора б несбыточные сны,
Множество никчемных вожделений.

Может, и не надо больше требовать права –
Пусть всё порастёт быльнь-травой –
Чтоб больше не стоять, как сломанный трамвай,
Притворясь Иваном Калитою...

Новосибирский Академгородок, 1966 – 1967

СВЕТЛАНА НОВАК

Я тебе не жена,
Я тебе не подруга,
Я пришла, как зима,
Закружила, как вьюга.

Как ночная метель,
Я с тобою случилась,
Ты зимы не хотел,
Но уж так получилось.

Я любовью тебя
Припорошила щедро,
Ты узнал, что она
И надежна и верна,

Что тебе не нужна
Ни жена, ни подруга,
Лишь бы был этот снег
И была эта вьюга.

Кто она, твоя другая?
Хорошо ли с ней,
Сладко ль спится ей в постели,
Что была моей?

Как ей нравится в окошке
Наш весенний сад,
Что с тобой мы посадили
Двадцать лет назад?

Бережет ли вас икона
От чужого зла,
Та, над креслом у балкона?
Нас не сберегла...

Не сужу, не обвиняю
Я ее ни в чем,
Ведь сама теперь живу я
В доме не своем.

Поздравь меня,
Моих стихов ты больше не герой,
И песен о тебе я не слагаю.
Ты просто человек.
Из памяти.
Чужой.
С обычными, как у других людей,
глазами.

ВИТАЛИЙ ШЕЙНИН

БАЛЛАДА О ПОТЕРПЕВШЕМ (Рассказ моряка)

Я помню холодные волны,
Я помню небес темноту.
Взмываю на гребне невольно,
Пучиной влекусь в слелоту.

Бежали те волны с разгону
(При шторме таком не застыть)
И пологом тёмно-зелёным
Стремились мне ложе покрыть.

И паника мной овладела, –
Ведь я от земли далеко!
А чудище обло кипело
Шальным ледяным кипятком.

Не вижу надежд на спасенье.
Ужасен природы разгул!
Уйду из живых я в мгновенье –
Там скажут: "Тот тип утонул".

Но воздух я носом вдыхаю,
Сжимаю я губы в кулак.
Стекает струя, полыхал,
И колет в груди как игла.

Ещё поборюсь я с пучиной,
Ещё продержусь на волне, –
И может, как в мифе, дельфином
Спасение явится мне.

Но нет ни дельфинов в помине
Ни суден; смотри, оглянись!
Меня как песчинку в пустыне
Бросает то вверх, а то вниз.

Сковала мне члены усталость,
Но держит надутый мешок;
Замёрз я; мне только осталось
От смерти услышать смехок.

Забылся я; канули в вечность
И чувства и думы мои.
Колышется тело беспечно
На волнах под пологом тьмы.

Но чу, вдруг какие-то руки
Меня поднимают на борт,
Эй, ты, что с косою, ведь, дудки!
Не сможешь мой дух побороть.

Exegi monumentum

*Sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica
lauro cinge uolens, Melpomene, comam.*
Quintus Horatius Flaccus. Odes, III:30.

Роятся в голове стихи
И дома, и в походе,
И в ночи, в дни, что так тихи,
И при плохой погоде.

Играет музыка во сне,
Днём солнца луч играет,
Как зайчик скачет по стене,
Прыг-скок, и замирает.

Поёт мне песни соловей, –
Всегда так было с детства –
А я хранил их в голове,
Пока не стало места.

Как стал я песни забывать,
Подумал я о благе:
Настало время их предать
Спасительной бумаге.

Теперь они не пропадут,
Известны станут свету,
Мои терпение и труд
Не канут в Стикс и Лету.

И если кто-нибудь в миру
Прочтёт строку с улыбкой,
Я буду рад, как на пиру:
Не было то ошибкой!

И если хоть у одного
Слеза омыла строчку,
То мне довольно и того:
Попал я прямо в точку!

Не жажду лавров, орхидей,
Венцов совсем не надо!
Улыбка и слеза людей –
Мне лучшая награда.

И если б ревностный Зоил
Ругнул те строчки в гневе,
То я б беззлобно возразил:
– Написано: "довлеет дневи..."

Смерть во время грозы

Свеча горела в полутьме, качались тени,
И ветер судорожный крепчал,
Из-под пера слова-олени
Бежали по снегу, крича.

Свеча горела в полутьме, но не сгорала,
А бури близился накат.
Искал слова, слова-орала!
Ударил в стену мощный шквал.

Свеча горела в полутьме, темнели дали,
И громкий ливень бушевал,
Раскаты грома не смолкали,
Небесный то кузнец ковал.

Свеча горела в полутьме, настало время:
Часы пробили три часа.
Поэт собрал листки с поэмой,
Мой час пришел, вот так гроза!

Свеча горела в полутьме, утихли швалы
И боле дождь не досаждал,
Там на столе стихи лежали,
А на полу творец лежал.

ТАТЬЯНА АИСТ

СТИХИ-ДВУСТИШИЯ ВАЛЕРИЯ СУХАНОВА

Я познакомилась с этим удивительно мягкими спокойным человеком двадцать пять лет тому назад. Он – художник, музыкант и поэт. Он пишет, рисует и сочиняет музыку, а потом отпускает свои творения в мир, как бумажные кораблики по волнам большой бурной реки. Иногда люди находят эти бумажные корабли-послания, разворачивают сложенную вдоль аккуратных линий бумагу и поражаются музыкальным и поэтическим находкам, принесенным в их руки большой водой. И они бы так хотели встретиться с автором-композитором, человеком, пишущим стихотворения, состоящие всего лишь из двух слов, но не могут этого сделать, потому что человек этот прячется. Он растворяется в своей неприметной судьбе, как соль в глубокой воде, по которой плывут его кораблики... Всё же мне удалось его встретить и даже поговорить с ним о поэзии. Однажды он сказал: «Вот ты, Татьяна Аист, хорошо пишешь. Я люблю твои короткие стихи, потому что они ненавязчивые и неглупые. А могла бы ты писать ещё короче?» «Ещё короче? – спросила я. – А это как?» «А это вот так» – сказал он.

ВАЛЕРИЙ СУХАНОВ

Дали
в дали.

Вишни
Вишну.

Тополь
топал.

Шагал
шагал

Упали
в Непале.

Пихну
пихту!

Привет
кювет!

Шило
Шивы.

Клён
калён.

Перепел
перепил.

Шииты
защиты.

Коми
в коме.

ГАРИ ЛАЙТ

Ретроспектива полнолуния

В отражении июня
пол луны Иерусалима,
семь восьмых той,
что над Лаврой
и совсем немного здешней,
преднамеренно ущербной,
но уверенной в победе
над предвзятым восприятием
всех подлунных ощущений,
не присутствовавших вовсе
в ранних сумерках февральских,
где июнь был панацеей
от причуд границы марта.

Средний возраст восприимчив
к построению метафор
вот таким полунаброском
раздробленных полнолуний
осязаемых, но только
с высоты, где стюардессы
эфемерно улыбаясь,
проливают чёрный кофе
мимо бутафорской тары
на кириллицу журнала,
что был издан в Тель-Авиве
с прозой бывшей киевлянки
бурно бредившей Москвою,
поселившейся в Нью-Йорке,
но дающей только в Праге
людям с лондонской пропиской.

Не прелюдия, но всё же
в трёх столицах потеплело,
в остальных должно быть тоже
не выходит подытожить
и кому какое дело
осенит или загложит
экскурс в тему полнолуний
как всегда незавершенный,
потому и отрешенный взгляд
небесной проводницы

недоспавшей, вставшей рано
из таких земных объятий,
чтоб лить кофе на журналы
полнолунных восприятий.
июнь, 2008 – Тель-Авив – Киев – Чикаго

*Историческая справка: «От Советского Информбюро...
Из сводки Главного командования Красной Армии
за 25 июня 1941 года: Стремительным контрударом
наши войска вновь овладели Перемышлем».*

Им не знакомы были правила игры,
адский огонь в ту ночь пришел с росой,
такою долгой жизнь казалась до поры,
а смерть увидели девчонкою босою,
с ведром воды не добежавшей к тополям,
в тени которых раненых поили,
быть может, за ее застывший взгляд,
бойцы отчаянно, нелепо отомстили...
...Первой победой не записанной в актив
на фоне страшных первых поражений,
они сумели в контратаку перейти,
не зная правил согласованных решений.
Был ими предугадан Сталинград,
и Кенигсберг, и взятие Рейхстага,
в июне сорок первого назад,
застывши в вечности, не сделали ни шага.
Им не знакомы были правила игры,
стратегий не было, все только запылало,
такою долгой жизнь казалась до поры...
Всеми великому, есть малое начало.
22 июня, 2011, Chicago

Геометрическое

Дозрел, однако, у ремесленного плуга
в декаде первой будущего прячась,
вдруг ненавязчиво о замкнутости круга
явилась мысль, чихнув и раскорячась.
Совсем нехотят геометрия такая,
манкировать бы дальше на удачу,
да вот воткнул дамклов циркуль зависая,
решая замкнутости сложную задачу...
Если прикинуть, сколько уместилось,
всего от точки шестьдесят седьмого,
не станут спорить даже впавшие в немилость,
что круг не замкнут, а лишь частью заштрихован.
Анализ слова «замкнутый» невесел,
смешна в нелепости цепная центрифуга,
равны ли бедра всех прекрасных чресел,
за скобки вышедших, восставших против круга...
И потому, вершится выбор – параллели,
в них есть уют, надежда и удача,
им замкнутость претит, а в круг не верит,
никто из тех, кто составлял задачу.
15 ноября 2010, Chicago

Вознесенское

«... С первого по тринадцатое каждого января...»

Строки давно возникшие
селятся по строфе
словно четверостишия
строятся в галифе
блага прошу, прощения
за суету сует
слой на слой ощущения
стольких канувших лет
право Андрей Андреевич
размера и рифм дефицит
я ощущаю острейшую
паузу у души...
истины Соломоновы
перстень не утаил
а в Переделкино звоном
воспринимается мир

с первого по тринадцатое
верится как никогда
в светлую реинкарнацию
доброты в городах
сцена – музей Маяковского
строки о васильках
низкий поклон неброского
слушателя в слезах
так порою естественен
даже парижский снег
границы за неуместностью
отменит – снесет имярек
и словно параболический
в любовь преломленный свет
обнимет Политехнический
вне бед суеты и лет
31 декабря, 2009

Памяти В.П. Аксенова

Без раболепия,
напрасных громких слов,
без англицизмов
столь уместных в наше время,
с извечной благодарностью
за остров,
где все иначе,
и не ведают стыда
и страха,
те, кто рождены свеченьем...
Заживающий ожог
Вольтеровским пером
возводит к стилю редких земель
где негатив желтка...
В Вирджинии такие же дожди,
и Пушкину как прежде одиноко
в пол миле от Джорджтауна...
Увы... Не все уходы
знаменуют возвращенья.
Москва. Июль. Иные времена.
10 июля, 2009

Двадцать Седьмое Декабря

Благодарю синоптиков за ложь
или просчет, чтоб не звучало грубо,
и снег вполне уместен в Рождество,
в своеобразное, что перед Новым годом...
А Византия все решит сама:
когда быть снегу, чем быть правосудью,
там много легче – есть кому решать,
все же гуманнее, чем в аистном Полесье,
где суверенно раскроили черепа дипломной челяди,
особенно поэтам, – ведь распустились же...
Давай, давай про снег – «... по всей земле»,
а может «... в Тюильри...»,
в Чикаго, в Берне, Монреале, Веллингтоне...
А на почти одной шестой все как всегда –
цивилизованно, манежно, непредвзято,
орел двуглав, Москва для москвичей,
не всех конечно, и «Спартак» не чемпион...
А снег, здесь в иллинойских Палестинах
то валит, то идет, то вовсе нет, и от того
печалится по-русски, читается и пишется порой.
Такой вот казус, что носитель языка,
подумать только – вовсе с Украины
изъят был тридцать лет тому назад,
в раннем отрочестве... Но сносно произносит
«хам... овночэский суд», «позор», «тендем»
и за профессию обидно... Так, что в общем...

А в общем снег синоптикам назло...

декабрь, 2010

Равноденственное

Любимая, какой сегодня день
I mix and match without hesitation,
whichever language serves the purpose best
of telling you, how much I really do
тебя люблю, и думаю о том
что в этой области былых полей сражений
нам хорошо без снега быть собой...
There does exist, of course a certain cat,
a creature rescued with a hefty ransom
from Brooklyn, where we never would have lived,
не в этом дело, просто с ней тепло...
А я предвижу много равноденствий
в которых нам судьба без суеты
подарит много дней и промежутков,
which would endure our relative success
in living in the way we always wanted
without being told of when and how,
и прочих слов, каких мы не приемлем,
всё будет так, как мы того хотим,
а не иначе, even though it does, take certain time
of doing certain things, in certain way,
which rhyme in certain manner,
но это даже радует порой,
в конце концов мы знаем как не надо,
и что, нам никогда не будет в кайф.
I love you so much, I never knew
I could like this, and that's how one determines
те воспринять равноденствий, что грядут
25 января, 2009, Северная Вирджиния

Олегу Ошлянскому

Добрых старых времен не осталось в помине, мой друг.
Словно кануло в раз, что казалось вчера настоящим,
в сорок два уже сложно запасть на обычный испуг,
но от этого вовсе пока не становится слаще.
Как у вас там, должно быть не скучно от наших чудес,
или все субъективно,
и каждому выдан билет воспринять?
Знаешь, я бы пошел,
подышал приходящей весной в оживающий лес,
но боюсь не поймут, и сочтётся за слабость такое занятие.
Я все чаще и чаще себя ощущаю
«не там, и не здесь, и нигде»
и не тем, кем хотелось бы быть по прошедшему сроку,
отрицаю лукавых в ребре, седину в бороде,
только в мысли прокралась тоска, и карает жестоко.

Как ты ладишь с похожим, скажи, если знаешь ответ,
я забил на молву, но злословье крадется и жалит,
«твой вагон... твой билет... в лучшем виде...»
но этот сюжет
прозвучал у него так печально, что нас не избавит.

И хоть прежних времен не осталось в помине уже,
может в этом и суть испытаний на вход в то, что будет,
так давай изловчимся,
чтоб снова увидеть аллюр в кураже,
и оставшись собой, убедимся,
что в нас доброты не убудет.
март, 2009, Вашингтон

Переоценка ценностей, увы
удел не високосных восприятий,
либо пророчеств сделанных в пути
на переправе, просто для того,
чтобы потомкам не казаться праздным:
Мол – современно – двадцать первый век –
пора оправдывать видения фантастов
конца шестидесятых...
Сорок лет, весьма определяющий отрезок,
ведь не был дилетантом Моисей,

так аскетично поведя народ не к нефти,
а к истине оправданной в веках.
Но это лирика сравнений и потерь,
а нынче как?
Отсчёт от Сентября, настолько горек,
неуместен и коварен,
что в «дальше-больше» верится с трудом...
Наверное уместнее глядеть «не в корень»,
а скорее в семена
которые пока что в расфасовках,
но все ли здесь готовы к посевной?
Риторика конечно не в чести,
дебаты завершились не начавшись,
с переоценкой стоит подождать.

21 сентября, 2008

Московское

Терапия столицей на несколько дней
по наитию, случайно в открытую дверь
из дворов Петербурга и белых ночей
неприкаян, не узнан, не свой и ничей,
временные отрезки измерив на глаз
приземлился в имени бывшем как раз.

До чего ж это странно – в параде столиц
выжигать из себя соответствие лиц...
За какую то тысячу с лишним часов,
уничтожив сравненья закрыть на засов
отторженья, метанья, угар ремесла
и вернуться в столицу, что прочно выросла
в мою сущность, сусветность, сарказм, суету
и узнать, ощутить, продышать по утру:
Здравствуй пафосный город, нещадный, шальной
изнурительно дерзкий и пагубно мой,
здесь наводится резкость, низводится флёр
так в суфлёре однажды родится актёр...

Осязаемо утро, и боль отошла,
словно злая девчонка, что где-то нашла
интересней забаву, чем резать и рвать...
Я к Нескучному саду спускаюсь опять,
насквозь выветрен, но отрезвленный Москвой,
мне опять улетать, но как нужно порой
поменять терминалы, оставить зазор
и на день или два, для себя, не на спор
обойти этот город по старым местам
станет легче, и можно «вернуться к холстам»...
июнь 2008, Москва

Песенка Позднего Декабря

Простуженному городу налей с лимоном чай
придумаю с три короба, а ты не замечай,
судить на поражение – удел нездешних сил,
и сделай одолжение – об этом не проси...

Декабрь – междометие июня с сентябрём
удел тысячелетия, где каждый о своём,
о светлом, ненадуманном, о жаждущем любви.
о том, что только струнами, да только не порви...

Как непривычно держится мороз от ноября,
в нём так уютно снежится – увы, должно быть зря,
ведь это только кажется, что истина в вине,
и кто теперь отважится подумать о весне

Всему свои условия и время и размер,
и в каждом послесловии виновен Гулливер,
такие вот реалии в предутренней зиме,
касясь в вальсе талии, как был я неумел...

Всё сладится, как водится – ангина пару дней,
Чикаго не здоровится – ты чай ему налей,
с лимоном или сахаром, всегда решай сама,
ведь нет искусней знахарей, чем время и зима
22 декабря, 2005, Sauganash

ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВСКАЯ

Письмо из дома

Здравствуй, милый. Поклон тебе из дому,
От детишек и баб всех поклон.
Мы твою треуголку небыстрою
Восемь раз всем читали селом.
Просят бабы ответить им заново,
Не жалея бумаги и слов,
Ты на фронте из нашей Ивановки
Не встречал ли, скажи, мужиков?
А тебе-то привет от Василия.
Он недавно пришёл. Инвалид.
Говорит, костыли опостытели,
А нога, что отняли, болит.
Но колхоз наш он держит уверенно,
Хоть в район и нечасто звонит.
И последнего сельского мерина
Сдал для армии наш инвалид.
А весна? А колхозные площади?
Надо сеять моги – не моги!
И впрягаются бабы, как лошади,
В тяжёлые наши плуги.
А в воронке, снарядами вырытой,
Сам Василий стоит без ноги
И твердит, что управимся с Иродом,
И вернутся в колхоз мужики.
Ну, а после с надрывной надеждою
Заведёт про платок голубой...
И я жду тебя, милый, по-прежнему.
Ты живым возвращайся домой.

Как плохо нам историю читают!
Пора тебе задуматься, страна:
Когда народ на бунты призывают –
Народу объявляется война.
И пусть мне в жизни так немного надо,
Но если дорог мне Отчизны дым,
Прошу у Бога высшую награду –
Прозрения согражданам своим.
Коль к противостоянью мы готовы,
На стенку стенка рвёмся, как на грех,
О, Господи, позволь найти мне слово,
Чтоб образумить, успокоить всех.
Коль как струна натянутые нервы,
И сердце бьётся так, что не усну,
О, Господи, позволь упасть мне первой,
Чтоб от паденья уберечь страну.

Всё, что есть у меня, – работа,
Эта трудная благодать
Каждый день до седьмого пота
Самоцветы слов шлифовать.
Но не Лермонтов я, не Пушкин,
И не Байрон, и не Христос.
Отчего ж тебя зависть душит
Так по-чёрному и всерьёз?
Что ж ведёшь ты бои без правил,
Не боясь никаких утрат?
Но когда ты взываешь: "Авель?",
Я тебе отвечаю: "Брат?"

А знаешь, я внезапно поняла

А знаешь, я внезапно поняла,
Что даже дня не выдержу в разлуке,
Что если ты на миг ослабишь руки,
Замерзну я, лишённая тепла
Твоих объятий, в льдинку превращусь,
Слезамися исходящую в бокале,
Касаясь губ, которые ласкали,

Пока горячим был напиток чувств.
А знаешь, я внезапно поняла,
Что без тебя мне этот мир не нужен,
Что я хочу тебе готовить ужин,
С волненьем ожидая у стола,
Прислушиваться, как сопит малыш,
Медведя обнимающий в кровати.
Взгляни, как наше счастье дышит сладко...
И ты похож на сына. Так же спишь,
Как будто видишь сказки наяву,
Их извлекая из-под одеяла.
А я еще вчера не понимала,
Что без тебя и дня не проживу.

Октябрь. Душа меняет кожу.

Октябрь. Душа меняет кожу.
Средь мишуры осенних дней
Она ранимее. Тревожит
Все предназначенное ей.
Горчат пронзающие мысли:
Напрасна тяга стать мудрей.
Чем гуще золото на листьях,
Тем отторжение быстрей.

Врастая в украинскую ментальность

Врастая в украинскую ментальность,
Ты в самом главном, сердце, не греши:
Еврейство – мой оплот, национальность
При русском состоянии души.
Делить себя смогла бы я едва ли,
Немало общих выпало невзгод.
Мы столько раз друг с другом переспали,
Что, видимо, давно один народ.
Не отвечая никому в угоду,
Пред совестью своей ответ держу:
Я этому великому народу
И кровью и душой принадлежу.

Снова снились тайга

Снова снились тайга, сахалинские пестрые сопки,
Кисло-сладкая щедрость кровавых брусничных полей
И гурман-медвежонок, икру добывавший торопко
Там, где в реки, как в банки, кету прессовал океан.
В сентябре берега опьяняли грибным ароматом,
Но ушли сейнера на путину, волну беребя.
Здравствуй, детство мое в островных бирюзовых закатах.
Здравствуй, каторжный край, ибо каторга – жить без тебя

Жар нещадный сушит росы

Жар нещадный сушит росы,
Поседали тополя,
Золотистым абрикосом
Перекармлена земля.
А погода к листопаду
Поворачивает руль,
Хоть горячим шоколадом
На губах горчит июль.
И блаженство не испито,
И смущает впереди
Неба старое корыто,
Накопившее дожди.
Время требует проверки
В убегающих часах.
Звезды, словно водомерки,
Заскользили в небесах.
На крыло встающий аист
Пьян от первой высоты.
И вот-вот уронит август
Календарные листы.

ИННА САНИНА

* * *

Господь, помилуй и прости
За все земные прегрешенья:
За бунт неверий и сомненья
И за смятения души;
За прыть несдержанную слов
И за постыдное молчанье;
За все тщеславные желанья
И за тщету обманных снов;
За нежелание прощать;
За суд над кем-то очень спорный;
За то, что, не вступая в споры,
Спешу дорогу уступать;
За то, что в сутолоке дней
Растрчено впустую время
И, что бывала я не с теми,
Кому была всего нужней...
Ещё прости меня за то,
Что как-нибудь – пусть ненароком! –
Кого-то ранила жестоко
Прохлада сердца моего.
...За всё, за всё, Господь, прости
И смилуйся, взяв на поруки,
Учтя раскаянье души
И все прижизненные муки...

Прости... и строго не взыщи...

гармония

Как отраднo и беспечально
Утром ранним после дождя,
Ароматную влажность вдыхая,
Жизнедарность земли ощущать!

Взор ласкают деревья и травы,
Снова статность свою обретя,
И приветливо солнце сияет
В распростёртых объятиях дня.

За ночь смыты тоска и унынье
С утомлённого лица земли
И опять зазвучали мотивы
Светлой гаммой земной красоты

И в душе стало тихо, отраднo
От созвучий вселенской любви...
Большей радости и не надо,
Только б в этой мелодии складной
Благозвучною ноткою быть.

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Советы наркодилеру

И киты
Не чуждаются наркоты,
И котики
Употребляют наркотики,
Вон, на солнышке игуана,
Что во рту у ней?
Марихуана!
Вон головою качает мак,
Дает нам опиум,
А сам, думаешь, дурак?
А эти строчки и сморчки –
От рождения суть торчки.

Так и ты,
Не желая иметь в кармане шиш,
Продавай гашиш,
Получай бакшиш,

На чужой каравай
Рот, конечно же, разевай,
Но и про свой кайф
Не забывай.

Вам, проживающим за оргией оргию,
С подвешенным языком и надежностью ятр,
Как презираю ваши восторги я,
Уверенных, что мир есть театр.

Утром наполняются цветом спелым
Нарциссы Матисса на моей стене,
Никогда не думал, что стану таким несмелым,
И, втайне, – таким левым – ни в одном сне!

Мертвых своих мы уносим с собой,
Благословляя их на разбой,
Канет в забвение Желтый Дурак,
Но не утонет в нем Вурдалак.

Книжник, учитель, мучитель, поэт
Выйдет – другого пути ему нет –
Жаркую юную кровку вкушать,
Мучить, учить, искушать, воскрешать...

Сократ-овод

Сократ был овод, а прихлопнуть овода
Всегда есть повод, можно и без повода,
Но гляньте дальше вашего двора,
Он жалит вас для вашего ж добра.

Мое сотворение

О, бог с бараньей головой,
Ваяй мою красу!
Поставлен круг гончарный твой
В тропическом лесу,
Ты ростом с трехэтажный дом
И занят весь своим трудом.

Вокруг друзей твоих синклит
Собрался и глядит,
Бог-крокодил, бог-бегемот,
Бог – древний трилобит.

Вот, приулыбив нежный рот,
Богиня-кошка ждет,
Вот, не прикрыв зубов оскал,
Глаза прищурил бог-шакал.

Все ждут, когда настанет срок
Им преподать мне свой урок,
Все ждут, когда протиснусь я
Сквозь шелку бытия.

Вервольф

Дорогая, любимая, милая,
как ты отнесешься к тому,
если я стану иногда
превращаться в волка?
Выпрыгну из-за стола,
заваленного бумагами,
оденусь в мгновение
серую шерстью,
и в дверь!
Опасаясь автомобилей,
прямо на холмы
Национального парка.
Вернусь вечером,
а сейчас спать.
душ принять
и снотворное.
Утром лекция.

ЗОЯ ПОЛЕВАЯ

* * *

Что мне почву долго выбирать?
Я хочу, как сорное растение,
В веснах – жить, зимою – умирать,
Лету отдавать свое цветенье.
В бурю – лечь, под солнцем – прорасти,
Знать свою выносливость и силу.
А тебя, Господь, бы попросила
От чужих садовников спасти.

ВОСКРЕСЕНКА

Вот двенадцатый год
Закрутил, затянул, как воронка.
Ветер воет и рвёт,
И из сада пришла похоронка.
И бреду, как в бреду –
Ни дороги не вижу, ни неба.
Поскользнувшись на льду –
Улетаю в озябшую небыль.
Береженого Бог бережет,
А других – и не надо.
Вот поэмка стрижет
Тот пустырь, что недавно был садом.
И в колючей зиме,
Средь морозов жестяно-трескучих,
На отцовской земле
Вместо дома – лишь мусора кучи.
Там, должно быть, весной
Засверкают серебряно рельсы,
По земле насыпной
Понесутся трамвайные рейсы.
Заскрежешет металл,
Там где раньше свистала синица,
Там где аист летал,
Словно ангел, что праведным снится.

Когда небо как в зеркало смотрится в мокрый песок,
Когда в мокром песке проплывают небесные тучи,
Ты по кромке идёшь, рассекая походкой летучей
Волны, пену и ветер, и брызги – их солнечный сок.

Когда быстро идёшь по сырым облакам
у прилива в плену,
Когда тёплая пена дрожит, как небесная вата,
И закат, что горел, потускнел вдруг и сник виновато,
И вечерние блики ушли, словно рыбы, ко дну –

В этот миг одиночества, в этот торжественный миг,
Когда день отступил, и за ним затворились ворота –
Возникает в пространстве такая высокая нота,
Что не слухом её уловил ты – но сердцем постиг.

Дальше – звёздная млечность прольётся
сквозь неба слои,
Дальше – ночь, словно вечность, открывает пределы свои.

Мы с тобою два сосуда сообщающиеся.
Анне

Заплачь обо мне, дорогая,
Судьбу упрекать ни к чему.
Ложится дорога другая,
Ни сердцу она, ни уму.
Так круто замешано тесто,
Такой вот печем каравай,
Что душно, и страшно, и тесно,
И любишь кого – забывай.
Все шорохи сумерки точат,
Туманом въедаются в дни.
Качают смятенные ночи
Тревог бортовые огни.

Меняются годы и виды,
Но ты, дорогая, не рви
Ни темные нити обиды,
Ни светлые нити любви.
Как светим теперь, догорая,
Впадая почти в забытье?
Молись обо мне, дорогая.
Молись во спасенье свое.

* * *

А в Киеве нынче чудесная осень.
И кленам с каштанами листья не сбросить
До тех пор пока в синеве облака
Белее и легче лебяжьего пуха.
Там нынче, как в храме, стоит перезвон
Слепящих лучей, золотящихся крон,
Светлейших берез, тонко плетеных лоз
Едва различаемый слухом.

И я в этом храме бывала не раз
Вдыхала там воздух горчайший и сладкий.
Там все было ясно, как в школьной тетрадке,
От грома до шепотом сказанных фраз.

И я всякий раз возвращаюсь туда,
Где любят меня, где мое место пусто.
Где рядом идут нищета и искусство,
И дух просветленный, и в хлебе нужда,

Там сад мой, с хрустальной росой поутру,
Со мною заводит такую игру,
В которой по-прежнему лего.
Деревья мои, будто верные псы,
Затихли и ждут, не считая часы,
Все преданней с каждым рассветом.

* * *

Живу ли я иль только снится?
Вся жизнь моя от До до До.
В моём мозгу чужая птица
Вьет запоздалое гнездо.
В её блестящем оперенье,
В её холодной красоте
Мои жестокие прозренья
Мои скитанья в пустоте.
Мои порывы и желанья,
Моя рассеянная грусть.
Мои стремленья и старанья
И нежность к тем, к кому вернуться.

1

"Я вас люблю. Моя любовь невинна".
М. Цветаева

Обняться и застыть и замереть...
А после – только звезды, только ветер...
Вот сон мой. Он несбыточен и светел.
И жизни не хватает досмотреть.

Стою, а за спиною ветер стих,
Творца творенье, мира половина.
Летит сквозь сон душа моя и стих –
"Я вас люблю. Моя любовь невинна".

2

"Я говорю, как маленькие дети".
М. Цветаева

Ах, что я сказала и что вы услышали?
Все было по-детски без фальши и лжи.
Вот окна открыты – на них витражи,
Вот небо сквозит над прозрачною крышею.

А стены? Сквозь стены проходит любой,
Ворча, топоча, улыбаясь иль плача.

А дверь? В неё редко входила удача,
Но часто смятение, смирение и боль.

А нынче, в чужом и угарном дыму,
Стою на виду, ветер выстудил спину,
Во всем виновата, ни в чем не повинна,
С подаренным сердцем не знаю кому.

3

"Друг! Все пройдет!"
М. Цветаева

Что наши откровенья и пророчества?
Привязанности, сны? Они мгновенны.
А жизнь — лишь подготовка к одиночеству.
Лишь ожиданье встречи со вселенной.

ПЕСЕНКА О ДВУХ ГОРОДАХ

Здесь город чужой
Неповинный ни в чем.
Его океан подпирает плечом.
Каналы, тоннели, разъезды, мосты,
Прямые дорог, перекрестков кресты.
Он множится в окнах
И в стеклах машин.
Он в небе висит,
Как светящийся джин.
Он в сердце мое,
Как холодный кристалл
Вошел и в аортах
Безвыходно стал.
Я рада, я рада,
Что здесь не живу;
Что утром я вижу
Деревья, траву;
Что эти колоссы
Не рядом со мной,
А лишь позади,
За моею спиной.
Привет тебе, мощный
Огромный магнит,
Но город другой
Мое сердце хранит.
Он греет мне душу
Закатным лучом
И здесь расстоянье,
Друзья, ни при чем.

Когда я взлетала, когда я летела,
Душа покидать своих мест не хотела;
Прильнула к земле и на ней распласталась.
А я улетела. А я не осталась.
Ну что расстоянье? Оно не преграда
Для мыслей, для чувств, для растрат и для боли.
Но всё, что люблю я и всё, чему рада —
Лишь памяти признак, лишь призрак не более.
Вот так и живу. Что реально, что мнимо?..
А дни, как чужие, проносятся мимо.

В тот час, когда осень
Приходит без грима,
И листья и просинь
Сникают незримо,
И утром прозрачным
Белеет трава,
И солнце невзрачное
Светит едва —
Свежо и на прежние
Утра похоже,
Где ты — узнаваем,
Но только моложе.

Всё продолжение одной и той же страсти,
Всё отражение одной и той же грусти,
Ни годы не важны, ни имена.
Как ток в крови, как полноводье в устье
Любовь живет вне времени, вне власти
К кому — не важно, важно в ком она.

Дорога из Флориды в Нью Джерси

Мы в апрель возвращались из лета,
В эту зелень салатного цвета,
В легкий шелк лепестков,
Заострённость ростков,
И весенних деревьев букеты.

Цвет, кружась, серпантином ложится в траву.
Ель огромною птицей летит в синеву.
Ветер в окна сиренью стучится.
И узорно-нежна молодая листва.
И печаль иллюзорна, а радость права —
И ни с кем ничего не случится.

Жизнь на миг показалась развёрнутой вспять:
Мы из лета в апрель возвращались опять,
Чтобы снова весной любоваться,
Чтоб надежд не губить и друзей не терять,
Чтоб любить и жалеть, и всему доверять,
И всегда на земле оставаться...

Скажу я вам странные вещи
Хранятся в моем тайнике
И выглядят даже зловеще,
Как голая шашка в руке
Зачем не забыть мне все это,
Зачем не вернуться туда,
Где солнце на фоне рассвета
И почки блестят как слюда.
Где словно птенец озаренный
Трепещет сердечко моё,
И ты молодой и влюбленный
Влюблен не в меня, а в неё.
И пишется строчка за строчкой
Роман, но не тот — а иной,
И я в белоснежной сорочке,
И в Киеве пахнет весной.

Ах, не получилось — так не получилось.
А жизнь пролетела, а жизнь проскакала
Рожала, сражалась, училась, учила —
Всего было слишком и все ж было мало.

Как дети выросли, как мама старела,
Как дом оказался в полсвета длиною.
Как все это вышло: как жизнь пролетела,
Как родина стала чужою страной?

Друзей хоронила, родных провожала,
Сама превращалась в небесное тело,
А сердце, как малая птаха, дрожало
А жизнь, словно дикая лошадь летела.

Холодной весною, прекрасной весною
То светом зальет, то забрызгает тенью.
Что было, что будет, что нынче со мною?
Свирепствует ветер, срывает цветенье.

Минуты... Если очень много,
То все равно не бесконечно.
Но как приятно быть беспечной
И жить небережно, нестрого.
Иметь свой угол, жечь свой уголь,
Не слышать споры, брань, укоры,
Вершить дела легко и споро,

Забыть врага, быть другом другу.
Сказать, проснувшись: "Слава Богу".
Обнять любимого за плечи.
И не искать холодной встречи,
И не просить безмерно много.

Принадлежало

Зубы сцепила,
Пальцы зажала!
Больно!
Спасите!
Никто не спасает.

То, что вчера еще
Тихо лежало,
То, что одной мне лишь
При-над-лежало
В Свет
Выползает.
Из мягкой норы,

Из своей кожурь,
Призрев притяжение
Теплейшего лона,
По ветру, по солнцу,
По звездным законам
Зажмурясь, ссутулясь,
От страха крича,
Свой шлейф из меня
За собой волоча
Свою пуповину
С моей половиной...
Стремясь оторваться,
В пространство летя,
Рождалось дитя.

Цирк

Ах, гуттаперчевый мальчик!
Как он скользит по канату!
А те, что внизу, уже тем, что внизу
Пред ним навсегда виноваты.
Он не упадет в их открытые рты,
Он дойдет до конца, до последней черты,
А потом улетит неизвестно куда,
Не спустившись сюда никогда!

А дикие звери уже на арене.
Вот лев перед львицею стал на колени.
А белые лошади, белые лошади
Кружатся, как птицы над площадью.
А под куполом двое на гигантских мячах,
Серебрятся их руки в скрещенных лучах.
Их планеты меняют орбиты,
Их сердца не разбиты.
Трубач, напрягая губу,
Вдувает звучанье в трубу
И, ухая, скачут тарелки,
Как рыжие белки.
А вот скоморохи!
Ну, чем они плохи?
Ведь их появление
Конец представленья.
Бери в гардеробе пальто,
Прощай шапито!

Отмечен горькими плодами
Наш смутный день и век, и час.
Все меньше, меньше тех, кто с нами,
Все меньше тех, кто любит нас.
Когда распахнуты дороги,
Открыты настежь небеса,
Жалеть ли нам, что сбиты ноги?
Желать ли лишних полчаса?

Если рано я сгину
В зимний морок и муть,
Черноплодной рябиной
Обозначь мою суть.
Вязкой ягодой терпкой
На углях и крови
С неотпущенной меркой
Милосердной любви.

Шьет мелким стежком синица,
Сшивает рассвет и утро, утро и день.
Сквозь запах машин и шин,
Шуршащих страницы,
Запах земли
И деревьев, расправляющих ветки,
К небу, к небу стремится.
Наседки несут старательно теплые яйца
С прекрасной белой и кремовой скорлупой.
Их старушки несут осторожно
В плетеных корзинках
Утренней, похрустывающей нежным ледком тропой.
Три кота разноцветных,
Как белки, сидят на акации
И на всю округу громко, бесстыдно орут.
Они знают, наверное, произошла коронация,
И весна будет здесь через несколько тысяч минут.
Облака еще сыпят солью на мокрые улицы,
И малыш мой мечтает, что за ночь застынет каток.
День еще неустойчив, то светится ясно, то хмурится.
Но под снегом осевшим уже теплится
Новорожденный росток.

Л.Н.В.

Мы в стихах обретаем спасенье,
Бог торит нам пути человечьи.
Мы идем по дорогам весенним
Через боль от разлуки до встречи.
Мы идем к просветленью от грусти,
Пробираясь от образа к слову
На серебряный свет оглянусь я
И мы встретимся снова.
А сегодня мы рядом, мы вместе,
И торжественны, и сопричастны.
Наши помыслы, звуки и жесты
Не напрасны, как жизнь, не напрасны.
За пределами боли и грусти,
Где царит просветленное слово,
На серебряный свет оглянусь я,
И мы встретимся снова.

Илья Будницкий

Как одну из последних игрушек судьбы,
мы узрим анаконду, питона, удава,
переливы, узор полустертой резьбы –
панораму воды, убегающей вправо.

Бесконечные волны, их мерный плеск,
я бы даже сказал – их упрямый ропот,
да сколоченных досок то скрип, то треск –
это все, что я вижу в конце потопа.

Это все, что запомню, запечатлю
на сетчатке глаза, как облик бога. –
Здесь кольцо, наконец, перейдет в петлю! –
Ибо узел фиксирует смысл итога.

Нам не надо бояться других людей –
я бы даже еще уточнил – друг друга –
по причине того, что гостей, страстей
не осталось в орбите воронки круга.

Я теперь вспоминаю – есть много за
то, что мир не во всем оказался свалкой,
и бесцветно-оливковая слеза
пропадает в воде, не успев стать жалкой.

Гальванический нож отсечет главу,
кислота или щелочь проникнет в ткани –
жидкость нас поглощает! – И наяву –
мы заложники за неплатящих дани.

Так простимся с горем, и будет пуст
человеческий разум – другое дело!
Распростерся на ложе больной Прокруст –
за него принимает решение тело.

Не случилось свихнуться – одни глаза
почему-то все время косят направо
и желудок сводит и голоса
в голове звучат совершенно здраво.

Не гусарский насморк, так гайморит
заставляет вспомнить его причину –
поджигаю все, что еще горит! –
перед тем, как сам этот мир покину.

Перед тем, как сам завершу узор
безобразной кляксой, неразберихой,
и уйду сюда, обманув надзор,
и останусь здесь, где хотя бы тихо.

Посчитаю зубы своей звезде –
кто-то каркает или еще кукует? –
Звуки глушит вода, но они везде –
кто не пьет, тот этим уже рискует.

А дорога в воду уводит вниз
и воздушный шар, как среда, доступен. –
Исполняя чей-то чужой каприз,
не нуждаюсь в пестике или ступе.

Ну а если сам? – То тогда потом
в море следствий не угадать начала.
Напишу закон и создам фантом –
жизнь возникнет так же, как возникала.

А хочешь тройку с бубенцами? –
Искрящийся подлунный мир,
Мелькнуть по насту – и с концами! –
В какой-нибудь из чёрных дыр
Возникнуть после поворота,
А там опять – снега, снега... –
Ликует псовая охота.
Стучат лосиные рога,
От бубенцов по ветру трели,
Скрипят полозья, воздух свеж,
Мелькают белые недели,
Сокрыт невидимый рубеж,
Где мы исчезли безвозвратно,
И только меж звездой и тьмой,
Случайным взглядом вижу пятна
И нашу жизнь за бахромой.

СТЕФАН МАШКЕВИЧ

9:30 ПО КИЕВУ

Время замерзло, свалившись в сугроб на углу Фундуклеевской,
Годы, оттаяв, сползли под уклон по брусчатке у Пушкинской.
Город, в котором развилки дорог заставляли надеяться,
Выдержал вьюги – и окаменел, встав из образа сущностью.

Город утратил язык, имена – и былую насмешливость,
Стал несговорчив – хоть насквозь пропитан детством харизма –
Ложью воздал за доверие и, мимолетно потешив нас,
Сдал, незаметных, в объятия прежнего идеализма.

Время нырнуло в туннели метро под днепровскими кручами.
Время – трамвай, что не одолели Бульварно-Кудрявскую,
Время ржавеет и стонет опорами, прежде могучими,
Но и мосты не спасли: воды Леты затянута ряскою.

Так и теперь, как всегда, заходя на посадку в Борисполе,
Видишь не столько распад, сколь весы – но чьи чаши суть прошлое:
Там, где цветут те же липы и то же поют снегири с полей,
Глаз ныне радуют не *déjà vu*, но – анафоры пошлые.

Впрочем, не нам, очевидно, судить. Торжество поколения,
Переоткрывшего в демосе – стадо, любовь – в демагогии,
Обозначая кому-то короны, кому-то стремления,
Служит, однако, законным финалом печальной дилогии.

Время! целитель иллюзий! Малиновый звон над Владимирским
Эхом в берлогах предместий, возведенных в званье "высотных"...
Точка на глобусе! как и когда ты путем ни иди мирским,
Нет ни кругов параллелей, ни, в общем, кругов поворотных.

Март 2001

СИМФОНИЯ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ПОДЗЕМКИ

"Красная птица" – прозвище старого, красного цвета поезда нью-йоркского метро.

По туннелям, где сырость и грязь стали частью пейзажа,
Где подземность путей утверждает: судьба есть анклав,
Из холодных глухих тупиков, где безвозрастна сажа
И расшатаны шпалы, как клавиши пыльных октав,

Где царят, претендуя на сходство с органом, колонны,
А ручьи между рельсов текут, как и встарь, под уклон,
И где, делая честь хоть Нептуну, хоть даже Харону,
Дождь на улице льет точно тем же дождем на перрон,

В каплях, стане, шипении, свисте, ударах и звоне,
В очертаниях кафельных плиток, отпавших от стен,
Возникает, ползет лязгом, визгом иглы в граммофоне
Вальс – симфония – fuga – мотив на истертый катрен.

Те, кто ездят в такси, едут тем же маршрутом, но выше,
Те, кто ходят пешком, видят мир в бледно-розовом сне, –
Но само представление о мостовой как о крыше
Порождает пассажи, никак невозможные вне:

Машинист "Красной птицы", седой тощий негр-бедолага,
Тормознет на зеленый, когда в его грезах промчит
Незабвенный товарный Монтгомери-Нашвилл-Чикаго,
Чьи напевы теперь андеграунд фальшиво бурчит.

В параллельности рельсов сквозят нити нотного стана,
Но затор на пути – ритм утрачен, и сбит метроном...
Плачь же, старый! терзай душу блюзами Нью-Орлеана –
Флейтой скрежет колес подпевает тебе за окном!

И умолкни, скрипач! пианист, кинь в огонь гонорар твой,
Когда ревом времен, ассонансом дождливому дню
Зарыдает Манхэттенский мост безутешною арфой,
Битый поездом, тучно ползущим к Де Калб-авеню!

Мчи ж сквозь вечную ночь и усладу синкоп семафоров,
Отбивай такты стыков катками своих колыхаг,
Сквозь препоны заторов и тягостный тон разговоров,
Крикунам вопреки, – дирижируй! Сегодня – аншлаг.

Ноябрь 2000

ОКТАБРЬ В НИЦЦЕ

Октябрьский дождь заливает пальмы на Promenade des Anglais.
Таксист сдирает сто тридцать франков от аэропорта до города.
Гостиница "Рузвельт", пустые бульвары да галька на пляжах во мгле,
Миражи полнолуний любви – но это будет еще не скоро там.

Меню в ресторанах – не слишком искусный сюрприз – на моем языке,
Предполагающим вежливость тоном: "Désolé, но кухня закрыта", –
И снова зонтик, кромка воды, и нашепчут огни вдалеке,
Что все это – город, одежды, идеи – не сгинет, но будет забыто.

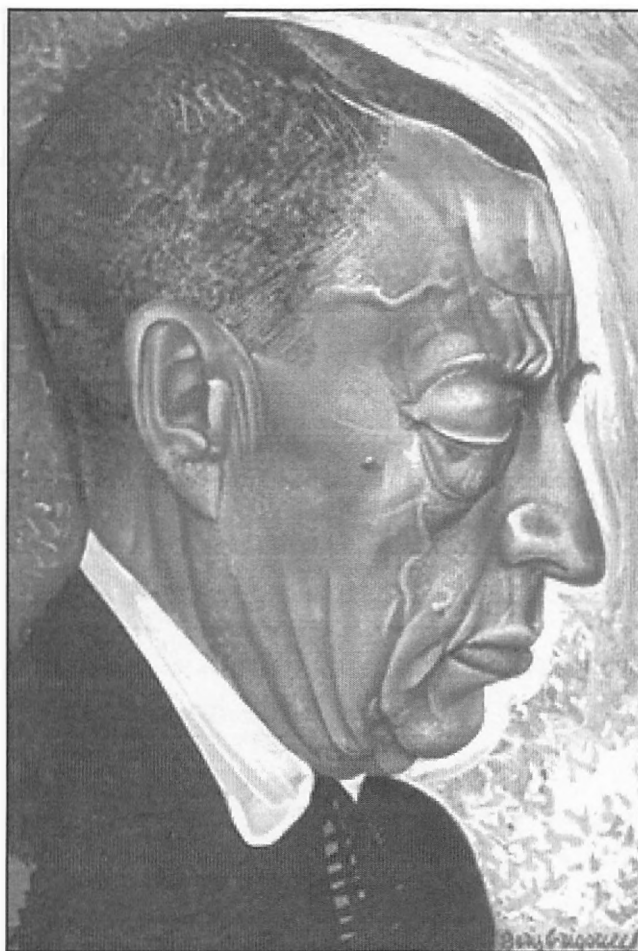
Серость во всем – в непрозрачных потоках с неба и с гор, в дыму,
В Средиземном море, по слухам, лазурном, в фасадах и в мрачных аллеях,
В котах и в деревьях, в киосках и в лифтах, в асфальте, – и потому
В словах и на лицах у горожан какая-то затхлость музея.

Дышат останками лета, читают газеты – в день по несколько строк,
На старом базаре торгуют зверями да гильзой, бывшей патроном.
Бредут, по давней привычке, в церкви, но и, взглянув на Восток,
Увидишь не Мекку и не Медину, только Монако с Мантоном.

Спит чужих курортных романов и ушедших поэтов страна,
Объяты тумана – уже не отпустят, но в эту минуту – так проше.
И как-то неожиданно случилось: фонтаны в полночь на Place Massena
Напомнили, акварелью расплывшейся, старую Думскую площадь.

Так навевает грусть и прохладу неостановимый прибор,
И призрак бредет сквозь толпу, не спеша и не отвлекаясь на лица.
И, растворяясь в грязи листопада, ты забираешь с собой
То немного, чем волновалась душа и чему уже не повториться.

ПЕРЕВОДЫ



ПОБЕРЕЖЬЕ

ИЛЬЯ ЛИПЕС

РОБЕРТ ФРОСТ

Перевод с английского

НА ОПУШКЕ ЛЕСА СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ

Владелец леса мне знаком,
Но не узнает он о том,
Что я залюбовался вдруг
Его заснеженным добром.

Дивится конь, мой резвый друг,
Зачем стоим, когда вокруг
Нет ни жилья, ни огонька...
Лишь темный лес да мерзлый луг.

Он бубенцом встряхнул слегка... –
Мол, едем, ждать – одна тоска.
И – тишина. Лишь ветерок
Шуршит порошей большака.

А лес причудлив и глубок.
Ну, трогай! Нам пора, дружок.
Пока я сплю, мой путь далек.
Пока я сплю, мой путь далек.

ФИГУРА В ДВЕРЯХ

То вниз, то в гору мчали рельсы нас.
Сидим, едим и смотрим битый час
На заросли, на мхи, на валуны...
(Картины удручающе нудны)
Казалось, тут никто не жил вовек. –
Внезапно показался человек.
Проем двери он заполнял собой,
А упав, – достал бы головой
В своем жилище дальний уголок,
Но не упал... А всё же как далек,
Немыслимо далек был от всего,
Что хоть слегка согрело бы его!
Недвижно он стоял, сух и угрюм.
(Необязательно от горьких дум):
Тепло и свет окружный лес давал,
Корова, лошадь, риги, сеновал.
И вдоволь было дичи и воды,
И в садике румянились плоды. –
Но как далек он от увеселений –
И в этом не было у нас двух мнений.
Сидим, едим... Дорожная истома.
Он помахал рукой с порога дома.

ОГОНЬ И ЛЕД

Погибель миру от огня,
Или его погубит лед?
Что же касается меня –
То лучше от огня.
А если дважды смерть придет?
Я злом не раз бывал сражен.
Клянусь: для разрушенья лед
Столь же силен. Вполне сойдет.

ОКТЯБРЬ

О, заспанное утро октября!
Твоей багряной песне вышел срок.
И скоро ветер, лишь взойдет заря,
Швырнет листву в песок.
Над рощей – крик ворон; какой им прок
От пустолесья – завтра же слетят.
О, заспанное утро октября!
Замедли день, отсрочь его закат,
Чтоб столь коротким не казался нам.
Сердца к обману тянутся не зря.
Так обмани же нас на старый лад:
Два листика на зорьке сохрани:

Один поблизости, другой – вон там,
За пастбищем... Пусть повисят они.
И лес, и сад, и поле сжатой ржи
Туманом чуточку приворожи.
Чуть-чуть приворожи.
Тогда хотя бы будут спасены
Тугие кисти виноградных лоз,
Чьи листья с ночи опалил мороз.
Хотя бы эти гроздья вдоль стены.

ОСИРОТЕВШИЙ

Снова разносится над головой
Ветра осеннего сумрачный вой.
Чего же еще ожидаю теперь,
Глядя недвижно в открытую дверь,
На неживой, опостылевший мол?...
Вот уж который день отошел.
Тучи сгущаются черным кольцом,
А за осевшим, прогнившим крыльцом
Листьев пожухлых шипящий клубок
Сослепу жалит в колено и в бок.
Кто-то злоеще мне шепчет: «Шалишь,
Не проведешь себя, не утаишь
То, что один ты остался, один.
В доме один – и повсюду один».
Не различаю, где темень, где свет.
Я и Господь – никого больше нет.

Прогуливаюсь, а мое село
Вмиг опустело, снегом замело,
А на меня сквозь липкий снегопад
Глазами теплыми дома глядят.

И так непринужденно в них народ
Трапезничает, пляшет и поет!
Мне слышится скрипенье половиц,
За шторами мельканье светлых лиц...

И я б туда отправиться не прочь,
Но вот уже околица – и ночь.
Опомнившись, я возвращаюсь, но –
В проемах окон всё черным-черно.

Слышны мои тяжелые шаги,
Тревожат, оскверняют сапоги
Сон спящих улиц... Что же ты, шатун?
Одиннадцать часов. Зимы канун.

ЭМИЛИ ДИККИНСОН

Перевод с английского

Я дважды повидала смерть,
И вот опять она.
Неужто я и в этот раз
На жизнь обречена?..

И будет вновь огромный мир
Мучительно изжит...
Разлука – всё, чем страшен ад
И всё, что рай сулит.

День съезжился, обложенный вплотную
Сутолой ночью,
Бросая желтую недолговечность
В глубокий вечер, –
А ветры отмаршировали,
У листьев – передышка...
Ноябрь повесил свой гранитный кивер
На бурый гвоздь.

Я слышала, что раненый олень
В агонии на диво грациозен:

Он вдруг взлетает выше всех других –
И тут же со всего размаху – оземь.

Фонтаном бьет пробитая скала,
Сталь раскаляется от жаркойковки...
А щеки делаются розовой
У тех, кто умирает от чахотки.

Как часто буйная веселость – щит!
За ним мучительная рана скрыта,
Чтоб кто-нибудь не обнаружил кровь
И в ужасе не вскрикнул: «Вы убиты!»

Нет корабля, который перенес бы
Подобно книге нас через века.
Нет скакуна, которому уступит
Гарцующей Поэзии строка.
Она умчит в любую даль без пошлин
Любого прощелыгу, словно пух.

Глазами светлыми на прошлое гляди. –
Он делал всё, что смог, но близок вечер...
И – медленно Его заходит солнце
На западе природы человеческой.

Как часто беспощадно-ослепительной
Бывает слава, бросив на мгновение
Всевластие обездоленному имени,
Чтобы учтиво перейти в забвение.

Усни! Погас огонь свечи –
Наверно, ветерок в ночи
Задул... Эх, знал бы ты, мой друг
Как долго ангел с вышины
Дышал на этот светлячок...
Теперь он для тебя потух.
Быть может, это был маяк,
А где-то в шлюпке греб моряк,
Молясь на окоем. –
А, может, вспыхнул вдалеке
Зажженный трубачом фонарь –
И просветлил подъем.

Прошло много сотен лет. –
Уже никто не отыщет
Место былых агоний
Затерянного кладбища.
Победоносный бурьян.
Какой-то бродяга пришлый
Силится осознать
Смысл эпитафий почившим.
Припоминают путь
Ветры с весенних склонов,
Инстинкт поднимает ключ,
Памятью обретенный.

Толпа – это пушка сначала,
А потом – барабан,
Колокола – в подмогу, --
И под конец – шалман.

Кто тебя вспомнит завтра?..
Прошлое – тьма.
Царство твоё – канава,
Вознагражденье – тюрьма!

То был малюсенький челнок,
Качаясь, шел он из залива.
То было вежливое море,
Что увело его игриво,

То жадная была волна,
Что навсегда его слизала...
Не догадались корабли,
Что лодочки моей не стало.

Первый шаг – Находка.
После второго – Потеря.
Третий – экспедиция за Золотым Руно.
Четвертый – нет открытья.
Пятый – команда сбежала. –
Финал: Руна не будет,
Да и Ясон не тот.

Я – никто, а ты ведь тоже –
Никто? – Вот уже двое нас. –
И – хорошо. Но помолчим:
Выставят на показ.

Как утомительно кем-то быть,
Как скучно, разинув рот,
Державно выквакивать имя свое
На зависть окрестных болот.

АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

АНТОНИС ДЕ РОВЕРЕ

Перевод со среднеголландского

ЛЮБОВНЫЕ СТРОФЫ

(ЛАДОНЬ НА СЕРДЦЕ)

Антонис де Ровере, талантливый и очень плодотворный поэт, уроженец Брюгге (Западная Фландрия, ныне Бельгия), прожил немногим более пятидесяти лет. Приблизительный год его рождения – 1430, а смерти – 1482. Свои стихи он начал показывать друзьям в возрасте семнадцати лет, но изданы его сочинения были посмертно. Язык, на котором он писал, принято называть среднеголландским.

Изысканство предлагаемых здесь «Любовных строф» очевидно. Менее очевидна их оригинальность: они не были эхом миннезанга, процветавшего на юге немецких земель за два с лишним века до Де Ровере, хотя подражания Миннезангу он тоже описал. «Ролевая поэзия» (мужчина, сочиняющий стихи от имени женщины) была в моде. В России среди её образцов несколько прелестных миниатюр Дельвига. Жанр «Строф» изобрел, видимо, не Де Ровере. Подобные стихотворения обычно состоят из пяти или более (иногда вплоть до десяти) строф, каждая из которых заканчивается одним и тем же «рефреном» (отсюда название «Refreyn amoureuux») с небольшими вариациями. Чтобы пояснить насколько загадочный рефрен (видимо, поговорка или песенка, известная в те времена), я добавил подзаголовок, отсутствующий в оригинале.

Печальный жребий выпал мне,
И страх сменил былой испуг.
Поход. Мой милый на коне.
О ветер в дальней стороне,
Мне б унести с тобой на юг!
Там ласков воздух, там мой друг.
Стишок есть о злосчастной доле:
«На милом взгляд – ладонь на боли».

О край лучистого тепла!
Тебе я открываю грудь.
Мне с юга радость притекла,
Твой воздух жажду я вдохнуть.
Домой лежит оттуда путь.
Моя награда так мала,
Но к ней стремлюсь я поневоле:
На милом взгляд – ладонь на боли.

Люблю я ветер; в нем мой клад.
В том кладе мало утешенья.
Пусть повторяет стар и млад:
«Лизнет сластена, он и рад» –
Увы, по рту и угощенье.
Я задаю вопрос в смущенье:
«Твердить мне суждено доколе –
‘На милом взгляде, ладонь – на боли?’»

О принц возлюбленных, герой!
Догнать тебя мне не по силам.
Души моей разрушен строй.
Хотя и стал весь мир постылым,
Словесной тешусь я игрой:
«Ладонь на боли – взгляд на милом».

ВИТАЛИЙ РАХМАН

Песня Леонарда Козна

Перевод с английского

НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ

Я любил тебя так долго...
Беспоощадная любовь.
Эта глупая размолвка
Не остудит мою кровь.
Время раны не залечит,
Не остыть огню в крови.
Нет лекарства,
Нет спасенья,
Нет спасенья от любви.

По тебе страдаю, бэби,
Мне себя не обмануть.
Вижу я тебя наяву,
Твое тело, твою суть.
Ты нужна мне словно воздух,
Без тебя тоска в груди –
Нет лекарства,
Нет спасенья,
Нет спасенья от любви.

Пусть летят ракеты в небо,
Удаляясь от Земли.
Нет ответов на вопросы
В книгах древних и святых.
Зря врачи согбенно ищут
Выплеск истины в ночи –
Нет лекарства,
Нет спасенья,
Нет спасенья от любви.

Я в метро тобою брежу,
Ты в автобусе одна,
Ты со мною делишь ложе,
Пробуждаясь ото сна.
Ощущаю твою руку,
От волос струится свет,
Вижу блеск твоих браслетов.
Вздрыгнул – где ты? –
Тебя нет.
Я зову тебя чуть слышно.
Глохнет в сумраке ответ.
Нет лекарства моим мыслям.
От любви спасенья нет.

ЛИАНА АЛАВЕРДОВА

ЭММА ЛАЗАРУС

НОВЫЙ КОЛОСС

Нет, не колосс Родосский, вдалеке
Что длани величаво распростер –

Здесь будет охранять морской простор
Могучая жена с огнем в руке.

И молния в том факеле. Она
Мать Всех Изгнанников. На много лет
Приветствие для мира – этот свет.
Над гаванью двух городов жена

Взывает молчаливо: «Старый мир,
Пребуди в великолепии. Ко мне
Пошли усталых, тех, кто беден, сир,
Бездомных, рвущихся к свободе. Вне
Брегов преполненных, у золотой двери
я встречу их в иной, моей стране!»

ЖАКЛИН ОШЕРОВ (JACKELINE OSHEROW)

Жаклин Ошеров – автор шести стихотворных сборников. Она получила награды от Фонда Джона Саймона Гунхайма, Национального Фонда Искусств, Американской Академии, Института Искусства и Литературы, Поэтического Общества США, и других значительных и престижных культурных учреждений Америки. Ее стихи были опубликованы в многочисленных антологиях и журналах, включая The New Yorker, Paris Review, The New Republic, American Poetry Review, Slate, Best American Poetry, Norton Anthology of Jewish-American Literature, The Wadsworth Anthology, Longman Anthology и многих других. Она живет в Юте со своей семьей и является Заслуженным Профессором Английского языка Университета Юты.

КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА

С НЕИЗВЕСТНЫМ ГЕРОЕМ

То ли в скромности девичьей было все дело,
То ли золото, вшитое в платье искусно,
Целомудрие то ли души и тела,
Или просто обыкновенное безрассудство...

Возможно, платье для тебя значило много,
Некогда руками любимого измято,
Или ты скрывала изъян, недотрога,
Иль свою беременность, стыдись, хотела спрятать.

Может вестерн, переведенный на идиш иль чешский,
Иль иной язык, на котором ты говорила.
Тут вспомнился Джон Уэйн, честно
Уложивший четверых бандитов в могилу.

Иль обыкновенная девица, у которой
В давке вагонной сошли кранты.
Может, причина – с любимым ссора,
И самоубийство задумала ты.

Могла ты быть партизанкой в лесах,
Отрабатывая прием это снова и снова.
Кто знает, верила ль ты в чудеса
Иль это был вообще неправильный маневр?

Мой тесть упомянул это, словно в порядке вещей,
Когда я спросила его об эсэсовском боссе.
(В Биркенау он работал, избавляя от вшей.
Циклон «Б» тогда был в огромном спросе).

И тесть назвал Шилленгера, эсэсовца.
Он присутствовал при его умирании.
Когда женщине было приказано раздеться
(очевидно, тебя готовили для газовой камеры).

Но ты выхватываешь оружие Шиллингера,
Его и трех охранников уложив – жаль, мало!
Тесть сказал: были подобные примеры.
Конечно, в секунды тебя не стало.

То ли в скромности девичьей было все дело,
То ли золото, вшитое в платье искусно,
Целомудрие то ли души и тела,
Или просто обыкновенное безрассудство...

ПОНАР

Понар – курорт в пяти милях от Вильны (Вильнюса), который использовался нацистами как место уничтожения евреев. С 1941 по 1944 г. здесь было казнено около 100 000 человек.

В грядущем мире у лесов не будет секретов.
Листья будут падать на почву, состоящую из листьев,
Стеблей, слякоти, песка, обычных веществ.
И все, что происходит, будет слышно за милю вокруг:
Как шуршат листья, падают деревья, гремят выстрелы.
Только там не будет выстрелов:
Мы говорим о грядущем мире.

И жители Понара отряхнутся от грязи
И вернутся к двадцати семи библиотекам
И шестидесяти читальным залам синагоги Вильно;
Ко всему спектру молодежных организаций
От правого до левого сионистского крыла
И множеству авангардных поэтических деклараций
О красоте понарских осин.

В основном они будут изучать Мишну и Гемару
В переполненных залах на лекциях Раввина Акивы,
Которому, хотя его и освежали подобно зверю
На рыночной площади, что описано в Мидраше,
Ничто не помешало появиться в грядущем мире,
Изумляя глубиной понимания самого Моисея.

Заниматься будут не только раввины и богачи,
Но также мясники, портные, сапожники, музыканты;
Воздух, тяжелый от пелла,
будет ерошить пугливые страницы осин
В поисках комментариев к священным текстам,
Извлеченным из полураскрытых прозрений,
Утерянными до того, как можно было их записать,

Наряду с фресками, историями, рецептами,
Химическими формулами, фасонами платьев,
Мелодрамами, новыми неделимыми числами, стихами,
Собранными в кучу в особой темной почве,
Полирующую тусклое серебро осин,
Чтобы подготовить почву для изучения алфавита

Или, возможно,
превратить каждый листок в крошечное зеркало,
Миниатюрное и сияющее, куда никто не взглянет,
Тихо мечтающее о грядущем мире,
Пока оно не наполнится золотом и не упадет опять –
На этот раз мягко – на предназначенное место
И не упокоит свои секреты
на переполненной телами Земле,
В тени понарского леса.

ДЖАНЕТ КЁРХАЙМЕР (Janet R. Kirchheimer)

Стихи Джанет Кёрхаймер были опубликованы во множестве изданий в США и за границей. Ее сборник стихов *How to Spot One of Us* / «Как узнать одного из нас» был высоко оценен нобелевским лауреатом Эли Визелем, Сэром Мартином Гилбертом и многими другими еврейскими общественными деятелями, а также известными американскими поэтами. Джанет преподает в CLAL / The National Jewish Center for Learning and Leadership (Национальном Еврейском Центре Обучения и Лидерства).

ФОТОГРАФИЯ В РУКЕ

Моей матери четыре года. Светлые кудри,
В детском платье с оборками

среди золотистых полевых цветов,
С куклой на коленях и собачкой рядом.

Через два года девочку на фотографии
Прижмут к школьной стене
Дети из ее класса за то,
что она не хотела сказать «Хайль, Гитлер»,

В нее будут бросать камнями, избыют,
назовут жидовкой,
Разорвут ее платье, и ее родители
Должны будут найти способ, как вывезти ее из Германии.

Ее пошлют в приют в Амстердаме
А они будут ждать два года до получения визы
В Америку. Я хочу спросить девочку,

Что стало бы с ней,
если бы ее родители не нашли выхода?
Выжила бы она?
Может быть, она бы стала жертвой экспериментов,
как ее кухня Ханни,

Которая вернулась домой после войны и редко
покидала свою комнату или она,
как другая кухня, Бертол, пыталась бы пересечь Пиренеи

в Испанию и пропала бы?
Что, если бы Гитлер никогда не пришел
к власти, приехали бы ее родители в Америку?
Встретила бы она моего отца и за кого бы

Она вышла замуж, если бы она осталась в Германии?
И кем бы она стала и что бы случилось со мною?
Я не могу об этом не думать.

КАК УМЕР МОЙ ДЕДУШКА (ОПА) ШТРАУС

Он вернулся домой с работы в метель в 47-м году.
Моя бабушка (ома) открыла дверь.
«Натан, почему ты тащишь продукты в такую погоду?»
«Я всегда приношу тебе что-нибудь, Дженни» –
сказал он и умер у нее на руках.

Но его умирание началось задолго до этого, когда
Его заставили продать мясную лавку
После того, как Гитлер пришел к власти,
Когда он увидел, что его шестилетнюю дочку
Избили школьники за то,
что она отказалась сказать «Хайль, Гитлер»,
Когда его заставили продать своих любимых лошадей,

Дом, участок земли, когда
Он был болен морской болезнью десять дней,
Пока пароход Рузвельт пересекал Атлантику
Из Гавра в Нью-Йорк, когда
Он стоял на холодных цементных полах склада,
Работая ночным сторожем в Гарлеме, когда

ХИАС нашел для него работу
Помощника фермера в Коннектикуте и
Он не мог сказать хозяйину,
что у него больное сердце, когда
Каждый шабос он сидел один в углу синагоги,
там, где сидят иммигранты, когда

он узнал после войны, что он никогда не увидит
никого из своих девяти братьев и сестер, когда
он работал на резке мяса,
несмотря на сердечные приступы, когда он
поднялся по Meadow Street и его соседка Роуз ДеНегрис,
на восьмом месяце беременности,
увидела, как он несет мешок с продуктами,
и спросила его,
почему он на улице в такую погоду, и он ответил:
«Мне не долго осталось жить».

БРАТЪЯ

Була* – так маленький брат моего отца, Джозеф,
Называл его, когда они были детьми.

Иногда мне трудно помнить,
Что мой отец был когда-то ребенком,
Что было время,

Когда он не приносил в записки в школьном табеле,
Где было сказано, что евреи не могут посещать школу
Вместе с арийскими детьми, когда его не прогоняли
С футбольного поля, где он играл с другими ребятами,

Когда он не видел надписи «Не для евреев»
У входа в общественный бассейн,
а за ним и его друзьями
Не гнались мальчишки, коричневорубашечники,
Когда они ехали на велосипеде.

И иногда я думаю, каково было бы,
Если бы Джозеф нам позвонил...

* Прозвище моего отца, Bule (произносится Була) происходит от слова Bub (мальчик, по-немецки). На швабском диалекте маленький мальчик – Bubele, и его сократили до Булы.

ДНЕМ В ЧЕТВЕРГ В ЕВРЕЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ. АМСТЕРДАМ.

Я сижу на скамейке на втором этаже музея,
Построенного на руинах четырех синагог
Их интерьеры разрушены нацистами,

И смотрю фильм, который показывают на белой стене,
Монтаж еврейской жизни
В Голландии во время войны.

Свадьба. Белые звезды, нашитые на пальто.
Люди покидают зал.
Людей заталкивают в вагоны для коров.

Депортация в Вестерборк.
Двое мужчин, пожимающие друг другу руки,
Как будто они скоро встретятся,
Захлопываются двери. Запираются стальные засовы.

Я смотрю эту пленку снова и снова,
Надеясь увидеть бабушку (ома), дедушку (опа),
Может быть даже Руфи. или Джозефа.

Может быть одно лицо,
Одни последний взгляд,
Одно последнее рукопожатие.

Но слезы размывают лица
Людей, садящихся в поезда,
И я не могу больше видеть, там ли вы.

РУКОЙ ОМЫ (БАБУШКИ) КЕРЧХАЙМЕР

Готическим письмом
На бумаге, ныне такой хрупкой, –
Прошло почти 60 лет –
Она распадается от прикосновения.

Mein Lieben Kinder!* Мои любимые дети,
Пишет она
Другим, тем, кто приехал в Америку,

И я не могу читать дальше.
Я знаю, как все это кончится.

* Майн Либен Киндер – мои любимые дети.

ЮРИЙ ЛУКАЧ

КАРЛ ОРЛЕАНСКИЙ

Charles d'Orleans (1394-1465)
Перевод со среднеанглийского

Баллада 74

О сердце, утонувшее в слезах,
Навеки задубевшее от соли,
Взорвись – мы оба превратимся в прах –
Будь милосердо к нашей общей доле,
Хотя давно ты равнодушно к боли
В своем окостенелом полусне,
Но дай же смерти милость мне!
Стенаний Тисифоны¹ скорбен звук,
Но не досталось мстительной богине
И половины наших тяжких мук,
А потому тебе желаю ныне:
Страдалицу сыщи в её пустыне,
Сравни, кто больше мучится в огне,
И дай же смерти милость мне!
Желающий прочувствовать печаль,
Иди ко мне – толику этой груды
Тебе ссужу – и мне её не жаль,
И я не попрошу возврата ссуды;
Мне лязга ножиц ожидать, покуда
Атропа², щёлкнув ими в тишине,
Подарит смерти милость мне!
О Клото, ты не пожалела льна,
И нить, Лахеза, чересчур длинна!
Терзает боль, и света нет в окне –
Так дайте смерти милость мне!

¹ Тисифона (Тизифона) – в греческой мифологии эриния, мстящая за убийства. Здесь явная цитата из Дж. Чосера, писавшего во вступлении к «Троилу и Крессиде» (6-11):
*О Тисифона, вдохнови мой труд:
Стихи с пера, как токи слез, бегут.
К тебе взываю, о богиня муки –
Скорбящая Эринния, спеш...*

(пер. С. Сухарева)

² Перечисляются имена трёх мойр (греческих богинь судьбы): Клото пряла нить жизни, Лахеза (Лакесис) отмеряла её длину, Атропа (Атропа) перерезала нить.

РОБЕРТ БЕРНС

Robert Burns (1759-1796)

Рональды из Бенналса

Перевод с англо-шотландского

В Тарболтоне стая девчонок, блистая
Изяществом, так хороша, друг;
Но все же я верю, что Рональда дщери
Прекраснее всех, не греша, друг.
Дом полная чаша, богатый папаша,
Как будто турецкий паша, друг;
Он дочкам гиней даёт, не жалея
На них своего барыша, друг.
Там старшая, Джинни – подобно богине
Одета сия госпожа, друг;
Разумна на диво, не слишком красива,
Но очень мила и свежа, друг.
Как манит вниманье ума обаянье,
Не съест его времени ржа, друг;
А лилий цветенье подвержено тленью,
И персик умрёт от ножа, друг.
Но яростен норв его ухажеров,
В бой кинется, прочих круша, друг,
Владелец Блекбайра, заносчивей сквайра,
Под звон своего палаша, друг.
И лэрд из Брехида, питая обиду,
Для драки примчится, спеша, друг;
Помещик из Форда вмешается гордо,
Настырным вьюном мельтеша, друг.

Под звуки осанны прекрасная Анна
Вплывает, шелками шурша, друг;
И все празднословы пить дружно готовы
Во здравье её из ковша, друг.
Ах, парочку эту лишь песней поэта
Способна прославить душа, друг;
Иные девицы не могут сравниться
С блистаньем сего фетиша, друг.
Мне милая Анна любима, желанна,
Живу, свои чувства глуша, друг;
Я их не открою, пока за душою
Лишь песни, и нет ни гроша, друг.
Но рою тоннели к её цитадели,
Довольно во мне куража, друг;
Я беден, безвестен, но, право же, честен,
И горд, и живу, не тужа, друг.
Не выехать ныне, гарцуя в гордыне –
Нет кляче моей фуража, друг;
Потрёпана сбруя, но шею не гну я,
Призваньем своим дорожа, друг.
Есть куртка, жилеты, штаны и штиблеты
Среди моего багажа, друг,
И, гордый чулками с изящными швами,
Гуляю я в них не спеша, друг.
Отнюдь не неряха, на теле рубаха
Белеет, крахмалом шурша, друг;
Не часто одеты так модно поэты,
И шляпа моя хороша, друг.
Приятелей много, живущих убого,
Но толку от них ни шиша, друг;
Нет тётушки-душки, ворчливой старушки
С духовною для племяша, друг.
Лишён я призванья копить состоянье,
Ни прибыли, ни барыша, друг;
Пасётся в кармане блоха на аркане,
Но нет и долгов ни гроша, друг.

1780

Бенналс – ферма в округе Тарболтон, принадлежавшая богатому фермеру Вильяму Рональду. У него было две дочери, Джин и Энн, с которых были влюблены Бернс и его младший брат Гилберт. Гилберт сватался к Джин, но она вышла за другого. В 1789 г. Вильям Рональд обанкротился.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ
Joseph Rudyard Kipling (1865-1936)
Перевод с английского

Арифметика границы

Семь долгих лет учиться кряду
Пристало знатному бойцу,
И этим заслужить награду –
С врагом сойтись лицом к лицу;
Но пуля, свистнув из рва,
Докажет нам: «Вся плоть – трава».
Того, на чьи мозги и тело
Расхода триста фунтов в год,
Во время первого обстрела
«Селитра подлая» убьёт!
Спроси пуштинские отроги,
Что толку от учёных «логий».
Бой на заставе – путь в чашобу –
Галоп среди афганских скал –
И все затраты на учёбу
Джезайл¹ копеечный прибрал.
Тот, кем гордился эскадрон,
Кулём упал на горный склон.
Все знания, что в нас впили, нули,
Школярской мудрости редут
Тебя не защитят от пули
И от тальвара² не спасут.
Готов побиться об заклад –
Дешёвый победит солдат.

За ленту с офицерской шпаги
Тут всё купить не мудрено
Бандиту, что залёг в овраге;
Не знает он причастий, но
Ему дарован меткий глаз –
Он из засады косит нас.
С британским выпелом на рее
Спешат суда со всех сторон,
Ни сил, ни пара не жалея
Для усмирения племён.
В цене ничтожной супостаты,
А мы – увы – дороговаты.

1886

¹ Джезайл – длинноствольный кремнёвый мушкет, оружие пуштунов.

² Тальвар – кривая индийская сабля.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН
Paul Verlaine (1844-1896)
Перевод с французского

К мадам X, посылая ей «Мысли»

Когда-то вами был вручён
Мне знак любви (конечно, вечной) –
Послание склонности сердечной,
Прелестный розовый бутон.
Сказала роза мне: я значу,
Что клятва верности дана;
Вам сердце отдано сполна
И всё, что следует в придачу.
Прошло три года. И огню
Былые преданы обеты,
Но я горжусь, что помню это,
И розу в памяти храню.
Лишь память мне дымит углями –
Увы! ни сердца, ни цветка.
Судьба цветочная хрупка,
А сердце? Строго между нами,
Принадлежало ль мне оно?
Моё же бьётся безразлично,
И это тоже символично,
Когда бывшее сожжено.
Как встречный символ исповедный,
Вы примете ли мой букет,
Хотя его печален цвет?
Но в этой негритянке бедной
Есть краски сердца моего;
Цветок расцвёл, раздвинув плиты,
Которыми давно покрыто
Моё больное естество;
И он моей пропитан кровью,
Так пусть же ваш украсит дом;
Я отыскал его с трудом,
И это – скабиоза вдовья.

«Мысли» – вероятно, стихотворение «Вечерние мысли» (*Pensee du soir*), переведенное И. Анненским под названием «Вечером» (есть также перевод Э. Линецкой с точным названием).

ДЖОВАННИ ПАСКОЛИ
Giovanni Pascoli (1855-1912)
Перевод с итальянского

Диалог

Чирик: по борозде снуют часами
вприпрыжку воробьи. А над прудом
след ласточки исчез под небесами;
Вить-вить... цивить. Для одного – полова,
гумно, стога и деревенский дом;
простор небес и моря для другого.
Одна, как только пожелтеет сад,
стремительно летит к Иерусалиму;

другой – под гулкий дождь и листопад
останется, пережидая зиму.
Чирик-чик-чик: туманы у реки,
и в оттепели вяз мечтает древний
о том, как пустит первые ростки.
Мы оставляем толпам города
и дружно отправляемся в деревни,
как будто нас туда зовёт страда.
Ждёт воробья убогая лачуга,
снопы в полях и ласковый овин,
и, сидя в стоге, чёрная пичуга
приветствует гусей летящих клин.
Ярился ветер, пала ночь глухая;
укрылись горы за покровом туч;
и долго вьюга выла, не стихая.
А утром всё бело и нелюдимо;
всё ново; землю освещает луч;
над крышами синеют струйки дыма.
Снег! (вить-цивить: снег? что это за птица?
вас, ласточки, решив передразнить,
он, чёрный в небе, на земле белится;
какой знакомый вид... видь... вить-цивить.)
Снег! в сёлах больше не добыть еды;
пора лететь с любимого пригорка
туда, где зданий ровные ряды,
и побираться, сквозь седую мглу
с откосов крыш высматривая зорко
домохозяйки фартук и метлу.
Едва начнется сев овса и вики,
они назад несутся по прямой,
и – вить-цивить – ты, ласточка, под крики
их прилетаешь с пением домой,
но счастья видеть, как растаял снег,
не сможешь ты – чирик – понять вовек.

МАКС ГЕРМАН-НАЙСЕ
Max Hegmann-Neiße (1886-1941)
Перевод с немецкого

Вечный студент

Проплешины, объёмистый живот,
и дрожь в руках, и он твердит гнусаво
про доблесть наших войск и про народ,
про короля, отечество и славу.
Ему по вкусу слуг подхалимаж,
извозчики, покорные девицы;
он от германских саг впадает в раж,
зато от Марсельезы беленится.
В студентах состоит пятнадцать лет
и потому легко спойт салагу,
и на собраниях он – авторитет,
и любит рамс, и в ход пускает шпагу.
Ему противен толстых книжиц груз,
он возмущённо осуждает стачки,
а шрамы говорят, что он не трус,
хотя от белой недалёк горячки.
Как прокурором стать мечтает он
или главою городской управы!
И шалости свои былых времён
умильно вспоминает и слащаво.
Он подымает чашу тут и там,
на именины кайзера горланя,
картинки ценит будапештских дам,
стишки срамные про трактир на Лане.
Спит до полудня, а потом встает
и до утра по кабакам резвится;
для дряхлого отца – предмет забот,
но им горда безмужняя сестрица.
Он коротко с ломбардами знаком,
студенческих союзов знает масти
и завершает день в кафе ночном,
где ищет потучней и погрудастей.
Там восседает он, владетель дум,
хозяев друг и кельнеров отрада:
стеклянен взор, патриотичен ум,
и нос горит, как алая лампада.

1912

ЯН ПРОБШТЕЙН

ПРЕКРАСНОЕ ПЛЕНЯЕТ НАВСЕГДА: ДЖОН КИТС (1795 – 1821)

Строки, вынесенные в заглавие, – начало столь гонимой критиками при его жизни поэмы «Эндимион», – будут вечно пленять. Отрывок из якобы незрелой поэмы «Эндимион» в переводе Бориса Пастернака дает представление и о замечательном этом произведении, и о тонком складе природы самого поэта:

Прекрасное пленяет навсегда
К нему не остываешь. Никогда
Не впасть ему в ничтожество. Все снова
Нас будет влечь к испытанному крову
С готовым ложе и здоровым сном.
И мы затем цветы в гирлянды вьем,
Чтоб привязаться больше к чернозему
Наперекор томленью и надлому
Высоких душ, унынью вопреки
И дикости, загнавшей в тупики
Исканья наши. Да, назло пороку
Луч красоты в одно мгновенье ока
Сгоняет с сердца тучи. Таковы
Луна и солнце, шелесты листы,
Гурты овечьи, таковы нарциссы
В густой траве, так под прикрытием мыса
Ручьи защиты ищут от жары.
И точно так рассыпаны дары
Лесной гвоздики на лесной поляне.
И таковы великие преданья
О славных мертвых первых дней земли,
Чтоб мы детьми слышали иль прочли.

С годами все сильнее завораживает обаяние поэзии того, «чье имя начертали на воде» (единственная строка эпитафии: «Здесь лежит тот, чье имя начертали на воде», написанной им самим, которую Китс попросил выбить на собственном надгробье). В дом Китса, ныне музей Китса-Шелли на Пьяцца ди Спанья в Риме, и на могилу поэта на римском протестантском кладбище стекаются паломники, очарованные его поэзией.

Поэтическим мотивом Китса является «прекрасное, в котором заключена истина, истина, в которой явлена красота», как сказано в предпоследней строке «Оды греческой вазе». «Нет ничего, во что бы я верил больше, чем в святость сердечных привязанностей и истинность воображения. Красота, созданная воображением, не может не быть истиной, не важно, существовала она до того или нет, ибо все наши порывы, думаюется мне, сродни любви: все они в своих высших проявлениях творят первозданную красоту», – писал он в 1817 г. своему другу Бейли. Красота покоряет пространство и время, так в сонете «По случаю первого чтения Гомера в переводе Чапмена» поэт сравнивает свое потрясение и эстетическое наслаждение от чтения стихов Гомера с чувством, которое испытал Кортес, когда увидев безмерность океана, представил себе просторы неоткрытых земель нового мира.

В отличие от Вордсворта, Кольриджа и Шелли, Китс не писал статей о литературе, но мысли, высказанные им в письмах, настолько оригинальны и глубоки, что Элиот и другие поэты и исследователи литературы относят их к лучшим образцам английской эстетической мысли. Уже к 1818 году, не без влияния романтика старшего поколения критика и эссеиста Уильяма Хэзлитта, в свою очередь опиравшегося на эстетику Вордсворта и Кольриджа, у Китса, который прилежно посещал лекции Хэзлитта, складывается стройная система взглядов на поэзию. Так же, как Уильям Блейк и Кольридж, животворной силой он считал воображение. Вслед за Шелли он преклонялся перед мощью Духовной красоты, но в отличие от Шелли, не доверял игре ума, ставя превыше его искренность и непосредственность чувств. Китс писал Рейнольдсу, что «поэзия должна быть высокой и ненавязчивой, такой, чтобы проникая в душу, потрясала или изумляла не своими приемами, а внутренней сутью. Как прекрасны



Сергей Голлербах. Графика.

притаившиеся цветы! Как поблекла бы их красота, столпись они на оживленной дороге с криками: «Восхищайтесь мною, я фиалка! Боготворите меня, я первоцвет.» Довольно быстро охладев к политической борьбе, столь увлекавшей его старшего друга и покровителя, редактора «Экземинера» Ли Ханга, Китс полагал, что высокое искусство должно быть освобождено от «временных одежд», оно определяется красотой, а не выраженными в нем идеями, поэтому он советовал Шелли «умерить свое великодушие и быть больше художником». В письме к издателю своей второй книги Тейлору, Китс изложил свое понимание поэзии: *«Поэзия... должна удивлять не своей необычностью, но чудесными крайностями. Пусть у читателя захватит дух, словно в ней открылись ему его собственные благородные порывы, пусть она прозвучит для него отголоском былого»*. Он выдвинул идею «негативной способности», то есть способности «находиться во власти колебаний, фантазий, сомнений, не имея привычки назойливо докапываться до реальности и здравого смысла. К примеру, Кольридж, не желая довольствоваться полужанром, сведет все к прекрасной самой по себе правдоподобной зарисовке, извлеченной из бездн Таинств. ... У настоящего Поэта чувства Красоты затмевает все прочие помыслы, вернее отменяет их» (Выделено мной – Я. П.) Высшим же проявлением этой способности Китс считал творчество Шекспира.

В поисках совершенства, он обращается к античности. Хотя Китс и не получил классического образования, как Кольридж и Шелли, однако благодаря своему школьному учителю Чарльзу Кларку, он с юности был заморожен античностью, в которой для него и была заключена «красота, воплощенная в истине, а истина – в красоте». «Рожденная мелодия нежна, а нерожденные стократ нежней», – говорит Китс во второй строфе «Оды греческой вазе». «Посему побеждая тленье, пролейте, флейты, неслышные мелодии свои не для чувственного бренного слуха, а для духа». Описывая фигуры, запечатленные на холодном мраморе греческой вазы, Китс размышляет о том, что хотя юным возлюбленным, стремящимся друг к другу, и не дано слиться в поцелуе, но зато они останутся вечно влюбленными и прекрасными.

Холодная недвижность прекрасной вазы, прославляющей иных богов и другие времена, сродни головокружительным, лишающим рассудка мыслям о холодной пасторали вечности. И все же прекрасная ваза не перестанет дарить утешение смертным в их страданиях, когда на смену одним поколениям придут другие. В утешении – «красота есть истина, а истина – красота» – «вся земная мудрость и все, что нужно знать». Так преодолевается бренность человеческого бытия. В другой своей великой оде – «К соловью» обращаясь к образу бессмертной птицы, Китс говорит, что той же песне, которую он слышит нынешней ночью, в древности внимали император и его шут, а возможно, и библейская Руфь. Китс называет соловья «лесной дриадой», тем самым утверждая идею божественного происхождения и бессмертия искусства. Борхес в эссе «Соловей Джона Китса» заметил: «Китс, скорее всего неспособный объяснить слово 'архетип' за четверть века предвосхитил тезис Шопенгауэра». Эти образы и мысли Китса вдохновили многих поэтов. Стихи «Византия» и «Плавание в Византию» великого современного ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса посвящены той же теме и отчасти навеяны двумя великими одами Китса.

Джон Китс (1795 – 1821)
Перевод с английского

Кузнецик и сверчок

Поэзия земли не знает тлена:
Когда в истоме знойной смолкнут птицы,
В тени деревьев поспешив укрыться,
Над лугом свежескошенным мгновенно
Кузнецик песнь заводит вдохновенно,
Восторгом лета он спешит упиться,
Он рад всему – устанет петь, блаженно

Разнежась, на травинке затаится.
Поэзия земли всегда живет:
Когда зима морозной немотой
Обступит ночь, трещит сверчок запечный,
Обдав теплом нас, дремлющих, и вот
Нам грезится, что летнею порой
Звенит кузнецик песенкой беспечной.

Гомеру

В невежестве безмерном я застыл,
Все слышу о тебе да о Кикладах,
Как бы на берегу морском без сил
Мечтаю о коралловых громадах.
Ты был незряч, но повелел Зевес –
Была над небом поднята завеса,
И Посейдон морскую глубь разверз,
Пан подарил тебе напевы леса:
Свет воссиял в крошечной темноте,
Явила бездна девственные травы, –
Тройное зренье в зоркой слепоте,
Ночь для зари грядущей – лишь оправа.
Как древле Артемида, мир объемля,
Ты небеса узрел, и ад, и землю.

Когда страшусь

Когда страшусь, что путь прервется мой,
Перо не соберет плодов ума
И книги не возвысятся горой –
Зерно не пересыплет в закрома.

Когда я вижу звёздной ночи лик
Сквозь дымку образов гряды летучей,
Понять не в силах в этот краткий миг,
Каким искусством создает их случай.

Представив, что тебя ни на мгновенье
Я, смертный, не увижу, не смогу
В любви волшебной мысль предать забвению, –

В раздумьях я стою на берегу
Большого мира, вновь один, и вот
Любовь и Слава гибнут в бездне вод.

Ода греческой вазе

Невеста непорочная молчанья,
Питомица медлительных веков,
Ты летопись лесов, дубрав преданья
Передаешь пленительней стихов.
Какие мифы на твоих боках?
В Аркадии ль то действо иль в Темпее?
О смертных твой рассказ иль о богах?
Куда бегут так девы? Кто шалей,
В экстазе их преследует столь рьяно?
О чем играют флейты и тимпаны?

Рожденные мелодии волшебны,
Волшебней те, что не коснулись слуха,
Пролейте ж, флейты, свой напев целебный,
Божественную музыку для духа.
Прекрасный юноша, в тени деревьев
Играть напев свой будешь вновь и вновь.
Стремишься в поцелуе ты напрасно,
Влюбленный, к сей прекраснейшей из дев
Зато пребудет навсегда любовь
И будет на века она прекрасна!

Блаженны ветви! Их листе с весною
Не разлучиться, век не увядая.
Блажен флейтист – извечной новизною
Чарует музыка всегда иная.
Любовь, любовь, ты вечно молода,
И вечно будет длиться счастья миг,
И радость не остынет никогда,
Преодолев навек земные страсти,

Когда в горячке лоб и сух язык,
И сердце разрывается на части.

К каким зеленым алтарям стремится
Жрецом ведомый люд для приношенья?
Куда ведут мычащую телицу,
Гирлянды возложив для украшения?
В честь праздника какого весь народ
Покинул крепость мирную спеша?
В горах ли, у речных, морских ли вод
Безлюдный город погружен в молчанье,
И не вернется ни одна душа,
Чтобы поведать нам об этой тайне.

Античность форм! Изысканность сама,
Ты мрамором одев мужей и дев,
Безмолвьем ледяным сведешь с ума,
Как вечность, и забвенью одолев,
Когда и это сгинет поколение,
Открой другим в их маяте ужасной
Немая пастораль, в страстях земных
Друг смертных, им даруя утешенье:
«В прекрасном правда, истина прекрасна» —
И в этом все земное знание их.

Вильям Вордсворт (1770 — 1850)

**Откровения о бессмертии,
навеянные воспоминаниями раннего детства**

I
В былое время роща, луг, ручей,
Земля, и всё, что есть на ней,
Казались мне одеты
В небесное сияние света —
Ярка, свежа была мечта моя.
Не так, как встарь, все видится сейчас
Куда ни гляну я, —
В ночи, при свете дня
От взгляда скрылось то, что радовало глаз.

II
Пусть Радуга горит,
Прекрасен Розы вид,
И всем упоена,
Среди нагих небес глядит Луна,
И звёздной ночью бег
Великолепен рек;
Блистателен Восход, но все ж
Былого не вернёшь,
Я знаю, что Земли померкла мощь навек.

III
Вокруг щебечут птицы на ветвях
И агнцы радостно идут,
Под звуки тамбуринов тут
Лишь я печальной мыслью удручён,
Но этой скорбной мысли выраженье
Душе моей дарует облегченье,
И снова я силён:
Раскаты Эха слышу я в горах,
Не омрачит весну моя печаль,
На кручах трубы шквалов будят даль,
А ветры будят ото сна поля,
И весела земля,
Всё в мире веселится,
И зверь, и птица,
Когда приходит Май,
Ликуй, Дитя, играй,
Кричи, мой пастушок, твой крик услышать дай!

IV
Блаженные созданья, слышал я,
Как вы перекликались, в этот час
Смеялось небо, радуясь за вас;
В венке цветочном рад
Я разделить стократ

Всю полноту, блаженство бытия!
О злая доля! Был бы я
Угрюм, когда сама Земля
Украсила наряд
Блаженным утром Мая,
И ребяшня шалит играя,
И в тысяче долин вокруг,
Куда ни бросишь взгляд,
Цветы раскрылись вдруг
И льнёт Младенец к ласке материнских рук.
Я слышу, слышу, радостно внимая,
Но Поле есть одно, в нём Дерево одно —
Мне говорят о том, что сгинуло давно,
И вторит им фиалка,
Что сгинувшего жалко:
Ужель видений свет сошёл на нет?
И где они сейчас — мечта и славы свет?

V
Лишь сон и забывание — рожденье
Душа — Звезда, что к жизни восстаёт,
Но мы не знаем, где её заход,
Издаেকে её явленье,
Не в полном забвенье,
Не в полной наготе, —
Но странствуя, как Славы облака,
Снисходим мы от Бога, свысока:
Младенчество есть наш небесный дом!
Пусть с возрастом темницы гуще тени,
Но мальчик видит свет, его исток;
Он рад, и день за днём,
На запад держит путь, забыв восток,
Но юноша — ещё служитель,
Природа — храм его, обитель,
В пути сойдёт как озаренье
Великолепное виденье;
А взрослый наблюдает, как на нет
Мечту низводит злободневный свет.

VI
Земля же наполняет свой подол
Своими радостями, у неё
Нет недостойных целей и своё
Природное желанье:
Бесхитростная няня
Стремится из последних сил,
Чтоб пасынок и узник позабыл
Величье и дворец, откуда снизошёл.

VII
Купается Дитя в блаженствах новых,
Малютка шестилетний, в упоенье
Лежит он среди собственных творений,
Мать не сдержала нежности порыв,
Узором поцелуев вмиг покрыв,
И свет струится из очей отцовых!
У ног его начертанный им план,
Фрагмент мечты о человеческой жизни,
О свадьбе или веселье,
Похоронах или тризне
Он будет петь пеан,
Все сердцем овладели
Они, чтобы затем
Любовь, дела, борьбу он в список тем
Включил, однако вскоре
Отбросит, с этих пор
Попробуется в новой роли
С отрадой гордой маленький Актёр,
И с юмором он в молодом задоре /с иронией
Все стадии до немощи и боли,
Что жизнь даёт в избыточном наборе,
Изобразит, как будто бы призванье
Его — бесчисленное подражанье.

VIII
Ты, чей скрывает втуне внешний вид
Души безмерность, кто хранит

Наследие, философ ты глубокий,
Среди слепых Всевидящее Око,
Ты глух и нем, читаешь в глубине,
Ты с вечным разумом наедине,
Благой провидец и пророк,
В ком наших истин всех исток,
Чтоб их найти, мы не жалеем сил,
Потеряны во тьме, во тьме могил,
Тебя ж бессмертье пестует храня,
Как Господин Раба, сиянье Дня, —
Заботу не отринь, и ты, Дитя,
Велик в ночи свободой богоданной,
Зачем торопишь пыткой неустанной
Ты годы неизбежного ярма,
С блаженством слепо борешься зачем?
Ведь душу гнёт земной лишь миг спуста
Придавит, и условности затем
Навалятся, как снег и как зима,
Глубокие, почти как жизнь сама!

IX
О радость, что ещё
Жизнь теплится в углях,
Природа помнит всё,
Что скрылось, словно прах.
Я вспоминаю прожитые годы
Всегда с благодарением, хотя
Не то хвалю, что стóбит — не свободы
Размах, восторг, доверчивость дитя —
На отдыхе, в трудах, и окрылиться
Дано в груди его надежды птице —
Не это воспою,
Петь буду песнь свою
О тех вопросах непрестанных
О смысле, сути мирозданья,
Что ускользает от Созданья,
В мирах блуждающего странных —
Высокие инстинкты естества,
Пред коими ничтожны все сомненья
Дрожащего пред смертью существа,
Когда б не первых чувств волненье,
Воспоминаний смутных тени,
Какими б ни были они,
Всё ж озаряют светом наши дни —
То нашего прозренья вышний свет,
Дает нам власть сквозь гомон шумных лет
Вобрат мгновенье вечной тишины;
Когда ж те истины пробуждены,
Пребудут навсегда:
Безумному усердью, равнодушьем,
Ни Мальчику, ни Мужу,
Всеми, что им враждебно, никогда
Не уничтожить их — они всего превыше.
Хотя в сезон затишья,
В глуби материка, на суше,
Всё ж помнят о бессмертном море Души,
Приведшем нас сюда,
Пойдём же к морю, где вода
И где на берегу играют Дети,
Услышим, как рокочут волны о бессмертье.

X
Так пойте радостную песню, Птицы!
И агнцев пусть ведут
Под звуки тамбуринов тут!
Всё в мире веселится
В толпу вольёмся мысленно мы вашу,
Ты дуди, а ты играй,
Ты, чьё сердце, словно чашу,
Радостью наполнил Май!
Что если ослепительный сей свет
От взгляда скрылся до скончанья лет,
И не вернёт ничто на свете, право,
Блистанья трав, цветка мгновенье славы,
Не восскорбим о том,
Но силу обретём
В том состраданье, что от века

Преображало человека,
В том утешенье, чей исток
В людских страданиях залёг,
В той вере, что узрит сквозь смерть,
Как философский ум объёмлет твердь.

XI
И вы, Ручьи, Луга, Леса, Холмы,
Не бойтесь, что к вам охладеем мы!
Всем сердцем вашу силу чую;
Под более обыденной взыску
Жить вашей властью, если б мог.
Люблю ручьёв стремительный поток
Я больше, чем когда был легконог;
Невинный свет вновь явленного дня
Чарует всё меня;
Клубятся на закате облака,
Снимая плёнку грустную с зрачка,
За смертностью следящего всё время —
Стяжало лавры уж другое племя.
Сквозь сердце лишь, которым люди живы,
В котором нежность, страх, любовь и грёзы,
Во мне любой цветок неприхотливый
Рождаёт мысль, глубиннее, чем слёзы.

Сэмюэль Тейлор Кольридж (1772-1834)

Эпитафия

Остановись, христианин-прохожий,
И с нежностью в душе, прочти, сын Божий:
Покоится поэт под камнем сим
Иль тот, кто сам себе казался им.
О, помолись за Кольриджа С. Т.,
Кто жизнь свою всю выдохнул в труде,
Чтоб жизнь обрел по смерти, кто в Христе
Лишь милость, не хвалу хотел обрести,
Внимал не славе, но прощенья весть
Услышать жаждал. Делай так же впредь!

ДМИТРИЙ МАНИН

СТЕФАН МАЛЛАРМЕ

Ариетка I

Несколько уединенья
Ни лебядки ни гребца
Отражает запустенье
Взгляд отброшенный с лица

Здесь в тщеславии нахальном
Так высоко что не тронь
В небе золотом сусальным
Разливается огонь

Но роскошно с плеч теряя
Белотрепетный атлас
Птица беглая ныряя
В восхищенье пронеслась

Ты превращена рекою
В ликование нагое

Ариетка II

Необузданностью ввысь
Как моей надежде прыгнуть
Должен очертя зайтись
Яростью безмолвной грянуть

Голос птицы что чужда
Незнакомой с эхом чаще
Раз звучавши никогда
Больше в жизни не звучащий.

Музыкант неприручен
Неуверенностью болен
Мой ли горше твой ли стон
Из груди плеснулся волн

Как-нибудь разъят разбит
Тайну цельности хранит!

Сонет

О, так мила вблизи и издали светла
Так восхитительно ты, Мери, словно странный
Бесценный фимиам цветочный и обманный
Плывет над вазою туманного стекла

Ты знаешь, да! года проходят, истекла
И вечность, но твоя улыбка непрестанно
Все той же розы длит прекрасный полдень пряно
Из некогда в потом летящей как стрела.

Когда моя душа ночной порой немея
Взыскует звать тебя немислимо нежнее
Воспламенится прошептанным сестра

Мое сокровище, мне поцелуй иного
Преподаст урок блаженства и добра
В тиши твоих волос слетая с губ как слово.

Сонет

Мадам непылкая разгорячившись враз
Дика ль истерзана ли роза но устала
От белых риз порфир, неважно, расхлестала
Одежды слушая в ней плачущий алмаз

О да, без этих бурь ни рос ни нежных глаз
Хоть легкий бриз, но вот небесное кресало
Ревниво облака клоками разбросало
И чувства свет простой в простор глядит лиясь

Не кажется ли вам, что раз в году не реже
Когда бы легкостью в лицо дохнуло свежей
Довольно было б вам навверное со мной

Как будто веера качаньем удивленным
Чтоб малость оживить и всколыхнуть волной
Знакомство давнее в его течение сонном.

ДЖЕРАРД МЭНЛИ ХОПКИНС

* * *

Я – мера той и этой тверди:
Отсчет неведомых долгот
Идет от моего подсердца
И на закат, и на восход.

Страж неизменный измененья,
Приемлет мой недвижный глаз
Вещей всеобщее стремленье,
Круженье, взлет, и крах, и пляс.

Вот ласточка, подруга шквала,
С небес низверглась на карниз,
Хвостом раздвоенным играла,
Сложив крыло изнанкой вниз.

И вновь падет на ветр упругий,
И вновь то сальто, то курбет.
В движении нет труда и муки,
И постоянства в мире нет.

Вот в небе пар стоит могучий,
Боками белыми вода,
А взглянешь снова – нету тучи,
Вся в тело вылилась дождя.

И все исчезло, все пропало,
И с неба синего совок
Клубящееся покрывало
Бесследно ветер; ручеек

Бежит веселый из криницы,
В траве теряясь по пути. –
О, как легко перемениться!
Как я желал, желал уйти...

* * *

Проснись: не день, но темень видит око.
О, как черны часы в ночи, черны,
Где мы, душа, блуждать обречены
Еще не раз, ведь медлит свет до срока.
Так: не часы, но годы – без упрека
Скажу, – но жизнь! Мои сто стонов, сны
Мои – как письма, что возвращены,
Чей адресат возлюбленный далёко.

Я – желчь сама. Пошли мне весть Господь,
Горчило б мне: горька моя мне плоть –
Кость, жилы, и в крови до края порча.
Дух – кислая закваска теста. Да,
У всех заблудших лишь одна беда,
Их самость, как и мне – я сам; но горче.

ДМИТРИЙ Н. СМЕРНОВ

Уильям Блейк 1757-1827

«Манускрипт Пикеринга», ок. 1801–3
Перевод с английского

1. Улыбка

Улыбалась Любовь
И Обман улыбался,
И в Улыбке Улыбок
Их союз укреплялся.

Ухмылялось Презренье
И Вражда ухмылялась,
И Ухмылка Ухмылок
Больно в сердце впивалась.

Эту боль никогда не забудешь,
Эту рану ничем не залечишь,
Если подлинную Улыбку
В этой жизни ни разу не встретишь, –

От рожденья и до могилы
Улыбнётся она лишь раз,
Но когда она улыбнётся,
Всё невзгоды оставят нас.

2. Златая Сеть

Три Девы на заре златой
Рыдали: «Юноша, постой!
Увы, стремишься ты к печали!
Не уходи! – они кричали:
Одна – в одежде из огня,
А на другой была броня,
На третьей был покров из слёз –
И хор их вздохов рос и рос.
Златую сеть они держали –
И на деревья водружали,
И я заплакал, поглядев
На эти муки юных Дев:
Гореть огнём страстей, желаний,
В пожаре тщетных упований,
И бесконечно слёзы лить –
Не смог я Жалость утаить,
Лишь слёз потоки заструились,
Как девы вдруг развеселились,

Хотел я слёзы утереть,
Но пойман был в златую сеть.
Я дев молю и заклинаю, –
Но как мне выбраться не знаю,
Пусть скажет дева из огня,
И та, чьё платье, как броня,
И та, что плачет, хоть и зря:
Взойдёт ли вновь моя заря?

3. Духовное Странствие

Я по Стране Людей бродил,
И жил среди Мужей и Жён
И всё, что там я находил,
Пугало, словно страшный сон:

Там в муках зачинают Плод,
Там в радости Дитя ролят,
И Сеятель там слёзы льёт,
И Жнец тяжёлой Жатве рад.

Дитя Старухе отдают
А та – к скале его прибьёт
И каждый стон и крик его
В златые чаши соберёт,

То тёрном обовьёт чело,
То члены иглами пронзит,
То, сердце вырвав из груди,
Огнём и льдом его томит.

И жилку каждую его
Она считает, как скупец,
И с каждым днём она юней,
И с каждым днём старей юнец.

Уж Дева дивная она,
Он – Юноша, лицо в крови,
И, цепью обвязав её,
С ней предаётся он любви.

Он, будто плугом чернозём,
Ей тело всё перепахал,
И в ней живёт он, как в саду,
Что пышным цветом расцветал.

Но стар он стал, увял, как Тень,
И весь свой драгоценный хлам, –
Богатства, что он накопил, –
Рассовывает по углам.

Его несметный капитал:
Рубин страстей, тоски алмаз,
Всё золото душевных ран,
И изумруд влюблённых глаз –

Их, словно пищу и питьё,
Он попрошайкам раздаёт,
Зовёт он нищих и бродяг –
Для них раскрыл он настеж вход.

И скорбь его – им, словно Рай,
Они шумят и в стены бьют,
Пока средь языков огня
Младенца-Деву не найдут, –

Она, как жемчугом, горит
Никто не может, даже мать,
Прижать её к своей груди,
Понежить, иль запеленать.

Здесь Дева жениха найдёт –
Кого-нибудь, но не его,
И дом и рухлядь заберёт,
Не давши старцу ничего.

Рыдая, вдаль бредёт старик
И, глядь – открыты двери в дом,
Он входит дряблый и седой,
И вдруг находит Деву в нём.

Бег времени неумолим;
Её в объятьях слабых рук
Несет наш старец, вдруг пред ним
И дом исчез, и сад вокруг,

Исчезло полчище бродяг,
И все пять Чувств объял пожар,
От страха сморщилась Земля,
И плоскость обратилась в шар.

Все Звёзды, Солнце и Луна –
Вдруг разлетелись – кто куда,
И опустела вся страна –
Явились голод и беда.

Но Девы взор, мёд нежных губ,
Улыбки сладкое вино
Он пьёт, и твёрдо знает он:
Ему стать юным суждено.

Он всё моложе с каждым днём,
А дева старше и мудрей,
По дикой пустоши вдвоём
В тревоге он блуждает с ней.

Как в страхе Лань, она бежит,
И лес встаёт то здесь, то там,
Огонь Любви его томит –
Он мчит за нею по пятам.

Его в коварный Лабиринт
Любовь и Ненависть ведут,
Где воет Волк и Лев рычит,
И Вепри дикие ревут.

И вот Старик стал малышом,
А Дева – дряхлою вдовой,
И каждый в свой вернулся дом,
И вновь над ними Звёздный рой.

Повсюду рощи шелестят,
И вырастают города,
Пастух свирель свою берёт
И тучные пасёт стада.

Но вновь является Дитя,
И снова Страхом мир объят,
И все кричат: «Малыш рождён!»
И в ужасе спастись спешат.

Ручонки сморщенной коснись –
Рука отсохнет до корней,
И Волк, и Вепрь и Лев бегут,
И падают плоды с ветвей,

Пока Старуха не возьмёт
Дитя ужасное опять,
Чтоб в цепи заковать его,
И на скале его распять.

4. Долина Снов

«Проснись, сынок любимый мой!
О чём ты плачешь? Что с тобой?
Ты был для матери отрадой.
Ну, полно, слёзы лить не надо!»

«Как сладко там, в Долине Снов
Среди потоков и холмов –
Там мать была совсем живая;
Венки лилейные свивая,

Со мною в ризах белоснежных
Она брела меж агнцев нежных...
Вдруг сон исчез, – я сокрушён!
Когда вернусь я в этот сон?»

«И я среди такой Долины
Бродил по берегу стремнины,
И перейти её хотел,
Но как ни бился, – не сумел!»

«Отец, зачем же столько лет
Нам жить меж горестей и бед?
Давай уснём, пока не поздно,
И заживём в долине звёздной!»

5. Мэри

Красавица Мэри была на балу –
Шепталась с подружками в дальнем углу,
Никто не встречал здесь её до сих пор,
И слышался в зале такой разговор:

«Взгляни на неё, что за ангел такой,
Иль снова вернулся к нам век золотой?
Блестит, будто жемчуг, божественный взгляд,
Уста, словно вешние воды, журчат».

Нельзя от красавицы глаз оторвать,
И гордая Мэри пошла танцевать,
Всем дарит улыбки, со всеми мила, –
Ласкает ей сердце людская хвала.

Наутро в деревне судачили все,
О бале вчерашнем, о девице-красе,
Отправилась Мэри подружек искать.
Но где они? – бедной никак не понять!

Гордячкой её и блудницей зовут,
Здесь ставни закроют, гам двери запрут,
Всё тело сковал ей смертельный мороз,
И нет на щеках уж ни лилий, ни роз.

«Ужели Господь дал красу мне и стать,
Чтоб Зависти чёрной мне жертвою стать?
Ужели расщедрились так Небеса,
Чтоб Злобой людской попиралась Краса?»

Будь кроток, как Агнец, как Голубь – твердят, –
Тебя не коснётся завистливый взгляд,
Но если ты зависть вселяешь в сердца,
То люди должны осудить гордеца!

Я спрячу в лохмотья ссю красоту,
И праздничный бал обойду за версту,
А если кому-то меня предпочтут,
Уйду, и замолкнет завистливый суд».

И Мэри, надев самый скромный наряд,
По сельской дороге пошла наугад;
«Рехнулась!» – кричит ей мальчишка-сосед
И грязные комья летят ей вослед;

А ночью вернувшись, присев на кровать,
Рыданий она не смогла удержать,
Что ночь ей, что день – стало ей всё равно –
От злобы звериной в глазах всё темно;

Презреньем сверкают людские глаза,
И злобные крики гремят, как гроза,
Как сердце жестоко твоё, Человек, –
Божественный Образ утрачен навек!

О, Мэри, жива лишь в тебе доброта,
И скорбь, что людская несёт клевета,
Но знай, ждать недолго, забудешь ты Страх,
И Ужас навеки застынет в глазах.

6. Хрустальный Чертог

В краю нехоженных дорог
Меня красавица пленила,
И заманила в свой чертог,
И ключиком златым закрыла.

Из злата, перлов, хрустала
Был выстроен чертог блестящий
И дверца тайная вела
В мир маленький, но настоящий.

Я видел Англию другой,
С другою Темзой и холмами,
И месяц реял золотой
Над освещёнными домами.

Прозрачные одна в другой,
Телами юными сверкая,
Вились три девицы предо мной
Меня страша и завлекая.

К тройной улыбке в тот же миг,
Объятый страстью, я рванулся,
Устами пылкими приник –
И трижды поцелуй вернулся.

Обнять хотел я но не мог –
Тот образ, что безмерно тонок;
И вдруг разрушился чертог,
Я стал, как маленький ребёнок,

И плачу я в глухом краю,
И Женщина со мной рыдает,
И скорбь тяжёлую мою
Лишь дикий Ветер разгоняет.

7. Седой Монах

«Мы все умрём без крошки хлеба!
О, чада бедные! О, Небо! –
Кричала мать. – О, злой Тиран!»
Весь в струпьях от тяжёлых ран
Седой Монах воскликнул: «Боже!»
И сел на каменное ложе.

С его чела струилась кровь,
И шрамом багровела бровь;
Дрожа от боли и от гнева,
Как бурей сломленное древо,
Он и слезинки не пролил
И лишь, вздыхая, говорил:
«В часы таинственные ночи
Пред Господа предстал я очи,
Его слова я записал,
В них горе мне Он предсказал;
И всё, что здесь мне было мило,
Взяла холодная могила:
Замучен брат мой, а детей
Его казнит Тиран-злодей;
Отец твой с войском в путь пустился, –
Никто назад не воротился;
Тогда твой брат в борьбу вступил –
Себя и рать лишь погубил.
Лук, меч, копье – всё бесполезно, –
Воителя поглотит бездна;
Те ж, кто молитву вознесут –
Одни сей бренный мир спасут;
Лишь наши слёзы и молитвы –
Оружие для Небесной битвы,
И вздох не сделавшего зла –
Для лука Божьего стрела!
И если поздно или рано
Твоя рука сразит Тирана,
Пусть Промысел твой и велик,
Тираном сам ты станешь вмиг!»

8. Прорицания Невикности

В песчинке Мир найти сумей,
Зажать в ладони Бесконечность;
Вселенная – в Цветах Полей,
И каждый Миг объемлет Вечность.

Зарянка в Клетке уж давно –
И Небо Ярости полно.
Воркует Голубь, жизни рад –
От Бешенства трясётся Ад.
Собака дохнет с Голодухи –
Стране грозит Пора разрухи.
Скорбя от боли и увечий,
Конь крови жаждет Человечей.
Труп Заячий в Собачьей пасти
Нам раздирает Ум на части.
Ты Жаворонка камнем сбил –
Песнь Херувимскую сгубил.
В кровавый бой спешит Петух –
От страха Солнца Свет потух.
Рык Волка, Льва или Гиены
Поднимет Мёртвых из Гёенны.
Олень ступает у дороги –
С Души отхлынули Тревоги.
Баран вступал с Бараном в спор,
Но Мяснику – простил Топор.
Безверья Ум творит скорей
Вампиров из Нетопырей.
Совиный крик в Ночной тиши –
Безверья страх во Тьме Души.
Да будет проклята Рука,
Обидевшая Королька!
Тому, кто в гнев привёл Вола,
Не звать Любовного тепла.
Шалун, прибивший Мотылька,
Познает злобу Паука.
Жука замучив бессердечно,
Терзаться Тьмою будешь вечно.
Нам говорит Личинка Моли
О скорбной Материнской доле.
Ни Моль, ни Бабочку не бей –
Суд Страшный у твоих дверей!
Войны дорогу избирая.
Не узришь ты Ворота Рая.
Бродяга Пёс, бездомный Кот –
Корми их – Бог тебя спасёт!
Песнь Комариная жужжала,
У злобной Лжи похитив Жало.
Пот Зависти, стекая с Пят,
В Змеинный обратится Яд.
Художник, как Пчелиным Ядом,
Язвит своим Ревнивым Взглядом.
Наряд Царя, Тряпье Бедняги –
Истлеет всё в Мешках у Скраги.
Та Правда, что поёт Свинья,
Страшнее всякого Вранья.
Только Радость и Страданье –
Нашей Жизни Оправданье.
Если это мы поймём,
В Мире мы не пропадём.
Радость с Горем, словно братья,
Шьют Души Нетленной Платье.
В Горе можно различить
Счастья Шёлковую Нить.
Любому ясно, что Ребёнок
Не просто свёрток из Пелёнок.
Молот сделан, Сын рождён –
Каждый кем-то Сотворён.
Ты Слеза, а час спустя
Станешь Вечности Дитя.
Много выплаканно Слёз,
Чтоб Малыш Счастливым рос.
Мычанье, Блеянье и Рёв –
Достигнут Райских Берегов.
Под Розгой стонущий Малыш –
Ты Местью землю обогришь!

Вся в дырах Ветошь Бедняка –
И в Ключья рвутся облака!
Солдат с Мушкетом и Мечом –
Рассвет разбит Параличом.
Полушка Нищему, быть может,
Сокровищ Африки дороже.
У Батрака, стащив Полушку,
Купил Скупец себе опушку –
Но если б был на то Закон,
Всю Англию скупил бы он.
Над Детской Верой посмеёшься –
Сам Осмеяния дождётся.
Сомненье Малышу привьёшь –
И сам в Безверии сгниёшь.
Младенца Вере доверяя,
Ты на пути к Блаженствам Рая.
Наивность Детская и Разум
Плодоносить не могут разом.
Хитрец Вопросом любит метить,
А сам не знает, как ответить.
Кто все Сомненья разрешит,
Тот Разум свой опустошит.
Самый Сильный в мире Яд
Лавры Цезаря таят.
Миру большей нет Помехи,
Чем Военные Доспехи.
Где Золотом украшен Плуг,
Искусство людям – Верный Друг.
Скрип Сверчка в одно мгновенье
Развеивает все Сомненья.
Дюйм Муравья с Орлиной Милей
Не соотносит Разум Хилый.
Глазам не доверяя, к Вере
Ты наглухо закроешь двери.
В сомненьях Солнце и Луна –
Земля во Мрак погружена.
Коль будешь Страсть держать во Власти,
Тобой не овладеют Страсти.
Игорный Дом, Разврат Законный –
Вот Государства Смысл истинный.
Призыв Блудницы в поздний час,
Как Саваном, накроет нас.
Картёжный Шулер и Банкрот
Ведут Страну на Эшафот.
На Закате, на Рассвете –
В Нищете Родятся Дети.
В День Погожий, в Ночь Ненастья –
Кто-нибудь Рождён для Счастья.
Для кого рождение – счастье,
Для другого – лишь напасть.
Мир в Заблужденье вводит нас,
Пока мы смотрим Через Глаз.
Что Ночь Родит, то Ночь возьмёт,
Но в Светлых снах Душа живёт.
Бог – это Светоч Вездесущий
Для Души во Мгле бредущей,
Но выбрав Светлые Пути,
Ты узришь Бога во Плоти.

9. Длинный Джон Браун и Малютка Мэри Бэлл

Эльф сидел в Орешке Малютки Мэри Бэлл,
А Чёрт забрался к Джону, – в Кишках его свербел,
Любил Джон Браун Мэри, Орешек всё лущил,
И Эльф в Орешек к Мэри Бэлл Чёрта затащил.

Эльф вылез из Орешка, и вновь туда полез,
«Грешно любить, пожалуй!» – талдычит старый Бес,
А Эльф над ним хохочет, – Чертяка уязвлён,
Вернулся к Джону Брауну, и – прыг к нему в бульон.

Джон съел и не заметил, как Чёрта проглотил,
А Чёрт Кишки у Джона в бараний рог скрутил,
Сварить ещё бульона Джон молит поварих,
Но только чахнет бедный Джон, хоть ест за семерых.

«Неужто Волк голодный залез к нему в Кишки?»
«Иль старый Чёрт бултых слезал и съел все пирожки?»
А Эльф от радости плясал, собою убажён,
И громко над Чертяжкой ржал, пока не умер Джон.

Эльф из Ореха старого направился в другой,
И к Мэри Бэлл бедняжке с тех пор он – ни ногой!
Тогда в Орех облупленный к ней снова Чёрт залез,
Так и жила Старушка Бэлл, а с ней проклятый Бес.

10. Уильям Бонд

О, Девы, ужель вы, сошли с ума?
Зачем вы ему возжелали смерти?
Чума ль у него или не чума?
Но болен наш Вилли Бонд, поверьте!

Отправился в церковь молиться он,
Три дивные Феи его окружили,
Но тут же прогнали их Ангелы вон,
И хмурый домой воротился Вилли.

Он в поле не пашет, овец не пасёт,
С друзьями в кабаке не спешит напиться,
Но тяжкий его прошибает пот,
И Вилли в постель поскорей ложится.

Ангел-Хранитель в ногах у него,
Другой с мечом стоит в изголовье,
Но Вилли не хочет от них ничего,
И даже не просит себе здоровья.

Справа склонилась над ним Мэри Грин,
Слева сидит сестра её Дженни,
Обе в слезах, а на туче перин,
Лежит бедный Вилли – мрачнее тени.

«Скажи, может, ты полюбился другой,
И любишь её ты сильней, чем Мэри?
Тогда ты свободен, иди, дорогой,
Тебе я сама открою все двери!»

«Ох, Мэри, любви мне не побороть,
Вилли другую всем сердцем любит,
И с нею меня обручит Господь,
Но как же вдруг Вилли тебя погубит?»

Ты, как Луна о, Мэри, бледна,
Безрадостно мне от такого взгляда,
Но та, другая – как солнце она,
Ясна и светла, и всегда мне рада!»

Холод смертельный Мэри сковал
Как мёртвая на пол она упала
Напрасно Вилли над ней горевал,
Напрасно сестрица её обнимала.

Но спала смертельная пелена;
Как будто спасённая чьей-то волшебю,
Вилли любимого видит она –
Вилли любимого – рядом с собою;

Три дивные Феи плясали вокруг
И с Мэри и Вилли они ликовали,
И Ангелы дом их покинули вдруг –
И после о них ничего не слышали.

«Я думал, Любовь под Солнцем найти,
И вот, я её нахожу под Луною,
Хотел ясным днём я её обрести,
Но обрёл я её порою ночьюю.

Когда сострадая к несчастьям других,
Их скорби и горести мы разделяем,
Убогих, и сирых – жалуем мы их,
То даже в ночи мы Любовью сияем!»

АЛЕКСАНДР ТРИАНДАФИЛИДИ

ЧЬЕЛО Д'АЛЬКАМО
(первая половина XIII века)

ПРЕНИЯ

1– Роза ароматная, расцветаешь летом,
Юношей и девушек манишь нежным цветом,
Из огня спаси меня, коль вольна ты в этом;
Стражду день и ночь, потерял опору,
Чаю видеть вас, добрую сеньору.

2– Ты из-за безумия впал в сию кручину.
В море ты ветра посеи, плугом взрежь пучину,
Всё на свете золото предложи – отрини;
Не возьмешь меня, брось свои замашки,
А не то тотчас постригусь в монашки.

3– Если срежешь волосы, я умру в мгновение,
Ибо уж не будет мне в жизни утешенья.
Розой мне являешься ты в воображеньи,
Грезой всякий раз мне дано упиться:
Наша пусть любовь воссоединится.

4– Нет, соединения мне любви не надо.
Встретись здесь с отцом моим – вмиг сойдет бравада,
Посмотрю, сколь резво ты побежишь из сада.
Так как шел сюда, дерзкий, не робей,
Осторожней быть дам совет тебе я.

5– Твоему родителю буду не по нраву?
На две тыщи воинов мне ль искать управу?
В Бари всю казну его я не трону, право,
Здравствовать ему милостию Божьей!
Ясно ль вам сие, женщине пригожей?

6– Утром, днем ли, вечером, всё меня тревожишь.
Ты богатств семьи моей сосчитать не сможешь;
Коль и Саладиново злато мне предложишь,
Весь султана фиск приложив туда же –
И рукой меня ты не тронешь даже.

7– В мире женщин множество норовистых, вздорных,
Мужьи убеждают их силой слов упорных,
Делают покорными самых непокорных.
Женщина слаба, сколь ни защищайся.
Ну, красавица, рассуди, раскайся.

8– В чем же мне раскаться? Смерть приму по праву.
Дабы не пятнать собой честных женщин славу.
Вечером скакала я на коне в дубраву,
Пела я вчера весело и складно,
На сердце теперь горько и досадно.

9– Сколько в сердце горечи, муки не угасшей,
В мыслях лишь представляю я день разлуки нашей!
Не встречал досель ещё женщины я краше,
Роза дивная, я тобой пылаю,
Ты мне суждена небом, полагаю.

10– Если суждена тебе, значит, жизнь впустую:
На тебя растрачу я красоту благую.
Лучше уж остричься мне, чем судьбу такую,
Путь мне в монастырь и монашки доля,
Чтоб не взял меня против моей воли.

11– Станешь ты монашенкой, донна с ясным ликом,
Следом в монастырь пойду и причислюсь к мнихам;
Чтобы угодить тебе, с сим сроднюсь я лихом,
День и ночь с тобой быть не укоснею,
Чтобы стала ты наконец моею.

12– Горе мне, смиреннице, в тягостной судьбине!
Боже Иисус Христос мной прогневан ныне,
Мне ли богохульника сделаться рабыней!

Землю обойдешь, хоть весь мир обрыщешь,
Красоты такой, как моя, не сыщешь.

13— Обойду Калабрию, Геную, Тоскану,
Грецию, Апулию, Африку, Балканы,
Пизу, Алеманию, варварские страны —
Не найду нигде донны куртуазней;
Я избрал тебя, сдайся без боязни.

14— Утомишься поиском, знаю путь короче:
Ты моим родителям днесь предстань пред очи.
Коль дадут согласие матушка и отче,
В церковь отведи, там со мной венчайся
И тогда моим мужем называйся.

15— То, что молвишь, милая, ты и в грош не ставишь,
Этакой историей только позабавишь,
Складываешь крылья ты, перьев не расправишь.
Я нанес удар ловко и учтиво;
Продолжай и впредь быть такой спесивой.

16— Так не устрашишь меня, исхитрись иначе.
Прочен древний замок мой, слава наипаче,
Все твои речения — лепеты ребячи;
Коль не встанешь ты, сад мой не покинешь,
Предпочту сие: да навеки сгинешь.

17— Хочешь, чтобы сгинул я, жизнь моя, ужели?
Даже если смерть мне здесь, раны ли на теле,
Не уйду отсюда я, не достигнув цели —
Плод сорвать, в саду у тебя растуший;
День и ночь его жажду я всё чаще.

18— Рыцари знатнейшие плод сей не сорвали,
Герцоги, законники счастья не знавали,
Гневно уходили прочь, взяв его едва ли.
Всё ж тебе понять речь мою придется:
Тысячи в тебе унций не найдется.

19— Сколько ни возьми гвоздик, вес всё будет малый.
Не чурайся, милая, испытай сначала,
Ветер развернет ладью — встану у причала.
Ты слова мои хорошо запомни,
Каково внутри горько; тяжело мне.

20— Будет тебе тягостно пасть и чувств лишиться,
И со всех сторон сюда люд честной сбежится,
«Помоги несчастному!» — каждый раскритится,
Только подавать я руки не стану
И за всю казну папы и султана.

21— Хочет Бог, умру в дому и твоим к тому же,
Не смогу насытить я алчущее оружие.
«Злая, вероломная, — люди скажут вчуже, —
Гостя у себя в доме умертвила,
Без вины его подло погубила».

22— Если не уйдешь отсель даже пусть с проклятьем,
В руки попадешься ты грозным моим братьям,
И тогда, ручаюсь я, милости не знать им:
Здесь испустишь дух, к смерти приготовься,
Ни родня, ни друг не помогут вовсе.

23— Ни друзья, ни родичи не помогут, знаю,
Ибо иноземец я в этом добром крае.
Год уж нынче, милая, как тобой пылаю,
Майским днем тебя встретил я однажды
И с тех пор горю от любовной жажды.

24— Что же так, Иудин сын, страстью ты снедаем,
Будто алый бархат я, пурпур с горностаем?
Поклянись на Библии, свадьбу что сыграем,
А иным путем взять меня не думай,
Или брошусь я в вал морской угрюмый.

25— Если, донна, бросишься и найдешь кончину,
Следом за тобой метнусь, пронырну пучину

И тебя, утопшую, я из моря выну,
Движимый одной целью безусловной:
Овладеть тобой даже пусть греховно.

26— Господом клянусь Отцом, Сыном и Матфеем,
Ведь не еретик же ты, не рожден евреем,
Этак говоришь сродни низменным злодеям.
Женщина мертва — гаснет вождельенье,
К ней утратишь вкус, с ним и наслаждение.

27— Знаю, знаю, милая, делать так не стану,
Но и не топись сама; дай по струнам гряну,
Песней услажу тебя, излечу я рану.
Не любим тобой, сам люблю я, ибо
Пойман я тобой на крючок как рыба.

28— Любишь ты, и я тебя, верь мне, беззаветно.
Сад покинь, вернешься вновь ты порой рассветной,
И тогда в груди моей вспыхнет жар ответный.
В том обмана нет, я клянусь Богом,
Слово же моё ты возьми залогом.

29— Речью не проймешь меня и не измытаришь,
Новый мой кинжал возьми, в грудь меня ударишь,
Будет то быстрее ещё, чем яйцо ты сvariшь.
Глад мой утоли, милая подруга;
Так оружие жжёт, впрямь на сердце туга.

30— Знаю, жжёт оружие — жгуче страсти пламя.
Но одно условие ставлю я меж нами:
Поклянись, к Евангелию приложась перстами;
Силой не возьмешь, честь мою не сгубишь,
Лучше мне главу прежде ты отрубишь.

31— Говоришь, Евангелие? Так оно со мною.
(В церкви падре не было, там и взял его я)
В верности клянусь на нём клятвою святою.
Глад мой утоли, сделай эту милость,
Чтоб оружие всё ж не истощилось.

32— Коль, сеньор, поклялись вы, вся в огне сгораю,
Больше не упорствую, перед вами таю,
Мне простите спесь мою, вам себя вверяю.
В добрый час идём, ждёт нас ложе страсти,
Ибо наконец выпало нам счастье.

НАТАЛЬЯ ЧИРКОВА

ДЖОН КЛЕР

Перевод с английского

Инстинкт надежды

Чутье мне говорит, что хрупкий прах восстанет
Для новой жизни вновь, и плоть он обретет.
Я верю, мир иной надежды не обманет,
И домыслов моих инстинкт не подведет.

И кажется, все то, что есть на белом свете,
Напрасно тайну тайн стремится приоткрыть,
И волю к жизни жизнью после смерти
Пророчеством природы заручить.

Лишь время день за днем, про вечность забывая,
К спокойствию стремясь, идет всегда вперед,
И маленький цветок опять в начале мая
Распустит свой бутон, и так за годом год.

Дает фиалка знать: и человека гений
Достоин смерть поправить для новых пробуждений.

Где кровью переполнена земля,
Где сквозь резню плетусь я с черствым хладнокровьем,
иль прочь бреду вперед, —
прочь от погибших, павших,
Вперед шагаю, время торопя,
но непрестанно их родные лики
преследуют меня в полночной тишине, —
О них я думаю, я думаю во сне.

ЯСНАЯ ПОЛНОЧЬ

Дыша, настал твой час,
свободный твой полет в безмолвье,
в безсловесность,
Скорее прочь от книг и от искусства прочь,
(О, сказочно-божественная ночь!)
День вычеркнут и выполнен урок,
Явление твое наполнено движением вперед
молчащим, пристальным вниманьем, — а затем,
Осмысленьем твоих любимых тем:
Ночь, сон, и смерть, и звезды.

Цикл XIV – «Прощай моё воображенье»

Стремись под парусом к добру, летучей яхты приведенье!

Снимайтесь с якоря!
Поставьте паруса — и основной, и кливер, —
курс — вперед!
О, белый шлюп, — как весело он мчится
по зеркалу глубоких вод,
(И это плаванье последним мне так не хочется назвать,
Но вот положено начало, и как бы нас не раскачало,
Стремленью к самой прекрасной зрелости мечты,
отдайся ты, — отдайся),
Уйди, уйди, — и к этим берегам не возвращаясь;
Для бесконечности продления свободы, стремись
в неведомые воды, в надежные проверенные порты,
в моря и гавани, в их притяженье,
Стремись под парусом к добру, летучей яхты приведенье.

Цикл IV – «Перелетные птицы»

ПИОНЕРЫ! О, ПИОНЕРЫ!

Мои загорелые дети,
Вы держите правильный строй,
Оружие к бою готово,
Есть ли у вас топоры?
Есть ли у вас револьверы?
Пионеры! О, пионеры!

Здесь нету для нас промедленья,
Дорогие мои, вы должны быть на марше,
Чтобы страха атаку наши нервы сдержали,
Нашим мускулам юным всё должно подчиниться,
Все преграды, барьеры,
Пионеры! О, пионеры!

О, юность Запада!
Порыв нетерпелив и жажда действий,
Вериги гордости и дружелюбие,
Как ясно вижу я тебя, о юность Запада,
И поступь тяжкую и мужество без меры.
Пионеры! О, пионеры!
Удержат старшие стремительный поток?
В уныньи завершив чтиво скучнейших лекций,

Там за морем давно (как эти будни серы!)
Пионеры! О, пионеры!

Всё прошлое мы позади оставим,
И выйдем из слепых ущелий в огромный, светлый мир,
Многообразный, могущественный мир,
Такой простой и разный.
Мы свежие и сильные овладеваем миром,
Труда и марша на крыльях веры,
Пионеры! О, пионеры!

Мы отрешенно и спокойно,
Бросаясь вниз и продираясь сквозь теснины,
Дальше по ступеням хребтов и гор,
Превозмогая всё и побеждая сомнений хор
и зла химеры,
Пионеры! О, пионеры!

Мы валим первобытные леса,
Запруживаем реки, буравим землю,
Открывая богатство рудников
в преддверии сокровищ урожая,
захватываем всё, как флибустьеры,
Пионеры! О, пионеры!

Мы — мужчины Колорадо,
С вершин гигантских земель огромных
и плато высоких,
Из рудников и шахт, глубин оврагов,
из троп охотничьих приходят к нам
повадки и манеры
Пионеры! О, пионеры!

Из Арканзаса, их Небраски,
Из земель центральных стремительным движеньем,
Из Миссури смешались мы с континентальной кровью,
Соединив в рукопожатье товарищей — Южан и Северян,
Пионеры! О, пионеры!

О, непреодолимый, неутомимый,
стремительный поток!
Поток, во всё влюбленный!
Грудь моей мучительная боль, — любовь ко всем!
О, я скорблю, и всё же возвышаю,
я поглощен любовью ко всему!
Пионеры! О, пионеры!

Воительница — Мать зовет к защите,
Парит она нежнейшая над всеми,
выше владычиц звездных
(О, люди! Ваши головы склоните),
Бесстрашно поднимаясь, невозмутима,
Воинственна, вооружённая,
Пионеры! О, пионеры!

Своих детей я вижу, решительных детей,
Здесь, возле этих стай и толп должны вы
не уступить ни пяди, ни споткнуться,
Из тьмы веков фантомы душ ушедших,
нахмутив гневно брови глядят на нас,
как мужества пример,
Пионеры! О, пионеры!

Тесней, тесней ряды,
Вы ждете пополнений, но, увы,
места еще быстрее заполняют
погибшие на поле боя,
Сквозь битвы и сраженья, сквозь поражения
вы движетесь, — и никогда не остановят
поток ваш,
Пионеры! О, пионеры!

Упасть сраженным, двигаясь вперед!
Но разве кто-нибудь из нас пал духом, умирая?
Разве этот час настал?
И вот, идя на марше, умираем мы, но знаем,
что закрыты нами проломы, бреши,
Пионеры! О, пионеры!

Все пульсы в мире,
Согласуют свои удары с биением вашим
в Западном движении,
Держась по одиночке или вместе
мы стойко движемся по фронту, –
всё, всё для нас – о, чудный час,
Пионеры! О, пионеры!

Жизнь дышит мишурой разнообразья,
Все формы, зрелища, работники, работы,
Все странники, все моряки,
плантаторы, рабы, – все пленники судьбы,
Пионеры! О, пионеры!

Все, кто несчастен, кто влюблен безмолвно,
Все заключенные по тюрьмам, все праведники,
грешники немые.
Кто радостью объят и кто скорбит,
Все, кто живут и все, кто умирают,
Пионеры! О, пионеры!

И я с моей душой и телом,
Мы вместе – любознательное трио,
которое тихонько отбирает,
что чудом на пути его встает,
Сквозь берега, среди теней, фантомами давимы,
мы – пилигримы.
Пионеры! О, пионеры!

Смотри, как радостно сияет орбита шара!
Смотри – орбиты братские вокруг и все в скоплениях
солнц и планет,
Дни ослепительны, таинственные ночи, –
все в грезах и мечтах,
Пионеры! О, пионеры!

Это – наше, это – с нами,
Все нужно для работы основной, в то время как за ней
начало очередное эмбрионом вызревает
и сзади ждет,
И каждый день мы во главе процессий, –
маршруты и пути мы делаем прозрачней,
Пионеры! О, пионеры!

О, дочери! О, Запада Мадонны!
И юные и дочери постарше! О ваши матери и жены!
Вы не должны быть никогда разделены;
в рядах своих вы движетесь сплоченно
и непреклонно как в небе сферы,
Пионеры! О, пионеры!

Таинственные менестрели прерий!
(Окуганы, укрыты пеленою, о барды стран иных,
вы можете спокойно отдохнуть,
вы ваше дело сделали когда-то),
Я слышу ваш приход и ваши трели, –
шагов тяжелых поступь, менестрели,
Пионеры! О, пионеры!

Нет, не для неги наслаждений,
И для спящих на подушках диванов пышных,
Не мирное богатства накопленье, не праздность

временпровождения, – но гул сраженья,
Пионеры! О, пионеры!

Пиры, обжорства праздниками делать?
Стать толстыми, ленивыми и спать?
Иль запереть их двери на засовы?
Диеты наши строги и суровы,
и одеяла стелем на земле,
мы к подвигам готовы,
Пионеры! О, пионеры!

Пока звучат призывно трубы,
И вдалеке зовет ночной привал – услышите!
Услышите их, как громко, ясно
слышу я их ветер,
Скорей спешите к авангарду армий, –
торопитесь в броске успеть, свои места
занять для боя, а не для карьеры,
Пионеры! О, пионеры!

МИХАИЛ БРИФ

ВАСИЛЬ ПИДДУБНЯК
Перевод с украинского

ЧУЖБИНА

В лесах грибы,
Озимые в полях.
Сердца болят,
За все живое – страх.

Вечерний плес днепровский
Вдалеке
Струится, как слезинка
По щеке.

На черной ветке
Почернел листок...
Всему есть срок,
Всему есть в жизни срок...

Не покидай меня!
Не покидай!
Мне без тебя чужбина
Этот край...

ВОСПОМИНАНИЕ О ЧЕРНОБЫЛЕ

Над выжженным лесом
Угрюмое солнце
Мертвенно гаснет
С утра до утра...

Здесь ядерный смерч
Упоенно несется
По глади Ворсклы,
По глади Днепра.

ЛЕПРОЗОРИЙ

Мы вскормлены не с острия копыя,
А с той руки, что в нас копье вонзала.
Мы жили (прокаженная семья)
В бездушном лепрозории вокзала.

Казалось нам, что так и нужно жить:
Под маршей гром (хоть явь – без йоты смысла).

...Полынная трава пошла кружить –
Полынь-звездой над землей повисла.

Горят
Полынь-звезда,
Полынь-трава...
Дымят
На черном мраморе слова.

ТАК, РАВНОДУШНО...

Так, равнодушно,
Жутко, навсегда
Погаснет солнце
И сгорит звезда.

Исчезнут чувства.
Нет охоты жить.
Тропинка счастья
Из-под ног сбежит.

Так, равнодушно
Пуля просвистит.
Душа не вздрогнет:
Беспробудно спит.

И очерствелой,
Каменной душе
Любовь и нежность
Ни к чему уже.

Так, равнодушно...
Жмешь курок не зря:
Быть мертвым – можно,
Быть живым – нельзя..

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Проснулся гоним даже у раба
Стократ уверен раб, что жизнь – борьба.
Очнулся раб: «Минувшее прогоним!»
И тут как тут раздался клич: «По коням!»
Плач материнский мечется в окне.
Отважный раб гарцует на коне.
Горит жнивье, в дыму цветущий сад.
Рай воронью, как триста лет назад.

АНАТОЛИЙ КИЧИНСКИЙ

Перевод с украинского

ЦЫГАНСКАЯ СВАДЬБА

Визжали струны, кровь кипела,
стирались бутсы в порошок,
и дама треп мне сладко пела,
что не напрасно я пришел.

Она лукавила, темнила,
влекла, дышала горячо.
Меня пугало и манило
ее открытое плечо.

Как жаль, что нужно нам проститься,
что подружиться не смогли.
Взмывали кони, словно птицы,
и отрывались от земли

...Огонь цыганского веселья
давно угас, но до утра
над степью музыка висела,
как дым вчерашнего костра.

БЕЗ ТЕБЯ

Без тебя засыпаю – и снится,
что совсем обезлюдел наш кров,
что разлука с тобою – темница:
приговор беспощаден, суров.

Здесь в угрюмом квадратике неба
реет птица, на волю маня.
Ничего мне не надобно. Мне бы
только знать, что ты помнишь меня.

Понапрасну мечтать о победе
над разлукой. Она мне – навек.
За одну только мысль о побеге
наказуем я, как за побег.

ГОСТИНИЦА

Окно распахнуто на Таллинн,
в чужую жизнь раскрыта дверь.
Там две души сентиментальных.
Не знаю, где они теперь.
Их столько в мире, невоспетых,
гонимых ветром бытия.
Ужели там, где нынче нет их,
одна из них была моя?

ПЕРО

За взрывом взрыв, и белый лебедь
сгорел близ рая.
Совсем несладко нынче в небе,
увы, родная.

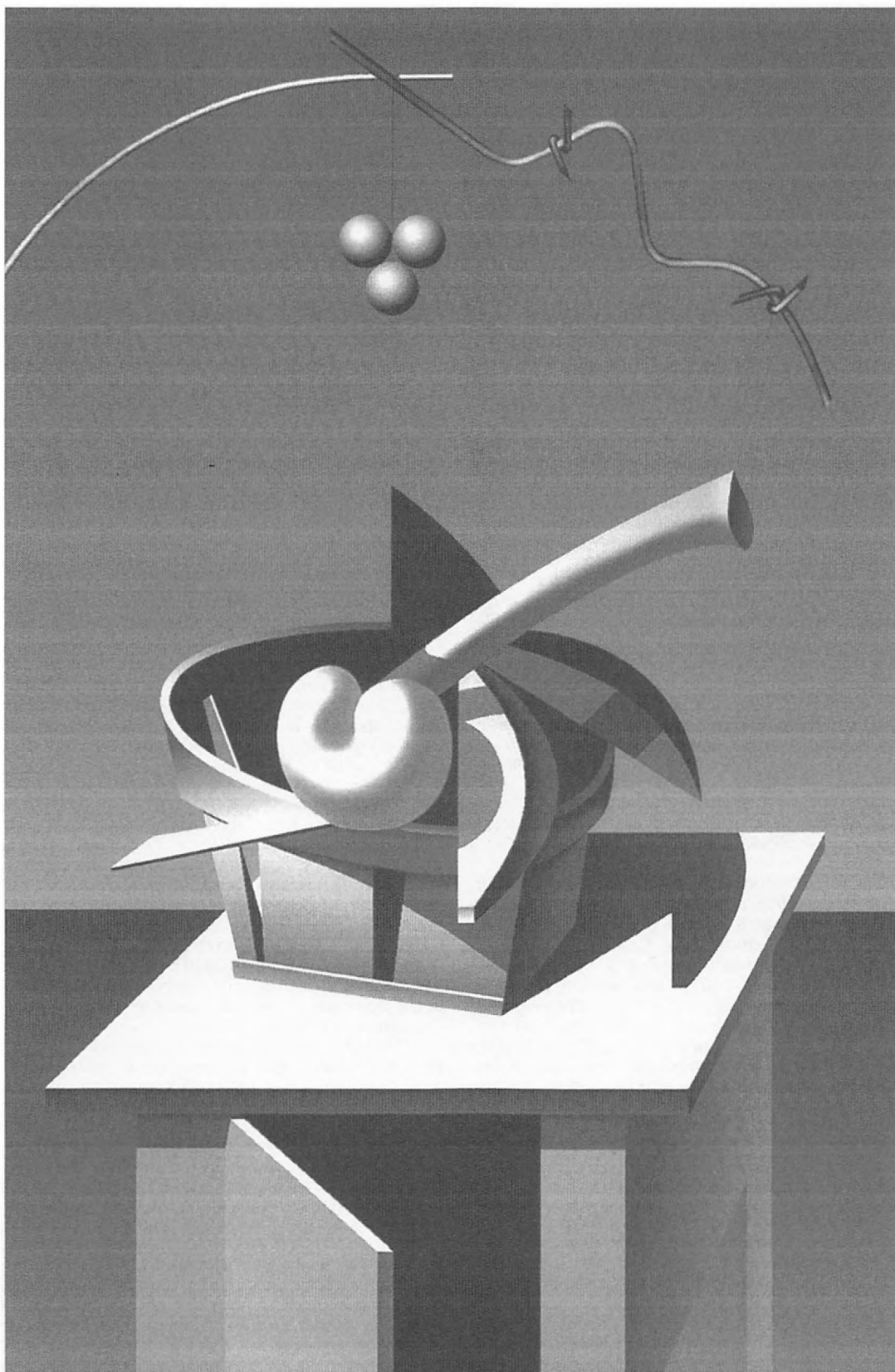
Летело солнце надо мною
и ты летела,
мир ослепляя белизною
нагого тела.

Ты вольный дух мой с выси птичьей
пронзила взглядом,
и стал я птицей непривычной
с тобою рядом.

С ума схожу и силы тают.
Душа сгорает.
И только память не сгорает –
корит, карает...

Сухие, мертвые осины
снега укрыли.
Там гибнешь ты в глухой трясине,
уже без крыльев.

Любовь заблудшая стенает.
Навстречу выйдешь.
Перо твое сберег, родная.
Пишу им. Видишь?



Виктор Лазухин. Элегия. Элегия. 1994-1998. Компьютерная графика. 40" X 30".

АИСТ, ТАТЬЯНА. Поэт, прозаик, переводчик, профессор китайской философии и религии. Род. в 1956 г. в Ленинграде. На Западе с 1989 г. Живет в Калифорнии, преподает в Пасифик университете. Печатается в лит. изданиях. Кн.: "Китайская грамота" на русском, английском и китайском языках, 1996. "Япония под снегом", на русском, английском и японском языках, 2009; цикла «Стихи о безвременье», «Китайские мелодии». Более ста научных работ в области философии и религии.

АЛАВЕРДОВА, ЛИАНА. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист, драматург. Родилась в 1959 г. в Баку, Азербайджан. С 1993 г. живет в Нью-Йорке, США. Окончила исторический факультет Азербайджанского ун-та. Стихи, статьи, эссе, переводы с английского и азербайджанского публикуются в США и Азербайджане. Автор пьес "Идиот в Америке", "Все смешалось в доме...". Кн.: "Рифмы" (1997), "Эмигрантская тетрадь", 2004 и др.

АМУРСКИЙ, ВИТАЛИЙ. Поэт, журналист, литератор. Род. в 1944 г. в Москве. По образованию филолог. Первые публикации относятся к середине 60-х годов. С 1973 г. живет во Франции. Работал журналистом русской редакции Международного французского радио RFI. Публиковался во Франции, США, Германии, Эстонии, Украине, России: «Русская мысль», «Новый Журнал», «Континент», «Вестник РХД», «Дети Ра», «Крещатик» и др. Постоянный автор журналов «Литературный европеец» и «Мосты», выходящих в Франкфурте-на-Майне. Автор девяти стихотворных сборников. Два из них вышли в 2011 г. в Санкт-Петербурге: «Осень скифа», (изд. «Алетейя», серия Русское зарубежье) и «Тень маятника и другие тени. Свидетельства к истории русской мысли конца XX – начала XXI века» (изд. Ивана Лимбаха).

АНДРЕЕВА, АНАСТАСИЯ. См. стр. 259.

БАБАНСКАЯ, АЛЕНА. Род. в подмосковном городе Кашира. Живет в Москве. Окончила МПГУ, филфак. Печаталась в «Литучбе», «Кукумбере», «Крещатики», были публикации в «Других берегах» и «Сторонах света». Издала две книги.

БЕРДНИК, ВИКТОР. Прозаик. Родился в 1956 году в Перми. Вырос в Одессе, где окончил мореходное училище. Работал в порту инженером-механиком, поменял специальность и посвятил себя реставрации антикварной мебели. Сотрудничал с музеями города Одессы. С 1990 года проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Автор рассказов и романов (роман «Между двумя континентами» опубликован московским издательством «Огонёк» в 2007 г.).

БЕРДНИКОВ, ЛЕВ. Писатель, филолог, культуролог, кандидат наук. Род. в 1956 г. в Москве. Окончил Московский пединститут. Работал в Отделе редких книг Российской Государственной Библиотеки. С 1990 г. живет в Лос-Анджелесе, США. Автор монографий: "Счастливые Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – начала XIX века" (СПб., 1997); (в соавторстве) "Пантеон российских писателей XVIII века" (СПб., 2002). Книги: "Щеголи и вертопрахи" (М., 2008), "Евреи в ливреях" (М., 2009); "Шуты и остроловы. Герои былых времен" (М., 2009). Более 400 публикаций в России, США, Канаде, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине, Англии, Беларуси, Молдове. Член СП Москвы. Произведения переведены на иностранные языки.

БЕРМАН, ФИЛИПП. Писатель, драматург. Родился в Москве в 1936 г. Кандидат технических наук. На Западе с 1981 г. Живет в Филадельфии, США. Участник и составитель антологий "Каталог", за что был изгнан из СССР (1982, изд. "Ардис"). Роман "Регистратор" вышел 1984 и 1991 гг. Рассказы печатались: в журналах "Время и мы", "Континент", "Третья волна", "Стрелец", "Побережье", "Мир Паустовского", "Человек и природа"; в антологиях "Русская Зарубежная проза" (Венгрия и Россия), «Филадельфийские страницы. Проза. Поэзия», 1998; "Антология еврейско-русской литературы. Два века двойного самосознания: 1801-2001", 2 тт., на английском языке, Лондон – Нью-Йорк, 2007 и т.д.

БОЛЬШАКОВА, НИНА. Прозаик. Родилась в Новосибирске, окончила Томский Политехнический институт и

аспирантуру в Донецке, кандидат экономических наук. Живет в Нью-Йорке с 1998 года. Публикуется в русскоязычных газетах и журналах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Торонто. Печатается в России и Украине.

БРИФ, МИХАИЛ. Поэт, переводчик, эссеист, журналист. Родился в Херсоне в 1947 г., Украина. Эмигрировал в 1994 г. Живет в Нью-Йорке, США. Печатается в литературных изданиях.

БУДНИЦКИЙ, ИЛЬЯ. Поэт. Род. в 1960 году в городе Среднеуральске. Окончил Уральский политехнический институт. Живет в Екатеринбурге. Автор пяти сборников стихов. Выпустил книгу избранного «Стихотворения и поэмы», 2010, роман-путешествие «Тезей», 2010

БУРЛЮК, ДАВИД (1882-1967). Поэт, художник, один из основоположников русского футуризма. Род. на хуторе Семиотровка Лебединского уезда Харьковской губернии (ныне Сумская область Украины). Учился в Казанском и Одесском художественных училищах. Изучал живопись в Мюнхене («Королевской Академии») и в Париже («L'ecole des beaux arts»). Вернувшись в Россию, сошелся с левыми художниками и участвовал в художественных выставках. В 1911-1914 занимался вместе с В. В. Маяковским в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Жил в Москве, издавал стихи, сотрудничал в газетах, писал картины. В 1918-1920 гастролировал вместе с В. Каменским и В. Маяковским по Уралу, Сибири, Дальнему Востоку. В 1920 г. эмигрировал в Японию, затем в 1922 поселился в Нью-Йорке, США. Издавал свои сборники, брошюры, журналы, журнал «Color and Rhyme» на английском и русском языках со своими живописными работами, стихами, рецензиями, репродукциями и т.п. Умер 15 января 1967 года в г. Хэмптон-Бейз, штат Нью-Йорк.

ВАРЕН, ТАТЬЯНА (Татьяна Варениченко). Прозаик, литературовед, педагог. Род. в 1960 г. в Днепропетровской обл., Украина. Окончила Киевский Педагогический институт. Преподавала русский язык. Эмигрировала в 2000 г. в США. Живет в Филадельфии. Окончила Holy Family University. Книга прозы «Тайна не одной любви», 2006.

ВЕРЦНЕР, ЛАРИСА. Поэт. Жила в г. Херсоне, Украина. Стихи печатались в Магадане в 80-х годах, в Херсоне. Эмигрировала в Израиль. Там вышло четыре поэтических сборника: "Я здесь, я рядом, я с тобой", 1995, "Созвучье", 2000, "Тайнопись огня", 2005, "Переулки судьбы", 2007. Публикации в литературных изданиях: "Радуга", "Роза ветров", "Хронометр", "Слово"; сборниках "Ручи", "Нам не дано предугадать".

ВОЛОСЮК, ИВАН. Род. в 1983 г. в г. Дзержинск, Донецкая область, Украина. Аспирант кафедры русской литературы Донецкого национального университета. Публиковался в литературных журналах и альманахах Украины, России, Казахстана, Молдовы, Германии. Автор сб. стихов: "Капли дождя" (2002), "Вторая книга" (2007), "Продолжение земли" (2010), "Донецкие строфы" (2011). Член Межрегионального Союза писателей Украины. Живет в Донецке. Главный редактор литературного журнала "Клюнкер" (Донецк).

ВОРОБЬЕВ, НИКОЛАЙ. Украинский поэт и художник. Род. в 1941 г. Один из лидеров андерграунда 1970-х годов, основателей «Киевской школы поэзии». Первая книга издана в 1985 г. Лауреат премий им. П.Тычины (1992 – за кн. «Верховный голос»), «Благовіст» (1993 – за кн. «Іскри в сльехах»), государственной премии им Т. Г. Шевченко (2005 – за кн. «Слуга півонії»). Участник художественных выставок. Стихи переведены на английский, польский, чешский, румынский, португальский и русский языки. Живет и работает в Киеве и Нью-Йорке.

ГАМАРНИК, КСЕНИЯ. Художник, театровед, литературовед, журналист. Родилась в Киеве. Окончила художественное училище и факультет театроведения Киевского университета театрального искусства. С 1994 г. живет в Филадельфии. Персональные художественные выставки в Киеве и Санкт-Петербурге. Участница коллективных художественных выставок на Украине и в США. Статьи и художественные иллюстрации публиковались в журналах: «Аврора», «Сучасність», «Український театр», «Ренессанс», «Побережье», «Зеркало» и мн. др.

ГАРБЕР, МАРИНА. Поэт, эссеист, переводчик, редактор, педагог, критик. Род. в Киеве. На Западе с 1990 г. Жила в Денвере, Чикаго, Нью-Йорке США. Ныне живет в Люксембурге. Окончила Денверский университет, факультет иностранных языков и литературы. Печатается в зарубежных лит. изданиях. Кн. стихотворений: "Дом дождя", 1996, "Город" – совместно с Г. Лайтом, 1997, "Час одиночества", 2000, «Между тобой и морем», 2008. Зам. гл. редактора журнала «Побережье». Автор многих литературных антологий.

ГЕЙХМАН, ЕВГЕНИЯ. Поэт, прозаик, филолог, журналист. Родилась в 1954 года в г. Киев, Украина. Училась в Ужгородском и Тартуском университетах и получила диплом филолога-русиста. Жила в Киеве. Долгие годы работала редактором в системе Академии наук СССР. В 1992 году эмигрировала в США. Живет в Филадельфии. С 1995 г. сотрудничает с русской редакцией Би-би-си. Публиковалась в периодических изданиях: журналах "Радуга", "Новости киноэкрана", альманахе "Побережье", еженедельниках "Советская культура", "Литературная газета", "Филадельфия", "Берег" и других. В 1996 году начала публиковать серию коротких рассказов из цикла "История истории". Работает программистом. В 2000 г. издала поэтический сборник «4» (совместно с тремя авторами).

ГЕЛПРИН, МАЙК. Прозаик. По профессии – инженер. Родился в 1961-м г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский Политехнический институт. Переехал в США в 1994-м г., живёт в Нью-Йорке. Начал писать и печататься с 2006 года. Публикации: "Мир фантастики" (Москва), "Полдень, XXI век" (СПб), "Уральский следопыт" (Екатеринбург), "Чайка" (Балтимор), "Знание/Сила" (Москва), "Реальность фантастики" (Киев), "Партнер-Норд" (Ганновер) и др.

ГОЛЛЕРБАХ, СЕРГЕЙ. Живописец, график, эссеист, педагог. На Западе с 1942 г. Живет в Нью-Йорке, США. Книги по искусству и эссе: "Заметки художника", 1983, "Жаркие тени города", 1990, "Мой дом", 1994, альбомы рисунков, акварелей и технике живописи. Работы в музеях США, Франции, Германии, России. Член Американской национальной академии художеств, Общества акварелистов и др. Преподает в колледжах. Широко известен как оформитель книг художественной литературы.

ГОЛОВИН, ГЕННАДИЙ. Поэт, прозаик, историк. Род. в 1956 г. в Алчевске, Луганская обл., Украина. Окончил Луганский педагогический институт. В 1999 г. выехал на Запад. Ныне живет в пригороде Филадельфии, Пенсильвания. Сб. стихов: «Болен я XX веком», 1997, «Гамаюн – птица вещая», 2000, «О любви разной», 2002 и др. Работает в Пенсильванском университете.

ГОЛЬДЕНБЕРГ, ИОСИФ. Поэт, филолог. Родом из Украины. Окончил филологический факультет Харьковского университета. Преподавал русский язык и литературу в Новосибирском Академгородке. В 1968 г. подписывает «письмо 46» в защиту Гинзбурга и Галанскова. Изгнан с работы. После долгих скитаний, находит себе пристанище в другом научном городке – г. Пущино, Московской области. Здесь преподает русский язык. Выпустил несколько сборников стихов и документальных фильмов.

ГОРА, СЕРГЕЙ. Поэт, филолог-лингвист. Род. в г. Ленинграде. Окончил ЛГУ, имеет ученую степень. Переехал в США как приглашенный специалист. Работает в ранге Associate Professor в одном из языковых центров в Мэриленде. Был известен в России как один из первых постсоветских ведущих телевизионных ток-шоу. Выпустил ряд поэтических сборников.

ГРИГОРЬЕВ, БОРИС (1886-1939). Смотри стр. 209.

ГУБИН, МИХАИЛ. Поэт, художник. Род. в Харькове в 1953 г. Окончил Университет Искусств. Занимался рисунком, живописью, фотографией. Учился в Университете Технологий и Искусства в Загорске под Москвой. Выехал на Запад в 1989 г. Живет в Нью-Йорке. Более тридцати персональных и более двухсот коллективных выставок.

ДРАГУНОВ, АНДРЕЙ. Поэт. Род. в 1969 году в Волгограде, где и проживает по сей день. Автор книг: «Песня дорожной пыли» (1993), «Речь способность вернуться»

(1993), «Monologika» (2001). Готовит к изданию новый сборник стихов «Новая семейная хроника».

ДУБНОВ, ЕВГЕНИЙ. Поэт, прозаик. Родился в 1949 г в Таллине. С 1960 г жил в Риге. Выехал на Запад в 1971 г. Учился в Московском, Бар-Иланском (Израиль) и Лондонском университетах; окончил факультеты психологии и английской литературы. С 1974 по 1993 преподавал английскую, американскую, русскую литературу и сравнительное литературоведение в Израиле и Англии. С 1991 по 1994 подготовил к изданию переводы русской поэзии на английский (совместно с Королевским лауреатом поэзии Хит-Стаббзом). Публиковал стихи и рассказы в русскоязычных зарубежных изданиях: "Время и мы", "Встречи", "Галилея", "Грани", "22", "Континент", "Новый журнал", "Новое русское слово", антологии "Литературный Иерусалим" и множества др. Сб. стихов: "Рыжие монеты", 1978, "Небом и землею", 1984. Проживает в Иерусалиме и Лондоне.

ЕЗЕРСКАЯ, БЕЛЛА. Журналист, театральный критик, эссеист. На Западе с 1977 г. Живет в Нью-Йорке, США. Окончила Одесский университет. Печатаются: "Новое Русское Слово", "Новый журнал", "Время и мы", "Панорама", "Интервью", "Вестник" и др. Кн.: "Мастера" (вып. №1-4). Широко печатается в современной России и на Западе.

ЗАХАРОВ, ВЛАДИМИР. Поэт. По профессии – физик-теоретик, математик. Академик Российской Академии Наук. Род. в 1939 г. в Казани. Ныне живет в Тулан, шт. Аризона, США. Преподает в университете. Сб. стихов: «Хор среди зимы», 1991, «Южная осень», 1992, «Перед небом», 2005 и др.

ИВАНОВ, АНДРЕЙ. Прозаик, преподаватель. Родился в 71-ом году в Таллинне, Окончил филологический факультет Таллиннского педагогического университета. Работал в школе. Жил в Скандинавии, затем снова вернулся в Таллинн. Публ. в журнале "Новый Журнал", лауреатов конкурса на лучшую повесть 2006-го года за повесть "Мой датский дядюшка" (за вклад в молодежную тему).

КАМА, ЕЛЕНА (Елена Гребенщикова). Поэт. Род. в г. Чайковский Пермской области (Россия). Окончила Омский государственный институт Сервиса (художественно-технологический факультет). В 2002 г. – Московскую Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма по программе «Художественное творчество. Психология художественного творчества. Психолог в учебных заведениях культуры и искусства». В настоящее время проживает в поселке Муромцево Омской области. Работает в библиотеке. Руководитель неформального объединения поэтов, художников, музыкантов. Стихи вошли в сборник «Край ты мой, косачинный». Антология поэтов Притарья» (Москва, 2003 г.). Печаталась в журналах "Христианское слово", "Город" и др.

КАМИНСКИЙ, СЕМЁН. Прозаик, журналист, преподаватель. Родился в Украине. Ныне живет в Чикаго. Член Международной федерации русских писателей. Рассказы и очерки публиковались в сборниках и журналах России, Украины, США, Дании, Израиля, Германии, Канады («Новый Берег», «Золотой Век», «Ковчег Кавказа», «Бег», «Медвежий Песни» мн. др.). Издал книгу "Орлёнок" на американском газоне, 2008. Редактор литературной страницы еженедельника «Обзор» (Чикаго).

КАРМАЗИНА, НЕЛЯ. Врач по профессии и читатель по призванию. Родилась в Одессе в 1930 г. Окончила Кишиневский медицинский институт. Жила и работала в Кишиневе. С 1978 г. живет в Филадельфии, США. Работала Assistant Professor при Детском госпитале.

КАРПИН, ДМИТРИЙ. Прозаик, журналист, психолог. Род. в Томске. Окончил МГГУ. Литературные публикации: сб. "Новая волна", журнал "Ридерз Дайджест", альманах "Порог".

КАУНОВА ТАТЬЯНА (Кордун). Поэт, прозаик. Род. в Северном Казахстане (Усть-Каменогорск). Жила в Вильнюсе, затем в Киеве. Окончила Киевский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко. Работала литературным редактором в издательстве "Днипро", в Министерстве культуры и Министерстве юстиции. Издала два поэтических сборника: "Рождение луны" (1985) и "Наугад раскрытое пространство" (1994). Печатались также и

прозаические произведения. Публикации в периодике и литературных сборниках.

КОЗЫРЕВ, НИКОЛАЙ. Прозаик. По профессии – учитель истории. Род. в 1954 г. в п. Демянск Новгородской области. Окончил Новгородский педагогический институт. Работал в школе. Литературным творчеством занимается с 1990 г. Изданные сб. рассказов: «Вот такие камыши» (1994), «Это нужно всем» (2009), «Было или не было? Вот в чём вопрос!» (2010). Член Союза писателей России.

КОСТЕНКО, ОЛЬГА (Шимонович). График, живописец. Род. в 1976 г. в поселке Омчак Магаданской области. В 1985 году переехала с родителями на Украину. Окончила Славянское художественное училище, (1995, квалификация – живописец) и Донецкий институт социального образования (2004, специальность – учитель изобразительного искусства). Автор иллюстраций сборников донецкого поэта Ивана Волосука. С 2009 года проживает в Португалии.

КРОН, ЕЛЕНА. Литературный критик.

КРУГЛИКОВА, ЭЛЛА. Род. в Харькове. Окончила Харьковский политехнический институт. По профессии – инженер-химик. В 1989 г. переехала жить в Филадельфию, США.

КРУПА, ЮРИЙ. Архитектор, дизайнер. Род. в Киеве в 1959 году. Выпускник архитектурного факультета Киевского инженерно-строительного института. Автор многих архитектурных проектов на территории бывшего СССР, часть из которых успешно реализована. В США с 1993 года, где занимается архитектурой высотных зданий, дизайном и книжным оформлением. С его участием разработан и построен ряд крупных архитектурных проектов многоцелевого назначения в Нью-Йорке, Дубае, Гонконге, Сеуле, Москве. В оформлении Ю. Крупы в издательстве «Побережье» вышли книги таких авторов как И. Михалевич-Каплан, В. Синкевич, М. Гарбер и др.

КУЗОВЛЕВА, ТАТЬЯНА. Поэт, переводчик, редактор. Род. в Москве, училась на историческом факультете Московского государственного педагогического института, окончила Высшие литературные курсы. Автор 17 поэтических книг, в том числе однотомника «Избранное» («Художественная литература», 1985), многих книг переводов. В последние годы вышли книги стихов «Между небом и небом» («ДЕКОМ», 2008) и «Координаты родства» на словацком и русском языках, совместно со словацкой поэтессой Этелой Фаркашовой (Братислава, 2010). Лауреат литературной премии «Венец» (2000), премии имени Анны Ахматовой (2008). Главный редактор литературного журнала «Кольцо А». Член Союза писателей Москвы и Русского Пен-центра.

ЛАЗУХИН, ВИКТОР. Художник: график, живописец, компьютерный дизайнер, профессор. Род. в 1927 году на Украине в Краматорске. В 1943 г. попал на Запад. Оказался в Германии (Баварии) в пересыльных лагерях. Благодаря Толстовскому фонду в декабре пятидесятого года попал в Филадельфию, США. Окончил Пенсильванскую Академию Художеств, затем Пенсильванский университет (получил звание магистра). Преподавал в Осчестерском университете графический и компьютерный дизайн, эстамп. Картины находятся в музеях Америки, Европы, а также в Третьяковской галерее и Русском музее. Член Пенсильванской Академии Художеств. Участник многих национальных и международных выставок.

ЛАЙТ, ГАРИ. Поэт, переводчик, публицист. По профессии юрист. Род. в 1967 г. в Киеве, Украина. Эмигрировал на Запад в 1979 г. Живет в Чикаго, США. Окончил Норвестернский университет (политология и русская литература) и юридическую аспирантуру Chicago Kent. Сб.: "Верь", 1992, "VOIR DIRE", 1993, "Треть", 1996, "Город" – совм. с Мариной Гарбер, 1997, «Возвращения», 2002, 2-ое изд. 2005. Член СП Москвы. Печатается в лит. журналах России, Украины, США. Участник Антологии "Строфы Века-2".

ЛАНИН, АЛЕКСАНДР. Поэт. Родился в 1976 г. в Ленинграде, вырос в Санкт-Петербурге, живёт и работает в Германии во Франкфурте-на-Майне. По специальности

математик, ныне банковский работник. Пишет стихи с середины 90-х годов. Лауреат конкурсов "Пушкин в Британии 2010" и "Эмигрантская Лирика 2010". Публиковался в журнале Terra Nova, в различных сборниках, составленных по итогам международных поэтических конкурсов.

ЛЕГЕЗА, ВИКТОРИЯ. Прозаик. Родилась в 1957 г. в Киеве, Украина. По специальности – архитектор. Публикуется с середины 1980-х гг. В 1988 г. выехала на Запад. Живет в Чикаго, США. Печатается в литературных изданиях, антологиях и сборниках. Кн.: «Эмигрантские сказки» тт. 1-2 (1999-2000), сб. прозы: «Хвосты и крылья», 2002, «Повести Кошкина», 2005, «Жаба», 2009, «Эм-ма2000», 2009 (по мотивам романа Джейн Остин), «Шевроле моей бабушки», 2009 (на англ. яз.). Составитель антологии прозы женщин-эмигрантов «Арена» (1-3).

ЛЕВИН, МИХАИЛ. Врач-невропатолог, канд. медицинских наук. Род. в 1936 г. в Витебске, Белоруссия. Жил в Москве. Окончил 1-ый Московский медицинский институт. С 1981 г. на Западе, США. Жил в Питсбурге, Флориде. Ныне живет в Филадельфии. Учился в Питсбургском университете.

ЛЕВЧИН, РАФАЭЛЬ. Поэт. Родился в Крыму, Украина. На Западе с 1991 г. Живет в Чикаго, США. Окончил Московский литературный институт. Печатался в журналах: "Витрила", "Мы пришли!", "Антология русского верлибра", "Радуга", "Дружба народов" и многих др.

ЛЕГКАЯ, ИРАИДА. Смотри стр. 261.

ЛЕДКОВСКАЯ, МАРИНА. Родилась в 1924 г. в Берлине. Филолог, professor emerita Колумбийского университета. В 1969 г. защитила докторскую диссертацию о И. С. Тургеневе. Книги: The other Turgenev: from romanticism to symbolism (1979), Dictionary of Russian women writers (1994); автор многочисленных статей о русской литературе, о православии и православном песнопении.

ЛИБЕРМАН, АНАТОЛИЙ. Германист и славист. Литературный критик, поэт, переводчик. Доктор филологических наук, профессор Миннесотского университета. Род. в Ленинграде в 1937 г. На Западе с 1975 г. Живет в Миннеаполисе, США. Переводчик Шекспира, Лермонтова, Тютчева, Боратынского, исламских поэтов. Ред., комментатор и переводчик на англ. язык Н. С. Трубецкого (три тома) и В. Я. Проппа. Сб. стихотворений и переводов "Врачевание духа" (1996, Н-Й.). Около 400 публикаций, включая шестнадцать книг по языкознанию, литературоведению, фольклору. Автор постоянной колонки в Oxford University Press.

ЛИПЕС, ИЛЬЯ. Поэт, переводчик, прозаик. Род. в 1952 году в г. Первомайске, Николаевской обл., Украина. Окончил Нежинский педагогический институт, факультет иностранных языков. Жил в Чернигове, Славутиче, Москве и в Иерусалиме. Ныне живет в Торонто, Канада. Работает переводчиком. Автор сб. стихов и переводов. Печатается в Канаде, США, Израиле. Пишет стихи на русском и украинском языках; многие годы занимается переводом классической поэзии с английского, украинского и иврита на русский язык.

ЛИТИНСКАЯ, ЕЛЕНА. Прозаик, поэт, переводчик. Родилась и выросла в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского, писала рецензии для московских издательств и преподавала чешский язык в МГУ. В 1979 г. эмигрировала в США, живет в Нью-Йорке. Книги: поэтические сб. «Монолог Последнего Снега» (Н-Й, 1992), «В поисках себя» (М., 2002); стихи и проза «На канале» (М., 2008), презентация которой успешно прошла в мае 2009 года в московском «Центре русского зарубежья» имени Солженицына. Стихи, переводы, рассказы печатались в периодических изданиях и альманахах Москвы, Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии. Работает в Бруклинской публичной библиотеке, основатель и президент Бруклинского клуба русских поэтов.

ЛОПАТИН, АНДРЕЙ. Прозаик. Род. в Читинской области, посёлок Холбон, в 1963 г. Окончил Читинский политехнический институт. Публикации: «РуЛит», «Молоко», «Парус», «Русская Жизнь», «Юность», альманах

«Крылья», «EDITA», «Нива», «Веси», «Кольцо А», «Литературная Газета». Живет в г. Чита

ЛУКАЧ, ЮРИЙ. Поэт, переводчик, преподаватель. Род. в 1958 году. Окончил механико-математический факультет Уральского государственного университета. Живет в Екатеринбурге. Преподает компьютерные науки. Занимается поэтическим переводом. Переводит англо-американскую, французскую, немецкую и итальянскую поэзию.

ЛЮБАРСКИЙ, РОМАН. Поэт, прозаик, литературовед, журналист. Род. в 1957 г. в Кировограде, Украина. Окончил филологический факультет КГПИ им. Пушкина. Эмигрировал на Запад в 1998 г. Живет в Иерусалиме, Израиль и на Украине. Сб. стихов «Время звезд и дождей», 1995, «О природе любви», 1999, «На пороге в XXI-й», 2000. Публ.: «Антология современной русской поэзии Украины», «Ренессанс», «Галилея», «Новый журнал», «Встречи», «Побережье» и мн. других.

ЛЮБОМСКАЯ, ЕЛЕНА. Журналист, поэт, композитор. Род. в г. Белая Церковь. Окончила Киевский государственный университет. Жила на Херсонщине. Издала книги стихов и прозы. Печаталась в российских, украинских и американских журналах и альманахах. Один из авторов антологии «Украина. Русская поэзия. XX век». Готовит к изданию сб. романсов и песен, музыку к которым она написала сама.

МАЛЕЕВА, ВИКТОРИЯ. Поэт, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Российского университета дружбы народов. Род. в Хабаровске. Окончила филологический факультет Львовского Государственного университета. Преподавала в вузах г. Львова. После переезда в Москву преподает русский язык иностранным студентам в Российском университете дружбы народов. Защитила диссертацию на тему «Социально-культурный компонент терминологической лексики». Ведет курс культуры русской речи. Является автором более 30 научных работ, монографии-исследования «Речевая личность студента-иностранца в русской культуре (М., 2006; Бостон-Филадельфия, 2012).

МАНИН, ДМИТРИЙ. Переводчик, эссеист. Род. в Москве. По образованию физик, кандидат физико-математических наук. С 1993 года живет и работает в США. Переводит с английского и французского. Пишет эссе на философские и научные темы, является автором сетевых литературных игр. В соавторстве с Ю. Фридман перевел три сказки д-ра Сьюза (две о слоне Хортоне, опубликованные в 2008 г. издательствами АСТ и «Крылья-Мырля», и «Лоракс»).

МАРКОВА, РИММА См. стр. 258.

МАСТЕР, ЗОЯ. Прозаик. Родилась и выросла в Кишинёве. Училась в Москве. По образованию – музыковед. В 1990-м г. эмигрировала в США. Печаталась в русско- и англоязычных изданиях: «Время и Место», «Новое Русское Слово», «Лебедь», «Листья», «The Arrow». Сотрудничает с колорадской газетой «Горизонт», где ведёт рубрику «Разговор за чашкой чая».

МАТРОС, ЛАРИСА. Прозаик, поэт, критик. По профессии – юрист, доктор философии. Род. в Одессе. С 1992 г. живет в Сент-Луисе, шт. Миссури, США. Окончила Одесский ун-тет. Жила и работала в Новосибирской АН. Автор книг и более шестидесяти научных и публицистических работ по проблемам человека, рассказов, очерков, эссе, литературных обзоров, рецензий. Печатается в России и Зарубежье. Член ПЕН-клуба. Автор поэтического сб. «...И жизнь, и слезы и любовь» (1998). В 2000 г. вышел роман «Презумпция виновности» и в 2007 продолжение «Называется жизнь».

МАШКЕВИЧ, СТЕФАН. Поэт, исследователь истории, физик. Род. в 1971 г. в Киеве. По образованию физик-теоретик. Окончил физический факультет Киевского государственного университета. Доктор физико-математических наук, автор нескольких десятков научных статей. Исследователь истории Киева, автор книг «Трамвайные копейки» (2004), «Київський тролейбус» (2009), «Два дня из истории Киева» (2010). Жил и работал во Франции, Норвегии; в настоящее время работает

старшим научным сотрудником фирмы "Шрёдингер" (Schrodinger) в Нью-Йорке, ведущим научным сотрудником Института теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова в Киеве.

МЕЛЬНИК, АЛЕКСАНДР. Поэт. Род. в 1961 г. в Молдавии. Окончил Московский институт геодезии и картографии (по спец. "морская геодезия"). Жил в Бурятии, где занимался картографированием дна Байкала, геодезическими работами, космической географией, а после распада СССР – бизнесом. С 2000 г. живет в Бельгии. Окончил Католический университет Лувэна по специальности "Космические методы исследований и картография". Доктор наук. Организатор Всемирного поэтического фестиваля "Эмигрантская лира". Публиковался в поэтических сборниках и журналах Бельгии, Великобритании, Израиля, Латвии, России, США и Финляндии. Автор книги стихотворений "Лестница с неба" (2010 г.).

МЕРКУЛОВ, ИГОРЬ. Поэт, преподаватель русского языка. Род. в 1931 г. в Томске, Россия. Живет в Москве. Закончил МГУ. Преподает в ун-те Дружбы народов и в Центре подготовки космонавтов. Им изданы учебники и пособия для изучения русского языка иностранцами.

МИКУШЕВИЧ, ВЛАДИМИР. Поэт, прозаик, философ, критик, переводчик. Род. в 1936 г. в Москве, где и продолжает жить. 1960 году окончил 1-й Московский государственный институт иностранных языков (ныне Лингвистический университет). Автор переводов Кретьена де Труа, Дж. Свифта, Новалиса, Ф. Гёльдерлина, А. Рембо, Р.М. Рильке, Григора Нарекаци и др. Старейший преподаватель Литературного института. Пишет стихи на русском и немецком языках. Кн.: «Крестница зари», 1989. Переводчик средневековой поэзии. Основной философский труд, написанный в форме афористического эссе – "Проблески" – опубликован изд. "Александра" в 1997. Книги: «Будущий год», «Воскресение в Третьем Риме» и др.

МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН, ИГОРЬ. Поэт, прозаик, переводчик, издатель. Родился в г. Мары в 1943 г., Туркменистан. Жил во Львове, Украина. На Западе с 1979 г. Ныне живет в Филадельфии, США. Кн.: "Посадить дерево", 1983, "Окна в лето", 1986, "Утро в зеркале", 1995, "Отраженные дни. Избранное", 1998, на английском языке 2000; "Триада", 1996 и "Приближение", 1999 (сб. трех поэтов). Окончил Львовский полиграфический институт. Издаётся в России, США, Англии, Канаде, Дании, Германии, Израиле и т.д. Участник сборников и антологий: "Строфы века-II. Мировая поэзия в русских переводах XX века", М., 1998; "Украина. Русская поэзия. XX век", Киев, 2008, "Библейские мотивы в русской лирике XX века", Киев, 2005, "Современные русские поэты", М., 2006, "Российская эмиграция: прошлое и современность" (изд. Научного совета Российской АН), "Антология еврейско-русской литературы. Два века двойного самосознания: 1801-2001", 2 тт., на английском языке, Лондон – Нью-Йорк, 2007, "Земляки" М., 2009, Symposium, 2008 (A Journal of Russian Thought) и мн. др.

МИХЕЕНКОВ, РОМАН. Прозаик, автор сценариев, режиссер. Род. в 1973 г. Окончил институт им. Гнесиных, режиссерский факультет института им. Б. Щукина. Член Гильдии сценаристов РФ. Номинант и дипломант международных кинофестивалей и конкурсов. Лауреат литературной премии «Русский автобан» (Франфурт-на-Майне). Автор сценариев и режиссер – постановщик фильмов «Есть тема!», «Янка Купала. Незаванное», «Жить в России», «Взрослые игры», – постановщик спектаклей «Дочь Альбиона», «Портрет Дориана Грея», «Венецианский купец».

МОЛОДЫЙ ВАДИМ. Поэт. По образованию – врач-психиатр. Род., жил и работал в Москве. Совмещал лечебную, научную и литературную деятельность, занимался психопатологией художественного творчества, был сотрудником и автором ежесемейника «Совершенно секретно». Печатался в СССР и на Западе. С 1990 года живет в Чикаго. Член Парламента сайта «Век перевода» (vekperevoda.com), ответственный за связи с авторами Западного полушария; редактор-консультант, основатель и автор рубрик «Антология мировой поэзии» и «Антоло-

гия мировой прозы» в одной из крупнейших русскоязычных газет США «Реклама», ведущий еженедельной передачи «Час эзотерики» на радио. В 2010 г. (изд. Art 40) вышла книга стихов с иллюстрациями Бориса Заборова. В московском издательстве «Водолей» готовится к печати новая книга «Споры с Мнемозиной».

МОСКВИНА, МАРИЯ. Прозаик. Род. в Москве. Окончила Московский финансово-экономический институт. В США с 1992 года. Живет в пригороде Филадельфии. Автор ряда повестей, очерков и рассказов. Произведения публикуются в периодических изданиях Америки и России.

МОЦПАН, ДМИТРИЙ. Поэт. Род. в 1981 г. в г. Хмельницкий, Украина. Член всеукраинского творческого союза «Конгресс литераторов Украины». Основатель и редактор независимого литературно-художественного альманаха «Lithium». Печатался в сборниках и альманахах: «Звездная подкова», «Качели вселенной», «Кто я?», «Пусть святится имя твое», «Пусть будет воля твоя», «Хлеб наш насущный», «Медоборы». Автор книги «Дезире, или грезы солнца», 2009 г., Участник сб. лирики «Sitis» изд. «Zeitglas», «Антології сучасної новелістики та лірики України 2010».

НЕКРАСОВСКАЯ, ЛЮДМИЛА. Род. в 1956 в г. Бендеры, Молдавия. Живет в Днепропетровске, Украина. По специальности – инженер, занималась наукой. Автор четырех поэтических книг. Публиковалась в литературных журналах, альманахах и антологиях Украины, России, Израиля.

НИНА НИКИПЕЛОВА. Критик, Педагог, доцент Харьковского Педагогического института им. Г. С. Сковороды, кандидат филологических наук. Специалист по творчеству А. П. Чехова. Автор работ о прозе Тургенева, поэзии Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Чичибабина. Публикации: сборники «Чеховские чтения» (в Ялте, Таганроге, Южно-Сахалинске); журнал «22», сетевой журнал «7 искусств» и др. Лауреат премии имени Б.А. Чичибабина.

НОВАК, СВЕТЛАНА. Поэт. Род. в городе Орле. Ныне живет и работает в г. Торонто, Канада. Печатается в литературных изданиях.

ОДНОЛЕТКО, МАРИЯ. Поэт, прозаик, журналист. Род. в 1990 г. Живет и работает в Москве. Учится во ВГИКЕ. Работает в "Новой газете". Специализируется на интервью в сфере культуры.

ПАВЛЕНКО, АЛЛА (Воробьева). Род. на Украине. Детство прошло в Ленинграде. Окончила филологический факультет Киевского Государственного Университета. Публиковалась: «Молода гвардія», «Вітрила», «Україна», польских альманахах «Literatura na świecie», «Po tamtej stronie deszczu». Издала книгу поэзий «Дом у реки» (2004) в изд. «Гранослов», «Дом у реки», 2011, изд. «Український письменник». В настоящее время живет в Нью-Йорке.

ПАНЧЕНКО Ирина Григорьевна (1939-2009). Литературовед, критик, педагог, журналист. Родилась в Ярославле. Окончила Киевский университет им. Т. Г. Шевченко. Кандидат филологических наук, доцент. Член Союза журналистов Украины. Преподавала в Киевском педагогическом университете, Киевском университете. С 1997 г. жила в Филадельфии, США. Член Американской Ассоциации славистов и преподавателей языков стран Восточной Европы. Книги: «В поисках совершенства. О творчестве Юрия Олеши»; «Виктор Астафьев»; «Практикум по ораторской речи»; «Мифы и фольклор народов мира». Один из составителей и авторов комментариев к антологии «“Серебряный век” русской поэзии». Более двухсот статей в области культурологии и литературоведения в российских, украинских, европейских и американских изданиях: «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Всесвітня література», «Русский язык и литература в вузах Украины», «Сучасність», «Мосты», Symposion (A Journal of Russian Thought), «Новый журнал», «Побережье», «Слово/Word», «Российская эмиграция: прошлое и современность» (изд. Научного совета РАН) и мн. др.

ПАНЧЕНКО, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. См. стр. 201.

ПЕРЦЕВА, ТАТЬЯНА. Смотри стр. 260.

ПОЛЕВАЯ, ЗОЯ. Поэт. По профессии инженер. Род. в Киеве, Украина. Окончила Киевский институт инженеров Гражданской авиации. Посещала поэтическую студию Леонида Вышеславского и клуб «Экслибрис» при библиотеке искусств. Сб. стихов «О ражение», 1999 г. Выехала на Запад в 1999 г. Живет в штате Нью Джерси, США. Ведет культурно-литературную программу «Экслибрис». Печатается в литературных журналах на Украине и в Зарубежье.

ПОЛИЩУК, СЛАВА. Прозаик, художник. Род. в 1961 г. в г. Клинцы, Россия. Окончил Строгановское училище и Московское художественное училище. Бруклин колледж университета Нью-Йорка. На Западе с 1996 г. Живет в Нью-Йорке. Участник многочисленных выставок, работы находятся во многих галереях мира (Третьяковская галерея, собрание Нортон Доджа, Литовский Государственный музей, Джейн Вурхнес Циммерли, Художественного музея Рутгерс университета, галереи университета Нью-Йорка, галереи университета Пэйс, фонда Колодзей, Американского Национального общества Золотого Ключа, Московского Союза Художников, и др.). Книга: «Время радости. Этюды на кухне».

ПОЛЯКОВ, ОЛЕГ. Род. в 1948 г. Химик, литератор, переводчик, автор и исполнитель песен. Живет и работает в Новосибирском Академгородке. Окончил Новосибирский Государственный университет. Кандидат химических наук. С конца 1960-х гг. – автор ряда песен, пародий и произведений в стиле «глум». В 1975-76 гг. – актер вольного (внецензурного) студенческого театра «Феномен» (НГУ); сыграл в спектаклях по пьесам В. Фета «Юниверс-13», «Страсти по Прокрусту», по поэме А. Вознесенского «Авось». Некоторые тексты – в самиздатовских сборниках «Подтекст», Новосибирск. Автор магнитоаппаратного концерта «MimoReal World» (1977).

ПРОБШТЕЙН, ЯН. Поэт, переводчик, журналист, литературовед, канд. фил. наук, профессор. Род. в 1953 г. Окончил Минский институт иностранных языков. Печатался с 1980 г. С 1989 г. живет в Нью-Йорке, США. Член СП России. Участвовал в составлении, редактуре и переводе более десятка антологий европейской поэзии. Более 100 публикаций. Преподает английскую, американскую и мировую литературу и риторику. Автор семи сб. стихов. Переводы помещены в девяти антологиях. Статьи, стихи, переводы, рецензии публикуются в «Радуге», «Литературной газете», «Поэзии», «НПС», «Арионе», «Времени и мы», «Континенте», «Стрельце» и др. Один из авторов антологии «Строфы Века-II. Мировая Поэзия в русских переводах XX века», Москва, 1998. Переводил Блейка, Китса, Шелли, Хопкинса, Т. С. Элиота, У. Б. Йейтса, У. Х. Одена, Х. Л. Борхеса, Ч. Милоша и мн. др. Кн.: "Дорога в мир", 1992, "Vita Nuova", на англ., 1992, "Времен на сквозняке", 1993, "Реквием", 1993, "Жемчужина", 1994, "Элегии", 1995, "Инверсии", 2001.

РАЙБЕРГ, ЛАНА. Прозаик, художник, журналист, педагог. Родилась в Минске, Белоруссия. В эмиграции с 1992 г. Живет в Нью-Йорке, США. Окончила Витебский педагогический институт, художественно-графический факультет. Рассказы печатаются в зарубежных литературных изданиях. Графические работы выставлялись в картинных галереях. Кн. Прозы: «Картонная луна», 2002, «Олежкины истории», 2005, «Лестница в небо или записки провинциалки», 2008. Автор иллюстраций к стихам Людмилы Таймасовой, к книге А. Волковича «Алеся. Беловежские сны».

РАХМАН, ВИТАЛИЙ. Поэт, журналист, художник, дизайнер, издатель. Род. в 1945 г. в античном Херсонесе, пригороде Севастополя. Лауреат Всесоюзных выставок по промышленному дизайну. Принял участие в нонконформистском художественном движении, участник Измайловской выставки, за что был выслан из Москвы. С 1980 г. живет в США, Филадельфия. Сборник стихов "Чаша без дна" (1991), «Встречный экспресс» (2007). Печатается в литературных журналах и альманахах США, России, Украины и др.. Издатель газеты «Реклама и жизнь», выход

дшей в Пенсильвании, Нью Джерси, Мериленде др. штатах. Автор антологии «Филадельфийские страницы. Проза. Поэзия», 1998, «Украина. Русская поэзия. XX век», 2007, «Побережье. Проза. Поэзия», 2006.

РЕЗНИК, РАЙСА. Поэт. Редактор альманаха «Связь времён». Род. в 1948 г. в Винницкой области. Окончила Винницкий пединститут. Ныне живет в Сан-Хосе, Калифорния. Работала учителем английского языка на Украине и в Молдавии. На Западе с 1994 г. Сб. стихов: «На грани» (на русском и английском), 1997; «О главном и вечном» (поэтическое переложение еврейских пословиц), 1997; «Точка опоры», 1999. Публиковалась в литературных изданиях: «Встречи», «Альманах Поэзия», «Побережье» и др.

РЕЗНИК, НАТАЛЬЯ. Смотри стр. 258.

РОЗЕНТАЛЬ, ВЛАДИМИР. Поэт-переводчик, график-иллюстратор, живописец. Род. в Киеве, Украина. В 90-х гг. эмигрировал в США. Живет в Филадельфии, США.

РЫБАКИН, ЛЕОНИД. Инженер. Родился в Саратове в 1932 году. Окончил механико-математический факультет Саратовского государственного университета. Почти сорок лет проработал ведущим инженером киевского завода «Арсенал». С 1993 г. живет во Франции.

САДОВСКИЙ, МИХАИЛ. Поэт, прозаик, драматург, детский писатель. Кандидат технических наук. Член Союза писателей России. Родился в 1937 г. в Москве. С 2000 г. живет в Нью Джерси. Автор мюзиклов, пьес, опер. Издал несколько десятков детских книг. Сб. стихов: "Завтрашнее солнце", 1992; "Бобе Лее", 1993; "Доверие", 1993, «Унисоны», 2001, роман "Под часами", 2003. В США в переводе на английский вышли книги прозы: "Stepping into the blue" ("Голубые ступени"), 2004, "Those were the years" ("Такие годы"), 2006, "Before it's too late" ("Пока не поздно"), 2008. Лауреат российских и международных премий и конкурсов по литературе и драматургии. Челябинское Издательство МРП начало выпуск серии "Музыкальная коллекция на стихи поэта М. Садовского".

САДХИН, ГЕОРГИЙ. Смотри стр. 260.

САНИНА, ИННА. Поэт, прозаик. Живет в Лос-Анджелесе, Калифорния. По образованию архитектор, кандидат наук. Член Международного ПЕН-клуба. Автор четырех поэтических сборников: "Цветы времени", "Смысл", "Родники", «Листопад». Публикации в литературных изданиях русского зарубежья.

СИНКЕВИЧ, ВАЛЕНТИНА. Смотри стр. 287.

СМИРНОВ, ДМИТРИЙ. Поэт, переводчик, музыкант, композитор. Род. в Минске, в 1948 г. Окончил Московскую консерваторию в 1971. Переводит поэзию с английского, немецкого, французского, шотландского, латинского и японского. Главное увлечение – поэзия Уильяма Блейка. На сюжеты Блейка написал две оперы, балет, ораторию, симфонию, вокальные циклы и т. д. – всего более 30 музыкальных сочинений. Любовь к творчеству Блейка привела Дмитрия Смирнова в Англию, где он живет с 1991 года.

СПЕКТОР, ВЛАДИМИР. Поэт, публицист. Род. в 1951 г. в Луганске. Окончил машиностроительный институт и Общественный университет (факультет журналистики). По профессии инженер-конструктор. Работал главным редактором теле- и радиокomпании в Луганске. Гл. редактор литературного альманаха и сайта "Свой вариант". Автор 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат международных литературных премий. Руководитель Межрегионального Союза писателей Украины, сопредседатель Конгресса литераторов Украины.

СПОДИК, ВЯЧЕСЛАВ. Поэт, критик, журналист, юрист, доктор философии и права, криминалист. Род. в г. Ташкенте в 1948 г. Окончил юридический факультет Ташкентского Государственного университета. В 1989 г. – юридический советник депутата Владимира Золотухина, а впоследствии и межрегиональной депутатской группы, возглавляемой академиком А.Д. Сахаровым. С 1990 года – Первый Вице-президент Союза Адвокатов СССР от Центральной Азии. С 1992 года доверенный адвокат ряда иностранных посольств в Узбекистане, юри-

дический советник представительства ООН в Средней Азии. С 1993 года – член Президентского Совета при Президенте Узбекистана. В 1996 году выезжает в США, защищает докторскую диссертацию. Опубликовано более ста журналистских статей в Нью-Йорке, Филадельфии, Нью Джерси, Мэриленде, Флориде. Готовится к печати сборник стихотворений.

СТЕЖЕРИНСКИЙ, АЛЕКСАНДР. Поэт. По профессии – инженер-механик. Род. в Киеве в 1954 г. Окончил Курганский машиностроительный институт. Выехал на Запад в 1991 г. Ныне живет в Филадельфии. Автор пяти поэтических сборников.

СТЕПАНОВА, РОЗАЛИЯ. Литературовед, прозаик, журналист. Окончила Московскую Академию Нефти и Газа. Работала инженером-проектировщиком, научным сотрудником НИИ, старшим научным редактором во Всесоюзном издательстве «Химия». В 1996 г. окончила Московский филиал Нью-йоркского Touro College (степень бакалавра искусств). Организовала и вела в Культурном центре Израиля в Москве клуб московской интеллигенции, где читала курс лекций и семинар по иудаизму. Вела раздел иудаики Отделения древних знаний Международной академии древних знаний (почетным членом избрана в 1999 г.). Автор публикаций в журналах «Наука и религия» и «Уrania». В США с 2000 г. Читает в JCC Klein Branch лекции по спектру мировой культуры в её соприкосновении с еврейством, ведёт семинар по глубинам иудаизма в компьютерный век. Публикует статьи в русскоязычной прессе США (Филадельфия, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго). В 2007 г. в Нью-Йорке вышла книга «Горсть накалённых слов».

СТОЛОВИЧ, ЛЕОНИД. Поэт, профессор философии. Род. в Ленинграде. Учился на философском факультете Ленинградского университета. Затем переехал в г. Тарту (Эстония). Преподавал эстетику и философию в Тартуском университете. Автор статьи «Начало дискуссии об эстетическом. Исповедь "общественника"» и книги «Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии» (Таллинн, 2003). Первым литературно поэтическим наставником был поэт *Глеб Сергеевич Семенов*. Публикации в журналах «Радуга», «Таллинн», «Вышгород», «Звезда». Были также изданы «Размышления: Стихи. Афоризмы. Эссе» (2007), «Поэзия русских философов XX века» (сост. М. Сергеев и Л. Столович. Boston, 2011).

СТОРЧ, ЛЕОНИД. Поэт, прозаик. Род. в Санкт-Петербурге. Жил в Нью-Йорке, Майами, Москве. Ныне живет в Бангкоке (Таиланд). Преподаёт русский и китайский языки. По первому образованию – китаист-филолог, по второму – юрист. Стихи и рассказы публиковались в США, Германии, Латвии, России (в т.ч. под псевдонимом Леонид Ланский). В российском издательстве «Геликон-плюс» (Санкт-Петербург) готовится к изданию первый сборник прозы.

СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ, СЕРГЕЙ. Поэт. Род. в 1952 г. в Северном Казахстане. Живёт и работает на Северном Кавказе. Окончил Ставропольский государственный педагогический институт и Всесоюзный государственный институт кинематографии. Гл. редактор поэтического альманаха «45-я параллель». Член Союза российских писателей и Союза журналистов. Сб. стихов: «Дождь в январе», «Азбука Морзе», «Русский рефрен», «Полная невероятность». Печатаются в литературных российских и зарубежных изданиях. Лауреат ряда литературных конкурсов и премий.

СУХАНОВ, ВАЛЕРИЙ. Художник, музыкант, композитор. Род. в Ленинграде. На Западе с 1989 г. Живет в Калифорнии, США. Работы художника находятся в частных коллекциях. Вышел авторский музыкальный диск с записями сочинений.

ТРИАНДАФИЛИДИ, АЛЕКСАНДР. Поэт, переводчик. Род. в 1981 г. в Ростове-на-Дону, где живет по настоящее время. Переводит итальянскую и французскую поэзию. Увлекается античной мифологией и поэзией, пишет стихи в подражание римским и греческим классикам. Выпустил две книги стихотворений: «Души моей сонеты», Таганрог, 2003; «Арабески», Ростов-на-Дону, 2005. В со-

трудничестве с проф. Н.В. Забуровой перевел два стихотворных романа классика средневековой французской литературы Кретьена де Труа: «Ланселот, или Рыцарь Телеги», «Персеваль, или Повесть о Граале».

УЛЕКСА ФОН ЛУ (Лариса Александровна Удинцева). Поэт. Живет в Екатеринбурге. По образованию – физик. Работала в институте геофизики, в компании «Микротест». Публикации: сб. серии "Библиотека современной поэзии", (Рязань): "Посвящение Сергею Есенину", 2009, "Посвящение Анне Ахматовой", 2010, "Посвящение поэтам Серебряного века", 2011, "Времена года. Лето" (2009, 2010), "Времена года. Осень", 2009, "Цветочный букет", 2010. Публикация в сб. "Однословный многорифм", 2010", Казань.

ФЕЛЬДМАН, ЮРИЙ. Род. и жил в Санкт-Петербурге. Окончил 1-ый Ленинградский медицинский институт им. акад. И.П.Павлова. Работал психиатром. С 1994 г. живет в Германии, Штутгарт. Повесть «Не убий!» напечатана в журнале «Нева». Публ. в России, Германии, Израиле, Австрии. Сборник «Записки тюремного психиатра и другие истории».

ФЕТ, ВИКТОР. Поэт, эссеист, доктор наук, биолог. Род. в 1955 г. в Кривом Роге, Украина. Окончил Новосибирский университет. Эмигрировал в США в 1988 г. Ныне живет в Хантингтоне, Западная Вирджиния, где преподает генетику в университете. Сб. стихов и прозы «Под стеклом», 2000, «Многое неясно», 2004, «Отблеск», 2008. Публикуется в периодике США, Германии, России, Болгарии.

ФРЕЙДИН, ВЛАДИМИР. Прозаик. Род. в Москве в 1971 г. Окончил Московский университет электроники и автоматики МИРА и Высшие курсы иностранных языков. Работает в сфере образования. Первая публикация автора.

ЦЕЙТЛИН, ЕВСЕЙ. Литературовед, культуролог, критик, прозаик. Кандидат филологических наук. Род. в 1948 г. в Омске. Окончил факультет журналистики Уральского университета им. Горького. Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры. Автор сб. литературно-критических статей, эссе, монографий, рассказов, повестей о людях искусства. Кн.: «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», «Писатель в провинции», «Голос и эхо», «Вехи памяти» (совм. с Л. Аннинским), «На пути к человеку», «О том, что остается», «Долгое эхо», «Свет не гаснет», «Жить и верить...», «Всеволод Иванов», «Сколько дорог у "Бронепоезда №14-69"», «Так что же завтра?..», «Всегда и сегодня», «Беседы в дороге». Член Союзов писателей РФ, Литвы, член Пен-клуба. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. С 1996 г. живет в Чикаго, США. Редактор чикагского ежемесячника «Шалом».

ЧАЙКОВСКАЯ, ИРИНА. Прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Кандидат педагогических наук. Родилась в Москве. Окончила Педагогический университет. С 1992 г. живет на Западе. Печаталась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Октябрь» (Россия); «Новый журнал», «Чайка», «Побережье» (США). Автор книг «Завтра увижу» (1991), «Карнавал в Италии» (2007), «Любовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008). Живет в Бостоне, США.

ЧИРКОВА, НАТАЛЬЯ. Поэт, переводчик. Род. в Ульяновске. С 1977 г. жила в Москве. Окончила МХТИ им. Д. Менделеева. Работала в кардиологическом центре в качестве научного сотрудника. Покинула Россию в 1992 году. Окончила аспирантуру в Макс-Планк Институте, Бад Наугейм, Германия. Жила в Германии и США. В настоящее время живет в Ирландии. Организовала в Дублине театральную студию, успешно выступившую с чеховскими водевилями. В 2011 году в составе финалистов приняла участие в конкурсе «Пушкин в Британии», финалистка фестиваля «Эмигрантская лира 2011» в Бельгии в номинации переводчиков. Публиковала статьи в российских газетах и журналах («Советская» "Культура" и «Вокруг света»). Публикуется в интернетных изданиях (газета «Интеллигент» и др.).

ШЕЙНИН, ВИТАЛИЙ (ХАИМ) ЮДОВИЧ. По специальности востоковед-филолог-семитолог. Род. в 1938 г. в Ленинграде. В детстве жил в Западной Сибири. Учился в Высшем Военно-морском училище им. Ленинского Комсомола, в Ленинградском университете на факультете классической филологии и Восточном отделении – семитская филология. Работал в Институте Востоковедения АН СССР (Ленинградское отделение). В 1972 г. эмигрировал в Израиль и служил профессором в Хайфском университете. В 1979 переехал в США. Работал в Университете Дропси (Филадельфия), в Пенсильванском Государственном университете, в Гратс Колледж. В 1987 получил степень доктора философии по востоковедению в Университете Пенсильвании. Опубликовал более 150 статей, рецензий и других научных публикаций.

ШАРЫМОВА, НАТАША. Журналист, продюсер, специалист по коммуникации. Род. в Ленинграде. Окончила Театральный институт. Работала фотографом (на этом месте до неё работал Иосиф Бродский). Была редактором самиздатского журнала «37». Выхала на Запад в 1977 году. Год жила в Италии, затем переехала в Нью-Йорк, США. Работала в газете «Новый Американец». Училась в NYU. С 1992 г. проработала 16 лет в России в редакции «Голос Америки». Издатель электронной газеты «Нью-Йорк плюс плюс» (культурные новости).

ШЕРБ, МИХАИЛ. См. стр. 257.

ШРАЕР-ПЕТРОВ, ДАВИД. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родился в Ленинграде в 1936 г. С 1987 г. живет в Бостоне, США. Автор более двадцати книг прозы, поэзии, воспоминаний. Кн. стихов "Холсты", 1967, две книги эссе о поэзии, "Песня о голубом слоне", 1990, "Вилла Боргезе", 1992, "Пропащая душа", 1997, «Питерский дождь», 1999, «Форма любви», 2003. Романы: "В отъезде", 1986, "Друзья и тени", 1989, "Герберт и Нелли", 1993, "Москва Златоглавая", 1994, "Французский коттедж", 1999, «Карп для фаршированной рыбы», 2005 и др.

ЩЕГОЛЕВА, ТАТЬЯНА. Поэт. Род. в Харькове. Пишет стихи с детства. Эмигрировала в Америку в 1988 году. Проживает в Нью-Йорке. Программист. Публикации в журналах "Метро", "Листья", "Гостиная", "Пилули сме-ха", газетах "Форвертс", "Девидсон", "Новый Меридиан" и др. Участвует в поэтических презентациях в Нью-Йорке и Нью Джерси. Публиковалась в поэтических сборниках "Общая тетрадь", "Неразведенные мосты", "Нам не дано предугадать". На ее стихи написан ряд песен. Финалист Лондонского Турнира «Пушкин в Британии» 2011 года.

ЮДИН, БОРИС. Поэт, прозаик. Жил в Латвии. Эмигрировал на Запад в 1996 г. Ныне живет в Нью-Йорке, США. Автор книг: "Убить Ботаника", "Дилетант", "Так говорил Никодимыч", "Город, который сошел с ума", «Шоколадная ржавчина». Публикуется в литературных журналах и сборниках: "Зарубежные записки", "Крещатик", "Побережье", "Встречи", "Слово/Word" и мн. др.

ЮДОВИН, ИСААК. Исследователь литературы, педагог. Род. в 1931 г. в Витебске. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена по специальности психология и педагогика. Работал учителем психологии, логики и истории в школах Ленинградской области и Ленинграда. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по педагогике. Преподавал философию в Ленинградском педиатрическом медицинском институте. С 1990 г. живет в Израиле. Пишет и публикует статьи и очерки в русскоязычных газетах и журналах.

ЯРОВОЙ, СЕРГЕЙ. Поэт. По профессии молекулярный биолог. Род. 1964 г. в Алчевске, Украина. Окончил Донецкий ун-тет. Защитил диссертацию в Институте биоорганической химии РАН. Жил и работал в Москве. Выхал на Запад в 1994 г. Жил во Франции, затем в США. Ныне живет в Филадельфии. Занимается научной работой в Пенсильванском ун-те. Публикуется в зарубежных литературных изданиях.

ПРОЗА

- Марк Азов.** Один, № 13, № 15. Ханна, № 16. Гюрза, № 18.
- Татьяна Аист.** Елена Петровна Блаватская, № 6. Этот человек... (Отрывок из повести), № 10. Всё, или почти всё, о Марии Каллас, № 12, № 15. Черный ноябрь, № 13.
- Василий Аксенов** (1932-2009). Досье моей матери. Храм. Долина, № 8, № 15.
- Аргус** (1900-1970). Из зарубежного литературного наследия. Об авторе. (Предисловие Валентины Синкевич). № 7. Как я учился английскому языку. Как стать американским гражданином, № 7, № 15.
- Александр Алейник.** Жизнь за любовь (Повесть), № 4.
- Павел Амнуэль.** Письма оттуда (часть I). Пришествие (часть II), № 12.
- Евгений Антонов.** Большая река, № 12. Заморозка, № 16.
- Исаак Бабель** (1894-1940). Из отечественного литературного наследия. Вариант предисловия к сборнику одесских рассказов (с правами автора, 1925 г.). Публикация и предисловие Максима Шраера, № 9.
- Михаил Бару.** Подлинная история женитьбы моих родителей, № 13. Новый русский хайбун, № 14.
- Александр Баршай.** Пуанты. Рассказ, № 16.
- Ирина Безладнова.** "Будем живы – не помрем...", № 5. Завтра увидимся... № 8. Ничейная могила, № 9.
- Владимир Бенрат.** Дискбол, № 17.
- Нина Берберова** (1901-1993). Из зарубежного литературного наследия. Аргентина, № 5, № 15.
- Виктор Бердник.** Lost Opportunity, № 17. Один из семи, № 18. Билет в одну сторону, № 19. Легионер, № 20.
- Михаил Беркович.** В кедровом у горной речки, № 17. Веревка, № 18.
- Филипп Берман.** Душа жизни, № 2. Повешенный над кореньями, № 3. Сарра и петушок, № 4. Двор империи (Отрывок из романа), № 5. Эстакада над оврагом (Пьеса), № 5. Седьмая голова Красного Дракона (Отрывок из романа), № 9. Небесно Деревянная Дорога, № 10. Мертвое место, № 11. Две жизни, № 12, № 15. Белые кони, № 13, № 15. Синие крылья на белом мустанге, № 20.
- Елена Блаватская** (1831-1891). Из зарубежного литературного наследия. Резонанс. (Предисловие Татьяны Аист), № 6, № 15.
- Александр Болясный.** Падловна. (Быль советская и немного после), № 16.
- Нина Большакова.** Маленький Чехов, № 17. Жилец Сапронов, № 18. Манхэттен, № 19. Старуха, № 20.
- Саша Бородин.** Смысл сущего. Рассказ, № 17. Уникум. Рассказ, № 18.
- Мигель де Бота.** Параллельные миры, № 11.
- Андрей Валенцов** (в соавторстве с Михаилом Сергеевым). Домино, № 16.
- Таня Варен.** Версаль – Марсель, № 17. Ворон. На пути к *Venus De Milo*. Часть I Глава 1, № 19.
- Хаим Венгер.** Письмо без обратного адреса. Рассказ, № 14.
- Лев Вершинин.** Войти в реку (совместно с Алексом Лурье), № 13.
- Татьяна Вильданова.** Генетика, № 19.
- Надежда Вилько.** Остров Алекса, № 6. Счастливая сумка Оскара, № 7. Ламедовник, № 8.
- Александр Виткин.** Встречи, № 14, № 15.
- Евгений Витковский.** Земля Святого Витта (Отрывок из романа) № 8. Дикая охота (Фрагмент из романа), № 10. Чертовар. Глава из романа, № 11, № 13.
- Вячеслав Войлоков.** Дорогой зимнею, № 5.
- Александр Воловик** (1931-2004). Расскажите о своем народе, № 7.
- Валерий Вотрин.** Лявонов, № 11. Грунт. Повесть-диптих, № 12. Темное море, № 13, № 15. Гримаса сдерживающего смех, № 14.
- Генрих Габай** (1923-2003). От издателя. Военно-полевая вдова, № 6. «Мы американцы», № 7. Бар-мицва, № 10. Кто боится крокодила? № 12, № 15.
- Ксения Гамарник.** Лесные сказки: Кикиморушка. Небы-валый туман. Старая береза, № 9.
- Ян Гамарник.** Шарик, № 7, № 15. Когда мне было двадцать восемь... № 7. Дожди в Скаррифе всё еще идут. Возле дома, № 8. Аллорайдо. Времена. Музыка. Поход, № 10. И дрогнул враг, № 11, № 15. На триста девятой дороге... № 12. Другая сторона, № 13. Всё, что когда-нибудь будет, № 14. Нашёлся. Картины, № 17.
- Марина Гарбер.** Повесть о кофе, № 18.
- Майк Гелприн.** Нейтрал, № 17. История козлов, № 18. На посту, № 20.
- Евгения Гейхман.** История с ландышами. Платье в белый горошек, № 5. Старые часы с боем, № 6, № 15. Взгляд издалека, № 7. Тигрица Мотя. Роман в письмах, № 14.
- Александр Генис.** Овца Долли, № 7, № 15. Атеисты (Глава из книги «Трикотаж»). Черный квартет (Натурфилософия курорта), № 10. Книгиня Гришка. (Русский ресторан за границей). Эссе, № 11, № 15.
- Юрий Герт** (1931-2003). Мой друг – Боря Липкин, миллионер, № 3. Северное сияние, № 4. Шоколадка, № 5. Хочу быть евреем, № 6. А ты плачешь, плачь... № 7. Стрела Махамбета, № 8. "Пусик" и "Мусик", № 9, № 15. Радость, № 11.
- Виктория Гетманова.** У ворот, № 18.
- Сергей Голлербах.** История одного портрета, № 4. Из дневника художника. Скомканные листы газеты. Разное. Серое одеяло, № 5. Записки художника, № 8. Баня, № 10.
- Геннадий Головин.** Приятный сюрприз.
- Ольга Гринвуд.** Сатир. Сказочка. Зарисовки из больницы Сен-Пьер, № 14, № 15. Конец сезона, № 16.
- Андрей Грицман.** Творческий портрет Алтына Могеева (Ироническая проза), № 4. Прозак жизни (История), № 7.
- Александр Грищенко.** Враново Нырище, № 16.
- Инна Давидович.** Любовь к музыке птиц из семейства Ара, № 16. Слова, за которыми ничего нет, № 18.
- Юрий Дашевский.** Лилит, № 7, № 15.
- Валерий Дашкевич.** Лети, петух, лети... Повесть, № 13. Свадьба. Рассказ, № 14, № 15.
- Ольга Дашкевич.** Реки Вавилона, № 18.
- Георгий Демидов** (1915-1988). Из отечественного литературного наследия. Интеллектуал (Признак Коши), № 4: Предисловие Валентины Демидовой. Люди гибнут за металл, № 5. Амок (Повесть), № 10. Без бирки, № 12. Начальник, № 14. Оборванный дуэт, № 16.
- Евгения Димер.** Голубь-диверсант. (Бдительность), № 16.
- Алексей Дмитриев.** На полустанке, № 16.
- Елена Дубровина.** За чертой невозвращения, № 2. Бегство. Остёр, № 3.
- Евгения Жиглевич.** "Есть в осени первоначальной...", № 2, № 15. Семья Жиглевич (повесть, глава 1), № 5, (главы 2-5), № 6. Саваоф на облаке, № 13.
- Моника Згузова.** Я жила в Париже, № 11, № 15. В Нью-Йорке – все иностранцы, № 11. Глоток холодного молока, № 12. Разве жизнь подождет? Повесть, № 13.
- Вера Зубарева.** По снегу. В бесконечности неба. Черная роза, № 1. Старая Сара. Последняя Осень. Лизавета Сергеевна, № 2.
- Андрей Иванов.** Семь лет и пять месяцев с небольшим, № 16. Отец, № 20.
- Игорь Ильинский.** Крыши. Песня, № 8. Летопись (Короткая повесть), № 9. Лабиринт (Короткая повесть), № 10. Встреча, № 11, № 15. Призма, № 13. Наша Родина, как она есть, № 14.
- Сергей Исаев.** Господи, помилуй мя, грешного, № 14.
- Марк Итин.** Девушка с красной книгой (Сюжет-загадка о случае, судьбе и возможных мирах), № 9, № 15.
- Виктор Каган.** Синяя птица, № 14.

Татьяна Калашникова. Улица надежд, № 14, № 15. Добрые люди, № 18.

Израил Калиман. Микита Желавский, № 4.

Роман Камбург. Линия жизни, № 18.

Семён Каминский. Сервиз Гарднера, № 17. Ангелы по пять, № 18. Чья-то прошлая жизнь, № 19. Пицца-герл, № 20.

Людмила Кантор-Хазина. Записки почти старой девы, или отпуск по горячей путевке во времена развитого социализма, № 13.

Катя Капович. Пейзаж после кораблекрушения: бумага, ветер, туш, № 7, № 15.

Дмитрий Карпин. В погоне за зверем, № 20.

Игорь Киселев. Зверь, № 8.

Борис Клетинич. Мое частное бессмертие. Фрагмент из повести, № 14.

Даниэль Клугер. Миньян, № 12.

Николай Козырев. Ностальгия. Быстрая доставка. Семейный бизнес, № 19. Деревенские страсти, № 20.

Нина Косман. Прodelки Мнимой Зины (Отрывок), № 3.

Александр Костюнин. Рукавичка. Рассказ, № 16.

Михаил Кубланов (1914-1998). Дорога на Гегард, № 5, № 15. Обитель Гиппократ, № 6. Частные хроники Великого перелома, № 7.

София Кугель. О Майкле Дж. Никласе, № 14.

Людмила Куликова. Свиделись, № 17.

Игорь Левентан. Прощание с прошлым, № 17.

Виктория ЛеГеза. Крыса необыкновенная, № 13. Одри, № 13, № 15. Тигрица Мотя. Роман в письмах, № 14. Безумный день или женитьба Вени Гольдберга, № 16. Магический квадрат. Наброски пером из эмигрантской жизни, № 17. В сотысячный раз, № 18. Зимние каникулы, № 19. Никто не знал, № 20.

Анатолий Лернер. Прыжок в себя, № 8.

Анатолий Либерман. Америка: взгляд со стороны и изнутри, № 17. То ли было, то ли не было. (Записки ничьего внука), № 19.

Яков Липкович. Отцы – командиры № 3. Брат министра, № 4. Капитан Максимов (Рассказ-быль), № 5. Еврейская родословная (Очерк второй), № 6. Мама (из воспоминаний), № 7. Палата номер 5. Дай потрогать титечки. Настина жалость № 8. Грешники, № 9. Мария Стюарт, № 10, № 15. Подарок. (Быль), № 11. Одиночество (эссе). Знакомый незнакомец (рассказ), № 14.

Елена Литинская. Благое дело. (Записки библиотекаря), № 16. Эд и Джон. Записки библиотекаря, № 17. У озера, № 18. У Голдманов, № 19. Итальянец, № 20.

Андрей Лопатин. Правдолюбец, № 20.

Яков Лотовский. Зимние вечера в старом доме, № 5. Обед во Флоренции, № 6. Ковер: Сцены из мешанской жизни, № 7. Пёс по кличке Гитлер (Радиопьеса), № 8.

Алекс Лурье. «Бутч и Кэсиди», № 11. Черное пятно, № 12, № 15. Войти в реку (совместно с Львом Вершининым), № 13.

Валерий Любанов. Баня, № 14. Теракт, № 16.

Роман Любарский. Рахат-Лукум. Маленькая повесть, № 10. Родниковая вода. Люди в белых халатах, № 20.

Евгений Манин (1931-2005). Танго, № 6, № 15. Дороги судьбы, № 8. Штучки Филадельфийской Фемиды. (Непридуманные сюжеты). Стихотворный процесс. – Забавная история. – Седина в бороду. – Собачий расизм. – Необычайный казус, № 11.

Зоя Мастер. Бемоль, № 17. Рита, № 19. Учитель Музыки (или двое в квартире, не считая кошки), № 20.

Лариса Матрос. "Степью лазурною, цепью жемчужною...", № 4, № 15.

Ирина Машинская. Улыбка. – Оголенный мир. (Америка. Наброски пером), № 11.

Петр Межирицкий. Прояснение (Глава из романа "Тоска по Лондону"), № 3. "Струна натянута была", № 4. Сдвиг по фазе, № 5. Красный лев, № 6.

Игорь Меркулов. Маленькие истории, № 13.

Александр Мигунов. Вниз, к отраженным звездам. Рассказ, № 14.

Евгений Минин. (Записки учителя). Сережа или бей своих. Таль или эффект зеркала, № 16.

Игорь Михалевич-Каплан. Пани Хелена. Двое в лодке. Заем (из повести "Седой снег"). Стена, № 1. Ключи от рая. Китайская тарелка, № 2, № 15. Мура, Заповедь. Пятак на счастье. Разбуженная мелодия. Рецепт Ривы Ильичны, № 3. Сильные птицы готовы к перелету. Альбинос, № 4. Чашка кофе. Трудный день, № 5. Посадить дерево. Письмо, № 7. Садовник. Очердь за счастьем, № 9. Портрет, № 11. E-mail, № 12, № 15. Я помню, я помню, № 13. Кризис, № 14. Счастливый билет, № 16. Русская леди, не говорящая по-английски. Теща, говорящая по-итальянски, № 18. Время любить, № 20.

Тамара Москалёва. Ворожейка. (Из цикла «Урал. Моё заречье»), № 14, № 15. Кукла. (Из серии «Мой старый двор»), № 16. Кишляри-мишляри. (Из цикла «Урал – наш старый двор»), № 17. Придурок. Тына – я, Тына – родина моя. (Рассказ бабуся), № 18. Детка. Рассказ бабуся, № 19.

Роман Михеенков. Двор моего детства. Snowman. Клен ты мой опавший... Ленивец. Уроки плавания для домашних животных, № 20.

Мария Москвина. Рыжий, № 17. Уроки косметики, № 18. Женщина и кошка, № 19. Английский, как второй язык, № 20.

Диана Немировская. Монолог, № 5.

Миша Нержин. Кобра с голубой кровью, № 17.

Майкл Дж. Никлас. Из далекого прошлого. Как я появился на свет. Мое первое прозвище. (Авторизованный перевод с английского), № 14, 15. Случайная встреча, № 16.

Ирина Нисина. Жмеринка-Жмеринка: память детства, № 17. Улановы, № 18.

Наталья Новохацкая. Если я заболела, № 4. Троцкий и Дойчер, № 5. Повинную голову... № 6.

Оксана Онисимова. О любви, № 17.

Юрий Орлов. «Америка...», № 18.

Наталья Павлова. Имущество Украины (Майно Украйны), № 10. Сыр-бор по-итальянски, № 12, № 15. Из варяг в греки ... и обратно, № 13.

Женя Павловская. Культурный шок, № 17.

Рон Палин. Прогулка, № 19.

Александр Паршин. Банкир, № 19.

Владимир Пенчуков. Зачем такая жизнь, № 19.

Вилен Песчанский. Степная Одиссея, № 12.

Евгений Плоткин. Питер – Рига. Ирен, № 17.

Слава Полищук. Вместо автобиографии, № 14. Видимость нас, № 16. Жизнь вещей, № 17. Улица Лепик, 54, № 18. Пепельные волосы твои, Суламифь, № 19.

Марк Поповский (1922-2004). Выступление в Филадельфии на вечере, посвященном 75-летию А. Д. Сахарова, № 6.

Илья Пушкин. Из Японии с любовью, № 16. Японка с зонтиком. (Неожиданная любовь в Париже), № 17. Японка на мосту. Из серии «Японские рассказы», № 19.

Лана Райберг. Грустная сказка, № 5. Исповедь, № 9. Дни и ночи, № 11. Лёлик, № 12, № 15. Три подруги, № 13. Поездка за удачей, № 14. Принцесса тетя Оля, № 16. Старуха. Кисти для художника, № 17. Эксперимент. (Совсем нефантастическая история), № 18. Вредная Ханигман, № 19. Ступеньки. Ангел. Розовый зонтик, № 20.

Марк Расстанный. Итальянец, № 9, № 15. Заливная рыба. Все пути ведут в Рим, № 10. Незнакомка, № 18.

Рудольф Родионов. Шуя – скромный городок, № 8.

Юня Родман. Пианино, № 6, № 15. Через тернии к звездам, № 7. Осенний день, № 8. Березники – Бостон, № 10. «Панорама». (Записи на ходу), № 11.

Юрий Розвадовский. Рыжий, № 9. Ночной блюз, № 9, № 15. Он, № 10.

Татьяна Россиневич. Fadó, № 19.

Лев Рубинштейн. Прощание с Европой, № 3, № 15.

Валентина Румянцева. Звезда в подарок, № 17.

Владимир Савич. Как я снимался в кино, № 16. Пере-страховщик, № 17.

Михаил Садовский. Фейс ап (Лицом вверх), № 10. Демьянова скрипка, № 11, № 15. Одиночество, № 12. Песенка детства, № 13. Последнее слово, № 14. Я закрываю... Героический образ, № 16. Дорога, № 17. Тёзка, №

18. Сестрички. Стук, стук, № 19. Людмила Дорофеевна. Любовь никуда не уходит, № 20.

Кира Сапгир. Курица из Чернолесья. Что у нас сегодня на телеэкранах. "У ней такая каменная грудь...", № 6, № 15. Трехединый бес сочинительства. Белое, красное, черное. Ипподром в Ашхабаде, № 6.

Татьяна Сапрыкина. Десятка, № 18.

Михаил Сергеев. Навозный жук. Пьеса по новелле Франца Кафки «Превращение», № 12. (В соавторстве с Андреем Валенцовым). Домино, № 16. Клим. (Пьеса по повести М. Булгакова «Собачье сердце»), № 17.

Владислав Сикалов. Ангелина, № 13.

Александр Синдаловский. Письма из Индии, № 12, № 15. Не узнали, № 12. Волейбол по воскресеньям. Ваврика, № 13. Юнг. Три предсказания, № 14. Ангел. (Водевил для актера и призрака), № 16. И реальность, № 17. Дом на углу. Мини-повесть, № 18.

Михаил Скомаровский. Пугевые заметки, № 8. Старик, № 9.

Елена Скульская. Хлеб на рюмке. Фрагменты, № 14.

Юрий Солнцев. Путешествие на перроне, № 10, № 15. Приговоры, № 11. Объявление о смерти. Из цикла «Бывшие истории», № 12. Представление, № 13.

Розалия Степанова. «Как это бывает». Отрывки из повести или рассказ Лёльки-большой, у которой есть брат Шура и тёзка Лёлька-малая, № 20.

Леонид Сторч. Еще раз о дарах волхвов, № 18. Тигр на пуговице, № 19. Тигр на пуговице, № 20.

Вацлав Стукас. Из цикла «Города»: «Херсон. Сваи»; «Гнутов. Подкова», № 10.

Марина Стуль. "На любовь мое сердце настрою", № 4. Рассказы из еврейского переуллка, № 5. Непростая история, № 14.

Олег Сулькин. «Ах, Габай, Габай...», Генрих Саулович Габай (6 октября 1923 – 20 ноября 2003), № 12.

Александр Торин. Особенности международной рыбалки, № 10, № 15. Человек с ружьем, № 12. Лепестки граната, № 13.

Владимир Торчилин. Борис Михайлович, № 10. Тень Хоннекера. ("Правдивые рассказы и повести из недавнего прошлого"), № 11, № 15. Лето на Оке, № 11. Марк Аврелий. Март. Звонок, № 12.

Ян Торчинский (1934-2009). «... Идругие», № 13.

Сергей Угренинов. Попутчики, № 18.

Татьяна Успенская. Я – изгой в родной стране (Монолог русского еврея), № 3. Я – собака, № 4; Я – Флоранс (Отрывки из романа "Я вышла замуж в Америку", № 5, № 15).

Геннадий Ушеренко. Предсказание, № 14.

Игорь Файнберг. У гадальщика, № 4.

Нора Файнберг. Елена Прекрасная, № 1. Возвращение Одиссея (Из цикла «Возвращение»), № 2. История изумрудного кольца. О коте Иннокентии и кошке Алисе, № 3.

Юрий Фельдман. Дегустация вина у графа А., № 19. Рыжая, № 20.

Гарри Ферр. Лоухи, № 14.

Борис Филиппов (1905-1991). Из зарубежного литературного наследия. Ночлег, № 5, № 15. Республика муз и граций, № 6. Сумерки, № 6, № 15. Магический кристалл. Запасные пути, № 7. Денек, как все. Снежинки, № 8.

Элиза Фишерман. О маленьких девочках. (Сказка для взрослых), № 16.

Владимир Фрейдин. Оксюморон.

Лев Харитон. Сушая правда, № 17.

Евсей Цейтлин. Сны и тени. Из книги «Шаги спящих», № 19.

Ирина Чайковская. In Chiesa (В церкви), № 10. Казни египетские, № 11. Сквозь облака, № 12. Лючия, № 13, № 15. Кольцо, № 14. Только в мире и есть, № 16. Посланник Богов. Пьеса, № 19.

Ольга Черенцова. Портрет, № 18.

Василий Шарлаинов. Степан и муза, № 18.

Виталий Шейнин. Жизнь в Сибири. (Август 1941 - лето 1945). Отрывок из повести, № 17.

Евгений Шехтер. Про зрение или прозрение, № 8.

Дмитрий Шляпентох. Кана Галилейская, № 4. Паучок, № 5. Сфат, № 9.

Максим Шраер. Старая русалка, № 4. Мурманский порт, № 3. Последняя любовь Соколовича, № 6. Степная страсть, № 7. Изгнание в Рай, № 10. Sonetchka, № 12. Мой Бабель, № 13, № 15. Судный день в Амстердаме. Рассказ, № 14.

Давид Шраер-Петров. Медлительная, как Гудзон, № 4. Осень в Ялте, № 3. Ураган по имени Боб, № 5. Отторжение, № 6. За оградой зоопарка, № 7. Hande Hoch! № 9. Смерть игуаны, № 11. Журналист из «Вечерки». № 13. Кругосветное счастье, № 14, № 15. Трубецкой, Раевский, Маша Малевич и смерть Маяковского, № 17. Обед с вождем, № 18. Особняк над стадионом, № 20.

Борис Юдин. Тени, № 13. Кругосветное счастье, № 14.

Олег Юдинцев. 700 миль, № 16.

Александр Яблонский. Marquis, № 18.

Василий Яновский (1906-1989). Из зарубежного наследия. Акварель, № 4. Из дневника неизвестного, № 5. Мистраль. Жизнь и смерть студента Курлова, № 6, № 15.

ПОЭЗИЯ

Илья Авербах (1935-1986) № 4, 15
Татьяна Аист № 5-7, 9-11, 15, 20
Александр Айзенберг № 13, 15
Ирина Акс № 19
Василий Аксенов (1932-2009) № 8, 15
Андрей Акуличев № 19
Лиана Алавердова № 8, 15, 17-20
Александр Алейник № 3-5, 15
Алексей Алехин № 6, 15
Александр Алон (1953-1985) № 4, 9-10, 15
Виталий Амурский № 18-20
Вадим Андреев (1902-1976) № 17
Виктория Андреева (1942-2002) № 17
Анастасия Андреева № 20
Аргус (1900-1970) № 15
Виталий Аронзон № 18
Леонид Аронзон (1939-1970) № 17
Белла Ахмадулина (1937-2010) № 6, 15

Алёна Бабанская № 20
Павел Бабиш № 4, 10, 15
Рита Бальмина № 13, 15
Надежда Банчик № 14, 15, 19
Полина Барскова № 8-9, 11, 15
Вильям Баткин № 8, 11, 15
Александр Бебешко № 12, 15
Юлия Белоцерковская № 12, № 15
Юрий Бердан № 14, № 15
Михаил Беркович № 12, 14-16
Виктор Берлин № 7, 10, 15
Андрей Бerman № 13, 15
Валерий Бerman № 10, 15
Филипп Бerman № 6, 10, 15, 18-19
Николай Федорович Бернер (1890-1978) № 12, 15
Ина Блинецова № 6, 15, 17
Лоренс Блинов № 14-15
Константин Блюз № 13, 15
Дмитрий Бобышев № 4, 6, 15
Инна Богачинская № 1-10, 12-15
Анатолий Боднич № 10, 12, 15
Владимир Борзов № 17
Павел Бортновский № 3
Валерий Бортяков. (1941-2009) № 18
Ян Брайловский № 12, 15, № 18-19
Михаил Бриф № 5, 7, 11, № 15-16, 20
Иосиф Бродский Иосиф (1940-1996) № 15
Илья Будницкий № 20
Дмитрий Бурого № 16
Леонид Буланов № 5-10, № 14-15
Виктор Бушев № 8, 10-16

Мария Вега (1898-1980) № 13, № 15

Нина Вейс (1898-1993) № 15
Хаим Венгер № 16
Семен Вендров № 2, 15
Лина Вербицкая № 12-13, № 15-16
Лариса Верцнер № 17-18, 20
Илана Вин № 16
Иосиф Витебский № 14-17
Александр Воловик (1931-2004) № 9, 13, 15
Иван Волосюк № 19-20
Наум Воробьев № 12, 15
Николай Воробьев № 20

Александр Габриэль № 14-15
Борис Габриэль № 8, 15
Светлана Газман № 5, 7, 15
Ксения Гамарник № 10, 15
Ян Гамарник № 13, 15
Ефим Гаммер № 12, 17, 19
Галина Гампер № 12, 18
Владимир Гандельсман № 18
Борис Ганкин № 8-16
Инесса Ганкина № 13
Марина Гарбер № 3-20
Вера Гастман № 9, 15
Евгения Гейхман № 2-6, 10, 19, 20
Марина Генчикмахер № 11, 15-17, 19
Светлана Гершина № 10-11, 13, 15
Марина Гершенович № 16, 18
Виктор Гин № 16
Юрий Глина № 16
Максим Глинкин № 12, 15
Алла Гозун № 7, 15
Виктор Голков № 19
Сергей Голлербах № 19
Геннадий Головин № 11-13, 15-16
Борис Гольдберг № 11, 15
Иосиф Гольденберг № 20
Наталья Гольдштейн № 7-8, 15
Наталья Гонохова № 7, 15
Сергей Гора № 20
Георгий Гранин (1913-1934) № 10, 15
Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996) № 16
Олег Григорьев (1943-1992) № 9, 15
Леонид Гриндлингер № 3
Татьяна Гриндлингер № 3-5
Андрей Грицман № 1-13, 15, 17
Ольга Гришина № 14-15, 17-18
Михаил Губин № 20
Герман Гуревич № 19
Феликс Гурт № 12, 15
Ирина Гутман № 4, 15

Инна Давидович № 16
Алексей Даен (1976-2010) № 12, 15
Валерий Дашкевич № 10-11, 13-15
Аркадий Двилянский № 16
Павел Демидов № 18
Регина Дериева № 11-12, 15
Евгения Димер № 17-19
Алексей Дмитриев № 14
Сергей Дмитровский (1961-2006) № 14-15
Владимир Добин (1946-2005) № 9-13, 15
Юлия Добринская № 18
Татьяна Дологополова № 19
Андрей Драгунов № 18-20
Елена Дроздова № 10-12, 15
Евгений Дубнов № 14-16, 19-20
Елена Дубровина № 2-5, 7
Жанна Дудукалова № 1, 15

Игорь Евелев № 16
Иван Елагин (1918-1987) № 15
Иван Еремин № 19
Манук Жажоян (1963-1997) № 6-7, 15
Борис Жегаль № 2
Евгения Жиглевич № 9, 12-13, 15

Нина Завадская (1928-1943) № 15
Александр Закуренько № 1, 15
Олег Замский № 10, 15
Ольга Заславская № 8-9
Владимир Захаров № 12-13, 15-17, 20
Евгения Захарова № 19
Леонид Злобинский № 11
Аркадий Застырец № 14-15
Евгений Зеленюк № 4-5, 15
Фредди Зорин № 13, 15-17
Вера Зубарева № 1-2

Всеволод Иванов (1888-1971) № 15
Юрий Иваск (1907-1986) № 11, № 15
Нина Измайлова № 19
Петр Ильинский № 7, № 8, № 15
Нина Ильнек № 10-15
Елена Иоффе № 15
Валерий Исхаков № 12, 15

Виктор Каган № 9-13, 15, 18
Борис Казанский № 8, 10-12, 15, 19
Александр Казанцев (1952-2007) № 14-15
Аркадий Кайданов № 14-15
Татьяна Калашникова № 12, 14-16
Антонина Калинина № 14-15
Елена Кама № 20
Роман Камбург № 14-15, 18
Михаил Канова № 10-12, 14-15
Михаил Кантор (1884-1970) № 15
Юрий Каплан № 13, 15-17
Катя Капович № 6, № 7, № 15
Татьяна Каунова № 20
Бахыт Кенжеев № 16
Игорь Киселев № 7, № 8, № 15
Борис Клетинич № 12, № 13, № 15
Елена Клинг № 16
Керен Климовски № 16-17
Даниэль Клугер № 11-12, 15
Елена Ключева (1915-1995) № 3, 15
Лариса Кобринская № 9, 15
Василий Ковалев № 16
Юрий Алексеевич Кожевников (1922-1992) № 16
Ирина Козлова № 16-17
Борис Кокотов № 5-6, 15
Марианна Колосова (1903-1964) № 15
Ольга Кольцова № 10-12, 15
Александр Командин № 19
Вера Кондратович № 10, 15
Борис Иванович Коплан (1898-1941) № 12, 15
Нина Королева № 12, 15
Александр Коротко № 6, 15
Нина Косман № 2-4, 15
Александр Крамер № 14-15
Вадим Крейд № 4-10, 15
Михаил Крепс (1940-1994) № 4, 15
Михаил Кубланов (1914-1998) № 7, 15
Сергей Кузнецов № 8
Сергей Кузнечихин № 19
Татьяна Кузовлева № 20
Инна Кулишова № 8-9, 11-13, 15
Серик Кульмешкенов № 11, 15
Юлия Кунина № 8
Илья Кутик № 5, 15
Марина Кучинская № 10-12, 15
Ольга Кучкина № 13, 15
Борис Кушнер № 14-15, 17

Феликс Лазебник № 2-3, 15
Гари Лайт № 3-15, 20
Александр Ланин № 20
Леонид Ланский № 13, 15
Александр Левин № 3, 5, 8-9, 15
Юрий Левин № 13-15
Рина Левинзон № 5, 9-15, 17

Рафаэль Левчин № 4-7, 12, 15, 20
 Ираида Легкая № 9, 15, 20
 Лев Ленчик № 7, 10-12, 15
 Анатолий Лернер № 8, 15
 Анатолий Либерман № 4-20
 Григорий Либинсон (1930-2003) № 12-15
 Илья Липес № 20
 Алина Литинская № 7
 Елена Литинская № 16, 18
 Виктор Лихтер № 10, 15
 Борис Лихтенфельд № 17
 Лев Лосев (1937-2009) № 18
 Улекса Фон Лу № 20
 Валерий Лукин № 14, № 15
 Вера Лурье Вера (1901-1998) № 15
 Семен Лурье № 12, 15
 Марк Луцкий № 16-17
 Семен Луцкий (1891-1977) № 15
 Роман Любарский № 10-13, 15-16, 19-20
 Евгений Любин № 10, 15
 Римма Любомир № 13, 15
 Елена Любомская

Ладя Могиланская № 13
 Михаил Мазель № 9-11, 13-15
 Анатолий Майбурд № 9, 15
 Елена Максина № 13-15
 Ольга Малаховская № 11, 15
 Виктория Малеева № 20
 Олег Малинин № 19
 Наталья Малинина № 19
 Надежда Мальцева № 10-12, 15
 Игорь Мамушев № 4, 15
 Григорий Марговский № 14-15
 Римма Маркова № 20
 Александр Марьянчик № 4-6, 15
 Алла Масловская Алла № 15
 Лариса Матрос № 8-9, 11-15
 Алексей Машевский № 10, 15
 Ирина Машинская № 2-10, 12-13, 15, 18
 Стефан Машкевич № 20
 Иннокентий Медведев № 19
 Александр Межиров (1923-2009) № 18
 Александр Мельник № 20
 Игорь Меркулов № 7-8, 10, 12, 15-16, 18-20
 Владимир Микушевич № 10, 14-15, 19-20
 Лариса Миллер № 10, 15
 Евгений Минин № 12-16
 Александр Минор № 19
 Игорь Михалевич-Каплан № 1-20
 Вадим Молодой № 20
 Василий Молодяков № 11-12, 15
 Дмитрий Моцлан № 19-20
 Мадина Музафарова № 19
 Вано Ильич Мурадели (1908-1970) № 19
 Дмитрий Мурзин № 19

Людмила Нейман № 18
 Людмила Некрасовская № 14-16, 18, 20
 Миша Нержин № 16
 Арсений Несмелов (1889-1945) № 15
 Алексей Никитин № 8, 15
 Владимир Никифоров № 17
 Низль № 14-15
 Светлана Новак № 20

Мария Однолетко. № 20
 Лев Озеров (1914-1996) № 14-15
 Памяти Булата Окуджавы № 6
 Константин Оленин (1881-1939) № 15
 Юрий Олеша (1899-1950) № 8, 15
 Евдокия Ольшанская (1929-2003) № 4, 6, 8, 15
 Борис Орлов № 16
 Артур Офенгейм № 9, 15

Алла Павленко № 20

Валерий Пайков № 14-19
 Николай Васильевич Панченко (1924-2005) № 20
 Александра Паркау (1887-1954) № 10, 15
 Вадим Певзнер № 9, 15
 Валерий Перелешин (1913-1992) № 15
 Татьяна Перцева № 20
 Валерий Петроченков № 1-2, № 15
 Александр Петрушкин № 19
 Сергей Питах № 16
 Андрей Плахов № 2, 15
 Зоя Полевая № 18-20
 Дмитрий Полищук № 13-15
 Князь Польский № 7-8
 Михаил Польский № 13, 15-16
 Олег Поляков № 20
 Юрий Попов № 9-12, 14-16
 Ольга Постникова № 11, 15
 Игорь Привен № 6-7, № 15
 Роза Прилуцкая-Гершберг № 12, 15
 Ян Пробштейн № 11, 13-20
 Эдуард Пронилов № 12, 15
 Алексей Пурин № 10, 15
 Илья Пушкин № 16

Михаил Рабинович № 17
 Евгения Райзер № 11-13, 15
 Алексис Раннит (1914-1985) № 11, 15
 Даниил Ратгауз (1868-1937) № 15
 Ирина Ратушинская № 9, 15
 Виталий Рахман № 1-7, 10-16, 19-20
 Наталья Резник № 20
 Раиса Резник № 18-20
 Евгений Рейн № 5, 15
 Макс Ремпель № 12, 14-15
 Арсений Ровинский № 19
 Ольга Родионова № 10-16
 Лев Рожецкий (1929-2003) № 19
 Юрий Розвадовский № 10
 Михаил Ромм № 14-15
 Евгений Росляков № 19
 Виктор Рубцов № 19
 Ирина Рувинская № 16-17
 Ольга Русакова № 14-15
 Алла Рыженко № 19
 РЭНА № 16

Марина Саввиных № 19
 Петр Савицкий (1895-1968) № 10, 15
 Михаил Садовский № 9, 15-17, 20
 Георгий Садхин, № 7-17, 20
 Олег Саенко № 19
 Александр Сальников № 12, 15
 Инна Санина № 14-20
 Генрих Сапгир (1928-1999) № 7, № 15
 Кира Сапгир № 3, 15
 Николай Сарафаников № 10, 15
 Сергей Сафро № 17
 Игорь Северянин (1887-1941) № 15
 Николай Светлов (1908 - нач. 70-х) № 10, 15
 Аля Свечарник № 10, 15
 Михаил Сергеев № 11, 14-15
 Александр Синдаловский № 12-15, 18
 Валентина Синкевич № 5, 15, 20
 Валерий Скоров (1941-2001) № 10, 15
 Анастасия Слесарева № 19
 Евгений Сливкин № 2-6
 Юрий Солнцев № 10-11, 15
 Олег Соханевич № 2-10, 15
 Борис Сохрин № 14-16
 Владимир Спектор № 20
 Григорий Спектор № 5, 15
 Вячеслав Сподик № 16-18
 Александр Стесин № 6-10, 15
 Странник (кн. Д. А. Шаховской, 1902-1989) № 15
 Григорий Стариковский № 5-8, 17
 Александр Стежеринский № 19-20

Леонид Столович № 20
Леонид Сторч № 18
Дмитрий Стрижов № 1-2, 5-6, 15
Вацлав Стукас № 8-9, 11, 15
Валерий Судакин № 7-9, 15
Ариадна Сумина-Мартин № 6, 15
Сергей Сутулов-Катеринич № 19-20
Валерий Суханов № 20

Людмила Таймасова № 16
Катерина Тараненко № 14-15
Михаил Тарковский № 19
Ирина Тверская № 8, 15
Инна Тегедер № 13, 15
Марина Темкина № 5, 10, 15
Элеонора Тимофеева (1941-2009) № 12, 15, 19
Григорий Тисецкий № 13-15
Алексей Ткаченко № 8, 15
Влад Толмачев № 1-2
Ян Торчинский (1934-2009) № 11-15
Владимир Тугов № 18
Надежда Александровна Тэффи (1872-1952) № 12, 15
Вячеслав Тюрин № 19

Виктор Урин (1924-2004) № 7, № 8, № 10
Нора Файнберг № 3-10
Елена Фатакова № 9-11, 15
Алла Фейгина № 15
Виктор Фет № 11-20
Борис Филиппов (1905-1991) № 2, 15
Анна Фишелева (1923-2001) № 14-15
Михаил Фокс № 11, 14-15
Владимир Френкель № 18
Эрик Фридман № 8, 10, 14-15
Лев Фрухтман № 11, 15
Рудольф Фурман № 8, 15
Владимир Ханин № 3
Лев Харитон № 18
Товий Хархур № 12, 15
Сергей Харцызов № 19
Эдуард Хвиловский № 11-12, 15-16
Алла Ходос № 17-19

Александр Цыганков № 14-15, 17, 19
Феликс Чечик № 12, 19
Александр Леонидович Чижевский (1897-1964) № 12, 15
Михаил Черкасский (1924-2007) № 8-9, 15
Валентин Чернявский № 3
Вилен Черняк № 16-17
Ольга Чесакова № 16
Феликс Чечик № 13-19
Маргарита Чичина № 13, 15-16
Женя Чуприна № 8, 15

Сергей Шабалин-Вит № 2-6, 15
Граф Шампанский № 6-7
Николай Шамсутдинов № 18
Владимир Шаталов (1917-2002) № 6-7, 15
Дмитрий Шаталов № 19
Андрей Шацков № 16
Виталий Шейнин № 19-20
Сергей Шелковый № 14-15
Михаэль Шерб № 20
Дмитрий Шестаков (1896-1937) № 17
Александр Шкляринский № 3, 15
Леонид Школьник № 12, 15
Маша Школьник № 10, 12, 15
Жаннета Шнайдер № 19
Виктор Шнейдер (1971-2001) № 11, 15
Максим Шраер № 1-2, 5-8, 15
Давид Шраер-Петров № 1-2, 5-6, 8-16
Тамилла Шонфелд № 9-10
Мура Шевелева № 15
Татьяна Щеголева № 20

Дмитрий Элентух № 5

Алла Эрнст (1923-?) № 10, 15
Борис Юдин № 12, 14-16, 18-20
Сергей Яровой № 11-13, 15-16, 20
Алина Якубова № 12-15
Никита Янев № 16

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЭСТЕТИКА, ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА, КРИТИКА, ЭССЕ, ЗАРИСОВКИ, ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Людмила Агрэ
Глеб Сергеевич Семенов. № 6.
Светлана Азволинская
Литературная Филадельфия. № 13.
Русский след в музыкальной истории Филадельфии. № 14.
Татьяна Аист
Из зарубежного литературного наследия. Елена Петровна Блаватская: [Предисловие к рассказу «Резонанс»]. № 6.
Иосиф Бродский – переводчик с китайского: [Неизвестный И. Бродский]. № 9.
Чему учил Вималакирти. Перевод с санскрита. № 13.
Из дневника писателя. [Встреча с Аленом Гинсбургом]. № 16.
Стихи-двустишия В. Суханова. « 20
Лиана Алавердова
Биография Хал Сировитц. № 16.
Светлая моя Муза... О новом сборнике стихов Марины Гарбер «Между тобой и морем». № 18.
Биографии к переводам с англ.: М.Пиерси, Р.Зихлински, М.Донелли, Х.Чарный, Д.Кёрчхаймер. № 18.
Эмигрантская лира Михаила Брифа. № 20.
Тамара Александрова
Несколько слов о Давиде Финко: О творчестве композитора Д. Финко. № 3.
Лов рыбы с бакланами в Японии. Эссе. № 10.
Моя планета. [Мой жизненный путь]. № 13.
Поэт Игорь Николаевич Григорьев (1923-1996). № 16.
Виталий Амурский
Мучительное право – любить... Об «Антологии еврейско-русской литературы». Рассказывает М. Д. Шраер. № 16.
Упущенный Пригов. Воспоминания и размышления. № 19.
Ударник снов... О Владимире Уфлянде. № 20.
Ольга Анстей (1912-1985)
Из зарубежного литературного наследия. Письма к Э. Штейну. (сост. подборки И. Михалевич-Каплан). № 10.
Элеонора Анцис
Грезы у "Слады". (Мир изящества Алисы Флом). № 16.
Виталий Аронзон
«...мне выпала такая честь быть среди вас...». О поэте Леониде Аронзоне (1939-1970). Предисловие и публикация. № 17.
Валентин Асмус (1894-1975).
Из отечественного наследия. О великом пленении русской культуры. (Публикация Ирины Панченко). № 11.
Алла Астахова
Роман В. И. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» как образец карнавализованной литературы. № 18.
Елена Баевская
Из отечественного литературного наследия. Из наследия Э. Л. Линецкой: По страницам старого блокнота: Предисловие и публикация. № 8.
От переводчика: Предисловие к переводам Стефана Меларме. № 8.
Надежда Банчик
Энциклопедия русской послереволюционной жизни: Размышления над книгой Ю.В.Готье «Мои заметки». № 8.
Лев Толстой как слеза несбывшихся надежд. № 14.
Мэрл Баркер
Биянкурские праздники: О творчестве Н. Берберовой. Перевод с английского А. Либермана. № 5.
Александр Баршай

Поэзия как бытие. (Штрихи к портрету Р. Левинзон). № 16.

Сын Киргизии, гражданин Земли. (Памяти писателя Чингиза Айтматова). № 17.

Вита Барштейн

Заметка о Маше Калеко и ее книге, переведённой с немецкого языка Мариной Гершенович. № 16.

Майя Басс

Буква за буквой, строчка за строчкой. (О поэтессе Рахель Кольберг-Гальпериной). № 16.

Всем ветрам назло. (Эссе о Зиновии Каневском). № 16.

Вильям Баткин

«В пространстве между злом и раем...»: О поэзии Рины Левинзон. № 8.

Поэзия иврита. О русских переводах с иврита Рины Левинзон и Александра Воловика. № 11.

«О, Господи, не отвернись от нас!». (О поэзии Владимира Добина). № 12.

Осененный осенью поэт. Памяти патриарха русской поэзии Израила – Савелия Гринберга. № 14.

«Я кричу невыкричанным криком». О поэзии Анны Фишелевой. № 14.

Эфраим Баух

Евреи и немцы. Казус Ницше. № 16.

Нина Берберова (1901-1993)

Из зарубежного литературного наследия. Письма к Э. Штейну. (Сост. подборки И. Михалевич-Каплан). № 10.

Лев Бердников

Камергер ее Величества. К истории щегольства в России первой четверти XVIII в. № 13.

Вертопрах, любовью исправленный. № 14.

«Представь мне щеголя». № 14.

Первый русскоязычный писатель. (О Льве Николаевиче Неваховиче, 1776-1831). № 16.

Прodelки шута Копиева. (Об Алексее Даниловиче Копиеве, 1767-1848). № 16.

Сеятель. (Семен Фруг: логика творчества). № 18.

Наказанная добродетель. Правительница российская Анна Леопольдовна. № 19.

Еврейская конница Потёмкина-Таврического. № 20.

Фрэнк Бидарт

О стихах Луизы Глик. № 12.

Александр Бобырь

Из зарубежного литературного наследия. О Петре Николаевиче Савицком (1895-1968). № 10.

Дмитрий Бобышев

Понять Довлатова трудно. № 5.

Птица без стаи. № 6.

Певчее дело: [О поэзии Натальи Горбаневской]. № 7.

На распутьи между языками: О книге стихотворений А. Стесина. № 8.

Инна Богачинская

"Ума холодных наблюдений". № 3.

Заметки озадаченного обозревателя, использовавшего в качестве завязки собственное поэтическое сложение: «Как вам видится мир?»; «Как вам видится мысль?»; «Как вам видится жизнь?». № 7.

Слово о непереводаемости: Исповедь переводчика. № 8.

А вы? № 9.

Это было. Было в Нью-Йорке... (Полумистические заметки о 2-пространственном состоянии души, перерезанной 11-м сентября.). № 11.

Иосиф Богуславский

«...Содействуя просвещению Америки». (К истории первой библиотеки на русской Аляске.) № 19.

Анатолий Боднич

Страна абсурда: Интервью с Владимиром Уфляндом. № 11.

Александр Болясный

Встрепенувшаяся боль. (Поэтическая антология «Пропуск в зону Чернобыля», Киев. Составитель Ю. Каплан). № 16.

Вилен Бялый

Книги миниатюрные. № 9.

Ты в сердце моём, Петербург! 300-летие Санкт-Петербурга. № 12.

Таня Варен

О поэзии Сергея Шелкового. Сергей Шелковый. № 14.

Танго, пропетое жизнью и строкой Борхеса. № 20.

Глеб Казимирович Васильев

Вместо послесловия к воспоминаниям Наума Коржавина о московском литературном объединении 40-х годов «Молодая Гвардия». Зарисовка из прошлого. № 14.

Росс Ветзстеон

Набоков как учитель: К 100-летию со дня рождения В. В. Набокова. Перевод с англ. Григория Стариковского. № 8.

Евгений Витковский

Рина Левинзон. Пер. с иврита. Пред. Е. Витковского. № 8.

Ре-минорный хорей: [О поэзии Леонида Латынина]. № 9.

Строки из запасника судьбы: [О Альфреде Гонге] № 10.

Альфред Гонг. (Пер. с нем.) № 10.

Кристофер Сمارт. (Пер. с англ.) № 10.

«После ухода». Неизданные переводы Валерия Перелешина с испанского и португальского языков. От публикатора. Евгений Витковский. № 11.

Стихи с Берега Смерти. Предисловие к переводам Д. Й. Оппермана (1914-1985). № 11.

От переводчика. Евгений Витковский о переводе Петра Мюллер. № 12.

Евгений Фельдман. Сэр Артур Конан Дойл в непривычной роли. Пер. с англ. Послесловие Е. Витковского. № 13.

Ольга Кольцова. Оскар Уайльд. Равенна. Перевод с английского. Примечания Евгения Витковского. № 13.

Александр Воловик (1931-2004).

От переводчика. Переводы с немецкого Э. Ласкер-Шюлер, Н. Закс, Г. Кольмар. № 9.

Биография Ханы Сенеш. Переводы с иврита. № 19.

Иван Волосюк

Гоголь в XXI-ом столетии. № 20.

Ксения Гамарник

Контексты современного американского театра. № 8.

Короткое сообщение о книге В. Л. Скуратовского «Проблема авторства 'Протоколов сионских мудрецов'». № 10.

Владислав Клех: Жизнь, отданная театру: (Из истории культурных ценностей эмиграции). № 11.

Ксения Гамарник, Ирина Панченко. Сценические метафоры притчи грузинского поэта Важи Пшавелы. № 12.

Эрос и танатос в романтических повестях трех русских писателей. № 12.

Меценаты Пенсильвании. Документальный экскурс в историю добрых дел. № 13.

Русское искусство в Америке. № 14.

Филадельфийский детектив. № 16.

Ксения Гамарник, Ирина Панченко. Теплые краски умиротворения. № 16.

Переписка Татьяны Сергеевны Есениной (1918-1992, дочь поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх). Автор вступительной статьи Ксения Гамарник. № 17.

Неподражаемая дива (Об оперной певице Флоренс Фостер Дженкинс). № 17.

Что случилось с Ириной Рейн. № 18.

Любимые игры Америки. № 19.

Американские игры. № 20.

Вероника Гашурова

Письмо: На смерть Влад. Шаталова (1917-2002). № 11.

Марина Гарбер

Невысказанное. № 4.

Поздняя осень в Дженкинстауне. № 8.

Поэтический "Двойник" Андрея Грицмана. № 11.

Встречи Валентины Синкевич. № 11.

Непрерванный полет или две жизни В. Шнейдера. № 11.

В поисках непрерывного времени. (Петр Ильинский. «Резьба по камню»). № 12.

Сказки для взрослых. Л. Райберг. «Картонная луна». № 12.

Жизнь в двух измерениях. (Юня Родман. «Москва – Бостон»). № 12.

Рецензия на поэтический сб. Эдуарда Прониловера «Избранное». № 13.

Рецензия на поэтический сб. Маргариты Кучуковой «Кошка». № 13.
 Вирджиния Вульф. Ненаписанный роман. (Пер. с англ.). Комментарий переводчика. № 13.
 О читателях поэзии. № 14.
 «Киев. Русская поэзия. XX век» (ред. Ю. Каплан). № 14.
 Ирина Машинская, «Путнику снится». № 14.
 Михаил Бриф, «Галера». № 14.
 Юлия Кунина, «Ночные шуточки пространства». № 14.
 Виктор Фет, «Многое неясно». № 14.
 В защиту «поэтессы» и прочих мелочей. № 16.
 «Арена-2». (Рецензия на антологию, составитель ЛеГеза). № 16.
 «Зимние формы огня»: О поэзии Ины Близнецовой. («Вид на небо» 1991; «Soleá» 1998; «Стих и свеча» 2006). № 17.
 «На канале» Елены Литинской. № 17.
 О гомофобии. № 17.
 Пятое чувство Вадима Андреева (1902-1976). № 17.
 Люксембургская ночь. № 18.
 «И да минет нас тоска и злоба...». (О поэзии Яна Торчинского). № 18.
 Ключ к новой книге. Ирина Чайковская: «Какие нынче времена»: Статьи, эссе, интервью. № 19.
 Чужая жизнь. Эссе. № 19.
 Михаил Садовский. Шкаф, полный времени. № 20.
 Тень маятника и другие тени. (О новой книге Виталия Амурского). № 20.
Евгения Гейхман
 Вспоминая Руфь Зернову. № 14.
Наталья Гельфанд
 Филадельфийская находка: Анна Ахматова – Жак Липшиц – Амедео Модильяни: [Ч. I, Ч. II, интервью с И. Михалевичем-Капланом, Ю. Крупой, В. Рахманом.]. № 5.
 От редакции: К выходу 5-го тома "Евреи в культуре Русского Зарубежья". № 6.
 Учёный и библиограф. Рецензия на «Биобиблиографический указатель» В. Скуратовского. № 14.
 Памяти друга. Поэт Юрий Алексеевич Кожевников, 1922-1992. № 16.
 Наталья Гельфанд. Игорь Михалевич-Каплан. Мешки облаков по плечу. (О новой книге Ю. Садхина). № 18.
 «Космические» переводы. Американские астронавты для журнала «Побережье». № 19.
Александр Генис
 Миф о Довлатове. – Первый юбилей: [Речь на юбилейном вечере С. Довлатова в Петербурге в 1991 г.]. № 4.
 Хоровод: Черновик романа. № 5.
 Искусство настоящего времени: Глава из книги "Вавилонская башня". № 6.
Йегер Генрик
Из зарубежного литературного наследия. Жизнь на отшибе: Поэзия и творчество Марии Волковой (1902-1983). № 10.
Елена Герович
 Американский писатель Филипп Рот. № 16.
 Айрис Мердок (Iris Murdoch, 1919-1999). Эссе. № 17.
Марина Гершенович
 «Ничейные стихи». № 16.
Сергей Голлербах
 Голые и нагие на рубеже столетий. № 6.
 Рыбы. Эссе. № 12.
Леонид Гомберг
 Свидетель ушедшего века. (Лидия Борисовна Либединская). № 16.
Андрей Грицман
 Иерусалимский синдром: Вид из Нью-Йорка. № 10.
 О еде и любви, XXI век, Нью-Йорк. № 11.
 Размышления у парадного подъезда. Биеннале поэтов в Москве. № 13.
 Глухая пора интифад, Иерусалим. № 13.
Оскар Грузенберг
Из зарубежного литературного наследия. Моя памятка о В. Д. Набокове: К 100-летию со дня рождения В. В. Набокова. № 8.
Герман Гуревич

Апология дилетанта. (Эссе). № 18.
Валентина Демидова
Из отечественного литературного наследия. Несколько слов о Георгии Демидове: [Предисловие к публикации рассказа «Интеллектуал» (Признак Коши)]. № 4.
Евгения Димер
 Из литературного Зарубежного наследия. Мой друг – поэт Борис Нарциссов. Борис Нарциссов: Мое представление о поэзии и о задаче поэта. Письма Бориса Нарциссова к Евгении Димер. № 12.
Кэтлин Дрискелл
 О стихах Фредерика Смока. № 12.
Елена Дубровина
 Поэтический ежегодник "Встречи". № 5.
 "Республика солнца": [Рецензия на антологию «Вернуться в Россию стихами»]. № 5.
 Мать Мария. – Юрий Мандельштам: О поэтах первой эмиграции, погибших в немецких концлагерях. № 6.
 Из истории некоторых портретов кисти Антония Ван Дейка. № 6.
Жанна Дудукалова
 Недостающие страницы и накаленные страсти. (О книге Р. Степановой). № 16.
Сергей Довлатов
Из зарубежного литературного наследия. Письма Сергея Довлатова к Людмиле Штерн: [Публикация Л. Штерн]. № 4.
Евгений Евтушенко
 Из Антологии русской поэзии (составитель Е. Евтушенко). Памяти Александра Межирова (1923-2009). № 18.
Генрик Егер
 «Дело мое – душа...» (Гоголь и «Мертвые души»). № 11.
Белла Езерская
 Идолопоклонники. № 4.
 Театральная жизнь русской эмиграции. № 6.
 Онегин и Печорин – герои нашего времени: К 200-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. № 7.
 Я уже заложил свой камень: «Под знаком Окуджавы». № 7.
 След человеческого: [О коллекции музея «The Barnes Foundation»]. № 9.
 Соответствовать: Интервью с Борисом Эйфманом. № 9.
 Игра стоит свеч: К 125-летию Джека Лондона. № 10.
 Комментарий к комментарию: Литературный поиск: Надежда – значит надежда. № 11.
 Виктор не всегда значит «победитель». № 11.
 Наш человек в Вашингтоне или берегитесь барракуды. № 11.
 Метеор. К 50-й годовщине со дня рождения Александра Алона. № 13.
 «Сиреневая маска». Послесловие к выставке Люси Котляр. № 13.
 Интервью в стиле ретро. Юрий Бердан раскрывает секреты писательского мастерства. № 13.
 Они никогда ничего не прощают. (Светлой памяти Мстислава Ростроповича). № 16.
 Феликсу Кривину – 80. № 17.
 Памяти друга. Ностальгические заметки. № 17.
 К 60-й годовщине смерти Д.С. Мережковского. Гений. № 19.
 Американский одессит в Америке. (Гастроли одесского симфонического оркестра). № 19.
 К публикации поэмы Льва Рожецкого (1929-2003) «Бабель». № 19.
 Знакомый-незнакомый Довлатов. № 20.
 Нью-йоркская месса или штрихи к портрету Н. Качанова. № 20.
 Записки о России. Заметки на полях книги Маркиза де Кюстина. № 20.
Иван Елагин (1918-1987)
 Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.
 Предисловия к биографиям поэтов: Эдна Сент-Винсент Миллей (1892-1950), Эдуард Филд (1924-), Арчибалд

Мас-Лиш (1892-1982). Эдвард Эстлин Каммингс (1894-1962). (Пер. с англ.). № 13.

Татьяна Сергеевна Есенина (1918-1992, дочь поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх).

Переписка с Анатолием Ивановичем Рыбакиным.

Манук Жажоян

Из зарубежного литературного наследия. [Публикации Анны Пустынцевой]. Исповедь. № 7.

Традиции лирической прозы в западноармянской литературе: Фрагменты. № 7.

Мифологемы Ролана Барта. № 9.

Случай Орфея. № 9.

Сорок тысяч братьев. № 10.

Евгения Жиглевич

В защиту перевода. № 2.

Американские короткие рассказы: [Предисловие к переводу Конрада Эйкена]. № 2.

Русь – Расея – Россия. Две силы. № 3.

Глазами собаки: Американский писатель и художник Джеймс Тёрбер (1894-1961). № 3.

Три Александра: [Пушкин – Блок – Солженицын]. – Купель жизни: [О В. Розанове]. № 4.

Мы и "мы": [О Е. Замятине]. № 5.

Необыденность обыденности: О Торнтоне Уайлдере. № 5.

Из-под спуд: от 1998 года к 1974-ому: Письмо из Америки: Интервью Александра Солженицына, данное Уолтеру Кронкайту. № 7.

О слове звучащем, об общении уходящем. № 7.

«Две беспредельности были во мне...»: [О Марии Шкапской]. № 8.

На путях эмигрантских: Безмолвные встречи со Степуном. № 9.

$1 + 1 = 1$: Надпись на стене у юрдового Доменико, носителя идеи фильма «Ностальгия». № 10.

"Слышишь ли тишину, Майя?" /Ибсен/: – Нет, не слышу – /или: Почему у любимовской постановки "выпученные глаза"?/. № 10.

Из Зарубежного культурного наследия. Поклон уходящему. № 11.

Памяти артиста: Алексей Николаевич Черкасский (1904-1980). № 11.

Влад. Ив. Бастунов, русский актер (1894-1986). № 11.

Музыка и картина – их встречи и распутия. (Опера-фильм «Дон Джованни»). № 12.

Евгения Жиглевич. Смерть в Вене. К кончине англо-американского поэта Уистона Одена в 1973 г. № 14.

Вячеслав Завалишин

Из зарубежного литературного наследия. Творчество Сергея Есенина. № 7.

Ирма Золотовицкая

Владимир Зак о Шостаковиче. № 18.

Михаил Золотоносов

Умение молчать: [О творчестве Е. Сливкина]. № 3.

Вера Зубарева

"Этот хрупкий мир вещей": Художественная фотография Эмиля Анциса. № 2.

Юлий Зыслин

Свет издалека: [Рецензия на книгу Е. Ольшанской]. № 9.

Всеволод Иванов

Из зарубежного литературного наследия. О судьбах еврейства: [Публикация и предисловие Э. Штейна]. № 8.

Анатолий Иванов

«Ой, как ты мне нравишься!». (Поэзия Тэффи). № 12.

Юрий Иваск (1907-1986)

Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.

Петр Ильинский

Ларчик открывается. № 14.

Елена Иоффе

"И склад, и лад, и колдованье это": О поэзии Рины Левинзон. № 4.

О стихах Виктора Берлина. № 6.

"Не стало Иосифа Бродского..." № 6.

Об одном стихотворении. Памяти Николая Моршена. № 13.

Виктор Каган

Метафизика одиночества. № 11.

Еврейские сыны России. Книга Льва Бердникова: Евреи в ливреях: литературные портреты. № 18.

Валерия Каждан

«Берег утопии» - трилогия Тома Стоппарда. № 16.

Воскресенье в Парке с Джорджем. № 19.

Сон в летнюю ночь. Lantern Theater Company. Филадельфия. № 19.

"Превосходные Пончики" в театре Арден. № 19.

Марина Кацева

К 110-летию со дня рождения Марины Цветаевой: К истории одной встречи. № 11.

«Звезда упала в январе» К девятой годовщине смерти И. Бродского. № 13.

«Уроки Бродского». Интервью с Виталием Коротичем. № 13.

«Все еще свыкаются со смертью Бродского». Интервью с Павлом Грушко. № 13.

«Ужасно будет, если он умрет не оправданный...». (М. Цветаева. Из письма Сталину). Текст черновика письма М.И. Цветаевой Сталину. № 14.

"Опять подошли незабвенные даты..."". Анна Ахматова и Марина Цветаева. № 14.

Невероятный Булгаков. К 115-ой годовщине со дня рождения. № 14.

«Даль свободного романа...». (Джон Кранко и его балет «Онегин»). № 16.

«Поверх явной и сплошной разлуки...». (М. Цветаева и И. Бродский). № 17.

«...Не только музыка...». (Памяти Владимира Зака). № 18.

Арон Каценелинбойген. Борис Коллендер.

Можно ли измерить красоту? № 5.

Ирина Квитко

К 100-летию со дня смерти А. П. Чехова. Голоса забытых предков. Рассказывает М.С. Волошина. № 13.

Игорь Киселев

Безделки в литературе первой половины XIX века. № 7.

Бумажные обои в контексте русской культуры. № 8.

Родниковый дом в усадьбе «The Grang», штат Пенсильвания. № 10.

Билли Коллинз

О стихах Имона Греннана. № 12.

Наум Коржавин

Упоение у бездны. (Москва сорок четвертого, «Молодая гвардия»). № 14.

Нина Король, Ирина Панченко

Взыскующий правды. К 80-летию со дня рождения писателя В. Быкова. № 13.

Нина Косман

Иерархия жертвенности в трагедии Цветаевой "Ариадна". № 3.

Владимир Крастошевский

Музыка, свет неближний... (О Сарре Евсеевне Белкиной). № 17.

Вадим Крейд

Заметки о стихах Роальда Мандельштама. № 5.

Двадцать пять биографий: Из неопубликованной книги «Словарь поэтов русского зарубежья». № 8.

Поздравление Вадиму Крейду от журналов «Встречи», «Побережье». Короткая биография. № 10.

Лиля Кригер

Однажды весною. Романы М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и Я. Э. Голосовкера «Соженный роман». № 16.

Елена Крон

Мастер поэтической миниатюры. О творчестве Александра Стежеринского. № 20.

Григорий Кружков

Уоллес Стивенс: Маленькая дверь в стене. № 8.

Юрий Крупа

Фотохудожник Александр Деревницкий. № 16.
 О художнике Сергее Голлербахе. № 17.
 Ностальгический романтизм в живописи Владимира Шаталова. № 19.
 Художник Виктор Лазухин. № 20.
Михаил Кубланов
 Евреи – кто это?: [Рецензия на 1-4 тома "Евреи в культуре Русского Зарубежья"]. № 6.
София Кугель
 «Стихи, что лава...». О поэзии Льва Озерова. № 14.
Наталья Курчан
 Мастер пения – Егор Данилович Резников. № 13.
Гари Лайт
 "Что было жизнью минувшей твоей – стихосражение": К десятилетию со дня гибели поэта Александра Алона. № 4.
 Предисловие к публикации о Валерии Скорове (1941-2001). № 10.
Михаил Левин
 К 100-летию юбилея со дня рождения писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982) и 25-летию выхода в свет «Колымских рассказов». Варлам Шаламов. (Воспоминания лечащего врача). № 16.
 Лидия Корнеевна Чуковская. Воспоминание лечащего врача. № 20.
Рина Левинзон
 20 световых лет служения поэзии: [Об альманахе «Встречи»]. № 6.
 Предисловие к переводам с иврита Шин. Шалома. № 7.
 Писать на иврите в царстве ГУЛАГа: Цви Прейгерзон – плач по еврейскому народу. – Моше Шамир. (Пер. с иврита) № 10.
 Дорогой Яков Моисеевич. (Об Андрее Седых). № 12.
Марина Ледковская
 Статья о Ираиде Легкой- к 80-летию. (Перевод с англ. Нелли Кармазиной).
Марк Лейкин
 Новеллы памяти. К трехлетию кончины Фридриха Горенштейна. № 14.
 Памяти соученика. (К пятилетию кончины Фридриха Горенштейна). № 16.
Руфина Лейтес
 Вдохновенный художник. О творчестве композитора Давида Финко. № 12.
Александра Ленау
 "Французский коттедж": У книжной полки: [О новом романе Д. Шраера-Петрова]. № 9.
Анатолий Либерман
 Жаргонавты. № 6.
 Мировая культура как гайнопись: Полемика. № 6.
 Мышка на ковре: Ответ Дмитрию Бобышеву. № 7.
 Предисловие к переводам с немецкого Альфреда Бренделя. № 7.
 Не достаточно ли? № 7
 Хочется убить, а нельзя. № 10.
 «В пустыне чахлой и скупой...»: Юрий Дружников под градом послушливых стрел. № 10.
 Несостоявшиеся морские бои: Ч. П. Сноу (C. P. Snow). № 11.
 Иосиф Бродский. № 11.
 Поседевшие негры. (Из цикла «Дикари»). № 11.
 Вместе или врозь. (Семен Резник. Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И. Солженицына. № 12.
 Любить и быть любимым. Эссе. № 12.
 Владимир Батшев. Власов: Опыт литературного исследования. № 13.
 Я.С. Лурье. История одной жизни. № 13.
 Давид Гонсалес Гальего. Белое на черном. № 13.
 Мифологическое. № 13.
 Курочка ряба. № 14.
 Владимир Батшев: Власов: Опыт литературного исследования. Т 4, чч. 13-16. № 14.
 Риталий Заславский. Избранные сочинения в 6-ти томах. № 14.

«Город наш», или сон Городничего. № 16.
 Георгий Демидов. Чудная планета: рассказы. № 18.
 Новые переводы сонетов Вильяма Шекспира (1564 - 1616). От переводчика № 18.
 Голландские высоты. Эссе. № 19.
 Георгий Демидов. Оранжевый абажур: три повести о тридцать седьмом. № 19.
Литературный обзор: Елена Тамахина-Плотто. Когда в душе отражается Рильке. № 20.
 Игорь Кон – 80 лет одиночества. № 20.
 Русские евреи в Америке, кн. 5 (сост. Э. Зальцберг). № 20.
 Евсей Цейтлин. Голос и эхо (литовская тетрадь). № 20.
 Поэзия русских философов XX века: антология. (Сост.: М. Сергеев, Л. Столович). № 20.
 Георгий Демидов. Любовь за колючей проволокой: повести и рассказы. № 20.
 Соль на хвосте. № 20.
 Антонис де Ровере (1430-1482). Любовные строфы. (Ладонь на сердце.). Пер. с среднеголландского. № 20
Я. Либерман
 «Плачем этим живи, переплавь его в песнь...», биографический очерк об Ури Цви Гринберге (в сокращении). Перевод с иврита Михаила Польского. № 16.
Яков Липкович
 Моя библиотека. Эссе. № 12.
Елена Литинская
 «Забугорные сказки» Нины Большаковой. № 20.
Лев Лосев
 Памяти Сюзан Зонтаг. № 16.
Роман Любарский
 Дыхание эха: [Рецензия на альманах «Встречи», № 23]. № 9.
 «Где на рогах волы качали степное солнце чумака...»: Украина в жизни и творчестве Арсения Тарковского. № 10.
 Толкования «По книге ночи»: Подтекст, семантические связи, явная и скрытая символика в стихотворении А. А. Тарковского "Телец, Орион, Большой Пес". № 11.
 Русский язык в Израиле. (Исторический, культурологический и филологический аспекты.). № 12.
 Три источника и три составляющие мистицизма. № 17.
 Следы драмы или Photoshop'a? (Цифровые грезь: подлог ценностей). № 17.
 «И всё равно какой прогноз мне будет свыше»? (Новая книга Валерия Сиднина). № 17.
Виктория Малеева
 Город Львов овеян легендами. № 20.
Евгений Манин
 Трагедия Шейлока. № 5.
 Другой взгляд на историю: [О Леонардовой «Джоконде»]. № 5.
Симон Маркиш
 Отец [о поэте Переце Маркише]: Перевод с украинского и подготовка к печати Ирины Панченко. № 10.
Анна Мартинсон
 Немного об отце: К 100-летию со дня рождения актера С. А. Мартинсона. № 8.
 Воспоминания о факире. (Эссе о Сергее Параджанове). № 12.
Лариса Матрос
 Пространство и время: Размышления над книгой Ю. Дружникова «Я родился в очереди». № 6.
 Моменты истины в панораме судеб: [Об альманахе «Панорама»]. № 7.
 Когда свободой горят, когда сердца для чести живы: [Об истории «Нового журнала»]. № 8.
 Я и дитя. Эссе. № 10.
 О человеке, который хотел как лучше... (Заметки о кн. А. Грачева о первом и последнем Президенте СССР). № 11.
 Всегда «Новый»... (Обзор «Нового журнала»). № 12.
 А у Толстого «Срабатывает»... Заметки по поводу очерка Г. Яблонского «Сон ясновидящего и смерть Анны» («Новый журнал», № 220). № 12.

Человек, это звучит горько... № 14.
 Владимир Высоцкий – поэт и философ. Он был чистого слога слуга. (К семидесятилетию со Дня рождения). № 17.
 Памяти пушкиниста Марка Митника. № 20.
Ирина Машинская
 Предисловие к переводам из книги Крейга Чури «Параллельное течение». № 5.
 О читателе стихов. № 6.
 Иосиф Бродский как сочинитель стихотворений. № 6.
 Манук Жажоян (1963-1997). № 7.
 Доска и стулья на улице Дюрантон: О сборнике стихов Манук Жажоян [1963-1997]. № 7.
 Манук. № 7.
 Хэппи-энд: [Рецензия на книгу стихотворений М. Шраера «Ньюхейвенские сонеты»]. № 9.
 Мои затишья: О творчестве Зинаиды Миркиной. № 11.
 Два эссе: Художник в начале века. – О скромности. № 11.
 Евгений Соломонович Винников. № 11.
 «Соревнования короста в нас не осилила родства». (Вероника Лосская. «Песни женщин». Анна Ахматова и Марина Цветаева в зеркале русской поэзии XX в.). № 12.
Владимир Микушевич
 Мертвые души на ножах с бесами, или как грустна Россия: О романе Евгения Витковского «Павел II». № 10.
Рашель Миневич
 Беседа за круглым столом. К 75-летию Беллы Езерской. № 13.
Игорь Минутко
 Покаяние впереди. Заметки о романе Михаила Садовского "Под часами". № 18.
Игорь Михалевич-Каплан
 «Из прошлых лет...»: [О поэте Янке Янкевиче (1905-1938): Предисловие к публикации]. № 1.
 Заметки о стихах Павла Бабица. № 3.
 Русские артисты на Западе: [Артист балета – Александр Бойцов]. № 4.
 Составитель подборки «Письма русских писателей к Эдуарду Штейну»: Н. Берберова, Странник, О. Анстей. № 10.
 Подготовка к печати переводов «Из китайских поэтов» Валерия Перелешина (Из архива Э. Штейна). № 10.
 Снежное поле поэзии: О творчестве Татьяны Аист. № 11.
 Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: Юрия Иваска, Глеба Струве, Ивана Елагина, Зинаиды Шаховской, Бориса Филиппова, Сергея Рафальского (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.
 По материалам выставки «Княгиня и гражданин». № 14.
 Там была сцена, здесь – зритель. О творчестве композитора Т. Меликовой. № 14.
 «А я внутри травы небесной». О поэзии Сергея Дмитровского (1961-2006). № 14.
 От составителя. «Антология. Проза. Поэзия». № 15.
 Встречный экспресс. Рецензия на книгу поэта Виталия Рахмана. № 16.
 На стыке двух культур. О поэзии Валентины Синкевич. № 17.
 Между тобой и морем. О поэзии Марины Гарбер. № 17.
 Время жатвы. (О времени и о себе). Интервью с литературоведом Ириной Панченко. № 17.
 Игорь Михалевич-Каплан, Наталья Гельфанд. Мешки облаков по плечу. (О новой книге Ю. Садхина). № 18.
 Публикация Игоря Михалевича-Каплана. Умер поэт Лев Лосев (1937-2009). От редакции. Подборка стихотворений Л. Лосева.
 Мои друзья уходят... (О художнике и режиссере Валерии Бортыковой). Публикация стихов Валерия Бортыкова (1941-2009). № 18.
 Публикация Игоря Михалевича-Каплана. Памяти Александра Межирова (1923-2009). От редакции. Из Антологии русской поэзии (составитель Е. Евтушенко). Подборка стихотворений А. Межирова.

Ностальгия по-парижски. В. Амурский. Земными путями. Стихи разных лет. № 19.
 «О, сколько жизни было тут...». Четыре повести Елены Литинской. № 19.
 Игорь Михалевич-Каплан, Ирина Панченко. «Когда я оглядываюсь назад...». Интервью с Н. Гельфанд. № 19.
 Поделиться культурой родного языка. Книга Виктории Малеевой. № 20.
 Интервью с писательницей Еленой Катишонок. № 20.
 Документально-художественное повествование Льва Бердникова. № 20.
 «Я люблю эту землю...» Донецкие строки Ивана Волосяка. № 20.
Василий Молодяков
 Подражание Данту. № 10.
 «Завещанный нам долг...». О Борисе Ивановиче Коплане (1898-1941). № 12.
 Juvenilia Чижевского. О Александре Леонидовиче Чижевском (1897-1964). № 12.
 Николая Бернера: Осень Мира. О Николае Федоровиче Бернере (1890-1978). № 12.
 Универсальный историк Гарри Элмер Барнес: портрет на книжном фоне. (Из записок собирателя). № 16.
 «Только дотронусь до старой струны...». О поэте Дмитрие Шестакове (1896-1937). Предисловие и публикация. № 17.
 «Отблеск» - новый сборник стихов Виктора Фета. № 18.
Лариса Найдич
 Прогулки по Иерусалиму: [О книге Клауса Шефера]. № 9.
 Рецензия на книгу Бориса Голлера. «Флейты на площади». № 10.
Борис Нарциссов
 Мое представление о поэзии и о задаче поэта. Письма Бориса Нарциссова к Евгению Димер. № 12.
Юрий Неймер
 Иммиграция в США – «Русская» и иная. (Социологическое исследование). № 11.
Нина Никипелова
 Над страницами романа Тани Варен.
Ванкарем Никифорович
 «Не забыть, для чего пришли». Разговор с Евсеем Цейтлиным. № 18.
Юрий Олеша
 Из отечественного литературного наследия: Поэма Бетриче: Публикация и вступительная статья «Неизвестный Олеша» И. Панченко, комментарий В. Скуратовского: К 100-летию со дня рождения Ю. К. Олеша. № 8.
Ирина Панченко
 Свидетельства киевского периода жизни Михаила Булгакова. № 7.
 Носитель дара, мятущийся и грешный: К 100-летию со дня рождения Ю. К. Олеша. № 8.
 Неизвестный Олеша. № 8.
 Взаимное узнавание: Заметки о литературных вечерах в Филадельфии в 1998 году. № 8.
 Лиля Брик в зеркале литературы о ней. № 9.
 «...Поём, чтоб жить, живём, чтоб петь». К 10-летию журнала «Побережье» 1992-2001. № 10.
 Симон Маркиш. Отец [о поэте Переце Маркише]: Перевод с украинского и подготовка к печати и предисловие Ирины Панченко. № 10.
 "Свидетель на суде будущего над прошедшим": Очерк о писателе Георгии Демидове, 1908-1987. № 10
 Художественное завещание Достоевского: К первой годовщине 11 сентября 2001 года. № 11.
 Валентин Асмус (1894-1975). Из отечественного наследия. О великом пленении русской культуры. (Публикация Ирины Панченко). № 11.
 Ирина Панченко, Ксения Гамарник. Сценические метаморфозы притчи грузинского поэта Важи Пшавелы. № 12.
 Архивные находки. Судьба перевода «Залізне серце» («Железное сердце Юрия Олеша»). № 12.

«Удивления потомства» достойные. Рецензия на кн.: Л. Бердников, Ю. Серебряный. Пантеон российских писателей XVIII в. № 12.

Отголоски Достоевского в прозе Брюсова и других русских новеллистов начала XX в. № 13.

«Не кладите же мне, не кладите остроласковый лавр на виски...». История памятника поэту Осипу Мандельштаму. № 13.

Ирина Панченко, Нина Король. Взыскующий правды. К 80-летию со дня рождения писателя В. Быкова. № 13.

Науму Моисеевичу Коржавину – 80. «Ведь нет кроме нас трубай на земле». № 14.

Агитпеса Юрия Олеши «Слово и дело». Архивная находка. № 14.

Юбилей свершившихся надежд. Выставка живописи в Музее современного русского искусства в Джерси-Сити. № 14.

«Возьми этот мир, сотворённый по Слову из Слова...». № 15.

Ирина Панченко, Ксения Гамарник. Теплые краски умиротворения. № 16.

О прозаике Филиппе Бермане. Трудная дорога символических смыслов. № 16.

Воланд родом из Филадельфии. № 17.

«Только художник на всём чувствует прекрасного след». № 18.

О времени и о себе. Из воспоминаний... № 18.

Ирина Панченко, Игорь Михалевич-Каплан. «Когда я оглядываюсь назад...». Интервью с Н. Гельфанд. № 19.

Ирина Панченко. Пусть за меня все люди на свете живут. Памяти Дины Таран. № 20.

Николай Петерей
К столетию со дня рождения Бориса Поплавского. Из литературного Зарубежного наследия. Без воздуха. О смерти Бориса Поплавского. № 12.

Валерий Петроченков
Предисловие к стихотворению Жанны Дудукаловой «Возвращайтесь в Россию». № 1.

Смерть равна жизни: "Книга о смерти" Сергея Андреевского". № 2.

Анатолий Пикач
Умение уметь: [О творчестве Е. Сливкина]. № 3.

Слава Полищук
Через мост. Памяти Алексея Афанасьева. № 20.

Марк Поповский (1922-2004)
К вопросу о нравственности: [О Сергее Довлатове]. № 4.

Выступление в Филадельфии на вечере, посвященном 75-летию А. Д. Сахарова, № 6.

Ян Пробштейн
Возможность невозможного: Строфы века-2: Антология мировой поэзии в русских переводах XX века: Составитель и автор предисловия Е. Витковский. № 8.

Божественный лабиринт: [Хорхе Луис Борхес]. № 9.

Свидетельство поэзии: [Чеслав Милош]. № 9.

Свидетельство бессмертия: Эмили Дикинсон: Подборка сравнительных переводов Эмили Дикинсон с англ., выполненные Верой Марковой, Аркадием Гавриловым, Александром Величанским, Иваном Лихачевым, Изабеллой Минзрахой, Яном Пробштейном. (Пер. с англ.) № 10.

Неприкаянный покой. № 14.

Два Ангела. № 14.

Первоначальное слияние. № 14.

«Песен звонкая тщета»: Роальд Мандельштам, поэт из легенды или о том, как он растоптал желток О. Мандельштама и проехался в трамвае Гумилева. № 17.

Нетленная вселенная явлений: П. Б. Шелли (1792-1822). Романтики как предтечи модернизма. № 18.

«Из времени в вечность»: о метафизичности русской поэзии. № 19.

«Джинн, выпущенный из бутылки». Неразменное небо, № 20.

Прекрасное пленяет навсегда. Джон Китс (1795-1821). Перевод с английского. № 20.

Лана Райберг

«Люди и химеры». (Размышления у картины. Художники Ася Додина и Слава Полищук). № 16.

Голос любви. (О Жанне Владимировой). № 16.

Алексис Раннит (1914-1985)
Письмо со стихотворением. Из архива Эдуарда Штейна. Подготовил к печати Игорь Михалевич-Каплан. № 11.

Лариса Ратникова
«Кто ты — Моцарт или Гамлет?»: [Об истории создания русского театра в Монреале, Канада: О спектакле «Дядюшкин сон»]. № 8.

Сергей Рафальский (1896-1981)
Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.

Виталий Рахман
Встреча с Джинной Лолобриджидой. «Я имею возможность творить и безгранично рада этому». № 16.

Алина Ревякина
«И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь...»: [Рецензия на книгу «Поэтессы русского Зарубежья»]: О книге поэзии Лидии Алексеевой, Ольги Анстей, Валентины Синкевич. № 8.

Аркадий Ровнер
О поэтессе Виктории Андреевой (1942-2002). Предисловие и публикация.

Владимир Розенталь
От переводчика: перевод с английского Стэна Синякова. № 12.

От переводчика. Уолт Уитмен (1819-1892). Перевод с английского. № 20.

Леонид Рыбакин
Подготовка писем для публикации и ссылки к письмам Т.С. Есениной (1918-1992, дочь поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх). № 17.

Две встречи в «Бориселле». О художнике Борисе Григорьеве. № 20.

Марина Саввиных
Гости журнала «День и ночь», Красноярск. Составитель подборки стихов Марина Саввиных. Короткие биографии: Александр Командин, Александр Петрушкин, Вячеслав Тюрин, Дмитрий Мурзин, Марина Саввиных, Нина Измайлова, Михаил Тарковский, Сергей Кузнецихин, Сергей Харцызов, Татьяна Дологополова. № 19.

Михаил Садовский
Стихи дорогого Ваню. Ваню Мурадели. Подборка стихотворений. Перевод с грузинского М. Садовского. Николай Васильевич Панченко. Размышлизм. № 20.

Инна Санина
Элегические размышления под сенью кипариса. (Эссе). № 18.

Иона Сариева
Страсти по Булгакову. № 5.

Элеанора Саттер
Письмо. № 16.

Михаил Сергеев
Искусство модерна: основные тенденции в XX веке. № 9.

Модернистское и тоталитарное искусство: Попытка сравнения. № 10.

Проект Просвещения: Заметки об американской национальной идее. № 11.

Панорама российского религиозного юмора. № 14.

Апокалиптицизм, заметки философа. № 18.

Об исторической судьбе евреев как доказательстве бытия Бога. № 19.

Валентина Синкевич
Михаил Крепс (1940-1994). № 4.

"Природы званый гость": О поэзии Вадима Крейда. № 4.

Прогулки по русской Ницше. № 6.

Из Зарубежного литературного наследия. Аргус. Об авторе. № 7.

Вячеслав Завалишин. № 7.

Тихая муза: О поэтессе Лидии Алексеевой. № 8.

Эммануил (Эдуард) Штейн (1934-1999). № 9.

Пути-дороги Андрея Седых. № 10.

Авторы книг о России – Сюзэн и Роберт Масси. № 11.
 Сергею Львовичу Голлербаху – 80 лет. Беседа с Сергеем Голлербахом. № 12.
 Поэт, друг и знаток творчества Бродского – Лев Лосев. № 18.
 «Человек дождя». О новой книге Рудольфа Фурмана. Джордж Клайн и его Иосиф Бродский. № 18.
Елена Скульская
 Судьбы. Вознесенский – герой Вознесенского. Интервью с А. Вознесенским. № 13.
 Американские деревья для нужд бюрократии. № 16.
Вадим Скуратовский
 Взрослые смыслы детской литературы: К 95-летию со дня рождения Аркадия Гайдара. № 8.
 Вместо комментария. Об Олеше. № 8.
 Советские интеллектуалы XX века: Нелояльный Давыдов, Маршал духовного сопротивления. № 9.
 Булгаков и Мак-Орлан: К проблеме источников «Мастера и Маргариты»: К 60-летию «Мастера и Маргариты». № 10.
 Этюды об интеллигенции «Серебряного века»: Ассистенты «грозовой и прекрасной войны». № 11.
 Леонид Чертков. К семидесятилетию со дня рождения. № 12.
 Владимир Соловьев, Павел Флоренский – два русских философа, две судьбы. № 12.
 Раздумья над увядшим деревом литературы. № 13.
 Лада Могилянская. Из полузабытых имен. № 13.
 Поединок со злом. К 80-летию сюрреализма. № 14.
 Возвращаясь к Булгакову. 1. Был ли прототип у Мастера в последнем романе писателя. 2. Исторический контекст последней пьесы «Батум». № 14.
 Посмертная судьба творчества Леси Украинки. № 16.
 К 100-летию юбилея со дня рождения писателя Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982) и 25-летию выхода в свет «Колымских рассказов». Вадим Скуратовский. Шаламов о социуме и мироздании. № 16.
 Мастер трагикомических рассказов. Михаил Михайлович Зощенко (1895-1958). № 17.
Евгений Сливкин
 Тарзан из рода обезьян как парадигма русского футуризма. № 5.
 Евреи безоружные и вооруженные: Опыт параллельного чтения «Конармии» и «Одесских рассказов» Исаака Бабеля. № 6.
Вадим Смоленский
 Поэма городу. № 10.
 Граждане Кале. К 75-летию Музея Родена в Филадельфии. № 13.
 Quo vadis? (Куда идешь?). О музыке XXI века. № 14.
Владимир Соловьёв
 Сумеречная зона Ланы Райберг. (Рецензия на книгу «Картонная луна»). № 16.
Светлана Соложенкина
 К критическому эссе "Мне голос был..." – от автора. «Мне голос был...». (Читая «Реквием» Анны Ахматовой. Лирическое эссе.). № 12.
 О поэме «Кирилл Радищев» Марии Веги). № 13.
Вячеслав Сподик
 О книге Льва Бердникова «Щеголи и вертопрахи» (Герои русского галантного века). № 17.
 Такие нынче времена. (О новой книге Ирины Чайковской, 2008). № 17.
 Диалогия Ларисы Матрос. (Романы: «Презумпция виновности», 2000, «Называется жизнь», 2007). № 17.
 Книга рассказов Георгия Демидова. № 18.
 «Жили были старик со старухой». О романе Елены Капишонов. № 18.
 Аист над Японией. О новом сборнике стихов Татьяны Аист «Япония под снегом». № 18.
 «Сны Иосифа». Людмила Некрасовская. № 18.
 Немаленькие трагедии. Новая книга Ларисы Матрос. № 19.

Роман в историях. Татьяна Янковская, «М&М». Роман в историях. № 19.
 Людмила Таймасова: «Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия». № 19.
 Литературный альманах "Связь времён" (Сан-Хосе). № 19.
 К 75-летию писателя Давида Шраера-Петрова. № 20.
Григорий Стариковский
 Предисловие к переводам Эдварда Томаса (1878-1917). № 8.
 Примечания к переводам с латыни Секста Проперция. № 18.
 Эйкинс. (Опыт жизнеописания.) Боре Лейви.
 Вергилий, *Эклоги*. Перевод с латыни. О Вергилии. № 19.
Александр Стесин
 Час одиночества: [Рецензия на книгу стихотворений Марины Гарбер]. № 9.
Странник (1902-1989, архиепископ Иоанн Сан-Францисский, в миру кн. Димитрий Алексеевич Шаховской)
Из зарубежного литературного наследия. Письма к Э. Штейну. (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 10.
Глеб Струве (1898-1985)
Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.
Олег Сулькин
 «Ах, Габай, Габай...». Генрих Саулович Габай (1923-2003). № 12.
Валерий Суханов
Из отечественного литературного наследия: Предисловие и иллюстрации к подборке стихотворений Олега Григорьева (1943-1992). № 9.
Павел Суханов
 «Яблоко». Эссе. № 13.
Петр Тартаковский
 "Нынче душа совершает набег": [О сборнике стихов Нины Косман «Перебои»]. № 5.
Марина Темкина
 Послевоенное женское тело: «Лолита» Набокова и «Данно» Дюшана. № 12.
Иван Толстой
 Вы попробуйте!: [В. Синкевич 75+25 лет «Встречам»]. № 10.
Ян Торчинский
 Два Дон Жуана. № 12.
Женя Троскот
 Человек и время в творчестве Инны Богачинской. № 12.
Юлиан Тувим
 «Мы, польские евреи»: Предисловие и послесловие Э. Штейна: Перевод Софии Дубны. № 7.
Людмила Тугенгольд
 Воспоминания об Александре Ивановиче Бродском. № 11.
Татьяна Успенская
 У нас в гостях. Вступление к сборнику «Побережье». № 1.
Из зарубежного литературного наследия. Об Анатолии Якобсоне: [Предисловие к публикации переводов Федерико Гарсии Лорки с испанского]. № 4.
Вадим Уткин
 Почти серьезный разговор о науке и искусстве. № 13.
Нора Файнберг
 Поклонники о талантах: [О творчестве певцов Бориса и Лили Казанских]. № 3.
Виктор Фет
 Китайские сандалии и круглые фетры: Новые материалы к эпизоду из романа «Дар» Набокова. № 16.
 «Сперва казнь, потом уж приговор! О Набоковском переводе Льюиса Кэрролла. № 18.

Зоологическая номенклатура и кинботово имя Божье. № 19.

Шутка энтомолога Киркалди. № 19.

Виктор Фет. Дэвид Херлихи. Гумбер, источник Гумберта: О Набоковских велосипедах. № 19.

Пляски красного дьявола. «Мастер и Маргарита» в Вашингтонском театре «Синетик». № 19.

Зоологическая этикетка как литературная форма. № 20.

Эрикс, Омега, Ата. № 20.

Красная Армия в дворянском гнезде. (Александра Орме об оккупации Венгрии). № 20.

Королевская клоунада в Вашингтоне. О спектакле «Король Лир». № 20.

Борис Филиппов (1905-1991)

Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.

Из Зарубежного литературного наследия. Искусство краткости и меткости слова. № 19.

Ольга Фишерман

Концепция счастья в повести Андрея Платонова "Джан". № 5.

Минус – прием и культурные традиции в повести А. Платонова «Джан». № 7.

С.Л. Франк

Из зарубежного литературного наследия. Пушкин об отношении между Россией и Европой: К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. № 8.

Берта Фраш

Связь времен, 2. Альманах-ежегодник.

Дэвид Херлихи

Дэвид Херлихи, Виктор Фет. Гумбер, источник Гумберта: О Набоковских велосипедах. № 19.

Сарра Хургина

Республика Утопия: О книге Ларисы Матрос «Презумпция виновности». № 10.

Евсей Цейтлин

Единственный свидетель. (Из новой книги). Тропинка поверх барьеров. № 18.

Жизнь под песню ветра. Памяти Ванкарема Никифоровича. № 20.

Цикл очерков о писателях эмиграции: Б.Езерская, Е.Чеповецкий, Г.Лайт. № 20.

Одинокие среди идущих. Дневник этих лет. № 20.

Ирина Чайковская

Загадки Дягилева. № 13.

Генри Джеймс и русские. № 14.

Где был ЧиЖик? Чуковский и Жаботинский. № 14.

Три жизни Сергея Голлербаха. № 14.

Ничего, кроме правды. О судьбах поколения 1920-1930-х годов в эмиграции. Составитель книги Людмила Флам. № 16.

Время или безвремяе. Интервью с критиком Станиславом Рассадным. № 16.

Место встречи «Встречи». Беседа с поэтессой Валентиной Синкевич. № 16.

Иван Тургенев и Николай Некрасов: Общность любовных переживаний. № 17.

Он несколько занес нам песен райских. (Булат Окуджава в зеркале Дмитрия Быкова.). № 18.

По направлению к женщине. (О стихах Давида Шраера-Петрова.). № 18.

Ирина Чайковская. Египетский скворец в советском пейзаже (о Симоне Шноле). № 20.

Наталья Чиркова

О третьем международном поэтическом фестивале в Бельгии 2011 «Эмигрантская Лира» № 20

Сергей Шабалин

Его величество образ: О поэзии Вадима Шершеневича. № 5

"Красное домино" Андрея Белого. № 6.

Слово о переводимости: О четвертой книге И. Богачинской [«В четвертом измерении»]. № 9.

Марк Шагал

Из зарубежного литературного наследия. Неопубликованные письма Марка Шагала к В. Одинокovu: Предисловие и публикация Э. Штейна: «После Марка Шагала Владимир Одинокov». № 7.

Наташа Шарымова

Интервью с художницей Ланой Лукас. № 18.

Легенда моды не носит джинсы. Интервью с Александром Васильевым. № 19.

Художница Татьяна Габрильянц. № 19.

К 70-летию Сергея Довлатова. Интервью с кинорежиссером Р. Либеровым. № 20.

Зинаида Шаховская (1906-2001)

Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.

Виктор Шнейдер (1971-2001)

«Трагедия Гамлета, Датского принца». (Размышления через четыреста лет после премьеры). № 11.

Самуил Шпигельман

Консилиум. (Эссе о Александре Гинзбурге). От редакции. № 12.

Максим Шраер

Генрих Сапгир весной 1993 года. № 3.

Дюжина заметок о рассказах Набокова: К 100-летию со дня рождения В. В. Набокова: [Авторизованный перевод с английского Григория Утгофа]. № 8.

Исаак Бабель (1894-1940). Из отечественного литературного наследия. Вариант предисловия к сборнику одесских рассказов (с правками автора, 1925 г.). Публикация с предисловием Максима Шраера, № 9.

Давид Шраер-Петров

О поэзии Ильи Авербаха: Стихи Ильи Авербаха. № 4.

И с неба смотрит желтая звезда: [О сборнике стихотворений Александра Алейника «Апология»]. № 7.

Заметки писателя: Анна Андреевна, Лев Николаевич... № 9.

Эвридика становится Эврифеем и влюбляется в Орфику: Рецензия на книгу Полины Барсковой "Эврифей и Орфика". № 10.

Стихи-письма русских поэтов к женщинам. № 11.

Кукла Анечка. (Встречи с Анной Ахматовой). № 12.

Ольга Штейн

Поэзия русского Зарубежья: В библиотеке Эммануила Штейна. № 9.

Эммануил (Эдуард) Штейн (1934-1999)

Из зарубежного литературного наследия. Китайские жемчужины российского собрания. № 3.

Евреи в поэзии русского Зарубежья: Прибалты – Аргус и Евгений Шкляр. – Забытые поэты – Илья Британ и Михаил Кантор. – Ирина Ясен. № 4.

Евреи в поэзии русского Зарубежья. – Владимир Евгеньевич Жаботинский. – Ариадна Скрыбина. – Берлинская поэтесса Вера Лурье. № 5.

Хранительница истории и её спасительница: [Об актрисе Юлии Фляум]. № 4.

"Русская" Вислава Шимборская. № 6.

Выстрелы Горгулова и предвидение Ловича. № 6.

Александр Вертинский и Ларисса Андерсен: К истории стихотворения «Dancing girl». № 6.

Русский шахматист Виктор Барт. № 6.

После Марка Шагала Владимир Одинокov: Неопубликованные письма Марка Шагала: [Рисунок М. Шагала, автограф, копия письма]. № 7.

Детская литература Китая. № 7.

Юлиан Тувим. «Мы, польские евреи»: Предисловие и послесловие Э. Штейна: Перевод Софии Дубны. № 7.

История песни и судьбы людей с ней связанных: [О композиторе Германе Яблокове]. № 8.

Всеволод Иванов. Из зарубежного литературного наследия. О судьбах еврейства: [Публикация и предисловие Э. Штейна]. № 8.

Эмигрантская Кульман. № 9.

«А может быть читатели помогут...»: "Белые пятна" поэзии русского рассеяния. № 10.

Эмигрантские агенты НКВД и их книги. № 10.
В поисках исчезнувшей Атлантиды. № 10.
Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: Н. Берберовой, Странника, О. Анстей (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 10.
Автографы моего собрания: Статьи 1 и 2. № 11.
Поэт, покоривший великих композиторов. Д. М. Ратгауз. № 11.
Из Зарубежного литературного наследия. Письма русских писателей к Эдуарду Штейну: Юрия Иваска, Глеба Струве, Ивана Елагина, Зинаиды Шаховской, Бориса Филиппова, Сергея Рафаэлевского (составитель подборки Игорь Михалевич-Каплан). № 11.
[Материалы напечатанные с любезного разрешения Ольги Штейн].
Неизвестный Георгий Иванов. № 14.
После телефонного звонка. № 14.
Людмила Штерн
Эта неаполитанская наружность: [О Сергее Довлатове]. – Предисловие – «Письма Сергея Довлатова к Людмиле Штерн». № 4.
Михаил Эпштейн
Поступок и происшествие: К теории судьбы. № 9.
Амероссия: Двукультурие и свобода: Речь при получении премии "Liberty". № 10.
Новые слова о любви. № 12.
Исаак Юдовин
Певец тоски вселенской. (И. А. Бунин и ностальгия). № 16.
И.А. Бунин о земле библейской. № 17.
К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого. Лев Толстой о духовно-нравственном воспитании. № 19.
Был такой еврейский поэт... № 20.
Анатолий Яни
Цветные стихи: О роли живописи в поэзии И. Богачинской. № 7.

ПЕРЕВОДЫ

1. Переводы поэзии

Татьяна Аист

Елена Блаватская. Пер. с английского. № 6.
Гильберт Шедлер. Пер. с английского. № 10.
Чему учил Вималакирти. Перевод с санскрита. № 13.

Лиана Алавердова

Стэнли Кюнниц, Эдди Белл. Пер. с английского.. № 8.
Хал Сировитц. (Перевод с английского). № 16.
Фредерик Бакнер. Роберт Фрост. Алисия Острайкер. Пер. с английского. № 17.

М. Пиерси, Р. Зихлински, М. Донелли, Х. Чарный, Д. Кёрчхаймер. Пер. с английского. № 18.

Переводы с английского: Чидиок Тишборн, Уильям Водсворт, Кристина Росетти, Альфред Лорд Теннисон, Эдвин Арлингтон Робинзон, Унистон Хью Оден, Роберт Фрост, Эдна Сейнт Винсент Миллэй, Элизабет Бишоп, Стэнли Кьюниц. № 19.

Переводы: Эмма Лазарус, Жаклин Ошероу, Джанет Кёрчхаймер. № 20.

Анна Ахматова

Перец Маркиш. Пер. с идиш. № 10.

Елена Баевская

Стефан Малларме. Пер. с французского. № 8.

Вита Барштейн

Заметка о Маше Калеко и ее книге, переведённой с немецкого языка Мариной Гершенович. № 16.

Игорь Белавин

Альфред Гонг. Пер. с немецкого. Михаил Горлин: Из книги «Сказки и города»: Пер. с немецкого: Предисловие Е. Витковского «Странная судьба человека, подписывавшегося 'А. Мираев'» № 10.

Дмитрий Бобышев

Джозеф Лэнгленд. Пер. с английского. № 4.

Джорж Гордон Байрон. Пер. с английского. № 5.

Юрий Борин

С. Крейн, В. Блейк, О. Нэш, К. Росетти, N. RH., Лорд Боуэн, Т. Сьюард, Р. Грейвс, аноним. Пер. с англ. № 7.

Марина Бородицкая

Роберт Бернс. Пер. с английского. № 8.

Михаил Бриф

Василь Пиддубняк. Анатолий Кичинский. Перевод с украинского. № 20

Иосиф Бродский.

Ли Бо; Ван Вэй; Лю Чжан; Инь. Ду Му. Пер. с китайского. Татьяна Аист: Иосиф Бродский – переводчик с китайского. (Неизвестный И. Бродский). № 9.

Евгений Витковский

Константин Хейгенс, № 9.

Строки из запасника судьбы: О Альфреде Гонге. № 10.

Альфред Гонг. Пер. с немецкого. № 10.

Кристофер Сمارт. Пер. с английского. № 10.

Петра Мюллер. Перевод с африкаанс. От переводчика. Дидерик Йоханнес Опперман (1914-1985). Перевод с африкаанс. № 12.

Александр Воловик (1931-2004)

Уильям Батлер Йейтс. (Пер. с англ.) № 8.

Э. Ласкер-Шюлер; Н. Закс; Г. Кольмар (Пер. с нем.) № 9.

Иегуда Галеви, Шауль Черниховский, Иммануэль ХаРоми Иммануэль Римский, Хана Сенеш, Хаим-Нахман Бялик, Рахель, Ури-Цви Гринберг, Давид Фогель, Дан Пагис, Иегуда Амихай, Аврахам Бен-Ицхак, Абба Ковнер, Хаим Ленский, Амир Гильбоа, Габриэль Прейль. (Пер. с ивр.) № 10.

Переводы с иврита. Ури-Цви Гринберг, Хана Сенеш, Иегуда Амихай, Рахель, Абба Ковнер. № 19.

Иегуда Амихай. Бог милосерден к маленьким детям. (Пер. с иврита). № 14.

Ксении Гамарник

Ладя Могилянская. Перевод с украинского). № 13.

Владимир Гандельсман

Имон Греннан. Билли Коллинз о стихах Имона Греннана. Перев. В. Гандельсмана, А. Грицмана. Издательство "Ars-Interpres" или перевод с американского. Материал подготовил А. Грицман. № 12.

Доктор Сюсс. (Пер. с английского) № 17.

Марина Гарбер

Вирджиния Вульф. Ненаписанный роман. (Пер. с англ.). Комментарий переводчика. № 13.

Клаудио Бальони. Пропавшие. (Пер. с итальянского). № 14.

Пьер Паоло Пазолини. (Пер. с итальянского) № 17.

Марина Гершенович

«Ничейные стихи». (Перевод с немецкого). Маша Калеко (1907-1975). Шел Сильверштейн. Гертруда Кольмар. № 16.

Шел Сильвершткйн. Пер. с английского. № 18.

Дмитрий Гольдовский (1931-1987)

Эдгар По, Вудворд. (Перевод с английского). № 13.

Эрик Горлин

Роберт Сервис: (Пер. с англ.): Вступ. Е. Витковского: «Возможно эмигрант...» № 10.

Андрей Графов

Рина Левинзон. (Пер. с иврита): Предисловие Е. Витковского. № 8.

Андрей Грицман

Джеймс Кейтс. (Пер. с англ.) № 6.

Имон Греннан. Билли Коллинз о стихах Имона Греннана. Перев. В. Гандельсмана, А. Грицмана. Издательство "Ars-Interpres" или перевод с американского. Материал подготовил А. Грицман. № 12.

Герман Гуревич

Д. Г. Байрон, П. Б. Шелли, ДЖ. Китс, Чарльз Кингсли, Роберт Грейвс, Р. Киплинг. (Пер. с англ.) № 16.

Энтони Хект. (Пер. с английского) № 17.

Регина Дериева

Фредерик Смок (Frederick Smock) Перевод с английского. № 12.

Фредерик Смок. Кэтлин Дрискейл о стихах Фредерика Смока. № 12.

Издательство "Ars-Interpres" или перевод с американского. Материал подготовил А. Грицман. № 12.

Игорь Евелев

Иегуда Михай. Дон Грей (Don Gray). Джеймс Рисс (James Reiss). № 16.

Иван Елагин (1918-1987)

Марианна Мур, Эдуард Филд, Юджин Филд, Эдна Сент-Винсент Миллей, Арчибалд Мас-Лиш, Дениз Левертов, Эдвард Эстлин Каммингс, Стенли Куниц. (Пер. с англ.). – Поль Верлен (из французской поэзии). № 13.

Манук Жажоян

Ваан Текеян; Даниэл Варужан. (Пер. с арм.) № 7.

Евгения Жиглевич

Дже Костолаци. (Пер. с венгерского) № 1, № 2.

Дженет Кембелл. (Пер. с англ.) № 4.

Антон Беляев. (Пер. с англ.) № 6.

Мария Павликовска-Ясножжевска (Пер. с нем.). – Рута Скуиня. (Пер. с латышского) № 8.

Елена Иоффе

Р. М. Рильке. (Пер. с нем.) № 5.

Елена Иоффе. Об одном стихотворении. (Памяти Николая Моршенина). № 13.

Борис Кокотов

Луиз Глюк. Из книги «Дикий Ирис. Пер. с английского. № 18.

Ольга Кольцова

Оскар Уайльд. Равенна. (Пер. с английского). Примечания Евгения Витковского. № 13.

Нина Косман

Рафаэль Альберти. (Пер. с исп.). – Денис Левертов; Стэнли Баркан (Пер. с англ.) № 4.

Константин Кавафи. (Пер. с греческого) № 6.

Вадим Крейд

Дэниэл Вейсбург. (Пер. с англ.) № 5, № 6.

Марвин Бэлл, Чак Миллер. (Пер. с англ.) № 6.

Уильям Тэкерэй, Оливер Холмс. (Пер. с англ.) № 7.

Чак Миллер. (Пер. с англ.) № 8.

Уильям Джеймс Дуэссн. (Пер. с англ.) № 9.

Элла Кругликова

По мотивам стихотворений Елены Павлюк. Перевод с украинского. № 20.

Григорий Кружков

Джон Донн. (Пер. с англ.) № 7.

Уоллес Стивенс. (Пер. с англ.). Вступительная статья «Маленькая дверь в стене». № 8.

Марина Кучинская

Сравнительный перевод стихотворения Поля Верлена (Paul Verlaine) «Colloque sentimental». Переводы И. Анненского, Г. Шенгели, В. Микушевича, М. Кучинской. Материал подготовила М. Кучинская. № 12.

Гари Лайт

Томас МакКарти, Фрэнк Ормсби. (Пер. с англ.). – Иехуда Амихай. (Пер. с иврита) № 10.

Рина Левинзон

Шин. Шалом; Гила Уриэль; Эстер Рааб. (Пер. с ивр.) № 7.

Хана Сенеш; Леа Гольдберг; Эдна Митвох-Меллер. (Пер. с ивр.) № 8.

Хаим Ленский, Эдна Митвох-Меллер. (Пер. с иврита) № 9.

Писать на иврите в царстве ГУЛАГа: Цви Прейгерзон – плач по еврейскому народу. – Моше Шамир. (Пер. с иврита) № 10.

Рафаэль Элиша. Натан Альтерман. Эдна Митвох-Меллер. Зельда. Перевод с иврита. № 12.

Хаим Ленский. Авраам Шленский. Эдна Митвох Меллер. Шин Шалом. (Пер. с иврита) № 17.

Переводы с иврита. Рахель, Иегуда Амихай, Эдна Митвох, Рафаэль Элиша, Эли Бар-Яалом, Гила Уриэль, Эстер Рааб, Зельда, Аталия Гин-Рабинович, Ури-Цви Гринберг. № 19.

Ираида Легкая

Т. С. Эллиот; Robert Frost; Longston Hughes. (Пер. с англ.) № 9.

Анатолий Либерман

Альфред Брендель. (Пер. с нем.) № 7.

Томас Гарди. (Пер. с англ.) № 9.

Из Вильяма Эрнеста Хенли (William Ernest Henley). № 13.

Новые переводы сонетов Вильяма Шекспира 1564-1616. Пер. с английского. № 18, № 19.

Антонис де Ровере (1430-1482). Любовные строфы. (Ладонь на сердце.). Пер. с среднеголландского. № 20

Линецкая Э.Л.

Робер де Монтески-Фезенак; Альбер Самен; Анри де Ренье; Андре-Фердинан Эро; Морис Герен. (Пер. с франц.) № 8. Предисловие и публикация Е. В. Баевской.

Илья Липес

Роберт Фрост. Эмили Диккинсон. Перевод с английского. № 20.

Виктор Лихтер

Дюла Юхае. (Пер. с венгерского). – Томас Мур. (Пер. с англ.) № 10.

Яков Лотовский

Виктор Барышполь. (Пер. с укр.) № 6.

Юрий Лукач

Карл Орлеанский (1394-1465). Перевод со среднеанглийского. № 20.

Роберт Бернс (1759-1796). Редьярд Киплинг (1865-1936). Перевод с английского. № 20.

Поль Верлен (1844-1896). Перевод с французского. Джованни Пасколи (1855-1912). Пер. с итальянского. № 20.

Макс Герман-Найсе (1886-1941). Перевод с немецкого. № 20.

Дмитрий Манин

Стефан Малларме. Джерард Мэнли Хопкинс. № 20.

Ирина Машинская

Джорж Дрю. (Пер. с англ.) № 4.

Крейг Чури. (Пер. с англ.) № 5.

Роберт Крили. (Пер. с англ.) № 9.

Имон Гренанн. № 13.

Илья Каминский. (Пер. с английского) № 17.

Изабелла Мизрахи.

Эмили Дикинсон. (Пер. с англ.) № 3.

Роберт Фрост. (Пер. с англ.) № 4.

Марк Стрэнд. (Пер. с англ.) № 5.

Дерек Уолкотт. (Пер. с англ.) № 6.

Сильвия Мосс. (Пер. с англ.) № 7..

Роберт Телен. Из цикла «Роса». (Перевод с английского) № 16

Валерий Перелешин (1913-1992)

Из китайских поэтов: Император Вэнь-цзун, Ли Бо, Ван Цзянь, Ли Шан-инь, Лю Хо, Чжао Цзя, Чжан Цзи, Ду Му, Ван Вэй, Ши Цзянь-у, Лу синь. (Пер. с китайского). Из архива Э. Штейна. Подготовил к печати И. Михалевич-Каплан. № 10.

Фернандо Пессоа (1888-1935). Перевод с португальского. Публ. Е. Витковского. № 12.

Михаил Польский

Из Ури Цви Гринберга. (Пер. с иврита). «Плачем этим живи, переплавь его в песнь...», биографический очерк (в сокращении) Я. Либермана. № 16.

Из Ури Цви Гринберга. (Пер. с иврита) № 17.

Геннадий Прашкевич

Ким Цын Сон. (Пер. с корейского) № 9.

Ян Пробштейн

В. Набоков (Пер. с англ.), Х. Л. Борхес. (Пер. с испан.) № 8.

Сор Хуана Инес де ла Крус, Х. Л. Борхес. (Пер. с испан.) № 9.

Свидетельство бессмертия: Эмили Дикинсон: Подборка сравнительных переводов Эмили Дикинсон с англ., выполненные Верой Марковой, Аркадием Гавриловым, Александром Величанским, Иваном Лихачевым, Изабеллой Мизрахи, Яном Пробштейном. (Пер. с англ.) № 10.

Из английской поэзии XVII в. Джон Марстон. Ричард Лавлейс, Генри Вон, Томас Тразн. № 14.
Джерард Мэнли Хопкинс. (Пер. с английского) № 17.
Нетленная вселенная явлений: П.Б. Шелли. Романтики как предтечи модернизма. Перси Биши Шелли (1792-1822). Пер. с английского. № 18.
Переводы с английского. Майкл Дрейтон (1563-1631), Лорд Герберт Черберри (1583-1648), Ричард Лавлейс (1618-1658), Роберт Херрик (1591-1674). № 19.
Прекрасное пленяет навсегда. Джон Китс (1795-1821). Перевод с английского. № 20
Вильям Вордсворт (1770-1850). № 20.

Виталий Рахман

Песня Леонарда Козна. Перевод с английского. № 20.

Владимир Розенталь

Хельмут Прейслер, Генрих Гейне. (Пер. с нем.) № 8, 9.
Альфонс де Ламартин, Поль Верлен, Альфред де Мюссе. (Пер. с фр.) № 9.

Хельмут Прейслер. (Пер. с нем.) № 10.

Стэн Синяков. (Перевод с английского). От переводчика.
– Иоган Вольфганг Гёте, Гельмут Прейслер. (Перев. с нем.). Микеланджело Буонарроти. (Перев. с итальянского). № 12.

Гельмут Прейслер, Иван Франко, Альфонс Де Ламартин, Виктор Гюго, Поль Верлен, Владимир Сосюра, Генрих Гейне, Фридрих Шиллер, Кирилл Сторч, Игорь Финкель. № 13.

Вильям Шекспир, Генри Лонгфелло, Валтер Скотт, Джонатан Свифт, Вильям Блейк, Оскар Уайльд, Джордж Гордон Байрон, Перси Бишу Шелли, Редьярд Киплинг, Уолт Уитмен. (Пер. с англ.). – Василий Симоненко, Леся Украинка, Тарас Шевченко. (Пер. с укр.). № 14.

Андрей Малышко, Александр Олесь, Тарас Шевченко (Перевод с украинского). – Уолт Уитмен. (Пер. с английского) № 16

Уолт Уитмен (Walt Whitman, 1819-1892). № 19.

От переводчика. Уолт Уитмен (1819-1892). Перевод с английского. № 20

Дмитрий Н. Смирнов

Уильям Блейк (1757-1827). № 20.

Екатерина Соколова. Уолтер Де Ла Мэр. Пер. с английского. № 18.

Григорий Стариковский

Гай Валерий Катулл. (Пер. с лат.) № 5, № 6.

Калимах, Секст Проперций. (Пер. с лат.) № 6.

Р. М. Рильке. (Пер. с нем.) № 7.

Эдвард Томас. (Пер. с англ.) № 8.

Константинос Кавафис. (Пер. с греческого) № 17

Секст Проперций. Перевод с латыни. Примечания. № 18.

Вергилий, *Эклоги*. Перевод с латыни. О Вергилии. № 19.

Александр Стесня

Р.М. Рильке. (Пер. с нем.) № 7.

Ф. Гарсия Лорка, Цезарь Вайехо. (Пер. с исп.). – Робер

Дено, Артур Рембо. (Пер. с фр.) № 9.

Александр Триандафилиди

Чело Д'Алькамо. (Первая половина XIII века). № 20.

Нора Файнберг

Янкель Янкелевич. (Пер. с идиш): Пред. И. Михалевича-Каплана «Из прошлых лет» № 1.

Евгений Голгурыский. (Пер. с англ.) № 2,

Владимир Ханнин. (Пер. с англ.) № 3.

Джоселин Холлис. (Пер. с англ.) № 4.

Роберта Спивек, (Пер. с англ.); Марта Тарнавська (Пер. с укр.) № 5.

Леонид Черкасский. (Пер. с англ.) № 6.

Евгений Фельдман

Сэр Артур Конан Дойл в непривычной роли. (Пер. с английского). Послесловие Е. Витковского. № 13.

Люба Цыпина

Мэри Оливер. (Пер. с англ.) № 4.

Валерий Черешня

Луиза Глик. Фрэнк Бидарт о стихах Луизы Глик.

Издательство "Ars-Interpres" или перевод с американского. Материал подготовил А. Грицман. № 12.

Наталья Чиркова

Джон Клер, Эдит Стивел, Роберт Фрост, Вильям Вордсворт. Перевод с английского. № 20.

Елена Шалонина

Владимир Конэчны. (Пер. с английского). От переводчика. № 12.

Елена Шалонина. Владимир Конэчны. (Пер. с английского). № 13.

Максим Шраер

Дилан Томас. (Пер. с англ.) № 7.

Альберт Кук. (Пер. с англ.) № 8.

Томас Болт. (Пер. с англ.) № 9.

Анатолий Якобсон

Федерико Гарсия Лорка. (Пер. с испан.). Татьяна Успенская «Об Анатолии Якобсоне» № 4.

2. Переводы прозы

Татьяна Аист

Елена Блаватская: Резонанс. (Пер. с англ.) № 6.

Марина Гарбер

Джонатан Сафран Фоер. Из романа «Всё освещено». Глава «Книга повторяющихся снов». (Пер. с англ.). № 14.

Григорий Стариковский. Росс Ветзстеон: Набоков как учитель. (Пер. с англ.) № 8.

София Дубна. Юлиан Тувим: «Мы, польские евреи»: Предисловие и послесловие Э. Штейна. (Пер. с польского) № 7.

Евгения Жиглевич

Конрад Эйкен: "Тихий снег, запретный снег" (Пер. с англ.) № 2.

Необыденность обыденности: О Торнтоне Уайлдере. (Пер. с англ.) № 5.

Сергей Ильин

Максим Шраер: Изгнание в Рай. (Пер. с англ.) № 10.

Нели Кармазина

Статья Марины Ледковской о Ираиде Легкой- к 80-летию. (Перевод с английского).

Евгения Каценелинбойген.

Филипп Хэлли: Дабы не проливалась кровь невинного. (Пер. с англ.) № 1, № 2, № 3.

Филипп Хэлли: «Жертвы в стране чудес»: Из книги «История о добре и зле, помощи и вреде». (Пер. с англ.) № 7.

Роза Коган

Жозе-Ален Фралон: Праведник из Бордо (Пер. с франц.): Редактирование и подготовка к печати Евгении Каценелинбойген. № 8.

Анатолий Либерман

Мэрл Баркер: Бьянкурские праздники: [О творчестве Н. Берберовой] (Пер. с англ.) № 5.

Майкл Дж. Никлас

Из далекого прошлого. Как я появился на свет. Мое первое прозвище. Авторизованный перевод с англ.. № 14.

Ирина Панченко

Симон Маркиш. Отец: (От переводчика и составителя). (Пер. с украинского) № 10.

Григорий Стариковский

Росс Ветзстеон. Набоков как учитель: К 100-летию со дня рождения В. В. Набокова. Перевод с английского. № 8.

Григорий Утгоф

Максим Д. Шраер: Дюжина заметок о рассказах Набокова. (Пер. с англ.) № 8.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Эмиль Анцис

Фотокомпозиции. Разъединенные. Утренний свет. В неопределенном свете. Сентиментальный пейзаж. Натюрморт со старыми предметами. Пластический образ. № 1. Фотокомпозиции. № 2.

«Моление о городе». Фотокомпозиции. № 13.

«Уход». № 14.

Автопортрет. № 16.

- Абрам Балазовский**
Эскиз. За кулисами. В мастерской. Портрет Марселя Марсо. № 18.
- Евгения Барас**
Графика. № 13.
- Рикардо Баррос (Ricardo Barros)**
Фото-графика. Заставки к разделам. № 19.
- Виктор Барт**
Иллюстрации. № 6.
- Валерий Берман**
Живопись. № 4.
- Геннадий Бойко**
"Земной танец". Графика. № 2.
- Виктор Бондаренко**
"Русское поле". "Аэробика". Дерево, резьба. № 2.
- Валерий Бортяков**
Автопортрет. Эскиз к спектаклю. № 18.
- Михаил Брозголь**
Графика. № 6.
- Андрей Бузиков**
Война. Графика. № 14.
- Графика. № 16.
- Давид Бурлюк (1882-1967)**
«Enigma». Портрет Пикассо. Из коллекции Тамары и Леонида Дитинских. № 20.
- Пётр Вегин**
Стадо. Графика. № 17.
- Леонида Вейн**
Фотопортреты. Юнна Мориц и Сергей Довлатов. № 1.
- Маски. Фотокомпозиция. № 2.
- Поэзия. Фотокомпозиция. № 3.
- Сергей Довлатов. № 4.
- Анна Введенская**
«Балерина». Скульптура. № 10.
- Евгений Вишневский**
Графика. Композиции. № 6.
- Ксения Гамарник**
Рисунки. Графика. № 7.
- Рисунки. Сказочные персонажи. № 8.
- Рисунки. Сказочные персонажи. № 9.
- Рисунки. Сказочные персонажи. № 10.
- Графика. Рисунки. № 11.
- Рисунки из серии «Цирк». № 12.
- Рисунки. № 13.
- Тушь, перо. Киев. «На Андреевском спуске». № 16.
- Графика. № 17.
- Сергей Голлербах**
Графика. Перо, тушь. № 3.
- Рисунки. Графика. № 4.
- Рисунки. Люди из жести. № 5.
- Рисунки. Графика. № 6.
- Графика. Тушь, перо. № 8.
- Рисунки. № 12.
- Заставки к обложке и титульному листу. № 14.
- Графика. Обложка, титул, заставки к разделам. № 17.
- Графика. Сценка в Нью-Йорке. № 18.
- Графика. № 20.
- Евгений Гологурский**
Графика. Автопортрет. № 3.
- Фотокомпозиции. № 5.
- Борис Григорьев (1886-1939)**
Живопись. Обложка («Автопортрет»). Титул («Старуха молочница»). Заставки к разделам. «Портрет сына», «Мужчина с трубкой» «Портрет фотографа Шерлинга», «Портрет Рахминова» «Портрет Шаляпина». № 20.
- Елена Грицман**
Живопись. № 7.
- Валерий Грязнов**
Фотоэтюды.
- Кирилл Данилов**
Графика (обложка). № 4.
- Александр Деревницкий**
Фотосюжеты. Обложка, титул, заставки к разделам. № 16.
- Михаил Димов**
Живопись (холст, масло). Эскиз костюма. № 3.
- Ася Додина** и Слава Полищук.
Сон № 7 из серии «Сны и химеры». № 16.
- Игорь Дорфман**
Живопись. Графика. Акварель, карандаш, тушь. № 6.
- Елена Дроздова**
Акрилик на холсте. 38" x 50". № 16.
- Плакат об открытии выставки. Филадельфия, 2009. № 18.
- Евгения Жиглевич**
Рисунок обложки к книге Марии Шкапской. № 8.
- Из архива Е. Жиглевич. Статья «Поклон уходящему». Фотография А. Н. Черкасского в роли Онегина. № 11.
- Сергей Жуков**
Карандаш. В балетной студии Ольги Кресиной. № 14.
- Девушка с ящерицей. 31" x 27". Масло на холсте. № 16.
- Светлана и Леонид Закурдаевы**
Резьба по дереву.
- Татьяна Елисеева**
Живопись. № 4.
- Елена Емельянова**
«Двое». Гравюра. № 11.
- И. Игин**
Иллюстрация к статье Ирины Панченко. Ю. Олеша. Рисунок. № 14.
- Валерий Исхаков**
Живопись. Графика. Иллюстрации. Рисунок. Заставки для журнала «Побережье». № 8.
- Живопись. Обложка и заставки для журнала «Побережье». № 9.
- Рисунок. Адам и Ева. № 10.
- Живопись. «Lola # 2». Графика. № 11.
- Заставки к разделам. № 12.
- Медат Кагаров**
Графика. Иллюстрации. Заставки к разделам № 10.
- Василий Кандинский**
Страницы из экспедиционного дневника. Иллюстрации к статье Тамары Александровой «Моя планета». № 13.
- Игорь Киселев**
Рисунки. Пастель, бумага. № 9.
- Ирина Кононова**
Архитектурный диптих. Масло на оргалите. Дерево. 30 x 29. 1989. № 1.
- Портрет с жёлтой шляпой. Смешанная техника. Дерево. 17x 11. 1990. № 1.
- Живопись (холст, масло). № 4.
- Ольга Костенко (Шиманович)**
Иллюстрации к книге И. Волосюка «Донецкие строфы». № 20.
- Юрий Крупа**
Иллюстрации к стихам Игоря Михалевича-Каплана. № 3.
- Обложка. Титульный лист. № 12.
- Портрет писателя И. Михалевича-Каплана. № 12.
- Фотопортрет Сергея Голлербаха. № 17.
- Фотопортрет художника Виктора Лазухина. № 20.
- Зорина Кукина**
«Еврейская свадьба». № 16.
- Серик Кульмешкенов**
Графика. № 10.
- Графика обложки и заставки к разделам. № 15.
- Виктор Лазухин**
Элегия. 2004. Компьютерная графика. 40" X 30". № 20.
- Элегия. 1994-1998. Компьютерная графика. 40" X 30". № 20.
- Михаил Мазель**
Рисунок. Иллюстрация к книге. № 10.
- Анвар Мамаджанов**
«Старый город». Графика. № 12.
- Матико Мамаладзе**
Графика. Обложка для журнала «Побережье». № 6.
- Графика. № 7.
- Анна Мартинсон**
Рисунки. Графика. Тушь-перо-бумага. № 7.
- Рисунки. Графика. Тушь-перо-бумага. № 8.

Зарисовки Нью-Йорка. № 9.
 Эскизы, рисунки. № 12.
Анна Марченко
 Камни острова Пасхи. Фотокомпозиция. № 13.
Влад Милевский
 Рисунки. Графика. № 4.
Юнна Мориц
 Графика. Рисунки. Обложка для журнала «Побережье». № 8.
 Графика. Рисунки. № 10.
Энгель Насибулин
 Графика. Заставки к журналу «Побережье». № 9.
Эрнст Неизвестный
 Скульптуры. № 5.
Рудольф Ней
 Фотография. № 7.
Иван Новоженев
 Живопись, масло, акрил. № 5.
Юрий Олеша
 Рисунки. № 8.
Слава Полищук и **Ася Додина**.
 Сон № 7 из серии «Сны и химеры». № 16.
Георгий Почепцов
 Рисунок. № 7.
Дмитрий Пригов
 Обложка и иллюстрации к книге «Звери нашей жизни». № 19.
Лана Райберг
 Рисунки. № 12.
 Заставки к обложке, титульному листу, разделам. № 13.
 Заставки к разделам. № 14.
 Графика. № 16.
Алексис Раннит
 Письмо, написанное каллиграфическим почерком. № 11.
Виталий Рахман
 Рисунки. Графика. № 2.
 Компьютерная графика. № 3.
 Графический портрет И. Бродского с автографом. № 5.
 Рисунки. Графика. № 10.
 Рисунок. № 11.
 Обложка книги «Встречный экспресс». № 16.
 Графика № 1 № 2. № 19.
Владимир Розенталь
 Графика. № 3.
Нелена Руески (Helena Ryesky)
 Фотопортрет художника Владимира Шаталова. № 11.
Анна Семенова
 Обложка. № 11.
Наталья Смирнова
 "Симметрия", шелк, роспись. — "Музыка вселенной", gobelen. № 2.
Олег Соханевич
 Композиции. Графика. № 3.
 Графика. № 5.
Алексей Сторонкин
 Живопись на холсте. Масло. № 14.
Николай Стрижак
 Экслибрисы Вилена Бялого. № 9.
Дмитрий Стрижов
 Живопись, масло. № 5.
 Плакат о выступлении. № 6.
Валерий Суханов
 Рисунки. Иллюстрации. № 6.
 Иллюстрации к произведениям Олега Григорьева. № 9.
 Графика. Рисунки. № 11.
 Портрет поэтессы. Графика. № 13.
Лазарь Тарлер
 Архитектурная графика. № 4.
Юрий Тарлер
 Графика. № 4.
 Графика. № 6.
Виктор Ткаченко
 Живопись. № 4.
Елена Фатакова
 Коллаж. № 11.
Василий Федулов

Графика. Живопись. № 4.
Алиса Флом
 Графика. Рисунок. № 4.
 Гравюра на линолеуме. № 5.
 Дизайнерские женские украшения из серебра. № 10.
 Графика. Карандаш. № 18.
Ирина Френкель
 Иллюстрации к А. П. Чехову. № 1.
 "Фантазии". Графика. № 2.
Марк Хайтман
 Из серии "Don't Waste the Pretty". Упаковочная пленка на плексигласе. 36" x 48". № 16.
Ольга Черенцова
 Графика. Титул («Шахматист»), заставки к разделам. Из серии «Портреты». «Антикварная лавка». Из серии «Зеркала». Иллюстрация. № 18.
Сергей Черенцов
 Обложка. Заставки к разделам. № 18.
Владимир Шаталов (1917-2002).
 Портрет поэтессы Валентины Синкевич. № 12.
 Обложка. Титул. № 19.
 Живопись. № 19.
Отари Шук
 "Портрет жены Беллы". Натюрморт. Холст. Масло. № 2.
 Живопись, холст, масло. № 3.
 Натюрморт. Живопись. № 4.
Мария Шойхет
 Заставки к разделам. № 11.
Владимир Эстулин
 Фотокомпозиции. Сцены из балета. № 2.
 Фотоэтиюд. № 10.

Работы общего характера в порядке номерной хронологии

Художественная студия **В. Цилякуса** (Санкт-Петербург): Алеша Чижов. Наташа Назарова. Рая Агашина. Андрей Филатов. Ольга Кенакова. Алеша Фаустов. (обложка). Рисунки. № 7.
Копия стихотворения Александра Чижевского из статьи Василия Молодякова. № 12.
Фотоиллюстрация. Решетки Санкт-Петербурга. № 12.
Иллюстрации к статье Ирины Квитко «К 100-летию со дня смерти А.П. Чехова». № 13.
Иллюстрации к статье Тамары Александровой «Моя планета». № 13.
Афиша премьеры балетного спектакля «Антигона» русско-американской компании Ребекки Дэйвис со штаб-квартирой в Филадельфии. № 14.
Иллюстрации к статье М. Кацевой. Текст черновика письма М.И. Цветаевой Сталину. Справка о реабилитации Сергея Эфрона. № 14.
Обложка буклета Филадельфийской выставки: «Княгиня и гражданин. Екатерина Романовна Дашкова, Бенджамин Франклин и эпоха Просвещения». № 14.
Фотопортрет поэта Сергея Дмитриевского (1961-2006). № 14.
Сцена из спектакля «Гость и хозяин» в постановке театра «Синетик» (Вашингтон). Пьеса Важи Пшавелы. Режиссер Паата Цикуришвили. № 14.
Обложка книги Елены Катишонок «Когда уходит человек». Дизайн Евгения Палагашвили. № 19.
Обложка книги «Поэзия русских философов XX-го века». Дизайн П. Крайтмана. № 19.
Афиша спектакля «Мастер и Маргарита» в театре "Synetic" (Вашингтон). № 19.
Перья из шапки индейского вождя, хранившейся в доме Корнея Чуковского и подаренные Михаилу Левину дочерью писателя Лидией Чуковской. № 20.
Старый дом. Фотоиллюстрация к рассказу Розалии Степановой «Как это бывает». № 20.



THE COAST
PHILADELPHIA
2011